Аналитическая философия

Авторы

Блинов Аркадий Леонидович — § 5.5;

Ладов Всеволод Адольфович — гл.14;

Лебедев Максим Владимирович — концепция учебника, общая научная редакция всего текста, руководство авторской группой; Введение (совм. с Н.И.Петякшевой), § 1.1, § 1.2 (совм. с В.А.Суровцевым), § 1.3, гл. 3, гл.4 (компиляция на основе книг Б.Т.Домбровского и Я.Воленского), § 4.6, §§ 5.1 — 5.4, главы 6,7,8,10,11, § 12.1, § 12.2, глоссарий (совм. с Н.И.Петякшевой);

Петякшева Наталья Ивановна — Введение (совм. с М.В.Лебедевым), глоссарий (тоже), § 11.4;

Суровцев Валерий Александрович — гл. 2, § 1.2 (совм. с М.В.Лебедевым);

Черняк Алексей Зиновьевич — § 12.3, гл.13;

Шрамко Ярослав Владиславович — гл. 9.

Содержание

Введение. Эволюция и основные характеристики аналитической философии..... 8

1. Истоки формирования аналитической философии..... 27

1.1 Брентано..... 27

1.2 Логико-семантические идеи Г.Фреге..... 33

1.2.1. Значение и смысл имен собственных..... 35

1.2.2 Значение и смысл предложений..... 47

1.3 "Опровержение идеализма" Дж.Э.Мура..... 60

2. Программа логического атомизма..... 68

2.1 Логический атомизм: язык как средство остановки регресса..... 68

2.1.1 Расселов анализ связей фактов..... 69

2.1.2 Логические конструкции вместо теоретико-познавательных заключений о внешнем мире..... 70

2.1.3 Универсалии как логические атомы..... 72

2.2 Онтология, эпистемология и философия языка Рассела..... 74

2.2.1. Онтологика отношений..... 75

2.2.2 Логика и ‘чувство реальности’ 78
2.2.3 Теория типов 79
2.2.4 Коррекция определения числа и аксиома бесконечности 82
2.2.5 Логические фикции и аксиома сводимости 82
2.2.6 Примитивные значения и теория дескрипций 85
2.2.7 Эпистемологическая функция суждения 89
2.2.8 Логические объекты 91
2.3 Философия языка "Трактата": логика языка versus логика мышления 94
2.4 Логический атомизм "Трактата": от синтаксиса к онтологии 105
2.4.1 Синтаксис элементарного предложения 107
2.4.2 Изобразительная теория предложений 118
2.4.3 Онтологические следствия изобразительной теории 125
2.4.4 ‘Сказанное’ и ‘показанное’ 133
2.4.5 Операциональный принцип контекстности 139
3. Программа логического позитивизма (логического эмпиризма) 141
3.1 Критерий верификации 141
3.2 Основные положения феноменализма в Венском кружке 147
3.2.1 Феноменалистический анализ Морица Шлика 148
3.2.2 Первоначальный феноменалистический анализ Рудольфа Карнапа 153
3.3 Основные положения физикализма в Венском кружке 157
3.3.1 Физикалистский анализ Рудольфа Карнапа 157
3.3.1.1 Обращение к семиотике 158
3.3.1.2 Материальный и формальный модусы языка 180
3.3.1.3 Структура познания 181
3.3.1.3.1 Предложения наблюдения 181
3.3.1.3.2 Способ подтверждения косвенных высказываний 182
3.3.1.4 Вероятность и истинность 184
3.3.2 Ганс Рейхенбах 188
3.3.3 Карл Гемпель 193
3.4 Дискуссия о языке наблюдения 195
3.5 Формирование представлений о конвенционализме в философии науки Венского кружка 201
3.6 Критика логико-позитивистского анализа 214
3.6.1 Философия как логика науки 215
3.6.2 Логика как система тавтологий 216
3.6.3 Переводимость осмысленных высказываний на физикалистский язык 218
4. Львовско-Варшавская логическая школа и ее влияние на АФ 222

4.1 Философия языка и теория истины К.Твардовского..... 222
4.1.1 Семиотика в трудах К.Твардовского..... 222
4.1.2 Твардовский об истине..... 226
4.2 Радикальный конвенционализм К.Айдукевича..... 229
4.2.1 Метод парафразы..... 229
4.2.2 Истоки теории радикального конвенционализма..... 231
4.2.3 Языковое значение и принцип конвенциональности..... 237
4.3 Номинализм Ст.Лесьневского..... 246
4.3.1 Номинализм как эпистемология..... 246
4.3.2 Интенциональное отношение «единичного предложения существования»..... 247
4.3.3 Интуитивный формализм и конструктивный номинализм..... 258
4.4 Обоснование и критика реизма Т.Котарбинским..... 263
4.4.1 Онтология Котарбинского..... 263
4.4.2. Обоснование и критика реизма..... 268
4.4.3 Реизм и материализм..... 271
4.4.4 Дискуссия по вопросам истины и познания в связи с реизмом Котарбинского 275
4.5 Многозначные логики Я. Лукасевича..... 279
4.5.1 Возникновение и формализация модальных логик..... 279
4.5.2 Модальные логики..... 286
4.6 Теория истинности А.Тарского 290
5. Философия лингвистического анализа..... 304
5.1 "Лингвистический поворот" в философии XX века..... 304
5.2 Концепция "значение как употребление" и ее приложения 306
5.3 Анализ обыденного языка..... 319
5.3.1. Общая характеристика направления..... 319
5.3.2 Джон Уиздом 334
5.3.3 Гилберт Райл..... 337
5.4 Теория речевых актов Дж.Остина..... 348
5.5 Интенционалистские теории языка (П.Грайс, Дж.Серль)..... 354
5.5.1 Интенционализм Пола Грайса..... 355
5.5.1.1 Первая часть замысла: Анализ-толкование понятия подразумевания..... 356
5.5.1.2 Вторая часть замысла: Анализ-толкование понятия значения языкового выражения в терминах подразумевания..... 363
5.5.2 Грайсов "миф о происхождении языка"..... 364
5.5.2.0 Нулевая стадия..... 365
5.5.2.1 Первая стадия..... 365
5.5.2.2 Вторая стадия..... 365

5.5.2.3 Третья стадия..... 366
5.5.2.4 Четвертая стадия..... 367
5.5.2.5 Пятая стадия..... 367
5.5.2.6 Шестая стадия..... 368
5.5.2.7 Седьмая стадия..... 368
5.5.3 Отношения между ключевыми понятиями Грайсовой доктрины..... 369
5.5.4 Интенционализм Серля: теория речевых актов..... 371
5.5.4.1 Пролегомены Серлевой теории речевых актов..... 372
5.5.4.1.1 Понятия подразумевания (meaning) и значения (meaning) языковых выражений в составе Серлевой теории речевых актов..... 373
5.5.4.2 О содержании и функции речевых актов..... 375
5.5.4.2.1 Таксономия иллокутивных актов..... 375
5.5.4.2.2 Основания этой пятичленной классификации..... 377
5.5.4.3 Речевые акты и лингвистическая теория..... 377
5.5.4.4 Соотношение между интенционализмом и репрезентационизмом в Серлевой теории речевых актов..... 378
6. Реабилитация метафизической проблематики..... 379
6.1 Номинализм в аналитической философии 379
6.2 Дескриптивная метафизика П.Ф.Стросона..... 386
6.3 "Усовершенствованный реализм" А.Айера..... 397
6.4 Физикалистская метафизика Д.М.Армстронга..... 407
6.5 "Реализм с человеческим лицом" Х.Патнэма..... 409
7. Неопрагматистская критика эмпиризма и холистический тезис..... 417
7.1 Прагматический анализ..... 417
7.1.1 Неопрагматизм У.Куайна 421
7.1.2 Неопрагматизм Н.Гудмена..... 427
7.2 Концепция онтологической относительности и холистический тезис Куайна..... 438
7.3 Холистичность теории интерпретации Д.Дэвидсона..... 451
7.4 Молекуляризм М.Даммита..... 462
8. Связь истины и значения..... 472
8.1 Стандартная семантика Д.Дэвидсона..... 472
8.2 Инструменталистская семантика (М.Даммит, Г.Кастаньеда)..... 485
8.3 Трансляционная и теоретико-модельная семантика..... 488
8.4 Теоретико-игровая семантика Я.Хинтикки..... 490
9. Аналитическая эпистемология..... 493
9.1 Бертран Рассел: знание вещей и знание истин..... 493
9.2 Знание и мнение. Проблема обоснованности знаний..... 497

9.2.1 Проблема Гетье....501
9.3 Эпистемическая логика....505
9.4 Реализм и антиреализм: теоретико-познавательный аспект....507
9.5 Парадокс познаваемости и кризис антиреализма....512
9.6 Динамика знаний и убеждений....516
10. Понятие истины и его применение в аналитической философии....527
10.1 Аналитическое понятие истины....527
10.2 Корреспондентная теория истины....528
10.3 Дефляционная теория истины....534
10.4 Прагматическая теория истины....540
10.5 Ревизионная теория истины....546
10.6 Релятивистский подход к теории истины....549
10.7 Когерентная теория истины....558
10.8 Различение между истинностью и обоснованностью знания....568
10.9 Аргументы когерентной теории обоснования и перцептуальные утверждения..581
11. Конструктивистская парадигма и расширенные теории референции....591
11.1 Эпистемологический и онтологический плюрализм Н.Гудмена....591
11.2 Гипотеза лингвистической относительности Сепира — Уорфа....595
10.2.1 Эпистемологические основания концепции лингвистической относительности 596
11.2.2 Конвенциональность грамматики....600
11.2.3 Конвенциональность лексики....603
11.3 Конвенциональность истины и значения....608
11.3.1 Согласование концептуальных схем....608
11.3.2 Онтологический статус концептуальных схем....612
11.4. Каузальные теории референции....617
11.4.1 Идентифицирующие дескрипции....617
10.4.2 Жесткие десигнаторы....623
11.4.3 Индексикалы....629
11.4.4 Внутренняя реконструкция и внешнее сравнение языковых явлений....633
12. Проблема понимания....642
12.1 Концепция понимания языка М.Даммита....642
12.2 Аналитические модели объяснения....650
12.3 Проблема языка в современных исследованиях по искусственному интеллекту 663
12.3.1 Источник компьютерных аналогий....663
12.3.2 Критика «машинного функционализма»....665
12.3.3 «Машинное» решение проблемы языка мысли....668

12.4 Аналитическая философия и герменевтика (К.-О.Апель)....671
12.4.1 Исходные концепты при постановке проблемы....673
12.4.2 Трансцендентальная прагматика....677
13. Аналитическая философия сознания....684
13.1 Проблема психологического объяснения....684
13.1.1 Понятие сознания....684
13.1.2 Психофизический дуализм и скептические следствия....687
13.2. Бихевиористская редукция сознания....693
13.2.1. Аналитическая критика картезианской парадигмы....694
13.2.1.1. Картезианская модель сознания как результат категориальной ошибки..694
13.2.1.2. Устранение категориальной ошибки....696
13.3. Критика психологии «первого лица»....698
13.3.1 Бихевиоризм....700
13.3.1.1 Идея бихевиористской психологии....700
13.3.1.2. Логический бихевиоризм....703
13.3.2 Критика бихевиоризма....706
13.4 Физикализм....711
13.4.1 Материалистическая редукция сознания....711
13.4.1.1. Редукционизм и автономия психологического объяснения....711
13.4.1.2. Существенные свойства и априорная необходимость психофизического тождества....713
13.4.1.3. Апостериорная необходимость психофизического тождества....715
13.4.2. Физикализм без редукционизма....717
13.4.2.1. Тождество типов или тождество токенов....717
13.4.2.2. Материализм и множественная физическая реализация....721
13.5 Функциональный анализ ментального....724
13.5.1 Функционализм и когнитивизм....724
13.5.1.1 Элементы функционализма в изучении сознания....724
13.5.1.2 Когнитивистская психология....726
13.5.1.3 Функционализм и психофизическое тождество....727
13.5.2 Вариации функционализма....729
13.5.2.1 Функционализм в защиту материального сознания....729
13.5.2.2 Функционализм против физикализма....732
13.5.3 Трудности функционализма....735
13.5.3.1 Проблема отсутствующих качеств....735
13.5.3.2 Общие трудности функционализма....741
13.5.3.3 «Либерализм» и «шовинизм» в отношении сознания....743

13.6 Репрезентативное сознание..... 746
13.6.1 Язык мысли..... 747
13.6.1.1 Парадокс владения языком..... 747
13.6.2 Репрезентативность и концептуальная структура сознания..... 749
13.6.2.1 Репрезентативность перцепции..... 749
13.6.2.2 Концептуальные условия репрезентативности восприятия..... 752
13.6.3 Интенциональное сознание..... 757
13.6.3.1 Концепция интенциональности..... 757
13.6.3.2 Внешние и внутренние условия репрезентации..... 760
14. Аналитическая философия и феноменология..... 767
14.1 Возможен ли диалог аналитической философии и феноменологии?..... 767
14.2 Тематическое единство традиций..... 767
14.3 Методологический плюрализм традиций..... 773
14.4 Перспективы компаративных исследований: возможности аналитической философии..... 775
14.5 Перспективы компаративных исследований: возможности феноменологии..... 778
Глоссарий..... 785

Введение. Эволюция и основные характеристики аналитической философии

> Под анализом они (аналитические философы) подразумевают нечто, что, насколько бы точная его дескрипция ни была избрана, означало бы по крайней мере попытку переписать те утверждения, которые они находят философски невразумительными, в других и в некотором отношении более подходящих терминах[1].
>
> Дж.О.Урмсон

Аналитическая философия (АФ) — одно из наиболее влиятельных направлений современной западной философии, в центре внимания которого находятся анализ языка, понимаемый как ключ к философскому исследованию мышления и знания. Этот "лингвистический поворот" в той или иной степени характерен также для таких философских направлений как феноменология, герменевтика, структурализм. В отличие от классики, современная философия уже не считает возможным абстрагироваться от логико-лингвистического аспекта философских проблем. Вместо традиционного осуществления философского анализа путем определения понятий, аналитический подход ориентирует на соответствующее использование языка: в начальный период развития АФ — формального, а затем и естественного. Термин "аналитическая философия", не будучи строгим, подразумевает традицию систематического применения аналитико-языковых методов при решении всевозможных, в том числе философских проблем посредством их ясной репрезентации, адекватного соотнесения вербального и реального и последовательного преодоления возникающих здесь трудностей. Речь идет об аналитико-языковом понимании природы и задач философии вообще. Аналитическая точка зрения исходит из того, что язык обуславливает все сферы многообразной деятельности человека и представляет интерес не только в качестве средства передачи некоторого содержания, но и как самостоятельный объект исследования, необходимый компонент любого рационального дискурса.

АФ в целом не представляет собой единой теории, принимаемой всеми многочисленными школами философии анализа. Единственной объединяющей аналитиков на начальном этапе развития АФ установкой была уверенность в возможности решения (или элиминации) философских проблем с помощью анализа языка — искусственного или естественного, а термин "аналитическая философия" использовался и продолжает использоваться для обозначения разных школ англо- и немецкоязычной философии, воспринявших логическую технику философского анализа ("логический атомизм", "логический позитивизм" или "логический эмпиризм" и др.). Метафизика как ложное учение, лишенное смысла с точки зрения логических норм языка, устраняется, и анализ выступает как "анти-метафизика". Однако сама по себе антиметафизическая направленность не оказалась ни доминирующей, не решающей. В итоге, вопреки исходным манифестам Рассела, аналитическое движение вовлекло авторов, исходящих из

[1] Urmson J.O. Philosophical Analysis. Oxford: Clarendon, 1956, p.vii

различных установок, но тем не менее заинтересованных в аналитической методологии, примененной в различных областях философии. Общим условием, которое позволяет объединить всю эту совокупность под единым наименованием "аналитической философии", сегодня считается наличие некоторого стиля аргументации и письма в качестве рабочего способа философствования, влияющего на постановку целей и задач философии.

Таким образом, в основе АФ лежат некоторые принципы, благодаря которым приобретаются свои особые и ставшие уже традиционными для этого течения философской мысли аспекты стиля. Это прежде всего склонность к лаконичности, детальности и углублению в поиски тонких отличий; использование языков, которым присуща терминологическая ясность и определенность, а также схем и формализмов. Такая аргументация отличается строгостью, возможностью контроля и перепроверки, когда каждый шаг рассуждения обоснован, как бы напоминая математическое исчисление. Во-вторых, это склонность считать философию всеобщим предприятием, в основе которого лежит попытка определять единую почву обсуждения и договоренностей посредством возвращения к признанным языковым моделям (например, к модели языка, характеризуемой еще Лейбницем). Оба аспекта указывают на особое значение логики в этом соглашении и самоопределении аналитической работы. Философы-аналитики убеждены, что их работа приложима к реальным и конкретным объектам и ситуациям ради достижения истины, а не к метафизическим фантомам вроде "бытия", "сущности", и, тем более, отнюдь не к трансцендентным объектам, которыми так увлечены континентальные философы.

Постепенно "аналитическая философия" перестает быть общим обозначением некоторой группы философских школ и направлений и превращается в определенный стиль философского мышления. Во второй половине XX века все основные разделы философии — от философии природы до философии человека, истории, социальной жизни, религии и искусства — оказываются охвачены этим стилем. АФ как стиль мышления основана на языковом подходе к проблемам любой области знания. В последние десятилетия произошел явный поворот аналитической философии к прикладным областям исследования; активно развиваются аналитически ориентированная философия права, экономики, образования, политики. При этом аналитики стремятся преодолеть стереотипный образ философии как консервативной и чисто академической дисциплины, изолированной от процессов социально-культурной жизни. Для новейшей АФ не характерно выдвижение широких программ или теоретических манифестов, как это было свойственно, например, логическим позитивистам 20-х — 30-х гг.

Следовательно, можно говорить о двух смыслах употребления понятия "аналитическая философия". В узком смысле слова под АФ понимается доминирующее направление в современной, в первую очередь, англоязычной философии. В широком смысле слова АФ можно квалифицировать как определенный стиль философского мышления, связанный с методологическим аспектом ее программы. Методика аналитического подхода требует, чтобы каждое выдвигаемое положение было строго обосновано с точки зрения ясности посылок: правомерности формулируемого вопроса; однозначности используемых терминов; логичности рассуждения; предпочтение доказательной аргументации идей перед их эмоциональным воздействием; соотнесения посылок и выводов; осторожное отношение к широким философским обобщениям, абстракциям и спекулятивным

рассуждениям. Чем данный подход отличается от классического рационализма? В отличие от традиционного рационализма здесь устанавливается запрет на предельно широкие, основанные на интуитивной вере, семантически неточные обобщения. Именно акцент на аргументированности, мастерстве доказательства составляет главный признак аналитического стиля философствования. Безусловно, некоторые из перечисленных качеств присущи и другим направлениям западной философской мысли. Но ни в одном из них эти качества не являются преобладающими.

Поэтому мы хотим ввести — подчеркивая, разумеется, его условный характер — следующее рабочее определение АФ:

АФ — это философия, последовательно устраняющая из аргументации метафоры и произвольные аналогии.

Такое определение, конечно, не может рассчитывать на более чем рабочий характер (не говоря уже о том, что и здесь немало исключений — чего стоят одни лестница и муха в бутылке Витгенштейна), однако сами его инструментальность и "формальность" уже должны настроить читателя на соответствующий лад.

Адепты аналитического движения, исходя из укорененности этой традиции в Англии, противопоставляют свою линию — как научно правильную — так называемой "континентальной" (т.е. французской, немецкой и другой философии континентальной Европы преимущественно XX века, когда оформилось это противостояние). Последняя характеризует, скорее, те или иные поэтическо-художественные представления и впечатления мыслителей-поэтов, отзывающихся на личные жизненные происшествия. В ее основе лежит, чаще всего, метафора, в крайнем случае — аналогия, в отличие от аналитической философии, признающей базовым отношением отношение логического следования в той или иной форме. Континентальная философия, с радикальной аналитической точки зрения, просто выпадает из истории развития современной философской мысли. Вот как, например, судит о континентальной философии Ричард Рорти: "Это позволит взглянуть на Канта как на “высшую точку "умозрительной" ("спекулятивной") философии”, по выражению Рейхенбаха, и легко перескочить через XIX и начало XX века (эта привычка все еще сохраняется среди философов-аналитиков, которые рассматривают временной интервал от Канта до Фреге как некий период замешательства)"[2]. Однако нелегко согласиться с Рорти в том, что предикат "аналитическая" не применим, в определенном смысле, ко всей современной философии в целом. Как уже было сказано, аналитические методы проникли в те области, которые изначально основателями АФ (в частности, Расселом) признавались для нее избыточными, а позже в рамках АФ — вообще псевдопроблематичными областями. Поэтому, поскольку аналитическое движение демонстрирует свою самодостаточность в перекрывании современного философского поля, целесообразно начать с его истоков.

Истоки аналитической традиции можно увидеть в древнегреческой философии. Достаточно вспомнить диалектику Платона, Аристотелевы "Аналитики", семантические идеи софистов и стоиков и т.д. В средневековой западноевропейской философии это семантические идеи британских схоластов Дунса Скота и У.Оккама; схоластические трактаты и диспуты — эталоны

[2] Рорти Р. Американская философия сегодня — Аналитическая философия: становление и развитие (антология). М., 1988. С.434.

доказательности, аналитичности и концептуальной строгости. В Новое время преимущественное внимание к языковой и эпистемологической стороне философской. деятельности становится отличительной чертой британской философии. В критической эпистемологии Ф. Бэкона «идолы рынка (площади)», препятствующие познанию истины, возникают в результате беспорядочной речевой коммуникации. Классификация языковых знаков Т. Гоббса лежит в основе его аналитико-синтетической методологии исследования естественных и искусственных тел (в т.ч. государства). Выдвинутый Дж. Локком принцип психологического атомизма (мышление предстает как комбинирование исходных элементов чувственности – «простых идей») был развит Дж. Беркли, рассматривавшим все вещи и явления как комбинации идей-ощущений, источником которых является Высшее существо (реальная причинная связь заменена у Беркли знаковыми отношениями между группами ощущений). В более последовательной феноменалистской доктрине Д. Юма единственный вид реальности – сфера перцептуального опыта – представлена как сложная ассоциативная комбинация «впечатлений» и их копий – идей. Линию Юма и других британских эмпиристов-аналитиков продолжил в 19 в. Дж.С. Милль, усовершенствовавший логико-индуктивные процедуры философии и методологии науки (символично, что он был крестным отцом Б.Рассела). Важный вклад в формирование аналитического стиля философствования внесли такие представители «континентальной» европ. философии, как Р. Декарт, разработавший новую модель сознания (философы-аналитики считают его основателем философии сознания (philosophy of mind) в современном понимании), Г.В. Лейбниц, создавший логическую теорию отношений, И. Кант, трансцендентальная аргументация которого стала для философов-аналитиков одним из излюбленных приемов рассуждения и доказательства.

Язык является предметом пристального изучения в аналитической философии по той же причине, по которой идеи являлись предметом изучения для философов, начиная с XVI-XVII вв., когда сформировалось классическая концепция философского анализа: идеи в то время и предложения сейчас служат границей между познающим субъектом и знанием. Таким образом, переход от философской классики к периоду анализа связан с изменением объекта исследования: на место "идей" приходят лингвистические сущности — предложения (а впоследствии и термины). В некоторых школах АФ это приводит к тому, что познающий субъект сдвигается на периферию когнитивного процесса или вообще элиминируется, и дискурс начинает рассматриваться как автономный. В то же время АФ наследует традициям изучения оснований знания как в его эмпирической, так и в рациональной — логической и/или концептуальной форме.

Тем не менее невозможно назвать точную дату начала аналитического движения, поскольку многое зависит от того, что считать определяющим для аналитической программы. Одна из точек зрения историков философии — безусловно, редуктивная — состоит в том, что зарождение аналитического движения в начале XX века можно считать связанным с кризисом метафизической философии и развитием идей “второго позитивизма” Эрнста Маха и Рихарда Авенариуса. Если делать акцент на ригористической трактовке философии как "науки", то достаточно очевидно восхождение АФ к Брентано и его последователям, которые были основными теоретиками "научной" философии в XIX и на рубеже XIX-XX веков. Если появляется акцент на применении "анализа" в качестве рефлективной процедуры (Э.Тугендхат), то уместно думать, что уже Фреге в XIX веке придал

лицо "аналитической" философии во всех ее чертах, и что окончательно вся традиция "чистой" философии, от Аристотеля к Декарту и Канту, могла считаться традицией без осознания лингвистического анализа[3]. Если, напротив, основная роль в анализе отводится процедуре сравнения между здравым смыслом и философским языком (идея анализа, которая была свойственна Муру и его последователям), то в таком случае происхождение АФ следует признать еще более ранним, восходящим к шотландской школе здравого смысла. Рассуждая же о практике анализа в качестве простой эксплуатации языка, не зараженной влиянием эпистемологии, можно определять как "аналитическую философию" ту ее разновидность, которая возникла позже в Англии благодаря исследованиям в Оксфорде и Кембридже начиная с 30-х гг. и ознаменовавшихся, в частности, трудами позднего Витгенштейна, Райла, Остина и многих других.

Чтобы учесть все эти аспекты, необходимо допустить, что непосредственными предшественниками и основоположниками аналитического движения в его нынешнем понимании были

- Фреге,
- Брентано,
- некоторые ученики Брентано,
- Рассел,
- Мур,
- ранний Витгенштейн,

но также и то, что настоящее аналитическое движение возникло позже, с появлением "лингвистической философии", прежде мыслимой в качестве "логической" философии, а потом в качестве анализа языка (обычного или "идеального"). В этой перспективе начальный период АФ может быть обозначен 1930 годом. Сам термин "аналитическая философия" вводит в оборот Густав Бергманн уже после 2-й мировой войны. В целом же наиболее яркими представителями АФ обычно считают Готлоба Фреге (1848-1925), Бертрана Рассела (1872-1970), Джорджа Мура (1873-1958), Людвига Витгенштейна (1889-1951), Рудольфа Карнапа (1891-1970), Джона Остина (1911-1960), Гилберта Райла (1900-1976), Уилларда Ван Ормана Куайна (1908-2000), Нельсона Гудмена (1911-1998), Дональда Дэвидсона (1917-2003) (список, разумеется, может быть расширен) — невозможно представить себе АФ без каждого из них.

В развитии аналитического движения до 2-й мировой войны выделяются два основных компонента:

- центральноевропейский логический позитивизм (австрийская логика, Венский кружок и его "филиалы" в других городах Австрии и Германии, Львовско-Варшавская школа) и
- деятельность первых кембриджских аналитиков (Рассел, Мур).

Принципиальным моментом здесь является контаминация этих двух компонентов традиции, поскольку логический позитивизм (венской версии) вдохновлялся логическими нововведениями Рассела и Уайтхеда ("Principia Mathematica", 1910-13) более, чем работами Пеано и Фреге (последние, впрочем, оказали основное

[3] Хотя к Аристотелю это, разумеется, относится с оговорками — известно, что наиболее полный его набор категорий (в работе "Категории") представляет собой не что иное, как варианты грамматических предикатов в синтаксисе древнегреческого предложения. Здесь можно назвать также традиции стоиков, индийской школы ньяя, логикоморфной грамматики Пор-Рояля, однако все это не меняет сути того, о чем идет речь.

влияние на формирование окончательных взглядов Рассела), а также "Трактатом" Витгенштейна, фоном которого служат идеи Рассела в не меньшей степени, чем идеи Фреге. Кроме того, работы Фреге могут быть представлены в качестве единого фона этих двух субнаправлений: статьи Фреге были в значительной степени ориентиром и для Рассела, и для австрийских, немецких, польских неопозитивистов; впрочем, как утверждает Даммит, Фреге предвосхитил "лингвистический поворот" во всех своих вариантах, включая пробуждение интереса к обыденному языку, а также к побудительным и прагматическим аспектам языка. Наконец, идея философии в качестве строгого логического анализа, как общей парадигмы всех аналитических мыслителей, возможно, восходит к австрийской мысли второй половины XIX века: таким образом, не только к Готлобу Фреге, но также к Францу Брентано, Бернарду Больцано и Рудольфу Лотце.

Имеются прямые свидетельства того, как посредством философии Брентано континентальная культура проникла в стиль английской философии: и Брентано, и его ученики имели непосредствнное влияние на развитие английской мысли[4]. Этот тезис об австрийском происхождении аналитической философии основан на том факте, что в австрийской философии XIX века уже присутствовали все типичные темы аналитического движения, то есть идея строгой философии, первенства тщательного логического анализа, интерес к онтологической и когнитивной проблематикам (отметим, что имеется в виду эмпирический тип последней). Питер Саймонс, один из самых известных сторонников этого историографического тезиса, считает[5], что аналитическая философия возникла в 1837 году, с публикацией "Wissenschaftslehre" Больцано. Однако, с его точки зрения, начало собственно аналитического движения связано со вторым этапом аналитической философии, уже в XX веке — начиная с оккупации Варшавы в 1939, и в нем основную роль Саймонс отводит польской философии в период между двумя мировыми войнами, состоящей из определенной комбинации логического платонизма и эмпиризма и сливающейся воедино с философией Габсбургской империи — Больцано и Брентано. Другой историк философии, Криштоф Нири, подчеркивает влияние в духе платонизма и эмпиризма, оказанное Брентано на основателя Львовско-Варшавской школы Твардовского и других ее участников[6].

Можно считать, что исходные проблемы и понятия АФ были достаточно явно сформулированы в работах Фреге: это прежде всего

- новое понимание языка, который начинает рассматриваться как исчисление, аналогичное математическим теориям;
- отделение анализа структуры мысли, самым правильным методом для которого является анализ языка, от изучения психологического процесса мышления;
- различение между *смыслом* (Sinn) и *значением* (Bedeutung) языкового выражения, согласно которому всякое имя обозначает некоторый предмет (называемый значением, денотатом или референтом имени) и выражает некоторый смысл, определенным образом характеризующий значение имени;
- представление о том, что слова имеют значения лишь в составе предложений и вытекающий отсюда принцип композициональности, согласно которому значения слов заключаются в том вкладе, который они вносят в значение

[4] Smith Barry. Austrian Philosophy: The Legacy of Franz Brentano. La Salle and Chicago: Open Court, 1994.
[5] Simons Peter. Philosophy and Logic in Central Europe. Dordrecht, 1992.
[6] Нири Криштоф. Философская мысль в Австро-Венгрии. М., 1987. С.104.

предложения, а значение предложения (как и любого сложного выражения) определяется значением его конституэнт;

- и, наконец, вывод о том, что значением повествовательного предложения является его истинностное значение.

Однако реальное осуществление метод и концепция АФ получили в Англии (Кембридж), где их основоположниками стали Дж.Э.Мур и Б.Рассел. Процедуры языкового уточнения и прояснения философских понятий, суждений, проблем они назвали "логическим анализом". Этот термин, вначале относившийся к методу исследований, позднее определил название всего философского направления, причем понятие "анализ" берется не в каком-либо специальном, а в достаточно общем значении, практически как синоним понятия "рациональное, дискурсивное рассуждение".

В период, когда формировались проблемы и понятия АФ, в философской мысли Англии главенствовало британское неогегельянство — школа абсолютного идеализма (Ф.Брэдли, Х.Иоахим, Б.Бланшар и другие, внесшие, кстати, значительный вклад в формирование когерентной теории знания). Философия "здравого смысла" и позитивизм были тем временем отодвинуты на второй план (что явилось, в частности, реакцией на Спенсера и Бокля, и, тем более, на континентальный сугубо материалистический позитивизм). В британском неогегельянстве резко противопоставлялись "реальность" и "кажимость", материя считалась иллюзией, пространство и время — ирреальными. Другой характерной чертой абсолютного идеализма был холизм — усиленный акцент на "целостность" абсолюта, безусловное главенство целого над отдельными, конечными явлениями. В социально-политическом плане такой подход предполагал поглощение индивида государством, а в теории познания — всевластие синтеза над анализом. Такая познавательная ситуация ослабляла основу аналитического мышления с его методом логического расчленения действительности тем или иным способом (здесь употребляются — в достаточно, разумеется, контекстуальном аспекте — такие термины, как атомизм, партикуляризм, элементаризм).

Начиная с конца 1880-х годов, Мур и Рассел выступили против абсолютного идеализма, противопоставив ему философский "реализм" и "анализ". Учению об Абсолюте и принципу холизма были противоположены плюрализм и атомизм. По методам исследования и Мур, и Рассел выступили как аналитики, дав стимул аналитическому движению в философии. Внимание Рассела сосредоточилось на аналитических возможностях символической логики и исследовании оснований математики. Мура же занимал анализ философских понятий и проблем средствами обычного языка и здравого смысла. (Характерно название знаменитой статьи Дж.Э.Мура — "Возрождение реализма и здравый смысл"). По праву считается, что он возродил исконно английскую философскую традицию эмпиризма и здравого смысла, акцентируя при этом внимание на языке — что и стало истоком АФ. Вслед за ним Рассел впервые обосновал и применил анализ как собственно философский метод. Рассел определял процесс анализа как переход от чего-то неясного, неопределенного, неточного к ясным, четким, определенным понятиям, составляющим последний предел анализа и являющимся в этом смысле "атомами" языка (отсюда название его концепции — "логический атомизм"). Атомы логически совершенного языка должны взаимно однозначно соответствовать фактам. Неогегельянской логике "внутренних отношений" и философскому монизму Рассел противопоставляет логику "внешних отношений" и образ

плюралистической Вселенной, соответствующий, как ему представлялось, характеру современной науки и "реалистическому" взгляду. Полемика Рассела с теорией внутренних отношений Брэдли и его единомышленников оказалась важным отправным пунктом для всего аналитического движения, а самого Рассела привела к построению плюралистической онтологии, в основе которой была логика внешних отношений.

Логико-философские идеи Рассела находят дальнейшее развитие у раннего Витгенштейна, которому принадлежит характерное аналитическое толкование философских проблем как особых, имеющих в отличие от проблем конкретных наук не предметно-содержательный, а концептуально-языковый, или "грамматический" характер, как связанных со сложной корреляцией вербального и реального ("Логико-философский трактат"). Философия в понимании Витгенштейна не есть теория, знание-результат. Философия — это совокупность различных методов прояснения, незамутненного видения реальности сквозь речевые средства ее выражения. Для решения этой задачи изобретается особая практика речевого прояснения или анализа. Философия есть деятельность, необходимая для "логического прояснения мыслей", поскольку большинство философских вопросов и трудностей возникает вследствие того, что "мы не понимаем логики нашего языка"[7], а следовательно, эти вопросы представляют собой "псевдопроблемы", для снятия которых и необходима практика анализа, подразумевающая перевод всех предложений, любой степени сложности, в атомарные предложения, репрезентирующие простейшие элементы действительности — атомарные факты. Целью выявления структуры обычного языка, таким образом, является его перевод на логически совершенный язык.

Последняя идея стала программной для разработки концепций логического позитивизма в Венском кружке (М.Шлик, О.Нейрат, Р.Карнап, Г.Хан, Ф.Вайсман, К.Гедель, Г.Фейгль, а также сотрудничавшие с ними Г.Рейхенбах в Берлине, Ф.Франк в Праге, А.Айер в Оксфорде), занимавшемся проблемами логического анализа науки. Анализ подразумевал здесь редукцию предложений теории к некоторым базисным предложениям, в качестве которых первоначально принимались, вслед за Расселом, предложения, выражающие чувственный опыт (феноменализм), а впоследствии — предложения, описывающие наблюдения физических объектов (физикализм). Обе эти разновидности логического позитивизма в качестве нормы всякого знания принимают научное знание, единственными осмысленными выражениями считают эмпирические высказывания и тавтологии и обращаются к искусственным языкам для исправления неточностей и двусмысленностей обыденного языка. Отсюда вытекает также характерный для Венского кружка принцип верификационизма, согласно которому критерием значения предложения является возможность его проверки. В своей наиболее радикальной форме он выглядит так: предложение **Σ** имеет значение тогда и только тогда, когда оно не является аналитическим предложением или противоречием, и если логически следует из непротиворечивого конечного класса предложений **Ф**, причем элементами этого класса предложений являются предложения наблюдения. Этот принцип был значительно расширен и ослаблен в ходе обширных дискуссий, продемонстрировавших его методологические дефекты. Следствием этого явилось, в частности, включение в анализ языка науки не только логического синтаксиса, но и семантики, а впоследствии и прагматики.

[7] Витгенштейн Л. Логико-философский трактат. М., 1958. 4.003.

Здесь уместно сделать замечание о соотношении понятий "аналитическая философия" и "неопозитивизм". Последний, как "третий" позитивизм, отличается от предшествующих ему форм позитивизма. В отличие от "первого", классического позитивизма (О. Конт, Г. Спенсер) неопозитивизм видел задачу не в систематизации и обобщении специально-научного знания, а в деятельности по анализу языковых форм знания. В рамках "второго" позитивизма (Э.Мах, Р.Авенариус) ставился вопрос о существовании объективной реальности, отношении сознания к этой реальности. Неопозитивизм трактует эту проблему как вненаучную, принадлежащую метафизике, т.е. как псевдопроблему. Согласно господствовавшей в отечественной философско-критической и учебной литературе на протяжении долгого периода точке зрения, любая строгая философия, уделявшая значительное внимание логико-лингвистической стороне обсуждаемых вопросов, однозначно квалифицировалась как неопозитивизм. Он трактовался как субъективный идеализм и феноменализм, дополненный некоторыми идеями современной логики.

Однако изучение истории аналитического движения в XX столетии показывает, что позитивистские черты были присущи лишь отдельным разновидностям аналитической философии на определенных этапах ее развития, и концепции многих ведущих аналитиков имели антипозитивистскую направленность. Так, в частности, позитивистская тенденция преобладала в концепциях членов Венского кружка. Идеи Р. Карнапа, одного из его лидеров, явились своеобразным манифестом раннего — радикального — этапа логического позитивизма. Его знаменитая статья "Преодоление метафизики логическим анализом языка" может служить крайним выражением антиметафизических настроений "континентальных" аналитиков в 30-е гг. В определенном смысле логический позитивизм был продолжением и иной формой предшествовавшего ему позитивизма Маха—Авенариуса ("эмпириокритицизма"), который фактически был воссозданием на ином языке эмпиризма Юма. Отличительные черты логического позитивизма — осознание кризиса традиционных метафизических философских проблем и сведение их к проблеме анализа языка философии и науки. Логические позитивисты считали, вслед за Витгенштейном, что традиционные вопросы метафизики (бытия и сознания, свободы и необходимости, добра и зла и др.) возникают из чересчур вольного обращения с языком. Если построить жесткий однозначный логический язык, считали они, то все эти проблемы сами собой исчезнут, а останутся лишь конкретные вопросы изучения природы, разрешаемые естественными науками.

Выявленные реальные слабости и противоречия этой программы (крайняя "антиметафизическая" установка, односторонний индуктивизм, верификационизм и редукционизм в методологии науки, резкая дихотомия аналитического и синтетического, феноменализм в теории познания и т.д.) в историческом плане способствовали преодолению этапа логического позитивизма и потребовали серьезной модификации аналитического подхода. В то же время предшественников логического позитивизма Рассела и Витгенштейна трудно считать позитивистами, поскольку у них не было того фактического упразднения философии, которое обычно приписывается "классическому" позитивизму. Так, критика Рассела философских систем прошлого сводилась к тому, что традиционная метафизика давала неправильное объяснение мира вследствие применения "плохой грамматики". Для воплощения истины необходим более аналитичный язык. Но Рассел не отвергал саму задачу объяснения и понимания

мира и искал средства, необходимые для его правильного рассмотрения. Речь шла о новом виде логики, которую следовало разработать для метафизического употребления. Таким образом, невозможно на основе отдельных эпизодов из истории аналитического движения категорически оценивать его в целом как неопозитивизм.

В середине тридцатых годов выходит несколько канонических для неопозитивистского анализа работ с изложением основных принципов "лингвистической" философии: "Логический синтаксис языка" Рудольфа Карнапа (1934), "Язык, истина и логика" Альфреда Дж. Айера (1936). Кроме того, в эту же эпоху начинается распространение неопозитивистской мысли в англосаксонском мире — в дополнение к ~~изоморфным~~ мыслям Рассела, Уайтхеда, Рамсея и их учеников.

С приходом к власти Гитлера многие немецкие, австрийские и польские интеллектуалы были вынуждены эмигрировать и найти убежище в Америке, где испытывают плодотворное влияние прагматизма, или в Англии, где начинается диалог (направляемый прежде всего Айером) между идеями Венского Кружка и английской аналитической традицией. В Англии все же неопозитивизм не получил широкого распостранения, и напротив, все больше развивалась традиция философского анализа, выдвинутого Расселом и Муром.

Таким образом, в тридцатые годы начинает обрисовываться следующая ситуация: логико-неопозитивистский компонент распространяется в Соединенных Штатах, тогда как собственно аналитический компонент — в Англии. В обоих случаях философская деятельность понимается в качестве анализа языка, сопровождающегося определенными требованиями к строгости. В обоих случаях философский анализ задуман преимущественно в качестве логического анализа; принимается, что логика, в качестве нормативной структуры, позволяет видеть некоторый внутренний порядок языка, начиная с целого, может оценивать правильность или неадекватность формулировок традиционной философии и приводить к исключению псевдопроблем. Однако в американском развитии анализ языка чаще сопряжен с вопросами металогики, теории науки, эпистемологии, в то время как в английском — чаще всего с рассмотрением проблематики философской классики.

В 1929 году в Англию вернулся Витгенштейн; с 1939 года он преподавал в Кембридже. Поздний Витгенштейн был так же критичен по отношению к возможности философской теории, как и в "Трактате", но акцент в его работах сместился на анализ повседневного языка, его функционирование в контексте всей человеческой деятельности, изучение того, каким образом он ведет нас к заблуждениям. Оставив задачу выявления априорной структуры языка и его логической формы, общей языку и миру, он обратился к коммуникативной стороне языка. Витгенштейн показал, что слова обладают значением лишь в той степени, в какой оказываются составной частью деятельности человека. В этом смысле анализ в поздних текстах Витгенштейна выступает как описание функциональной роли слов и выражений, порождающей их значение. По-иному, чем Фреге и Рассел, он видит различие философского и собственно лингвистического подхода к языку, выделяя "поверхностную" и "глубинную" грамматику. В первом случае подразумевался обычный грамматический синтаксис, во втором, уровень так называемых "языковых игр". Языковые игры представляют собой взаимопереплетение различных форм человеческой активности, выступающих для

человека как его "формы жизни", в которые он погружен и правилам которых он следует.

В связи с поздними работами Витгенштейна в 1930-40-х гг. в Англии формируется философия лингвистического анализа (или анализа обычного, естественного языка): в работах Г. Райла, Дж. Уиздома, Дж. Остина и др. получают развитие идеи, созвучные мыслям позднего Витгенштейна. Различие между логическими позитивистами и лингвистическими философами состоит в том, что первые в качестве техники анализа использовали аппарат символической логики и разрабатывали его, вторые же выработали особую технику анализа значений обыденного языка. В отличие от логических позитивистов философы этой волны, как правило, решительные противники сциентизма. Вместе с тем неопозитивистская идея о том, что философские проблемы возникают вследствие неправильного употребления языка, характерна и для этого направления. Как и для Витгенштейна, главный предмет их интереса — сама философия. Они хорошо чувствуют тесную связь специфики философских проблем с механизмами реально работающего языка, понимают их принципиальное отличие от проблем науки. Их внимание привлекает исследованная Витгенштейном проблема дезориентирующего влияния языка на человеческое мышление.

Итак, если на "логическом" этапе АФ ведущей дисциплиной была "философия логики" (это название ввел Рассел) и связанная с ней антипсихологистская эпистемология, то на следующем, лингвистическом, этапе на первый план выходит уже эпистемология, получившая более эмпиристскую окраску (в особенности у логических позитивистов). В эпистемологии главный вопрос состоит в выяснении того, как употребляющий понятия человек формирует свои убеждения относительно реальности. Базисное понятие истины служит здесь связующим звеном между теорией познания и теорией лингвистического значения. Главный пафос аналитических исследований на этом этапе первоначально был связан, как уже отмечалось, с резкой критикой метафизики (Карнап, Венский кружок и др.). Со временем неприятие традиционной философской ("метафизической") проблематики сменилось интересом к ее освоению новыми логико-лингвистическими методами. К этому этапу эволюции собственно лингвистической философии, получившему наибольшее распространение в англоязычных странах в 30-50-е гг., следует отнести деятельность Г. Райла, Дж. Остина, П. Стросона; начиная с 60-х гг. развились такие исследования речевых актов, которые не только представляли лингвистическую философию, но и соприкасались с теоретической лингвистикой. (Дж.Серль, М.Даммит, Д.Дэвидсон и др.). Первоначальный тезис о беспредпосылочности деятельности философа постепенно стал сменяться представлением о том, что сама логика и структура языка базируются на некоторых предпосылках, включенных в состав более широких целостностей, в состав культуры, разных видов деятельности. Было пересмотрено характерное для раннего периода АФ положение о том, что с помощью экспликации можно окончательно, точным и ясным образом решать философские проблемы. Стало ясно, что деятельность по экспликации значений исходит из ряда предпосылок, и в этом смысле она условна, не окончательна, не абсолютна.

Согласно общей установке аналитиков лингвистической ориентации, философ не столько дает знание, сколько занимается терапевтической деятельностью, удаляя мнимое знание. В этом плане особое значение для аналитиков представляют не

только формально-методологические особенности тех или иных концепций, но и их метафизические основания. Метафизика признается одной из главных аналитических дисциплин, наряду с эпистемологией и философией языка. Широкое распространение в этот период получил взгляд на философию как на анализ, заключающийся в изучении значений слов, форм нашего мышления о мире и отношений между понятиями. Философия в таком понимании ничего не может прибавить к нашим знаниям о мире, в лучшем случае она может дать "аналитические" истины, которые фактуально бессодержательны и истинны благодаря значениям своих терминов.

Новейшие установки АФ стали очевидны в работах У.В.О.Куайна, который был критически настроен против ряда неопозитивистских идей. Решающее значение имело опровержение Куайном разграничения так называемых аналитических предложений (т.е. предложений логики и математики, зависящих только от значения составляющих их терминов) и синтетических (эмпирических) предложений, основывающихся на фактах. Куайн также отверг принцип верифицируемости значения, требующий подтверждения или отрицания каждого отдельного утверждения, поскольку считал ошибочным рассматривать изолированные предложения, отвлекаясь от их роли в контексте языковой системы или теории. Этому подходу он противопоставил холистическую установку: проверке в науке подлежит система взаимосвязанных предложений теории, а не отдельные предложения или гипотезы. Куайнова точка зрения не оставляет места для особого философского знания. Философия принципиально не отличается от естественных наук, выделяясь лишь использованием более общих категорий, чем какая-либо из конкретных наук. В то же время Куайн последовательно противостоял бессодержательной, чисто формальной философии.

В центре внимания аналитиков, разрабатывающих философию языка, начиная с 60-х гг. оказываются теории значения и референции. Их результаты используются затем для анализа онтологических, научных, этических, религиозных утверждений. Главные вопросы здесь: что такое значение, каким образом слова нашей речи могут указывать на вещи в мире? Предполагается, что понимание значения того или иного конкретного выражения, философское рассмотрение отдельных тем или предметных областей может быть осуществлено только в контексте ответа на эти общие вопросы. При этом остается неясным и неопределенным, "где кончается лингвистика или психология и начинается философия"[8]. По этим вопросам наметилось противостояние двух основных трактовок языкового значения: традиционной интерналистской, имеющей корни в картезианской теории ментального, и экстерналистской. Согласно экстернализму, представляющему социально ориентированный и по своей сути антикартезианский взгляд на природу языка, значение выносится из внутреннего ментального мира говорящего и рассматривается как внешний, социальный феномен. Аргументы, выдвинутые развивающими экстерналистский семантический подход философами — такими, как С.Крипке, Д.Каплан и Х.Патнэм, привели к заключению, что языковая референция и значение — это прежде всего внешние, социальные феномены, противостоящие внутренним, ментальным феноменам. Отказ от традиционного картезианского взгляда на природу ментального означает, что наши мысли, убеждения, намерения и желания, в сущности, характеризуются отношением к внешним, контингентным (т.е. не являющимся логическим

[8] Страуд Б. Аналитическая философия и метафизика — Аналитическая философия. Становление и развитие (антология). С. 523.

необходимым) объектам, а не своим чисто концептуальным содержанием. Существенной чертой анализа языка становится характеристика соотношения языка и внеязыковой реальности, соотношения языка и деятельности человека (в том числе социальной деятельности). Это свойственно и формальной семантике Д.Дэвидсона, основанной на концепции значения как условий истинности, но встраиваемой в общую теорию интерпретации, и антиреалистической инструменталистской семантике М.Даммита, сочетающей терминологию Фреге с идеями математического интуиционизма, в котором Даммит видит альтернативу реализму и логическому принципу бивалентности, и каузальным теориям референции (К.Доннелан, Крипке, Патнэм), подчеркивающим социокультурную детерминацию референциальных значений. Более того, эта метахарактеристика находит специфическое отражение не только в теориях языкового значения, но и в теории познания в целом, что сказывается в первую очередь в дополнении понятия истинности знания понятием его обоснованности (Р.Чизом, Э.Плантинга, Л.Бонжур, Э.Соса).

Для многих ведущих аналитиков, начиная с П.Стросона, характерно обращение к трансцендентальной Кантовой проблематике, однако если Кант исследовал возможность познания без обращения к языку как таковому, то аналитики ориентированы на язык. Анализ языка претендует на достижение типично кантианской цели: выявление априорных условий познания и деятельности на основе одного лишь факта сознания. В целом развитие АФ от Рассела к послевоенной философии Карнапа, Куайна и Гудмена характеризуется, в частности, тем обстоятельством, что откровенный реализм Рассела уступил место более кантианской позиции: универсум рассуждения (множество референтов) теперь уже не отождествляется простым образом с реальностью как таковой. Абсолютную реальность, "мир" можно описывать в различных системах, универсумы рассуждения которых артикулируются различным образом. Это различие между универсумом рассуждений и реальностью влечет за собой еще одно различие — между "онтологией" и "метафизикой". Совокупность общих категорий универсума принято называть "онтологией" и каждая семантически развитая система обязана специфицировать свою онтологию. Задача аналитической философии при рассмотрении онтологических проблем заключается в том, чтобы выяснить, каким образом можно тематизировать сущее и предметность как таковую. АФ видит возможный путь решения онтологических проблем в методе семантической формализации. Итак, по отношению к традиционным концепциям АФ является более общей: онтологический вопрос о "сущем как сущем" она трансформирует в аналитический вопрос о понимании онтологических высказываний, а трансцендентально-философский вопрос об интенциональном сознании преобразует в вопрос об анализе пропозиционального сознания.

Язык как объект философского исследования перенимает роль кантианской способности суждения, практический анализ которой должен определить возможности и границы философского знания. То обстоятельство, что язык занял место сознания в качестве основы этого анализа, не отменяет, а просто видоизменяет эту цель. Описывая условия, необходимые для понимания обращенной к нам речи другого человека, аналитики стремятся выявить формальную структуру языка и прийти на ее основе к онтологическим выводам, то есть перейти от формальных структур языка к формальным структурам бытия. Задача АФ теперь понимается как создание универсальной грамматики, общей

теории человеческого языка, универсальной теории значения, выявление глубинной или формальной базисной структуры неформального обыденного языка. В частности, П.Стросон, Н.Хомский и М.Даммит уверены в том, что в основания грамматики входит онтология и потому необходимо создать особый онтологический словарь. Глубинная универсальная грамматика нужна как средство анализа той информации о реальном мире, которая закреплена в базисных языковых структурах. Единственный путь к внеязыковой реальности лежит через анализ языка и воссоздание структуры бытия возможно на основе анализа структуры языка. Так, трансформируя Кантову проблему дедукции рассудочных понятий в основную проблему своей "дескриптивной метафизики", Стросон пытается раскрыть логическую структуру всякого человеческого мышления и тем самым преодолеть пропасть между трансцендентной и феноменальной действительностью. В своей аналитической деятельности Стросон использует ряд идей и подходов кантианской философии, в частности, учение об опыте, а также метод "трансцендентальной аргументации". Таким образом, аналитики "переоткрывают" философскую классику, дают специфические "лингвистические" формулировки традиционных проблем новоевропейской философии.

К ряду проблем, которые продолжали разрабатываться в последние десятилетия XX в., относятся прежде всего проблема объективности (это дискуссии о научном реализме в философии науки, о семантическом реализме — в философии языка, о метафизическом, эпистемологическом реализме и т.д.), а также проблема обоснования знания (обыденного, научного и философского). Существенной характеристикой в анализе языка становится характеристика соотношения языка и внеязыковой реальности, соотношения языка и деятельности человека (в том числе социальной деятельности). Язык понимается в более широком, нежели в логическом позитивизме и лингвистическом анализе, смысле: и как способ выражения и кодификации объекта, и как естественный язык, и как язык логики, и как теоретический язык науки. Так, Стросон рассматривает (например, в ставшей хрестоматийной статье "Значение и истина") противостояние коммуникативно-интенционального подхода к языку (который разделяет сам Стросон, а также Остин в своей теории "речевых актов", П.Грайс, трактовавший языковое значение в контексте намерений говорящего с целью воздействия на аудиторию, Д.Серль в своей интенционалистской теории значения и др.) и подхода сторонников так называемой формальной семантики (Д.Дэвидсон, М.Даммит и мн.др.), которые, при всем различии между собой, в противовес сторонникам коммуникативного подхода видят задачу философии в выявлении формальных механизмов, делающих возможной передачу и понимание языкового значения от говорящего к слушающему.

В 1970-е — 90-е гг. в АФ появляются психологически ориентированные направления, соотносящие анализ языковых значений с анализом познавательных ментальных структур и механизмов (восприятием, знанием, памятью, действием). Такой переход был подготовлен самим развитием АФ, когда семантические исследования оказались связанными с прагматикой, с употреблением языка. Это означает прежде всего попытку выявить воздействие познавательных способностей человека на восприятие и понимание языка и мира, а язык, в свою очередь, все более начинает рассматриваться как средство анализа процессов сознания. Развитие когнитивных исследований способствовало анализу феноменологии человеческого восприятия и коммуникации в концепциях

Я.Хинтикки, Дж.Серля и др. Сама потребность развития науки о языке, научного познания в целом привела аналитиков к этим феноменологическим занятиям. В этом плане на первое место выходят такие дисциплины как философия сознания (philosophy of mind) и философия психологии. Позиции участников дискуссии о сознании сильно различаются. Прежде всего это традиционный сциентистский подход, использующий новейшие исследования в области нейронауки и искусственного интеллекта, а также чисто концептуальные исследования, продолжающие традиции "критического бихевиоризма" Г.Райла. Согласно Райлу, распространенные в философии и психологии способы описания психических процессов приводят к ошибочному пониманию сознания как особой субстанции, находящейся в теле, подчиняющемся механическим закономерностям. Критикуя эту дуалистическую картезианскую позицию, Райл называл ее "призраком в машине" и утверждал, что наследие Декарта — главное препятствие к адекватному пониманию сознания и психики. Райл считал, что все, относящееся к психическому, следует описывать в терминах поведения и различных реакций. Его позиция близка бихевиоризму в психологии, сводящему психику к формам поведения.

Один из самых плодовитых на сегодняшний день американских авторов, работающих в области философии психологии, Д.Деннет решительно выступает против сторонников отождествления ментального и физического, а также против дуалистов. Позиция Деннета, в целом следующего линии Райла, заключается в учете специфики употребления ментальных (прежде всего интенциональных) терминов в естественном языке, что, по его мнению, снимает дилемму: тождество — дуализм. Другой философ-аналитик — Д. Фодор, выступающий и как психолог-когнитивист, в своих исследованиях разрабатывает альтернативу логическому бихевиоризму, уходящему своими корнями в идеи Райла и позднего Витгенштейна. Фодор и его сторонники стремится обосновать возможность небихевиористского подхода к обучению ментальным терминам. Философ Х. Дрейфус и его брат — С.Дрейфус (специалист по компьютерным системам) выступают против атомистического подхода к сознанию и его компьютационной ("вычислительной") модели. Х. Дрейфус подчеркивает перспективность холистического подхода в компьютерном моделировании нейронных сетей. Философское обоснование для этого он находит в работах позднего Витгенштейна и Хайдеггера.

Усилия исследователей в области искусственного интеллекта, психологии, лингвистики направлены на создание общей теории языка, которая оказалась бы адекватной решению проблем в каждой из названных областей знания. Построение такой теории является основной задачей новой научной дисциплины — когнитивной науки, сформированной на пересечении этих областей знания. В ее основе — предположение о том, что человеческие когнитивные структуры (восприятие, язык, мышление, память, действие) неразрывно связаны между собой. Область возможности компьютерного моделирования психики человека, его интеллектуальной деятельности изучается рядом аналитиков (в частности, Д. Серлем и братьями Дрейфусами), хотя прогнозы в этой области не слишком оптимистичны. Так, Серль выступает против "сильной" версии искусственного интеллекта, приписывающей совершенному электронному устройству человеческую способность понимания и обучения. Его знаменитый мысленный эксперимент, известный как "аргумент китайской комнаты", призван показать, что манипулирование формальными символами, лежащее в основе " вычислительной" модели сознания, не дает понимания смысла высказываний. Как подчеркивает

Серль, компьютерным программам присущ синтаксис, но у них совершенно отсутствует семантика. Последняя же не может рассматриваться в отрыве от интенциональности языка и субъективности сознания.

Расширение горизонтов исследований АФ связано с ее пересечениями с другими направлениями современной философии, в первую очередь с феноменологией, герменевтикой и прагматизмом.

Э.Гуссерль и другие ранние феноменологи, принимавшие девиз "строгой науки", разделяли антипсихологическую установку создателей современной (математической) логики, представлявших аналитическую традицию. В дальнейшем пути этих традиций в истолковании языка и познания значительно разошлись, но не настолько, чтобы современные представители этих движений не могли и не стремились найти общие точки соприкосновения. Представители обоих направлений пользуются дескриптивным анализом значений и сходным образом применяют результаты такого анализа. Определенный параллелизм прослеживается в учениях "жизненного мира" Гуссерля и "обыденного языка" Витгенштейна — в обоих случаях в равной степени исследуется донаучная стадия человеческой жизни. Если говорить о ситуации в американской философии, то здесь имеет место примечательное сближение обеих тенденций. Огромный интерес аналитиков к проблеме интенциональности и специфики ментальных актов заставил их обратить внимание на соответствующие исследования феноменологов. Феноменологическая интерпретация философии языка привела к дескриптивной метафизике П.Стросона. Д.Серль перенимает феноменологическую концепцию интенциональности сознания и заключает, что не интенциональность является производной от языка, а, наоборот, язык является логически производным от интенциональности. Характерная особенность и отличие АФ от феноменологии заключается в том, что область предварительного и в этом смысле априорного знания в ней рассматривается не как область особых идеальных надэмпирических сущностей, а как область интерсубъективного взаимопонимания употребления языка.

Сближение АФ и герменевтики осуществляется в последние годы в связи исследованием проблемы понимания. Это одна из тем позднего творчества Витгенштейна, на которой как бы замыкаются две ведущие западные философские традиции — немецкоязычная и англоязычная. Немецкий философ Карл-Отто Апель выступает своеобразным посредником между двумя традициями — аналитической и герменевтической. Возведением коммуникации в ранг основного понятия философии Апель пытается соединить трансцендентализм Канта с герменевтикой и перестроить трансцендентальную философию на ее основе. Исходя из различий между идеальным и реальным коммуникационными сообществами, существовавшими в истории общества, он предлагает переосмысление таких эпистемологических понятий, как очевидность и истина.

Второе поколение прагматистов (К.И.Льюис, У.Куайн, Н.Гудмен, Х.Патнэм) придало американскому варианту АФ праксеологическую направленность, что сыграло важнейшую роль в преодолении этапа логического позитивизма в АФ. С другой стороны, неопрагматизм заставляет взглянуть на Ч.С.Пирса как на одного из предшественников АФ — равно как и специально посвященные этой теме работы Апеля.

Особо следует сказать о взаимоотношении АФ и логики. На начальном этапе развития этой философии ее связи с новой логикой были максимально тесными

(это было очевидно у раннего Рассела, считавшего логику "сущностью философии"). Впоследствии — в период господства лингвистической философии — опора аналитиков на формальную логику была подвергнута критике и потому многие из них сконцентрировали свое внимание на исследовании смыслообразующих и коммуникативных аспектов естественного языка. Однако в настоящее время противостояние аналитиков, ориентированных на дескриптивный анализ естественного языка, и тех, кто ориентируется на строгие методы логики, практически исчезло. Теперь аналитики в большинстве своем применяют либо одну из этих методологий, либо обе в любых пропорциональных сочетаниях. Разнообразие инструментов, применяемых аналитиками, порождает соответствующее различие лингвистических систем: анализ не означает существование какой-то одной фиксированной понятийной дороги. В сущности, имеется столько же вариантов анализа, сколько существует аналитиков и поэтому речь уже не идет о достижении единственного в своем роде "правильного" логико-лингвистического анализа. Перспектива единственного, уникального, универсального "анализа" устраняется; очевидно, что главные типы аналитического мышления различаются в понимании процедуры анализа. Здесь выделяются, например, восходящая к Фреге и Расселу логикоморфная тенденция в интерпретации анализа; концептуальный анализ Д.Э.Мура; подход позднего Витгенштейна; лингвистический анализ в духе Остина и Стросона. Данные классические трактовки анализа помогают сориентироваться в многообразии аналитических концепций (так, собственно логические методы присущи лишь первой из них), хотя и не предопределяют конкретные решения аналитиков по тем или иным вопросам. Эти подходы имеют немало сторонников и последователей в новейших концепциях АФ. Так, в деятельности некоторых ведущих аналитиков последних десятилетий — Х.Патнэма, Д.Дэвидсона, М.Даммита, Д.Серля и других можно обнаружить элементы каждой из четырех перечисленных разновидностей философского анализа. Логицистские традиции Фреге и Рассела, связанные с формальным анализом математической логики, находят применение также в сфере естественных языков (Дэвидсон, Хинтикка, Крипке) и понимаются как семантика модальных логик. На традициях позднего Витгенштейна базируется анализ концептуальных основ формализации (Райл, Стросон), связанный с лингвистической семантикой, для которой естественный язык интересен с точки зрения его понятийных структур.

АФ сегодня является международным движением, в первую очередь занимая ведущие позиции в англоязычном мире (США, Великобритания, Канада, Австралия, Новая Зеландия, Южная Африка), а также в Скандинавии и Нидерландах. Аналитический подход постепенно распространяется и в странах с иной национальной философской традицией (Германии, Франции, Италии, Испании, Португалии, Польше, Словении и др., где в 90-е гг. возникли национальные общества аналитической философии). Дискуссии на Всемирных и других международных философских конгрессах свидетельствуют о том, что аналитическая терминология и подходы все более осваиваются мировым философским сообществом. В развитии современной философской мысли обнаруживаются интегративные тенденции, философия становится более терпимой, открытой, очевиден отказ от претензий на доминирующее положение. Аналитический философский стиль оказался относительно независимым от тех общих философских позиций, в рамках которых он может применяться и действительно применяется. Аналитическая техника и методы анализа проникли в

феноменологию, герменевтику и другие направления современной философии. Это становится понятным, если видеть в аналитической философии систематическое применение методов анализа языка для решения философских проблем. АФ и в XXI в. остается направлением, сохранившим свой потенциал и доказавшим способность к совершенствованию.

Материалы и источники ко всему курсу:

Аналитическая философия: Избранные тексты. Сост., вступ. статья и примечания А.Ф.Грязнова. М., Изд-во МГУ, 1993.

Аналитическая философия: Становление и развитие (антология). Сост., вступ. статья и примечания А.Ф.Грязнова. М., "ДИК" — «Прогресс-Традиция», 1998.

Апель К.-О. Трансцендентально-герменевтическое понятие языка. — Вопросы философии № 1, 1997.

Богомолов А.С. Буржуазная философия США XX века. М., 1974.

Вригт фон Г.Х. Логика и философия в XX веке — Вопросы философии, 1992, № 8.

Грязнов А.Ф. Феномен аналитической философии в западной культуре XX столетия — Вопросы философии, 1996, № 4.

Грязнов А.Ф. Аналитическая философия: проблемы и дискуссии последних лет — Вопросы философии, 1997, № 9.

Гудмен Н. Способы создания миров. М., «Логос — Праксис», 2001.

Дэвидсон Д. Истина и интерпретация. М., «Праксис», 2003.

Зотов А.Ф., Мельвиль Ю.К. Западная философия XX века. В 2 тт. Т.1. М., 1994.

Карнап Р. Значение и необходимость. Исследования по семантике и модальной логике. М.: Изд-во иностр. лит., 1959.

Куайн У.В.О. Слово и объект. М., «Логос», 2000. (Там же: Две догмы эмпиризма.)

Кюнг Г. Онтология и логический анализ языка. М., ДИК, 1999.

Кюнг Г. Когнитивные науки на историческом фоне. — Вопросы философии, 1992, № 1.

Лебедев М.В. Стабильность языкового значения. М., «Эдиториал УРСС», 1998. (http://www.philosophy.ru/lebedev/texts/stability.html)

Лебедев М.В. Философия языка на фоне развития философии. — В кн.: Что значит знать? М., 1999. (http://www.philosophy.ru/library/misc/diskurs/lebedev.html)

Лебедев М.В., Черняк А.З. Онтологические проблемы референции. М., «Праксис», 2001. (http://www.philosophy.ru/library/chern/01/index.html)

Мельвиль Ю.К. Пути буржуазной философии XX века. М., «Мысль»,1983.

От логического позитивизма к постпозитивизму. Хрестоматия. М.: НИИВО-ИНИОН, 1993.

Петров В.В. Структура значения: логический анализ. Новосибирск, «Наука», 1979.

Пассмор Дж. Сто лет философии. М., «Прогресс-Традиция», 1999.

Патнэм Х. Разум, истина, история. «Праксис», 2002.

Рассел Б. Философия логического атомизма. Томск, "Водолей", 1999.

Семиотика. Сб. статей под ред. Ю.С.Степанова. М., «Радуга», 1983.

Смирнов В.А. Логические методы анализа научного знания. М., «Наука», 1987.

Тондл Л. Проблемы семантики. М., «Прогресс», 1975.

Философия. Логика. Язык. Сб. статей под ред. Д.П.Горского, В.В.Петрова. М., «Прогресс», 1987.

Фреге Г. Логические исследования. Томск, «Водолей», 1997.

Хилл Т. И. Современные теории познания. М., «Наука», 1965.

Хинтикка Я. Логико-эпистемологические исследования. М., «Наука», 1980.

Хинтикка Я. Проблема истины в современной философии. — Вопросы философии, 1996, №9. С. 46-58.

Целищев В.В. Логическая истина и эмпиризм. Новосибирск, «Наука», 1974.

Язык, истина, существование. Хрестоматия в 2-х частях. Сост. В.А.Суровцев. Томск, изд-во ТГУ, 2002.

Dummett M. Origins of analytical philosophy. Cambridge MA, 1993.

Pap A. Elements of analytic philosophy, N.Y., 1949.

Passmore J. Recent Philosophers. L., 1985.

The revolution in philosophy, with an introduction by G.Ryle. L., 1956.

Urmson J.O. Philosophical analysis. Ox., 1956.

Classics of analytic philosophy, ed. by R. Ammerman, N. Y., 1965.

Wedberg A. History of Philosophy. Ox., 1984.

Интернет-ресурсы

http://www.philosophy.ru

http://analytic.ontologically.com

http://www.philosophypages.com

http://plato.stanford.edu

http://ejap.louisiana.edu

1. Истоки формирования аналитической философии

1.1 Брентано

Аналитическая философия, которую мы только что охарактеризовали во Введении как образец естественнонаучной строгости в гуманитарных науках, как столп противостояния иррационализму и интуитивизму; аналитическая философия, основные тенденции которой — перевод философских проблем в сферу языка, попытка сведения философской рефлексии к анализу, освобождение философского рассуждения от историко-культурных предпосылок; аналитическая философия была основана психологом и теологом.

Франц Брентано (1838 — 1917) изучал философию сначала в Берлине под руководством Тренделенбурга, а позже — в Вюрцбурге, где в 1862 г. защитил диссертацию "О различном значении сущего у Аристотеля". В 1864 г. Брентано рукоположен в духовный сан и принимает монашество, а в 1866 г. он проходит габилитацию и до 1872 г. занимает в Вюрцбургском университете должность профессора.

Сегодня истоки научной философии в Центральной Европе усматривают в австрийской философии XIX ст., а ее центральной фигурой считается Франц Брентано. Барри Смит высказывает следующий тезис: «[...] центрально-европейскую традицию логического позитивизма, в частности, а научной философии в общем следует понимать как часть наследия точной и аналитической философии Франца Брентано»[1].

Брентано является основоположником минимум двух направлений в философии — феноменологии и АФ. Однако путь его пролегал через психологию. Почему?

Авторы предисловия к одному из русских изданий Брентано, Д.Н.Разеев и С.В.Черненко, пытаются дать ясный ответ на, возможно, близлежащий вопрос:

"Не секрет, что всякая отдельно взятая наука — в том числе и философия, — претендующая на научный статус, стремится к подлинному познанию, т.е. прежде всего к истине. Исследования о познании, следовательно, должны разворачиваться в той сфере, где вообще возможно обнаружить истинное или неистинное. Не подлежит никакому сомнению, что сфера физических данностей, физических процессов и событий как раз не может быть отмечена печатью истинного или неистинного, ведь вещь не может быть «истинной» или «ложной», а лишь «действительной» или «недействительной». Поскольку же сфере физических данностей противостоит сфера данностей психических, то и вопрос об истине может быть сведен к вопросу о том, в какой из сфер сознательного мира возможны истинные или ложные феномены. Для этого требуется прежде всего исследование сферы психического."[2]

Произведенное Брентано в своей "Психологии с эмпирической точки зрения" (1874) разделение психологии на "генетическую" или "описательную" ("чистую" от физиологиии) и "генетическую" (включающую в себя элементы физиологии) — это попытка нового (учитывающего позитивизм и отталкивающегося от него) подхода

[1] Smith Barry. Austrian Philosophy: The Legacy of Franz Brentano. La Salle - Chicago: Open Court, 1994. P. 44.
[2] Брентано Ф. О происхождении нравственного познания. СПб., "Алетейя", 2000. С.13.

к традиционной для метафизики психофизической проблеме. Методологическая установка Брентано акцентирует внимание не на «сиюминутном озарении», но направлена на исследование единичных фактов и постепенном их теоретическом обобщении. К метафизике ведет трудный путь, на котором исследователь собирает предложение за предложением (Satz um Satz), истину за истиной (Wahrheit um Wahrheit), что придает эмпирическое и рациональное обличье его философии, а также гарантирует «научный» ее характер, сходный с характером эмпирических наук.

Главное отличие «эмпирической психологии» Брентано — в том, что она не основывается преимущественно на наблюдении. Вслед за Контом Брентано отрицает возможность интроспекции, понимаемой как наблюдение за ментальными процессами: он говорит, что попытка наблюдать, например, свой гнев (сконцентрировать на нем свое внимание) сразу же его разрушает. Конт пришел к заключению, что психология невозможна и должна быть заменена социологией. Брентано с этим не согласен. По его мнению, в распоряжении психолога имеются другие методы наблюдения: психолог может вспоминать процессы своего сознания, наблюдать за сумасшедшим, за более простыми формами жизни или поведением других людей. Но он признает, что такое наблюдение само по себе не особенно плодотворно.

С точки зрения Брентано, фундамент психологии составляет тот факт, что мы можем *воспринимать* собственные ментальные акты, хотя и не *наблюдать* их. Чтобы понять это различение, надо начать с картезианской посылки, принимаемой Брентано в качестве несомненной. Согласно этой посылке, сознавая «представление», мы одновременно сознаем сам акт, его нам представляющий. Так, доказывает Брентано, мы не можем слышать звук, если не сознаем не только сам звук, но также акт слышания. Он считает, что нет двух отдельных актов сознания, а есть только один акт с двумя различными объектами. Эти объекты — звук («первичный объект») и акт слышания («вторичный объект» — своеобразный рефлективный объект). Он отмечает, что если бы в каждом представлении содержалось два акта, то картезианская посылка привела бы к бесконечному умножению актов сознания. Тогда сознавать звук значило бы сознавать сознание звука и, далее, сознавать сознание звука значило бы сознавать *это* последнее сознание до бесконечности.

Именно такая критика была обращена примерно в то время младограмматизму в лингвистике. Младограмматики провозгласили основой изучения любого языка, и в особенности реконструкции его морфологии, единство психологических законов и непреложность "звуковых законов" речи; основой их лингвистической концепции стал индивидуальный психологизм. Важнейшие из введенных младограмматиками методологических принципов — изучение речи говорящего человека, а не письменных памятников прошлого, и учет при анализе истории языка действия звуковых (фонетических) законов и аналогий[3]. Подлинной реальностью выступает лишь индивидуальный язык. Ход рассуждений при этом таков: язык по-настоящему существует только в индивидууме, тем самым все изменения в жизни языка могут исходит только от говорящих индивидов. Если исходить из того, что каждый индивид обладает собственным языком, а каждый из этих языков — своей

[3] Остхоф Г., Бругман К. Предисловие к книге "Морфологические исследования в области индоевропейских языков". — В кн.: Звегинцев В. А. (сост.) История языкознания XIX-XX веков в очерках и извлечениях. Ч. 1. М., 1964.

историей, то отсюда следует, что все изменения в жизни языка могут исходить только от говорящих индивидов.

Осознание этих фактов позволило довести до большого совершенства специальные лингвистические приемы исследования (в особенности реконструкции, изучение форм языка). В то же время слабыми сторонами концепции явились:

- раздробление системы языка на море "атомарных" фактов — звуков, словоформ и т.д.;
- преувеличение роли индивидуальной психологии и индивидуальной речи, в силу чего единственной подлинной языковой реальностью стала признаваться речь индивида; и, главное,
- постоянное удвоение предмета исследования: с одной стороны, язык, с другой — психика (звук и "психическое представление звука", значение и "психическое представление значения" и т.д.);

Брентано полагает, что избежать этого немыслимого умножения можно только одним способом — отрицанием того, что акт сознания нашего сознания звука отличается от акта сознания звука. Однако пытаться *наблюдать* акт сознания — значит пытаться сделать его «первичным объектом» *еще одного* акта (ведь, говоря о наблюдении, мы предполагаем различие между наблюдателем и наблюдаемым), а это невозможно, и здесь Брентано безоговорочно согласен с Контом.

Таким образом, мы имеем дело с важным различием между психологией и любым другим эмпирическим исследованием: в психологии мы «воспринимаем» (в Брентановом смысле этого слова), а в других науках — «наблюдаем». Может показаться, будто преимущество на стороне последних. Но Брентано категорически отрицает это. Естествоиспытатель — здесь Брентано согласен с Локком — не имеет прямого доступа к тем естественным объектам, что пытается описать, и все, что он говорит об их «действительной природе», остается лишь предположением, основанным на восприятии «явлений» этих объектов. Он может «наблюдать» звуки, цвета и т. п., но никогда не «воспринимает» физический объект сам по себе, иными словами — не может прямо и непосредственно сознавать его. Напротив, психолог, согласно Брентано, непосредственно и прямо схватывает реальности, составляющие предмет его исследований; каждый акт сознания воспринимает сам себя непосредственно как свой «вторичный объект» — не как «явление», не как нечто, из чего приходится заключать о действительном характере ментального акта, но таким, каков он есть в действительности. Вот почему для Брентано, как и для Юма, психология — первая среди наук: оба они принимали картезианский тезис, согласно которому наше знание о собственном сознании является прямым и достоверным, в отличие от знания о любой другой вещи[4].

Но Брентано отделил себя от Декартово-Локковой традиции и внес собственный вклад в движение к объективности благодаря своему определению «психического», или «ментального». По мнению Локка, типичный ментальный феномен есть «идея» и наш опыт неизбежно ограничен «идеями». Поэтому если бы жесткие эмпиристы стали утверждать, что возможно лишь опытное знание, то отсюда следовало бы, видимо, что все, что мы можем знать, должно быть

[4] См.: Пассмор Дж. Сто лет философии. М., «Прогресс-Традиция», 1999. С. 135-142.

«ментальным». Различие между ментальным и не ментальным, на котором Брентано упорно настаивал ради возможности обосновать бессмертие души, было бы полностью отвергнуто любым радикальным приверженцем «точки зрения эмпиризма».

Брентано надеялся разорвать эту цепочку рассуждения, отрицая предварительную посылку о тождестве ментального и идеи. Характерная черта «психического феномена», доказывает Брентано, состоит в том, что он *«указывает на некий объект»,* или *«относится к некоему содержанию»,* — эти выражения он рассматривает как синонимы. Значит, ментальное есть «акт», не ментальное же, напротив, совершенно не способно «указывать» или «иметь содержание». Вот те муки, в которых рождались теории значения — как интенционалистские, так и референциальные.

Поскольку физические «явления», по мнению Брентано, всего лишь суть «знаки» вещей, но не сами вещи, то они не могут служить источником достоверного, фактического знания о вещах и самой действительности. Действительности Брентано противопоставляет мир явлений (физических и психических), а причинная связь действительного мира и мира явлений выражается в том, что мир явлений состоит из «знаков» предметов действительности. Эта семиотическая точка зрения и семантический характер отношения двух миров является существенной компонентой методологии Брентано, повлиявшей на реформирование традиционной логики. Брентано не определяет непосредственно ни психических явлений, ни физических, но единственно, называя коннотационные признаки тех и других, стремится выяснить их различия и специфику. Так, Брентано говорит, что психическим явлениям сопутствует интенциональность, т.е. направленность к предметам представления, что только психические явления представляют собой предмет «внутреннего опыта», что они экзистируют как единство (immer als Einheit) , отличаются непосредственным (direkt) переживанием, неизменностью (Untrüglichkeit), очевидностью (Evidenz) и кроме того реальны (wirkliche)[5].

Другой рудимент аналитических дискуссий содержится в его трактовке примера Юма. «Экзистенциальное» суждение — суждение формы *x существует* — содержит, по его мнению, только одну идею *x,* а не две идеи (*x* и *существование*), связанных вместе неким отношением. Пока что это показывает лишь, что *иногда* суждение имеет своим объектом единственную идею, и поэтому множественность объектов суждения не может быть его определяющей характеристикой. Но Брентано идет дальше. *Каждое* простое суждение, говорит он, можно свести к экзистенциальной форме. Суждение «некоторые деревья зелены» всего лишь утверждает — а суждение «никакие деревья не зелены» всего лишь отрицает, — что *зеленые деревья существуют.* Содержание этих суждений, заключает он, составляют те самые «зеленые деревья», которые мы можем представлять как идею. Различие между суждением и представлением состоит не в объекте, но исключительно в способе, каким мы его представляем: формулировать суждение — значит утверждать или отрицать объект, представлять — значит просто иметь его перед собой. Это рассуждение — очевидная предтеча как логико-позитивистского редукционизма, так и его критики Куайном, а также различения

[5] См.: Б.Т.Домбровский. Львовско-Варшавская школа. http://www.philosophy.ru/library/dombrovski/01.html

между интенсиональным и экстенсиональным подходом и вообще всех тем, связанных с требованием онтологической нейтральности.

Что касается последнего, то это разгорающееся пламя особенно усердно раздувал ученик Брентано Алексиус Мейнонг при помощи таких полезных вещей, как круглый квадрат и золотая гора.

Некоторые (но лишь некоторые) предметы Мейнонг характеризует как «существующие». Так, например, *зеленый лист* существует. Другие предметы он считает «реальными», хотя и несуществующими. *Различие между красным и зеленым,* например, есть «реальное» различие, но оно не «существует» в том смысле, в каком существуют красная книга и красный лист. В самом деле, полагает Мейнонг, никакие «предметы высшего порядка» — предметы, которые представляют собой отношения между существованиями — нельзя назвать существующими в собственном смысле слова. *Число два* не существует, хотя оно реально. Все «реальные несуществующие» Мейнонг называет «логически существующими».

Разделение предметов на существующие и логически существующие, по мнению Мейнонга, не исчерпывает всех возможностей. Ведь некоторые предметы — например, *круглый квадрат* — не являются ни существующими, ни логически существующими; они «вне бытия». Но они все же «предметы». Необоснованная благожелательность по отношению к действительному, полагает Мейнонг, подталкивает нас к неверному предположению, будто все предметы должны быть действительными в том смысле слова, в каком действительны зеленые листья, и от такого вульгарного простодушия философ обязан отказаться.

Из различий между «предметами» особенно важно одно — различие между «объективами» и предметами, которые таковыми не являются («чистыми предметами».) Чистый предмет — *золотая гора,* например, — может существовать или не существовать; но бессмысленно было бы утверждать, что такой предмет является (либо не является) «фактом» или «событием». Напротив, об «объективе» — например, о *существовании золотых гор* — невозможно осмысленно утверждать, что он существует (хотя как «предмет высшего порядка» он действительно «логически существует»), но он либо есть факт, либо не есть факт.

Легче всего понять природу «объектива», размышляет Мейнонг, если представить его как значение предложения — не как то, что выражает предложение, не как ментальный акт, который его производит, но как то, о чем оно сообщает. Так, если мы спросим: «О чем сообщает предложение "золотая гора не существует"?», то, вероятнее всего, получим ответ: «О "золотой горе"». И этот ответ, как считает Мейнонг, вполне понятен. Именно потому, что он понятен, мы склонны заключить, что имеются только «чистые предметы» и именно на них указывают предложения и отдельные слова. Но пока мы не прояснили разницу между выражением «золотые горы» и предложением «золотые горы не существуют», мы должны, чтобы понять их различие, признать, что наше предложение сообщает о *не-существовании золотых гор,* а не просто о *золотых горах,* — стало быть, что «объективы» отличаются от «чистых предметов».

Так начиналось развитие далеко идущих следствий произведенного Брентано анализа опыта. Г.Шпигельберг пишет об этом довольно откровенно:

"Философская вселенная Брентано была фундаментально простой, и он стремился к тому, чтобы она таковой и оставалась. Она состояла из психических и физических феноменов плюс из Божественного Бытия, к признанию которого его склоняла философская теология. Таким образом, Брентано питал стойкое отвращение к любым попыткам «умножения сущностей», столь распространенным в средневековой схоластике, а также в современной спекулятивной философии. Поэтому он энергично возражал против придания самостоятельного бытийного статуса таким не-психологическими феноменам или «нереальным сущностям» («irrealia»), как содержания мышления, положения дел, отношения, универсалии, идеалы, ценности и нормы. Он ограничивался исключительно признанием существования, относящегося к области «res», т.е. реальных вещей и реальных мыслящих существ. Универсалии, бытие и небытие, возможность и необходимость могли бы существовать только в качестве мыслей таких реальных мыслящих существ. Систематическая критика языка должна была представить все термины, которые на первый взгляд утверждали самостоятельное существование таких сущностей, в качестве своего рода синкатегорематических выражений, вроде союзов и частиц или аффиксов, которые могут осмысленно употребляться только в комбинации с именами. В данном случае речь идет об именах лиц, мыслящих эти сущности. Иными словами, референты обыденных или философских выражений, которые не указывают на физические и психические объекты, следовало бы считать просто «entia rationis» или фиктивными сущностями. Этот «реизм» смягчался лишь тем фактом, что Брентано, в своем вполне определенном противостоянии номинализму, утверждал, что все мысли относительно реального могли бы быть выражены только при помощи универсалий и что в действительности наш опыт показывает нам только то, что является универсальным. Помимо Брентано, этого учения в известной степени придерживался также и Бертран Рассел.

Довольно сложно определить мотивы, которыми Брентано руководствовался, придерживаясь подобного рода экономии, особенно в поздний период своего творчества. Вполне вероятно, что некоторые выводы его наиболее одаренных учеников, вроде Штумпфа, Мейнонга и Гуссерля заставили его во все возрастающей степени сопротивляться принятию новых и сложных феноменов. В особенности *Gegendstandstheorie*[*] Мейнонга и феноменология Гуссерля, – вероятно, он не видел различия между ними, – казались ему совершенной фантастикой, если только не полной изменой по отношению к его научным устремлениям. Этот отказ выйти за пределы физических и психических феноменов, сочетавшийся с усилиями истолковать по-новому поиск заменителей для «фиктивных сущностей», показывает границы эмпиризма Брентано и, как это было подмечено поздними феноменологами, границы его феноменологической установки. Однако это никоим образом не умаляет его фундаментальный вклад в развитие феноменологической философии. Этот вклад может быть резюмирован в следующих отношениях:

α. расширение традиционного эмпиризма благодаря признанию прежде не замечавшихся или игнорировавшихся видов опыта, включая даже некоторые не-индуктивные усмотрения сущностных структур и отношений эмпирических данных;

β. развитие новой описательной психологии;

[*] Теория предметов (нем.).

γ. открытие отношения интенциональности;

δ. описание аналогии самоочевидности в этике."[6]

Все сказанное здесь о феноменологии можно, без сомнения, применить в отношении Брентано и к аналитической философии — и это наличие общего источника, вероятно, представляет надежный *tertium comparationis* для их дальнейшего сопоставления, которое еще только начинается (см. гл. 13). Более того, этими двумя направлениями не ограничивается количество струй, бьющих из этого ключа. Так, Ингарден был убежден в наличии содержательных параллелей между аналитической философией и гештальтпсихологией[7]; последняя не случайно возникла именно в Граце. (Келера, Коффку и других гештальтистов включил и Барри Смит в одну из тех загадочных карт влияний, которые он так любит рисовать и одну из которых он выполнил для Брентано, но количество связей там так велико и запутанно, что сложно разобраться, кого с чем лучше сравнивать. А впрочем, так оно действительно и есть.)

Ингарден писал: "Брентано был достаточно загадочной фигурой. До сегодняшнего дня определенно не известно, заключалась ли его роль в философии в том, что он ввел в европейскую философию какие-то существенно новые, важные идеи, или же, пожалуй, в том, что, будучи выдающейся личностью, воздействовал на ряд крупных ученых и таким образом вызвал отдельную линию исследований и взглядов в общем течении современной европейской мысли."[8]

1.2 Логико-семантические идеи Г.Фреге

Аналитическая философия возникла на волне интереса к формальной логике, которая, обогатившись новыми методами, с середины XIX века начинает бурно развиваться[9]. К этому необходимо добавить, что влияние логики не ограничивалось лишь аналитической философией; во второй половине XIX века представители всех философских направлений от позитивистов до неогегельянцев писали "логические исследования", на этой же волне возникла и феноменология Гуссерля. Исключительное внимание к логике на рубеже веков трудно обосновать лишь ссылкой на то, что логика является философской наукой. Скорее, объяснение этому надо искать в ее взаимодействии с теми отраслями знания, которые выходили за рамки философского. И здесь особую роль сыграли психология и математика. Появление психологии стимулировало развитие логической мысли в том отношении, что с привнесением в философию

[6] Шпигельберг Г. Феноменологическое движение. Пер. под общей научной редакцией М.В.Лебедева. М. "Логос", 2002.
[7] Устное сообщение ученика Ингардена проф. Ежи Пержановского.
[8] R. Ingarden. Z badań nad filozofia wspólczesna. Warszawa, 1963. S.196-197.
[9]Определяя своеобразие современной философии, Г.-Х.фон Вригт писал: «Наиболее характерной чертой философии XX в. было возрождение логики и та будоражащая роль, которую оно сыграло в общем развитии философии. Возрождение началось на рубеже веков. Его явление на философской сцене было провозглашено движениями, исходящими из Кембриджа и Вены, которые позднее слились и дали начало широко разветвленному течению мысли, известному как аналитическая философия» (Вригт Г.Х.фон Логика и философия в XX веке // Вопросы философии. – 1992. – № 8.— С.80).

позитивного естественнонаучного духа возникала иллюзия, что теория познания обретет наконец так недостающие ей прочные основания, и в этом отношении психологическое объяснение логики, как ядра теории познания, должно было сыграть свою ведущую роль. Цель психологизации, по существу, сводилась к стремлению объяснить логические структуры естественными процессами, протекающими в индивидуальном человеческом сознании, а не способностями трансцендентального субъекта или самоопределением объективного духа. Однако психологизация не приводила к позитивному расширению границ логики как науки, с точки зрения содержания она все так же понималась, по словам Канта, "вполне законченной и завершенной". И, несмотря на то, что рефлексия над основаниями логики не раз приводила к радикальному изменению философских установок, в данном случае был дан фальстарт. Психологическое обоснование не принесло ощутимой пользы, прочный фундамент так и не был заложен, а позитивное расширение границ логического ограничилось разработкой субъективных условий применения тех объективных законов и норм, которые и так давно были известны.

Иное дело воздействие математики на логику, не только расширившее границы формальной логики, но и совершившее подлинную революцию как в понимании природы логического, так и в понимании перспектив применения философских методов. Последнее обстоятельство позволило Б.Расселу сказать, что формальная логика с середины XIX века каждые десять лет создает больше, чем было создано за весь период от Аристотеля до Лейбница[10]. Математизация логики – процесс прямо противоположный ее психологизации и, пожалуй, характеризует одну из наиболее интересных коллизий в развитии науки.

В ряду известных философов и логиков конца XIX — начала XX века Г.Фреге занимает особое место. Его роль в современной логике, которую он в значительной степени создал, сравнима разве что с ролью Аристотеля в логике традиционной. Фреге, в частности, заложил основы той области знания, которая получила название оснований математики, впервые отчетливо связав проблему формального единства содержания математики с принятыми в ней способами рассуждения и заложив тем самым, основы теории формальных систем. Это стало возможным только потому, что им была осуществлена одна из первых аксиоматизаций логики высказываний и логики предикатов, причем последняя фактически впервые появилась в его трудах. Г.Фреге заложил основы логической семантики, отделив в логической теории средства выражения (синтаксис) от того, что они обозначают. Наконец, он выдвинул программу прояснения основных понятий математики, которую и попытался осуществить с помощью процедуры сведения математики к логике, реализуя одну из возможных методик прояснения специфики математического знания.

Совокупность результатов, достигнутых им в логике, предполагала совершенно определенный концептуальный сдвиг, который отражает влияние Фреге на развитие современной мысли в целом. На чем же основан этот концептуальный сдвиг? Он основан на новом понимании роли языка, который начинает рассматриваться как исчисление, аналогичное математическим теориям[11].

---

[10] Russell B. Mysticism and logic and other essays.— London: Allen & Unwin LTD, 1954. P.76.

[11] Как пишет один из исследователей, «фундаментальная программа, фундаментальный принцип и фундаментальная аналогия доминируют в философии языка Фреге. Фундаментальная программа должна представить язык как вид исчисления. Фундаментальный принцип состоит в

1.2.1. Значение и смысл имен собственных

Семантика занимается *концептуальным* исследованием значений языковых выражений. Одним из ее центральных понятий является понятие *имени*. Фреге принадлежит заслуга такого уточнения этого термина, которое позволило ему стать одним из основных понятий математической логики. В основе классической концепции имен собственных, сформулированной Фреге, лежат понятия *значения* и *смысла*. Согласно этой концепции, всякое имя обозначает (называет, именует) некоторый предмет (называемый значением, денотатом или референтом имени) (нем. Bedeutung, англ. reference) и выражает некоторый смысл (нем. Sinn, англ. meaning), определенным образом характеризующий значение имени.

В статье «О смысле и значении» Фреге дает следующее истолкование имени: «Под «знаком» или «именем» я понимаю любое обозначение, выступающее в роли имени собственного, значением которого является определенный предмет (в самом широком смысле этого слова), а не понятие и не отношение... Обозначение одного предмета может состоять также из нескольких слов и иных знаков. Для краткости каждое такое обозначение может быть названо именем собственным»[12].

Примерами имен собственных могут служить следующие выражения: (1) «Аристотель»; (2) «Учитель Александра Македонского»; (3) «Утренняя звезда»; (4) «Вечерняя звезда»; (5) «точка пересечения прямых *a* и *b*».

Следовательно, всякое имя, с одной стороны, *обозначает* свой *предмет*, а с другой – *выражает* свой *смысл*, который определенным образом *характеризует значение* имени. Поскольку смысл позволяет выделить предмет, обозначаемый знаком, обычно принято говорить, что *значение знака* является *функцией смысла*. Например, знак «учитель Александра Македонского» при условии, что известны значения слов «учитель» и «Александр Македонский», обозначает древнегреческого философа Аристотеля.

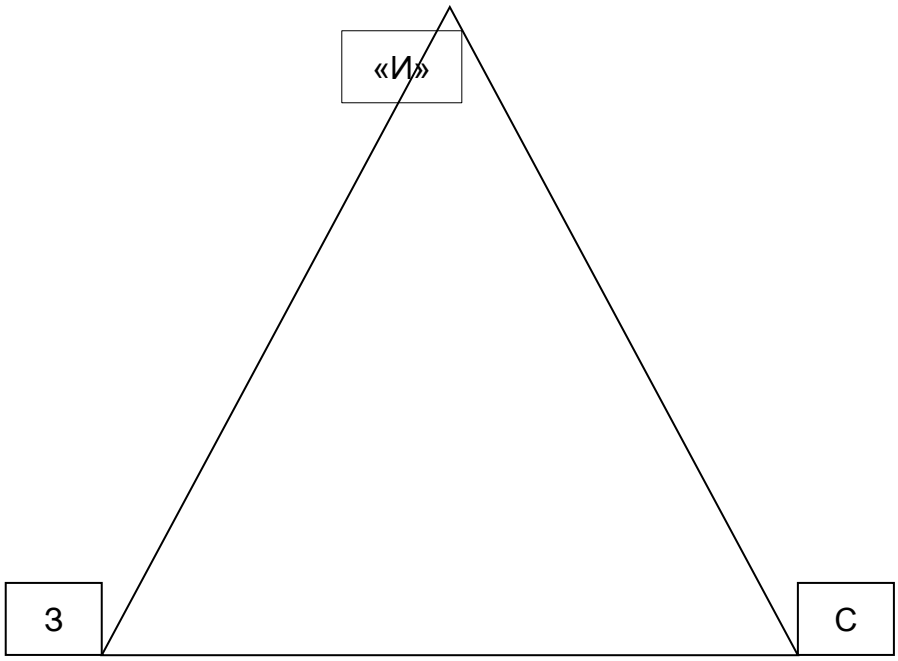
Второй краеугольный камень семантики Фреге – это то строгое различие, которое он проводит между *именами собственными* и *предикатными знаками*. Последние именуются им *понятийными словами* (нем. Begriffswörter). В то время как значением имени собственного является определенный предмет, значением предикатного знака или, что то же самое, понятийного слова, является понятие (например, «быть натуральным числом, большим, чем два»). В этом случае, однако, возникает проблема, как отличить имя собственное в качестве логически простого обозначения единичного предмета от предикатного знака, чьим значением является понятие, под которое подпадает всего-навсего один предмет. Для разрешения этой проблемы Фреге предложил определять семантическую категорию интересующего выражения путем его подстановки в предложение типа «Существует ли больше, чем одно —». Пусть «А» будет тем выражением языка, семантическую категорию которого мы должны установить, подставив его на место пробела в указанном выше предложении.Если интерпретировать выражение

том, что знать значение предложения – значит знать условия его истинности. Фундаментальная аналогия устанавливается между понятиями и математическими функциями» (Hacker P.M.S. Semantic Holism: Frege and Wittgenstein // Wittgenstein: sources and perspectives. – New York, 1979. — P.214).

[12] Фреге Г. Избранные работы. М., ДИК, 1997. С.26.

«А» как понятийное слово, то вопрос «Существует ли больше, чем одно А?» будет вполне осмысленным, даже если мы и будем вынуждены дать на него отрицательный ответ; однако если интерпретировать «А» как имя собственное, то такого рода вопрос вообще нельзя будет значимо сформулировать, поскольку множественная характеристика отдельного предмета вообще есть что-то бессмысленное. Например, в английском языке слово «moon» может обозначать как Луну, так и спутник планеты. Относительно такого рода двусмысленных случаев Фреге использовал возможность задавать вопрос «Существует ли больше, чем одно —» для того, чтобы выяснить, идет ли речь об описательном термине, который может осмысленно применяться во множественном числе («спутники планеты»), или же об имени собственном, относительно которого было бы бессмысленно употреблять множественное число («Луна»)[13].

Связь между именем, его значением и смыслом принято изображать в виде *семантического треугольника*:



«И» – имя собственное (обозначающее выражение)

З – значение (референт) имени

С – смысл (абстрактное содержание) имени

Сам Фреге формулирует эту связь следующим образом: «Собственное имя (слово, знак, сочетание знаков, выражение) выражает (drückt aus) свой смысл (Sinn) и означает (bedeutet), или обозначает (bezeichnet), свое значение (Bedeutung). Мы выражаем некоторым знаком его смысл и обозначаем им его значение»[14].

В своей первой крупной теоретической работе «Исчисление понятий» (1879) Фреге не проводил различие между значением и смыслом имени. Не встречается оно и в другом крупном его произведении «Основоположения арифметики», опубликованном в 1884 году. Впервые различие между значением и смыслом

[13] Geach P. Mental acts: their content and their objects. P.136.
[14] Там же, с. 30.

имени появляется только в 1892 году в статье «О смысле и значении» («Über Sinn und Bedeutung»).

Вопросом, подтолкнувшим Фреге к изучению проблемы значения и смысла языковых выражений, стал вопрос о равенстве. Является ли равенство отношением? Если да, то отношением между предметами или же между именами и знаками предметов? В своей статье «Исчисление понятий» Фреге высказался в пользу второго решения этой проблемы. В статье «Смысл и значение» он еще раз возвращается к этому вопросу. Свои аргументы в пользу выбранного им решения проблемы он формулирует следующим образом: «Предложения $a = a$ и $a = b$ имеют, очевидно, различную познавательную ценность: предложение $a = a$ значимо *a priori* и, согласно Канту, должно называться аналитическим, в то время как предложения, имеющее форму $a = b$ значительно расширяют наше познание и не всегда могут быть обоснованы *a priori*. Одним из значительнейших открытий астрономии в свое время было то, что каждое утро встает не новое Солнце, а то же самое. И по сей день опознание астероидов или комет иногда связано со значительными трудностями. Если же в равенстве мы хотим видеть отношение между тем, что означают имена «a» и «*b*», то предложения $a = b$ и $a = a$ не могут быть различными в том случае, когда $a = a$ истинно. При этом выражалось бы отношение вещи к самой себе, но не к какой-то другой вещи»[15].

Если считать равенство отношением между предметами, то предложения (1) «Утренняя звезда есть Утренняя звезда» и (2) «Утренняя звезда есть Вечерняя звезда» окажутся, – при условии, что предложение (2) истинно (очевидно, что так оно и есть), – выражающими один и тот же факт, а именно, что планета Венера тождественна планете Венере.

Ясно, однако, что познавательный статус двух этих предложений совершенно различен. Предложение (1) является аналитическим, т.е. логически-истинным или тождественно-истинным в силу значений входящих в него логических терминов; оно не выражает какого-либо действительного знания о мире. Напротив, предложение (2) не является аналитическим; установление его истинности или ложности требует обращения к эмпирическим наблюдениям о мире. Оно сообщает нам важный астрономический факт и выражает подлинное знание о мире.

Возникшую проблему можно объяснить тем, что предмет, относительно которого утверждается его тождество с самим собой, рассматривается безотносительно к тем именам, «*a*» и «*b*», «Утренняя звезда» и «Вечерняя звезда», при помощи которых устанавливается это тождество.

В силу вышеуказанных затруднений напрашивается следующее решение возникшей проблемы. «Говоря $a = b$, видимо, хотят сказать, что знаки, или имена, «*a*» и «*b*», означают одно и то же, и в таком случае речь идет именно об этих знаках; между ними утверждается некоторое отношение. Но эти имена, или знаки, находятся в указанном отношении только потому, что они нечто называют или обозначают. Это отношение опосредовалось бы связью каждого из них с одним и тем же обозначаемым»[16].

Получается, что равенство $a = b$ есть отношение, высказываемое об имени «*a*» некоторого предмета и об имени «*b*» некоторого предмета и состоящее в том, что предметы обоих имен совпадают друг с другом. В данном случае имеется

[15] Там же, с. 25.
[16] Там же, с.25-26.

двухместное отношение между именем и предметом, им обозначаемым. Поэтому можно сказать, что «*a* = *b*» есть высказывание об «*a*» и «*b*» лишь постольку, поскольку они обозначают какой-то предмет.

Здесь появляется еще одна трудность, обусловленная тем, что знак или имя является произвольным по отношению к обозначаемому или именуемому им предмету. Обозначение предмета тем или иным знаком зависит исключительно от соглашения между лицами, употребляющими знаки. На этот счет Фреге пишет: «Никому нельзя запретить считать произвольно избранное событие или предмет знаками чего угодно. В таком случае предложение *a* = *b* относилось бы не к самой вещи, а только к нашему способу обозначения; мы не выражали бы в нем никакого подлинного знания. Но все же в большинстве случаев мы хотим именно этого»[17].

Конечно, существуют предложения, относительно смысла которых можно утверждать, что он ограничивается выражением того, что у предмета, обозначаемого именем «*a*», есть еще имя «*b*». Таково, к примеру, предложение

(3) «Цицерон есть Марк Туллий».

Можно считать, что и оно содержит некоторое знание насчет того, что человек по имени Цицерон иначе называется еще Марк Туллий. Ясно, однако, что это знание относится не к самому предмету, но к знакам, которыми мы обозначаем этот предмет. Однако не все предложения о равенстве таковы. Среди них встречаются и такие, которые выражают знание в собственном смысле этого слова. Рассмотрим предложение

(4) «Платон есть ученик Сократа и учитель Аристотеля».

Если мы будем считать, что предложение (4) по своему познавательному статусу вполне аналогично предложению (3), то должны будем заключить, что предложение (4) содержит только некоторое знание о том, как нужно понимать знаки, обозначающие некоторое лицо, в данном случае – великого античного философа. Тогда нам следует понимать предложение (4) так, что оно утверждает только то, что человек, именуемый «Платон» – это тот же человек, которого называют «ученик Сократа и учитель Аристотеля». В таком случае мы не имеем права рассматривать последнее как сложное имя, состоящее из осмысленных частей («ученик Сократа», «учитель Аристотеля») и сообщающее сведения, что обозначенный этим именем человек учился у Сократа и был учителем Аристотеля, и должны рассматривать его как произвольный знак, обозначающий Платона и не несущий какой-либо дополнительной информации. Ясно, что такое понимание предложения (4) ошибочно, поскольку предложения (3) и (4) явно различны по своему познавательному статусу.

Предложенное решение не дает нам выхода из затруднения, поскольку мы оказываемся не в состоянии различить предложения (1) «*a* = *a*» и «*a* = *b*» с точки зрения их познавательного статуса. Если знак «*a*» отличается от знака «*b*» только по своему виду, а не в качестве собственно знака, то есть не в силу того способа, которым он обозначает нечто, то между предложениями (1) и (2) не будет принципиальной разницы в том случае, если предложение (2) истинно.

Разница в познавательной ценности предложений (1) и (2) может появиться только в том случае, если различию знаков соответствует различие в способе

[17] Там же, с.26.

данности обозначаемого. Иными словами, это различие возможно тогда и только тогда, когда с каждым именем собственным соотносится не только тот предмет, который обозначает это имя (значение имени), но и тот способ, каким имя обозначает или дает нам предмет, — смысл имени.

Для того, чтобы разъяснить вводимое им трехместное отношение между именем, значением имени и смыслом имени, Фреге прибегает к следующему примеру. Пусть *a*, *b* и *c* — прямые, соединяющие вершины треугольника с серединами противоположных сторон. Точка пересечения *a* и *b* будет тогда той же самой точкой, что и точка пересечения *b* и *c*. Итак, мы имеем различные обозначения (имена) одной и той же точки, и эти имена («точка пересечения *a* и *b*» и «точка пересечения *b* и *c*») указывают на способ данности объекта. Мы сталкиваемся с ситуацией именования, в которой два имени обозначают один и тот же предмет. Первое имя обозначает его как точку пересечения прямых *a* и *b*, второе — как точку пересечения прямых *b* и *c*. Именно поэтому, утверждает Фреге, данное предложение выражает действительное знание.

«Это свидетельствует о том, что некоторый знак (слово, словосочетание или графический символ) мыслится не только в связи с обозначаемым, которое можно было бы назвать значением знака, но также и в связи с тем, что мне хотелось бы назвать смыслом знака, содержащим способ данности [обозначаемого]. Тогда в нашем примере одним и тем же будет значение выражений «точка пересечения *a* и *b*» и «точка пересечения *b* и *c*», а не их смысл. Точно также у выражений «Вечерняя звезда» и «Утренняя звезда» одно и то же значение, но не смысл»[18].

Примечательно, что Фреге использует термин «имя собственное» в более широком значении, нежели чем только в качестве простого знака, обозначающего отдельный предмет; он использует его также и в отношении сложных обозначений предметов, которые мы обычно называем *определенными описаниями* или *дескрипциями* (англ. definite descriptions). (Эта терминология не имела хождения во времена Фреге. Она была введена Расселом в совместной с Уайтхедом работе «Principia Mathematica»[19]). Отсюда становится понятным, что в состав имен собственных Фреге включает по крайней мере два достаточно разнородных класса языковых выражений. Во-первых, речь идет о логических именах собственных, обозначающих какой-то один предмет. В этом случае имя собственное является простым сингулярным термином, составные части которого, в свою очередь, сами не являются символами. Таковы выражения типа «Платон», «Аристотель», «Венера», «Марс», «Вена», «Гринвич». Во-вторых, речь идет о относительно сложных обозначениях предметов, которые мы обычно называем определенными описаниями. В таком случае имя собственное будет сложным сингулярным термином, содержащим более простые символы в качестве своих составных частей. К сложным сингулярным терминам относятся выражения типа «тот ученик Платона, который был учителем Александра Великого», «самое удаленное от Земли небесное тело», «тот французский полководец, который выиграл сражение при Иене, но проиграл сражение при Ватерлоо».

Каковы были основания, побудившие Фреге считать сложные сингулярные термины («определенные описания») обычными именами собственными наряду с

[18] Там же.

[19] A. Whitehead and B. Russel. Principia Mathematica. Vol. I. Cambridge, 1925. 2. ed., p. 30: «Под дескрипцией, – писал Рассел, – мы подразумеваем оборот формы «такой-то и такой-то» (the so-and-so) или какой-либо иной эквивалентной формы».

простыми сингулярными терминами? Первое основание фрегевского включения определенных дескрипций в класс имен собственных состояло в том, что Фреге считал обычные имена собственные сокращенными определенными описаниями; например, имя собственное «Аристотель» – это своего рода сокращенная аббревиатура для описания «тот ученик Платона, который был учителем Александра Великого». Следовательно, Фрегева семантика основывается на том, что большинство собственных обозначений – это скрытые описания. Это означает, что смысл логическим именам собственным типа «Аристотель», «Мюнхен», «Венера» придается посредством определенных описаний, которые ставятся им в соответствие. В свою очередь, в определенные описания могут входить логические имена собственные. Это позиция обладает малоубедительным правдоподобием в отношении собственных имен исторических персонажей («Аристотель», «Цицерон», «Наполеон»), но она совершенно не годится для объяснения семантических особенностей обычных имен собственных. В частности, если считать, что логические имена собственные – это сокращенные определенные описания или части определенных описаний, то оказывается необъяснимым факт существования по крайней мере двух знакомых мне людей, носящих одинаковые имена.

Это обстоятельство приводит к целому ряду известных трудностей, когда мы пытаемся применить его к естественным языкам. В частности, одна из них касается значения обыденных имен собственных: например, имен собственных, обозначающих отдельные личности. Как правило, знание значения имени собственного в включает в себя знание, кого отдельный говорящий намеревается обозначить этим именем. Однако вполне возможны случаи, когда различные говорящие обозначают одну и ту же личность при помощи одного и того же имени собственного, и при этом не знают, что они обозначают одну и ту же личность, поскольку каждый из них отождествляет ту личность, о которой идет речь, при помощи различных дескрипций. Если Лео Петер лично знает доктора Густава Лаубена, но не знает, что доктор Лаубен родился 13 сентября 1875 г. в N., а Херберт Гарнер знает только то, что доктор Густав Лаубен родился 13 сентября 1875 г. в N., но не знает, где живет доктор Лаубен в настоящее время и вообще не имеет никаких других сведений о нем, то тогда возникает ситуация референциальной «непрозрачности», о которой сам Фреге говорит следующее:

«В таком случае Херберт Гарнер и Лео Петер *будут*, употребляя имя собственное «доктор Густав Лаубен», *говорить на разных языках*, хотя они в действительности и будут этим именем обозначать одного и того же человека; ведь они не будут знать, что делают именно это. Херберт Гарнер будет связывать с предложением «Доктора Густава Лаубена ранили» не ту мысль, которую хотел бы выразить Лео Петер»[20] (выделено нами).

Иными словами в ситуациях, получается, что употребляя одно и то же имя, но связывая его с различными смысловыми характеристиками, люди говорят на разных языках, или, как принято выражаться в настоящее время, на разных *идиолектах*. Коль скоро это следствие теории смысла Фреге блокирует возможность коммуникации и препятствует реализации ее цели — взаимопонимания между индивидами, то многие последователи Фреге сочли это следствие малопривлекательным.

[20] Фреге Г. Избранные работы. С.32.

Итак, Фреге рассматривал определенные дескрипции как «смыслы» имен собственных (например, «Аристотель есть тот человек, который был учителем Александра Великого»), позволяющие выделить значение соответствующих имен. На это, в частности, указывает его замечание, суть которого в следующем: мнения о том, что же следует считать смыслом собственно имени собственного, например Аристотель, могут быть, правда, различны. Можно, в частности, считать, что слово «Аристотель» имеет смысл: ученик Платона и учитель Александра Великого. Тот, кто придерживается такого мнения, свяжет с предложением «Аристотель родился в Стагире» не тот смысл, который оно имеет для того, кто с именем «Аристотель» связывает смысл: родившийся в Стагире учитель Александра Македонского. Но поскольку значение остается одним и тем же, постольку эти колебания смысла допустимы, хотя в языках точных наук их следует избегать, а в совершенном языке они недопустимы. В дальнейшем истолкование имен собственных как скрытых описаний было подхвачено Бертраном Расселом. Последний утверждал, что мысль, находящаяся в уме говорящего тогда, когда он, например, употребляет в том или ином контексте выражение «Аристотель», может быть выражена в явном виде исключительно путем замены имени собственного описанием. Более того, описания, необходимые для выражения этой мысли, будут различаться от человека к человеку и для одного и того же лица в разное время. Единственной постоянной величиной, – при том условии, что имя используется правильно, – остается предмет, к которому отсылает имя.

В данном случае, говоря о том, что собой представляет *смысл* имени собственного, например, «Аристотель», мы могли бы охарактеризовать его как коньюнкцию таких свойств, как 1 ..., 2 ... , 3 ... , 4 ... ; и дать при этом полный список определенных свойств. Ясно, однако, что в данном случае требуется дать какой-то критерий отбора интересующих нас свойств, поскольку каждый отдельный предмет обладает бесчисленным множеством свойств и при отсутствии такого критерия фиксация смысла имени собственного стала бы чересчур сложной и громоздкой, если вообще выполнимой процедурой. Иными словами, возникает вопрос о диапазоне существенных свойств предмета, обозначенного соответствующим именем, и критерии отбора этих свойств и отличения их от несущественных. Это требование отличать существенные свойства предмета от несущественных при фиксации смысла имени приводит, как отмечает Сол Крипке, к *социологизации* понятия *смысла имени собственного*. На практике это означает, что смысл имен собственных, например «Аристотель», начинают определять как некоторое грубо устанавливаемое множество *широко распространенных в определенном обществе в определенную эпоху мнений* об Аристотеле[21]. Это – не слишком приятное следствие для философов, принимающих доктрину смысла Фреге. Поставьте, к примеру, на место имени собственного, смысл которого требуется определить, имя «Сталин», и призрачная область смыслов как объективных сущностей, открываемых (Фреге) или постулируемых (Черч) в трехчленной семантике знака, обозначенного и смысла сразу же улетучится. Ведь совершенно ясно, что совокупность широко распространенных, например, в российском обществе, мнений о Сталине в 1949, 1989 и 1999 годах резким, зачастую диаметрально противоположным образом отличается друг от друга. Отсюда становится ясным, что неудовлетворительность Фрегевой теории имен собственных заключается в том, что она заставляет смысл имени колебаться, – в конечном счете от человека к человеку и от одного контекста употребления к

[21] Kripke S. Wittgenstein on Rules and Private Language. Ox., 1982. P.197.

другому; при этом принципы определения смысла имен для каждого отдельно взятого человека оказываются зависимыми от обстоятельств его личной жизни, а также от тех воздействий – вербальных и не-вербальных, – которым он подвергается со стороны общества: воспитания, образования, накопленного культурного капитала, умственного кругозора и т.д.

При этом надо отметить, что соображения, приведшие Фреге к включению сложных сингулярных терминов в класс обычных имен собственных, не носили, в отличии от соображений Рассела, эпистемологического характера. (См. об этом у Питера Гича[22]). Рассел говорит, что логические имена собственные отсылают слушающего к непосредственно знакомым объектам; при этом имеется в виду, что знание об этих объектах получено без помощи какого-либо вывода, посредством прямого знакомства при помощи органов чувств или разума. Такая постановка вопроса скорее всего показалась бы ему нежелательным возвращением от формально-семантического анализа к теоретико-познавательному психологизму, бывшему отличительной чертой философии Нового времени. Программу формально-семантического анализа, не имеющего отношения к психологическому процессу познания, Фреге наметил еще в своей работе «Исчисление понятий», опубликованной в 1879 году. В ней он четко отделил контекст обоснования и формализации имеющих истин от контекста получения новых истин и считая второй психологической проблемой, вывел его за рамки логико-семантических исследований.

Надо отметить также и то, что Фреге считал определенные дескрипции именами собственными не потому, что придавал каждому выражению предметное значение. Он отнюдь не придерживался убеждения, что всякое языковое выражение какого угодно вида должно обозначать какую-либо сущность. Такая позиция была свойственна Мейнонгу в его *Gegenstandstheorie* и Расселу в ранний период его творчества, отмеченный созданием *Principia Mathematica*, однако совершенно чужда самому Фреге. Отчасти это происходило потому, что он уподоблял предикаты функциональным выражениям, отчасти же потому – что делил все выражения языка на обозначающие и указывающие. Только обозначающим знакам типа имен собственных можно приписать предметное значение и смысл. Об указывающих же знаках типа частицы «между» вряд ли можно сказать, что она нечто обозначает; не всегда имеет смысл и приписывать ей какой-то особый смысл. Указывающие знаки по своей роли в дискурсе обычно характеризуются тем, что они вносят свой вклад в значение предложения благодаря тому, что связывают его части между собой и тем самым способствует выражению в языке – при помощи соответствующего предложения – полной мысли. «Говоря, что указывающий знак ничего не обозначает и не имеет смысла, – отмечает Фреге, – мы еще не утверждаем, что он не может содействовать выражению некоторой мысли. Он может содействовать этому тем, что придает общность содержания предложению или состоящему из предложения целому»[23].

Второе основание включения Фреге определенных дескрипций в класс имен собственных было связано с проблемой взаимозаменимости простых и сложных сингулярных обозначений в математическом дискурсе. Оно основывается на том,

[22] Geach Peter. Mental acts: their content and their objects. London: Routledge & Kegan Paul 1957. P.137.
[23] Фреге Г. Избранные работы. С.151

что в математике простые и сложные знаки, обозначающие определенное число, например, *e*, свободно заменяются друг на друга (Об этом подробнее см. у Гича[24]).

Еще одна проблема, которая возникает вследствие того, что Фреге включает определенные дескрипции в класс имен собственных, – это вопрос о том, как отличить имя собственное в качестве логически простого обозначения единичного предмета от предикатного знака, чьим значением является понятие, под которое подпадает всего-навсего один предмет. Для разрешения этой проблемы Фреге предложил определять семантическую категорию интересующего выражения путем его подстановки в предложение типа «Существует ли больше, чем одно —». Пусть «А» будет тем выражением языка, семантическую категорию которого мы должны установить, подставив его на место пробела в указанном выше предложении.Если интерпретировать выражение «А» как понятийное слово, то вопрос «Существует ли больше, чем одно А?» будет вполне осмысленным, даже если мы и будем вынуждены дать на него отрицательный ответ; однако если интерпретировать «А» как имя собственное, то такого рода вопрос вообще нельзя будет значимо сформулировать, поскольку множественная характеристика отдельного предмета вообще есть что-то бессмысленное. Например, в английском языке слово «moon» может обозначать как Луну, так и спутник планеты. Относительно такого рода двусмысленных случаев Фреге использовал возможность задавать вопрос «Существует ли больше, чем одно —» для того, чтобы выяснить, идет ли речь об описательном термине, который может осмысленно применяться во множественном числе («спутники планеты»), или же об имени собственном, относительно которого было бы бессмысленно употреблять множественное число («Луна»).

Итак, Фреге использует термин «имя собственное» в более широком значении, нежели чем только в качестве простого знака, обозначающего отдельный предмет; он применяет его также к относительно сложным обозначениям предметов, которые обычно называются определенными описаниями. Это расширительное истолкование объема термина «имя собственное» открыто для серьезных возражений. Если мы будем считать, что «А» представляет понятийное слово или многословное понятийное выражение, то в этом случае можно утверждать, что «(есть) *определенное* А» («(is) *the* А») также будет понятийным выражением; «x (есть) *определенное* А» («x (is) *the* А») будет означать «x есть *некое* (какое-то) А и ничто помимо x не является *неким* А» («x is *an* A and nothing besides x is *an* A»). Ясно, что логически невозможно для более чем одного предмета быть *определенным* А (*the* А); однако сам Фреге настаивает на том, что мы должны проводить строгое различие между *именем собственным* и *понятийным словом*, которое можно применить только к одному предмету. Фреге при этом принимает во внимание то обстоятельство, что связка «есть» во многих европейских языках используется по крайней мере в четырех ключевых смыслах: 1) для выражения существования «Предмет есть, существует»; 2) для выражения предикации (принадлежности элемента классу): «Сократ (есть) мудрый»; 3) для выражения включения одного класса в другой: «Греки (суть) люди»; 4) для выражения тождества: «Сократ есть муж Ксантиппы»[25]. Следовательно, Фреге считает, во-первых, что в предложениях типа «*x* (есть) *определенное* А» связка есть используется для выражения тождества и, во-вторых, она имеет в этом контексте самостоятельное содержание.

[24] Geach P. Mental acts: their content and their objects. P.139.
[25] Френкель А., И.Бар-Хиллел. Основания теории множеств.М. 1966. С.227.

В действительности предложенное Фреге выделение специальной связки для тождества во фразе вида «существует определенное А» является не более убедительным, нежели предложение принимать существование связки принадлежности элемента классу во фразе вида «существует какое-то А», что, на взгляд Фреге, было ошибочно; дело в том, что во всех этих контекстах «есть» не имеет своего собственного отдельного содержания. Например, когда утверждается, что «Не существует (*определенного*) короля Швейцарии» или что «Не существует числа, являющегося (*определенным*) корнем квадратным из 4», то тем самым речь идет не об указании, – путем обозначения, – на конкретную личность или на конкретное лицо, после чего заявляется, что никто не тождественен этой личности, или что нет числа, равного этому числу. На самом деле указывается на понятие, в данном случае, – на понятие «быть королем Щвейцарии» или «быть числом, которое является корнем квадратным из 4», которое применимо не более чем к одной личности или числу; после чего утверждается, что ни один предмет не подпадает под это понятие; иными словами, речь идет о том, что это понятие имеет «нулевой» объем[26].

Понятию *смысла* Фреге приписывает два важные свойства. Во-первых, Фреге считает *смыслы* имен собственных *объективными сущностями*. Поэтому от значения и смысла имени собственного Фреге отделяет представление, вызываемое именем у слушающего. В силу своей объективности смысл имени собственного не совпадает с представлением, связанном с произнесением или прочтением имени в уме слушающего. Происходит это потому, что в отличии от смысла языкового выражения связанные с ним представления Фреге считает «чем-то полностью субъективным»[27]. Если значением языкового знака является чувственно воспринимаемый предмет, то представление об этом предмете есть внутренний образ, возникший из воспоминаний о чувственных впечатлениях и об актах моей внутренней и внешней деятельности. Представление субъективно: оно часто пронизано эмоциями, отчетливость его отдельных частей различна и колеблется от случая к случаю. Даже и для одного человека определенное представление не всегда связано с одним и тем же смыслом. (Человек, имеющий представление об императоре Юлии Цезаре, может связывать с ним множество различных смыслов, например, таких, которые выражаются определенными описаниями типа «римский полководец, перешедший Рубикон», «тот человек, который стал первым римским императором», «победитель Помпея при Фарсале», «тот римский император, который был убит заговорщиками в Мартовские Иды). И наоборот, с одним и тем же смыслом может быть связано много разных представлений. У художника, зоолога и наездника с именем «Буцефал» будут связаны, вероятно, очень разные представления.

Смысл знака отличается от представления, вызываемого знаком у слушающего, тем, что он «может быть общим достоянием многих и, следовательно, не является частью или модусом души отдельного человека; ибо никто, пожалуй, не станет отрицать, что человечество обладает общей сокровищницей мыслей, которую оно передает от поколения к поколению»[28].

Смысл занимает промежуточное положение между именем собственным и его значением, в качестве которого выступает какой-то чувственно воспринимаемый предмет, обозначаемый этим именем. Представление полностью субъективно;

[26] Geach P. Mental acts: their content and their objects. Pp.136-137.
[27] Фреге Г. Избранные работы. С.30.
[28] Там же, с.28-29.

значение имени объективно; смысл, который лежит между ними, является интерсубъективной категорией, доступной по крайней мере некоторыми говорящим на одном языке (в идеале он должен быть доступен всем членам некоторого языкового сообщества). Отношение между именем собственным и его значением и смыслом Фреге пытается прояснить при помощи следующего примера наблюдения Луны через телескоп:

«Допустим, некто смотрит на Луну в телескоп. Саму Луну я сравниваю со значением; она является предметом наблюдения, которое опосредовано реальным образом, который образуется на линзах внутри телескопа, и образом на сетчатке наблюдателя. Первый я приравниваю к смыслу, второй – к представлению или созерцанию. Конечно, образ в телескопе является односторонним и зависит от расположения телескопа; однако он все-таки объективен, ибо может служить нескольким наблюдателям. Во всяком случае его можно направить таким образом, что его одновременно будут использовать несколько наблюдателей. Однако образ Луны на сетчатке глаза у каждого будет свой. В силу разного строения глаз вряд ли можно ожидать даже геометрического подобия двух образов на двух разных сетчатках, а их полное совпадение совершенно исключено. Это сравнение можно было бы продолжить, предположив, что В может увидеть сетчатку А или же что А также может увидеть свою собственную сетчатку в зеркале. Тем самым можно было бы, пожалуй, показать, что и само представление можно рассматривать как предмет, однако в качестве такового оно воспринимается наблюдателем совсем не так, как оно непосредственно воспринимается самим представляющим»[29].

Вторая важная особенность смысла имени собственного заключается в том, что он содержит в себе «способ данности» (нем. Darstellungsweise) значения имени. Как указывает Фреге, наряду со значением выражения требуется принимать во внимание также и «способ данности» предмета при помощи данного выражения. «Способ данности» «содержится в» *смысле* знака. В качестве примера он приводит уже известные выражения «Утренняя звезда» и «Вечерняя звезда», которые представляют собой два различные «способа данности» одного и того же предмета. Предполагается, что один и тот же предмет – планета Венера – в первом случае дается нам как небесное тело, освещенное восходящим солнцем, а во втором – как небесное тело, видимое на небе в вечернее время суток. Поскольку считается, что зная смысл имени, можно установить значение имени, принято утверждать, что значение имени является функцией его смысла. Однако понимание смысла имени не означает, что лицу, которое понимает смысл имени, обязательно известно значение имени. Дело в том, что знание смысла имени отнюдь не обязательно приводит к знанию значения имени. Используя метафору, предложенную Майклом Даммитом, можно сказать, что смысл как бы задает тот путь, идя по которому можно прийти к значению имени. Однако смысл не дает ответа на вопрос, имеет ли имя значение или нет; это проблема, которая требует эмпирического исследования. В этой связи Фреге указывает: «Всестороннее знание значения предполагало бы, что о каждом данном смысле мы могли бы сразу решить, относится ли оно к этому значению или нет. Но этого мы никогда не достигаем»[30]. Поэтому можно понимать смысл имени, но не знать о предмете имени ничего, кроме того, что он определяется этим смыслом. Более того, может случиться и так, что предмета, определяемого смыслом имени, вообще не существует. В том случае, когда имена обозначают предметы, не существующие в

[29] Там же, с.29-30.
[30] Там же, с.27.

действительности, их называют *мнимыми*. Происходит это потому, что в естественных языках смысл имени не определяет существование предмета. «Пожалуй, можно сделать так, чтобы грамматически правильно построенное выражение, представляющее собственное имя, всегда имело один и тот же смысл; но имеет ли оно еще и значение – остается проблематичным. Слова «наиболее отдаленное от Земли небесное тело» имеют смысл; однако очень сомнительно, имеют ли они значение. Выражение «в наименьшей степени сходящийся ряд» имеет некоторый смысл; однако доказано, что оно не имеет значения, так как для любого сходящегося ряда всегда найдется ряд, сходящийся еще медленнее. Таким образом, даже если понимается некоторый смысл, это еще не обеспечивает наличие значения»[31].

Имена, имеющие смысл, но не обозначающие никакого предмета – это неподлинные собственные имена; они только выполняют роль собственных имен. Фреге называет такие имена *мнимыми* собственными именами. Они встречаются в естественных языках, но им не должно быть места в языке науки. В отличии от естественных языков, в языке науки смысл имени определяет существование предмета имени и притом единственного. Фреге пишет: «От логически совершенного языка (исчисление понятий) следует требовать, чтобы любое выражение, образуемое как имя собственное грамматически правильным образом, действительно обозначало некоторый предмет, и чтобы в качестве собственного имени не вводилось ни одного знака, не обеспеченного собственным значением»[32].

Эта идея была реализована Фреге в работе «Исчисление понятий». В «Основоположениях арифметики» (1884)[33] он утверждает, что для соблюдения логической строгости рассуждений важен принцип, согласно которому все правильно образованные знаки должны означать нечто. Специальные правила, сформулированные Фреге и придающие каждому правильно построенному знаку в исчислении строго фиксированное значение, в настоящее время принято именовать *семантическими правилами*.

Американский логик Алонзо Черч, разделяющий основные положения теории смысла и значения Фреге, характеризует ее так, что смысл, который связан с именем, представляет собой определенную концептуальную информацию об обозначаемом предмете. Смысл однозначно характеризует предмет без учета того, доступен он или нет, без учета того, в состоянии ли мы себе его представить или нет, без учета того, действительно ли он существует и т.д. Это положение можно сформулировать так, что для всех говорящих на данном языке L (причем предполагается, что все носители языка L обладают всем его словарным запасом, то есть в состоянии понять каждое слово в L) всегда доступен один и тот же смысл каждого имени. Иначе говоря, все носители языка в состоянии одному и тому же имени придать одинаковый смысл и не должны при этом воспроизводить в памяти одинаковые представления или ассоциативные образы[34].

В логически совершенном языке отношение между знаком, выражаемым им смыслом и обозначаемым им предметом должно, согласно Фреге, иметь следующий вид: «Правильная связь между предметом, его смыслом и значением

[31] Там же.
[32] Там же, с.40.
[33] Рус. изд. — Фреге Г. Основоположения арифметики. Пер. В.А.Суровцева. Томск, "Водолей", 2000.
[34] Тондл Л. Проблемы семантики. М., «Прогресс», 1975. С.153.

должна быть такой, чтобы знаку соответствовал определенный смысл, а смыслу, в свою очередь, – определенное значение, в то время как одному значению (одному предмету) соответствует не только один знак. Один и тот же смысл выражается по-разному не только в разных языках, но и в одном и том же языке. ... Разумеется, в совершенной совокупности знаков каждому выражению должен соответствовать лишь один определенный смысл, однако естественные языки далеко не всегда удовлетворяют этому требованию и приходится довольствоваться тем, чтобы хотя бы на протяжении одного рассуждения слово всегда имело один и тот же смысл»[35].

Итак, одно и то же имя, – причем не только в разных языках, но и в одном и том же языке, – может выражать разный смысл. Такая многосмысленность имен, являющаяся обычным делом в естественных языках, нетерпима в языке науки. Поэтому в языке науке требуется использовать однозначные языковые выражения. В этом случае каждое имя должно выражать только один смысл (и, соответственно, должно иметь только одно значение).

И наоборот, один и тот же смысл может быть выражен разными именами. Имена, выражающие одинаковый смысл, называются *синонимами*. Поскольку синонимы выражают один и тот же смысл, они имеют одно и то же значение. Отсюда вполне естественно возникает вопрос, в силу каких критериев мы признаем два имени обладающими одинаковым смыслом. Проблема синонимии языковых выражений – одна из центральных проблем логической семантики. Фреге предлагает свой ответ на этот вопрос в виде так называемого принципа *взаимозаменимости* равнозначных выражений (его еще называют принципом «коэкстенсиональности»). Согласно этому принципу, два языковых выражения обладают одинаковым значением, если при замене одного выражения на другое в контексте определенного предложения истинностное значение этого предложения остается неизменным.

1.2.2 Значение и смысл предложений

Предложения рассматриваются Фреге как частные случаи имен. Поэтому для них сохраняются все те требования, которые имеют силу для имен собственных.

Фреге начинает анализ отношения наименования со знаков аргументов, которые он называет собственными именами и под которыми понимает любое выражение, имеющее значение в виде самостоятельного предмета. В качестве отправной точки он избирает отношение тождества двух имен. Обычная трактовка связывает это отношение либо с отношением вещей, либо с отношением знаков. Однако Фреге отвергает и то и другое. Если бы тождество сводилось к совпадению предмета с самим собой, то установление подобного отношения не имело бы познавательного значения, так как соответствующее суждение было бы аналитическим в смысле Канта и не содержало бы никакого приращения знания. Тождественность предмета самому себе есть отправной пункт всякого познания, а не его результат. Когда же мы говорим, что '$a=b$', мы утверждаем нечто явно отличное от '$a=a$' ввиду различной эвристической ценности этих выражений. Скорее можно было бы предположить, что отношение тождества – это отношение между различными обозначениями одного и того же. Однако если все сводилось

[35] Фреге Г. Избранные работы. С.27.

бы лишь к отношению между знаками, то роль играл бы только используемый способ обозначения, что также не имело бы эвристической ценности ввиду произвольности принятой системы знаков. Как считает Фреге, «разница может появиться только тогда, когда различию знаков соответствует различие в способах данности обозначаемого. Пусть *a*, *b*, *c* – прямые, соединяющие вершины треугольника с серединами противоположных сторон. Точка пересечения *a* и *b* есть в таком случае та же самая точка, что и точка пересечения *b* и *c*. Таким образом, у нас имеются различные обозначения одной и той же точки, и эти имена ('точка пересечения *a* и *b*', 'точка пересечения *b* и *c*') одновременно указывают на способ данности объекта, и поэтому данное предложение содержит действительное знание. Это свидетельствует о том, что некоторый знак (слово, словосочетание или графический символ) мыслится не только в связи с обозначаемым, которое можно было бы назвать значением знака, но также и в связи с тем, что мне хотелось бы назвать смыслом знака, содержащим способ данности обозначаемого. Тогда в нашем примере одним и тем же будет значение выражений 'точка пересечения a и b' и 'точка пересечения b и c', а не их смысл. Точно так же у выражений 'Вечерняя звезда' и 'Утренняя звезда' одно и то же значение, но не смысл»[36].

Таким образом, если мы намереваемся правильно решить проблему тождества, необходимо допустить еще один компонент, характеризующий отношение наименования, то есть отношение между предметом и знаком. Таким компонентом является выраженный в языке способ указания на предмет, который не есть собственно языковая оболочка и не есть предмет объективной реальности, а отличается и от того, и от другого. Этому третьему элементу отношения наименования, смыслу, Фреге отводит эвристическую функцию приращения знания.

Введение в структуру отношения наименования такого компонента, как смысл, позволяет решить проблему осмысленного функционирования пустых, т.е. не имеющих предметного значения, имен, типа 'Одиссей' или 'самое большое число'. Когда встречаются такие выражения, речь, очевидно, не может идти об их предметном значении, но они могут употребляться осмысленно. В этом отношении наличие смысла независимо от наличия соответствующего объекта[37].

Фреге начинает исследование семантики предложения с анализа повествовательных предложений. Такие предложения, говорит он, содержат некоторую мысль, которая может быть или значением предложения, или его смыслом. Здесь же Фреге уточняет: «Под мыслью (Gedanke) я понимаю не субъективную деятельность мышления, а его объективное содержание, способное быть достоянием многих»[38].

Теперь необходимо выяснить, что же является значением повествовательного предложения. На этот счет, полагает Фреге, можно выдвинуть два предположения:

---

[36] Фреге Г. Избранные работы. С.26.

[37] Имея в виду это обстоятельство, один из последователей Фреге следующим образом определяет смысл: "Смысл - это то, что бывает усвоено, когда понято имя, так, что возможно понимать смысл имени, ничего не зная о его денотате (референте), кроме того, что он определяется этим смыслом" (Черч А. Введение в математическую логику.– М.: ИЛ, 1969.– С.20).

[38] Там же, с. 31, сноска 1.

(1) Значением повествовательного предложения является мысль (Gedanke).

(2) Повествовательное предложение имеет смысл, но не имеет значения.

Предположение (1), однако же, оказывается неудовлетворительным в силу того, что в этом случае не выполняется *принцип взаимозаменимости* Лейбница, формулировка которого предполагает, как критерий идентичности языковых выражений, их взаимную заменимость в контексте предложения при сохранении семантической характеристики предложений, то есть истинностного значения[39]. Если бы значением повествовательного предложения являлся бы его смысл, то, согласно принципу Лейбница (*salva veritate*), мы могли заменить одно входящее в предложение выражение на другое, обладающее тем же самым значением, и при этом сохранилось бы истинностное значение предложения. Ясно, однако, что это не так. Если в предложении (1) «Утренняя звезда есть тело, освещенное солнцем» заменить входящее в него имя собственное «Утренняя звезда» на синонимичное выражение «Вечерняя звезда», то получится предложение (2) «Вечерняя звезда есть тело, освещенное солнцем», которое должно выразить ту же самую мысль, что и предложение (1).В действительности же предложения (1) и (2) содержат разные мысли. Каждый, кому неизвестно, что «Утренняя звезда» есть «Вечерняя звезда», может счесть одну из этих мыслей истинной, а другую – ложной. Мысль в таком случае изменится, и соответственно, изменится и значение предложения, коль скоро мы в своем предположении исходили из того, что значением повествовательного предложения является выражаемая им мысль, или смысл. «Таким образом, мысль не является значением предложения, ее следует рассматривать скорее как смысл предложения»[40].

Предположение (2), выдвинутое Фреге, состоит в том, что предложение имеет смысл, но не имеет значения. Такие предложения и в самом деле встречаются. К ним, в частности, относятся предложения, включающие в себя имена собственные, не имеющие значения. Предложение «Одиссея высадили на берег Итаки в состоянии глубокого сна» имеет, очевидно, смысл. Но поскольку неизвестно, обладает ли значением имя «Одиссей», постольку мы не знаем, имеет ли значение данное предложение в целом. Ясно, однако, что тот, кто всерьез считает данное предложение истинным или ложным, признает за именем «Одиссей» не только смысл, но и значение; так как только значению этого имени можно приписывать или отрицать за ним упомянутый в предложении предикат. Отсюда следует, что значением повествовательного предложения надо считать его истинность или ложность.

Фреге утверждает, что предикат приписывается или отрицается не относительно имени, но относительно его *значения*, то есть относительно некоторого предмета. Только в том случае, когда имеет место приписывание или отрицание предиката относительно некоторого предмета, обозначаемого именем, предложение принимает значение истинности или ложности. Фреге говорит: «Тот, кто не признает некоторого значения, не может ни утверждать, ни отрицать наличие у него какого-либо предиката»[41]. Если имя, являющееся субъектом предложения, не имеет значения, то предложение, в которое оно входит, не является ни истинным, ни ложным. В таком случае предложение (согласно принципу композициональности, что сложное имя не имеет значения, если не имеет

[39] Тондл Л. Проблемы семантики. С.37.
[40] Фреге Г. Избранные работы. С.31
[41] Там же.

значения хотя бы одно входящее в него простое имя), также не имеет значения. Поэтому коль скоро истинность и ложность рассматриваются как значение предложения, то для него имеют силу и принцип взаимозаменимости, и принцип предметности, согласно которому если сложное имя имеет значение, то его имеют и все входящие в него простые имена.

Наконец, из этого размышления Фреге становится ясно, почему именно предложение, а не имя собственное, является первичным носителем значения. Дело в том, что каждый из приводимых Фреге примеров имен собственных является однозначно идентифицирующим *описанием* определенного предмета. Значением знака является поэтому тот предмет, который соответствует этому описанию. (Причем в языке науки каждому имени собственному должен соответствовать только один предмет). Знак выделяет предмет в качестве своего значения только в том случае, когда определенное предложение, в котором утверждается или отрицается нечто относительно значения имени, является истинным по отношению к этому предмету. Например, «Аристотель – это тот ученик Платона, который был учителем Александра Великого».Теперь становится ясно, почему предложение следует считать исходным носителем значения. Эта особенность Фрегевой семантики обусловлена тем, что постижение (нем. Fassen, англ. grasping) предметного значения имени собственного или описательного выражения включает в себя, по Фреге, согласие с истинностью предложения, согласно которому определенный предмет соответствует определенному описанию. До тех пор, пока мы не признаем возможность формулировки истинных предложений, в которых что-то утверждается или отрицается по поводу предметов, мы не сможем установить «значения» имен собственных; иными словами, мы не сможем идентифицировать выделить предметы, которые они обозначают.

Согласно семантической концепции Фреге, толкующей предложения как своеобразные имена собственные, смысл повествовательного предложения, или мысль, определяется только смыслами его частей, а не их значением. Если бы нас интересовала только мысль как смысл предложения, то не было бы никакой необходимости интересоваться значением предложения. В частности, выраженная в предложении об Одиссее мысль не изменится оттого, имеет ли слово «Одиссей» значение или нет. В действительности же мы стремимся узнать и значение составляющих его имен. Это указывает на то, что мы признаем значение и за самим предложением. Фреге спрашивает: «Почему же мы хотим, чтобы каждое имя собственное имело не только смысл, но и значение? Почему нам недостаточно мысли? Потому и лишь потому, что нас интересует ее истинностное значение. ... Именно стремление к истине и заставляет нас двигаться вперед, от смысла предложения к его значению»[42].

Вывод, к которому приходит Фреге, заключается в том, что значением повествовательного предложения является его *истинностное значение* (нем. Wahrheitswert, англ. truth value). Под истинностным значением предложения Фреге понимает то, что оно является истинным или ложным. Других истинностных значений, говорит Фреге, нет. (Это справедливо для стандартной двузначной логики, но неприемлимо для возникших в XX веке многозначных логик). Для краткости одно он называет *истинностью*, а другое – *ложностью*. Фреге пишет: «Всякое повествовательно предложение, в зависимости от значения

[42] Там же, с.32.

составляющих его слов, может, таким образом, рассматриваться как имя, значением которого, если, конечно, оно имеется, будет либо истина, либо ложь. Оба этих абстрактных предмета признаются, хотя бы молчаливо, всеми, кто вообще выносит хоть какие - либо суждения или считает хоть что нибудь истинным, то есть даже скептиком»[43].

Истинность и *ложность* рассматриваются Фреге как *абстрактные предметы*. Такая трактовка истинности и ложности нашла себе широкое применение в современной математической логике. Так, при табличном построении исчисления высказываний функции этого исчисления обычно трактуются как определенные на области, состоящей из двух предметов – предмета «истина» и предмета «ложь», которые принимают значение также на этой области. Следует, однако, отметить, что современные последователи Фреге и, в частности, Черч, предпочитают говорить об истине и ложности как о постулированных, а не как о идеально существующих предметах. В этом они видят способ избежать далеко идущих следствий *логического реализма* Фреге, согласно которому абстрактные предметы обладают специфическим модусом существования.

Если предложение имеет истинностное значение, то оно, в свою очередь, определяется мыслью, выраженной в данном предложении. Фреге пишет: «Истинностное значение (Wahrheitswert) является значением (Bedeutung) предложения, смыслом (Sinn) которого является мысль (Gedanke)»[44]. Соответственно, только смыслы предложений, которые могут быть истинными или ложными, являются мыслями. Предложения, выражающие приказы, вопросы, «восклицания, которыми выражаются чьи-то чувства», обладают смыслами, но эти смыслы не являются мыслями. Мысль является смыслом предложений, «в которых выражается сообщение или утверждение»[45].

Если значением предложения является его истинностное значение, то все предложения распадаются на два класса:

(1) на класс предложений, смысл которых определяет их истинностное значение «истинность», и

(2) на класс предложений, смысл которых определяет их истинностное значение «ложность».

Мысль есть смысл имени истинности или ложности. Истинное предложение – это имя истинности, а ложное предложение – это имя ложности. Можно понимать мысль, выраженную в некотором предложении, но не знать, каково определяемое ею истинностное значение.

Высказывая предложение, говорящие стремятся выразить не просто мысли, которые в них выражены, но претендуют на *истинность* высказывания. Но в предложении как имени истинности или ложности утверждения не содержится. Поэтому значение само по себе нас не интересует; однако и голая мысль, то есть смысл сам по себе, тоже не несет в себе нового знания. Нас интересует только соединение мысли и ее значения, т. е. истинностного значения. Согласно Фреге, переход от уровня смыслов (интерсубъективный уровень) к уровню значений (объективный уровень) осуществляется в *суждении*.

---

[43] Там же, с.32-33.
[44] Там же, с.22.
[45] Там же, с.55.

По поводу логической природы суждения Фреге утверждает: «Суждение (Urteil) есть для меня не голое постижение некоторой мысли, но признание ее истинности»[46]. Пока предложение рассматривается просто как имя истины и лжи, в нем еще нет никакого *утверждения*. Оно появляется только в том случае, когда к предложению присоединяется указание на его истинность. В обычных языках и в языке науки высказываемое кем-либо предложение рассматривается как утверждение истины; утверждение истины в этом случае выражается самим фактом высказывания предложения.

Заметим еще раз, что мысль и истинностное значение – два совершенно разных элемента в отношении наименования; второе не является частью первого (так же, как, например, само Солнце не является частью мысли о Солнце). Поскольку истина и ложь – не смысл, но предметы, стало быть, характеристика предложения как истинного или ложного ничего не добавляет к содержащейся в нем мысли. Это отчетливо видно, когда мы сравниваем предложения "5 – простое число" и "Мысль, что 5 – простое число, истинна". Второе предложение не содержит никакой информации сверх той, что может быть усвоена из первого, а значит, приписывание мысли истинностного значения – это отношение иного рода, чем отношение между функцией и аргументом, из которых состоит мысль. Функция и аргумент находятся на одном уровне, дополняя друг друга, они создают целостную мысль, которая может функционировать, даже если мы ничего не знаем о ее истинности. Вопрос об истине возникает только тогда, когда мы переходим к утверждению мысли.

С точки зрения Фреге, в структуре утвердительного предложения необходимо различать: 1) схватывание мысли – мышление; 2) признание истинности мысли – суждение; 3) демонстрация этого суждения – утверждение[47]. Первый этап соответствует усвоению содержания предложения. Признание истинности заключено в форме утвердительного предложения и соответствует переходу от содержания предложения к его истинностному значению. Необходимость разведения мысли и суждения обосновывается тем, что усвоение содержания предложения не связано однозначно с возможным признанием его истинным или ложным, тот же самый смысл может быть усвоен в форме вопроса. Более того, очень часто случается так, что между усвоением мысли и утверждением ее истинности лежит значительный промежуток времени, как, например, происходит в научных исследованиях. Признание истинности выражается в форме утвердительного предложения. При этом совсем не обязательно использовать слово 'истинный'. Даже в том случае, если это слово все же употребляется, собственно утверждающая сила принадлежит не ему, а форме утвердительного предложения.

В естественном языке различие между содержанием предложения и его утверждением скрыто самой формой выражения. В структуре повествовательного предложения нет ничего такого, что позволило бы отличить простую констатацию мысли от признания ее истинной. В естественном языке это противопоставление скрыто, в частности, тем обстоятельством, что отсутствует особый знак суждения, подобный '?' и '!'. Однако выделение особой утвердительной силы, основанное на противопоставлении запроса и суждения, необходимо, как считает Фреге, ввести в формальный язык описания логических структур, в котором все различия должны

[46] Там же, с. 33, сноска 1.
[47] Фреге Г. Логические исследования. С.35.

быть явно артикулированы. Для этого он использует особый знак суждения '$\vdash$'. Различая суждение и саму мысль, он пишет: «В простом равенстве еще нет утверждения; "2+3=5" только обозначает истинностное значение, не говоря о том, какое из двух. Кроме того, если я написал "(2+3=5)=(2=2)" и предполагается, что мы знаем, что 2=2 есть истина, я тем самым все еще не утверждал, что сумма 2 и 3 равна 5; скорее я только обозначил истинностное значение *"2+3=5" означает то же самое, что и "2=2"*. Нам, следовательно, требуется другой, особый знак, для того чтобы мы могли утверждать нечто как истинное. Для этой цели я предпосылаю знак '$\vdash$' имени истинностного значения, так что, например, в "$\vdash 2^2=4$" утверждается, что 2 в квадрате равно 4. Я отличаю *суждение* от *мысли* следующим образом: под суждением я понимаю признание истинности *мысли*»[48].

Своеобразие формальной системы, созданной Фреге, состоит в том, что на ее языке можно выразить как предложения, высказанные с утвердительной силой, так и простую констатацию. В последнем случае немецкий логик использует знак '—', который помещает перед предложением. Этот знак является составной частью знака суждения '$\vdash$', и только вертикальная черта превращает констатацию в признание истинным. Различие констатации и суждения позволяет избавиться от традиционной классификации суждений на положительные и отрицательные. С точки зрения Фреге, нет никакой специфической отрицательной силы, для формальной системы достаточен только знак утверждения. Отрицание не затрагивает акт суждения и интегрировано в формальную запись на уровне констатации, поскольку, как указывалось выше, отрицание представляет собой одноместную истинностно-истинностную функцию. Знак суждения служит для утверждения, что истинностным значением предложения является истина, но «нам не нужен специальный знак, для того чтобы объявить, что истинностным значением является ложь, поскольку мы обладаем знаком, посредством которого истинностное значение изменяется на противоположное; это также необходимо и по другим основаниям. Теперь я ставлю условием: значением функции '— ~*p*' будет ложь для каждого аргумента, для которого значением функции '— *p*' будет истина; и будет истина для всех других аргументов. Соответственно, в '— ~*p*' мы имеем функцию, значением которой всегда является истинностное значение; это – понятие, под которое подпадет каждый объект, единственно за исключением истины... При принятых нами условиях '— ~(2^2=5)' есть истина; а потому: '— ~(2^2=5)', используя слова: '2^2=5 не есть истина'; или: '2 в квадрате не равно 5'»[49]. Таким образом, отрицание относится не к форме выражения, как это имеет место в традиционной логике, которая различает утвердительные и отрицательные суждения, а к элементам, связанным с содержанием. Мысль, выраженная в предложении, в этом смысле нейтральна, как вообще нейтрален способ данности объектов, каковыми в данном случае выступают истина и ложь.

Инкорпорируя знак суждения в структуру выражения мысли, Фреге не рассматривает его как конструкцию, аналогичную перформативным выражениям типа 'Я утверждаю...', 'Он утверждает...' и т.п. Знак суждения, выражающий утвердительную силу, никогда не может быть включен в содержание предложения, поскольку, согласно Фреге, приписанное перформативу предложение имеет косвенное вхождение в выражение, и как таковое имеет

[48] Frege G. Grundgesetze. S.9.
[49] Ibid. S.10.

смысл и значение, отличные от смысла и значения исходного предложения. Так, значением косвенного предложения, подчиненного перформативу, является не истина или ложь, а его обычный смысл. Поэтому немецкий логик говорит именно о форме утвердительного предложения, которая соответствует знаку '$\vdash$' в естественном языке. Поскольку признание истинным зависит исключительно от *формы* утвердительного предложения, постольку оно также не имеет никакого отношения к чувству субъективной уверенности, сопровождающему психологическое осуществление акта суждения. Признание истинным – объективный процесс, характеризующий форму выражения мысли.

Знак суждения по Фреге может рассматриваться как общий всем предложениям предикат, типа "Истинно, что *p*" или "Имеет место *p*". Так как предложения рассматриваются как имена, последнее вполне оправданно, поскольку с точки зрения грамматики конструкция "$\vdash$ *p*" представляет собой глагол, приписанный имени.

Введение знака суждения основано не только на соображениях, связанных с формой выражения мысли. Важную роль знак суждения играет в структуре вывода. В качестве элементов вывода, как считает Фреге, могут использоваться только такие предложения, которые высказаны с утвердительной силой (т.е. соответствующая им мысль должна быть признана истинной), поскольку вывод заключается в вынесении суждений, осуществляемом на основе уже вынесенных ранее суждений, согласно логическим законам. Каждая из посылок есть определенная мысль, признанная истинной; точно так же признается истинной определенная мысль в суждении, которое является заключением вывода. Последнее можно прояснить специальным случаем с правилом вывода *modus ponens*, которое Фреге в своем шрифте понятий рассматривает в качестве единственного способа получения следствий и которое иллюстрирует еще один аргумент в пользу введения в структуру вывода особой утвердительной силы, связанной с формой повествовательного предложения в естественном языке и знаком '$\vdash$' в символическом языке. С точки зрения последнего, выделение особой формы суждения позволяет предотвратить *petitio principi*, скрытое в форме условно-категорического умозаключения. В "*Если p, то q; p. Следовательно, q*" заключение уже присутствует в условной посылке. Однако если в это умозаключение явно ввести знак '$\vdash$', то *petitio principi* можно избежать. В "$\vdash$ *Если p, то q;* $\vdash$ *p. Следовательно,* $\vdash$ *q*" заключение в условной посылке не содержится, поскольку "$\vdash$ *q*" не совпадает с "*q*".

В силу этого Фреге считал необходимым ввести в свое «исчисление понятий» особый *знак утверждения*. Он указывал, что в простом равенстве «$2^2 = 4$» не содержится никакого утверждения. Это равенство просто обозначает некоторое истинностное значение. Чтобы показать, что речь идет именно об утверждении истины, Фреге предпосылает имени истинностного значения знак «$\vdash$», так что в предложении «$\vdash 2^2 = 4$» утверждается, что квадрат двух есть четыре.

В «Основоположениях арифметики» Фреге указывал: «В простом равенстве еще нет утверждения; "2 + 3 = 5" только обозначает истинностное значение, ничего не говоря о том, какое из двух. Кроме того, если я написал

"2 + 3 = 5" = "2 =2"

и предполагается, что 2 = 2 есть Истина, я тем самым еще не утверждал, что сумма 2 и 3 равна 5; скорее, я только обозначил истинностное значение *"2 + 3 =*

5" означает то же самое, что и "2 = 2". Нам, следовательно, требуется другой, особый знак для того, чтобы мы могли утверждать нечто как истинное. Для этой цели я предпосылаю знак «├—» имени истинностного значения, так что, например, в

«├—2^2 = 4»

утверждается, что квадрат двух есть четыре. Я отличаю суждение от мысли следующим образом: под суждением я понимаю признание истинности мысли».

Если повествовательные *предложения* являются *именами*, обозначающими абстрактные предметы «истинность» и «ложность», то по отношению к их *истинностным значениям* должен сохранять свою силу принцип *взаимозаменимости* равнозначных языковых выражений.Это означает, что если в сложном предложении одну из его составных частей, в свою очередь являющуюся предложением, заменить другим предложением, обладающим тем же самым значением, хотя быть может и отличающимся от первого по смыслу, то истинностное значение полученного предложения не изменится. В этой связи Фреге отмечает:

«Если наша точка зрения верна, то истинностное значение предложения, которое содержит в качестве части другое предложение, не должно измениться, если мы заменим эту часть на предложение с тем же самым истинностным значением»[50].

Выполнимость принципа взаимозаменимости в элементарных случаях подобного рода достаточно очевидна. К примеру, если в предложении

(1) «Утренняя звезда есть небесное тело, освещенное Солнцем»

выражение «Утренняя звезда» заменить на равнозначное выражение «Вечерняя звезда», то истинностное значение полученного в результате такой подстановки предложения

(2) «Вечерняя звезда есть небесное тело, освещенное Солнцем»

останется неизменным. Оба предложения будут иметь истинностное значение «истинно».

Возьмем, однако, другой пример, неоднократно приводившийся такими известными логиками, как Бертран Рассел, Алонзо Черч и Уиллард Ван Орман Куайн. Рассмотрим предложение:

(3) «Георг IV однажды спросил, является ли Вальтер Скотт автором *Уэверли*».

Имея в виду, что Вальтер Скотт и в самом деле является автором произведения *Уэверли*, опубликованным им анонимно, заменим имя «автор *Уэверли*» равнозначным ему именем «Вальтер Скотт». В результате получим предложение:

(4) «Георг IV однажды спросил, является ли Вальтер Скотт Вальтером Скоттом».

В то время как предложение (3) истинно (то, что английский король однажды действительно задал подобный вопрос, есть исторический факт), предложение (4), очевидно, ложно (хотя Георг IV и не был особо развитым в интеллектуальном отношении человеком, вряд ли он когда-либо сомневался в том, что Вальтер Скотт является Вальтером Скоттом). (Подобным же образом если м-р Смит прочитал в

[50] Там же, с.35.

газете, что человек в серой шляпе разыскивается за убийство, но не знает при этом, что этот убийца является его соседом м-ром Джонсом, то м-р Смит может, конечно же, испытывать страх перед человеком в серой шляпе, но это вовсе не означает, что он боится м-ра Джонса). В результате оказывается, что в контекстах типа «Георг IV однажды спросил, является ли...», в которых заменяемому имени предшествуют выражения вроде «убежден, что», «интересуется, что», «знает, что», «боится, что», либо нарушается принцип взаимозаменимости равнозначных выражений (принцип «коэкстенсиональности»), либо взаимозаменяемые имена не имеют обычного смысла. Фреге склоняется ко второму решению. Он объясняет случаи, при которых замена тождественных по значению выражений приводит к изменению значения всего сложного выражения в целом тем, что в этих контекстах заменяемые выражения входят в состав *косвенной речи*. Он утверждает, что обычно имена используются для того, чтобы обозначить свое значение, однако в некоторых контекстах, в частности в предложениях типа (3), они используются для того, чтобы обозначить некоторый смысл. Иными словами, в косвенной речи слова имеют не обычное значение, а означают то, что обычно является их смыслом. В статье «О смысле и значении» Фреге пишет:

«В косвенной речи слова выступают в *косвенном* употреблении или имеют *косвенное* значение. В соответствии с этим мы отличаем *обычное* значение некоторого слова от его *косвенного* значения и его *обычный* смысл от его *косвенного* смысла. Косвенным значением некоторого слова является, таким образом, его обычный смысл. Эти исключения надо всегда иметь в виду, если мы хотим правильно понять способ связи знака, смысла и значения в каждом отдельном случае»[51].

Поэтому Фреге ищет способы устранения возникающих в этой связи парадоксов на пути объяснения смысла и значения слов и предложений в *косвенной* речи. В результате он приходит к выводу, что *значением* имени при употреблении его в *косвенной речи* становится *смысл* того же имени при его употреблении в *прямой речи*. В этой связи Фреге указывал на те ограничения, с которыми принцип взаимозаменимости сталкивается в косвенной речи:

«Исключения могут обнаружиться только тогда, когда исходное целое предложение или его заменяемая часть являются прямой или косвенной речью; ибо в прямой или косвенной речи слова... не имеют обычного значения; значением предложения в прямой речи также является некоторое предложение, а в косвенной речи – некоторая мысль»[52].

Контексты, в которых нарушается принцип «коэкстенсиональности» (или, как выразился сам Фреге, в которых значением имени становится смысл того же имени при его употреблении в прямой речи) принято называть референциально «непрозрачными», поскольку в них остается неясной связь между именем и его значением. (Сам этот термин был введен Расселом и Уайтхедом в сочинении «Principia Mathematica». У Фреге не было специального обозначения для подобного рода контекстов; он лишь ограничивался указаниями на то, что в подобных контекстах имена употребляются в «косвенной речи» или «косвенным образом»). Притом именно потому, что Фреге принимает трехкомпонентную семантику, включающую в свой состав имя, значение и смысл, ему удается отстоять *универсальность* принципа «коэкстенсиональности». Ясно, что переход

[51] Там же, с.38.
[52] Там же, с.35.

от трехуровневой семантики Фреге к двухуровневой семантике репрезентации в семантических системах Рассела и Куайна должен был также привести и к пересмотру способа обоснования универсальности принципа «коэкстенсиональности».

Логика имеет дело главным образом с повествовательными предложениями, то есть с предложениями, которые используются для выражения каких-то мыслей и могут оцениваться как истинные или ложные. Поэтому для того, чтобы отличить эти предложения ото всех остальных, Фреге называет смыслы, которые выражают предложения этого типа, *мыслями* (нем. Gedanke), а англоязычные философы аналитической ориентации начиная с Рассела – *пропозициями* (англ. proposition). (В отечественной логической литературе для этой цели используется термин *суждение*, который, как было показано раньше, играет принципиально иную роль в логико-семантической системе Фреге). Пропозиция или мысль – это смысл повествовательного («утвердительного») предложения, взятый без его грамматической оболочки.

Остановимся подробнее на структуре утвердительного предложения в философии языка Фреге. Всякое утвердительное предложение содержит по крайней мере два компонента: *содержание* (Inhalt), которое совпадает с содержанием соответствующего общевопросительного предложения, и *утверждение*. Первое является *мыслью* или по крайней мере содержит мысль. Следовательно, полагает Фреге, возможно такое выражение мысли, которое не содержит указаний по поводу ее истинности или ложности. Поэтому Фреге считает необходимым проводить различие между:

(1) Постижением (Fassen) мысли – мышлением (Denken).

(2) Признанием (Anerkennung) истинности мысли – суждением (Urteilen).

(3) Сообщением (Kundgebung) этого суждения – утверждением (Behaupten).

Постижение мысли происходит во внутреннем мире говорящего и представляет собой особенное ментальное состояние. Суждение может осуществляться как во внутреннем мире говорящего, так и публично в его речевых высказываниях. В этом случае оно реализуется на лингвистическом уровне – в виде сообщения – и тем самым становится утверждением. Следовательно, в суждении намечается переход от внутреннего мира ментальных репрезентаций субъекта к их лингвистическому выражению в рамках определенного языкового сообщества.

Наконец, утвердительное предложение, наряду с мыслью и утверждением, часто содержит еще и третий компонент, на который утверждение не распространяется. Этот третий компонент можно назвать *экспрессивной окраской* (нем. Färbung) утвердительного предложения. «Его предназначение, – говорит Фреге, – обычно заключается в воздействии на эмоции и воображение слушающего: таковы выражения «к сожалению», «слава богу» и т.п. Такие компоненты предложения отчетливее проявляются в поэзии, однако и в прозе их полное отсуствие является редкостью»[53].

Для того, чтобы выяснить теорию смысла Фреге в том, что касается повествовательных предложений, необходимо разрешить одно далеко идущее сомнение: правомерно ли в принципе утверждение, что мысль, высказанная двумя

[53] Там же, с.56.

разными людьми, может быть одной и той же мыслью?[54] Для того, чтобы дать ответ на этот вопрос, Фреге прибегает к изучению того, чем мысли отличаются от ментальных представлений и объектов внешнего мира. Первый шаг на пути этого исследования состоит в том, чтобы выяснить: Принадлежат ли мысли внутреннему (мы бы сказали – «ментальному») миру субъекта? Являются ли они представлениями?[55]

Чем отличаются представления от вещей внешнего мира?

Фреге приводит пять характерных признаков, позволяющих отграничить ментальные феномены («представления») от вещей внешнего мира.

1. Представления не могут быть восприняты посредством органов чувств. Они не доступны ни зрению, ни осязанию, ни обонянию, ни вкусу, ни слуху.

2. Представлениями обладают; их имеют или ими располагают. Мы обладаем ощущениями, эмоциями, настроениями, склонностями, желаниями. Представление, которым обладает некоторый человек, составляет содержание его сознания.

3. Коль скоро представлением обладают, и оно является содержанием чьего-то сознания, представление требует существования носителя. Вещи же внешнего мира являются в этом отношении автономными.

4. Всякое представление имеет только одного носителя. Никакие два человека не обладают в точности одним и тем же представлением.

5. Представление обладает картезианским качеством *непогрешимости*, или *абсолютной достоверности*. Это обусловлено тем, что представление, которое имеется у кого-то в настоящий момент времени, *непосредственно* дано своему обладателю. Это, в частности, означает, что я не могу сомневаться в том, что я обладаю представлением, но могу – в то же самое время, – испытывать сомнения по поводу существования той вещи внешнего мира, представлением которой я обладаю. По этому поводу Фреге пишет следующее:

«У меня не может быть сомнений в том, что я обладаю зрительным впечатлением зеленого; однако у меня гораздо меньше оснований быть уверенным в том, что я вижу, например, именно лист липы. Таким образом вопреки широко распространенному убеждению, мы обнаруживаем во внутреннем мире надежность, в то время как с переходом во внешний мир сомнение никогда не покидает нас полностью»[56].

Вывод, к которому приходит Фреге, заключается в том, что мысль не относится ни к представлениям из моего внутреннего мира, ни к внешнему миру, миру чувственно воспринимаемых вещей. Поэтому он намекает на то, что мысли, взятые в качестве объективных смыслов, образуют некий третий, автономный мир наряду с миром внешних вещей и внутренним миром ментальных репрезентаций субъекта.

«Следует, таким образом, признать третью область. Элементы, входящие в эту область, совпадают с представлениями в том отношении, что не могут быть восприняты чувствами, а с вещами внешнего мира – в том, что не предполагают наличия носителя, сознанию которого принадлежат. Так, например, мысль,

[54] Там же, с.61.
[55] Там же.
[56] Там же, с.70.

которую мы выражаем в теореме Пифагора, является истинной безотносительно ко времени, истиной независимо от того, существует ли некто, считающий ее истинной. Она не предполагает никакого носителя. Она является истинной отнюдь не только с момента ее открытия, подобно тому как планета, даже и не будучи еще обнаруженной людьми, находится во взаимодействии с другими планетами»[57].

Теперь, исходя из теории мыслей как объективных сущностей,необходимо установить, чем они отличаются от представлений и вещей внешнего мира?

1. Мысли сходны с представлениями и отличны от объектов внешнего мира в том, что не могут воспрниматься чувствами: зрением, осязанием, обонянием, вкусом, слухом.

2. Мысли сходны с объектами внешнего мира и отличны от представлений в том, что они не предполагают наличия носителя, сознанию которого принадлежат.

3. Мы видим вещь, мы обладаем представлениями, мы постигаем или мыслим некоторую мысль. Постигая или мысля мысль, мы не создаем ее, а лишь вступаем с тем, что уже существовало ранее, в определенные отношения, которые отличаются и от зрительного восприятия вещи, и от обладания представлением[58].

4. Мысли отличны от представлений в том, что мысль о некотором факте, выраженная в предложении, единственна, тогда как количество представлений об этом факте может быть сколь угодно большим.

***

Подведем теперь некоторые итоги, связанные с семантическими взглядами Фреге. Говоря обобщенно, к числу особенностей логической семантики Фреге можно отнести:

1. Трехкомпонентную семантическую модель, основанную на выделении знака, значения и смысла в качестве ключевых элементов отношения именования.

2. Включение сложных сингулярных терминов («определенных описаний») в класс имен собственных.

3. Истолкование смыслов имен собственных и повествовательных предложений как объективных сущностей.

4. Фреге считает предикаты частным случаем функциональных выражений, а предложения – частными случаями сложных единичных терминов. Уподобление повествовательных предложений именам собственным позволило Фреге считать их знаками истинности и ложности.

5. Принцип композициональности относительно повествовательных предложений, согласно которому значение и смысл предложения определяется значением и смыслом входящих в него выражений. Условие оценки предложения как истинного или ложного заключается в том, что все его обозначающие части (в отличии от указывающих знаков) должны иметь значение. Если хотя бы один из входящих в предложение обозначающих знаков не имеет значения, то и все предложение в целом не имеет значения.

6. Фреге не выделяет предложения, выражающие чувства и эмоции говорящего («экспрессивы») в отдельный класс, но отмечает, что все три вида упоминаемых

[57] Там же, с.64-65.
[58] Там же, с. 65.

им предложений – утвердительные, побудительные и вопросительные – могут употребляться с «экспрессивной окраской».

1.3 "Опровержение идеализма" Дж.Э.Мура

Гвидо Кюнг написал об этом прямо:

"В конце прошлого столетия в Англии произошла философская революция. Дж. Э. Мур ниспроверг идеализм, господствовавший в то время в англоязычных странах. Развернутая им в конце 1898 г. критика, открывавшаяся статьей «Опровержение идеализма», которая в 1903 г. появилась в журнале «Mind», нанесла идеализму сокрушительный удар. Мур выступил за реалистическую позицию, однако не менее важное значение имел его способ анализа. В нем нашел выражение новый стиль философствования: Мур продвигался вперед микроскопическими шагами, тщательно анализируя каждое слово выдвигаемых им положений. Своему изложению он стремился придать четкую логическую форму. Это аналитическое внимание к деталям было прямой противоположностью монистической позиции идеалиста Брэдли, который подчеркивал, что всякое выделение деталей ведет к искажениям, что истинная действительность (*reality*) в отличие от явления (*appearance*) образует мистическое, невыразимое в словах единство. Опираясь на плюралистический реализм, Мур противопоставил монистическому идеализму аналитический стиль мышления и благодаря этому стал основателем нового философского направления — аналитической школы."[59]

Кембриджские работы Джорджа Мура получили известность с начала века и вскоре начали глубоко влиять на формирование аналитической рациональности английского типа. В 1903 г. становится известной работа Мура "*Принципы этики*", которая является первой попыткой применения лингвистического анализа в моральной проблематике. В своих первых написанных работах Мур осуждает тезис "философии для философов", то есть критикует аргументацию традиционной философии, прежде всего, господствовавшего в английских университетах того времени идеализма. Глава этого направления Ф.Брэдли осуждал аналитический метод следующим образом: «Широко распространенный и в высшей степени пагубный предрассудок думать, будто анализ не вносит никаких изменений»[60].

Мура поддержал Бертран Рассел, который, как он сам говорил, в этом движении «наступал Муру на пятки». В "Философии логического атомизма" Рассел тоже убедительно ответил на пренебрежение Брэдли анализом: «Часто говорят, что процесс анализа ведет к искажениям, что если анализируют данное конкретное целое, оно искажается, и результаты анализа не истинны. Я не считаю этот взгляд правильным». Он выступал за онтологический плюрализм, согласно которому действительность состоит из различных сущностей, поэтому аналитическое различение деталей не вносит никаких искажений. Он непременно хотел избавиться от фатального следствия монистического идеализма, согласно которому два контрадикторных высказывания рассматриваются как равнозначные, а именно как две в равной мере несовершенные попытки приблизиться к невыразимой истине. Он считал удобным принять такую невыразимость: «Мне представляется, что философское исследование, насколько я могу об этом судить,

[59] Кюнг Г. Онтология и логический анализ языка. М., ДИК, 1999. С.49-50.
[60] Bradley P.H. The Principles of Logic. L., 1883, p. 95.

исходит из странной неудовлетворенности духа, который с полной уверенностью что-то чувствует, но не может сказать, откуда берется эта уверенность. При более пристальном внимании процесс оказывается точно таким, как разглядывание некоторого предмета в плотном тумане: сначала видишь какую-то неопределенную тень, но когда подходишь ближе, начинают проявляться отдельные детали, и вдруг открывается, что это мужчина или женщина, лошадь или корова, или что-либо еще. Мне кажется, что те, кто выступает против анализа, хотят, чтобы мы удовольствовались первоначальным смутным пятном. Вера в описанный выше процесс служит самой прочной основой моего отношения к методам философского исследования»[61]

Если идея и практика Расселова анализа рождаются из размышлений над основами математики, то анализ Джорджа Мура имеет другое происхождение и другое развитие, ориентированное филологическим образованием автора. Первая формулировка аналитического стиля в философии появилась со встречей и знакомством Мура и Рассела в Кембридже. В объеме программы двух мыслителей возникшие характеристики новой философии должны были быть отказом от привлекательности аргументации идеалистических философов, тщательный анализ проблем и концепций, не отделенный (в случае Рассела) от применения формальной логики.

Это описание парадигмы аналитического стиля в философии: установка, которая не претерпит значительных изменений во многих своих пунктах, даже в фазах критического переопределения движения. В то время, как Рассел и ранний Витгенштейн занимались логикой (и, во вторую очередь, опытом), Мур иначе представлял себе философский анализ: условием сравнения для оценки философских тезисов он считал здравый смысл.

В анализе Мура лингвистическая философия уже не занята логическим структурированием предмета и приведением его к нормам языка (как делает Рассел), но предметы речи "расчленяются" философскими тезисами для того, чтобы уменьшить их до самых простых рабочих тезисов, фронтальных и соразмерных со здравым смыслом, ориентированных на нормы эмпиризма. У Рассела и Мура, таким образом, выделяются два типичных параметра дискурса, ставшие достоинством аналитической философии: логика и здравый смысл. Обоих авторов интересуют "отдельные" ошибки философии и "субстантивация" предиката. Философы, обьясняет Мур в "Опровержении идеализма", "всегда использовали одно и то же имя" для того, чтобы указывать на esse и percipii, их вызывающие, то время как "язык нам не предлагает никакого средства для обращения к esse как к "синему цвету", "зеленому" или "сладкому", если при этом не называть percipii: будет явным нарушением языка путать "percipii", "esse" и "terms". Таким образом, классическая проблема эмпиризма усложняется.

Самой важной из ранних статей Мура является «Природа суждения» (1899), отправляющаяся от «Принципов логики» Брэдли. По мнению Мура, Брэдли был недостаточно беспощаден в разборе учения Локка, согласно которому суждения имеют своим предметом «идеи». Хотя иногда Локк писал в том духе, как если бы суждения имели предметом то, что означают идеи, в других местах его можно понять так, словно идея сама — как психический феномен — является составной частью суждения. Мур стремится доказать, что первая позиция единственно разумна: суждения имеют своим предметом не «наши идеи», но то, на что

[61] Russell B. My Philosophical Development. L. — N.Y., 1959. P.133.

указывают эти идеи — «всеобщее значение» в терминологии Брэдли и «понятие» в терминологии Мура[62].

Мур утверждает, что «понятие» не есть «ни ментальный факт, ни какая-либо из частей ментального факта». Несомненно, именно понятие мы считаем объектом нашего мышления; но если бы оно не существовало независимо от нашего мышления, то не было бы ничего, о чем мы мыслили бы. Подобно Платоновой форме (идее), с которой оно весьма сходно, понятие вечно и неизменно. Вот почему, говорит Мур, оно может выступать в качестве составной части множества различных суждений, связывая их в цепочки рассуждении.

Цель Мура в этой статье очень похожа на цели Брентано и Мейнонга: утвердить объективность и независимость объектов мысли. Но его отправной точкой является Брэдли, а не британский эмпиризм; именно в «Принципах логики» Брэдли содержалась та антипсихологистская тенденция, которую унаследовал Мур. В самом деле, разрыв с британским эмпиризмом в раннем творчестве Мура как нельзя более очевиден. Согласно традиции эмпиризма, понятие есть некая «абстракция», производимая умом из сырого материала, поставляемого восприятием. Мур доказывал совершенно противоположное: что «понятия нельзя, в сущности, рассматривать как абстракции от вещей либо от идей, поскольку в равной степени и те и другие вполне могут состоять исключительно из понятий»; «вещь» с этой точки зрения есть связывание понятий. Например, лист бумаги — белизна, и гладкость, и т.д.

В то же время отношение между понятиями, говорит Мур, есть «суждение». Он готов признать то неизбежное следствие, что «вещь», «сложное понятие», «суждение» — разные имена для обозначения одного и того же. На этом фундаменте он строит свою теорию истины. Согласно традиционной точке зрения, суждение истинно, если оно соответствует реальности. В ней противопоставляются истинное суждение (обычно множество слов или множество идей) и «реальность», которую оно репрезентирует. Мур же отождествляет истинное суждение и реальность. «Если мы установили, — писал он в статье «Истина» — что суждение обозначает не полагание (в психологическом смысле) и не форму слов, но объект полагания, то становится ясно, что оно ничем не отличается от реальности, которой, как принято считать, оно должно просто соответствовать, т.е. истина «Я существую» ничем не отличается от соответствующей реальности «моего существования»». Что же, если не «соответствие реальности», отличает истинное суждение от ложного? Мур отвечает, что истина есть простое, не поддающееся анализу, интуитивно понятное свойство, которым обладают одни высказывания и не обладают другие. Этот тезис отстаивал и Рассел в своих статьях о Мейнонге (1904). «Одни суждения, — писал он, — истинны, а другие ложны, в точности так же, как одни розы красные, а другие белые».

Любая другая точка зрения, аргументирует Мур, предполагает, что мы можем каким-то образом «выйти» за рамки отношений между понятиями к поддерживающей их реальности, — а это невозможно в принципе. «Знать» — значит осознавать наличие суждения, т. е. отношения между понятиями; стало быть, мы не можем знать того, что «находится за» понятиями. Мур настаивает, что это верно даже в случае познания посредством восприятия. Восприятие есть просто познание экзистенциального суждения, например суждения о том, что «эта

[62] См.: Пассмор Дж. Сто лет философии. М., "Прогресс-Традиция", 1998. С.156-164.

бумага существует». Согласно Муру, такое суждение соотносит понятия; в нем утверждается, что понятия, составляющие эту бумагу, относятся к понятию существования. В то время как Брентано доказывал, что все суждения по своей форме экзистенциальны, Мур считает, что в них утверждаются отношения между понятиями.

Такова теория реальности и истины, с которой начинали Мур и Рассел: мир состоит из вечных и неизменных понятий; суждения соотносят понятия друг с другом, истинное суждение предицирует «истину» такому отношению понятий и является «фактом», или «реальностью».

Впоследствии Мур отказался от отождествления истинных суждений и фактов, несмотря на все достоинства такой позиции. Когда мы утверждаем, что «львы действительно существуют», мы говорим больше, нежели то, что суждение, в котором мы убеждены, обладает не поддающимся анализу свойством истины; говоря приблизительно, «субстанция» факта не сводится к суждению вместе с его истиной. Второе и более серьезное возражение состоит в том, что, видимо, вовсе нет суждений в том смысле, в каком их предполагает рассматриваемая теория.

Мур пришел к этому заключению, размышляя над ситуацией ложного полагания. Согласно его первоначальной теории суждения, должно быть суждение, полагать которое ложно, даже если это суждение обладает особым свойством — свойством быть ложным. Однако на деле, утверждает Мур, сама сущность ложного полагания состоит в том, что мы полагаем то, чего нет. Согласно примеру Рассела из "Проблем философии" (1912), когда Отелло ошибочно уверен, что Дездемона любит Кассио, то это его полагание ложно именно потому, что нет объекта "Дездемона любит Кассио"; если бы такой объект был (как того требует рассматриваемая теория суждения), то полагание Отелло было бы истинным, а не ложным. Раз мы поняли, что ложное полагание не есть вера в некое суждение, кажется естественным также отрицать — думали и Мур, и Рассел, — что истинное полагание имеет в качестве своего объекта суждение. «Полагание, — резюмирует Мур, — никогда не заключается в отношении между нами самими и чем-то еще (суждением), во что мы верим». В сущности, «нет никаких суждений».

Бесспорно, доказывает он, что истина *p* состоит в его «соответствии» факту и что полагать, что *p* истинно — значит полагать, что *p* соответствует факту; философская проблема состоит в том, чтобы дать исчерпывающее объяснение этого соответствия. Мы не должны позволить, предупреждает Мур, чтобы какой-либо философский аргумент, сколь бы трудным ни казалось его отразить, убедил нас в том, что «на самом деле нет» такого соответствия; мы знаем, что оно есть, хотя и не знаем — и это составляет проблему, — как описать его природу.

Быть — значит быть независимым. Эти идеи составляют фундамент работы Мура «Опровержение идеализма» (1903), в которой рассматривается центральная тема аналитического обсуждения: проблема действительности предметов, составляющих предметы опыта. Согласно идеализму, опыт составляет неотъемлемую часть сознания и, таким образом, не касается предметов, независимых от него. Мур рассматривает центральную тему аналитического обсуждения: проблему действительности предметов, составляющих предметы опыта и предпринимает попытку доказать ложность суждения «быть — значит быть воспринимаемым». Его аргумент состоит в следующем. Формула идеалистов в высшей степени неопределенна. В такой интерпретации данная формула утверждает, что если известно, что нечто *x* существует, то непосредственно

следует заключение, что оно воспринимаемо. Истолкованное таким образом, суждение «быть — значит быть воспринимаемым» — не просто тождество: если быть воспринимаемым следует из быть, то эти два понятия не могут быть тождественными. Идеалисты обычно не признают это. Хотя они заявляют, что сообщают некоторую информацию, утверждая, что «быть — значит быть воспринимаемым», в то же время они рассуждают так, словно быть и быть воспринимаемым тождественны, и поэтому их основополагающая формула не требует доказательства. И это значит, говорит Мур, что они не вполне понимают различие между, например, желтым и ощущением желтого.

Некоторые идеалисты, готов признать Мур, прямо говорили, что такое различие имеется. Но вместе с тем они пытались утверждать, что это «не реальное различие» и что желтое и ощущение желтого связаны в неком «органическом единстве», так что проводить различение между ними значило бы производить «незаконную абстракцию», поскольку они различаются разве лишь на уровне явлений. Мур не допускает такого двуличия. «Принцип органических единств, — пишет он, — используют главным образом для оправдания возможности одновременно утверждать два противоречащих друг другу суждения там, где в этом возникает нужда. В данном вопросе, как и в других, главной заслугой Гегеля перед философией было возведение ошибки в принцип и изобретение для нее названия. Как показывает опыт, эту ошибку могут допустить наравне с другими людьми и философы. Неудивительно, что у него были последователи и почитатели». Презрение к Гегелю и к гегельянским «уловкам» было характерно для интеллектуального движения, возглавленного в Кембридже Муром. Борясь с гегельянским «это есть, и этого нет», Мур требует ясного ответа на ясный вопрос: «Это есть или этого нет?»

Мур признает, однако, что убеждение в тождестве желтого и ощущения желтого не лишено оснований. Когда мы исследуем наши познавательные акты, "то, что делает ощущение синего ментальным фактом, кажется, ускользает от нас: оно, если использовать метафору, как бы прозрачно — мы смотрим сквозь него и не видим ничего, кроме синего; мы убеждены, что *нечто существует*, но *каково* оно — ни один философ, по-моему, до сих пор не постиг"[63]. При всей упомянутой «прозрачности», убежден Мур, разница между актом и объектом существует: ощущение синего и ощущение красного имеют нечто общее — сознание, и его не следует путать (как путают и идеалисты, и агностики) с тем, что их отличает, — с их объектом, т. е. синим или красным.

И все же остается вопрос: каково «нечто», о котором я осведомлен? В «Опровержении идеализма» оно может быть — хотя и не обязательно — физическим объектом. Но в статье «Природа и реальность объектов восприятия» (1905) Мур четко различает то, что мы «действительно видим», и физический объект, который, как мы обычно полагаем, мы непосредственно воспринимаем. Когда мы утверждаем, что «видим две книги, стоящие на полке», все, что мы «на самом деле видим», согласно Муру, это соседствующие цветовые пятна — образцы того, что впоследствии он назовет «чувственными данными». Он разъясняет, почему предпочитает говорить о «чувственных данных» вместо более привычных «ощущещений": термин «ощущение» вводит в заблуждение, поскольку он может обозначать как мое восприятие, скажем, цветового пятна, так и его само. Мур прежде всего стремится отличить воспринимающее от воспримаемого. Ведь он не

[63] Мур Дж. Опровержение идеализма — Историко-философский ежегодник.– М., 1987. С.259

отказался от главного тезиса «Опровержения идеализма": быть воспринимаемым не есть сущность чувственного данного. Можно представить себе, что цветовое пятно, которое я воспринимаю, продолжит существовать после того, как я перестану его воспринимать, тогда как утверждение, что мое восприятие пятна прекращается, когда я перестаю воспринимать пятно, — пустое тождесловие.

В этом отношении, следовательно, «чувственное данное» Мура совершенно не похоже на «идею» Локка. Оно не находится «в уме». И все же Мур должен был отразить возражения, выдвинутые Беркли против Локка. Если все, что мы видим, есть всего лишь пятно цвета, то как мы можем удостовериться в существовании трехмерных физических объектов? Мур отвечает, что мы не нуждаемся в доказательстве существования физических объектов, поскольку мы уже знаем о нем. Он достоверно знает, как он пишет в статье «Защита здравого смысла", что мировоззрение здравого смысла истинно. Он знает, например, что существуют живые человеческие существа, с которыми он может общаться. Любой философ, пытающийся отрицать, что существует кто-либо, кроме него самого, предполагает, что другой человек существует, в самой попытке сообщить свое отрицание другому. Действительно, даже самое беглое упоминание о «мировоззрении здравого смысла» уже предполагает его истинность: это выражение не имеет смысла, если не существуют люди, придерживающиеся общих взглядов, т.е. если мировоззрение здравого смысла не является истинным.

В "Доказательстве внешнего мира» аргументация Мура «апеллирует к фактам» (в ранних сочинениях он осуждал этот прием как совершенно неуместный в философии). Но форма этого аргумента предопределена уже в лекциях 1910—1911 гг. Тогда, критикуя Юма, он расуждал так: «Если принципы Юма были бы истинными, то я не мог бы знать, что этот карандаш существует; но я знаю, что этот карандаш существует, а потому аргументы Юма не могут быть истинными». Он признает, что это рассуждение напоминает простую уловку, отговорку. Но на самом деле, говорит Мур, оно совершенно законно и убедительно. Мы гораздо больше уверены в существовании того, что находится у нас перед глазами, чем в правильности принципов Юма, и мы вправе использовать факты, в которых убеждены, для опровержения его аргументов. Подобно этому в «Доказательстве внешнего мира» Мур называет «основательным доказательством» существования внешних нам вещей тот факт, что мы можем указать на такие объекты. «Я могу доказать сейчас, — пишет он, — что две человеческих руки существуют. Как? Я поднимаю вверх две своих руки и говорю, жестикулируя правой: "Вот одна рука", и добавляю, жестикулируя левой: "А вот другая"».

Но даже если можно доказать таким образом существование физических объектов, все еще остается вопрос об их отношении к тому, что мы «на самом деле видим» (ощущаем, чувствуем, обоняем). Две вещи Мур считает совершенно ясными: что непосредственными объектами нашего восприятия являются чувственные данные и что мы знаем о существовании физических объектов. Он хочет понять, как то, что мы непосредственно воспринимаем, относится к тому, что мы непосредственно знаем. Рассмотрим утверждение «это (то, что я непосредственно воспринимаю) есть часть поверхности моей руки». Здесь есть нечто, уверен Мур, что мы непосредственно воспринимаем; он также убежден, что есть рука и что она имеет поверхность. Но он понимает, что невозможно просто сказать, что то, что мы непосредственно воспринимаем, само есть часть поверхности руки, или что оно есть «явление» такой части, или что (вслед за

Миллем) «поверхность руки» есть не более чем сокращенное название для ряда действительных и возможных чувственных данных. Разные люди, воспринимающие одну и ту же поверхность в одно и то же время, воспринимают чувственные данные, которые, по мнению Мура, не могут все быть частью поверхности одной и той же руки, — ведь одни люди видят гладкое пятно, другие — шероховатое, а поверхность не может быть одновременно гладкой и шероховатой. И у нас, видимо, нет достаточных оснований для того, чтобы предпочесть одно из таких чувственных данных и назвать его «самой поверхностью». Рассматривать же эти чувственные данные как «явления» данной поверхности — значит поднять все те знакомые проблемы, что связаны с «репрезентативным восприятием». Решение, предложенное Миллем, по мнению Мура, ничем не лучше; слишком сложное в деталях, оно имеет и другой недостаток, поскольку противоречит нашей «сильной склонности» верить, что существование руки не зависит от какого-либо действительного или возможного восприятия ее. «Истина в том, — писал Мур в статье «Некоторые суждения о восприятии» (1918), — что я совершенно озадачен и не знаю, каким может быть правильный ответ». Он так никогда и не преодолел чувство замешательства.

И все же, как и в случае истины и полагания, Мур не собирался уступать другим философам и отрицать то, что он действительно знает: что имеются чувственные данные и физические объекты. Опять-таки он должен был признаться в своих сомнениях, заметив, что хотя он прекрасно знает, что суждения типа «это — поверхность руки» могут быть истинными, он не знает, каков их «правильный анализ».

Как уже раньше Томас Рид и Уильям Гамильтон, а затем скептик Юм, выступали против идеализма Беркли, Мур защищает "наивный реализм", на котором основываются повседневные убеждения обычного человека. За основную истину принимается то, что выражения "существуют материальные предметы", или "существует некоторое число человеческих субъектов, снабженных телом и сознанием", не могут быть опровергнуты или содержать противоречия.

Например, невозможно отрицать существование человеческих субъектов, что расходится с экзистенциальной философией, которая отрицает это существование. В работе "О достоверности" Л.Витгенштейн вновь поднимает эти тезисы на обсуждение в связи с проблематикой картезианского сомнения ("О достоверности", пункт 114: "Кто не уверен ни в одном факте, тот не может быть уверен и в смысле своих слов"[64]). У Я.Хинтикки есть статья "Cogito, ergo sum: обобщение или операция?" со многими и очень сильно сходными аргументами аргументативного движения, которые в семидесятые годы XX века выдвинул Апель против анти–фундаментализма: то же, что для Мура являлось защитой очевидности и являлось аргументом против философии идеализма, у К.-О.Апеля, напротив, является аргументом в пользу восстановления рациональности (см. § 12.4).

Мур создал особый философский стиль, основанный на крайней ясности и простоте аргументации, на систематическом обсуждении любого тезиса (более или менее явно сформулированного), ориентированный на выявление интуитивной правды, конечной и бесспорной в дальнейшем. Таким образом, анализ для Мура является разложением комплекса до "первых" предметов, являющихся для него интуитивными основаниями, как "желтизна" или "доброта".

[64] Витгенштейн Л. Философские работы (Часть I). М., Гнозис, 1994. С.338.

Но в своей крупной работе "Принципы этики" (1903) он пишет, что как у нас нет средств для объяснения того, чем является желтизна, так же мы не можем объяснить, что такое доброта[65].

Мур не только освежил известное интуиционистское видение этики, которое было свойственно Брентано, и которое противопоставлялось "эмотивизму" (хорошие и плохие оценки принадлежат к сфере эмоций и, таким образом, не поддаются рациональной трактовке), но в значительной степени придал импульс обсуждениям внутри аналитической традиции на тему этики, которую Витгенштейн, Рассел и неопозитивисты исключали из сферы лингвистического анализа. Стиль философии Мура и реабилитация здравого смысла в его "метаэтике", воздействовали на различные поколения мыслителей: они дали начало размышлениям Остина и других лингвистов здравого смысла (как следует из коллективного тома "Революция в философии", 1956), а также повлияли на мысль второго Витгенштейна.

Так постепенно рождается практика классического анализа, характеризующаяся двумя основными аспектами: разложением того, что сложно, до простых элементов (Витгенштейна, Рассел и Мур сформулировали интуитивные основы имен денотатов простых предметов); критикой философии на основании логического анализа языка или на основе здравого смысла как, во всяком случае, источника реальных интуиций. Относительно этого второго аспекта будет необходимо заметить, что "критерии" и "основания" анализа являются логикой (формулировки верификационного рассуждения следуют правилам и формализмам, установленным Пеано, Фреге, Уайтхедом, Расселом) и здравым смыслом (истина и разумность того, что говорится, согласуется с общим опытом жизни и языка). Речь идет о двух размышлениях о собственной душе языка, безотносительно ко времени (в значительной степени Платонова и Аристотелева логики имели отношение не к вероятному и общепринятому мнению, но к логико-математической необходимости); логика и здравый смысл имеют решающее значение также в другой тенденции аналитической философии до сегодняшнего дня (логика важна например, для Даммита; а здравый смысл для политически-прагматического дискурса, как у Патнэма и Рорти).

[65] Мур Дж. Принципы этики — Мур Дж. Природа моральной философии. М., Республика – С.50.

2. Программа логического атомизма

2.1 Логический атомизм: язык как средство остановки регресса

Мысль о том, что философия должна опираться на логический анализ языка, восходит к Лейбницу, который выступал за создание идеального языка с точными правилами определения и преобразования. Цель построения такого языка была одна – сформулировать точную систему основоположений всего человеческого знания, которая позволила бы разрешить все философские проблемы.

Первым крупным мыслителем, поставившим в такой форме подлинно философские вопросы (например, о природе числа, существования и т.д.) был Г. Фреге. Однако его философские интересы концентрировались вокруг оснований математики, а идеи были слишком новы и не могли оказать влияние на философию. И только в той форме, которую придал ему Б. Рассел, логический анализ вошел в общефилософские дискуссии.

Развернутая в конце 1898 г. критика идеализма Дж. Э. Муром, в конечном счете, ниспровергает это направление, господствовавшее в англоязычных странах. Мур выступил за реалистическую позицию, однако не менее важное значение имел его способ анализа, в котором он нашел новый стиль философствования. «Аналитическое внимание к деталям» Мура было прямо противоположно монистической позиции идеалиста Брэдли, полагавшего, что всякое внимание к деталям непременно ведет к искажениям и что истинная действительность, в отличие от явления, образует мистическое, невыразимое в словах единство. Опираясь на плюралистический реализм, Мур противопоставлял монистическому идеализму аналитический стиль мышления, благодаря чему стал основателем нового философского направления аналитической школы.

Рассел поддержал позицию Мура. Он выступал за онтологический плюрализм, согласно которому действительность состоит из различных сущностей, поэтому аналитическое различение деталей не вносит никаких изменений. Через обоснование плюралистического реализма Рассел приходит к математической логике. Этот шаг имел эпохальное значение, поскольку Рассел, в качестве главы нового философского направления, был наилучшим образом подготовлен к тому, чтобы заинтересовать широкие круги философов современной формой логики. Благодаря этому его мышление оказало громадное влияние на всю современную философию.

Так, анализ отношений между положениями вещей помогает вскрыть три обстоятельства.

- Рассел обращается к этим отношениям для оправдания своего аналитического метода: в онтологическом плюрализме он видит основу анализа и пытается совместить эту онтологическую позицию со своим анализом отношений.
- Принятие отношений в качестве неустранимых исходных элементов побуждает Рассела обратиться к математической логике.
- На этом примере логического анализа можно увидеть, как онтологическая структура фактов подчиняется логической структуре высказываний.

2.1.1 Расселов анализ связей фактов

Центральным пунктом дискуссий с идеализмом в то время был вопрос о так называемых «внутренних» и «внешних» отношениях, и Рассел защищал свою позицию посредством тщательного анализа отношений фактов.

Рассел обнаружил, что особое истолкование Лейбницем отношений дает ключ для понимания его системы, а причину такого истолкования Рассел усмотрел в традиционной логике, которая ограничивалась высказываниями, имеющими субъектно-предикатную структуру.

Эта языковая форма, говорящая о принадлежности предиката субъекту, оказывается удовлетворительной только в случае высказывания таких атрибутах, которые являются целиком «внутренними» для некоторой субстанции. В этой структуре об отношении можно было бы говорить только тогда, когда оно оказывается несводимым к внутреннему атрибуту субстанции, следовательно, является «внутренним отношением». Однако подлинное отношение (например, отношение *а : в*, когда *а › в*) является «внешним отношением», которое нельзя свести к атрибуту. По-видимому, субстанции *а* можно было бы приписать атрибут *r′* и субстанции *в* атрибут *r″* , однако, для того, чтобы *ar′* и *вr″* выражали тот факт, что *а › в*, нужно, чтобы иметь возможность сказать, что атрибуты *r′* и *r″* находятся друг к другу в определенном отношении, т.е. высказать определенное отношение между *r′* и *r″*, а это вновь возвращает к исходному пункту проблемы. Поэтому с помощью языковой схемы нельзя говорить о внешних отношениях и приходится рассматривать субстанции как ни с чем не связанные монады.

Монадический взгляд на мир не вполне удовлетворителен, так как для объяснения фактического взаимодействия отдельных субстанций, необходимо принимать искусственно предустановленную гармонию. Поэтому, можно думать, было бы лучше решиться принять монизм и рассматривать все отношения, как внутренние отношения одной единственной субстанции. Однако, по мнению Рассела, при этом мы все еще учитываем фактические отношения. Это особенно видно в случае асимметричного отношения (например, «*а › в*»). Термины *а* и *в* содержались бы здесь в целостности некоторого субъекта, символически (*ав*), и следует попытаться приписать это отношение данному целому в качестве атрибута (*ав)r*. Однако, поскольку (*ав*) и (*ва*) выражают одно и то же целое, постольку (*ав)r* и (*ва)r* были бы равнозначны, т.е. асимметрия этого отношения не была бы выражена. Путь к признанию подлинных отношений также прегражден.

Попытку спастись, сославшись на то, что отношения находится лишь в нашем сознании, а не в реальности, Рассел отвергает, приводя следующий аргумент, что если мы считаем *А* отцом *В*, в то время как это не имеет места, то наше мнение ошибочно, и если мы думаем, что *А* западнее *В*, но это отношение существует только в нашем сознании, то мы тоже ошибаемся. Поэтому он отвергает как онтологические установки как монадического взгляда и монизма, так и привязанность традиционной логики к субъектно-предикатной схеме.

Подходящий языковой инструмент Рассел находит в той логике, которая с середины XIX разрабатывалась математиками. Эта логика не ограничивалась рассмотрением объемов понятий согласно субъектно-предикатной схеме, а

исходила из одно- и многоместных функций типа «х есть число», «х следует после у» и т.п. Поскольку математика в каждом предложении говорит об отношениях, как, например, «быть больше» «быть меньше», «следовать за» и т.д., постольку это было как раз то, в чем нуждался Рассел. Поэтому он и создает учение о многоместных функциях – логики отношений.

Рассел также открыл, что в языке могут быть отображены категориальные различия. Языковая двойственность субъективных и предикатных знаков, с его точки зрения, передает онтологическое разделение на субстанции и свойства. Здесь «намечается» плодотворный поворот: в то время как в традиционной силлогистике один тот же термин мог стоять как на месте субъекта, так и на месте предиката, то в современной логике чаще всего с самого начала фиксируется, является ли некоторое выражение именем индивида, предикатным выражением, либо выражением отношения в зависимости оттого, соответствует ему индивид, свойство или отношение. Этот параллелизм логической и онтологической структур показывает, что между логикой и онтологией имеется тесная связь, что логический анализ языка и онтологический анализ реальности близки друг другу.

2.1.2 Логические конструкции вместо теоретико-познавательных заключений о внешнем мире

В течение всего Нового времени, начиная с Декарта и Локка, теоретико-познавательные проблемы рассматривались как центральные проблемы философии, и критическое рассмотрение сферы и границ познания в свете зависимости познаваемого объекта от познающего субъекта предшествовало постановке всех других вопросов. Сегодня, напротив, мы живем уже в другую эпоху, когда связанный с психологией теоретико-познавательный подход к философским вопросам в значительной мере утратил свою привлекательность и уступил место другим подходам. Этому изменению мыслей в значительной мере способствовала разработка логических методов.

Теория познания всегда занималась вопросом о том, каким образом от непосредственных данных сознания мы можем перейти к знанию интерсубъективного мира. Рассел высказал по этому поводу оригинальное замечание. Вместо того, чтобы делать рискованные выводы о существовании не данных непосредственно сущностей, он предложил конструировать эти сущности из непосредственно данного. Иначе, на место дедуцированных сущностей следует ставить логические конструкции, там, где возможно. Он предложил построить систему, внелогические термины которой относились бы только к непосредственно данному, а именно к чувственным данным и субъекту, которому они принадлежат.

Вместо того чтобы говорить о вещах внешнего мира, следует говорить об определенных наборах чувственных данных – об известном.

Лежащая в основе мысль принималась уже британскими эмпириками XVIII столетия: каждая идея должна либо непосредственно вытекать из чувственного опыта, либо должна быть составлена из идей, непосредственно вытекающих из чувственного опта. Однако принципиальная новизна расселовского подхода состояла в том, что способ построения он попытался сформулировать точно с помощью математической логики.

Хотя позднее Рассел вновь отбросил мысль о возможности ограничиться в теории познания базисом лишь непосредственно воспринимаемого. Однако он продолжал заменять вещи логическими конструкциями (из событий), и далее он приходит к выводу, что даже *Я*, сознание стал трактовать не просто как неанализируемое целое, а попытался изменить его особой классификацией частей определенного события – события восприятия. Он ограничивается событиями, нейтральными по отношению к противоположности субъект – объект.

Неоднократно осознавали, как трудно, например, вопросу о том, являются ли в процессе познания «непосредственные данными» физические вещи или феноменальные качества придать понятный смысл, с тем, чтобы сохранить интерес к теоретико-познавательным вопросам как таковым.

Так, благодаря логической технике, используемой Расселом, теоретико-познавательная позиция обретает новый смысл.

В связи со своими построениями Рассел ссылается на девиз Оккама «не умножать сущности без надобности». При этом данную максиму он интерпретирует таким образом, что нужно постараться обойтись минимальным языком, в которые переводимы все высказывания, но который содержит как можно меньше исходных знаков и принимает минимальное число предположений о реальности. Если предложения, выраженные в словах, отображающих определенные сущности, благодаря редукции оказываются излишними, то это означает, что об этих сущностях можно не говорить. (Рассел ни утверждает, ни отрицает существование спорных сущностей, этот вопрос оставляет открытым.)

Этот редукционистский образ действий полностью противоположен образу действия гносеолога Нового времени. Для последнего вопрос о том, существует ли внешний мир, познающий субъект и проч., был вопросом величайшей важности и не мог оставаться без ответа. Все философские усилия он направляет на то, чтобы ответить на него. Рассел не противопоставляет двух гносеологических позиций, между которыми необходимо делать выбор, он сравнивает языки, в которых формулирует эти позиции. Разные языковые системы в своей функции отображения принимают различное количество допущений о структуре реальности, и в зависимости от этого их исходные знаки отображают больше или меньше сущностей разного рода. Не только людей можно разделять в соответствии с представленными философскими позициями, языки также можно различать по тому, какие метафизические предложения с ними связаны. При этом языки обладают тем преимуществом, что они гораздо более понятны, чем мысли людей. А если учесть, что язык представляет собой орудие духовной деятельности, то мы получаем возможность судить об их целесообразности.

Говоря о «лишних» сущностях, Рассел, прежде всего, имеет в виду реальные сущности, которые заменяются абстрактными конструкциями. Вопрос о том, не следует ли экономнее относится к абстрактным сущностям и говорить только о конкретных сущностях, представляет собой современную формулировку проблемы универсалий.

Рассел становится первым философом-логиком, мыслившим в терминах семантического отношения отображения. Он считал неизбежным принятие универсалий в качестве логических атомов. Предикатные знаки он уподоблял индивидуальным именам и видел в них подлинные имена определенных

сущностей, поэтому с его точки зрения, два *одинаковых* предикатных знака обозначают *одну и ту же сущность.*

В связи с интерпретацией Расселом предикатных знаков следует выделить три пункта:

- его интересуют не универсалии, а индивидуальные сущности;
- поскольку теория классов приводит к трудностям, то он пытается обойтись без классов;
- субстантивированные предикатные выражения он не считает подлинными именами.

2.1.3 Универсалии как логические атомы

К наиболее фундаментальным убеждениям Рассела относится Аристотелева концепция истины как соответствия фактам, согласно которой структура истинных предложений соответствует структуре фактов. Сразу же после развенчания идеалистического монизма он становится крайним платоником, полагая, что каждое отдельной слово языка представляет собой именуемую им сущность. Так, например, тот факт, что у нас имеются слова для обозначения чисел, говорит нам, согласно Расселу, что числа могут существовать наряду со всем прочим. Все слова он считает подлинными именами, а единственным семантическим отношением – отношение обозначения (т.е. слова обозначают вещи, свойства и отношения).

Благодаря замене естественного языка точным, формализованным языком, Рассел получает возможность с помощью явных определений (как, например, при логическом определении числа) или с помощью определений употребления (как в теории дескрипции) сделать большое количество слов и, следовательно, сущностей, необязательными. Однако он сохранил первоначальную точку зрения в отношении всех неопределяемых знаков.

Подобно Лейбницу, он был убежден в том, что каждое положение дел, в конечном счете, может быть описано предложением, содержащим только базисные знаки, каждый из которых обозначает определенную простую сущность. Концепцию, принимающую фундаментальные, неанализируемые сущности, он называл «логическим атомизмом».

Как подчеркивает сам Рассел, систематическая разработка им этой точки зрения проходила под сильным влиянием его ученика Л. Витгенштейна. Однако существенные особенности логического атомизма уже ясно проявились в анализе Расселом предложений об отношениях – анализе, который он предпринял в самом начале своего выступления против идеалистического монизма. Уже в этот период Рассел рассматривает отдельные слова как соответствующие неанализируемым элементам, из которых состоят положения дел. Этот фундаментальный взгляд Рассел воспринял от Лейбница, защищал его в своей теории дескрипций, а затем перешел на позицию Витгенштейна. Но и сам последовательно и подробно разрабатывал этот взгляд, а это, в свою очередь было обусловлено влиянием Рассела. Однако логический атомизм Витгенштейна отличается от атомизма Рассела как раз в связи со свойствами и отношениями.

Рассел различает два вида логических атомов:

- единичные вещи (обозначения индивидов)
- универсалии (обозначения свойств и отношений).

Предикатные знаки, таким образом, представляют универсалии. Вследствие того, что невозможно, по мнению Рассела, дать полное описание реальности, не прибегая к предикатным знакам, он полагает, что универсалии необходимы.

Особую важность Рассел придает знакам отношений. С другой стороны, он считает, что обозначения свойств не всегда необходимы. Например, выражение «быть красным» можно заменить фразой «быть похожей по цвету на стандартную вещь *а*», где *а* является некоторым конкретным красным предметом. Однако слово «похожий», обозначающее отношение, неустранимо, поэтому, что-то в реальном мире должно ему соответствовать.

По мнению Рассела, отдельному слову во всех случаях должна соответствовать одна и та же сущность, т.е. сущность должна быть платонически универсальной. В противном случае, полагает он, неизбежен регресс в бесконечность. Предположим, например, что для данных индивидов *а, в* и *с, а* и *в* похожи друг на друга, *в* и *с* похожи, и *а* и *с* также похожи друг на друга. Если слово «похожий» во всех трех случаях представляет не одну и ту же сущность, а три разные сущности, то должна существовать причина, по которой в этих трех случаях употребляется одно и то же слово «похожий». Поскольку эти три разные сущности обозначаются одним и тем же словом «похожий», постольку это и означает, что они как-то похожи одна на другую. При описании сходства этих сущностей, мы вновь должны использовать слово «похожий». (Или, быть может, вместо слова «похожий» можем употребить «похожий-2», но теперь мы говорим о сходстве более высокого уровня). Опять-таки во всех новых случаях либо слово «похожий» (т.е. «похожий-2») представляет одну и ту же сущность, а именно платоническую универсалию, либо представляет разные сущности, т.е. сущности, которые должны быть, в свою очередь, похожими («похожий-3») одна на другую, и так далее до бесконечности.

Рассел считает, что такого рода регресс в бесконечность нельзя принять, поэтому, предикатный знак «похожий» он рассматривает как обозначающий некую абстрактную сущность, платоническую универсалию. Это подтверждает утверждение о том, что в двухуровневой семантике область отображаемой реальности может включать в себя такие же сущности, как входящие в область смысла в трехуровневой семантике.

Указание Рассела на регресс в бесконечность сходств напоминает также аргумент Аристотеля – так называемый аргумент «третьего человека». Однако в то время как Рассел пытается свести к абсурду понятие сходства сходств — для того, чтобы показать необходимость признания абстрактной платонической сущности «сходство», Аристотель пытается свести к абсурду понятие сходства между Платоновой идеей «человека» и конкретным человеком — для того, чтобы отвергнуть Платоновы идеи.

Наконец, стоит заметить, что регресс в бесконечность сходств возможен в связи с еще одним онтологически важным отношением, а именно отношением свойства (или отношения) к индивиду. При этом нет разницы, идет ли речь об отношении внутренней присущности конкретного свойства или об отношении к причастности к некоторому абстрактному платоническому свойству.

Так, например, если у нас есть свойство *P* некоторого индивида *a*, то должно существовать отношение *R* (внутренней присущности или причастности) свойства *P* к *a*. Но само *R* должно находится в отношении *R´* (внутренней присущности или причастности) к *a*. Если так, то *R´* также должно находится в последующем отношении *R´´* к *a,* и так далее до бесконечности.

Как и в регрессе сходств, критикуемом Расселом, члены этого регрессивного ряда являются отношениями все более высокого уровня, т.е. отношениями в аналогичном смысле.

Но при символическом представлении регресс можно «остановить» как здесь, так и в случае сходств, изображая отношение вместо того, чтобы обозначать его.

2.2 Онтология, эпистемология и философия языка Рассела

Реформа логики, предпринятая Г.Фреге, некоторое время оставалась в тени, что в немалой степени объясняется не только оригинальностью предлагаемых идей, плохо воспринимаемых в обстановке господствующего психологизма в основаниях математики и логики, но и чрезвычайно громоздким формальным аппаратом, в который они были облечены. Формальный язык (*Beggriffshrift*), используемый немецким логиком, отличался экстравагантностью (например, он был не линейным, а двумерным), и потребовались значительные изменения выразительных средств, чтобы идеи Г.Фреге получили известность в широких кругах. Исторически сложилось так, что последние во многом стали доступны читателям через посредство работ Бертрана Рассела, который, осознав их значение, первым взял на себя труд облечь их в доступную форму. Кроме того, ко многому из того, что было сделано Фреге, Рассел пришел самостоятельно (например, к функциональной трактовке высказываний). Близка ему и программа логицизма, которую он развивает во многих продуктивных отношениях, отдавая дань первенства Г.Фреге в постановке самой проблемы. У Г.Фреге Рассел прежде всего наследует то уважительное отношение к выразительным средствам, которое позволило реформировать логику и основания математики. Однако было бы совершенно неверным представлять Рассела только как ученика немецкого логика в анализе языка, используемого в данных областях. Достигнутое здесь Рассел рассматривает прежде всего как философ, привлекая приглянувшиеся ему идеи для решения определенных проблем онтологии и теории познания. Сходство формы, в которую облечены рассуждения Рассела и Фреге, чисто внешнее, а их исследования имеют различные интенции.

Знакомство со взглядами Б.Рассела при изучении философии Л.Витгенштейна особо значимо, поскольку философская система второго конституировались под непосредственным влиянием первого. Дело даже не в том, что философскую деятельность Л.Витгенштейн начинал в качестве ученика Рассела, когда по совету Г.Фреге прибыл для продолжения образования в Кембридж. Ученичество очень скоро переросло в сотрудничество, в результате которого Рассел существенно изменил свои взгляды. Критический запал философии раннего Витгенштейна во многом направлен именно против тех концепций, которые английский философ развивал до встречи с ним и которым остался во многом верен в дальнейшем.

Краткая экспозиция этих концепций является необходимой пропедевтикой к идеям, выраженным в *ЛФТ*.

2.2.1. Онтологика отношений

Онтологическая направленность логических изысканий Рассела прежде всего проявилась в предпринятом им анализе логической структуры отношений. В отличие от Фреге, для которого анализ логики выразительных средств был связан с реформой языка математического рассуждения, Рассела заинтересовало отношение структур мысли к тому, что мыслится. Вопрос этот имеет чрезвычайную философскую важность, поскольку, как показывает анализ различных учений, понимание познавательных способностей и онтологических структур всегда ставилось в зависимость от форм мышления, выделенных в процессе логического анализа форм представления знания. В частности, Рассела заинтересовал вопрос о том, каким образом связаны философский монизм и плюрализм с рассмотрением мышления с точки зрения субъектно-предикатной структуры суждения, предлагаемого традиционной логикой.

Дело в том, что членение любого суждения по субъектно-предикатной схеме ставит проблему реальности отношений, о которых также может идти речь в высказывании. Для объяснения проблемы обратимся к тому, как традиционная логика представляет эту структуру. Так, например, "Сократ – человек" – это суждение о наличии у предмета свойства, что в самом суждении трансформируется в приписывании субъекту (*S*) предиката (*P*). В общем виде структура подобных суждений представима в форме "*S* есть *P*". Данный пример не вызывает сомнений, однако если мы возьмем суждение "Сократ – учитель Платона", то, как кажется, здесь речь идет об отношении между предметами. Однако традиционная логика и это суждение трактует как отношение предмета и свойства. Правда, в данном случае свойство представлено сложным выражением 'учитель Платона'. Зато формальное представление высказываний сохраняет единообразие, поскольку и эта структура представима в виде "*S* есть *P*". Подобный подход создает впечатление о нереальности отношений. На этом допущении основано множество философских систем, где логическая редукция отношений отражается в онтологии, поскольку все отношения начинают рассматриваться как внутренние, т.е. образующие часть присущего субстанции сложного свойства, и не имеющие собственного онтологического статуса.

Трактовка отношений как внутренних, т.е. редуцируемых к свойствам, допускает двоякую интерпретацию: плюралистическую или монистическую. Первая наиболее адекватно демонстрируется философией Лейбница и основана на представлении о множественности субстанций. Предположим, что Сократ и Платон представляют собой различные субстанции, видимость связывает эти субстанции определенными отношениями: учитель и ученик. Однако с точки зрения на отношения как внутренние мы на самом деле имеем здесь дело с выражением двух свойств двух субстанций, а именно свойства *учитель Платона*, присущего субстанции *Сократ*, и свойства *ученик Сократа*, присущего субстанции *Платон*. Отношение *учитель* и обратное ему отношение *ученик* редуцируются к свойствам субстанций. Точно так же можно проанализировать любое другое отношение, которое распадается на свойства. В общем виде любое высказывание о наличие

отношения *R* между предметами *a* и *b* редуцируется к высказываниям о наличии у предмета *a* свойства *P*, а у предмета *b* свойства *Q*. Выражение вида '*aRb*' преобразуется в логическое умножение, имеющее вид '(*a* есть *P*) · (*b* есть *Q*)'. Нетрудно видеть, что такой подход предполагает независимость субстанций друг от друга, так как они полностью определены совокупностью присущих им свойств и не вступают в отношения с другими субстанциями. *a* и *b* оказываются самодостаточными предметами, полностью описываемыми системой присущих им свойств, в том числе и сложных, структура которых инкорпорирует систему внутренних отношений. Следствие такого подхода находит выражение в известном утверждении Лейбница о самодостаточности монад, которые "не имеют окон".

Подход философии монизма, который Рассел связывает прежде всего с современными ему неогегельянцами, и в частности, с Ф.Брэдли, основан на том, что все, что может определяться в качестве субъектов отношения (как *a* или *b*), есть не что иное, как проявление атрибута некоторой единой, самотождественной и нерасчленимой реальности, имеющей временные, пространственные и причинные определения в отношении познающего разума. С точки зрения монизма отношение должно усматриваться как свойство совокупности, в которой снято противопоставление *a* и *b*. Так, отношение *R* должно рассматриваться как свойство целостного сложного субъекта {*ab*}. Наиболее адекватно этот подход иллюстрируется отношением тождества, которое при такой интерпретации превращается в свойство самотождественности субстанции. Монистическую философию не смущает, что при данном подходе возникают затруднения с интерпретацией большинства высказываний об отношениях, например, вряд ли с ходу можно усмотреть в высказывании "Сократ – учитель Платона" суждение о свойстве некоторого единства, образуемого *Сократом* и *Платоном*. Тем не менее нужно помнить, что неогегельянцы скорее предлагают подобный анализ как общий принцип, который нельзя вполне выразить в формально-логических структурах. Последнее считается ими достаточным основанием для того, чтобы критиковать формальную логику, отрицая за ней какое-либо познавательное значение, и предпочитать непосредственное усмотрение абсолюта. И все же подобная редукция отношений вполне укладывается в систему взглядов традиционной логики на субъектно-предикатную структуру суждений.

Как плюралистическую, так и монистическую редукцию отношений можно подвергнуть серьезной критике. Вернемся к плюралистической онтологии. Редукция отношения к свойствам *P* и *Q* заставляет нас поставить вопрос о том, на каком основании мы рассматриваем одно из них как конверсию другого? Если такого основания нет, тогда наш анализ исходного суждения повисает в воздухе, становится проблематичным. Если же такое основание есть, тогда возникает вопрос о соотношении этих свойств, что лишь возрождает проблему на новом уровне (т.е. проблематичным становится не '*aRb*', а '*PRQ*'), но ни в коем случае ее не решает. Если вспомнить Лейбница, то данное затруднение репродуцируется у него как вопрос о предустановленной гармонии, что остается в области философских спекуляций и никоим образом не связано с собственно логическим анализом. На самом деле вопрос о предустановленной гармонии и есть вопрос об отношениях, но, правда, об отношении свойств отдельных субстанций. Таким образом, плюрализм, редуцирующий отношения к свойствам отдельных субстанций, проблему не решает, но возрождает ее как проблему второго уровня.

Аналогичные проблемы связаны и с философским монизмом. Если *a* и *b* объединены единством абсолютной реальности, как считают неогегельянцы, то любое отношение, которое фиксирует их порядок (например, переход от *a* к *b*, но не от *b* к *a*, как в случае асимметричных отношений), нельзя объяснить как свойство целокупности. Возьмем, например, отношение любви между *Дездемоной* и *Кассио*. Очевидно, что здесь в рассмотрение должен вкрадываться порядок элементов целокупности, поскольку их перестановка по-разному отражалась бы на творчестве Шекспира. При асимметричности отношений свойство *R* будет иметь различный смысл в случаях, когда мы берем целокупность {*ab*} или целокупность {*ba*}, что с точки зрения монизма было бы безразлично. Порядок, который в данном случае необходимо зафиксировать в рамках целостности, конечно же требует понятия об отношении, и любая попытка свести его к свойству должна терпеть неудачу.

Технический анализ отношений, предпринятый Расселом, как раз и показал несводимость отношений к свойствам. Оказалось, что если мы стремимся построить онтологию, отвечающую здравому смыслу, и при этом не допускать слишком уж сильных предположений, типа предустановленной гармонии, отдающей отношения в компетенцию божественного разума, то необходимо признать за отношениями реальность. Причем это реальность не психологическая в том смысле, что отношения не являются порождениями особенностей нашего мыслительного аппарата, связанного со спецификой психической организации, но именно та реальность, которая позволяет объяснить объективность формальных структур представления знаний. Здесь Рассел принимает допущение о существовании внешних отношений, которые представляют собой элементы действительности *sui generis* или то, что впоследствии он будет рассматривать как примитивные значения, не сводимые к другим элементам. Отныне реальность отношений для Рассела будет представлять исходный пункт рассуждений. Включив отношения в список элементарных реалий, он в дальнейшем будет осуществлять последовательную попытку сведения к ним свойств, даже называя свойства одноместными отношениями.

Разумеется, в некоторых случаях, когда отношения рефлексивны, симметричны и транзитивны, то есть являются отношениями эквивалентности, допустимо редуцировать их к свойствам, и даже полезно, например при определении числа с точки зрения класса классов, находящихся во взаимнооднозначном соответствии. Но при более обширной выборке случаев это просто невозможно. Более того, допустима редукция любого свойства к отношению, но не наоборот.

Рассмотрим примеры. Возьмем отношение *соотечественник*. Это отношение является отношением эквивалентности, так как обладает свойствами рефлексивности, симметричности и транзитивности. Действительно, свойство рефлексивности очевидно, поскольку каждый человек сам себе соотечественник. Симметричность подтверждается тем, что если Сократ соотечественник Платона, то и Платон соотечественник Сократа. А о транзитивности данного отношения говорит то, что если Аристотель соотечественник Платона, то он является и соотечественником Сократа. Отношению *соотечественник* в данном случае соответствует класс людей, обладающих общим свойством *быть греком*. Кроме того, это отношение порождает совокупность непересекающихся классов, так называемых классов эквивалентности, обладающих общим свойством элементов, из которых они состоят, а именно, *быть немцем*, *быть русским* и т.д. (правда, при

подходящем понимании свойства национальности). В общем случае можно сказать, что если отношение *R* обладает указанными признаками, то оно сводимо к некоторому свойству *P*, отвечающему за соответствующий класс эквивалентности. Но при отношениях, обладающих другими свойствами, дело обстоит иначе.

Если взять асимметричное отношение, например *учитель*, то здесь дело не сводится к наличию класса с общим свойством. Так, если *a* учитель *b*, то это говорит не только об отличии *a* от *b*, поскольку если бы это было так, то и *b* характеризовалось бы лишь отличием от *a*. Но так как отличие является отношением симметричным, то можно было бы образовать класс эквивалентности, обладающий общим свойством, который охватывал бы и *a*, и *b*. Порядок, в котором мы рассматриваем отношение *a* к *b*, этого не допускает. Значит, асимметричное отношение, если позволительно так сказать, говорит как о некотором сходстве, так и о некотором отличии, и не сводимо к свойству, а представляет собой нечто такое, что должно рассматриваться как своеобразная сущность. Свойства же, в свою очередь, можно очень просто свести к отношениям, причем никаких проблем не возникает. Возьмем некоторое свойство, к примеру свойство быть красным. Это свойство задает класс красных предметов. Из элементов этого класса всегда можно выделить образец, скажем предмет *a*, и рассматривать все остальные предметы данного класса как находящиеся к выделенному предмету в отношении цветоподобия. Отношение же цветоподобия обладает всеми свойствами, необходимыми для того, чтобы задать классы эквивалентности, а значит, оно вполне может заменить свойство. Отсюда следует очень важный для Рассела вывод: если отношения и не сводимы к свойствам, то свойства вполне сводимы к отношениям[1].

Традиционная логика, очевидно, не приспособлена для выражения отношений; подходящий аппарат Рассел находит как раз в функциональной логике Г.Фреге, которая позволяет не только адекватно описать требуемые структуры, но и учесть все многообразие вытекающих отсюда следствий, например наличие отношений между большим количеством предметов, чем два.

2.2.2 Логика и ‘чувство реальности’

Установив зависимость онтологических представлений от логической структуры, Рассел показал, что избранный способ формализации затрагивает не только структуру мысли, но и нечто говорит о мире. Оказалось, что способы построения онтологий, базировавшиеся на том, как традиционная логика представляла структуру суждения, не являются единственными, а представляют собой лишь один из возможных вариантов. Плюралистическая онтология, основанная на внешних отношениях, построенная Расселом в соответствии с функциональной точкой зрения на высказывания, является, по-видимому, одним из самых интересных его достижений, как логических, так и философских. Ему удалось показать, что онтологию можно рассматривать как следствие определенной формально-логической доктрины. Выявление структуры мысли задает структуру мыслимого, и в этом отношении формальная логика приобретает трансцендентальное содержание. Однако в рамках самой логики все это остается

[1] См., например: Рассел Б. Философия логического атомизма. Томск: Водолей, 1999. С.31.

на уровне бессодержательных моделей, которые, как таковые, имеют дело с любой возможностью. «В логике было бы пустой тратой времени рассматривать выводы относительно частных случаев; мы имеем дело всегда с совершенно общими и чисто формальными импликациями, оставляя другим наукам исследование того, в каких случаях предложения подтверждаются, а в каких нет»[2]. Устанавливая границы логики как науки о возможном, Рассел тем не менее корректирует само понятие возможности. На всем протяжении развития его характеризует то, что сам он называет 'чувством реальности'. Здесь показательным выглядит его следующее заявление, может быть полемически и заостренное, но весьма характерное: «Логика должна допускать единорогов не в большей степени, чем зоология, потому что логика имеет дело с реальным миром в той же степени, что и зоология, хотя с его наиболее абстрактными и общими чертами: повинуясь чувству реальности, мы будем настаивать на том, что в анализе суждений нельзя допускать ничего 'нереального'»[3]. Стало быть, формальная логика для Рассела хотя и является наукой о возможном, все равно имеет единственную реализацию, и эта реализация есть наш действительный мир.

Из такого понимания логики вытекают как минимум два важных следствия, придающих специфическую окраску взглядам Рассела на содержание и границы формального анализа.

1. С одной стороны, имея в перспективе действительный мир, Рассел к числу логических принципов относит такие утверждения, которые выглядят несколько сомнительными, поскольку не имеют аналитического характера. Последнее придает развиваемой им логике 'реистическую окраску'.

2. С другой стороны, так как Рассел наполняет логику онтологическим содержанием, он стремится представить процесс познания таким образом, чтобы тот соответствовал логическим структурам, выведенным с помощью чисто формального исследования.

Эти две разнонаправленные, но связанные между собой тенденции пронизывают все творчество раннего Рассела, и именно те положения, которые относятся к их реализации, подверглись наиболее острой критике Витгенштейна и потребовали существенных изменений. Рассмотрим их несколько подробнее. Начнем с того, каким образом логика у Рассела приобретает реистический характер.

2.2.3 Теория типов

Уже говорилось, что Рассел принимает функциональную трактовку высказываний, предложенную Фреге. Однако его не все в ней удовлетворяет. В частности, Рассел не принимает фрегеанскую трактовку функции как неопределяемого понятия. Напомним, что с точки зрения Фреге, выделение в высказывании функции и аргумента зависит от контекста и то, что рассматривалось в качестве функции, может становиться аргументом, и наоборот. Отталкиваясь от такого понимания, Б.Рассел сформулировал свой знаменитый парадокс. Если функция и аргумент находятся на одном и том же уровне, то, сконструировав высказывание, в котором

[2] Russell B. Our Knowledge of the External World. – London: George Allen & Unwin, LTD, 1926. P.47.
[3] Рассел Б. Введение в математическую философию. – М.: Гнозис, 1996. – С.155-156.

одно и то же выражение может рассматриваться одновременно как функция и как аргумент этой функции, можно прийти к противоречию. В письме к Фреге Рассел следующим образом высказывает свои сомнения: «Вы утверждаете, что функция может быть неопределяемым элементом. Я тоже так считал, но теперь этот взгляд кажется мне сомнительным из-за следующего противоречия: Пусть *w* будет предикатом ‘быть предикатом, не приложимым к самому себе’. Приложим ли *w* к самому себе? Из любого ответа вытекает противоречие. Стало быть, мы должны заключить, что *w* не является предикатом. Также не существует класса (как целого) тех классов, которые, как целое, являются членами самих себя. Отсюда я заключаю, что при определенных обстоятельствах определяемое множество не образует целого»[4].

Проясним данный парадокс на примере. Согласно каждой высказывательной функции можно образовать класс предметов. Например, функции ‘чайная ложка (*x*)’ соответствует класс индивидов, удовлетворяющих данную функцию (т.е. при заполнении аргументного места, делающих соответствующее высказывание истинным) и являющихся чайными ложками. Принцип интуитивной абстракции позволяет образовывать классы с любым набором индивидов. Причем при неограниченном применении этого принципа в качестве индивидов могут выступать и сами классы (т.е. они сами могут рассматриваться как заполняющие аргументные места соответствующих функций). Например, функции ‘класс предметов (*x*)’ будет соответствовать класс всех классов любых предметов. При таком подходе некоторые классы могут содержать только индивиды, а некоторые — и индивиды, и классы, рассматриваемые в качестве индивидов. Среди последних особый интерес представляют классы, содержащие себя в качестве собственных элементов. Например, класс чайных ложек сам чайной ложкой не является, он состоит только из индивидов, а класс всех предметов, не являющихся чайными ложками, сам не будет являться чайной ложкой и, следовательно, будет являться членом самого себя. Образование классов последнего типа зависит от возможности образования таких функций, которые могут быть собственными аргументами. Рассмотрим еще один пример. Возьмем класс последнего типа, а именно класс всех тех классов, которые не являются элементами самих себя (в функциональном выражении ‘класс, не являющийся элементом самого себя (*x*)’). Если мы зададимся теперь вопросом о том, можно ли рассматривать сам этот класс как удовлетворяющий соответствующую себе функцию, получится противоречие. В самом деле, если он ее удовлетворяет, то он не должен содержаться в себе самом, а если он ее не удовлетворяет, то он должен содержаться в себе самом.

Противоречие демонстрирует неприемлемость такого понимания функции и аргумента, которое имеет место у Фреге, но это еще не означает, что неверна функциональная трактовка логической структуры высказывания. Для решения парадокса Рассел разрабатывает так называемую теорию типов, которая по существу сводится к ограничениям, накладываемым на образование классов, а стало быть, и соответствующих высказывательных (пропозициональных) функций. Так, например, он пишет: «Общность классов в мире не может быть классом в том же самом смысле, в котором последние являются классами. Так мы должны различать иерархию классов. Мы будем начинать с классов, которые всецело составлены из индивидов, это будет первым типом классов. Затем мы перейдем к классам, членами которых являются классы первого типа: это будет второй тип.

[4] Frege G. Philosophical and Mathematical Correspondence. – Oxford: Basil Blackwell, 1980. – P.130.

Затем мы перейдем к классам, членами которых являются классы второго типа; это будет третий тип и т.д. Для класса одного типа никогда невозможно быть или не быть идентичным с классом другого типа»[5]. На образование классов необходимо накладывать ограничения, запретив образовывать классы, которые могли бы выступать в качестве своих собственных элементов. Классы должны образовывать строгую иерархию, где первый уровень представляли бы собой классы, содержащие только индивиды, второй уровень – классы, содержащие классы индивидов, третий уровень – классы, содержащие классы классов индивидов, и т.д. Разные уровни требуют различных средств выражения; то, что можно сказать об индивидах, нельзя сказать об их классах, а то, что можно сказать о классах индивидов, нельзя сказать о классах классов индивидов и т.д. В общем, это и составляет сущность теории типов.

В применении к высказывательным функциям это означает, что ни одна функция не может быть применена к самой себе; то, что рассматривается в качестве аргумента, никогда не должно становиться функцией, и наоборот, на одном и том же уровне. Последнее требование закрепляется Расселом в теории удовлетворительного символизма. Зафиксировать тип – значит зафиксировать соответствующий тип символа, указывающий на соответствующее значение. С точки зрения Рассела, к парадоксам приводит смешение различных типов, которого необходимо избегать. При таком подходе, очевидно, отпадает надобность в оценке контекста целостного высказывания. Значение символа должно заранее определяться словарем, который сконструирован иерархическим образом согласно типам, а правила образования выражений накладывают ограничения на использование словаря.

Теория типов становится для Рассела универсальным методом решения парадоксов, не только обнаруженных им самим, но и известных с давних времен. Возьмем, например, парадокс лжеца. Если некто высказывает утверждение "Я сейчас лгу", то с традиционной точки зрения, при попытке определить истинностное значение этого утверждения мы всегда придем к противоречию. Действительно, поскольку он лжет, то ложным должно быть и высказанное им утверждение; но, учитывая его содержание, мы тогда должны сказать, что оно истинно. Если же его утверждение истинно, то, согласно утверждаемому содержанию, оно говорит о своей собственной ложности и, стало быть, является ложным. В любом случае возникает противоречие. Но, используя теорию типов, Рассел решает этот парадокс, разводя по разным уровням высказывания, о которых говорит это утверждение, и само это утверждение[6]. С точки зрения теории типов, человек, утверждающий, что он лжет, имеет в виду ложность по крайней мере одного высказывания из класса высказываний, охватываемых его утверждением. Но само его утверждение не должно включаться в этот класс, поскольку оно относится к более высокому типу. Поэтому истинностная оценка должна релятивизироваться относительно типа высказанных утверждений. Любое утверждение о высказываниях n-го типа само будет относиться к $n+1$ типу и не должно включаться в класс оцениваемых высказываний.

Символическая система Фреге не удовлетворяет требованиям теории типов, поэтому в ней и можно сформулировать парадоксальные утверждения.

---

[5] Рассел Б. Философия логического атомизма. С.90.
[6] Там же. С.88.

2.2.4 Коррекция определения числа и аксиома бесконечности

Формулировка парадокса затрагивает не только противоречивость рассуждения, но и другой важный аспект логицистской программы Г.Фреге, который связан с определением арифметических понятий в логических терминах. Определение числа по Фреге, как оно было сформулировано выше, требует рассматривать классы, состоящие из элементов, принадлежащих к различным типам. Например, уже определение числа два предполагает класс, образованный из нуль-класса и класса, элементом которого является сам нуль-класс. Однако именно это и содержит парадокс, который обнаружил Рассел. Рассел сохраняет логицистскую установку на то, что арифметика сводима к логике, но в свете установленного противоречия определение числа должно быть модифицировано таким образом, чтобы исключить смешение типов.

Рассел выходит из затруднения следующим образом[7]. Он сохраняет общий фрегеанский подход к числу с точки зрения классов, находящихся во взаимно-однозначном соответствии. Сохраняет он и определение нуля как класса неравных самим себе объектов. Модификация определения начинается с числа один. Число один соответствует классу всех классов, находящихся во взаимно-однозначном соответствии с классом, содержащим один объект. Число два соответствует классу всех классов, находящихся во взаимно-однозначном соответствии с классом, который состоит из объекта, использованного при определении числа один, плюс новый объект и т.д. Определение, построенное таким способом, избегает парадокса, поскольку соблюдает требование теории типов. Объекты, используемые при определении чисел, принадлежат одному и тому же типу. Однако оно требует введения дополнительного постулата. Определение каждого последующего числа в последовательности натуральных чисел требует нового объекта. Но поскольку натуральный ряд бесконечен, постольку должно предусматриваться и бесконечное количество объектов. Так в логической системе Рассела возникает аксиома бесконечности, а именно допущение о том, что любому заданному числу *n* соответствует некоторый класс объектов, имеющий *n* членов[8].

2.2.5 Логические фикции и аксиома сводимости

В *Principia Mathematica*, труде, в котором Рассел совместно с Уайтхедом попытались последовательно развить предпосылки логицизма, теория типов, аксиома бесконечности и рассматриваемая ниже аксиома сводимости включаются в число логических предложений. Однако здесь возникает проблема, связанная со статусом данных положений. Характеристика различных уровней бытия, предложенная теорией типов, или аксиома бесконечности, характеризующая совокупность предметов в мире, выходит за рамки аналитического знания. Разрабатывая теорию типов, Рассел говорит о недопустимости определенной комбинации символов в языке логики. Однако то, что он имеет в виду, выходит за рамки символической комбинаторики, поскольку сами по себе символы основания для такого запрета не дают. Ограничения возможны только тогда, когда в расчет принимается определенная интенция значения. Стало быть, теория типов

[7] Рассел Б. Введение в математическую философию. Гл.2;13.
[8] Там же. С.123.

основана на онтологической предпосылке о допустимых видах значений и существенно от нее зависит.

Формулируя теорию типов, Рассел говорит о классах, но это не означает, что он допускает их реальное существование, поскольку это возрождало бы иерархическую структуру бытия в смысле Платона, и даже превосходило бы предложенное последним удвоение реальности, так как предполагало бы ее умножение *ad infinitum* соответственно умножению различных типов знаков. Кроме того, с реальностью классов связан ряд следствий, принять которые Расселу мешает установка на здравый смысл. Согласно способу построения классов из любой совокупности *n* предметов можно образовать 2^n классов. Например, взяв совокупность из трех предметов *a*, *b*, *c*, можно образовать восемь классов. Это следующие классы: нулевой класс, классы {*a*}, {*b*} и {*c*}; затем, {*bc*}, {*ca*}, {*ab*}, {*abc*}. Рассмотрим теперь совокупность всех вещей, существующих в мире. Очевидно, что число классов, образованных из этих вещей, будет больше числа их самих, поскольку 2^n всегда больше, чем *n*. Теперь, если мы принимаем реальность классов, получается парадоксальный вывод. Оказывается, что число всех действительно существующих вещей меньше, чем их имеется на самом деле. Рассел не принимает этого парадоксального вывода, выходя из положения тем, что дифференцирует понятие существования соответственно типам значений. Говорить о существовании индивидов – это совершенно иное, чем говорить о существовании составленных из них классов. Последнее есть лишь *façon de parler*, от которого при желании всегда можно избавиться. Здесь возникает концепция неполных символов, рассматривающая классы как логические фикции. Надлежащая трактовка классов должна исключить их из перечня самостоятельных сущностей, а то, что мы рассматриваем как обозначение классов, должно быть сведено к обозначению сущностей, не вызывающих сомнений в своем существовании.

Осуществляя подобную редукцию, Рассел отталкивается от того, что класс может быть однозначно задан как система значений некоторой высказывательной функции, а стало быть, все, что можно сказать о классах, с успехом переводимо на язык функций: «Вы хотите сказать о пропозициональной функции, что она иногда является истинной. Это то же самое, как если о классе говорят, что он имеет члены. Вы хотите сказать, что это истинно в точности для 100 значений переменных. Последнее одинаково с тем, когда о классе говорят, что он имеет сто членов. Все то, что вы хотите сказать о классах, одинаково с тем, что вы хотите сказать о пропозициональных функциях, исключая случайные и неуместные лингвистические формы»[9]. Так утверждение, что класс спутников Марса включает два элемента, заменимо на утверждение о том, что пропозициональная функция ‘спутник Марса (*x*)’ истинна ровно при двух значениях переменной.

При замене классов на функции возникают некоторые проблемы, краткую экспозицию которых мы сейчас представим. Один и тот же класс можно задать с помощью различных функций. Например, класс людей будет задавать и функция “бесперое, двуногое (*x*)” и “политическое животное (*x*)”. Такие функции (т.е. функции, которые удовлетворяет одинаковый набор аргументов), Рассел называет формально эквивалентными. А раз эти функции специфицируют один и тот же класс предметов, то в некоторых контекстах их можно заменить друг на друга, причем истинность целого не изменится, как, например, в “Сократ является

[9] Рассел Б. Философия логического атомизма. С.91.

бесперым и двуногим”. Такие контексты Рассел называет экстенсиональными. Эти контексты не допускают двусмысленностей; входящие в них функции вполне можно рассматривать вместо классов. Причем все, что можно сказать о какой-либо функции, будет приложимо и к функции, формально ей эквивалентной. Значит, любое высказывание о классе можно заменить высказыванием об одной из формально эквивалентных функций, однозначно этот класс специфицирующей. Однако здесь возникает проблема. Дело в том, что не всегда то, что можно сказать об одной формально эквивалентной функции, будет приложимо к другой. Примером такого неэкстенсионального контекста может служить высказывание “Платон утверждал, что бесперость и двуногость однозначно определяют человека”. В него входит функция ‘двуногое и бесперое (x)’, но попытка заменить ее на функцию ‘политическое животное (x)’ сделает высказывание ложным. Следовательно, не все, что можно сказать об одной функции, приложимо к другой. Однако Рассел считает, что можно сконструировать такую формально эквивалентную функцию, которая удовлетворяла бы требуемому свойству. Другими словами, и для ‘бесперое, двуногое (x)’ и для ‘политическое животное (x)’, существует формально эквивалентная функция, которая однозначно определяет класс людей и при этом является экстенсиональной. В общем случае, если имеется высказывание, изменяющее свое истинностное значение при замене одной формально эквивалентной функции на другую, всегда можно сконструировать функцию формально, эквивалентную исходным функциям, которая будет экстенсиональной. С ее помощью и можно любое высказывание о классе преобразовать в высказывание о функции.

Единственное ограничение, накладываемое Расселом на образование такой функции, связано с требованием теории типов. Она должна указывать предикативное свойство соответствующего класса. Различие между предикативными и непредикативными свойствами можно проиллюстрировать следующим примером. Рассмотрим свойство *быть человеком* и свойство *иметь все свойства человека*. И то и другое относятся к одному и тому же классу предметов, но в отличие от первого, второе свойство имеет в виду и само себя. Так как если мы утверждаем, что Сократ имеет все свойства человека, то наряду с приписыванием ему свойств *быть двуногим и бесперым*, *быть политическим животным* и т.д. мы приписываем ему и свойство *иметь все свойства человека*. Непредикативное свойство самореферентно, т.е. указывает и на само себя. Соответственно, функция, выражающая самореферентное свойство, будет применяться сама к себе, что, как было показано выше, приводит к парадоксу. С точки зрения Рассела, функции, выражающие непредикатитвные свойства, должны относиться к более высокому типу, чем функции, выражающие предикативные свойства, несмотря на то, что они специфицируют один тот же класс. Таким образом, функции, как и классы, должны рассматриваться в строгой иерархии, которая конструируется Расселом в разветвленной теории типов.

Утверждение о существовании формально эквивалентной предикативной функции, которая может заменить класс во всех контекстах, доказать конструктивными средствами невозможно. Поэтому Рассел принимает его как аксиому, так называемую аксиому сводимости, которая формулируется следующим образом: «Существует такая формально эквивалентная предикативная функция ϕ, что для всякого x аргумент x удовлетворяет функцию f тогда и только тогда, когда он удовлетворяет функцию ϕ». Символически:

$\vdash (\exists\phi)\ (x)\ (fx \equiv \phi!x)$,

где '≡' знак тождества, а '$!$' в выражении '$\phi!x$' указывает на предикативность функции ϕ.

2.2.6 Примитивные значения и теория дескрипций

Рассмотрение отношений, чисел и классов демонстрирует один важный принцип, который практикует Рассел. Логический анализ воспринимается им как метод, который устанавливает критерий того, что может рассматриваться как реально существующее, а что нет. Например, отношения, которые нельзя редуцировать к свойствам, реальны, а числа и классы – нет, поскольку вторые суть фикции, так как редуцируемы к пропозициональным функциям, а первые суть фикции фикций, так как редуцируемы к классам. Основная проблема, обнаруживаемая данным анализом, связана с использованием определенных выразительных средств. Дело в том, что язык, повседневно используемый для выражения мыслей, скрывает их действительную структуру. Задача философского исследования – выявить эту структуру и зафиксировать с помощью искусственного языка, который был бы свободен от двусмысленностей языка естественного. Искусственный язык должен способствовать освобождению выражений науки от компонентов, имеющих фиктивное значение. Особый смысл в таком исследовании приобретает логика, формальные методы которой и позволяют разработать такой язык. Последующее расширение границ и методов формального анализа ставится Расселом в зависимость от того, что рассматривать в качестве допустимых типов значения.

Обнаружение средствами логического анализа фикций ставит перед Расселом проблему того, что можно считать примитивным, далее нередуцируемым значением и что должен представлять собой символ, такому значению удовлетворяющий. При всей неопределенности понятия примитивного значения, независимо от того, затребовано это понятие сугубо логическими потребностями или же нет, у Рассела оно связано с принимаемыми теоретико-познавательными установками, и в частности с разрабатываемым им разделением знания на два разнородных типа: во-первых, знание по знакомству; во-вторых, знание по описанию. Концепция двух типов знания лежит в основании второй из указанных выше детерминаций творчества Рассела и также оказывает значительное влияние на интерпретацию логических идей, но характеризует уже не онтологическое содержание развиваемой им логики, а ее теоретико-познавательное значение. В основании любого знания, считает Рассел, лежит непосредственное знакомство с объектом: «Мы говорим, что знакомы с чем-либо, если нам это непосредственно известно, – без посредства умозаключений и без какого бы то ни было знания суждений (истины)»[10]. Любое другое знание может рассматриваться только в качестве опосредованного логическими структурами мышления, интегрирующего языковые средства, либо в качестве выводного знания, либо в качестве указания на фиксированные свойства, включенные в структуру описания предмета. В последнем случае «мы знаем описание, и мы знаем, что есть какой-то предмет, точно соответствующий этому описанию, но сам этот предмет нам непосредственно не известен. В этом случае мы говорим, что наше знание

[10] Рассел Б. Проблемы философии. – СПб: Изд.П.П.Сойкина, 1914. – С.35.

предмета есть знание предмета по описанию»[11]. Рассел не считает описание какой-то новой познавательной процедурой, отличной от тех, что предлагали традиционные теории познания. Оно не есть новый логический элемент наряду с понятием, суждением и умозаключением. «Знание вещей по описанию всегда предполагает в качестве своего источника некоторое знание истинных суждений», таким образом, «все наше знание, как знание вещей, так и знание суждений (истины), строится на знании-знакомстве, как на своем фундаменте»[12]. Рассел отводит логике роль своеобразной редукционной процедуры, связанной с аналитическим смыслом самого философствования, поскольку «основной принцип в анализе положений, содержащих описание, гласит: каждое предложение, которое мы можем понять, должно состоять лишь из составных частей, нам непосредственно знакомых»[13].

Таким образом, конституенты выражений должны сводиться к элементарным символам, значение которых нам непосредственно знакомо. Что же можно рассматривать в качестве примитивных, неопределяемых далее значений? Представленный выше анализ показывает, что к таковым относятся отношения, а стало быть, и свойства, которые всегда редуцируемы к отношениям. И те и другие Рассел обозначает как универсалии, и в качестве выражения последних служат пропозициональные функции. Примитивными значениями будут в таком случае универсалии *учитель*, *ученик*, *любить*, *красное* и т.д. Соответственно допустимы выражающие их пропозициональные функции ‘учитель (*x,y*)’, ‘ученик (*x,y*)’, ‘любит (*x,y*)’, ‘красное (*x*)’ и т.д.

Анализ пропозициональных функций, представляющих один из необходимых компонентов высказывания, выводит на дальнейшее исследование. Для образования целостного высказывания функции необходимо дополнить выражениями, занимающими аргументные места, чьим предметным значением являются индивиды. На эту роль могут претендовать те символы, которые указывают на самостоятельные предметы и которые, как и универсалии, известны нам непосредственно. Однако роль такого указания могут выполнять два различных, как считает Рассел, типа символов: собственные имена и описания (дескрипции). Основное различие между ними в том, что понимание собственного имени зависит от непосредственного знакомства с объектом, тогда как описание мы понимаем, зная значение конституент, из которых оно состоит. Примерами первых можно считать то, что в повседневном языке обычно понимается под собственными именами, скажем, ‘Сократ’ или ‘Вальтер Скотт’[14]; примерами вторых – такие выражения, как ‘учитель Платона’, ‘автор *Веверлея’* и т.д. Заметим, что различие, проводимое Расселом, отличается от соответствующего подхода Г.Фреге, который и те и другие выражения считал именами, указывающими на один и тот же предмет посредством различного смысла. Рассел стремится избавиться от такой сомнительной сущности, как смысл, которому Фреге придает субстанциальное содержание. Поэтому он считает, что непосредственное знакомство с предметом должно отличаться от его описания. Критерием здесь

[11] Там же.
[12] Там же. С.36.
[13] Там же. С.44.
[14] Данный пример требует уточнения, поскольку ни с Сократом, ни с Вальтером Скоттом мы не имеем непосредственного знакомства в собственном смысле данного слова, эти имена требуют дальнейшего анализа, но для простоты изложения мы будем рассматривать их здесь как собственные. Ниже мы вернемся к этому вопросу в связи с аналогичной проблемой у Витгенштейна.

должна служить комплексность описания, поскольку смысл, согласно Расселу, усваивается из комбинации знаков, обладающих примитивным значением, тогда как понимание последних обретается только в непосредственном знакомстве с тем, что они обозначают. Мы понимаем выражения ‘автор *Веверлея*’ или ‘нынешний король Франции’, даже не имея представления о том человеке, на которого они могут указывать, но значение собственного имени в этом смысле понять нельзя, его можно усвоить только при непосредственном знакомстве. Этот критерий проявляется при рассмотрении определенных контекстов, где собственные имена и дескрипции функционируют по-разному.

В качестве иллюстрации рассмотрим применение этой теории к анализу контекстов существования. Возьмем предложение, где существование комбинируется с собственным именем, например “Сократ существует”. С точки зрения Рассела, это предложение, как и любое подобное ему, является бессмысленным, поскольку функция собственных имен заключается в непосредственном указании или знании через знакомство, а существование полностью выражается квантором. Квантор же применим только к переменной некоторой пропозициональной функции. А так как ‘Сократ’ – это не переменная, а константа, непосредственно указывающая на объект, то значением данного выражения не может являться истина или ложь; оно в буквальном смысле бессмысленно. Действительное имя самим своим фактом уже говорит о существовании предмета, который оно называет. Поэтому в контекстах существования осмысленно могут встречаться только описательные имена. Предложение “Учитель Платона существует”, например, в отличие от приведенного выше, вполне осмысленно, несмотря на то, что они на первый взгляд имеют одинаковую структуру. О чем же говорит последнее предложение? С точки зрения Рассела, в нем утверждаются две вещи: 1) имеется по крайней мере один учитель Платона, 2) имеется не более одного учителя Платона, поскольку при невыполнимости хотя бы одного из этих условий оно было бы ложным. Структура дескрипции, таким образом, включает пропозициональную функцию, где к переменной как раз и применим квантор существования. Символически это выражается следующим образом:

$(\exists x)(fx \cdot (y)(fy \supset x=y))$

Теперь сравним приведенный пример с предложением “Сократ – учитель Платона”. Структура этого предложения включает уже три значимых элемента: 1) имеется по крайней мере один учитель Платона, 2) имеется не более одного учителя Платона, 3) этот человек есть не кто иной, как Сократ. Символически:

$(\exists x)(fx \cdot (y)(fy \supset x=y)) \cdot fa$

Действительно, отрицая любой из этих трех элементов мы вынуждены были бы признать ложность целого. Значимые элементы первого предложения полностью совпадают с двумя первыми элементами второго предложения, а значит, второе предложение уже подразумевает первое в том смысле, что предложение “Учитель Платона существует” логически следует из предложения “Сократ – учитель Платона”. Таким образом, использование определенных дескрипций уже предполагает существование соответствующего объекта.

Создавая оригинальную логическую концепцию существования, основанную на анализе терминов, Рассел применяет ее к решению ряда проблем, например к

проблеме функционирования фиктивных имен (т.е. выражений, которым не соответствует никакой реальный объект, но которые по видимости указывают на таковой), скажем ‘Пегас’, ‘Одиссей’ и т.д. Выражения подобного рода, несмотря на то, что в предложениях они на первый взгляд выполняют функцию имен, очевидно, не являются таковыми, поскольку не указывают ни на какой реальный предмет, т.е. не выполняют функцию знакомства. Согласно Расселу они являются скрытыми дескрипциями, которым обыденное употребление придает видимость действительных имен. Как дескрипции, хотя и скрытые, они должны удовлетворять соответствующей структуре. Следовательно, высказывание о несуществующем объекте всегда будет ложным, поскольку в структуру дескрипции включено утверждение о существовании объекта.

Или возьмем в качестве примера выражение “Нынешний король Франции лыс”. Принимая логический закон исключенного третьего, мы должны были бы заключить, что истинно или это высказывание, или высказывание “Нынешний король Франции не лыс”; но и то и другое очевидно неверно, и дело здесь не в смысле выражения ‘нынешний король Франции’. Проблема в самом выражении, которое не является именем, а представляет собой дескрипцию, предполагающую, что ее предмет существует. Поскольку это предположение ложно, ложными будут и первое и второе высказывание. В символическом выражении, где первое высказывание записывается как

$(\exists x)(fx \cdot (y)(fy \supset x=y)) \cdot fa$,

а второе как

$(\exists x)(fx \cdot (y)(fy \supset x=y)) \cdot \sim fa$,

это видно непосредственно, поскольку ложным является член логического умножения ‘$(\exists x)fx$’, выявленный в процессе анализа дескрипции.

Подобный анализ затрагивает не только существование, он применим ко всем контекстам, в которые входят описания. Для иллюстрации обратимся еще к одному примеру Рассела. Возьмем высказывание “Георг IV хотел знать, является ли Вальтер Скотт автором *Веверлея*”. Здесь необходимо заметить, что если бы способ функционирования имени и дескрипции совпадал, то все высказывание преобразовывалось бы в стремление подтвердить частный случай закона тождества, а именно: “Георг IV хотел знать, является ли Вальтер Скотт Вальтером Скоттом”, что очевидно не совпадает с первоначальным утверждением. Вряд ли царственная особа сомневалась во всеобщности логических законов. Если же принять, что два имени различаются по смыслу, то придется признать, что в высказывании идет речь о тождественности смысла двух имен и Георга VI интересовала лингвистическая проблема. Последняя точка зрения приемлема для Г.Фреге, который любого человека стремится сделать лингвистом, но не приемлема для Рассела, считающего, что такие сущности, как смыслы, не имеют реального существования. Да и вообще, в таких предложениях, поскольку мы хотим узнать нечто о действительности, речь идет не о смысле символов. Эти два выражения различны по сути. Рассел считает, что Георг IV хотел знать, совпадает ли значение имени Скотт, с которым он знаком непосредственно, с аргументом, удовлетворяющим функцию, присутствующую в дескрипции. Анализ демонстрирует, что Георг IV не сомневался в законе тождества и не стремился выяснить лингвистический вопрос, но решал реальную познавательную проблему.

Теория дескрипций позволяет иначе, чем Фреге, решить проблему тождества. Когда мы говорим, что "Вечерняя звезда есть Утренняя звезда", речь, по мнению Рассела, идет не о равенстве смыслов двух выражений, указывающих на один и тот же объект. На объект могут указывать только имена и ввиду однозначной соотнесенности имени и объекта, устанавливаемой в отношении непосредственного знакомства, два действительных имени не могут указывать на один и тот же объект. При уравнивании выражений речь может идти только о неполных символах, дескрипциях. Так, в "Вечерняя звезда есть Утренняя звезда" устанавливается равенство аргументов, удовлетворяющих функции 'Вечерняя звезда (x)' и 'Утренняя звезда (x)'. В данном случае выражение равенства должно прочитываться так: "Тот x, который удовлетворяет функцию 'Вечерняя звезда (x)', удовлетворяет функцию 'Утренняя звезда (x)'". В общем случае структура тождества выражений выглядит следующим образом:

$(\iota x)\ fx = (\iota x)\ gx$,

где символ '(ιx)' прочитывается как 'тот x, который…'. Анализ дескрипций показывает, что равенство относится не к именам, а к переменным.

Применение теории дескрипций к контекстам существования, косвенного вхождения выражений, тождества, т.е. к тем случаям, которые мотивируют у Г.Фреге введение смысла, показывает, что от него можно избавиться. Необходимость в такой особой сущности, как смысл, исчезает. Логический анализ дескрипций демонстрирует, что многим выражениям естественного языка весьма далеко от той точности, которую требуют предложения науки. То, что на первый взгляд кажется простым, на самом деле является сложным, требующим анализа выражением. Творчество Рассела как раз и определяет стремление построить язык, допускающий полный анализ, вплоть до примитивных символов с примитивными значениями, относительно функционирования которых не возникало бы никаких вопросов.

Пример с теорией дескрипций демонстрирует, что для Рассела логический анализ – это метод редукции к непосредственным данным. Результат в данном случае предопределен принимаемой эпистемологией, в зависимость от которой ставится логическая форма языкового выражения.

2.2.7 Эпистемологическая функция суждения

Итак, редукционная процедура, по мысли Рассела, должна всегда заканчиваться некоторым не редуцируемым остатком, который и будет представлять собой совокупность примитивных значений. Чем является эта совокупность, каждый раз решается по-разному и зависит от логической структуры анализируемого выражения. Как мы видели, проще всего дело обстоит с выражениями, содержащими лишь такие знаки, которые имеют эмпирическое значение. Здесь знание по знакомству в общем согласуется с традиционным английским эмпиризмом. Сложнее решить вопрос со значениями выражений чистой логики, которые, даже имея эмпирическую реализацию, все-таки не сводятся к эмпирическому содержанию. Решению последнего вопроса служит разрабатываемая Расселом теория истины, объясняющая не только априорный характер положений логики, но и возможность перехода от знания знакомства к

знанию по описанию. В данном случае теоретико-познавательные предпосылки имеют еще больший смысл, поскольку истина является ведущей темой логики. Для Рассела обоснованная теория логики равнозначна обоснованной теории истины. Если же учесть, что пропозициональная функция есть предметно-истинностная функция, где элемент 'предметно' объясняется с помощью теории определенных дескрипций, то остается вопрос о том, как конституируется истинностное значение.

Когерентная теория истины, практикуемая неогегельянцами, не подходит для решения поставленной задачи. Непосредственное усмотрение истины как свойства абсолюта, предлагаемое, например, Брэдли, предполагает, что в основании суждений (т.е. знания по описанию) также лежит отношение знакомства, правда, имеющее характер интеллектуального созерцания. В условиях принимаемого Расселом онтологического базиса (плюрализм и внешние отношения) теория такого типа не в состоянии объяснить возможность лжи, поскольку непосредственное отношение к объекту лишено ошибки. Разрабатываемая им корреспондентская теория истины должна удовлетворять следующим принципам: «I. Наша теория истины должна допускать ее противоположность ошибку; II. Кажется совершенно очевидным, что если бы не было убеждений, то не могло бы быть ни лжи, ни истины в том смысле, в котором истина коррелятивна лжи. Истина и ложь – свойства убеждений и утверждений; и поэтому чисто материальный мир, так как он не содержит ни убеждений, ни утверждений, не может включать в себя ни истины, ни лжи; III. Истинность и ложность убеждения зависит всегда от того, что лежит вне самого убеждения, хотя истинность и ложность – свойство убеждения, но эти свойства зависят от отношения убеждения к другим вещам, а не от какого-то внутреннего качества убеждения»[15].

По мысли Рассела, отношение убеждения к реальности совершенно иное, нежели отношение непосредственного знакомства, хотя последнее и лежит в основании первого. Это связано прежде всего с тем, что убеждение в отношении одних и тех же элементов конституирует два истинностных значения, а именно 'истина' и 'ложь', что было бы невозможно, если бы убеждение было непосредственным отношением к реальности, как считали неогегельянцы, связывая истину и ложь с интеллектуальным созерцанием. Любое созерцание, как непосредственное отношение познающего разума к познаваемому, при объяснении возможности лжи придает последней объективный характер предмета, данного в созерцании, чего не учитывают представители абсолютного идеализма. Субстанциальность лжи кажется еще менее вероятной, чем субстанциальность истины. С точки зрения Рассела, «отношение, устанавливаемое суждением или убеждением, должно, если мы хотим найти место и для лжи, происходит между большим количеством терминов, чем два. Когда Отелло убежден, что Дездемона любит Кассио, то перед нами не единый предмет, 'любовь Дездемоны к Кассио' или 'что Дездемона любит Кассио', ибо это устанавливало бы возможность объективной лжи, существующей независимо от всякой мысли. И легче принять во внимание возможность лжи, если мы признаем суждение отношением, в котором принимают участие как сознание, так и ряд предметов; этим я хочу сказать, что и Дездемона, и любовь, и Кассио, все это должно быть терминами отношения, существующего, когда Отелло убежден, что Дездемона любит Кассио. И таким образом, это отношение –

[15] Там же. С.89.

отношение четырех терминов, ибо и Отелло является одним из терминов отношения»[16].

Все дело в том, что помимо предметов, данных посредством знакомства, в процедуре суждения участвует еще и познающий разум, образующий субъективную сторону суждения. Деятельность субъекта сводится к процедуре упорядочивания конституент, расположение которых может соответствовать или же не соответствовать их порядку в объективном факте. Именно возможность упорядочивания образует основание возможности истинности и ложности. «Если убеждение истинно, то существует еще одно сложное единство, в котором отношение, бывшее одним из объектов убеждения, соотносит остальные объекты. Таким образом, если Отелло истинно убежден, что Дездемона любит Кассио, то существует сложное единство 'Любовь Дездемоны к Кассио', состоящее исключительно из объектов убеждения, в том же порядке, в котором они были и в убеждении, и отношение, которое было раньше одним из объектов, теперь выступает в роли цемента, связывающего воедино остальные объекты убеждения. С другой стороны, если убеждение ложно, то нет этого сложного единства, состоящего лишь из объектов убеждения. Если Отелло ложно убежден в том, что Дездемона любит Кассио, то нет тогда сложного единства 'Любви Дездемоны к Кассио'. Таким образом, убеждение истинно, если оно соответствует определенному сложному комплексу, и ложно, если оно ему не соответствует. Предположим для простоты, что предметом убеждения являются два термина и одно отношение и что эти термины расположены в определенном порядке 'смыслом' отношения, мы получим истинное убеждение в том случае, если два термина в этом порядке объединяются отношением в сложное целое; в противном случае наше убеждение – ложное. Это устанавливает определение истины и лжи, которое мы искали. Суждение или убеждение – сложное единство, в которое входит сознание в качестве одной из составных частей; если остальные составные части, взятые в том порядке, в котором они состоят в убеждении, образуют сложное единство, то тогда убеждение истинно, если же нет, оно – ложное»[17]. Порядок конституент убеждения образует его логическую форму; именно посредством последней познающий разум связан с действительностью, именно за счет нее осуществляется корреспондентная связь суждения и факта.

2.2.8 Логические объекты

Из предыдущего вытекает серьезная проблема, связанная с характером самой логической формы. Структуру суждения Рассел сводит исключительно к совокупности непосредственно известных конституент и упорядочивающей деятельности познающего разума, но где тогда находит свое место логическая форма? Если бы она была связана только с деятельностью познающего разума, то следовало бы признать, что структура суждения, а значит, и структура соответствующего ему факта зависит исключительно от субъективных условий протекания процессов мышления. Рассел отказывается принять последнее, поскольку в этом случае логика утрачивала бы притязание на универсальность и всеобщность своих положений. Но если признать, что логическая форма имеет объективный характер, тогда ее следует рассматривать как одну из конституент

[16] Там же. С.92.
[17] Там же. С.94.

убеждения, известную через отношение непосредственного знакомства. Здесь как раз и возникает представление о том, что логическая форма является специфическим объектом и должна рассматриваться в качестве примитивного значения особого типа.

Общие положения теории знания-знакомства конкретизируется Расселом в отношении логической формы в одной из работ по теории познания, которая, правда, после критики Витгенштейна так и осталась неопубликованной и лишь недавно увидела свет. В ней, сохраняя фундаментальное различие двух типов знания, Рассел дает классификацию различных видов знакомства. В частности, он пишет: «Первая классификация согласуется с логическим характером объекта, а именно, согласно тому, является ли он (а) индивидом, (в) универсалией или (с) формальным объектом, т.е. чисто логическим»[18]. Формальный или логический объект, выступающий в качестве конституенты высказывания, как раз и представляет собой логическую форму, знакомство с которой для конструкции суждения, если его истинностное значение должно иметь объективный характер, столь же необходимо, как и знакомство с иными типами примитивных значений. Выражение "Дездемона любит Кассио", помимо конституент 'Дездемона', 'любит' и 'Кассио', должно содержать еще и возможность упорядочивания их особым образом, которая не сводится ни к одной из приведенных конституент и может быть выражена в чистом виде как '*xRy*' (где *R* — символ для отношения, а *x* и *y* — аргументные места, на которые можно подставить его члены).

Рассмотрение логической формы в качестве особой конституенты позволяет решить проблему понимания описаний, объективный коррелят которых нам неизвестен, т.е. в отсутствие сведений о факте, который подтверждал бы или опровергал их истинность. Вполне достаточно непосредственного знакомства с конституентами, чтобы решить вопрос о возможности их комбинации определенным способом. «Если мы знакомы с *a* с *подобием* и с *b*, мы можем понять утверждение "*a* подобно *b*", даже если мы не можем непосредственно сравнить их и 'увидеть их подобие'. Но это не было бы возможно, если бы мы не знали, как они должны быть сопоставлены, т.е., если бы мы не были знакомы с формой двухместного комплекса. Таким образом, всякий 'ментальный синтез', как он может быть назван, затрагивает знакомство с логической формой»[19]. Символическое выражение суждения представляет собой комплексный знак, состоящий из простых конституент, имеющих примитивное значение, в качестве которых выступают: во-первых, имена собственные; во-вторых, знаки отношений и свойств; в-третьих, формы. Предложение "Дездемона любит Кассио" представляет собой комплекс [*a*, *b*, *R*, *xRy*], где '*a*' соответствует Дездемоне, '*b*' – Кассио, '*R*' – отношению любить, а '*xRy*' – логической форме, упорядочивающей элементы отношения. Таким образом, предложение – это комплекс (или класс) плюс порядок. Правда, здесь возникает одна проблема. Выражения '*aRb*' и '*bRa*' имеют одну и ту же логическую форму *xRy*, но могут иметь различные значения истинности. Так, с точки зрения приводимого примера первое выражение ложно, тогда как второе – истинно. Следовательно, помимо знакомства с перечисленными конституентами, необходимо что-то еще, что конституировало бы различия в самом порядке используемой формы. Рассел считает, что '*aRb*' и '*bRa*' отличаются еще и тем, что в первом случае мы посредством *R* переходим от *a* к *b*, а во втором

[18] Russell B. Theory of Knowledge: The 1913 Manuscript // The Collected Papers of Bertrand Russell. – London: Allen & Unwin, 1984. – P.100.
[19] Ibid. P.101.

от *b* к *a*. Различие в переходе он называет смыслом отношения *R*. Здесь можно указать на возникающее затруднение, поскольку в самой форме *xRy* этот смысл не содержится, а знакомство с отношением *R* как эмпирическое действие не допускает наличия такой сущности, как смысл, от которой Рассел отказывается, критикуя, в частности, Фреге. Такое понимание отношения, по-видимому, допускает определенную психологизацию, так как зависит от субъективных условий определения порядка отношения.

Однако сама возможность сопоставления объектов познающим разумом мотивирует необходимость принятия такой особой сущности как логическая форма, даже несмотря на то, что ее анализ сугубо логическими средствами может быть различным и даже неправильным. Рассел пишет по этому поводу: «Совершенно неясно, что представляет собой правильное логическое рассмотрение формы, но чем бы ни было это рассмотрение, ясно, что мы знакомы (возможно, в расширительном смысле слова 'знакомство') с чем-то столь абстрактным, как чистая форма, поскольку иначе мы не могли бы осмысленно использовать такое слово, как 'отношение'»[20]. В этом смысле логический анализ зависит от эпистемологического интереса, поскольку определение предметного содержания формальной логики связано с выявлением особого типа логических объектов. Этот же эпистемологический интерес позволяет Расселу обосновать априорный характер логики. Логика невыводима из эмпирических данных, поскольку оперирует объектами иной природы, с которыми познающий разум знаком непосредственно.

Руководствуясь потребностями теории познания, Рассел указывает на несводимость простых высказываний к эмпирическим данным, допуская знакомство с их логической формой. Аналогичная ситуация возникает и относительно сложных высказываний, в которых упорядочиваются уже не эмпирические данные, но логические формы простых высказываний. Возможность сопоставления последних требует принятия еще одного типа логических объектов, также данных в отношении непосредственного знакомства и характеризующих структуру сложных высказываний, определяя их понимание. Как пишет Рассел, «помимо форм атомарных комплексов существует много других логических объектов, которые вовлечены в образование неатомарных комплексов. Такие слова, как *или, не, все, некоторые*, явно затрагивают логические понятия; и поскольку мы можем осмысленно использовать эти слова, мы должны быть знакомы с соответствующими логическими объектами»[21]. Например, высказывание "Дездемона любит Отелло и не любит Кассио" включает логические союзы, соответствующие логическому умножению и отрицанию, характеризующие отношения между атомарными комплексами. Если атомарные комплексы обозначить как 'p' и 'q', то форма данного молекулярного комплекса будет выглядеть как '$p \cdot \sim q$'. С точки зрения Рассела, логическим союзам также должны соответствовать примитивные значения, логические объекты.

Введение логических объектов расширяет онтологическую основу формальной логики, которая становится знанием об особом типе предметов. И в этом отношении, несмотря на специфический характер предметной области, логика представляет собой науку, подобную всем другим наукам. Дело философии вписать ее в доктринальные рамки научного знания. Ясно, что для Рассела этот

[20] Ibid. P.98.
[21] Ibid. P.99.

процесс существенно зависит от принимаемой им онтологической концепции, которая придает положениям логики субстанциальный характер, и теоретико-познавательных предпосылок, заставляющих рассматривать содержание формальной системы в перспективе действительного мира. Принимая в расчет сказанное выше, существенной корректировки требует следующее утверждение Рассела: «Философию, сторонником которой я являюсь, можно назвать логическим атомизмом или абсолютным плюрализмом, поскольку, утверждая, что существует много вещей, она вместе с тем отрицает существование целого, состоящего из этих вещей. Таким образом, философские высказывания касаются не совокупности вещей в целом, но каждой вещи в отдельности; и они должны затрагивать не только каждую вещь, но такие свойства всех вещей, которые не зависят от их случайной природы и от счастливой случайности существования, но которые истинны в любом возможном мире, независимо от тех фактов, которые можно обнаружить только при помощи наших органов чувств»[22]. В условиях, когда моделирующие отношения структур описания, на экспликацию которых претендует формальная логика, ставятся в зависимость от онтологических и теоретико-познавательных предпосылок, буквальное понимание приведенного утверждения было бы неверным; наоборот, специфика взглядов Рассела требует учитывать и совокупность рассматриваемых вещей, и специфическую природу и иерархическую структуру примитивных значений, и зависимость анализа выражения от действительного существования предмета описания.

2.3 Философия языка "Трактата": логика языка versus логика мышления

Логико-философский трактат создавался с 1914 по 1918 год. Его созданию сопутствовали обстоятельства, о которых нельзя не упомянуть, поскольку они, вероятно, сказались на содержании. Летом 1914 года началась Первая мировая война, и Витгенштейн добровольцем вступил в австро-венгерскую армию. Большую часть времени он провел на Восточном фронте. В 1918 году его перебросили на Южный фронт, где после развала австро-венгерской армии он был взят в плен итальянцами. Почти год Витгенштейн провел в плену, большую часть времени в лагере в Монте-Касино (Южная Италия). Здесь он и закончил *ЛФТ*. На протяжении всего пребывания на фронте, несмотря на экстремальные условия, Витгенштейн вел философский дневник. Афоризмы *ЛФТ* представляют собой выборку из этих дневниковых записей. Часть дневниковых записей, не вошедших в основное произведение, сохранилась и может использоваться для интерпретации *ЛФТ* наряду с основным текстом. Добавим, что первое издание *ЛФТ* относится к 1921 году[23].

Для общей оценки основного произведения раннего Витгенштейна воспользуемся расхожим мнением, что если бы философская деятельность Витгенштейна ограничилась *ЛФТ*, эта книга все равно составила бы мировую славу ее автору. Это предположение невозможно ни подтвердить, ни опровергнуть. Можно лишь констатировать, что по степени влияния редкое философское произведение, написанное в XX веке, может составить конкуренцию этой книге. В ней

[22] Russell B. Misticism and logic. P.111.

[23] Подробные сведения об истории создания и публикации ЛФТ можно найти в статье: Wright G.H.von The Origin of Wittgenstein's Tractatus — Wittgenstein L. Prototractatus. P.2-34.

Витгенштейн рассматривает практически все вопросы, относимые к компетенции философии, и дает им оригинальное решение, во многом определившее специфику современной философии. Можно сказать, что именно в этом произведении был выражен лингвистический поворот, у Фреге и Рассела лишь намеченный, в рамках которого действуют философы–аналитики. Но у самого Витгенштейна этот поворот мотивирован не просто потребностями логического анализа. Он укоренен в стремлении выразить мистическое чувство жизни, превосходящее возможности языка.

Когда-то Гегель говорил, что предисловия пишутся после того, как автору окончательно ясным стал замысел, воплощенный в главной части. Поэтому основной текст должен, в свою очередь, рассматриваться как введение к введению. Если исходить из этого принципа, то единство понимания зависит от взаимных импликаций задач, сформулированных в предисловии, и их реализации в основном тексте. Утверждение Гегеля в полной мере относится к *ЛФТ*[24], где лишь в предисловии единственный раз во всей книге Витгенштейн дает общую формулировку замысла, но сам этот замысел вне контекста реализации во многом остается непонятным. Однако предисловие дает хорошую возможность оценить, в каком направлении движется автор. Центральная часть предисловия в четырех предложениях фактически содержит весь замысел книги:

«Книга излагает философские проблемы и показывает, как я полагаю, что постановка этих проблем основывается на неправильном понимании логики нашего языка. Весь смысл книги можно сформулировать приблизительно в следующих словах: то, что вообще может быть сказано, может быть сказано ясно, а о чем невозможно говорить, о том следует молчать.

Стало быть, книга хочет провести границу мышлению, или скорее не мышлению, а выражению мыслей, ибо, чтобы провести границу мышлению, мы должны были бы мыслить по обе стороны этой границы (следовательно, мы должны были бы быть способными мыслить то, что не может быть мыслимо).

Поэтому эту границу можно провести только в языке, и все, что лежит по ту сторону границы, будет просто бессмыслицей».

В этих фразах без труда улавливается лежащий на поверхности кантианский смысл. Действительно, со времен Канта любой вопрос о возможности чего-то рассматривается как реализация критической установки. Проблема подобного рода всегда результируется в представлении о некоторой границе, отделяющей возможное от невозможного. Поэтому критическую философию с полным правом можно было бы назвать философией, устанавливающей границы. В этом смысле позицию Витгенштейна, который, указывая задачу *ЛФТ*, говорит: «Книга хочет провести границу мышлению», вполне можно охарактеризовать как критическую. Более того, данный тезис вполне вписывается в установки Канта, определяющего главную проблему теоретической философии как вопрос о том, «Что я могу знать?». Нетрудно, впрочем, заметить, что эта проблема имеет специфическое преломление. Витгенштейна интересует скорее не вопрос о наличии границы, а

[24] О том, что Витгенштейн рассматривал предисловие не просто как формальный элемент в своей работе, говорит его письмо к К.Огдену, переводчику, подготовившему первое издание ЛФТ на английском языке: «Я полагаю, нет нужды упоминать, что мое предисловие должно быть напечатано непосредственно перед главным текстом, а не как в издании Оствальда, где между предисловием и книгой вставлено введение Рассела» (Wittgenstein L. Letters to C.K.Ogden. – Oxford, Basil Blackwell, 1973. – P.21).

вопрос о том, где такую границу можно провести. Последнее затрагивает проблему критерия демаркации возможного-невозможного. Для Канта эта проблема решается с точки зрения познавательных способностей, невозможность выйти за рамки которых определяет границу между познаваемым и непознаваемым. В этом отношении исследование возможности познания ставится в догматическую зависимость от того, какими способностями мы наделяем субъекта, вынося в область непознаваемого все то, что эти способности превосходит.

Как видно из предисловия, такой ход не удовлетворяет Витгенштейна, поскольку в этом случае немыслимое в некотором смысле становится мыслимым, выразимым, пусть даже оно и вводится с помощью постулата в качестве вещи самой по себе. Можно, конечно, поставить вопрос о возможности самих способностей, радикализируя критическую установку Канта, но подобный подход грозит перспективой ухода в дурную бесконечность. Критика критического подхода в свою очередь сама может потребовать критики и т.д. Поэтому вопрос о действительном установлении границы требует изменения перспективы, что связано уже не с исследованием познавательных способностей, а с исследованием тех средств, в которых эти способности могут быть выражены. В этом заключается лингвистический поворот, который, учитывая классическую критическую позицию, можно было бы назвать критической установкой второй степени, ориентированной на «установление границ выражения мысли». Адаптируя подход Канта, Витгенштейну можно было бы приписать вопрос: «Что я могу выразить из того, что я знаю?» Этот вопрос, однако, не следует понимать в том смысле, что я нечто знаю, а потом пытаюсь это нечто выразить. Вопросы «Что я могу знать?» и «Что я могу выразить?» фактически слиты здесь до неразличимости, поскольку я могу выразить только то, что знаю, а могу знать только то, что способен выразить. Таким образом, задача *ЛФТ* очерчивается стремлением выяснить условия априорной возможности языка. В подготовительных материалах так и говорится: «*Вся* моя задача заключается в объяснении сущности предложения»[25]. Вопрос о возможности предложения образует фон всех тем, затрагиваемых Витгенштейном[26]. Здесь уже непосредственно просматривается связь с Кантом, который главной темой *Критики чистого разума* сделал вопрос об условиях возможности суждения[27]. Однако этим сходство и ограничивается. Аналогия между тем, как трансцендентальная логика, опираясь на трансцендентальный анализ опыта, решает проблему функционирования априорно-синтетических суждений, и тем, как формальная логика, опираясь на логический анализ языка, решает проблему функционирования предложений, представляется спорной[28]. Здесь не должно вводить в заблуждение то, что Витгенштейн иногда пользуется кантианской терминологией. Его цель и метод не имеют ничего общего с традиционной критической философией.

---

[25] Витгенштейн Л. Дневники 1914-1916. Пер. В.А.Суровцева. Томск, "Водолей", 1998. С.57.

[26] На важность этого вопроса указывает, в частности, то, что в рукописи ЛФТ был озаглавлен Der Satz (Предложение) и получил свое настоящее название незадолго перед публикацией по совету Дж.Э.Мура (см.: Бартли У.У. Витгенштейн. С.169).

[27] Основываясь на формальном сходстве вопросов у Канта и Витгенштейна, выраженных в форме «Как возможен X», Э.Стениус (Wittgenstein's Tractatus, P.220), а следом за ним и другие авторы (см., например Гарвер Н. Витгенштейн и критическая традиция // Логос. 1994. №6), охарактеризовали позицию ЛФТ как «трансцендентальный лингвизм». Здесь, однако, нельзя не согласиться с У.Бартли (Витгенштейн. С.170) в том, что «далеко не каждый вопрос, выраженный в форме «Как возможен X», кантианский по своему происхождению».

[28] Подобная аналогия проводится, например, в: Pears D. Wittgenstein. – Fontana/Collins, 1971.

Для установления различий прежде всего необходимо выяснить, какое место в *ЛФТ* отводится формальной логике. Лучше всего охарактеризовать соотношение логической теории и языка позволит сравнение позиции *ЛФТ* с позицией Рассела, который был первым, а, судя по мнению Витгенштейна, возможно, и единственным компетентным читателем. По просьбе автора он написал введение к первому изданию его работы, где наряду с разъяснением ряда технических деталей содержится общая оценка задачи. Витгенштейн отрицательно отнесся к тексту своего английского друга, считая его поверхностным и неправильно трактующим задачу книги[29].

Для Рассела основную роль играет оппозиция естественного и идеального, логического языка, с точки зрения которой он и рассматривает задачу *ЛФТ*. В частности, он пишет: «Чтобы понять книгу м-ра Витгенштейна, необходимо осознать проблему которая его занимает… М-р Витгенштейн исследует условия, необходимые для логически совершенного языка, – речь идет не о том, что какой-либо язык является логически совершенным или что мы считаем возможным здесь и сейчас построить логически совершенный язык, но о том, что вся функция языка сводится к тому, чтобы иметь смысл, и он выполняет эту функцию лишь постольку, поскольку приближается к постулируемому нами идеальному языку»[30]. Такое понимание задачи книги вполне укладывается в рамки того, что делает сам Рассел. Для чего служит логический анализ языка? Он предназначен для того, чтобы вскрыть имплицитные противоречия, содержащиеся в некритически принимаемых способах выражения. Любая теория, претендующая на описание реальности, не может гарантировать свободу от противоречия. Однако дело зачастую вовсе не в том, что неправильно задана предметная область исследования. Если такое и случается, то это внутреннее дело самой теории, которая допускает корректировку задачи и методов исследования. Когда теория выполняет эвристическую функцию, ее существование вполне допустимо. Однако наряду с позитивными утверждениями в совокупность выводов, полученных из постулатов теории, могут вкрасться такие следствия, которые связанны не столько со спецификой исследования, сколько с некритически усвоенными средствами, предоставляемыми используемым языком. Для Рассела типичным примером здесь служит парадокс, установленный им самим в фрегеанской теории функции. Парадоксы подобного рода устранимы надлежащим логическим анализом и созданием более адекватных средств выражения. Рамки, в которых действует Рассел, укладываются в две крайние точки. Это естественный язык с его двусмысленными, самореферентными выражениями, с одной стороны, и идеал языка, полностью свободного от эквивокаций с другой. Логический анализ, по существу, рассматривается как средство перехода от первого ко второму. Он оправдан лишь тогда, когда результируется в соответствующей логической теории, более или менее близкой к постулируемому идеалу[31]. Причем степень

[29] Ознакомившись с рукописью Введения, Витгенштейн писал Расселу: «Я совершенно не согласен с многим из того, что в ней написано: как с тем, где ты меня критикуешь, так и с тем, где ты просто пытаешься разъяснить мои взгляды» (ПР, С.157).

[30] Рассел Б. Введение — Витгенштейн Л. Логико-философский трактат. – М.:Иностр. лит., 1958. – С.11-12.

[31] Ссылаясь на несовершенство естественного языка, оправдывает свой шрифт понятий и Г.Фреге: «Логические взаимосвязи почти всегда только намечены языком и оставлены для догадки, но не выражены надлежащим образом… Недостатки вызваны определенной податливостью и неустойчивостью языка… Нам нужна система символов, в которой запрещена любая двусмысленность, и чья строгоя логическая форма не может выходить из содержания» (Frege G. On the Scientific Justification of a Concept-script // Mind, 1964, №290. – P.157-158). Несмотря на то,

приемлемости такой теории зависит от совокупности проблем, касающихся средств выражения, на которые она может дать удовлетворительный ответ. Например, логическая теория *Principia Mathematica* ближе к идеалу, чем фрегеанский *Begriffschrift*, поскольку первая свободна от содержащегося в последнем противоречия.

Рассел рассуждает по следующей схеме. Допустим, в языке теории обнаруживается противоречие, связанное, скажем, с функционированием самореферентных выражений или пустых имен. Но описание должно быть свободно от противоречия, которое, стало быть, необходимо устранить. Возникает вопрос: Как? Ответ: Нужно найти объяснение его источника. Как только источник найден, следует принять дополнительное условие, накладываемое на применение выразительных средств. Таким образом, искусственный язык, претендующий на близость к идеалу, связан дополнительными условиями, и чем ближе к идеалу, тем условий становится все больше. В качестве таковых у самого Рассела выступают теория типов, теория дескрипций, теория лишних сущностей, которые добавляются к исходным условиям совершенного языка, например, в виде аксиомы бесконечности или аксиомы сводимости. Таким образом, логический анализ представляет собой своеобразную заботу о языке. Забота подобного рода выражается либо в ограничениях, накладываемых на образование выражений определенного рода, либо в разработке правил сведения одних выражений к другим. Работа логика как философа в более широком смысле сводится к созданию удовлетворительной онтологии и теории познания, которые позволили бы обосновать те условия, при которых возможен идеальный язык. Именно в этом источник философских допущений Рассела. Он как бы говорит: «Если вы хотите, чтобы язык работал нормально, тогда вам необходимо принять ту теорию познания и онтологию, которую разрабатываю я». Философия для английского философа – это то, что фундирует надлежащий логический анализ. Перефразируя известное изречение схоластов, можно сказать, что философия выступает здесь служанкой логики. С точки зрения собственного видения задачи Рассел рассматривает и результат работы Витгенштейна, расценивая его в заключительных пассажах *Введения* как построение свободной от видимых противоречий логической теории, возможно в чем-то сходной с его собственной[32].

Совершенно по-иному задача видится Витгенштейну. Внешней телеологии логического анализа Рассела он противопоставляет внутреннюю телеологию языка. Проблема не в том, чтобы наложить на язык внешние условия, «мы должны узнать, как язык заботится о себе»[33]. Подобная постановка вопроса совершенно переориентирует цель исследования. Из вопроса элиминируется субъективное условие возможности анализа. Дело не в том, чтобы выяснить, какие дополнительные ограничения должны быть наложены на язык, для того чтобы он отвечал нашим целям. Язык внутренне целесообразен, и как таковой обладает

что в целом Фреге относится к естественному языку более терпимо, чем Рассел, он все-таки считает его непригодным для научных целей, и в этом отношении также противопоставляет искусственно созданному идеалу. Вполне возможно, что он истолковал задачу ЛФТ вполне аналогично Расселу. Кстати сказать, по мнению Витгенштейна, пославшего Фреге рукопись книги, тот «не понял в ней вообще ни слова» (Wittgenstein L. Letters to Russel, Keyns and Moore. P.71).

[32] В этом же ракурсе Рассел формулирует и свои критические замечания (касающиеся, в частности, построения метаязыка, в котором могут быть сформулированы и решены проблемы, относимые в ЛФТ к области невыразимого), предполагая, что может быть создана более совершенная теория, где проблемы, поставленные Витгенштейном, могут быть технически решены более приемлемым способом.

[33] Витгенштейн Л. Дневники 1914-1916. С.61.

внутренними механизмами, предотвращающими возникновение парадоксов. «Мне нет надобности заботиться о языке»[34], язык заботится о себе сам. Всевозможные несообразности, формулируемые в виде парадоксов, возникают из «неправильного понимания логики нашего языка». Дело не в том, чтобы создать новый, более совершенный язык, дело в том, чтобы, следуя внутренней целесообразности языка, правильно объяснить, как он работает. Такой постановке вопроса, видимо, немало способствовала интуиция инженера, на которого первоначально учился Витгенштейн. Если механизм работает со сбоями, нужно выяснить принцип его работы, а не конструировать дополнительные механизмы, корректирующие сбои.

В пользу внутренней целесообразности языка говорит то, что человек обладает способностью строить язык, в котором выразим любой смысл, зачастую не имея представления о значении его отдельных компонентов. Связано это с тем, что телеология отражается в логике, которую язык навязывает тому, кто его использует. Логика есть не что иное, как выражение внутренней целесообразности. Здесь носитель языка выступает в качестве ведомого, которому услуги гида навязаны с необходимостью. Правда, часто случается так, что указания проводника понимаются неправильно и заводят в непроходимые дебри. Причина сбоев в том, что «язык переодевает мысли. И притом так, что по внешней форме этой одежды нельзя заключить о форме переодетой мысли, ибо внешняя форма одежды образуется с целями совершенно отличными от того, чтобы обнаруживать форму тела. Молчаливые соглашения для понимания повседневного языка чрезмерно усложнены» [4.002]. Сложность молчаливых соглашений обусловлена сложностью человеческого организма, частью которого является язык. Это свойство повседневного языка обнаруживается с попыткой сказать что-нибудь предельно ясно. Самое простое предложение, например "Часы лежат на столе", окажется бесконечно сложным и полным эвфемизмов, если попытаться выяснить его окончательный смысл. Поэтому, «не в человеческих силах непосредственно из него вывести логику языка» [4.002]. Этой цели может служить искусственное приспособление, в качестве которого Витгенштейн рассматривает формульный язык, изобретенный Фреге и Расселом. Но это вовсе не означает, что язык повседневного общения следует заменить искусственным. Искусственный язык ничуть не в большей мере близок к идеалу, чем естественный, если об идеале здесь вообще имеет смысл говорить. Каждый язык совершенен в той мере, в которой он выполняет свое предназначение. Другое дело, что различные языки по-разному обнаруживают свою структуру. В этом отношении искусственный язык более удобен, поскольку он в явном виде демонстрирует то, что в обычном языке скрыто. Логический анализ не предоставляет нам новый, более совершенный язык, он есть средство установления структуры любого языка, скрытой молчаливыми соглашениями.

Здесь становится ясным, что априорные условия возможности языка, искомые Витгенштейном, это не те условия, о которых говорит Рассел. Автор *ЛФТ* действует не как логик, стремящийся построить непротиворечивую формальную теорию. «Книга излагает философские проблемы», а не логические. Идеальный язык – не цель, а средство. Попытки скорректировать логику языка, связав ее дополнительными условиями, действительно есть философское заблуждение. Что может быть критерием предельной ясности, как не сама логика? Цель Рассела – исключить из языка логической теории бессмысленные утверждения. Но критерий

[34] Там же, с.62.

осмысленности и бессмысленности можно провести только в языке, он должен устанавливаться самой логикой, его нельзя навязать извне. «Логика заботится о себе сама, нам нужно лишь следить за тем, как она это делает»[35]. В этом смысле логика автономна, она сама устанавливает себе критерии.

Таким образом, видно, что понимание цели и метода логического анализа у Витгенштейна совершенно иное, чем у Рассела, и связано с пониманием языка. Однако само по себе это различие еще мало говорит о характере новаций, гораздо важнее понять, на чем оно основано. Начнем с того, что в отличие от Рассела и Фреге (как, впрочем, и многих других менее близких исследователей) Витгенштейн никогда не говорит о логике как науке о формах и законах мышления. В *ЛФТ* логика связана исключительно с языком. Факт достаточно интересный, особенно если учесть, сколь значительное место занимали в работах его учителей вопросы теории познания. Последнее объясняется тем, что, несмотря на усовершенствование логической техники, Фреге и Рассел остаются в рамках традиционных представлений о соотношении реальности, мышления и языка. Традиционный подход можно суммировать в следующем тезисе: Есть реальность, есть мышление, в которой дана реальность, есть язык, выражающий мышление. В данном случае неважно, как понимается реальность или мышление. Существенно то, что мышление рассматривается в качестве ментального посредника между тем, что мыслится, и способами выражения мысли. В рамках этой трехэлементной структуры языку отводится вспомогательная роль, связанная с фиксацией результатов мышления. При этом предполагается, что способ выражения результатов может быть более или менее адекватным. Стремление построить идеальный язык как раз укладывается в эту схему. Правда, это стремление основано на одной сомнительной предпосылке. Получается, что интуиция мышления противопоставляется интуиции языка, что мышление каким-то образом дано до и помимо языка и что ‘непосредственное’ изучение мышления может скорректировать ошибки, обнаруживаемые в средствах выражения. Одним из парадоксов такой прямой апелляции является то, что предполагается возможность установления границы между допустимым и недопустимым в рамках самого мышления или, по выражению Витгенштейна, «способность мыслить то, что не может быть мыслимо».

Иную точку зрения развивает автор *ЛФТ*: «Мышление и язык - одно и то же. А именно, мышление есть вид языка. Так как мысль, конечно, *тоже* есть логический образ предложения и, таким образом, также и некоторый вид предложения»[36]. Витгенштейн убирает ментального посредника. Есть реальность, есть язык, в которой она выражается. Мышление в непсихологическом смысле и есть язык. Мышление в психологическом смысле есть применение языка. Таким образом, апелляция к мышлению при изучении языка переворачивает их действительное соотношение. Раз мышление и язык одно и то же, то все существенное языка в полной мере относится и к мышлению как его разновидности. Для Витгенштейна изучение языка и есть изучение самого мышления в его сущностных чертах, свободных от психологических привнесений. В языке дано самое существенное мышления. Дело обстоит не так, что имеются необходимые условия мышления, которые могут быть нарушены применением неадекватных средств выражения. Используя терминологию Канта, в языке даны априорные условия мышления. В

[35] Там же, с. 27.
[36] Там же, с.105.

телеологии языка выражен схематизм мышления. В этом смысле как выражение внутренней целесообразности языка «логика трансцендентальна» [6.13].

Впрочем, задача *ЛФТ*, если рассматривать ее с точки зрения изучения априорных структур мыслительного процесса, вполне сопоставима с усилиями других авторов. На это пытается обратить внимание и сам Витгенштейн, когда задает риторический вопрос: «Разве не соответствует мое изучение знакового языка изучению мыслительного процесса, который философы считали таким существенным для философии логики? Только они по большей части запутались в несущественных психологических исследованиях» [4.1121]. Однако пониматься это должно с соответствующей корректировкой, а именно с точностью до наоборот. В *ЛФТ* изучению существенных черт мышления для корректировки языка логики противопоставлено изучение логики языка для установления существенных черт мышления[37]. Изучение мышления касается применения логики и не может фундировать последнюю. Логика до мышления, в его психологическом смысле.

Показателем психологизации существа дела является обращение к опыту, который в исследованиях подобного рода всегда выступает неким *summum summarum* мышления. Витгенштейн же руководствуется основным принципом, что «каждый вопрос, который вообще может решаться логикой, должен решаться сразу же» [5.551]. Логику не затрагивают проблемы, связанные с тем, что лежит в основании конкретных знаний о мире, чувственное или интеллектуальное созерцание. Как раз наоборот, попытки решать логические проблемы, обращаясь к созерцанию мира, как это делают Рассел или Фреге, указывают на ошибочность предпринимаемых усилий. Но это не означает, что логика не имеет никакого отношения к миру. Последнее могло бы иметь силу только тогда, когда логика соотносилась бы с формами и законами мышления, как, например, у Канта, который рассматривает формальную логику как теорию, описывающую структуру отношения мышления к самому себе. Поскольку у Витгенштейна речь идет о логике языка, а сущность языка он видит в описании реальности, постольку логика, являясь выражением внутренней целесообразности языка, очерчивает границы любого возможного описания. «Великая проблема, вокруг которой вращается все, что я пишу, следующая: существует ли *a priori* некоторый порядок в мире, и если да, то в чем он состоит?»[38]. При ответе на этот вопрос необходимо учитывать, что с точки зрения позиции, выраженной в *ЛФТ*, речь о реальности может идти только в том отношении, в котором она выражена в языке. Поэтому априорный порядок в мире есть следствие априорного порядка в языке.

Несмотря на то, что такой ход мысли имеет видимое сходство с трансцендентальной постановкой вопроса, нельзя переоценивать его близость к какой-то разновидности трансцендентализма. Если это и трансцендентальная философия, то в весьма своеобразном смысле. Ее можно назвать негативным трансцендентализмом, поскольку она пытается всякий опыт вывести за рамки отношения языка к реальности. Логика до опыта, неважно, будет он чувственным, как у Канта, или каким-то другим. Априорный порядок в мире не зависит от типа созерцания. «'Опыт', в котором мы нуждаемся для понимания логики, заключается не в том, что нечто обстоит так-то и так-то, но в том, что нечто *есть*, но это как

[37] Предупреждая неправильное понимание, Витгенштейн говорит о том, что опасность запутаться в несущественных психологических деталях грозит и его методу [4.1121]. Примером тому как раз и может служить Введение Рассела.
[38] Там же, с.73.

раз *не* опыт. Логика есть *до* всякого опыта – что нечто есть *так*. Она есть до Как, но не до Что» [5.552]. Логический анализ затрагивает тот срез вопросов, который касается того, что вообще что-то есть, неважно каким образом оно нам дано. В этом он скорее ближе метафизике Аристотеля, пытающейся ответить на вопрос «Что есть сущее само по себе?»[39].

Таким образом, понятие опыта, являющееся центральным для трансцендентальной философии, вообще не задействовано у раннего Витгенштейна. Возникает резонный вопрос: «Почему?» Для того чтобы на него ответить, необходимо уяснить, какое место в *ЛФТ* отводится субъекту. Речь, разумеется, идет о субъекте в непсихологическом смысле. Чтобы прояснить эту проблему обратимся к аналогии, хотя и не вполне правомерной, с Кантом. В трансцендентальной логике субъект выступает условием применения схематизма рассудка к чувственному материалу. При этом сам субъект не является элементом схемы, он выведен за ее рамки. Учитывая, что для Витгенштейна схематизм мышления выражен в телеологии языка, субъект не может обнаруживаться в языке. Он выведен за его рамки так же, как трансцендентальное единство апперцепций в схематизме *Критики чистого разума*. Здесь аналогия заканчивается. В трансцендентальной философии схематизм описывает применение чистых рассудочных понятий к чувственности, а субъект является условием такого применения. В результате применения рождается опыт. Все, что не укладывается в схематизм, является для Канта бессмысленным, имеет характер 'трансцендентальной видимости'. Опыт – это своего рода горизонт, за который не может выйти трансцендентальная философия. Но именно поэтому отношение языка и мира не является для Витгенштейна трансцендентальным в смысле Канта. В *ЛФТ* речь идет не о применении языка, а о тех условиях, которые позволяют применять что-то к чему-то. Действительно, субъект является условием применения языка к миру, так же как мастер является условием применения шаблона к измеряемому предмету. Но любое применение должно предполагать, что шаблон и измеряемый предмет имеют нечто общее. Между шаблоном и предметом имеются объективные функциональные отношения. В отличие от субъективных, объективные условия применения предшествуют самому применению. Как раз поэтому применение бывает верным или неверным в зависимости от правильности понимания шаблона. Именно о таких объективных условиях и ставится вопрос. Но опыт без субъективного условия совпадает с миром: «Весь опыт есть мир и не нуждается в субъекте»[40].

Когда речь идет об объективных отношениях языка и мира, то объективное понимается не в критическом, кантовском смысле, а в самом что ни на есть догматическом, поскольку имеются в виду те отношения, которые устанавливаются до всякого субъекта. Вопрос стоит примерно так: Что есть в самом знаке, чтобы он мог рассматриваться как знак? Каковы необходимые условия функционирования знаковой системы? Таким образом, задача не в том, чтобы выяснить, как мы выражаем себя с помощью знаков, а в том, чтобы выяснить природу существенного и необходимого в знаках. Не опыт, а именно природа существенного и необходимого в знаках должна устанавливать границу мыслимого. Демаркация осмысленного и бессмысленного совпадает здесь с демаркацией выразимого и невыразимого. Вопрос стоит об установлении такой

[39] Что касается используемого Витгенштейном термина 'трансцендентальное', то по содержанию он скорее ближе схоластической традиции, чем философии Канта.
[40] Там же, с. 111.

границы, которая обусловлена сущностью самого языка. Структура знаковой системы накладывает ограничения, которые не могут быть преодолены в силу природы самой знаковой системы.

Возникает серьезная проблема. Когда априорные условия познания устанавливаются в рамках мышления, о них можно говорить, подразумевая, что мышление и язык не одно и то же. Поскольку априорные условия познания устанавливаются именно в языке, о них нельзя даже сказать. Действительно, возможность высказать нечто осмысленное о необходимых чертах структуры языка предполагает и возможность осмысленного отрицания такого высказывания, что само по себе бессмысленно. Вполне возможно, что дополнительные условия, которые, например, Рассел накладывает на образование выражений, как раз и представляют собой попытку сформулировать указанные ограничения. Однако совершенно не случайно, что соглашения, которыми руководствуется разговорный язык, 'молчаливы'. Языковые средства, которые можно было бы использовать для того, чтобы выразить внутреннюю целесообразность знаковой системы, сами должны были бы ей удовлетворять. Но телеология отражается в совокупности всех элементов, в системе в целом. Поэтому говорить о внутренней целесообразности языка можно было бы только выйдя за рамки языка, что абсурдно.

Здесь получает развитие тема, занимающая центральное место еще в *Заметках, продиктованных Муру*. Витгенштейн явно формулирует ее в письме к Расселу, в одном из тех редких случаев, когда пытается охарактеризовать общий смысл *ЛФТ*: «Я боюсь, Ты не уловил мое главное утверждение, для которого все, что касается логических высказываний, есть только короллaрий. Главный пункт – это теория о том, что можно выразить (gesagt) высказываниями – т.е. языком – (и, что сводится к тому же, можно *помыслить*) и что не может быть выражено высказываниями, но только показано (gezeigt); в чем, я думаю, заключается кардинальная проблема философии»[41]. Вот здесь как раз и проступает основная задача логического анализа, как деятельности по созданию языка логики. Логический анализ предназначен не для создания совершенного языка, он предназначен для создания такой знаковой системы, которая проясняла бы строй любого языка. Логика языка (а не о какой другой логике и речи идти не может) – это то, что относится к всеобщей и необходимой природе знаков. Каждая знаковая система (от естественного языка до идеального языка Фреге–Рассела), поскольку она оперирует знаками, должна удовлетворять этой природе. Поэтому нет более или менее совершенного языка, всякий язык совершенен. Но практически любой язык говорит нечто, логический же язык, отвлекаясь от случайного содержания выражений, только показывает то, что заключено во всеобщей и необходимой природе знаков. Он показывает то, что скрыто молчаливыми соглашениями. Стремление выразить внутреннюю телеологию языка как такового и есть основная задача логики.

Поэтому, когда Витгенштейн говорит, что философские проблемы возникают из непонимания логики нашего языка, имеется в виду не то, что отдельные черты знаковой системы неправильно трактуются тем или иным исследователем. Речь идет о том, что неправильно трактуется задача самой логики. Логика языка – это

[41] Wittgenstein L. Letters to Russell, Keyns and Moore. P.71. Нельзя сказать, что Рассел совершенно не заметил этой темы. Он обращается к ней во Введении. Другое дело, что он интерпретирует ее не как философскую, а как логическую проблему, т.е. рассматривает с точки зрения построения идеального логического языка.

то, что относится к уровню показанного, к тому, что «не может быть сказано ясно». Поэтому всякая попытка говорить о логике языка представляет собой фундаментальное философское заблуждение. Множество философских проблем являются не ложными, а просто бессмысленными. При надлежащем понимании логики языка многие проблемы были бы решены, поскольку они бы просто исчезли. Здесь вновь работает инженерная интуиция. Человеку, которому показали, как работает механизм, какие-либо объяснения становятся излишними, он уже видит, что механизм должен работать так, а не иначе. По существу, у Витгенштейна логика становится именно средством философии, а не наоборот, как у Рассела.

Анализ общего содержания *ЛФТ* приводит к тому, что исчезли бы не только те проблемы, о которых говорит Рассел. За рамки построения логически совершенного языка задача Витгенштейна выходит и в другом отношении. Она не просто связана с демонстрацией существенных черт знаков. Ее решение косвенным образом указывает на то, что в рамках знаковой системы вообще невозможно выразить, хотя последнее и может иметь видимость содержания. Что же ограничено необходимой природой знаков? Она показывает то, что может быть сказано с их помощью, тем самым показывая то, что с их помощью сказать нельзя. Показывая границу, мы показываем то, что находится по обе ее стороны. С одной стороны – сказанное, с другой – невыразимое. С одной стороны, то, о чем необходимо говорить ясно, с другой – то, о чем следует молчать. Показанное, таким образом, разбивается на два типа: во-первых, то, что относится к знакам самим по себе; во-вторых, то, что не может быть выражено в знаках. Первое должно просто умалчиваться в силу принимаемых соглашений. О втором нужно молчать в силу невозможности выразить. Невысказанное двояко. Мы должны молчать о границе и о том, что за ней. Вопрос в том, одинаково ли молчание? О первом мы молчим в силу инженерной интуиции, поскольку излишне говорить о том, что и так ясно. О втором же молчим многозначительно, молчим эмфатически, молчим подчеркнуто. Все наше молчание о первом есть лишь средство подчеркнуть молчание о втором.

Таким образом, показанное разнообразно, но об одном показанном Витгенштейн, проясняя структуру языка, все же считает возможным говорить, тогда как о другом можно только молчать. Однако это молчание не беспредметно[42]. О чем именно молчит Витгенштейн, проясняет его письмо к Людвигу фон Фиккеру, издателю литературного журнала *Brener*, в котором автор первоначально надеялся опубликовать *ЛФТ*. Это письмо тем более интересно, потому что здесь по-иному, чем в послании к Расселу, разъясняется задача исследования. Фиккер не логик, поэтому содержание письма – это как бы взгляд с другой стороны.

[42] Предметность молчания в ЛФТ отмечали уже представители Венского кружка, на что указывает один из австрийских исследователей: «Проницательный Отто Нейрат, энергичный критик Витгенштейна, обсуждая последнее предложение Трактата, между прочим, выразил свое справедливое подозрение: ‘О чем невозможно говорить, о том следует молчать’: что стоит за словом ‘о том’? Почему не просто молчать? Вот буквально Отто Нейрат: «‘О чем невозможно говорить, о том следует молчать’ – это, по меньшей мере, языковая неправильность; это звучит так, как если бы имелось нечто, о чем мы не могли бы говорить. Мы скажем: если кто-то действительно желает придерживаться сугубо метафизического настроения, то он молчит, но не ‘молчит о чем-то’. Мы не нуждаемся в метафизической лестнице для пояснений. В этом пункте мы не можем следовать за Витгенштейном, однако его большое значение для логики тем самым не умаляется». Это слово ‘о том’ для Витгенштейна как раз и было той ‘важной частью’, о которой он позже очень хорошо говорил. И говорил не только всей своей ‘формой жизни’, но также философскими работами» (Краус В. Молчать о чем — Вопросы философии, 1996, №5. – С.114).

Витгенштейн пишет: «Смысл книги – этический. Как-то я хотел включить в предисловие предложение, которого фактически там теперь нет, но которое я сейчас напишу Вам, поскольку оно, быть может, послужит Вам ключом; а именно, я хотел написать, что моя работа состоит из двух частей: из той, что имеется здесь в наличии, и из той, что я *не* написал. И как раз эта вторая часть более важна. А именно, посредством моей книги этическое ограничивается как бы изнутри; и я убежден, что *оно* строго ограничивается ТОЛЬКО так. Короче, я думаю: Все то, о чем многие сегодня *болтают*, я устанавливаю в своей книге тем, что я об этом молчу. И поэтому эта книга, если я не слишком ошибаюсь, говорит многое из того, что Вы сами хотели сказать, но вероятно не увидели, что об этом говорится. Теперь, я рекомендую Вам прочесть предисловие и заключение, ибо они этот смысл приводят к непосредственному выражению»[43]. Невыразимым, таким образом, оказывается Кантово царство свободы. Все проблемы этики являются псевдопроблемами. Ясности мышления соответствует ясность выражения, а не болтовня. Наука о морали как система знаний оказывается невозможной, а предмет этики специфицируется молчанием, когда указывают на то, о чем можно говорить.

Две различные характеристики основной задачи *ЛФТ*, представленные в письмах, рождают проблему: Чем руководствовался Витгенштейн, логикой или этикой? Рассматривать ли его содержание как руководство по философии логики или как систематическую демонстрацию невозможности этики? Скорее, ни то, ни другое. Логика и этика – одно, с той лишь разницей, что первая, показывая то, что можно выразить, ставит границу мыслимому изнутри, а вторая, подчеркнуто безмолвствуя о своем предмете, ставит границу выразимому извне. Ясно мыслить, следуя велению императива, или многозначительно молчать, следуя требованию ясно мыслить, – это лишь вопрос предпочтения.

2.4 Логический атомизм "Трактата": от синтаксиса к онтологии

Как уже указывалось, основной грамматической категорией *ЛФТ* является предложение (*Satz*). Почему именно предложение? При ответе на этот вопрос необходимо учитывать как логическую, так и философскую мотивацию. Логическая мотивация не выходит здесь за рамки интуиций, которые имели место уже у Фреге. Удобство функциональной трактовки дает очевидные преимущества при объяснении логических примитивов, из которых построено предложение, не прибегая к дополнительным допущениям. Так же как и Фреге, Витгенштейн рассматривает остальные языковые единицы с точки зрения той функции, которую они выполняют в предложении. С точки зрения этой категории вводится и понятие знаковой системы: «Совокупность предложений есть язык» [4.001]. Эвристичность такого подхода демонстрируется результатами, достигнутыми в *Заметках по логике* и *Заметках, продиктованных Муру*. Однако эти последние не отделимы от философских мотивов, технической разработкой которых они в значительной мере и являются.

Витгенштейн обращается к предложению, преследуя по крайней мере две цели. Одна цель связана с оправданием развиваемого им типа логического анализа, где

[43] Wittgenstein L. Briefe an Ludwig von Ficker. – Salzburg: Verlag Otto Müller, 1969. – S.35-36.

логика рассматривается как выражение внутренней целесообразности языка. Для ее реализации необходимо объяснить сущность предложения так, чтобы то, что считается предложениями логики, не являлось предложениями в собственном смысле, а логические константы не оказались конституентами предложения. В результате логика должна предстать знанием совершенно иного типа, чем остальные науки. Она ничего не говорит о реальности, но показывает структурные взаимосвязи знаковой системы. Другая цель связана с тем, что правильное объяснение предложения позволит вывести за рамки исследования теорию познания, которая долгое время рассматривалась как необходимый элемент, оправдывающий логический анализ. Действительно, отказ от любого вида опыта как сомнительной предпосылки логического анализа ставит под удар теорию познания как философское основание логики. Опыт, призванный объяснить, на каком основании то или иное предложение квалифицируется как истинное, здесь вообще не должен приниматься в расчет, поскольку «для того, чтобы элементарное предложение было истинным, оно прежде всего должно быть *способно* к истинности, и это все, что затрагивает логику»[44]. Способность к истине не выходит за рамки основного допущения, что все конституенты предложения объяснимы с точки зрения той функции, которую они выполняют в предложении. Если бы в анализе первичными были более элементарные синтаксические единицы, то с необходимостью возникала бы проблема, каким образом из них образуется предложение, которому можно приписать истинностное значение? В данном случае вряд ли можно было обойтись без допущения синтетической деятельности субъекта, к которой, например, прибегает Рассел в своей теории суждения.

Тесная связь указанных целей просматривается уже в *Заметках* и может рассматриваться как развитие единой темы – темы биполярности предложений. При реализации этих целей тема биполярности развивается в двух направлениях. С одной стороны, поскольку в рамках единого предложения скоординированы два полюса, исчезает необходимость обращаться к субъекту для объяснения дуализма истины и лжи. Предложение независимо от субъекта отвечает за свою способность к истинности и ложности. Нужно только показать, каким образом предложение посредством своих полюсов 'достает' до действительности. С другой стороны, все, что касается логического обрамления знаковой системы, отраженного в логических союзах и псевдопредложениях логики не затрагивает существенной особенности предложений быть истинными и ложными, а следовательно, не отвечает за связь предложений с действительностью и относится к свойствам знаковой системы. Необходимо лишь создать адекватную систему записи, которая демонстрировала бы эту особенность логической фурнитуры. Таким образом, движение мысли в *ЛФТ* можно описать так: объяснить, как предложение связано с действительностью, для того, чтобы показать грань, где эта связь утрачивается, сказанное переходит в показанное и невыразимое.

Витгенштейн пытается объяснить именно сущность предложения, а не кодифицировать различные типы предложений, указывая на их различие в способе связи с действительностью. Наоборот, только с точки зрения логической сущности предложения должны решаться все вопросы, касающиеся видимого разнообразия способов выражения. Здесь же должны найти свое решение

[44] Дневники 1916-1918. С.37.

вопросы, касающиеся оппозиций аналитического и синтетического, априорного и апостериорного как характеристики этих способов.

2.4.1 Синтаксис элементарного предложения

Согласно общим установкам Витгенштейна, можно было бы сказать, что вся философия логики – это ответ на вопрос, что может решить сама логика, а что нет. Применительно к анализу основного логического понятия, каковым выступает предложение, это означает, что его структуру нужно объяснить, отталкиваясь лишь от основного свойства предложения (способности быть истинным и ложным). Задача Витгенштейна станет яснее, если вернуться к Фреге и Расселу, устанавливающим структуру предложения с точки зрения категорий знаков, из которых оно построено. Рассел, например, все предложения делил на атомарные и молекулярные. Атомарность определялась тем, что в конструкции использовались знаки свойств и отношений, а молекулярность – составленностью из атомарных предложений и логических союзов. Категории скомбинированных знаков определяли и то, можно ли конструкцию вообще считать предложением, что было связано с ограничениями, накладываемыми теорией типов. По мнению Витгенштейна, такой подход собственно логическим назвать нельзя, поскольку он требует апелляции к значениям знаков, предполагая определенную структуру реальности. Собственно логический анализ предложений должен начинаться там, где о значении знаков речь еще не идет. Значения знаков должны вводиться с точки зрения самой возможности предложения. Другими словами, не предложение должно быть объяснено с помощью значения знаков, из которых оно построено, а все знаки и их значения должны быть объяснены с точки зрения возможности предложения. В *Дневниках* эта мысль выражена следующим образом: «Фреге говорит: Каждое законно образованное предложение должно иметь какой-то смысл; а я говорю: каждое возможное предложение является законно образованным, и если оно не имеет смысла, то это может быть только потому, что мы не наделили никаким значением некоторые из его составляющих. Даже если мы уверены, что сделали это»[45]. Значения составных частей предложения должны определяться в зависимости от того, какую функцию они выполняют в предложении. В этом отношении предложение является не результатом комбинирования первоначальных знаков, а исходным пунктом логического анализа, который наделяет соответствующим значением составные части. При таком подходе вопрос заключается не в том, *что* обозначает каждый знак, а в том, *как* он обозначает [3.334]. Вопрос о *как*, предшествует вопросу о *что*, поскольку прежде чем придать знаку значение, необходимо установить его символические особенности, его способность обозначать. Подобный анализ Витгенштейн называет синтаксическим: «В логическом синтаксисе значение знака не должно играть никакой роли; должна быть возможна разработка логического синтаксиса без всякого упоминания о *значении* знака, предполагается лишь описание выражений» [3.33].

Предпринимая синтаксический анализ, будем отталкиваться только от одного свойства предложений – их способности к истинности и ложности. В самом понятии предложения нет ничего, что препятствовало бы конструированию

[45] Там же. С.17.

предложений, состоящих из таких элементов, которые сами могли бы быть истинными или ложными. Однако описание структуры предложения, отталкивающееся от его истинности и ложности и предполагающее при этом, что истина и ложь уже могут характеризовать его элементы, содержало бы круг, поскольку в описании сложного уже предполагалось бы описание простого, которое еще только нужно объяснить. Поэтому начинать следует именно с такого элемента, где истина и ложь в качестве характеристик появляются впервые. Здесь возникает концепция элементарного предложения. В первом приближении элементарное предложение можно было бы описать как предложение, которое не включает в качестве элементов другие предложения. Данного определения, ввиду отрицательного характера, явно недостаточно. Оно указывает, чем не является элементарное предложения, но оставляет открытым вопрос о том, что оно такое. Основной признак элементарного предложения вводится в афоризме 4.211: «Признаком элементарного предложения является то, что никакое элементарное предложение не может ему противоречить». Этот признак становится ясным, если учесть, что понятие 'истина' возникает именно с введением элементарного предложения. В этом смысле элементарные предложения безразличны друг к другу, каждое из них самостоятельно конституирует истину и ложь.

Несмотря на различие подходов, можно сопоставить элементарное предложение с атомарным предложением в смысле Рассела. Однако аналогия в данном случае была бы обманчивой. Следует учесть, что понятие элементарного предложения представляет собой априорную конструкцию и не связано с каким-либо конкретным примером. Это отличает позицию Витгенштейна от позиции Рассела, который вводил понятие атомарного предложения, ориентируясь на обыденный язык. Предложения типа "Это есть зеленое" рассматривались им как примеры простых предложений, составленных из указания на предмет и выражения для свойства. Позитивный признак в данном случае можно дополнить негативным. Поскольку нельзя указать такой составной части данного предложения, которая, в свою очередь, была бы предложением, оно не является молекулярным. Однако составленность из различных категорий знаков не может служить четким критерием. Независимость атомарных предложений предполагала бы знание структуры значений тех знаков, из которых они построены. Но в компетенцию логики, конечно, не входит, например, вопрос о том, какова действительная структура цвета. Критерий же Витгенштейна является чисто логическим и не предполагает никакой ссылки на реальность. Напротив, он позволяет сугубо по логическим основаниям установить, является ли предложение элементарным: «Если логическое произведение двух предложений является противоречием, а предложения кажутся элементарными предложениями, то мы видим, что в данном случае видимость обманывает (например: *A* есть красное, и *A* есть зеленое)»[46]. Правда, если следовать данному критерию, то затруднительно привести какой-либо пример элементарного предложения. Ни одно предложение обыденного языка, по-видимому, не является элементарным в этом смысле[47]. Но поскольку мы ориентируемся на априорную конструкцию, это не имеет никакого значения.

[46] Там же. С.114.

[47] О том, что подобные предложения Витгенштейн не считал элементарными, можно, судить по его более поздней работе (см.: Витгенштейн Л. Несколько заметок о логической форме — Логос: философско-литературный журнал, М.: Гнозис, 1994. С.210-216), где данная точка зрения в некоторых аспектах подвергается критике. В частности, там он считает, что характеризующая качество степень должна включаться в элементарное предложение. Поэтому элементарные предложения, даже если они не противоречат друг другу, могут друг друга исключать.

Элементарное предложение предполагается спецификой логического анализа и затребовано сущностью языка.

Поскольку «простой – нерасчлененный – знак не может быть ни истинным, ни ложным» (*Д*, С.24(2)), постольку элементарное предложение логически расчленимо [4.032], оно состоит из частей. Именно конфигурация частей задает возможность истинности предложения. Несмотря на то, что части предложения могут определяться по-разному, в конечном счете оно должно состоять из таких элементов, которые являются простыми и далее не разлагаются. «Составные части предложения должны быть простыми = Предложение должно быть полностью артикулировано»[48]. Полная артикуляция определена требованием полноты анализа. Если логический анализ возможен, то он должен где-то заканчиваться. «Требование возможности простого знака есть требование определенности смысла» [3.23]. Полная артикуляция предложения единственна, поэтому «имеется один и только один полный анализ предложения» [3.25]. Относительно простых частей самих по себе, помимо того, что они различны, нельзя указать никакого другого различия, поскольку это требовало бы дополнительных характеристик, что свидетельствовало бы о их непростоте. В этом смысле все простые части предложения равнозначны. «Простые знаки, используемые в предложении, называются именами» [3.202]. Полностью проанализированное предложение состоит только из имен. Однако для адекватного понимания элементарного предложения необходимо учесть, что *a priori* можно знать только то, что оно состоит из имен, но *a priori* невозможно установить его полный состав. Как пишет Витгенштейн, «элементарное предложение состоит из имен. Но так как мы не можем указать количество имен с различными значениями, то мы не можем также указать состав элементарного предложения» [5.55]. Нельзя однозначно вводить знаковую форму, не зная, соответствует ли ей что-нибудь в действительности [5.5542]. Понятие элементарного предложения имеется помимо его особых форм, перечисление которых было бы совершенно искусственным [5.554; 5.555]. Такой искусственностью, например, страдает описание атомарных предложений Расселом, который в качестве примитивных знаков различал в них имена, с одной стороны, и знаки отношений различной местности с другой. Атомарные предложения классифицировались в зависимости от местности отношения. Но сразу возникает вопрос, отношения какой местности допустимы, если допустимы вообще? Это мог бы решить только опыт, к которому логика собственно апеллировать не должна [5.553]. Обращение к созерцанию непосредственно указывает на ложность разрабатываемого подхода. Вопрос о конкретных формах элементарных предложений может решить только применение логики, а не ее априорная конструкция [5.557].

Хотя полный состав элементарного предложения *a priori* установить нельзя, тем не менее, поскольку предполагается расчленимость на простые составляющие, записать *a priori* знак элементарного предложения, указывая его отдельные элементы, все-таки можно. При обозначении имен как '*a*', '*b*', '*c*', элементарное предложение записывается как функция имен в форме '*fa*', 'Ф(*a*,*b*)' и т.п. [4.24]. В данном случае Витгенштейн не выходит за рамки представлений Фреге и Рассела, понимая предложение как функцию его составных частей [3.318]. Однако сами составные части понимаются иначе. У Фреге и Рассела в знаках предложений '*fa*', 'Ф(*a*, *b*)' имена '*a*', '*b*' обозначают самостоятельные индивиды, а знаки '*f*(…)', 'Ф(…,

[48] Дневники 1916-1918. С.86.

…)' являются выражениями функций, которым соответствуют свойства и отношения. Синтаксический подход, разрабатываемый Витгенштейном, требует рассматривать знак элементарного предложения, не апеллируя к значениям его составных частей. С этой точки зрения имена являются знаками простых частей предложения, а не знаками самостоятельных индивидов. Согласно пониманию простых частей имена далее определить нельзя [3.26]. Это отличает их от функциональных знаков, указывающих на неопределенную часть элементарного предложения, которая может быть подвергнута дальнейшему анализу и разложена определениями [3.24]. Другими словами, знак предложения (*Satzzeichen*) включает указание на артикулированные и неартикулированные части, где неартикулированная часть может быть подвергнута дальнейшему разложению, возможно *ad infinitum*.

Допустим, учитывая указанные выше ограничения на предмет приведения примеров, что 'Отелло познакомил Дездемону с Кассио' является элементарным предложением. Предположим также, что 'Отелло' является простой частью данного предложения, и обозначим его '*a*'. Тогда знак данного предложения можно записать как '*fa*', где артикуляция ограничивается указанием на одну простую часть и неопределенный компонент. Если продолжить анализ, то неопределенный компонент можно разложить определением, предполагая, скажем, что 'Дездемона' также является простой частью, и обозначив ее как '*b*'. В этом случае '*f*(…)' по определению будет соответствовать 'Φ(…, *b*)'. Знак предложения тогда примет вид 'Φ(*a*,*b*)', где артикулированы уже две простые части. Проделав ту же процедуру с 'Кассио', получим знак 'G(*a*,*b*,*c*)', где артикулированы уже три простые части. Данный анализ можно продолжить далее, разлагая неартикулированную часть, обозначенную функциональным знаком 'G(…, …, …)'. Отметим, что при таком подходе относительно функциональной части не предполагается, что она обозначает каким-то иным способом, чем имена. Функциональная часть лишь указывает на неопределенность присутствующую в элементарном предложении[49]. Здесь не должно вводить в заблуждение то, что 'познакомил', как обычно считается, предполагает какое-то иное значение, чем 'Отелло' или 'Дездемона'. Этот элемент указывает на такую же неопределенность в элементарном предложении, как и выражение 'познакомил Дездемону с Кассио', и может быть посредством определений разложен далее. Смущение здесь может вызвать только то, что значение выражений 'Отелло' и 'Дездемона' предполагается простым, поскольку им соответствуют самостоятельные индивиды. Но как указывал еще Рассел, значение таких имен ни в коем случае не является простым, поскольку они представляют собой скрытые дескрипции. К тому же значение в данном случае нас не интересует, мы лишь предполагаем, что эти знаки являются простыми. Точно так же относительно функционального знака предполагается, что он указывает на неопределенную часть, которая может быть разложена определениями. В этом отношении анализ должен показать, что и выражение 'познакомил' состоит из имен. Однако не дело логики осуществлять полный анализ каждого выражения. В логике можно лишь сказать, что полный анализ в конце концов должен привести к конструкции, которая состоит только из имен. Но поскольку *a priori* привести пример формы такой конструкции нельзя,

[49] Эта позиция отличается от той, что была прорисована в Заметках по логике, где функциональные знаки обладали собственным, отличным от имен значением, хотя оно и было вторичным, извлекаемым из поведения фактов.

логика при записи элементарных предложений ограничивается лишь указанием на не разлагаемые далее и определяемые части[50].

Знак предложения, вида '*fa*', состоит из более простых частей. Однако поскольку простые части вводятся с точки зрения элементарного предложения, необходимо учитывать, что ни '*f*', ни '*a*' сами по себе никакой интенции значения не имеют. Их значение определяется только с точки зрения той функции, которую они выполняют в элементарном предложении. «Имя имеет значение только в контексте предложения» [3.3]. В данном случае этот тезис Витгенштейна можно назвать синтаксическим принципом контекстности. Понимать '*a*' как имя можно только ориентируясь на целое предложение, где этот знак выражает часть, которую нельзя разложить далее определениями. То же самое относится к функциональному знаку, выражающему еще не определенную часть предложения. Только в отношении того, что неопределяемо и еще не определено в '*fa*', имеет смысл говорить об имени и функции, приписывая '*f*' и '*a*' некоторую интенцию значения. Интенция значения знака задается формой его логико-синтаксического применения [3.327]. Знак '*a*' может рассматриваться как имя только в том случае, если он применяется в комбинации с функциональными знаками, а знак '*f*' – как функциональный знак только в том случае, если он комбинируется с именем. В этом смысле ни имена, ни знаки функций не являются самодостаточными, они предполагают друг друга. Осмысленное употребление имен как имен должно учитывать их соотношение с функциями, и наоборот [3.326]. В этом случае знак становится символом, он наполняется интенцией значения. Само по себе '*f*' или '*a*' есть лишь чувственно воспринимаемый значок [3.32], в котором символ можно распознать только в контексте предложения, где становится ясным способ употребления данного значка[51].

---

[50] Г.Энском в Introduction to Wittgenstein's Tractatus (а следом за ней и другие авторы, например, Fogelin R.J. Wittgenstein.– Routledge & Kegan Paul, London, 1976.– P.49) предлагает записывать полностью проанализированные элементарные предложения, из которых состоит идеальный логический язык, в виде 'a–b–c–d'. В частности, она пишет: «Если бы мы задали 'a–b–c–d' как элементарное предложение, тогда 'a–b–c–( )' и 'a–(')–('')–d', были бы двумя различными функциями, которые можно было бы представить как 'fx', 'Ф(x,y)' соответственно; и репрезентация 'a–b–c–d' в виде значения этих двух функций была бы 'fd', 'Ф(b,c)'» (P.101). Здесь функциональные знаки также рассматриваются как совокупности имен. Однако если установлен полный состав функциональных знаков, тогда от них не остается ничего; в этом случае «(')–('')–(''')–(''''') было бы формулой, 'логической формой – логическим первообразом' элементарного предложения» (P.101). Здесь функциональный знак исчезает, поэтому «у Витгенштейна в полностью проанализированном предложении мы не находим ничего, кроме множества аргументных мест, наполненных именами объектов; здесь не остается выражения такого вида, которое могло бы рассматриваться как обозначение понятия» (P.110). С такой интерпретацией мы не согласны по следующим причинам. Во-первых, Витгенштейн не строит идеальный логический язык, состоящий из полностью проанализированных предложений, а стремится прояснить строй любого языка. Полный состав предложения указать невозможно, полностью проанализированное элементарное предложение является лишь абстракцией, затребованной логическим анализом. Во-вторых, если бы можно было a priori предоставить конкретный пример элементарного предложения в виде констелляции имен 'a–b–c–d', как предлагает Энском, Витгенштейн не преминул бы воспользоваться случаем. Однако он специально указывает, что любые примеры форм элементарного предложения были бы искусственны [5.554] и «желание их дать должно вести к явной бессмыслице» [5.5571]. В логике относительно элементарного предложения можно лишь указать части, не разлагаемые далее определениями, предполагая, что этим еще не все определено. Поэтому в знаке элементарного предложения функциональный знак не может исчезнуть.

[51] В письмах к Огдену Витгенштейн следующим образом разъясняет афоризм 3.326: «Для того чтобы распознать символ в знаке, мы должны посмотреть, как этот знак осмысленно используется в предложениях. Т.е. мы должны наблюдать за тем, как используется знак в соответствии с законами логического синтаксиса. Таким образом, 'осмысленный' означает здесь то же самое, что

Все это говорит о том, что знаки имен и функций должны вводиться не сами по себе, как у Рассела и Фреге, а с точки зрения их общей формы употребления. Общая форма употребления имени или знака функции должна предполагать все их возможные вхождения в элементарные предложения. Здесь нужно учитывать относительную независимость знаков функций и имен. Несмотря на то, что в общем случае их интенция значения устанавливается только друг относительно друга, они могут входить в разные предложения в связи с другими именами и знаками функций соответственно. Предложения могут иметь сходное содержание, что и изображается сходством выражений. Например, в элементарные предложения '*fa*' и '*fb*' входит одно и то же '*f*', здесь одна из частей предложений выразима одним и тем же образом в обоих случаях. «Выражение – все то существенное для смысла предложения, что предложения могут иметь друг с другом общего» [3.31]. Сходство выражений определяется не только содержанием, но и формой. Именно форма свидетельствует об их символических особенностях. «Выражение предполагает формы всех предложений, в которые оно может входить» [3.311]. В этом отношении выражение выступает общим признаком некоторого класса предложений. Указать символические особенности знака – значит указать класс предложений, для которых он является общим выражением. В таком указании общее выражение остается постоянным, а все остальное рассматривается как переменная [3.312]. В '*fa*' и '*fb*' есть общее выражение, которое можно использовать для указания на класс всех подобных предложений. В этом случае '*fx*' является переменной предложения, а значения данной переменной суть все предложения указанного вида. Символическая особенность функционального знака фиксируется данной переменной через указание на то, что, сочленяясь с выражениями определенного вида (именами), он образует элементарные предложения. Описание значений переменной предложения показывает область осмысленного употребления функционального знака. То же самое относится к именам. Имя может быть общим выражением некоторого класса предложений, как, например, в '*fa*' и '*ga*'. В этом случае для указания на такой класс можно использовать переменную предложения, где постоянным выражением будет имя, изображая эту переменную, скажем, так 'ψa'. Здесь переменная предложения также фиксирует символические особенности имен, показывая область их осмысленного употребления.

Подход Витгенштейна к переменным существенно отличается от подхода Фреге и Рассела, для которых переменная, присутствующая в предложении, всегда указывала на определенную категорию знаков, с заданным типом значения. Скажем, для Фреге в '*fx*' переменная '*x*' указывает на ненасыщенную, требующую дополнения часть функции, являющейся неполным символом. Аргументное место данной функции может быть занято именами, полными выражениями, которые, сочленяясь с функцией, образуют предложение. Переменная '*x*' в таком случае указывает на класс имен. Для Витгенштейна же «каждая переменная может рассматриваться как переменная предложения. (Включая и переменное имя.)» [3.314]. Т.е. переменной является не сам по себе '*x*', а все выражение '*fx*'. Значениями такой переменной будут не знаки особого типа, а предложения соответствующего вида. При таком подходе имя также характеризуется существенной неполнотой, поскольку его символические особенности определяются только в отношении возможности сочленения с функциональным знаком. Если собственным именам естественного языка придать функцию имен в

и 'синтаксически корректный'» (Letters to C.K.Ogden. P.59).

смысле Витгенштейна, то все сказанное можно проиллюстрировать следующим примером. Допустим, что "Сократ – философ" и "Платон – философ" являются элементарными предложениями. В качестве таковых на них можно указать как на возможные значения переменной '*Философ*(*x*)'. Точно так же предложения "Сократ – философ" и "Сократ – грек" можно указать как значения переменной 'ψ (Сократ)'. Преобразовывая какую-либо часть элементарного предложения в переменную, мы всегда получаем переменную предложения, для которой существует класс предложений, являющихся всеми значениями данной переменной. Правда, этот класс может зависеть от того, что мы произвольно, как в приведенном примере, определили в качестве составных частей предложения, но «если мы превратим все те знаки, значение которых было определено произвольно, в переменные, то такой класс все еще существует. Но теперь он зависит не от какого-либо соглашения, а только от природы предложения. Он соответствует логической форме – логическому прообразу» [3.315]. Логическим первообразом предложений во всех указанных примерах будет переменная 'ψx'. Аналогичным способом можно указать логический первообраз предложений с двумя именами, скажем так: $\Psi(x,y)$, тремя именами: $\Psi(x,y,z)$ и т.п.

Логический прообраз фиксирует область осмысленного употребления возможного знака, делает его символом. Вводить знак как имя – значит учитывать прообраз тех предложений, в которых он выступает в качестве имени, т.е., сочленяясь с функциональным знаком, символизирует совершенно особым способом. Так же и в общем случае: введение знака предполагает описание вида тех предложений, в которых он может встречаться. Такой подход не предполагает апелляции к значениям знаков, а «*есть только описание символов и ничего не высказывает об обозначаемом*» [3.317].

Различие знаков, вводимое на уровне синтаксиса элементарного предложения, позволяет пересмотреть теорию типов Рассела. Для того чтобы запретить образование бессмысленных выражений, Рассел фиксировал тип знаков, из которых строилось предложение, через указание их значений. Комбинация знаков, относящихся к одному и тому же типу (например, где функция выступала бы в качестве собственного аргумента), считалась бессмысленной, поскольку приводила к парадоксу. Однако если функция вводится способом, предложенным Витгенштейном, при котором предполагается описание способов ее употребления, то парадокс становится невозможным, и при этом не требуется обращения к значениям знаков, поскольку «функция не может быть своим собственным аргументом, потому что функциональный знак уже содержит прообраз своего аргумента, а он не может содержать самого себя» [3.333]. Как это понимать? Рассел запрещает образование выражений вида '$f(fx)$'. Однако когда вводится 'fx', предполагается указание на прообраз 'ψx', который фиксирует форму аргумента, указывая возможные значения переменной 'fx'. Для '$f(fx)$' прообраз будет другим, а именно '$\varphi(\psi x)$', соответственно другой будет и форма аргумента. Здесь вводит в заблуждение использование одного и того же 'f', но само по себе 'f' ничего не обозначает, символические особенности проявляются только в контексте[52].

[52] В ранней версии ЛФТ Витгенштейн следующим образом мотивирует принцип синтаксической контекстности: «Если бы имена имели значение и когда они комбинируются в предложения, и вне них, невозможно было бы, так сказать, гарантировать, что в обоих случаях они имели бы одно и то же значение в одном и том же смысле слова» (Prototractatus, 2.0122). Парадокс Рассела как раз основан на таком смешении, поскольку знаку f, рассматриваемому вне предложения, придается одно значение, а при вхождении в предложение в различной связи он приобретает разные значения.

Прообразы же показывают, что в связи с различием аргументов внутреннее и внешнее '*f*' хотя и являются одинаковыми знаками, но представляют собой различные символы. Таким образом, если учитывать не только внешний вид знаков, но и их символические особенности, показываемые синтаксисом предложения, не только решается парадокс Рассела, теория типов вообще становится излишней. Тем самым из логики устраняется одна из наиболее существенных предпосылок, не имеющая чисто логического характера. Правильная трактовка синтаксиса элементарного предложения сама по себе делает невозможным образование бессмысленных выражений. Здесь не требуется помощи извне, связанной с онтологическими допущениями теории типов; и в этом смысле 'логика заботится о себе сама'[53].

Следующий важный тезис, вытекающий из синтаксического принципа контекстности, транспонирует одну из центральных тем *Заметок по логике* и имеет исключительное значение для понимания вытекающей из синтаксиса онтологии. Витгенштейн утверждает, что хотя элементарное предложение состоит из имен, оно не является классом имен. Как указывалось ранее, этот тезис отталкивается от критики теории Рассела, рассматривающего предложение как комплекс знаков, связываемых в процессе суждения. С точки зрения *ЛФТ* в предложении символическую нагрузку несет не само по себе наличие знака, а его отношение к другому знаку, поэтому предложение не комплекс значков, а факт. Как пишет Витгенштейн, «знак предложения состоит в том, что его элементы, слова, соотносятся в нем друг с другом определенным способом. Знак предложения есть факт» [3.14]. Факт, в отличие от простого комплекса значков, характеризуется внутренней динамикой. Когда Рассел записывает предложение как комплекс значков типа [a, b, R, xRy], значение здесь имеет только наличие значка определенного вида; их порядок устанавливает субъективная компонента, конституирующая истинность и ложность. Для Витгенштейна же определяющим является то, что предложение само по себе связано с действительностью. И эту связь задает возможность знаков соотноситься определенным образом. Факт имеет внутреннюю динамику; комплекс же, как совокупность значков, статичен. Проясним это, отталкиваясь от понимания имени.

Выше говорилось, что простые части элементарного предложения отличаются друг от друга только тем, что они различны, поскольку указание любого различия предполагало бы их непростоту[54]. Но как тогда их можно было бы различить? Только с точки зрения их отношения друг к другу. Поэтому наличие различных имен в предложении фиксируется через их отношение друг к другу при переходе от одной простой части к другой. Этот переход не всегда является непосредственным, но он должен быть обязательно; а именно: «Неверно: "Комплексный знак '*aRb*' говорит, что *a* находится в отношении *R* к *b*", верно следующее: "*То, что* '*a*' стоит в определенном отношении к '*b*', говорит, что *aRb*"»

[53] В Prototractatus первичность синтаксиса отождествляется с требованием определенности смысла: «Требование определенности можно было бы сформулировать также и следующим образом: Если предложение должно иметь смысл, синтаксическое употребление каждого из его частей должно быть установлено заранее» [3.20103]. В ЛФТ требование определенности смысла является аналогом требования полноты анализа [3.23–3.251]. Стало быть, первичность синтаксиса и полнота анализа если и не равнозначные, то тесно связанные требования.

[54] Здесь следует учесть, что, используя 'a' и 'b' в качестве различных имен, в расчет принимаются не различия в их очертаниях, поскольку таковые свидетельствовали бы об их непростоте. Подобные различия не относятся к сущности знакового изображения, а свидетельствуют лишь о принципиальной ущербности любой знаковой системы, которая пытается установить различия значков, апеллируя к их внешнему виду.

[3.1432]. В элементарном предложении символизирует как раз соотношение простых частей, а не наличие значков определенного вида, поскольку именно отношение одного знака к другому задает их символические особенности[55]. Различая имена, мы в первую очередь обращаем внимание не на наличие знака, а на его отношение к другому знаку. Можно сказать, что в предложении '*aRb*' знаки '*a*' и '*b*' конституируются в качестве имен через отношение к неопределенной части '*R*', а в качестве разных имен – через отношение друг к другу. В '*fa*' '*a*' конституируется в качестве имени через отношение к '*f*' и т.п. Предложение – это комплексный знак, но не комплекс знаков. Знак '*aRb*' может пониматься как комплекс значков, но тогда он более не является предложением[56]. «То, что знак предложения является фактом, завуалировано обычной формой выражения – письменной или печатной» [3.143], поскольку обычно '*aRb*' мы склонны воспринимать как комплекс знаков, а не как динамическое соотношение его частей. Кроме того, поскольку любое выражение приобретает значение только в контексте предложения, комплекс вообще не должен рассматриваться как самостоятельное выражение, а характеризуется существенной неполнотой и на манер дескрипций Рассела может быть разложен определениями. Любой комплекс, хотя и не в действительности, но в возможности, согласно требованию полноты анализа может быть разложен до простых составляющих, каковыми выступают имена[57].

---

[55] Трактовка предложения как факта, отталкивающаяся от его синтаксических особенностей, отличается от той, что основана на различении поведения объектов и представлена в Заметках по логике. Несмотря на почти буквальное совпадение в этих работах отдельных афоризмов (например, 3.1432), последние помещены в различный контекст. Скажем, в ЛФТ никогда не говорится о форме предложения как о том, что различает поведение объектов; также никогда не говорится и о значении 'R', которое извлекается из этого различения. Можно сказать, что в ЛФТ и Заметках имеют место две разные концепции предложения как факта и их излишнее сближение (см., например, Griffin J. Wittgenstein's Logical Atomism, Ch.II, где ряд положений ЛФТ, в частности, понимание функциональных знаков и имен [4.24], интерпретируется с точки зрения введенного в Заметках различия компонентов и конституент предложения) не вполне оправданно.

[56] Пояснить различия комплекса и факта, возможно, поможет рукопись Витгенштейна Комплекс и факт, датированная июнем 1930г. и включенная Рашем Рисом в посмертно опубликованные Философские заметки. Несмотря на значительный срок, отделяющий эту работу, высказанные в ней идеи вполне вписываются в установки ЛФТ. Витгенштейн, в частности, пишет: «Комплекс не похож на факт. Ибо о комплексе я, например, могу сказать, что он движется от одного места к другому, но не о факте. Но то, что этот комплекс теперь расположен здесь, является фактом. …Я называю цветок, дом, созвездие комплексами: более того, комплексами лепестков, кирпичей, звезд, и т.д. То, что это созвездие расположено здесь, можно, конечно, описать предложением, в котором упоминаются только его звезды и не встречаются ни слово 'созвездие', ни его имя» (Wittgenstein L. Philosophical Remarks. – The University of Chicago Press, 1975. – P.301). Т.е. факт, в отличие от комплекса, устанавливается не наличием лепестков или звезд, а их отношением друг к другу. То же самое относится к 'aRb'. Можно сказать, что 'aRb' является комплексом, составленным из 'a' 'R' и 'b', но тогда это более не является фактом. Факт здесь устанавливается соотношением знаков, когда 'aRb' рассматривается как предложение.

[57] Внимательный читатель, знакомый с традицией комментирования ранних текстов Витгенштейна, заметит, что наша интерпретация функциональных знаков значительно отличается от тех дискуссий, которые были инициированы статьей: Copi J.M. Objects, Propreties and Relations in the 'Tractatus' // Mind, Vol.57, №266, 1958. – P.145–165 (воспроизведена в Essays on Wittgenstein's Tractatus), где вопрос о возможности функциональных знаков связывается с вопросом о наличии в онтологии Витгенштейна свойств и отношений. Дж. Копи считает, что поскольку онтология ЛФТ допускает только простые предметы, выразимые посредством имен, которые сам Копи рассматривает на манер самостоятельных индивидов Рассела, постольку функциональные знаки, которые служат для выражения свойств и отношений, при анализе исчезают. В полностью проанализированном предложении никаких знаков свойств и отношений быть не должно. В этой интерпретации Копи прежде всего отталкивается от афоризма 3.1432, где, по его мнению, речь идет об исчезновении знака функции, поскольку отношение в онтологическом смысле выражается конфигурацией имен. К взглядам Копи на свойства и отношения мы еще вернемся, а пока

Синтаксические отношения, конституирующие символическую функцию знака, Витгенштейн, называет формальными или внутренними, а знаки, чьи символические свойства выявляются посредством таких отношений, – выражениями формальных понятий. Например, формальное или внутреннее свойство имени быть знаком простой части предложения конституируется его отношением к другим частям предложения[58]. Свойства подобного рода являются характеристическими чертами логической формы предложения, которая становится ясной, как только мы понимаем символическую функцию знаков, из которых оно построено. Например, понимание предложения '*fa*' задает соотношение знаков '*f*' и '*a*' с точки зрения прообраза '*ψx*'. Само это понимание не зависит от какого-то нового описания. Мы видим, как понимать предложение '*fa*', когда смотрим на конфигурацию знаков. Логическая форма предложения *показана* знаком самого предложения. Таким образом, внутренние отношения и

заметим, что такой подход содержит ряд затруднений, самое значительное из которых связано с одноместными функциями. Если даже допустить, что 'aRb' сводимо к отношению, например пространственному между 'a' и 'b', а разные отношения выразимы различными пространственными отношениями между именами, то все равно остается вопрос о предложениях вида 'fa'. Если придерживаться взглядов Копи, следует сказать, что раз в совершенном языке функциональных знаков быть не должно, то существуют предложения состоящие из одного имени. Наиболее последовательно эту точку зрения проводит У.Селларс (Sellars W. Naming and Sayng // Essays on Wittgenstein's Tractatus, P.249-270; Sellars W. Truth and 'Correspondence' // The Journal of Philosophy, Vol.LIX, №2, 1962. – P. 29-56), предлагая рассматривать 'f' как указание на то, что 'a' используется в качестве предложения. Это же, по мнению Селларса, можно выразить особым расположением имени или его особыми очертаниями. Если одинаковое имя встречается в двух различных предложениях, например 'fa' и 'ga', это можно было бы выразить различным написанием имени, скажем так: 'a' и 'a'. Мы не согласны с такой интерпретацией по следующим причинам: Во-первых, отдельное имя невозможно трактовать как факт, поскольку факт характеризуется соотношением элементов. Даже если записывать имена различно, то это характеризует их лишь как комплекс, но не факт. Во-вторых, в тексте Комплекс и факт Витгенштейн специально указывает, что факт не состоит из предметов и их пространственных отношений, что вытекает из интерпретации Копи и Селларса. Продолжая аналогию афоризма 2.03, он пишет: «Так же и цепь составлена из своих звеньев, а не из звеньев и их пространственных отношений. Факт в том, что эти звенья так связаны, он вообще не из чего не составлен» (Philosophical Remarks, P.303). В-третьих, в афоризме 3.1432 речь скорее идет не об исчезновении знака 'R', а о том, что символическую нагрузку несет не его наличие в структуре предложения, а некоторое соотношение простых элементов. В-четвертых, подход Копи предполагает актуальную полноту анализа с примерами элементарных предложений, что, как говорилось выше, претит установке Витгенштейна. Наконец, самое главное. Копи и Селларс апеллируют к значениям знаков, выводя из употребления знаки с определенным типом значения, что выходит за рамки логического синтаксиса. Принципиально иную интерпретацию дает Е.Эванс (Evans E. About "aRb" // Essays on Wittgenstein's Tractatus. P.195-199). Он считает, что 'R' в 'aRb' характеризует не отношение, а порядок, «показывая, что aRb, а не bRa, или что aRb скорее, чем bRa». В этом случае 'R' соотносится с классом возможных ситуаций, а имена указывают на какие-то определенные ситуации: «Я интерпретирую 'aR' как референцию, в которой 'R' показывает род ситуации, а 'a' – вид». Эта интерпретация кажется привлекательной, особенно если учесть теорию прообраза, с которой ее можно связать. Однако эта же теория ставит перед таким подходом одно препятствие. С точки зрения прообраза предложения имя точно так же можно рассматривать как референцию к роду ситуаций, а 'R' – как референцию к виду. В таком случае всякое различие утрачивается. В пользу нашей интерпретации, основанной на выделении в предложении неразлагаемой далее определениями и еще неопределенный части, говорит то, что она, видимо, свободна от этих недостатков и к тому же имеет сугубо синтаксический характер.

[58] Здесь наблюдается интересная трансформация взглядов Рассела, который также сводил свойства к отношениям. Правда, у Рассела речь шла о внешних отношениях. У Витгенштейна же внутренние свойства есть следствие внутренних отношений. И если для Рассела сводимость свойств к отношениям есть свидетельство того, что все свойства и отношения являются внешними (см. выше), то для Витгенштейна, как станет ясно из нижеследующего, с точки зрения логики все отношения и свойства редуцируются к внутренним.

внутренние свойства знаков суть то, что показано знаком предложения, когда мы понимаем символические функции его частей.

Синтаксические, или внутренние, отношения характеризуют не только соотношение знаковых компонентов элементарного предложения. Во внутренних отношениях друг к другу находятся и элементарные предложения. Здесь появляются важные для Витгенштейна понятия логического места и логического пространства. В афоризме 3.4 говорится: «Предложение определяет место в логическом пространстве. Существование этого логического места гарантируется существованием одних только составных частей, существованием осмысленного предложения». Обосновывая обращение к геометрическим понятиям пространства и места, вернемся опять к основному свойству элементарных предложений. Как уже говорилось, элементарные предложения взаимонезависимы. С точки зрения пространства взаимонезависимость любых предметов определяется тем, что они не могут занимать одно и то же место. Это же с геометрической интерпретации можно распространить на элементарные предложения. Место элементарного предложения предопределено его логическим свойством, а именно непротиворечивостью любому другому элементарному предложению. Следовательно, если дано элементарное предложение, то подразумеваются уже все предложения, которым оно не противоречит. Отношение элементарного предложения к другим элементарным предложениям внутреннее, поскольку само по себе элементарное предложение должно показывать, является ли другое предложение элементарным. Иными словами, элементарное предложение должно показывать формы тех предложений, которым оно не противоречит. Или, вернее сказать, элементарное предложение показывает, находится ли другое предложение вне его пространства, так же как геометрический предмет, даже будучи включен в комплекс других предметов, показывает, находится ли другой предмет вне его пространства. Отсюда следует, что «если даны элементарные предложения, то тем самым также даны *все* элементарные предложения» [5.524]. Так как с элементарным предложением вводятся все элементарные предложения, «предложение должно действовать на все логическое пространство»[59].

Под ‘всем логическим пространством’ Витгенштейн понимает не только элементарные предложения, но и их конструкции. Логическое пространство должно допускать не просто отдельные ‘кирпичики’, но и ‘блоки’, где относительно последних должна быть решена возможность входить в ту или иную взаимосвязь. Логика должна показать возможность построения из элементарных составляющих определенных конструкций, которые предопределены возможностями самих составляющих. Само по себе элементарное предложение является независимым знаком, но в полном логическом пространстве должно быть определено его место относительно других предложений. Таким образом, логическое место задается не просто предложением, но и его возможным отношением к каждому другому предложению: «Знак предложения и логические координаты – это и есть логическое место» [3.41]. Здесь логические координаты суть не что иное, как способность предложения входить во взаимосвязь с другими предложениями, «иначе через отрицание, логическую сумму, логическое произведение вводились бы – в координации – все новые элементы» [3.42].

Понимать это следует видимо так: в самом элементарном предложении должна быть уже предрешена его возможность образовывать связи с другими

[59] Дневники 1916-1918. С.54.

предложениями. В противном случае пришлось бы допустить нечто помимо предложений, а именно логические союзы, обладающие особым значением. Однако поскольку каждое предложение действует на все логическое пространство, можно обойтись без введения таких элементов, поскольку на логическое пространство и его отдельные места можно указать с помощью самих предложений, не привлекая для этого знаки, обладающие собственным значением.

Поясним это на примере. Пусть 'p' является элементарным предложением. Его логическое место лежит вне всех других элементарных предложений. На логическое место вне самого 'p' можно указать отрицанием, поскольку «отрицающее предложение определяет логическое место с помощью логического места отрицаемого предложения, описывая первое как лежащее вне последнего» [4.0641] [60]. Здесь отрицание не имеет собственного значения. Оно есть лишь способ указания на особое место в логическом пространстве, но само в этом пространстве никакого места не занимает. Если взять два элементарных предложения, то можно указать пространство, которое объединило бы их логические места в одно целое, например с помощью логического умножения '$p \cdot q$'. На это же пространство можно указать и по-другому, скажем, так '$\sim(\sim p \vee \sim q)$'. Но в том и другом случае новые элементы знаков не имеют собственного значения, а являются лишь способами указания.

Это предварительное объяснение логического пространства и логического места станет прозрачным ниже, когда будут рассматриваться операции истинности.

2.4.2 Изобразительная теория предложений

Возможность быть истинным и быть ложным, указывающая на расчленимость, играет определяющую роль в установлении структуры элементарного предложения. Однако определяющая роль синтаксиса в установлении интенции значения элементов предложения еще не решает вопроса о том, как предложение 'достает' до действительности. Для предложения должна быть объяснена сама возможность быть истинным или быть ложным. Вне объяснения этой возможности интенция значения остается пустой, а все синтаксические категории – лишенными смысла. И хотя логику затрагивает лишь способность предложений к истинности и ложности, вне объяснения этой способности синтаксическое описание 'повисает в воздухе'. Действительность должна сравниваться с предложением [4.05], синтаксические единицы которого устанавливают границы выразимости. Витгенштейн принимает корреспондентский тезис о том, что истина и ложь характеризуют связь предложения с действительностью, но трактует его особым, отличным, например от Рассела, способом. Один из основных тезисов *ЛФТ* гласит: «Истинным или ложным предложение может быть только потому, что оно является образом действительности» [4.06]. В данном тезисе понятие действительности еще не специфицировано; во всяком случае, он еще не устанавливает, из каких элементов состоит действительность. Можно лишь сказать, что предложение способно представлять действительность. И в способе

[60] Еще более отчетливо эта мысль выражена в Дневниках: «Или скорее "p" и "~p" подобны образу и бесконечной плоскости вне этого образа (логическое место). Я могу сконструировать бесконечное внешнее пространство только при помощи образа, ограничивая посредством него это пространство» (С.46(1,2)).

представления главную роль играет понятие образа (Bild): «Предложение – образ действительности. Предложение – модель действительности, как мы ее себе мыслим» [4.01].

Привлекая для объяснения предложения понятие образа, Витгенштейн трактует последнее особым способом. Для правильного понимания, что такое образ, прежде всего следует учесть, что он не является репрезентацией предмета или класса предметов[61]. «Образ состоит в том, что его элементы соотносятся друг с другом определенным способом. Образ есть факт» [2.14; 2.141]. Для прояснения этого положения рассмотрим структуру, понимание которой не вызывает сомнения в своей образной природе. План Московского метрополитена предоставляет хороший пример. Обозначенные на плане пункты соответствуют действительным станциям, линии, соединяющие пункты, соответствуют отрезкам пути. Но суть изобразительного отношения этого плана не сводится к простому наличию элементов. Главное – в их взаимном расположении. Из плана ясно видно, какая станция предшествует, а какая следует за той, которая привлекла наше внимание, какая станция находится севернее, а какая южнее, как расположены относительно друг друга и относительно кольца отрезки, соединяющие эти пункты, и т.п. Во всех этих случаях видно, что изобразительное отношение к действительности фиксируется не простым наличием выделенных пунктов, но их отношением к другим элементам плана.

Сам способ, выбранный в типографии для удобства отображения, очевидно, не является единственным. Те же самые отношения, позволяющие с достаточной степенью свободы ориентироваться в подземных коммуникациях, можно отобразить и другим способом, используя иной тип графического отображения или, скажем, создав трехмерную модель. Отобразительные особенности плана в любом случае фиксируются соотношением элементов (т.е. фактом), а не их наличием. «То, что элементы образа соотносятся друг с другом определенным способом, представляет, что так соотносятся друг с другом вещи» [2.15]. Образ характеризуется прежде всего структурой, т.е. соотношением элементов, которая может быть отображена различными способами. Но для того, чтобы образ был образом, необходимо, чтобы эта возможность была уже предрешена в выбранных способах отображения. Эту возможность Витгенштейн называет формой отображения: «Форма отображения есть возможность того, что предметы соотносятся друг с другом так же, как элементы образа» [2.151]. Форма отображения есть то общее, что образ имеет с действительностью. «То, что образ должен иметь общим с действительностью, чтобы он мог отображать ее на свой манер – правильно или ложно – есть его форма отображения» [2.17]. Конкретная реализация формы отображения зависит от природы образа [2.171]. Если необходимо отобразить пространственные соотношения, то образ может иметь пространственный характер. Если же вдруг необходимо отобразить различную освещенность или окраску станций метрополитена, то в образе это можно было бы представить с помощью красок различной интенсивности, где одна была бы

[61] Во избежание недоразумений сразу же следует заметить, что, привлекая понятие образ (Bild), Витгенштейн использует его совершенно иначе, чем современная ему психология и философия. Образ не имеет отношения к чувственному восприятию, он не является чувственной репрезентацией предмета или класса предметов. Согласно общей установке автор ЛФТ обходится без обращения к субъекту. При объяснении образа привлекаются лишь те моделирующие отношения, которые позволяют соотнести образ с изображаемым вне зависимости от того, кому он принадлежит.

раскрашена ярче другой или обозначена красками иного оттенка. Однако форма отображения во всех случаях связана с соотношением элементов образа.

Если образ может отображать любую действительность, форму которой он имеет, то «свою форму отображения образ отображать не может. Он ее обнаруживает» [2.172]. Пространственная форма плана метрополитена не отображается этим планом, она обнаруживается, когда мы на него смотрим. В данном случае образ не говорит, что он отображает метрополитен пространственно, он это показывает. Форма отображения – это не элемент образа, имеющий место наряду с другими элементами, она есть его внутренняя *черта*.

Итак, форма отображения, посредством которой образ 'достает' до действительности [2.1511], характеризует следующие свойства образа:

1. *Композиционность*. Образ должен состоять из набора элементов, которые соответствуют элементам отображаемого. «Предметам соответствуют в образе элементы образа» [2.13].
2. *Репрезентативность*. Способность образа представлять действительность основана на принципе замещения. «Элементы образа замещают в образе предметы» [2.131].
3. *Одинаковая математическая сложность с отображаемым*. В образе и отображаемом должно быть одинаковое количество различаемых элементов.
4. *Общность формы с отображаемым*. При всех возможных различиях в выбранных способах отображения соотношение элементов образа должно соответствовать соотношению элементов отображаемого.

Особый интерес в перечисленных чертах вызывает четвертый пункт. 'Все возможные различия в способах отображения' означает, что можно создать различные образы одной и той же действительности. Как указывалось выше, образ может быть двумерным, трехмерным или может использоваться другой способ отображения. Например, фразы диктора, объявляющие остановки, с временными промежутками между ними, также можно рассматривать как образ метрополитена. И в приведенных примерах цвет и пространство также есть лишь средства отображения. Они характеризуют частный вид формы отображения. Если же отвлечься от конкретных отобразительных средств, то останется лишь то, что образ должен иметь общим с действительностью, чтобы он вообще мог ее отображать. Поэтому в форме отображения необходимо различать средства и структуру отображения. Пространство, временные промежутки, цветность и т.п. есть лишь средства отображения; структура же – это то, что остается помимо всех отобразительных средств. Общность формы, следовательно, разбивается на:

4.1. *Общность отобразительных средств*. Пространственный образ отображает пространственные соотношения элементов действительности; цветовой – цветовые и т.п.

4.2. *Общность структуры*. Структура характеризуется наличием элементов и их возможным соотношением, безразличным к конкретному способу изображения.

Модификация пункта 4 в виде пункта 4.2 в совокупности с первыми тремя дает еще одно важное понятие – понятие логической формы: «То, что каждый образ,

какой бы формы он ни был, должен иметь общим с действительностью, чтобы он вообще мог ее отображать – правильно или ложно – есть логическая форма» [2.18]. Образ, который имеет в виду исключительно структуру и для которого безразличен способ отображения, является логическим образом [2.181]. Способы отображения являются случайными. Образ же остается образом вне зависимости от выбранных способов отображения, поэтому «каждый образ есть *также* логический образ» [2.182], хотя не каждый образ является пространственным, цветовым или временным.

Форму отображения как логическую форму можно охарактеризовать с помощью математического понятия изоморфизма. Одинаковая математическая множественность вкупе с взаимнооднозначным соответствием элементов и их соотношений вполне это допускают. Логическая форма есть то, что образ, какой бы формы он не был, имеет общим с тем, что он отображает. В этом отношении логическую форму образа можно в традиционных понятиях охарактеризовать как то, в чем достигается *adecvatio rei et intellecti*. Здесь, правда, возникает одна проблема. Изоморфизм есть отношение эквивалентности (в Расселовом смысле, т.е. в смысле логического атомизма). Изоморфные структуры образуют классы эквивалентности; в нашем случае классы структур, имеющих одинаковую логическую форму. Образ и отображаемое в этом смысле относятся к одному и тому же классу эквивалентности. И пространственный план метро, и образ, составленный из фраз диктора с временными интервалами, и само метро будут относиться к одному классу. Отталкиваясь от перечисленных выше черт, нетрудно заметить, что ввиду единства логической формы каждый из членов класса эквивалентности может рассматриваться как образ другого члена[62]. При таком понимании теряется смысл различения образа и отображаемого, поскольку они могут рассматриваться как образы друг друга. Так, само метро можно, в свою очередь, рассматривать как образ своего плана и т.п. Но если образ является действительно образом, то отношение отображения, стало быть, должно подразумевать асимметрию (в Расселовом смысле), а образ должен быть выключен из класса эквивалентности тех структур, образами которых он является. Решение достигается тем, что образ занимает внешнюю позицию по отношению к отображаемому. Внешняя позиция образа обеспечивается тем, что он может быть правильным и неправильным: «Образ изображает свой объект извне (его точка зрения есть его форма отображения), поэтому образ изображает свой объект правильно или ложно» [2.173]. Отображаемое же не может быть правильным или неправильным.

Если бы отношение отображения сводилось к изоморфизму, то образ был бы однозначно соотнесен с действительностью и не мог бы быть верным или неверным. В этом случае наличие образа гарантировало бы наличие соответствующего ему положения дел, и все образы были бы истинными *a priori*. Однако, рассматривая план метро, мы понимаем, что он может быть неправильным (скажем, вкралась типографская ошибка). Более того, мы знаем, в каком случае он был бы неправильным. «Образ изображает то, что он изображает, независимо от своей истинности или ложности, через форму отображения» [2.22]. Значит, образ соотнесен не с действительностью, но лишь с

[62] К понятию изоморфизма при объяснении отношения отображения прибегает, например, Э.Стениус, считая отношение образа к отображаемому реверсивным: «Из двух из с.оморфных полей F и G одно, например F, всегда может рассматриваться как образ другого» (Stenius E. Wittgenstein's Tractatus. P.95).

возможностью того, что он изображает; «образ содержит возможность того положения вещей, которое он изображает» [2.203]. Но в этой возможности присутствует и невозможность, поскольку каждый образ изображает не только то, как должны обстоять дела, чтобы он был верным, но и то, чего быть не должно, дабы он не оказался ложным.

С помощью образов можно изобразить все возможные положения дел, но из образов самих по себе нельзя узнать, какие из них действительны [2.224]. Из самого по себе плана нельзя узнать, верно ли он отображает структуру метрополитена. «Чтобы узнать, истинен или ложен образ, мы должны сравнить его с действительностью» [2.223]. Образ сам по себе обладает лишь как возможностью быть истинным, так и возможностью быть ложным. Отсюда следует, что «нет образа истинного *a priori*» [2.225].

Из вышесказанного вытекает еще одна черта образа, связанная с формой отображения:

> 5. *Биполярность*. Форма отображения, проецируя возможное, а не действительное положение дел, вносит асимметрию в отношение образа к изображаемому, создавая возможность для образа соответствовать или не соответствовать действительности, быть верным или неверным, истинным или ложным [2.21][63].

Возможную проекцию, т.е. то, что образ изображает, Витгенштейн называет его смыслом [2.221]. Смысл образа понят, когда усвоены условия его возможной истинности и возможной ложности. Поэтому образ может быть понят и без того, чтобы была известна его истинность или ложность[64]. План Московского

[63] На необходимость асимметрии указывается также в статье Schwyzer H.R.G. Wittgenstein's Picture Theory of Language // Essays on Wittgenstein's Tractctus. Правда, здесь асимметрия объяснена совершенно иначе. Автор разрабатывает точку зрения, что образ есть акт, тогда как изображаемое нет. Акт понимается как субъективный процесс создания образа: «Прежде всего, я буду предполагать, что нет различий между тем, что делаем мы, когда создаем образ, и тем, что делает образ, когда представляет то, что имеет место, поскольку образ есть представление (das Vorstellen) о том, что нечто имеет место, и мы, конечно же, суть те, кто создает представление… Когда Витгенштейн говорит, что образы как-то ведут себя (изображают), он дает объяснение, что они такое; он говорит, что они суть акты» (P.278). Образу придается субъективная компонента, которая отличает его от изображаемого. Именно она вносит асимметрию и ответственна за конституирование истины и лжи. Эта интерпретация вряд ли адекватна, поскольку у Витгенштейна никакой речи о субъекте образа не идет. Образ находится к изображаемому в объективных отношениях; он сохранял бы свою форму отображения даже в том случае если бы никакого субъекта не было вообще.

[64] Из сказанного следует, что необходимо различать то, что образ отображает, и то, что образ изображает. Отображение (Abbildung) есть действительная проекция; изображение (Darstellung) есть возможная проекция. Четко это различие устанавливает П.Рикер, проводя очень удачную аналогию между ЛФТ и феноменологией: «Образ – это соответствие между структурой и структурой [2.12]. Но как только мы ввели это понятие соответствия, мы должны найти внутри образа его принцип. Витгенштейн называет последний 'формой отображения' [2.15; 2.151], которая является условием 'изобразительной сопричастности' [2.1513; 2.1514]. В случае фактуальной истины затруднений нет, мы можем говорить о тождестве между образом и тем, что он отображает [2.16; 2.161]; форма отображения может рассматриваться даже как то, что образ имеет в общем с реальностью [2.17]. Но менее реалистическая интерпретация формы отображения возникает с репрезентацией возможности несуществования, и главным образом с ложными репрезентациями. Здесь 'смысл' более не является чем-то общим, но представляет собой внутреннюю характеристику: могут быть изображения (Darstellung) без отображения (Abbildung). Понятие Darstellung наиболее близко к феноменологии [2.22; 2.221-2.224]; Эта близость достигает высшей точки в следующем утверждении: "То, что образ изображает (darstellt), есть его смысл" [2.221]» (Ricœur P. Husserl and Wittgenstein on Language // Analytic Philosophy and Phenomenology. – The

метрополитена, например, понятен и тому, кто не только никогда не пользовался московским метрополитеном, но даже не был в Москве.

Теперь следует вернуться к различию, обозначенному выше в пунктах 4.1 и 4.2. Средства отображения являются случайными, как случайны все те конкретные образы метрополитена, о которых речь шла выше. Пространственность, длительность, цветность и т.п. могут использоваться в форме отображения лишь потому, что изображаемое случайно обладает этими чертами. Но вот что не случайно: изображаемое должно состоять из элементов, находящихся в определенных отношениях. Логическая форма характеризует необходимые черты формы отображения. Можно было бы сказать, что логическая форма характеризует только интенцию значения элементов образа, оставляя за кадром способы, в которых эта интенция могла бы быть закреплена. В соответствии с вышесказанным Витгенштейн характеризует логическую форму как форму действительности [2.18]. Действительность может рассматриваться пространственно, с точки зрения времени или цвета, но все эти черты относятся к ее содержанию. Эти содержательные черты находят выражение в форме отображения в виде используемых ею изобразительных средств. Отвлечение от изобразительных средств дает чистую форму, логическую форму. В логической форме образа отражены необходимые черты действительности, тогда как средства, используемые при этом, являются случайными.

Случайные черты относятся к чувственно воспринимаемой стороне образа. Образ, в котором отражены только необходимые черты, т.е. в образе, где форма отображения является логической формой, является логическим образом. Логический образ действительности Витгенштейн называет *мыслью* [3]. Поскольку каждый образ является логическим, постольку он является мыслью. Возможность мыслить действительность означает возможность создать ее образ [3.001]. Как образ «мысль содержит возможность того положения вещей, которое ей мыслится» [3.02] [65]. Другими словами, возможно все то, что можно помыслить, или, что одно и то же, образ чего можно создать. То, образ чего создать нельзя, – невозможно, или, вернее, нельзя было бы помыслить, что оно собой представляет [3.03–3.0321]. Мысли как образу присущи все указанные выше черты, включая и ту, что нет мысли истинной *a priori* [3.04, 3.05]. Но любая мысль возможна *a priori*, поскольку можно создать образ того, что не только не находит подтверждения в опыте, но и превосходит любой конкретный опыт. Необходимые черты определяют только то, *что может быть*, но не то, *что должно быть*. Истинность мысли нельзя определить *a priori*, но мысль должна *a priori* допускать возможность своей истинности и ложности.

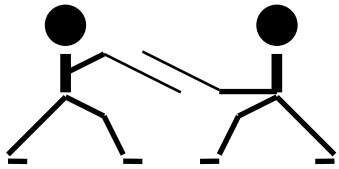
Именно с точки зрения понятия мысли вводится общее понятие предложения. *Предложение – это образ, в котором мысль выражает себя чувственно воспринимаемо*[66]. Из этого общего определения следует, что каждый образ с

Hague, Martinus Nijhoff, 1976. – P.90).

[65] Здесь следует особо отметить, что с точки зрения Витгенштейна мысль – это не разновидность смысла, как считал Фреге. Афоризм 3.02 в совокупности с афоризмами 3 и 2.221 говорит, что мысль относится к смыслу как образ – к изображаемому. Смысл – это возможное положение дел, проецируемое мыслью. Мысль является истинной, если содержащийся в ней смысл совпадает с действительностью, и ложной в противном случае.

[66] На рассмотрение языка как образа или картины реальности Витгенштейна натолкнул один вполне реальный факт (см.: Дневники. С.22(9)), о котором он в свое время рассказывал фон Вригту. Последний передает это так: «Это было на Восточном фронте. Он сидел в окопе и

соответствующими изобразительными средствами будет предложением. «Мысль в предложении, – говорит Витгенштейн, – выражается чувственно воспринимаемо» [3.1]. Здесь характер чувственного выражения не специфицирован, а потому любая логическая форма, использующая любое чувственно воспринимаемое средство изображения, может рассматриваться как предложение. В этом случае пространственный, цветовой и т.п. образы метрополитена также являются предложениями[67]. Характерный пример приводит в *Дневниках* сам Витгенштейн:

«  » : если в этом образе фигура с правой стороны представляет человека А, фигура с левой стороны обозначает человека В, тогда целое может приблизительно высказывать: "А фехтует с В". В образном написании предложение может быть истинным или ложным. Оно имеет смысл независимо от своей истинности или ложности. В нем должно обнаружить себя все самое существенное»[68]. Приведенный рисунок проецирует определенное положение дел, используя чувственно воспринимаемые средства, и с точки зрения общего определения является предложением. Выбранный способ изображения не является единственным, единственна лишь логическая форма, которая должна отображать фиксированное соотношение элементов. В этом смысле предложение логической формой показывает необходимые черты действительности, но выражает их с помощью случайных средств. Случайность средств не должна вводить в заблуждение. Исторически сложилось так, что обычно для выражения предложения в языке используются звуковые или письменные знаки, которые на первый взгляд не имеют ничего общего с действительностью. Высказанные звуки или написанные буквы далеко отстоят от образа, который своими очертаниями повторяет действительность. Но – как приводит пример Витгенштейн – и нотная запись далеко отстоит от того, что она изображает [4.011][69]. Можно также вспомнить иероглифическое письмо, из которого, «не теряя существа отображения, возникло буквенное письмо» [4.016]. Используя буквенную запись, мы применяем лишь одно из возможных средств, при котором предложение не утрачивает образной природы. Скажем, предложение формы '*aRb*' воспринимается как образ, «здесь знак, очевидно, есть подобие обозначаемого» [4.012].

Чувственно воспринимаемая сторона предложения называется знаком предложения (*Satzzeichen*), и «предложение есть знак предложения в своем

рассматривал журнал, где на рисунках было изображено последовательное развитие событий автомобильной катастрофы. Рисунок здесь служил пропозицией – он выступал как описание возможного положения дел. Он выполнял эту функцию благодаря тому, что фрагменты изображения соответствовали предметам в реальном мире. Витгенштейн подумал, что, воспользовавшись обратной аналогией, можно сказать, что пропозиция выступает в роли образа (картины) в силу такого же соответствия между частями пропозиции и миром. Способ, которым соединены части пропозиции, – собственно, структура пропозиции - отражает возможную комбинацию элементов в реальности, то есть возможное положение дел» (Вригт Г.Х. фон. Людвиг Витгенштейн (биографический очерк) // Людвиг Витгенштейн: человек и мыслитель. С.15).

[67] Здесь мы согласны с Э.Кенни, который считает любой образ, характеризующийся биполярностью, предложением (Ср.: Kenny A. Wittgenstein. P.52-53).

[68] Дневники 1916-1918. С.23.

[69] Здесь, кстати, следует учесть, что музыкальную тему изображает не наличие нотных знаков, но их взаимное расположение. А значит, нотная запись фиксирует факт и, следовательно, также является предложением.

проективном отношении к миру» [3.12][70]. Это означает, что сам по себе знак предложения не является образом, символической интенцией его наполняет мысль. Знак предложения – лишь возможный образ. Образом его делает мысль, проецируя на реальность верно или не верно. «Мы употребляем чувственно воспринимаемые знаки предложения (звуковые или письменные и т.д.) как проекцию возможного положения вещей. Метод проекции есть мышление смысла предложения» [3.11]. Знак предложения сам по себе полностью изоморфен тому, что по предположению он мог бы изображать, и поэтому, как указывалось выше, относится к классу эквивалентности структур, имеющих одинаковую логическую форму. Внешнюю по отношению к изображаемой действительности позицию знаку предложения придает мысль, делая его подлинным образом или символом. В знаке предложения элементы соединяются определенным способом, именно это делает его возможным образом, тем, что может выражать мысль. Поэтому «знак предложения есть факт» [3.14].

Предложение как образ характеризуется всеми указанными выше чертами. Оно комплексно. Элементы предложения (знаки) замещают предметы действительности [4.0311, 4.0312]. Предложение является фактом. Оно проецирует возможное положение дел, что является его смыслом [4.031], и бывает истинным или ложным соответственно тому, совпадает ли его смысл с действительностью или нет. Предложение характеризуется биполярностью, поскольку понимать предложение – значит знать, что имеет место, когда оно истинно, и что имеет место, когда оно ложно [4.024]. Поэтому понимание всей совокупности предложений охватывает всякую возможную реальность, а совокупность всех истинных предложений есть образ действительности, образ мира [3.01].

2.4.3 Онтологические следствия изобразительной теории

С точки зрения изобразительной теории становится ясным, почему логическую форму предложения Витгенштейн называет прообразом. Определяя символическую интенцию компонентов предложения, логическая форма задает основные черты реальности, которую предложение *способно* изображать. Предложение *существенно* связано с изображаемым [4.03], и, как говорилось выше, существенность этой связи обеспечивает *adecvatio rei et intellecti*.

Синтаксический анализ и изобразительная теория дают одинаковые результаты, самый важный из которых состоит в том, что логическая форма характеризует предложение как факт. Отсюда вытекает основной онтологический тезис *ЛФТ*: «Мир есть совокупность фактов, а не вещей» [1.1]. То, что имеет место в мире [1], предопределено средствами выразимости, а потому, ввиду общности логической формы, фактами могут изображаться только факты. Вернее сказать, нельзя было бы изобразить мир, если бы он состоял не из фактов, поскольку у образа и изображаемого тогда не было бы ничего общего.

Идею фактичности мира развивает следующий онтологический тезис, который гласит: «Мир определен фактами и тем, что это *все* факты» [1.11]. Совокупность всех фактов определяет как то, что имеет место в мире, так и то, чего в мире нет

[70] В Prototractatus Витгенштейн говорит, что «предложение – это знак предложения вместе со своим способом изображения» [3.2].

[1.12]. Если могут быть даны *все* факты, то тем самым определен *весь* мир, поскольку помимо фактов мир ничем не может быть определен. Определение мира ограничено средствами выражения этого определения. Все возможные образы, которые могут быть созданы, ограничены *фактичностью* изображения, и это задает *фактичность* изображаемого. Если мы собираемся говорить о мире, то, каким бы он ни был, мы с необходимостью должны предполагать, что он не выходит за рамки формы отображения. В противном случае нет образа, а значит, нет и мира.

Факт дан в логическом пространстве, т.е. в форме взаимосвязи с другими фактами. То, что имеет место, определяет и то, чего быть не может. Но форма взаимосвязи фактов не имеет отношения к предметному содержанию мира; «мир распадается на факты» [1.2] и только на факты. Наличие или отсутствие факта ничего не меняет в самой форме взаимосвязи, факты могут быть любыми, но пространство остается тем же самым. Логическое пространство задает возможность той или иной совокупности фактов, оставляя открытым вопрос о том, каких именно. Если этот вопрос решен, то тем самым определена вся действительность: «Факты в логическом пространстве суть мир» [1.13][71].

Понятие факта (*Tatsache*) разъясняется Витгенштейном с помощью понятия 'состояние дел' (*Sachverhalt*). В афоризме 2 говорится: «То, что имеет место, что является фактом, – это существование состояний дел». Отсюда следует, что, во-первых, любой факт есть композиция состояний дел, на это в данном афоризме указывает множественное число; во-вторых, факт есть композиция не произвольных состояний дел, но лишь тех, что реально существуют. То есть из всех возможных состояний дел факт образуют только реальные состояния дел. Поскольку понятие 'состояние дел' имеет определяющее значение в онтологии *ЛФТ*, начнем с разбора этих двух пунктов[72].

Первый пункт сводит сложность факта к его составляющим. Но следует учесть, что состояние дел как элемент композиции факта не является чем-то принципиально иным, нежели факт. Состояние дел имеет структуру факта и в этом смысле само является фактом. Только факт этот имеет элементарный характер. Состояние дел – это факт, который не распадается далее на другие факты; но именно состояние дел разложимо на то, что фактом уже не является [2.01]. Поскольку мир распадается только на факты [1.2], постольку анализ фактов в конечном счете приводит к тому, что мир распадается на совокупность всех существующих состояний дел [2.04], находящихся в логическом пространстве [2.11], т.е. в форме взаимосвязи с другими состояниями дел. Но опять-таки эта форма взаимосвязи может оставаться постоянной, независимо от того, какие именно состояния дел окажутся действительными. Для иллюстрации вернемся к примеру с метрополитеном. Последний как соотношение своих компонентов

[71] Ср.: ЛФТ 2.063.

[72] В интерпретации соотношения Tatsache и Sachverhalt имеют место две позиции, в основном совпадающие с выделенными нами двумя пунктами. Первую, например, следуя Э.Энском и другим исследователям, последовательно проводит Козлова М.С. в Комментариях к русскому переводу ЛФТ (С.496). Здесь Sachverhalt соотнесен с Tatsache как простой факт со сложным. Необходимо отметить, что эта позиция поддержана и объяснениями самого Витгенштейна, которые можно найти в письмах к Расселу (см. следующую сноску). Акцент на втором пункте можно найти в статье Copi J.M. 'Tractatus' 5.542 // Essays on Wittgenstein's Tractatus, P.165. Здесь Sachverhalt соотнесен с Tatsache как возможное с действительным. Сходная точка зрения выражена Э.Стениусом (Op.cit. P.29). Однако эти два пункта не противоречат друг другу, скорее один служит дополнением к другому.

является фактом, но этот факт состоит из множества элементарных соотношений его компонентов. Здесь вся гамма взаимосвязей распадается на совокупность отдельных взаимосвязей, каждая из которых является фактом. Соотношение станций и веток распадается на отношения каждой станции к каждой ветке и т.д. Здесь последние являются более простыми составляющими первой. Дойдя до самых простых составляющих, мы получим состояния дел. Вся совокупность действительных состояний дел могла бы быть другой, и в этом отношении она определяет то, чего быть не может. Неизменным же остается пространство факта. Проектируя метрополитен, разработчик руководствовался одним пространством, но мог наполнить его разными состояниями дел. Хотя метрополитен дает лишь пространственный пример, он без труда может быть распространен на общий случай. Факт – это совокупность состояний дел в логическом пространстве.

Поскольку факт есть лишь коррелят собственного образа, все, что говорилось о состоянии дел, не трудно связать с изобразительной теорией. А именно, состояние дел – это тот минимальный факт, образ которого можно создать. Из определения предложения и элементарного предложения, данных выше, следует, что такой образ является элементарным предложением. Стало быть, состояние дел (*Sachverhalt*) – это онтологический эквивалент элементарного предложения[73].

Но любое элементарное предложение может быть истинным и может быть ложным. А это означает, что с ним соотнесено два различных состояния дел: одно из них делает элементарное предложение истинным, а другое ложным. Биполярность предложения выводит на второй из указанных выше пунктов. Состояние дел, которое делает предложение истинным, действительно существует; ложному же предложению соответствует несуществование состояния дел. Следуя терминологии *Заметок по логике*, существование состояний дел Витгенштейн называет положительным фактом, а несуществование – отрицательным. Совокупность всех положительных фактов определяет совокупность всех отрицательных фактов, поскольку «совокупность всех существующих состояний дел определяет также, какие состояния дел не существуют» [2.05]. Вместе положительные и отрицательные факты есть действительность [2.06], которая «в ее совокупности есть мир» [2.063].

На первый взгляд может показаться, что последние выводы не стыкуются с первоначальным утверждением, что мир есть совокупность существующих состояний дел. Кажущаяся несообразность разрешается тем, что определение мира как совокупности существующих состояний дел касается мира самого по себе, вне формы отображения. Мир же, как совокупность положительных и отрицательных фактов, – это взгляд на мир с точки зрения формы отображения. Отрицательные факты как таковые вводятся только в связи с тем, что форма отображения предполагает возможность ложности предложений. И ложный образ действительно можно создать.

Как онтологический эквивалент элементарного предложения состояние дел имеет с ним одинаковую логическую форму, предопределяющую его внутренние черты.

[73] В одном из писем Витгенштейн так поясняет Расселу различие факта и состояния дел: «Sachverhalt есть то, что соответствует Elementarsatz, если оно является истинным. Tatsache есть то, что соответствует логическому произведению элементарных предложений, когда это произведение истинно» (ПР, С.156). В своем Введении к ЛФТ Рассел придерживается именно этого разъяснения (С.15).

Первая черта естественным образом вытекает из независимости элементарных предложений. Поскольку ни одно элементарное предложение не противоречит никакому другому элементарному предложению [4.211], постольку «из существования или несуществования одного состояния дел нельзя заключить о существовании или несуществовании другого состояния дел» [2.062]. Действительно, раз истинность и ложность одного элементарного предложения не зависит от истинности или ложности другого, то независимым должно быть и то, что делает их истинными и ложными: «Состояния дел независимы друг от друга» [2.061]. Правда, отсюда, как и в случае элементарных предложений, вытекают затруднения с примерами. Видимо, ни один из фактов, который мы могли бы привести в качестве иллюстрации, не является состоянием дел в подлинном смысле. Но так же как элементарные предложения затребованы логическим анализом независимо от того, что им могло бы соответствовать в обыденном языке, так и состояния дел затребованы логическим анализом независимо от того, что можно обнаружить в опыте. Состояние дел – это предел логического анализа, предполагающий элементарный факт, способный сделать истинным или ложным элементарное предложение. И в этом смысле он свободен от примеров, так же как и элементарное предложение.

Вторая черта вытекает из того, что элементарное предложение есть соединение простых частей, имен. Точно так же и состояние дел распадается на простые части, предметы. Как говорит Витгенштейн, «состояние дел есть связь предметов» [2.01]. Понятие предмета (*Gegenstand*), наряду с понятием факта, является вторым основным онтологическим понятием *ЛФТ*. Характеризуя предмет в первом приближении, можно сказать, что он является значением имени[74]. Далее, неразложимость имени свидетельствует и о неразложимости предмета: «Предмет прост» [2.02]. Подобно тому, как элементарное предложение распадается на имена, так и состояние дел в конечном счете распадается на предметы. Предмет – это далее неразложимый элемент состояния дел. Так же как разложимость элементарного предложения приводит к именам, так и полный анализ состояния дел приводит к предметам, и только к ним.

Однако для адекватного понимания последнего утверждения необходимо вспомнить сформулированный выше синтаксический принцип контекстности, который устанавливает, что позиция имени определяется в рамках целостного предложения. Аналогичным образом и позиция предмета определяется в рамках состояния дел. К существу предмета относится то, что он должен входить в состояние дел [2.011]. Это положение следует охарактеризовать как

[74] Характеристика предмета столь же неопределенна, как и характеристика имени. Вопрос о том, что представляет собой предмет с точки зрения опыта, выходит за рамки исследования. Здесь лучше привести высказывание самого Витгенштейна, который на вопрос Н.Малкольма о природе Gegenstand ответил, «что в то время считал себя логиком, а поскольку он был логиком, то в его задачи не входило решать, является ли та или иная вещь простой или сложной, поскольку все это был чисто эмпирический материал» (Малкольм Н. Людвиг Витгенштейн: Воспоминания // Людвиг Витгенштейн: Человек и мыслитель.– М.: Прогресс, 1993. С.85). Это замечание необходимо соотнести с поставленным ранее вопросом о том, является ли Gegenstand самостоятельным предметом. Приведенное замечание Витгенштейна выводит этот вопрос за рамки онтологии ЛФТ. В этом отношении взгляды Энском, Копи, Селларса, отождествляющих Gegenstand с расселовскими самостоятельными индивидами, ничуть не более обоснованны, чем точка зрения Стениуса или Каннисто, включающих в совокупность Gegenstand универсалии в смысле Рассела. Все подобные вопросы решаются Витгенштейном не с точки зрения типов значения знаков, принимаемых в качестве неопределяемых, а с точки зрения различия внутренних и внешних свойств, выраженных символическими особенностями знаков (см. ниже).

онтологический принцип контекстности[75]. Так же как форма имени предопределена его вхождением в элементарное предложение, так и форма предмета предопределена его вхождением в состояние дел. Возможность предмета входить в состояние дел должна быть предрешена в самом предмете [2.0121]. Из определения имен как простых составляющих элементарного предложения вытекает и определение их значения (предмета) как того, что является элементарным составляющим состояния дел. В данных определениях простая часть вводится с точки зрения состоящего из них целого. Форма предмета, определяющая его существо, есть форма его вхождения в состояния дел [2.0141]. Все, что можно сказать о предмете, предзадано структурой состояний дел, в которые он может входить.

Возможность вхождения предмета в состояния дел – это не внешнее свойство, а внутренняя черта, которая определяет предмет в качестве предмета. Предмет может характеризоваться различными свойствами, но, прежде всего он должен быть, а быть для предмета как раз и означает возможность входить в состояние дел[76]. Отсюда следует, что каждый предмет существует в пространстве возможных состояний дел, которое определено их существованием и несуществованием [2.013]. Мы знаем предмет, когда известны его возможные вхождения в состояния дел [2.0123], зависящие от внутренних черт самого предмета [2.01231][77]. В данном случае опять наблюдается трансформация синтаксического принципа контекстности в онтологический. Действительно, знать имя просто как отождествляемый знак – значит знать все его возможные вхождения в элементарные предложения, а знать значение имени – значит знать все возможности предмета входить в состояния дел.

Если необходимость предмета входить в состояние дел определяет его зависимость, то возможность входить в разные состояния дел демонстрирует его независимость [2.0122]. На независимость предмета указывает уже характеристика имени как выражения [3.31], т.е. знака, который может в качестве элемента входить в другие знаки. Предметы сами по себе Витгенштейн характеризует как субстанцию мира [2.021]. Интересна мотивировка введения субстанции. Если бы таковой не было, «тогда было бы невозможно построить

---

[75] Выделяя онтологический принцип контекстности, мы, mutatis mutandis, следуем П.Хаккеру, который по этому поводу пишет: “Имя имеет форму, предопределенную комбинаторными правилами логического синтаксиса, и только как обладатель данной синтаксической формы, может обозначать тот тип предмета, который оно обозначает. ... Нет такой вещи, как предмет, который не является элементом факта, поэтому также не существует значимых имен, которые не являлись бы элементами осмысленных выражений” (Hacker P.M.S. Semantic Holism: Frege and Wittgenstein, P.231-232). Правда, онтологический принцип выводится нами из синтаксиса, а не наоборот.

[76] Здесь сама собой напрашивается аналогия с Аристотелем. Вхождение предмета в состояние дел есть не что иное, как его осуществленность, его бытие. На аналогию с Аристотелем указывается в статье: Wolniewicz B. A Parallelism between Wittgensteinian and Aristotelian Ontologies // Boston Studies in the Philosophy of Science.– Dordrecht,1969, IV. Автор статьи проводит параллель между понятием Gegenstand у Витгенштейна и понятием материи у Аристотеля. Соответственно, возможность вхождения предмета в состояние дел рассматривается как аналог аристотелевского понятия формы. С этой точкой зрения вряд ли можно согласиться, поскольку плюрализм предметов в витгенштейнианской онтологии соответствует не материи, которая едина, а плюрализму целостных вещей, состоящих, согласно Аристотелю, как из материи, так и из формы. Возможность вхождения предмета в состояние дел в этом отношении скорее соотносима с тем, что обеспечивает возможность синтеза материи и формы.

[77] В письме к Огдену Витгенштейн поясняет: «Я знаю его [предмет], но я не знаю ничего о нем» (Letters to C.K.Ogden, P.59). То есть речь идет не о том, что известны какие-то внешние свойства предмета, которые могут быть описаны только в предложениях, но известны его внутренние черты, позволяющие рассматривать предмет как предмет.

образ мира (истинный или ложный)» [2.0212]. В этом случае наличие у предложения смысла, т.е. верной или неверной проекции образа на действительность, определялось бы только истинностью или ложностью других предложений [2.0211]. Но истинность и ложность этих последних, в свою очередь, также требует определения, что порождает порочный круг. Поэтому, своей формой отображения предложение должно касаться чего-то такого, что выходит за его рамки. Состояние дел само по себе не может быть субстанцией. Оно проектируется в предложении как конфигурация того, что предложению не принадлежит и может входить в другие состояния дел, соответствующие другим элементарным предложениям[78]. В этом отношении субстанция мира независима от фактов [2.024].

Как субстанция предмет характеризуется простотой, постоянством и действительностью [2.02; 2.027], т.е. теми чертами, которые приписывает субстанции традиционная метафизика. В противоположность предметам состояния дел, образованные конфигурацией предметов, являются сложными, изменчивыми и неустойчивыми [2.0271]. В элементарном предложении состояние дел 'составляется как бы на пробу' [4.0031], именно поэтому оно обладает возможностью быть истинным и быть ложным. Образы могут изображать любые состояния дел, действительные или только лишь возможные. Но во всех этих образах должно быть что-то общее, чтобы их можно было сравнить друг с другом. Кроме того, во всех возможных образах мира должно быть нечто общее, то, что позволило бы соотнести их с действительным миром [2.022]. Это общее – постоянная форма – состоит именно из предметов. В различных образах мира конфигурируются одни и те же предметы, но конфигурируются по-разному. Действительный мир расположен в логическом пространстве возможных миров, проектируемых в различных образах, но это пространство задано постоянством формы, постоянством предметов[79]. Можно было бы сказать, что язык в предложениях может спроектировать все что угодно, но не все что попало. И ограничение как раз накладывается субстанцией мира[80].

И все же независимость предметов является лишь относительной. Нечто нельзя рассматривать как предмет вне его возможного вхождения в состояние дел. Вернее было бы сказать, что тогда предмет нельзя было бы представить в знаковой системе. Действительно, позиция имени определяется только в контексте предложения, а потому и то, на что указывает имя, может определяться только в контексте состояния дел. Предмет можно изобразить только в структуре факта, вне этой структуры его изобразить нельзя. На возможность изображения

---

[78] В Дневниках Витгенштейн, характеризуя функцию имен, следующим образом указывает на их связь с предметами: «Имена необходимы для утверждения, что эта вещь обладает тем-то свойством и т.д. Они связывают форму предложения с вполне определенными предметами. И если общее описание мира подобно его шаблону, то имена прибивают шаблон к миру так, что последний полностью покрыт им» (С.72(10)). Имена как элемент формы отображения связаны с субстанцией мира.

[79] Ср.: «Реальный мир занимает только одну 'точку' в логическом пространстве возможных миров» (Stenius E. Wittgenstein's Tractatus, P.43).

[80] Здесь уместно воспользоваться метафорой и сравнить онтологию ЛФТ с образами, возникающими в окуляре калейдоскопа. Каждый поворот калейдоскопа создает один из возможных миров, состоящий из тех же самых элементов, но в разных соотношениях. Добавим, что выделенная позиция одного из поворотов, соответствующая реальному миру, могла бы иметь место только в том случае, если бы можно было выйти за пределы калейдоскопа, сравнив то, что может быть, с тем, что есть. И эта возможность зависит от постоянства сконфигурированных элементов.

предметов накладывает ограничения сама знаковая система; предмет существенно дан в структуре предложения, и вне этой структуры он дан быть не может. Используя аналогию с Кантом, можно было бы сказать, что предмет как субстанция есть *Ding an sich*, а в качестве *Ding für uns* он дан как элемент структуры состояния дел, т.е. в логическом пространстве.

Конфигурация имен есть элементарное предложение, а соответствующая конфигурация предметов есть состояние дел [3.21]. Способ, которым связываются имена, есть структура элементарного предложения, а способ, которым связываются предметы, есть структура состояния дел [2.032]. Отсюда становится ясным, почему Витгенштейн называет логическую форму возможностью структуры [2.033]. Прообраз задает возможную конфигурацию элементов предложения, а стало быть, и возможную конфигурацию элементов состояний дел, а в конечном счете, поскольку факты состоят из состояний дел, и возможную конфигурацию фактов [2.034]. Полностью проанализированное предложение, как показано выше, состоит только из имен, соотношение которых характеризует предложение как факт. Также и соотношение предметов создает состояние дел. Как говорит Витгенштейн, «в состоянии дел предметы связаны друг с другом как звенья цепи» [2.03]. Полный анализ фактов в перспективе приводит только к предметам, к простым частям состояний дел. В цепи нет ничего помимо звеньев[81].

Здесь нужно учесть, что предметы как субстанция задают лишь постоянную форму мира, но не постоянство его материальных свойств [2.0231]. Звенья в цепи совершенно одинаковы, единственное, чем одна цепь может отличаться от другой, – это последовательность и форма их соединения. Указать на свойства, которыми предметы различались бы сами по себе, невозможно, так как приписать предмету свойство – значит вписать его в состояние дел. Поскольку состояния дел в возможных мирах различны, постольку и различные миры характеризуются разными свойствами. В качестве различных предметы, как и имена, конституируются только через отношение друг к другу: «Два предмета одинаковой логической формы – помимо их внешних свойств – различаются только тем, что они различны» [2.0233].

Последний абзац, вероятно, проще понять, если вспомнить то, что выше говорилось о структуре элементарного предложения. Полный анализ элементарного предложения приводит только к именам, но, поскольку такой полный анализ *a priori* провести нельзя, в его структуре можно только указать полностью определенные элементы (имена) и элементы, которые можно разлагать далее (функциональные знаки), возможно *ad infinitum*. Имена конституируются в качестве имен через отношение к функциональным знакам, а в качестве разных имен – через отношение друг к другу. Это же относится и к предметам, формирующим состояние дел, образом которого является элементарное предложение. Полный анализ состояния дел, который приводит к предметам и только к ним, есть лишь следствие логического требования определенности смысла, независимо от актуальной осуществимости такого анализа. В состоянии дел можно указать простые части (предметы), но лишь через их отношение к сложной, непроанализированной части. Различить же простые части состояния дел можно только через их отношение друг к другу. Изображая с помощью элементарного предложения состояние дел, мы посредством имен указываем на

[81] В письме к Огдену Витгенштейн уточняет: «Нет ничего третьего, что связывает звенья, но звенья сами по себе образуют связь друг с другом» (Letters to C.K.Ogden. P.23).

предметы, функциональная же часть указывает на комплексы предметов, образующих материальные свойства. Все подобные свойства, такие как пространство, время, цветность [2.0251], изобразимы только предложениями, как свойства чего-то. Подобно функциональным знакам, которые указывают на постоянную форму вхождения имени в элементарное предложение, материальные свойства являются постоянными формами вхождения предмета в состояние дел. Как пишет о материальных свойствах Витгенштейн, «они прежде всего изображаются предложениями – прежде всего образуются конфигурацией предметов» [2.0231]. Прообраз предложения показывает форму вхождения возможного предмета, изображая функциональной частью возможное материальное свойство, сформированное конфигурацией предметов. Так, в элементарном предложении '*fa*' символические особенности '*a*' заключаются в указании на предмет, а символические особенности '*f*' – в указании на конфигурацию предметов, образующих материальное свойство предмета, на который указывает '*a*'.

Материальные свойства предметов Витгенштейн характеризует как внешние свойства, которые необходимо отличать от внутренних свойств. Различие внутреннего и внешнего определяется здесь с точки зрения возможного и действительного. Возможность входить в состояние дел образует внутреннее свойство предмета, тогда как его действительное вхождение в определенное состояние дел указывает некоторое внешнее свойство. Когда мы говорим, что предметы должны иметь какой-то цвет, занимать какое-то место в пространстве или иметь какую-то длительность, то здесь указывается внутреннее свойство: «Пространство, время и цвет (цветность) суть формы предметов» [2.0251]; т.е. они указывают возможность предметов входить в состояние дел. Но определенное пространство и время или эмпирически воспринимаемый цвет есть их вхождение в действительное состояние дел.

Различие возможного и действительного предрешено в различии прообраза и образа. Логическая форма типа 'ψa' указывает на возможность вхождения предмета в состояние дел. Однако то, что 'ψ...' остается непроанализированным, определяет необходимость действительного вхождения в состояние дел. Например, в прообразе 'ψ (Сократ)' предопределено как то, что 'Сократ' указывает на предмет, так и то, что этот предмет должен обладать какими-то внешними свойствами.

Исходя из природы образа, то, что говорилось о внешних свойствах, нетрудно применить и к внешним отношениям. Различие здесь, как и в анализе элементарного предложения, лишь в количестве неразложимых далее элементов. В 'Ψ(Сократ, Платон)' указывается вхождение двух предметов в состояние дел, причем необходимость вхождения определяет возможность соотношения. То, что 'Ψ(..., ...)' остается непроанализированным, задает возможность вхождения 'Сократ' и 'Платон' в состояние дел. Но характер вхождения, хоть он и необходим, остается непроясненным до тех пор, пока не установлено 'Ψ(..., ...)'.

Природа прообраза, впрочем, указывает и на судьбу внешних свойств и отношений. В любом предложении элемент 'ψ...' или 'Ψ(..., ...)' указывает лишь на невозможность актуального осуществления полного анализа, примеры которого привести невозможно [5.55]. И лишь в этом смысле данные элементы указывают на внешнее свойство или отношение. Однако синтаксис элементарного предложения в перспективе предполагает окончательную расчленимость на

простые, далее не разлагаемые составляющие, подразумеваемые, как указывалось выше, требованием определенности смысла. Отсюда следует, что, так же как функциональный знак сводится к именам, так и внешние свойства и отношения должны сводиться к констелляциям предметов. Поскольку имя в качестве иного имени конституируется как иное через отношение к другим именам, постольку и предмет в качестве иного при окончательном анализе конституируется в качестве иного через отношение к другим предметам. Отношение к другим именам окончательно характеризует независимость имени, определяя возможность его вхождения в элементарные предложения. Также и отношение к другим предметам характеризует возможность вхождения предмета в каждое состояние дел, определяя его независимость.

Отсюда вытекает способность знания о предмете: Полностью знать предмет – значит знать все его возможные вхождения в отношения к другим предметам. Но эта способность не характеризует внешние свойства, которые определены совокупностью предметов. Знать отношение к совокупности еще не значит знать отношение к элементам совокупности. Полностью предмет определяется только через соотношение со всеми возможными предметами, образующими все возможные совокупности. Но последнее, в указанном выше смысле, есть внутренне свойство предмета. Таким образом, полный анализ состояния дел должен редуцировать все внешние свойства и отношения предметов к их внутренним свойствам и отношениям. Полный анализ, хотя и невозможный актуально, потенциально приводит к редукции внешних свойств и отношений к внутренним[82] [4.1251]. *Все* внутренние отношения характеризуют предмет с точки зрения его вхождения во *все* возможные состояния дел. Актуальная неосуществимость вторых влечет актуальную неосуществимость первых. Но с точки зрения логики, которая потенциально способна изобразить все возможные состояния дел, актуальная неосуществимость значения не имеет. Предполагая возможность изображения любого состояния дел, мы предполагаем возможность изображения вхождения предмета в любое состояние дел. Например, если предположить, что *Сократ* – это простой предмет, то знание того, что представляет собой этот предмет, предполагает знание возможности вхождения этого предмета в любое состояние дел. Вернее сказать, значение символа 'Сократ' задано его вхождением в такие предложения, как '*Сократ* – учитель Платона', '*Сократ* – критик софистов', '*Сократ* – муж Ксантиппы' и т.д. возможно *ad infinitum*. Или, аналогично, данный предмет *есть* вхождение во все соответствующие состояния дел.

2.4.4 'Сказанное' и 'показанное'

Тема внутренних и внешних свойств и отношений получает развитие в концепции, устанавливающей различие между тем, что предложение говорит (*gesagt*), и тем, что оно показывает (*gezeigt*). Принципиальное различие внутренних и внешних черт предметов, определяемых в рамках состояния дел, говорит о принципиальном различии их выражения. Здесь необходимо заметить, что

[82] На потенциальную возможность такой редукции Витгенштейн указывал представителям Венского кружка: «Если мы опишем положение дел полностью, то внешнее отношение исчезнет» (Вайсман Ф. Людвиг Витгенштейн и Венский кружок // Аналитическая философия: становление и развитие.– М.: ДИК, 1998. – С.50).

внутренние свойства и отношения, установленные в рамках состояния дел, соответствуют синтаксической структуре предложения, как она определена выше, а стало быть, представляют собой характеристики логической формы, которая тождественна у изображения и изображаемого. Возможность вхождения в предложение определяет позицию имен, а возможность вхождения в состояние дел определяет позицию предметов. Наличие в предложении первых указывает на наличие в состоянии дел вторых и т.п. Логическая форма есть то общее, что предложение имеет с действительностью, чтобы быть в состоянии ее изображать. Но сама эта способность, как форма отображения, не изображается предложением [4.12], она им обнаруживается [2.172]. Предложение не изображает логическую форму как нечто внешнее, но изображает посредством нее. В этом позиция Витгенштейна радикально отличается от позиции Рассела. Логическая форма не есть объект наряду с другими объектами. Логическая форма есть способность образа быть образом. Предложения изображают действительность, но не изображают то, как они ее изображают, они это показывают: «Предложение *показывает* логическую форму действительности» [4.121].

Действительно, синтаксис элементарного предложения наполняет символической интенцией компоненты предложения, но о самом синтаксисе в предложении речи не идет. Предложение не говорит о своем синтаксисе, он сам выражается в языке [4.121]. Внутренние свойства (или черты [4.1221]) синтаксической структуры показывают внутренние свойства изображаемого факта. Но предложение не только показывает, оно нечто говорит. Содержанием своих компонентов оно говорит о внешних свойствах и отношениях.

Так, предложение '*fa*' не говорит, что *a* – это предмет, а *f* – это внешнее свойство, своей логической формой оно показывает, что в предложении речь идет о предмете *a* и свойстве *f*, и говорит, что *a* обладает свойством *f*. Пусть, например, предложение "Сократ – человек" является элементарным. Оно не говорит, что *Сократ* является предметом. Это показано наличием имени 'Сократ'. Но оно говорит, что Сократу присуще свойство быть человеком. Также и в предложении '$\Phi(a,b)$' не говорится, что *a* и *b* – предметы, а Ф – отношение. Это показано символическими особенностями имен '*a*' и '*b*' и функционального знака 'Ф'. Говорит же данное предложение об определенном отношении *a* и *b*.

С точки зрения показанного и сказанного различие внутреннего и внешнего можно провести и так: внутренние черты суть те, что показывают способность предложения изображать данное положение дел; внешние свойства и отношения суть те, о которых предложение говорит как о характеристиках именно этого положения дел. Скажем, предложение "Сократ учитель Платона" своей логической формой '$\Psi(x,y)$' показывает, что речь может идти об отношении двух предметов, и говорит что *Сократ* и *Платон* действительно связаны отношением учителя и ученика.

Единство логической формы образа и изображаемого обнаруживается в том, что внутренние черты синтаксической структуры предложений показывают внутренние свойства фактов: «Существование внутреннего свойства возможного положения вещей не выражается предложением, но оно выражает себя в предложении, изображающем это положение вещей, посредством внутреннего свойства этого предложения» [4.124]. Так, наличие *n* имен показывает наличие *n* предметов. Функциональные знаки различной местности, показывают характер соотношения данных предметов. Предложение '$\Phi(a,b)$' показывает внутреннее

свойство состояния дел, заключающееся в том, что в нем определенным образом соотнесены два предмета.

Как указывалось выше, логическая форма элементарных предложений характеризует их внутренние соотношения, в частности взаимную непротиворечивость. Эти внутренние соотношения также показаны синтаксисом, они обнаруживаются в структуре предложения [4.1211] и выражают его логическое место, определяемое взаимосвязью предложения с другими предложениями. Синтаксическая форма осуществления этой взаимосвязи будет рассмотрена ниже с точки зрения функций истинности и операций истинности. Пока же укажем лишь на то, что внутренние отношения предложений показывают внутренние отношения фактов: «Существование внутреннего отношения между возможными положениями вещей выражается в языке внутренним отношением между предложениями, которые их изображают» [4.125]. Например, предложения '*fa*' и '*ga*' показывают, что в них идет речь об одном и том же предмете, входящем в разные состояния дел [4.1211]. Непротиворечивость элементарных предложений показывает независимость состояний дел. Возможность элементарного предложения образовывать связи с другими элементарными предложениями показывает возможность состояний дел образовывать факты и т.п.

Внутренние свойства и отношения, поскольку они являются чертами логической формы, Витгенштейн называет также формальными [4.122]; внешние свойства и отношения в противовес являются содержательными. Выражаясь языком традиционной логики, можно было бы сказать, что внешнее свойство выражается в предложении тем, что предмет подводится под определенное понятие, и это изображается с помощью функции [4.126]. Так в предложении "Сократ – человек" его структура '*fa*' выражает тот факт, что предмет *Сократ* подводится под понятие *Человека*. В этом смысле каждый внешний признак фиксируется содержательным понятием, под которое подпадают определенные предметы. Данный факт может быть выражен осмысленным предложением. Но совершенно не то обнаруживается относительно формальных свойств. Наличие формального свойства нельзя выразить в предложении как подведение чего-то под содержательное понятие. Выражение "Сократ – это предмет" бессмысленно [4.1272]. То, что *Сократ* является предметом, показано функционированием знака 'Сократ' в качестве имени в осмысленных предложениях. Если говорить о понятиях, в которых фиксируются формальные свойства, то их нужно строго отличать от содержательных понятий: «Формальные понятия не могут, как собственно понятия, изображаться функцией. Потому что их признаки, формальные свойства, не выражаются функциями» [4.126]. То, что нечто подпадает под определенное формальное понятие, показано чертами того символа, с помощью которого выражается это нечто. Так, то, что *a* подпадает под формальное понятие предмет, показано тем, что '*a*' функционирует в '*fa*' в качестве имени. Точно так же бессмысленно утверждение: "*fa* – является фактом". То, что *fa* является фактом, показано тем, что '*fa*' является предложением.

Примеры можно множить и множить относительно других формальных понятий, скажем, комплекса, функции, состояния дел и т.п. Однако самое главное здесь то, что подпадение чего-то под формальное понятие выражено определенными чертами соответствующего символа. Нечто является предметом, потому что оно выражено именем; нечто является внешним свойством, потому что оно выражено одноместной функцией; нечто является фактом, потому что оно выражено

предложением, и т.д. Отсюда вытекает, как фиксируются формальные понятия: «Знак признака формального понятия является характерной чертой всех символов, значения которых подводится под это понятие» [4.126]. Другими словами, формальное понятие предмета выражается общей чертой всех имен, формальное понятие внешнего свойства выражается общей чертой всех одноместных функций, формальное понятие факта выражается общей чертой всех предложений и т.д.

Поскольку общая черта символа, как указывалось выше, согласно синтаксическому принципу контекстности фиксируется прообразом (логической формой), постольку «выражение формального понятия есть переменная предложения, в которой характерной является только эта постоянная черта» [4.126]. Например, общую черту имен, а значит, формальное понятие предмета, фиксирует переменная 'fx'; общую черту одноместных функций, а значит, формальное понятие внешнего свойства, фиксирует переменная 'ψa'; общую черту определенного класса предложений, а значит, формальное понятие определенного класса фактов, фиксирует переменная 'ψx' и т.д. Обозначая формальное понятие, соответствующая переменная своими значениями показывает то, что подпадет под это формальное понятие [4.127]. Так, переменная 'fx', обозначая формальное понятие предмета, своими значениями (скажем, 'fa', 'fb', 'fc') показывает, что a, b, c являются предметами. Как говорит Витгенштейн, «каждая переменная есть знак формального понятия. Потому что каждая переменная изображает постоянную форму, которой обладают все ее значения и которая может пониматься как формальное свойство этих значений» [4.1271][83].

Проясняя последний тезис, луше всего обратиться к концепции неопределяемых Рассела. Формальные понятия суть те, что Рассел называл неопределяемыми, или примитивными идеями логики. Но если для Рассела значение неопределяемых фиксировалось исходным словарем, то Витгенштейн вводит символические особенности формальных понятий с точки зрения той функции, которую им придает логическая форма. Неопределяемость того или иного форрмального понятия обусловлена тем, что символичекие особенности выражающего его знака должны быть введены до всякого возможного определения. Неопределяемость фиксируется знаком, показано знаком. И если мы используем тот или иной знак, то его значение однозначно задано этим использованием. Действительно, явно указать значение знака – значит использовать этот знак, но тем самым уже указано его значение. Следовательно, всякое определение содержит круг и, по крайней мере, является излишним.

Отсюда вытекают особенности функционирования формальных понятий. Указание на формальное понятие может выражаться в предложении использованием переменных. Например, присутствие переменной 'x' в '$(\exists x)fx$' свидетельствует об использовании псевдопонятия предмет: «Там, где всегда правильно используется слово 'предмет', оно выражается в символической записи через переменное имя» [4.1272][84]. В предложениях без переменных (скажем, 'fa') на использование

[83] Заметим, что в выражении формальных понятий другой стороной синтаксического принципа контекстности ввиду общности логической формы у образа и изображаемого является онтологический принцип контекстности. Символическая функция элементов предложения показывает внутренние свойства изображаемого. Например, подобно тому, как символические особенности имени обнаруживаются в контексте предложения, так и внутренние свойства предмета, на который указывает имя, обнаруживаются в контексте соответствующего предложению положения дел.

[84] В экземпляре ЛФТ, принадлежащего Ф.П.Рамсею, Витгенштейн, поясняя этот афоризм, записал:

формального понятия предмета указывает логический прообраз данного предложения '*fx*'. Представленные примеры могут прочитываться как "Имеется предмет *x*, обладающий свойством *f*" и "Предмет *a* обладает свойством *f*" соответственно. Но нельзя употреблять формальные понятия как выраженные действительными функциями, поскольку там, где они употребляются «как собственно понятийное слово, возникают бессмысленные псевдопредложения» [4.1272]. Бессмысленно, например, говорить: "Имеется *x*, обладающий свойством быть предметом" или "*a* обладает свойством быть предметом". Внутреннее свойство, выраженное формальным понятием, обнаруживает себя в функционировании знаков и не может быть явно установлено в каком-то предложении [85]. Указанные особенности относятся ко всем формальным понятиям и могут служить их отличительным признаком.

Формальные понятия вводятся с использованием соответствующих переменных. Присутствие переменных уже указывает на их возможную область определения. «Формальное понятие уже дано с предметом, который под него подводится» [4.12721], поэтому вводить одновременно формальное понятие и то, что под него подпадает, бессмысленно. Скажем, вводить как исходные переменную '*x*' и константу '*a*' для указания на предметы нельзя. Ведь правильное использование '*x*' в '*fx*' уже подразумевает, что ее место может быть занято '*a*'. Если же '*a*' вводится особо, то это должно подразумевать, что у *a* есть какое-то особое свойство. Но последнее может быть выражено только содержательным понятием в осмысленном предложении, а стало быть, '*a*' тогда не было бы неопределяемым. Все неопределяемые должны вводиться со знаком формального понятия, в противном случае возникают псевдопредложения. Если помимо формального понятия предмет в качестве исходного вводится имя 'Сократ', то необходимо было бы указать, что *Сократ* является предметом, обладающим особым свойством. Но указание на то, что *Сократ* является предметом, бессмысленно, поскольку это должно показываться логической формой предложения, а обладание особым свойством выходит за рамки внутренних свойств и потому не может вводиться как логическое неопределяемое. Все, что касается исходных понятий логики, должно вводиться на уровне формальных понятий, особенности которых показывает синтаксис.

В заблуждение, связанное с нарушением этого требования, как считает Витгенштейн, впадает Рассел, который наряду с понятием функции в качестве исходных вводит конкретные функции [4.12721]. В самом деле, чтобы предотвратить возникновение парадоксов, он в аксиоме сводимости постулирует

«Предложение "Существует n вещей таких, что..." в качестве своего значения преполагает то, что мы пытаемся утверждать, говоря "Существует n вещей"» (Lewy C. A Note of the Text of the Tractatus // Mind, 1961, vol.61). На существование предметов указывает вхождение определенного символа (предметной переменной) в предложение под знаком, выражающим общность, что не требует эксплицитного, т.е. в особом предложении, выражения их существования. Само по себе использование переменных показывает возможность существования их значений.

[85] Здесь просматривается интересная аналогия с Расселом, особенно если учесть предыдущее примечание. По сути дела, подпадение чего-то под формальное понятие предмета заменяет функцию знания по знакомству в ее расселовском понимании. Правда, у Витгенштейна эта функция лишена теоретико-познавательного значения. Бессмысленность приписывания существования тому, что подпадает под формальное понятие предмета, и его простота выводятся из свойств синтаксической структуры, а не постулируется на основании эпистемологических предпосылок. То есть бессмысленность выражения "Сократ существует" связана не с тем, что значение имени 'Сократ' дано нам в непосредственном знакомстве, но с тем, что оно подпадает под формальное понятие предмета, с которым не могут комбинироваться выражения общности.

существование предикативных формально-эквивалентных функций. Но это может свидетельствовать лишь о том, что формальное понятие функции изначально было введено неправильно. Зачем Расселу вдруг понадобилось уточнение? Если ориентироваться на синтаксис, то, как показано выше, правильное использование формального понятия функции само предотвращает появление парадоксов. Надлежащее использование переменных, определяемое логической формой предложения, само показывает, что всякая функция является предикативной.

Черты формальных понятий полностью определены синтаксисом предложений, который задает символическую интенцию знаков, с помощью которых построено это предложение. Но сами эти черты не могут быть выражены в каком-то другом предложении: «Вопрос о существовании формального понятия бессмыслен. Ибо ни одно предложение не может на такой вопрос ответить» [4.1274]. Предложение показывает символическую интенцию своих знаков, и тому, кто не видит, бесполезно давать объяснения, поскольку объяснение должно опираться на предложения, символические особенности которых уже известны. Но тому, кто не понимает символических особенностей первых, еще более неясными были бы символические особенности вторых. В этом случае лишь возникла бы распространенная методологическая ошибка: Объяснение неизвестного через еще более неизвестное.

Здесь находит свое завершение тема, высказанная в *Заметках, продиктованных Дж.Э. Муру*. Синтаксис может быть только показан предложениями, но не может быть высказан в других предложениях[86]. «То, что *может* быть показано, не *может* быть сказано» [4.1212], поскольку образ тогда должен был бы выйти за рамки своей формы отображения [4.12]. Образ в этом случае опредмечивался бы, выступал бы не как факт, а как предмет, которому приписываются свойства, что бессмысленно [4.1241]. Говорить о логической форме можно было бы только в том случае, если бы она выступала в качестве обладающего внешними свойствами предмета, но тогда, необходимо было бы выйти за рамки возможности изображения, необходимо было бы «поставить себя вместе с предложениями вне логики, т.е. вне мира» [4.12]. Синтаксис нельзя объяснить в том смысле, что нельзя сформулировать правила функционирования знаков. Его можно только прояснить, показывая, как функционируют знаки: «Теперь мы понимаем наше чувство, что обладаем правильным логическим пониманием, если все правильно в нашем знаковом языке» [4.1213], где символику определяет не наличие знака, а его отношение к другим знакам. Символическую интенцию элементов предложения характеризует только синтаксическая структура, т.е. логическая форма. И как форма отображения она не может быть высказана предложением, она им показана.

---

[86] Ср.: «То, что правила грамматики не являются эмпирическими пропозициями, ясно из того факта, что не имеет смысла спрашивать об их истинности или ложности» (Maslow A. A Study in Wittgenstein's Tractatus.– University of California Press, Berkeley and Los Angeles, 1961.– P.24). К этому утверждению добавим, что правила грамматики не являются не только эмпирическими предложениями, они вообще не являются предложениями. Вернее, любая попытка сформулировать их явно приводит к бессмысленным псевдопредложениям. Из позиции Витгенштейна вытекает принципиальная невозможность метаязыка, как способа описания синтаксиса и семантики языка более низкого уровня. Принципиальную невозможность, вытекающую из этой позиции, просмотрел Рассел, который во Введении к ЛФТ (С.26) предлагает иерархию языков для решения проблемы показанного. Но показанное – это не то, что может быть сказано на более высоком уровне. Показанное – это то, что вообще не может быть сказано. Это то, что предполагает язык любого уровня, для того чтобы быть языком.

2.4.5 Операциональный принцип контекстности

Изложенные выше концепции Витгенштейна оставляют открытым вопрос о том, как гипотетические конструкции, привлекающие формальные понятия предмета или состояния дел, применимы к языку повседневного общения. Этот вопрос вовсе не является праздным. В рамках общей постановки проблемы, где Витгенштейн пытается объяснить сущность любого языка, открытой остается задача объяснения того, каким образом гипотетические конструкции могут быть использованы в отношении естественного языка. Действительно, ни имена, ни предметы не могут предоставить ни одного примера. То, что в естественном языке понимается под именем или предметом, весьма далеко отстоит от того, что в *ЛФТ* понимается как подпадающее под соответствующие формальные понятия. Непосредственное следование логическому синтаксису далеко увело бы от потребностей языка повседневного общения. Но это не может служить аргументом в пользу того, что связь естественного языка с реальностью имеет какой-то иной характер. Логика, как выражение целесообразности любого языка, показывает символические особенности всякого знака, как гипотетического, так и реального[87]. Вопрос о сущности языка не решается Витгенштейном специально для идеального символического языка, но если такой вопрос может быть решен вообще, он должен решаться для языка как такового. В перспективе ответить нужно лишь на один вопрос: "Можем ли мы по праву применять логику, как она изложена, скажем, в *Principia Mathematica* к *обычным предложениям* без оговорок?"[88]. Проблема, собственно, в том, что, ориентируясь на идеальные структуры, можно смоделировать логическую форму реальности и показать ее в синтаксической структуре идеального языка. Но как решить эту проблему для языка повседневной жизни?[89] Структура витгенштейновой онтологии включает предметы, которые по определению просты и образуют субстанцию мира, но нельзя привести ни одного примера подобного предмета. В этом заключается их гипотетичность. То же самое относится к состояниям дел. Стало быть, если онтология имеет лишь идеальный, гипотетический характер, то и проблемы, поставленные Витгенштейном, могли бы

[87] Когда Рассел объясняет работу Витгенштейна с точки зрения построения идеального языка (Введение, С. 11), он вполне прав, но лишь в том отношении, что это касается гипотетических конструкций. Но с точки зрения действительной реализации гипотетической конструкции Рассел неверно понимает задачу ЛФТ. Синтаксис идеального языка должен проглядывать в синтаксисе языка действительного. Понимание логической целесообразности задает способ функционирования всякого языка.

[88] Дневники 1916-1918. С.87.

[89] Единственно известный нам способ решения данной проблемы предлагает Г.Л. Финч, который разводит значения знаков естественного и идеального языка по разным уровням реальности. В частности он пишет: «Объекты, вещи и сущности имеют общим то, что они могут вступать в структурные отношения: объекты с объектами, вещи с вещами, сущности с сущностями [2.01]. Фактически, они представляют собой три разновидности 'единств' – формальное, физическое и феноменальное» (Finch H.L. Wittgenstein – the Early Philosophy: an Exposition of the Tractatus.- New York: Humanities Press, 1971.- P.9). Другими словами, Финч подразумевает, что синтаксис языка, сохраняя общие черты, сообразуется с той онтологией, с которой он имеет дело, т.е. описание феноменальной реальности фиксирует в качестве значения имен феномены; описание физической реальности фиксирует в качестве значения имен физические объекты и т.д. Но здесь непроясненным остается вопрос, каким образом соотносятся эти типы реальности, как от одного значения имени можно перейти к другому. К тому же остается проблема, каким образом возможность определения значений зависит от постулирования различных типов реальности. Но как можно было бы решить эту проблему? Очевидно, только допуская онтологические или эпистемологические предпосылки, что выходит за рамки собственно логики.

быть решены только для того языка, который соответствует такой реальности, т.е. также имеет гипотетический, идеальный характер. Обыденный же язык соотносится с объектами повседневности, очевидно являющимися составными, и оперирует выражениями, которые мы считаем именами, но которые, с точки зрения гипотетически простых предметов, именами являться не могут.

Эту проблему Витгенштейн отчетливо ставит в подготовительных материалах. В частности, он пишет: «В чем состоит моя основная мысль, когда я говорю о простых объектах? Разве 'составные предметы' не удовлетворяют в конце концов как раз тем требованиям, которые я, казалось бы, устанавливал для простых предметов? Если я даю этой книге имя 'N' и говорю теперь о N, разве отношение N к такому 'составному предмету', к таким формам и содержаниям по существу не то же самое, которое я мыслил себе между именем и простым предметом?»[90]. И далее: «Совершенно ясно, что я фактически могу соотнести имя с этими часами, как они лежат здесь передо мной и идут, и что это имя будет иметь значение вне какого бы то ни было предложения в том самом смысле, который я вообще когда-либо придавал этому слову, и я чувствую, что это имя в предложении будет соответствовать всем требованиям, предъявляемым к 'именам простых предметов'»[91].

Решение этой проблемы можно найти в тех же подготовительных материалах. То, что может рассматриваться и обычно рассматривается в качестве имени, как говорит Витгенштейн, «сводит свое полное комплексное значение в единицу»[92]. Но позиция имени определена лишь синтаксической разработкой структуры, т.е. в контексте, так как «синтаксическое употребление имен полностью характеризует форму составных предметов, которые они обозначают»[93]. Комплескность значения не может служить аргументом, поскольку значение знака задает синтаксис. Если на что-то указывает имя, то с точки зрения такого указания оно должно рассматриваться как простое. Последнюю цитату вполне можно рассматривать как формулировку принципа контекстности. Правда, тезис, что имя обретает значение только в контексте предложения, имеет здесь операциональный смысл, который позволяет использовать концептуальные основания и построенные на их основе функциональные исчисления к выражениям обыденного языка. Вопрос о действительном значении элементов предложения решает их применение. Если при обращении к естественному языку в предложении "Сократ – человек" выражение 'Сократ' с точки зрения синтаксической структуры рассматривается как имя, это обеспечивает восприятие его значения в качестве простого. В последнем случае принцип контекстности есть не что иное как мостик, перекинутый от идеальных моделей к многообразию повседневной жизни. Если выражение, пусть и обозначающее комплексный предмет, в контексте предложения можно использовать как структурный элемент, соответствующий имени, значит, к нему применим анализ, аналогичный анализу последнего. То же самое касается и остальных элементов предложения.

[90] Дневники 1916-1918. С.80.
[91] Там же.
[92] Там же. С.92.
[93] Там же. С.91.

3. Программа логического позитивизма (логического эмпиризма)

3.1 Критерий верификации

Возможность верификации предложения как критерий значения этого предложения обычно связывают с началом деятельности Венского кружка. В действительности идея верифицируемости не является отправной идеей представителей Венского кружка и была еще ранее сформулирована — хотя и не вполне ясно — Витгенштейном: "Предложение можно понять тогда, если мы знаем, при каких условиях оно может быть истинным. Это означает, что требуется не знание того, является ли предложение истинным или ложным, но знание обстоятельств, которые позволяют установить его истинность" (ЛФТ, 4.024).

Этот верификационный принцип был, в сущности, без изменений принят последователями Венского кружка. При этом у историков философии не существует единого мнения по поводу того, как соотносится формулировка Витгенштейна с эксплицитными формулировками критерия верификации в Венском кружке (ведь у Витгенштейна не говорится ни о какой "верификации", а говорится об "условиях истинности") Соотношение терминов "верификация", "подтверждаемость" и "проверяемость" также при ближайшем рассмотрении может вызвать затруднения. Однако подлинным стимулом для принятия точки зрения Витгенштейна не было стремление решить вопрос о критерии значения или стремление точно определить общее свойство того подмножества правильно образованных предложений, которые можно считать осмысленными. Этому способствовало, скорее, стремление привести веские аргументы против традиционной философии, демонстрируемой обычно на текстах немецких идеалистов, и доказать, что эта философия «не имеет значения». А так как понятие «познавательно осмысленный» было отождествлено с понятием «эмпирически осмысленный» и возможность верификации первоначально понималась как возможность прямой верификации, опирающейся на непосредственное наблюдение и предложения о наблюдаемых фактах, можно было сравнительно легко доказать, что соответствующим образом выбранные тексты «не имеют значения». (Речь идет, разумеется, о том, что что *утверждения* философии не имеют значения, т.е. бессмысленны — вот что хотели доказать логические позитивисты).

Дж.Пассмор пишет:

"Каково бы ни было происхождение принципа верифицируемости — а его содержание почти полностью исчерпывается формализованным представлением методов Маха и Пирсона — его скоро стали считать главным догматом логического позитивизма. ... Однако почти сразу возникли разногласия по поводу его статуса, значения и правдоподобности.

Обсуждаемые при этом вопросы можно суммировать таким образом:

(1) Принцип верифицируемости по первому впечатлению не является ни эмпирическим обобщением, ни тавтологией. Каков в таком случае его статус?

(2) Мы обычно выясняем значение слов и предложений. Высказывание представляет собой значение предложения, а не то, что само *имеет* значение. В то же время именно высказывания мы верифицируем и описываем как истинные или ложные. Как в таком случае можно отождествлять верифицируемость со значением?

(3) Высказывания могут быть неверифицируемыми либо потому, что в настоящий момент мы не можем предложить никакого способа их верификации, либо потому, что их физически невозможно верифицировать, либо потому, что любая попытка их верификации исключена на чисто логических основаниях. Какой из этих видов неверифицируемости имеет своим следствием бессмысленность?

(4) Выражение «верифицировать» неопределенно: оно может означать «доказать истинность» или «проверить истинность». Должны ли мы утверждать, что высказывание имеет значение, если существует процедура, которая при ее успешном выполнении *доказала* бы его истинность, или же требуется только, чтобы существовал некоторый способ *проверки* его истинности? Кроме того, тождественны ли применяемые методы и в том и в другом случае значению высказывания, или они просто показывают, что высказывание имеет значение?

(5) Принцип верифицируемости предполагает существование окончательных верификаторов. Если значение высказывания заключено в том, что его верифицирует, то его «верификаторы» не могут быть высказываниями или же они должны быть высказываниями, чье значение каким-то образом заключено в них самих. Что же они собой представляют?"[1]

Верификационный критерий понимался членами Кружка как эмпирический критерий значения, причем эмпирический исходный пункт понимался обычно довольно узко: он был связан с так называемыми «предложениями наблюдения» (Beobachtungssätze). При этом понятие «предложения наблюдения» не было — по крайней мере в первый период Венского кружка — никогда точно и, главное, однозначно определенным, так что речь шла о неточном понятии. Это означает, что границы между множеством предложений, которые можно считать «предложениями наблюдения», и предложениями, которые так нельзя охарактеризовать, являются неопределенными. Так, следует различать простого наблюдателя с нормальными органами чувств, наблюдателя с дефектами этих органов чувств (например, слепых, глухонемых, дальтоников и т. д.) и, наконец, наблюдателя, у которого способность наблюдения, точность различения и т. д. расширена или удлинена измерительным или экспериментальным устройством, и т.д.

М. Шлик различал также (вызвав критику К.И.Льюиса) «эмпирическую возможность» верификации и «логическую возможность» верификации. Согласно его пониманию, «эмпирически возможным» является все то, что не находится в противоречии с законами природы[2]. Это означает, что эта концепция эмпирии релятивизована по отношению к данному или достигнутому уровню знания, зафиксированному прежде всего в законах, открываемых естествознанием. Здесь можно возразить, что эта концепция эмпирии и «эмпирически возможного», которая имплицитно вводит определенный априорный критерий, исключает возможность новой эмпирии, не соответствующей данному уровню теоретического знания, то есть исключает возможность «эмерджентных фактов». Однако именно

[1] Пассмор Дж. Сто лет философии. М., «Прогресс-Традиция», 1999. С.284-285.
[2] См., напр.: Schlick M. Meaning and Verification. — The Philosophical Review, 45, 1946. P.152.

эти обстоятельства в истории научного познания часто играли важную роль и оказывали сильное влияние на развитие теоретического мышления. Шлик хотел связать понятие значения не столько с понятием *верифицируемости* (в смысле эмпирически возможной верификации), сколько с *логической возможностью верификации*. Его точка зрения, характерная для понимания критерия значения периода Венского кружка, гласит: «Верифицируемость, являющаяся достаточным и необходимым условием значения, есть возможность логического порядка; она обусловлена конструкцией предложений в соответствии с правилами, в которых определены ее термины»[3].

На первый взгляд предложенное Шликом различие между поиском истины и поиском значения выглядит неубедительно. Однако найти значение — значит сформулировать истинное высказывание, в котором прояснено его правильное значение. В ответ Шлик указывает, что прояснение значения не может иметь форму высказывания. Безусловно, если нас кто-либо спросит о значении слова «троглодит», мы ответим, что «"троглодит" означает "пещерный житель"». Однако этот ответ не может быть окончательным, поскольку он оставляет открытым еще один вопрос: «Да, но что означает "пещерный житель"?» Поэтому, утверждает Шлик, для прояснения «полного значения» выражений, которое исключало бы все дальнейшие расспросы, мы должны выйти за пределы слов и непосредственно, жестами, указать на признаки, обозначаемые нашими выражениями.

Отметим, что хотя принцип верифицируемости выдвинут как метод установления значения *высказывания,* в описании Шлика он становится методом определения *слова.* Шлику остается показать, как значение слова связано со значением высказывания. Он предлагает следующее формальное определение высказывания: это ряд звуков или других символов ("предложение") *вместе с относящимися к ним логическими правилами,* т. е. вместе с предписаниями относительно употребления предложения. Эти правила, заканчивающиеся "деиктическими" определениями, и образуют "значение" высказывания.

Здесь возможны минимум два контраргумента.

- Как можно *верифицировать* высказывание, определяемое таким образом? Ни символ, ни правило не могут обладать *истинностным* значением; не поможет нам в этом случае и попытка соединить символы и правила в конъюнкцию.
- Как может конъюнкция символов и правил «означать» сами правила?

Возможно, вследствие этих затруднений Шлик предложил считать имеющими значение не высказывания, а только одни предложения, то есть считать, что правила образуют не значение символов-плюс-правила, а значение только символов.

Если бы свойство «иметь значение» было свойством эмпирическим, то, конечно, нельзя было бы воспрепятствовать тому, чтобы метаязыковой предикат «иметь значение» не считали бы *неточным.* Иначе говоря, нельзя исключить такую ситуацию, когда часть носителей языка решает, что данное предложение объектного языка имеет значение, а другая часть решает наоборот. Это, однако, явно подрывает прежнюю амбицию сторонников верификационного критерия, считающих этот критерий средством, которое в состоянии вполне однозначно

[3] Ibid. P.155.

различать взаимно дополняющие друг друга множества предложений, которые имеют значение и которые не имеют значения.

С интуитивной точки зрения это свойство, конечно, не является эмпирическим. Это исключает возможность использовать критерий значения по отношению к себе самому (при этом, разумеется, речь может идти о критерии значения «высшего уровня», который, конечно, принципиально формулируется так же, как критерий значения «низшего уровня»).

Первоначальная версия верификационного критерия значения была, следовательно, мотивирована стремлением четко разграничить синтаксически правильные предложения, которые имеют значение, от таких предложений, которым значение приписать нельзя. При этом под верификацией понималась *полная верификация.* Требование логической возможности полной верификации было связано с проблематическим радикализмом, отстаиваемым главным образом Шликом. В дискуссии о так называемых протокольных предложениях, в ходе которой он сам отрицал роль этих предложений как отправного пункта познания, Шлик указывал на то, что основой нашего эмпирического знания являются так называемые констатации, как он называл предложения о «теперешнем восприятии». Такие предложения, как полагал М. Шлик, являются также однозначно определенно разрешимыми, как и предложения аналитического характера. На этой основе и было выдвинуто требование полной верификации, которое можно было бы сформулировать следующим образом:

> Предложение **Σ** имеет значение тогда и только тогда, когда оно не является аналитическим предложением или противоречием, и если логически следует из непротиворечивого конечного класса предложений **Ф**, причем элементами этого класса предложений являются предложения наблюдения[4].

Против этой версии критерия значения, основанной на требовании возможности полной верификации, высказали ряд существенных возражений К.Г.Гемпель, А.Пап, В.Штегмюллер. Новую реформированную интерпретацию верификационного критерия значения попытался дать А.Д.Айер (см. § 6.3.). Другую такую попытку совершил Карнап («Проверяемость и значение», 1937). В этой работе принцип верифицируемости трактуется не как бессмыслица, а как рекомендация по построению языка науки. В качестве рекомендации он адресован эмпиристам, естественно предпочитающим строить язык науки таким образом, чтобы в нем были невыразимы метафизические высказывания. Согласно Карнапу, эмпиристы должны избегать таких утверждений, как «все знание является эмпирическим», которые якобы сообщают что-то о мире. Они должны разъяснять, что подобные утверждения формулируют лишь определенные ограничения на употребление языка — ограничения, отсутствующие в «естественных» языках вроде немецкого. Поэтому их цель состоит в создании «идеального языка», позволяющего выразить все, что желательно эмпиристу, т. е. любые научные и логико-математические высказывания, но исключающего метафизические утверждения как лишенные значения. Понятно, что метафизик стремится к иному идеалу; и если метафизик попытается сформулировать альтернативный эмпиризму язык, то, при условии непротиворечивости этого языка, эмпирист может и не иметь против него возражений, хотя и не пожелает им воспользоваться.

[4] В терминологии М. Шлика речь идет о классе так называемых констатаций (Konstatierungen).

Вместе с тем в рамках общей структуры эмпиристского языка можно использовать разнообразные варианты, отличающиеся по степени точности. Для эмпириста необходимо, чтобы все «исходные предикаты» научного языка, входящие в «базисные утверждения» или «протокольные предложения», были наблюдаемыми, но в то же время у него, считает Карнап, есть выбор — включить ли в свой язык только предикаты «вещного языка» (состоящего из предикатов повседневного языка: например, «теплый», «голубой» и т. д., используемых для описания материальных объектов; согласно Карнапу, именно этот язык он имел в виду, когда утверждал, что фундаментальным языком является «язык физики») — или добавить к ним «психологические» предикаты. Во втором варианте тоже возможны альтернативы: психологические предикаты могут иметь менталистскую форму, обозначая индивидуальные состояния сознания, или они могут быть «физикалистскими» предикатами, обозначающими психологические акты (например, *быть сердитым* или *видеть собаку*), которые может наблюдать только тот, кто их испытывает, но наличие или отсутствие которых может быть подтверждено независимыми наблюдателями. Сам Карнап вслед за Поппером отдает предпочтение «вещному языку», отказываясь от своих прежних феноменалистских и физикалистских протоколов на том основании, что никакой другой язык, кроме «вещного», не может обеспечить абсолютную объективность науки. Как и следовало ожидать, некоторые позитивисты встретили его выбор с негодованием, видя в нем отход от позитивизма к реализму.

Позитивисты обычно были согласны — и это в явном виде сформулировано в ранних произведениях Шлика, — что все неисходные предикаты должны быть определены через исходные предикаты; Карнап придерживался именно этой точки зрения, когда утверждал в «Единстве науки», что все эмпирические предложения можно «перевести» в предложения, сформулированные на языке физики. В «Проверяемости и значении» он отходит и от этого строгого требования: по его мнению, эмпирист должен требовать не переводимости предложений, а лишь их сводимости с помощью «редукционных пар». К этому выводу он пришел главным образом потому, что считал невозможным определить «диспозиционные предикаты» (т.е. предикаты типа «растворимый», «видимый», «слышимый») в виде конъюнкции исходных предикатов. В то же время он считал, что эмпирист может «ввести» в свой язык предикат «растворимый» с помощью следующей пары высказываний: «если *x* поместить в воду в момент времени *t*, то если *x* растворим в воде, то *x* растворится в момент времени *t*» и «если *x* поместить в воду в момент времени *t,* то если *x* не растворим в воде, то *x* не растворится в момент времени *t*». Таким образом, мы располагаем тестом растворимости, хотя у нас нет метода *перевода* высказываний вида «x растворим» в высказывания, содержащие характеризующие предикаты наблюдения — *x*, ибо *x* может быть растворимым, даже если никто и никогда не помещал его в воду.

Итак, модификация верификационного критерия значения, предложенная Карнапом, имеет две характерные черты:

(1) Прежде всего в принципе отбрасывается требование полной верификации и вводятся «более умеренные» и вместе тем, конечно, нестрогие средства проверки семантической характеристики предложения: под *верификацией* понималось конечное и однозначно определенное установление истинности или ложности синтетического предложения. Поскольку речь идет о предложении, которое можно было бы записать с использованием квантора общности, очевидно, что *полная*

верификация в указанном смысле часто неосуществима. Поэтому Карнап в противовес верификации и требованию *полной* верификации выдвигает понятие «*подтверждение*». Под подтверждением понимается ступенчатый процесс, который последовательно уточняет наше знание семантической характеристики. Под тестированием (testability, проверяемостью) понимается использование вполне определенного метода для установления этой характеристики.

(2) О всех этих средствах допустимо говорить только тогда, когда определенный язык имеет точную синтаксическую и семантическую конструкцию. В качестве примера языка с такими свойствами, в котором можно использовать указанные средства, Р. Карнап набросал схему эмпиристского языка (Ding-Sprache). Словарь этого языка содержит в качестве примитивных нелогических выражений имена пространственно-временных точек и предикаты наблюдения (Beobachtungspredikate, observation predicates). Образование остальных нелогических выражений осуществлено при помощи так называемых редукционных предложений. Эти предложения, в сущности, уточняют семантически значимые отношения нелогических выражений данного языка и играют, таким образом, роль постулатов значения.

Такая модификация (см. подробнее § 3.3.1.3.2), конечно, бросает в целом новый свет на усилия по созданию универсальной концепции верификационного критерия значения. В системе языка, с которым Р. Карнап рекомендует работать, понятие «осмысленное предложение», собственно, предполагается, поскольку заданы также семантические правила и постулаты значения. Это означает, что роль верификационного критерия в его первоначальном виде здесь, собственно говоря, устранена.

Модификация верификационного критерия, проведенная Р. Карнапом, позволяет сделать следующее заключение: так называемые метафизические предложения, которые с помощью верификационного критерия должны были быть элиминированы и объявлены предложениями, которые «не имеют значения», вряд ли можно найти в языковых системах, которые имеют точную синтаксическую и семантическую конструкцию. Поэтому понятно также, что первоначальные цели не были и не могли быть достигнуты. Если принять во внимание, что верификационный критерий смысла первоначально понимался как универсальный критерий, связанный с попыткой создания того, что мы охарактеризовали как унитарную теорию смысла, то модификация, произведенная Р. Карнапом в "Testability and Meaning" является, собственно, первым шагом к отбрасыванию универсального критерия.

Дальнейшая критика верификационного критерия значения (выдвинутая, например, Л.Тондлом[5]) также связана с приписываемой ему характеристикой универсальности. Метаязыковой предикат «иметь значение», согласно концепции верификационного критерия, связан со значением предиката «верифицируемый». В этой связи встает вопрос, какой характер имеет установление того, что «все осмысленные предложения верифицируемы». Если «верифицируемость» является общим свойством того множества предложений, которые правильно образованы и которые, кроме того, являются осмысленными, то это установление — результат индуктивного обобщения, как, допустим, предложение «все предметы с меньшим удельным весом, чем у воды, в состоянии плавать по воде». Это, несомненно, находится в противоречии с принципом, который вытекает из последовательного

[5] Тондл Л. Проблемы семантики. М., «Прогресс», 1975. С.268-269.

применения требования верификационного критерия, согласно которому термины «верифицируемый» и «осмысленный» — синонимы. Равным образом также выражения «иметь меньший удельный вес, чем вода» и «способность плавать на воде» не являются синонимами.

Следовательно, если предложение, которое формулирует верификационный критерий смысла, мы считаем индуктивным обобщением, т.е., синтетическим предложением, мы должны признать, что предикаты «иметь значение» и «верифицируемый» не являются синонимами.

Еще более затруднительная ситуация возникает, если мы считаем предложение, которое формулирует верификационный критерий смысла, аналитическим. В этом случае, конечно, не остается ничего, как признать, что это предложение неверифицируемо и, следовательно, не имеет значения. Формулировка верификационного критерия значения, конечно, не является явно аналитическим предложением. Если речь идет .о синтетическом предложении, то нельзя избежать вопроса, имеет ли само это предложение значения. Иначе говоря, речь идет о том, можно ли критерий значения применить к нему самому. Если да, то можно ли доказать, что из истинности критерия значения следует, что этот критерий сам не имеет значения? Можно, конечно, возразить, что этот подход означает смешение предложений объектного языка и метаязыка (или же метаязыка и метаметаязыка и т. д.). Если мы хотим этого избежать, нам ничего иного не остается, как предположить бесконечный ряд верификационных критериев разных ступеней и, следовательно, бесконечный регресс.

Определение универсального критерия смысла не может быть успешным и ведет к спорам. Это можно выразить так: если существует универсальный критерий значения, то его нельзя применять ко всем языкам. Если же критерий значения нельзя применять ко всем языкам, то речь не идет об универсальном критерии значения.

Таковы аргументы Тондла; контраргументы же здесь будут отсылать прежде всего к дискуссиям о конвенциональности (§ 3.5), а также о холизме, о котором ниже речи будет более чем достаточно.

Таким образом, критерий верификации претерпевает в рамках Венского кружка (и позже) значительные изменения, оказывающие решающее влияние на развитие философии науки, философии языка, сознания, и, как выясняется позже (впрочем, что касается этики — еще при Шлике), многих других областей философии.

3.2 Основные положения феноменализма в Венском кружке

Суть феноменалистского направления заключается в следующем. Члены Венского кружка предприняли попытку показать, что осмысленные выражения всегда могут быть сведены либо к эмпирическим высказываниям, либо к тавтологиями. Однако их взгляды на характер и конечные результаты процесса сведения были весьма различными. Сначала почти все они, следуя Расселу, в качестве базисных предложений принимали предложения, выражающие чувственный опыт, однако впоследствии большинство из них в качестве базисных предложений стали рассматривать предложения, описывающие наблюдения физических объектов.

Обе разновидности логического позитивизма в качестве нормы всякого знания принимают научное знание, единственными осмысленными выражениями считают эмпирические высказывания и тавтологии и обращаются к искусственным языкам для исправления неточностей и двусмысленностей обыденного языка. Однако эти две разновидности логического позитивизма отличаются друг от друга в вопроса о природе базисных эмпирических высказываний, получаемых в результате анализа. *Феноменалистические теории, которых придерживались вначале почти все члены Венского кружка, в качестве базисных высказываний принимают высказывания, выражающие чувственный опыт.* Физикалистские теории, выдвигавшиеся членами Венского кружка позже, в качестве базисных высказываний принимают высказывания, выражающие наблюдения физических объектов.

3.2.1 Феноменалистический анализ Морица Шлика

Шлик (как видно, например, из книги «Общая теория познания») имел существенное представление об истории философии и хотя не считал философию отраслью знания, но и не отказывал ей в определенной ценности. Его коллеги-позитивисты, как он полагал, совершенно неправильно воспринимают ситуацию, когда, следуя примеру Рассела, разрабатывают «научную философию» и даже предлагают заменить слово «философия» такими «бесцветными и неэстетичными выражениями», как «логика науки». Они ошибаются, полагая, что их деятельность полностью оторвана от философской традиции; но они не правы и в своем убеждении, что какой-то вид науки мог бы «заменить» философию. Шлик согласен с Витгенштейном в том, что философия — это не теория, а деятельность, связанная с поиском значений. Поскольку философия, не выдвигая никаких утверждений, тем не менее помогает нам яснее понять, что мы хотим сказать, она сильно отличается по своему характеру от науки. Философия, вообще говоря, является не высшей наукой, подчиняющей себе другие науки, а исследованием общих принципов наук; в частности, теория познания не предшествует естественным наукам, хотя может быть полезной при их интерпретации.

Против этой точки зрения можно возразить: Шлик сам выдвигает философские тезисы — например, верификационную теорию значения. Как в таком случае он может утверждать, что философия — это не отрасль знания? Витгенштейн попытался предупредить такого рода критику, заявив, что содержащиеся в «Трактате» высказывания бессмысленны в той мере, в какой они являются философскими; однако их бессмысленность, утверждает он, имеет довольно необычный характер: в противоположность темной бессмысленности метафизики бессмысленность высказываний «Трактата» вносит ясность. Шлик не склонен проводить такое различие между разными видами бессмысленного. Он предпочитает считать принцип верифицируемости «трюизмом», который не говорит нам ничего нового, а лишь привлекает наше внимание к уже известному нам, и именно поэтому ошибочно называть это нечто уже известное «теорией».

Структура знания, по Шлику, такова: знание на уровне повседневной жизни — это опознание объекта как объекта определенного рода; такое знание обычно достигается с помощью запоминаемых представлений. Научные суждения связывают понятия с фактами путем логических связей, приводящих в свою очередь к опыту. Возникающие связи между понятиями очищаются от неопределенности непосредственного опыта благодаря тому, что они вводятся в терминах аксиоматических систем, строящихся как для того, чтобы

систематизировать факты, так и для того, чтобы облегчить дедукцию. Таким образом, связи между понятиями являются чисто аналитическими, и не существует никакого априорного знания, которое не было бы аналитическим. Затем мы должны упорядочить отношения между нашими знаками так, чтобы они однозначно соответствовали отношениям между фактами (хотя принятая нами система может быть не единственной, правильно представляющей факты). Познание требует общей надежности памяти, а также некоторого единства опыта, но оно не нуждается во «внутреннем восприятии». Верификация фактической гипотезы возможна потому, что такая гипотеза вместе со всеми вспомогательными допущениями ведет к некоторым следствиям, которые в свою очередь ведут к другим следствиям и так далее, до тех пор, пока не достигается уровень непосредственного опыта. Но индуктивный процесс, в терминах которого такой опыт подтверждает первоначальную гипотезу, дает ей не более, чем вероятность, подкрепляемую привычкой и потребностями практической жизни. Верификация аналитических высказываний гораздо более надежна и может быть достигнута путем понимания смысла без последующего обращения к фактам. Критерием истины является однозначность соответствия суждений фактам, а закон каузальности представляет собой некоторого рода реальность, независимую от познающего разума.

Итак, Шлик от своих прежних взглядов относительно задач философии перешел к характерному для образа мыслей аналитиков убеждению, что, в то время как задача науки заключается в «погоне за истиной», задача философии заключается в «погоне за значением». Нет специфически «философских проблем»; задача философии искать значение *всех* проблем и их решений. Ее следует определять как деятельность по *отысканию значения*.

Шлик не только придерживался характерного аналитического взгляда на философию как на поиск значения; он также активно отстаивал логико-позитивистский тезис, что значение следует приравнивать к проверяемости. Однако он чувствовал, что этот тезис следует формулировать с осторожностью. Некоторые члены Венского кружка считали, что значение следует отождествлять с фактической проверкой; они были подвергнуты критике Льюисом, указывавшим, что такая теория должна отвергать некоторые явно осмысленные высказывания, например о другой стороне Луны и о жизни после смерти. Шлик утверждал, что он никогда не был склонен ограничивать значение верификацией; он всегда считал, что значимое следует отождествлять с тем, что *может* быть проверено, то есть с проверяемым. При этом пределы возможности такой проверки определяются не физической достижимостью, так как не известно, могут ли расширяться границы этой достижимости и насколько могут. Единственным пределом проверяемости является «логическая возможность». Таким образом, поскольку можно представить себе условия, при которых высказывания о другой стороне Луны или о бессмертии души могут быть проверены, эти высказывания действительно осмысленны безотносительно к их истинности или ложности.

Такая трактовка «неверифицируемости» явным образом отталкивается от взлядов позитивистов XIX в., согласно которым «ложным» является все, для чего наука не располагает способом проверки. (Логические позитивисты ставили себе в заслугу именно такую постановку вопроса — в отличие от прежних позитивистов, они не говорили, что метафизика "ложна", а что она "бессмысленна".) Это определение вынуждало их заклеймить как «бессмысленные» многие высказывания, которые

современные ученые считают научными истинами — например, утверждения о химическом составе звезд. Шлик намерен определить выражение «лишенный смысла» таким образом, чтобы вопрос о том, имеет высказывание значение или нет, не зависел от состояния научного знания на данный конкретный момент времени. По его мнению, высказывание лишено значения только в том случае, если оно «неверифицируемо в принципе». В качестве примера Шлик приводит высказывание «ребенок гол, но на нем надета длинная ночная рубашка», которое, по его мнению, бессмысленно, поскольку правила употребления слова «голый» запрещают применять его к людям, одетым в длинную ночную рубашку. Приступая к рассмотрению метафизических утверждений, мы, по мнению Шлика, видим, что они бессмысленны по той же самой причине: «они нарушают правила логической грамматики». Согласно альтернативному подходу, предложенному Витгенштейном в «Трактате», метафизик, как мы замечаем, «не наделил значением определенные знаки своего выражения». В обоих случаях предложения метафизика, не будучи связанными с правилами, «в принципе» не могут быть верифицированы.

Отсюда можно сделать вывод, что решения относительно верифицируемости должны приниматься на чисто «логических» основаниях, т. е. с учетом правил употребления символов, входящих в предложения, представленные на наше рассмотрение. Шлик приводит в пользу этого следующий аргумент: верифицируемость, образующая достаточное и необходимое условие осмысленности, является возможностью логического порядка, которая создается при построении предложений в соответствии с правилами, позволяющими определять входящие в них термины. Верификация логически невозможна в том единственном случае, когда вы не устанавливаете никаких правил, тем самым делая ее невозможной.

Такой аргумент звучит как отказ от эмпирически-позитивистского критерия значения, однако, по мнению Шлика, лингвистические правила в конечном счете указывают на остенсивно определяемый опыт; стало быть, для обнаружения значений мы должны наблюдать мир, а следовательно, здесь нет противоречия. Между логикой и опытом нет никакого антагонизма. В сильном варианте этот тезис выглядит так: логик не только может быть одновременно эмпиристом, но должен им быть, если хочет понять собственную деятельность.

Таким образом, Шлик вновь сталкивается с трудностями при необходимости объяснить свое понимание «опыта». Для уяснения этих трудностей следует обратиться к его ранней формулировке принципа верифицируемости, где он определяет верифицируемость и, следовательно, значение через «сводимость к опыту»: для понимания высказывания, с такой точки зрения, мы должны обладать способностью точно указывать те конкретные обстоятельства, при которых это высказывание было бы истинным, и те конкретные обстоятельства, при которых оно было бы ложным. "Обстоятельства" означают данные опыта; стало быть, опыт определяет истинность и ложность высказываний, опыт "верифицирует" высказывания, а потому критерием решения проблемы выступает ее сводимость к возможному опыту. Шлик вслед за Махом различает вопросы, на которые можно ответить, и вопросы, на которые нельзя ответить. Вопросы, не имеющие ответа, — например, «В чем смысл жизни?» — отличаются тем, что не существует никакого критерия для выбора между предлагаемыми решениями, нет никакого способа подвергнуть эти решения проверке опытом.

Для Шлика «опыт» — это состояние моего сознания, изначально не данного как «мое», поскольку «я» — в этом Шлик согласен с неокантианцами — само строится из опыта, но все же в ходе анализа обнаруживается, что это состояние сознания является моим, и только моим. Поэтому бессмысленно утверждать о других людях, что они обладают или не обладают сознанием; на вопрос о том, наделены они сознанием или нет, «не существует ответа», поскольку такое сознание в принципе нельзя свести к «моему опыту». Таким образом, «верифицируемость опытом» означает верифицируемость ментальными состояниями, *которые я один способен иметь.* Отсюда следует, что любой способ установления, верифицируемо ли некоторое высказывание или нет, в принципе является таковым только для меня и ни для кого другого. Поскольку значение и верифицируемость тождественны, это приводит нас к странному выводу о том, что только я могу знать значение некоторого высказывания; бессмысленно говорить о ком-нибудь еще, что «он знает значение этого высказывания».

Шлик пытается избежать этого вывода, встав на точку зрения Рассела—Пуанкаре, согласно которой научное знание всегда представляет собой знание «структуры» и отличается от того, что мы «испытываем» или «переживаем» в опыте. В очерке «Существует ли фактическое априори?» Шлик предпринимает атаку против современных защитников синтетического априори, подчеркивая выразительнее, чем когда-либо, что априорные высказывания являются аналитическими и нефактическими. Эдмунд Гуссерль, Макс Шелер и их последователи утверждали, что такие высказывания, как «каждый тон имеет определенную высоту» и «зеленое пятно не есть красное», являются и фактическими, и априорными. Однако, хотя легко увидеть, что все такие высказывания априорны, то есть устанавливаются без специального обращения к опыту, нельзя убедительно утверждать что они *фактические.* В действительности это тривиальности, определяемые только правилами употребления входящих в них слов. «При заданном смысле слов они *априорны,* но чисто формально тавтологичны, как и все другие *априорные* высказывания. Как выражения, которые ничего не говорят, они не несут в себе знания». Когда мы, к примеру, «испытываем» ощущение зеленого, этот опыт, согласно Шлику, является индивидуальным. Безусловно, и другие люди употребляют слово «зеленый», глядя, скажем, на лист растения, но отсюда не следует, что они воспринимают то же самое, что воспринимаем и мы, т. е. имеют то же самое «содержание». Все, что мы можем знать, все, что нам нужно знать в научных целях, — это тождественность структурных отношений между *их* восприятиями структурным отношениям между *нашими* восприятиями. С этой точки зрения для физика слово «зеленый» служит не именем некоторого восприятия, а именем некоторой позиции в системе отношений, например в таблице цветов. По мнению Шлика, в развитой физической науке все слова типа «зеленый» заменены математическими выражениями; предложения чистой физики имеют совершенно формальный характер.

Но что же означают эти предложения? С одной стороны, мы находим у Шлика утверждение, что, будучи структурными, они не могут выражать ничего, кроме структур, представляющих собой нечто общественное и интерсубъективное. В то же время Шлик не забывает и об изречении, гласящем, что форма без содержания пуста. Поэтому мы можем найти у него и утверждение, что голый каркас научной системы, чтобы стать наукой, располагающей реальным знанием, должен быть заполнен содержанием, а это достигается благодаря наблюдению («опыту») (см. ниже § 3.5). По его мнению, реальное знание, в отличие от математических

тождеств, должно каким-то образом отсылать к содержанию, хотя и не может упоминать его.

Это и инициировало переход от феноменализма к физикализму, а в какой-то мере и стало его сутью. Когда большинство членов Венского кружка отказались рассматривать предложения, выражающие непосредственный чувственный опыт, как окончательное оправдание всех фактических высказываний и перешли к физикализму, Шлик сначала остался на старых позициях и в 1934 году в официальном журнале кружка протестовал против физикализма и отстаивал феноменалистический анализ, которого придерживались прежде как он сам, так и другие члены группы. Его аргументы были таковы.

В попытке обеспечить твердые объективные основания для науки физикализм в качестве основных принимает протокольные высказывания вида: «М. М. наблюдал такой-то объект в такое-то время и в таком-то месте». Но, как возражает Шлик, между самим объектом и этим высказыванием остается место для всякого рода неправильностей и ошибок. В конечном счете, чтобы протокол был максимальное надежным, в качестве М. М. должен быть я сам, и даже тогда остается место для иллюзий и возможность искажений между моментом действительного события и последующим моментом занесения в протокол. В то время как общая цель обращения к протоколам заключалась в том, чтобы получить надежную исходную точку, выбор протокола становится в физикализме делом произвола. Защитники физикализма в этом вопросе прибегают к требованию согласованности протоколов с положениями, уже установленными в науке, считая надежными те протоколы, которые требуют наименьшего пересмотра установленных положений. Но согласованность не имеет никакого значения до тех пор, пока что-либо не установлено твердо; иначе вся система может оказаться совокупностью утверждений, согласованных между собой и тем не менее ложных. Кроме того истину нельзя установить путем подсчета предложений, нуждающихся в исправлении; если истинность предложений твердо установлена, то никакой принцип экономии не нужен. Предложения, точно описывающие непосредственный опыт, трудно формулировать, помимо прочих причин, еще и потому, что к моменту, когда они сформулированы, опыт оказывается уже прошедшим. Тем не менее описываемое ими может быть точным осуществлением предсказаний об опыте, и в этом смысле они более, чем какие-либо другие предложения, способны выражать нечто данное и несомненное. Как бы там ни было, что я чувствую, то я чувствую. В отличие от всех других синтетических предложений, которые следует подвергать проверке, предложения, описывающие непосредственный опыт, фактически оказываются вне сомнения. В соответствии с этим структура науки должна быть в конечном счете основана на таких предложениях как «здесь и теперь линии пересекаются» и «здесь и теперь красное соседствует с голубым», а не на предложениях типа "тот-то наблюдает такой-то физический объект".

Однако к 1935 году Шлик уже был склонен признать, что физикалистский язык представляет собой, во всяком случае, некоторый очень удобный способ испытания открытий науки. Физикализм способен, как считает теперь Шлик, дать полную картину мира; даже психологические факты можно выразить на его языке. Но и теперь принятие Шликом физикализма было осторожным и ограниченным. Он подчеркивал то, что Карнап лишь допускал, а именно что выразимость явлений опыта в физикалистской терминологии является лишь счастливым

случаем, а не необходимой характеристикой реальности, и, по-видимому, сохранил убеждение, что высказывания в терминах опыта в конечном счете эпистемологически более фундаментальны, чем физикалистские высказывания.

В свете взглядов Шлика на характер философии, значения, априори и протоколов в период его участия в Венском кружке не удивительно, что в это время его оппозиция догматической метафизике стала еще сильнее, чем раньше, и что даже то скромное место, которое он раньше оставлял для ограниченного реализма, теперь стало еще меньше. Никакое высказывание, которое в принципе не проверяемо в терминах чувственного опыта, не может быть осмысленным, утверждает он; априорные утверждения не дают никакого способа заглянуть в *неощущаемую реальность.* Делом науки является описательное обобщение, и не нужно никакого каузального «клея», чтобы связывать мир в единое целое. Нельзя с успехом отстаивать ни концепции витализма, ни концепции механистического детерминизма; природа научных законов сводится в основном к успешному предсказанию. Шлик даже иногда категорически отрицал существование каких-либо метафизических проблем и в характерном для логического позитивизма стиле утверждал, что все проблемы в принципе разрешимы.

Тем не менее в целом Шлик не заходил в отрицании метафизики так далеко, как другие логические позитивисты; в его работах до самого конца сохраняется своего рода реализм, утверждающий упрямство фактов по отношению ко всем преобразованиям нашей системы понятий и требующий, чтобы такая система всегда ориентировалась на факты. В очерке «Пространство и время в современной физике» Шлик поставил вопрос: существуют ли реально молекулы, электромагнитные поля и другие предполагаемые неощущаемые сущности, которые используются в науке, или они являются лишь удобными фикциями; и он отдает явное предпочтение первой точке зрения. Изредка уточняя свою позицию и полностью признавая, что в отличие от механической теории электромагнетизм имеет дело с основными понятиями, которые не поддаются восприятию, природа которых полностью лишена наглядности, он продолжает считать науку ответственной перед встречающимися ей фактами. Так, в ответ на обвинение коллег-позитивистов, склонных рассматривать научную истину как когерентность, что Шлик пытается сравнивать предложения с фактами, Шлик заявил, что именно это он и пытается делать. Шлик упорно противостоял конвенционализму в духе Эддингтона и других современных физиков и считал, что формы физики не являются чисто формальными, а всегда подразумевают неявные правила их применения к действительности, ограничивающие свободу нашего обращения с ними.

3.2.2 Первоначальный феноменалистический анализ Рудольфа Карнапа

Более умеренное, чем у Шлика, более обширное и систематическое изложение феноменализма было дано Рудольфом Карнапом в работе «Логическое построение мира», вышедшей в 1928 году и дополненной в том же году работой «Псевдопроблемы в философии».

В предисловии ко 2-му изданию «Логического построения мира» (1961) Карнап говорит: "Когда я сейчас читаю эти старые формулировки, я нахожу некоторые места, которые я сегодня сказал бы по-другому или бы даже совсем опустил. Но с

философской установкой, которая лежит в основе этой книги, я все еще согласен и сегодня"… И дальше в этом предисловии: "Сегодня я бы, скорее всего, принял бы в качестве основополагающих элементов не элементарные переживания (...), а нечто похожее на элементы Маха, что-то вроде чувственных данных..." (Иными словами, он продолжает занимать явную феноменалистскую позицию, и тот факт, что в дальнейшем он разрабатывал физикалистский подход, можно объяснить его принципом толерантности.) И в этой связи заслуживает осторожного отношения формулировка цели Карнапа как редукции всех высказываний и понятий к "непосредственному опыту" — речь у него идет об "элементарных переживаниях" (Elementarerlebnisse), тогда как "непосредственный опыт" — это другой, совсем не синонимичный термин — "unmittelbar Gegebene" (физикализм тоже хочет все свести к "непосредственному опыту" — проблема в том, как понимать этот опыт.)

Центральной проблемой в «Логическом построении мира» и в теории познания вообще, по мнению Карнапа, не является какая-либо метафизическая псевдопроблема, вроде реальности различного рода объектов или конфликта идеализма и реализма. Центральными проблемами не являются также ни

- психологическая проблема хронологического указания последовательных этапов процесса познания — несмотря на то, что теория познания должна проследить познание до самых его корней, ни
- логическая проблема природы отношения следования, хотя теория познания на каждом этапе должна рассматривать логические импликации.

Проблема заключается в проведении анализа, прослеживающего, начиная с объектов (на знание которых мы претендуем), шаг за шагом значение наших высказываний таким образом, чтобы в конечном счете надежно обосновать эти высказывания на эпистемологически элементарной основе; например, мое высказывание о сознании другого лица можно свести к высказываниям о моем наблюдении его поведения и в конечном счете обосновать в терминах высказываний о моем непосредственном опыте. В соответствии с этим в задачи теории познания входит, с одной стороны, исследование характера отношения, с помощью которого наши высказывания об объектах сводятся к более элементарным высказываниям, и, с другой стороны, указание основных этапов этого процесса.

Отношение, которым в первую очередь занимается теория познания — это дефиниционное отношение, в терминах которого наши сложные высказывания связываются цепочкой определений с эпистемологически элементарными высказываниями. На каждом этапе некоторый объект или тип объекта определяется, согласно соответствующим правилам перевода *у* в терминах чего-то более элементарного. Например, дроби можно определить в терминах целых чисел; простые числа как натуральные числа, имеющие в качестве делителей только себя и единицу; а гнев в терминах физических реакций . Эквивалентность, входящая в используемые определения, экстенсиональна в том смысле, что два переменных высказывания считаются эквивалентными, если одни и те же термины истинны для обоих; так что тот факт, что две части этого определения не эквивалентны интенсионально, не играет роли. Логическая основа требуемой цепи экстенсиональных определений была разработана Уайтхедом и Расселом (однако "исходные идеи" Рассела Карнап заменяет на "поперечные сечения потока восприятия").

Однако эпистемологическое отношение сведения к элементарным предложениям содержит не только экстенсиональные определения, так как поскольку цепь определений может вести в разных направлениях, нужен критерий того, что считать эпистемологически более фундаментальным. Вообще говоря, объект эпистемологически первичен по отношению к другому, эпистемологически вторичному, если второй познается через посредство первого. Таким образом, физические реакции другого лица, с моей точки зрения, эпистемологически предшествуют его гневу, хотя хронологически его гнев может предшествовать его физическим реакциям. Более специфические критерии эпистемологической первичности можно сформулировать в терминах уровней обоснованности и отсутствия ошибок. Высказывание, с помощью которого обосновывается другое высказывание, эпистемологически более первично, чем обосновываемое высказывание; и если в одном из эквивалентных высказываний можно установить отсутствие ошибок, возможность которых остается в другом, то первое эпистемологически первичнее второго. Так, например, поскольку мое высказывание о чьем-то гневе оправдывается высказыванием о его поведении и первое высказывание может возникнуть в результате ошибок, которые невозможны во втором, то мое высказывание о поведении другого лица эпистемологически более первичное, чем высказывание о его гневе.

Каковы же основные этапы в обосновательной цепи определений, посредством которой наши сложные высказывания прослеживаются до их эпистемологических оснований? Или, если начать с другого конца: каковы основные этапы построения или установления наших сложных высказыаний с помощью обосновывающих их определений, основанных на эпистемологически элементарном материале?

1. Основанием, на котором должна покоиться структура знания в целом, не являются, как иногда предполагают, основные психологические факты, общие для всех человеческих существ, так как утверждение таких фактов само должно опираться на менее объективные основания. Основными элементами являются скорее элементы непосредственного опыта в их индивидуальном единстве. Хотя такой опыт субъективен, его нельзя исключать, как солипсистский или как ограниченный рамками «я»; ибо понятие «я» является понятием класса, которое возникает только на более позднем этапе, а непосредственный опыт есть «данность», которая не зависит от этого сложного понятия. Однако сам опыт не может быть включен в логическую систему, так что должно быть найдено отношение, выразимое в терминах опыта и в то же время подходящее для целей логики. Таким отношением является отношение сходства в памяти, которое заключается в тождестве либо в близком сходстве запомненных элементов опыта. На этом отношении должна быть основана вся система знания и обосновывающего его анализа. Коль скоро дано это отношение, все, что требуется — это логическая цепь определений, в которой каждый более сложный термин вводится определением через более элементарные термины, опирающиеся в конечном счете на основное отношение сходства в памяти; иначе говоря, в которой каждое более сложное высказывание анализируется в терминах более элементарных высказываний, до тех пор пока не будет выявлено основное отношение сходства в памяти.

2. На базисном уровне опыта сходство в памяти дает следующие конструкции, каждая из которых покоится на предшествующей: области качеств, классы качеств, сходства качеств, классы ощущений, например зрительные ощущения,

различение индивидуальных и общих компонент опыта, зрительная перспектива, порядок цветов и временной порядок. В этой цепи элементов опыта конструкции зрительной перспективы и временной последовательности уже дают основу для материальных объектов, поскольку такие объекты могут быть образованы путем добавления цвета к движущимся точкам мира. Зримые предметы являются определенными частями зримого мира, возникающего в результате этой процедуры, хотя каждый такой предмет может быть сведен к своим базисным опытным элементам.

3. Над уровнем высказываний о физическом мире находится уровень высказываний об опыте других людей; эти последние высказывания в конечном счете переводимы на язык высказываний о физическом мире. Высказывания этого уровня строятся из наблюдений поведения других людей вместе с аналогиями, полученными из нашего собственного опыта, и они всегда сводимы к высказываниям в физических терминах о поведении.

4. Над уровнем высказываний о чужих сознаниях находятся высказывания о культурных и социальных отношениях, в свою очередь сводимые к высказываниям о чужих сознаниях. Эти высказывания, как и все остальные, в конечном счете основаны на высказываниях о непосредственном опыте и полностью определимы в терминах этих последних. Таким образом, физические объекты, чужие сознания и общества не являются реальными объектами в полном смысле этого слова; их можно назвать объектами, введенными с помощью определений для того, чтобы организовать наш опыт. Вышеизложенное не описывает, каким способом мы на самом деле приходим к нашим убеждениям, но зато описывает интерпретацию, к которой ведет обосновательный анализ знания.

Философы упорно ставили вопрос, являются ли объекты реальными в некотором смысле, отличном от указанного здесь, и это породило спор между реализмом, идеализмом и феноменализмом. Но заниматься этими ложными проблемами значит блуждать в тумане метафизики. Все, что можно сделать для выяснения значения высказывания или реальности объекта — это проследить высказывание об объекте до его опытных корней. Это не означает, что всякое осмысленное высказывание должно быть проверенным; это означает лишь, что всякое осмысленное высказывание должно быть таким, чтобы относительно него был по крайней мере мыслим некоторый способ его эмпирической проверки. Таким образом, поиски значения — это поиски определений, которые указывают способ проверки, а поиски реальности не имеют никакой ценности, если они не имеют в виду прослеживание такого способа.

Карнап пытается сконструировать мир из «исходных идей», связывая их «исходными отношениями». Как уже говорилось, в качестве исходных идей он выбирает не чувственные данные на манер Рассела, а поперечные сечения потока восприятия. Будучи «исходными», эти поперечные сечения не могут быть подвергнуты дальнейшему анализу. Те ингредиенты, которые мы обычно усматриваем в этих поперечных сечениях (сюда относятся, к примеру, цвета), сами должны быть составлены из этих поперечных сечений посредством исходного отношения «осознаваемого сходства».

Используя изобретенные им для этой цели оригинальные технические приемы, Карнап соединяет сегменты опыта в классы качеств на основе их осознаваемого сходства, а те в свою очередь — в классы чувственных данных. Как он пытается показать, два класса качеств принадлежат к одному классу чувственных данных,

если их связывает цепочка сходных элементов: например, любые два цвета могут быть связаны через промежуточные цвета, в то время как цвет и звук, между которыми нет такой связи, принадлежат к разным классам чувственных данных. Классы чувственных данных в свою очередь входят в «сенсорное поле», определяемое Карнапом в терминах размерностей. «Зрительное сенсорное поле» является сенсорным классом, имеющим пять размерностей, а «слуховое сенсорное поле» — сенсорным классом с двумя размерностями. В этой манере мы можем, считает Карнап, совершенно «формальным», или «структурным», способом определить качества: «красный» цвет, скажем, мы определяем как класс сходных элементов, занимающий определенное место в системе с пятью размерностями. Затем Карнап описывает (в самых общих чертах) процедуру, с помощью которой можно «формальным образом составлять» «вещи», учитывая их отличие от «качеств».

Такое формальное построение столкнулось со значительными трудностями; возможно, это послужило одной из причин, почему Карнап впоследствии никогда не возвращался к проекту, в общих чертах изложенному в "Aufbau". Однако более важной причиной было то, что его перестал удовлетворять исходный пункт этого построения; он понял, что общезначимый мир научного знания нельзя построить из структур индивидуального опыта.

3.3 Основные положения физикализма в Венском кружке

Обе группы, о которых шла речь выше, исходят из верификационного критерия значения, проводят резкое различие между эмпирическими синтетическими и априорными аналитическими высказываниями, считая все остальные высказывания бессмысленными; основной задачей философии они объявляют анализ и разъяснение языка науки и полагают, что лучшим методом разъяснения является построение и истолкование идеальных языков. Наконец, эти философы — воинствующие антиметафизики.

Наряду с тем, что в каждой группе взгляды отдельных философов отличаются друг от друга различными второстепенными особенностями, существует одно основное различие, резко отделяющее одну группу от другой. В то время как философы, защищающие феноменалистический анализ, утверждают, что чувственный опыт является эпистемологически основным и что выражающие его высказывания образуют фундаментальный язык, к которому сводятся все осмысленные высказывания, физикалисты полагают, что фундаментом всего знания являются наблюдения материальных вещей и что высказывания о наблюдениях составляют ядро языка, выражающего познавательно-осмысленные рассуждения.

3.3.1 Физикалистский анализ Рудольфа Карнапа

Несмотря на то, что Карнап вначале примыкал к феноменалистической разновидности анализа и далеко не первым из членов Венского кружка признал физикалистскую доктрину, он почти сразу после своего перехода к физикализму стал, по общему признанию, ведущим представителем физикалистской разновидности логического позитивизма. Однако, даже приняв физикализм,

Карнап неоднократно изменял свою трактовку этого направления, и основные изменения его учения, как правило, сопровождались соответствующим изменением взглядов большинства других представителей физикалистского направления логического позитивизма. Поэтому философию Карнапа после ее самой первой стадии можно рассматривать как представляющую не только некоторые положения, общие почти всем логическим позитивистам, а также более специфические положения, общие почти всем физикалистам, но и принципиальные изменения в физикализме 30-х годов. Для этого важно проанализировать его взгляды на метафизику и природу философского исследования, на критерий осмысленности, материальный и формальный модусы языка, структуру познания, вероятность и истинность.

3.3.1.1 Обращение к семиотике

Как последовательный логический эмпирист, Карнап в период физикализма, как и в ранний период, продолжает придерживаться своего основного положения, согласно которому единственными нетавтологическими высказываниями, имеющими смысл, являются эмпирические. Поэтому его враждебность ко всем формам метафизики не ослабевает. Примерно в период своего перехода на позиции физикализма он писал в одной из статей, что «логический анализ псевдовысказываний метафизики показал, что они вообще не являются высказываниями, а пустыми сочетаниями слов, создающими в силу обозначающих и эмоциональных ассоциаций ложную видимость того, что они являются высказываниями». В «Логическом синтаксисе языка» он подобным же образом заявляет: «Предложения метафизики суть псевдопредложения, которые при логическом анализе оказываются или пустыми фразами, или фразами, нарушающими правила синтаксиса». В «Единстве науки» Карнап пишет: «Что касается сущности Универсума, Реальности, Природы, Истории и т.д., мы не даем никаких новых ответов, а отвергаем сами вопросы, которые являются вопросами лишь по видимости». В своей работе «Философия и логический синтаксис» Карнап рассматривает метафизику как некоторую разновидность обманчивой поэзии, «дающую иллюзию знания, не давая в то же время никакого действительного знания». В более поздних работах Карнап не считает необходимым возобновлять критику метафизики, однако достаточно очевидно, что все его возражения против нее остаются в силе, поскольку «обычные онтологические вопросы о «реальности» (в метафизическом смысле) остаются «псевдовопросами, не имеющими познавательного содержания».

Однако для Карнапа отрицание метафизики не означает, как, например, для Витгенштейна, отрицания философии. Совершенно независимо от метафизики, с которой ее очень часто смешивали, философия имеет свои задачи. Эти задачи в основном сводятся к анализу языка науки. Такой анализ лучше всего проводить путем построения идеальных языков, в терминах которых результаты науки могут быть формализованы так, что адекватным образом раскроется их логический характер; даже естественные языки «лучше всего представлять и исследовать, сравнивая их с (искусственно) построенным языком, который будет служить основой для сравнения». Вначале Карнап думал заняться исключительно развитием и обоснованием искусственных языков. Даже тогда, когда многие аналитические философы обратились к другим методам, Карнап, признавая теперь законность и полезность этих методов, продолжает считать, что лучше

построить искусственный язык науки — настолько полный, что значение любого символа в нем было бы недвусмысленно ясным даже независимо от контекста.

В начале рассматриваемого периода философская проблема анализа языка науки выступала для Карнапа как проблема *синтаксиса* научного языка. Поскольку эмпирический факт относится к области науки, задачей философии не является обнаружение новых фактов. Она связана скорее не с фактами, а с логикой, и в частности с логикой науки. Но поскольку логика в основном является синтаксисом языка, постольку философ должен исследовать «синтаксис языка науки». Так как часто думают, что философия включает в себя метафизику, то, вероятно, лучше сказать, что логика науки занимает место запутанного клубка проблем, известного под названием философии и что все философские проблемы, имеющие хоть какой-нибудь смысл, относятся к синтаксису. Философ должен формализовать и эксплицировать правила построения и преобразования языка науки, включая сюда не только исходные логические правила науки, но и те правила, к которым наука пришла в свете своих открытий в области эмпирических фактов. Полученная система должна быть здравой системой постулатов, в которой предложения и термины являются экстенсиональными, то есть отнесенными к объектам и функциям истинности, а не к свойствам и суждениям.

Некоторые философы возражают против только что указанного понимания философии на том основании, что чисто синтаксическая и экстенсиональная логика недостаточна и что логика требует анализа значения терминов. Однако вначале Карнап с этим не соглашался. Конечно, «если даны смыслы двух предложений, то тем самым решается вопрос, следует одно из них из другого или нет», но *«для того, чтобы определить, является или нет одно предложение следствием другого, не нужно прибегать к смыслу предложений. Достаточно, если задана синтаксическая структура этих предложений.* Все проблемы в логике сводятся, таким образом, к синтаксическим проблемам. Особая логика значения является излишней». Некоторые философы, основываясь на том, что, согласно Расселовой теории типов, ни один язык не может выразить своих собственных синтаксических правил, вообще сомневаются в ценности попыток сформулировать синтаксис языка. Однако Карнап полагал, что его «Логический синтаксис языка» показал как раз возможность такого выражения правил синтаксиса. Карнап не считает, однако, данную им самим формулировку определенных исходных языков для выражения научных фактов единственно возможной схемой формального языка. Уже в начале 30-х годов он выдвигает принцип толерантности, согласно которому «каждый может строить свою собственную логику, то есть свой собственный язык, как он хочет. От него только требуется... чтобы он четко сформулировал свои методы и дал синтаксические правила». Позднее, под влиянием возникшего у него интереса к прагматическим аспектам языка, Карнап заявляет: «Дадим тем, кто работает в любой специальной области исследования, свободу употреблять любую форму выражения, которая покажется им полезной; работа в этой области рано или поздно приведет к устранению тех форм, которые не имеют никакой полезной функции. *Будем осторожны в утверждениях и критичны в их исследовании, но будем терпимы в допущении языковых форм.*"

В конце 30-х годов Тарскому удалось убедить Карнапа, что синтаксис не является единственной основой логики и что для полного анализа логических связей нужно также учитывать и значения. Это обстоятельства отнюдь не заставило Карнапа отказаться от попытки построить формализованный язык науки; оно лишь

побудило его добавить к правилам построения и преобразования правила, управляющие значениями терминов, а же ввести другие дополнения в свою систему. Это нашло свое отражение в его работах «Введение в семантику» (1942) и «Формализация логики» (1943). Построение системы языка уже не является абсолютно свободным: оно в какой-то мере ограничивается смыслом, приписываемым терминам этого языка, и область смыслов, которые могут быть приписаны построенной системе, зависит от характера данной системы. Правила построения и преобразования в Карнаповой системе остаются по существу экстенсиональными в том смысле, что любое интенсиональное выражение, которое может появиться в системе, переводимо в экстенсиональное. Что же касается основных правил, на которые опирается логика, то переход от синтаксиса к семантике привел к существенным изменениям в них, поскольку логическая истинность теперь определяется не в синтаксических, а в семантических понятиях. Однако в отношении формального аналитического характера языка, в терминах которого, по мнению Карнапа, лучше всего эксплицируется логика науки, его взгляды по существу не изменились. Карнап доказывал Куайну, сомневающемуся в обоснованности различия между аналитическими и синтетическими высказываниями, что как бы ни обстояли дела в естественных языках, «постулаты значения» формальных систем достаточны для выделения и обоснования в них аналитических суждений.

После опубликования «Введения в семантику» Карнапово понимание системы формального языка, в терминах которого философия должна прояснять и эксплицировать язык науки, стало еще более широким признание значительной роли интенсиональной формы значения. Теперь Карнап в любом языковом выражении находит как экстенсионал, так и интенсионал. Интенсионалы требуются, помимо всего прочего, для введения логических модальностей, таких, как необходимость и невозможность. Экстенсионалом какого-либо имени или определенной дескрипции является именуемый или описываемый индивид, а интенсионалом — некоторое индивидуальное понятие. Экстенсионалом высказывания является истинностное значение этого высказывании, а интенсионалом — выражаемое им суждение. Экстенсионалом предиката является обозначаемый им класс, а интенсионалом — отличительное свойство членов данного класса. Любой экстенсионал можно выразить в терминах интенсионала, но не наоборот. Перевод как интенсионала, и экстенсионала на некоторый нейтральный язык даже лучше, чем перевод одного из них на другой, поскольку такой нейтральный перевод подчеркивает отсутствие какого бы то ни было метафизического смысла в различии экстенсиональной и интенсиональной форм значения и в то же время устраняет многие сложности в логике и языке. Карнап идет еще дальше и утверждает, что хотя интенсиональная форма значения не имеет следствий, связанных с сознанием, и может быть определена даже для робота, она необходима для понимания и употребления как языка здравого смысла, так и науки.

Принимая основные семиотические идеи Ч. Морриса, Карнап в работе «Введение в семантику» делит *семиотику*, или общую теорию знаков и языков, на три основные раздела: *прагматику, семантику* и *синтаксис*. Само это разделение обусловлено тем, что в употреблении языка можно выделить три основные фактора: *говорящего, произносимое выражение* и *десигнат выражения*, т.е. тот объект, на который говорящий намеревается указать при помощи выражения. Исследование способов употребления выражений говорящим относится к области

прагматики, исследование отношения между выражениями и теми объектами, на которые они указывают, – к области семантики, исследование же самих выражений и правил их построения – к области синтаксиса. Следовательно, «анализ языка в целом» должен учитывать все эти три измерения, а не ограничиваться исключительно областью синтаксиса. Многие из его более ранних исследований и анализов, по мнению Карнапа, оказались теперь неполными, хотя и правильными; необходимо дополнить их соответствующим семантическим анализом. Область теоретической философии больше не ограничивается синтаксисом, а охватывает анализ языка в целом, включая синтаксис, семантику и прагматику. При этом семантика и синтаксис, в свою очередь, делятся на *описательные* и *чистые*. *Описательные* синтаксис и семантика имеют дело с изучением исторических естественных языков (английского, французского и т.д.); они не представляют особенного интереса ни для логики, ни для философии. *Чистая* семантика и *чистый* синтаксис представляют собой общую теорию построения и анализа семантических и синтаксических систем, то есть определений, представленных в виде правил, и их аналитических следствий. Чистая, или *логическая семантика* занимается изучением отношения между семантическими системами и их формализациями в виде синтаксических исчислений, проблемой поиска адекватного определения понятий истины и логического следования, отношения обозначения между выражениями языковой системы и объектами, на которые эти выражения указывают, проблемами определения смысла языковых выражений, синонимии и аналитичности.

Объектный язык и метаязык. Обычно принято считать, что *язык* есть система звуков или, скорее, навыков производить их при помощи органов речи в целях коммуникации с другими людьми и оказания влияния на их действия, решения, мысли, эмоции и т.д. Помимо речевых звуков, для достижения аналогичных целей нередко используются и другие движения или предметы, например, жесты, письменные признаки, сигналы, производимые при помощи барабана и т.д. Карнап указывает, что с логической точки зрения понятие «языка» удобно принимать именно в этом широком смысле, поскольку это позволяет охватить все указанные выше системы средств коммуникации вне зависимости от того, какой материал они используют. В последующем, опираясь на это общее понятие языка, можно провести различие между разговорным языком, письменным языком, языком жестов и т.д. Из всех этих видов языков разговорный язык наиболее важен практически и, более того, в большинстве случаев он является основой всех прочих языков в том смысле, что все эти другие языки мы учим при помощи разговорного языка.

В согласии с Тарским Карнап различает *объектный язык* (object language), о котором идет речь в некотором контексте, и *метаязык* (metalanguage), на котором мы говорим о первом. Дело в том, что если мы изучаем или описываем некоторый язык L_1, то мы нуждаемся в некотором языке L_2 для того, чтобы фиксировать в нем результаты наших исследований или описаний. Тогда L_1 называют объектным языком, а L_2 — метаязыком. Соответственно, совокупное содержание того знания, которое может быть известно по поводу L_1 и выражено в L_2, называется метатеорией L_1 (в L_2). Если мы описываем на английском языке грамматическую структуру современного немецкого или французского языка, то немецкий и французский языки являются объектными языками, а английский язык, при помощи которого осуществляется описание – метаязыком. Любой язык может выступать в роли объектного языка; любой язык, обладающий выражениями,

позволяющими описывать свойства других языков, может быть метаязыком. Возможны случаи, при которых объектный язык и метаязык оказываются тождественными; это происходит тогда, когда мы, например, рассуждаем на английском языке об английской грамматике, литературе и т.д.

Экспликация. Идея о необходимости дополнить синтаксический анализ языка семантическим заставила Карнапа пересмотреть свои взгляды на философское значение подобного рода исследований. Отличительная черта «семантического этапа» его философской эволюции состоит в том, что, продолжая придерживаться свойственного всему аналитическому движению в целом понимания философии как аналитической деятельности, он видит ее основную задачу в уточнении ключевых семантических понятий. Задача уточнения неопределенного или не вполне точного понятия, употребляемого в повседневной жизни или употреблявшегося на более ранней стадии научного или логического развития, или, скорее, задача замещения его вновь построенным, более точным, понятием относится им теперь к числу самых важных логического анализа и логического конструирования. Подобного рода деятельность, направленную на прояснение определенных понятий, Карнап называет *экспликацией* (explication). С экспликацией приходится сталкиваться всякий раз, когда речь идет о замене хорошо известного, но содержательно неточного определения новым, точным понятием; при этом первое понятие называется *экспликандом* (explicandum), а второе – *экспликатом* (explicatum). Карнап характеризует процедуру экспликации следующим образом: «В ходе построения наших систем символического языка часто случается так, что новое, точно определенное понятие приходит на смену старому, но недостаточно точному понятию. Такое новое понятие называется *экспликатом* старого, а его введение – *экспликацией*».

При этом новое, точно определенное понятие должно соответствовать определенным критериям для того, чтобы служить надежной заменой старому, менее точному понятию. Наиболее важную роль играют четыре подобные критерия:

(1) сходства с экспликандом;

(2) точности;

(3) продуктивности;

(4) простоты.

Карнап считает, что прежде чем мы обратимся к главной проблеме, а именно, к тому, каковы требования, предъявляемые к удовлетворительному разрешению проблемы экспликации, т.е. к удовлетворительному экспликату, следует обратить внимание на тот способ, каким устанавливается проблема, т.е. как должен даваться экспликанд. Имеется известная склонность считать, что поскольку экспликанд не может быть дан в сколько-нибудь точных терминах, то не играет особой роли, как мы сформулируем проблему. Однако такой вывод был бы совершенно ошибочным. Даже хотя соответствующие термины и являются несистематическими и неточными, есть средства добиться относительно правильного понимания их подразумеваемого значения. Указание значения при помощи некоторых примеров для подразумеваемого употребления может способствовать пониманию.

Рассмотрим предложенные Карнапом требования более подробно.

(1) Требование, чтобы экспликат был подобен, — по своему смысловому значению, — экспликанду, означает, что экспликат должен быть в состоянии заменять экспликанд в большинстве контекстов употребления.

(2) Требование, чтобы экспликат был точно определен, означает, что правила, управляющие использованием экспликата, должны быть определены некоторым однозначным образом.

(3) Требование, чтобы экспликат был *продуктивным*, означает, что его формулировка должна допускать самые общие высказывания, насколько это возможно.

(4) Требование простоты означает, что экспликат должен быть простым настолько, насколько это позволяет учет других требований.

Надо отметить, что первое требование, предусматривающее, что значение термина, уточненного при помощи процедуры экспликации, т.е. экспликата, должно быть близким к значению исходного термина, который и подвергался уточнению, является важным, но не определяющим. Обусловлено это тем, что вовсе не требуется, как указывает сам Карнап, чтобы значение экспликата сколь возможно близко совпадало со значением экспликанда; достаточно того, чтобы экспликат соответствовал экспликанду таким образом, чтобы его можно было использовать вместо последнего. На этот счет Карнап пишет следующее: «Поскольку экспликанда является более или менее смутной, и конечно же, является более смутной, чем экспликат, очевидно, что мы не вправе требовать, чтобы два понятия полностью совпадали друг с другом». При этом, однако же, следует иметь в виду, что хотя трудно ожидать полного совпадения двух терминов по значению, тем не менее они должны быть взаимозаменимы по крайней мере в некоторых, специально оговоренных, контекстах употребления.

В результате вырисовывается следующая картина процедуры экспликации. Рассматривается область применения выражения ***u*** в обыденном языке, значение которого, собственно говоря, и подлежит уточнению, и значение этого выражения фиксируется при помощи предложения ψ. Область применения выражения ***u*** (можно зафиксировать его как «$\boldsymbol{u}_d$» для того, чтобы уточнить специфический смысл), не ясна во всех без исключения случаях, однако предполагается, что правила, управляющие экспликатом, $\boldsymbol{u}_t$, будут таковы, что ясные случаи, в которых применяется или не применяется, будут соответственно охватываться $\boldsymbol{u}_t$.

Например, понятие «горячее» употребляется во многих контекстах в обыденной речи. В результате анализа случаев употребления соответствующего выражения интересующие исследователя контексты его употребления выражаются в предложении метаязыка ψ. Это предложение в данном случае будет иметь следующее содержание: «Выражение «горячее, чем» ограничивается контекстами, в которых имеются в виду физические ощущения» или «X является более горячим, чем Y, тогда и только тогда, когда X и Y дают физическое ощущение тепла». Если экспликатом выражения «X более горячий, чем Y» является выражение «температура X выше, чем температура Y», то требуется доказать, что измерения температуры обеспечивают систематическую основу для определения экстенсионала экспликата. Кроме того, требуется, чтобы те очевидные случаи, в которых X является более горячим, чем Y, были случаями, в которых температура X была бы выше, чем температура Y, и чтобы те очевидные случаи, в которых X не является горячее, чем Y, были теми случаями, в которых температура X была бы меньше температуры Y или по крайней мере равнялась бы ей.

Знаки и выражения. Непрерывное произнесение (utterance) в языке, например, речь или книга, могут быть разделены на более мелкие единицы. Так, устная речь может быть разделена на предложения, предложения – на слова, а слова – на фонемы. В свою очередь, письменная речь может быть разделена на письменные предложения, предложения – на письменные слова, слова – на печатные буквы и т.д. В какой точке остановить это разделение – это дело произвольного выбора, зависящего от цели исследования. Когда речь об анализе языке идет абстрактно, обычно используют термин **«***знак***»** для того, чтобы обозначить предельные единицы выражений языка. Поэтому вопрос о том, что считать знаками, – слова, или буквы, или что либо еще, – остается открытым; его следует решать в зависимости от стоящих перед исследователем задач.

Под *выражением* языка имеется в виду любая конечная последовательность знаков этого языка, вне зависимости от того, является ли она осмысленной (meaningful) или нет. Таким образом все произнесения языка считаются имеющими линеарную форму. Это удобно, поскольку позволяет определить позиции, занимаемые знаками в выражении, путем перечисления. Выражение одного из обыденных языков, употребленное в разговоре (spoken utterance), представляет собой временную последовательность звуков; то же самое выражение, употребленное в письменной речи (written utterance), состоит из признаков, расположенных в линию; поэтому оба они могут считаться линеарными, т.е. составляющими одну последовательность.

Знаки-события и знаки-модели. Слово «знак» является достаточно двусмысленным. Оно означает иногда единичный объект или событие, а иногда – вид, к которому относится множество объектов. В первом случае Карнап предлагает использовать термин «знак-событие» (sign-*event*), во втором – «знак-модель» (sign-*design*). Так, слово «буква» и, соответственно, слова «слово», «предложение» и т.д., употребляется двумя различными способами; это можно проиллюстрировать следующими двумя рядами примеров.

1. «В восьмом слове этого параграфа встречается две буквы "s"»; «Вторая буква "s" в этом слове представляет собой окончание множественного числа».

2. «Буква "s" дважды встречается в слове "signs"»; « Буква "s" часто используется в английском языке в качестве окончания множественного числа».

В (1) мы говорим «много букв "s"» («many letters "s"»), во (2) – «буква "s"» («the letter "s"»), что указывает на то, что есть только одна буква "s"; следовательно, фраза «буква "s"» употребляется в двух различных смыслах. В (1) буква есть единичный предмет или событие, например, единица, состоящая из печатных знаков на бумаге или звукового события; поэтому она находится в определенной точке времени и в каждый момент времени своего существования она занимает определенное место. В (2), с другой стороны, буква есть не единичный предмет, но класс предметов, к которым могут относиться многие предметы, например, буква «s» есть тот класс печатных или написанных знаков, к которым относится класс всех S. Хотя в большинстве случаев из контекста ясно, о каком из двух значений идет речь, иногда полезно проводить различие между ними в явном виде. В подобного рода случаях Карнап предлагает использовать термин «*событие*» – или «буква-событие» и, соответственно, «слово-событие», «выражение-событие», «предложение-событие» и т.д. для значения (1), и термин «*модель*» – или «буква-модель» и, соответственно, «слово-модель», «выражение-модель», «предложение-модель» и т.д. для значения (2).

Разделы семиотики: прагматика, семантика и синтаксис. Наблюдая применение языка, мы наблюдаем организм, обычно человеческое существо, производящее звук, признак, жест или нечто подобное в качестве выражения для того, чтобы при его помощи указать на что-то иное, т.е. на объект. Таким образом, мы можем различить три фактора: говорящего, выражение, и то, на что это выражение указывает; это последнее Карнап называет *десигнатом* выражения. Например, мы говорим, что на немецком языке «Rhein» обозначает Рейн, и что Рейн является десигнатом «Rhein»; точно так же, как десигнатом «красный» («rot») является определенное свойство, а именно, красный цвет, десигнатом «меньше» – отношение, а десигнатом «температура» – функция и т.д. Нам нет необходимости заниматься одновременно говорящими и десигнатами. Важно то, что хотя эти факторы всегда задействованы при использовании языка, мы можем абстрагироваться от них при изучении языка. Соответственно, мы различаем три области исследования языков. Если исследование касается говорящего или, если выражаться в более общих терминах, лица, использующего язык, то исследование относится к области *прагматики*. Если мы абстрагируемся от лица, использующего язык, и анализируем только выражения и их десигнаты, то мы находимся в области *семантики*. И, наконец, если абстрагируемся также и от десигнатов и анализируем только отношения между выражениями, то мы находимся в области (логического) синтаксиса.

Исследование, метод, понятие, касающиеся выражений языка, называются *формальными*, если при их применении ссылка делается не на десигнаты выражений, но только на их форму, т.е на виды знаков, встречающиеся в выражении и на порядок, в котором они встречаются. Следовательно, все, что представлено формальным способом, относится к *синтаксису*. Нетрудно увидеть, что можно сформулировать правила для построения предложений, так называемые *правила построения* (rules of formation) строго формальным способом. На первый взгляд можно бы подумать, что синтаксис будет ограничиваться формулировкой и исследованием правил этого вида и, следовательно, будет представлять собой довольно скудную область. Однако в дополнение к правилам построения, правила дедукции также могут быть сформулированы формальным способом и, следовательно, – в рамках синтаксиса. Это можно сделать так, что эти правила приведут к тем же самым результатам, что и семантические правила логической дедукции. Подобным образом можно представить логику в синтаксисе.

Карнап отмечает, что представление определенных понятий или процедур формальным способом и, следовательно, в рамках синтаксиса иногда называется *формализацией*. Формализация семантических систем представляет собой построение соответствующих синтаксических систем.

Семантика и ее проблемы. В предисловии к «Введению в семантику» Карнап отмечает, что что для анализа науки, помимо чисто «формального» анализа языка, требуется также анализ сигнификативной функции языка, то есть теория значения и интерпретации. Этот раздел философского анализа языка называется логической семантикой. Семантика, по Карнапу, содержит «не только теорию обозначения (designation), т.е. отношения между выражениями и их значением», но также и «теорию истины и теорию логической дедукции». «*Семантика*, – говорит он, – содержит теорию того, что обычно называется значением выражений и, следовательно, включает в себя исследования, приводящие к созданию словаря, переводящего объектный язык в метаязык. Однако мы увидим,

что теории на первый взгляд совершенно иной области также относятся к семантике, например, теория истины и теория логической дедукции. Оказывается, что истина и логическое следствие являются понятиями, основанными на отношении обозначения и, следовательно, семантическими понятиями».

В рамках самой семантики Карнап проводит различие между «описательной» семантикой и «чистой» семантикой. *Описательная семантика* занимается описанием и анализом семантических свойств исторически данных языков, например, французского, или всех исторически данных языков вообще. Первая будет *специальной* описательной семантикой; вторая – *общей* описательной семантикой. Итак, описательная семантика описывает факты; она является эмпирической наукой. С другой стороны, мы можем установить систему семантических правил, безразлично, тесно связанную ли с исторически данным языком или изобретенной; мы называем ее *семантической системой*. Построение и анализ семантических систем называется *чистой семантикой*. Правила семантической системы *S* составляют определение определенных семантических контекстов относительно *S*, например, «обозначение в *S*» и «истинно в *S*». Чистая семантика состоит из определений этого вида и их следствий; поэтому в отличие от описательной семантики чистая семантика является всецело аналитической и не имеет фактического содержания.

Соответственно, синтаксис также разделяется Карнапом на *описательный* и *чистый синтаксис*, а эти последние – на *специальный* и *общий* синтаксис. Описательный синтаксис представляет собой эмпирическое исследование синтаксических особенностей данных языков. Чистый синтаксис имеет дело с синтаксическими системами. Синтаксическая система (или исчисление) *K* состоит из правил, которые определяют синтаксические понятия, например, «предложение в *K*», «доказуемо в *K*», «выводимо в *K*» и т.д. Чистый синтаксис содержит предложения метаязыка, которые следуют из этих определений. Как в семантике, так и в синтаксисе отношение между чистой и описательной областями подобно отношению между чистой или математической геометрией, которая является частью математики и в силу этого имеет аналитический характер, и физической геометрией, которая является частью физики и в силу этого имеет эмпирический характер.

Время от времени обсуждается вопрос, зависят ли семантика и синтаксис от прагматики или нет. Ответ, который дает на этот вопрос Карнап, заключается в следующем: в одном смысле семантика и синтаксис зависят от прагматики, в другом – нет. Описательные семантика и синтаксис основаны на прагматике. Предположим, что мы хотим изучить семантические и синтаксические свойства определенного эскимосского языка, который прежде не исследовался. Ясно, что первоначально нет иного пути, кроме наблюдения речевых привычек людей, употребляющих язык. Только после открытия при помощи наблюдения того прагматического факта, что люди имеют привычку использовать слово «igloo» в тех случаях, когда они намереваются указать на дом, мы оказываемся в состоянии выдвинуть семантическое высказывание «”igloo” означает (обозначает) дом» и синтаксическое высказывание «”igloo” есть предикат». Подобным образом все знание в области описательной семантики и описательного синтаксиса основывается на предшествующем знании в прагматике. *Лингвистика*, в самом широком смысле этого слова, является той отраслью науки, которая включает в себя все эмпирические исследования, касающиеся языков. Она есть описательная,

эмпирическая часть семиотики (устных или письменных языков); следовательно, она состоит из прагматики, описательной семантики и описательного синтаксиса. Однако эти три части не находятся на одном уровне; *прагматика есть основа всей лингвистики*. Это, однако, не означает, что в рамках лингвистики исследователи обязаны ссылаться на лиц, использующих соответствующий язык. Коль скоро семантические и синтаксические особенности языка были установлены при помощи прагматики, мы можем больше не обращать внимания на лиц, употребляющих язык и сосредоточить его на этих семантических и синтаксических особенностях. Так, например, два упомянутые выше высказывания больше уже не содержат явных прагматических ссылок. В этом смысле описательные семантика и синтаксис являются, строго говоря, частями прагматики.

С чистой семантикой и чистым синтаксисом дело обстоит по-иному. Эти области не зависят от прагматики, т.е. от использования языка его носителями. «Здесь мы даем определения некоторых понятий, обычно в форме правил, и изучаем аналитические следствия из этих понятий. При выборе правил мы совершенно свободны. Иногда мы можем руководствоваться в данном выборе рассмотрением данного языка, то есть, прагматическими фактами. Однако это имеет отношение исключительно к мотивации нашего выбора и никак не связано с правильностью результатов нашего анализа правил». Философски релевантные исследования языка, по признанию Карнапа, связаны именно с *чистой семантикой* и *чистым синтаксисом*.

Предметная область чистой семантики и чистого синтаксиса оказывается ограниченной и еще в одном отношении по сравнению с семиотикой в целом. Эти две дисциплины исследуют *исключительно повествовательные предложения* (declarative sentences), оставляя за своими рамками предложения всех прочих видов, т. е. вопросы, императивы и т.д. Следовательно, они касаются только тех языковых систем (семантических систем), которые состоят из повествовательных предложений. Поэтому терминология логической семантики должна, по Карнапу, пониматься в этом ограниченном смысле; «предложение» – как «повествовательное предложение», «язык» – как «язык (система), состоящая из повествовательных предложений», «английский язык» – как «та часть английского языка, которая состоит из повествовательных предложений», «интерпретация предложения исчисления» – как «интерпретация предложения как повествовательного предложения» и т.д.

Семантические категории выражений языка. Выражения языка делятся на классы в зависимости от видов объектов, которые они обозначают. Эти классы принято называть *семантическими категориями*. Карнап приводит список основных видов знаков, употребляемых в языке, и видов сущностей, обозначенных этими знаками. Знаки включают в себя

- «*индивидные константы*» (individual constants),
- «*предикаты 1-ой степени*» (predicates of degree I) и
- «*предикаты 2-ой и более высокой степени*» (predicates of degree 2 and higher),

которым соответствуют в качестве «обозначенного»

- «*индивиды*» (individuals),
- «*свойства*» (properties) и

- «*отношения*» (relations).

Кроме того, для комбинации знаков, составляющих определенное «*предложение*» (sentence), имеется соответствующая «*пропозиция*» (proposition); при этом предложение обозначает пропозицию. Наконец, к основным видам знаков относятся также «*функторы*» (functors), обозначающие «*функции*» (functions) (Примеры *функторов*: «prod», «temp»; «prod (*m*, *n*)» обозначает произведение *m* и *n*, «temp (*x*)» обозначает температуру тела *x*). Отметим, что все «обозначенное» – «индивиды», «свойства», «отношения», «функции» и «пропозиции» – он называет «*сущностями*» (entity).

Индивидные знаки обозначают индивидов соответствующей области объектов; они принадлежат к нулевому *уровню*. Их свойства и отношения, а также *предикаты*, при помощи которых они обозначаются, принадлежат к первому уровню. *Атрибут* (т.е. свойство или отношение), приписываемое чему-либо на уровне *n*, и предикат, его обозначающий, принадлежит уровню $n + 1$. Предикат *степени* I (называемый также одноместным предикатом) обозначает свойство; предикат степени *n* (*n*-местный предикат) обозначает *n*-адическое отношение, т.е. отношение, которое имеет место между *n* членов.

Определение имеет форму «. . . $=_{Df}$ - - -»; это означает: «". . ." должно быть взаимозаменимо с "- - -"». Иногда вместо « $=_{Df}$ » используется « $\equiv$ » для предложений или « = » для других выражений. «. . .» называется *дефениендумом*, «- - -» – *дефиниенсом*.

Классификация предложений.

- *Атомарные предложения* суть те, которые не содержат ни связок, ни переменных (например, «R(a, b)», «b = c»);
- *молекулярное* предложение – это предложение, которое не содержит переменных, но состоит из атомарных предложений (именуемых его *компонентами*) и связки (например, «~P(a)», «A $\vee$ B»);
- *общее* предложение – это предложение, которое содержит переменные (например, «($\exists x$)P(x)»).

В предложении формы «(x) (...)» или «($\exists x$) (...)» или в выражении формы «(λx) (... x ...)», «(x)», «($\exists x$)» и «(λx)» называются *операторами* (operator) (общности, существования и ламбда-оператором, соответственно); «...» называется *операндой* (operand), относящейся к оператору. Переменная, стоящая в определенном месте в выражении, называется *связанной* (bound), если она стоит на этом месте в операторе или в операнде, оператор которой содержит ту же самую переменную; в противном случае она называется *свободной* (free). Выражение называется *открытым* (open), если оно содержит свободную переменную; в противном случае оно называется *замкнутым* (closed). (Класс предложений называется замкнутым, если все его предложения являются замкнутыми; это понятие надо отличать от понятия класса, замкнутого в известном отношении). Открытое выражение будет именоваться также *выразительной функцией* (expressional function); и, более того, выразительной функцией степени *n*, если множество входящих в него в качестве свободных различных переменных равно *n*. Выразительная функция такая, что она или закрытые выражения, построенные из нее путем замещения, являются предложениями, называется *сентенциальной функцией* (sententional function).

Карнап указывает далее, что из знаков, обозначающих сущности, мы сперва строим *атомарные предложения*, а из этих последних при помощи связок, в свою очередь, – *молекулярные предложения*, генерализации, теории и т.д. Число предложений в подобных семантических системах бесконечно. Так обстоит дело практически со всеми семантическими системами, с которыми нам приходится иметь дело, и в особенности в естественными языками. Связки обычно вводятся при помощи *таблиц истинности* (truth-tables). Обычные таблицы истинности представляют собой не что иное, как семантические правила истинности в форме диаграмм. Их функция заключается в том, чтобы давать строгие определения логических связок «и», «или» и т.д. Истинность атомарных предложений обусловлена тем, объединяются ли в действительности «сущности» таким же путем, как и знаки в соответствующем предложении, а истинность других, производных предложений зависит исключительно от истинностных значений входящих в них атомарных предложений и характера связи между ними.

Семантическая система. Под *семантической системой* (или интерпретированной системой) Карнап понимает такого рода систему правил, сформулированную на метаязыке и относящуюся к объектному языку, что правила определяют *условия истинности* для каждого предложения объектного языка, т. е. достаточные и необходимые условия его истинности. Предложения *интерпретируются* с помощью правил и тем самым становятся понятными, так как понять предложение, знать, что им утверждается, — то же самое, что и знать, при каких условиях оно было бы истинным. Сформулируем это иначе: правила определяют *значение* предложений. Истинность и ложность называются *истинностными значениями* предложений. Знания условий истинности предложения в большинстве случаев недостаточно для знания его истинностного значения, однако оно представляет собой исходную точку для поиска истинностного значения предложения. Например, Пьер говорит: «Mon crayon est noir» (A_1). Зная французский язык, мы понимаем предложение A_1 лишь формально, переводя его словами: «Мой карандаш черен». Дело в том, что мы можем понимать предложение, не зная в то же самое время его *истинностного значения*. Наше понимание A_1 заключается в данном случае в знании его условия истинности; мы знаем, что A_1 истинно тогда и только тогда, когда определенный объект, карандаш Пьера, имеет определенный цвет, а именно черный. Это знание условия истинности A_1 дает нам знать, что мы должны делать для того, чтобы определить истинностное значение A_1, т.е. для того, чтобы установить, является ли A_1 истинным или ложным.

Каким образом можно определить условия истинности для предложений какой-либо системы? Здесь возможны два основных варианта.

- Если система содержит конечное число предложений, то мы можем дать исчерпывающий список условий истинности – по одному на каждое предложение. Так обстоит дело, например, с обыкновенным телеграфным кодом. Код переводит каждое предложение по отдельности и тем самым интерпретирует его. Такие примитивные семантические системы, содержащие конечное число предложений, Карнап называет *кодовыми*.
- Если же система содержит бесконечное число предложений, то условия истинности могут быть заданы только формулированием общих правил. Такие системы Карнап называет *языковыми*.

В то время как кодовая система перечисляет условия истинности по отдельности для каждого предложения, языковая система дает общие правила для выражений, входящих в предложения, причем таким способом, что условие истинности для каждого предложения определяется правилами для выражений, из которых предложение состоит. Как подчеркивает Карнап, в случае с языковой системой, состоящей из бесконечного числа предложений, возможна только вторая форма задания условий истинности, а именно с помощью общих правил, поскольку мы не можем сформулировать бесконечное число правил для каждого отдельного предложения.

Например, мы строим семантическую систему S_1, выбирая для этого семь знаков: три индивидные переменные, A_1, A_2, A_3, два предиката – B_1 и B_2 и знаки скобок "(" и ")". Предложениями системы S_1 являются выражения формы B(A). Условия истинности задаются по отдельности для каждого предложения при помощи следующих правил:

1. B_1 (A_1) истинно, если и только если Чикаго большой город.
2. B_1 (A_2) истинно, если и только если Нью-Йорк большой город.
3. B_1 (A_3) истинно, если и только если Кэрмел большой город.
4. B_2 (A_1) истинно, если и только если Чикаго имеет гавань.
5. B_2 (A_2) истинно, если и только если Нью-Йорк имеет гавань.
6. B_2 (A_3) истинно, если и только если Кэрмел имеет гавань.

На основании системы S_1 строится система S_2, которая представляет собой обобщение первой; построение осуществляется за счет формулировки пяти частных правил обозначения, каждое из которых выделяет десигнат одного из пяти основных знаков, и одного общего правила для условий истинности предложений:

1. A_1 обозначает Чикаго.
2. A_2 обозначает Нью-Йорк.
3. A_3 обозначает Кэрмел.
4. B_1 обозначает свойство быть большим городом.
5. B_2 обозначает свойство иметь гавань.
6. Предложение B_i (A_j) истинно тогда и только тогда, когда десигнат A_j имеет десигнат B_i (т.е. тогда, когда объект, обозначенный A_j, имеет свойство, обозначенное B_i).

Системы S_1 и S_2 содержат одни и те же предложения, и каждое предложение имеет одно и то же условие истинности (интерпретацию, значение) в обоих системах. Следовательно, эти две системы подобны, и различаются исключительно способом применения правил обозначения и истинности; в S_1 это кодовая система, а в S_2 – языковая.

Отсюда становится ясно, что семантическая система строится в четыре этапа: сперва дается *классификация знаков*, затем устанавливаются *правила построения* (rules of formation), потом – *правила обозначения* (rules of designation) и, наконец, *правила истинности* (rules of truth). При помощи правил построения системы *S* определяется термин «предложение системы *S*»; при помощи правил обозначения

определяется термин «обозначение в *S*»; при помощи правил истинности определяется термин «истинно в *S*». Определение термина «истинно в *S*» является главной целью всей системы *S* в целом; остальные определения имеют характер предварительных этапов, позволяющих достичь этой главной цели. На основании понятия «истинно в *S*» можно определить, – относительно системы *S*, – другие семантические понятия. Например, простейшим из подобного рода семантических понятий является определение ложности: предложение A_1 системы *S ложно* в $S =_{Df} A_1$ не истинно в *S*. (При этом следует иметь в виду, что правила обозначения не делают фактических утверждений о том, что собой представляют десигнаты определеленных знаков. В чистой семантике отсутствуют фактические утверждения. Правила просто устанавливают соглашения в форме определения «обозначение в *S*»; это происходит путем перечисления случаев, в которых имеет место отношение обозначения. Причем иногда термин «обозначение» используется также для сложных выражений и даже для предложений. В этом случае правила обозначения определяют путем перечисления предварительный термин «непосредственное обозначение», а затем с его помощью рекурсивно определяется более общий термин «обозначение»).

В семантических дискуссиях термин «*истинно*» используется Карнапом преимущественно по отношению к предложениям и системам предложений. Он не отрицает, что этот термин может применяться аналогичным образом также и к пропозициям как десигнатам предложений; однако это употребление не встречается в его рассуждениях. «Мы используем здесь, – говорит Карнап, – этот термин в таком смысле, что *утверждать, что предложение является истинным, означает то же самое, что и утверждать само предложение*; например, два высказывания. Предложение "Луна есть круглая" истинно» и «Луна есть круглая» представляют собой просто две различные формулировки одного и того же утверждения. При этом он подчеркивает, что в этом случае два высказывания означают то же самое в логическом или семантическом смысле; ясно, что с точки зрения прагматики практически всегда две различные формулировки имеют различные особенности и различные условия применения; с точки зрения прагматики различие между этими двумя высказываниями состоит в акценте и эмоциональной функции.

Указанное решение относительно термина «истинно» само по себе не является определением термина «истинно». Скорее оно представляет собой стандарт, при помощи которого мы судим, является ли определение истины адекватным, т.е. соответствующим нашему намерению. Если определение предиката B_i – например, слов «истинно», или «обоснованно» или любых иных произвольно выбранных знаков, – предлагается в качестве определения истины, то мы примем его в качестве адекватного определения истины тогда и только тогда, когда на основе этого определения, предикат B_i удовлетворяет отмеченному выше условию, а именно, что он производит (yields) предложения типа «"Луна круглая" есть ... тогда и только тогда, когда луна круглая», где предикат B_i должен быть поставлен на место «...». Это приводит к следующему определению D7-A.

> **D7-A**. Предикат B_i является *адекватным* предикатом (а его определение – адекватным определением) для понятия *истины* в рамках определенного класса предложений $\mathfrak{R}_j =_{Df}$ каждое предложение, которое построено из сентенциальной функции «*x* есть *F* тогда и только тогда, когда *p*» путем

замены «*F*» на B_i, «*p*» на любое предложение $\wp_k$ в $\Re_j$, и «*x*» – на любое имя (синтаксическое описание) из предложения $\wp_k$, следует из определения B_i.

Например, пусть класс предложений $\Re_j$ содержит предложение «Чикаго – город». Пусть «$\wp_1$» будет именем этого предложения. Предположим, что кто-то вводит слово «verum» в английский язык при помощи определения D. Для того, чтобы применить D7-A, мы должны исследовать все предложения, построенные способом, указанным в D7-A. Заменив «*F*» на «verum», «*p*» на «Чикаго – город» и «x» – «$\wp_1$», получим: «$\wp_1$ истинно (verum) тогда и только тогда, когда Чикаго – город». Если наше исследование приведет к такому результату, что D таково, что это и все аналогичные предложения следуют из D, то в соответствии с D7-A, то мы назовем «verum» адекватным предикатом для истины и предложенное определение D – адекватным определением истины.

D7-A представляет собой простейшую форму определения адекватности; оно указывает исключительно на такой особенный случай, когда предложения, к которым применяется предикат, обозначающий понятие истины, принадлежат к тому же самому языку, что и сам предикат – иными словами, когда объектный язык является тем же самым, что и метаязык или же составляет часть последнего. Однако обычно объектный язык *S* и метаязык *M* отличаются друг от друга. В этом случае применяется более общее определение адекватности, предложенное Тарским.

> **D7-B**. Предикат B_i в *M* является *адекватным* предикатом (а его определение – адекватным определением) для понятия *истины* в рамках объектного языка $S =_{Df}$ из определения B_i следует каждое предложение в *M*, построенное из сентенциальной функции «*x* есть *F* тогда и только тогда, когда *p*» путем замены «*F*» на B_i, «*p*» – на перевод любого предложения $\wp_k$ в *S* на *M*, и «*x*» – на любое имя (синтаксическое описание) предложения $\wp_k$.

Например, пусть имеется некоторая семантическая система *S*, которая является частью немецкого языка, и содержит помимо прочих предложение «Der Mond ist rund». Пусть «$\wp_2$» будет именем этого предложения. В качестве метаязыка *M* мы принимаем русский язык. Переводом предложения $\wp_2$ на *M* является предложение «Луна круглая». Предположим, что предложено определение D_2 для знака «T» и что мы желаем выяснить, является ли D_2 адекватным определением истины относительно *S* как части немецкого языка. Согласно D7-B, одно из исследуемых предложений построено путем замены «*F*» на «T», «*p*» – на перевод «Луна – круглая», и «*x*» – на «$\wp_2$». В результате получили предложение «$\wp_2$ есть T тогда и только тогда, когда луна круглая». Если это и все аналогичные предложения оказываются следующими из определения D_2 для «T», тогда D_2 есть адекватное определение, и «T» – адекватный предикат для истины в *S*.

Карнап отмечает, что понятие истины в вышеуказанном смысле, – его можно назвать *семантическим понятием истины*, – принципиально отличается от понятий типа «убежден», «верифицировано», «в высокой степени подтверждено» и т.д. Отличие состоит в том, что последние понятия относятся к прагматике и требуют указания на определенное лицо, их употребляющее.

Например, имеются три предложения «На луне нет атмосферы» ($\wp_1$); «$\wp_1$ истинно» ($\wp_2$); «$\wp_1$ подтверждается в очень высокой степени учеными в настоящее время» ($\wp_3$). $\wp_2$ говорит то же самое, что и $\wp_1$; $\wp_2$ является, как и $\wp_1$,

астрономическим высказыванием и должно, как и $\wp_1$, проверяться астрономическими наблюдениями Луны. С другой стороны, $\wp_3$ есть историческое высказывание; оно должно проверяться историческими, психологическими наблюдениями поведения астрономов.

Согласно Тарскому, С. Лесьневский был первым, кто сформулировал точное требование адекватности для определения истины в простейшей форме D7-A, приведенной выше (в неопубликованных лекциях, начиная с 1919 года); сходные формулировки имеются в книге по теории знания, опубликованной Т. Котарбиньским на польском языке в 1926 году. Ф. П. Рамсей в своей рецензии 1923 года на "Трактат" Витгенштейна дает схожую формулировку: «Если мысли или пропозиция в виде токена «*p*» утверждает *p*, то она называется истинной, если *p*, и ложной, если ~*p*»[6]. Сам Тарский дал определение адекватности в более общей форме, напоминающей указанное выше определение D7-B (его «Конвенция Т»). Кроме того, он дал первое точное определение истины для определенных формализованных языков; его требование удовлетворяет требованиям адекватности и одновременно избегает антиномий, связанных с неограниченным использованием понятия истины, в частности, в повседневном языке. В той же самой работе [Wahrheitsbegriff] Тарский приходит к очень ценным результатам благодаря своему анализу понятия истины и связанных с ним семантических понятий.

Отмеченное требование отнюдь не является новой теорией или понятием истины. Котарбиньский уже отмечал, что это – старая классическая концепция, которая восходит к Аристотелю. Новая особенность заключается исключительно в более точной формулировке требования. Тарский далее утверждает, что данная характеристика находится также в согласии с обычным употреблением слова «истинный». Как известно, вершиной этой линии стал Дональд Дэвидсон.

Отношение обозначения. В качестве центрального понятия семантики Карнап выделяет *отношение обозначения* (the relation of designation), при котором знак или языковое выражение представляет то, что он обозначает. Поэтому *знаки* (signs) Карнап предлагает отличать от объектов, которые они обозначают; эти последние он именует *десигнатами* (designata). Для обозначения того, что собой представляют объекты, обозначаемые или представляемые знаками, Карнап выбирает предельно широкое по своему объему понятие «сущность». В работе «Значение и необходимость» он характеризует «сущности», которые обозначаются знаками, следующим образом: «Термин «*сущность*» (entity), – пишет Карнап, – часто употребляется в этой книге. Я отдаю себе отчет во всех связанных с ним метафизических ассоциациях, но я надеюсь, что читатель сможет отрешиться от них и будет понимать это слово в том простом смысле, что в котором оно понимается здесь, – как общее обозначение для свойств, пропозиций и других интенсионалов, и для классов, индивидов и других экстенсионалов, – с другой стороны. Мне кажется, что в английском языке нет другого подходящего термина с такой широкой областью применения»[7].

Одной из центральных проблем, связанных с отношением обозначения, является вопрос о том, к каким знакам или выражениям семантической системы *S* возможно и допустимо применять отношение обозначения? Обычно оно применяется к *индивидным константам* и *предикатам* различных уровней и степеней. Кроме того,

[6] Ramsey F.P. Foundation of Mathematics. P. 275.
[7] Карнап Р. Значение и необходимость. М., ИЛ, 1954. С.22.

оно может применяться к любого вида *функторам*, встречающимся в рамках семантической системы *S*. Однако Карнап утверждает, что существует возможность так расширить область применения отношения обозначения, что оно распространиться на знаки и выражения семантической системы *S* всех тех типов, для которых имеются переменные в метаязыке, даже если к их числу относятся типы предложений и типы сентенциальных связок. В качестве метаязыка в таком случае обычно используется какой-то естественный язык (например, английский или немецкий), дополненный переменными, включая пропозициональные переменные. Вместо того, чтобы писать «*u* обозначает *v* в S» Карнап предлагает писать «Des_s (*u*, *v*)» или просто «Des (*u*, *v*)» в тех случаях, когда по контексту ясно, о какой семантической системе идет речь.

Как отмечает Карнап, наибольшее возражение встречает широкое использования отношения обозначения и в особенности его применение к отношению между предложениями и пропозициями. Утверждается, что в то время как объектные имена (индивидные константы) и предикаты и в самом деле что-то обозначают, а именно объекты, свойства и отношения, предложение ничего не обозначает; скорее оно что-то описывает или утверждает, что что-то имеет место. Быть может это действительно так по отношению к общепринятому употреблению слов «обозначение», «обозначать» и т.д. в обыденном языке. Понятно, что утверждение «P(a) обозначает Чикаго – большой» не вполне согласуется с обычным словоупотреблением; то же самое касается и соответствующих предложений в языках со сходной структурой. Во-первых, русский (в данном случае) язык не позволяет помещать предложение в положение грамматического объекта. Это трудность, однако же, нетрудно обойти, поставив частицу «что» перед словом «обозначает». Во-вторых, даже в подобных случаях термин «обозначает» обычно не используется. Однако эти соображения не представляются Карнапу убедительными доводами против расширенного использования выражения «обозначать» в качестве технического термина. Дело в том, что при перемещении слова из обыденного языка в язык науки область его применения нередко расширяется. Единственным критерием разрешения спорных ситуаций является в этом случае критерий практической целесообразности; и решение зависит главным образом от того, является ли сходство между случаями обычного применения и новыми случаями достаточно значительным для того, чтобы расширение области применения термина выглядело естественно.

В отношении некоторых типов, к которым Карнап применяет отношение обозначения, время от времени поднимался вопрос, каковы в точности виды десигнатов одного типа или другого. Например, часто обсуждалась проблема, является ли десигнатом предметного имени (к примеру, «Чикаго») соответствующий предмет (thing) или класс однородных предметов (unit-class) (т.е. является ли его десигнатом Чикаго или{Чикаго}). Кроме того, часто задаются вопросом, является ли десигнатом предиката первой степени свойство или класс. В обоих случаях утверждается – в качестве аргумента в пользу второго ответа, – что десигнат всегда должен представлять собой класс. Если вообще принимаются десигнаты предложений, то возникает вопрос, являются ли десигнатами предложений положения дел (или возможные факты, условия и т.д.) или же скорее мысли.

Давайте предположим на время, что мы так понимаем данный объектный язык *S*, скажем, немецкий, что способны перевести его выражения и предложения на

некоторый метаязык *M*, скажем, английский (включая некоторые переменные и символы). При этом не имеет значения, основывается ли это понимание на знании ссемантических правил или же является интуитивным; просто предполагается, что если дано выражение (скажем, «Pferd», «drei» в немецком языке), то с точки зрения наших практических целей мы знаем английское выражение, соответствующее ему в качестве «буквального перевода» («horse», «three» в английском языке). В таком случае мы сформулируем определение адекватности для понятия обозначения, которое само по себе не является определением для термина «Des_s» (или «обозначает в *S*»), но стандартом, с которым мы сравниваем предполагаемые определения. В данном случае «адекватность» означает просто согласие с нашим намерением для использования термина.

> **D12-B**. Предикат второй степени $\boldsymbol{pr_i}$ в *M* является *адекватным* предикатом для обозначения в *S* = Df каждое предложение в M формы $\boldsymbol{pr_i}(\boldsymbol{u_i}, \boldsymbol{u_k})$, где $\boldsymbol{u_i}$ есть имя (или синтаксическое описание) в *M* выражения $\boldsymbol{u_m}$ в рамках *S* (принадлежащего к одному из видов выражений, для которого определен $\boldsymbol{pr_i}$) и $\boldsymbol{u_k}$ является переводом $\boldsymbol{u_m}$ на язык *M*, истинно в *M*.

Если $\boldsymbol{pr_i}$ является адекватным, то мы также называем его определение и его десигнат, т.е. отношение, определенное как обозначение, адекватным. Это определение адекватности оставляет открытым вопрос о том, какие типы принимаются в качестве аргументов для $\boldsymbol{pr_i}$; оно определяет только то, *как* предикат для обозначения должен использоваться для определенных типов, *если* мы решили использовать его для этих типов. Следовательно, мы можем, например, ограничить употребление ***pr***, в смысле отмеченного выше возражения. Однако здесь предполагается использовать его для всех типов, для которых имеются переменные в *M*, т.е. принять в качестве второго аргумента $\boldsymbol{u_k}$ любое выражение значения любой переменной в *M*. Практическое оправдание данного определения адекватности лежит в следующих двух фактах:

1. Оно дает общее правило для всех различных типов, причем простым способом;

2. оно, по-видимому, находится в согласии с обычным использованием термина «обозначение», по крайней мере постольку, поскольку это употребление имеет силу.

На основе адекватного отношения обозначения вопрос о десигнате объектного имени разрешается в пользу предмета, а не в пользу класса однородных предметов. Например, если «Des_G» есть адекватный предикат (в *M*, т.е. в английском языке) для обозначения в немецком языке, то следующие предложения истинны:

a. «Des_G («Pferd», horse»);

b. «Des_G («drei», three»).

Если «Des_{S3}» определено так, как указано выше (имея место «$DesInd_{S3}$», «$DesAttr_{S3}$» и «$DesProp_{S3}$» соответственно), то он является адекватным предикатом для обозначения в S_3. Помимо других предложений, следующие должны стать истинными:

a. «Des_{S3} («a», Чикаго»);

b. «Des_{S3} («P», большой»);

c. «Des_{S3} («P(a)», Чикаго – большой»);

все три предложения истинны. Мы видим, что адекватность требует от нас писать на месте аргумента «большой» вместо «большевизна» или «свойства быть большим» или «класса больших вещей»; и сходным образом мы пишем «лошадь» вместо «лошадность» или «класс лошадей». Это указывает на то, что мы можем приписывать предикатам десигнаты, не употребляя ни термин «свойство», ни термин «класс». (Вопрос о том, является ли десигнат, например, большой, свойством или классом не имеет непосредственного отношения к употреблению нами отношения обозначения, однако конечно же, имеет ответ — зависящий попросту от того, является ли данный язык экстенсиональным, или насколько он экстенсионален. То же самое касается вопроса о том, являются ли десигнаты предложений (sententional designata) истинностными значениями или чем-то иным.)

На основе «обозначения» («designation») (D_2) Карнап определяет термин «синонимичный» («synonymos»). Таким образом термин «синонимичный» как в более узком, так и в более широком смысле в соответствии с более узкой или более широкой областью применения, выбранной для термина «обозначение».

> **D12-2.** $\boldsymbol{u_i}$ в S_m *синонимично* $\boldsymbol{u_j}$ в S_n $=_{Df}$ $\boldsymbol{u_i}$ обозначает в S_m ту же самую сущность, что и $\boldsymbol{u_j}$ в S_n.

Таким образом, констатирует Карнап, отношение синонимии не ограничивается выражениями одной системы. Большинство семантических отношений можно применить к выражениям *различных систем*, даже к тем, которые для простоты определяем относительно одной системы.

L-семантика. L-семантика занимается исследованием проблем *логической истины* («L-истинно»), *логической выводимости* («L-импликация») и связанных с ними понятий (L-понятий). При этом предполагается, что логика, в смысле теории логической выводимости и тем самым логической истины является отдельной частью семантики. Проблема определения L-понятий не только для отдельных систем (особенная L-семантика), но и для системы вообще (общая L-семантика) пока еще не нашла удовлетворительного решения.

Логические и дескриптивные знаки. В своем исследовании природы логической дедукции и логической истины Карнап исходит из убеждения, что логика является отдельной частью семантики, а потому понятия логической выводимости и логической истины являются семантическими понятиями. Они относятся к особенному виду семантических понятий, которые Карнап называет L-понятиями. Для логической истины он использует термин « L-истинно», для логческой выводимости – « L-импликация». Если даны правила семантической системы *S* и тем самым понятие истины в *S*, то L-понятия также определены в известном смысле; тем не менее задача их определения на базе радикальных понятий (а именно, «обозначение» и «истинно») встречается с определенными трудностями.

Прежде всего Карнап проводит различие между двумя видами выражений, которые он называет *дескриптивными* и *логическими* выражениями. При этом он отмечает, что имеется тесная связь между понятиями «дескриптивный» и «логический» и L-понятиями. Понятия «дескриптивный» и «логический» играют огромную роль в логическом анализе языка; однако для них также не известно удовлетворительного точного определения в общей семантике. К *дескриптивным знакам* обычно относят имена отдельных предметов в мире, т.е. отдельных вещей

или частей вещей или события (например, «Наполеон», «озеро Мичиган», «Французская революция»), знаки, обозначающие эмпирические свойства, включая виды субстанций, и отношения вещей, мест, событий и т.д. (например, «черный», «собака», «гражданин»), эмпирические функции вещей, точки и т.д. (например, «вес», «эпоха», «температура», «цена»). Примером *логических знаков* являются сентенциальные связки («~», «∨» и т.д.), знак оператора общности («каждый»), знак отношения включения элемента в класс («ε», «есть какой-то»), дополнительные знаки (скобки и точка, обычно используемые в символической логике), знак логической необходимости в (не-экстенсиональной) системе модальностей («N»). Кроме того, логическими считаются все те знаки, которые определимы при помощи перечисленных выше логических знаков, например, знак оператора существования («∃», или «некоторый»), знаки для универсального и нулевого класса всех типов, знак тождества («=», «является тем же самым, что и»), все знаки системы Уайтхеда и Рассела и практически все иные системы символической логики, все знаки математики (включая арифметику, анализ реальных чисел, инфинетезимальное исчисление, но не геометрию) со значением, которое они имеют, когда применяются в науке, все логические модальности (например, «строгая импликация» Льюиса). Определенный знак считается дескриптивным, если его дефиниенс содержит дескриптивный знак; в противном случае он считается логическим знаком. Выражение называется дескриптивным, если оно содержит дескриптивный знак; в противном случае оно является логическим.

Когда мы строим семантическую систему *S*, то обычно отдаем себе отчет в значении каждого знака; а затем в соответствии с этим намерением мы формулируем правила. В случае подобном этому нетрудно определить «логический знак в *S*» и «дескриптивный знак в *S*» таким образом, что различие будет согласовываться с общей концепцией различия между дескриптивными и логическими знаками, с одной стороны, и со значениями, предполагаемыми для знаков и сформулированными при помощи правил. Это различие обычно делается в форме простого перечисления логических или дескриптивных знаков, с которых начинается построение системы.

Что же касается *переменных*, то на первый взгляд кажется, что их следует считать логическими знаками. Более тщательный анализ, однако, показывает, что в отношении некоторых языков эта точка зрения не будет находиться в согласии с проведенным выше различием между дескриптивными и логическими знаками. В частности, это имеет место в случае с переменной, область значений которой вычленяется при помощи дескриптивного выражения метаязыка. Представляется, что переменную этого вида следует считать дескриптивной переменной. Проблема, однако, требует дальнейшего исследования.

Например, область значений переменных в системе S_6 есть класс городов в Соединенных Штатах. Перевод на естественный язык предложения формы «(*x*) (...)» состоит в следующем: «Для каждого города *x* в Соединенных Штатах ...». Такой перевод является дескриптивным предложением. Следовательно, представляется вполне естественным назвать переменную *x* дескриптивной.

В рамках *общей семантики* проблема проведения различия между дескриптивными и логическими знаками встречается с серьезными трудностями. Дело в том, что в данном случае неясно, можно ли определить термины «дескриптивный» и «логический» на основе других семантических понятий,

например, «обозначение» и «истинный» так, чтобы применение общего определения к любой частной системе приводило бы результату, который находился бы в согласии с предполагаемым различием. Как отмечает Карнап, удовлетворительное решение пока еще не найдено. Возможность и метод решения зависят от избранного вида метаязыка *М*. По-видимому, решение возможно, если мы предполагаем, что *М* построен таким образом, что его правила, сформулированные на метаметаязыке *ММ*, включают соответствующее различие знаков *М*.

Синтаксис. Третье измерение семиотики, или *синтаксис*, определяется Карнапом как такая область исследования, которая ограничивается формальным анализом выражений языка и не принимает во внимание ни лиц, употребляющих эти выражения, ни десигнаты этих выражений. *Чистый синтаксис*, как уже говорилось, представляет собой исследование не синтаксических особенностей эмпирически данных языков, но систем синтаксических правил. Система таких правил может быть или свободно изобретена, или построена относительно эмпирически данного языка. Ее отношение к данному языку в этом случае аналогично отношению между семантической системой и эмпирически данным языком. Система синтаксических правил называется *синтаксической системой* или *исчислением*. Она включает в себя классификацию знаков, *правила образования* (определяющие «предложение в *К*») и *правила дедукции*. Правила дедукции обычно состоят из примитивных предложений и правил вывода (определяющих «непосредственно выводимо в *К*»). Иногда *К* содержит также правила опровержения (определяющие «непосредственно опровержимо в *К*»). Если К содержит определения, то последние могут считаться дополнительными правилами дедукции.

Первый шаг построения некоторого исчисления *К* состоит в *классификации знаков К*, и выделении такого количества классов знаков, которое необходимо для формулировки синтаксических правил. Затем мы формулируем *правила образования* для *К*, иными словами, определение «*предложения* в К». Имеется определенное различие между правилами образования в синтаксической и в семантической системах. В последней правила должны ссылаться на десигнаты выражений. Однако в синтаксических правилах образования это запрещено; они должны носить исключительно формальный характер. Они указывают, какие выражения являются предложениями, описывая виды знаков, которые встречаются и тот порядок, в котором они встречаются. Определение этих видов, т.е. классификация знаков, также должно быть строго формальным. Определение «предложение в К» часто дается в рекурсивной форме; сперва описываются некоторые простые формы предложений, а затем – определенные операции для построения сложных предложений из исходных форм.

Важнейшая часть исчисления состоит в *правилах дедукции* (или трансформации). Они описывают, как можно сконструировать доказательства и выводы; иными словами, они конституируют определения «доказуемо в *К*» и «выводимо в *К*», а также ряд иных понятий. Обычно процедура заключается в следующем. Во-первых, формулируются *примитивные предложения*, либо путем перечисления, или путем заявления, что все предложения определенных форм принимаются в качестве примитивных предложений. В последнем случае число примитивных предложений (сентенциальные схем) может быть бесконечным. Во-вторых, формулируются *правила вывода*. Они могут быть сформулированы следующим

образом: «$\wp_j$ непосредственно выводимо из $\Re_i$ тогда и только тогда, когда выполняется одно из следующих условий» и затем каждое правило устанавливает формальное условие для $\Re_i$ и $\wp_j$. Таким образом, правила вывода определяют «*непосредственно выводимо* в *К*». Иногда, однако не часто, формулируются также *правила опровержения*, определяющие «*непосредственно опровержимо* в **К**».

Кроме того, исчисление *К* может содержать *определения*. Цель определения состоит в том, чтобы ввести новый знак на основе примитивных знаков К и знаков, определенных при помощи более ранних определений; поэтому огромную роль играет последовательность определений. Определение может иметь как форму предложения (а в случае рекурсивного предложения – нескольких предложений), именуемого предложением-определением (a definition sentence) (или определяющего предложения (defining sentence)) или простого определения, или простого правила, называемого правилом определения (или определяющим правилом). Предложение-определение в *К* может считаться дополнительным примитивным предложением в *К*, а правило определения для *К* – дополнительным правилом вывода для *К*. Предложение-определение может иметь форму $\boldsymbol{u_1} =_{Df} \boldsymbol{u_2}$, или $\boldsymbol{u_1} \equiv \boldsymbol{u_2}$, а правило определения, например, «"..." для "---"», где «для» является сокращением для «является непосредственно С-взаимозаменимым с». $\boldsymbol{u_1}$ или «...» называется *дефениендумом*; оно содержит определяемый знак. $\boldsymbol{u_2}$ или «- - -» называется *дефениенсом*, оно содержит только примитивные знаки или знаки, определенные при помощи предыдущих определений. В дополнение к этому, как дефениенс, так и дефениендум могут содержать свободные переменные. Если определение сформулировано, то позволительно заменять дефениендум в любом контексте на дефиниенс и наоборот; и то же самое можно делать с любыми выражениями, построенными из дефениендума и дефениенса путем одинаковых подстановок на место свободных переменных. Иными словами, любые два выражения этого вида являются С-взаимозаменимыми; т.е. любые два предложения, содержащие их и подобные в иных отношениях непосредственно выводимы друг из друга. Определения должны удовлетворять определенным требованиям (смотри например [Syntax] §§ 8 и 29) для того, чтобы гарантировать (1) переводимость в обоих направлениях для введения и устранения нового знака; (2) С-непротиворечивость исчисления, содержащего определение, если исходное исчисление является С-непротиворечивым; (3) однозначную интерпретацию получивших определение знаков, если исходные знаки являются интерпретированными.

Отношение между семантикой и синтаксисом. На основании исходных понятий семантики Карнап вводит семантическое понятие «описание состояния». Он говорит о семантической системе или языке S_1, которая содержит знаки, обозначающие индивиды, свойства и отношения. Из этих знаков при помощи логических терминов строятся атомарные предложения. Атомарные предложения можно сгруппировать в ряды, называемые «описаниями *состояния*», каждое из которых «дает наглядное и полное описание возможного состояния вселенной индивидов относительно всех свойств и отношений, выраженным посредством предикатов системы. Таким образом, описания состояния символизируют возможные миры Лейбница или возможные положения дел Витгенштейна»[8]. «Имеется, – продолжает Карнап, – одно и только одно описание состояния, которое дает действительное положение вселенной, а именно то, которое

[8] Там же, с. 9-10.

содержит все истинные атомарные предложения... Предложение любой формы истинно только в том случае, если оно входит в истинное описание состояния».

Однако, по Карнапу, описание состояния не есть лишь "ряд атомарных предложений", а есть конъюнкция (или множество) атомарных предложений вместе с их отрицаниями. А отрицание атомарного предложения — это не атомарное предложение. Поэтому также неверно было бы утверждать, что "состояние вселенной описывается группой атомарных предложений". (Это, кстати, соответствует концепции "Трактата", где Витгенштейн говорит, что для полного описания мира нужно перечислить как все, что имеет место, так и все, что не имеет места.)

Карнап указывает, что «предложение логически истинно, если оно входит во все описания состояния». Это положение соответствует концепции Лейбница о том, что необходимая истина должна содержаться во всех возможных мирах».

Следовательно, в рамках семантической концепции Карнапа «действительное» состояние вселенной описывается определенной группой «атомарных предложений». Имеется бесконечное число возможных состояний вселенной, из которых только одно имеет привилегированный статус действительного. «Имеется лишь один факт: всеобщность действительного мира – прошлого, настоящего и будущего»[9]. Законы же логики отличаются тем, что они истинны не только для действительного мира, но и «для всех возможных миров».

Придя к признанию необходимости не только семантики, но также и интенсионального значения, Карнап настаивал на философском интересе прагматики или использования языка, а это в свою очередь означает переход от анализа только формальных языков к рассмотрению естественных языков. Так, Карнап пытается показать, что интенсиональные понятия синонимии и аналитичности применимы к естественным языкам и должны быть выделены как экспликанды соответствующих формальных понятий. При этом хотя прагматика и не играет существенной роли при обосновании таких семантических понятий, как аналитичность и синонимия, она может значительно облегчить это обоснование. По мнению Карнапа, создание системы теоретической прагматики настоятельно необходимо не только для психологии и лингвистики, но также и для аналитической философии.

3.3.1.2 Материальный и формальный модусы языка

Несмотря на то что даже многие логические эмпиристы начали сомневаться в возможности формулировки удовлетворительного верификационного критерия эмпирической осмысленности, Карнап продолжает думать, что такой критерий является одним из основных средств философского исследования, хотя его понимание конкретной природы этого критерия претерпело значительные изменения. Первоначально Карнап полагал, что эмпирически значимыми предложениями являются только такие, которые реально «переводимы на язык наблюдений». Затем, в начале 30-х годов, он пришел к убеждению, что высказывания являются эмпирически осмысленными, если и только если из них можно вывести высказывания о наблюдении. Немного позже, в работе «Проверяемость и значение», Карнап утверждает, что достаточным условием эмпирической значимости высказывания является возможность связать его

[9] Там же, с. 29.

цепочками сведения при помощи материальной импликации с высказыванием о наблюдении. Наконец, в последних работах он еще дальше расширяет этот критерий, заявляя, что высказывание можно рассматривать как эмпирически осмысленное, если оно построено по правилам своего языка и любой его дескриптивный термин таков, что можно указать содержащее этот термин предложение, истинность которого «изменяет предсказание некоторого наблюдаемого события». Такой критерий подходит даже к тем предложениям, которые нельзя проверить посредством наблюдения, но при этом понятие осмысленности остается тем не менее определенным, а не является только вопросом степени.

Хотя Карнапово понимание философского исследования и критерия проверяемости очень часто служило для него средством устранения метафизических и иных бессмысленных терминов и предложений, их функция никоим образом не является только разрушающей. Существенная конструктивная функция их, особенно в самом начале рассматриваемого периода, состояла в обосновании того, что не все суждения, неудовлетворяющие критерию эмпирической значимости, лишены всякого познавательного значения, но что некоторые из них на самом деле — замаскированные синтаксические высказывания, служащие примерно тем же целям, что и собственно философские высказывания. Такие предложения, называемые Карнапом псевдообъектными предложениями, «формулируются так, как будто они относятся к объектам, хотя в действительности они относятся к синтаксическим формам, и в частности к формам обозначения таких объектов, с которыми они, по видимости, имеют дело». Проверкой таких суждений является то, что они, хотя и выражены в материальном модусе, характерном для подлинных эмпирических высказываний, могут переводиться в предложения, выражающие в формальном модусе высказывания о синтаксисе. Так, например, такие предложения, как «роза есть вещь", «эта книга повествует об Африке» и «вечерняя звезда и утренняя звезда тождественны» выглядят так, как будто они являются обычными предложениями об объектах, подобно таким предложениям, как «роза красная», «г-н *А* посетил Африку» и «вечерняя звезда и земной шар имеют примерно одинаковый размер». Однако на самом деле каждое из приведенных предложений может быть выражено в формальном модусе как высказывание о синтаксисе примерно следующим образом: первое предложение переводится в «слово «роза» есть имя существительное», второе — «эта книга содержит слово «Африка»» и третье — «слова «утренняя звезда» и «вечерняя звезда» синонимичны». Предложения, которые нельзя выразить в формальном модусе, являются или подлинными эмпирическими высказываниями, или бессмыслицей.

3.3.1.3 Структура познания

Структура познания для Карнапа подразумевает три проблемы — проблему высказываний о наблюдениях, на которых основывается эта структура, и способа подтверждения высказываний, которые не являются прямыми высказываниями о наблюдениях, а также проблему природы используемой логики и проблему значения, о которой достаточно было сказано в § 3.3.1.1.

3.3.1.3.1 Предложения наблюдения

Для Карнапа основой познания являются не несомненные предложения, как он считал раньше, а предложения, выражающие данные ученого и являющиеся для всех нас психологически исходными; только эти предложения могут интерсубъективно связываться со всеми остальными видами предложений. Речь идет о простых предложениях о наблюдении физических объектов, таких, как «в данном месте температура колеблется между 5 и 10 градусами по Цельсию». Тезис физикализма сводится к утверждению, что все осмысленные высказывания можно осмысленно связать с высказываниями такого вида, и Карнап активно отстаивает этот тезис. То, что данные, на которых основываются такие науки, как физика, химия, геология и астрономия, можно интерсубъективно выразить в физикалистских предложениях, понятно само собой, поскольку «ясно, что любое возникающее в этих науках детерминирование можно свести к физическому детерминированию». Что же касается биологии, то тут дело затрудняется возникшей в настоящие время дискуссией о витализме, однако и биологические понятия легко свести к физическим, не предрешая этим вопроса о подлинном характере биологических законов. Например, понятие оплодотворения можно рассматривать как понятие слияния спермы и яйца с «перераспределением элементов», хотя точный характер рассматриваемого закона остается открытым. Подобным же образом «определение любого психологического термина сводит его к физическим терминам», не предрешая вопроса о связанных с этим термином психологических законах; то же самое справедливо и для социологии. Предложение «в десять часов г-н *А* был сердит» можно перевести следующим предложением: «в 10 часов г-н *А* был в определенных телесных условиях, характеризующихся ускоренным дыханием и пульсом, напряжением таких-то мускулов, определенной склонностью к буйному поведению и т. д.» На возражение, что мы не можем знать внутреннего состояния другой личности, можно ответить, что, во всяком случае, мы можем постичь словесное поведение, в терминах которого обозначаются эти состояния; если же такой ответ не удовлетворителен, то интерсубъективное рассуждение вообще исключается.

Что касается вопроса о том, как познается правильность исходных предложений о наблюдении, Карнап отвечает на него следующим образом: если различные органы чувств каждого из нескольких наблюдателей согласуются в истолковании показаний должным образом установленного аппарата, то тем самым достигаются исходные предложения, необходимые для построения науки. Таким образом, предложения этого вида могут подтверждаться хотя и не несомненно, но в достаточной мере «при соответствующих обстоятельствах... с помощью небольшого количества наблюдений». Однако, хотя интерсубъективная наблюдаемость физических объектов дает языку физических объектов определенные логические и психологические преимущества перед феноменалистическим языком, необходимо заметить, что еще более строгий физикалистский тезис может со временем взять в качестве исходного языка язык микрофизики и Карнап, по-видимому, считает все более правдоподобной «возможность построения всех наук, включая психологию, на основе физики, так чтобы все теоретические понятия определялись на основе понятий физики и все законы выводились из законов физики».

3.3.1.3.2 Способ подтверждения косвенных высказываний

Взгляды Карнапа на отношения между предложениями науки и исходными

предложениями, на которых основываются первые, в общем прошли такой же путь развития, как и его понятие о критерии проверяемости.

В самый ранний период развития философии Карнапа отношение между высказываниями науки и феноменалистически истолковываемыми исходными предложениями, к которым сводились высказывания науки, было отношением логической эквивалентности, или взаимопереводимости. В начале рассматриваемого теперь физикалистского периода Карнап считал, что отношение между научными высказываниями и физикалистски понятыми высказываниями наблюдения, на которые опираются высказывания науки, должно позволять выводить высказывания наблюдения из высказываний науки с помощью синтаксически понимаемых законов логики и формально определяемых принципов науки. Это оказалось, однако, слишком строгим требованием. Выводимых высказываний наблюдения, в терминах которых должно интерпретироваться научное высказывание, может быть бесконечно много, так что их нельзя будет явно сформулировать в любой конечный отрезок времени. Кроме того. выводимые высказывания наблюдения являются условными высказываниями, то есть такими, что если указанные в них условия не осуществляются, то условные высказывания и тем самым первоначальные научные высказывания должны парадоксальным образом считаться истинными, даже когда они фактически ложны. Например, высказывание *«x* растворим в воде», согласно рассматриваемой точке зрения, может означать «когда *x* опущен в воду, *x* растворяется». Но если *x* никогда не опущен в воду, то гипотетическое высказывание является истинным, независимо от того, чем является *x,* таким образом, можно прийти к абсурдному выводу, что *x* растворим в воде, даже если *x* является спичкой или каким-либо другим нерастворимым объектом. Учитывая все эти трудности, Карнап отверг идею об истолковании научных выражений только в терминах высказываний наблюдения, выводимых из них, и выдвинул вместо нее в своей работе «Проверяемость и значение» косвенный способа введения научных выражений при посредстве того, что он назвал «редукционными предложениями». В таком предложении вводимое выражение не проявляется ни как «определяемое» определяющего высказывания, ни как основной антецедент импликации, а как некоторая связь в цепочке условных высказываний, другими членами которой являются высказывания наблюдения. Предложение, вводящее выражение «растворим в воде», должно читаться не как «если *x* растворим в воде, то...», но как «если любую вещь *x* поместить в воду на некоторое время Т, то, если *x* растворим в воде, *x* растворится в течение Т, а если *x* не растворим в воде, то этого не произойдет». Конечно, некоторые термины могут непосредственно вводиться путем определения, например когда мы определяем китов как вид млекопитающих, но, как правило, введение терминов через редукционные предложения не только в большей степени гарантировано от абсурдности, но и более удобно, так как оно позволяет строить научные понятия постепенно, по мере накопления новых данных. С этой точки зрения можно сказать, что научное высказывание проверяемое если известен способ построения соответствующих условных суждений наблюдения. Если даже научное высказывание не проверяемо, то есть нет еще способа построения соответствующих ему условных предложений, его можно подтвердить тем, что предикаты, относящиеся к этим условным предложениям, принадлежат к «классу предикатов, доступных наблюдению»; и научное высказывание может считаться осмысленным, даже если оно подтверждается лишь частично. Подтверждение научного предложения состоит,

конечно, в реализации связанных с ним условных предложений, наблюдения в процессе фактических наблюдений, а его частичное подтверждение заключается в реализации некоторых из этих предложений.

В последних работах Карнапа даже эта более умеренная трактовка отношения между научными выражениями и высказываниями о наблюдении рассматривается как слишком жесткая, чтобы соответствовать реальным процедурам научного исследования. Хотя некоторые научные выражения можно рассматривать как диспозициональные термины, интерпретируемые или через цепи редукции, или через операциональные определения, большинство научных выражений следует интерпретировать так, чтобы ведущую роль при этом играли вероятностные, а не дедуктивные отношения. С этой целью Карнап ввел различие между «диспозициональными предикатами» и «теоретическими конструктами». Основные различия между диспозициональными предикатами и теоретическими конструктами следующие:

(1) в то время как диспозициональный термин «может быть получен из предикатов наблюдаемых свойств за один или несколько шагов», теоретические термины получаются гораздо более косвенным путем;

(2) в то время «как заданное отношение» между определенным условием и ожидаемым результатом «составляет все значение» диспозиционального термина, теоретический конструкт сохраняет значительную «неполноту интерпретации»;

(3) в то время как у диспозиционального термина регулярность отношения между условием и ожидаемым результатом «мыслится универсальной, то есть имеющей место всегда, без исключений, теоретические конструкты допускают исключения из этого отношения».

Критерии применимости теоретических конструктов открыто учитывают противоречащие факторы и никогда не могут дать «абсолютно окончательных доказательств, но в лучшем случае лишь доказательство, дающее большую вероятность». Карнап считает, что теоретическую сторону науки лучше строить в основном в терминах теоретических конструктов, а не диспозициональных или операциональных предикатов.

3.3.1.4 Вероятность и истинность

Поскольку большая часть научного знания формулируется в терминах теоретических конструктов, связанных с предложениями наблюдения посредством вероятностей, постольку структура научного знания включает в себя логику вероятностей. Учитывая это обстоятельство, Карнап в 50-е гг. затратил много труда на разработку проблемы вероятности.

То, уточнению чего служат теории вероятностей, не сводится, как обычно считают, к одному понятию, а содержит в себе два совершенно различных понятия. Одним из них является понятие степени подтверждения высказывания, а другим — понятие относительной частоты свойства или события в большом числе случаев. Тем самым в существенно отличных друг от друга, как это часто бывает, теориях вероятностей мы имеем дело не с противоположными интерпретациями одного понятия, как это кажется на первый взгляд, а с параллельными трактовками совершенно различных понятий, каждое из которых по-своему

полезно. Существует, однако, тесное соответствие между этими двумя понятиями, так что почти все, что можно осмысленно сказать в терминах относительной частоты, можно адекватно перевести на язык степени подтверждения.

Из этих двух видов вероятности сам Карнап преимущественно занимается степенью подтверждения. Вероятность такого рода основывается на логике вероятностей, и, несмотря на некоторые различия, эта индуктивная логика в некоторых важных отношениях напоминает дедуктивную. Обе являются подлинными примерами логики. Обе представляют собой системы чисто априорных отношений, независимых от фактов и от истинности или ложности входящих в них посылок. В обеих отношение между посылками и заключением является «чисто логическим в том смысле, что оно зависит только от значений предложений, или, точнее, — от областей этих предложений». Можно даже сказать, что индуктивная логика является расширением дедуктивной логики за счет добавления некоторой новой функции подтверждения. Существенная разница между ними состоит в том, что только более ограниченная дедуктивная логика дает окончательные результаты, в то время как более широкая индуктивная или вероятностная логика дает только различные степени подтверждения.

Вероятности в том смысле, в каком Карнап в основном ими занимается, всегда отнесены к подтверждающим данным, и принципиальная проблема вероятностной логики состоит в том, чтобы найти способ так формулировать степень подтверждения некоторой гипотезы имеющимися данными, чтобы она в одно и то же время имела точное численное значение (от 0 до 1) и согласовалась с нашей интуицией и действительной практикой науки. Пока такие формулировки найдены самое большее для двух первых из пяти основных видов индуктивного вывода. Эти пять видов следующие: *«прямой вывод*... от совокупности к выборке; *предсказующий вывод*... от одной выборки к другой; *вывод по аналогии*... от одного индивида к другому; *инверсный вывод*... от выборки к совокупности; и *универсальный вывод* от выборки к гипотезе, выраженной высказыванием, содержащим квантор общности». Даже для двух видов, в отношении которых достигнут существенный прогресс, точность может быть получена только в терминах очень упрощенного языка, элементами которого являются индивиды и предикаты, обозначающие качества. Для высказываний о непрерывных количествах удовлетворительной вероятностной логики еще не построено. Там, где нельзя получить вероятностных высказываний в терминах точных числовых значений, можно иногда сформулировать классификационные вероятностные суждения, указывающие, что гипотеза подтверждается данными, и сравнительные вероятностные суждения, указывающие, что одна гипотеза подтверждается данными в большей или меньшей степени, чем другая. Тем не менее Карнап твердо убежден, что количественно точные вероятностные высказывания можно в конечном счете получить фактически для ситуации любого рода.

Поиски количественной оценки вероятностей можно начинать с возможностей. Совокупность всех возможностей есть совокупность всех описаний состояний. Описание состояния есть конъюнкция предложений, устанавливающая «для каждого индивида... и для каждого свойства, обозначенного исходным предикатом, имеет или нет этот индивид это свойство». Область предложения состоит из тех описаний состояний, в которых оно выполняется.

Вероятность какой-либо гипотезы относительно определенных данных в общем

является отношением области подтверждающих данных к области гипотезы вместе с подтверждающими данными, однако конкретно определить это отношение очень трудно. Когда гипотеза подтверждается для всех описаний состояния, как в случае тавтологии, вероятность, очевидно, равна 1. Наоборот, когда гипотеза ложна для всех описаний состояний, как в случае противоречия, вероятность (что также очевидно) равна 0. Такие вероятностные высказывания выполняются независимо от того, имеется или нет фактическое подтверждение. Но когда гипотеза не тавтологична и не противоречива, тогда определение соответствующего отношения не так просто и нужно разработать такие методы его определения, которые в возможно полной мере учитывали бы интуитивные догадки и научные процедуры. Пока фактического подтверждения нет, кажется разумным для данной цели просто считать все описания состояния изначально равновероятными. Но как только появляется фактическое подтверждение, это предположение становится в высшей степени неправдоподобным, поскольку оно исключает возможность обучения на опыте. Поскольку определение вероятностей в терминах описании состояний дает повторяемости предикатов, входящих в области соответствующих предложений, не больше веса, чем числу индивидов, к которым применимы эти предикаты, постольку описанная Карнапом процедура в отличие от интуиции и научного метода не оставляет места для обучения на опыте.

Процедурой, пригодной как для случаев, в которых отсутствуют фактические данные, так и для случаев, в которых они имеют место, является следующая. Во-первых, структура определяется как дизъюнкция всех таких описаний состояний, которые являются одинаковыми во всех отношениях, за исключением распределения упоминаемых в них индивидов, или как дизъюнкция всех описаний состояний, которые можно сделать одинаковыми, просто поменяв местами входящие в них индивиды. Все структуры первоначально рассматриваются как равновероятные. Затем в пределах каждой структуры каждому описанию состояния должен быть приписан одинаковый вес. Поэтому место каждого описания состояния внутри целого будет представлено дробью, определяемой умножением его отношения к своей собственной структуре на отношения его структуры к целому. На такой основе повторяемость предикатов может получить соответствующий вес и тем самым появляется возможность обучения на опыте. Например, если вытащить три синих шара из мешка, о котором известно лишь, что он содержит некоторое количество синих и белых шаров, то в том случае, если всем описаниям состояний приписана одинаковая вероятность, вероятность вытаскивания другого синего шара равняется только 1/3, в то время как если бы вначале описания структуры брались как равновероятные, то эта вероятность оказывается равной 1/2, что в большей степени соответствует интуитивным соображениям и учитывает данные опыта.

Хотя обрисованная процедура в основном предназначена для облегчения непосредственного индуктивного вывода, то есть вывода от совокупности к выборке, при соответствующих изменениях сходные формулировки можно разработать для предсказующего вывода, вывода по аналогии, инверсного вывода и даже универсального вывода. Для подтверждения вероятностей относительно событий будущего совсем не обязательно, как это обычно предполагается, наличие универсального закона. В практических делах, таких, как строительство мостов, люди стремятся к результатам, которые не являются ни всеобъемлющими, ни вечными; они всегда думают только о настоящем и о ближайшем будущем или

в крайнем случае о ближайшей сотне-другой лет. Тем самым даже при отсутствии неограниченного подтверждения универсальные законов, степени подтверждения событий будущего можно с помощью рациональной реконструкции привести в соответствие с нашими интуитивными предположениями о вероятности примерно так же, как Эвклид, с помощью рациональной реконструкции разработал систему геометрии соответствующую нашим интуитивным представлениям о пространстве.

Все вышесказанное, однако, не означает, что существует лишь оди: способ определения вероятностей событий. На самом деле возможе: континуум индуктивных методов. Этот континуум охватывает все способы — от систем, которые, подобно системе Рейхенбаха, пытаются непосредственно приписывать бесконечному универсуму частоту, обнаруженную в выборке, до систем, которые, подобно системе Пирса, отрицают приписывание бесконечному универсуму чего-либо, полученного рассмотрением конечной выборки, на том основании, что для бесконечного универсума даже самая большая выборка ничего не определяет. Системы, склоняющиеся к первой из этих крайностей, уделяют значительное вниманне эмпирическим данным и хорошо приспособлены к большим и четко определенным выборкам, системы же, близкие ко второй крайности, уделяют большое внимание внутренней связности и надежны даже тогда, когда выборки невелики или плохо определены. Наилучшая система, по мнению Карнапа, должна быть «золотой серединой» между этими крайностями, чтобы, уделяя значительное внимание опытным данным, избегать в то же время «прямого правила», непосредственно приписывающего универсуму признаки, обнаруженные в отдельной выборке.

Учитывая отождествление философии с логическим синтаксисом, имевшее место в ранних работах Карнапа, последующее отрицание непогрешимых протокольных предложений, а также выдвигаемую большинством его последователей идею о том, что в конечном счете следует проверять систему высказываний, а не отдельные высказывания, можно с полным правом ожидать, что Карнап принимает один из вариантов когерентной теории истины. Но хотя в его сочинениях можно увидеть наметки теории подобного рода, однако теория, которой Карнап открыто придерживается, является скорее одним из вариантов корреспондентной теории.

Какой бы строгой и формальной ни была система, в терминах которой обосновывается наука, в конечном счете наука опирается на наблюдения, и истинность ее положений зависит от наличия свойств, обозначаемых ее основными терминами. Предпринятая Рейхенбахом и другими философами попытка объединить понятие истинности с понятием веры нести нарушает принцип исключенного третьего, смешивает знание с истиной и приводит к другим неустранимым парадоксам. В то время как понятия подтверждения и проверяемости суть понятия прагматики, истинность является понятием семантики, природа которого характеризуется тем, что «утверждать истинность какого-либо предложения — это то же самое, что и утверждать само это предложение». Однако признание истинности такой семантической характеристики не исчерпывает всего, что следует о ней сказать. В основе семантического понятия истинности лежит абсолютное понятие истинности, которое применимо не к предложениям, а к суждениям, а суждения связаны не с несемантическими предложениями, а с фактами. В конечном счете истинность зависит от того, обладают или нет индивиды свойствами, обозначенными в

соответствующих предложениях, а истинность высказывания, содержащего указание на конкретный момент времени, не изменяется с изменением фактов, к которым относится данное высказывание.

3.3.2 Ганс Рейхенбах

Ганс Рейхенбах (1891-1953) являлся лидером так называемой Берлинской группы, во многом разделявшей взгляды Венского кружка. Он всегда проявлял живой интерес и глубокое понимание проблем современной физики и постоянно занимался философской интерпретацией достижений физики. Эти интенсивные исследования методологии и достижений современной науки привели к появлению внушительного ряда посвященных науке книг, таких, как: «Атом и космос», «Опыт и предвидение», «Философские основания квантовой механики», «От Коперника к Эйнштейну», «Направление времени», «Теория вероятностей» и «Философия пространства и времени». Занятия физикой привели его также к отрицанию большей части традиционной философии — особенно рационализма — в пользу вероятностной системы понятий, которая, как ему казалось, соответствует природе современной физики. Основными его темами стали критика рационализма, трактовка значения, возможные способы построения знания и типов объектов знания (см. § 3.4) и, наконец, интерпретация ключевых понятий вероятности и индукции.

Не удовлетворяясь простым осуждением рационализма в терминах общей теории значения, Рейхенбах попытался раскрыть принципиальную слабость основных корней рационалистического подхода к философии. Суть рационализма, как думал Рейхенбах, составляет необоснованная попытка распространить полезные открытия математики за ее собственные пределы. У Платона математика смешивается с этикой, а у Аристотеля математика управляет физикой, вместо того чтобы обслуживать ее. Кант претендовал на объединение рационализма и эмпиризма в одно целое, но ему удалось лишь «засорить» понятие опыта рациональными элементами. К несчастью, рационалистам удалось убедить эмпириков принять их идеал совершенного доказательства, в силу чего последовательный эмпиризм пришел в лице Юма к неизбежному скептицизму.

Однако благодаря ряду замечательных открытий началось освобождение мышления от уз рационализма. Первым из этих открытий было открытие — вскоре после смерти Канта — неевклидовых систем геометрии, которое заставило признать, что геометрия, считавшаяся основанной на разуме, не является единственно возможной и что вопрос о геометрии реального мира должен решаться посредством эмпирической проверки.

Затем развитие логики показало, что весь аппарат логики и математики, который рационализм пытался навязать реальности, на самом деле состоит из тавтологий и лишен фактического содержания. Наконец, сама наука с помощью таких открытий, как учение об органической эволюции, теория относительности и квантовая механика, пришла к выводу о неприемлемости строгого детерминизма, который рационализм издавна пытался протащить в науку. Благодаря этим открытиям стал возможен новый тип знания, в котором наука, освобожденная от требования полного доказательства, может получать вероятности, не только служащие практическим целям, но и облегчающие развитие научной теории.

Выбор критерия осмысленности, по Рейхенбаху, является делом не

доказательства, а скорее соглашения. «Значение есть функция, которую приобретают символы, будучи поставлены в определенное соответствие с фактами»; но особое значение здесь придается тому, *какой* это вид соответствия с *какого* вида фактами. Это имеет непосредственное отношение к предполагаемой структуре знания, где Рейхенбах различает несколько базисов.

Базис высказываний существенно отличается от других тем, что он строится не непосредственно на каком-либо внеязыковом факте, а на предложениях. Этот базис, приписываемый Рейхенбахом Карнапу, имеет преимущество в том, что он «более тесно связан со знанием, чем базис объектов», так как «система знания составлена из предложений». Он также имеет то преимущество, что позволяет в отличие от базиса объектов отличать строгую импликацию от материальной. Но он, однако, затемняет то обстоятельство, что наука ищет связи фактов, а не связи предложений. Этот базис приводит также к преувеличению конвенциональных аспектов языка и упускает из виду то обстоятельство, что «некоторые существенные признаки языка не являются произвольными, а обязаны своим появлением соответствию языка фактам». Например, выбор геометрических принципов отнюдь не является произвольным, если сформулированы соответствующие «определения координации» (см. § 3.4). Таким образом, хотя базис высказываний не является ложным и может быть полезным для определенных целей, он должен, как правило, считаться вторичным по отношению к базису конкретов, который основывается на наблюдениях макрокосмческих объектов и событий.

В соответствии с таким пониманием четырех базисов для построения познания Рейхенбах различает четыре типа объектов познания. Первый состоит из впечатлений, второй — из конкретов, которые могут быть либо субъективными, либо объективными; третий — из абстрактов, которые язык выделяет ради удобства, и четвертый — из научных объектов. Рейхенбах часто говорит также и об «иллатах», или выведенных объектах, которые включают почти все научные объекты и большую часть впечатлений. Абстракты не составляют независимый тип объектов, поскольку они фактически сводимы к конкретам, в том же смысле, в каком кирпичная стена сводится к сочетанию отдельных кирпичей. В этом смысле отношение между абстрактами и конкретами резко отличается от отношения между внешними вещами и впечатлениями, поскольку в то время как абстракты сводимы к конкретам, внешние вещи никоим образом не сводимы к впечатлениям.

Проблема существования внешнего мира является, по Рейхенбаху реальной проблемой, с которой нельзя «разделаться... с помощью софистических доводов». Физические объекты на самом деле обычно являются нам в наших наблюдениях конкретов, и, хотя обоснованность этих наблюдений должна подтверждаться выводом, это требование не исключает объективной реальности физических объектов. Реальный мир бодрствующего человека отличается от мира снов своими согласованными каузальными связями. Можно, конечно, исходить из позитивистского языка и на нем выражать результаты фактических наблюдений; но только в том случае, если мы примем правила языка, позволяющие с помощью вероятностных выводов применить такой язык к области объективно реальных объектов, этот язык сможет выразить то, что мы обычно хотим сказать. Поэтому лучше, как правило, исходить из нормального языка, включающего упоминания о выведенных объектах. Конечно, верно, что на нормальном языке обычных объектов мы не можем адекватно выразить квантовые явления, так как наши

инструменты неизбежно искажают наши наблюдения, так что нормальный язык ведет к каузальным аномалиям. Это обстоятельство можно использовать как довод в пользу ограничения языка позитивистским уровнем, на котором каузальных аномалий не возникает, однако такое ограничение исключает много важных проблем. Наилучшим выходом, вероятно, будет следующий: начинать с нормального языка, построенного на базисе конкретов, а затем на основе вероятностных выводов принять правила экстраполяции, посредством которых можно поставить основные проблемы относительно квантовых явлений и говорить об атомном мире, столь же реальном, как и привычный физический мир.

Научное знание в основном состоит из номологических, или законоподобных, высказываний; впоследствии выяснилось, что логический характер некоторых из них порождает серьезные проблемы. Среди номологических высказываний только аналитические не составляют собой проблемы. Они представляют собой предельный случай вероятностных высказываний и являются тавтологическими средствами перевода одного множества высказываний в другое на данном уровне языка, не добавляя сами по себе ничего нового к знанию. Гораздо труднее охарактеризовать синтетические номологические высказывания, которые содержат информацию о регулярности среди фактов и образуют то, что часто называют законами природы. Такие высказывания, безусловно, не являются материальными импликациями, так как нежелательно утверждать истинность законоподобного высказывания только потому, что ложен его антецедент. Номологические высказывания не являются и обобщенными импликациями, так как даже ложность антецедента во всех случаях не должна являться достаточным основанием для утверждения законоподобного высказывания. Основными требованиями к номологическим высказываниям фактически являются следующие: они должны быть *общими* в смысле «высказываний обо всех...», *исчерпывающими* в том смысле, чтобы «все возможности, предоставленные высказыванием, исчерпывались объектами физического мира, из них не должны следовать отрицания их антецедентов, они должны быть *универсальными,* а не ограниченными «определенным местом и временем», исчерпывающими и не содержащими указаний на «конкретную область пространства- времени» и, наконец, проверяемыми в том смысле, что можно доказать, что они обладают высокой степенью вероятности.

Логика, посредством которой лучше всего достигается и обосновывается знание, независимо от того, формулируется оно в номологических высказываниях или нет, — это не логика дедуктивного доказательства и не логика подтверждения посредством вывода следствий из условий, а также не логика доказательства посредством особых методов индукции. Она скорее является, как подсказывает предшествующий анализ взглядов Рейхенбаха, логикой вероятностей, по отношению к которой дедуктивная логика представляет собой просто предельный случай, а особые методы индукции — вспомогательные средства. Следовательно, можно утверждать, что проблема вероятностей составляет ядро любой теории познания.

Наиболее удовлетворительным подходом к проблеме вероятностей является следующий: начинать с чисто формального исчисления, в котором можно построить всю систему целиком, исходя из постулируемых аксиом в соответствии с принятыми правилами. К счастью, большая часть такого исчисления уже была разработана математиками в форме широко принятых систем правил,

позволяющих переходить без обращения к фактам от одного множества вероятностных высказываний к другому. Суммируя существенные признаки этого исчисления в первых восьми главах своей «Теории вероятностей», Рейхенбах переходит в последующих главах этой книги к более философским проблемам интерпретации формального исчисления и применимости его к физическим объектам. Обе проблемы до некоторой степени усложняются тем фактом, что термин «вероятность» иногда применяется для обозначения *«последовательностей событий* или иных физических объектов», а иногда — для обозначения *«отдельных событий* или других отдельных физических объектов».

Чтобы интерпретация исчисления вероятностей служила разъяснительным инструментом, не связанным с необоснованными предположениями, нужно показать, что все исчисление тавтологически вытекает из принятой интерпретации. Этому условию (в той мере, в какой речь идет о вероятности последовательностей событий), очевидно, удовлетворяет интерпретация в терминах относительной частоты. Такая интерпретация рассматривает вероятность определенного рода событий как предел частоты, с которой этот вид событий встречается в соответствующей последовательности. Существование предела для каждой последовательности, включающей определенную частоту, понимается в том смысле, что для любой, сколь угодно малой разности можно указать такое число случаев, что суммарная относительная частота во всех последующих случаях не будет отклоняться от рассматриваемой относительной частоты больше, чем на эту разность. То, что из этой интерпретации действительно следуют все правила исчисления вероятностей, вытекает из того обстоятельства, что это исчисление, несмотря на то, что оно является чисто формальным, предназначено как раз для выполнения требований этой интерпретации.

Однако эта интерпретация содержит некоторые трудности. Во-первых, если последовательность бесконечна, то никакой ее конечный сегмент не накладывает никаких ограничений на окончательную частоту. К счастью, однако, ряды, с которыми мы имеем дело, всегда конечны и нам не приходится иметь дело с тем, что нельзя было бы финитизировать или ограничить разумными пределами. Вторая трудность, возникающая из решения первой, заключается в том факте, что понятие предела применимо, строго говоря, только к бесконечным рядам, поскольку отклонения от заданной частоты могут неограниченно уменьшаться, только если ряд продолжается неограниченно. Выход из этой трудности можно найти в том, что понятие предела, как и большинство законов физики, является полезной идеализацией и что если даже оно не работает вполне совершенно, оно тем не менее является достаточным приближением в случае очень больших чисел, с которыми приходится иметь дело.

Что касается обоснованности вероятностных высказываний о физических объектах, то возможны два типа теорий. Априорные теории пытаются найти среди событий по крайней мере некоторые связи, не зависящие от фактически встречающихся частота для этого так или иначе используется предположение о равновозможности каких-то неизвестных факторов. Однако такие теории фактически построены на механизме азартных игр, к которому применимы определенные, уже разработанные, но в недостаточной степени признанные соображения. Когда эти соображения должным образом учитываются, любой надежный фактор сводится к встречаемой частоте. Тем самым мы возвращаемся

назад, к апостериорному базису, в который входят только наблюдаемые частоты и формальное исчисление.

Когда мы рассматриваем вероятности не последовательностей, а отдельных событий, таких, как вероятность того, что сегодня будет дождь, мы, по-видимому, имеем дело с совершенно другим понятием вероятности. Иногда это новое понятие истолковывается как степень ожидания, а иногда как специфическая характеристика. Но первая трактовка затемняет тот факт, что вероятности мыслятся, как правило, объективными, а не субъективными; а вторая не дает основы ни для действия, ни для установления вероятностей, в терминах которых обосновывается смысл. На самом деле то, что является существенным в предполагаемой вероятности отдельного события, можно свести к относительной частоте, обнаруживая более длинные последовательности и высчитывая в них частоту событий рассматриваемого рода. Так, например, вероятность того, что сегодня будет дождь, можно получить в терминах относительной частоты дождливых дней ко всему классу дней, напоминающих в некоторых определенных отношениях сегодняшний день. Еще лучшим путем достижения того же результата был бы перенос исследования на металингвистический уровень и рассмотрение вероятности как относительной частоты достоверности высказывания, описывающего рассматриваемое событие, в некотором классе связанных с ним высказываний.

Поскольку даже наши высказывания о событиях, в терминах которых определяются относительные частоты, являются только вероятностными, полное определение вероятности требует вместо обычной двузначной — многозначной логики, в которой истинность и ложность являются только конечными значениями шкалы, колеблющейся от 0 до 1. Как для общих вероятностных задач, так и для интерпретации квантовой механики Рейхенбах разработал такую логику вероятностей.

Проблема обоснования индукции по существу совпадает с проблемой обоснования метода простого перечисления, связанного с частотной интерпретацией вероятностей. В этой связи становится с самого начала очевидным, что этот метод может быть обоснован, если предположить, что частоты, наблюдаемые в ряду, имеют пределы. Попросту, если брать частоту, наблюдаемую до определенного момента, как начальную оценку, а затем корректировать ее с каждым получением существенно новых данных, то получаемая оценка в конечном счете может быть сделана сколь угодно точной, если только существует предел. Если имеются подтверждающие данные, как это бывает почти во всех научных процедурах, то требуемого приближения можно достигнуть довольно быстро в вероятностных терминах. В ряде случаев исходные эксперименты могут даже допускать точную оценку на основе только единичного случая. Кроме того, хотя в случае отсутствия подтверждающих данных первоначальная оценка, так сказать, слепа в том смысле, что ей не приписывается никакого «веса», некоторый вес можно приписать последующей, вторичной оценке, ссылающейся на первую в метаязыке; и эту оценку в свою очередь можно взвесить в новом метаязыке, так что первая оценка может быть сделана достаточно надежной и только последняя по необходимости остается слепой.

Однако предположение о существовании пределов наблюдаемых последовательностей фактически является необоснованным. Это предположение, представляющее собой одну из форм учения о единообразии природы, может

рационально обосновываться только с помощью индукции и поэтому не годится для обоснования самой индукции. Другая возможность — принятие синтетических априорных суждений — также ничего не дает; так что если обоснование индукции означает обоснование *веры* в индукцию, то не существует обоснования индукции. Однако на самом деле речь идет не об обосновании веры, а о получении достаточных оснований для действия, и в таком понимании индуктивное правило, предлагающее принимать последовательно наблюдаемые частоты, может обосновываться тем, что если существует предел частоты, то его можно обнаружить с помощью такого метода. Будучи достаточным условием для обнаружения предела, если таковой имеется, этот метод по меньшей мере является необходимым условием обнаружения подобного предела. Следуя ему, мы можем ошибиться, если предела не существует, но он является нашим единственным шансом. Поэтому наши действия оправданы, если мы следуем этому методу. Можно даже разработать особые процедуры, улучшающие этот метод, однако если и существуют лучшие методы, чем этот, то их можно обнаружить, только следуя этому методу.

3.3.3 Карл Гемпель

Хотя Карл Гемпель (1905-1997), позже профессор Принстонского университета, был членом Берлинской группы Рейхенбаха и продолжал придерживаться многих характерных для этой группы воззрений, однако наряду с этим он учился в Вене у Шлика и продолжал поддерживать тесную связь с членами Венского кружка, так что в своих взглядах он совмещал идеи обеих групп.

В середине 1930-х годов Гемпель, по-видимому, был почти во всех отношениях ортодоксальным физикалистским логическим позитивистом. В этот период он утверждал, что высказывание о физическом объекте является не чем иным, как сокращенной формулировкой предложений о проверке, что даже психологические высказывания можно переводить в высказывания о физических объектах, которые в свою очередь можно перевести в предложения наблюдения, и что среди осмысленных высказываний непереводимыми являются только высказывания логики и математики, не имеющие эмпирического содержания и являющиеся чисто аналитическими. Однако вскоре после этого Гемпель начал во многом сомневаться, особенно в верификационном критерии значения и в переводимости осмысленных высказываний в предложения о наблюдении. Сначала он принял Карнапово уточнение тезиса о переводимости посредством редукционных цепей, связывающих высказывания о физических объектах с высказываниями о наблюдении, не определяя первые в терминах последних, но затем он пришел к убеждению, что четкое различие между познавательным значением и бессмыслицей должно быть заменено постепенной дифференциацией, допускающей различные степени осмысленности, и что в качестве исходных смысловых единиц должны рассматриваться не отдельные утверждения, а системы утверждений. Иными словами, уточнение должно быть расширено с помощью понятия связываемости с когерентными научными системами, и Гемпель, как и Нейрат, еще в 30-е годы оказали существенное влияние на те представления о когерентности, которые используются сегодня (см. §§ 9.7; 9.9).

В своих работах 40-х годов «Исследования по логике подтверждения» и «Определение «степени подтверждения»» (совместно с Паулем Оппенгеймом) он предпринял попытку дать в терминах искусственного языка (пусть детально

разработанного, но все равно языка простой структуры по сравнению с естестенным) точную формулировку такого подтверждения, не достигающего полной верификации, посредством которого осмысленные эмпирические высказывания могут связываться с наблюдением: он предлагает определение понятия "наблюдаемая связь О подтверждает гипотезу *Н*" или квантифицировать это понятие, введя «степень подтверждения» — "свидетельство *Е* подтверждает гипотезу *Н* в степени *r*". Ряд выдвинутых к этому времени критериев значения он подверг строгой критике, придя к выводу, что любой из этих критериев либо подрывает науку, либо открывает двери нежелательной метафизике, так что эмпирическим философам лучше всего прекратить поиски критерия значения, подходящего для естественного языка, и направить свои усилия на построение однозначного искусственного языка, в котором все эмпирические понятия определялись бы в явной форме. Гемпель продолжил свою атаку на выдвигаемые критерии значения для изолированных предложений и предложил свои собственные критерии когерентности осмысленных систем. Последние оказались связанными с проблемой выяснения отношений между "теоретическими терминами" и "терминами наблюдения", то есть с проблемой выяснения того, как научные термины (например, "электрон"), соответствующие ненаблюдаемым сущностям и качествам, могут иметь наблюдательный смысл. Отбрасывая как слишком строгий позитивистского физикализма, Гемпель вводит понятие "интерпретативной системы". С помощью подобной системы, состоящей из утверждений, использующих и теоретические термины, и термины наблюдения, возможна "частичная интерпретация" теоретической системы таким образом, что совокупность теории и ее интерпретативной системы будут иметь проверяемые наблюдаемые следствия.

Ни одно научное высказывание, по мнению Гемпеля, нельзя проверить само по себе; оно является составной частью целого и должно проверяться под углом зрения его места в этом целом, которое само должно проверяться как целое. Научные системы представляют собой системы интерпретированных аксиом, связанные в различных пунктах с наблюдением и в различной степени согласующиеся с наблюдаемыми фактами. Подтверждение и осмысленность систем и теорий не являются абсолютными; их степень зависит от:

(а) ясности и четкости формулирования теорий;

(б) систематичности, то есть объяснительной и предсказывающей силы систем;

(в) формальной простоты теоретической системы,

(г) от того, в какой мере эти теории подтверждаются наблюдаемым опытом.

Если система полностью соответствует наблюдению, то она может заменяться предложениями наблюдения и поэтому в силу «дилеммы теоретика» бессмысленна; однако фактически научная система никогда не может быть чем-то большим, нежели приближением, в высокой степени согласующимся с наблюдением, и даже различение между аналитическим и синтетическим не является в ней совершенно резким. Однако неизбежный разрыв между теоретическими системами науки и данными наблюдения не оправдывает, по мнению Гемпеля, того скачка к реализму, который предлагается некоторыми аналитическими философами. Сформулированная Гемпелем в ходе этих исследований "дилемма теоретика" сильно поколебала позиции позитивизма и ясно показала, что теоретические термины не могут быть редуцированы к

терминам наблюдения и не могут быть исчерпаны никакой комбинацией терминов наблюдения.

Наконец, результаты работы Гемпеля по проблеме объяснения вошли в классику философии науки. Дедуктивно-номологическая модель научного объяснения во многом послужила переосмыслению самих принципов объяснения, в том числе самим Гемпелем (см. § 11.2).

3.4 Дискуссия о языке наблюдения

Исходной точкой исследований венцев был "Трактат", согласно одному из фундаментальных тезисов которого утверждение истинно, если факт или состояние дел, выраженные этим утверждением, существуют; иначе утверждение ложно. Обсуждение утверждений наблюдения привело к пересмотру этого тезиса.

Согласно распространенным в то время интерпретациям "Трактата", составляющие мир факты состоят из некоторых родов элементарных фактов, далее не сводимых к другим. Они названы атомарными фактами, а те, которые составлены из них — молекулярными фактами. (Следует заметить, что сам Витгенштейн не говорит об атомарных и молекулярных фактах — это скорее расселовская интерпретация; Витгенштейн просто говорит о "фактах" и "положениях дел", и при этом остается под вопросом, каждому ли предложению должен соответствовать отдельный факт — в частности, соответствуют ли логически сложным предложениям особые, логически сложные факты, или же они сводимы к простым фактам, соответствующим конституентам таких предложений?) В соответствии с этими двумя родами фактов приняты два рода утверждений: атомарные утверждения, чтобы выразить атомарные факты, и молекулярные утверждения, чтобы выразить молекулярные. Логическая форма, в которой молекулярное утверждение состоит из атомарных, отражает формальную структуру фактов и, следовательно, так же, как существование молекулярного факта определено существованием его атомарных элементов, истина или ложность молекулярного утверждения определена соответствующими свойствами атомарных утверждений, т.е. каждое утверждение является функцией истины атомарных утверждений.

Возражение Нейрата основано в первую очередь на том же очевидном требовании, что отношение корреспонденции необъяснимо (не существует теории самого этого отношения: единственное, что могут сделать корреспондентисты — это объявить корреспонденцию отношением *sui generis*, но в таком случае они признают, что это отношение неверифицируемо — по крайней мере, неприменимо к теории значения). Если я утверждаю, что снег бел, а мой оппонент — что снег зелен, то у нас не будет никаких способов выяснить, чье утверждение истинно, обращаясь лишь к самому снегу, причем что бы мы с ним ни делали. Нам придется для проверки обратиться к другим (нашим собственным и сделанным другими людьми) утверждениям, содержащим термины "белый" и "зеленый".

Согласно Нейрату, наука — система однородных утверждений, где каждое утверждение может быть соединено или сравнено с каждым другим утверждением — например, чтобы вывести заключения из сочетания утверждений или проверить, совместимы ли они друг с другом или нет.

> Речь о науке всегда идет как о системе утверждений. Утверждения сравниваются с утверждениями, а не с 'опытом', 'миром', или чем-либо еще. Все эти бессмысленные дублирования принадлежат более или менее рафинированной метафизике и, по этой причине, должны быть отклонены. Каждое новое утверждение сравнивается со всей совокупностью существующих утверждений, предварительно скоординированных. Сказать, что утверждение является правильным, поэтому означает, что оно может быть включено в эту совокупность.[10]

Утверждения никогда не сравниваются с "действительностью", с "фактами", поскольку никто из тех, кто поддерживает идею соответствия языковых выражений действительности, не способен дать точную теорию того, как искомое сравнение утверждений с фактами может быть произведено, и того, как мы можем устанавливать структуру фактов. Поэтому идея корреспонденции — лишь результат метафизики удвоения, а все связанные с ней проблемы — просто псевдопроблемы. Нейрат описал фундаменталистскую позицию как "связанную с верой в *непосредственный опыт*, принятой в традиционной академической философии", и отметил, что "методологический солипсизм" (термин Карнапа для представлений в духе Шлика) "не стал более пригодным к употреблению из-за добавления слова "методологический""[11].

В соответствии с этим Карнап развил когерентную теорию, основная идея которой состояла в следующем: можно удалить из теории Витгенштейна отношение к "фактам" и характеризовать некоторый класс утверждений как истинные атомарные предложения — что позволяет поддержать важные идеи Витгенштейна о предложениях и их связях без дальнейшей зависимости от фатальной конфронтации предложений и фактов и, главное, от связанных с этим затруднительных последствий. Искомый класс пропозиций был представлен классом тех самых утверждений, самообоснование которых оказалось в центре внимания Шлика — утверждений, которые выражают результат чистого непосредственного опыта без какого бы то ни было теоретического дополнения. Они были названы протокольными предложениями, и, как изначально считалось, не нуждались ни в каком дальнейшем доказательстве и/или обосновании.

Замена понятия атомарных предложений понятием протокольных предложений стала, по мнению Гемпеля, первым шагом в отказе логического позитивизма от теории истины "Трактата"; вторым же стало изменение представления о формальной структуре системы научных утверждений[12].

Согласно "Трактату", пропозиция, которая не может в конечном счете быть проверена, не имеет никакого значения; другими словами, утверждение имеет значение тогда и только тогда, когда оно — функция истинности атомарных пропозиций. Так называемые законы природы не могут быть полностью проверены, поэтому они не представляют вообще никакие утверждения, но всего лишь служат инструкциями, как делать значимые утверждения. Но Карнап принял во внимание, что в науке эмпирические законы сформулированы на том же самом языке, что и другие утверждения, и что они объединяются с сингулярными утверждениями, чтобы получить предсказания. Поэтому он заключил, что критерий Витгенштейна для значимых утверждений был слишком узким и должен

---

[10] Neurath O. 'Sociology and Physicalism' — in: Ayer A.J. (ed.) Logical Positivism. P. 291.
[11] Neurath O. 'Protocol Sentences' — in: Ayer A.J. (ed.) Logical Positivism, pp. 204 and 206.
[12] См.: Hempel C.G. 'On the Logical Positivists' Theory of Truth' — Analysis, v.2, No.4, 1935. Pp. 49-59.

быть заменен на более широкий. Он характеризует эмпирические законы как общие импликативные утверждения; которые отличаются своей формой от так называемых сингулярных утверждений, типа "Здесь теперь температура 20 градусов". Общее утверждение проверяется исследованием его сингулярных следствий; но поскольку каждое общее утверждение определяет бесконечный класс сингулярных следствий, постольку оно не может быть окончательно и полностью проверено, но только более или менее поддержано ими: общее утверждение — не функция истины сингулярных утверждений, но имеет относительно них характер *гипотезы*. Иными словами, общий закон не может быть формально выведен из конечного множества сингулярных утверждений. Каждое конечное множество утверждений допускает бесконечный ряд гипотез, каждая из которых подразумевает все упомянутые сингулярные утверждения. Поэтому установление системы науки конвенционально: мы должны выбрать между большим количеством гипотез, которые являются логически одинаково возможными, и мы обычно выбираем ту, который отличается формальной простотой, как часто подчеркивали Пуанкаре и Дюгем. При этом сингулярные утверждения сами имеют характер гипотез относительно протокольных утверждений, а следовательно, даже те сингулярные утверждения, которые мы принимаем и которые мы расцениваем как истинные, зависят от того, которую из формально возможных систем мы выбираем.

Отсюда следует отвержение еще одного фундаментального принципа "Трактата" — принципа композициональности: больше не представляется возможным определить истину или ложность каждого утверждения в терминах истины или ложности некоторых базовых утверждений, будь то атомарные утверждения или протокольные утверждения, или другие роды сингулярных утверждений, поскольку даже обычные сингулярные утверждения являются гипотезами относительно базовых утверждений. Гипотеза, с такой точки зрения, не может быть полностью и окончательно проверена конечным рядом сингулярных утверждений; гипотеза не является функцией истины сингулярных утверждений, а следовательно, сингулярное утверждение, которое не является базовым, не является функцией истины базовых утверждений.

Итак, анализ формальной структуры систем утверждений привел логических позитивистов к существенному измению понятия истины — к такому, согласно которому в науке утверждение принято как истинное, если оно достаточно поддержано протокольными утверждениями. И это характеризует существенную черту, которую когерентная теория Карнапа—Нейрата все еще имела общей с "Трактатом": принцип редукции проверки каждого утверждения к некоторому роду сравнения между рассматриваемым утверждением и некоторым классом основных пропозиций, которые воспринимаются как *окончательные* и не допускающие никакого сомнения. По мнению Гемпеля, третья стадия когерентистской эволюции позитивизма может быть охарактеризована как устранение из теории истины даже этого принципа.

Если протокол некоторого наблюдателя содержит два утверждения, которые противоречат друг другу, то устраняется по крайней мере одно из них. Поэтому протокольные утверждения не могут восприниматься как образующие неизменное основание целой системы научных утверждений, хотя мы действительно часто возвращаемся именно к протокольным утверждениям для проверки пропозиции. С такой точки зрения, нет абсолютно первых утверждений для установления науки;

для каждого утверждения эмпирического характера, даже для протокольных утверждений, может требоваться дальнейшее обоснование (например, протокольные утверждения некоторого наблюдателя могут быть обоснованы утверждениями, содержащимися в сообщении психолога, исследующего надежность наблюдателя перед тем или в то время, как он делает свои наблюдения, или другими утверждениями, относящимися к условиям наблюдения). Поэтому к любому эмпирическому утверждению может быть применена цепь проверочных шагов, в которой нет абсолютно последнего звена. Когда прервать процесс испытания — зависит от нашего решения, но в принципе этот процесс может продолжаться сколько угодно. Нейрат сравнивает науку с судном, которое бесконечно перестраивается в открытом море, и которое никогда не может быть помещено в сухой док и разом переделано от киля до мачты.

Такой вариант когерентной теории ни в коем случае не влечет отрицание существования фактов в пользу пропозиций — напротив, возникновение некоторых утверждений в протоколе наблюдателя или в научной книге расценивается здесь как эмпирический факт, и пропозиции возникают как эмпирические предметы. Прояснить такой подход призвано введенное Карнапом различие между материальным и формальным способом речи[13]. Согласно нему, каждое не-метафизическое рассмотрение в философии принадлежит области логики науки, если только оно не касается эмпирического вопроса и не принадлежит эмпирической науке. Каждое утверждение логики науки может быть сформулировано как утверждение о некоторых свойствах и отношениях только научных пропозиций, поэтому этим формальным способом речи может быть характеризовано также и понятие истины — а именно, как достаточное соглашение между системой подтвержденных протокольных утверждений и логических следствий, которые могут быть выведены из этого утверждения и других уже принятых утверждений. Употребить этот формальный способ скорее, чем материальный — не только возможно, но и намного более правильно, поскольку последний влечет за собой много псевдопроблем, которые не могут быть сформулированы правильным формальным способом. Сказать, что эмпирические утверждения "выражают факты" и, следовательно, что истина состоит в некотором соответствии между утверждениями и выраженными ими "фактами", значит употребить материальный способ речи.

Возражение Шлика состоит в том, что радикальный отказ от идеи о системе неизменных базовых утверждений в конце концов лишил бы нас идеи абсолютного основания познания и привел бы к полному релятивизму относительно истины. Контраргумент здесь таков: синтаксическая теория научной проверки скорее всего не может дать теорию чего-то, что не существует в системе научной проверки. И действительно, нигде в науке не найти критерий абсолютной неоспоримой истины. Чтобы иметь относительно высокую степень уверенности, надо возвратиться к протокольным утверждениям надежных наблюдателей; но даже они могут уступить место другим хорошо поддержанным утверждениям и общим законам. Поэтому требование абсолютного критерия истины для эмпирических утверждений неадекватно; оно исходит из ложной предпосылки. По мнению Карнапа, поиск критерия абсолютной истины представляет одну из псевдопроблем, свойственных материальному способу речи: идея проверки утверждения путем его сравнения с фактами вызывает представление об одном определенном мире с некоторыми определенными свойствами, а отсюда

[13] См.: Carnap R. Logical Syntax of Language. N.Y., 1937.

естественно требование одной системы утверждений, которая дает полное и истинное описание этого мира и которая должна была бы быть обозначена как абсолютно истинная. При употреблении формального способа речи недоразумение, которое не допускает правильной формулировки, исчезает, а с ним и повод для поиска критерия абсолютной истины.

Шлик принимает абсолютно твердое основание знания; но с другой стороны, он признает, что для теории истины выгодно рассматривать только пропозиции. Поэтому остается только один способ характеризовать истину: принять, что имеется некоторый класс утверждений, которые являются синтетическими, но тем не менее абсолютно, бесспорно истинными — т.е. такими, сравнением с которыми каждое другое утверждение могло бы быть проверено. Шлик предполагает, что такие утверждения есть: он называет их "Konstatierungen" ("утверждения-констатации"), и приписывает им форму "Здесь теперь так-то и так-то", например "Здесь теперь синий и желтый рядом" или "Здесь теперь больно". Но вместе с тем он признает, что любое научное утверждение является не чем иным как гипотезой, и как таковая может быть отвергнуто, и поэтому он обязан предположить, что его неотвергаемые "констатации" — не научные утверждения, но что они представляют стимул для установления соответствующих им протокольных утверждений; например "Наблюдатель Миллер видел в такое-то время в таком-то месте синее и желтое рядом".

Относительно этих "констатаций" Шлик выдвигает требование, что

(1) в отличие от обычных эмпирических утверждений, они понимаются и проверяются в одном акте, то есть сравнением с фактами. Это значит, что он возвращается к "материальному способу речи", и даже описывает "констатации" как твердые точки контакта между знанием и действительностью — что влечет за собой псевдопроблему: требование единого полного истинного описания единственного мира;

(2) "констатации" не могут быть записаны подобно обычным утверждениям, и имеют силу только в один момент, то есть когда они установлены. Но тогда невозможно понять, как "констатация" может быть сравнена с обычным научным утверждением — а такое сравнение было бы необходимо, поскольку Шлик предполагает, что каждое эмпирическое утверждение в конце концов проверяется "констатацией".

Позиция Шлика может быть резюмирована следующим образом. Тезис Карнапа и Нейрата о том, что в науке утверждение принимается за истинное, если оно достаточно поддержано протокольными утверждениями, ведет к бессмыслице, если идея абсолютно истинных протокольных утверждений отклонена; очевидно можно представить себе много различных систем протокольных утверждений и достаточно поддержанных ими гипотетических утверждений; согласно формальному критерию Карнапа и Нейрата, каждая из этих различных систем, которые могут быть даже несовместимы друг с другом, была бы истинна. Для любой волшебной сказки может быть построена система протокольных утверждений, которыми она была бы достаточно поддержана, но мы называем сказку ложью, а утверждения эмпирической науки истиной, хотя и то, и другое удовлетворяет этому формальному критерию[14].

[14] См.: Hempel C.G. 'On the Logical Positivists' Theory of Truth', p.56.

Когерентистский ответ состоит в следующем. Между двумя сравниваемыми системами действительно нет никакого формального, логического различия, но только эмпирическое. Система протокольных утверждений, которые мы называем истинными и к которым мы обращаемся в повседневной жизни и в науке, может быть характеризована только тем историческим фактом, что это — система, которая фактически принята человечеством, и особенно учеными нашего круга культуры; "истинные" утверждения вообще могут быть характеризованы как достаточно поддержанные этой системой фактически принятых протокольных утверждений.

Обсуждая эту дискуссию в статье "Эмпирическое содержание", Дэвидсон обращает внимание, что в 1935 году, когда Гемпель подводил ее итоги (в статье "О теории истины логического позитивизма"), он едва различал между когерентной теорией знания и когерентной теорией истины — что понятно, так как тогда он еще не знал метод семантического определения истины Тарского. Поэтому он был в то время склонен думать, что единственный смысл, который мы можем придать фразе "Предложение S истинно" — это "S хорошо подтверждено в соответствии с принятыми сообщениями наблюдения"[15]. Но понятие хорошей подтверждаемости в соответствии с принятыми сообщениями наблюдения принадлежит скорее области эпистемологии; и когда оно сочетается с идеей, что протокольные утверждения "могут быть характеризованы только историческим фактом", который состоит в том, что они приняты (то есть полагаемы истинными), то это прямо ведет к когерентной теории знания[16].

Однако позже Гемпель охарактеризовал обсуждаемую позицию, сравнивая ее с идеей Гудмена о том, что правильность некоторой версии описания мира не может быть характеризована как ее применимость для мира[17]. Гемпель выделяет здесь четыре аспекта.

1. Нейрат отклоняет всякий разговор о "действительности", "фактах", "мире" как метафизический и как потенциальный источник бессмысленного и вводящего в заблуждение спора; самые слова "действительность", "факт" и т.д он отнес к своему известному индексу *verborum prohibitorum*.
2. Нейрат сочетает свои требования с убеждением в том, что эмпирические утверждения могут быть выражены на языке физики. Его физикализм носил настоятельно материалистический характер: все отрасли эмпирической науки, включая психологию и социальные науки, имеют дело, в его представлении, с конгломератами материальных или физических систем, чье поведение полностью поддается описанию в физических терминах. (Здесь —разногласие с Гудменом, отклоняющим концепции такого рода как монистический материализм или физикализм и защищающим вместо этого плюрализм.) Базовая концепция здесь состоит в том, что физикализм заключает о физических и ментальных событиях, а не об отношениях между языками.
3. Отклонение представления о том, что утверждения могут быть проверены сравнением с фактами, согласуется с позицией Нейрата, хотя и не было выражено им явно. Гудмен настаивает, что мы не можем проверять версию,

[15] Hempel C. 'Studies in the Logic of Confirmation' — in: Aspects of Scientific Explanation, New York, The Free Press, 1965. P. 42.
[16] Davidson D. Empirical Content. — In: Truth and Interpretation (ed. by E. LePore) Ox., 1986. P. 325.
[17] См.: Hempel C. G. "Comments on Goodman's Ways of Worldmaking" — Synthese, 45 (1980), pp. 193-199.

сравнивая ее с неописанным миром. Это могло бы быть выражено более положительно, по мнению Гемпеля, так: то, что мы называем экспериментальными результатами, может служить для проверки данной гипотезы только в том случае, если они выражены в предложениях, которые выдерживают отношения подтверждения или опровержения гипотезы. Очевидные результаты разрешают критическую конфронтацию с данной гипотезой только при соответствующих сентенциальных описаниях.

4. С отклонением идеи сравнения утверждений с фактами хорошо сочетается отклонение идеи протокольных предложений. Первоначально логические позитивисты предполагали, что эмпирические данные, служащие для проверки научных гипотез, в конечном счете выразимы в предложениях некоторой характерной формы, как предложения наблюдения или как протокольные предложения. Такие предложения очевидности могли бы быть установлены с окончательностью посредством прямого наблюдения, без необходимости дальнейшей проверки. Но если это имело бы место, то такие предложения наблюдения могли бы правдоподобно рассматриваться как описание неизменных фактов, с которыми гипотеза сопоставлялась или сравнивалась бы. Нейрат резко отклоняет это представление, считая, что преобразование наук производится при отказе от предложений, используемых в предыдущем историческом периоде, и то же самое относится к протокольным предложениям.

В совокупности эти требования фактически образуют когерентную теорию знания, в которой доминирующими требованиями для приемлемых теорий являются простота, охват и когерентность, но которая все еще требует прояснения того, как эмпирический характер утверждений наблюдения может быть обусловлен их согласованностью с принятой системой.

3.5 Формирование представлений о конвенционализме в философии науки Венского кружка

Полемика логических эмпиристов с неокантианцами была инициирована развитием точных наук в начале XX века. Последнее сказалось не просто в появлении новых образцов хорошей науки, которым новая философия эмпирического научного метода должна быть адекватна: под сомнение была поставлена сама возможность чистого, принципиального различия между эмпирическим и конвенциональным.

Претензии при этом предъявлялись к кантианской теории познания: кантово понятие времени оказывается "слишком узким, чтобы вместить развитие принципа, проделанное естествознанием"[18]. Равным образом становится затруднительным утверждать далее, что геометрия пространства истинна обязательно и независимо от нашего опыта.

В подобных рассуждениях для Канта исходной является проблема скептицизма: проблема, как возможно знание. Вопрос у Канта стоит, по крайней мере первоначально, не столько о том, как возможно знание вообще, а скорее как вопрос о том, как возможно синтетическое априорное знание, хотя он считал, что

[18] Schlick M. Philosophical Papers. V. I. (Vienna Circle Collection, v.11) Dordrecht, 1979. P.177.

эти две проблемы не могут быть разделены, потому что без синтетического априорного знания не будет возможно никакое знание (или опыт) вообще. Синтетическое знание кажется достаточно непроблематичным апостериорно: оно предоставляется опытом, и опыт непосредственно обеспечивает все обоснование, которого такое знание может потребовать. Представление об аналитическом знании также не вызывает у Канта вопросов — возможно, потому, что он думал, что оно так или иначе просто вербально, т.е. слишком тривиально, чтобы его действительно стоило называть знанием. Но синтетическое априорное знание не может наличествовать в опыте уже потому, что оно априорно, и все же Канту представляется ясным, что оно должно иметь место, поскольку мы постоянно полагаемся на такие понятия как понятие причины, объекта и т.д., которые не могут быть получены из опыта, и их применение к миру не может быть проверено опытом. Кант считает, что управлять применением этих понятий должны синтетические априорные принципы. Математика также является не-эмпирической, и по его мнению, не аналитической; в ней также перед нами предстает система синтетических априорных истин о мире.

Такое знание не может быть получено из опыта или непосредственно проверено опытом. Кант рассматривает альтернативное предложение, сделанное Декартом и Лейбницем, согласно которому истина внешне гарантируется некоторой согласованностью между тем, что мы полагаем, и способом, которым существует мир. Но Кант отклоняет этот аргумент как циркулярный: тогда у нас была бы возможность полагать только о том, что уже известно. Он находит инверсионное решение: если не предмет делает возможным свое представление (во всяком случае, сам по себе объект не способен обеспечить свою репрезентацию), то представление должно делать предмет возможным: мы можем знать априорно о вещах только то, что сами мы помещаем в них. Иными словами, не то, как вещи находятся в мире, определяет истинность наших убеждений, но наши убеждения определяют то, что составляет истину.

С такой точки зрения, в пределах мира явлений — мира, каким мы его знаем, знакомого мира пространства, времени и материальных объектов — истина есть вопрос согласованности с

(1) "формальными условиями опыта, то есть условиями интуиции и понятий", с одной стороны, и

(2) "материальными условиями опыта, то есть с ощущением", с другой.

В обоих случаях, удовлетворение этим условиям оказывается согласованием с некоторыми нашими убеждениями, или возможными убеждениями, которые мы могли бы иметь при некоторых обстоятельствах. Истина не является здесь вопросом соответствия с некоторой действительностью, независимой от наших убеждений о ней а состоит в тщательной (полной) связи представлений в соответствии с законами понимания.

Если мы посмотрим с этой точки зрения на аналитическую философию науки, сформировавшуюся в Венском кружке, то окажется, что ее возникновение во многом связано именно с попытками разъяснить точный смысл, в котором признаваемая конвенциональной научная теория может считаться эмпирической теорией. Логическим эмпиристам пришлось защищать требование эмпиризма теории против двух тенденций неокантианства:

- отрицания возможности общей релятивистской или конвенционалистской

теории (такой, как ОТО[19]) в силу того, что она очевидно не согласуется с кантовой доктриной априорного характера времени и (евклидова) пространства как категорий внутренней и внешней интуиции, и

- стремления увязать общий принцип относительности с Кантом. Так, Наторп не видел никакого существенного конфликта между относительностью и критической философией, считая, что относительность просто подтверждала принятый от Ньютона тезис Канта о том, что все эмпирические определения пространства и времени должны быть относительны, и именно поэтому они с необходимостью предполагают абсолютность пространства и времени для интеллигибельности соотнесения. Нечто сходное — но более технически изощренно и с дальнейшей уступкой — утверждал Кассирер: в то время как полная структура евклидова пространства не может иметь синтетический априорный статус, по крайней мере некоторая более слабая топологическая структура должна быть признана имеющим его, чтобы мы могли видеть и точно оценивать различие между определенными метрическими определениями, которые отличают различные конфигурации, обнаруживаемые в результате наших экспериментов. Эта топологическая структура была бы разновидностью "концептуальной функции".

Чтобы возразить неокантианцам, требовалась артикуляция нового вида эмпиризма, который избегал бы крайностей редукционистского позитивизма махистского толка, равно как и последовательной кантианской априорности. Это должен был быть эмпиризм, который подтверждал бы потребность в конститутивном элементе в познании, но без того, чтобы предоставить этому конститутивному элементу синтетический априорный статус.

Для этого было привлечено такое представление о конвенции в науке, согласно которому предложения, составляющие научную теорию, могут быть разделены на два взаимно исключительных и совместно исчерпывающих категории - эмпирические предложения и координативные (идентифицирующие) определения - где только последний класс имеет статус конвенций, так, чтобы, как только он будет установлен конвенциональным соглашением, истина или ошибочность остающихся эмпирических предложений будет однозначно определена эмпирической очевидностью. Каждое эмпирическое предложение будет в таком случае иметь свое собственное, определенное эмпирическое содержание. Такое представление решало проблему с неокантианством, поскольку включало потребность в конститутивном элементе человеческой умственной деятельности, каковой представляли конвенциональные координативные определения. В то же время никакая конститутивность не признавалась привилегированной, так как в принципе, как считалось, возможна любая из нескольких различных конвенциональных координаций. При этом как только несколько координативных определений будут установлены в соответствии с конвенцией, остальная часть нашей науки будет иметь опытный характер.

Такой подход был связан с утратой доверия к понятиям "аподиктической достоверности" и "синтетических априорных предложений" в точной науке, связанной с укрепляющимся убеждением в невозможности получения таких фактических предложений. Поэтому признание конститутивных функций разума —

[19] См.: Howard D. Einstein, Kant, and the Origins of Logical Empiricism — Salmon W., Wolters G. (editors) Logic, Language, and the Structure of Scientific Theories. University of Pittsburg Press, 1994.

заимствование оружия у противника — явилось несомненно перспективным ходом. Шлик писал в этой связи:

> Вся точная наука, чье философское обоснование несомненно формирует главную цель основанной Кантом теории познания, покоится на наблюдениях и измерениях. Но простые ощущения и восприятие — еще не наблюдения и измерения; они станут ими только при классификации и интерпретации. Таким образом, формирование понятий физических объектов бесспорно предполагает определенные принципы классификации и интерпретации. Теперь я вижу суть критической точки зрения в утверждении, что эти конститутивные принципы — *синтетические априорные предложения*, в который понятие априори имеет неотъемлемое свойство аподиктичности (универсальной, необходимой и неизбежной валидности)... Наиболее важное последствие разработанного представления — то, что мыслитель, чувствующий необходимость конститутивных принципов для научного опыта, еще не может быть назван критическим философом лишь в силу этого. Эмпирист, например, вполне может подтверждать присутствие таких принципов; он будет отрицать лишь то, что они являются синтетическими и априорными в смысле, определенном выше[20].

Однако разработка полной эпистемологии научного знания требует по крайней мере более определенной теории характера и статуса необходимых конститутивных принципов. Если они не синтетические априорные предложения, то что они такое?

Можно сказать, что вся история аналитической философии науки является историей ответов на этот вопрос, включая оспаривание его корректности. Сегодня дискуссии по этой теме ведутся в русле обсуждения проблемы холизма/партикуляризма, пришедшей на смену идеям концептуальных схем и парадигм — в свою очередь, пришедших на смену аналитико-синтетической дистинкции. Возможно, самое аналитическая традиция трансформируется в ходе дискуссий по холизму в нечто иное — однако это более сильный тезис, который я не стану здесь рассматривать. Однако более, возможно, сильный тезис здесь заключается в следующем: сама возможность холистического и молекуляристского подходов во многом была задана именно формой постановки проблемы родоначальниками аналитической философии — логическими эмпиристами в дискуссии с неокантианцами.

В задачу логических эмпиристов входило дать некую умеренную форму конвенционализма — такую, которая могла бы каким-то образом быть согласована с априоризмом. При этом сам принцип априорности неизбежно оказывался подвергнутым переосмыслению. Шлик писал:

> [Кассирер] справедливо осуждает давнишнюю попытку Маха трактовать даже аналитико-математические законы как вещи, "чьи свойства могут быть считаны непосредственным восприятием", но это еще не доказывает истинности логического идеализма, а лишь опровергает сенсуализм. Но между ними еще есть эмпиристская точка

[20] Schlick M. Philosophical Papers. V. I. Pp.323-324.

зрения, согласно которой эти конститутивные принципы — *гипотезы* или *конвенции*[21].

Кант приписывал априорным предложениям две главных характеристики. Они

- обязательно истинны независимо от любого опыта, и они
- суть конститутивные принципы, посредством которых мы строим понятия предметов, проявленных нам в интуиции.

Формальные условия опыта являются условиями, которые нам дает наш разум и которые релевантны для мира явлений. в силу того факта, что мы им верим. Они известны априорно и включают принципы чистого понимания (как "каждый случай имеет причину"), которые касаются применения к опыту основных априорных понятий. Сюда относятся также принципы геометрии и арифметики и другие такие принципы, которые управляют применением к миру пространственных и временных импликаций. Эти принципы считаются у Канта конститутивными для мира явлений, потому что они фундаментальны для последовательной системы наших убеждений, а не в силу некоторого соответствия с действительностью, независимой от наших убеждений.

Согласно Канту, аксиомы евклидовой геометрии суть синтетические априорные истины, определяющие категориальную форму пространства, в котором конституируются для нас предметы внешней интуиции. Исходный пафос логического эмпиризма состоял в том, что, если мы принимаем эту доктрину, чтобы обратиться к физическому пространству, как оно описано в общей теории относительности, то мы должны отрицать аподиктический характер первой из двух упомянутых характеристик априорности. Но для логического эмпириста конститутивные принципы все еще нужны для того, чтобы обосновать возможность опыта и знания, даже если они не определены раз и навсегда природой человеческого интеллекта.

В объяснении того, как априорное может обеспечивать конституирование, и в объяснении, почему эта конститутивная функция должна быть отделена от предполагаемой аподиктичности априорного, логические эмпиристы (как Шлик и Рейхенбах, так и ранний Карнап и ряд других членов Венского кружка) исходили из того, что истинность предложения или множества предложений состоит исключительно в его однозначной координации с фактом или множеством фактов. Согласно Рейхенбаху, эмпирическое знание отличается от рационального тем, что в эмпирическом знании восприятие дает критерий для однозначной координации, позволяя нам определить, являются ли числовые значения, полученные при различных измерениях, идентичными. Если измерения перцептуальных данных и выполненные на их основе вычисления дают одни и те же числовые значения, то последовательность из двух значений подтверждает, что теория скоординирована с действительностью единственным образом, и в силу этого истинна. Если две значения противоречивы, то координация оказывается не уникальной в том смысле, что различные числа были получены двумя различными путями, а не одним и тем же, и таким образом, теорию надо считать ложной:

> Если значения, полученные измерениями, последовательно одни и те же, то координация обладает той собственностью, которую мы называем истиной или объективной валидностью. Поэтому мы даем определение:

[21] Ibid. P.324.

> *уникальность* познавательной координации означает, что физическая переменная состояния представлена *одним и тем же* значением, следующим из различных эмпирических данных. [22]

Как мы знаем, что последовательные координации могут когда-либо быть достигнуты? Согласно Рейхенбаху, "этот вопрос... эквивалентен вопросу Канта: 'Как возможна естественная наука?' "[23]

> "Возможно" предполагается не в психофизическом, но в логическом смысле: это относится к логическим условиям координации. Мы видели, ... что должны существовать некоторые условия для определения координации; эти условия — общие принципы типа направления, метрических отношений, и т.д. Мы можем поэтому сформулировать критический вопрос следующим способом: посредством каких принципов координация уравнений к физической действительности станет уникальной?
>
> Прежде, чем мы ответим на этот вопрос, мы должны охарактеризовать эпистемологическую позицию принципов координации. Они эквивалентны синтетическим априорным суждениям Канта. [24]

Возможность уникальной координации теории с действительностью, самое возможность существования истинных теорий здесь основана на некоторых принципах координации, которые действуют так же, как синтетические априорные предложения Канта. При этом подходе у априорных понятий нет свойства аподиктичности, но есть конститутивная функция. По сути, это означает такую характеристику принципов координации, в силу которой их существование гарантирует возможность эмпирического знания. Принципы координации производят необходимую координацию, конституируя предмет знания: определяя координацию, они определяют индивидуальные элементы действительности, и в этом смысле составляют реальный объект. Конституирование требуется потому, что реальность самостоятельно не дана в опыте; предметы эмпирического знания — не реальные, ноуменальные объекты, но феноменальные объекты, представленные в интуиции.

Логический эмпиризм показал различие между аналитическими координативными определениями и синтетическими эмпирическими предложениями, причем только первые являются конвенциональными, и как только они установлены в соответствии с конвенцией, истинность или ложность эмпирических предложений оказывается однозначно определена опытом эмпирического содержания, уникально связанного с каждым эмпирическим предложением.

Однако сама возможность различения между координативными определениями и эмпирическими предложениями не является внешней, т.к. поскольку такое различение требуется нам каждый раз, когда нам надо установить эмпирическую истинность теории, то его проведение является, вообще говоря, произвольным. Тем самым следует признать, в духе классического холизма Дюгема — Куайна, что только вся теория (полная совокупность составляющих теорию предложений) обладает эмпирическим содержанием, а не отдельные ее предложения. Тогда

---

[22] Reichenbach H. The Theory of Relativity and A Priory Knowledge. Berkeley, 1965. P.45.
[23] Ibid. P.46.
[24] Ibid. P.47.

истинность любого предложения может быть пересмотрена в том случае, если теория не соответствует опыту. Следовательно, истинность любого предложения, а не только координативных определений, может быть рассмотрена как устанавливаемая по конвенции.

Таким образом, то, что с кантианской точки зрения является априорным, с холистической точки зрения предстает вопросом конвенции. Но при этом холистический ответ кантианской доктрине состоял бы в том, что, в то время как для оценки эмпирической релевантности теории действительно должно быть проведено различие между априорным и апостериорным, все же способ, которым проводится это различие, произволен. В отличие от кантианской позиции, определенное таким образом априорное предложение не имеет такого принципиального эпистемологического отличия, которое предохраняло бы его от возможности пересмотра его истинностного статуса в случае получения противоречащих опытных данных.

Такая контингентность отличается от контингентности, предложенной логическими эмпиристами. Последняя представляет собой произвольность в отношении выбора координативного определения, системы координат для измерения; это не распространяется на ту детерминацию эпистемологического статуса предложения, которая делает его координативным определением. Координативное определение, как следует уже из его названия, подразумеватся видом предложений, соотносящих теорию с опытом. Холистическая же контингентность есть произвольность в выборе того, какую часть теории считать априорной, а какую — апостериорной. Это с очевидностью отлично также от отождествления апостериорного и контингентного, к которому пришли Куайн в результате своей критики аналитико-синтетической дистинкции в "Двух догмах эмпиризма" и Крипке в результате своей критики априорности в "Значении и необходимости". Однако для того, чтобы увидеть это различие, оказалось полезным вернуться к ответу логических эмпиристов на кантианский вызов.

Холистическая апостериорность может быть прояснена через верификационные процедуры. Согласно верификационистским представлениям, познавательно ценные высказывания можно отличить от познавательно не ценных с помощью формализуемых критериев: первые, в отличие от вторых, могут быть соотнесены с опытом, и их истинность — проверена в результате такого соотнесения. Вторые же просто никак не связаны с опытом: они либо аналитичны, т.е. всегда истинны, либо не имеют истинностного значения. Такой подход имеет определенные эпистемологические обязательства: если значение предложения есть его истинностное значение, то, по крайней мере для познавательно значимых высказываний, знать их значение значит знать условия, при которых они могут быть проверены опытом — условия их верификации (или, в другой версии — фальсификации). Основные проблемы из тех, с которыми столкнулся верификационизм, связаны с предположением, что верификация — это процедура, которая может быть проделана в отношении предложения, взятого в отдельности: если это простое предложение, не содержащее кванторов общности или их аналогов, смотри, связано ли оно непосредственно с опытом, если общее предложение или сложное — смотри, разъединяется ли оно на составляющие, непосредственно связанные с опытом, логически релевантным способом. Такие взгляды получили название атомистических. В их основе эксплицируются два исходных допущения:

(1) эмпирическое содержание предложения (из числа составляющих теорию) может быть установлено независимо от остального корпуса предложений теории, благодаря соотнесению такого выражения с самой реальностью;

(2) значение предложений теории есть их истинностное значение и оно также может быть непосредственно верифицировано опытом — путем соотнесения с реальностью — или верифицировано поэтапно, через приведение предложений к правильной логической форме и путем их логического анализа.

Критика, предпринятая в философии науки Гемпелем и Гудменом, а затем продолженная Куном и его последователями, показала, в чем эти идеи несостоятельны. В результате на смену в качестве принятого представления пришли другие взгляды, названные, в противоположность, холистскими.

По аналогии с приведенным ранее различением эмпирического и верификационистского атомизма можно различать эмпирический и верификационистский холизм: первый представляет собой утверждение, что эмпирическое значение предложений теории зависит от всего корпуса предложений теории, второй – что только вся теория в целом, а не отдельные ее элементы, может поверяться опытом. К этому второму положению добавляется обычно вывод из отказа признавать какое-либо существенное деление на аналитические и синтетические истины – что пересмотру в результате соотнесения с опытом может подвергнуться истинностный статус любого предложения, сколь бы независящим от опыта он ни казался. Эмпирический холизм для предложений теории — для которых больше не действительно деление на аналитические и синтетические, а также на верифицируемые и неверифицируемые (остаются требования непротиворечивости, грамматической правильности и т.п.) — можно признать следующим из верификационистского холизма: если ни одно из предложений не связано с чем-то вне теории — с опытом — привилегированным образом само по себе, то связь каждого из них с опытом, т.е. их условия истинности и условия верификации, должна зависеть от внутренних характеристик всей теории как целого.

Однако что означает: значение предложения зависит от всей теории? Прежде всего, подразумевается, что существуют правила, единые для теории в целом и тем самым для всех ее элементов, и некоторые из этих правил определяют, каким должно быть значение данного предложения: они определяют, как оно должно устанавливаться или как оно должно конструироваться, или прямо — каково оно. Но это может означать и нечто большее: а именно: любое изменение в любой части теории, если имеет место, то сказывается на всех остальных частях этой теории.

Этого, однако, может оказаться недостаточно для эмпирического холизма: иначе можно было бы сказать, что внутри частей теории влияние соответствующих изменений может распределяться таким образом, чтобы не затрагивать какие-то элементы. Тогда аргумент от изменений может выглядеть так: любые изменения в любой части теории, если имеют место, вызывают определенные изменения значений всех остальных элементов теории. Между тем, изменения могут быть разными и, по крайней мере, кажется весьма правдоподобным предположение, что изменения разных видов могут по разному влиять на разные элементы теории, в том числе и в отношении различия между непосредственным воздействием и опосредованным. Изменение представлений о выводе и его валидности,

обусловливающих логическую структуру теории, могут повлечь за собой изменения эмпирического содержания предложений теории, но это влияние может не быть непосредственным. По крайней мере, такие изменения будут опосредованы изменениями на разных уровнях межконцептуальных связей, а стало быть, могут быть значительно разнесены во времени и даже в предметных областях: какая-то часть теории может меняться быстрее другой. Если под изменениями понимать изменения правил, то мы вполне можем представить себе изменение такого рода, затрагивающее не весь корпус правил, а лишь определенную его часть и, соответственно, во всяком случае, сказывающееся на той части теории, которая непосредственно управляется этими правилами, быстрее и значительнее, чем на остальных (а где-то на "другом конце" теории степень влияния этого изменения вполне может оказаться нулевой, если даже предполагать, что оно непременно должно и там сказаться).

Отдельную проблему для эмпирического холизма может представлять и неопределенность в отношении границ теории: где еще продолжается теория T, а где – уже не она? Где границы той предметной области, к которой приложима данная теория? Такого рода соображения, вместе с идеей теории как структуры правил, обусловили третье направление в понимании зависимости эмпирического значения предложений теории от целого, частью которого они являются: оно получило название молекуляристского. Этот подход предполагает, что значение предложения определяется неким фрагментом теории, но не всей теорией в целом, например – определенной группой правил. Но, как мы видели, концепция правила сама нуждается в прояснении: в частности, может оказаться, что ответ на вопрос "Что значит знать определенное правило теории?" должен включать в себя холистское положение: "Знать определенное правило теории можно только, зная всю систему правил". В самом деле, если мы считаем, что эмпирическое значение предложений теории регулируется неким правилом R: "'T' значит t тогда и только тогда, когда то-то и то-то" – то мы должны знать условия валидности, истинности и т.д. R, т.е. мы должны знать соответствующую другую группу правил (не говоря уже о правилах, регулирующих понимание всего того, что входит в состав "то-то и то-то" – кантовские принципы чистого понимания). Это возражение может сниматься либо

(1) указанием на то, что имеются уровни правил, примерно соответствующие, например, делению на метатеории и объектные теории, и при этом все необходимые для того, чтобы знать данное правило теории, правила сами принадлежат к более высокому по отношению к данному уровню (расселовский путь), либо

(2) апелляцией к тому, что можно следовать правилу, не артикулируя его, т.е. не имея всей системы посылок, выводом из которых это правило кажется теоретикам (путь Витгенштейна или, скорее, "Крипкенштейна").

В первом случае молекуляризм, вероятнее всего, попадает в зависимость от возможности распространения на данную теорию многоуровневой (по крайней мере, двухуровневой) модели структурирования (по принципу: метатеория — объектная теория); во втором случае само правило редуцируется к совокупности обыденного дотеоретического – т.е. собственно эмпирического – знания. Этот путь не снимает для молекуляризма заявленной проблемы, поскольку ставит определимость значения в зависимость, в конечном счете, не от определенной

группы правил, а от условий установления определенной конвенции – условий удовлетворительности соответствующих обобщений.

Рассмотрим соотношение между указанными вариантами эмпиризма. Итак, логический эмпиризм показал различие между аналитическими координативными определениями и предварительно описанными синтетическими эмпирическими предложениями. При этом только первые являются конвенциональными, и как только они установлены в соответствии с конвенцией, истинность или ложность эмпирических предложений определена однозначно опытом эмпирического содержания, уникально связанного с каждым эмпирическим предложением. Холистическую точку зрения мы должны будем признать отличной от точки зрения логического эмпиризма по каждому из этих пунктов. Отталкиваясь от указанных дистинкций, холизм будет отрицать возможность объективного различия между координативными определениями и эмпирическими пропозициями.

Допустим, что Кантова априорность не может быть строго опровергнута никаким развитием науки, поскольку всегда можно будет сказать, что критические философы до сих пор допускали ошибки в учреждении априорных элементов, и всегда можно установить такую систему априорных элементов, которая не противоречит данной физической системе. Холистский контраргумент будет состоять в следующем. Пусть теория состоит из частей A, B, C и D, вместе составляющих логическое целое, которое надлежащим образом — *правильно*, т.е. в соответствии с определенными правилами — соединяет соответствующие эмпирические данные. Тогда совокупность меньшего, чем все четыре, количества элементов, например, A, B и D без C, больше ничего не говорит об этих эмпирических данных, и точно так же A, B и C без D. Но можно считать три из этих элементов, например, A, B, C обусловленными априорно, и только D — эмпирически. То, что остается здесь неудовлетворительным — это сохраняющаяся произвольность в выборе элементов, которые могут быть определены как априорные, поскольку она противоречит тому факту, что одна теория сменяется другой, и может смениться такой, в которой априорными будут, скажем, A, B и D, или даже только D.

Итак, то, что с кантианской точки зрения является априорным — с холистической точки зрения есть вопрос конвенции, однако, согласно ней, это еще не означает, что кантианские априорные элементы могут быть расценены как координативные определения логического эмпиризма.

Ответ Шлика и Рейхенбаха неокантианцам состоял в том, что как только установлены аналитические координативные определения, то истина или ложность каждой остающейся синтетической пропозиции, составляющей научную теорию, оказывается однозначно установлена опытом, соответствующим индивидуальному эмпирическому содержанию этой пропозиции. Холистический же ответ неокантианцам состоял бы в следующем: для того, чтобы оценить эмпирическое содержание теории, необходимо провести различие между априорным и апостериорным, в то время как способ, которым должно быть проведено это различие, произволен. Отличие от кантианской позиции здесь будет состоять в том, что предложение, определенное как априорное, не будет получать тем самым никакого принципиального эпистемологического отличия, дающего ему гарантию от пересмотра на основании свидетельствующего о противоположном опыта. Причем этот холистический тезис о произвольности

различия между априорным и апостериорным противостоит не только кантианству, но и в равной степени Шлику и Рейхенбаху, проводящим принципиальное различие между конвенциональными координативными определениями и эмпирическими пропозициями — и это различие является в концепции логического эмпиризма наиболее эпистемологически нагруженным. Холистическая произвольность — произвольность в выборе того, какая часть теории должна быть расценена априорная, а какая как апостериорная, — весьма отличается от произвольности координативных определений, предложенной Шликом и Рейхенбахом. Последняя предстает произвольностью в отношении выбора координативного определения, вопросом выбора системы координат. Эта произвольность не простирается на определение рода пропозиций, которые могут считаться координативными определениями. Координативное определение, как должно подразумевать его название, есть род пропозиций, "координирующих" теорию с опытом.

Корень этого последнего различия можно обнаружить уже в классическом эпистемологическом холизме Дюгема. Узкая (махистская) позитивистская концепция эмпирического значения — каждый допустимый научный термин должна иметь свое собственное, индивидуальное эмпирическое содержание, поскольку оно строится из элементов ощущения — была отброшена Дюгемом как неправомерное ограничение введения теоретических терминов, которые не обязательно являются индивидуально основанными на опыте, а как правило, вовсе не являются таковыми. Если же как обладающие эмпирическим содержанием рассматриваются только теории в целом, то теоретические понятия, которые индивидуально не основаны на опыте, совершенно приемлемы постольку, поскольку на нем основаны целые теории, которым принадлежат эти термины.

Согласно холистическим взглядам, надо будет признать, что факты опыта, в том числе субъективного, действительно составляют основание каждой науки, но они не составляют ее содержание. Скорее они представляют данные — "данное", к которому обращается наука. Простое подтверждение эмпирических отношений между экспериментальными фактами не может быть представлено как единственная цель науки. Такие общие отношения — в том виде, в котором они выражены в законах природы, сформулированных в нашей позитивной науке — нисколько не представляют собой простое подтверждение; они могут быть сформулированы и получены только на основе концептуального строительства, которое не может быть извлечено для нас из опыта как такового. Кроме того, наука ни в коем случае не удовлетворяется формулировкой законов опыта — напротив, она стремится создать логическую систему, основанную на минимальном из возможных числе предпосылок, которая содержала бы все законы природы как логические следствия. Эта система скоординирована с предметами опыта; разум стремится построить эту систему — которая, как предполагается, соответствует миру реальных вещей донаучного Weltanschauung — таким способом, чтобы она соответствовала всем имеющимся в наличии фактам опыта. Такая точка зрения отличается от критического идеализма в смысле Канта: здесь не обнаруживается никакого признака искомой системы, о котором мы могли бы знать априорно, что он обязательно должен принадлежать этой системе в силу того, что такова природа нашего мышления. Это также справедливо для форм логики и причинной связи. Мы можем задаваться вопросом лишь о том, как представлена система науки в ее состоянии развития к настоящему времени, но не о том, как она *должна* быть представлена. Логические основания системы, при

подобном подходе, конвенциональны тривиально, с чисто логической точки зрения.

Холизм возвращается, таким образом, к возможному различию между конвенциональными координативными определениями и эмпирическими пропозициями, но в нем оно получает радикальное переосмысление. Первичные понятия, непосредственно и интуитивно связанные с опытом, оказываются отделенными от всех других понятий, обладающих эмпирическим значением постольку, поскольку они связаны с первичными понятиями через утверждения. Частично эти утверждения являются определениями понятий и логически выводимых из них утверждений, а частично утверждениями, которые не выводимы из определений, и выражают по крайней мере косвенные отношения между первичными понятиями и таким образом между элементами опыта. Утверждения последнего рода суть утверждения относительно действительности, или законы природы, т.е. утверждения, которые должны быть валидны для элементов опыта (устойчивы к проверке на элементах опыта), охватываемых первичными понятиями. То, какие из утверждений должны быть расценены как определения, а какие — как законы природы, в значительной степени зависит от выбранного представления. Вообще такое различие необходимо проводить только тогда, когда надо исследовать, до какой степени та или иная рассматриваемая в целом концептуальная система действительно обладает эмпирическим содержанием.

Отличие холистического эмпиризма от эмпиризма Шлика и Рейхенбаха состоит, далее, во взглядах на характер связи между первичными понятиями и элементами опыта: если для логических эмпиристов эта связь логически определима, то для холистов такой однозначной выводимости нет.

Ни способ, которым мы должны строить и соединять понятия, ни способ, которым мы должны координировать их с элементами опыта, не являются, с холистической точки зрения, априорными: решающим критерием здесь является только успех в отношении установления порядка среди элементов опыта. Правила комбинации понятий должны быть предусмотрены только в общем смысле, потому что иначе научное знание было бы невозможно. Эти правила можно сравнить с правилами игры — скажем, следуя Витгенштейну, шахматной: сами по себе они произвольны, но их изначальная детерминированность делает возможной игру как таковую. Однако конвенция по их поводу подлежит постоянному пересмотру и в любом случае не является тотальной: она валидна для предназначенной области применения, т.е., с такой точки зрения, никакие окончательные категории в смысле Канта — во всяком случае, в смысле неокантианцев, так как, следует оговориться, существует очень много трактовок кантовских категорий — не являются актуальными для данной концепции. Более того, связь элементарных понятий повседневной мысли с комплексами элементов опыта признается понятной лишь интуитивно и недоступной научной, логической фиксации. Научное построение отличается от пустой концептуальной схемы определенной исчерпывающей совокупностью этих связей, заданных на той или иной предметной области, а не какой-либо одной или несколькими из них, какими бы содержательными сами по себе они ни были. В этом смысле даже наиболее простые понятия, ближе всего отстоящие от опыта, коррелируют с абстрактными научными понятиями.

Последнее соображение, как представляется, открывает дорогу для возможного молекуляристского эмпиризма. Рассуждение здесь может выглядеть так.

При построении понятия о предмете некоторые повторяющиеся комплексы элементов опыта (допустим, чувственных данных) отделяются от всей совокупности наличного опыта (допустим, произвольным образом) и координируются с понятием о предмете. С логической точки зрения, это понятие не идентично с ассоциируемыми элементами опыта — уже хотя бы в силу того, что полностью принадлежит сфере сознания. С другой стороны, это понятие имеет свое значение и обоснование исключительно во всей совокупности тех элементов опыта, с которыми оно скоординировано. Сама связь понятий и пропозиций с элементами опыта, с такой точки зрения, имеет не логическую, а конвенциональную или интуитивную природу. Однако в концептуальную систему входят, помимо понятий, синтаксические правила, которые составляют ее структуру. Хотя концептуальные системы логически полностью произвольны, они детерминированы целью предоставить оптимальную — наиболее полную или наиболее строгую, или, возможно, в каких-то случаях оптимальную в каком-то еще смысле — координацию со всем имеющимся количеством элементов опыта. Именно такую детерминированность отражают синтаксические инференциальные правила, обслуживающие некоторый — эмпирически обозримый — участок теории и гарантирующие согласуемость выстроенного таким образом участка теории с теорией в целом и, соответственно, согласуемость релевантной для данного фрагмента теории области опыта со всей совокупностью наличного опыта.

Пропозиция в логической системе истинна, если она выведена согласно принятым логическим правилам. Если мы признаем, что истинностное содержание системы зависит от определенности и полноты ее координации со всем наличным опытом, то должны будем тем самым признать, что истинная пропозиция получает свою истинность от истинностного содержания системы, которой она принадлежит. Однако если мы связываем истинность пропозиции также с правилами вывода, валидными для теории в целом или, во всяком случае, для ее эмпирически релевантного фрагмента, то в качестве истинностного оператора выступает именно последний. При этом такой фрагмент может экстенсионально совпадать с теорией в целом, но принципы его вычленения будут иными. Само правило не редуцируется при этом к совокупности эмпирического знания, поскольку ставит определимость эмпирического значения — условий истинности эмпирического предложения — в зависимость, в том числе, от определенной группы правил, а не от условий установления определенной конвенции.

Подобный молекуляристский подход возвращает нас к позиции Шлика и Рейхенбаха. Логический эмпиризм также противопоставлял себя конвенционализму, согласно которому геометрия — вопрос конвенции, и утверждениям о геометрии физического пространства не может быть назначено никакое эмпирическое значение. Хотя, с точки зрения логических эмпиристов, физическое пространство может быть описано и в евклидовой, и в неевклидовой геометрии, этого недостаточно для того, чтобы назвать утверждения о геометрической структуре физического пространства бессмысленными. Согласно Рейхенбаху, выбор геометрии произволен до тех пор, пока не дано определение конгруэнтности: как только это сделано, вопрос выбора геометрии для физического пространства становится эмпирическим. Сочетание утверждений геометрии с утверждением используемого координативного определения

конгруэнтности подлежит эмпирической проверке и таким образом выражает свойство физического мира, тогда как при конвенционалистском подходе игнорируется тот факт, что произвольными являются только утверждения неполной геометрии, в которой отсутствует определение конгруэнтности. Если такое утверждение дополнено определением конгруэнтности, то оно становится подлежащим проверке опытным путем и таким образом имеет физическое содержание. С холистической точки зрения, само понятие расстояния должно было бы определяться относительно полной геометрии (или полной теории относительности), а с точки зрения холистического эмпиризма, оно еще обязано бы было быть эмпирически проверяемым, но не индивидуально, а в составе теории. Но с молекуляристской точки зрения, эмпирической проверке подвергается не теория в целом — как, разумеется, и не изолированное понятие, — а скорее релевантный фрагмент теории, т.е. конечные сочетания утверждений, определенные конкретными целями исследования — что экстенсионально может совпадать, например, с определенным множеством утверждений геометрии и координативных определений, задаваемых на определенной предметной области.

Итак, мы проследили исходные допущения, лежащие в основе логической эмпирицистской концепции структуры и интерпретации научных теорий:

(1) различие между аналитическими координативными определениями и синтетическими эмпирическими пропозициями;

(2) утверждение, что лишь первые имеют конвенциональный характер; и

(3) требование, что как только первые установлены в соответствии с конвенцией, то для каждой из оставшихся эмпирических пропозиций оказывается определено его собственное индивидуальное эмпирическое содержание — такое, что истинность или ложность каждой эмпирической пропозиции однозначно определена опытом, соответствующим этому эмпирическому содержанию.

Этот род эмпиризма отличен от феноменалистского, махистского толка, или вариантов конвенционализма, также так или иначе реагирующих на кантианскую доктрину синтетического априорного знания. Мы попытались лучше понять его, сравнив с холистическим представлением структуры и интерпретации теорий, отвергающим любое принципиальное различие между координативными определениями и эмпирическими пропозициями и связанную с этим различением верификационистскую концепцию эмпирического значения. Показанная параллель между логическим и молекуляристским эмпиризмом, возможно, является дискуссионной, но в любом случае ее обсуждение демонстрирует, как предъявленные Кантом требования синтетичности и априорности научного знания оказывают влияние на сдвиг эпистемологических позиций — от той, где во главу угла ставится эмпирическое истинностное значение индивидуальных предложений, к позиции "мира как текста", где эмпирическое значение индивидуальных понятий и терминов оказывается неразрывно связанным с другими значениями, образующими более широкие структуры.

3.6 Критика логико-позитивистского анализа

Итак, мы обсудили учение, исповедуемое всеми логическими позитивистами, а

именно учение о верификационном критерии осмысленных эмпирических высказываний, а также концепцию, характерную только для логических позитивистов феноменалистического направления, — о сведении всех осмысленных эмпирических высказываний к феноменалистическим. Здесь мы обсудим две другие доктрины, разделяемые в большей или меньшей степени всеми логическими позитивистами, а именно доктрины о философии как логике науки и о логике как системе тавтологий, а также учение, характерное лишь для логических позитивистов физикалистского направления, — о переводимости осмысленных высказываний на физикалистский язык

3.6.1 Философия как логика науки

За исключением инструменталистов, логические позитивисты были единственными современными философами, в должной мере признавшими тот факт, что какой бы ни была задача философов относительно конечных основ знания, они ответственны за разъяснение той логики, посредством которой фактически обосновывается научное знание. Кроме того, привлекая внимание к этой логике и участвуя в ее разработке, логические позитивисты в общем значительно превосходят инструменталистов, поскольку Дьюи и его ближайшие ученики принимали сравнительно небольшое непосредственное участие в научной работе, в то время как многие позитивисты сами были способными учеными. Некоторые члены Венского кружка были физиками и математиками. Представители многих отраслей науки интересовались идеями логических позитивистов и часто принимали их. В свою очередь логические позитивисты всегда поддерживали тесную связь с работой ученых. Некоторые из них выдвинули оригинальные научные идеи, другие философы обстоятельно занимались разработкой вероятностной логики, которая тесно переплетается с научной деятельностью в математике, социальных науках и физике. Все это имеет положительное значение, во-первых, потому, что наука основывается на философских предпосылках и в своих развивающихся областях особенно отчетливо осознает необходимость в философской ориентации, а во-вторых, потому, что философия сосредоточивается на применяемых в науке методах и понятиях и едва ли может сейчас играть какую-либо роль без основательного проникновения в сущность научных методов и результатов. Можно надеяться, что постоянная польза логического позитивизма будет заключаться в продолжающемся признании необходимости философской подготовки для ученых и научной подготовки для философов, а также взаимного сотрудничества между учеными и философами.

Тем не менее, лозунги и достижения логических позитивистов в вопросе об отношении между философией и наукой допускают критику по крайней мере по двум линиям.

- Во-первых, даже если понятия «логика» и «наука» рассматривать более расширительно, чем это делают сами логические позитивисты, они не охватывают всего опыта. Опыт содержит цели и чувствования, не являющиеся преимущественно познавательными, и даже в своем познавательном аспекте он содержит исторические и биографические факты, которые вряд ли можно свести к научным формулам, а также факты политической и социальной жизни, которые нельзя втиснуть в строгие научные построения. Опыт содержит также этические, эстетические и религиозные переживания, анализировать которые

философы всегда считали своей обязанностью. Возможно, что философию науки можно ограничить логикой науки — хотя даже это сомнительно, — но в целом философия — даже аналитическая, чему примерами АФ религии (Элстон, Плантинга, Форрест); АФ истории (А.Данто); АФ права (Роулз, Дворкин, Рац); аналитические этика и эстетика — вряд ли может ею ограничиваться.

- Во-вторых, возникают серьезные сомнения относительно того, насколько сами логические позитивисты придерживались своей программы уточнения фактических обосновательных процедур науки. Конечно, вначале их основным оружием против спекулятивных и неэмпирических процедур идеалистической метафизики было подчеркивание роли эмпирических методов практически работающих ученых. Однако, выдвинув в этот период первоначально плодотворную технику разделения значимых высказываний на аналитические и эмпирические и используя подтверждение в качестве критерия значимости, они в результате пришли к тому, что старались подгонять всю научную логику под формы, соответствующие этим принципам, вместо того чтобы с достаточной гибкостью уделять должное внимание разнообразным формам фактически используемых в науке выводов, лежащих вне пределов указанных принципов. Такими выводами являются, например, неформальный вывод от частного к частному, свободное употребление аналогий, построение моделей, а также многие другие неформальные методы, содержащиеся в практических научных процедурах. Оправдывая свое нежелание заняться более серьезным анализом фактических научных процедур, логические позитивисты неоднократно заявляли, что они как философы науки в основном интересуются не тем, как ученый приходит к своим идеям, а тем, как эти идеи можно логически обосновать. Однако очевидно, что логическое обоснование более тесно связано с фактическими процедурами подтверждения, чем полагают логические позитивисты. Это недостаточное внимание логических позитивистов к фактическим процедурам, используемым учеными, в значительной мере объясняет тот факт, что при всех своих усилиях логические позитивисты не достигли тех результатов, которых можно было бы ожидать либо для облегчения научной работы, либо в разъяснении методов и результатов науки.

3.6.2 Логика как система тавтологий

Если не переоценивать экстенсиональную трактовку логики, то в характерной для логического позитивизма интерпретации логики как системы тавтологий, по-видимому, является разумным по крайней мере утверждение, что значительная часть того, что можно в целом назвать логикой, включая сюда не только собственно логику, но и многие математические и другие концептуальные истины, является тавтологическим в том смысле, что их истинность зависит не от фактов, а от значений и употреблений. Другие возможные трактовки логики сводятся к тому, что логика основывается на неанализируемых сущностях, что она коренится в метафизическом порядке космической реальности или что она состоит из эмпирических обобщений. Первые две интерпретации, даже если они истинны, не дают руководящей нити к объяснению того, что логическая истинность зависит не

от фактов мира, а от значения или употребления, удовлетворяет обоим указанным требованиям. Оно подсказывает, какой вид исследования необходим для распознавания логических истин, и показывает, почему мы можем быть уверены в логических истинах даже тогда, когда сомневаемся в эмпирических фактах.

Логико-позитивистская трактовка логической истины как тавтологии, по-видимому, разумна и в том отношении, что она должным образом признает ценность формальных систем, которые явным образом выражают определенные логические конструкции в особых символах и правилах. Разработка таких систем полезна, поскольку они очень часто раскрывают логические структуры, устраняют ошибки и подчас облегчают процесс мышления. Этим делом давно занимаются — с большим или меньшим успехом — логики, математики и другие специалисты. Результаты, полученные в этой области в последнее время, говорят сами за себя, и ими мы во многом обязаны логическим позитивистам.

Однако логико-позитивистская интерпретация логики как системы тавтологий не ограничивается тем, что связывает логику со значением и употреблением языковых выражений, а также с построением формальных систем символов и правил действий над ними. Она стремится также — по крайней мере в своих ранних синтаксических вариантах — ограничить логику построением и аккуратным применением формальных систем. Конечно, нельзя безапелляционно было бы утверждать, что логические позитивисты стремились рассматривать свои синтаксические системы как фактически тождественные с логикой обыденного рассуждения и науки или подменяющие ее; но поскольку их идеи иногда истолковывались именно так, постольку следует заметить, что если они придерживались подобных убеждений, то они, по всей вероятности, ошибались.

- Во-первых, вряд ли можно ставить вопрос о буквальном сведении логики фактического научного или какого-либо другого рассуждения к формальной системе физических знаков и соответствующих правил. Логика фактического рассуждения содержит в себе относительно неформальные понятийные и языковые процедуры, настолько специфические, что, как бы ни приближались к ним формальные структуры символов, эти формальные структуры нельзя рассматривать ни как абсолютно тождественные им, ни как их адекватные редукции. Методы раскрытия таких неформальных процедур включают процессы понятийного и языкового анализа, существенно отличающиеся от методов построения и анализа искусственных систем символов, а методы использования этих процедур также существенно отличаются от методов использования формальных систем. Кроме того, построение и использование формальных символических систем не может быть, как это полагали венцы, делом абсолютно свободного выбора, а должно допускать наличие семантических и прагматических факторов, содержащихся в той самой неформальной логике, которую предполагается свести к формальным системам (что в итоге было признано множеством ведущих аналитиков). В самом лучшем случае формальные системы, выдвинутые в ранних вариантах логического позитивизма в качестве редукций неформальной логики, могут служить только полезными представлениями этой логики, помогающими разъяснить характер некоторых ее переходов и облегчающими устранение некоторых типов ошибок.

- Во-вторых, системы символов не могут даже приближенно исчерпать всего богатства фактических логических связей. Как мы уже пытались показать, область отношений, которые по существу являются логическими, то есть не

зависят от неязыковых фактов, много шире области науки. Например, импликативные отношения можно обнаружить в политических, субъективных, исторических, этических, религиозных, эстетических и других типах рассуждений, которые вряд ли можно считать научными. Кроме того, разнообразие и сложность неэмпирических связей, содержащихся в одних только научных рассуждениях, никоим образом нельзя адекватно выразить в символических системах, разработанных на сегодняшний день. Наиболее явный недостаток подобных систем — их неспособность выразить сослагательные условные суждения, которые по-видимому, содержатся в большинстве научных обобщений. Можно указать также на многие другие недостатки таких систем в выражении многообразных типов рассуждений, которые применяются в научных исследованиях. Богатство логики в ее самом широком смысле не уступает богатству самого языка, и любая попытка вместить все неэмпирические отношения в такие узкие формы, как системы символов, предложенные логическими позитивистами, неизбежно затемняет различия, которые могут оказаться очень существенными. В последние годы обращение АФ к семантике и прагматике во многом определяет ее развитие.

- В-третьих, если даже была бы возможна формальная система символов и правил, адекватно представляющая логику здравого смысла и научного рассуждения, вряд ли стоило бы заменять ею эту логику. Ведь все равно необходимо было бы в каждом отдельном случае понимать неформализованную логику для того, чтобы знать, как выразить ее в символической системе, и чем больше символическая система становится независимой от целей и смыслов, которые она уточняет, тем больше она должна включать в себя подобные целевые и смысловые элементы. Что-то вроде логического герменевтического круга...

3.6.3 Переводимость осмысленных высказываний на физикалистский язык

Заявления физикалистов о том, что язык наблюдаемых физических объектов является не только естественным и интерсубъективным языком но и таким, на который можно перевести все другие языки, и тем самым наиболее предпочтительным перед всеми остальными языками в качествен базисного языка для подтверждения осмысленных познавательных высказываний, бесспорно, не лишены оснований, особенно с точки зрения философии науки. В самом деле, язык наблюдаемых физических объектов в значительной своей части является тем языком, которому мы с самого начала обучаемся и из которого многое заимствуют словари других способов выражения. Он также действительно является интерсубъективным в том отношении, в каком феноменалистический язык таковым не является. Поэтому он и стал основным языком научного подтверждениям и, следовательно, больше всего подходит для специалистов по философии науки, пытающихся уточнить структуру фактических подтверждающих процедур науки.

Тем не менее все эти соображения никоим образом не могут означать полного принятия всего, что содержится в приведенных выше заявлениях, и как бы ни были полезны основные идеи этого учения в философии науки как таковой, его

вряд ли можно признать правильным с точки зрения общей теории познания.

- Прежде всего сомнительно, что языки, отличные от физикалистского языка, употреблялись так редко, как это можно предположить, исходя из утверждений физикалистов о естественности физикалистского языка. Например, существует язык, содержащий различные виды абстракций, такие, как государство, община, правительство, война, мужество, справедливость, красота и т. п. Затем существует язык того, что можно назвать промежуточными сущностями, такими, как тени, небо и радуга; язык фантазии и вымысла, язык чувственных восприятий, таких, как ощущения цвета, звука и запаха; существует язык эмоций и язык морального, религиозного и эстетического опыта. Существует и язык микрофизики, который хотя иногда и представляется другим вариантом физикалистского языка, сильно отличается от языка наблюдаемых объектов. Тот факт, что ряд терминов некоторых из этих языков заимствован из языка физических объектов, интересен, но он никоим образом не устраняет специфики этих языков, поскольку эти термины имеют в них совсем другой объем и содержание, чем в языке физических объектов.

- Во-вторых, учение о том, что язык наблюдаемых физических объектов является нашим естественным языком, основывается, по-видимому, на предположении, которое самими логическими позитивистами выдвигалось довольно редко, если вообще выдвигалось, но которое очевидным образом лежит в основе разумного на первый взгляд убеждения, что физикалистский язык следует рассматривать как базисный язык подтверждения всех познавательно значимых высказываний. Это предположение состоит в том, что поскольку язык физических объектов является в значительной мере тем языком, которому мы учимся и который мы используем, постольку выражаемый им тип опыта хронологически, психологически и даже логически первичен по отношению к типу опыта, выражаемому другими языками, особенно феноменалистическим языком. Без подобного предположения гипотеза о переводимости других языков на физикалистский в значительной степени теряет силу. Но это явно ложное предположение. Верно, конечно, что восприятия, выражаемые в речи нормального взрослого человека, это по большей части восприятия физических объектов. Но восприятия, выражаемые языком ребенка, отнюдь не столь очевидно являются восприятиями физических объектов. Граница между тем, что является физическим объектом, и тем, что таковым не является, часто туманна не только тогда, когда дети воспринимают сны, мечты, фантастические образы, но и тогда, когда они по существу воспринимают физические объекты. Чем более раннюю стадию развития ребенка мы рассматриваем, тем менее отчетливым становится восприятие физических объектов как таковых. Если можно экстраполировать эту тенденцию, то мы могли бы с полным основанием думать, что восприятия младенца являются вовсе не восприятиями различимых физических объектов, а восприятиями чего-то вроде «путаницы цветов и звуков», причем эти восприятия, если бы пришлось их выразить, могли бы быть выражены только на некоторого рода квазифеноменалистическом языке. Эта ситуация, по-видимому, напоминает ситуацию, которую можно проследить на процессе восприятия людей, находящихся в состоянии усиливающегося опьянения, а также сравнивая образ мышления все менее развитых народов. Чем более раннюю стадию языка и опыта мы рассматриваем, тем менее очевидным

становится понятие физического объекта и тем более явными становятся первичные недифференцированные типы языка и опыта. Переход к восприятию физических объектов естествен и, однажды осуществленный, он представляет собой чрезвычайно удобную основу нормального исследования и речи; однако это есть именно переход, которому как в истории человечества, так и в истории отдельного человека шествуют более примитивные недифференцированные восприятия. Взрослый человек, столкнувшийся с необычным объектом, который он неспособен сравнить с наблюдением, часто вынужден сосредоточить свое внимание на представляющихся ему сочетаниях более примитивных ощущений, чтобы найти способ преодолеть свое затруднение. То обстоятельство, что ребенок с самого начала использует явно физикалистские понятия, обусловлен влиянием его более практичных учителей и тем фактом, что ко времени, когда он учится говорить, он уже начинает уяснять себе физические понятия. Но при всем этом слова становятся для ребенка физикалистскими только тогда, когда его понятия тоже становятся действительно физикалистскими, а это требует довольно значительного времени даже после того, как ребенок научится говорить.

- В-третьих, подчеркивание интерсубъективности физикалистского языка ошибочно предполагает существование некоторого рода основания интерсубъективной уверенности, которая, если бы она давалась физикалистским языком, сделала бы его базисным языком эмпирического подтверждения; но на самом деле физикалистский язык не дает этой уверенности. Физикалистский язык, конечно, дает интерсубъективную уверенность в том важном отношении, что он направлен не на абстрактные чувственные данные или даже не на восприятия, но на публично наблюдаемые объекты и что эти наблюдения в общем вполне соответствуют задачам науки. Такого рода соображения подталкивают многих к утверждению о безусловной интерсубъективности языка наблюдаемых физических объектов в том смысле, что не только наблюдаемые объекты считаются интерсубъективными но и наблюдения, с помощью которых постигаются подобные объекты, считаются интерсубъективно надежными. Но такой интерсубъективности вряд ли можно достичь, и ни перцептивный характер рассматриваемых объектов, ни их физическое существование, ни достаточность наблюдений для целей науки не могут показать, что сами эти наблюдения интерсубъективны или даже могут считаться окончательными при рассмотрении теоретико-познавательных проблем. Наблюдения вне зависимости от того, насколько они полны по своему содержанию и насколько объективны их предметы, остаются восприятиями отдельных людей и с точки зрения основных задач теории познания — а иногда даже и в интересах практических задач — подлежат дальнейшему пересмотру. Физикалисты в какой-то степени учитывают этот факт и иногда относятся к нему серьезно, однако все они, по-видимому, отмахиваются от его последствий различными сомнительными замечаниями, вроде того, что в любом случае достаточно нескольких контролирующих наблюдений.

Если язык физических объектов составляет меньшую часть всего нашего языка, чем это утверждают физикалисты, если восприятия, выражаемые на нем, являются не более, а в некоторых решающих отношениях даже менее фундаментальными, чем восприятия, выражаемые феноменалистическим языком, и если физикалистский язык неспособен дать интерсубъективную уверенность в

любом эпистемологически важном смысле, то тогда большинство оснований для перевода всех других языков на физикалистский язык исчезает. Приходится даже идти дальше и предположить, что такой перевод вообще невозможен. Как мы пытались показать, говоря о феноменалистических языках, хотя язык физических объектов связан с языком непосредственного опыта, он тем не менее не переводим на феноме- налистический язык. Обратное, по-видимому, столь же верно. Хотя язык непосредственного наблюдения и может быть связан с языком физических объектов, он не может быть полностью переформулирован в терминах языка физических объектов. Это значит, что, говоря о физических объектах, мы можем внушить чуткому слушателю представление о характере наших восприятий, но мы никогда не можем полностью выразить их. Эти два способа выражения находятся на различных уровнях, и отношение буквального перевода между ними невозможно. Даже если словари этих языков и совпадают, их логики существенно различны. Каждый из них имеет свою собственную функцию, которую другой не в силах выполнить. Влюбленному, поэту, психологу, философу и часто даже врачу случается говорить языком, который — сколько бы терминов он при этом ни заимствовал для метафизического словоупотребления — невозможно вместить в формы языка физических объектов. В этой связи можно также заметить, что даже язык микрофизики, который логические позитивисты рассматривали как возможный вариант физикалистского языка, хотя и может быть связан с языком наблюдаемых вещей, никогда не может быть полностью переведен на этот последний; как неоднократно указывал Бриджмен и другие физики, современная путаница в интерпретации физических теорий в значительной степени проистекает из ошибочных попыток вместить результаты новой физики в готовые формы преобладающего языка объектов. Эти два языка тоже оперируют на разных уровнях, и, будучи связаны, они все же не являются полностью взаимно переводимыми.

***

Таковы основные из аргументов, выдвигавшихся против логического позитивизма. Дальнейшее развитие аналитической философии учитывает их.

4. Львовско-Варшавская логическая школа и ее влияние на АФ

4.1 Философия языка и теория истины К.Твардовского

4.1.1 Семиотика в трудах К.Твардовского

Рассмотрение семиотической концепции Твардовского начнем с вопроса о соотношении языка и мысли, которому он придавал основополагающее значение. Так, он считал, что изучение отношения мысли к языку может помочь в прояснении генезиса последнего, а наблюдение за развитием речи у ребенка подскажет метод изучения этого отношения. Между мыслями и их словесным воплощением возникает столь тесная связь, что мышление позже уже никогда не происходит без более или менее ясного осознания соответствующих знаков. Более того, Твардовский полагает, что развитое мышление происходит только при помощи языковой артикуляции, хотя бы тихой, внутренней (что соответствует тем современным исследованиям, согласно которым мыслям соответствует движение голосовых связок). Язык способствует упрощению мыслительной деятельности, делая возможным т.н. символическое мышление. Однако символическое мышление часто приводит к тому, что это мышление теряет всякую связь с действительностью, т.е. символы оказываются лишенными интерпретации. К другим недостаткам языка, отягощающего мышление, Твардовский относит его несовершенство и эмоциональную окрашенность. Следует заметить, что в приведенных выше рассуждениях нигде не уточняется характер языка и, как кажется, Твардовский имеет виду естественный язык. Другой особенностью анализа языка является недифференцированность его выражений; далее мы увидим, что единственным различимым признаком знаков является их отношение к обозначаемому предмету, в результате чего знак может быть отнесен или к категорематическим, или к синкатегорематическим выражениям.

В целом Львовско-Варшавская школа была против символомании и высказывала весьма глубокое почтение для вещи; ей нельзя также приписывать и прагматофобию. Тезис, что символ представляет вещь, а не замещает ее стал одним из канонов школы. В конечном счете иначе и не могло быть, если философы Львовско-Варшавской школы принимали вслед за Твардовским тезис о интенциональной значимости знаков и их семантической прозрачности.

Обратимся к эмоциональной окрашенности выражений естественного языка. Эта тема была затронута Твардовским, возможно, потому, что основой формирования многих критериев, например, этического или эстетического в традициях брентанизма служит суждение; с другой стороны, суждение является категорематическим выражением, в котором дан предмет, к которому и направлены чувства. В частности, Твардовский отмечает, что эти чувства Мейнонг подразделяет на два класса: логические чувства и чувства оценки. Признаком первых является независимость, признаком вторых — зависимость качества чувства от качества суждения, создающего основу чувства. Например, историк, стремясь прийти к убеждению, является ли некоторый документ аутентичным или поддельным, ощущает чувство удовлетворения, если решит эту задачу. Таким образом, в нем возникнет приятное чувство вследствие появления суждения,

причем это чувство будет приятным безотносительно к тому, является ли результатом исследования историка признание или же отрицание подлинности документа. Историк попросту радуется выяснению этого вопроса. Дело обстоит иначе, если некто будет удовлетворен признанием, которым его наделяет окружение. Здесь удовлетворение обусловлено утвердительным суждением, констатирующим существование этого признания; отрицательное суждение с этим же содержанием, говорящее что этого признания нет, подменяет чувство удовлетворения чувством горечи.

По мнению Твардовского, представленное выше деление чувств убеждения на логические чувства и чувства оценки требует коррекции. Если утверждается, что для качества логических чувств качество суждения безразлично, если как утвердительное, так и отрицательное суждения могут служить основанием приятного (удовлетворительного) логического чувства, то возникает вопрос: когда и при каких условиях появляется неприятное логическое чувство. Обычно отвечают, что тогда, когда невозможно высказать какое-либо суждение, когда для того, используя приведенный выше пример, историк не может решить поставленную проблему, не может прийти ни к утвердительному, ни к отрицательному суждению о подлинности документа. Однако такое объяснение появления неприятных логических чувств находится в противоречии с их основной характеристикой, согласно которой логические чувства являются чувствами убеждения, а потому и требуют суждения, как своего необходимого основания. Поэтому, считает Твардовский, логические чувства также следует считать чувствами оценки, отличающимися от прочих оценочных чувств только тем, что предметом оценочного чувства в случае логических чувств является суждение, знание. Тогда дело обстоит таким образом, что суждение А, утверждающее существование суждения В (знание) о некотором предмете, становится основанием приятного (чувства), а суждение А′, отрицающее существование суждения В′ (знания) о каком-то предмете, становится основанием неприятного оценочного чувства. Тем самым опять качество чувства оценки зависит от того, является ли основанием утвердительное суждение, или же отрицательное суждение о существовании — в этом случае — иного суждения.

Твардовский считает предлагаемое Мейнонгом разделение оценочных чувств правильным, выражающим тот факт, что само высказывание суждений, или сам акт суждения, т.е. утверждение или отрицание связано с чувством приятного. С этой точки зрения — продолжает Твардовский — психический акт суждения стоит на равных со всеми прочими психическими и физическими актами, поскольку совершение какого-либо действия, к которому мы способны, доставляет приятное чувство. Отсюда следует — заключает Твардовский — что разделение чувств согласно их основанию на чувства представления и убеждения требует дополнения посредством сопоставления ему иного разделения, основанного на приведенном выше факте.

Излагаемый выше подход к суждению как к психическому акту был унаследован Твардовским от Брентано и характерен для того периода, когда автор еще сам себя относил к психологистам. Кратко суть этого подхода состоит в том, что суждение, выражая некоторое чувство, выражает интенцию к предмету суждения, ибо к этому же предмету направлено и чувство субъекта, выносящего суждение. Мы не будем анализировать психологический аспект теории суждений, а перейдем

к изложению теории суждений, которую Твардовский унаследовал от Брентано, внеся в нее уточнения.

Твардовский различал аллогенические и идиогенические теории суждения. Аллогеническая теория происходит от Аристотеля и господствовала почти до конца XIX в. Согласно аллогенической теории суждение является просто комбинацией представлений (понятий). Идиогеническая теория, провозглашаемая в древности стоиками, была возобновлена Брентано и его учениками.[1] Согласно этой теории суждение — это психическое явление *sui generis*. Брентано приходит к выводу, что различие, возникающее между понятиями либо их соединением и суждением является принципиальным и его никоим образом не удается ни ликвидировать, ни затушевать. Воображения и понятия с одной, а суждения с другой стороны — это два совершенно различных типа психических явлений.[2] Такой взгляд на сущность суждений, с использованием греческого языка, был назван идиогенической теорией суждений[3], поскольку именно в суждениях Брентано и его последователи усматривали различный тип психических явлений.

В каждом суждении Твардовский различает акт, содержание и предмет суждения. Актом суждения является утверждение или отбрасывание определенного содержания, содержание суждения есть существование или несуществование чего-либо, а предмет — это то, существование чего утверждается или отбрасывается. Поскольку беспредметных представлений не бывает, а эти последние являются необходимым условиям вынесения суждения, то в центре выносимого суждения в идиогенической теории оказывается предмет, а точнее вопрос его существования или несуществования. Существование, будучи процессом, достаточно удобно формулируется в терминах действия, в частности психического акта, каковым и является суждение. Этот подход к суждению в рамках идиогенической теории был присущ Твардовскому в его психологическом периоде творчества. Уточнение этой точки зрения на суждение произошло в связи с уточнением понятийного аппарата, используемого в анализе природы суждения. А именно, Твардовский вводит понятия результата и процесса, предлагая двойственную трактовку суждения как результата, и как процесса. Естественно, суждение как процесс, т.е. как психический акт он относит к психологии, а как результат — к логике. Различие процессов и результатов Твардовский делает в одной из своих важнейших работ "О процессах и результатах. Несколько замечаний о пограничных проблемах психологии, грамматики и логики"[4]. Подзаголовок весьма примечателен, поскольку указывает на отношение психологического аспекта существования предмета суждения к логике

[1] Учения стоиков и брентанистов — это крайние вехи на долгом пути номиналистического подхода к созданию теории суждений, усматривавшего в суждении прежде всего предмет, который судится. В Новое время предшественниками Брентано были, как известно, Гоббс и Лейбниц.

[2] Воображения и понятия являются необходимым условием суждений на том основании, что прочие психические явления — суждения, чувства (к этому делению Брентано Твардовский добавляет волеизлияние) проявляют полярность, а названные выше — нет. Воображения и понятия, считает Твардовский, поставляют мышлению материал, снабжают его содержанием, тогда как суждение, чувства и волеизлияния представляют собой различный способ, каковым мышление манипулирует этим содержанием, принимая его или отбрасывая.

[3] Twardowski K. O idio- i allogenetycznych teoriach sadu. — PF. — X / 4. Ss.467-468. (Здесь и далее принятые сокращения в библиографии этой главы: FM = Fundamenta Mathematicae; JSL = "Journal of Symbolic Logic"; KF = "Kwartalnik Filozoficzny"; Ks. PTF = "Ksiega Pamiatkowa Polskiego Towarzystwa Filozoficznego we Lwowie; MF = Mysl Filozoficzna; PF = Przeglad Filozoficzny; RF = Ruch Filozoficzny; SF = "Studia Filozoficzne"; SL = "Studia Logica".)

[4] Twardowski K. O czynnosciach i wytworach. / "Ksiega Pamiatkowa ku uczczeniu 250 rocznicy zalozenia Uniwersytetu Lwowskiego". — T.II.- Lwów. S.1-33.

посредством грамматики. Далее это отношение будет раскрыто более подробно, а сейчас мы остановимся на понятии значения в упомянутой работе, которое также не лишено налета психологизма.

Различение процессов и результатов Твардовский начинает указанием на то, что определенные выражения сопряжены в характерные пары., Пара — это, как правило, глагол-подлежащее; первое выражение такой пары является глаголом, например, петь, бегать, приказывать, или отглагольное существительное (пение, беганье, приказывание), а второе — соответствующее существительное, например, песня, бег, приказ. Первое выражение пары относится к какому-нибудь процессу, а второе — к результату этого процесса. Результаты могут быть непродолжительными, т.е. оканчивать свое существование с моментом прекращения процесса, например, бег, а также продолжительными, т.е. такими, которые завершают свое действие после окончания соответствующего процесса, например, изваяние. Непродолжительные результаты можно разделить на физические (например, бег), психические (мысль) и психофизические, т.е. возникающие вследствие физических процессов, обусловленных процессами психическими (например, пение). Продолжительные же результаты могут быть как физическими, так и психофизическими, но психические результаты не могут быть продолжительными. Особое внимание Твардовский уделяет психофизическим результатам. Эти результаты определяют выражение психических результатов в том смысле, что, во-первых, психические результаты совместно с соответствующим процессом являются частичной причиной возникновения психофизического результата и, во-вторых, психофизические результаты мысленно наблюдаемы, а психические — нет, и в-третьих, психофизические результаты сами в свою очередь становятся причиной возникновения психических результатов, аналогичных результатам психическим, которые являются частичной причиной данного психофизического результата.

После различения результатов указанных типов Твардовский строит концепцию значения. Если психофизический результат выражает какой-либо психический результат, то он становится знаком тех психических результатов, которые выражает, а выражаемые психические результаты следует считать значениями данных знаков. Очевидно, что одному знаку может соответствовать много различных значений.

Представленная до настоящего момента формулировка значения знака не выходит за рамки теории, которую Твардовский сформулировал в своем габилитационном исследовании, положив значением имени представление, а следовательно — индивидуальное психическое содержание. В «Процессах и результатах» он идет дальше. Здесь знак может выражать определенные результаты тогда и только тогда, когда они сильно не отличаются друг от друга, а следовательно, когда в каждом случае совокупность характерных черт повторяется. Эта характерная и повторяемая совокупность черт является содержанием знака и именно таким образом определенное содержание образует значение знака.[5]

[5] В трактовке значения знака как содержания Твардовский приближается к понятию идеального значения у Гуссерля, который, по свидетельству автора «Процессов и результатов», способствовал формированию антипсихологической позиции при написании работы, в частности, в вопросе о значении знака. В подходе Твардовского к объективации значения отчетливо заметно также влияние больцановского «суждения-в-себе».

4.1.2 Твардовский об истине

Аксиологический и эпистемологический абсолютизм был одним из тех взглядов, которые Твардовский унаследовал от Брентано и который оказал влияние на творчество, пожалуй, всей Львовско-Варшавской школы. Без преувеличения позицию принятия абсолютной истины можно считать программной для Школы. Ее выражению Твардовский посвятил исследование о проблеме абсолютизма и релятивизма в теории истины [1900]. Анализ Твардовский начинает с терминологических объяснений. Он пишет, что выражение «истина» означает истинное суждение. Из этого следует, что относительная истина — это относительно истинное суждение, а абсолютная истина — это безотносительно истинное суждение. Характеристика относительных и безотносительных истин, следовательно, такова: истинами безотносительными называются такие суждения, которые истинны безусловно, без каких-либо оговорок, несмотря ни на какие обстоятельства, которые, следовательно, истинны всегда и везде. Относительными же истинами называются суждения, которые истинны только при определенных условиях, с определенными оговорками, благодаря определенным обстоятельствам; следовательно, такие суждения не являются истинными всегда и везде

Твардовский намеревается показать, что относительные истины, т.е. условно истинные суждения, не существуют. Аргументация Твардовского заключается в опровержении примеров, которые приводят релятивисты с тем, чтобы обосновать существование относительных истин. Такие примеры, считает Твардовский, должны выполнять два условия:

1) это должны быть суждения, которые в определенных обстоятельствах изменяются таким образом, что из истинных они становятся ложными, оставаясь во всем прочем неизменными, а также

2) это должны быть такие суждения, которые в определенных обстоятельствах были истинными или же стали таковыми, но изменили свою оценку вместе со сменой обстоятельств.

Ключевым аргументом Твардовского служит указание на различие между суждениями и высказываниями, которое игнорируют релятивисты. Хотя суждения и высказывания тесно связаны в том смысле, что вторые являются проявлениями первых, однако это не одно и то же. В частности, тождество высказываний не гарантирует тождества выраженных в них суждений. Может случится так, по мнению Твардовского, что одни и те же высказывания выражают различные суждения. Это происходит потому, что высказывания формулируются при помощи многозначных и окказиональных выражений. Достаточно рассмотреть пример: «падает дождь». То, что дождь падает может быть истинно в месте *m* и во время *t* , но может быть ложным в другом месте и в другое время. Если представить рассматриваемое высказывание в дополненном виде как схему «Падает дождь в месте *m* и во время *t*», то после подстановки соответствующих переменных параметров высказываемое суждение становится истинным или ложным безотносительно. Рассматриваемый пример, заключает Твардовский, не выполняет условие 1).

Условие 2) не выполняет другой пример, часто приводимый релятивистами, а именно, предложения вида «Холодный душ полезен». Это высказывание можно

интерпретировать как обобщающее предложение «Холодный душ всегда полезен», или частичное — «Холодный душ иногда полезен». Таким образом оказывается, что обобщающее предложение выражает безотносительно ложное суждение, а частичное — безотносительно истинное. Очевидно, что ложное суждение «Холодный душ всегда полезен» не могло превратиться из истинного суждения в ложное, если никогда оно истинным не было. Но и частное суждение не изменилось: уж если оно было истинным, то таковым и останется. И в этом случае Твардовскому удается показать, что уточнение высказываний лишает суждения их релятивного характера.

Позицию абсолютизма в теории истинности Твардовский отстаивает также в области знаний, полученных индуктивным путем. Он рассматривает якобы относительный характер гипотез и научных теорий, полученных индукцией из опыта. Эти гипотезы, по мнению релятивистов, должны быть относительными потому, что они вероятны, а не достоверны. Твардовский считает, что ошибкой релятивистов является смешение вероятности и достоверности. Если мы предубеждены в том, что при помощи индукции можно получить только вероятные суждения, то их нельзя трактовать как достоверные на том основании, на котором они считаются вероятными. Гипотезы и теории вероятны с точки зрения уровня наших знаний, а степень этой вероятности может измениться, тогда как логическая оценка данного суждения вообще не зависит от наших знаний, при помощи которых мы обосновываем это суждение.

Полемизировал Твардовский также и с релятивизмом, основанном на субъективизме. Так релятивисты говорят, что высказывание «Запах этого цветка приятен» выражает относительную истину, поскольку она соотносится с субъектом, являющимся носителем данного убеждения. Как и в случае с ранее рассмотренным примером, здесь достаточно указать конкретную личность с тем, чтобы избавиться от неоднозначности и ликвидировать окказиональный фактор в высказывании. Однако субъективизм апеллирует также к общим философским концепциям. Так, его сторонники полагают, что могут существовать особы, считающие истинными те суждения, которые мы считаем ложными, и наоборот. Однако это положение не согласуется с принципом противоречия, поскольку если мы признаем некоторое суждение действительно истинным, то оно не может быть действительно ложным для другой особы, и наоборот. Релятивисты используют также положение, что все утверждения о мире выражают всего лишь индивидуальные переживания, говорящие нам не о том, каков реальный мир, а как он представляется человеку. Поэтому говоря о зеленых листьях клена, мы говорим о собственных представлениях, а не о листьях клена. Твардовский указывает, что принятие этой точки зрения не позволяет ее сторонникам высказываться о суждениях в их предметном значении, а потому и не может служить основанием для высказывания о их относительном характере.

Позицию абсолютизма аксиологических оценок Твардовский защищал и в области этики. Здесь релятивисты указывали на существование исключений из общих правил. Твардовский не согласен с этим аргументом, ибо считает, что правило с исключением не является общим правилом и поэтому не может считать такое правило относительным. Второй аргумент релятивистов основывается на том, что законы, обязывающие где-то или когда-то, утрачивают силу в другом месте и в другое время. Твардовский отвергал этот аргумент указывая, что если действительно сказанное имеет место, то тем самым мы предполагаем, что эти

законы считаются обязательными. Остается спросить, являются ли эти законы правильными (slusznymi), или нет. Если они не правильны (не верны), то они вообще не содержат истины. Если они справедливо считаются обязывающими в некотором месте и в некоторое время, то они не обязательны для любых сообществ.[6]

Заканчивая разбор приводимых релятивистами аргументов, Твардовский [1900] заключает, что различение *относительной и безотносительной истинности имеет право на существование только в области высказываний,* свойство истинности которым присуще единственно в переносном, опосредованном значении; *если же речь идет только о суждениях, то нельзя говорить об относительной и безотносительной истинности, поскольку каждое суждение или истинно, и тогда оно истинно всегда и везде, или же оно не истинно, и тогда оно не истинно нигде и никогда*.

Ограничиваясь поначалу лишь указанием, что истина — это то же, что истинное суждение, Твардовский впоследствии приходит к следующему выводу: истинным является утвердительное суждение, если его предмет существует; отрицательное суждение, если его предмет не существует. Ложным является утвердительное суждение, если его предмет не существует; отрицательное суждение, если его предмет существует.

Твардовский отчетливо различает критерий истинности и понятие истины, его аргументация носит металогический характер, а подход к языку предполагает его предметную трактовку. Несмотря на то, что Твардовский не использовал в своей работе понятие референции, его определение истинности находится в рамках ее классической теории. Ян Воленский особо отмечает тот факт, что Твардовский связывает абсолютное трактование истинности и значимость принципа противоречия.[7]

Обсуждение Твардовским проблемы истинности было чрезвычайно важно для дальнейшего развития Львовско-Варшавской школы и открыло путь к дальнейшим дискуссиям о понятии истины, завершившихся (в рамках Школы) знаменитой работой А.Тарского[8].

---

[6] В своей аргументации Твардовский указывает только модус времени, но не места, заменяя его, как кажется, термином сообщество. Ян Воленский (Woleński J. Filozoficzna szkola lwowsko-warszawska. — Warszawa, 1985) обсуждая работу Твардовского, уточняет условия выполнения законов, указывая оба модуса, а понятие сообщества использует в заключении вывода, подтверждающего позицию автора. Эту модификацию мы и заимствуем в настоящем изложении.

[7] Ян Воленский полагает, что почти все представители Львовско-Варшавской школы разделяли позицию абсолютизма в теории истинности и аргументы Твардовского против релятивизма. По его мнению, абсолютизм декларировал и Лукасевич, когда вводил третью логическую оценку, а также фалибилисты из Львовско-Варшавской школы (напр., Лукасевич и Айдукевич в период радикального конвенционализма). Воленский справедливо считает, что позиция абсолютизма оправдывалась принятием относительности в обосновании (в отечественной литературе, трогательно следующей схоластичекой традиции, используется понятие закона достаточного основания), а не относительности логических оценок. При этом Воленский тут же замечает. что он «не рассматривает важного вопроса, находится ли многозначная логика в согласии с абсолютизмом в философии истинности». К сказанному можно добавить, что этот важный вопрос остается открытым, поскольку ни Лукасевич, ни Айдукевич никогда не использовали понятие метаязыка и не пробовали дать определение истины, а третье истинностное значение, введенное Лукасевичем и интерпретируемое как возможность, выражает ту же окказиональность о которой писал выше Твардовский.

[8] Tarski A. Pojecie prawdy w jezykach nauk dedukcyjnych. – Warszawa, 1933.

4.2 Радикальный конвенционализм К.Айдукевича

4.2.1 Метод парафразы

Основной философской дисциплиной Айдукевич считал теорию познания, роль которой оценивал следующим образом: "Метафизические вопросы являются в значительной мере следствиями выводов из тех или иных эпистемологических взглядов о том, какова реальность действительно"[9].

Один из методов описания, берущий начало от Твардовского — метод парафразы, восходящий к схоластике, представляет собой семантический эксперимент, подобный тому, в котором в Средневековье использовались суппозиции при проверке значений слов. В отличие от парафраз Твардовского, в своей модификации метода Айдукевич, применяющий его регулярно, использует логику, видя в нем прежде всего связь, между логическим экстенсионализмом и вопросом о идентичности психических и физических явлений. Одно из решений проблемы "быть психофизическим" состоит в том, что физические и психические явления идентичны — в том смысле, что каждое психическое явление сопровождается связанным с ним явлением физическим, и наоборот. Таким образом, в этом решении не утверждается идентичность рассматриваемых явлений в онтологическом плане. Если же совместное появление обоих типов явлений свидетельствует о равнообъемности терминов "физическое явление" и "психическое явление", то, чтобы это показать, можно сослаться на принцип экстенсиональности в следующей формулировке: если понятия (свойства) V и W равнообъемны, то они идентичны. Обозначая "физическое" литерой V, а "психическое" — W, можно конкретизируем принцип экстенсиональности: если понятия "быть физическим" и "быть психическим" являются равнообъемными, то свойства эти идентичны. Поскольку предложения <"Быть физическим" и "быть психическим" являются равнообъемными свойствами> утверждалось прежде, то можно, используя правило отделения, принять предложение <"свойства "быть физическим" и "быть психическим" идентичны>. Правомерно задаться вопросом: является ли это рассуждение корректным? Существенным элементом в нем было использование принципа экстенсиональности, т.е. определенного логического утверждения. Айдукевич считает использование этого принципа в вышеприведенной процедуре неправомочным, поскольку из того, что этот принцип принят и используется в формальной логике вовсе не следует, что он обязателен в "языке психофизической проблемы". Принятие принципа экстенсиональности в "языке психофизической проблемы" сомнительно, ибо в этом языке имеются интенсиональные функторы, например, "говорит" или "думает" и предварительно не была обоснована материальная адекватность принципа экстенсиональности относительно интенсионального дискурса. По мнению Айдукевича, использование принципа экстенсиональности в вопросе о психофизических явлениях не только сомнительно, но и неверно. Это заключение служит Айдукевичу основанием для постановки вопроса: Каков смысл утверждения, что парафраза правильна? Согласно Айдукевичу, кажущееся применение логики в решении философских проблем, сформулированных в естественном языке, таким образом не в том состоит, что путем допустимых подстановок из логических утверждений выводятся заключения, способствующие решению этих проблем. Действие, которое таковым выглядит, основано на том,

[9] Ajdukiewicz K. Zagadnienia i kierunki filozofii. Warszawa, 1949. S.106

что в естественном языке конструируются предложения со структурой, изоморфной структуре предложений логики, а тем самым конструируются определенные парафразы предложений логики, переменные которых принимают значения из других областей, нежели соответствующие им логические переменные. И лишь тогда из них путем подстановок удается получить следствия, касающиеся философских проблем, сформулированных на основе естественного языка. Существенная необходимость построения таких предложений несомненно имеется, поскольку лишь тогда они составляли бы логику естественного языка. Однако эти предложения, будучи парафразами обобщенных предложений логики, претендуют на правомочность, которой в существующей современной логике они не могут найти. Этой правомочности они могли бы достичь путем анализа значений выражений естественного языка в качестве аналитических предложений. В поисках это вида обоснования можно было бы использовать феноменологический метод. Можно было бы добиться этого права и таким образом, что они возвысились бы до уровня постулатов, которые, не заботясь о значении, каковым эти выражения обладали бы в естественном языке, придавали бы им это значение безапелляционно. От второго способа действий, кажется, можно ожидать большего, чем от феноменологического метода, который однако на всякий случай следовало бы попробовать. Все же не следует забывать и о том, что при применении второго из указанных методов выражения языка могут получить иные значения, чем те, которые им были присущи ранее, вследствие чего с этими же словесными формулировками, возможно, не связывались бы одни и те же проблемы[10].

Таким образом, метод парафразы по Айдукевичу заключается в использовании логики при решении философских проблем, сформулированных в естественном языке. При реконструкции метода парафраз удается выделить следующие этапы [11]:

1) формулирование рассматриваемой проблемы;

2) выбор соответствующего логического утверждения, причем логика в этом случае понимается достаточно широко и включает металогику;

3) установление корреляции между выражениями из 1) и выражениями утверждений, выбранных на втором этапе, например, "быть физическим" — переменная V, "быть психическим" — переменная W, "совместное вхождение" — "равнообъемность";

4) конструирование парафразы, т.е. предложения со структурой, изоморфной выбранному логическому утверждению;

5) обоснование парафразы;

6) получение следствий из парафразы;

7) оценка следствий с точки зрения исследуемой философской проблемы.

Сущность процедуры перефразирования заключается в обосновании законности парафразы. В частности конструирование парафразы не состоит только из подстановки, поскольку подстановка ведет от формул, построенных из констант и

[10] См. Ajdukiewicz K. O stosowalnosci czystei logiki do zagadnien filozoficznych — PF. — r.37/z.4, 1934. Ss.323-327.

[11] Приведенная здесь реконструкция метода парафраз принадлежит Я. Воленскому: Woleński J. Filozoficzna szkola lwowsko-warszawska. — Warszawa, 1985.

переменных к другим формулам, также построенным из констант и переменных. Перефразирование же приводит к обобщению предложений логики. Возможно, выражение "обобщение предложений логики" у Айдукевича не совсем удачно, но его интенция очевидна: перефразирование является операцией образования смыслов и не обосновывается семиотическими свойствами перефразированного утверждения логики.

Необходимо особенно подчеркнуть, что для Айдукевича понятие "язык" — это необязательно естественный язык, например, бытового общения, но прежде всего инструмент, позволяющий формулировать определенные научные вопросы, а поэтому исследование нормализации значений парафразы приобретает основополагающий характер. Из приведенных высказываний Айдукевича видно, что в момент их формулирования он склонялся к принятию метода постулатов значений как метода нормализации значений и эта позиция находила выражение в ориентации на конвенционализм в период между двумя войнами. Позже конвенционализм был оставлен, однако нахождение связи между словарем философских проблем и словарем логики Айдукевич считал действием, которое не может быть редуцировано к известным "семантическим фактам", а поэтому перефразирование всегда содержит неустранимый конструктивный элемент.

Хотя метод парафраз был типичным аналитическим методом, используемым Айдукевичем, он не считал его единственным и универсальным в своей аналитической стратегии, поскольку сфера перефразирования естественным образом ограничивается сферой применения самой логики как основы этого метода. В работах Айдукевича можно встретить ряд других подробнейших анализов семантических понятий, однако именно метод парафраз был характерным для его творчества. Вместе с тем перефразирование не является простым переводом из языка философии на язык логики, ибо этот перевод сопровождается операцией образования смыслов, позволяющей одновременно использовать понятийный аппарат логики.

Семантическая эпистемология заключается в получении теоретико-познавательных выводов из утверждений о семантических свойствах языка. Эпистемологические же взгляды Айдукевича эволюционировали от радикального конвенционализма до крайнего эмпиризма, а вместе с их изменением менялось и соотношение между эпистемологией и онтологией в его творчестве. Будучи радикальным конвенционалистом, Айдукевич воздерживался от выводов онтологического характера, но со временем он все решительнее придерживался мнения о том, что из теории познания удастся получить утверждения о реальности.

4.2.2 Истоки теории радикального конвенционализма

В работе "О значении выражений"[12] Айдукевич анализирует существующие конструкции понятия значения — ассоцианизм и теорию коннотаций Милля. Ассоцианизм, полагающий значение психическим переживанием, соединенным с выражением, Айдукевич считал ошибочной теорией, которую не удастся защитить

[12] Ajdukiewicz K. O znaczeniu wyrazen. — Ksiega Pamiatkowa Polskiego Towarzystwa Filozoficznego we Lwowie.- Lwów, 1932. Ss.31-77.

никакой модификацией, а основным ее недостатком он считал психологизм. Айдукевичем рассматриваются также шансы коннотационной теории, но и она, по его мнению, требует улучшения. Вывод сводится к тому, что ни один из существующих путей определения значения выражения не ведет к успеху. Айдукевич выделяет два пути: поиск значения в психике, например, ассоцианизм, или же поиск значения в самих вещах, или в реальности, например, теория коннотации. По мнению Айдукевича, правильным будет третий путь, состоящий в "нахождении значения в самом языке". Таким образом, в результате выбора третьего пути неизбежным эффектом оказывается релятивизация значения к определенному языку J.

Айдукевич задается вопросом: Что значит "говорить на языке J"? Возможные ответы состоят в том, что выражение "говорить на языке J" может означать:

а) использование звуков в согласии с фонетикой языка J;

б) использование выражений языка J;

в) с учетом фонетики языка J использование выражений, диктуемых лексическими средствами J, а при высказывании используемых оборотов такое поведение, которое предполагается языком J.

Очевидно, что лишь значение в) передает интуитивное содержание, необходимое для удовлетворительной интерпретации оборота "говорить на языке J". Это поведение, предполагаемое языком J, Айдукевич передает следующими словами: "[...] говорит по-польски тот, кто [...] обладает некоторой готовой к употреблению совокупностью диспозиций реагировать на обороты польского языка, совокупностью диспозиций, которыми обладает тот и только тот, кто как раз и умеет [говорить] по-польски"[13]. Понятие диспозиции Айдукевич понимает как предрасположенность к узнаванию некоторых предложений языка. Поэтому механизм "говорения языком J" можно описать посредством формулирования правил узнавания предложений.

Важным моментом в рассуждениях Айдукевича является рассмотрение им т.н. теории интенциональных значений, введенное под влиянием Гуссерля и его "актов значения", которые он характеризует следующим образом. По мнению Айдукевича, у Гуссерля этот "акт значения", т.е. использование данного оборота как выражения определенного языка состоит в том, что в сознании появляется чувственное содержание, при помощи которого можно было бы воочию думать об этом обороте, если бы к этому содержанию присоединялась соответствующая интенция, направленная именно на этот оборот. Однако при использовании данного оборота как выражения определенного языка к этому чувственному содержанию присоединяется другая интенция, необязательно представленная, однако направленная в принципе на нечто иное, нежели сам этот языковый оборот. Эта интенция совместно с чувственным содержанием образует однородное переживание, но ни восприятие это чувственного содержания, ни эта интенция полным, самобытным переживанием не являются. Как одно, так и другое являются несамостоятельными частями совокупного переживания. Значением данного выражения (как типа) в определенном языке был бы, согласно Гуссерлю, тип, под который должна подпадать эта присоединяемая к чувственному содержанию интенция с тем, чтобы данный оборот был использован как выражение этого, а не другого языка.

[13] Ibid, S.108.

Теория интенциональных актов значения была широко воспринята во Львовско-Варшавской школе, но после ее критического рассмотрения, как в случае с Айдукевичем, была оставлена многими учеными. Сущность этой теории заключается в установлении тесной связи между содержанием представления и языковым оборотом и состоит в сосуществовании мысли о предмете и мысли о знаке в едином переживании, скрепленном интенциональным актом. При выяснении природы этого переживания используется интроспекция, результаты которой трудно распространить, учитывая критерий интерсубъективности самого значения, поскольку сам тип мысли, как и тип выражения еще не определяют собственно значения, хотя оно и находится в границах не только типа мысли, но и границах типа предложения.

Согласно Айдукевичу, правило (в его терминологии — директива значения) охватывает данное предложение A, если A принадлежит к области определения аксиоматической директивы значения или области (кообласти) дедуктивной (эмпирической) директивы значения. Директива R касается выражения A, если A принадлежит к предложениям Z, охватываемым директивой R. Директива R несущественна для выражения A тогда и только тогда, когда R не касается A, или же когда область определения R не меняется после замены выражения A во всех предложениях Z, охватываемых R, произвольным предложением A', и наоборот, т.е. что A и A' имеют один и тот же логический тип. Директива R существенна для A, если не является несущественной для этого выражения. Выражения A и A' находятся в непосредственной связи их значений в языке J, если A и A' принадлежат одной и той же области некоторой директивы значения R. Если можно образовать конечную, состоящую по меньшей мере из трех выражений последовательность, первым членом которой является выражение A, последним — B, и если между каждыми двумя следующим друг за другом членами существует непосредственная связь значений, то между A и B существует опосредованная связь значений. И наконец, Айдукевич подчеркивает, что директивы значения касаются не только выражений, но также и синтаксических форм.

Приведенные терминологические соглашения Айдукевич использует для построения концептуальной модели языка. Ее построение он начинает с вопроса: с необходимостью ли изменение какой-либо директивы значения приводит к изменению соответствия слов языка и их значений? Ответ дается утвердительный, но с оговоркой, что значение определяет всю совокупность директив. В связи с этим объединения областей определения различных директив не обязательно отличны при различных способах объединения этих областей. Поэтому характерное для данного языка соответствие значений очерчивает объединение областей определения отдельных директив, причем полученную область можно варьировать двояко. Во-первых, можно ввести предложения, не принадлежащие области определения директив и, конечно, эти предложения содержат выражения, до сих пор не принадлежащие языку. Во-вторых, область определения можно изменить не вводя новые выражения, а единственно манипулируя способами объединения.

Для описания изменений, вызванных возможным обогащением языка новыми выражениями, Айдукевич вводит различение языков открытых и замкнутых, а также связных и несвязных. Рассмотрим два языка J_1 и J_2. Предположим, что каждому простому или составному выражению языка J_1 соответствует эквиморфное (или одинаково звучащее) выражение языка J_2, но не наоборот, и

кроме того, эквиморфные выражения взаимно переводимы. Язык J_1 является открытым языком относительно языка J_2, если существуют выражения A_1 и B_2, принадлежащие языку J_2, а также выражение B_1, принадлежащее J_1, такое, что выражение B_1 есть перевод A_1, выражение A_1 непосредственно связано по значению с выражением A_2, а A_2 не переводимо в J_1. Название "открытый язык" выражает тот факт, что некоторый язык J_1 можно дополнить до языка J_2 посредством добавления нового выражения. Из определения открытого языка следует, что в расширенном языке J_2 выражения языка J_1 сохраняют свои старые значения. Язык, не являющийся открытым, Айдукевич называет замкнутым. В определенном смысле замкнутый язык является семантически насыщенным.

Пусть J_1 — замкнутый язык и J_2 — язык, возникший вследствие присоединения к J_1 нового выражения B. Тогда в объединении областей определения значений J_2 содержатся все выражения из J_1, а также выражение B, которое находится или не находится в непосредственной связи значений с прежними выражениями. Если B находится в непосредственной связи, то прежние выражения уже не могут иметь те же значения, что в языке J_1, поскольку это противоречило бы предположению, будто J_1 является замкнутым языком, либо B непереводимо в одно из прежних выражений. Из этого следует, что прежние выражения могут иметь в новом языке J_2 те же значения, какие они имели в языке J_1 только тогда, когда B переводимо в одно из прежних выражений, или тогда, когда B не находится в непосредственной связи значений ни с одним из прежних выражений, а тогда B не остается с этим выражением и в опосредованной связи значений. Поскольку B непосредственно не связано ни с одним из прежних выражений, то выражение B не находится ни в какой связи значений с выражениями языка J_1. Это означает, что в языке J_2 существует непустой, изолированный по значению класс выражений. Язык, содержащий такую изолированную часть называется несвязным языком. Таким образом, язык J является несвязным тогда и только тогда, когда существует такой класс K выражений этого языка, что каждый элемент этого класса K не находится в какой-либо связи значений с выражениями языка J вне класса K. Язык, не являющийся несвязным языком, называется языком связанным. Тогда термин "семантически насыщенный язык" означает, что замкнутый язык после его обогащения становится несвязным, поскольку прежние его выражения сохраняют свои значения, а новые не переводимы ни в одно из выражений прежних.

Пусть теперь язык J будет открытым. Если добавить к J новые выражения B, то прежние выражения сохраняют свои значения, а язык J+B не обязательно становится несвязным. В этом случае объединение областей определения директив (правил) языка J является подобластью области определения директив значений языка J+B. Таким образом, если область определения директив значений некоторого языка J изменяется вследствие добавления новых выражений B, то присущее языку J подчинение значений меняется так, что новое подчинение значений выражениям языка учитывает добавленные выражения B. Изменение значений языка J невозможно в трех случаях, когда:

а) новый язык несвязан;

б) введенное выражение имеет перевод на одно из прежних выражений языка;

в) язык J открыт относительно языка J+B. (Открытость языка является свойством относительным, т.е. J открыт относительно некоего отличного от J языка.)

Пусть даны два языка J_1 и J_2. Дополнением J_1 до J_2 называется процедура добавления к J_1 новых выражений до тех пор, пока области определения директив значений J_1 и J_2 не совпадут; обратная процедура является открытием J_2 относительно J_1. Если J_2 является замкнутым языком, то дополнение J_1 до J_2 является окончательным замыканием. Допустим, что J_1 является открытым языком, а J_2 и J_3 — языками связанными и окончательно замкнутыми J_1. Если J_2 и J_3 возникли из J_1 так, что $J_2=J_1+B_1$, а $J_3=J_1+B_2$ и B_1, B_2 взаимно переводимы, то очевидно J_2 и J_3 также взаимно переводимы. Айдукевич задается вопросом: всегда ли два связанных языка, являющиеся окончательно замкнутыми относительно некоторого открытого языка, взаимно переводимы? Ответ на этот вопрос Айдукевич предваряет рассмотрением условий равнозначности или синонимичности двух выражений одного и того же языка J. Необходимым условием синонимичности двух выражений является сохранение области определения директив значений, т.е. область не должна изменяться в результате подстановки B_1 вместо B_2, и наоборот. Понятие равнозначности применимо также к выражениям из разных языков, например, J_1 и J_2. Так как выражение B в языке J_1 имеет то же значение, что и выражение C в языке J_2, то B является переводом C в J_1, и наоборот; отношение перевода рефлексивно, симметрично и транзитивно.

Пусть C будет переводом B (из J_1) на язык J_2, и пусть B находится в некоторой связи значений с другими выражениями из J_1. Если эти связи являются непосредственными связями значений, то если B остается в непосредственной связи значений (в J_1) с выражениями $B_1,\ldots, B_n$, то C остается в аналогичных связях значений (в J_2) с выражениями $C_1,\ldots, C_n$, причем выражения $B_1,\ldots, B_n$ и $C_1,\ldots, C_n$ взаимно переводимы. Последнее замечание необходимо, поскольку могут рассматриваться и открытые языки. Для замкнутых языков описанная зависимость может быть выражена следующим образом: если C является переводом B, то все элементы объединения областей определения директив языка J_2, содержащие выражение C, можно получить из элементов объединения областей определения директив языка J_1, содержащих выражение B, следующим образом: выражение B везде заменяется выражением C, а оставшиеся элементы директив значений языка J_1 заменяются их переводами в языке J_2.

Перевод Айдукевич понимает весьма ригористично, т.е. как перевод совершенный или дословный. Два языка он называет взаимно переводимыми тогда и только тогда, когда каждому выражению одного языка соответствует одно или несколько выражений другого языка, которые являются его переводами с одного языка на другой, и *vice versa*.

Основное утверждение Айдукевича, относящееся к языкам связанным и замкнутым, таково: если языки J_1 и J_2 связаны и замкнуты, и если в языке J_2 существует выражение C, являющееся переводом выражения B языка J_1 на язык J_2, то оба языка взаимно переводимы. Условие перевода уже в том состоит, что одно из выражений языка J_1 имеет свой перевод в язык J_2. Из этого следует, что открытый язык не может быть окончательно замкнут в результате дополнения до двух связанных и взаимно непереводимых языков.

Объединение областей определения директив языка J можно определенным образом упорядочить, образуя соответствующие суммы (объединения) директив: аксиоматическую, дедуктивную и эмпирическую. Три перечисленные суммы директив значений образуют т.н. матрицу языков. Понятие матрицы Айдукевич

использует для формулирования дефиниций перевода и значения выражений. Вот эти дефиниции:

Языки J_1 и J_2 взаимно переводимы согласно отношения R тогда и только тогда, когда R является взаимно однозначным отношением, которое каждому выражению из J_1 ставит в соответствие некоторое выражение из J_2, и наоборот таким образом, что матрица языка J_1 (J_2) переходит в матрицу языка J_2 (J_1), если заменить в ней все выражения выражениями, соответствующими им посредством отношения R.

Выражение A в языке J_1 обладает тем же самым значением, что и выражение B в языке J_2 тогда и только тогда, когда A принадлежит J_1, B принадлежит J_2 и существует отношение R, с учетом которого оба языка взаимно переводимы, а выражение A находится в отношении R к B.

Легко видеть, что приведенные дефиниции однозначно применимы только к языкам связанным и замкнутым. Именно такие языки Айдукевич считает языками в точном значении этого слова, т.е. собственно языками. Открытые же языки являются в сущности смешением собственно языков, примером которых Айдукевич считает язык этнический.

Класс значений замкнутого и связанного языка Айдукевич называет понятийным аппаратом этого языка. Из приведенных дефиниций следует, что два понятийных аппарата являются либо идентичными, либо не имеют общих элементов. Если же два понятийных аппарата имеют хотя бы один общий элемент, то они идентичны. Поэтому можно сказать, что два различных понятийных аппарата никогда не пересекаются, а открытым языкам свойственно смешение различных понятийных аппаратов.

Между матрицами языков и понятийными аппаратами таким образом существует весьма простая зависимость: матрица связанного и замкнутого языка J и понятийный аппарат этого языка определяют друг друга.

Описанная концепция языка может быть названа "имманентной концепцией языка", поскольку Айдукевич определяет значение "внутри" языка. Я.Воленский называет эту концепцию "автономной концепцией языка", т.к. Айдукевич трактует язык как образование, существующее независимо от пользователя. Пользователь языка является как бы "вписанным" в язык и для того чтобы правильно вести себя в разговоре и при написании выражений языка он должен принять значения, диктуемые директивами значения. Пользователь может менять значения выражений, но тогда он "вписывается" в другой понятийный аппарат. Эти замечания не следует понимать так, что пользователь является пассивным потребителем языка, и Айдукевич не утверждает, что языки независимы от человеческих деяний. Речь идет о том, что Айдукевича совершенно не интересовал генезис языка и он воспринимал его как готовое образование, т.е. как результат человеческой деятельности. Воленский справедливо подчеркивает, что тезис об автономии языка имеет смысл лишь в том случае, если помнить о различении процессов и результатов в духе Твардовского. Свою концепцию Айдукевич излагает исключительно с использованием прагматических понятий (признания или узнавания выражений) и синтаксических понятий (описание структуры матрицы языка). Стремясь избегать семантических парадоксов Айдукевич, сознательно не использует семантических понятий. Вместе с тем концепция замкнутых и связанных языков была создана Айдукевичем по аналогии с языками дедуктивных систем.

4.2.3 Языковое значение и принцип конвенциональности

Приступая к исследованию значения, сформировавшему в конечном счете концепцию радикального конвенционализма, Айдукевич формулировует цель своего исследования примерно так: эта тема не представляет интереса как некоторый раздел научного словаря. Важно не столько представление и критика чужих дефиниций значения и экспозиция собственной, сколько нечто иное, а именно то, что язык играет определенную и весьма важную роль в процессе познания. Различные взгляды, касающиеся значения, выявляют относительные точки зрения именно на эту познавательную роль языка. "Важность понятия [...] значения выражений для методологии и теории познания вытекает хотя бы из того, что утверждения наук являются ничем иным, как значениями некоторых предложений, соответствующих этим предложениям в определенном языке, а познание (в отличие от познавания), по крайней мере в своем совершенном виде — это именно это значение определенных предложений и, возможно, иных выражений"[14]. Таким образом, значение выражений Айдукевич пробует установить путем внешних ограничений, накладываемых рамками научных теорий, хотя и в самом языке теории.

Основной тезис конвенционализма гласит, что существуют проблемы, которые не поддаются решению лишь при одном обращении к опыту до тех пор, пока не принимаются некоторые конвенции, сочетание которых с данными опыта позволяет эти проблемы решить. Творцы конвенционализма — А. Пуанкаре и П. Дюгем — подчеркивали, что эмпирическая составляющая не является определяющей при рассмотрении проблемы, поскольку конвенции, от которых зависит ее решение, могут быть изменены. Таким образом, суждения, в которых выражается решение проблемы, зависимы от принятых конвенций. Этот тезис Айдукевич называет обычным конвенционализмом и в статье "Образ мира и понятийный аппарат"[15] предлагает конвенционализм радикальный. Цель этой работы, являющейся применением выше изложенной концепции в теории познания, Айдукевич определяет так: "В этой работе мы намерены тезис обычного конвенционализма обобщить и радикализировать. А именно, мы хотим сформулировать и обосновать утверждение, что не только некоторые, но все суждения, которые мы принимаем и которые создают весь наш образ мира, еще не однозначно определены данными опыта, но зависят от выбора понятийного аппарата, при помощи которого мы отражаем данные опыта"[16].

Свое понимание радикального конвенционализма в эпистемологии Айдукевич демонстрирует на примерах развития научных дисциплин, рассматривая, в частности, ситуации в физике в связи с толкованием значения термина "сила" до Ньютона и после его открытия, а также утверждений эвклидовой геометрии (понимаемой как ветвь физики, а не математической дисциплины), которые сегодня считаются очевидными, хотя когда-то они были только правдоподобными интуитивными допущениями, но изменения в языке, состоящие в возникновении новых аксиоматических директив значения, потребовали безусловного признания этих утверждений геометрии, переводя их в статус аксиом. Между предложениями

[14] Ajdukiewicz K. Sprache und Sinn — "Erkenntnis". — Bd. IV, 1934. S.145.
[15] Ajdukiewicz K. Das Weltbild und die Begriffsapparatur — "Erkenntnis ". — Bd. IV. 1934.
[16] Ibid, S.175.

некоторого языка (в понимании Айдукевича) может возникнуть противоречие, например, между гипотезой и принятым законом. Противоречие можно элиминировать, отказавшись от гипотезы и не оставляя язык. Однако дело обстоит иначе, когда противоречие возникает между предложениями, признания которых требуют директивы значения, например, противоречие возникает между формулировкой закона и предложением, принятие которого продиктовано эмпирическими директивами значения. В этом случае избавиться от противоречия в принятом языке не удается и следует перейти к новому языку. Но новый язык не переводим на язык ранее используемый, ибо если бы он был переводим, то должен был бы быть идентичен с первичным языком и также содержать противоречие. Для ликвидации противоречия необходимо принять новый понятийный аппарат, например, какой-нибудь его элемент, который приведет к изменению значений оставшихся без изменений элементов аппарата под угрозой, что язык окажется несвязным. "Тем самым — заключает Айдукевич, — мы приходим к главному тезису работы. Данные опыта не навязывают нам абсолютным образом никакого артикулированного суждения. Более того, данные опыта вынуждают нас признать некоторые суждения, когда мы учитываем данный понятийный аппарат, однако если мы меняем понятийный аппарат, то можем, несмотря на присутствие данных опыта, удержаться от применения этих суждений"[17].

Еще один аргумент в пользу своих взглядов Айдукевич получает в результате их сравнения с тезисом "обычного конвенционализма", трактующего различия между протокольными предложениями и интерпретацией фактов. Согласно обычному конвенционализму, для принятия протокольного предложения достаточно эмпирических критериев, тогда как решение о принятии предложений, интерпретирующих факты, выносится на основании т.н. вторичных критериев, зависящих от нашего выбора. Таким образом, решение о принятии интерпретационных предложений не однозначно, что недопустимо в случае протокольных предложений. Эти общие соображения Айдукевич уточняет при помощи вводимых им понятий. А именно, критерием принятия протокольных предложений являются эмпирические директивы значения одного из естественных языков, но они еще недостаточны для интерпретации. На вопрос, обладают ли протокольные предложения более высокими достоинствами в смысле их сопротивления изменениям, Айдукевич отвечает: "Более достоинств принадлежало бы протокольным предложениям только тогда, когда директивы значения естественных языков более бы заслуживали того, чтобы оставаться неизменными, чем присоединяемые конвенции. Если признается, что, несмотря на неизменность данных опыта, можно избавиться от некоторых интерпретаций, заменяя одну конвенцию другой, то следует отдавать себе отчет и в том, что с таким же успехом можно отказаться и от протокольных предложений посредством изменения директив значения естественного языка. Таким образом, единственное различие между протокольными и интерпретационными предложениями состоит в том, что первые воспринимаются в языках, в которых мы выросли без нашего сознательного участия, тогда как вторые могут быть приняты лишь в таких языках, в построении которых мы участвовали сознательно. По этой причине директивы значения, допускающие решение о принятии протокольных предложений, на первый взгляд кажутся неприкасаемыми, тогда как вводимые актом нашей воли конвенции, необходимые для принятия интерпретации, кажутся

[17] Ibid, S.180/181.

способными быть отозванными силой нашего решения. Наша позиция является значительно более крайней, чем позиция обсуждаемого конвенционализма. Мы не видим никакой существенной разницы между протокольными предложениями и интерпретациями и считаем, что единственно данные опыта не принуждают нас к принятию ни одних, ни других. Мы равно можем удержаться как от признания самих предложений, так и от их переводов, если пожелаем выбрать понятийный аппарат, в который их значения не входят. Следовательно, нашу позицию мы правильно называем крайним конвенционализмом" [18]

Язык, в котором можно сформулировать произвольное суждение, Айдукевич называет универсальным языком, а соответствующую ему область значений — универсальной областью. Из выше сказанного о языке можно сделать вывод, что универсальный язык несвязан. Его область значений представляла бы собой ничем не ограниченную совокупность значений и принятие такого языка было бы равносильно ограничению используемых правил логики, поскольку применение логики обязательно должно учитывать выбранный понятийный аппарат. Айдукевич заключает: "Тем самым логика, которую на определенном этапе мы принимаем, обязательна до тех пор, пока мы стоим на некоторой позиции, определенной понятийным аппаратом. Вместе со сменой понятийного аппарата изменяется также и логика"[19].

По сути, мы здесь присутствуем при весьма техничной и решительной попытке формализации представлений о конвенциональности языка, восходящих еще к Платонову "Кратилу".

Признание конвенционального характера значений естественного языка — основывающегося, соответственно, на концепции конвенциональности значений формальных (дедуктивных) языков — свойственно не исключительно какой-либо одной философской школе, но является более или менее общим местом в объяснении природы значения. В то же время основания, по которым оно может быть оспорено (и было оспорено, например, У. Куайном[20]) достаточно очевидны.

Согласно Куайну, предполагаемые языковые конвенции не могут иметь форму эксплицитного соглашения. Если представить, что употребление языковых выражений (вообще говоря, естественного языка в целом) регламентируется соглашением, заключенным между членами языкового сообщества, то возникающий при этом вопрос таков: на каком языке велось бы обсуждение такого соглашения? Ведь такое допущение фактически уводит в дурную бесконечность.

Кроме того, мы достоверно знаем о себе, что мы никогда ни с кем не договаривались об употреблении выражений естественного языка. Мы также никогда не сталкивались с достоверным описанием факта заключения такого соглашения. Предложенное описание такого события было бы воспринято нами как метафора.

---

[18] Ibid, S.185/186.
[19] Ibid, S.188.
[20] Quine W. V. Two Dogmas of Empiricism. — In: Quine W. V. From a Logical Point of View. Cambridge Mass., 1953. 2nd ed. Cambridge Mass., 1961; Quine W. V. Word and Object. Cambridge Mass. — N.Y., 1960.

Итак, идея конвенции вызывает на уровне обыденной очевидности возражения двух родов:

1. опытное. Ни мы, ни другие люди не заключали такого соглашения.
2. теоретическое (модельное). Неясно, каким образом могло бы быть осуществлено заключение такого соглашения.

С такой точки зрения, мы не располагаем такой концепцией соглашения, которая позволила бы языку быть конвенциональным; мы можем констатировать, что ситуация действительного использования знаков естественного языка имеет форму ситуации существования соглашения об их использовании, но мы не можем сказать, в силу чего она имеет такую форму. Мы можем продолжать разделять такой подход, как и сам Куайн, но мы не приблизимся тем самым к лучшему пониманию языка. Поэтому даже продолжая использовать миф о языковой конвенции, мы должны иметь в виду, что в действительности речь идет о не более чем о регулярностях, наблюдаемых в нашем использовании языка, и это — все, о чем у нас есть основания говорить в этой связи.

Тем не менее разговор о более отвлеченном понятии, чем эмпирически фиксируемая регулярность в употреблении знаков, оправдан уже в том отношении, что все члены языкового сообщества способны отличить правильное употребление от неправильного; правила, которым можно следовать, так или иначе существуют в сознании членов сообщества. Принятие этих правил, согласие им следовать может быть описано через разделение некоторого соглашения — подобно тому, как это происходит с формальными (искусственными) знаковыми системами, когда некоторое количество людей договаривается между собой о значении определенных знаков. Можно предположить, что значение знаков естественного языка также имеет форму *условного* значения.

Для формальных языков такое описание было предложено К. Айдукевичем в концепции "радикального конвенционализма". Айдукевич вводит такие логические понятия языка, переводимости и т.д., которые не могут быть адекватными соответствующим понятиям лингвистики: он накладывает на них настолько жесткие ограничения, что для естественных языков они оказываются неприменимыми. Тем не менее они могут, с его точки зрения, рассматриваться как упрощенные схемы, идеализированные модели лингвистических объектов[21].

Если понимать язык как систему выражений, наделенных значением, то для его однозначной характеристики необходимо и достаточно установить запас выражений, а также значения, принадлежащие выражениям в этом языке. С такой точки зрения, устанавливая значения выражений, мы тем самым устанавливаем возникающие между ними связи, на основании которых можно сформулировать некоторые правила употребления выражений, называемые правилами значения.

Рассмотрим два примера:

1. Если кто-либо, говорящий на русском языке, отказывается признать выражение "Треугольник имеет три угла", то мы с полным правом можем

[21] Ajdukiewicz K. O zwiazkach skladniowych miedzy czlonami zdan oznajmujacych. – In: Ajdukiewicz K. Jezyk i poznanie. Vol. II. Warszawa, 1965. S. 344.

сделать вывод, что этот человек связывает со словами этого выражения не те значения, которые принадлежат им в русском языке. То же самое можно сказать, если кто-нибудь признает выражение "Иван старше Петра" и одновременно отрицает "Петр моложе Ивана", или же признает "Если А, то В" и предыдущий член этого выражения "А", но вместе с тем отрицает "В". Если мы пользуемся значениями, которые имеют слова этих выражений в русском языке, мы обязаны признавать выражения, вытекающие из первых.

2. Если кто-либо испытывает чувство боли и вместе с тем отказывается признать выражение "болит", то он связывает с этим словом не то значение, которое принадлежит ему в русском языке.

Отсюда можно установить следующие правила: только тот пользуется выражениями языка *L* в значении, которое они имеют в этом языке, кто всегда, находясь в ситуации *S*, готов признать выражение типа *T*. Такого вида правила Айдукевич и называет правилами значения языка.

Он выделяет три вида правил:

1) аксиоматические правила значения, указывающие те выражения, отрицание которых, независимо от ситуации, в которой это отрицание происходит, указывает на нарушение присущих данному языку значений;
2) дедуктивные правила значения, выделяющие пары выражений такого вида, что, признав первое выражение, нужно быть готовым признать и второе, если не нарушать значений, присущих словам данного языка;
3) эмпирические правила значения, ставящие в соответствие опытным данным определенные выражения, которые нужно признавать, чтобы не нарушать значений слов данного языка.

В приведенных выше примерах выражение "Треугольник имеет три угла" является аксиомой языка и подчиняется аксиоматическому правилу. Два последующих примера иллюстрируют дедуктивные правила, и, наконец, четвертый подчиняется эмпирическому правилу значения.

Таким образом, совокупность правил значения языка при наличии определенных данных опыта выделяет класс предложений этого языка вместе с суждениями, образующими их значения. Мы не можем их отрицать, не нарушая значений слов этого языка. К ним принадлежат:

1) предложения, являющиеся, в силу своей тавтологичности, аксиомами языка, признание которых не зависит от ситуации;
2) предложения, признавать которые нас вынуждают эмпирические правила значения при наличии определенных опытных данных;
3) предложения, которые можно вывести на основе дедуктивных правил из аксиом или высказываний, установленных с помощью эмпирических правил значения.

Выделение этих типов правил позволяет Айдукевичу ввести понятия связанного и замкнутого языка.

Связанный язык. Два выражения называются непосредственно связанными по смыслу в тех случаях, когда:

- оба входят в состав одного и того же предложения, продиктованного аксиоматическим правилом значения, либо
- оба входят в состав одного и того же предложения, продиктованного эмпирическим правилом значения, либо
- оба содержатся в одной и той же паре предложений, связанных дедуктивным правилом.

Если все выражения какого-либо языка нельзя разложить на два непустых класса так, чтобы ни одно из выражений первого класса не было непосредственно связано по смыслу с каким-либо выражением второго класса, то такой язык Айдукевич называет связанным языком. В противном случае язык будет несвязанным.

Замкнутый язык. Язык является открытым, если существует другой язык, содержащий все выражения первого с теми же самыми значениями, но в который входят также выражения, не содержащиеся в первом языке, причем по крайней мере одно из этих выражений непосредственно связано по смыслу с каким-либо выражением, содержащимся также и в первом языке. Язык, который не является открытым, называется замкнутым. Открытый язык беднее, чем соответствующий ему замкнутый. В открытом языке можно увеличить запас выражений, не изменяя их значения, и таким образом преобразовать его в замкнутый язык. Если же замкнутый язык дополнить новыми выражениями, то он перестанет быть связанным и распадется на два самостоятельных языка.

Система всех значений, принадлежащих выражениям замкнутого и связанного языка, составляет понятийный аппарат данного языка, а совокупность суждений, образованных из элементов этого понятийного аппарата и навязанных нам правилами значения на основе опытных данных, можно назвать картиной мира, связанной с этим понятийным аппаратом.

Основной тезис радикального конвенционализма Айдукевич формулирует следующим образом:

> ..Все суждения, которые мы признаем и которые составляют нашу картину мира, не являются еще однозначно детерминированными опытными данными, а зависят также от выбора понятийного аппарата, с помощью которого мы отображаем данные опыта. Мы можем, однако, выбрать тот или другой понятийный аппарат, вследствие чего изменится и вся наша картина мира. Это значит, что, пока кто-либо пользуется некоторым понятийным аппаратом, данные опыта заставляют его признавать определенные суждения. Однако... он может выбрать другой понятийный аппарат, на основе которого те же самые опытные данные не вынуждают его больше признавать эти суждения...[22] Вместе с

[22] Ajdukiewicz K. Język i znaczenie. — In: Ajdukiewicz K. Język i poznanie. T. I. Warszawa. 1960. S. 175.

изменением понятийного аппарата меняются и проблемы, которые мы решаем, опираясь на те же самые опытные данные[23].

Практически в тех же терминах излагается, например, принцип лингвистической относительности Сепира — Уорфа, который будет рассмотрен ниже. Б. Уорф также утверждал, что "сходные физические явления позволяют создать сходную картину Вселенной только при сходстве или, по крайней мере, при соотносительности языковых систем"[24]. Формулировки Уорфа и Айдукевича почти дословно повторяют друг друга; но если Уорф строил обоснование своего принципа чисто эмпирически, то Айдукевич попытался дать его теоретическое доказательство. Для этого ему потребовалось понятие замкнутого языка, так как если язык представляет собой открытую систему, то его всегда можно дополнить таким способом, чтобы включить в него все слова и соответствующий понятийный аппарат другого языка. Картина мира оказалась бы зависимой от понятийного аппарата, но не от структуры языка.

Тем не менее естественный язык представляет собой открытую систему в том отношении, что он постоянно в процессе исторического развития изменяет свой лексический и грамматический состав. Поэтому, если бы даже Айдукевичу удалось обосновать корректность понятия замкнутого языка, то это понятие трудно было бы применить к естественному языку (например, воспользоваться им для подтверждения гипотезы лингвистической относительности).

Однако причины, по которым Айдукевич вскоре после создания своей концепции отказался от нее, были связаны с достижениями логики — прежде всего с появлением теоремы Тарского об истинности. Согласно Тарскому, понятие истинности непротиворечивой формализованной системы, охватывающей рекурсивную арифметику, неопределимо в этой системе. (И, далее, семантическая замкнутость языка является причиной семантических парадоксов.) По Айдукевичу же, об истинности картины мира, созданной в рамках замкнутого и связанного языка при помощи понятийного аппарата, принадлежащего этому языку, можно говорить, лишь используя этот понятийный аппарат.

Методологическими следствиями концепции радикального конвенционализма для Айдукевича стали следующие.

В связи с выбором понятийного аппарата Айдукевич ставит вопрос об "истинности различных образов мира".[25] Итак, пусть X и Y используют соответственно два различных замкнутых и связанных языка Jx и Jy. Поскольку Jx и Jy взаимно непереводимы, то не существует суждения, принимаемого одновременно X-ом и Y-ом, но X и не отбрасывает ни одного суждения, принятого Y-ом, и наоборот. Образ

[23] Ibid. S. 215.

[24] Уорф Б. Л.. Наука и языкознание. – В кн.: Новое в лингвистике. Вып. 1. М., 1960. С. 175.

[25] Термин Айдукевича "образ мира" (obraz swiata) можно было бы передать выражением "взгляд на мир" и поставленный выше вопрос касался бы сравнения двух взглядов на мир и о истинности каждого из них. Однако согласно принятого различения процессов и результатов термин "образ мира" являет собой выражение результата процесса всматривания в мир, передаваемого термином "взгляд на мир", представляющего, говоря словами Брентано, интенциональное отношение, т.е. скорее процесс, акт. Поскольку Айдукевич разделял воззрения Твардовского на логическую природу суждения как результат процесса суждения, то в связи с вопросом о истинности суждения, представляющего видение мира, более допустима в переводе с польского, как кажется, несколько неуклюжая калька "образ мира", чем "взгляд на мир".

мира, представляемый в Jx, отличен от образа мира, представляемого в Jy и образы эти не обусловливают друг друга. Возникает вопрос: какой образ мира истинен? Айдукевича рассматривает ситуацию, в которой находится теоретик познания, стремящийся приписать принятым суждениям признак истинности. Но теоретик обязан пользоваться некоторым понятийным аппаратом и поэтому должен признать все предложения, к которым его приводят принятые им директивы значения языка. В конечном счете он может приписать всем принятым предложениям название "истинных". Изменение понятийного аппарата принуждает исследователя к признанию предложений, отличных от предыдущих, и их он также захочет посчитать истинными. Таким образом, теоретик познания не может занять нейтральную позицию и вынужден предпочесть некий понятийный аппарат. Следовательно, говорить об истинности можно только в данном языке, а образ мира, создаваемый в Jx, истинен только в этом языке; это же можно сказать и об Jy.

Здесь следует заметить, что само понятие истинности у Айдукевича относительно и понятие "истинный" в языке Jx отличается от понятия "истинный" в языке Jy. Релятивизация Айдукевича отличается от релятивизации этого понятия в случае семантической дефиниции истинности у Тарского. Различия в трактовке понятия истины у Тарского и Айдукевича обусловлены также и тем, что Айдукевич не различал язык-объект и метаязык, полагая директивы значения охватывающими также и термин "истинный", применимый к предложениям языка J. Именно в силу этого обстоятельства Айдукевич считал, что изменение понятийного аппарата влечет также и изменение значения термина "истинный". Нетрудно заметить, что при различении языка и метаязыка можно легко выдвинуть возражения против концепции истинности различных "образов мира": даже если X и Y используют различные понятийные аппараты, то в метаязыке, к которому принадлежит термин "истинный", они могут им пользоваться идентично, т.е. придавая ему одно и то же значение.

Радикальный конвенционализм можно охарактеризовать как позицию среднюю между эмпиризмом и априоризмом. Для оценки места радикального конвенционализма среди основных направлений эпистемологии можно воспользоваться представленным Айдукевичем[26] их выделением посредством характерных свойств предложений, являющихся эффектом того или иного рода познания. Айдукевич различает предложения аналитические, эмпирические (синтетические a posteriori) и синтетические a priori. Крайний эмпиризм может быть охарактеризован как взгляд, согласно которому методологически правомочное познание выражается эмпирическими предложениями, умеренный эмпиризм — эмпирическими и аналитическими предложениями, умеренный априоризм состоит из предложений всех трех видов, а крайний априоризм — из предложений аналитических и синтетических a priori. Очевидно, что радикальный конвенционализм не может быть квалифицирован ни как крайний эмпиризм, ни как априоризм и занимает положение среди версий умеренных. Наличие в языке аксиоматических и дедуктивных директив значения свидетельствует несомненно об априорном характере познания, о чем неоднократно говорил сам автор концепции радикального конвенционализма, подчеркивая, что его конвенционализм отличается от конвенционализма Пуанкаре, считавшего аксиомы ни истинными, ни ложными, но удобными (commodes). Свою позицию в вопросе трактовки априорных положений Айдукевич сближает с позицией Канта. Он

[26] Ajdukiewicz K. Logika i doswiadczenie. — PF, 1947, r.43 / z.1.-s.3-22.

пишет: "Мы же, наоборот, склонны назвать эти принципы и интерпретации истинными, поскольку они входят в наш язык. Наша позиция не возбраняет нам признать одно или другое фактом, несмотря на то, что мы указываем на зависимость эмпирических суждений от выбранного понятийного аппарата, а не только от первичного материала опыта. В этом пункте мы приближаемся к коперниканскому замыслу Канта, согласно которому эмпирическое познание зависит не только от эмпирического материала, но также от состава категорий, при помощи которых этот материал обработан"[27]. Сближение позиций еще не означает их совпадения и Айдукевич оговаривает отличие радикального конвенционализма от взглядов Канта. Кант считал, что категории жестко связаны с природой человека (хотя и могут изменяться), а понятийный аппарат гибок. Согласно Канту образ мира составляется из чувственных данных, упорядоченных посредством форм воображения и категорий, тогда как в радикальном конвенционализме образ мира сконструирован из абстрактных элементов (значений), а чувственные данные после выбора понятийного аппарата лишь уточняют, конкретизируют этот образ.Позже Айдукевич отмечал, что предложения, диктуемые аксиоматическими и дедуктивными директивами значений могут пониматься как аналитические предложения. В этом случае радикальный конвенционализм можно интерпретировать как версию умеренного эмпиризма: аналитические предложения + предложения, диктуемые эмпирическими директивами значения. Это допущение основано на частном замечании Айдукевича в том периоде творчества, когда радикальный конвенционализм им был отброшен и оно носит здесь единственно характер предположения. Учитывая дальнейшую эволюцию взглядов Айдукевича можно предположить, что он задавался вопросом — играют ли априорные факторы в формировании эмпирического познания существенную роль, или же их можно совершенно исключить. В конечном счете Айдукевич пришел к интерпретации познания в духе крайнего эмпиризма.

Дальнейшая эволюция эпистемологических взглядов Айдукевича свидетельствует о том, что со временем он стал считать крайний эмпиризм позицией не только возможной, но и желательной. В последние годы жизни Айдукевич вполне определенно занял позицию крайнего эмпиризма. В работе "Проблема эмпиризма и концепция значения"[28], являющейся как бы завещанием философа, утверждается, что предлагаемое ранее решение является половинчатым, поскольку оно допускает наличие дедуктивных директив, являющихся априорными элементами познания и не поддающихся контролю опытом. По мнению Айдукевича, последовательное проведение взглядов крайнего эмпиризма требует основательной ревизии концепции значения и выработки такой, которая бы не имела эпистемологических следствий.

[27] Ajdukiewicz K. Das Weltbild und die Begriffsapparatur — "Erkenntnis ". 1934 — Bd. IV. S.194.
[28] Ajdukiewicz K. Zagadnienie empiryzmu a koncepcja znaczenia, SF, 1(36), 1964]. Ы.3-14.

4.3 Номинализм Ст.Лесьневского

4.3.1 Номинализм как эпистемология

В работах Лесьневского философская, логическая и математическая составляющие переплетены чрезвычайно тесно и часто обусловливают друг друга. Это объясняется, в частности, тем, что центром кристаллизации идей Лесьневского был вопрос существования предмета исследования и его теоретическое представление, постепенно реализуемое с точки зрения онтологии, математики и логики[29]. О такой последовательности разворачивания событий свидетельствуют как первые его публикации, так и последние работы. В одном ряду стоят докторская диссертация "К анализу экзистенциальных предложений" (1911), "Опыт обоснования онтологического закона противоречия" (1913), краткий очерк "Об основах онтологии" (1921), а также "Об основоположениях онтологии" (1930[30]). Последнюю из названных работ сам Лесьневский считал единственной публикацией из области онтологии. В ней автор "среди прочего" формулирует "максимально прецизиозным образом условия, которым должны удовлетворять выражения с тем, чтобы их можно было принять в онтологии как дефиниции, либо добавить к системе онтологии как утверждения"[31]. А

Как кажется, более правильным будет говорить не о трех системах Лесьневского, но о трех срезах одной системы, называемой "основанием математики" и состоящей из теорий. За подтверждением обратимся к более ранней версии последнего из цитированных сочинений ("Основания математики"): "По существу и методически, новая с определенных точек зрения, система оснований математики [...] охватывает три дедуктивные теории [...]. Этими теориями являются:

> 1) теория, называемая мной прототетикой, соответствующая, впрочем весьма приближенно, с точки зрения содержания теориям, известным в науке как "calculus of equivalent statements", "Aussagenkalkul", "теория дедукции" в соединении с "теорией мнимых переменных" и т.д.
>
> 2) теория, называемая мной онтологией, составляющая некоторого рода модернизированную "традиционную логику", а что до своего содержания и "силы", то [она] более всего приближается к шредеровскому "Klassenkalkul", рассматриваемому совместно с теорией "индивидов";
>
> 3) теория, которую я называю мереологией [...]" [32].

Итак, если вопросы онтологии предмета были инспирированы Твардовским, с которым Лесьневский вступил в полемику уже в своей докторской диссертации[33], что означает определенность его философских установок, то в отношении способа

---

[29] См. напр.: Смирнов В.А. Логические методы анализа научного знания.-М., 1987.

[30] Lesniewski S. Przyczynek do analizy zdan egzystencjalnych — PF, 1911, r.14 /z. 3 , s.329-345; Lesniewski S. Proba dowodu ontologicznej zasady sprzecznosci — PF,1912, r.15 /z.2, s.202-226.; Lesniewski S. O podstawach ontologii. — PF, 1921, r.25/1922 ,z.4 s.561.

[31] Lesniewski S. O podstawach matematyki — PF, 1931, r.34/z.2-3. S.160.

[32] Lesniewski S. O podstawach matematyki.//PF, 1927, r.30/z.2-3. S.165.

[33] Разногласия проявлялись в вопросе существования предметов общих представлений. Перед I мировой войной заинтересованность общей теорией предметов среди учеников Твардовского была обычным явлением. Она относилась не столько к онтологии, сколько возрождала в новой версии спор реализма с номинализмом в вопросе существования общих предметов (Лукасевич contra Лесьневский, взгляды которого в межвоенный период продолжал развивать Котарбинский).

их выражения работа продолжалась вплоть до конца 30-гг. Вот как Лесьневский описывает свой "отход" от философии, главное неудобство которой заключалось в использовании естественного языка: "Я решился на введение в свою научную практику какого-нибудь "символического языка", опирающегося на образцы, созданные "математическими логиками", вместо естественного языка, которым до настоящего времени я пользовался с упрямой премедитацией, стараясь, как и многие прочие, обуздать этот естественный язык в "логическом" отношении и приспособить его к теоретическим целям, для которых он не был создан. Языковая операция, которую я таким образом произвел на себе (чтобы, как потом оказалось, уже никогда по этому поводу более не тосковать о возвращении к природе) была в конечном счете уже тогда в значительной мере психологически подготовлена промежутком в несколько лет практического недоверия относительно основных выражений "математической логики" в связи с [...] вопросом о смысле этих выражений [...] применительно к системе гг. Уайтхеда и Рассела [...]" [34].

Целью этой "языковой операции" была "рационализация способа", которым для анализа "различных переданных "традиционной логикой" типов предложений" пользовался Лесьневский. Его "отход" от философии и традиционной логики не приводил к сужению взглядов на эти дисциплины, но состоял в последовательной выработке соответствий "при переходе к "символическому" способу записи". Основываясь на "языковом чувстве" и неоднородной с различных точек зрения традиции "традиционной логике", он стремился к выработке метода последовательного оперирования предложениями "единичными", "частными", "общими", "экзистенциальными" и т.д.. Результатом этих поисков было принятие в качестве основных ""единичных" предложений типа "$A \in b$" в какой-то отчетливо сформулированной аксиоматике, которая бы гармонировала, по мнению Лесьневского, с его научной практикой в рассматриваемой области. В отношении такой аксиоматики он постулировал, что в ней не будут выступать никакие "постоянные термины" кроме выражения "$\in$" в предложениях типа "$A \in b$", а также терминов, выступающих в "теории дедукции[35].

Подытоживая сказанное, отметим, что в действительности Лесьневский менял не взгляды, а способы их выражения. Единство задуманных им "оснований математики" удалось реализовать не в одной теории, но в трех, каждую из которых он, правда, стремился построить аксиоматически с единственной аксиомой.

4.3.2 Интенциональное отношение «единичного предложения существования»

Несмотря на то, что понятия существования и предмета являются основными понятиями философии Лесьневского, они не могут быть отнесены непосредственно к онтологии потому, что ни модусы существования, ни формы предметов его как таковые не интересуют. Заботой Лесьневского стал процесс суждения, выражаемый предложениями вида $<A \in b>$, а точнее - номинальным

[34] Lesniewski S. O podstawach matematyki — PF, 1931, r.34/z.2-3. S.154.
[35] Ibid, S.156.

суждением <A ← b>, или <A ← a>; последнее суждение является предметом изучения онтологии. Именно оно дает ключ к пониманию теорий Лесьневского, последовательно реализующих т.н. номинальное суждение. Трудность понимания систем Лесьневского, в основу которых положено "единичное предложение существования", состоит в том, что процесс суждения является процессом переименования, а также в том, что направление процесса переименования противоположно направлению линейной записи предложения. Эту последнюю особенность переименования Лесьневский преодолевает инверсией частей суждения, используя исключительно запись вида <A ∈ b>, а не <b ∈ A>. Переименование как процесс суждения принципиально не сводимо к результату суждения, каковым в реальном суждении оказывается истинностная оценка. Более того, модусы использования - употребления и упоминания - частей суждения в реальном и т.н. номинальном суждении различны[36]. И это еще одна трудность выражения своих замыслов, которые Лесьневский смог преодолеть в специальной теории - онтологии, регулирующей с формальной точки зрения введение терминов.

Акцентирование процесса в суждении, казалось бы, должно было привести Лесьневского к психологизму, но этого не случилось вследствие занимаемой им позиции крайнего номинализма, т.е. номинализма как в "философии языка", так и в "философии мира". И если реальное суждение подразумевает существование результата процесса суждения в виде истинностного значения, чем собственно и отличается суждение от предложения, то процесс относительной номинации не предполагает результата и без различения номинальных и реальных суждений различение предложения и суждения у Лесьневского невозможно. В свете сказанного проясняется "проблема языка Лесьневского", заключающаяся в том, что на основании концепции Лесьневского весьма трудно провести различие между суждением (в логическом плане) и предложением, если вообще это возможно. Попутно можно заметить, что номинальное суждение вследствие отсутствия результата в виде истинностного значения вообще не является суждением и по модусам своих частей должно быть отнесено к разряду определений. Но как раз именно поэтому крен в сторону номинального суждения позволил Лесьневскому широко использовать определение и даже ввести его в состав тезисов дедуктивной системы.

Однако, ни в начальном, т.е. философском, ни в логическом периоде творчества Лесьневский не осознавал отличие "своего" суждения от суждения реального. Выработанные им отличия в кодификационном плане в конечном счете привели его к принятию двух семантических категорий - имен и предложений. В раннем же периоде творчества, используемые Миллевы понятия обозначения и соозначения нарушали однородность терминов, так необходимую в номинальном суждении, в чем можно убедиться, анализируя форму единичных предложений <A есть b>, являющуюся инверсной к форме реального суждения <b есть A>. Поэтому Лесьневский унифицировал "реальный мир" с тем, чтобы унифицировать и "мир языка". Унификация заключалась в минимизации числа возможных семантических категорий. Говоря о своих ранних работах он пишет: "[...] я верил, что на свете существуют т.н. свойства и т.н. отношения как два специальных вида предметов и не чувствовал никаких сомнений при пользовании выражениями "свойство" и "отношение". Теперь я уже давно не верю в существование предметов,

[36] В дальнейшем употребление термина в суждении будет обозначаться подчеркиванием, а упоминание - закавычиванием.

являющихся свойствами, ни в существование предметов, являющихся отношениями, ибо ничего меня не склоняет к уверованию в существование таких предметов [...]"[37].

Итак, предположим, что Лесьневский использовал impliciter номинальное суждение <"A" ∈ b.>. К принятию такого предположения склоняет анализ всего его творчества. "Система дедуктивной и индуктивной логики" Дж.Ст.Милля, на которой был воспитан Лесьневский, при анализе суждения во главу угла ставит понятие "соозначения", причем соозначает сказуемое, а обозначает или символизирует подлежащее, т.е. термин для подлежащего употребляется, а сказуемого - упоминается и все суждение по Миллю - это реальное суждение <A ∈ "b">. Эта неувязка между номинальным и реальным суждением так никогда и не будет преодолена. Для ее разрешения Лесьневский вначале привлечет понятие определения, а в последующем откажется от понятия коннотации. Ранее же, в первых работах, он использует понятие соозначения как основное и переносит акцент с подлежащего на сказуемое. Заметим, что Лесьневский не пользуется терминами "субъект" и "предикат", а также понятием истинности суждения, но говорит только о предложениях.

Его "Логические рассуждения" предваряет лингвистический "семасиологический анализ", полностью покоящийся на понятии "соозначения": "Все языковые выражения - пишет Лесьневский - я разделяю на соозначающие выражения и несоозначающие выражения; выражение "соозначающее выражение" я употребляю для обозначения таких выражений, которые имеют определения (definitio), выражение "несоозначающее выражение" - для обозначения выражений, которые определений не имеют"[38]. В приведенной цитате содержится ключ к пониманию всей системы Лесьневского. Вот как в своей первой работе он использует понятие "соозначать" и "определение", которые в приведенной выше цитате получили статус методологической установки, "семасиологический анализ адекватности" которых, говоря словами автора, "опирается [...] в последней инстанции на феноменологический анализ символизаторских интенций лица говорящего". Вначале Лесьневский дает определение "выражения "экзистенциальное предложение"". Затем продолжает в примечании: "Я принимаю это определение [...] за исходную точку анализа экзистенциальных предложений. [...] Анализ экзистенциальных предложений есть таким образом постоянно анализ предложений, обладающих признаками, соозначаемыми выражением "экзистенциальное предложение" в выше упомянутом значении; анализ этот не является ни анализом выражения "экзистенциальное предложение", ни анализом значения этого выражения, так как ни одно, ни другое не обладают признаками, соозначаемыми выражением "экзистенциальное предложение"[39] Вполне очевидным образом с использованием понятия "соозначения" отделен случай употребления выражения от его упоминания, или, говоря языком схоластов - *suppositio simplex* от *suppositio materialis* и *suppositio formalis*, и то важное обстоятельство сближает манеру анализа Лесьневского со схоластической методологией, что он как и они использует не подстановку (supponere) для проверки дефиниции, но допущение (suppositio) соозначаемых признаков. Пожалуй, единственное различие схоластической терминологии и Миллевой

[37] Lesniewski S. O podstawach matematyki.//PF, 1927, r.30/z.2-3. S. S.183.
[38] Ст. Лесьневский. Логические рассуждения. С.-Пб, 1913. С.4.
[39] Там же, с.58.

коннотации в том, что в Средневековье акцентируется логическая сторона термина, а у Милля, в Новое время - семиотическая.

На понятии соозначения Лесьневский основывает несколько приемов в естественном языке, позволяющих более отчетливо осветить поставленный вопрос. Понимаемые широко, все они представляют собой парафразу. Приемом парафразы пользовался Твардовский, у которого его перенял К.Айдукевич (см.выше), но, как кажется, Лесьневский пришел к нему самостоятельно, поскольку его способ перефразирования стремится к максимальной точности, доходящей, если не удается этот способ обосновать языковыми процедурами, до конвенции. О некоторых из них еще будет упомянуто; здесь же мы коснемся синонимии, которая составляет ядро приема парафраз. Так, Лесьневский считает, что одно выражение является или не является синонимом другого, если оба вышеуказанные выражения соозначают одинаковые признаки или же признаки являются различными. Оперирование признаками явно не в согласии с онтическими взглядами Лесьневского, которые он последовательно проводит в анализе экзистенциального предложения, но воспринятое им от Милля положение, гласящеее, что значения выражений заключаются не в том, что они обозначают, но в том, что они соозначают, не позволяет ему отказаться очевидным образом от понятия соозначения, чтобы перейти к обозначению.

Выход он находит в апофатическом определении — например, аналитических и синтетических экзистенциальных предложений, причем отличие своих определений от миллевских эссенциальных и акцедентальных предложений проводится вполне осознано. Другим приемом, основанном на синонимии, является трансформация сказуемого так, чтобы оно выступало в именительном падеже. А это значит, что сказуемое представляется существительным или именной группой сказуемого и возможным становится не только соозначение, но и обозначение.

Итак, каждое подлежащее - это "бытие, обладающее признаками", совокупность которых составляет *differentias specificas* по отношению к роду "бытие". Однако "бытие" по Лесьневскому - это не существование, а всего лишь максимально возможное родовое понятие, удобное для обнаружения "противоречия". Уточняя свое понимание подлежащего предложения: "Может кому-нибудь по этому поводу показаться, что определяя слово "X", как "существующий, обладающий признаками - P_1, P_2, P_3, ..., P_n", Лесьневский подчеркивает, что заранее предицирует существование "X".

Его определение скорее непредикативно по форме и представляет собой предложение, адекватно символизирующее предмет, который обыкновенно неадекватно символизируют в предложении "X существует". Это предложение "некоторый предмет есть предмет X", которое предполагает существование "X ", основанное на адекватной символизации "X" и являющееся основанием для адекватной символизации "некоторого предмета". Может возникнуть впечатление не просто круга в таких определениях, а порочного круга, объясняемое использованием слова "предмет" в качестве определяемого, являющегося наивысшим родом. Но кванторное слово "некоторый" говорит о подразумеваемой переменной, неявно входящей в дефиниендум. Таким образом, речь идет не о существовании предмета, "символизируемого" подлежащим, поскольку в конечном счете Лесьневский приходит к выводу о ложности всех экзистенциальных

предложений - как негативных, так и позитивных, но об "адекватности символизации".

Итак, сказуемое "существовать" экзистенциального предложения ("люди существуют", "бес существует" - примеры Лесьневского), выражает признак существования. Возможно, именно от этой трактовки существования как некорректной отрекся Лесьневский в более поздней своей работе, но не от сути понимания им предложения вообще. В экзистенциальном предложении признак существования не более, чем признак, выполняющий функцию соозначения. Ложность всех экзистенциальных предложений для Лесьневского означает просто онтическую нейтральность всех соозначающих выражений. Его онтологические воззрения оказываются эпистемологическими взглядами, которым он стремится придать максимально строгий научный вид и которые, как способ речи, влекут онтологические предпосылки. От этих предпосылок Лесьневский и стремится избавиться так, чтобы из анализа единичного предложения вида "A $\in$ b" невозможно было извлечь утверждение о существовании предмета вообще, в максимально широком значении слова "существовать". К осуществлению строгого воплощения этих воззрений Лесьневский придет, понимая, что предложенная им классификация предложений на аналитические и синтетические вызывает "интенсивную эмоцию теоретического "диссонанса", он полагает, что его задачей не является тушевание всяких таких "диссонансов", поскольку они являются только продуктом закоренелых чувственных импульсов на почве тех или иных языковых привычек. [...] Критерием научной целесообразности классификаций я считаю возможность высказывания предложений или создавания научных теорий, касающихся всех предметов (и только их), обнимаемых соответствующими классификационными рубриками"[40].

Классификационные рубрики являются для философии эмпирическим материалом, используемым для создания определений, в которых выявляются значения логического субъекта суждения. Таким образом, за каждым предложением у Лесьневского кроется определение, которое при необходимости может быть эксплицировано. Причем классификационные определения оказываются реальными определениями и позиция Лесьневского становится двойственной, состоящей из эмпирической составляющей, представленной определениями, формирующими классификационные рубрики и теоретической составляющей, образованной единичными предложениями вида "A есть b", в анализе которых главную роль играет понятие соозначения. Используя эту двойственную позицию можно сказать, что в определениях термин для подлежащего в предложении в действительности обозначает, а в суждениях - соозначает, с чем несогласен и сам автор. Короче говоря, Лесьневский столкнулся с ситуацией не единообразного использования термина для подлежащего, которую можно изобразить следующим образом: <"A" $\in$ $\underline{b}$.> и <$\underline{A}$.= df $\underline{c}$>. .Совершенно очевидно, что понятие соозначения в эту ситуацию не могло внести ясности. Дело несколько улучшается при переходе к номинальным семантическим определениям, т.е. к совместному рассмотрению единичного предложения <"A" $\in$ $\underline{b}$.> и определения <"A" = df $\underline{c}$.>, но и теперь "соозначение" продолжает оставаться непреодолимым барьером, поскольку "b" и "c" соозначают различные признаки. Более того, используемое в настоящей работе уточнение функций терминов "b" и "c", конечно, не проводится у Лесьневского и соозначаемые термины, которые присутствуют в его примерах

[40] Там же, с.68.

упоминаются, вступая в разительный конфликт с интенциями автора, направленными на обозначение, употребление терминов "b" и "c".

Номинальный характер как суждения, так и определения обостряет вопрос референции субъекта суждения, или, говоря языком Лесьневского, вопрос "адекватной символизации". И уже в своей первой работе, посвященной анализу экзистенциальных предложений, тема которой очевидным образом способствовала выяснению механизма экстралингвистической функции номинации, Лесьневский отказывается от нее и придает номинации интралингвистический характер, т.е. относительный, замаскированный, правда, использованием термина "предмет", который только единственно и существует реально , а еще лучше сказать - абсолютно. Вот "примеры адекватных символизаций предметов, которые обыкновенно неадекватно символизируются в экзистенциальных предложениях различных типов:

Неадекватная символизация	**Адекватная символизация**
Только предметы А существуют.	Все предметы суть предметы А.
Предметы А существуют.	Некоторые предметы суть предметы А.
Предмет А существует.	Один (некоторый и т.д.) предмет есть предмет А.
Предметы А не существуют.	Никакой предмет не есть предмет А."
Предмет А не существует.	

Легко видеть, что в примерах адекватной символизации о существовании речь не идет; эти примеры имеют структуру номинального семантического определения, в котором определяемое вследствие своей максимальной общности (понятие предмета является наивысшим родом) начинает играть роль переменной, настолько оно неопределенно. И это неудивительно, ибо в номинальном определении дефиниендум упоминается. И вновь возникает несоответствие модусов использования терминов номинального суждения и якобы номинального определения. Поэтому Лесьневский отказывается от экстралингвистической составляющей в субъекте суждения, отрицая какое-либо существование обозначаемого предмета и сосредоточивая все внимание на внутреннем, с точки зрения языка, облике подлежащего, его физической оболочке. Это было началом радикального номинализма.

Однако, единой теории имен, их онтического статуса, подкрепленного теорией вывода не получилось, но возникли три теории, объединенные в одну систему "Оснований математики": мереология, онтология, прототетика, преследующие одну цель - создание предложений, которые обладают символической функцией и которые Лесьневский называет наукой. Его предметная концепция не имеет ничего общего со взглядами на предмет Брентано или Твардовского, признающих наряду с индивидуальными предметами также и предметы общих представлений, ни со взглядами Фреге, считающего таким общим предметом истинностное значение. Можно даже высказать странную на первый взгляд мысль о том, что понятие предмета для Лесьневского оказалось вспомогательным, что понятийный базис еготеории познания был ограничен единственной категорией предмета с тем, чтобы теоретически воплотить понимание предмета той или иной наукой, ибо наука составляет некоторого рода систему языковых символов. При этом

предметом, символизируемым предложением, окажется "единственно отношение ингеренции", т.е. в сущности процесс. Составляющие этого процесса, которые доставляют массу неудобств и которые в последних работах Лесьневского будут регулироваться определениями, в начальном периоде упорядочиваются "нормативными схемами", собственно и позволяющими окончательно перейти от реального суждения к номинальному. Установка Лесьневского такова: "Символические функции сложных языковых выражений, например, предложений, зависят от символических функций элементов соответствующих выражений, т.е. от отдельных слов и от взаимного соотношения этих элементов. [...] Планомерное конструирование сложных языковых форм для символизирования различных предметов в системе научных предложений не может довольствоваться теми или иными результатами непланомерной эволюции языка; оно требует создания некоторых общих конвенционально-нормативных схем, в которых можно было бы формулировать зависимость символических функций предложений от символических функций их отдельных элементов. [...] Принятою мною нормативной схемой, формулирующей эту зависимость, является схема следующая: всякое предложение, приведенное к форме предложения не периода с позитивной copul'ой и сказуемым в именительном падеже, может символизировать исключительно обладание предмета, символизируемого подлежащим, признаками, соозначаемыми сказуемым"[41].

Понятие соозначающего сказуемого уже не может затемнить его предметную трактовку, т.к. предложения, имеющие несоозначаемое сказуемое, не могут символизировать ничего, ибо - при несоозначающем сказуемом - ни один предмет не является обладанием предмета, символизируемого подлежащим, признаками, соозначаемыми этим несоозначающим сказуемым, иначе - ни один предмет не является таким предметом, который бы только и мог символизироваться данным предложением, имеющим несоозначаемое сказуемое. Из этого пассажа хорошо видно, что понятие соозначения у Лесьневского в сущности является обозначением, но стоящем "в тени" за подлежащим, которое обозначает, т.е. символизирует. Выражение соозначает, если оно занимает позицию сказуемого. Использование Лесьневским конвенциональной схемы *impliciter* переводит "соозначение" в "обозначение". Функция соозначения, стоящая "за обозначением" аналогична каждому определению, стоящему за предложением вида "$A \in b$". Однако символизация еще не есть референция, ибо дефиниендум номинального семантического определения не выполняет этой функции.

Тем не менее понятие значения все еще остается для Лесьневского важным, поскольку научность определяется уточнением значения выражения. Он протестует против толкования определений как "исчерпывающих все содержание подлежащего аналитических предложений о предметах, символизируемых подлежащим". Неадекватность символизации в этом случае состоит в том, что вместо предложения о некотором выражении, которое должно быть определено, формулируется предложение о предмете, по отношению к которому соответствующее выражение может быть только символом. Неадекватность символизации зависит в значительной степени от того, что содержание определений не символизируется прецизно в адекватных предложениях, которых подлежащие являются символами символов предметов, т.е. символами слов, а отнюдь не символами самих предметов или их так называемых "понятий. Таким образом, значение подлежащего, т.е. логического субъекта суждения не является

[41] Там же, с.80-81.

объектом теории и не служит для Лесьневского предметом изучения; оно должно быть уже известно до вынесения суждения. Эту мысль Лесьневский отчетливо формулирует: "Предложение [...] может быть, собственно говоря, высказано адекватно по отношению к символизируемому им предмету только тогда, когда определение слова [...], которое в этом предложении является подлежащим, уже существует, равно как определение каждого иного слова, входящего в предложение"[42]. В этой цитате знаменательным является факт уравнивания в правах значений всех слов, в том числе и сказуемого. Можно заметить, что акцент в анализе предложения смещается с подлежащего (субъекта) на сказуемое. В результате уточнения понятия "адекватности символизирования" этот акцент будет полностью перенесен на сказуемое так, как это имеет место в номинальном семантическом определении. При этом Лесьневский в дальнейшем при формализации, как уже было отмечено, будет вынужден отказаться от понятия соозначения.

Лесьневский считает, что не все выражения соозначают, например, таковыми являются выражения "человеку", "хорошо", "при", "бытие", но, не соглашаясь с Миллем, он считает, что все имена, в том числе и собственные, являются соозначающими. Так слово "Сократ" соозначает признак обладания именем "Сократ". Хотя понятие соозначения зависит от существования предметов (это непременное условие соозначения), все же проявиться оно может только соозначая с подлежащим, т.е. в предложении. Поэтому переходя к структуре номинального семантического определения "Dfd" = Dfn Лесьневский не будет испытывать необходимости в понятии соозначения и введя синтаксический эквивалент в виде понятия ингеренции откажется в дальнейшем от "соозначения"; он попросту вводит понятие обозначения (символизирования) и ингеренции и разделяет уровни реализации этих понятий: обозначение выполняется в языке комментариев, или, как теперь принято говорить - в метаязыке, а отношение ингеренции - в объектном языке..

Следующие положения начинаются фразами, единственное различие которых состоит в замене слова "соозначающие" на "обозначающие", Лесьневский выделяет следующим образом. Все языковые выражения могут быть разделены на обозначающие что-либо и не обозначающие ничего. Отношение выражений к предметам, обозначаемым (иначе - символизируемым) этими выражениями, можеет быть названо символическим отношением; признак выражения, состоящий в том, что это выражение что-либо символизирует, может быть называю символической функцией данного выражения. Примерами выражений, обозначающих что-либо, иначе - обладающих символической функцией, могут быть следующие выражения: "человек", "зеленый", "предмет", "бытие".

Из сравнения определений соозначающих и обозначающих выражений следует, что существуют выражения, которые что-либо соозначают, но ничего не обозначают; такими выражениями являются, например, "квадратный круг", "кентавр"; существуют, с другой стороны, такие выражения, которые ничего не соозначают, а что-либо обозначают, например, "предмет", "бытие", "каждый человек смертен"; существуют и такие выражения, которые ничего не обозначают и ничего не соозначают, например, "абракадабра".

Помимо признака выражения обозначения Лесьневский различает признак, состоящий в том, что выражение это бывает принимаемо или употребляемо как

[42] Там же, с.85

выражение, обладающее символической функцией. Этот признак Лесьневский называет "символической диспозицией". Все несоозначающие выражения, обладающие диспозицией символизирования отношений ингеренции, Лесьневский называет предложением. (Под выражением "отношение ингеренции" разумеется такое отношение между каким-либо предметом и каким-либо признаком, которое состоит в том, что данный предмет обладает данным признаком.) Далее определяется понятие "равнозначащие предложения", которые содержат "соответствующие подлежащие" и "равнозначащие сказуемые", т.е. такие подлежащие, которые "не обозначают различных предметов и не соозначают различных признаков, а сказуемые равнозначащи, т.е. соозначают одинаковые признаки. Таким образом, подлежащее обозначает и соозначает, а сказуемое только соозначает. Поэтому два предложения "не являются предложениями равнозначащими, если слова "P" и "P*" соозначают неодинаковые признаки, - даже в таких случаях, когда слова "P" и "P*" обозначают один и тот же предмет, а слова "c" и "c*" – это тот самый признак"

Превращение номинального семантического определения в суждение происходит при замене дефиниендума (подлежащего) переменной, но суждение остается равнозначащим определению, поскольку переменная связана. Но, как мы помним, речь у Лесьневского идет не о существовании предмета, символизируемого подлежащим, но о соозначающем выражении, т.е. "символе символа". Поэтому предложение истинно, если подлежащее и сказуемое являются соозначающими. Отсюда следует метафизический вывод: "Метафизика, понимаемая как система истинных предложений о всех вообще предметах, не имеет конечно ничего общего с системою предложений о якобы существующих "предметах вообще" или "общих предметах"; типом метафизических предложений является предложение "каждый предмет обладает признаками - P_1, P_2, P_3,..., P_n" онтологический закон противоречия; закон этот можно назвать также метафизическим"[43]).

Итак, конвенционально-нормативные схемы выражают понимание Лесьневским предложения, которое является номинальным суждением. О предложениях говорится, что они символизируют, а истинными могут быть на основании конвенций или определений. (Последние два понятия часто смешиваются, что объясняется на протяжении даже одного произведения смещением акцента с подлежащего на сказуемое). Конвенции являются предложениями истинными, "ибо они символизируют то положение вещей, которое я, принимая соответствующие конвенции, сам создаю"[44]. Учитывая неявное смещение акцента с подлежащего на сказуемое и ту роль, которую Лесьневский отводит определениям и конвенциям можно заключить, что определения относятся к подлежащим, а конвенции - к сказуемым, поскольку определения явно номинальные, а конвенции, выражая истинность положений, impliciter утверждают также и существование предмета, выражаемого термином сказуемого.

Из четырех приводимых Лесьневским конвенций две первые собственно выражают его отношение к семиотике предложений, а другие две носят логический характер, утверждая двузначность подразумеваемой логики. Так конвенция I говорит, что якое предложение, обладающее символической функцией символизирует обладание предмета, символизируемого подлежащим этого предложения, признаками, соозначаемыми сказуемым. (Из конвенции этой

[43] Там же, с.27..
[44] Там же, с.42..

следует, что предложения могут символизировать единственно отношение ингеренции). При этом, конечно, предложение должно быть приведено к форме "предложения - не периода с позитивной копулой и сказуемым в именительном падеже. Таким образом, предложение символизирует процесс номинации, называемый отношением ингеренции.

Конвенция II устанавливает условие истинности предложения: предложение, имеющее обозначающее что-либо подлежащее, и соозначающее сказуемое, обладает символической функцией, если контрадикторическое по отношению к нему предложение не обладает символической функцией. Эта конвенция однако же не разрешает вопроса о символических функциях каких угодно предложений, а касается исключительно таких предложений, которых подлежащие обладают символической функцией, и которых сказуемые являются выражениями соозначающими; отсюда следствие, что мы можем считать априорическим доказательство какого-либо предложения только в таком случае, если докажем на основании одних только языковых конвенций и предложений, являющихся следствиями этих конвенций, что подлежащее предложения, которое мы желаем доказать, обладает символической функцией, а сказуемое этого предложения является выражением соозначающим. Конвенциями, на которые может опираться доказательство утверждения, что сказуемые данных предложений являются выражениями соозначающими, могут быть определениями соответствующих сказуемых. Определения соответствующих подлежащих не могут считаться такими конвенциями, ибо определения не доказывают того, что соответствующие выражения что-либо обозначают, а свидетельствуют лишь о том, что они соозначают некоторые признаки. Подлежащее, согласно Лесьневскому, априорно обозначает только в одном случае: если этим подлежащим является слово "предмет' или его соответственник, ибо мы принимаем конвенцию, что слово "предмет" является, как основание всей сложной системы языковых символов, символом всего. Метод же разрешения вопроса, обладает ли символической функцией всякое иное подлежащее предложения, может состоять исключительно в том, что мы решаем отдельно для каждого случая проблемы, обладает ли какой-нибудь предмет признаками, соозначаемыми подлежащим этого предложения.

Соозначающими же признаками обладает предмет, выражаемый сказуемым. Следовательно, вопрос о символической функции подлежащего решается на основании признаков сказуемого, которое является подлежащим другого предложения, определяемого конвенционально. Теперь становится понятным, почему сказуемое должно выступать в именительном падеже. Впрочем, этим выводам Лесьневский также дает явное выражение: если мы обладаем априорным доказательством какого-либо предложения, подлежащим которого не является слово "предмет", то доказательство этогго не основывается на одних только языковых конвенциях, - и требует, как посылки, предложения, гласящего, что какой-либо предмет обладает признаками, соозначаемыми подлежащим этого предложения". Предложение, подлежащим которого является слово "предмет" может быть "доказано *apriori*" на основании одних только языковых конвенций:

1) конвенции, что слово "предмет" обладает символической функцией;

2) определения сказуемого;

3) конвенции об установлении истинности предложения.

Подводя итог сказанному о ранних работах Лесьневского, можно констатировать: 1) Принимаемое им предложение является номинальным суждением вида <A ← b>. Использование понятия коннотации, прежде всего для сказуемого b в функции употребления приводит к путанице используемого категориального аппарата, поскольку единственное отличие имен определяется синтаксически, их местом в предложении. 2) "Доказательство" предложения основывается на конвенциях и определениях, применяемых как к подлежащему, так и сказуемому. В конечном счете центр тяжести "доказательства" смещается на сказуемое, регулируемое функционально конвенциями. Определения же относятся к подлежащему с единственной целью выяснения смысла термина и ничего не говорят о его существовании. Но поскольку "доказательство" основывается на уже истинных предложениях, в которых сказуемое занимает место подлежащего, то определения относятся и к термину для сказуемого доказываемого предложения. Эта же особенность применения определения к одному и тому же термину в разных предложениях сохранится и в дальнейшем в "Теории дедукции". Покамест же ситуацию можно прояснить последовательностью переименований, в сущности и составляющих "доказательство" по Лесьневскому в его ранних работах, но вообще говоря, эта схема сохранится и в его "логическом" периоде. В изображении схемы приходится один и тот же термин изображать дважды: один раз в роли подлежащего и в функции упоминания, например, "B", другой - в роли сказуемого и в функции использования, например, b .. Тогда процесс "доказывания" Лесьневским предложения <A ← b> при помощи конвенции <"B" ← c .>, являющейся также процессом переименования, выглядит следующим образом: "A" ← b ("B") ←c ("C") ← ... . Постоянное смешение ролей одного и того же термина в процессе переименования вызывает значительные трудности и у автора этой концепции суждения. В дальнейшем определения в теории дедукции будут выполнять именно эту роль синтаксического "соединения" терминов. 3) На использование Лесьневским не реального, а номинального суждения косвенно указывает и форма записи "единичных предложений существования". Несмотря на употребление символики "Принципов математики" Рассела и Уайтхеда, а также замены связки "есть" знаком "∈", заимствованным у Пеано, запись суждения у Лесьневского просто противоположна общепринятой в смысле направления процесса, происходящего между обозначениями подлежащего и сказуемого. Так у Рассела суждение <a ∈ "A"> эксплицируется пропозициональной функцией A(x) и ее значением как результатом в виде истинностной оценки формулы ∃xA(x), тогда как у Лесьневского противоположно направление самой записи суждения - <"A" ∈ a >, - результатом которой может быть, разве что, "A". Сказать, что Лесьневский принимает такое толкование результата, неверно; он принимает этот результат неявно также, как принимает связку "∈", не сумев разъяснить ее значение , которое до настоящего времени вызывает разногласия в своей трактовке. Вместе с тем, принятие implicite "A" как результата привело к созданию Мереологии, в различных модификациях которой "A" при попытках разъяснения онтического статуса этого имени называется классом, множеством и т.п. В этих попытках, о которых подробнее будет сказано ниже, можно встретить записи <A есть B>, <a есть b>, <A есть b>, но нет записи <b есть A>. Короче говоря, понятие предмета, как и термин для этого понятия, выполняющего роль переменной в ранних работах Лесьневского, а также обозначение "A" вступает как результат в противоречие с процессом именования, последовательно проводимом в Онтологии и Прототетике. Как кажется, именно поэтому последние названные теории

формализованы дедуктивно, тогда как Мереология по сути остается на вербальном уровне.

Несомненно, что "ранний" Лесьневский оказал влияние на "позднего", хотя этот последний и отрекся от своего "грамматического" периода творчества. Ни один Лесьневский "вышел" из философии и стал логиком, но "его логическое творчество составляет как бы отдельное направление в варшавской школе".[45] А это значит, что уже в философском периоде он отличался иным видением проблем, в частности, проблемы суждения. Будучи центральным пунктом интенций Лесьневского, суждение в его трактовке оказалось и отправным пунктом дальнейших исследований, на результатах которых сказались родовые черты номинального суждения. Суждение, являясь процессом, на пути которого возникали преграды научных проблем, например, антиномии теории множеств, их существования, конструирования и т.п., разделилось в своем движении н три русла, составивших уже упомянутые Мереологию, Онтологию и Прототетику. Каждая их этих теорий продолжает представлять процесс и не является законченным объектом, поскольку возможно их расширение; в этом смысле они суть "динамичные" объекты.

4.3.3 Интуитивный формализм и конструктивный номинализм

Итоговый, или логический, этап творчества Лесьневского привел его к созданию системы, состоящей из трех упомянутых теорий - мереологии, онтологии и прототетики. К правилам и определениям в теориях предъявлялись жесткие требования, заключающиеся прежде всего в том, что они должны были контролировать интуицию исследователя в отношении реальности. Лесьневский полагал, что каждая формализованная система "нечто" и "о чем-то" говорит. Его высказывания выражают связь математики с действительностью: "У меня нет никаких симпатий ко всякого рода "математическим играм", которые состоят в том, что при помощи тех или иных условных правил выписываются более или менее красивые формулы, не обязательно осмысленные и даже, как некоторые "игроки в математику" считают, с необходимостью лишенные значения. Поэтому я не вкладывал бы труда в систематизацию и многократный контроль правил моих систем, если бы не приписывал утверждениям этих систем совершенно определенного значения, при котором кодифицированные этими правилами методы вывода и дефиниции этих систем несомненно интуитивно значимы. Не вижу никакого противоречия в том, что считая себя убежденным "интуиционистом" одновременно использую в построении своих систем радикальный формализм. Я тружусь над представлением различных дедуктивных теорий для того, чтобы в последовательности осмысленных предложений выразить ряд мыслей, которыми обладаю в той или иной области, с тем, чтобы выводить одни предложения из других так, чтобы это было в согласии с правилами вывода, которые я считаю "интуитивно" обязывающими". ([1929], S.78) Таким образом, формализация для Лесьневского была средством, а не целью самой по себе. Он полагал, что множество технических инноваций в логике способствует стиранию "[...] различия между математическими науками,

[45] Wolenski ([1985], S.133)

воспринимаемыми как дедуктивные теории и служащими как можно более точному научному восприятию разнородной действительности мира, и такими непротиворечивыми дедуктивными теориями, которые в действительности обеспечивают возможность получения на их основе многочисленных все новых и новых утверждений, отмеченных однако одновременно отсутствием каких-либо связывающих их с действительностью интуитивно-научных достоинств". ([1927], S.166) В этом же духе Лесьневский критиковал "архитектонично рафинированные" конструкции Цермело или же фон Неймана, которых считал "чистыми" формалистами. В этой связи он писал: "Внеинтуитивная математика не содержит в себе действенных лекарств против недомогания интуиции". (S.167)

Создатель мереологии, онтологии и орототетики верил, что логическая теория описывает мир и не может это делать произвольным образом; верил, что лучше всего, а именно единственным способом делает это классическая, экстенсиональная и двузначная логика. Поэтому он не проявлял никакого интереса к многозначным логикам, которые являлись для него искусственно сконструированными системами, лишенными всякого интуитивного смысла. Поэтому он не проявлял никакого интереса и к формальной метаматематике, невольным создателем которой был вследствие формулирования ряда идей, которыми руководствовался в своих исследованиях Тарский. Возможно, именно поэтому на него не произвели впечатления эпохальные результаты Геделя, относящиеся к ограничению формальных систем (неполнота, невозможность доказательства непротиворечивости некоторых систем в границах этих же систем), поскольку эти ограничения касались как раз систем внеинтуитивной математики.

Я.Воленский [1985] справедливо считает, что Лесьневский разделял взгляды Брауэра о связи логики с языком математики, но не с ее содержанием; однако отсюда не следует извлекать далеко идущих следствий, поскольку интуиционистский формализм Лесьневского носит прежде всего онтологический характер, тогда как интуиционизм Брауэра - эпистемологический. Именно на этом основании Лесьневский намеревался построить всю систему оснований математики. При этом следует правильно понимать аподиктические утверждения Лесьневского о "моей интуиции" или "интуитивной для меня значимости". Это не означает, что Лесьневский полагал критерии значимости в логике субъективными. Прототетика является определенной версией исчисления высказываний и "логическая значимость" ее утверждений ничем не отличается от "логической значимости" утверждений обычного исчисления высказываний. В свою очередь, онтология является теорией имен, логическая значимость утверждений которой понимается на общих основаниях. "Субъективизм" Лесьневского имеет место единственно в мереологии и касается единственно трактовки понятия множества. Именно в мереологии интуиция Лесьневского начинает играть нетривиальную роль, тогда как онтология и прототетика - это способы реализации этой интуиции.

Появление мереологии, или, как еще называл ее вначале Лесьневский, Общей теории множеств произошло одновременно с возникновением доверия к формальным способам записи утверждений о классах, множествах и т.п. образованьях. Начало отходу от "общеграмматических" и "логико-семантических" средств нотации положила книжка Я.Лукасевича "О принципе противоречия у Аристотеля". [1910] Из нее Лесьневский впервые узнал "о существовании на свете "символической логики" Бертрана Рассела, а также о его "антиномии",

касающейся "класса классов, не являющихся своими элементами"". ([1927], S,169) Однако первое знакомство с символической логикой, как уже упоминалось, наполнило Лесьневского отвращением к ней и, как он считает, не по его вине. Оселком, на котором оттачивалась интуиция Лесьневского в формальном изложении, стали "Принципы математики" Уайтхеда и Рассела. Не будучи согласным ни со стилем этого произведения, ни с предложенным в нем решением антиномии Лесьневский принял вызов, возможно, еще и по причине своего отношения к Г.Фреге, о котором писал: "Наиболее импонирующим воплощением результатов, достигнутых в трудах по обоснованию математики в деле солидности дедуктивного метода, а также ценнейшим источником этих результатов с греческих времен до настоящего времени являются для меня "Основные законы арифметики" Готтлоба Фреге". ([1927], S.160)

Критика Лесьневского начинается следующим замечанием: "По причинам сомнений семантического характера, которые охватили меня при безрезультатных попытках прочтения работ, написанных "логистиками", каждый может дать себе отчет, если внимательно проанализирует комментарии, которыми гг. Уайтхед и Рассел снабдили отдельные типы выражений, входящих в "теорию дедукции", и рассудить при этой возможности, сколько в высказанных комментариях умещается рафинированного обмана, предназначенного для читателя, приученного более или менее серьезно относится к тому, что он читает". ([1927], S.170) Лесьневский задается вопросом о смысле выражения "$\vdash$: p. $\supset$. p $\vee$ q", являющегося одной из аксиом исчисления предложений в "Принципах математики". Это предложение объясняется в комментариях Расселом и Уайтхедом так: если p истинно, то "p или q" истинно. По мнению Лесьневского, этот комментарий не слишком много проясняет и поэтому следует обратиться к комментариям, касающимся выражений типа: $\vdash$: p , p $\supset$ q, p $\vee$ q, поскольку именно этого вида выражения входят частями в анализируемую аксиому. Словесные комментарии Рассела и Уайтхеда могут быть поняты двояко, считает Лесьневский. Согласно одному из них, предложению, подлежащему утверждению, соответствует предложение, размещенное после знака утверждения $\vdash$ и точек, тогда как вторая трактовка предполагает утверждение всего выражения. В связи с этой двузначностью у Лесьневского возникают следующие вопросы: 1) Если некоторое выражение "p" является предложением, то утверждение "p", т.е. выражение "$\vdash$.p" также предложение? 2) Если некоторое осмысленное выражение "p" является предложением, то соответствующее выражение типа "$\vdash$.p" обладает тем же смыслом? 3) Чем собственно являются аксиомы и предложения - суть ли они выражениями типа "$\vdash$.p", или же выражениями, находящимися после знака утверждения?

По мнению Лесьневского можно сформулировать три различные концепции, отвечающие на поставленные вопросы. Концепция А. Эта концепция состоит в признании того, что знак "$\vdash$" утверждает то же, что оборот "утверждается, что", а все выражение "$\vdash$.p" - то же, что оборот "утверждается, что p". Поэтому, если выражение "p" является предложением, то выражение "$\vdash$.p" имеет тот же смысл, что и предложение "утверждается, что p", но иной смысл, нежели предложение "p". Аксиомами и теоремами являются полностью выражения типа "$\vdash$.p". Концепция В. Знак утверждения значит то же, что оборот "тем, что написано, утверждается", а выражение типа "$\vdash$.p" может быть прочитано при помощи этого оборота так: "тем, что написано, утверждается p". Если "p" - предложение, то выражение "$\vdash$.p" не является предложением. Оно состоит из трех частей. Знак утверждения является предложением, состоящим из одного выражения, которому

в естественном языке соответствует предложение "тем, что написано, утверждается"; следующей частью является точка (набор точек), а третьей - предложение "p". Эта целостность, не будучи предложением, не может иметь того же смысла, что предложение "p". В связи с этим аксиомами и теоремами не являются выражения типа "⊢.p", но части этих выражений, следующие после знака утверждения и точек. Концепция С. Смысл выражения "⊢.p" такой же, как и предложения "p", а выражения типа "⊢.p" можно без изменения их смысла прочитать так же, как их части. т.е. выражения типа "p". Поэтому выражения типа "⊢.p", а так же аксиомы и теоремы суть предложения системы. При этом приходится домысливать, что использование знака утверждения является для читателя указанием того, что в системе приняты те и только те предложения, которые содержат знак утверждения.

Все три решения, по мнению Лесьневского, вызывают серьезные опасения. Касательно концепции А, следует заметить, что, если выражения типа "⊢.p" имеют тот же смысл, что оборот "утверждается, что p", то тогда эти предложения являются предложениями о создателях системы; множество таких предложений вообще не является системой логики, но "дедуктивной исповедью создателей теории комментариев". Относительно концепций В и С Лесьневский замечает, что, если знак утверждения должен выполнять профилактическую роль, устраняя сомнения читателя относительно того, утверждается ли некоторое символическое предложение, то Рассел и Уайтхед, поступают непоследовательно, поскольку снабжают знаком утверждения предложения, которых не утверждают в системе, как например тогда, когда знак утверждения предшествует последовательности некоторых предложений, которые не являются теоремами логики.

Далее Лесьневский занимается анализом смысла отрицания. Поводом является следующая дефиниция в "Принципах математики": ".p ⊃ q.=.¬ p∨q." В связи с этой дефиницией предложения типа "q. ⊃.p∨r" можно интерпретировать при помощи предложений типа (1) ¬ q. ∨.p∨ r. Каков здесь смысл отрицания? - спрашивает Лесьневский. Рассел и Уайтхед считают, что символ "¬ p" представляет предложение "не-p" или "p есть ложь". Но, если выражение "p" есть предложение, то предложение типа "p есть ложь" может иметь смысл только тогда, когда "p" субъект предложения "p есть ложь" выступает в материальной суппозиции (упоминается). В конечном счете предложение "p есть ложь" является предложением о предложении "p", значащим то же, что предложение "<p> есть ложь"; субъект этого предложения, т.е. выражение "<p>" есть имя предложения "p" и не выступает, очевидно, в материальной суппозиции. Лесьневский вменяет авторам "Принципов" чрезмерно небрежное пользование кавычками. А это приводит к тому, что читатель вынужден додумывать, что предложение "p есть ложь" и предложение "<p> есть ложь" значат одно и то же. В конечном счете из предложения (1) мы получаем два предложения, которые являются интерпретациями выражения "¬ q. ∨.p∨ r":

(2) не-q. ∨.p∨ r,

(3) "q" есть ложь. ∨.p∨ r.

Аналогичная ситуация возникает при интерпретации выражений типа "p∨q", которые Рассел и Уайтхед отождествляют с предложением "p есть истина или q есть истина". Но к "p есть истина" применимы возражения, аналогичные тем, которые были применимы к "p есть ложь", вследствие которых рассматриваемое

предложение интерпретируется как "<p> есть истина". Применяя к (2) и (3) различные комбинации оценок и трактовок модусов выражений "p" и "q" в интерпретации выражения "p∨q" мы получим, замечает Лесьневский, другие способы прочтения этих предложений, а прочие появляются тогда, когда мы захотим "q есть ложь" заменить предложением "не-q есть истина"; вобщем Лесьневский приводит 17 интерпретаций предложения типа "q. ⊃.p∨ r" и все они могут быть на основе этой металогики считаться равнозначными.

Суммируя критические замечания, Лесьневский писал: "Общаясь более или менее систематически с работой гг. Уайтхеда и Рассела с 1914 г. лично я лишь через четыре года уразумел, что образцы т.н. теории дедукции при не обращении внимания на знаки утверждения становятся понятными и "начинают держаться вместе", если входящие в их состав предложения типа "⌉ p", "p∨q", "p⊃q" и т.д. последовательно интерпретировать при помощи соответствующих предложений типа "не-p", "p или q", "если p, то q" и т.д., дополненных в случае возможных недоразумений кавычками, и ни в коем случае - вопреки комментариям авторов - я не считаю допустимым прочтение указанных примеров при помощи предложений, касающихся предложений же и утверждающих какие-либо отношения, как, например, отношение "импликации" между предложениями". ([1927], S.181)

Эти размышления Лесьневского, написанные в 1927 г. и относящиеся к периоду 1917-1918 гг. привели его к ряду фундаментальных идей. Одной из важнейших было последовательное различение языка и метаязыка: предложение "если p, то q" принадлежит к языку, а предложение "если <p> истинно, то <q> истинно" - к метаязыку. Логическая система должна конструироваться в предметном языке, а комментироваться - в метаязыке; смешение языка с метаязыком приводит к недоразумениям и неясностям. Выяснивши для себя ситуацию с предметным языком и языком комментариев к нему (метаязыком) Лесьневский "ощутил доверие" к символическому языку, к которому ранее относился скептически.

И наконец, последний "урок", который извлек для себя Лесьневский из штудий "Принципов математики". Речь идет о проблеме экстенсиональности. Комментируя труд Рассела и Уайтхеда, Лесьневский указал на трудности, которые возникают в связи с оборотом "утверждается, что". Напомним, что по его мнению прочтение утверждений логики при помощи этого оборота приводит к пониманию логики как "дедуктивной исповеди создателей теории комментариев". Выражение "утверждается, что" является интенсиональным оператором, а его употребление приводит, кроме трудностей с подстановкой, к психологизму. Отвращение к интенсиональным операторам (или функторам, как их называет польская традиция) у Лесьневского так сильно было развито, что интенсиональные контексты он считал вообще лежащими вне сферы логики. Для Лесьневского термин "логика" был просто равнозначен термину "экстенсиональная логика".

Итак, результатами критики Лесьневским "Принципов математики" оказались два важных положения: во-первых, разделение языка и метаязыка и, во-вторых, убеждение в экстенсиональности всей логики.

См. также:

- Ян Лукасевич. В ЗАЩИТУ ЛОГИСТИКИ. http:philosophy.ru\library\lukasiewicz\apologist.html
- Ян Лукасевич. ЛОГИСТИКА И ФИЛОСОФИЯ. http://www.philosophy.ru/library/lukasiewicz/logistyk.html
- Ян Лукасевич. О НАУКЕ. http://www.philosophy.ru/library/lukasiewicz/onauce.html
- Ян Лукасевич. О ТВОРЧЕСТВЕ В НАУКЕ. http://www.philosophy.ru/library/lukasiewicz/tvor_nau.html

4.4 Обоснование и критика реизма Т.Котарбинским

4.4.1 Онтология Котарбинского

Основой метафизических исследований Котарбинскому послужила онтология Лесьневского.[46] Идеи онтологии Лесьневского, усвоенные Котарбинским, излагаются последним в "Элементах теории познания, формальной логики и методологии наук"[47]. В частности, Котарбинский раскрывает мотивы, руководствуясь которыми исчисление имен Лесьневского было названо онтологией. Это название было выбрано Лесьневским сознательно, поскольку одной из целей онтологии была формализация основных законов бытия. Свое обращение к онтологии Лесьневского Котарбинский объясняет так: "Для исчисления имен мы намерены взять за основу систему Лесьневского, известную нам по рукописи и представленную к сведению широкого круга слушателей в виде лекций, ибо, по нашему мнению, это наиболее зрелая, наиболее естественная и наиболее практичная в применениях система исчисления имен среди известных нам систем. При этом она теснейшим образом связана с традиционной аристотелевской формальной логикой, улучшением и расширением которой она является, хотя с другой стороны, она представляет собой конечный пункт попыток построения исчисления имен на территории логистики"[48].

Состоящая из двух категорий теория имен, как правило, предназначена для выражения двукатегориальной онтологии. В случае теории имен с одной категорией, представленной аксиомой онтологии Лесьневского, можно ожидать, что она будет связана с однокатегориальной онтологией. В онтологии Лесьневского как раз и имеет место такая ситуация, продиктованная номинализмом ее автора. Однако Лесьневский ничего не говорит о природе существующих в мире вещей в свете своей онтологии. Одно лишь известно: его предметы — это индивидуальные предметы, единичные. Можно сказать, что Онтология Лесьневского является формальной онтологией в номиналистической версии. Онтология же Котарбинского является чем-то большим, поскольку говорит о том, чем суть индивиды. Согласно Котарбинскому — это вещи. Поэтому свою концепцию онтологии Котарбинский назвал реизмом.

Реизм возник в результате сомнений Котарбинского в существовании свойств.

---

[46] В более широком контексте исследований конца XIX — первой трети XX вв. онтология Котарбинского может быть отнесена к традициям брентанизма, в рамках которых была поставлена задача построения общей теории предметов.
[47] Kotarbinski T. Elementy teorii poznania, logiki formalnej I metodologii nauk. — Lwów, 1929.
[48] Ibid. S.254.

Используя Онтологию Лесьневского трудно было принять, что отношение свойства и предмета, им обладающего, является отношением части к целому. Отношение части и целого в онтологическом смысле предполагает однородность категорий части и целого, тогда как предмет и свойство таковыми не являются, ибо принадлежат к различным категориям.

Первой работой Котарбинского[49] в направлении реизма стала критика существования идеальных предметов. Котарбинский выделяет в различных онтологиях ряд таких предметов как роды, виды, свойства, отношения, вымышленное бытие и проводит анализ, целью которого было показать, что нет основания для признания их существования. Особенно тщательно Котарбинский разбирает аргумент, который, как он признается, заимствовал у Лесьневского[50]. Допустим, что мы определяем общий термин P с учетом десигната имени N таким образом, что P обладает теми и только теми свойствами, которые общи всем десигнатам имени N. Например, если P является человеком вообще, то P обладает теми и только теми свойствами, которые общи всем людям. Допустим, что x является одним из десигнатов имени N. Это индивидуальный предмет и он должен обладать некоторым свойственным только ему качеством, выделяющим его среди прочих десигнатов имени N. Пусть таковым будет свойство *c*. Рассмотрим другой десигнат имени N, например, предмет x_1. Согласно предположению x_1 не обладает свойством *c*, поскольку оно присуще предмету x. Таким образом, предмет x_1 может быть охарактеризован и тем, что он не обладает свойством *c*. Однако отсутствие свойства *c* также является свойством, например, c_1. Возникает вопрос, обладает ли предмет, называемый общим термином P, свойством *c*? Допустим, что обладает. Однако это допущение ведет к противоречию, поскольку согласно определению P обладает только теми свойствами, которые общи всем десигнатам имени N, а свойство c присуще только предмету x. Тогда нужно принять, что P не обладает свойством *c*. Поэтому P может быть охарактеризовано и таким образом, что оно не обладает свойством *c*, т.е. обладает свойством c_1. Основанием для этого вывода служит закон исключенного третьего: для произвольного свойства c и какого-либо предмета P, P обладает свойством *c*, либо P не обладает *c*. Но свойство c_1 также не является общим всем десигнатам имени N, поскольку им не обладает предмет x. Следовательно, принимая, что P обладает свойством c_1, мы также приходим к противоречию. В конечном счете противоречие возникает как в предположении того, что общий термин P обладает свойством *c*, так и в предположении, что этим свойством он не обладает. Поэтому можно сделать вывод, что определение общего термина, принятое вначале, ведет к противоречию. Котарбинский видит, что имеющее место противоречие зависит от принятого определения общего термина, но считает, что прочие известные ему дефиниции не ясны и еще в меньшей степени могут служить основанием для анализа существования идеальных предметов.

Онтологический реизм. Реизм, называемый позже Котарбинским конкретизмом[51], изложен в «Элементах» (1929), а также в многочисленных статьях более позднего происхождения. В начальном периоде реизм развивался одновременно в двух плоскостях – онтологической и семантической, но позже Котарбинский стал различать реизм в смысле онтологическом и смысле

[49] Kotarbinski T. Sprawa istnienia przedmiotow idealnych — PF, r.23 / 1920. S.149-170.
[50] Лесьневский С. Логические рассуждения. С.-Петербург, 1913.
[51] Термином "конкретизм" Котарбинский пользовался после II мировой войны, взаимозаменяя его с «реизмом».

семантическом.

Онтологический реизм сформирован двумя утверждениями:

(Р1) всякий предмет есть вещь;

(Р2) ни один предмет не есть состояние, или отношение, или свойство.

Утверждение (Р1) позитивно и говорит, что если нечто является предметом, то оно является и вещью. Утверждение (Р2) негативно, т.е. в нем отрицается существование состояний, отношений и свойств, т.е. сущностей, представляемых, как правило, общими терминами. Совместно (Р1) и (Р2) утверждают существование вещей и только вещей, однако (Р2) применимо в каждой онтологии, имеющей дело с вещами и еще «чем-то». Кроме того оба утверждения сформулированы в языке онтологии Лесьневского, т.е. при допущении, что связка «есть» имеет т.н. основное значение, определяемое аксиомой онтологии Лесьневского.[52] В онтологии нет определения вещи, но имеются дефиниции предмета и существования, сформулированные следующим образом:

(Д1) для каждого А, А есть предмет =df для некоторого х, А есть х.

(Д2) для каждого А, существует А =df для некоторого х, х есть А.

> (Д1) утверждает, что А есть предмет тогда и только тогда, когда А есть что-либо, а (Д2) – что А существует тогда и только тогда, когда нечто есть А.

Используя парафразу (Р1) можно переформулировать следующим образом:

> (Р1а) для всякого А, если А есть предмет в смысле онтологии Лесьневского, то А есть вещь.

Используя (Д1), получим:

(Р1б) для всякого А, если для некоторого х, А есть х, то А есть вещь.

Таким образом, (Р1б) утверждает, что если А есть что-либо, то А есть вещь. Обратим внимание на оборот «для некоторого х, А есть х». Он значит только то, что можно подобрать такое имя х, что А есть х. Предложение «А есть х» является единичным предложением онтологии Лесьневского и истинно при условии, что А – единичное имя. Отсюда следует, что А есть вещь тогда и только тогда, когда А является индивидуальным предметом.

Согласно (Р1) и (Р2) существуют вещи и только вещи. Дефиниция (Д2) позволяет утверждать, что А есть вещь тогда и только тогда, когда для некоторого х, х есть А. Таким образом, А есть вещь тогда и только тогда, когда какой-то индивидуальный предмет является одним из А. А это имеет место тогда, когда этот индивидуальный предмет х является единственным А, или же когда таких А много, или же А есть комплекс, состоящий из индивидуальных предметов.

Котарбинский считал вещи телами, т.е. бытием, имеющим временные и пространственные характеристики. Возможно это решение было мотивировано идеями Лесьневского и прежде всего мереологическим понятием класса. Ведь

[52] Смысл слова "есть" в Онтологии Лесьневского Котарбинский называл основным. Необходимость выделения смысла слова "есть" в том, что оно употребляется также и в других значениях, например, в таких контекстах, как "есть справедливость", где "есть" имеет значение "существует", или же "Ян III Собеский -[есть]- освободитель Вены". В русском языке употребление слова "есть" в контекстах существования часто заменяется тире. В польском языке последний пример должен иметь следующий вид: Jan III Sobieski jest wybawicielem Wiednia.

индивидуальным предметом Котарбинский считает не только единичный предмет, но также и агрегат, составленный из таких единичных предметов, т.е. класс в мереологическом смысле.

Котарбинский вслед за Лесьневским принимал существование мереологических множеств, а не дистрибутивных. Он считал, что определение вещей как тел согласуется с мереологическим толкованием множества. Однако из онтологии Лесьневского тезис соматизма не следует, поскольку имеются другие теории частей и целого, например, теория Гуссерля.[53] Позже Котарбинский усилил тезис соматизма до т.н. пансоматизма, т.е. вполне выразительно высказался за существование тел и только тел. [54]

Семантический реизм. Реизм в семантической версии – это теория языка. Критерием построения этой версии реизма является различение действительных имен и мнимых. Достаточно напомнить, что Котарбинский определяет имена как выражения, которые можно использовать в качестве именной части сказуемого в смысле онтологии Лесьневского. Он не принимает традиционного разделения имен на собственные имена и прилагательные. Используемая им дефиниция носит синтаксический характер и из нее непосредственно не следует к чему относятся имена. Котарбинский привел также дефиницию, имеющую семантический характер: имена – это такие выражения, которые могут быть подлежащими либо сказуемыми предложений, говорящих о вещах или личностях.

Анализ этого определения предполагает прежде всего анализ используемых терминов. Котарбинский различает т.н. мнимые имена или ономатоиды, которые хотя и являются в грамматическом смысле именами, или лучше сказать – именными выражениями, но соотносятся не с вещами (личности Котарбинский считает вещами особого рода), но с идеальными предметами, например, свойствами, отношениями, событиями. Дело в том, что мнимое имя соотносится с идеальными предметами и это соотнесение также кажущееся, мнимое, поскольку в онтологическом реизме идеальным вещам нет места. Примерами ономатоидов являются выражения «белизна», «свойство», «отношение». Принцип реистической семантики говорит, что предложение с мнимыми именами осмысленно тогда и только тогда, когда оно переводится в предложение, содержащее в качестве именных выражений действительные имена, т.е. имена действительных вещей. Этот принцип служит основанием для создания правил перевода. Например, предложение «белизна присуща снегу» переводится в

[53] В школе Брентано интенсивно развивали теорию предметов. Онтология Лесьневского, о чем уже было сказано выше, является формальной теорией предметов и без сомнения принадлежит к традициям брентанизма. Подобным же образом и реизм относится к теориям предметов. Определенно известно, что ни Лесьневский, ни Котарбинский во время создания своих теорий не были знакомы с поздними взглядами Брентано. Вышло так, что ученики ученика Брентано пришли к конкретизму независимо от своего философского «прародителя». К конкретизму пришли также молодые брентанисты – Оскар Краус и Альфред Кастиль независимо от Лесьневского и Котарбинского. Таким образом, конкретизм оказался неким естественным результатом развития брентанизма. Вместе с тем нужно помнить, что в школе Брентано были созданы и такие теории предметов, которые признавали существование предметов общих (Мейнонг, Твардовский). Так Твардовский обозначил свое негативное отношение к реизму в Дневнике (от 25.IV.1932) следующими словами: «Это главный пункт, в котором не могу себя считать полноценным учеником Брентано». (Twardowski K. Dzienniki. T2. Warszawa-Toruń. 1997.).

[54] Необходимость упрочения позиции соматизма была вызвана тем обстоятельством, что имеются другие теории конкретизма. Так, Лейбниц провозгласил существование только конкрет, назвав их духовными монадами. Его конкретизм был поэтому спиритуалистический. Другим конкретистом был Ф.Брентано, который в последней фазе своего творчества утверждал существование тел и душ; его конкретизм был дуалистическим.

предложение «снег белый», предложение «Яна и Петра связывает отношение старшинства» переходит в предложение «Ян старше Петра». Единичные и индивидуальные имена удается без труда трактовать как действительные имена (имена реальных объектов); это же относится и к именам совокупностей. Но появляется проблема интерпретации общих имен в качестве действительных имен. В этом случае на выручку приходит онтология Лесьневского, поскольку предложение «снег белый» можно интерпретировать как «каждая порция снега является одним из белых предметов», а это последнее – высказывание о вещах. Таким образом, логическое сказуемое, традиционно выражаемое прилагательным, удается трактовать как имя вещи.

Если рассмотреть предложение «белизна – это свойство», то не удается непосредственно преобразовать это предложение в высказывание о конкретном предмете (конкрете), и тем более не удается переформулировать это предложение в высказывание о вещах в смысле Котарбинского. Ономатоиды являются не просто пустыми именами, поскольку эти последние могут выступать в единичных предложениях Онтологии Лесьневского. Ведь пустые имена соотносятся с вещами, правда не существующими, и онтология Лесьневского, как и реизм, допускают использование таких имен как способ речи, тогда как соответствующие мнимым именам вещи вообще не могут существовать в силу онтологии, определяемой логикой, в данном случае – аксиомой онтологии Лесьневского.

Согласно Котарбинскому, предложение Z обладает буквальным смыслом тогда и только тогда, когда оно состоит из логических констант и действительных имен. Предложение Z обладает непрямым или переносным смыслом тогда и только тогда, когда оно не имеет буквального смысла, но его удается преобразовать в предложение, имеющее буквальный смысл. Предложение Z бессмысленно тогда и только тогда, когда его не удается преобразовать в предложение с прямым или буквальным смыслом. Пустые имена – это такие выражения, которые могут входить в предложения, обладающие буквальным смыслом, тогда как мнимые имена – это такие выражения, которые могут входить исключительно в предложения, имеющие непрямой (сокращенно-заменяющий) смысл, или же в предложения, вообще лишенные смысла. Таким образом, множество пустых имен и множество мнимых имен не пересекаются. Очевидно, что пустое имя в представлении Котарбинского и пустое имя в традиционном смысле — это не одно и то же, поскольку, например, имя «множество всех множеств» – это пустое имя в традиционном смысле, но согласно Котарбинскому – это мнимое имя (если термин «множество» понимать в дистрибутивном смысле, т.е. как имя некоторых идеальных предметов). Существует практический критерий, позволяющий отличать пустые имена в смысле Котарбинского от мнимых имен. А именно, каждое пустое имя, например, «сын бездетной матери», «кентавр» являются комбинацией действительных имен или равнозначны такой комбинации, тогда как мнимые имена этому условию не удовлетворяют.

Множество предложений в буквальном смысле можно назвать основным реистическим языком, а само это множество совместно со всеми предложениями в сокращенно-заменяющем виде (допускающим перевод в определенном выше смысле) – расширенным реистическим языком. Семантическое правило Котарбинского предписывает использовать в философии и науке только расширенный реистический язык, что в связи с принципом переводимости

предложений в сокращенной форме означает редуцируемость языка философии и науки к основному реистическому языку.

4.4.2. Обоснование и критика реизма

Реизм Котарбинский обосновывал различными аргументами. По его мнению, реизм является семантически-онтологической теорией, учитывающей предметную и языковую компоненты мира.

Котарбинский считал, что семантическое правило реизма согласуется с языковой практикой, имеющей дело с конкретами, а имена абстрактов в языковой коммуникации играют всего лишь вспомогательную роль, выполняя удобную функцию сокращений, цель которой — использование мнимых имен для облегчения формулирования предложений. И вместе с тем обыденное предложение всегда остается интенционально направленным на конкрету. Более того, в процессе обучения языку мы начинаем со знакомства с конкретными именами и лишь позже знакомимся с именами абстрактов. Таким образом, правила реистической семантики являются психологически естественными, ибо они согласованы с ходом освоения языка.

В пользу реизма Котарбинский приводил и прагматические аргументы. Он неоднократно подчеркивал, что большинство философских споров проходит с использованием мнимых имен, а неразрешимость этих споров вызывает подозрение, что они попросту плохо сформулированы. Котарбинский также считал, что принятие абстрактных сущностей вызвано использованием предложений с мнимыми именами, поскольку a priori предполагается, что каждому имени соответствует предмет, к которому это имя относится, например, если кто-либо говорит, что белизна является свойством, то он склонен считать, что белизна является чем-то. Конечно, белизна не является конкретой и поэтому приходится считать ее неким абстрактом. Домысливание существования абстрактов на основании использования мнимых имен в предложениях Котарбинский называет гипостазированием. Таким образом, правило перевода предложений с мнимыми именами на реистический язык используется для борьбы с гипостазированием. Программа реизма предполагала очищение языка философии от мнимых имен и тем самым запрет на образование гипостаз.

Критика реизма не заставила себя долго ждать и появилась сразу же после выхода в свет «Элементов теории познания, формальной логики и методологии наук» в рецензии К.Айдукевича[55]. Айдукевич выдвинул возражения как против (P1), так и против (P2). Утверждение (P1) он считал тавтологией, поскольку оно может быть прочитано «для всякого x , если x есть предмет, то x есть вещь и некоторое x есть предмет». Поскольку значением переменной x могут быть только имена вещей, то последнее предложение тривиально истинно. Действительно, если бы имя «вещь» должно было бы значить то же, что и имя «предмет», то (P1) удалось бы вывести в онтологии Лесьневского. Однако Котарбинский обратил внимание на то, что если допустить, что вещи являются телами, тогда (P1)

[55] Ajdukiewicz K. Studium krytyczne: Elementy teorii poznania,logiki formalnej i metodologii nauk Tadeusza Kotarbinskiego — PF. — r.33 /z.1 — 2, 1930. S.140-160.

говорит, что каждое бытие является телом, а это не следует из определения предмета.

Более весомыми оказались обвинения относительно (P2). Айдукевич заметил, что (P2) не сформулировано в реистическом языке, поскольку содержит мнимые имена «свойство», «отношение», «состояние». Более того, не видно никакого выхода из создавшегося положения и при помощи перефразирования (P2) на реистический язык. Эта проблема трудна для номиналиста, а не только для реиста, поскольку и тот и другой отрицают существование идеальных или абстрактных сущностей. Номиналист отрицает существование абстрактных и идеальных сущностей, но для того чтобы это отрицать, например, чтобы сказать «общие термины не существуют» номиналист должен сформулировать предложение с именем общего термина и таким образом, хотя и опосредовано, он принимает существование общего термина.

Котарбинский[56] посчитал аргумент Айдукевича действенным. Тезис реизма (P2) он защищал следующим образом. Постулат реизма (P2) не является отрицанием предложения о существовании общих терминов, хотя с синтаксической точки зрения и выглядит таковым. Если бы оба эти предложения представляли собой взаимное отрицание, то тогда считая (P2) осмысленным предложением нужно было бы признать и отрицание (P2) осмысленным предложением. В этом случае оказалось бы, что (P2) истинно и осмысленно, а отрицание (P2) ложно и также осмысленно. Однако согласно концепции реизма предложение с мнимыми именами не ложны и не истинны, а бессмысленны, поскольку для них не удается подобрать термины с исходным смыслом, выполняющими роль сокращений. Таким образом, как (P2), так и его отрицание являются предложениями, лишенными смысла. Поэтому Котарбинский предлагает считать постулат реизма (P2) утверждением о бессмысленности предложения «существуют состояния, отношения и свойства». Но в этой трактовке (P2) приобретает метаязыковый характер, а не предметный и центр тяжести переносится на реизм в семантической формулировке.

Айдукевич подверг сомнению также и обоснованность Котарбинским реизма как естественной интерпретации обыденного языка, причем он не считал реизма недопустимой интерпретацией, но речь в критике Айдукевича шла о том, что реизм всего лишь одна из возможных интерпретаций.

Возражения Айдукевича оказали на эволюцию реизма существенное влияние. Сам Котарбинский этапы почти сорокалетней эволюции реизма представил в статье «Фазы развития конкретизма»[57]. Коротко перечисленные автором этапы можно представить следующим образом. Первый этап выражал сомнения в существовании свойств. Второй этап был обобщением первого и в нем распространялись сомнения на все идеальные предметы. На третьем этапе произошло слияние реизма с онтологией Лесьневского. Четвертый этап реизма был выражен в «Элементах», причем концептуально был подкреплен позицией радикального реализма. Пятая фаза реизма состояла в добавлении тезиса пансоматизма. Следующий этап – реакция на возражения Айдукевича, переводящая реизм из онтологической плоскости в метаязыковую. На седьмом этапе происходит разделение реизма в семантической трактовке от трактовки онтологической и выразительное отдание первенства реизму в семантической

[56] Kotarbinski T. Uwagi na temat reizmu. — RF, t.12/1930-1931, nr.1-10. S.7-12.
[57] Kotarbinski T. Fazy rozwojowe konkretyzmu. — SF, 1961 (Kotarbinski [1958]).

упаковке. Наконец, на восьмом и последнем этапе реизм становится, пожалуй, программой, нежели утверждением теории.

Обвинения, предъявлявшиеся реизму на долгом пути его развития, могут быть кратко охарактеризованы следующим образом.

Реизм обедняет традиционную философскую проблематику. Это происходит потому, что не каждую рассматриваемую проблему удается сформулировать в реистическом языке. С этим положением вещей Котарбинский был согласен, поскольку считал, что проблемы, которые не удается выразить в реистическом языке, являются неясными или плохо поставленными.

Гуманитарные науки не всегда удается интерпретировать в реистическом духе, поскольку именно в этих науках встречается много имен, которые реист вынужден считать мнимыми именами. Примерами могут служить следующие выражения: «литературное произведение», «общественная группа», «право», «обязанность» и т.п. При этом аргументация такова: литературные произведения не являются вещами, социальные группы – агрегатами, составленными из индивидов, право – это нечто большее, чем свод собранных вместе законов, а обязательства существуют, хотя и не являются вещами. Котарбинский [1952] предпринял попытку показать, что гуманитарные науки без гипостазирования возможны и необходимы, что реизм не исключает человеческих обязательств и культурных связей в социальных группах.

Реизм испытывает трудности также и с интерпретацией положений физики. Они возникали из-за трактовки Котарбинским вещей в согласии с корпускулярной моделью действительности, которой создатель реизма отдавал предпочтение по сравнению с волновой моделью. Трудности появляются при реистической интерпретации пространства и времени. Их удается преодолеть путем локализации вещи в пространстве и времени, указав ее здесь и тогда-то. Коротко говоря, реистическая концепция пространства и времени допускает, хотя и с трудом, реистическую парафразу. Много хуже дело обстоит с физикой микромира, когда приходится учитывать корпускулярно-волновой дуализм, в котором поля являются такой же реальностью, как и корпускулы, поскольку поле, как кажется, более естественно трактовать в категориях событий, нежели вещей.

Трудности семантического характера реизм испытывает в связи с интерпретацией понятий и суждений с логической точки зрения, поскольку значения имен и предложений в различных семантических теориях трактуются как абстрактные предметы. Подобно семантике онтологии Лесьневского реизм основан на понятии означивания предмета именем: предложение «а есть В» истинно тогда и только тогда, когда предмет обозначенный «а» обозначен также и «В». Но если для онтологии Лесьневского определенная таким образом семантика вполне удовлетворительна, то запросы реизма превышают требования онтологии. Проблемы появляются уже на уровне синтаксиса в связи с тем, что реизм вынужден трактовать языковые выражения как вещи, в качестве которых выступают записи или звуки. В метаматематике же речь идет о бесконечных классах предложений, тогда как число реализованных (произнесенных или написанных) предложений может быть только конечным. Но помимо материальной оболочки языковое выражение имеет смысл, а реист не может признать смысл свойством выражений, ибо реист отвергает существование свойств. Приписывая некоторому предложению значение реист должен соотнести это значение с пользователем языка, ибо сами по себе выражения как физические объекты

ничего не значат. Понимая это Котарбинский анализировал значение в категориях прагматики, стремясь положить в основание семантики понятие знака и понятие действия выражения. Поскольку предложение всегда выражает некоторое переживание, причем не чье-то, а именно некоторое, то Котарбинский считает это переживание независимым от субъекта. Различение «некоторого» от «чего-то» по отношению к действию высказывания и выражения (экспрессивного) должно было уберечь реизм от психологизма.

Как кажется, в реистической семантике больше проблем, чем решенных вопросов. Однако наибольше трудности реизм испытывал в математике, использующей в качестве своего основания понятие дистрибутивного множества. Правда, реистический язык позволяет высказываться о дистрибутивных множествах, но при условии, что эти высказывания относятся к элементам множества, а не к самому множеству.[58]

Реизм является единственной синтетической теорией, созданной во Львовско-Варшавской школе, претендующей на формирование определенного мировоззрения. Но в виду перечисленных трудностей в конечном счете реизм принял облик семантической, а не научной программы, и тем более не мировоззренческой теории. Тем не менее Котарбинский был уверен в том, что реизм правильно отражает мир, признавая вместе с тем недостаточность обоснования этого взгляда. Именно поэтому обоснование реизма проходило главным образом в прагматической плоскости с указанием возможных преимуществ реизма. В частности, Котарбинский указывал на устранение псевдопроблем, возникающих из-за неточностей их формулировки, напоминал о известных *idola fori* Бэкона, об иллюзиях, имеющих своим источником естественный язык.

Несмотря на трудности и ограничения реизм в Польше обрел сторонников, в частности в среде математиков. С симпатией к реизму относился А.Тарский, хотя в своих исследованиях использовал методы, далекие от номиналистической интерпретации выражений языка.

4.4.3 Реизм и материализм

Реизм является теорией предметов, главной задачей которой было формирование конкретизма как альтернативы понятийному реализму. Предполагаемая альтернатива исключительно строга, поскольку своей целью она считает не только элиминацию типичных предметов общих представлений, выраженных общими терминами, но и элиминацию событий, состоящих из действий. Акцент реизма на предметной стороне познания рано или поздно должен был привести к вопросу о соотношении его с материализмом. Этот вопрос стал актуальным после второй мировой войны, когда представители диалектического материализма критически рассмотрели основные положения реизма.

Вещи Котарбинский всегда определял материалистически: пространственные, временные характеристики, протяженность и сопротивляемость являются

[58] Для построения теории множеств этого недостаточно. В языке реизма можно выразить отношение включения одного множества в другое, а также отношение равномощности множеств и в результате получить только алгебру множеств. Но уже определить понятие конечного множества, а тем более бесконечного множества в реистическом языке не удается.

типичными атрибутами материи. В реизме Котарбинского материя помимо перечисленных атрибутов является чем-то совершенно независимым от актов познания субъекта. Таким образом, вещи материальны и существуют объективно. Однако Котарбинский обращал внимание на то, что в истории философии материализм выступал в различных ипостасях. Он выделял трансцендентальный материализм, пансоматизм, кинетизм, механистический материализм и генетический материализм. Версия трансцендентального материализма основана на понятии материи как субстанции и в качестве основополагающего утверждения принимает следующую формулу: каждая «вещь в себе» (в смысле И.Канта) является материальной по своей природе. Кинетизм считает, что все состоит из движения и, по мнению Котарбинского, ведет к онтологии событий. Механистический материализм покоится на двух утверждениях: позитивном – каждое столкновение является следствием движения, и негативном – ни одно движение не является следствием психических процессов. Согласно генетическому материализму существа, обладающие сознанием, возникли из существ, лишенных сознания. К этого типа материализму в межвоенном периоде Котарбинский относил диалектический материализм, тогда как позже считал диалектику основной составляющей диалектического материализма.

Материализм Котарбинского – это пансоматизм, согласно которому существуют только тела. В версии Котарбинского пансоматизм не является трансцендентальным материализмом, поскольку в этой версии материя – это субстанция и как таковая — она абстракт, а ее имя – «материя» — ономатоид. Не воспринимал Котарбинский и кинетизм, рассматривающий мир как совокупность событий. Он соглашался с позитивным утверждением механистического материализма, но отбрасывал негативное.

В изложении пансоматизма, согласно Котарбинскому, вообще не следует пользоваться такими словами как «материя». В некотором смысле пансоматизм является материализмом без материи и это не парадокс, поскольку для Котарбинского материя – это совокупность тел, которая сама является телом. Таким образом, Котарбинский использовал понятие материи, называемое, в отличие от дистрибутивного, коллективным, или агрегатом. Коротко говоря, материя – это совокупность тел.

Трансцендентальными материалистами Котарбинский считал, например, Аристотеля и Канта, т.е. философов, считавших, что материя бытует как абстракция предметов или же только существует в мысли. Такое представление материи реист должен отбросить, поскольку не видно путей перевода предложения «материя является субстанцией» на реистический язык. Тем не менее реизм может использовать и дистрибутивное понимание материи, ибо оно не обязательно подкрепляется туманной метафизикой субстанции. Например, можно сказать, что каждый предмет есть тело, и затем, «для каждого x , если x есть материальный предмет, то x – одно из тел». Использование приведенного определения позволяет утверждать, что каждый предмет является материальным телом. Реизм же не может принять предложение «существует множество (в дистрибутивном смысле) материальных предметов». Однако следует отметить, что слова «материя». «материальный» излишни в словаре реиста, поскольку, если принимается предложенное выше определение тел, то названные слова не добавляют ничего нового к предложению «каждый предмет есть тело». Коллективная интерпретация может считаться первичной в следующем смысле: на

вопрос, существует ли материя, реист может ответить утвердительно единственно указанием на некий индивидуальный объект, а свой материализм должен будет выражать посредством обращения к совокупности тел. Но оба этих действия как раз и предполагают коллективное понимание материи.

Материалистическое трактовка Котарбинским реизма не оставляет в стороне решение вопроса о телах, наделенных психикой. Существа, наделенные психикой Котарбинский считал разновидностью реагирующих тел. Наиболее согласующейся с реизмом программой был бы бихевиоризм, отрицающий психику. И хотя термин «психика» Котарбинский считал мнимым именем, решение вопроса в духе бихевиоризма он не считал возможным. Реистическая интерпретация фактов психики осуществляется редукцией т.н. психологических высказываний к предложениям о реагирующих телах. Вопросами психики в виде исследования внутреннего опыта Котарбинский занимался много раньше, чем реизмом. Психологическое высказывание имеет структуру «X воспринимает так: p», где X представляет индивидуальные имена воспринимающих субъектов, а переменная p – произвольные предложения, причем смысл слова «воспринимает» достаточно широк и включает усматривание, верование, представление. Схема «X воспринимает так: p» не эквивалентна интенсиональному высказыванию «X воспринимает, что p». Логики во Львовско-Варшавской школе занимали позицию экстенсионализма, считая интенсиональные контексты ущербными. А поэтому они должны быть элиминированы в пользу экстенсиональных контекстов. Котарбинский разделял эту позицию в анализе психологических высказываний. По его мнению схема «X воспринимает так: p» лучше приспособлена для анализа психологических высказываний, чем схема «X воспринимает, что p», поскольку в случае первой схемы истинностной оценке подвергается только часть перед двоеточием («X воспринимает так: «) или, как говорил Котарбинский, предсказательная (огласительная) (zapowiadawcza) часть. Если некто нечто видел, например, светящее солнце, то для истинности психологического высказывания не существенно, действительно ли светило солнце. Каждое психологическое высказывание в некотором смысле двупланово. Огласительная часть указывает на то, что выражает часть после двоеточия, причем часть после двоеточия представляет X-а видящем нечто и делает это так, как будто сам X описывал то, что видит. Допустим, что некто Y высказывается о восприятии X. Тогда Y имитирует то, что воспринимает X и, если Y представляет отчет о собственном восприятии, то мы имеем дело с автоимитацией. Это решение Котарбинский назвал имитационизмом. Как имитация, так и автоимитация – это вид поведения, а имитационизм – это попытка редуцирования познания посредством интроспекции к познанию, оперирующему исключительно внешним опытом. Перевод психологических высказываний, т.е. высказываний о внутреннем опыте в высказывания о соответствующих имитациях и автоимитациях ничто иное, как метод отмеченной выше редукции. Теперь можно вполне отчетливо заметить роль такого формулирования психологического высказывания, при котором оно не является интенсиональным. Если бы это высказывание было интенсиональным, то не было бы возможна имитация, поскольку истинность схемы «X воспринимает, что p» зависит от смысла предложения p, а тем самым от сферы личного опыта X-а. Однако возникает сомнение, действительно ли схема «X воспринимает так p» эффективно ликвидирует интенсиональность, поскольку из рассуждений Котарбинского непосредственно не следует запрета на подстановку вместо предложения p другого, ему эквивалентного.

Котарбинский считал, что имитационизм отличен от бихевиоризма, особенно в радикальной версии. Согласно радикальному бихевиоризму психолог описывает исследуемый предмет в соответствии с тем, что он сам наблюдает и восприятие исследуемой личности его не интересуют, тогда как имитационизм наоборот предполагает, что такое восприятие имеет место. И все же кажется, что имитационизм является некой версией умеренного бихевиоризма.

Имитационизм является типичным примером решения философских проблем посредством их сведения к вопросам языка. Котарбинский решает проблему т.н. фактов психики, показывая, какие психологические высказывания можно редуцировать к предложениям внешнего опыта. Как правило, этот метод встречается с обвинениями в уклонении от решения проблемы. О решении можно было бы говорить тогда, когда Котарбинский весь комплекс вопросов анализировал бы в языке онтологии, а не семантики, поскольку может оказаться, что психологические высказывания переводимы в предложения внешнего опыта (экстраспекции), но факты психики отличаются от физических фактов. Во Львовско-Варшавской школе широко обсуждалось соотношение физических и психических явлений, называемое также психофизической проблемой. Однако Котарбинский был заинтересован только тем, чтобы в реистическом языке представить предложения о фактах, считающиеся сугубо нефизическими.

Среди философов Львовско-Варшавской школы Котарбинский был одним из немногих, кто проявлял интерес к марксизму, что несомненно объяснялось его материалистической позицией. В частности, упомянутый выше реистический материализм должен был быть обобщением диалектического материализма в связи со скачкообразным возникновением мыслящей материи из немыслящей, а также живой из неживой. Сам Котарбинский, пожалуй, был более склонен считать этот переход результатом эволюции. После второй мировой войны соотношение реизма и диалектического материализма стало предметом критики со стороны марксистов. Котарбинскому предъявлялись претензии в половинчатом материализме, механицизме, игнорировании диалектики и совершении методологических ошибок, в частности, в подмене вопросов по сути вопросами семантики. Котарбинский[59] отвечал, что он всегда отрицал негативный постулат механистического материализма, а окружающую действительность трактовал не как сумму закостенелых тел, но как динамическую связность. Вместе с тем он весьма осторожно относился к поверхностному и популярному изложению законов диалектики, в частности не был согласен с каким-либо ограничением принципа логического противоречия в пользу диалектического противоречия. Котарбинский был склонен принять диалектику как общую теорию изменений, но никак не общую теорию предметов, хотя и считал, что между его онтологией и онтологией диалектического материализма принципиальных расхождений нет.

Реизм является чрезвычайно радикальным материализмом, ибо не допускает дуализма: существует материя (как совокупность тел) и только материя. Реизм не допускает никаких самостоятельных форм существования: все что существует – существует исключительно единственным образом – как тело.

В семантической версии реизм предлагает некий универсальный язык философии и в этом он схож с неопозитивизмом, с той его версией, которую принято называть физикализмом. Как язык реизма, так и язык физикализма были задуманы как языки универсальные, на которые следует переводить проблемы теории, при

[59] Kotarbinski T. Humanistyka bez hipostaz. — Mysl filozoficzna. 1(3), 1952.

условии их осмысленной формулировки. Замысел Котарбинского преследует те же цели, что и проект языка Карнапа, который считал возможным интерпретацию физикалистского языка только на вещах

Близость концепций реизма и неопозитивизма имеет место только в физикализме. В отличие от позитивистов Котарбинский не принимал верификационной концепции значения и не ограничивал предмет философии анализом языка науки.[60]

4.4.4 Дискуссия по вопросам истины и познания в связи с реизмом Котарбинского

Одним из центральных вопросов эпистемологии является вопрос о предмете познания. В исторической перспективе этот вопрос породил спор между реализмом и идеализмом. Оба этих направления в теории познания проявляются в многочисленных версиях.

Во Львовско-Варшавской школе обычно придерживались версии эпистемологического реализма. Котарбинский также разделял взгляды этого направления в теории познания, однако широко распространенные версии реализма его не удовлетворяли в своем центральном пункте – в вопросе об ощущениях.

Наиболее простое решение предлагал т.н. наивный реализм, утверждавший, что вещи являются такими, какими мы их воспринимаем. Однако наивный реализм сразу же столкнулся с обвинениями в игнорировании суждений, сопровождаемых чувственными иллюзиями. Было предложено отличать вещи и образы этих вещей в сознании познающего субъекта. Образ вещи является психическим образованием или идеей, а его отличие от самой вещи, введенное Локком, положило начало т.н. критическому реализму. Согласно этой концепции мир познаваем при помощи ощущений, которые так или иначе присутствую в сознании.

Со своей стороны субъективный идеализм считает, что предметом познания является исключительно чувственное восприятие, за которым уже ничего существующего нет (Беркли). В свою очередь, трансцендентальный идеализм Канта был попыткой примирения реализма с идеализмом и полагал, что мы познаем исключительно при помощи чувственного восприятия, но сами вещи, хотя и существуют, непознаваемы. Таким образом, понятие чувственного восприятия или ощущения, которое на первый взгляд является результатом совершенно естественной рефлексии над процессом познания, порождает ряд проблем и становится источником затруднений в эпистемологии и онтологии.

Реализм, принимающий существование данных чувственного восприятия в сознании, очевидным образом противоречит онтологии реизма. Поэтому реизм должен отбросить существование чувственных данных в сознании. Этот взгляд Котарбинский[61] определил как радикальный реализм. Радикальный реализм,

[60] С точки зрения неопозитивизма реизм в онтологической версии является типичной метафизикой и поэтому ненаучен.
[61] Kotarbinski T. Realizm radykalny. — PF, r.33/1930, z.4. S.269-272.

следовательно, направлен как против традиционного реализма, так и против субъективного идеализма, поскольку оба эти взгляда принимают существование чувственных данных восприятия.

Котарбинский предлагает различать три значения выражения «нечто дано непосредственно». Во-первых, непосредственно дано существование предмета P всегда и только тогда, когда есть нечто, что может быть таковым предметом для обычного наблюдателя, т.е. такого, у которого нет сомнений, порожденных самокритикой. Котарбинский замечает, что в этом случае обычному наблюдателю даны не цвета или формы, т.е. типичные данные чувств, но нечто цветное или оформленное. Чтобы это выразить вовсе не нужно пользоваться языком чувственного восприятия, но достаточно говорить о вещах, т.е. использовать реистический язык. Во-вторых, непосредственно дано то и только то, что в действительности наблюдаемо, а не только «по-видимому». И в этом случае, считает Котарбинский, достаточно говорить о вещах. В третьих, непосредственно дано нечто тогда, когда в существовании этого нечто мы убеждаемся без сомнений. И в этом случае нет нужды прибегать к языку чувственного восприятия: при ближайшем рассмотрении значений выражения «дано непосредственно» нет необходимости обращаться к понятию данных чувственного восприятия. Введение и использование этого понятия могло бы стать полезным в анализе механизмов обыденного познания, однако оказывается, что пристальный семантический анализ позволяет избегать категории чувственных данных или ощущений. Таким образом, радикальный реализм Котарбинского предоставляет дополнительные аргументы, хотя и интуитивного свойства, против таинственных данных чувственного восприятия в процессе познания.

Проблема истины во Львовско-Варшавской школе впервые была рассмотрена в широко обсуждавшейся статье К.Твардовского [1900] «О так называемых относительных истинах»[62]. По мнению Твардовского, истина стабильна проспективно и ретроспективно, а тем что изменяется – является человеческое знание о том, что истинно или ложно. Утверждение о вечности истины разделялось большинством философов Львовско-варшавской школы; вопрос же предвечности истины вызвал оживленную дискуссию.

В 1910 г. появилась книжка Лукасевича «О принципе противоречия у Аристотеля»[63]. В ней автор стремился показать, что принцип противоречия вовсе не является очевидным законом логики и требует доказательства. В том же 1910 г. Лукасевич сделал доклад[64] о принципе исключенного среднего, предположив существование связи между принципом исключенного среднего и принципом детерминизма. Эта связь состоит в том, что отрицание принципа детерминизма не согласуется с принципом исключенного среднего.

В 1913 г. дискуссия над проблемой истинности возобновилась. Ее открыла работа Котарбинского[65], посвященная не столько логике, сколько вопросам возможной деятельности. Рассуждения Котарбинского сводились к следующему: жесткий детерминизм и прежде всего предетерминизм, т.е. взгляд, согласно которому

[62] Twardowski K. O tak zwanych prawdach wzglednych./"Ksiega Pamiatkowa Uniwersytetu Lwowskiego ku uczczeniu piecsetnej rocznicy fundacji Jagiellonskiej Uniwersytetu Krakowskiego.-Lwów". 1900.
[63] Lukasiewicz J. O zasadzie sprecznosci u Arystotelesa. Kraków, 1910.
[64] Lukasiewicz J. O zasadzie wylaczonego srodka — PF.-r.13/z.3, 1910. Ss.372-373; (SF. nr.5(270), 1988. Ss.126-127).
[65] Kotarbinski T. Szkice praktyczne. Warszawa, 1913.

существующее состояние мира предвечно, исключает творческую деятельность, поскольку ничего нового не может быть создано. Однако Котарбинский не сомневался, что творческая деятельность имеет место, а поэтому считал, что предетерминизм не является универсально значимым. Для аргументации своей позиции Котарбинский обращается к проблеме предвечности истины. Он дает следующую дефиницию истины, наследуя в определениях Брентано и Твардовского:

(1) Суждение p, в котором утверждается предмет S, истинно тогда и только тогда, когда предмет S существует.

Каждая истина вечна, но является ли она предвечной, т.е. для каждого p, если p истинно в момент t, то истинно ли p в произвольный момент времени t_1, более ранний, чем t? Котарбинский считает, что в одних случаях истины являются предвечными, в других – нет. Предположим, что нечто, например, S может быть создано в результате человеческой деятельности. Следовательно, S не существует до тех пор, пока не будет создано, а поэтому, согласно (1), не является истинным и соответствующее суждение p о предмете S. Но с другой стороны, суждение p не ложно, ибо если бы оно было ложно, то отрицание этого суждения должно было бы быть предвечно истинным, а S, вопреки предположению, не было бы возможно создать. Таким образом, суждение p не предвечно истинно, поскольку существует такой момент t, в котором это суждение не является ни истинным, ни ложным. Поэтому в предположении возможной творческой деятельности имеются суждения, которые не являются ни истинными, ни ложными.

Котарбинский сразу замечает, что существование таких суждений ставит вопрос о значимости закона исключенного среднего. Он ищет решение в разнообразных формах этого закона, предлагая различать следующие:

(2) для произвольного p, либо p, либо не-p истинно;

(3) для произвольного p, p либо истинно, либо ложно;

(4) для произвольного p, если p истинно, то не-p — ложно

Котарбинский замечает, что (2) и (3) предполагают совершенно полное разделение всех суждений (дихотомию) на истинные и ложные, т.е. предполагают наличие равенства «истинный = неложный». Форма (4) независима от этого равенства. Поэтому предполагаемое решение состоит в одновременном принятии (4) и отбрасывании полноты разделения суждений на ложные и истинные. Котарбинский предлагает различать определенные (истинные или ложные) суждения и неопределенные (третьи). Выражения (2) и (3) ограничены в своем применении определенными суждениями, а (4) продолжает оставаться универсальным правилом. Поэтому добавляется следующее утверждение:

(5) для произвольного p, p либо определенно, либо неопределенно.

Таким образом, принятие существующими неких третьих суждений не противоречит принципу исключенного среднего, понимаемому как (4) или (5). Помимо этого вывода Котарбинский устанавливает связи между истинностью суждений и их необходимостью, возможностью и невозможностью, формулируя их следующим образом: если p истинно, то p необходимо; если p ложно, то p невозможно; если p неопределенно, то равным образом возможно как p, так и не-p.

Рассуждения Котарбинского встретились с критикой Лесьневского в "Логических рассуждениях", который стремился показать, что всякая истина предвечна. Он начинает с того, что считает суждение p предвечно истинным тогда и только тогда, когда суждение p, высказанное в произвольный момент времени было истинным в предположении его настоящей истинности. Теперь предположим, что некоторое суждение p не является предвечно истинным. Это значит, что p истинно сейчас, но был такой момент t, в котором p не было истинно. Однако, если p не было истинно в t, то в этот момент было истинно суждение не-p. Суждения p и не-p взаимно противоречивы, из чего следует, что не-p сейчас ложно, поскольку, согласно предположению, p сейчас истинно. Но тогда, учитывая вечность лжи, мы получим, что это невозможно, поскольку, если уж не-p было истинно в t, то не может оно быть ложью в настоящий момент. Мы приходим к противоречию, которого – по мнению Лесьневского – достаточно чтобы показать предвечность истины. Аргументация Лесьневского убедила Котарбинского, который позже уже не защищал существования «третьих» суждений, отличных от суждений истинных или ложных.

В последних работах Котарбинский неукоснительно придерживался позиции абсолютизма в теории истины. Важную роль сыграла приведенная им в «Элементах» дефиниция истины: Ян мыслит истинно всегда и только тогда, если Ян мыслит, что так-то и так обстоят дела и если при этом дела обстоят именно так. Это определение послужило Тарскому исходным пунктом в его известной работе об истине.

Котарбинский сформулировал также возражения, направленные на борьбу с т.н. нигилистической концепцией истинности. Согласно этой теории термин «истинно» служит обыденным стилистическим украшением и не имеет никакого отношения к смыслу высказывания. Так происходит якобы потому, что выражение «предложение p истинно» и «p» имеют одно и то же значение. Тогда получается, что вместо «предложение «Земля круглая» истинно» можно просто сказать, что Земля круглая. Таким образом, термин «истинно» всегда можно опускать, не искажая смысл высказывания. Котарбинский, однако, показал, что так не всегда можно поступать. С этой целью он различает реальные и вербальные значения слова «истинный». Рассмотрим высказывания:

Настоящая мысль Яна истинна

и

Мысль, что Варшава больше Кракова, истинна.

В первом высказывании слово «истинный» выступает в реальном значении и не может быть опущено, тогда как во втором «истинный» выступает в вербальном значении и может быть опущено. Аргументация приверженцев нигилизма была бы убедительной, если бы термин «истинный» всегда употреблялся в вербальном значении, но он функционирует также и в реальном значении, как, например, в классической дефиниции истины.[66]

Несмотря на то, что работы Котарбинского об истине были фрагментарны и

[66] Тарский привел простое обобщение аргументации Котарбинского. Допустим, что X —это множество истинных предложений. Истинными являются предложения множества Cn(X), т.е. множества всех логических следствий множества X. Получаем следующее утверждение: если X является множеством истинных предложений, то Cn(X)- также множество истинных предложений. С позиции нигилистического толкования истинности последнее утверждение вообще не удается сформулировать.

носили элементарный характер, они сыграли важную роль в истории дискуссий по дефиниции истинности.

4.5 Многозначные логики Я. Лукасевича

4.5.1 Возникновение и формализация модальных логик

Многозначные логики представляют собой оригинальное и интересное направление в логике. Их появление часто связывают с широко известной проблемой «будущей случайности».

В девятой главе трактата «Об истолковании» Аристотель ставит следующую проблему: верно ли, что относительно единичного и вместе с тем будущего события всякое утверждение или отрицание истинно или ложно? Верно ли, например, что относительно завтрашнего морского сражения истинно или ложно утверждение «завтра морское сражение произойдет» или отрицание «завтра морское сражение не произойдет?» Содержание знаменитого фаталистического аргумента Аристотеля можно представить следующим образом. Пусть сейчас истинно, что завтра будет морское сражение. Из этого следует, что завтрашнее морское сражение является необходимым, так как не может быть, чтобы завтра не было морского сражения, иначе сегодня не было бы истинно, что морское сражение завтра произойдет. Подобное рассуждение можно сформулировать и для случая, когда сейчас ложно, что морское сражение завтра произойдет. Сейчас истинно или ложно, что завтра будет морское сражение. Значит, или необходимо, что оно произойдет, или необходимо, что оно не произойдет. Получается, что все происходящее происходит по необходимости, случайных событий нет.

Указанная проблема оказалась удивительно продуктивной для развития логики: распространенным является мнение, что именно многочисленные попытки логической реконструкции подхода Аристотеля к решению проблемы будущей случайности привели к появлению многозначных логик.

Следует отметить, что идея многозначных логик имеет давнюю историю. Незыблемость принципа логической бивалентности, или двузначности, согласно которому каждое высказывание является истинным или ложным, подвергалась сомнению уже в средневековье. Некоторые исследователи отмечают[67], что, в частности, еще Петр Аврелий высказывал предположение о возможном ограничении указанного принципа в целях сохранения случайности, подойдя, т.о., к идее третьего значения довольно близко. Многие исследователи (Ф. Бенер, А. Прайор, П. Белтс и др.) утверждают, что четкая идея трехзначной логики просматривается у Оккама, хотя последний и не продолжил исследований в этом направлении.

Тем не менее, развитие многозначных логик как особого направления связывается, прежде всего, с именем Яна Лукасевича. Такие работы Лукасевича, как статьи «В защиту логистики» и «О детерминизме», монография «Аристотелевская силлогистика с точки зрения современной формальной логики» по праву входят в число классических произведений современной философии и логики. «Философию необходимо перестроить, начиная с оснований, вдохнуть в

[67] Например, С. Нормор.

нее научный метод и подкрепить ее новой логикой»[68] - такая задача представляется Лукасевичу важнейшей в контексте его научного кредо.

Проблема, которая более всего интересовала Лукасевича – это проблема детерминизма. При этом, под детерминизмом он понимал «точку зрения, гласящую, что если A является b в момент t, то истинно в любой момент, предшествующий t, что A есть b в момент t.»[69] Детерминистская точка зрения, по мнению Лукасевича, «странна и совсем не очевидна»[70]. Он подробно рассматривает два наиболее сильных аргумента в ее защиту: первый, идущий от Аристотеля, основывается на принципе исключенного третьего, второй – на физическом принципе причинности. Лукасевич показывает, что второй аргумент не исключает индетерминизма, т.е. что «можно быть глубоко убежденным, что ничего не происходит без причины и что каждое событие имеет своей причиной какое-нибудь событие прошлого, но тем не менее, не быть детерминистом.» Желая разрушить фаталистический аргумент Аристотеля, Лукасевич приходит к необходимости отказаться от принципа двузначности, так как полагает, что доводы Аристотеля не столько подрывают принцип исключенного третьего, сколько именно принцип двузначности. Различение принципа двузначности (бивалентности) и принципа исключенного третьего следует отметить как серьезное достижение Лукасевича. А.С. Карпенко, например, отмечает смешение принципа бивалентности с законом исключенного третьего как весьма распространенную ошибку и следующим образом характеризует имеющее место различие: «Различие между указанными принципами является более глубоким, даже фундаментальным, чем это можно выразить на формальном уровне. Принцип бивалентности применим только к высказываниям и потому является только логическим принципом, т.е. принципом теории истинности, в то время как содержание закона исключенного третьего ничуть не исчерпывается формой $p \vee \neg p$, поскольку кроме своего логического статуса имеет еще металогический и онтологический статус»[71]. В уже упомянутой статье «О детерминизме» Лукасевич так характеризует принцип двузначности: «Этот принцип, ввиду того, что он лежит в основе логики, не может быть доказан. Ему можно только доверять, а доверяет ему тот, кому он кажется очевидным. Поэтому мне ничто не препятствует этот принцип не признать и принять, что, кроме истинности и ложности существуют еще другие логические значения, по крайней мере, еще одно, третье логическое значение».[72]

Т.о., неопределенные высказывания, к которым относятся и высказывания о будущих случайных событиях, по мнению Лукасевича, не являются ни истинными, ни ложными, им присуще другое истинностное значение. Этим высказываниям не соответствует ни бытие, ни небытие, но лишь возможность. Т.о., Лукасевич вводит в логику третье истинностное значение, промежуточное между «истиной» и «ложью», которое он интерпретирует как «возможность». Так Лукасевич разрушает фаталистический аргумент Аристотеля. Причем, способ решения частной проблемы в данном случае не менее важен, чем результат. Нельзя не согласиться с Лукасевичем, который утверждал, что введение третьего значения в

[68] Я. Лукасевич О детерминизме. — Философия и логика Львовско-Варшавской школы. – М.: «Российская политическая энциклопедия» (РОССПЭН), 1999.
[69] Там же.
[70] Там же.
[71] А.С. Карпенко Фатализм и случайность будущего: логический анализ. – М.: Наука, 1990.
[72] Я. Лукасевич О детерминизме. // Философия и логика Львовско-Варшавской школы. – М.: «Российская политическая энциклопедия» (РОССПЭН), 1999.

логику изменяет ее до основания, что трехзначная логика отличается от двузначной не менее, чем системы неэвклидовой геометрии от евклидовой геометрии.

Существовала ли и существует до сих пор тенденция связывать индукцию с вероятностным подходом или, как его называли ранее, особенно логики, с правдоподобием? Вначале Лукасевич был сторонником т.н. инверсной теории дедукции, согласно которой индукция является рассуждением, в котором отыскивается логическое основание для единичных предложений опыта. Связь индуктивных и дедуктивных рассуждений он обобщил, следуя Твардовскому, в понятии рассуждения как процесса. Лукасевич различает основание и следствие, которые не соответствуют паре посылка-заключение, и в связи с этим вводит направление рассуждения[73]. Если посылка является основанием, а заключение - следствием, то речь идет о дедуктивном рассуждении, а если посылка есть следствие, а заключение - основание, то речь идет о рассуждении-редукции, или говоря иначе, дедукция является нахождением следствия по данному основанию, а редукция - основания для данного следствия. Дедукция является надежным, безошибочным рассуждением, тогда как редукция - всего лишь правдоподобным. Но в 1909 году Лукасевич, анализируя формулу Лапласа p=n+1/n+2, по которой определяется правдоподобие того, что n+1 событие обладает свойством, которое проявилось в n событиях, формулирует аргумент, ставивший под сомнение осмысленность приписывания индуктивным заключениям меры правдоподобия[74]. Формула Лапласа касается единичного события, тогда как в индуктивном заключении речь идет о правдоподобии генерализации. Можно воспользоваться т.н. обобщенной формулой Лапласа p=n+1/n+m+1, где m - это число событий, охваченных генерализацией, а n - базис индукции (число наблюдаемых событий). Поскольку m много больше n, то p не может быть больше 1/2, а если m стремится к бесконечности, то p - к нулю.[75] Поэтому Лукасевич в работе "Логические основания исчисления правдоподобия"[76] старается выяснить, почему понятие правдоподобия не относится к предложениям (суждениям). Он считает, что меру правдоподобия можно приписывать пропозициональным функциям в виде отношения числа аргументов, для которых она истинна, к конечному числу всех значений переменной. Предложения, т.е. формулы без свободных переменных бывают или истинными, или ложными и понятие правдоподобия к ним не относится вообще.

Таким образом, если истинностную оценку считать именем предложения в косвенном употреблении, то, очевидно, отождествить ее с ситуацией невозможно. Поэтому Лукасевич оставляет индукцию как опосредующий метод, предваряющий дедукцию и обращается непосредственно к ревизии рассуждения как понятию, охватывающему и индукцию, и дедукцию. Эта ревизия состояла в высказывании сомнения относительно универсальности двух важнейших законов: принципа

---

[73] Lukasiewicz J. O tworczosci w nauce. / Ksiega pamiatkowa ku uczczeniu 250 rocznicy zalozenia Uniwersytetu Lwowskiego.- Lwów, 1912. Ss.1-15; O nauce i filozofii — PF. r.18 (1915).-s.190-196; (SF,5(270), 1988, Ss.131-135.).

[74] Lukasiewicz J. O prawdopodobienstwie wnioskow indukcyjnych — PF.- r.12/z.2. [1909] Ss.209-210.

[75] Хотя Лукасевич и не уточняет смысл понятия правдоподобия, которое должно было бы приписываться индуктивным выводам, тем не менее его аргумент весьма близок к мнению К.Поппера [1934], считавшего, что логическое правдоподобие (в смысле Карнапа) универсальных (общих) предложений равно нулю и никакие индуктивные исследования не могут изменить этого положения.

[76] Lukasiewicz J. Die logischen Grundlagen der Wahrscheinlichkeitsrechnung. Kraków, 1913.

исключенного третьего и принципа противоречия. Если второму из этих законов посвящена монография "О принципе противоречия у Аристотеля"[77], то о первом можно найти упоминание в коротком отчете "О принципе исключенного среднего"[78]. Исходная позиция метафизика Лукасевича в ревизии обоих этих законов одна. В отчете он пишет: "[...] два важнейших онтологических принципа, известных как принцип противоречия и принцип исключенного среднего истинными сами по себе не являются, но требуют доказательства; однако поскольку доказать их не удается, особенно в применении к реальным предметам, то их следует считать только допущениями. Поэтому необходимость признания этих принципов не имеет логического источника, но проистекает из определенных практических потребностей"[79].

В ревизии рассуждения как процесса, в частности, процесса приписывания свойств предметам именно последние стали для Лукасевича на какое-то время целью анализа, и здесь можно обнаружить выразительное влияние А.Мейнонга, в семинарах которого в 1909 г. в Граце участвовал Лукасевич. В выводах упомянутого отчета он ставит под сомнение, "подпадают ли под принцип исключенного среднего общие предметы, такие как треугольник вообще, человек вообще и т.д." "Но если речь идет о реальных предметах, — продолжает Лукасевич - принцип исключенного среднего, кажется, остается в тесной связи с постулатом повсеместной детерминации явлений, не только теперешних и прошедших, но и будущих"[80]. Оба упомянутых принципа для Лукасевича являются не чем иным, как способом рассуждения, процессом, правильность которого не может приниматься "на веру" и должна быть подвержена анализу.

Работа Лукасевича состоит из двух частей: исторической и систематической. В первой он различает три аспекта принципа противоречия: онтологический, логический и психологический.

- Онтологический принцип противоречия: ни один предмет не может одновременно обладать и не обладать одним и тем же свойством.
- Логический принцип противоречия: два суждения, в одном из которых предмету приписывается некоторое свойство, а в другом это свойство отрицается, не могут быть одновременно истинными.
- Психологический принцип противоречия: два убеждения, которым соответствуют два противоречивых суждения, не могут существовать в одном сознании.

Затем Лукасевич показывает, что хотя онтологическая и логическая формулировки принципа не равнозначны, но для Аристотеля они тождественны. Лукасевич согласен с этим взглядом Стагирита и в дальнейшем пользуется обоими формулировками взаимозаменяемо. Что же касается психологической формулировки, то ее Лукасевич считает эмпирическим принципом, а поэтому доказательство закона противоречия на основании априорных суждений, к которым относятся также онтологическая и логическая формулировки, невозможно. Критика психологического принципа противоречия как логического закона является первым аргументом Лукасевича, ставившего под сомнение

[77] Lukasiewicz J. O zasadzie sprecznosci u Arystotelesa. Kraków, 1910.
[78] Lukasiewicz J. O zasadzie wylaczonego srodka — PF.-r.13/z.3, [1910] Ss.372-373; (SF. nr.5(270), 1988. Ss.126-127).
[79] Ibid, s.126.
[80] Ibid.

правильность воззрений Аристотеля на этот принцип. Вторым аргументом, вызвавшем сомнение Лукасевича, служит тезис, что можно найти более очевидный и простой принцип, нежели принцип противоречия и таковым польский логик считает принцип тождества. Вместе с тем - и это главный упрек Аристотелю - Стагирит не является последовательным, поскольку, с одной стороны, он считает, что принцип противоречия недоказуем, а с другой - формулирует ряд его доказательств. По мнению Лукасевича все доказательства (главным образом апагогические) не верны с формальной точки зрения. Лукасевич считает, что непоследовательность Аристотеля можно объяснить психологическими мотивами: "Кажется, никто не чувствовал сильнее необходимость доказательства принципа противоречия, чем сам Аристотель; однако он не умел и не мог согласиться с этим чувством убеждения, что принцип противоречия как принцип окончательный не может быть доказан. Тем самым он оказался в неудобном положении: запутался в противоречиях в самом рассмотрении принципа противоречия"[81]. ([1910], S.51-52)

Прочие возражения Лукасевича могут быть сведены к следующим положениям:

а) принцип противоречия как закон логики не является ни достаточным, ни необходимым, ибо можно рассуждать дедуктивно или индуктивно и делать это непротиворечиво;

б) принцип противоречия не удается вывести из дефиниции истины или лжи, как не удается его вывести ни из принципа тождества, ни из принципа двойного отрицания;

в) можно привести формальное доказательство принципа противоречия, используя определение предмета как чего-то, что не обладает противоречивыми свойствами, однако это доказательство будет формальным, а не предметным.

Так как для доказательства принципа противоречия нужно предварительно показать, что ни один предмет не является противоречивым, в чем Лукасевич весьма сомневается, то свою монографию он заканчивает словами: "Поскольку принцип противоречия предметно не удается доказать, несмотря на то, что такое доказательство необходимо, то он не имеет логической ценности. Зато он имеет важную практическо-этическую ценность, будучи единственной защитой против ошибок и лжи.- Поэтому мы должны его принять".

Таким образом, оказывается, что для Лукасевича логическое основание не является единственным и даже важнейшим мотивом в решении принятия тех или иных суждений: свойство истинности суждения переводится в этическую плоскость, как потом окажется, единственно с целью освободиться от формальных ограничений, а тем самым и от самого принципа противоречия. В данном случае этические мотивы сыграли роль метатеории.[82]

И наконец следует ответить на вопрос: какую роль сыграла монография "О принципе противоречия у Аристотеля" в процессе формирования идеи многозначной логики? На первый взгляд влияние этой работы может показаться минимальным, поскольку о ней Лукасевич почти не вспоминает в своем

[81] Lukasiewicz J. O zasadzie sprecznosci u Arystotelesa. Kraków, 1910. Ss.51-52.

[82] Следует отметить, что доминирующее влияние этическо-моральной оценки над логической Лукасевич не формулировал явно, но оно для него было очевидным, как было оно очевидным для Твардовского и всей Львовско-варшавской школы. В этом мотиве выразительно звучит нота нераздельности моральных и гносеологических ценностей, присущая известной сократовской аксиологии.

дальнейшем творчестве[83]. Можно предположить, что Лукасевич занял позицию, подобную той, что и Лесьневский, руководствуясь аналогичными мотивами, а именно, он считал, что работа "О принципе противоречия у Аристотеля" является метафизической, чрезмерно отягощающей логику онтологией. Ведь в "логическом" периоде Лукасевич разделял совершенно иные взгляды на отношение логики и онтологии. Когда он сформулировал систему многозначной логики, то считал, что опыт может и должен решить, какая логика является формальной моделью мира. Еще позже, в период II мировой войны, Лукасевич склонялся ко взгляду, что выбор логики является делом конвенции. Таким образом, очевидного повода возвращаться к своей первой книжке у Лукасевича не было. Еще позже оказалось, что с точки зрения многозначной логики исторически более интересными были взгляды Аристотеля на принцип исключенного третьего, нежели на принцип противоречия. И все же следует признать, что ревизионистские интенции Лукасевича мало зависели от объекта исследования и были направлены на метод рассуждения. Логические законы были единственно поводом для обнаружения границ уверенности логических рассуждений. Комментируя высказывания Аристотеля о будущих случайных событиях (известная проблема морского боя) Лукасевич приходит к выводу, что Стагирит сомневался в универсальности принципа исключенного среднего, тогда как решительным сторонником двузначности были стоики во главе с Хрисиппом. Поэтому Лукасевич называет новую, трехзначную логику не неаристотелевской, а нехрисипповой.

Таким образом, в двадцатые годы принцип двузначности в размышлениях Лукасевича занял место принципа противоречия. Оба этих закона не могут быть доказаны и получают поэтому статус принципов, но в отличие от принципа двузначности принцип исключенного третьего не требует защиты в виде аргументов практического и этического характера, поскольку оказалось, что введение в рассмотрение более двух истинностных оценок позволяет последовательно строить логическую систему. Но наиболее значимое различие этих принципов в работах Лукасевича состояло в том, что принцип противоречия трактовался как обычный логический закон, а принцип двузначности - как закон металогический. Поэтому оказалось, что конструкция нехрисипповой логики зависит не столько от набора аксиом, сколько от решения метатеоретических вопросов, потому что когда Лукасевич писал "Принцип противоречия", он не различал логику и металогику. Сомнению подвергался логический закон (принцип противоречия) и нет ничего удивительного в том, что он получил в результате фрагмент классической логики, а не новую, неаристотелевскую логику.

Значения принципа двузначности было позже выяснено в исследованиях Лукасевича, Лесьневского и Тарского. В обычном исчислении высказываний принцип двузначности сформулировать не удается. Но в более богатых логических системах, например, в прототетике Лесьневского или в исчислении высказываний с переменными функторами принцип двузначности является теоремой. Если в таких системах принято стандартное определение конъюнкции, дизъюнкции и отрицания, то следствием принципа двузначности будут законы противоречия и исключенного среднего. Например, без принятия того, что отрицание истинного предложения ложно, а отрицание ложного предложения истинно, с принципом двузначности согласуется предложение "два взаимно отрицающих друг друга

[83] В этой связи исследователь Львовско-Варшавской школы Я.Воленский (Woleński J. Teorie i analizy logiczne w szkole lwowsko-warszawskiej / (Hempolinski[1987], S.69-130) свидетельствует, что нашел только два упоминания об этой работе после 1910 г.

предложения могут быть одновременно ложными"; это предложение согласуется с принципом двузначности до тех пор, покамест не будет принято, что конъюнкция двух ложных высказываний - ложна.[84]

Возвращаясь к семантике трехзначной логики, т.е. к проблеме детерминизма, отметим, что Лукасевич полагал, будто из принципа двузначности следует принцип детерминизма, но не наоборот, и подобное же соотношение имеет место между принципом трехзначности и принципом индетерминизма, причем под индетерминизмом Лукасевич понимал взгляд, согласно которому в будущем относительно момента t могут возникнуть события, не предрешенные в момент t. Предрешить же значение самой "неаристотелевской логики" Лукасевич не берется, констатируя единственно значение теоретическое, т.е. как удавшуюся ревизию теоретического метода рассуждения. А поскольку семантика такой логики не была прояснена, то и практическое ее значение остается невыясненным, но имеющим для Лукасевича несомненную ценность. Будет ли и какое практическое значение иметь новая система логики — это, по его мнению, выяснится лишь тогда, когда в свете новых логических законов окажутся проведенные подробные исследования логических явлений, особенно имеющих место в дедуктивных науках и когда можно будет сравнить с опытом следствия индетерминистского взгляда на мир, являющегося метафизическим основанием новой логики.

Первая трехзначная логика была создана Лукасевичем в 1920 г. Лукасевич определяет значения логических связок для случаев третьего истинностного значения, в результате чего получаются таблицы такого вида:

p	¬ p
1	0
$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$
0	1

→	1	$\frac{1}{2}$	0
1	1	$\frac{1}{2}$	0
$\frac{1}{2}$	1	1	$\frac{1}{2}$
0	1	1	1

[84] Конечно, и в многозначной логике возникает вопрос об отношении принципа двузначности к принципу противоречия, а равно и к принципу исключенного среднего. Так оказывается, что принцип двузначности может быть подвергнут сомнению по разному, в результате чего появляются различные логические системы. Например, в трехзначном исчислении высказываний Лукасевича не имеют места законы противоречия и исключенного среднего, а интуиционистское исчисление обладает законом противоречия, но в нем не имеет места закон исключенного среднего. Дело в том, что интуиционисты свой протест выражали изначально, т.е. в металогике, а когда пришло время для интуиционистской семантики (Гедель, Гейтинг), то оказалось, что интуиционистская система многозначна. Конечно, можно нехрисиппову логику получить посредством исключения некоторых законов классической логики, но при этом следует указывать, что подобные действия приводят и к нехрисипповой семантике. Лукасевич же в "Принципе противоречия" над вопросами семантики не задумывался и, пока он так поступал, попытки реформирования классической логики оставались безуспешными. И лишь последующие метафизические рассуждения работы "О детерминизме" можно считать семантическими соображениями impliciter.

$\vee$	1	$\frac{1}{2}$	0
1	1	1	1
$\frac{1}{2}$	1	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$
0	1	$\frac{1}{2}$	0

&	1	$\frac{1}{2}$	0
1	1	$\frac{1}{2}$	0
$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	0
0	0	0	0

При этом, формула А – тавтология, если при любом приписывании истинностных значений из множества $\langle 1, \frac{1}{2}, 0 \rangle$ пропозициональным переменным, входящим в формулу А, она принимает значение 1, которое называется выделенным истинностным значением. Множество тавтологий представляет собой трехзначную матричную логику Лукасевича.

В 1922 г. он сформулировал n-значные логики для $n \rangle 3$, где 0 интерпретируется как ложь, 1 – как истина, а все другие числа в интервале от 0 до 1 как степени вероятности, соответствующие различным возможностям. Указанные n – значные логики также строятся матричным методом.

4.5.2 Модальные логики

Уже первые изложения трехзначной логики в 1920 г. содержали явную связь модальности и многозначности. Лукасевич считал, что в двузначной логике не удастся согласовать интуитивные трактовки модальных функторов. Эта мысль является следствием объяснения формализации модальностей не как операторов, а как функторов, уравненных концептуально в правах с логическими знаками. Это свое убеждение Лукасевич последовательно выражал на протяжении всего своего научного творчества.

Первое систематическое изложение модальной логики дано Лукасевичем в работе с названием "Философские замечания о многозначных системах исчисления предложений."[1930] Правда, здесь не представлена система модальной логики как таковая, но только показаны требования, которым должна, по мнению Лукасевича, удовлетворять такая система. Модальными предложениями Лукасевич называет следующие четыре выражения:

(1) возможно, что p - символически : Mp;

(2) невозможно, что p - символически : NMp;

(3) возможно, что не-p - символически : MNp;

(4) невозможно, что не-p - символически : NMNp.

Традиционные утверждения о модальностях по мнению Лукасевича можно разделить на три группы. К первой группе относятся предложения следующего

вида: (a) Ab oportere ad esse valet consequentia (Если что-либо необходимо, то оно существует); (b) Ab esse ad posse valet consequentia (Если что-либо существует, то оно возможно); (c) Ab non posse ad non esse valet consequentia (Если что-либо невозможно, то оно не существует). Общим представителем этой группы является предложение

(I): Если невозможно, что p, то не-p.

Вторую группу составляет утверждение Лейбница из "Теодицеи": (d) Unumquodque, quando est, oportet esse (Чтобы то ни было, когда оно существует - оно необходимо). Лукасевич замечает, что последнее высказывание в действительности происходит от Аристотеля и разбирает возможные интерпретации Стагирита. В результате анализа оказывается, что слово "quando" в предложении (d), как и соответствующее ему "hotan" у Аристотеля, являются частицами, выражающими не условие, но время. Однако временная форма переходит в условную форму, поскольку в связанных временными рамками предложениях определение времени оказывается включенным в содержание предложений.[85]

Предложение (d) имеет следующую эквивалентную формулировку

(II): Если предполагается, что не-p, то невозможно, что p.

Третью группу представляет аристотелевский принцип обоюдной возможности

(III): Для некоторого p, возможно, что p, и возможно, что не-p.

Мы опустим здесь технические подробности решения Лукасевичем проблемы модальностей,но он видит в использовании трехзначной логики, а точнее - в нахождении в L_3 такого определения возможности, которое бы выполняло условия, очерченные в (I)-(III). Удовлетворительная дефиниция должна быть прочитана следующим образом: "возможно, что p значит то, что "или предложение p и не-p равнозначны, или не существует такой пары противоречивых предложений, которые бы следовали из предложения p". В более общем значении аналогичное в этом контексте понятие возможности предложил в 1921 г. Тарский: Mp=CNpp. Дефиниенс этого определения ложен тогда и только тогда, когда p=1/2. Из этого определения и таблиц для C и N получаем равенства: M0=0, M1/2=1, M1=1. Согласно этим равенствам, если предложение p ложно, то ложно также и предложение Mp, но Mp истинно, когда p истинно или p принимает третье значение. Этот результат Лукасевич посчитал наиболее согласованным с интуицией. Определение необходимости имеет вид Lp=NCpNp в соответствии с общепринятой схемой Lp=NMNp. Заканчивая свое первое систематическое изложение модальной логики в духе логики многозначной Лукасевич полностью принимает изложенные выше определения возможности и необходимости: " Решительно не высказываясь об интуитивном смысле приведенной выше дефиниции, мы должны однако признать, что эта дефиниция удовлетворяет всем условиям, определенным в утверждениях (I)-(III), и в частности, как это доказал

[85] Это замечание примечательно тем, что показывает как процесс, в данном случае существования, находит свое выражение в результате посредством модальности. Таким образом трактовка модальности как функтора сугубо экстралингвистическая, в отличие от логического функтора, обладающего четко выраженной интралингвистической, или, как принято говорить, синсематической интерпретацией. Поэтому семиотическое воплощение модальности в виде оператора, как кажется, более адекватно ее смыслу, чем интерпретация в виде функтора, принятая Лукасевичем и распространенная в школе.

г.Тарский, что это единственная возможная в трехзначной системе дефиниция, выполняющая эти условия"[86].

Поскольку позже Лукасевич вернулся к проблематике модальной логики, то естественно считать, что первое ее изложение не удовлетворяло его. Новое изложение[87] [1953] модальной логики Лукасевич начинает с изложения условий, которым по его мнению должна удовлетворять такая логика:

(1) утверждается импликация CpMp;

(2) отбрасывается импликация CMpp;

(3) отбрасывается предложение Mp;

(4) утверждается импликация CLpp;

(5) отбрасывается импликация CpLp;

(6) отбрасывается предложение NLp;

(7) утверждается эквивалентность EMpNLNp;

(8) утверждается эквивалентность ELpNMNp.

Понятия "утверждения" и "отбрасывания" принадлежат системе и обозначаются соответственно "|—" и "—|". Первое условие соответствует принципу Ab esse ad posse valet consequentia. Второе условие соответствует высказыванию A posse ad esse non valet consequentia. В третьем условии говорится, что не все выражения, начинающиеся с M утверждаются, поскольку в противном случае Mp было бы равносильно функции "verum от p", которая не является модальной функцией. Четвертое условие соответствует принципу Ab oportere ad esse valet consequentia. Пятое условие соответствует высказыванию Ab esse ad oportere non valet consequentia. В шестом условии говорится, что не все выражения, начинающиеся с NL являются утверждениями, поскольку в противном случае Lp было бы равносильно функции "falsum от p", которая не является функцией модальности. Последние два условия представляют очевидные связи между возможностью и необходимостью.

Лукасевич предлагает для "основной модальной логики" следующую совокупность формул в качестве аксиом: (A1) |— CpMp, (A2) —|CMpp, (A3) —|Mp, (A4) |— EMpMNNp с правилами замены по определению (Lx=NMNx), подстановки в утвержденное выражение, подстановки в отбрасываемое выражение (если a отбрасывается и a есть подстановка b, то b должно быть отброшено), отделения для утвержденных выражений и отделения для отбрасываемых выражений (если Cxy утверждено, а y - отброшено, то x также отброшено). С использованием знака необходимости (A1)-(A4) преобразуются в: (A5) |— CLpp, (A6) —|CpLp, (A7) —| NLp, (A8) |— ELpLNNp. Особенно важными по мнению Лукасевича являются аксиомы (A4) и (A8). Поскольку они весьма похожи, то возникает мысль, что они имеют в своем основании некий общий принцип, из которого их можно вывести. А это значит, что "основная модальная логика" не полна. Это допущение подтверждается тем фактом, что формулы MKpqMp, CMKpqMq (если возможна конъюнкция, то возможен каждый из ее членов), а также CLKpqLp, CLKpqLq (если необходима конъюнкция, то необходим каждый из ее членов) независимы от "основной модальной логики". Не выводимы из (A1)-(A4) (либо же из (A5)-(A8))

[86] Lukasiewicz J. Uwagi o aksjomacie Nicoda i o "dedukcji uogolniajacej" / Ks.PTF. Ss.366-382. 1932.
[87] Lukasiewicz J.] A system of modal logic — "Journal of Computing Systems".- I, no.3, 1953. Pp.111-149.

следующие законы, известные уже Аристотелю: (a) CCpqCMpMq, (b) CCpqCLpLq, (c) CLCpqCMpMq, (d) CLCpqCLpLq. Можно показать, что из (a) следует (c), а из (b) - (d). Поэтому следовало расширить "основную модальную логику", присоединяя к ее аксиомам формулы (a)-(d). Формулы (a) и (c) можно считать частными случаями закона экстенсиональности CEpqCfpfq ("f" означает переменный функтор). Присоединяя (a) к (A1)-(A3) можно доказать (A4); аналогично присоединяя (c) к (A5)-(A7) можно доказать (A8). Однако обе конструкции Лукасевич считает недостаточно общими. Окончательная формулировка модальной системы основывается на упоминавшемся выше результате ученика Лукасевича - Мередита, утверждавшего, что L_2 и закон экстенсиональности следуют из формулы CfpCfNpfq. Окончательно аксиоматика модальной логики у Лукасевича принимает следующий вид: |—CfpCfNpfq, |—CpMq, —|CMpp, —|Mp. L-система содержит исчисление высказываний L_2, но не является двузначной. Лукасевич показал, что адекватной матрицей для L-системы является следующая четырехзначная матрица (1 является выделенным значением):

CC	11	22	33	44	TN	MM
11	11	32	33	44	44	11
22	11	11	33	33	33	22
33	11	12	11	22	22	33
44	11	11	11	11	11	33

Из того факта, что существуют две опосредующие истину и ложь оценки (2 и 3) не следует делать вывод, что в системе модальной логики Лукасевича существуют два понятия возможности. Тем не менее в L-системе имеют место т.н. возможности-близнецы M и M_1. Они неразличимы, когда выступают отдельно, но разнятся, когда входят в одну формулу, например, формулы MMp и M_1M_1p эквивалентны, а формулы M_1Mp и MM_1p неэквивалентны. Этот факт в системе модальной логики Лукасевича не имеет интуитивной интерпретации. Четырехзначная матрица вообще изменила взгляд Лукасевича на значение многозначных логик: если раньше он считал, что выбор следует делать между трехзначной логикой или бесконечнозначной, то теперь он признал четырехзначную систему адекватной для выражения понятия возможности.

Некоторые неясные вопросы Лукасевич пытается выяснить путем сравнения с другими модальными системами, в частности, с системой фон Вригта, а не более известными системами Льюиса, поскольку они основываются на т.н. "строгой импликации", которая более сильна, нежели "материальная импликация", используемая Лукасевич[ем]. Он подвергает сомнению т.н. правило необходимости: если x является формулой системы, то L_x - также формула. Лукасевич считает, что предложение является непосредственно ложным или истинным и не видит причины, по которой тавтология должна быть "более истинной", чем "обычное" истинное предложение, а контрадикторное предложение "более ложно", чем "обычная" ложь. В этой позиции чувствуется влияние Твардовского,

подкрепленное взглядами Лесьневского. Лукасевич спрашивает: "Почему мы должны вводить необходимость и невозможность в логику, если не существуют истинные аподиктические предложения? На этот упрек я отвечаю, что прежде всего мы интересуемся проблематическими предложениями вида Mx и MNx, которые могут быть истинны и используемы, хотя их аргументы и отбрасываются, а вводя проблематические предложения мы не можем обойти их отрицания, т.е. аподиктических предложений ибо предложения, обоих видов неразрывно между собой связаны".(S.295) Важной для понимания Лукасевичем понятия возможности является формула CKMpMqMKpq, не имеющая места в системе Льюиса. Лукасевич рассматривает следующий пример:

Пусть n будет целым положительным числом. Я утверждаю, что следующая импликация истинна для всех значений n: Если возможно, что n четно, и возможно, что n нечетно, то возможно, что n четно и n нечетно". Если n=4, то истинно, что n может быть четно, но не может быть истинной, что n может не быть четным; если n есть 5, то истинно, что n может быть нечетным, но не является истинной то, что n может быть четным. Обе посылки никогда не являются одновременно истинными и пример не может быть опровергнут.

Эти рассуждения показывают, что Лукасевич понимал возможность экстенсионально, тогда как в системах Льюиса функторы L и M интенсиональны.

Так решение Аристотелевой проблемы в контексте борьбы с фатализмом привело Я. Лукасевича к созданию нового, оригинального направления в логике, которое впоследствии получило бурное развитие[88].

4.6 Теория истинности А.Тарского

Тарский поставил цель определить предикат "истинный", используя в определениях только ясно приемлемые термины и избегая других недоопределенных семантических терминов.

Рассмотрим аргументацию Тарского[89]. Его задача — построить "*удовлетворительное определение* истины, т.е. такое, которое было бы *материально адекватным* и *формально корректным*"[90]. При этом, по его мнению, понятие истины всегда следует связывать с конкретным языком, поскольку о предложениях мы говорим только как о предложениях конкретного языка (в отличие от понятия "пропозиции"). Предложение, истинное в одном языке, будучи переведено на другой язык, может оказаться ложным или даже бессмысленным в этом языке. Предикат "истинно", считает Тарский, выражает свойство (или

---

[88] ***См., в частности: А.С.Карпенко. Многозначные логики — Логика и компьютер. Вып.4. М: Наука, 1997; А.С.Карпенко. Логика Лукасевича и простые числа. М., ИФРАН, 2001; С.А.Павлов. Трехзначная логика Лукасевича и логика ложности FL4. Logical Jorney Online Studies. 1998, 1 (http://www.logic.ru/Russian/LogStud/01/No1-13.html)***

[89] См.: The Concept of Truth in Formalized Languages, in Logic, Semantics, Metamathematics. Clarendon Press. Oxford, 1956; Tarski A. The Semantic Conception of Truth and the Foundations of Semantics. — Philosophy and Phenomenology Research, v.4 (1944), pp. 341-375. Перепечатано, например, в: Martinich A. (ed.) The Philosophy of Language. Oxford University Press, 1996. Pp. 61-84 (далее цит. по этому изданию). Рус. пер. этих работ см. в кн.: Философия и логика Львовско-Варшавской школы. М., 1999; Аналитическая философия: становление и развитие (антология) (ред. А.Ф.Грязнов). М., 1998.

[90] Tarski A. The Semantic Conception of Truth… P.61.

обозначает класс) определенных выражений, а именно декларативных предложений (а не пропозиций). Однако все дававшиеся раньше формулировки, направленные на то, чтобы объяснить значение этого слова, указывали не только на сами предложения, но также и на объекты, "о которых" эти предложения, или, возможно, на положения дел, описываемые ими. Более того, получается, что самый простой способ достичь точного определения истины — тот, который использует другие семантические понятия. Поэтому Тарский и причисляет понятие истины к семантическим понятиям, а проблема определения истины, по его мнению, демонстрирует свою близкую связь с более общей проблемой установления оснований теоретической семантики.

Тарский предлагает называть свою концепцию истины семантической, поскольку она имеет дело с определенными отношениями между выражениями языка и объектами или положениями дел, на которые эти выражения указывают. Таким образом, он разделяет репрезентационную картину языка. Среди множества концепций истинности Тарский выбирает для себя ту, на которой, как он считает, лучше всего основать собственное исследование этой темы. Он обращается к позиции, которую называет *классической аристотелевой*: "Сказать о том, что есть, что его нет, или о том, чего нет, что оно есть, ложно, тогда как сказать о том, что есть, что оно есть, или о том, чего нет, что его нет, истинно". Адаптируя аристотелево определение к современной ему философской терминологии, Тарский перефразирует его следующим образом: "Истина предложения состоит в его согласии (или соответствии) с реальностью"[91]. Теории истины, прямо основывающиеся на этом тезисе (корреспондентные теории истины), Тарский, однако, не считает достаточно ясными и точными; они, по его мнению, могут приводить к различным неправильным толкованиям. Очевидно, что он не считает корреспондентную теорию истины неправильной — наоборот, он признает ее исходной для своей концепции, по-видимому, в том смысле, что в корреспонденции, как он считает, и заключено единственное содержание понятия "истина".

При каких условиях предложение "снег бел" истинно или ложно? Кажется очевидным, что, если мы будем исходить из классической корреспондентной концепции истины, то мы скажем, что предложение истинно, если снег бел, и что оно ложно, если снег не бел. Таким образом, полагает Тарский, определение истины, соответствующее корреспондентной ее трактовке, должно имплицировать эквивалентность следующего вида: "Предложение "снег бел" истинно тогда и только тогда, когда снег бел". Обобщение процедуры определения истины на основании существующих критериев (например, корреспондентных) таково. Возьмем любое предложение и обозначим его буквой "*p*". Образуя имя этого предложения, мы заменяем его буквой "*X*" — это еще одно кавычечное выражение в обобщающем определении. Согласно корреспондентной концепции истины, избранной Тарским в качестве исходной, логическое отношение между двумя предложениями — "*X* истинно" и "*p*" — есть отношение эквивалентности следующего вида:

(T) *X* истинно ттт *p*.

Это позволяет Тарскому

[91] Ibid. P.62.

придать точную форму условиям, при которых мы будем считать употребление и определение термина "истинный" адекватным с материальной точки зрения: мы хотим употреблять термин "истинный" таким образом, чтобы можно было утверждать все эквивалентности формы (T), и *мы назовем определение истины "адекватным", если все такие эквивалентности следуют из него*[92].

Для Тарского метаязык является расширением объектного языка (например, *X* истинно только и если только *p*, где "*X*" — термин, обозначающий любое предложение объектного языка, и "*p*" является предложением объектного языка). Для определения предиката "истинный" нужно также определить вспомогательные понятия "выполняет" (satisfies) и "обозначает". Проще всего использовать само упомянутое выражение объектного языка (например "*O*" обозначает, что *O*, и [*u*, *v*] выполняет "*x* больше, чем *y*" только и если только *u* больше, чем *v*).

Определение истины можно получить из определения другого семантического понятия — *выполнимости* (satisfaction): отношения между произвольными объектами и определенными выражениями, называемыми "функциями высказываний"[93] (или "пропозициональными функциями"). Это такие выражения как "*x* бел", "*x* больше чем *y*" и др. Их формальная структура аналогична формальной структуре предложений, но они могут содержать свободные переменные, которых не может быть в предложениях. Иными словами, в случае тех примитивных выражений — предикатов и т.п., — к которым понятие истины не применимо, Тарский использует техническое понятие выполнения, которое относится к предикатам и другим примитивным выражениям так, как истина относится к целым предложениям. Примитивные выражения поняты как выполнимые или не выполнимые некоторыми последовательностями предметов (так же, как предложения истинны или ложны в зависимости от наличия или отсутствия некоторых условий). В теории Тарского условия истинности оказываются определимы в терминах выполнимости.

Определяя понятие функции предложений в формализованных языках, мы обычно применяем рекурсивную процедуру, т.е. мы сначала описываем функции предложений самой простой структуры, а затем перечисляем операции, посредством которых из более простых могут быть сконструированы составные функции: такие операции могут заключаться, например, в конъюнкции или дизъюнкции данных простых функций. Теперь можно определить (изъявительное) предложение просто как такую сентенциальную функцию, которая не содержит свободных переменных.

Введение сентенциальных функций и определение предложений через эти функции, а не прямо рекурсивной процедурой, понадобилось здесь потому, что метод введения правил построения более сложных языковых конструкций из более простых, представляемый рекурсивной процедурой, применим только к таким функциям, а не к самим предложениям. В самом деле, если мы начнем формулировать правила вывода для самих предложений и будем устанавливать, как из предложений "снег бел" и "трава зелена" получить "снег бел и трава зелена", то нам понадобится практически столько же правил, сколько есть в языке пар, троек и т.д. простых предложений, которые мы хотим объединить в сложные,

[92] Ibid. P.63.
[93] Ibid. P.69.

не говоря уже о том, что самих предложений, в отличие от функций предложений, может оказаться в языке бесконечно много.

Чтобы определить выполнение, следует также применить рекурсивную процедуру. Мы отмечаем, какие объекты выполняют простейшие функции предложений; затем мы утверждаем условия, при соблюдении которых данные объекты выполняют составные функции – полагая, что мы знаем, какие объекты выполняют простейшие функции, из которых сконструирована составная. Так, например, мы говорим, что данные числа выполняют логическую дизъюнкцию "*x* больше чем *y* или *x* равен *y*", если они выполняют по крайней мере одну из функций "*x* больше *y*" или "*x* равно *y*". Для предложений возможно только два случая: предложение либо выполняется всеми объектами, либо ни одним объектом. Поэтому мы можем сформулировать определение истины и лжи, просто сказав, что предложение истинно, если оно выполняется всеми объектами, а иначе ложно.

Но понятие "объект выполняет предложение" все еще остается непроясненным. Когда речь идет о функции, то это значит, что имя объекта может быть подставлено в эту функцию вместо соответствующей переменной. Но это привлекает в определение другие непроясненные понятия. Допустим, что выполнять значит отвечать условиям подстановки имени вместо переменной, но каковы эти условия? Почему "снег" может быть подставлен в функцию "*x* бел", а "трава" нет? В этом случае можно сказать, что "трава" не отвечает синтаксическим установлениям, принятым для данной функции (слово мужского рода в соответствии с формой предиката), но этого явно не достаточно (скажем, в языках, где нет категории рода, это не имеет значения). Все это приводит к выводу о том, что в формулировке условия подстановки имени объекта в функцию — которое и есть условие того, что объект выполняет функцию — уже должно быть использовано понятие истины (подстановка без потери истинности) или соответствия (т.е. уже должна имплицироваться эквивалентность типа (Т)).

Можно предположить, что благодаря тому факту, что предложение "снег бел" считается семантически истинным только в том случае, если снег *фактически* бел, логика оказывается вовлеченной в самый некритический реализм. Иными словами, подобным образом семантическую концепцию истины можно обвинить в простой формализации классической корреспондентной концепции истины. На самом деле, по мнению Тарского, семантическое определение истины не подразумевает ничего касающегося условий, при которых могут утверждаться предложения типа "снег бел". Она подразумевает только, что, если мы утверждаем или отрицаем это предложение, мы должны быть готовы утверждать или отрицать коррелирующее предложение "Предложение "снег бел" истинно". Таким образом, мы можем принять семантическую концепцию истины, не отходя от своей эпистемологической позиции; мы можем оставаться наивными реалистами, критическими реалистами или идеалистами, эмпириками или метафизиками — тем же, кем были прежде: семантическая концепция нейтральна по отношению к этим различиям[94].

Таковы наиболее важные для нас здесь аргументы теории истины Тарского.

Огромно воздействие Тарского (как и других представителей Львовско-Варшавской школы) на АФ — например, на Карнапа, по его собственому

[94] Ibid. Pp. 74-75.

признанию. В частности, Тарский доказал, с точки зрения Карнапа, что семантические понятия могут быть исследованы средствами современной математической логики не с меньшей точностью, чем понятия синтаксические. Именно работы Тарского убедили Карнапа в том, что формальный метод синтаксиса должен быть дополнен семантическими понятиями и анализ языка помимо синтаксиса должен включать в себя также и семантику.

Семантику Тарского принял за основу своей "стандартной семантики" Дональд Дэвидсон, сыгравший решающую роль в разработке концепции значения как условий истинности.

Вместе с тем эти аргументы подвергли пересмотру многие авторы, среди которых С.Хаак, Дж.О"Коннор, Дж.Макдауэлл, Х.Патнэм, Р.Керкэм и другие, но наиболее радикальную критику дали Хартри Филд[95] и Яакко Хинтикка[96]. Суть претензий заключается в следующем.

В 1930-е годы (т.е. к моменту начала формирования концепции "значение как употребление") среди сциентистски ориентированных философов было распространено (преимущественно под влиянием Венского кружка) мнение, что семантические понятия — такие, как истина и обозначение — должны быть устранены из научного описания мира. Это положение изменилось с появлением работ Тарского по проблеме истины, вернувших истине ее ценность, ее важную роль в науке. К.Поппер охарактеризовал ситуацию так: "В результате учения Тарского я больше не колеблюсь говорить об "истинности" или "ложности""[97]. Считалось, что Тарский определил предикат "истинный", используя в определениях только ясно приемлемые термины и избегая других недоопределенных семантических терминов. Однако, по мнению Филда, нельзя сказать, что теория Тарского делает термин "истинный" приемлемым даже для того, кто первоначально не доверял семантическим терминам. Противоположный аргумент Филда состоит в том, что Тарский успешно редуцирует понятие истины к *другим (известным) семантическим понятиям*, но не объясняет эти другие понятия; поэтому результаты Тарского делают понятие истины приемлемым только для того, кто уже расценивает другие семантические понятия как приемлемые. Это не означает, что его результаты являются тривиальными: напротив, по мнению Филда, они чрезвычайно важны и имеют применения не только в математике, но также и в лингвистике, и приложимы к философским проблемам реализма и объективности. Однако реальная ценность открытий Тарского для лингвистики и философии часто толкуется неправильно, и Филд надеется уничтожить основные недоразумения, разъясняя и защищая утверждение, что Тарский *не* определяет истину в не-семантических терминах. Для этого Филд строит такое технически корректное определение истины в духе Тарского для языка *L*, которое показывает, что истина определена в терминах первичного обозначения (primitive denotation) и что истина предложений *L* зависит от того, что обозначают входящие в них имена и переменные. Выхода из

[95] Field H. Tarski"s Theory of Truth. — The Journal of Philosophy, LXIX: 13 (1972), pp. 347-375. Перепечатано в: Meaning and Truth: Essential Readings in Modern Semantics (ed. by J.L.Garfield and M.Kiteley). N.Y.: Paragon, 1991. Pp. 271-296.

[96] Hintikka J. The Principles of Mathematics Revisited. Cambridge: Cambridge University Press, 1998. См. также: Хинтикка Я. Проблема истины в современной философии. — Вопросы философии, 1996, №9. С. 46-58.

[97] Popper K. Logic of Scientific Discovery. N.Y., 1968. P. 274.

семантического круга не происходит, поскольку обозначение — такое же семантическое понятие, как и истина.

Аргумент Филда от композициональности довольно развернут и технически изощрен; он может быть выражен, например, с использованием введенного им понятия *кореферентности*. Два сингулярных термина кореферентны, если они обозначают одну и ту же вещь; два предикативных выражения кореферентны, если они имеют один и тот же экстенсионал, т.е. применимы к одной и той же вещи; два функциональных выражения — если они выполняются одной и той же парой. Пусть L — квантифицированный (интерпретированный) язык, состоящий из терминов, одноместных функций и одноместных предикатов. Тогда адекватным переводом термина e_1 языка L на английский будет такое выражение e_2 английского языка, что

(i) e_1 кореферентно e_2;

(ii) e_2 не содержит семантических терминов.

Такое отношение адекватного перевода — безусловно, семантическое понятие, которое Тарский не свел к не-семантическим терминам. Это понятие не входит в его определение истины и, строго говоря, не является частью теории истины. Однако, с точки зрения семантической теории истины, для того, чтобы дать адекватную теорию истины для объектного языка, мы должны адекватно перевести объектный язык в метаязык. Это значит, что понятие адекватного перевода используется в методологии теории истины, но не в самой теории истины.

Филд возвращается к замечанию Тарского об ограничении, налагаемом на язык L, согласно которому "смысл каждого выражения недвусмысленно определен его формой"[98]. Естественные языки изобилуют неоднозначными выражениями, а также указательными словами и индексикалами, чье обозначение изменяется от одного случая произнесения к другому. Однако главные семантические свойства, такие как истина и значение, приписываются определенным типам предложений, поскольку нам не нужна теория значения каждого конкретного написания или произнесения предложения "Снег бел", хотя бы нам и могло казаться, что многозначность и индексикальность вынуждают нас к поискам такой теории — иначе нам пришлось бы говорить, что об этом упоминается в такой-то книге, причем в каждом ее экземпляре, и т.д. Предикат "истинный" в том виде, как его определил Тарский, должен был бы изменять значение каждый раз, когда вводится новый примитивный термин. Иными словами, Филд обращает внимание на то, насколько истинностное значение зависимо от языка, причем от *системы* языка; по его мнению, огромная важность теории Тарского именно в том, что она заставила философов признать, что, скажем, знание значения "Schnee" — а не только "Schnee ist weiss" — требует наличия определенного знания о структуре немецкого языка.

Второй аргумент Филда — аргумент от физикализма, совместимость семантики с программой которого он рассматривает. Он описывает физикализм как эмпирическую гипотезу высокого уровня, которая утверждает, что семантические, ментальные, химические и биологические явления "полностью объяснимы (в

[98] Field H. Tarski"s Theory of Truth. P. 274. Рассмотрением именно этого замечания Дэвидсон заканчивает статью "Истина и значение".

принципе) в терминах физических фактов"[99]. Один из путей к "физикализации" семантики пролегает через психологию. Если — в противоположность тому, что утверждает, например, Патнэм[100] — языковые значения находятся "в голове", а голова содержит только молекулы, атомы и электроны, то эта гипотеза истинна. Но если значения интенсиональны, будь то *Gedanken* Фреге, пропозиции или множества возможных миров, то она ложна. В обоих случаях семантике, в отличие от синтаксиса, недостает автономии; однако программа Тарского игнорирует это обстоятельство. Филд редуцирует истину по определению к примитивному обозначению терминов и предикатов, например "Луна" обозначает луну, а "круглая" обозначает множество круглых вещей, так что составленное предложение будет истинно ттт обозначение первого принадлежит к обозначению второго. Намерение Филда — обеспечить подобную редукцию семантического отношения обозначения. В итоге главный тезис Филда оказывается таким: теория Тарского терпит неудачу с физикалистской точки зрения на том основании, что Тарский не определил истину в строго физических терминах. Филд утверждает, что существует ошибочное полагание, будто Тарский показал, как истина в формализованных языках конечного порядка может быть определена без того, чтобы использовать предшествующие семантические понятия. Основные положения определения выполнения не редуцируют — как это полагал Тарский — семантическое понятие выполнения таким образом, чтобы оно было физикалистски безупречным. Тарский в самом деле оставил в них исключительно физические и логико-математические термины, например

(Θ = "x_k красный" для некоторых k, и k-тый объект в S красный).

Если же язык содержит семантические предикаты, например "любит", то соответствующее определение должно содержать метаязыковое выражение этого понятия:

(Θ = "x_k любит x_j" для некоторых k и j, и k-тый объект в S любит j-тый объект в S).

Но это означало бы именно невозможность сведения терминов ментальных состояний к физическим в самом рассматриваемом языке. Физикалистски приемлемая редукция семантических понятий к логико-математическим и физическим требует большего, нежели просто перевод семантических терминов в логические и физические термины. Тарский фактически принимает три совокупно достаточные и индивидуально необходимые условия для физикалистски приемлемого определения истины:

(1) в определении вида (s)[s истинно ттт x] x должно быть правильным (грамматически корректным) выражением, не содержащим семантических терминов;

(2) "ттт" в определении представляет экстенсиональную эквивалентность;

(3) из правильного определения следуют все частные случаи Т-схемы.

Однако второе требование слишком слабо: редукция множества понятий одного вида к другому потребовала бы более сильной эквивалентности, чем экстенсиональная. С другой стороны, здесь нельзя требовать интенсиональной

[99] Ibid. P. 279.
[100] Детальную критику Патнэмом физикалистской программы Филда см.: Putnam H. Meaning and the Moral Sciences. London: Routledge & Kegan Paul, 1978.

эквивалентности, так как она не была бы приемлема для физикалиста — за исключением тех случаев, когда выражение справа от "ттт" будет содержать все необходимые и совокупно достаточные условия для истинности во всех возможных мирах. Понятно, что последнее требование было бы не слишком реалистично, а успешная физикалистская редукция возможна и без этого.

Фактически, согласно Филду, Тарский показал, как истина (для конечных формализованных языков) может быть характеризована в терминах небольшого числа примитивных семантических понятий. Однако физикализм требует большего, а именно объяснения этих примитивных понятий в физических терминах. При этом остается дискуссионным, что может означать физикалистская редукция семантических явлений — таких, как истина, выполнение, примитивное обозначение и т.п. Общий физикалистский аргумент состоял бы в том, что физикалистские переводы (психологического языка на язык состояний мозга или функциональных состояний) будут в конечном счете найдены неврологией или познавательной психологией, поскольку они — не переводы языка вещей на язык чувственных данных, которые никогда не будут найдены по той причине, что они не существуют[101]. Филд считает, что переводиться будет не психологический язык, а его специально построенный заменитель, и что даже перевод этого заменителя будет зависеть от успешности перевода "референции" (то есть двухместного предиката "*x* имеет референцию к *y*" или, в более общем смысле, отношения выполнения формальной семантики Тарского) на физикалистский язык, предложенный Филдом[102]. В итоге обсуждение критики Тарского Филдом оказалось сфокусировано на физикалистском аргументе[103], а не на аргументе композициональности, на который он опирается.

Филд обращает против Тарского именно то, что он использует рекурсивные процедуры — т.е. тот факт, что в теории Тарского значение предложения зависит от значений входящих в него более простых элементов, каковые значения безусловно являются семантическими, а следовательно, Тарскому не удается построить объяснение через не-семантические термины. В этом отношении этой критике противостоит другая, еще более серьезная — IF-семантика Хинтикки.

Хинтикка критикует Тарского в рамках своей полемики с представлениями о двухуровневой (объектный язык/метаязык) семантике и о композициональности значения, которые он считает изжившими себя догмами. Согласно этим представлениям, в классической или интуиционистской логике первого порядка мы можем лишь давать формальные правила вывода, т.е. трактовать логику синтаксически, поэтому для построения семантики (по крайней мере, теоретико-модельной) требуется определение истины для того языка, предложения которого исследуются (с этим, впрочем, Хинтикка согласен). Такое определение истинности не может быть дано в объектном языке, но лишь в более сильном метаязыке. Поэтому формальное определение истины может лишь *констатировать* корреляцию между предложениями и теми фактами, которые делают их истинными; оно не может *прояснить характер* этой корреляции или верификации.

---

[101] См.: Putnam H. Reflections on Goodman"s Ways of Worldmaking — Journal of Philosophy, 76 (1979), pp. 603-618.
[102] См.: Field H. Mental Representation — Erkenntnis, 14 (1978), pp. 9-61.
[103] См.: McDowell J. Physicalism and Primitive Denotation: Field on Tarski — Erkenntnis, 13 (1978), pp. 131-152; Putnam H. Meaning and the Moral Sciences; Friedman M. Physicalism and the Indeterminacy of Translation — Nous, vol.9 (1975), p 353; Kirkham R. Theories of Truth. Cambridge Mass., 1995. Ch.6.

Хинтикка формулирует свои претензии к этому подходу при помощи разделения двух функций логики.

- При систематизации нелогических истин в аксиоматической системе собственно систематизация достигается путем выражения всех предметных истин в конечном (рекурсивно исчислимом) множестве аксиом, из которых затем выводятся теоремы. При этом важнейшим требованием к выводу является сохранение истинности, которое при выведении теорем из аксиом (выводов из посылок) призвана обеспечить логика. Далее, основные нелогические понятия в аксиоматической системе могут быть изначально интерпретированы в аксиомах, поэтому система может быть либо интерпретированной (например, прикладная геометрия), либо неинтерпретированной (например, теория множеств). Деривация же в обоих случаях осуществляется одинаково. Иными словами, вопрос о том, может ли логический вывод быть выражен полностью формальными (исчисляемыми) правилами, не зависит от вопроса о том, является ли язык, на котором осуществляется вывод, "формальным" (неинтерпретированным) или "неформальным" (интерпретированым). Поэтому первой важнейшей функцией логики Хинтикка считает *дедуктивную*.
- Вторая функция — *дескриптивная* — способность выражать содержание пропозиций. Аксиомы типичной математической теории выражают то, что они выражают, лишь благодаря использованию таких логических средств, как кванторы и логические связки.

Систематическое исследование дедуктивной функции логики известно как теория доказательства. Систематическое исследование дескриптивной функции — теория моделей, или логическая семантика. В последней класс **M**(*S*) моделей предложения *S* определяется следующим образом. Во-первых, мы должны иметь некоторый класс (множество, область) Ω моделей, т.е. структур подходящего вида. Во-вторых, указание на *S* должно давать нам критерий, согласно которому некоторый член *M* класса Ω способен служить моделью *S*. По мнению Хинтикки, центральной для его рассуждения является вторая проблема. Благодаря чему *M* является моделью *S*? Ответ таков: *M* является моделью *S* ттт *S* истинно в *M*. Определение истинности должно задавать условия, при которых предложение истинно в модели. Тот вид определения истинности, к которому таким образом подводит Хинтикка — это определение в духе Тарского. Причем, по мнению Хинтикки, идея рекурсивного определения, которой руководствовался Тарский — это именно то, что лингвисты называют композициональностью: принцип, согласно которому семантические свойства сложного выражения являются функциями составляющих его более простых. Однако мы не можем сказать этого об истинностных значениях, поскольку выражения, составляющие квантифицируемые предложения, могут содержать свободные переменные; представляя собой открытые (незамкнутые) формулы, а не предложения, они не могут иметь истинностные значения. Именно поэтому Тарский определяет истинность предложения с помощью другого понятия — выполнимости, применимого также и к открытым формулам. Последнее отношение раскрывается, в свою очередь, через функцию оценки (valuation), состоящую в приписывании каждой индивидной константе и каждой индивидной переменной рассматриваемого языка индивидов как их значений (values). Тогда, с теоретико-

модельной точки зрения, тарскианская истинность является относительной к модели **M** и значению *v*. Функция оценки приписывает каждому нелогическому примитивному символу, включая индивидуальные переменные $x_1, x_2, ..., x_i$ ..., подходящий элемент из модели **M**. Предложение (замкнутая формула) истинно тогда и только тогда, когда имеется выполняющее его значение. Выполнение определяется рекурсивно: так, $(\exists x_i)S[x_i]$ выполняется значением *v* ттт существует значение, отличающееся от *v* только для аргумента x_i и выполняющее $S[x_i]$. Аналогичным образом, *v* выполняет $(\forall x_i)S[x_i]$ ттт каждое значение, отличающееся от *v* только по x_i, выполняет $S[x_i]$. Для пропозициональных связок выполнение характеризуется обычными табличными условиями истинности. Для атомарной формулы $R(x_i, x_j)$ выполняется *v* ттт $<v(x_i), v(x_j)> \in v(R)$. Совокупность этих положений и составляет рекурсивное определение истины.

Если определение истины эксплицитно формулируется в метаязыке, то этот метаязык содержит элементарную арифметику, а к синтаксису первопорядкового языка применима техника Геделя. Характеристика истинности должна иметь форму экзистенциального квантора второго порядка (или конечной последовательности таких кванторов), приписанного к первопорядковой формуле. Сама же истина определяется во второпорядковом языке, где кванторы могут быть заданы на функциях оценок. Условия истинности — свойство значения предложения, а не значения символа. Последнее должно определяться отдельно и принимается за уже известное при определении условий истинности и определении истины. Тарского критиковали за "нелегитимное" привлечение понятия символического значения, однако проект Тарского именно и направлен на определение условий истинности через символические значения, т.е. на определение значения предложения через значения составляющих его символов.

В неопределимости истины и других аналогичных негативных результатах Хинтикка видит парадигмальные воплощения такого подхода к анализу отношения языка к миру, где язык рассматривается как *универсальный посредник* (*универсальность языка*)[104]. Согласно универсалистской концепции, язык — неустранимый посредник между нами и миром, без которого мы не можем обойтись. Мы не можем выйти за пределы своего языка и воплощаемой им понятийной системы и видеть его со стороны, и не можем обсуждать в нашем языке отношения, связывающие его с миром. Эти отношения составляют значения слов и других выражений нашего языка; их совокупность есть то, что известно в качестве семантики этого языка. Тем самым одним из наиболее важных следствий универсалистской позиции является *невыразимость семантики*.

С такоей точки зрения, тот, кто верит в невыразимость семантики, вполне может разрабатывать идеи о способах связи нашего языка с миром (например, Фреге, ранний Витгенштейн, Венский кружок в период "формального способа речи", Куайн и Черч). Но такой "семантик без семантики" должен отрицать выразимость в языке основных семантических идей: они могут быть переданы лишь невербально, поскольку опираются на невыразимое и необъяснимое допонятийное предзнание. Реалистический метаязык, в котором мы могли бы обсуждать наш собственный используемый язык, является, согласно универсалистам, химерой,

[104] См. также: J. Hintikka. On Development of Model-theoretical Viewpoint in Logical Theory — Synthese. Vol. 77 (1988). Pp. 1-36; Merrill B. Hintikka and Jaakko Hintikka. Investigating Wittgenstein. Basil Blackwell. Oxford, 1986. Chapter 1.

поскольку смысл такого метаязыка заключается в том, чтобы быть господствующей позицией, с которой мы можем обсуждать отношения нашего обычного "объектного языка" к реальности. В другом плане универсалист не может говорить об истине как соответствии.

Предположения Тарского относительно языка в целом, как языка математики, так и того, что он называл "разговорным языком", не являются очевидными и нуждаются в более тщательном исследовании. Языки, которые рассматривал Тарский — прежде всего эксплицитно выраженные формальные языки. Основа огромного влияния Тарского состоит в том, что он показал, как эксплицитно определить понятие истины для большого (и, очевидно, репрезентативного) класса таких языков. Но главное философское влияние работы Тарского, по мнению Хинтикки — в том, что он показал, при данных допущениях, что определение истины может быть дано для формального языка лишь в более сильном метаязыке. Здесь сложно полностью согласиться с Хинтиккой: вряд ли это само по себе можно считать самостоятельным результатом — скорее это приложение идей Рассела о разграничении объектного языка и метаязыка к определенной предметной области, к теории истины. Но в любом случае данный результат приводит к полному подтверждению универсалистской позиции в решающем случае истины, так как в применении к нашему реально используемому языку — "разговорному языку" Тарского — это означает, что истина может быть определена лишь в более сильном метаязыке. Но вне нашего используемого языка нет более сильного метаязыка. Поэтому в плане того, что действительно имеет философское значение, определения истины невозможны. В этом смысле истина буквально невыразима.

Однако остается спорным, соответствует ли разговорный язык условиям теоремы Тарского о такой невозможности. Тарский, очевидно, остро сознавал данную проблему. Реальные причины, по которым он возражал против определений истины в разговорном языке, фактически основаны больше на открытости и неправильности естественных языков, чем на его собственной теореме. Основная мнимая иррегулярность, которую имел в виду Тарский, состояла в неудаче его формального подхода к определению истины, т.е. в неудаче принципа композициональности, реальное значение которого в предложенной теории — семантическая независимость от контекста. Предпосылка о такой независимости от контекста в семантике естественных языков, по мнению Хинтикки, совершенно необоснованна. Он считает, что отрицательные результаты Тарского — хотя они и правильны — не закрывают проблему, а те следствия, которые им принято приписывать, весьма дискуссионны. Неопределимость таких металогических понятий как истина, общезначимость (истинность во всех моделях) и логическое следование на первопорядковом уровне показывает, что обычная первопорядковая логика в некотором важном смысле не является самодостаточной. Отсюда проясняется несогласие Хинтикки с предложением Фреге считать первопорядковые кванторы предикатами второго порядка (предикатами одноместных предикатов), которые сообщают, является ли данный предикат пустым или непустым, допускающим исключения или нет и т.д. Здесь игнорируется тот факт, что кванторы могут быть приписаны к сложным предикатам или простым более чем одноместным. В терминах теоретико-игровой семантики вопрос здесь в том, является ли наша семантическая игра игрой с полной информацией. Позиция Фреге содержит утвердительный ответ, однако

такой ответ не учитывал бы различие между дескриптивной и дедуктивной функциями логики.

Когда мы говорим о логике первого порядка, что она — кванторная, то этим сказано еще не все: логика первого порядка не есть логика кванторов, которые берутся сами по себе; это — логика зависимых кванторов. Зависимость иллюстрируется такими предложениями, как

(1) $\forall x \exists y S[x, y]$,

где значение y зависит от значения x. Фрегеанская же интерпретация кванторов как предикатов высшего порядка не может должным образом семантически объяснить предложение, подобное (1). Более того, это общее пренебрежение к идее зависимости кванторов привело Фреге к ошибке особого рода: в формулировке своих правил образования предложения он исключил некоторые вполне возможные (интерпретируемые) варианты зависимости и независимости между кванторами. Простейшая несводимая кванторная приставка, которую Фреге непреднамеренно исключил — это квантор Генкина, представимый ветвящейся структурой:

(2)
$$\begin{array}{ll} \forall x \exists y & \\ & \diagdown \quad S[x, y, z, u] \\ \forall z \exists u & \diagup \end{array}$$

Смысл этой записи состоит в том, что y находится для всякого данного x, а u находится для всякого данного z, однако эти две процедуры происходят независимо друг от друга. (Ср. с формулой

(2") $\forall x \exists y \forall z \exists u S[x, y, z, u]$

где выбор u зависит не только от выбора z, но и от сделанных ранее выборов x и y.)

Однако для вывода одного квантора из области действия другого более удобно использовать линейную символику. Например, (2) может быть записано, как

(3) $\forall x \forall z (\exists y / \forall z) (\exists u / \forall x) S[x, y, z, u]$,

где / — отношение независимости.

Систематическое использование линейной символики (отношения независимости, его обращения и соответствующих истинностных предикатов) порождает то, что Хинтикка называет "независимо-дружественной" или "допускающей независимость" (independence-friendly — IF) логикой первого порядка. Это сильное расширение обычной первопорядковой логики, позволяющее независимость там, где принятая запись Фреге—Рассела запрещает ее.

По мнению Хинтикки, IF-логика более адекватна в роли подлинно базисной или элементарной логики, чем классическая первопорядковая, поскольку IF-логика не привлекает идей, которые бы уже не предполагались обычной первопорядковой логикой. Единственное явное новшество, которое следует уяснить для понимания IF-логики первого порядка — это идея кванторной независимости. Но понять независимость — это значит понять зависимость, что необходимо для понимания обычной первопорядковой логики. При этом среди особенностей первопорядковых языков для IF-логики есть тот факт, что если включить в такой язык определенные средства говорить в нем самом о его синтаксисе, то можно дать

полное определение истины для этого языка в нем самом. Этот результат представляет проблему определимости истины в новом свете и лишает негативный результат Тарского его философского значения. Он показывает, что предпосылки теоремы Тарского столь ограничительны, что она не применима даже к самым основным логическим языкам, которые только можно вообразить.

Определимость истины в IF-языках первого порядка есть фактически доказательство того, что тезис о невыразимости неверен и что в действительности можно обсуждать семантику языка в нем самом. Результаты, подобные тем, что получил Тарский, фактически составляют твердое ядро любого рационального основания для общего тезиса о невыразимости, но более тщательный анализ ситуации ведет к заключению, диаметрально противоположному тому, что, как обычно считают, следует из результатов Тарского. Все философское значение теорем о неполноте и неопределимости следует, по мнению Хинтикки, переоценить, поскольку он показал, что результаты Тарского не имеют тех негативных философских следствий, которые им первоначально приписывали и которые у них обычно подразумевают.

В итоге, с учетом аргументов Филда и Хинтикки, попытка выполнения Тарским требования онтологической нейтральности может вызвать следующие комментарии. Концепция Тарского не решает вопрос о природе истинности и даже, по сути, не ставит такой задачи: она лишь показывает, как от утверждений о реальности мы можем перейти к утверждениям об истинностных значениях предложений, при каких условиях мы можем это сделать — а важнейшим среди этих условий является собственно *уже* наличие какой-либо теории истины, представляющей собой не что иное, как ответ на вопрос о природе истинности. Сама же по себе концепция Тарского такого ответа не дает. Если я реалист, то для меня возможность утверждать "снег бел" может не означать, что это предложение вообще как-то относится к моему понятию истины, а когда я утверждаю или отрицаю предложение "Предложение "снег бел" истинно", то это предложение может быть никак не связано с возможностью утверждать первое: мои условия утверждаемости "предложение "снег бел" истинно" могут быть такими, что я не могу одновременно — в том же отношении к истине или как эквивалент предложения об истинности предложения — утверждать "снег бел". Моя эпистемическая позиция может быть такова, что "снег бел" для меня вообще не утверждение, т.е. его высказывание не позволяет истинностной корреляции (в духе Тарского) с высказыванием второго предложения, которое, поскольку в нем задействованы условия истинности, для меня является утверждением. Эта позиция может быть такова, что не позволяет эквивалентности между "снег бел" как обыденным высказыванием, имеющим свое специфическое назначение в языке, и "истинно, что снег бел" как высказыванием, привлекающим условия истинности и опирающимся на понятие истинности. Чтобы высказать первое, мне вообще не нужно понятие истины.

Часто утверждается, что концепция Тарского представляет дефляционную концепцию истинности[105], показывая, как могут быть эквивалентны предложение языка и предложение, приписывающее этому предложению истинностное значение. Однако Тарский устанавливает эту эквивалентность через понятие имплицированности предложения об истинности предложении в утверждении

[105] См., напр.: Е.Д.Смирнова. Логика и философия. М., "Росспэн", 1996. С. 81: "Согласно схеме [Тарского], утверждать истинность некоторого высказывания означает то же самое, что и утверждать это высказывание".

самого оцениваемого предложения – что не очевидно, поскольку эту связь импликации не следует принимать как нечто само собой разумеющееся: в этом случае тезис (устанавливающий эквивалентность между двумя видами предложений) окажется предпосылкой, как это у Тарского и происходит. По-видимому, более обоснованным является мнение Керкэма, приписывающего Тарскому онтологический наивный реализм[106]: по его мнению, возражения Тарского против определения его концепции как реалистической (параграфы 18 и 19 статьи "Семантическая концепция истины...") носят эпистемологический, а не онтологический характер.

В любом случае концепцию истины Тарского правильно будет определить как модификацию формально-логической концепции истины, поскольку и та, и другая показывают, как при выводе одного предложения из других его истинностные значения последних сохраняются в выводе и обусловливают его истинностное значение, но не решают вопрос о природе истинности посылок. Это означает, что концепция истины Тарского не может быть удовлетворительнее, чем корреспондентная или другие классические концепции истины в том отношении, что она не решает и даже не ставит перед собой тех задач, для решения которых разрабатывались эти концепции. Концепция Тарского по отношению к ним нейтральна, но нейтральность по отношению к теориям истины еще не делает ее онтологически нейтральной. Ее тезис фактически применим к любым критериям истины, которые могут появиться в рамках грамматических структур, совместимых со структурами знакомых нам естественных языков: она представляет собой скорее надстройку над теорией истины, чем теорию истины в собственном смысле слова, и унаследует онтологические обязательства той теории истины, которая будет использована в ее рамках.

[106] См.: Kirkham R. Theories of Truth. Pp. 193 – 196.

5. Философия лингвистического анализа

5.1 "Лингвистический поворот" в философии XX века

Как пишет В.А.Ладов, "Конечно же, термин "аналитическая философия" очень широк, велико количество тематических и методических "оттенков" в исследованиях тех мыслителей, кого, так или иначе, причисляют к данной традиции. И все же общее эпистемологическое ядро не вызывает сомнений — это "лингвистический поворот" в философии, к которому напрямую причастны "классики" аналитической традиции: Г. Фреге, Б. Рассел, Д. Мур, Л. Витгенштейн. Стремясь все к той же "ясности и отчетливости" данного, философ-аналитик, после совершения "лингвистического поворота", спрашивает уже не о мире самом по себе, а о том, что мы имеем в виду, когда говорим о мире, т.е. о смысле и корректности построения наших высказываний о мире."[1]

Трудно уже определить кому принадлежит ставший ныне знаменитым термин "Лингвистический поворот"[2], однако книга с таким названием вышла в 1967 году (второе, расширенное издание — 1992) под редакцией Ричарда Рорти, которого, в ходе его эволюции, неоднократно упрекали за ренегатство от аналитики, однако чьему развитию —в направлении гуманитарных наук — нельзя отказать в определенной логике.

Книга содержит 37 текстов 29 авторов (некоторых из них по несколько текстов или в соавторстве) и 2 дискуссионные группы, объединенные в 4 темы; редакторское предисловие, введение и библиографию, насчитывающую 985 работ (преимущественно на английском языке), посвященных лингвистическому методу в философии и смежным темам, появившимся в период с 1930 по 1965 год. Эта библиография, составленнная Джеромом Неу и Ричардом Рорти, включает дискусссии, сопоставляющие лингвистические и различные философские методы, а также ссылки на другие расширенные библиографии и перекрестные ссылки.

Все эти работы были опубликованы ранее (некоторые из них, правда, были переведены здесь на английский впервые). Среди них такие темы, как "Классические утверждения тезиса о том, что философские вопросы являются вопросами языка" (тексты Морица Шлика, Рудольфа Карнапа, Густава Бергманна, Гилберта Райла, Джона Уиздома, Нормана Малькольма); "Метафилософские проблемы философии идеального языка", — Ирвинг Копи, Макс Блэк, Элис Эмброуз Лазеровитц, Родрик Чизом, Джеймс У. Корнман, Уиллард ван Орман Куайн; "Метафилософские проблемы философии обыденного языка" — Чизом, Джон Пассмор, Гровер Максвелл и Герберт Фейгль, Манли Томпсон, Ричард Хеэр, Пол Хенле, Питер Гич, Корнман, Дж.О.Урмсон, Стюарт Хэмпшайр, Дж. Уорнок, Стэнли Кэвелл; "Пересмотры, переоценки и перспективы" — Дадли Шапир, Хэмпшайр, Урмсон, "Royaumont Colloquium", П.Ф.Стросон, Макс Блэк, Джерролд Дж. Катц, Иегошуа Бар-Хиллел.

Вступительная статья (самый большой текст в книге) начинается со впечатляющего сравнения других революций в философии с "лингвистическим поворотом" — взгляда, согласно которому философские проблемы могут быть

[1] http://www.philosophy.ru/library/ladov/analyt.html. См. эту статью для особенно подробного уяснения той точки зрения, согласно которой лингвистический поворот начался именно с Фреге.
[2] Rorty R (ed.) The Linguistic Turn. Chicago: University of Chicago Press, 1967.

решены (или элиминированы) либо путем реформирования нынешнего языка (в данном случае преимущественнно имеется в виду язык науки), либо путем его лучшего, более адекватного понимания, устранения из него путаницы. На этом, в частности, основании ряд исследователей (в особенности причисляющие АФ к неопозитивизму) приходит к выводу о том, что, в отличие от логического анализа языка, задача философа-аналитика с точки зрения лингвистической философии (прежде всего атрибутируемой позднему Витгенштейну) состоит не в том, чтобы реформировать язык в соответствии с некоторой логической нормой, а в детальном анализе действительного употребления естественного разговорного языка с тем, чтобы устранить недоразумения, возникающе вследствие неправильного его употребления. Так, согласно лингвистической философии, такой анализ приводит к выявлению причин постановки философских проблем, которые будто бы возникают в результате неправомерного расширения обыденного словоупотребления. Возражая против любых проявлений техницизма в философии, связанного с использованием специального понятийного аппарата, и отстаивая чистоту употребления естественного языка, лингвистическая философия противопоставляет себя сциентизму в философии — в частности, сциентизму логического позитивизма.

Однако задача Рорти далеко не сводится к этому противопоставлению. Рорти обсуждает некоторые из попыток обосновать эти воззрения, иследует предполагаемый беспредпосылочный характер лингвистической философии, пробует урезонить извечную междоусобицу сторонников анализа идеального и обыденного языков и в итоге приходит к выводу (который он через несколько десятков лет значительно пересмотрел — или, точнее, расширил) о том, что будущее философии напрямую зависит от ее лингвистических анализов. Можно сказать, таким образом, что Рорти — это *метафилософский* критик, чье исследование направлено не на конкретные темы, стили или терминологии в философии, но на то, *каким образом* философские проблемы могут представлять собой нечто иное, нежели рост напряжения или изменение динамики соотношения между этими темами, стилями или терминологиями. Представляется важным подчеркнуть это, поскольку понимание этого практически полностью, самым прискорбным образом отсутствует в отечественной среде, считающейся философской, но тем не менее самым простодушным образом считающей философов-аналитиков сводящими философские проблемы к языковым.

И если критика Рорти бывала направлена против аналитической философии, то это могло быть вызвано именно стагнационной, инерционной верой (свойственной, конечно, не одним диаматчикам) в непреходящую ценность и неизменность философских проблем. Кстати, сам Рорти нигде прямо не асссоциирует свои взгляды с аналитической философией. Однако такие аналитики, как Селларс, Куайн и Дэвидсон, безусловно, предоставили ему ценнейшие средства в его борьбе против проекта эпистемологической легитимации, находившегося в центре философии, начиная с Декарта.

Поэтому трудно переоценить значение этой книги для развития АФ. Некоторые из ее тем мы уже рассмотрели; к рассмотрению других переходим сейчас.

В статье "Языковая игра и роль метафоры в научном познании"[3] В.А.Суровцев и

[3] Новосибирский журнал "Философия науки" №5 (1999). Реальный адрес: http://philosophy.nsc.ru/life/journals/philscience/5_99/02_SUROV.htm.

В.Н.Сыров пишут:

"Суть в том, что лингвистический поворот привел к переописанию концептов “язык”, “текст”, “дискурс”, “сюжет” и т.д. в процессе расширения сферы их применения. ... Если использовать глубокую мысль Ницше, сама постановка вопроса о том, каков мир на самом деле, является следствием скептицизма и релятивизма. В основе представлений человека о себе и мире лежат фундаментальная темпоральная структура и цели доминирования, использования, удовлетворения желаний. С этой точки зрения лингвистический поворот и соответствующие практики аналитической философии, герменевтики и деконструктивизма следует рассматривать как извлечение продуктивных следствий из человеческой конечности."

Продолжим эту мысль: АФ — часть философии, и "лингвистический поворот" — поворот не *от* философии, не *в сторону* от нее, но *к ней*.

5.2 Концепция "значение как употребление" и ее приложения

Рассмотрим основные аспекты концепции "значение как употребление", обсужденные в "Философских исследованиях" Витгенштейна — работе, наиболее плотно ассоциирующейся с укоренением этих представлений. Центральные аргументы в этой связи — аргументы индивидуального языка и следования правилу.

В §§ 139-242 "ФИ" Витгенштейн устанавливает невозможность "логически индивидуального языка", которому ни в коем случае нельзя научиться. Считается, что аргумент частного языка лишает ощущения и восприятия статуса сугубо индивидуальных и вследствие этого недостижимых ментальных сущностей, которые не обуславливаются никакими физическими событиями[4]. Витгенштейн подвергает критике "августинианскую" теорию значения, согласно которой значение есть определенный предмет (образ в сознании; абстрактная сущность) и которая, соответственно, представляет собой не просто семантическую теорию, но философскую парадигму, разделяемую многими авторами, в том числе самим Витгенштейном в "Трактате". По мнению Г. Бейкера, "Витгенштейн целится в философский миф, а не в невинное повседневное представление о языке как деятельности, управляемой правилами"[5].

Вообще говоря, в основе подобных "мифических" концепций должно лежать минимум два допущения:

i. знаку соответствует некоторая внеязыковая сущность, и

ii. эта сущность имеет ментальную природу.

В то же время Витгенштейн опровергает идею, что язык есть "исчисление правил значения". Хотя нельзя отрицать, что язык есть деятельность по правилам, но эти

[4] Stroud B. Wittgenstein's philosophy of mind. — In: Contemporary philosophy. V.3. The Hague, 1983. P. 329.

[5] Baker G.P. Following Wittgenstein: Some signposts for Philosophical Investigations §§ 143-242. — In: Wittgenstein: To follow a rule. L. etc., 1981. P. 43.

правила, с точки зрения Витгенштейна, принципиально нельзя систематизировать в исчисление. Поэтому он стремится показать, что нельзя говорить о неосознанном следовании языковым правилам, которое можно было бы тем или иным образом эксплицировать и дополнить им осознанное следование правилам, чтобы таким образом построить исчерпывающее исчисление языковых правил.

При этом Витгенштейн раскрывает два тезиса:

а) нет такой системы языковых правил, которая была бы полной и недвусмысленной[6], и

б) нет такого правила, которое независимо от нашей практики его применения определяло бы, правильно или неправильно используется выражение.

Предположим, например, что нас интересует некоторая формальная система. Когда определены аксиомы и правила вывода, мы уже думаем о них как об определении всего, что может считаться теоремой (или всего, что имеет значение для доказательства теоремы). Принимая аксиомы и правила, мы (как мы считаем) тем самым уже берем на себя обязательство к принятию определенных вещей как теорем; математическая задача состоит в том, чтобы раскрыть, каково в конкретных случаях наше обязательство. Однако, несмотря на факт, что доказательство в такой системе является механически достигаемым понятием (т.е. что мы можем эффективно запрограммировать машину, чтобы проверить любое предполагаемое доказательство), в действительности так или иначе нет никакого жесткого определения тех предложений, которые являются теоремами. В наиболее общей форме можно сказать, что в нашем понимании любого понятия нет никакого жесткого определения того, что можно считать его правильным применением.

Эта проблема, формулируемая как проблема следования правилу, может интерпретироваться таким образом, будто всегда существует бесконечно много одинаково успешных альтернативных способов, которыми можно следовать правилу в конкретных случаях. Но это, конечно, не так, поскольку мы имеем в виду правило, имеющее точный смысл. Однако есть *по крайней мере один аспект*, в отношении которого следование правилу может быть расценено как всегда привлекающее интерпретации. Он выражается в следующем. Любое правило, которому некто (наблюдаемый нами) следует, может применяться им на некоторой стадии таким образом, который будет одновременно и совместим с прошлым применением, и отличен от того, что мы имели в виду. Если некто внезапно делает что-то, что кажется нам ненормативным применением правила, то у него может иметься такая интерпретация полученных им инструкций, которая объясняет и использование рассматриваемых терминов, совпадавшее вплоть до данного момента с предполагавшимся (автором инструкций и/или внешним наблюдателем) использованием, и также дальнейшее ненормативное использование. Мы скажем, что такой человек извратил наши инструкции, что он следовал правилу, отличному от того, которое мы предназначали. Но, очевидно, возможно также, что *ничто* из того, что мы говорим или делаем, не заставит такого человека следовать правилу так, как мы хотим. Как бы много правил мы ни дали ему, он может иметь свое правило, которое обосновывает его применение

[6] См.: Лебедев М. В. О метаязыковом статусе концепции "значение как употребление". — Материалы XI Международной конференции по логике, методологии и философии науки. М. — Обнинск, 1995. Т. 5. С. 64-65.

наших правил: т. е. он дает такую *интерпретацию* того, что ему сказали делать, при которой может быть признано, что он действительно это делает.

Можно предположить, далее, что мысль Витгенштейна здесь такова: там, где мы думаем, что поняли правило, которому, как предполагается, мы следуем (другие люди полагают, что мы следуем; хотят, чтобы мы следовали); там, где мы думаем, что понимаем, как применять определенные предикаты — там возникает возможность нового применения, там для нас всегда открыто неопределенно (бесконечно?) много гипотез о том, как выражение должно применяться в новых обстоятельствах таким образом, чтобы новые применения были совместимы с прежними. При этом при оценке наших прежних применений (как адекватных) мы можем исходить не только из нашего умозрительного толкования правила, но и из наблюдений за тем, как этому правилу следуют другие. Конечно, нет никаких специальных причин на то, почему у нас непременно должны появиться эти альтернативные гипотезы. Обычно ничего подобного и не происходит; обычно наше использование выражения весьма автоматично и решительно. Однако то, что мы расцениваем как следование правилу, будет включать интерпретацию в том смысле, что мы будем (возможно, подсознательно, т.е. внерационально) выбирать одну из доступных гипотез как ту, которую, по нашему (пусть внерациональному) мнению, применяют другие носители языка.

Согласно этому предположению, замечание Витгенштейна состояло бы не в том, что одно и то же правило, четко или нечетко сформулированное, всегда допускает неограниченное количество способов адекватного применения. Скорее оно состояло бы в том, что всегда, на основе любого нормального обучения и наблюдения за тем, как другие люди применяют некоторое правило, может возникнуть неопределенно много одинаково жизнеспособных интерпретаций способа, которым мы можем следовать этому правилу. И Витгенштейн привлекает наше внимание к возможности того, что некто может дать полученным от нас инструкциям неожиданную интерпретацию и, сделав это однажды, продолжать следовать правилу именно в духе этой интерпретации, несмотря на наши усилия разъяснить ему то, чего мы от него хотим. Этого следует ожидать, если наш некто обладает некоторым альтернативным пониманием тех терминов, в которых мы пытаемся разъяснять первоначальные инструкции; тогда вполне может быть так, что, независимо от того, сколько примеров и образцов мы ему дадим, эти примеры будут совместимы с неограниченным разнообразием интерпретаций предназначенного правила.

Витгенштейн обсуждает пример выписывания числовой последовательности согласно правилу ее образования ("ФИ", § 143). Мы можем считать, что обучаемый овладел некоторым правилом, когда он перестал делать ошибки в его применении. Но, поскольку невозможно провести резкую границу между нерегулярной и систематической ошибками, то откуда мы можем знать, как много чисел последовательности он должен выписать правильно для того, чтобы считать его понявшим это правило так же, как и мы? "Усвоение (или же понимание) системы не может состоять в том, чтобы продолжить ряд до *того* или *иного* числа; *это* лишь применение понимания... Само же понимание — некоторое состояние, *из которого* вытекает правильное применение" (§ 146). Но невозможно и предположить, будто знание и понимание суть состояния сознания (Zustand der Seele): "Но в чем состоит это знание? Позволь спросить: *когда* ты знаешь это применение (соответствующего математического правила)? Всегда? … или когда

ты действительно думаешь о законе ряда?" (§ 148). Например, В наблюдает, что А выписывает последовательность 2, 4, 6, 8, и вдруг понимает, как ее продолжить (§ 151). Является ли произошедшее *пониманием*? Могут ли у нас быть основания для такого утверждения? Пытаясь найти ответ на подобные вопросы, "мы пытаемся тут проникнуть в умственный процесс понимания, который как бы скрыт за этими более грубыми и потому легко бросающимися в глаза его сопровождениями" (§ 153).

Поскольку оснований для такого проникновения не обнаруживается, Витгенштейн выдвигает требование: "Не думай вовсе о понимании как об "умственном процессе". Ибо это лишь оборот речи, который тебя сбивает с толку" (§ 154). Единственное, о чем мы можем делать значимые утверждения в этой связи — это отнюдь не понимание закона последовательности и тем более не переживание обучаемым этого понимания, но лишь "*обстоятельства*, при которых он испытал это переживание" (§ 155), или, точнее, обстоятельства, при которых делается заявление об этом переживании. Поэтому выражение "я понял и могу продолжить" не аналогично описанию всей ситуации и ее обстоятельств, включая процессы в сознании говорящего, а выступает некоторым "сигналом", маркирующим ситуацию. О правильности данного употребления этого выражения — и/или о его истинности, — мы судим по дальнейшему развитию этой ситуации; поэтому было бы ошибочно

а) интерпретировать подобные выражения как описания состояний сознания (§ 180).

б) полагать, будто правило независимо от нашей практики его применения может определять, правильно или неправильно используется выражение.

Например, ученика учат писать последовательность, прибавляя 2 к последнему числу. Он многократно пишет последовательность четных чисел достаточно далеко и без ошибок, так что мы убеждены, что он овладел этой операцией. Но вот однажды ему случается продолжить ее до 1000, после чего он пишет: 1004, 1008, 1012 и т.д. Он не понимает нашего недовольства, потому что убежден, что делает именно то, чего от него хотят: прибавляет по двойке в первой тысяче, по две двойки во второй, по три – в третьей и т. д. В каком смысле мы можем сказать, что он следует правилу ошибочно, и в чем состоит правильное следование? Для того, чтобы делать подобные утверждения, мы, вероятно, должны быть убеждены, будто правило содержит в себе все бесконечное множество своих возможных применений, поэтому вопрос о правильном или ошибочном следовании решается сравнением реальных фактов следования правилу в тех или иных ситуациях с образцами следования, некоторым образом уже содержащимися в правиле. Можем ли мы отказаться от подобного допущения? Если да, то получается, что в ходе следования правилу каждый следующий шаг требует нового решения (§ 186). Но на каком основании мы можем тогда говорить, что тот или иной шаг является правильным или ошибочным? Здесь тоже нельзя отыскать таких значимых предпочтений, которые были бы отвлечены от конкретной ситуации.

Поэтому Витгенштейн вовсе не подвергает сомнению, что человек, давая кому-либо задание выписать последовательность четных чисел, имеет в виду, что после 1000 надо писать 1002. Витгенштейн отрицает только философское утверждение, что акт подразумевания предполагает мгновенное схватывание бесконечной последовательности (для чего не обнаруживается оснований), и философский

тезис о том, что мое подразумевание того-то и того-то есть факт (моего сознания), наблюдение которого и оправдывает мое заявление, будто под знаком "+" я подразумеваю операцию с известными свойствами[7].

Из примеров Витгенштейна следует, что у нас нет возможности окончательно удостовериться в том, что мы разделяем наше понимание некоторого выражения с кем-то еще, что в некотором будущем случае наши соответствующие использования выражения не будут различаться настолько радикально, что нам придется расценивать те значения, которые мы приписываем этому употреблению, как различные. А раз так, то мы неявно принимаем ту гипотезу, согласно которой ситуация употребления языковых выражений имеет форму ситуации существования соглашения об их употреблении. Предметом такого соглашения был бы способ, которым говорящие на языке понимают некоторое выражение как эквивалент некоторому открытому множеству утверждений об их поведении в фактических и гипотетических обстоятельствах. С этой точки зрения, разговор об определенном способе понимания выражения допустим только в том случае, если мы обладаем некоторыми средствами проверки того, как именно оно понимается. Если мы не имеем таких средств, то у нас нет оснований говорить о факте понимания выражения некоторым определенным способом. По мнению Витгештейна, у нас этих средств и, следственно, оснований действительно нет. Возможна другая точка зрения: отталкиваясь от этого соображения, Даммит строит свою теорию значения, подразумевающую возможность обнаружения таких средств. Однако и для отрицательной, и для утвердительной гипотезы важен не столько тот факт, что теория строится для открытого множества утверждений, сколько то, что такая теория предусматривает *процедуры* конструирования и деконструирования (допустим, прибавления единиц к конечному множеству). Именно знание (пусть неявное) процедуры (или о процедуре, о возможных способах бытийствования подобных процедур) необходимо нам для того, чтобы утром быть уверенными, что днем все будет так же.

Эта проблема может быть сформулирована как проблема *стабильности* языкового значения[8] (в определенном смысле наследующая проблемам индивидуального языка и следования правилу): какие факторы обеспечивают неизменность употребления языковых знаков в одном и том же значении? Откуда я могу знать, что в следующий раз, когда я произнесу слово "снег", мой собеседник будет знать, что я имею в виду мелкие кристаллы H_2O? В силу чего у нас есть основания полагать, что в следующий раз, когда мы произнесем то или иное слово, оно будет обозначать свой предмет тем же способом, что и в прошлый раз?

Возможны два наиболее общих ответа:

1. Так говорят все. И я, и другие люди много раз употребляли слово "снег" для обозначения мелких кристаллов H_2O, и отсюда я делаю вывод, что так будет и дальше.
2. Слово "снег" означает в русском языке мелкие кристаллы H_2O.

Второй ответ ассоциировался бы для Витгенштейна с "августинианскими" теориями значения, которые он отбрасывает вместе с репрезентационизмом "Трактата". (Точнее, он ассоциируется вообще с любыми абсолютистскими теориями значения, а не только идеационными.) Но и первый ответ не явился бы

[7] См.: Baker G.P., Hacker P.M.S. Scepticism, rules and language. Oxford, 1984. P. 2.
[8] Лебедев М.В. Стабильность языкового значения. М., 1998.

для Витгенштейна удовлетворительным, из чего и возникает обсуждение проблемы следования правилу. Поэтому для этого обсуждения оказывается не столь важно, конечное или бесконечное множество утверждений вовлечены в рассуждение —его целью является скорее уточнение понятия процедуры, роли процедур, содержания процедур, в отличие от статичных понятий.

Интерпретация описанной проблематики, предложенная Солом Крипке, утверждает логический приоритет обсуждения следования правилу над обсуждением аргумента частного языка. Эта постановка вопроса отличается от изложенной в § 201 "Философских исследований", где Витгенштейн формулирует проблему, ставшую фокусом дискуссий, следующим образом.

> Наш парадокс был таким: ни один образ действий не мог бы определяться каким-то правилом, поскольку любой образ действий можно привести в соответствие. Ответом служило: если все можно привести в соответствие с данным правилом, то все может быть приведено и в противоречие с этим правилом. Поэтому тут не было бы ни соответствия, ни противоречия.
>
> Мы здесь сталкиваемся с определенным непониманием, и это видно уже из того, что по ходу рассуждения выдвигались одна за другой разные интерпретации; словно любая из них удовлетворяла нас лишь на то время, пока в голову не приходила другая, сменявшая прежнюю. А это свидетельствует о том, что существует такое понимание правила, которое является не *интерпретацией*, а обнаруживается в том, что мы называем "следованием правилу" и "действием вопреки" правилу в реальных случаях применения.

По мнению Крипке, "невозможность частного языка появляется как заключение скептического решения [Витгенштейном] его собственного парадокса"[9]. Сам Витгенштейн немедленно отклоняет этот парадокс в следующем же абзаце: "Мы здесь сталкиваемся с определенным непониманием..."; но Крипке использует парадокс для подробного скептического обсуждения проблемы значения.

(Крипке с самого начала оговаривается, что реконструируемая им скептическая фигура Витгенштейна не тождественна своему историческому источнику[10]. В свою очередь, теория Крипке породила собственную интерпретативную литературу, в которой обсуждение часто продолжается в значительной степени независимо от первоначального аргумента частного языка. Витгенштейн Крипке, реальный или вымышленный, стал самостоятельным философом — "Крипкенштейном", и для многих исследователей уже не важно, насколько верно (или насколько последовательно) воспроизведены в этой версии первоначальные идеи исторического Витгенштейна относительно частного языка — важнее возможные теоретические следствия[11]. В то же время другое возможное здесь соображение состоит в том, что хотя теория Крипке интересна и плодотворна, тем не менее она основана на недискусионном принятии автором некоторых исходных допущений, против которых приводил доводы Витгенштейн[12].)

Чтобы проиллюстрировать проблему, Крипке выбирает пример сложения. Каким образом мы понимаем, что именно нужно делать, чтобы сложить два числа?

---

[9] Kripke S. Wittgenstein on Rules and Private Language. Oxford, 1982. P. 68.
[10] Kripke S. Wittgenstein on Rules and Private Language. P. 5.
[11] См.: Boghossian P.A. The rule-following considerations. Mind №98 (392), 1989. Pp. 507 — 549.
[12] См.: Candlish S. Wittgensteins Privatsprachenargument. — In: von Savigny E. (ed). Wittgensteins Philosophische Untersuchungen. Berlin, 1997.

Представим себе скептика, подвергающего сомнению все арифметические действия, и назовем его скептиком Крипке. Скептик Крипке складывал в своей жизни конечное число чисел и получал конечное число результатов сложения по правилу сложения; между тем это правило определяет его ответы на неопределенно большое число задач сложения, которых он никогда в прошлом не решал, и получение неопределенно большого числа новых сумм. Так, вычисляя "68 + 57", скептик Крипке (как и всякий разумный человек) обычно предполагает, что не просто необоснованно выдает какое-то число в ответ, а действует по правилу, которое предопределяет для данной задачи единственно верный ответ "125". Суть скептического аргумента может тогда быть выражена таким образом: как я могу знать, впервые вычисляя "68 + 57", что следую именно правилу "сложения", а не какому-то другому, и что знак "+" и в этом случае означает ту же функцию, какую он означал в прошлом — "плюс", а не "квус".

Вопрос, который вытекает из скептического аргумента, может быть облечен в две формы[13].

1. Существует ли какой-нибудь *факт*, который бы свидетельствовал о том, что я имел в виду "плюс", а не "квус", отвечая "125" на поставленный математический вопрос?
2. Есть ли у меня какая-нибудь причина быть уверенным, что сейчас я должен ответить на известный вопрос "125", а не "5"?

Эти вопросы связаны: я должен ответить "125", потому что уверен, что этот ответ также соответствует тому, что я раньше *имел в виду* (т.е. действию "плюс"). Если есть факт, свидетельствующий о том, что я имею в виду то же, что и раньше, пользуясь знаком "+", то он может быть причиной моей уверенности в ответе "125". Иначе – мой ответ случаен, т.е. не может быть подведен под какое-то определенное правило или, что то же самое, может быть подведен под любое правило.

При этом скептик не оспаривает *теперешней* нашей уверенности в применении того или иного правила, в легитимности того или иного ответа, он согласен, что в соответствии с нашими теперешними правилами "68 + 57" означает 125; шире — он не оспаривает *теперешних* правил того языка, на котором мы с ним дискутируем: он сам говорит на этом же языке; он только оспаривает, что мое теперешнее использование языка совпадает с моим прошлыми его использованием, что теперь я подтверждаю мои прошлые лингвистические намерения. Проблема не в том, "Как я знаю, что 68 плюс 57 есть 125?" — на это можно ответить, произведя вычисление, — а в том, "Как я знаю, что "68 плюс 57" в согласии с тем, что я *имел в виду* под "плюсом" *в прошлом*, должно означать 125?". Если слово "плюс", как я использовал его в прошлом, означало функцию квус, а не плюс, тогда моя *прошлая* интенция была такой, что на вопрос "Сколько будет 68 плюс 57?", я должен был бы ответить "5". Имея в своем прошлом конечное число вычислений, относительно которых я полагаю, что, делая их, я применял правило сложения, но ничто не мешает нам предположить, что "на самом деле" я следовал в этих случаях правилу "квожения", причем различия между применением правил сложения и квожения не были заметны в прошлом — в том, что касается произведенных в прошлом вычислений, оба этих правила совпадают, — но различие между ними может состоять как раз в том, что

[13] Kripke S. Wittgenstein on Rules and Private Language. P. 11.

сложение требует ответить 125 на известный вопрос, а квожение — 5. Поскольку я не могу сказать точно, какое правило из этих двух я действительно применял в прошлом, хотя думал, что применяю правило сложения, я не могу быть уверен, что в новом случае вычисления ответ 125 предпочтительнее, чем 5; вернее, учитывая специфику скептического поведения скептика Крипке, будучи уверен, что сейчас я должен ответить 125, поскольку сейчас-то я применяю правило сложения, я никак не могу обосновать свою уверенность в том, что в прошлом я тоже применял правило сложения, а не квожения. С другой стороны, этот скептицизм является и скептицизмом в отношении теперешнего использования правил, поскольку никакого факта из моего связанного с вычислениями прошлого не подсказывает мне, что ответ на теперешний вопрос должен быть 125, а не 5 — подобно примеру Витгенштейна "Как я знаю, что этот цвет "красный"?" (Замечания по основаниям математики, ч.1, § 3) или примеру Нельсона Гудмена с применением термина "green", под которым в прошлом он мог постоянно понимать то, что соответствует термину "grue"[14].

Возможно следующее возражение: "я не необоснованно даю ответ 125, поскольку, прежде чем дать его, я выполняю некоторый усвоенный алгоритм – я *вычисляю* ответ". Однако, развивая свое сомнение, скептик может спросить, "Что свидетельствует мне о том, что прежде я считал, а не квитал – т.е. что я под правилами "счета" не мыслил на самом деле "квета", где "квитать" значит то же самое, что и считать, за исключением случая "68 + 57", где "квитать" подразумевает вместо сложения использовать квожение…" И так далее – каждое правило языка, ссылкой на которое мы пытались бы подтвердить применение того или иного правила в прошлом, само подвержено попаданию в круг скептической аргументации *ad infinitum*.

Количество случаев применения правила сложения потенциально бесконечно, и нетривиальные интерпретации правила — так же, как и стандартные — должны быть совместимы с любым конечным множеством применений обычного вида. Тогда, как представляется, следует предположить наличие некоторого истинностного фактора, делающего истинным мое утверждение "плюс", которым я обозначаю обычную функцию сложения, а не нечто иное. Для Крипке эта ситуация указывает на Юмову проблему, для которой, по мнению Крипке, Витгенштейн дает "скептическое" решение, причем для обоих упомянутых выше вопросов.

Главная аналогия между скептицизмом Витгенштейна и скептицизмом Юма заключается в том, что оба они считают невозможным прямое решение своей скептической проблемы и предлагают ее скептическое решение. Соответственно, Крипке дает определения прямому и скептическому решениям.

Предлагаемое решение можно считать *прямым*, если оно показывает, что при ближайшем рассмотрении скептицизм оказывается неоправданным; некоторый сложный аргумент может все же доказать тезис, в котором сомневался скептик. Попытку прямого решения скептического парадокса дает приведенный выше аргумент алгоритма в следующей форме: "в уме" у нас содержится что-то вроде таблицы или инструкции, определяющей применение правила для каждого из случаев. Этот аргумент, однако, может работать только для правил, действующих на конечном числе случаев, поскольку наша память не может вместить

[14] Goodman N. Fact, Fiction and Forecast. 4th edition. Indianpolis, 1983. Pp. 93 — 95.

информацию о бесконечном числе случаев; большинство же правил распространяются именно на бесконечное число случаев.

Прямым решением могло бы быть диспозициональное: мыслить сложение под знаком "+" значит быть расположенным (иметь диспозицию), когда попросят суммировать любые "*x + y*", дать в ответ сумму *x* и *y*; мыслить сложение (квожение) под знаком "квус" значит иметь диспозицию дать в ответ на такой же вопрос *квумму x* и *y*. Сказать, что на деле я в прошлом имел в виду плюс, значит сказать, что, будучи в прошлом спрошен дать ответ на вопрос "68 + 57 = ?", я *ответил бы* 125. Но в прошлом я не сталкивался с таким случаем, так что моя прошлая диспозиция соответствующая "следованию правилу сложения" – не более, чем гипотеза; в прошлом я мог бы иметь диспозицию дать ответ 5 на указанный вопрос, какова была моя диспозиция в прошлом (и какому правилу она соответствовала), никак не обосновывается тем, что теперь, уж поскольку я актуально отвечаю 125, я могу приписать себе диспозицию давать ответ 125, когда передо мной стоит вопрос "68 + 57 = ?". Кроме того, диспозициональное решение не учитывает существование очень больших чисел, производить с которыми действия в уме или на бумаге (или как угодно) практически невозможно или слишком долго, чтобы на это хватило человеческой жизни: таким образом, ответом на подобные вопросы будет выражение неспособности дать на такой вопрос вообще какой бы то ни было ответ; диспозиция между тем предполагает, что ответ в соответствии с правилом сложения может быть дан на любой из бесконечного ряда вопросов о сумме двух положительных чисел, независимо от их размера.

Итак, прямое решение не проходит, и в этом заключается параллельность скептических ситуаций Витгенштейна и Юма. Априорное оправдание индуктивного рассуждения и анализ каузального отношения как подлинной необходимой связи между парами событий был бы прямым решением поставленных Юмом скептических проблем — индукции и каузальности, соответственно. *Скептическое* решение скептической философской проблемы начинается, напротив, с признания скептических негативных утверждений нерешаемыми (безответными). Тем не менее, наша повседневная практика или вера оправдана постольку, поскольку она, как показал скептик, не нуждается в том, чтобы требовать оправдания. И ценность скептического аргумента во многом состоит именно в том факте, что он показывает: повседневная практика, если она вообще нуждается в защите, не может быть защищена прямым путем. Скептическое решение может также включать в себя скептический анализ или описание повседневных полаганий с тем, чтобы опровергнуть их *prima facie* кажущуюся референциальную связь с метафизической абсурдностью.

Скептическое решение Юма таково: если А и В суть два типа событий, которые мы видим постоянно соединенными вместе, то мы обусловлены ожидать, что событие типа В будет сопутствовать событию типа А. Сказать о частном событии *а*, что оно вызвано другим событием *в* значит подвести эти два события под два типа А и В, которые, как мы ожидаем, будут и в будущем так же соединены друг с другом, как они были соединены в прошлом. Только когда частные события *а* и *в* мыслятся как относящиеся к двум типам событий А и В, соотнесенных посредством генерализации – за *всеми* событиями типа А следуют события типа В, – можно сказать, что *а* "влечет за собой" (является причиной) *в*. Когда события *а* и *в* мыслятся отдельно сами по себе, к ним нельзя применить никаких каузальных

отношений. Это заключение Юма Крипке предлагает называть невозможностью индивидуальной каузальности.

Так же, как с Юмовым скептическим решением его скептического парадокса коррелирует заключение о невозможности индивидуальной каузальности, так и невозможность индивидуального языка — это заключение Витгенштейна, коррелирующее с его скептическим решением его собственного скептического парадокса.

Скептическое решение Витгенштейна основывается на отрицании существования какого-либо "превосходного факта", который бы свидетельствовал философам (служил бы критерием) о следовании тому, а не иному правилу. Витгенштейн в "ФИ" критикует ту позицию, которую он сам занимал в "Трактате". Там значение декларативного предложения обеспечивалось наличием у него условий истинности (его соответствием фактам). Теперь Витгенштейн замещает вопрос "В каком случае данное предложение может быть истинным?" двумя другими: первый — "При каких условиях эта словесная фигура может соответствующим образом утверждаться (или отрицаться)?"; второй, предполагающий ответ на первый вопрос — "Каковы в нашей жизненной практике роль и применение утверждения (или отрицания) словесной фигуры при этих условиях?". Правильнее говоря, нельзя говорить об условиях "утверждения", но скорее, в более общем виде, об условиях, при которых должен быть сделан тот или иной ход (форма лингвистического выражения) в "языковой игре".

Все, что необходимо для легитимации утверждений о том, что некто имеет в виду нечто — это наличие приблизительно специфицируемых обстоятельств, при которых эти утверждения легитимно утверждаемы, и то обстоятельство, что игра в высказывание таких утверждений при этих условиях имеет место в нашей жизни (жизни языкового сообщества). Никакого предположения, что этим утверждениям "соответствуют факты", не нужно. Тогда, если Витгенштейн прав, мы не можем начать решать скептический парадокс, пока мы остаемся во власти предпосылки о том, что осмысленные декларативные предложения должны иметь целью (подразумевать) соответствие фактам. Если наши рассуждения основаны на этом, то мы можем только заключить, что предложения, приписывающие значение и интенцию другим, сами бессмысленны.

Если мы теперь вернемся к исходному вопросу — существует ли какой-нибудь *факт*, который бы свидетельствовал о том, что я имел в виду "плюс", а не "квус", отвечая "125" на поставленный математический вопрос? — то мы должны будем ответить на него так: "не имеется никаких фактов относительно меня, которые отличают мое обозначение определенной функции как "плюс" ... и вообще мое обозначение чего бы то ни было"[15]. Отсутствие таких фактов, в представлении Крипке, приводит Витгенштейна к тому, чтобы отказаться от объяснения значений утверждений, подобных "Знаком 'плюс' я обозначаю сложение" в терминах условий истинности, и заменять это объяснением в терминах условий утверждаемости (assertibility), которые отсылают к фактически действующей (а не просто потенциальной) конвенции конкретного языкового сообщества. Под последним в таком случае будет пониматься множество людей, использующих примененную в рассматриваемом утверждении знаковую систему — или, более строго, *все* примененные в рассматриваемом утверждении знаковые системы. Это соглашение, по теории Крипке, узаконивает возможность нашего обозначения

[15] Kripke S. Wittgenstein on Rules and Private Language. P. 21.

операции сложения знаком "плюс" несмотря на то, что для этого отсутствуют фактические основания. Поэтому такое (предполагаемое) решение парадокса Витгенштейном Крипке называет скептическим: оно не опровергает собственно скептического тезиса об отсутствии условий истинности для утверждений описанного вида.

Аналогия между скептицизмом Витгенштейна и Юма прослеживается также и в том, что проблема следования правилу может быть рассмотрена как одна из возможных интерпретаций одной из наиболее традиционных философских проблем — проблемы тождества: как можно установить, что два нумерически разных предмета принадлежат к одному виду? Эта трудность была воспроизведена Юмом: описывая причинную связь, как устойчивую зависимость между явлениями одного и того же типа, он обратил внимание на то, что наша способность идентифицировать явления как одни и те же не имеет под собой никакой реальной основы и может быть, в лучшем случае, лишь делом привычки. Иными словами, такая идентификация всегда остается случайной.

Основное различие между проблемой следования правилу и проблемой тождества состоит в том, что последняя традиционно анализируется в категориях признаков или свойств[16]. Если для каждого свойства F предмет x обладает F ттт предмет y обладает F, то x идентичен y:

$$(F)(Fx \leftrightarrow Fy) \rightarrow x=y.$$

Как могли бы эти соображения прояснить употребление выражений вида "если некто следует правилу, то он должен получить то-то и то-то" и т.д.? Возможно, под вопросом оказывается наша способность делать определенные утверждения о правиле. Есть ли основания полагать, что существует общее понимание правила? Если бы изменения в температуре комнаты были достаточно локализованы, то не имело смысла бы говорить о температуре комнаты. Но та возможность, к которой привлек внимание Витгенштейн, вероятно, есть именно возможность того, что изменения в понимании локализованы таким образом ("кластеризованы"?) Если мы не можем рационально исключить эту возможность, то мы не можем говорить об определенном значении выражения, так как значение выражения — это только способ, которым это выражение обычно понимается.

Это означает, по сути, предположить, что в основе комментариев Витгенштейна находится некоторый вид *индуктивного* скептицизма[17]. Предположение могло бы быть усилено следующим образом. Витгенштейн очевидно отклоняет идею о том, что значение выражения — это нечто (что бы то ни было), что может быть легитимно рассмотрено как некоторое ограничение дальнейшего использования этого выражения. Один из способов поддержки этого представления состоял бы в том, чтобы предположить, что адекватная теория значения выражения должна на любой стадии являться теорией прошлых использований этого выражения. В этом случае каждое новое использование выражения было бы независимо от теории, данной ранее, и требовало бы уточнения и расширения этой теории. Конечно, решающим возражением на такое представление значения выражения был бы его

[16] См.: P.Forrest. Identity of Indiscernibles // Stanford Encyclopedia of Philosophy. URL: http://plato.stanford.edu/entries/identity-indiscernible/

[17] См.: Wright C. Wittgenstein on the Foundations of Mathematics. Cambridge Mass., 1980.

конфликт со стандартными критериями того, что значит неправильно истолковать значение. Неправильно используя выражение, некто показывает, что он не понимает его, каким бы точным ни было знание этим человеком истории использования этого выражения. Знание значения есть знание о том, как сделать нечто: мы, как предполагается, знаем, как вообще должно использоваться это выражение.

Здесь следует заметить, что шаг от теории прошлого использования выражения к утверждению его общего использования является индуктивным. Знание, которое мы получаем, когда мы изучаем первый язык, скорее всего является не чем иным как индуктивно обоснованными заключениями о том, как выражения должны вообще использоваться, и эти заключения выведены из нашего опыта того, как эти выражения использовались ранее. Таким образом, чтобы обладать тем же самым пониманием выражения, что и кто-то еще, надо сформировать, на основе соответствующего обучения, ту же самую индуктивную гипотезу о правильном использования этого выражения. Но есть ли свидетельства в пользу того, что широкое семантическое разнообразие является действительной практической возможностью? Скорее напротив, все свидетельства очевидно указывают на то, что все мы имеем одни и те же индуктивные гипотезы. Добавляет ли Витгенштейн что-либо к индуктивному скептицизму относительно общих заключений о том, как выражение должно использоваться, на основании образцов его использования?

Ответ должен быть утвердительным. Дело в том, что если бы Витгенштейн этим ограничивался, то этот скептицизм не имел бы никакого отношения к теории значения. Наиболее важна здесь предполагаемая равная валидность неопределенного числа несовместимых гипотез, каждая из которых удовлетворяет (фактическим) данным о прошлом использовании некоторого выражения. Любое количество таких гипотез может ожидать своего часа Ч в лингвистическом сообществе. Но, как показали Юм и Гудмен, такова ситуация с *любым* индуктивным выводом. Таким образом, может показаться, что адекватное возражение представлениям Витгенштейна (в их текущей интерпретации) будет состоять в том, чтобы решить проблему индукции, чтобы показать, что *не* всегда доступно неопределенно много гипотез, которые на основе некоторой очевидности могут быть приняты с одинаковой рациональностью. Можно предположить, что при попытке простой индукции мы сталкиваемся с бесконечным количеством возможных гипотез, однако лишь с конечным количеством вероятных гипотез — таких, принятие которых на основе общедоступной очевидности было бы рационально. Такой тезис опровергает как индуктивный скептицизм вообще, так и специфический индуктивный скептицизм относительно значения. В последнем случае можно ожидать, если язык используется последовательно, что все разумные существа рано или поздно придут к одной и той же гипотезе (в результате некоторого "идеального" или "рационального" исследования — например, по Патнэму).

Однако стоит заметить, что неправильно было бы отождествлять проблему представления взглядов Витгенштейна (в этой интерпретации) и проблему традиционных эпистемологических трудностей с индукцией. Если бы позиция Витгенштейна в вопросе о значении была позицией индуктивного скептика, то имелось бы важное различие между его позицией и индуктивным скептицизмом вообще. Ведь как мы можем знать, какие из гипотез являются рациональными, каким образом они (рационально) совместимы с данными, которыми мы

располагаем, и какие мы можем рационально устранить? Если вообще было бы правомерно допустить, что на любой стадии процесса усвоения любого понятия мы сталкиваемся с неограниченным количеством возможных гипотез о его правильном применении, то такое же допущение должно быть сделана относительно понятия рациональности, в особенности относительно понятия рационального индуктивного вывода. И теперь наша рациональность не может быть применена (во всяком случае эмпириком) для сокращения числа возможных вариантов, так как самое рациональность остается для нас непроясненной.

Итак, возможно такое решение проблемы индукции, которое показывало бы, что всегда можно продвигаться, имея адекватные данные, к ситуации, где является рациональным принять на основе этих данных только одну специфическую гипотезу. Но такое решение не могло бы эффективно опровергнуть общий индуктивный скептицизм относительно идентичности определенных понятий у различных людей, и в особенности относительно наших понятий правильного использования определенных выражений. Допустим, что мы полагаем проблему состоящей в объяснении идентичности понимания определенного выражения различными людьми и определяем эту идентичность как использование (намерение использования) в соответствии с одной и той же индуктивно достигнутой управляющей гипотезой. Но в этом случае у нас все еще не будет достаточных оснований предположить, что такова будет ситуация в каждом случае, когда мы достигли наших соответствующих гипотез вполне рациональными методами на основе достаточно широкого опыта. Этот ответ просто свел бы затруднение обратно к необходимости обоснования предположения о том, что мы действуем в соответствии с одним и тем же понятием рационального индуктивного вывода. Если мы представляем индуктивный скептицизм вообще как вопрос по существу: "Как мы можем рационально выбрать некоторую из неопределенного числа гипотез, которые могут быть использованы для объяснения определенного конечного множества данных?", то особенность его применения Витгенштейном (в настоящей интерпретации) такова, что к нему не применимо приведенное выше решение — которое было бы валидно для любого другого применения. У нас не будет оснований предположить, что все мы достигли одного и того же понимания некоторого выражения потому, что все наши заключения рациональны (если только у нас нет дополнительных причин считать их таковыми).

Парадоксальность взглядов Витгенштейна на эту проблему в привлечении внимания к возможности, которую в силу обычных критериев мы имеем основания исключить. Количество успешной лингвистической коммуникации и разнообразие ситуаций, в которых она имеет место, составляют по любым обычным стандартам кардинально мощные индуктивные основания для того, чтобы предположить, что мы разделяем общее понимание большинства выражений на нашем языке. Кроме успешности нашего использования языка, есть и независимые практические причины, чтобы предположить, что это, скорее всего, именно так.

Справедливость — или, скорее, полнота — такой интерпретации Витгенштейна вызывает следующее возражение: требование о наличии соглашения сообщества для возможности обозначения очевидно содержит в себе непосредственно отрицание возможности частного языка, делая таким образом аргумент, изложенный в §§ 256-271 "Философских исследований", избыточным. Эта первая формулировка скептической проблемы опирается на предположение Крипке о

том, что мы располагаем некоторыми представлениями о фактах независимо от истинности тех или иных фактических утверждений. Но одной из главных идей "Философских исследований" является именно учение о невозможности подобных представлений и о том, что единственный путь к идентификации фактов лежит через анализ использования выражений, заключающих об этих фактах, и анализ условий их истинности.

И действительно, настоящая интерпретация идей Витгенштейна о следовании правилу находится в противоречии с его более поздним подходом к традиционным эпистемологическим проблемам. Некоторые из фрагментов "ФИ" можно считать прямо направленными против скептицизма. Но обсуждение парадокса следования правилу тем не менее позволяет все детальнее формулировать вопросы, возникающие в связи с проблемой значения[18].

Таким образом, анализ аргументов концепции "значение как употребление" показывает, что Витгенштейн не *противопоставляет* условия утверждаемости условиям истинности (на чем настаивает, например, Крипке). Скорее, обоснование Витгенштейном условий утверждаемости следует рассматривать как обоснование условий истинности, учитывающее обстоятельства употребления знака.

Понятно, что принятие последнего положения требует раскрытия используемой концепции истинности, равно как и условий обоснования.

5.3 Анализ обыденного языка

5.3.1. Общая характеристика направления

В конце 20-х — начале 30-х годов в Англии сформировался тип философского анализа (впоследствии приписываемый позднему Витгенштейну), основной целью которого провозглашается анализ обыденных форм рассуждения. Он возник в противовес как традиционному техницизму философии, так и формализованному анализу в его феноменалистическом и физикалистском вариантах. Хотя этот тип анализа иногда применяется к специальным языкам математики и физики, однако его основным предметом является обыденный язык. Средством проведения этого анализа и формулировки его результатов также в основном является обыденный язык. И хотя представители этого типа анализа нередко пытаются выйти за пределы языка, чтобы осмыслить лежащие в его основе понятия, однако их внимание почти всегда направлено на общеупотребительные выражения.

Анализ обыденного языка и в терминах обыденного языка, конечно, не является чем-то новым в западной философии. Как отмечает Дж. Пассмор, мы встречаемся с ним уже в диалогах Сократа, а затем в различных «восстаниях» против технического жаргона уже установившихся школ, — восстаниях, связанных с именами Гоббса, Локка и Джеймса. Однако большинство этих восстаний против техницизма философии было поднято в знак протеста против техницизма одной отрасли философии и в интересах другой, так что все они вводили свою собственную техническую терминологию. Современный анализ обыденного языка отличается от своих предшественников тем, что он является протестом не против

[18] См.: Лебедев М.В. Проблема следования правилу в философии математики Витгенштейна. — В кн.: Стили и методы математического мышления (под ред. А.Г.Барабашева). М., 1999.

техницизма одной какой-то частной отрасли философии, а против самого техницизма в философии. Он выдвигается не в интересах какой-то частной отрасли философии, а в интересах изгнания путаницы из философии и облегчения понимания как самого мультиформного философского дискурса, так и собственных интроспекций посредством сравнительного изучения форм обыденной речи.

Если мы рассмотрим существующие представления о языке как об объекте осмысления и исследования, то увидим, что эти представления нетождественны в различных видах теорий языка. При этом на протяжении более двух тысяч лет европейской традиции исследований языка философские и эмпирические теории языка не имели строгого разграничения (например, диалог Платона "Кратил" считается лингвистами первым в Европе специальным сочинением по лингвистике), и лишь в последние два столетия различия в подходах оформляются в самостоятельные области исследования как в рамках философии, так и в позитивной науке.

Здесь мы попытаемся охарактеризовать несколько различных *абстракций языка*, используемых в различных видах теорий, и проследить их взаимодействия и трансформации в связи с развитием собственно теоретической философии.

Можно выделить несколько абстракций языка:

1. применяемая в логике;
2. в аналитической философии;
3. в филологии и герменевтике;
4. в структурализме;
5. семиотике;
6 в лингвистике.

1. К. Айдукевич писал о разных принципах *идеализации* языка, используемых логикой и лингвистикой. Согласно нему, главное различие между лингвистикой и логикой состоит в том, что предмет исследования в лингвистике — естественные языки, тогда как логика заинтересована формальными языками. Относительная простота языков, изучаемых логиками, позволяет им выяснять структуры этих языков более четко, чем это является достижимым для лингвистов, анализирующих исключительно сложные естественные языки. Ввиду того, что языки, изучаемые логиками, используют отношения, скопированные с естественных языков, логики способны внести существенный вклад в общую теорию языка. По всей вероятности, результаты анализа, предпринятого логиками, не могут быть применимы simpliciter к эмпирически данным естественным языкам, а их исследования, игнорирующие некоторые характерные особенности естественных языков, нуждаются в существенных исправлениях, если они претендуют на описание естественных языков. Ситуация здесь подобна той, которая имеет место в физике: физик также формулирует теоремы для идеально упрощенных случаев, которые не происходят в природе вообще — он формулирует законы для идеальных газов, идеальных жидкостей, говорит о движении при отсутствии трения и т.д. Для этих идеализированных случаев можно установить простые законы, которые значительно способствовали бы пониманию того, что происходит в действительности и что, вероятно, осталось бы неизвестным физике, если бы она пробовала рассматривать действительность

непосредственно, во всей сложности. Поэтому языки, анализируемые логиками, могут быть рассмотрены как идеализация естественных языков[19].

Итак, согласно такой точке зрения, репрезентативной по крайней мере для классической логики, можно сказать, что используемые в логике и в лингвистике абстракции языка различаются тем, что логика применяет метод идеализации, а лингвистика эмпирически описывает естественные языки, не используя идеализации.

2. Это различение, вероятно, может быть эксплицировано в качестве исходного допущения при философствовании "логикоморфном" — аналитическом. Чтобы оправдать отсутствие специальной информации о естественном языке как объекте исследования, в аналитической традиции объявляется объектом некий "обыденный язык", известный всем, в том числе и философам, для чего философ вынужден играть языковую роль "человека с улицы", коряво строящего предложения — во всяком случае, не заботящегося о стиле. Естественно, не все хотят играть эту роль, или, во всяком случае, играют ее по-разному, в результате чего абстракции обыденного языка не хватает очевидности: у каждого он разный — обращаясь к обыденному языку", исследователи неизбежно имеют дело не с чем иным, как с собственной языковой компетенцией. Для легитимации этого положения привлекается аргумент невозможности индивидуального языка (являющийся предметом одной из самых широких дискуссий в аналитической философии с 60-х годов по наши дни), но он не снимает факта нетождественности трактовки самого понятия "обыденный язык" в аналитической философии. К этому обыденному языку объявляются применимыми (пусть не всегда и/или с оговорками) правила, установленные для формальных языков. (Лингвистика на определенном этапе также не избежала этого соблазна, но уже с 50-х годов он оказался практически полностью отброшен.)

Аналитические теории коммуникационного намерения, концентрирующиеся на употреблении выражений в речевых ситуациях, также, как правило, разделяют эту абстракцию объекта.

3. Другое направление философских исследований языка — герменевтика — впадает в противоположную крайность, рассматривая в качестве своего объекта язык как не столько лингвистическую, сколько филологическую абстракцию, совокупность литературных текстов. Идеализация здесь носит характер не столько обобщения, сколько метафоры. Поэтому герменевтика остается на удалении от эмпирической теории языка, как и аналитическая философия. Наиболее важны здесь два принципа:

- ☐ идея системности знака и ее методологические следствия — прежде всего отведение семантической роли синтагматическим отношениям в языке, признание зависимости значения знака от его окружения и внутренней формы;

- ☐ семантическая релевантность интерпретации.

[19] Ajdukiewicz K. O zwiazkach skladniowych miedzy czlonami zdan oznajmujacych. – In: Ajdukiewicz K. Jezyk i poznanie. Vol. II. Warszawa, 1965. S.344.

4. Еще одно направление исследований языка, которое может быть названо (с существнным скрипом) собственно философским — структурализм. Истоки этого философского течения находятся в методологии специальной теории языка — Соссюровой (восходящей в этом отношенгии к Лейбницу) лингвистики, согласно которой возможно вневременное квантитативное изучение системы языка, основанное на отношениях, а не на индивидуальности элементов или их материальности. Наиболее важные здесь принципы:

- ☐ каждый элемент языка существует лишь в силу его отношений к другим элементам в составе системы; отношения в рамках системы доминируют над элементами;
- ☐ подобно языку могут быть рассмотрены некоторые другие системы, действующие в человеческих обществах, – фольклор, обычаи и ритуалы, отношения родства и т.д., а в предельном смысле — вообще любые системы: все они могут изучаться, подобно языку, лингвистически, в частности формализоваться теми или иными точными способами (семиотика).

5. Специфика абстракции языка, используемой в семиотике, связана с акцентом на *знаковой природе* языка. При этом понимание языка как знаковой системы не свойственно исключительно семиотике; с этим согласны, вообще говоря, все теории языка. Но именно семиотика исходит из допущения о том, что все свойства языка могут быть объяснены через свойства знака. Можно сказать, что семиотика является не собственно философским, а самостоятельным направлением исследований именно в силу того, что в центре ее внимания находится знак как предмет, а не проблема значения.

Этим объясняется, например, то обстоятельство, что два основателя семиотики, философы Ч.С.Пирс и Ч.У.Моррис — мыслители во многом противоположные. В их подходах к проблеме значения обнаруживаются совершенно различные эпистемологические установки (неокантианская и бихевиористская соответственно), что не помешало Моррису принять за основу работы Пирса по знаковым системам при формировании семиотики как научной дисциплины.

6. С точки зрения методологии лингвистики ее трактовка как эмпирической дисциплины (например, в подходе Айдукевича, с которого мы начали рассмотрение), не использующей идеализации, оказывается недостаточной. Правомернее, видимо, говорить здесь об используемом в лингвистике ином типе абстракции — использующем при идеализации достаточно сложные принципы: системный и процессуальный.

Лингвистическая абстракция не представляет собой единого целого, разделяясь как минимум надвое в соответствии с усмотренной Гумбольдтом дистинкцией между таким представлением языка, согласно которому индивидуальные речевые акты являются окказиональными проявлениями устойчивой нормы, и таким, согласно которому язык является созидающим процессом, осуществляющимся в ходе порождения текста. В соответствии с этим существующие подходы к анализу природы значения могут быть распределены в зависимости от их отношения к

трактовке языка как знаковой системы. Одно и то же синхронное явление в языке может рассматриваться с двух точек зрения:

☐ статически, когда мы констатируем само наличие этого явления и его собственные отличительные признаки;

☐ процессуально, когда мы стремимся определить, в результате какого процесса оно возникает или же преобразованием какой единицы (или единиц) может считаться.

В одном случае мы рассматриваем анализируемое явление как непосредственную данность, в другом — как данность, выводимую из неких единиц, принимаемых за исходные, и как следствие определенных операций, с ними совершаемых; нашей целью оказывается описание динамики возникновения единицы, или же ее *динамическое* представление.

В первом случае знак рассматривается как элемент статической системы. При этом его определяют как двуединую сущность, имеющую план выражения (означающее) и план содержания (означаемое), где означающее — феноменальный, чувственно воспринимаемый объект, который символически представляет и условно отсылает к обозначаемому им предмету (явлению, свойству, отношению).

Во втором случае знак может быть рассмотрен как элемент динамической системы — процесса передачи информации. Такие модели учитывают, с одной стороны, актуализацию значения в процессе коммуникации, с другой — изменения в значении языковых единиц в связи с изменениями, которые претерпевают обозначаемые реалии во внешнем мире и с тем, как эти изменения трансформируются в сознании носителя языка и языкового сообщества. В этом случае в языковом знаке обнаруживаются три плана: план выражения и план содержания, соотношение которых может определяться так же, как в предыдущем случае, а также план интерпретации сообщения реципиентом[20]. В соответствии с этим в структуре знака выделяются не два, а три, четыре, пять и более компонентов.

Различие указанных подходов может быть рассмотрено в связи с разными эпистемологическими парадигмами, поскольку оно отражает отказ от характерного для репрезентационизма статичного подхода к исследованию знания. Для теорий языка это может означать, что внимание методологии переключается с проблемы обоснования языкового знания (т.е. проблемы философской) на проблему строения и развития самой теории. Является ли такое следствие единственным? Для ответа на этот вопрос надо проследить последовательность трансформаций статико-динамической контроверзы в связи с развитием эпистемологии.

Противопоставление динамических и статических моделей характерно для различия между двумя важнейшими традициями теорий языка в древнем мире — индийской и греческой[21]. В то время как в античной грамматике господствовал принцип, который можно было бы назвать принципом целостного *образца* (а холистическими образцами являлись не только парадигмы, но и составляющие их

[20] Моррис Ч. У. Основания теории знаков. — В кн.: Семиотика. М., "Радуга", 1983.
[21] Блумфилд Л. Язык. М., "Наука", 1968. С.24-26, 561-562.

отдельные нерасчлененные формы), у древнеиндийских грамматистов любые составные единицы констатировались образующим их *правилом*. Но само противопоставление динамических моделей статическим могло найти свое теоретическое обоснование лишь после того, как сосуществование динамического и статического начал было признано сущностным свойством языка как такового.

От Платона до Гумбольдта теории языка не разделялись на философию языка и лингвистику. С классической древности до конца XVIII в. лингвистика не была отделена от логики и ее предметом (как части тогдашней логики и философии) считались единые общечеловеческие способы выражения мысли. Обособление лингвистики произошло в XIX в. и связано с выработкой эволюционного взгляда на язык, позволившего идентифицировать предмет лингвистики — различные языки в их истории — как самостоятельный предмет, отличный от предмета любой другой науки.

В ходе развития лингвистических учений можно выделить следующие главные направления, последовательно сменявшие друг друга в качестве доминирующих: логическое, сравнительно-историческое, структурное и конструктивное. Первое из них в равной степени принадлежит собственно философии (период с V в. до н. э. по начало XIX в.). При этом, поскольку теории языка разрабатывались философами, то они, как правило, входят в их общефилософские системы и связаны с метафизическими и эпистемологическими установками; последние же зависят от идей времени.

Когда Декарт повторно ввел главные темы античности в представлении сущностного разделения сознания и тела, эпистемологически основной среди них оказался репрезентационизм (опора на представление). Согласно этому принципу, ментальные объекты представляют вещи внешнего по отношению к сознанию мира, а мышление подразумевает манипуляцию этими представлениями. Такой последовательный дуализм породил серьезные проблемы. Важным следствием из картезианской доктрины стал репрезентационистский скептицизм: представления не имеют никакой *необходимой* связи с представленной вещью.

Соответственно, анализ отношения языка к внешнему миру в "логическом" направлении исходит из допущения о том, что наше знание, выражаемое средствами языка, есть знание о внешнем мире, трансцендентном по отношению к этому знанию и языку. Отношение языка к сознанию играет в здесь подчиненную роль: от "лектона" стоиков до "знака" Локка (и, с определенными оговорками, вплоть до многих современных вариантов "денотации" и "референции" или "интенциональности") элементы языка полагаются аналогами элементов сознания, заключающего о внешнем мире. Анализ языка выступает на этом этапе одним из средств логики; язык рассматривается как средство формирования и выражения мысли. Отсюда следует отождествление логических и языковых категорий, восходящее к Аристотелю и наиболее полно воплощенное в картезианских грамматиках. Язык рассматривается лишь с точки зрения его функционирования как данная и неизменная система средств общения и выражения мысли.

Заложенное Декартом различение естественных наук и философии было реализовано только с Кантом. Постановка вопроса об отделении философии от науки стала возможной благодаря представлению, согласно которому главной областью философии является "теория познания", или эпистемология — теория, отличная от наук, потому что она была их *основанием.* Отвечая на вызов Юма, Кант определил то направление исследований, согласно которому в центре

находится вопрос не о том, познаваем ли мир, а о том, каким образом возможно, как возникает и организуется наше знание. Таким образом Кант трансформировал старое представление философии — метафизики как "царицы наук" (поскольку она занималась тем, что наиболее универсально и наименее материально) — в понятие "наиболее базисной" дисциплины — дисциплины оснований[22].

Важнейшую роль здесь приобрела Кантова идея формирования опыта, относящегося к несинтезированной интуиции так же, как форма к содержанию. Разум признается активным на всем протяжении процесса познания: "опыт сам есть вид познания, требующий участия рассудка, правила которого я должен предполагать в себе еще до того, как мне даны предметы, стало быть, *a priori*"[23]. Активность идей разума основана на представлении, определяющем нечто в отношении данных опыта до того, как они даны: мы можем знать объекты только в том случае, если мы их "учреждаем", или конституируем, как стали впоследствии говорить неокантианцы.

Подобные представления переносятся на область языка И. Гердером и В. фон Гумбольдтом, которые подчеркнули, что язык есть прежде всего "созидающий процесс", а не только результат этого процесса. Положение Гумбольдта о том, что язык есть не продукт деятельности (ergon), а сама деятельность (energeia), было направлено против представлений о языке как о механизме и имело своей целью привлечь исследователей к изучению творческого характера этой деятельности. Гумбольдт рассматривал каждый язык как самодовлеющую систему, не готовую, а вечно и непрерывно создаваемую, как деятельность, выражающую "глубинный дух народа".

Одним из важнейших следствий такого подхода оказалось осознание того факта, что каждый язык имеет свои особенности, отличающие его от других языков, и эти особенности познаются в сравнении. Это привело к возникновению сравнительно-исторического языкознания (радикальным вариантом которого стало психологическое направление, отрицающее какие-либо существенные связи с логикой), а в дальнейшем структурной лингвистики, редуцировавшей представления о языковых универсалиях до минимума и акцентировавшей внимание на описании наблюдаемых в языке форм с целью вывода частных категории и классов для каждого конкретного языка.

Другим важным следствием динамического подхода стало усвоение системных представлений, согласно которым подлинной и основной реальностью выступает не отдельный факт какого-либо языка, а язык как система, каждый элемент которой существует лишь в силу его отношений к другим элементам в составе системы. Эти представления стали основополагающими для идентификации лингвистики как научной дисциплины, а наиболее последовательное их развитие приводит к формированию *холистических* представлений.

Соответственно, по-иному стали изучаться связи языка с коллективным и индивидуальным сознанием. Герменевтика, сложившаяся как общая теория интерпретации, впоследствии трансформируется в собственно философское учение средствами феноменологии: сознание понимается как поле значений, открытых для интерпретации, и это поле имеет выраженно системный характер. Поэтому герменевтика сегодня находит множество точек соприкосновения, в том

[22] Рорти Р. Философия и зеркало природы. Новосибирск, 1997. С.97-100.
[23] Кант И. Предисловие ко второму изданию "Критики чистого разума". — Соч. в 6 тт. Т. 3. М., 1964. С. 88.

числе и методологических, с семиотикой, развивающейся без особых контактов с аналитической философией, но смыкающейся с лингвистикой и более широкими структуралистскими исследованиями.

Согласно Н.Гудмену, вообще не существует такой вещи, как неструктурированные, абсолютно непосредственные сенсорные "данные", свободные от классификации. Все восприятие определено выбором и классификацией, в свою очередь сформированными совокупностью унаследованных и приобретенных различными путями ограничений и преференций. Даже феноменальные утверждения, подразумевающие описание наименее опосредованных ощущений, не свободны от таких формообразующих влияний.

Согласно Гудмену, действительность не скрыта от нас. Однако систематически постигать ее можно не только одним способом, но множеством способов. Конечно, существуют системы, не согласующиеся с нашим опытом; но вместе с тем имеется и множество различных систем, которые "соответствуют" (fit) миру, причем некоторые из них представляют собой полностью равнозначные альтернативы.

По замечанию Г. Кюнга, "современная аналитическая философия по большей части просто пользовалась следствиями из открытия Гудмена"[24]. Однако еще одним источником критики "картезианского мифа" стала программа логического анализа языка, в которой вопросы о содержании сознания и о возможности познания связывались с вопросом о правилах языка.

Важные для нас идеи здесь могут быть описаны следующим образом. Если истина — соответствие мысли своему объекту, то мы не в состоянии истинно помыслить нечто без отсылки к миру, внешнему по отношению к сознанию. Вопрос о том, каким образом мы можем помыслить что-либо, означает в этом случае вопрос о том, каким образом мы можем помыслить что-либо, трансцендентное содержанию сознания. Следовательно, с репрезентационистской точки зрения мы не в состоянии заключать об вещи, помысленной самой по себе, вне зависимости от ее отношения к сознанию. По различению Д.Ф.Пирса, язык, знак которого функционирует по такому принципу истинности, будет *феноменалистским* языком - в противовес *феноменологическому* языку, не ставящему вопроса о наличии у предмета мысли самостоятельного бытия, не зависящего от человеческого мышления.

Язык, о котором идет речь в "Трактате" Витгенштейна, является феноменологическим в наиболее общем смысле, полагающем, что язык имеет дело с некоторыми данностями, "объектами знакомства", но не касающемся их онтологического статуса. Впоследствии Витгенштейн отказывается от своей программы перевода фактуальных предложений на феноменологический язык, поскольку, во-первых, вообще отказывается от идеи перевода на некоторый базовый язык, а во-вторых, его внимание привлекает идея феноменалистского языка — чисто сенсорного, фиксирующего эмпирические ощущения языка, заключающего о независимых объектах. Именно от такого типа языка он впоследствии отказывается как от невозможного в "Философских исследованиях". Таким образом, эволюция, проделанная сторонниками логического анализа языка вместе с Витгенштейном — это путь к различным вариантам абстракции "обыденного языка", интерпретируемой с различной степенью физикализма.

[24] Кюнг Г. Когнитивные науки на историческом фоне. — Вопросы философии №1, 1992. С.49.

На первый план в философии языка окончательно выходит проблема значения, и именно этот факт объединяет ее с логикой, но он же и предоставляет философии языка самостоятельную, ни к чему не редуцируемую концептуальную область, в которой впоследствии располагаются прагматические, бихевиористские, аналитические теории значения, являющиеся следствиями из концепции значения как употребления.

После "Философских исследований" считается общепризнанным, что значение слов определено как дискурсом, так и ситуацией, что предложения могут иметь больше чем одно значение, и т.д.

Источником значения в таких теориях традиционно признается конвенция, фактически действующая между членами языкового сообщества. Попытки связать понятие конвенции с конкретным языковым материалом делались при обсуждении гипотезы Сепира — Уорфа. Вместе с тем такие каузальные теории референции, как подход Крипке — Патнэма, существенно расширяют пределы конвенции, моделируя событие ее заключения ("церемония первого крещения", "предъявление образца"). Этот подход реализуется в ряде "расширенных" (broad) теорий референции (С. Крипке, Х. Патнэм, К. Доннелан, Р. Бойд, Г. Эванс и др.; см. §§ 10.4.2 — 10.4.4), использующих семантику возможных миров и другие технические средства для придания теории референции некоторого социокультурного измерения. Анализ таких теорий показывает, что используемые в них представления о репрезентации обладают существенными отличиями от "классического" репрезентационизма: репрезентация в них предстает так или иначе опосредованной[25].

Конструктивные модели языка идут еще дальше, помещая в центр своего внимания даже не факт, а процесс установления связи между знаком и его референтом и полагая этот процесс интендированием, или конституированием. При таком подходе сам избранный для каждой знаковой системы способ идентификации индивидов порождает тот факт, что индивиды имеются в наличии, и определяет, каких и сколько индивидов мы обнаруживаем. В этом смысле Гудмен говорит, например, что мы "делаем" звезды, используя язык со словом "звезда" и таким образом "делая" звезды релевантными для нашей языковой системы единицами. "Мы создаем звезды в том же отношении, что мы создаем созвездия, соединяя их части и разграничивая их пределы"[26].

Н. Хомским была предпринята попытка реализовать в специальной лингвистической теории конструктивные методологические принципы, почерпнутые у Куайна и Гудмена. В инициированном таким образом генеративном направлении понятие трансформации играет в модели описания языка центральную роль. Трансформация понимается прежде всего как констатация структурных отношений между парой конструкций, при которой сами эти отношения рассматриваются как если бы они были процессуальными (as though it were a process). Лингвистическая интерпретация процесса интендирования референта будет выглядеть здесь следующим образом. Ясно, что констатация подобных структурных отношений может быть процессуальной лишь тогда, когда трансформационное правило фиксирует все операции, необходимые для превращения одной конструкции в другую. Тогда, если признать трансформацию частью деривационного процесса, лингвистическая сущность которого состоит в

[25] Лебедев М.В. Стабильность языкового значения. М., "Эдиториал УРСС", 1998. С. 112-132.
[26] Goodman N. On starmaking. — In: On Mind and Other Matters. Cambridge Mass., 1984. P.42.

последовательном изменении значения через последовательные изменения формы, то трансформационное правило не может быть исключительно правилом формального или структурного преобразования одних единиц в другие и должно соотносить эти последние с наступающими изменениями в значении.

Итак, развитие философии языка может быть рассмотрено как связанное с различением репрезентационистской и конструктивистской установок.

Поскольку Декарт радикально отделил идеи, составляющие содержание сознания, от внешнего мира, трансцендентного по отношению к этим идеям, постольку спор о возможности познания действительности, начиная с Декарта и кончая XIX – XX веками, носил отпечаток парадигматической противопоставленности реализма и анти-реализма. Вопрос формулировался так: познаем ли мы только наши собственные идеи, "образы" вещей или мы можем заключать о существовании и даже свойствах внешнего мира, скрытого "позади наших идей? Главных позиций было три:

а) реализм: существует независимый от человеческого сознания внешний мир, и мы можем *раскрывать* его существование и его устройство;

б) позиция Канта: существует "вещь в себе", но она, будучи таковой, для нас непознаваема;

в) анти-реализм: допущение действительности, существующей независимо от нашего сознания, бессмысленно.

Ядро, общее для всех трех позиций, заключалось в убеждении, что мы можем непосредственно познавать лишь нас самих и наши собственные идеи. Это значит, что если вообще и имеется существующая "сама по себе" действительность, то она доступна не прямо, а лишь косвенно, через посредство причинного умозаключения.

Сегодня философы-профессионалы как феноменологического, так и аналитического толка называют подобное фундаментальное убеждение "картезианским репрезентационизмом", который, по мнению Г.Кюнга, практически повсеместно отброшен[27]. Для философии языка это означает признание *недостаточности* традиционного, наиболее общего не только для логикоморфного подхода допущения о том, что мы имеем дело с языковыми выражениями таким образом, что они указывают нам на определенные положения дел, события, факты, ситуации, независимые от самих языковых выражений и являющиеся "данными" заранее.

Этой парадигме противостоит конструктивистская, для которой характерны отклонение понятия "данного", отказ от проведения различия между восприятием и осмыслением (и, следовательно, от всех такого рода подходов к дихотомии наблюдения/теории для науки), отказ от априорности в пользу измененного взгляда на последовательность обоснования, акцент на прагматических соображениях в выборе теории и т.д.

Правильность последовательности обоснования может пониматься как *правильность алгоритма* и как *правильность усмотрения*. Смыслы могут быть конституированы правильно в том отношении, что последовательность шагов, необходимых для выполнения этой операции, может быть задана для воспроизведения. Истинное воспроизведение смысла здесь есть описание

[27] Кюнг Г. Когнитивные науки на историческом фоне. С.47.

процедуры его построения; в простейшем случае такая процедура состоит из одного шага.

Соответствующее эпистемологическое допущение является, возможно, одним из важнейших следствий "лингвистического поворота" в философии XX века. Так, согласно Рорти, обоснованность чьих-либо убеждений нельзя определить, исследуя отношения между идеями и их объектами. Обоснованность убеждений — социальный процесс, многоаспектный процесс коммуникации, посредством которого мы пробуем убедить друг друга в том, что мы полагаем. Мы понимаем природу знания, когда мы понимаем, какое значение знание имеет для обоснования наших убеждений, а не для все более и более точного представления действительности.

Отсюда становится ясной эпистемологическая значимость конструктивных систем для обоснования употребления языка. Она состоит прежде всего в выявлении совокупности взаимоотношений между различными частями концептуального аппарата. Фундаменталистская репрезентационистская метафора заменена в них Куайновой "сетью полаганий" ("web of belief"). После установления общей связности и внутренней непротиворечивости системы следующим этапом является выявление согласуемости различных систем, т. е., применительно к лингвистическим ситуациям, интерсубъективной аутентичности значений, возможности одинаковой идентификации референтов всеми членами языкового сообщества[28]. В этом смысле обладать знанием о предмете означает иметь возможность дать то или иное его описание, позволяя нам считать знание, говоря словами Джеймса, тем, "что лучше может быть полагаемым", но не "точной репрезентацией реальности". Философия языка, таким образом, предоставляет наиболее непосредственные основания для общефилософских построений.

Итак, взаимные влияния различных абстракций языка, используемых в различных видах теорий, оказываются взаимно плодотворными. Но наиболее продуктивным среди них, как представляется, стало влияние динамических представлений. Взаимоотношения лингвистической и философских абстракций проходят как бы два витка. Кантовский синтез и поэтические интуиции Гумбольдта сформировали лингвистическую абстракцию, которая оказала влияние на все остальные, чтобы затем вновь испытать влияние философской абстракции уже по новым, конструктивистским основаниям. При этом философская абстракция языка оказывается неразрывно связана с основными темами и движениями философии в целом.

Более конкретно, на ранние стадии традиционно рассматриваемого в рамках АФ анализа обыденного языка глубокое влияние оказала философия Дж. Э. Мура, особенно его учение о здравом смысле, согласно которому такие понятия, как «человек», «мир», «я», «внешний мир», «знать» и «воспринимать», необходимо брать в их обычном смысле. Собственно говоря, некоторые ранние работы Мура не менее замечательны примененными в них методами анализа обыденного языка, чем их реалистскими выводами. Мы уже упоминали об этом выше; теперь же рассмотрение анализа обыденного языка мы начнем, как это стало традицией, с Витгенштейна.

Согласно Витгенштейну, философия не имеет своего особого объекта, и поэтому, выполнив свою разъясняющую миссию, она должна уступить дорогу

[28] Лебедев М.В. Стабильность языкового значения. С. 96-103.

эмпирическому наблюдению. «Правильным методом философии был бы следующий: не говорить ничего, кроме того, что может быть сказано, следовательно, кроме предложений естествознания, то есть того, что не имеет ничего общего с философией, и затем всегда, когда кто-нибудь захочет сказать нечто метафизическое, показать ему, что он не дал никакого значения некоторым знакам в своих предложениях». (Руководствуясь этим принципом, следовало бы отбросить большинство утверждений самого Витгенштейна. «Тот, кто меня понял, в конце концов уясняет бессмысленность утверждений, если он поднялся с их помощью - на них - выше их. (Он должен, так сказать, отбросить лестницу, после того как он взберется по ней наверх.)»).

«Он должен преодолеть эти предложения, лишь тогда он правильно увидит мир.

О чем невозможно говорить, о том следует молчать».

«То, что вообще может быть сказано, может быть сказано ясно, а о чем невозможно говорить, о том следует молчать».

На более позднем этапе взгляды Витгенштейна (как они изложены в его книгах «Замечания по основаниям математики» и «Философские исследования») сохранили некоторые черты, характерные для «Трактата». Например, как в «Трактате», так и в сочинениях позднего периода Витгенштейн отрицает универсалии, духовные сущности, типы, логические константы, бесконечные множества, дихотомию души и тела и все подобные логические и метафизические аксессуары он предпочитает объекты, конкретные факты, действительно встречающиеся логические структуры и формы поведения. Однако в последних произведениях понимание Витгенштейном функций обыденного языка, задач философии и природы значения существенно отличается от изложения этих проблем в «Трактате»; и именно эти его поздние взгляды оказали особое влияние на формирование современного анализа обыденного языка.

Как в «Трактате», так и в поздних сочинениях Витгенштейн всецело признает чрезвычайную сложность обыденного языка. Однако его отношение к этой сложности было на разных этапах совершенно различным. В «Трактате» Витгенштейн из сложности обыденного языка делал вывод о необходимости выявления структуры обыденного языка в совершенном языке, в котором все сложные высказывания с помощью тавтологий сводились бы к элементарным высказываниям, отображающим атомарные факты. В последних работах он приходит к мысли о том, что попытка построения такого совершенного языка является бесполезной и ошибочной, и предпочитает бороться со сложностями обыденного языка путем отдельных прямых атак на конкретные проблемы в терминах обыденного языка, на котором в конечном счете должно выражаться любое объяснение. Поэтому, «когда я хочу говорить о языке... я должен говорить на языке повседневной жизни. Не является ли этот язык слишком грубым и материальным для выражения того, что мы хотим сказать? Если да, то как можно построить какой-либо другой язык?.. Философия никоим образом не должна вмешиваться в фактическое употребление языка; она в конечном счете может только описывать его». Тот вид анализа, который разлагает высказывания на простые элементы, для некоторых целей может оказаться полезным, однако это не должно побуждать нас думать, что «разложенная форма» является «более основательной формой», чем неразложенная, поскольку «можно представить себе людей, имеющих имена для... сочетаний цветов, но не для отдельных цветов». В действительности атомарные факты ни в коем случае не являются изолируемыми

и соответствующие им элементарные предложения на самом деле невозможно выделить. «Вообще не имеет смысла безусловно говорить о неразложимых элементах стула», и является что-либо сложным или нет - зависит от «конкретной языковой игры, в которой мы участвуем». Чистые тавтологии вряд ли имеют какое-либо фактическое употребление в языке; и хотя высказывания математики отличаются от обыденных фактических высказываний, они также отличаются друг от друга и вплетены в множество разнообразных языковых форм. Что же касается языка в целом, то следует сказать, что он не предназначен для единственной цели отображения действительности или для высказываний о том, «как обстоят дела», но является средством осуществления разнообразных потребностей человеческого организма. Он больше похож на ящик с инструментами, чем на фотопленку. В число образующих его языковых игр входят, между прочим, «отдача приказаний и повиновение им, описание явлений какого-либо объекта или измерение последнего, построение объекта по его описанию... сообщение о событиях, размышление о событиях, формулирование и проверка гипотез, представление результатов эксперимента в таблицах и диаграммах, сочинение рассказа и чтение его, актерская игра, решение арифметической задачи, перевод с одного языка на другой, вопросы, благодарности, ругательства, приветствия, молитвы». Невозможно найти общий признак всех языковых игр. Такие игры перекрещиваются друг с другом всевозможными способами. Они образуют семейство, а не индивид, и связываются друг с другом благодаря частичному пересечению, а не однородности. Исследование языка поэтому представляет собой не единообразную логическую процедуру, а разностороннее размышление над фактическим языковым опытом, в каждом конкретном случае приспособленное к рассматриваемой языковой игре.

Изменение, происшедшее во взглядах позднего Витгенштейна на функции обыденного языка, привело к изменению его взглядов на сущность и задачи философии. Витгенштейн пришел к выводу, что вопреки его ранним взглядам философские проблемы являются не прямыми результатами сложности обыденного языка, а результатами особого подхода к языку. Философских проблем не возникает до тех пор, пока язык используют обычным образом. Так, например, в обычном рассуждении мы не встречаем трудностей при связывании имен и вещей, но, как только «философ начинает выявлять само отношение между именем и вещью, уставившись на находящийся перед ним объект и повторяя его название... бесчисленное количество раз», именование начинает казаться странным занятием. Таким образом, «философские проблемы возникают тогда, когда язык бездельничает". Они встают тогда, «когда язык работает вхолостую, а не тогда, когда он по-настоящему работает». В силу этого здравая философия наших дней, имея дело с проблемами традиционной философии, не должна ни «показывать, что тот или иной конкретный вопрос недопустим, ни отвечать на него»; она должна показать, как, собственно, можно избежать традиционных философских головоломок. Тем самым философия становится «борьбой с околдовыванием нашего разума при помощи языка». Ее задача - «вернуть слова от их метафизического к их обыденному употреблению» «показать мухе выход из мухоловки». Философ, подобно врачу, который стремится «вылечить нас от болезни», должен вначале «излечить себя от многих слабостей понимания, прежде чем он сможе прийти к понятиям здравого человеческого понимания».

В «Трактате» Витгенштейн отождествлял значение элементарного термина с наименованным им объектом, впоследствии же он с особой энергией выступил против этой точки зрения и стал четко различать носителя и значение имени. Поэтому, например, «в случае смерти г-на Г. М. говорят о кончине носителя имени, а не о кончине значения». Ни один термин ничего не означает вне общего контекста более или менее устоявшихся языковых привычек и конкретных обстоятельств речевого акта. Осмысленные выражения не возникают внезапно или изолированно: они зависят от обучения в конкретном социальном окружении и от формирования обычаев. Ни именование, ни значение не должны быть абсолютно точными, и определенная степень неясности часто является полезной. Значением термина не является ни особого рода идеально сущий объект, ни образ, ни ощущение в сознании. Образы часто входят в значение, но образы, ощущения и другие «внутренние состояния» могут изменяться независимо от значения. Конечно, можно вычислять в уме но обычно люди сначала научаются делать это на бумаге.

Очевидно, правила языка оказывают существенное влияние на значение терминов, но даже эти правила не составляют и не выявляют с необходимостью значение термина. Можно хорошо знать правила и даже наблюдать за человеком, указывающим на конкретный пример означаемого, не схватывая, однако, того, что означается.

На самом же деле значение термина большей частью определяется его употреблением, или, еще точнее, употребление термина более важно, чем его значение. Если, например, кто-нибудь говорит «я здесь», мы должны поставить вопрос: «Как, при каких обстоятельствах употребляется это предложение?» Такой вопрос достаточен для устранения сомнительных сторон высказываний и ставит языковое исследование в нормальные условия. Чтобы понять предложение, надо спросить: «При каких конкретных обстоятельствах фактически употребляется это предложение?» Для очень большого класса случаев достаточное определение значения дается следующей формулировкой: «Значением выражения является его употребление в языке». Для нас термин приобретает значение тогда, когда мы узнаем об его употреблении в языке, а когда мы забываем об употреблении термина, тогда он «теряет для нас свое значение».

Выражения, относящиеся к познанию, как и большинство других осмысленных выражений, нельзя свести к одному простому образцу; они имеют очень разнообразные употребления. Сейчас мы вкратце остановимся на немногочисленных замечаниях Витгенштейна относительно некоторых наиболее важных употреблений ряда этих терминов, включая и термины, связанные с пониманием слов, ощущением, видением и предсказанием.

Так как значение в основном определяется употреблением, то критерием познания или подходом к познанию, состоящему в понимании словесных выражений, является умение применять данное выражение. Так, например, критерием понимания математического ряда является способность «продолжить» этот ряд. Понимание слова, конечно, совместимо с некоторыми сомнениями относительно применения этого слова, и никакие правила словоупотребления не могут гарантировать понимания. Правила являются вспомогательными знаками. Прежде чем понять, «что означает следование правилу», нужно сначала научиться «следовать правилу».

Познание, связанное с логикой, как было замечено в «Трактате», определяется употреблением языка. Важность этого вида познания такова, что многие склонны думать, будто логика является чем-то высшим, и склонны считать ее предмет чем-то таким, «что не лежит на поверхности», а занимает «чисто промежуточное положение между пропозициональными знаками и фактами». Однако действительная значимость логики не связана с такой возвышенностью ее предмета. «Мы должны придерживаться предмета нашего повседневного мышления». Понятия, с которыми имеет дело логика, имеют такое же скромное употребление, как и употребление слов «стол», «лампа», «дверь». Однако нецелесообразно предпринимать попытки (как это было сделано в «Трактате») формализовать логику, поскольку в любом случае нужно учиться употреблению получившихся форм. Логические структуры, конечно, коренятся в языке, но они ни в коем случае не являются такими жесткими или простыми, как это предполагалось в «Трактате».

Математика не просто входит вместе с логикой в обширный класс тавтологий (как это было в «Трактате»); ее следует отличать от логики. Она, как и логика, коренится в языке, но не отождествляется с логикой и не выводится из нее. Логические доказательства являются общими, тогда как математические - особенными. Конечно, математические доказательства не являются фактическими, но они и не являются логическими. Они имеют свой специфический характер, который нелегко описать. Сомнительно, можно ли вообще говорить о существовании доказательств относительно тех членов ряда, к которым непосредственно не применялись и не могут быть тут же применены операции, входящие в рассматриваемое доказательство ; вряд ли имеет смысл говорить, что даже бог знает ответ на эти вопросы. Вычисление не должно быть неизменным, однако когда оно становится совершенно беспорядочным, то нельзя больше говорить о вычислении. Математика, как и логика, не говорит ничего содержательного о мире. Если вы знаете результаты вычислений, «то нельзя сказать, что вы что-то знаете», так как «математическое предложение дает лишь некие рамки описания». При других условиях были бы возможны другие математические и понятийные системы, существенно отличающиеся от общепринятых. Правильность математического предложения неявно содержится в символах, однако оправдание системы символов заключено не в самих символах, а в чем-то отличном от них.

Хотя ощущения человека могут играть существенную роль в его познании, сами ощущения не являются примерами познания. Причина этого не в том, что ощущений не существует, а просто в том факте, что в терминах нашего языка мы вряд ли можем разумно говорить о познании своих собственных ощущений. «Нельзя сказать обо мне, что я знаю, что мне больно», и «обо мне нельзя сказать, что я приобретаю знание о своих собственных ощущениях». «Я имею их». Попытка «изучить головную боль, от которой я страдаю в данный момент», не проливает никакого света на «философскую проблему ощущений».

Мы приобретаем знание об употреблении терминов, обозначающих боль и другие ощущения, на основе внешних проявлений этих ощущений. При отсутствии этих внешних проявлений вообще нельзя было бы говорить о боли и других ощущениях. Даже если кто-либо частным образом придумает себе нечто похожее на название для своих индивидуальных ощущений боли, применение этих названий не будет иметь «никакого критерия правильности». Посредством

внешних признаков боли другие люди часто могут узнать, что мне больно; то же самое могу узнать и я о других людях.

То, что обычно называется видением, включает в себя два совершенно отличных друг от друга употребления термина «видеть». Это отчетливо проявляется, например, в двух следующих высказываниях: «я вижу это» (сопровождая эти слова рисунком) и «я вижу сходство между этими двумя лицами». Второе из этих употреблений имеет дело с тем, что можно назвать «видеть как...». Например, рисунок определенного вида можно видеть либо как «стеклянный куб... либо как перевернутый открытый ящик... либо как проволочный каркас... либо как три доски, образующие пространственный угол» ; другой рисунок можно видеть либо как кролика, либо как утку; третий - либо как клин, либо как геометрическую фигуру, либо как треугольное отверстие; четвертый - либо как перевернутую, либо как неперевернутую лестницу; пятый - как белый крест, как черный крест или как двойной крест. Поскольку во всех этих примерах «видения как...» рисунки оставались неизменными, а менялся лишь способ рассмотрения, постольку возникает искушение усматривать в «видении как...» интерпретацию. Но «видеть как...» отличается от интерпретации тем, что оно не допускает ни ошибки, ни проверки.

То, что относится к возможным будущим фактам, таким, например, как «эта книга упадет на землю, если я ее выпущу»... или «если я суну руку в огонь, то она обгорит», может познаваться нами с «уверенностью», и подобная уверенность в достаточной степени оправдывается своей успешностью. Не нужно даже ссылаться на то, что подобные опыты часто имели место в прошлом, «и то, что перед нами стул, мы не выводим из чувственных данных». Но если потребуются основания для уверенности, что нечто произойдет в будущем, то высказывание о том, что определенное событие имело место в прошлом, «мы как раз и назовем основанием для утверждения о том, что оно будет иметь место и в будущему. Не следует только говорить, что такое основание «придает появлению события определенную вероятность», так как «сказать, что это основание придает событию определенную вероятность,- это значит ничего не сказать, кроме того, что это основание соответствует определенному стандарту достаточных оснований,- но ведь сам этот стандарт не имеет оснований».

Джон Уиздом из Кембриджа и Гилберт Райл из Оксфорда, подобно Витгенштейну, в ранний период своей деятельности придерживались других философских воззрений (тех или иных разновидностей логического атомизма) и только впоследствии вопреки этим воззрениям пришли к анализу обыденного языка.

5.3.2 Джон Уиздом

Развитие философской мысли Уиздома очень напоминает развитие Витгенштейна, которому Уиздом, по собственному признанию, очень многим обязан. Оба философа в ранний период своей деятельности очень сильно тяготели к логическому атомизму и к пониманию языка как образа, и оба они впоследствии отреклись от этих ранних идей в пользу анализа обыденного языка. Однако философские взгляды Уиздома в целом менее тесно связаны с анализом языка, чем это имеет место у Витгенштейна, и манера излагать свои взгляды у Уиздома более систематична и менее лингвистична, чем манера Витгенштейна.

В своих ранних работах Уиздом рассматривал мир как состоящий из фактов, сводимых к простым фактам и в конечном счете к элементарным фактам, выявляемым посредством анализа отображающих их предложений. Материальный анализ рассматривался как научное определение понятий на едином уровне абстракции, как, например, когда психолог высказывание «я испытываю благоговейный страх перед Вами» понимает как «я боюсь Вас и в то же время восхищаюсь Вами». Формальный анализ заключается в логическом разъяснении структуры высказывания на едином уровне абстракции, как, например, когда логик объясняет, что высказывание «любая собака опасна» может быть переведено высказыванием «нечто является собакой и опасно, и не верно, что нечто есть собака и не опасно». Философский анализ от первоначального уровня абстракции восходит к более глубокому уровню, на котором факты рассматриваются более непосредственно, когда, например, высказывание «любая нация вторгалась во Францию» философ анализирует как «любая группа индивидов имеющая общих предков, общие традиции и правителей, насильственно проникала в страну, населенную французами". Такой анализ позволяет переходить от более абстрактных к менее абстрактным предложениям, в результате чего элементы анализирующего становятся более индивидуальными и менее абстрактными, чем элементы анализируемого. В конечном счете анализ приходит к конечным «элементам», и тем самым базисные факты, выявляемые менее базисными предложениями, «выявляются» в базисных предложениях. Базисные факты отображаются как предложениями, из которых исходит философский анализ, так и/или предложениями, которыми этот анализ заканчивается. Последние выявляют термины более непосредственно, чем первые, хотя то, что говорится о фактах в последних, отличается от того, что говорится о фактах в первых.

На поздних стадиях развития взглядов Уиздома исследование языка по-прежнему остается методом философского анализа, а его целью - понимание действительности. Однако действительность уже не сводится к фиксированной иерархии фактов, заканчивающейся элементарными фактами, а исследование языка в свою очередь не сводится к точному логическому анализу, ведущему к базисным предложениям. Философский анализ заключается в свободном использовании обыденного языка для разрешения головоломок, возникающих в результате традиционного использования философского языка. «Философия не только менее схожа с открытием естественных фактов, как это когда-то предполагали, она и менее схожа с открытием логических фактов, как это стали предполагать впоследствии; ближе всего она к литературе». Тот факт, что философские высказывания традиционного типа очень часто приводят к парадоксам, не означает, однако, что такие высказывания являются неправильными или бесполезными. Такие высказывания являются точками соприкосновения анализа и гипотезы. Являясь, конечно, в основном словесными, эти высказывания вскрывают многое из того, что не является только словесным. Если такие философские суждения, как «ничто в действительности не является хорошим или плохим» или «сознание есть иллюзия», брать буквально, то они являются ложными, но они вскрывают глубокие истины, намек на которые можно обнаружить даже в обыденном языке. Если взять философские высказывания в их чисто логическом смысле, то они - надоедливые тавтологии, но отвергать их как чистые тавтологии - значит терять понимание, достигаемое в процессе поисков разрешения связанных с ними парадоксов. Они немного похожи на высказывания

невротика, которыми тот руководствуется, но в которые не вполне верит, и еще больше похожи на высказывания психически больного, которыми тот не руководствуется и в которые не верит. Тот вид анализа, который требуется для расшифровки философских утверждений, является не логическим анализом, а рассказом, в котором простым языком объясняются факторы, побуждающие нас говорить на что-то «да» или «нет». Философские утверждения не дают ничего нового но разъясняют известное. «Они выявляют то, что находится в очевидном, а не позади или вне него». Они похожи на слова человека, который в присутствии женщины, примеряющей новую шляпку, говорит «Тадж Махал» и тем самым дает ей возможность увидеть в новом свете то, что она уже видела. Иногда, как в случае некоторых высказываний Ницше или Иисуса, они резко и прочно изменяют смысл слов и придают языку новые формы.

К наиболее запутанным из всех философских высказываний относятся высказывания, говорящие о том, что мы фактически не знаем прошлого, будущего, материальных объектов и сознания других людей. И не видно никаких удовлетворительных ответов на философские возражения против такого рода знания. Нельзя обосновать такое знание ссылкой на аналогию, поскольку мы не можем иметь восприятий прошлых или будущих событий или материальных объектов, которые можно по аналогии связывать с нашими восприятиями в настоящий момент (хотя восприятие зажженных в настоящий момент огней на той стороне улицы может говорить о происходящей там вечеринке, по аналогии с предыдущим опытом, когда вечеринки на той стороне улицы сопровождались зажженными огнями). Редукционисты убеждены, что поскольку «знать, что вещь во всех отношениях выглядит так-то, значит знать, что она такова... постольку сказать «эта вещь такова» — значит сказать не больше, чем «она выглядит так-то»». Однако скептик может с полным правом указать на то, что «выглядеть таким-то во всех отношениях» и «быть таким-то» не одно и то же, и отношение между первым и последующим не является дедуктивным. Скептик аргументирует далее тем, что «никто... не имеет других оснований сказать, что вещь такова, кроме тех оснований, которые дают ему возможность сказать, что в данный момент времени и в данном месте она ему такой кажется. Следовательно, никто не может... для своих высказываний о том, каковы вещи, иметь такие основания, которые имеет и кто-то другой... Поэтому никто не имеет для своих высказываний о том, каковы вещи, всех оснований, какие он мог бы иметь. Поэтому никто... в действительности не знает, какова вещь». Но, аргументируя подобным образом, скептик противоречит самому себе: поскольку познание сознания других людей невозможно, то их основания для высказываний нельзя считать основаниями, которые мы могли бы иметь.

С парадоксом познания дело обстоит примерно так же, как и со всеми остальными философскими парадоксами, а именно следующим образом. В обыденном смысле термина «знать» мы, конечно, знаем прошлое, будущее, вещи и сознание других людей; отрицание этого есть либо ошибка, либо грубое искажение языка. Однако существует логический смысл термина «знать», и в этом смысле мы не знаем и не можем знать ничего, кроме непосредственного данного, если, конечно, можно говорить, что мы знаем хотя бы это. Мы никогда не можем непосредственно постичь того, чего уже или еще нет, мы никогда не можем непосредственно постичь вещи в отрыве от их проявлений, и мы никогда не можем знать сознание других людей так, как они знают его сами. Невозможность такого знания есть факт логики. Однако следует очень осторожно относиться к слишком легким

решениям гносеологических проблем. Логический подход вскрывает нечто скрытое в обыденном подходе, а анализ обыденного употребления слов дает некоторые основания для логического подхода. Мы только начинаем постигать действительность, когда перед нами разворачивается целый клубок соображений, заставляющих нас то соглашаться со скептиком, то не соглашаться с ним.

Помимо трудностей, общих для проблемы познания сознания других людей и проблемы познания событий прошлого и будущего, а также материальных объектов, первая проблема имеет еще особую трудность, состоящую в том, что, в то время как никто не может непосредственно постигать прошлое, будущее или материальные объекты, о всяком чужом сознании кто-то знает лучше, чем я сам. Поэтому здесь особенно убедителен аргумент скептика, утверждающий, что я не могу иметь всех, вообще говоря, возможных сведений о сознании другого человека. Даже телепатия не могла бы преодолеть этого барьера, поскольку ощущения, полученные с помощью телепатии, все еще являются моими ощущениями. Таким образом, хотя в обыденном смысле слова мы, конечно, знаем сознание других людей (и было бы абсурдом отрицать этот факт) и хотя телепатия может дать нам знание сознания других людей, «сравнимое с нашим собственным знанием в памяти», существует такой смысл слова «знать», в котором знание о сознании других людей необходимым образом исключается. Это соображение может в конечном счете отражать реальное «одиночество, которому мы можем нанести поражение, но которое мы не можем победить... конфликт в человеческом сердце, которое страшится чуждости других людей, но в то же время нуждается в ней».

5.3.3 Гилберт Райл

Хотя Райл в ранний период своего творчества в отличие от Витгенштейна и Рассела не создал значительных работ, по своей философской направленности резко отличающихся от его более поздних произведений, его философская мысль прошла ряд этапов, прежде чем достигнуть той формы, которой он достаточно последовательно придерживается в большинстве своих философских работ. Самым ранним этапом был этап аристотелизма, обусловленный его учебой в Оксфорде. Второй этап, более или менее близкий к феноменологии, нашел свое отражение в статье под названием «Феноменология», в которой Райл признает, что феноменологи правы в том, что они рассматривают философские высказывания как априорные, а феноменологию рассматривают как часть философии. Возможно, что как раз свой ранний аристотелизм и пристрастие к феноменологии и имеет в виду Райл, когда он впоследствии в книге «Понятие сознания» писал: «Допущения, против которых я восстаю с особым пылом — это допущения, жертвой которых когда-то был я сам». Третий этап состоит в принятии теории языка как образа, родственной до некоторой степени теории «Логико-философского трактата» Витгенштейна. Этот этап представлен в ранней статье «Отрицание», где Райл рассматривает предложения как соответствующие фактам, включая и «отрицательные факты», в следующей статье «Существуют ли высказывания?», где Райл заявляет, «что существует отношение между грамматической структурой предложения и логической структурой фактов выражаемой предложением», а также в статье «Систематически ошибочные выражения», где он, хотя и склонен в целом отвергать теорию языка как образа, считает, что функция разъясняющих предложений состоит в том, чтобы выявить

«реальную форму факта... в новой форме слов». Отсюда начинается его движение в сторону анализа обыденного языка.

Райл заявил, что он вынужден согласиться с тем, что задачей философии является «нахождение в лингвистических идиомах истоков устойчивых неверных конструкций и абсурдных теорий». Отличая (подобно Фреге и Расселу) синтаксическую форму выражения от формы изображаемых им фактов, Райл доказывает, что очень многие выражения повседневной жизни благодаря своей грамматической форме «систематически вводят в заблуждение». Например, только потому, что предложение типа «М-р Пиквик — вымысел» грамматически аналогично предложению «Г-н Мензис — государственный деятель», мы склонны прочитывать это первое предложение таким образом, словно оно является описанием человека — человека, обладающего свойством быть вымышленным. Однако на самом деле в этом предложении говорится не о вымышленном человеке м-ре Пиквике, обладающем странными свойствами, но о *реальном* человеке Диккенсе или о *реальной* книге «Записки м-ра Пиквика». Как это доказать, если это не очевидно непосредственно? Если бы предложение «М-р Пиквик — вымысел» сообщало нечто о человеке по имени «м-р Пиквик», то оно предполагало бы такие суждения, как «М-р Пиквик родился в таком-то году», — следствия, которые *действительно противоречат* первоначальному утверждению. Более общее заключение, к которому приходит Райл, таково: парадоксы и антиномии с очевидностью свидетельствуют, что некое выражение систематически вводит насв заблуждение.

Райл охотно признает, что выражения типа «*x* есть вымысел» не вводят нас в заблуждение в повседневной жизни. Но метафизики, особо интересующиеся «структурой фактов» или «категориями бытия», разрабатывают свои малоадекватные, с точки зрения Райла, теории, идя на поводу у грамматической формы предложений. Они приходят к выводу о существовании универсалий, поскольку ошибочно полагают, будто предложение «Пунктуальность — добродетель» грамматически аналогично предложению «Юм — философ», т. е. что «пунктуальность» является именем, так же, как «Юм». Или, далее, исходя только из того, что можно сказать: «Идея взять отпуск только что пришла мне в голову», философы заключают о существовании некой сущности — «идеи», которая называется в выражении «идея взять отпуск».

С тем, чтобы избежать обманчивых «подсказок» повседневной речи, философ должен научиться переформулировать предложения (в духе Расселовой теории дескрипций, которая для Райла была «парадигмой философии») таким образом, чтобы четко выявить «форму фактов, которую исследует философия». «Философский анализ», полагал он, имеет своим результатом переформулировку предложений. Райл считал, что философия имеет одновременно и терапевтическую, и положительную задачу — открытие «реальной формы фактов». Работа «Выражения, систематически вводящие в заблуждения» принадлежит к первому витгенштейнианскому периоду, — периоду, который завершился статьей Уиздома «Логические конструкции».

Философские взгляды Райла сохраняют элементы аристотелизма в своем акцентировании индивидуальных объектов и в ряде моментов своей трактовки логики. Они также обнаруживают влияние феноменологии и взглядов Фреге как в подчеркивании априорного характера философских высказываний, так и в приверженности к анализу понятий, противопоставленному чисто

лингвистическому анализу, а также — косвенно — в предпочтении анализа правил использования простому анализу обыденного словоупотребления. Взгляды Райла сохраняют также бо́льшую близость к философии «Логико-философского трактата», особенно к учению о показывании, чем взгляды некоторых других представителей философии обыденного языка. Однако в основном они близки к философии обыденного языка.

Две его работы особенно важны для понимания книги «Понятие сознания»: «Категории» (1937) и инаугурационная лекция «Философские аргументы» (1945). В «Категориях» Райл, по его мнению, сумел дать такое определение «категории», которое сохраняет все ценное, что было у Аристотеля и Канта, и (в отличие от этих философов) прокладывает четкий путь к доказательству того, что два выражения принадлежат к разным категориям. Рассмотрим неполное, хотя и характерное, выражение («рамочное предложение») «...лежит в постели». В данном случае, доказывает Райл, мы вполне можем вставить вместо пропуска «Джонс» или «Сократ», но не «воскресенье». Это достаточно доказывает, что «Джонс» относится к иной категории, нежели «воскресенье»[16]. Это еще не доказывает, однако, что «Джонс» и «Сократ» принадлежат к *одной и той же* категории; ведь возможны другие рамочные предложения, в которые можно вставить «Джонс», но не «Сократ». Так, хотя в рамочное предложение «...читал Аристотеля» можно вставить «он» или «автор этой книги», эти последние тем не менее относятся к разным категориям; ведь в рамочное предложение «...не написал ни одной книги» можно вставить «он», но не «автор этой книги».

В такого рода случаях, полагает Райл, возникающая в результате неправильного завершения рамочного предложения бессмыслица очевидна; *не* очевидно, напротив, что мы впадем в антиномии и противоречия, если заполним пробел в «...является ложным» фразой: «Высказывание, которое я сейчас делаю». Такие не очевидные бессмыслицы интересны с философской точки зрения. Действительно, полагает Райл, философы систематически приходят к различению категорий только потому, что они наталкиваются на неожиданные антиномии; а впоследствии они продолжают искать скрытые антиномии в случаях, когда они подозревают, что имеется неявное различие между категориями.

Две общие черты статьи «Категории» важны для понимания философской позиции Райла. Во-первых, хотя Райл повсюду говорит о «выражениях», он не признает, что какое-либо полагание или понятие можно охарактеризовать как «бессмысленное», — ведь он считает, что не занимается филологическим исследованием; он сообщает нам нечто о «природе вещей» или, по крайней мере, о «понятиях». Он настойчиво подчеркивал это. Многие критики, в других отношениях сочувствующие его творчеству, сожалеют, что он обманчиво выразил свои заключения «материальным», а не «формальным» образом. Во-вторых, различение категорий, с точки зрения Райла, предполагает философскую аргументацию, т. е. логическое рассуждение: на этот момент, по его мнению, не обратили внимания те, кто определяет философию как «анализ».

Философские аргументы, по словам Райла, не являются ни индукциями, ни доказательствами; философ имеет собственные методы рассуждения, наиболее характерный из которых — reductio ad absurdum. «Выводя из предложения или комплекса предложений заключения, которые не согласуются ни друг с другом, ни с первоначальными предложениями», философ демонстрирует «бессмысленность» обсуждаемого предложения или комплекса предложений. Райл не считает, что

философские аргументы носят чисто деструктивный характер. Reductio ad absurdum действует как сито, — или, если воспользоваться другой метафорой, определяя границы, где возникает бессмысленность, этот метод позволяет очертить действительную область применения предложения.

Каждое предложение, говорит Райл, обладает определенными «логическими возможностями». Как правило, мы осознаем только ограниченное число логических возможностей употребляемых предложений, а потому лишь «частично улавливаем» их значение. И все же мы можем употреблять предложения типа «3x3= 9» или «Лондон расположен севернее Брайтона», не впадая в те арифметические или географические ошибки, которые с очевидностью показывали бы, что мы не понимаем, что говорим; даже если мы не можем сформулировать правила, которые регламентируют употребление этих предложений, мы по крайней мере умеем практически употребить их при обычных обстоятельствах. Иначе, полагает Райл, у философа не было бы отправной точки.

Если предложения имеют нечто общее, то иногда удобно, по мнению Райла, суммировать это общее как «понятие». Так, например, из совокупности предложений типа «Джонс ведет себя разумно», «Браун рассуждает разумно» мы могли бы вычленить «понятие разумности». В своих ранних сочинениях Мур предполагал, что понятия являются строительными блоками, из которых собираются предложения; вопреки Муру, Райл доказывает, что понятие есть просто удобная аббревиатура для «семейства» предложений. Поэтому, когда Райл говорит о «логических возможностях понятия», надо понимать, что он подразумевает краткий способ указать на логические возможности всех тех предложений, которые сходны благодаря наличию у них некоторого общего фактора.

Хотя философы всегда занимались философским исследованием наряду с другого рода исследованиями, все же, по Райлу, лишь введенное Расселом «различие между истинностью и ложностью, с одной стороны, и бессмысленностью — с другой», впервые пролило свет на современное понимание специфического характера философского исследования. Научное исследование интересуется различием между истинностью и ложностью; философское — различием между смыслом и бессмыслицей. Попытка отождествить в свете этого различия значение высказывания со способом его проверки оказалась неудачной (попытка отождествить «значение законоподобного высказывания» с «методом его применения» могла бы быть более успешной), но использование указанного различия в теории проверяемости помогло выявить разнообразие типов высказываний. В терминах этого различия философ может набросать географию понятий. Его методом в основном является метод, который «из высказывания... выводит следствия, несовместимые друг с другом или с исходным высказыванием». Практическое применение этого метода можно наблюдать уже в диалоге Платона «Парменид», где, не пользуясь понятиями типов или категорий, Платон использует этот метод как раз таким образом, который ведет к теории типов и категорий. Несмотря на то что методы философии — преимущественно негативны, они дают положительные результаты, указывая границы очищенных понятий, «уясняя логическую мощь идей... методически определяя и проверяя правила точного употребления понятий». Достигая положительных результатов негативными средствами, эти методы похожи на процессы молотьбы или на испытание прочности металлов посредством деформации о. Однако работа

философа не совпадает с работой логика - хотя некоторые философы в то же время являются и логиками,- так как в отличие от выводов логика философские аргументы никогда не могут стать доказательствами и не предназначены быть ими. В отличие от доказательств они не имеют посылок. В той мере, в какой работа философа является позитивной, она схожа с усилиями хирурга описать студентам свои действия и затем проконтролировать свои описания путем медленных повторений своих действий. Работа философа не может быть фрагментарной, поскольку «внешние отношения, а не внутреннее устройство того, что может быть высказано, порождают логические затруднения». Тот аспект языка, которым интересуется философ при анализе понятий, — это не просто употребление слов, исследование чего в основном составляет проблему филологии, но использование языка, вопрос о том, для чего используется язык, и этот аспект языка требует логического исследования. Тот факт, что философы в основном интересуются более или менее стандартным употреблением терминов, не означает, что они вообще не имеют дела со специальными терминами. Однако философы формулируют свои собственные выводы преимущественно на обыденном языке.

Книга «Понятие сознания» (1949) посвящена анализу логических возможностей «ментальных понятий». В повседневной жизни, полагает Райл, мы свободно оперируем такими понятиями: мы знаем, например, как решить, разумен или глуп Джонс, шутит ли он или размышляет над какой-то проблемой. Но мы испытываем замешательство, когда пытаемся понять, к какой категории принадлежат такие выражения, т. е. каковы логические возможности предложений, в которые они входят. Чтобы решить эту задачу, считает Райл, мы должны составить «карту» различных ментальных понятий и определить таким образом их географическое положение в мире понятий, — другими словами, определить границы их применения.

Прежде всего, однако, необходимо разрушить миф: «официальный», или картезианский, миф, предполагающий, что выражения о ментальном поведении указывают на странную сущность, «сознание» или «душу», которая отличается от тела, поскольку является приватной, непространственной, познаваемой исключительно посредством интроспекции. Признавая, что такие слова, как «разум», не являются именами сущностей, подчиняющихся механическим законам, философы заключили, утверждает Райл, чтс они должны быть именами сущностей, подчиняющихся немеханическим духовным законам. На самом же деле считать их именами *какой бы то ни было сущности* — значит совершать «категориальную ошибку». Функцией слова «разум» является описание человеческого поведения, а не именова ние некой сущности. Согласно Декарту и последовавшим по его стопам эпистемологам, человеческое существо состоит из двух отдельных сущностей — сознания и тела, призрака и машины. Приняв эту точку зрения, эпистемологи сразу же сталкиваются со множеством проблем: как нематериальный дух может влиять на действия материального тела? Как может дух видеть из машины окружающий мир? На такого рода вопросы, полагал Райл, невозможно ответить. И все же не надо пытаться избежать их, как это делают идеалист (который утверждает, что человек есть призрак) и материалист (утверждающий, что человек есть машина). Человеческое существо не является ни призраком, ни машиной, ни призраком в машине; оно есть человеческое существо, которое ведет себя то разумно, то неразумно, то замечает вещи, то упускает их из виду, иногда действует, иногда бездействует. «Незачем принижать

человека до машины, — пишет Райл, — отрицая, что он — призрак в машине. Он может, в конце концов, быть видом животного, именно высшим млекопитающим. Надо все же отважиться на рискованный шаг и предположить, что он — человек».

Философы полагают, что «прикладывать разум» — значит «теоретизировать» или «открывать истину». Поскольку человек размышляет обычно наедине с собой — эту особенность мы усвоили в детстве, — легко заключить, что всякое применение разума происходит в тайном, личном мире. На самом же деле, доказывает Райл, теоретизирование есть лишь *вид* разумного поведения, — он называет этот вид поведения «знать, что». Разумное действие по большей части означает «знание, как» довести некое действие до его логического завершения, «знание, как» играть в игру, говорить по-французски или строить дом, — а такое знание сильно отличается от *теоретизирования* об играх, о разговоре на каком-то языке или о строительстве дома. И впрямь, попытавшись утверждать, что практика *может* быть разумна только в том случае, если ей предшествовало разумное рассуждение, мы сразу же ввергнемся, доказывает Райл, в дурную бесконечность. Ведь если у нас были бы основания считать, что разумной игре в крикет должна предшествовать разумная теория крикета, то можно было бы сказать также, что разумной теории должна, в свою очередь, предшествовать теория о теории и т. д. ad infinitum. На каком-то этапе — а почему не сразу? — мы понимаем, что форма деятельности разумна независимо от того, предшествует ли ей что-то или не предшествует ничего.

Но можно возразить, что мы не можем считать поступок разумным на основании одного только наблюдения, поскольку, казалось бы, разумный поступок может быть просто счастливой случайностью. Даже слабейший шахматист делает иногда поистине грандиозный ход. Поэтому, признает Райл, для того чтобы определить, действительно ли «разумен» конкретный поступок, мы должны «посмотреть вокруг». Однако «осмотр» не означает, что мы пытаемся проникнуть в некий загадочный разумный ментальный процесс — который, действительно, мы считаем совершенно недоступным.

Скорее мы исследуем общие способности и склонности действующего лица. Делает ли шахматист подобные ходы в сходных ситуациях? Может ли он оценить такие ходы, когда их делают другие? Может ли он объяснить нам, почему сделал этот ход? Если на такого рода вопросы можно ответить утвердительно, то данный шахматист «знает, как» играть в шахматы.

Главный интерес философского исследования составляют не слова, поскольку слова меняются от одного языка к другому, и не предложения, так как сказать, что предложение имеет употребление, по меньшей мере сомнительно. Этот интерес составляют термины, то есть элементы, общие для множества высказываний. «Значить» — это не то же самое, что «заключать в себе», и то, что высказывание «означает, не равняется какому-либо или даже всем следствиям, выводимым из этого высказывания... Выводить - не значит переводить». Еще менее может отождествляться значение термина с тем, что предположительно именуется этим термином. Чтобы избежать искушения принять такую точку зрения вместе с вытекающими из нее затруднениями относительно универсалий, было бы лучше говорить не о значении выражения, а о «правилах применения такого выражения». В прошлом философы почти постоянно ошибочно отождествляли значение термина с тем, что наименовано этим термином. Даже Фреге не вполне избежал этого, а утверждение Карнапа в книге «Значение и необходимость», что

каждый термин имеет как интенсионал, так и экстенсионал, является ярким примером этой ошибки. Хотя имеются, конечно, собственные имена, относящиеся к индивидуальным объектам, однако большинство терминов вовсе не используется для обозначения. Они ничего не именуют, и им нельзя приписать никаких признаков, даже тех, которые якобы ими обозначаются. Так, например, «круглый» и «большой» ничего не именуют, и нельзя сказать, что они имеют признаки. Если бы мы захотели в этой связи что-то наименовать, то мы должны были бы говорить не о «круглом» и «большом», а о «круглости» и «величине»; но даже такая манера выражения не может не вводить в заблуждение. Большинство терминов предикативно и вовсе не субстантивно. Ряд терминов, таких, как «единство», «множественность», «все», «некоторые», «не», и т. п., представляет собой особый класс формальных понятий, которые, собственно говоря, вообще нельзя считать элементами языка и мышления; они лишь показываются в структуре наших высказываний.

Термин «знать» не обозначает никаких таинственных духовных или психических событий на внутренней сцене нашего сознания, поскольку «таких событий не существует», и идея внутренней сцены сознания обязана своим появлением несостоятельному картезианскому дуализму «духа в машине». Знание бывает двух родов: «знать, как...» н «знать, что...», из которых первое более важно. Выполнение действия не предполагает обязательного предварительного размышления. Без «знания, как...» все попытки приобрести и применить знание будут означать, что мы впадаем в дурную бесконечность. Даже понимание действий другого человека является разновидностью «знания, как...». Знание в основном является диспозициональным в том смысле, что оно состоит не из внутренних образов происходящих событий, а из способности делать определенные вещи. Наше знание или незнание почти всегда определяется тем, что мы стали бы делать в различных обстоятельствах. Термин «знать» отличается от термина «полагать» тем, что он обозначает некоторую способность, а не просто склонность. В отличие от таких терминов, как «стремиться», он обозначает результат, а не процесс, то есть относится к завершению процесса, а не к самому процессу, и это объясняет, почелду нельзя знать неправильно. В отличие от принадлежащего к семейству «мотивных слов» термина «мнение», термин «знание» относится к семейству слов, обозначающих умение, для которых характерны методы, а не только источники.

Термин «ощущение» в своем обычном употреблении иногда относится к таким неприятным чувствам, как ощущения боли, зуда, тошноты, удушья, жажды и тому подобное о, а иногда к ощущению вещей с помощью рук, губ, языка или кожи. Неуместность употребления термина «ощущение», как это часто делают философы для обозначения менее осязаемых элементов восприятий проявляется в том, что сами философы, по-видимому, неспособны даже описать ощущения, не ссылаясь на нечто физическое. Так, например, даже мимолетное зрительное впечатление является мимолетным зрительным впечатлением чего-то, и боль описывается как «боль от укола, удара или ожога».

Однако точка зрения, согласно которой ощущение является составной частью чувственного восприятия, стала «официальной» во многих философских кругах, и хотя эта точка зрения искусственна и сомнительна, даже в ее терминах можно, чрезмерно не извращая языка, сказать, что восприятие чего-либо содержит по крайней мере одно ощущение и что «ощущение» является словом, обозначающим

результат, в отличие, например, от слова «наблюдение» (в одном из его смыслов). Эти соображения не оправдывают широко распространенную идею о том, что ощущение является особым психическим процессом и происходит на внутренней сцене сознания. Причина, по которой другие люди не могут наблюдать моих ощущений,- не в том, что мои ощущения происходят внутри меня, а в том, что ощущения вообще нельзя наблюдать; а причина, почему ощущения нельзя наблюдать, лежит гораздо глубже, чем простое отсутствие инструментов для наблюдения их, поскольку «мы не можем представить себе, как выглядело бы применение инструментов к нашим ощущениям». Теория чувственных данных, постулирующая индивидуальные объекты ощущения, «основывается на грубейшей логической ошибке, а именно ошибке смешения понятия ощущения с понятием наблюдения». Поскольку наблюдение предполагает ощущения, постольку, если сами ощущения наблюдаются, их наблюдение подразумевает наличие других ощущений и так далее до бесконечности. Более того, конкретные примеры чувственных данных при ближайшем рассмотрении оказываются только особыми видами восприятия. Так, например, когда человек «смотрит на круглую тарелку, поставленную наклонно», он не «видит эллиптический вид круглой тарелки», а видит тарелку, которая «выглядит как эллиптическая, но ненаклоненная».

Восприятие в отличие от официально понимаемого «ощущения» включает в себя узнавание и ожидание. Оно не нуждается в дополнительном интеллектуальном действии, чтобы образовать свое познание, поскольку оно уже включает разум. Однако нельзя спрашивать, что должно быть добавлено к ощущению, чтобы получить восприятие. Восприятие есть просто ощущение в перспективе воспринимательного образа действий; воспринимая, мы совершаем не два дела, а одно. Глаголы, относящиеся к восприятиям, «такие, как «видеть», «слышать», «обнаруживать», «различать», и многие другие являются - подобно обозначениям ощущения - словами, обозначающими успех или результат. Предположение, что ощущение подобно окружающей нас тюремной стене, которую мы должны преодолеть в восприятии посредством вывода или причинного процесса, также необоснованно. Вопрос о том, как мы переходим от ощущений к внешним объектам, неправомерен, но на вопрос, откуда мы узнаем о физических объектах, то есть как мы научаемся усваивать рецепты восприятия, ответ прост: благодаря практике. Мы узнаем о них приблизительно так же, как узнаем о мелодии. или о том, как будет выглядеть для наблюдателя цвет данного объекта при обычном освещении. Ошибки появляются, когда мы неправильно применяем рецепты восприятия, но если бы мы не усваивали рецептов восприятия и не имели истинных восприятий, то невозлюжны были бы и ошибки в восприятии.

Мышление, уже имеющееся в восприятии, является не более внутренним процессом, чем ощущение или восприятие. Можно «вычислять вслух или на бумаге», и можно мыслить, раскладывая вещи руками. Умение считать с закрытым ртом или в уме требует особой техники, которая приобретается. Искусно выполняя ручную операцию, мы делаем одно дело, а не два, и обычно в такой ситуации нам не приходится сначала формулировать правила, а затем следовать им. Мышление никогда нельзя отождествить с тем, что просто направляется символами, или даже с речью. Реагируя на символы, можно говорить как попугай, не думая; с другой стороны, работая с вещами, можно мыслить, не прибегая к символам. Мышление всегда является чем-то большим, чем просто успешные действия или даже речь, но это что-то большее — не внутренний процесс, а просто знание того, что мы делаем, на что обращаем внимание, зачем стараемся, по каким мотивам

действуем и т. д. Мышление имеет место на двух различных уровнях. Одним из них является уровень обычного действия и беседы, а другим - уровень преднамеренного, обдуманного или дидактического рассуждения. Второй уровень более обманчив, нежели первый, зато конструктивные результаты и культурный прогресс достигаются как раз на втором уровне. Однако второй уровень - не более внутренний, чем первый.

Термин «мышление» и связанные с ним слова обозначают как процесс, так и результат. Четко определенные категории и понятия в основном относятся к результату, а не к процессу. В фактическом процессе мышления мы всегда движемся ощупью, используя такие средства мышления, какие можем найти. Логика не является ни частью реального мира, ни идеальным творением. Она может строиться либо путем подстановки, либо путем использования логических операций; ни то, ни другое не является описанием факта. Логические принципы — это формулировки таких процедур, которые оказались необходимыми для успешных выводов. В этом смысле они - предписания правил, необходимых для успешного действия, и могут нарушаться людьми, но никогда не природой. Однако логические принципы дают нам только широкие схемы, уже ранее детально разработанные. Многие отношения между понятиями, связанные с успешным выводом, еще не описаны; разрабатывать их приходится философам или неформальным логикам, задачей которых является исследование еще неисследованных областей. Какими бы ни были наши логические принципы, они должны в какой-то момент времени применяться без обращения к каким-либо другим принципам, так как в противном случае каждый вывод теряется в бесконечном регрессе. Высказывания, содержащие «так» и «потому», являются результатом применения принципов. Высказывания типа «если... то» являются разрешениями, или удостоверениями, на производство вывода.

«Знание, как», заключает Райл, «диспозиционально». Описывая его таким образом, Райл не имеет в виду, что эта характеристика является именем особого рода сущности — «предрасположенности». Высказывание «стекло имеет предрасположенность биться» есть сокращенный вариант (не вполне определенной) области гипотетических высказываний: «Если вы уроните стекло, или бросите в него камень, или попытаетесь сломать его, то оно разобьется». Если бы на самом деле стекло никогда не билось, если бы в нашем опыте не было «эпизодов» с разбитым стеклом, то, конечно, мы не стали бы называть его «бьющимся». И все же, характеризуя его таким образом, мы не указываем на некий эпизод, но формулируем гипотетические предложения. Сходным образом, хотя мы говорим, что некий человек «умеет читать по-французски», только в том случае, если иногда его действия совпадают с теми, каких мы ожидаем от читающих по-французски, или что он гневлив — в том случае, если иногда он гневается, или что он «дружелюбен» — только если иногда он проявляет дружелюбие, нет ни одного конкретного эпизода, который является необходимым и достаточным условием для применения к человеку этих диспозициональных описаний. Искать сущность или эпизод, которые называются «предрасположенностью», значит охотиться за единорогом. Говорить, что мы имеем определенную предрасположенность, значит лишь утверждать, что наше поведение «законосообразно», т. е. следует неизменному образцу.

Райлов анализ мотивов развертывается по той же схеме: поступок с неким мотивом подобен поступку, совершаемому по привычке; это обнаруживается в том

факте, что мы часто не знаем точно, поступило ли конкретное лицо «по привычке» или «по определенному мотиву». Приписывать поступок «силе привычки» не значит разоблачать его тайную причину или отрицать его особенность или неожиданность, и точно так же приписывать поступку мотив — значит просто подводить его под некий общий тип, что отличается от каузального объяснения. «Поступать из тщеславия» — значит совершить конкретный поступок из ряда тех, что совершаются из тщеславия; «тщеславие» не является особой не механической причиной.

Относительно так называемых «ментальных процессов» или «актов воления» Райл доказывает, что они совершенно не похожи на «процессы». Ни один из обычных способов описания процессов в данном случае неприменим: бесполезно спрашивать, протяженны воления или прерывны, как можно ускорить или замедлить их, когда они начинаются и когда заканчиваются. Различие между добровольным и недобровольным поведением состоит в том, что первому типу поведения, в отличие от второго, предшествует «акт воления».

Сходным образом, хотя, безусловно, имеется различие между видением и не-видением, воспоминанием и не-воспоминанием, не существует «ментальных процессов», доказывает Райл, которые правильно было бы описать как «акты видения» или «акты воспоминания». Действительно, «видение» и «воспоминание» суть «слова о достижении», а не слова о «процессе»; «видеть» — значит преуспеть в выполнении задачи, подобно тому как *выиграть* скачки отличается от *скакать* ноздря в ноздрю. Мур был озадачен неуловимостью «ментальных актов», и совершенно не случайно: он искал то, что нельзя найти.

Многие философы, в общем одобрявшие уничтожение Райлом картезианского мифа, колебались относительно предложенного им анализа воображения. Однако этот анализ жизненно важен для его общего тезиса, гласящего, что, «когда мы характеризуем людей посредством ментальных предикатов, мы не делаем непроверяемых выводов о каких-то призрачных процессах, происходящих в потоках сознания, которые скрыты от нашего зрения; мы описываем способы, какими эти люди ведут себя в их преимущественно зримом поведении». Он должен показать, что «воображение» не является процессом созерцания класса внутренне приватных сущностей — «образов». Точно так же, доказывает он, как разыгрывать совершение убийства не значит *действительно* совершить некое странное убийство («убийство-пародию»), «воображать» видение Эвереста не значит *действительно* видеть «образ Эвереста». Если человек воображает, будто он видит Эверест, то нет ни настоящей горы перед его настоящими глазами, ни имитации горы перед его имитирующими глазами; он использует свои знания об Эвересте, чтобы «представить себе, как он может выглядеть». Акт воображения, полагает Райл, может быть формой репетиции — предвосхищения будущего — или же формой имитации, но он, безусловно, не есть некое «внутреннее видение». Таким образом, внутренняя крепость приватности — «мир образов» — в конце концов оказывается не неприступной.

Итак, большинство традиционных философских проблем вообще не является подлинными проблемами. Распространяя термины обыденного языка далеко за пределы обычных областей их употребления, философы тем самым создают ситуации, которые являются по меньшей мере странными и часто выглядят как «связанные с логической невозможностью».

Подлинной задачей современного философа не является ни попытка решения философских проблем, как это имеет место у Мура, ни расчленение соответствующих им обыденных терминов, как это делает Рассел, когда он пытается свести все осмысленные высказывания к «высказываниям, целиком составленным из логических собственных имен», и рассматривает даже Джона Смита и это яблоко как логические конструкции. Подлинной задачей современного философа скорее является растворение традиционных философских проблем в процессе рассмотрения того, как они возникли в результате неправильного расширения обыденного словоупотребления. Критерием такого употребления является фактическое использование этих слов в течение достаточно длительного времени достаточным числом серьезных и ответственных лиц, знающих соответствующий предмет исследования или соответствующие обстоятельства. Даже в рамках достаточно специфической проблемы анализ, стремящийся рассеять туман традиционной философии, не может проводиться просто путем рассмотрения вызывающих сомнение терминов в контексте одного или нескольких выражений обыденного языка, как это, например, делает Райл, пытаясь показать, что отнесение понятия «сознание» к какому-либо объекту похоже на ту ошибку, когда совокупность студентов и преподавателей принимают за объект, называемый «университет», или некоторые сведения о конкретных людях - за объект, называемый «средний человек». Тот вид анализа, который требуется в данном случае, должен, скорее, состоять из целой серии относительно сложных «повествований», сравнивающих приводящие к парадоксам выражения как внутренне — с другими терминами, относящимися к той же самой области опыта, так и внешне — с терминами, относящимися к другим областям опыта. Такой анализ должен представлять одно и то же явление в самом разнообразном освещении. Термин «знать» употребляется в самых различных смыслах, и философ, исследующий этот термин, не должен втискивать его в единую форму или анализировать знание вообще, ко должен объяснить разнообразные разветвления и отношения, имеющие место в фактическом употреблении этого термина. Очень грубо можно было бы сказать, что высказывания, стремящиеся выразить знание, включают аналитические высказывания, эмпирические высказывания и утверждения или выражения ценностей. Первые, включающие в себя логические, математические и другие лингвистические высказывания, устанавливают правила для использования символов или вытекают из таких правил в рамках лингвистической или логической системы. Вторые, эмпирические высказывания зависят большей частью от индуктивного вывода и очень часто познаются как несомненно истинные. утверждение рационалистов о том, что без логической необходимости

Представление о том, что причинные связи фактов могут носить лишь случайный характер, основано на неправильном употреблении термина «случай», означающего в обычном английском языке просто «нечто такое, чего мы не предвидели»; а утверждение Айера и других философов, что все эмпирические высказывания являются просто гипотезами, не учитывает тот факт,. что термин «гипотеза» имеет свое собственное вполне разумное употребление. Общей проблемы индукции не существует, так же как и общей проблемы познания. Если утверждение о причинной связи прошло соответствующие индуктивные проверки, то оно оправдано, поскольку эти индуктивные проверки и являются критериями причинной связи. Возражение, что человеку все это может сниться, неосновательно, поскольку не существует общей проблемы сновидения, и в любом

конкретном случае нетрудно указать, спал человек или нет. Суждения о ценностях не являются ни целиком фактическими, ни целиком эмоциональными; они зависят от предшествующих решений, которые в свою очередь. определяются множеством как фактических, так и эмоциональных моментов. Эти суждения имеют нормативный и авторитарный характер, который делает их скорее похожими на язык религиозных образов, чем на язык повествовательных высказываний или выражений индивидуальных чувств

В «Понятии сознания» Райл переформулировал и по-своему решил некоторые проблемы философской психологии, которые волновали Витгенштейна; его «Дилеммы» обращены к другой важной теме Витгенштейна — теме преодоления по видимости неразрешимых дилемм, осаждающих философа. Философ весьма часто сталкивается с двумя выводами, каждый из которых получен в результате, казалось бы, безупречной цепочки рассуждения, однако один из них должен быть совершенно ошибочным, если другой хотя бы частично правилен. Рассматривая поочередно ряд таких дилемм, Райл пытается показать, что в каждом случае конфликт является лишь видимостью — псевдоконфликтом между теориями, которые «заняты разным делом», а потому не нуждаются во взаимном примирении.

Такова, например, знакомая проблема отношения мира науки к «миру повседневной жизни». С одной стороны, физик уверяет нас, что вещи на самом деле являются организованными в пространстве совокупностями электронов, что «в действительности» они не имеют цвета, твердости или четкой формы; с другой стороны, мы совершенно уверены, что стулья и столы реальны и действительно имеют цвет, твердость и форму, которые мы им обычно приписываем. Как разрешить дилемму? Выводы физика, пытается доказать Райл, на самом деле не противоречат нашим повседневным суждениям, а потому предполагаемая дилемма оказывается *лишь* различием интересов.

5.4 Теория речевых актов Дж.Остина

Переход от интенциональных состояний к лингвистическим актам активно обсуждался еще в лингвистической философии в связи с употреблением выражения "Я знаю". Как известно, представители этого направления, истоки которого связаны с философией "здравого смысла" Дж. Мура и взглядами позднего Витгенштейна, усматривали основную задачу философии в "терапевтическом" анализе разговорного языка, цель которого — выяснение деталей и оттенков его употребления. Однако оксфордская философия —прежде всего Дж.Остин — проявляет интерес к языку *как таковому*, совершенно чуждый Витгенштейну. В результате его исследования содержат некоторые позитивные результаты по анализу структуры обыденного языка, его отдельных выражений.

Так, Дж. Остин предлагает различать по крайней мере две основные модели употребления выражения "Я знаю". Первая модель описывает ситуации с внешними объектами ("Я знаю, что это дрозд"), вторая—характеристики "чужого" сознания ("Я знаю, что этот человек раздражен"). Основная проблема, дискутируемая в рамках лингвистической философии на протяжении уже нескольких десятилетий, связана со второй моделью употребления выражения "Я знаю". Здесь обсуждаются следующие вопросы: каким образом я могу знать, что

Том рассержен, если я не в состоянии проникнуть в его чувства? Возможно ли считать корректным употребления "Я знаю" применительно к эмпирическим утверждениям типа "Я знаю, что это дерево"?

Следуя Дж. Остину, правомерность употребления выражения "Я знаю" для описания ощущений и эмоций другого человека нельзя отождествлять непосредственно с его способностями испытывать те же ощущения и чувства. Скорее, правомерность такого употребления объясняется нашей способностью в принципе испытывать аналогичные ощущения и делать выводы о том, что чувствует другой человек на основе внешних симптомов и проявлений.

Остин никогда не считал — вопреки достаточно распространенному мнению о нем, — что «обычный язык» является верховной инстанцией во всех философских делах. С его точки зрения, наш обычный лексикон воплощает все различения, которые люди сочли нужным провести, и все связи, которые они сочли нужным установить на протяжении жизни поколений. Иными словами, дело не в экстраординарной важности языка, а в том, что для практических повседневных дел различения, содержащиеся в обычном языке, более здравы, чем сугубо спекулятивные различения, которые мы можем вымыслить, придумать. Дистинкции и преференции повседневного языка представляют собой, на взгляд Остина, если не венец, то, безусловно, «начало всего» в философии.

Но он охотно признает, что хотя в качестве необходимого предварительного условия философ должен войти в детали обычного словоупотребления, он должен будет, в конечном счете, исправить его, подвергнуть так или иначе обусловленной коррекции. Этот авторитет для обычного человека, далее, имеет силу только в делах практических. Поскольку интересы философа носят зачастую (если не как правило) иной характер, чем интересы обычного человека, то он сталкивается с необходимостью провести новые различения, изобрести новую терминологию.

Остин демонстрирует как тонкость грамматических различений, им обычно проводимых, так и две весьма различные точки зрения, которых он придерживался относительно значения таких различений. В качестве примера он оспаривает анализ выражения «мог бы иметь», предложенный Муром в «Этике». Согласно Остину, Мур ошибочно полагает, во-первых, что «мог бы иметь» означает просто «мог бы иметь, если бы я выбрал», во-вторых, что предложение «мог бы иметь, если бы я выбрал» можно (правильно) заменить предложением «имел бы, если бы я выбрал», и, в-третьих (скорее имплицитно, чем явно), что части предложений с *если* в данном случае указывают на условие причины.

В противоположность Муру, Остин пытается показать, что думать, будто «(имел) бы» может быть подставлено вместо «мог (бы)», значит ошибаться; что *если* в таких предложениях, как «Я могу, если я выберу», есть не *если* условия, но некое другое *если* — возможно, *если* оговорки; и что предположение, будто «мог иметь» означает «мог бы иметь, если бы выбрал», основывается на ложной посылке, будто «мог иметь» есть всегда глагол прошедшего времени в условном или субъективном наклонении, тогда как это, возможно, глагол «мочь» в прошедшем времени и изъявительном наклонении (во многих случаях это действительно так; примечательно, что за доказательством данной мысли Остин обращается не только к английскому языку, но и к другим языкам — хотя бы к латыни.) Основываясь на приводимых им доводах, он заключает, что Мур ошибался, полагая, что детерминизм совместим с тем, что мы обычно говорим и, возможно, думаем. Но Остин скорее просто утверждает, что это общее философское

заключение следует из его доводов, нежели показывает, как и почему это происходит.

Значимость своих размышлений Остин объясняет отчасти тем фактом, что слова «если» и «мочь» — это слова, которые постоянно напоминают о себе, особенно, пожалуй, в те моменты, когда философ наивно воображает, будто его проблемы решены, и поэтому жизненно важно прояснить их употребление. Разбирая такие лингвистические дистинкции, мы яснее понимаем феномены, для различения которых они используются. «Философию обычного языка», полагает он, лучше было бы называть «лингвистической феноменологией».

Но далее он переходит к другому положению. Философию принято считать родоначальницей наук. Возможно, возражает Остин, она готовится дать жизнь новой науке о языке, подобно тому как недавно произвела на свет математическую логику. Вслед за Джеймсом и Расселом Остин даже думает, что проблема является философской именно потому, что она запутанна; как только люди достигают ясности относительно какой-то проблемы, она перестает быть философской и становится научной. Поэтому он утверждает, что избыточное упрощение является не столько профессиональным недугом философов, сколько их профессиональной обязанностью, и поэтому, осуждая ошибки философов, он характеризует их скорее как родовые, чем как индивидуальные.

Полемика Остина с Айером и его последователями была, по его собственному признанию, обусловлена именно их достоинствами, а не недостатками. Однако целью Остина была не экспликация этих достоинств, а именно выявление словесных ошибок и разнообразия скрытых мотивов.

Остин надеялся опровергнуть два тезиса:

- во-первых, что то, что мы непосредственно воспринимаем, суть чувственные данные, и,
- во-вторых, что предложения о чувственных данных служат безусловными основаниями знания.

Его усилия в первом направлении ограничиваются главным образом критикой классического аргумента от иллюзии. Он считает этот аргумент несостоятельным, поскольку не предполагает различения между *иллюзией* и *обманом,* как если бы в ситуации иллюзии, как в ситуации обмана мы «видели нечто», в данном случае — чувственное данное. Но на самом деле, глядя на прямую палку, погруженную в воду, мы видим именно палку, а не чувственное данное; если при каких-то совершенно особых обстоятельствах она порой кажется согнутой, то это не должно нас беспокоить.

Относительно безусловности Остин доказывает, что нет таких предложений, которые по своей природе должны быть «основанием знания», т.е. предложений, по своей природе безусловных, непосредственно верифицируемых и доказательных в силу очевидности. К тому же и «предложения о материальном объекте» не обязательно должны «основываться на очевидном доказательстве». В большинстве случаев то, что книга лежит на столе, не требует доказательства; однако мы можем, изменив угол зрения, усомниться, правильно ли мы говорим, что эта книга кажется светло-лиловой.

Подобные аргументы из Пирронова арсенала не могут служить основанием для эпистемологических ревизий в лингвистической философии, и Остин не

рассматривает специально общий вопрос о том, почему теория чувственного данного в той или иной из многочисленных версий проделала, как он сам подчеркивает, столь долгий и почтенный философский путь. В частности, Остин вообще не говорит об аргументе от физики — о несоответствии между вещами, какими мы их обычно считаем, и вещами, как их описывает физик, — аргументе, который многие эпистемологи считаютсильнейшим аргументом в пользу чувственных данных. Он обращает внимание скорее на такие вопросы, как точное употребление слова «реальный», которое в выражениях типа «реальный цвет» сыграло очень важную роль в теориях чувственного данного. «Реальный», доказывает он, вовсе не нормальное слово, т. е. слово, имеющее единственное значение, слово поддающееся детальному разъяснению. Оно также недвусмысленно. По мнению Остина, оно «субстантивно-голодное»: в отличие от слова «розовый», оно не может служить описанием, но (подобно слову «good») имеет значение только в контексте («реальный такой-то»); оно есть «слово-объем» — в том смысле, что (опять-таки подобно слову «good») является самым общим из совокупности слов, каждое из которых выполняет ту же функцию, — таких слов, как «должный», «подлинный», «аутентичный»; оно есть «слово-регулировщик», позволяющее нам справиться с новыми и непредвиденными ситуациями без изобретения специального нового термина. Такие различения совершенно уместны по отношению к проблемам, которые Остин непосредственно обсуждает, но у Остина они начинают жить собственной жизнью, выходя за границы пропедевтики к критике теорий чувственных данных и становясь чем-то большим, нежели инструмент такой критики.

Наконец, важным вкладом Остина в философию считается приведенное им разъяснение аналогии между «знанием» и «обещанием», обычно выражаемой утверждением, что «знание» есть перформативное слово. Было распространено мнение, что знание есть название особого ментального состояния. В таком случае говорить «Я знаю, что *S* есть *P*» — значит утверждать, что в этом ментальном состоянии я нахожусь в отношении к *«S* есть *P».* Эта теория, доказывает Остин, основывается на «ошибке описания», на предположении, что слова используются только для описания. Утверждая, что я знаю нечто, я не описываю свое состояние, но делаю решительный шаг — даю другим слово, беру на себя ответственность за утверждение, что *S* есть *P,* точно так же как обещать — значит давать другим слово, что я сделаю нечто. Иными словами, предложения, начинающиеся со слов "я обещаю", не являются истинными или ложными, но представляют собой вид магической формулы, лингвистическое средство, с помощью которого говорящий берет на себя некоторое обязательство.

Однако, когда П. Ф. Стросон, критикуя Тарского, предложил перформативный анализ слова «истинный» (утверждать, что *p* истинно, значит подтверждать *p* или признавать, что *p,* а не сообщать нечто о *p*), Остин возразил следующим образом: несомненно, *«p* истинно» имеет перформативный аспект, но отсюда не следует, что это перформативное высказывание.

Согласно Остину, утверждать, что *p* истинно, значит утверждать (в некотором смысле, который нуждается в дальнейшемразъяснении), что *«p* соответствует фактам», т.е. в не решенной до сих пор задаче определения корреспонденции. Однако это, несомненно, часть стандартного английского, которая как таковая едва ли может быть ошибочной, и Остин пытался разъяснить значение «соответствия» в терминах *дескриптивных* конвенций, соотносящих слова с

типами ситуаций и *демонстративных* конвенций, соотносящих предложения с действительными рическими ситуациями, обнаруживаемыми в мире. Сказать, что *"S* есть *P"* значит сказать, полагает он, что такую ситуацию, как та, на которую указывает это утверждение, принято описывать так, как ее сейчас описывают. Например, утверждение «кошка на коврике» истинно в том том случае, если оно является корректным описанием ситуации, находящейся у нас перед глазами.

Учение о перформативных высказываниях, по мнению Остина не предполагает ни экспериментов, ни «полевой работы», но должно включать совместное обсуждение конкретных примеров, почерпнутых из различных литературных источников и личного опыта. Эти примеры надлежит исследовать в интеллектуальной атмосфере, совершенно свободной от всякой теории, и при этом совершенно забыть все проблемы, кроме проблемы описания.

Здесь очевидна противоположность между Остином и Поппером (и, с другой стороны, Витгенштейном). С точки зрения Поппера, описание, свободное от какой бы то ни было теории, невозможно, и всякий ценный вклад в науку начинается с постановки проблемы. В то время как Остин относится к разговорам о «важности» подозрительно и полагает, что единственная вещь, в «важности» которой он уверен, — это «истина», Поппер доказывает, что он всегда стремился найти *интересные* истины — истины, представляющие интерес с точки зрения решения важных проблем.

В итоге Остин по-новому формулирует различие между «перформативными» и «констатирующими» высказываниями, придавая ему лаконичную и четкую форму. Перформативные высказывания, по его мнению, могут быть «удачными» или «неудачными», но не истинными или ложными; «констатирующие» («дескриптивные») высказывания являются истинными или ложными. Так, хотя высказывание «Я называю этот корабль "Королева Елизавета"» может быть истинным или ложным, оно является «неудачным», если я не вправе давать имена кораблям, или если сейчас не время заниматься этим, или если я использую неправильную формулу. Напротив, высказывание «Он назвал этот корабль "Королева Елизавета"» является истинным или ложным, а не удачным или неудачным.

Но здесь возможны сомнения — прежде всего относительно перформативных высказываний. Если мы повнимательнее всмотримся в слово «удача», подчеркивает Остин, то увидим, что оно всегда предполагает нечто истинным — например, что обсуждаемая формула действительно правильна, что употребляющий ее человек действительно имеет право ее употреблять, что обстоятельства, в которых ее используют, действительно являются подходящими обстоятельствами. Это затруднение, казалось бы, можно с легкостью преодолеть, сказав, что хотя «удача» данного перформативного высказывания предполагает истину определенных констататаций, само перформативное высказывание не является ни истинным, ни ложным. Но та же связь между истинностью и удачей относится и к констатациям, например к констатации «Дети Джона лысые», когда она указывает на Джона, а у Джона нет детей. Значит, она является не ложной, но «неудачной», неправильно высказанной. И в то же время перформативное высказывание «Я предупреждаю вас, что бык вот-вот нападет», безусловно, уязвимо для критики, поскольку то, что бык вот-вот нападет, может быть ложно. Поэтому провести различение между перформативными высказываниями и констатирующими высказываниями посредством противопоставления истинного

или ложного удачному или неудачному не так просто, как могло поначалу казаться.

В таком случае нельзя ли провести различение между перформативными и констатирующими высказываниями на каких-то других основаниях — грамматических основаниях, например? Мы могли бы надеяться, что это возможно, поскольку перформативные высказывания часто выражаются в особого рода первом лице изъявительного наклонения: «Я предупреждаю вас», «Я зову вас». Однако Остин отмечает, что они не всегда имеют такую грамматическую форму, ведь «Сим вас предупредили» — такое же перформативное высказывание, как и «Я предупреждаю вас». Кроме того, «Я констатирую, что...» также характеризуется грамматической формой первого лица, а ведь это, несомненно, констатирующее высказывание.

Потому Остин нащупывает другой способ разграничения высказываний, в терминах вида акта, который они исполняют. Он выделяет три вида акта употребления предложения: «локутивный» акт употребления предложения с целью сообщить некое значение, когда, например, кто-то *говорит нам,* что Джордж идет; «иллокутивный» акт употребления высказывания с определенной «силой», когда, например, кто-то *предупреждает* нас, что Джордж идет; и «перлокутивный» акт, нацеленный на произведение некоторого воздействия посредством употребления предложения, когда, например, кто-то не говорит нам прямо, что вот идет Джордж, но *умеет предупредить* нас, что он приближается. Всякое конкретное высказывание, считает теперь Остин, выполняет и локутивные, и иллокутивные функции.

На первый взгляд кажется, что локутивные акты соответствуют констатирующим высказываниям, а иллокутивные — перформативным. Но Остин отрицает, что конкретное высказывание можно классифицировать как чисто перформативное или чисто констатирующее. По его мнению, констатировать — так же, как и предупреждать — значит *делать* что-то, и мое действие констатирования подвержено разного рода «невезениям»; констатации могут быть не только истинными или ложными, но и справедливыми, точными, приблизительно истинными, правильно или ошибочно высказанными и т. д. Однако соображения истинности и ложности непосредственно применимы к таким перформативным актам, как, например, когда судья *находит* человека виновным или путешественник без часов *прикидывает,* что сейчас половина третьего. Поэтому от различения между перформативными и констатирующими высказываниями необходимо отказаться, сохраняя его разве что в качестве первого приближения к проблеме.

Имеют ли эти и аналогичные различения, которые Остин проводит и анализирует в работе «Слово как действие» и других сочинениях, посвященных речевым актам, какое-либо значение? Вносят ли они вклад в разрешение традиционных философских проблем, в отличие от проблем науки о языке? Если Остин прав, то их значение весьма велико. Он считает, что всегда проясняется речевой акт в целом, и поэтому (вопреки мнению сторонников «логического анализа») вопроса об анализе «значения» как чего-то отличного от «силы» констатации не существует. Констатирование и описание суть просто два вида иллокутивного акта, и они не имеют той особой значимости, какой их обычно наделяла философия. Если не считать искусственной абстракции, которая может быть желательна для определенных специальных целей, «истинность» и «ложность»,

вопреки распространенному среди философов мнению, не являются именами отношений или качеств; они указывают на «оценочное измерение» «удовлетворительности» слов, употребленных в предложении по отношению к фактам, на которые эти слова указывают. («Истинное», с такой точки зрения, означает «очень хорошо сказанное».) Отсюда следует, что шаблонное философское различие между «фактическим» и «нормативным» должно уступить место другим философским дихотомиям.

Таковы основные затронутые Остином вопросы речевых актов, и при всей амбивалентности его трактовки их роли в философском анализе ко всем их вариантам применимо его самое известное и самое бесспорное изречение:

"Слову никогда — или почти никогда — не стряхнуть с себя свою этимологию".

5.5 Интенционалистские теории языка (П.Грайс, Дж.Серль)

Интенционализм — одно из крупных направлений в современной аналитической философии языка. Основная претензия интенционализма — доказать, что концептуально первичным и ключевым для философии языка является понятие намерения подразумевания (meaning intention), так что в его терминах можно определить другое центральное понятие философии языка — понятие значения (meaning) языковых выражений.

В одном из вариантов интенционализма, принадлежащем Джона Серлю (см. ниже в связи с феноменологией), намерение подразумевания рассматривается, кроме того, и в качестве фактора, наделяющего физические сущности, которые опосредуют общение между людьми, — звуки речи, следы чернил на бумаге, и т. д., — семантическими свойствами: смыслом (осмысленностью), значением или, как выражается Серль, интенциональностью.

Основную проблему здесь можно сформулировать так:

> Правда ли, что звуки речи и другие физические сущности, используемые людьми для опосредования общения, наделены такими семантическими свойствами, как осмысленность или интенциональность (т. е. направленность на некие объекты или положения вещей в мире)?

Или:

> Правда ли, что намерение подразумевания человека, совершающего речевой акт, обладает такой чудесной силой, что способно наделить произносимые им звуки или производимые им чернильные закорючки на листе бумаги смыслом (осмысленностью) и интенциональностью?

Или:

> Правда ли, что интенционализм не способен осуществить заявленные им претензии в отсутствии утверждения об интенциональности физических медиаторов общения?
>
> Правда ли, что интенциональность (осмысленность) звуков и следов чернил на бумаге является необходимым условием успешного общения между рациональными субъектами?

Иными словами, правда ли, что не обладай акустические колебания и следы чернил, продуцируемые людьми, свойством интенциональности, успешное общение между рациональными субъектами было бы невозможно?

Возникающие здесь идеи, позволяющие усомниться в возможности ответов на эти вопросы, таковы:

1. Коллективная и согласованная *ошибочная* вера всех участников общения в интенциональность (или осмысленность) физических медиаторов общения с успехом заменяет само отсутствующее свойство интенциональности (осмысленности). Иными словами, для успеха общения, например, с помощью звуков важно не столько то, осмысленны ли (интенциональны ли) произносимые людьми звуки *на самом деле*, сколько то, верят ли участники общения в то, что эти звуки имеют смысл, и если верят, то согласованны ли их ответы на вопрос о том, какой именно смысл эти звуки имеют.
2. Одно достаточное — а, возможно, *и* достаточное, *и* необходимое — условие бездефектной рациональности участников общения, использующих физические медиаторы, состоит в том, что эти участники *притворно* и согласованно (в игровом порядке) полагают, что физические медиаторы их общения наделены интенциональностью.
3. В реальных процессах обыденного языкового общения только что сформулированное (в п.2) достаточное условие не выполняется, но зато реальные процессы обыденного языкового общения отягощены целым рядом дефектов рациональности их участников.
4. Ближе всего участники обыденного языкового общения к бездефектной рациональности тогда, когда они опираются в своих речевых действиях и интерпретациях речевых действий партнера на представление о языковом общении как манипулировании неким языковым автоматом, "встроенным" в сознание — или подсознание? — носителя языка.

5.5.1 Интенционализм Пола Грайса

Узкий интенционализм в современной аналитической философии языка начался со статьи "Meaning" британского философа Пола Грайса, написанной в 1948 году.

Название статьи должно быть переведено на русский язык вовсе не как "Значение" (в смысле значения языковых выражений), как можно было бы подумать, а как "Подразумевание" — то, что подразумевает (имеет в виду) человек, инициирующий акт языкового или какого-либо иного общения.

Фундаментальный замысел Грайса состоит в том, что именно понятие подразумевания (meaning) должно пролить свет на центральное понятие философии языка — понятие значения (meaning) языкового выражения.[29]

[29] Позволительно предположить, что эта двузначность слова "meaning" (омонимия?) (наличествующая, по-видимому, только в английском языке): "meaning" в смысле "значение" / "meaning" в смысле "подразумевание, имение в виду" — могла сыграть некоторую роль в рождении Грайсова замысла.
Факты истории английского языка таковы: исторически исходным значением слова "meaning" было, конечно, "подразумевание": 'What does he mean by doing those gestures?' ('Что он хочет сказать (подразумевает, имеет в виду под) этими жестами?').

Этот замысел естественным образом разбивается на две части: (1) сначала мы должны проанализировать само понятие подразумевания, ибо мы, по-видимому, не вправе считать это понятие ни вполне ясным с философской точки зрения, ни базовым, не поддающимся дальнейшему анализу; (2) затем нам останется дать анализ понятия значения в терминах уже проясненного (проанализированного) понятия подразумевания.

Грайсова статья "Meaning" посвящена выполнению первой половины замысла.

5.5.1.1 Первая часть замысла: Анализ-толкование понятия подразумевания

Итак, проблема анализа (толкования) понятия подразумевания ставится так: [Хотя стоит отметить, что именно в связи с обсуждением идей Грайса Джон Серль в своей статье "Подразумевание, общение и репрезентация" (в посвященном Грайсу сборнике *Philosophical Grounds of Rationality: Intentions, Categories, Ends*, ed. by R.Grandy and R.Warner. Clarendon Press, Oxford, pp.209-226) делает следующую ремарку: "Хорошо известно, что [английский] глагол 'mean' ('подразумевать', 'значить') и соответствующее существительное 'meaning' ('значение', 'подразумевание') суть источники путаницы [...]. Заметьте, кстати, что 'mean' нельзя вполне точно перевести ни на французский, ни на немецкий язык. Ни один из следующих глаголов: 'meinen' [нем.:'подразумевать'], 'bedeuten' [нем.: 'значить'], 'voiloir dire' [фр.: 'хотеть сказать', в перен. смысле 'означать'], 'signifier' [фр.: 'значить, означать'], — ни один из этих глаголов не является точным эквивалентом английского 'mean'."]

Итак, предположим, что человек S *подразумевает* (имеет в виду; хочет сказать; намеревается сообщить) нечто, произнося *x*[30]. Что это значит? Как это можно растолковать (прояснить)?

1-я попытка анализа-толкования. Ограничимся пока что для простоты только информационными или дескриптивными (или, говоря терминами грамматики,

---

Из этой исходной конструкции, в порядке самой обыденной и поэтому почти не замечаемой метонимии (замены слова другим словом, имеющим причинную связь с первым), родилась следующая парафраза: 'What do his gestures mean?', т.е. б у к в а л ь н о : 'Что хотят сказать (подразумевают, имеют в виду) его жесты?', но " н а с а м о м д е л е " : 'Что значат его жесты?' Следующий, также вполне обыденный и безобидный, шаг: 'What is the meaning of his gestures?' — 'Каково значение его жестов?'
И наконец: 'What is the meaning of that word?' — теперь уже б у к в а л ь н о : 'Каково значение этого слова?', но е с л и о ж и в и т ь у ж е у м е р ш у ю з д е с ь м е т о н и м и ю : 'Что хочет сказать (подразумевает, имеет в виду) это слово?'
Мы не собираюсь утверждать, что эта историческая цепочка парафраз действительно была одним из резонов для Грайса, когда он выдвигал свой замысел.
Однако если бы Грайс на самом деле имел в виду подобный резон, то в этом не было бы ничего неправомерного. В самом деле, почему бы, вообще говоря, этимологическая история терминов не могла бы послужить резоном для выдвижения гипотезы о связи соответствующих понятий? Если слово, выражающее понятие значения, исторически сводится к слову, выражающему понятие подразумевания, то почему бы это не могло быть поводом для предположения, что понятие значения концептуально сводится к понятию подразумевания (т.е. что первое может быть проанализировано в терминах второго)? Это может быть поводом для выдвижения гипотезы, но, конечно, не аргументом в пользу гипотезы (или против нее).

[30] Оборот "произнося x" в этой формулировке требует комментария. Грайс ("Meaning", p.216) предупреждает, что ради общности и удобства рассмотрения будет понимать его в расширительном смысле, именно: "произнося x" = "совершая любое — возможно, неязыковое — действие x".

повествовательными, или изъявительными) подразумеваниями, оставив в стороне императивные и прочие.

Предположим, что некий человек, S, обращаясь к сыщику, произносит: "Преступник, которого Вы разыскиваете, — Иванов." Каково было намерение S, когда он произносил это? По-видимому, S намеревался внушить сыщику некую мысль — т.е. намеревался сделать так, чтобы сыщик стал полагать (думать, считать) нечто. А что подразумевал S, произнося то, что он произнес? По-видимому, ту самую мысль, которую он намеревался внушить сыщику, а именно: что преступник, которого тот разыскивает, — Иванов.

Не можем ли мы извлечь из этого примера общий анализ (толкование, прояснение) понятия подразумевания? Например, так:

S *подразумевает* (имеет в виду; хочет сказать; намеревается сообщить) нечто, произнося *x*, если

S намеревается своим произнесением *x* сделать так, чтобы его реципиент (т.е. тот, к кому обращено действие S) начал полагать нечто.

G1 В таком случае содержание полагания, которое S намеревается внушить реципиенту, и есть то, что подразумевает (имееет в виду, хочет сказать) S, произнося *x*.

<u>Контрпример</u>:

На самом деле, G1 не годится — вот почему:

Предположим, что S подложил близ места преступления принадлежащий Иванову платок с целью внушить сыщику мысль, что преступление совершил Иванов. Этот случай подходит под толкование G1: S намеревался своим подкладыванием платка сделать так, чтобы сыщик начал полагать нечто. Но ясно, что мы не готовы сказать, что, подкладывая платок, S *подразумевал* (в рассматриваемом нами смысле подразумевания), что преступление совершил Иванов.

Намерения внушить мысль недостаточно, чтобы мы имели дело с подразумеванием (имением в виду).

Не всякий случай внушения мысли есть случай общения (коммуникации) между людьми.

2-я попытка анализа-толкования: Чего же не хватает намерению внушить мысль, чтобы стать намерением подразумевать нечто (намерением совершить акт коммуникации)?

Почему, например, мы не готовы сказать, что, подкладывая платок, S *подразумевал* (в рассматриваемом нами смысле подразумевания; или: намеревался сообщить сыщику), что преступление совершил Иванов?

По-видимому, первое, что приходит в голову: Акт общения (сообщения) предполагает *открытость* намерений. Человек, сообщающий другому нечто, намеревается не только внушить ему нечто, но и *открыть ему свої намерение внушить ему это нечто*. Мы могли бы сказать, что человек, сообщающий нечто,

"на самом деле" сообщает *больше* этого, именно: он еще с необходимостью сообщает, что *он хочет внушить своему реципиенту это нечто*. Если S говорит сыщику: "Преступление совершил Иванов", то он как бы "на самом деле" говорит: "*Я хочу внушить тебе мысль, что* преступление совершил Иванов".

Эти соображения приводят Грайса к следующей попытке анализа-толкования:

G2

S *подразумевает* (имеет в виду, хочет сказать) нечто, произнося *x*, если

(i) S намеревается своим произнесением *x* сделать так, чтобы его реципиент начал полагать, что *p*; и

(ii) S намеревается (посредством своего произнесения *x*) сделать так, чтобы его реципиент распознал его намерение (i).

Контрпримеры:

1. В Евангелиях от Матфея и Марка[31] рассказывается о гибели Иоанна Крестителя: Царь Галилеи Ирод по просьбе угодившей ему Саломеи, дочери Иродиады, велел отсечь Иоанну, сидевшему в темнице, голову и поднести ее на блюде Саломее, что и было сделано.

Итак, Ирод поднес на блюде голову Иоанна Саломее. Ясно, что он намеревался посредством этого поднесения сделать так, чтобы Саломея полагала, что еї просьба исполнена — Иоанн обезглавлен. Ясно также, что Ирод кроме того намеревался (посредством этого поднесения) сделать так, чтобы Саломея поняла (распознала), что Ирод хочет внушить (показать) ей, что еї просьба исполнена.

2. Моя дочь разбила фарфоровый сервиз. Я, вместо того, чтобы собрать и выбросить осколки, оставляю их разбросанными по полу, чтобы жена смогла сама увидеть, что наделала дочка.

Я намереваюсь сделать тем самым так, чтобы жена полагала, что дочь разбила сервиз. Я кроме того намереваюсь сделать тем самым так, чтобы жена поняла (распознала), что я хочу сделать так, чтобы она полагала, что дочь разбила сервиз.

Готовы ли мы сказать, что

— Ирод, поднося Саломее голову Иоанна, *подразумевал (намеревался сообщить ей)*, что Иоанн обезглавлен;

— я, оставив осколки валяться на полу, *подразумевал (намеревался сообщить жене)*, что дочь разбила сервиз?

[31] Мат. 14.1-11. Мар. 6.14-29.

Автор этих строк, к примеру, поначалу не видел, что помешало бы ответить на этот вопрос положительно, но Грайс приводит следующее противопоставление: Видоизменим, — говорит он, — контрпример 2. Представим себе, что вместо того, чтобы оставить осколки сервиза на полу, я убрал их, но затем нарисовал картинку, на которой эти осколки лежат разбросанными по полу, и показал картинку жене, — по-прежнему имея в виду (i) сделать тем самым так, чтобы жена полагала, что дочь разбила сервиз, и кроме того (ii) сделать тем самым так, чтобы жена поняла (распознала), что я хочу сделать так, чтобы она полагала, что дочь разбила сервиз.

Чем отличается этот модифицированный случай от исходного? Тем, что в исходном примере я в принципе мог бы осуществить свое первое намерение, не осуществив второго: могло бы случиться так, что жена, увидев осколки, поняла, что дочь разбила сервиз, но не догадалась бы, что я, оставив осколки на полу, намеревался тем самым сделать так, чтобы она поняла, что дочь разбила сервиз.

В модифицированном же примере успех первого моего намерения зависит от второго: увидев мою картинку, жена только в том случае, возможно, стала полагать, что дочь разбила сервиз, если бы она поняла, что я нарисовал и показываю ей эту картинку с намерением дать ей понять, что дочь разбила сервиз. Если бы ей не пришла в голову эта вторая мысль (если бы она, скажем, истолковала мою картинку просто как невинное упражнение в рисовании), то не могла бы прийти и первая. В том-то, стало быть, и дело, что второе свое намерение я питаю не "кроме того", а в качестве *необходимого условия успешного осуществления первого намерения*.

Успех сообщения зависит от успешного распознания самого намерения сообщить. Нельзя понять само сообщение, если вы предварительно не поняли, что вам *хотят* сообщить нечто.

В этом, по Грайсу, тонкое различие между понятиями "намеренно и открыто позволить вам узнать, что ..." (или: "сделать так, чтобы вы думали, что ...") и "сообщить вам, что ...".

3-я попытка анализа-толкования. Мы могли бы обобщить эти соображения следующим образом:

S *подразумевает* (имеет в виду, хочет сказать) нечто, произнося *x*, если

(i) S намеревается своим произнесением *x* сделать так, чтобы его реципиент начал полагать, что *p*; и

(ii) S намеревается (посредством своего произнесения *x*) сделать так, чтобы его реципиент распознал его намерение (i);

G3 (iii) S намеревается (посредством своего произнесения *x*) сделать так, чтобы осуществление его намерения (ii) было необходимым условием осуществления его намерения (i).

<u>(Мнимый) контрпример 1</u>:

(A) Представим себе, что S нахмурил брови. Возможны два варианта этой ситуации: (1) S нахмурил брови рефлексивно, в порядке инстинктивной реакции неудовольствия; (2) S нахмурил брови намеренно — чтобы сообщить вам, что он недоволен.

Готовы ли мы во втором случае сказать, что нахмурив брови, S *подразумевал (намеревался сообщить)*, что он недоволен? Ну да, конечно, — ответили бы мы, памятуя об анализе-толковании G3, — ведь вроде бы здесь соблюдены все три пункта: во-первых, своим нахмуриванием бровей S намеревался довести до вашего сознания мысль, что он недоволен; во-вторых, он своим нахмуриванием бровей намеревался дать вам понять, что он хочет довести до вашего сознания эту мысль; и в-третьих, своим нахмуриванием бровей он намеревался сделать так, чтобы мысль о его неудовольствии появилась бы в вашем сознании лишь в том случае, если бы вы догадались (распознали), что он хочет довести еї до вашего сознания. Разве не так?

Но соль примера вот в чем: Предположим, что вам не пришло в голову, что S намерен дать вам знать, что он недоволен (вы не распознали этого его намерения). Разве, даже при этом условии, вам не может прийти в голову мысль, что S недоволен?[32] Ведь вы же видите его нахмуренные брови — "натуральный знак" недовольства, и этого достаточно — вам вовсе не нужно знать что-то еще о его намерениях, чтобы догадаться, что он недоволен. Но если это так, то — в соответствии с G3 — мы не вправе сказать, что при всех этих обстоятельствах S *подразумевал (намеревался сообщить нам)*, что он недоволен.

Этот контрпример, однако, на самом деле не является контрпримером, — говорит Грайс. По одним только нахмуренным бровям S вы поймете, что он недоволен, лишь в том случае, если вы толкуете его нахмуренные брови как инстинктивную реакцию ("натуральный знак") недовольства, а не как сознательное действие. Но если S нахмурил брови сознательно, чтобы дать вам знать, что он недоволен, то вы, стало быть, неправильно толкуете саму природу его нахмуривания бровей, — и (парадоксальным образом!) лишь эта ошибка позволяет вам прийти к правильной мысли о том, что S недоволен. Вы, так сказать, пришли к правильной мысли неправильным путем.

Если же вы правильно толкуете саму природу его нахмуривания бровей — т.е. если вы правильно считаете, что S нахмурил брови сознательно, *но при этом не усматриваете*, что S тем самым намеревается внушить вам мысль, что он недоволен, то вы и не начнете полагать, что S недоволен. Вы будете просто озадачены его сознательным нахмуриванием бровей, будучи не в состоянии понять, *зачем* он это сделал. Стало быть, пункт (iii) о том, чтобы распознание намерения внушить мысль было необходимым условием того, что мысль внушена, и в этом примере сохраняет свою значимость для анализа-толкования понятия подразумевания (хотения сообщить).

[32] Такова нить рассуждения Грайса при рассмотрении им этого (мнимого) контрпримера, но, строго говоря, вопрос о том, что могло вам прийти в голову, а что нет, — не относится к делу, если мы хотим решить вопрос:

(1) Достаточно ли в данном случае наличия у S намерений (i)-(iii) для того, чтобы утверждать, что, нахмурив брови, он подразумевал, что он недоволен?

Зато соображения о том, что могло прийти в голову реципиенту, а что нет, были бы уместны, если бы мы занимались рассмотрением любого из двух следующих вопросов: (2) Могло ли намерение S сообщить вам, что он недоволен, посредством нахмуривания бровей успешно осуществиться? или (3) Можем ли мы квалифицировать намерение S сообщить вам, что он недоволен, посредством нахмуривания бровей как рациональное намерение?

(Б) Внесем одно изменение в условия случая (А): Представим себе, что S — вместо того, чтобы нахмурить брови, — произнїс, обращаясь к вам и имея при этом намерения вида (i)-(iii): "Я недоволен".

Предположим вновь, что вам не пришло в голову, что S намерен дать вам знать, что он недоволен (т.е. вы не распознали его намерения (ii)). Разве, даже при этом условии, его намерение (i) не может осуществиться — разве вам в голову не может прийти (и притом на хороших основаниях) мысль, что S недоволен? Ведь вы же слышите, как он произнес фразу "Я недоволен"; разве самого факта произнесения этой фразы, своего рода "натурального (или точнее: конвенционального, условного) знака" недовольства, недостаточно? Разве вам нужно знать что-то еще о его намерениях, чтобы догадаться, что он недоволен?. Но если это так, то — в соответствии с G3 — мы не вправе сказать, что при всех этих обстоятельствах S *подразумевал (намеревался сообщить нам)*, что он недоволен.

Здесь ответ — в том же роде, что и в примере (А), но только еще легче.

По одному только факту произнесения S слов "Я недоволен" вы поймете, что он недоволен, лишь в том случае, если вы толкуете этот факт как акт выражения, со стороны S, его действительного внутреннего состояния, а не как, к примеру, репетирование им реплики, которую он должен произносить в любительском спектакле, в котором он участвует. Стало быть, чтобы сделать из S-ого произнесения вывод, что S недоволен, вы должны приписать ему некоторое намерение — *причем намерение, подобное намерению (ii), если уж не само (ii)*: либо вы считаете, что S намеревался дать вам знать, что он недоволен (намерение (ii)), либо вы считаете, что S имел намерение выразить свое внутреннее состояние (даже если он не намеревался сообщить о своем состоянии вам) (намерение, подобное (ii)).

Если же вы не усматриваете за произнесением S ни намерения (ii), ни намерения, подобного (ii), — т.е. если вы правильно считаете, что S произнес "Я недоволен" сознательно, *но при этом не усматриваете*, что S тем самым намеревался внушить вам мысль, что он недоволен, или просто выразить свое внутреннее состояние, то вы и не начнете полагать, что S недоволен. Вы будете просто озадачены тем фактом, что он произнес эту фразу, будучи не в состоянии понять, *зачем* он это сделал.

Стало быть, пункт (iii) о том, чтобы распознание намерения внушить мысль было необходимым условием того, что мысль внушена, и в этом примере сохраняет свою значимость — правда, с существенной оговоркой о возможном задействовании не самого (ii), а лишь некоего намерения, подобного (ii).

<u>(Настоящий) контрпример 2</u>:

Напомним пункт (iii):

'S намеревается (посредством своего произнесения *x*) сделать так, чтобы осуществление его намерения (ii) было необходимым условием осуществления его намерения (i)'.

Не слишком ли сильно говорить о "*необходимом* условии'?

Представим себе такой случай: S обнаружил человека, T, мозг и нервная система которого устроены следующим примечательным образом: Если кто-то скажет T:

"Всякий раз, как я подмигну левым глазом, я хочу, чтобы ты думал, что я недоволен", то после этого всякий раз, как этот сказавший подмигнет левым глазом, а T увидит это подмигивание и распознает стоящее за ним намерение сделать так, чтобы T думал, что подмигнувший недоволен, — всякий раз в таких обстоятельствах T *с железной необходимостью* начинает думать (полагать, считать), что T недоволен. "С железной необходимостью" — то есть с необходимостью причинно-следственной связи; мозг T устроен так, что описанные выше обстоятельства каждый раз становятся *причиной* возникновения у T полагания, что подмигивавший недоволен. T, возможно, и хотел бы не полагать, что подмигнувший недоволен, но ничего не может поделать со своим мозгом: распознавание соответствующего намерения подмигнувшего в буквальном смысле *заставляет* полагать, что тот недоволен.

И вот S сказал T это заклинание: "Всякий раз, как я подмигну левым глазом, я хочу, чтобы ты думал, что я недоволен", причинно-следственный механизм уникального мозга T включился, и после этого S подмигнул T левым глазом, имея при этом все три намерения, требуемые анализом G3:

(i) S намеревался своим подмигиванием сделать так, чтобы T начал полагать, что S недоволен; и

(ii) S намеревался (посредством своего подмигивания) сделать так, чтобы T распознал, что S намеревается сделать так, чтобы T начал полагать, что S недоволен;

(iii) S намеревался (посредством своего подмигивания) сделать так, чтобы осуществление его намерения (ii) было необходимым условием (в смысле железной необходимости — благодаря уникальным особенностям мозга T) осуществления его намерения (i).

Готовы ли мы сказать, что благодаря наличию у S этих трех намерений вида (i)-(iii) S, подмигивая левым глазом, *подразумевал (намеревался собщить T)*, что он недоволен?

Скорее всего, нет. Что-то не в порядке здесь с "железной", причинно-следственной необходимостью. Когда человек, произнося нечто, *подразумевает (хочет сообщить реципиенту)* что-то, то он имеет в виду (намеревается) сделать распознавание реципиентом его намерений не *причиной*, а *резоном* для того, чтобы реципиент полагал (считал, думал) то-то и то-то. Реципиент остается в конечном счете хозяином своих мыслей и полаганий — он лишь получает от своего распознавания намерений сообщавшего *субъективное основание (резон)* для того, чтобы начать полагать то мыслительное содержание, которое подразумевал сообщавший, произнося то, что он произнес.

4-я и окончательная попытка анализа-толкования: Итак, эти соображения приводят нас к следующей поправке в пункте (iii):

S *подразумевает* (имеет в виду; хочет сказать; намеревается сообщить), что *p*, произнося *x*, если

(i) S намеревается своим произнесением *x* сделать так, чтобы его реципиент начал полагать, что *p*; и

(ii) S намеревается (посредством своего произнесения *x*) сделать так, чтобы его реципиент распознал его намерение (i);

G4 (iii) S намеревается (посредством своего произнесения *x*) сделать так, чтобы распознание реципиентом его намерения (i) стало для реципиента резоном (субъективным основанием) для того, чтобы начать полагать, что *p*.

И этот вариант, G4, становится в статье Грайса "Meaning" окончательным анализом-толкованием понятия подразумевания.

5.5.1.2 Вторая часть замысла: Анализ-толкование понятия значения языкового выражения в терминах подразумевания

По сравнению с изощренными и претерпевшими ряд усовершенствований формулировками первой части, осуществление второй части Грайсова замысла выглядит обескураживающе упрощенным и "неинтересным". Оно, это осуществление, сводится к следующему анализу-толкованию понятия языкового значения.

Анализ-толкование понятия 'значение выражения X для отдельного человека S'

Выражение (или: родовое произнесение) X имеет для человека S значение (meaning) "δ"

тт

G6 X имеет обыкновение произносить X, когда он совершает произнесение, под которым он подразумевает (means; имеет в виду; хочет сообщить), что δ.

Анализ-толкование понятия 'значение выражения X для группы людей (языкового сообщества)'

Выражение (или: родовое произнесение) X имеет для группы людей (языкового сообщества) G значение (meaning) "δ"

ттт

G7 по крайней мере некоторые (многие) члены группы X имеют обыкновение произносить X, когда они совершают произнесение, под которым они подразумевает, что δ; и при этом для каждого из имеющих это обыкновение оно покоится на его допущении, что по крайней мере некоторые (другие) члены группы G имеют это обыкновение.

Таким образом, в соответствии с анализами-толкованиями G6-G7, понятие языкового значения концептуально зависит не только от понятия подразумевания, но также и от непроанализированного, обыденного, достаточно расплывчатого понятия "иметь обыкновение". Сам Грайс отмечает,[33] что эти его анализы-толкования должны восприниматься как всего лишь "попытка дать предварительный набросок того, что могло бы, я надеюсь, оказаться жизнеспособной теорией".

5.5.2 Грайсов "миф о происхождении языка"

В интенционалистской философии языка Грайса есть еще один компонент, который помещает его замысел редукции понятия значения в более широкую перспективу.

Этот замысел редукции представляет собой попытку *концептуального сведения* понятия языкового значения к понятию подразумевания (и также, как мы видели, к понятию "обыкновения"). Компонент же, который я имею в виду, можно рассматривать как попытку дать глобальную и во многом, как признает сам Грайс, мифологическую картину *генетического сведения* понятия языка и языкового значения к понятию подразумевания, а этого последнего, в свою очередь, — к хорошо известному в англосаксонской философии понятию "натурального знака"; — то есть мифологическую картину *происхождения* языка и языкового значения из подразумевания, а этого последнего — из поведенческих "натуральных знаков".

Это Грайсов "миф" интересен как сам по себе, так и в особенности потому, что он проясняет мотивацию первого Грайсова замысла концептуальной редукции: *Концептуальная редукция* должна быть правдоподобной отчасти потому, что ее, возможно, подстилает соответствующее *историческое развитие*.

Но почему миф? Потому что нарисовав свой генезис языка, Грайс обращается к читателю со следующим замечанием: Нарисованная картина "конечно, не мыслится мной как историческое или генетическое объяснение развития коммуникации и языка; это — миф, одно из предназначений которого — показать концептуальную связь между натуральным и ненатуральным значением. Но как такую связь можно объяснить с помошью *мифа*? Это вопрос, быть может, параллелен [...] вопросу о том, как природу и действенность политического

[33] Grice P. Studies in the Way of Words. Harvard University Press, 1989. P.117.

обязательства (а возможно, даже и морального обязательства) можно объяснить с помощью *мифического* общественного договора. Эта параллель, возможно, и плодотворна и полезна, — и все же не грех поинтересоваться: Делает ли она что-нибудь еще (и что именно), кроме как приводит нас от одной тайны к другой? Но эту проблему мы оставим до другого раза."

Итак, вот Грайсов "миф" о происхождении языка.[34]

Появление языка явилось результатом многостадийного исторического развития и преобразования феномена *"натуральных знаков"* в человеческом поведении в феномен *подразумевания* (которое можно толковать как своего рода "*не*натуральный знак") и, наконец, в феномен конвенционального, общепринятого в данном сообществе людей, стабильного *значения* определенных типов произнесений.

5.5.2.0 Нулевая стадия

Скажем, как черные тучи суть "натуральный знак" того, что будет дождь, так издаваемый человеком стон есть "натуральный знак" его внутреннего состояния — того, что он испытывает боль.

На этой нулевой стадии человек продуцирует такие "натуральные знаки" *непроизвольно*.

5.5.2.1 Первая стадия

Представим себе, что человек (или "существо", как выражается Грайс ввиду того, что эти человекоподобные еще не обладают языком) издал звуки, похожие на стон, *произвольно*, — т.е. произвольно продуцировал такое поведение, которое — будь оно продуцировано непроизвольно — служило бы свидетельством того, что данный человек испытывает боль.

Произвольное поведение делает осмысленным вопрос "зачем?". Зачем понадобилось бы этому существу издавать звуки, похожие на стон? Скорее всего, чтобы притвориться, что он испытывает боль, и ввести кого-то в заблуждение на этот счет. Почему окружающие подумают, что издающий такие звуки испытывает боль? Потому что эти звуки похожи на стон — "натуральный знак" боли.

Итак,

> Стадия №1 — это сознательная симуляция ("подделка") "натурального знака"
>
> с целью ввести в заблуждение окружающих

5.5.2.2 Вторая стадия

На второй стадии существо X не только произвольно ("сознательно") продуцирует поведение, подобное некоему "натуральному знаку", но и хочет, чтобы некое

[34] Ibid, pp.290-297.

другое существо Y, находящееся поблизости, *разгадало, что то, что происходит с X, — не "натуральный знак", а сознательная симуляция "натурального знака"* (скажем, знака боли), и с этой целью X придает своим звукам характерные оттенки, отличающие их от настоящего стона.

Зачем это может быть нужно X-у? Чтобы Y из распознания сознательной симуляции умозаключил, что X *на самом деле* испытывает боль.

Но такая постановка цели со стороны X-а выглядит парадоксальной, если не просто нелепой. Действительно, как можно из знания того, что X *симулирует* внешние проявления боли, сделать вывод, что X *на самом деле* испытывает боль?

Чтобы объяснить это, мы должны перейти к следующей стадии, а пока что заметим себе, что:

> Стадия №2 — это открытое заявление о сознательной симуляции "натурального знака"

5.5.2.3 Третья стадия

Предположим, что Y распознал не только то, что X издает стонущие звуки сознательно (а не "на самом деле" непроизвольно стонет от боли), но и то, что X *хочет*, чтобы Y распознал, что перед ним подделка, а не настоящий стон.

Поначалу это может озадачить Y-а: Находящееся перед ним существо, с одной стороны, вроде бы *симулирует* боль; а с другой стороны, оно как бы (характерными искусственными оттенками звука) *объявляет* во всеуслышание, что оно занимается симуляцией! Зачем бы это ему?

"Мне кажется, — пишет Грайс, — что если Y и в самом деле задаст себе вопрос, зачем бы X-у делать это, то сначала ему может прийти в голову мысль, что X занимается чем-то вроде игры, в которой он "понарошку" (make-believe) воображает себя кем-то или каким-то, — игры, в которой (как ожидается или подразумевается) должен принять соответствующее участие и Y, поскольку поведение X-а, как кажется, обращено к Y-у."[35]

Такова третья стадия:

> Стадия №3 — это воспроизведение "натурального знака" "понарошку" — с целью совместной игры

[35] Ibid, p.293.

5.5.2.4 Четвертая стадия

Но, — продолжает Грайс, — можно себе представить и такие случаи, которые не поддаются игровому толкованию. Представим себе, что хотя на первый взгляд Y-у кажется, что X приглашает его поучаствовать в своей игре, но когда Y делает ему одолжение и пытается внести в игру свой вклад, X вместо того чтобы продолжать игру, начинает сердиться и повторяет свои ненатуральные стоны.

Тогда Y-у может прийти в голову предположение, что X не играет, а пытается внушить Y-у мысль, что он, X, на самом деле испытывает боль. Это похоже на то, что происходило на стадии №1, — т.е. на сознательную симуляцию внешних признаков боли с целью ввести в заблуждение окружающих. Но здесь нужно вдуматься в радикальное различие между двумя способами "сознательного внушения мысли" другому человеку: Первый способ — это как раз и есть симуляция "натурального знака", т.е. попытка внушить мысль путем обмана, "мошенничества"; это способ Первой стадии. Второй же способ совсем иной; он состоит в том, чтобы *(i)* сознательно симулировать "натуральный знак"; но при этом *(ii)* не скрывать, а напротив подчеркнуть, что это — симуляция; и при этом еще *(iii)* намереваться (хотеть, надеяться) сделать так, чтобы тот, на кого рассчитано это представление, увидел для себя в этой открыто заявленной симуляции "натурального знака" резон полагать, что на самом деле имеет место то положение вещей, знаком которого является симулируемый "натуральный знак", когда он не симулируется, а продуцируется естественным, непроизвольным путем; и наконец, (и это самый хитроумно-рефлексивный элемент всего трюка) *(iv)* иметь в виду, чтобы именно распознание реципиентом намерения *(iii)* и послужило для него резоном полагать, что то положение вещей, знаком которого является симулируемый "натуральный знак", имеет место на самом деле.[36] [Грайс проницательно замечает, что, конечно, в реальной жизни распознание реципиентом какого бы то ни было намерения другого человека может служить для этого реципиента *рациональным* резоном для какого бы то ни было полагания о внешнем мире только в том случае (и это при наличии соответствующей связи между рассматриваемыми намерением и положением дел во внешнем мире), если реципиент исходит из допущения, что этот другой человек "заслуживает доверия" (или: "надежен").]

Итак,

> Стадия №4 — это открытая симуляция "натурального знака" с целью *сообщить* другому о соответствующем положении дел

5.5.2.5 Пятая стадия

От четвертой стадии симуляции до полноценного языка — всего три шага.

[36] Не требуется большого напряжения, чтобы заметить в этом хитроумном способе "передачи мысли" концептуальное родство с финальной версией Грайсова анализа-толкования понятия подразумевания (хотения сообщить); и именно это родство, конечно, и имел в виду Грайс, сочиняя свой миф.

Первый из них состоит в том, чтобы отказаться использовать в целях сообщения (коммуникации) симуляцию соответствующего "натурального знака" — и продуцировать вместо этого некое более или менее произвольное демонстративное поведение, связанное с тем положением дел, о котором ты хочешь сообщить неким хотя бы отдаленным, но распознаваемым сходством: например, издавать членораздельные звуки или рисовать закорючки на бумаге или на скале.

Итак, мы достигли стадии, на которой орудия-носители коммуникации не обязаны быть непосредственными симуляциями "натуральных знаков"; и — как замечает Грайс — чем отдаленнее связи между этими орудиями-носителями коммуникации и теми положениями дел, о которых они должны коммуницировать, тем больше свобода общения у общающихся людей, — поскольку тем менее они связаны необходимостью опираться на "натуральные" связи между своими знаками и предметами мира.

> Стадия №5 — это использование для сообщения о некоем положении дел *произвольного поведения*, лишь отдаленно напоминающего этого положение дел.

5.5.2.6 Шестая стадия

Предела свободы общающиеся достигают тогда, когда используют в целях общения такие физические сущности (фрагменты своего поведения или предметы), которые "по природе" вообще никак не связаны с содержанием сообщений, а связь между такой физической сущностью и тем, что "она сообщает", абсолютно искусственна и распознается общающимися лишь в силу наличия у них предварительного знания о ней.

> Стадия №6 — это использование для сообщения о некоем положении дел физической сущности заранее фиксированного рода, связь которой с содержанием сообщения абсолютно искусственна

5.5.2.7 Седьмая стадия

Наконец, последний шаг к полноценному языку состоит в установлении некоего конечного набора фундаментальных "устройств" (= слов) и некоего конечного набора способа их комбинирования (= правил грамматики). В этом вершинном случае общающиеся получают способность генерировать потенционально бесконечное число предложений (и сложных выражений вообще), — а стало быть, и способность коммуницировать потенциально бесконечное число мыслей.

Эта характеристика свойственна всем современным развитым языкам.

***

Как видим, если бы оказалось, что Грайсов миф исторически правдив, то он послужил бы хорошим подкреплением основной мысли интенционализма:

> коммуникационное намерение (= подразумевание) концептуально первично, а (стабильное конвенциональное) значение языковых выражений — вторично;

— при том, конечно, дополнительном допущении, что историческая "первичность" каким-то образом связана с концептуальной.

5.5.3 Отношения между ключевыми понятиями Грайсовой доктрины

Подведем некоторые итоги.

В первой части Грайсова замысла его ключевые понятия суть: *подразумевание*, *намерение* и *полагание*. В результате его анализа оказывается, что понятие подразумевания концептуально зависит от (= определяется в терминах) понятий намерения и полагания.

Кроме того, во многих местах своих писаний Грайс делает ремарки, из которых следует, что термин *подразумевать* есть просто удобное сокращение для оборота *хотеть* [или: *намереваться*] *сообщить*. Таким образом, можно сказать, что результат анализа таков: понятие *хотеть [*или: *намереваться] сообщить* концептуально зависит от (= определяется в терминах) понятий *намереваться* и *полагать*. Эта зависимость графически представлена на Рис.1.

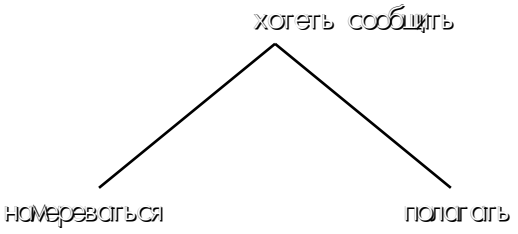


Рис. 1

Во второй части Грайсова замысла ключевые понятия таковы: *значение (языкового выражения)*, *подразумевать (= хотеть сообщить)*, *обыкновение*. В результате его анализа оказывается, что понятие *значение (языкового выражения)* концептуально зависит от (= определяется в терминах) понятий *подразумевать (= хотеть сообщить)* и *обыкновение* .

В свою очередь, Грайсово понятие обыкновения может быть эксплицировано в терминах понятия *конвенция*. Таким образом, можно сказать, что результат Грайсова анализа во второй части его замысла таков: понятие *значение (языкового выражения)* концептуально зависит от (= определяется в терминах) понятий *подразумевать (= хотеть сообщить)* и *конвенция*.

Отношения между всеми ключевыми понятиями Грайсовой доктрины графически представлены на Рис.2.:

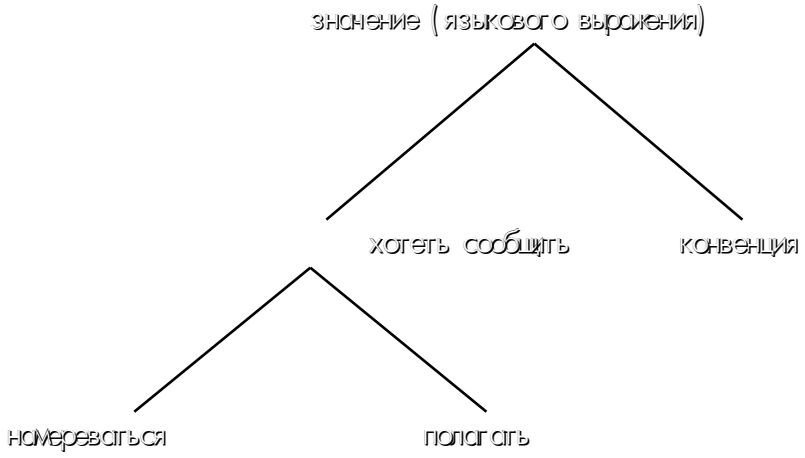


Рис. 2

5.5.4 Интенционализм Серля: теория речевых актов

Еще одна версия интенционализма в философии языка принадлежит американскому философу Джону Серлю. Путь Серля к анализу понятия подразумевания и его роли в философской семантике был достаточно долог.Серль начал с тезисов о природе языка, которые можно резюмировать так:

- Язык есть разновидность правилосообразной (т.е. подчиненной правилам) деятельности.
- Соответственно, философское исследование языка есть исследование правил деятельности по употреблению языковых выражений.
- Вообще, философия языка есть часть философии действия.'

В русле этих тезисов Серль продолжил дело своего учителя, британца Джона Остина: он развил инициированную Остином теорию речевых актов.[37] Уже на этой стадии Серль использовал и усовершенствовал элементы Грайсова интенционализма.

Затем Серль задался вопросом о философском фундировании самого понятия действия: Что существенно, с философской точки зрения, для нашего представления о человеческих действиях? Серлев ответ был (приблизительно) таков: Существенно то, что любое действие человека берет начало в его сознании — в его намерениях, желаниях, полаганиях и т.д.

Обобщая этот вывод, Серль приходит к следующим тезисам:

- Философия действий есть часть философии сознания (mind).

[37] См. книги Серля Speech Acts (1969) и Expression and Meaning (1979).

- Следовательно, в конечном счете философия языка есть часть философии сознания или, по крайней мере, может и должна основываться на философии сознания.

  — В частности,

  (i) концептуальные характеристики речевых актов (акта утверждения, просьбы и т.д.) подобны концептуальным характеристикам соответствующих ментальных состояний (полагания, намерения и т.д.);

  (ii) центральное для аналитической философии языка понятие значения (meaning) языковых выражений вообще теряет смысл — по крайней мере, в том виде, как оно обычно рассматривается, т.е. в качестве "абсолютного" значения, взятого в отрыве от его реальной соотнесенности с различными сторонами сознания индивида — носителя языка;[38]

  (iii) в центр философского внимания должно быть поставлено понятие подразумевания (meaning), связанное с внутренней интенциональностью ментальных состояний (полагания, намерения и т.д.);

  (iv) то, что осталось от утерявшего смысл понятия ("абсолютного", или буквального) значения (meaning) языковых выражений, (ср. *(ii)*) сводится к феномену интенциональности материальной оболочки языкового знака — или еще точнее: интенциональности тех физических сущностей (звуков, чернильных закорючек и т.д.), которые опосредуют общение между людьми;

  (v) интенциональность этих физических сущностей вторична — она "выводится" из первичной, внутренней, интенциональности соответствующих ментальных состояний.'

5.5.4.1 Пролегомены Серлевой теории речевых актов

Итак, по Серлю, говорение на том или ином языке есть (чрезвычайно сложная) форма правилосообразного поведения. В овладение языком входит овладение правилами этого поведения.

Имеется ряд аналитических связей между следующими понятиями:

— речевые акты;

— то, что подразумевает говорящий;

— значение языкового выражения;

— намерения говорящего;

— то, что понимает слушающий;

— правила, управляющие элементами языка.

Исследование этих аналитических связей есть одна из центральных задач теории речевых актов.

[38] См. в особенности Серлеву статью "Literal meaning" в сборнике его статей Expresiion and Meaning, сс.117-136.

При совершении типичного иллокутивного акта (т.е. акта утверждения, задания вопроса, приказания, обещания и т.д.) человек, как правило, совершает акты по меньшей мере трех различных сортов:

(a) он произносит слова (морфемы, предложения) — т.е. совершает *акты произнесения*;

(b) он указывает (refers) и предицирует — т.е. совершает *пропозициональные акты*;

(c) он утверждает нечто, или задает некий вопрос, или отдает некий приказ, или обещает нечто и т.д. — т.е. совершает *иллокутивный акт*.

Акты произнесения стоят к пропозициональным и иллокутивным актам в том же отношении, в каком, к примеру, акт изображения крестика на бюллетене для голосования стоит к акту голосования.

Основание для различения актов произнесения, пропозициональных актов и иллокутивных актов состоит в том, что у всех этих актов различные критерии тождества:

- — различным иллокутивным актам может соответствовать один и тот же пропозициональный акт;
- — можно совершить акт произнесения, не совершая при этом никакого пропозиционального или иллокутивного акта;
- — совершая различные акты произнесения, говорящий может совершать при этом одни и те же пропозициональные и иллокутивные акты.

Акты произнесения состоят в произнесении цепочек слов.

Иллокутивные же и пропозициональные акты, как правило, состоят в произнесении слов в предложениях

- в определенных контекстах,
- при определенных обстоятельствах
- и с определенными намерениями.

Языки по природе конвенциональны. Но их конвенциональность как бы двухэтажна. Первый, фундаментальный, этаж языковой конвенции общ для всех языков мира. Он содержит общие (конститутивные) правила совершения речевых актов.

Второй, надстроечный, этаж у каждого национального языка свой. Он содержит — также конвенциональные — конкретизации-"реализации" конститутивных правил нижнего этажа. Эти конвенции-"реализации" разнятся от языка к языку.

Выше уже упоминалось, что уже в своей теории речевых актов Серль использовал и усовершенствовал элементы Грайсовой концепции подразумевания. Вот эти элементы:

5.5.4.1.1 Понятия подразумевания (meaning) и значения (meaning) языковых выражений в составе Серлевой теории речевых актов

Между случаем, когда человек *просто* произносит какие-то звуки или *просто* рисует какие-то закорючки на бумаге, и случаем, когда человек совершает иллокутивный акт, имеется по меньшей мере два существенных различия:

(1) звуки или закорючки, производимые по ходу совершения иллокутивного акта, как правило, *обладают неким значением (meaning)*;

(2) когда человек производит звуки или закорючки по ходу совершения иллокутивного акта, он, производя их, *подразумевает нечто (means something)* под ними.

Феномен подразумевания чего-то под произнесением звуков или рисованием закорючек связан с намерениями подразумевающего человека.

С другой стороны, феномен подразумевания чего-то под произнесением звуков или рисованием закорючек связан с языковым значением (meaning) произносимых звуков или рисуемых закорючек — т.е. с тем, что данные звуки или закорючки на самом деле значат в данном языке в силу правил и конвенций данного языка.

То, что мы можем подразумевать, есть — по меньшей мере, в некоторых случаях — функция того, что мы говорим.

Подразумевание есть нечто большее, чем просто вопрос намерений подразумевающего; оно есть также — по меньшей мере, в некоторых случаях — вопрос языковой конвенции.

Итак, в совершении и в восприятии иллокутивного акта имеются и интенциональные (связанные с намерениями) и конвенциональные (связанные с правилами языка) аспекты.

Когда говорящий говорит нечто и подразумевает буквально то, что говорит, — этот феномен тесно связан с намерением говорящего произвести определенное воздействие на слушающего. Когда слушающий слушает то, что произносит говорящий, и понимает произносимое, — этот феномен тесно связан с распознаванием слушающим намерения говорящего произвести на него определённое воздействие.

В случаях буквального произнесения мост между стороной говорящего и стороной слушающего обеспечивается общим для них языком, с помощью которого говорящий совершает свой иллокутивный акт.

Вот как работает этот мост:

1. Понимать предложение — значит, знать его значение.

2. Значение предложения детерминировано правилами данного языка, и эти правила специфицируют как условия произнесения данного предложения, так и то, совершением *какого именно* иллокутивного акта считается произнесение данного предложения в данных условиях.

3. Произнести некое предложение и подразумевать то, что сказал, — равносильно вот чему: произнести данное предложение и при этом

(а) иметь намерение *I* сделать так, чтобы слушатель узнал (распознал, осознал), что имеет место некое положение дел — именно: то положение дел, которое специфицировано соответствующими правилами данного языка;

(b) иметь намерение I' осуществить намерение I следующими средствами: сделать так, чтобы слушающий распознал намерение I;

(c) иметь намерение I'' осуществить намерение I' следующими средствами: сделать так, чтобы слушающий распознал намерение I в силу знания им языковых правил, относящихся к произнесїнному предложению.[39]

4. Предложение, стало быть, предоставляет говорящему конвенциональное средство осуществления намерения I.

Если говорящий произносит предложение и подразумевает его, то он будет при этом иметь намерения I, I' и I''.

Понимание этого произнесения слушателем попросту равносильно тому, что все эти три намерения осуществились.

И в общем случае эти три намерения осуществятся, если слушающий понимает данное предложение, т.е. знает его значение, т.е. знает языковые правила, управляющие элементами данного предложения.

5.5.4.2 О содержании и функции речевых актов

Анализируя речевые акты, следует различать между содержанием и функцией.

Содержание целостного иллокутивного акта — пропозиция; функция — иллокутивная сила, с которой предъявляется данная пропозиция.

Содержание акта референции — смысл произносимого выражения; функция — та роль идентифицирования некоего объекта, в которой предъявлен данный смысл.

Содержание акта предикации — смысл произносимого предикатного выражения; *самостоятельной* же функции у акта предикации нет — его функция-роль полностью детерминируется иллокутивной силой данного речевого акта.

Иными словами, иллокутивный акт, совершаемый посредством произнесения предложения, есть функция языкового значения данного предложения.

Ещї иными словами: Имеются систематические взаимосвязи между языковыми значениями произносимых нами выражений и иллокутивными актами, которые мы совершаем, произнося эти выражения.

5.5.4.2.1 Таксономия иллокутивных актов

Иллокутивные акты суть часть Языка как единого общечеловеческого института, а не часть того или иного конкретного национального языка. Иными словами, понятия об акте обещания, акте утверждения, акте вопрошания и т.п. *совпадают в своих основных, конституирующих характеристиках* у носителей всех национальных языков.

Имеется в точности пять категорий иллокутивных актов:

[39] Нетрудно видеть, что Пункт 3 представляет собой модификацию анализа понятия подразумевания, представленного в знаменитой статье Meaning (1948) Пола Грайса.

I. Ассертивы — т.е. акты, суть которых в том, что говорящий посредством речевого акта принимает на себя обязательство ручаться за истинность выраженной в акте пропозиции.

[Глаголы — названия типичных ассертивов:

утверждать, отрицать, ответить, возразить и т.д.]

II. Директивы — т.е. акты, суть которых в том, что говорящий посредством речевого акта пытается побудить слушающего сделать нечто.

[Глаголы — названия типичных директивов:

попросить, приказать, скомандовать, умолять, разрешить, пригласить, посоветовать и т.д.]

III. Комиссивы — т.е. акты, суть которых в том, что говорящий посредством речевого акта принимает на себя обязательство сделать нечто в будущем.

[Глаголы — названия типичных комиссивов:

обещать, давать зарок, давать обет, давать клятву, давать слово, ручаться, брать на себя обязательства по договору (соглашению, контракту, сделке), принять тот или иной план [программу] действий и т.д.]

IV. Экспрессивы — т.е. акты, суть которых в том, что говорящий посредством речевого акта выражает свої психологическое состояние [специфицированное в условии искренности данного экспрессива] по поводу некоего положения дел [специфицированного в пропозициональном содержании данного экспрессива].

[Глаголы — названия типичных экспрессивов:

благодарить, поздравлять, извиняться, соболезновать, выражать одобрение, выражать неодобрение и т.д.]

V. Декларации — т.е. акты, суть которых в том, что говорящий посредством речевого акта делает так, что начинает иметь место положение дел, специфицированное в пропозициональном содержании данной декларации.

[Глаголы — названия типичных деклараций:

давать имя, крестить, объявлять кого-либо мужем и женой, объявлять войну, издавать указ (закон, декрет), подавать в отставку и т.д.]

5.5.4.2.2 Основания этой пятичленной классификации

Первое и фундаментальное основание: цель (purpose; point) совершения акта, или *иллокутивная цель*. Для каждой из пяти категорий актов это основание выражено в соответствующем определении-разъяснении данной категории.

Второе, сопутствующее, основание: *направление соответствия* (direction of fit) *между словами и миром*. Понятие *направление соответствия* легче всего пояснить на примерах:

Когда человек *утверждает*, что Михаил закрыл дверь, то предполагается, что его *слова* должны соответствовать действительности. На Серлевом жаргоне это означает, что в этом акте направление соответствия — *от слов к миру*.

Если же человек *просит* Михаила, чтобы тот закрыл дверь, то предполагается, что Михаил должен сделать так, чтобы *действительность* соответствовала словам просящего. Выражаясь терминами Серля, в этом акте направление соответствия — *от мира к словам*.

У *ассертивов* направление соответствия — *от слов к миру*. У *директивов* направление соответствия — *от мира к словам*. У *комиссивов* направление соответствия — *от мира к словам*. У *экспрессивов* нет направления соответствия.

Это последнее обстоятельство объясняется следующим.

Если я говорю: "Извините, что я наступил вам на ногу", то я не имею в виду, что своим речевым актом я принимаю на себя обязательство ручаться за истинность того, что я наступил вам на ногу. Скорее, истинность этой пропозиции в данных обстоятельствах не требует никаких ручательств — она заранее предполагается истинной как говорящим, так и слушающим. Таким образом, этот мой речевой акт не создает никакого долженствования насчет соответствия моих слов фактам.

У *деклараций* двойное направление соответствия: и *от мира к словам* и *от слов к миру*. Если начальник при соответствующих обстоятельствах говорит подчиненному: "Вы уволены", то предполагается, что он тем самым делает так, что подчиненный действительно становится уволенным, — стало быть, у акта начальника имеется соответствие направления *от мира к словам*, как у директивов. Но с другой стороны, если начальник говорит это, то — в отличие от директивов или комиссивов — никто не становится обязанным делать что-либо, чтобы привести мир в соответствие со словами начальника; сам речевой акт начальника, выражая некое положение дел, *тем самым* осуществляет это положение дел — сами *слова* (будучи произнесенными) *начинают соответствовать действительности* (что делает декларацию похожей на ассертив). Учитывая эту особенность деклараций, Серль говорит, что у них имеется и второе направления соответствия — *от слов к миру*.

5.5.4.3 Речевые акты и лингвистическая теория

По меньшей мере к Хомскому восходит следующая постановка общей задачи лингвистики: сформулировать множество правил, сопоставляющих друг с другом звуки и значения (sounds and meanings).

Каждый язык дает нам некое, предположительно бесконечное, множество возможных звуковых последовательностей и еще одно, предположительно бесконечное, множество возможных значений.

Предполагается, что фонологические, синтаксические и семантические компоненты грамматики дают нам конечные множества правил, которые знает говорящий и которые дают ему возможность переходить от звуков к значениям и обратно.

Серль противопоставляет этой, более или менее общепринятой, постановке свою. "Я не думаю, — пишет он в статье "Речевые акты и лингвистика последних лет"[40], — что эта картина ложна — скорее она способна сильнейшим образом ввести в заблуждение, причем так, что это плачевным образом отразилось на [лингвистических] исследованиях. Более точной мне представляется вот какая картина: Назначение языка — общение, коммуникация. Единица языковой коммуникации людей — речевой акт. Проблема (или, по крайней мере, одна из важных проблем) теории языка — описать, как мы переходим от звуков к иллокутивным актам. Что, так сказать, должно быть добавлено к звукам, испускаемым моим ртом, чтобы их испускание было совершением акта задавания вопроса, или акта утверждения, или акта отдавания приказа и т.д.?"

Итак, одна из центральных задач линвгистической теории, по Серлю, также имеет "сопоставительный" характер. Но только теперь требуется сопоставить звукам не значения (meanings), а иллокутивные акты; и от лингвистов и философов требуется отыскать и сформулировать правила, которые дают говорящим и слушающим возможность переходить от произнесения звуков к совершению полного речевого акта — т.е. иллокутивного акта, и обратно.

5.5.4.4 Соотношение между интенционализмом и репрезентационизмом в Серлевой теории речевых актов

Напомним, что ключевые понятия интенционализма суть *подразумевание (= хотение сообщить); намерения говорящего; то, что понимает (распознаїт) слушающий*, в то время как ключевые понятия репрезентационизма суть *значение (языкового выражения); смысл (языкового выражения); языковая конвенция*.

Как видно из изложенного выше, на этапе построения им теории речевых актов Серль в полной мере признает роль репрезентационистских понятий и стоящих за ними сущностей (*значение (языкового выражения), языковая конвенция*) в феномене языкового общения людей. Более того, он даже не повторяет попытки Грайса доказать концептуальную и/или генетическую зависимость значения (языковых выражений) от подразумевания (намерения) говорящего.

Серль исходит из общего положения, согласно которому интенционализм и репрезентационизм суть два равноправных, дополняющих друг друга направления в философии языка.

[40] См. с.178 в сборнике статей Серля "Expression and Meaning".

6. Реабилитация метафизической проблематики

Основная предпосылка возрождения метафизики в АФ — это попытка перевода традиционных метафизических и эпистемологических вопросов в семантические, которые могут быть решены аналитически.

6.1 Номинализм в аналитической философии

Спор номиналистических и платонистских концепций в связи с интерпретацией языковых выражений, прежде всего так называемых абстрактных сущностей, принадлежит более чем почтенной традиции. С определенным основанием можно сказать, что в современной АФ ожил, хотя и на несколько более высоком уровне, спор о так называемой реальности универсалий. Прогресс, несомненно, заключается в том, что то, что средневековая философия называла «универсалиями», можно точнее охарактеризовать и также классифицировать, например, на основе дифференциации предикатов и на основе теории типов.

Прежде всего необходимо обратить внимание на то, что термины «абстрактные сущности» и «универсалии» являются в значительной мере неясными. Здесь имеются две возможности интерпретации:

(а) Речь может идти о всех выражениях, которые можно образовать на основе предикатов, без учета того, о каких предикатах идет речь и какого типа эти предикаты. С этой точки зрения они являются какими-либо классами или абстрактами выражений, которые могут быть предметом споров. Для этих выражений можно использовать термин «универсалии».

(б) Речь может идти о выражениях, которые можно образовать на основе теоретических предикатов высшего типа, то есть о классах и абстрактах в несколько более узком смысле, чем в случае (а). Для этих выражений можно использовать термин «абстрактные сущности».

Если мы спрашиваем о реальности того, что соответствует «универсалиям» или «абстрактным сущностям», мы можем иметь в виду либо первую (более широкую), либо вторую (более узкую) интерпретацию. Следует добавить, что в первоначальных версиях споров номинализма и платонизма обе интерпретации, как правило, вообще не различались. Номиналисты отвечали на этот вопрос отрицательно, хотя эксплицитно и не указывая, о какой интерпретации идет речь. Они протестовали против того, что обычно называют опредмечиванием или гипостазированием абстрактных сущностей. Они протестовали против того, чтобы выражениям для абстрактных сущностей приписывали конкретный референт. Это, конечно, не означает, что они выступали против какого-либо использования выражений для абстрактных сущностей. Если бы это было так, они должны были бы, собственно, отвергнуть всю классическую математику. Они лишь отказывались присоединять этим выражениям нечто, что можно охарактеризовать как «реальное», что имеет характер «предметного существования».

Возражение против опредмечивания или гипостазирования абстрактных сущностей связано также с требованием не удваивать сущности, то есть с так называемой бритвой Оккама. Если мы гипостазируем или опредмечиваем свойства

объектов подобным способом в качестве самостоятельных объектов, это означает, что мы удваиваем мир. Номиналистический аргумент примерно таков: нельзя сомневаться в том, что существуют «круглые вещи», однако необходимо протестовать против существования объекта «круглость». Признание существования такого объекта предполагает, что сущности, которые мы называем «круглые вещи», мы умножаем новой сущностью, которую называем «круглость».

Номинализм критически выступает на два фронта:

- с одной стороны, против платонистского опредмечивания абстрактных сущностей,
- с другой стороны, против наивного реализма, который образ мира реальных вещей творит по образу языка.

В этом, несомненно, заключается позитивная черта номиналистической концепции при анализе семантического и онтологического решения.

Против (таким образом охарактеризованной) номиналистической концепции можно высказать несколько возражений:

(1) Если номинализм протестует против гипостазирования абстрактных сущностей, можно возразить, что он сам фактически гипостазирует сущности исходного уровня (связанные с выражениями нулевого типа, с системой индивидуумов) в качестве «вещей». Понятие «вещи» не только само является абстракцией, но и какая-либо субстанциализация сущностей исходного уровня оказывается проблематичной, если мы смягчим это различение и если установим, что то, что при первом подходе считалось «вещью», при дальнейшем подходе оказывается определенным агрегатом других «вещей», стало быть, определенным классом или свойством иных объектов[1].

(2) Другие возражения против номинализма вытекают из феноменалистических позиций. Номинализму, который готов допустить лишь реальность индивидуумов, можно возражать, что мы никогда не воспринимаем индивидуумы, но лишь свойства, качества этих индивидуумов, наблюдаем не «дерево», но зелень листвы, форму ствола и т. д. и лишь предполагаем существование дерева. Спор об эпистемологическом приоритете свойств или индивидуумов, таким образом, номинализм решает в пользу индивидуумов, феноменализм — в пользу свойств[2]. Вряд ли это однозначно решаемый вопрос и вряд ли вообще вопрос эпистемологического приоритета свойств или индивидуумов, поскольку он сформулирован в общем виде, вне рамок определенным способом ограниченных условий, имеет смысл. Если же такие условия мы определим точнее, например, в терминах коммуникативной модели научного исследования, важно то, доступны ли элементы входного пространства для наблюдателя непосредственно или они доступны при помощи иного канала и можно ли их реконструировать на основе установленных данных в выходном пространстве.

В связи с проблемой эпистемологического приоритета свойств или индивидуумов, или вещей можно указать на то, что можно было бы охарактеризовать как

[1] Термин «субстанциализация» мы берем здесь в смысле обычной феноменалистической критики субстанциализации, например в смысле известной Локковой критики требования «носителя» свойства.

[2] Феноменалистическую критику номинализма нельзя отождествлять с критикой с позиций Платонова реализма. Платонов идеализм признает не эпистемологический приоритет свойства, особенно эмпирического свойства, а «идеи», следовательно гипостазированные свойства.

взаимные переходы вещей и свойств. Если мы изменим свойства «канала наблюдателя», «свойства источника входа», можно то, что при одном подходе мы считаем вещью, то есть относительно самостоятельной индивидной сущностью, исследовать как класс или свойство.

С этим последним замечанием связана также проблема, как специфицировать индивидуумов. Можно сформулировать вопрос: имеется ли возможность установить критерий для такой спецификации? В принципе возможны два критерия:

(а) внутренний, который связан с логической структурой номиналистической системы,

(б) внешний, который связан с тем, что Н. Гудмен[3] назвал «нелогической базой» такой системы.

Характерно, что значительно точнее можно определить внутренний критерий. Так, формулировка критерия «онтологических обязательств» У.Куайна определяет, какие сущности допустимы в качестве значений переменных, и, следовательно, в качестве индивидуумов[4]. Более сложной является проблема внешних критериев. Здесь играет существенную роль то, берется ли за основу так называемая теория подобия или теория идентификации.

Одним из основных аргументов номинализма была так называемая бритва Оккама, которая запрещала удвоение или умножение сущностей. Первоначальная формулировка бритвы Оккама имеет, однако, добавление: «Entia non sunt multiplicanda *praeter necessitatem».* Таким образом, можно задать вопрос: существуют ли необходимые аргументы, которые оправдывали бы «умножение сущностей»? Точнее говоря, имеет ли первоначальный «praeter necessitatem» Оккама известное оправдание в аналитической проблематике?

Ответы на вопрос, что является той необходимостью, которая допускает «умножать сущности», могут быть весьма различными. В принципе можно различить два вида ответов:

(1) Можно допустить, что абстрактные сущности образуют самостоятельную сферу, которая

(а) независима от индивидуумов,

(б) независима от субъекта, наблюдателя или носителя языка.

Это точка зрения платонизма и платоновского реализма. В современном логическом и математическом мышлении определенной аналогией платоновского реализма является концепция *логицизма,* отстаиваемая главным образом Г. Фреге,

[3] См., напр.: Goodman N. The Structure of Appearance. Harvard Univ. Press, 1951.

[4] В этой связи нельзя забывать трудности, связанные с номиналистической интерпретацией выражений естественного языка. Для номиналиста термин «дерево» — одноместный предикат, аргументами которого являются отдельные конкретные деревья. Поэтому выражение «x есть дерево» выполнимо любым конкретным деревом. Если, однако, мы имеем предложение «деревья —растения», то выражение «x есть растение», очевидно, допускает, чтобы значениями индивидных переменных мы признали и предикаты. Этого, однако, последовательный номиналист не может допустить. Поэтому также он интерпретирует указанное предложение не как включение классов, то есть как «(x) (x есть дерево) $\subset$ (x) (x есть растение)», а как логически обусловленную зависимость двух предикатов, которые относятся к индивидуумам одного и того же универсума, то есть как «($\forall$ x) [(x есть дерево) $\rightarrow$ (x есть растение)]». Однако следует прибавить, что включение определяется при помощи членства в классе, так что и в случае первой интерпретации мы придем к индивидуумам.

отчасти Б. Расселом (в раннем периоде его развития), А.Н.Уайтхедом, отчасти к этой точке зрения приближаются некоторыми своими взглядами А. Черч и Р. Карнап. Можно напомнить понимание смысла имени Г.Фреге (причем «имя» может относиться как к индивидуумам, так и к абстрактным сущностям; см. § 1.2.1) как абстрактной сущности, которая является не субъективной, но объективной. В более умеренной форме это логицистическое понимание имеет место у А.Черча и Р.Карнапа, у которых речь идет о том, что является интерсубъективно стабильным и неизменным, например при переводе.

(2) Можно допустить, что абстрактные сущности образуют самостоятельную сферу, которая является

(а) относительно независимой от индивидуумов,

(б) но не является независимой от субъекта, наблюдателя или носителя языка.

Наоборот, эта сфера считается результатом логико-конструктивной активности носителя языка. Это точка зрения *концептуализма.* В современном логическом и математическом мышлении в значительной мере концептуализму соответствует точка зрения *интуиционизма,* обоснованная Л.Брауэром, Г.Вейлем, А.Гейтингом и др., или же точка зрения логико-математического *конструктивизма*.

В этих ответах особого внимания требует пункт (а), то есть независимость абстрактных сущностей от индивидуумов. Следует подчеркнуть, что нельзя отождествить (1а) и (2а); в случае платонизма речь идет о независимости в онтологическом смысле. В отличие от споров номинализма и феноменализма об эпистемологическом приоритете индивидуумов или свойств при споре номинализма и платонизма речь идет об онтологическом приоритете индивидуумов или абстрактных сущностей (или, если это выразить в традиционной философской терминологии, о споре об онтологическом приоритете универсалий или индивидуумов). В последовательном платонизме индивидуум является вторичным в онтологическом и генетическом смысле, продуктом или точкой пересечения универсалий или абстрактных сущностей.

«Необходимость», которую предполагает формулировка бритвы Оккама, можно считать необходимостью скорее языкового, чем онтологического характера. С этой точки зрения можно согласиться с концептуализмом, который дает носителю языка известное право образовывать абстрактные сущности (концепты), поскольку эти абстрактные сущности целесообразны не только для выражения свойств элементов данного универсума, но также свойств этих свойств и т.д. Следовательно, с семантической точки зрения бритва Оккама вполне оправданна постольку, поскольку она запрещает умножать элементы данного универсума, безразлично, идет ли речь об эмпирически устанавливаемых элементах или о конструктивных элементах, являющихся результатом абстракции. Бритва Оккама, конечно, имеет и свою вторую сторону, которую можно охарактеризовать как требование терминологической или языковой экономии.

Определенное преимущество концептуализма или конструктивизма перед крайним номинализмом заключается также в том, что он дает возможность различать обе стороны. Номинализм же, напротив, выдвигает главным образом программу языковой или терминологической экономии. Это требование имеет, конечно, определенное оправдание: при использовании языка — а это относится и к научному языку — нельзя исключить ситуацию, когда разные термины, в конце

концов, имеют одно и то же значение. Здесь требование не умножать имена оправданно постольку, поскольку разные термины действительно относятся к одним и тем же свойствам объекта. Из истории развития научного мышления, впрочем, известно, что часто ученые решали одну и ту же проблему, пользуясь разным терминологическим аппаратом, благодаря чему возникала иллюзия, что речь идет о двух или большем числе проблем.

Противопоставление номиналистической и платонистической и, соответственно, концептуалистической точек зрения тесно связано с проблемой различения и соединения индивидуумов. Для номиналиста мир «составлен» из индивидуумов. Если две сущности различны, то они не могут быть «составлены» из одних и тех же индивидуумов[5]. Если мы говорим о дифференциации индивидуумов на группы, стало быть, о том, что можно было бы назвать соединением индивидуумов, мы не можем избежать вопроса, на основании чего мы проводим это соединение. Сторонники номинализма достаточным принципом соединения считают *подобие* индивидуумов. Так как для номиналиста мир индивидуумов является исходным пунктом для конструирования предикатов, подобие играет решающую роль при этом конструировании.

Аналогично той роли, какую в номиналистической системе играет подобие индивидуумов, в реалистической системе играет *тождество свойств, тождество классов.* При этом, несомненно, важно то, построена ли такая система на основе онтологического приоритета свойств или вообще абстрактных сущностей либо — что характерно для феноменалистического понимания — только на основе эпистемологического приоритета.

В номиналистической системе, в которой исходным пунктом является сфера индивидуумов, конечно, не исключается идентификация индивидуумов. Однако для идентификации необходимо различение. В таком случае то, что нельзя различить, можно идентифицировать. Такой подход обычно характеризуется как метод *идентификации неразличимого.*

Процесс различения предполагает сферу индивидуумов и систему критериев различения. Мы предполагаем, что сферу индивидуумов образуют физические объекты. Эти объекты являются значениями индивидных переменных *x, y...* Мы предполагаем далее (конечную) систему критериев различения, которую можно выразить в виде системы многоместных предикатов. Речь идет о таких предикатах, которые позволяют констатировать различие между индивидуумами, например «тяжелее, чем», «длиннее, чем», «тверже, чем», «имеет более высокую ценность, чем» и т. д. Стало быть, речь идет об отношениях, которые являются иррефлексивньми, транзитивными и асимметричными и которые позволяют произвести полное разложение данной сферы индивидуумов. Требование конечности критериев различения также имеет для построения номиналистической системы существенное значение и указывает на тесную связь номинализма и финитизма.

При идентификации, естественно, нельзя исключить, что отдельные критерии различения зависят друг от друга. Другой важной проблемой является релевантность отдельных критериев различения по отношению к данной задаче или к классу задач. Поэтому всегда целесообразно говорить о *выборе* адекватных критериев различения по отношению к данной задаче и по отношению к

[5] Н. Гудмен считает этот принцип одним из важнейших принципов номинализма.

требованиям, предъявляемым к качеству ее решения. Это можно выразить также так: если мы имеем определенную (конечную) систему критериев различения, то индивидуумы, которые по отношению к этой системе являются неразличимыми, можно считать идентичными.

Иной является ситуация при конструкции системы на основе платонизма[6]. Прежде всего необходимо указать на то, что внимание здесь сосредоточено не на индивидуумах, а на свойствах или же классах. Поэтому решающей является идентификация свойств и классов, которую можно легко обеспечить. Следовательно, в такой системе идентификация не вызывает никаких особых затруднений. Напротив, сторонник крайнего номинализма[7] может возразить, что «1 = 1» не является истинным. Такие возражения могут быть оправданы постольку, поскольку точно не определен объем критериев различения. В повседневных практических задачах, а также в тех научных задачах, которые связаны с потребностью различения и идентификации, необходимо этот объем точно установить по отношению к характеру данной задачи и требуемому качеству ее решения. Поэтому проблему различения и идентификации нельзя всегда брать в абсолютном смысле, а лишь в отношении к данной системе критериев различения.

Если исходным пунктом для построения номиналистической системы является различение индивидуумов, мы можем говорить о том, что два или больше индивидуумов подобны друг другу. Понятие «подобие» для номиналистической системы является существенным, так как его можно считать исходным пунктом для образования понятий.

Понятие «подобие» можно рассматривать как многоместный предикат языка-объекта, аргументами которого являются индивидуумы. Его можно ввести двояким способом:

(а) Два объекта подобны друг другу, если их нельзя различить по крайней мере по одной характеристике. Следовательно, при определении понятия «подобие» мы можем использовать понятие. «критериев различения».

(б) Интуитивному пониманию понятия «подобие», по-видимому, более соответствует иной способ определения. Два объекта подобны, если мы можем сказать, что они имеют по крайней мере одно общее свойство. Это предполагает, что мы располагаем определенной совокупностью различимых свойств, которые с логической точки зрения можно выразить как одноместные предикаты.

---

[6] Аналогичной является ситуация при феноменалистической системе, в которой также исходным пунктом являются не индивидуумы, но то, что соответствует свойствам или качествам. Притом, в этой системе индивидуум может быть определен как точка пересечения определенных качеств.

[7] На это обратил внимание У. Куайн [Word and Object, p. 117], который приводит этот пример как выражение крайнего номинализма. Выражение «1 = 1» не является истинным потому, что оба знака по обе стороны знака равенства являются пространственно различными. Это означает, что из системы критериев различения следует исключить пространственное различие. Фактически, конечно, речь идет о численном равенстве, которое задано тождеством числа элементов в классе. Вообще говоря, характерно, что большинство защитников номиналистического способа построения логических систем принимало понятие «тождество» с оговорками. Например, Витгенштейн в «Трактате» [5.5302] утверждает, что Расселово определение знака «=» недостаточно, так как, исходя из этого определения, нельзя утверждать, что два предмета имеют все свойства общие. К сказанному он добавляет в следующем предложений [5.5303]: «Сказать о двух предметах, что они тождественны, бессмысленно, а сказать об одном предмете, что он тождествен самому себе, значит ничего не сказать».

Против этих двух определений со строго номиналистической точки зрения можно сделать некоторые возражения. Введение понятия «подобия», собственно, предполагает, что мы уже располагаем определенной системой критериев различения или определенной совокупностью свойств, которые можно присоединить отдельным индивидуумам. Однако это не согласуется с номиналистической концепцией эпистемологического и онтологического приоритета индивидуумов и производности свойств.

Если понятие «свойство» является вторичным, то необходимо исходить из понятия «подобие»: если мы устанавливаем, что в данном универсуме существуют индивидуумы, которые являются подобными, то мы можем образовать выражение для соответствующего общего свойства или же соответствующего критерия различения. Это соображение о понятии «подобие» при построении номиналистической системы дает нам право на такой вывод:

- либо мы признаем выводимость понятия «подобие» — тогда, однако, мы должны признать известный приоритет определенной системы, критериев различения или же определенной совокупности различаемых свойств (что противоречит претензиям последовательного номинализма),
- либо мы считаем свойства и критерии различения выводимыми — тогда, однако, мы вынуждены признать приоритет определенного *свойства,* то есть подобия.

Этот вывод также указывает на те затруднения, к которым ведет крайне номиналистическая точка зрения.

Очевидно, что при решении практических задач мы всегда имеем дело с относительно априорной совокупностью различаемых свойств или совокупностью критериев различения, причем эти совокупности можно расширять или сужать сообразно с потребностями и притязаниями на качество решения. При этом установление подобия может быть стимулом для образования нового понятия[8]. При этом не обязательно должна идти речь о понятиях, которые имели бы характер лишь эмпирических предикатов. Понятие «подобие» необходимо трактовать в самом широком смысле, то есть как понятие «абстрактного» или «структурного» подобия.

Из этих критических замечаний по адресу номиналистической интерпретации понятия «подобие», конечно, нельзя делать вывод о нецелесообразности конструкции номиналистических языковых систем. Такие системы могут быть полезными там, где нам достаточно языка первого порядка, значениями переменных которого является сфера индивидуумов, которую можно точно специфицировать и по отношению к которой можно применить конечную систему критериев различения. Из приведенного анализа следует также, что могут возникнуть ситуации, где этих предпосылок недостаточно, в связи с чем возникают затруднения или обоснованные претензии к логическому построению языка. В этой связи нельзя не согласиться с теми выводами, к которым пришел в связи с номинализмом Р. Карнап ("Значение и необходимость", "Эмпиризм,

[8] Следует подчеркнуть, что установление подобия не является единственным основанием для образования понятия. Существует и другая схема образования понятий, которая опирается на иные основания. Преимущество конститутивных подходов, которые опираются на подобие, заключается в том, что они включают как традиционную (Локкову) концепцию абстракции, так и противоположную концепцию, которая не может опираться только на установление «общего» эмпирического свойства.

семантика и онтология"): принятие или отбрасывание определенных лингвистических форм, так же как принятие или отбрасывание других лингвистических форм в какой-либо научной области, должно, в конце концов, решаться на основе их целесообразности как инструментов, на основе разделения полученных результатов по отношению к объему и сложности требуемого усилия. Налагать догматические запреты на определенные лингвистические формы, вместо того чтобы проверить слабые и сильные стороны этих форм при практическом использовании, скорее вредно, чем бесполезно; оно фактически вредно потому, что может препятствовать научному прогрессу.

6.2 Дескриптивная метафизика П.Ф.Стросона

П.Ф.Стросон создал "дескриптивную метафизику" — учение, которое радикально пересмотрело все исходные предпосылки философии анализа. При эттом он был уверен, что продолжает и одновременно преодолевает дело Витгенштейна.

До Стросона аналитики всех школ и направлений были едины в своем неприятии метафизики. Все они полагали, что метафизические проблемы бессмысленны или мнимы, и цель своей деятельности видели в очищении языка от путаницы, привносимой метафизикой. Стросон восстановил метафизику в ее исконных правах. Он предложил программу создания новой — "дескриптивной" — метафизики на основе анализа обыденного языка.

Стросон противопоставил дескриптивную метафизику ревизующей или исправляющей, считая, что первая стремится к описанию реальной структуры нашего мышления, а вторая пытается продуцировать лучшую структуру. По его мнению, вся история философии в скрытом виде содержит в себе это различение. К философам-дескриптивистам он отнес Аристотеля и Канта, а к мыслителям, стремящимся усовершенствовать структуру нашего мышления, — Декарта, Лейбница, Беркли. Специфику собственного дескриптивистского учения Стросон видел в обращении к лингвистическим методам: анализ обыденного языка, утверждал он, является единственным надежным путем к познанию реального мира. Основные цели дескриптивной метафизики Стросон видел:

1) в выявлении глубинной формообразующей структуры обыденного языка и
2) в экспликации онтологического содержания, заключенного в языковых структурах.

В первом — радикальном — варианте дескриптивной метафизики, представленном в "Индивидах", он надеялся на возможность прямого онтологического вывода от языка к бытию.

Книга Стросона «Индивиды» (1959) имеет подзаголовок «Очерк дескриптивной метафизики», хотя Стросон был видным представителем философии «обыденного языка». И хотя, в отличие от логических позитивистов, философы «обыденного языка» публично не осуждали метафизику, их настойчивое внимание к тщательному анализу, к детальному описанию, к особенностям конкретных «языковых игр» внушало мысль, что метафизика с ее неустранимой всеобщностью, бесспорно, лежит за границами их интересов.

Разрыв Стросона с философией «обыденого языка», безусловно, не был абсолютным. Он все еще готов считать, что «опора на тщательный анализ реального употребления слов является наилучшим и единственно надежным путем в философии». Однако философ должен идти дальше, рассуждает он, если хочет «раскрыть наиболее общие черты нашей концептуальной структуры», ибо нет сомнений в том, что эта структура не выражается в тех ответах, которые дают люди на вопрос об их способе употребления выражений.

Естественно спросить: что именно подразумевает Стросон под «нашей концептуальной структурой»? *Чья* это концептуальная структура — австралийского аборигена, европейского гуманитария или физика-теоретика? На этот вопрос Стросон отвечает, что «существует массивное центральное ядро человеческого мышления, не имеющее истории». Именно это массивное ядро он и надеется «раскрыть». «Категориями и понятиями», воплощающими эту устойчивую структуру человеческого мышления, являются, говорит он, как «банальности наиболее рафинированного мышления», так и «необходимая сердцевина концептуального инструментария наиболее утонченных человеческих существ». Таким образом, вера в «обычного человека», типичная для философов «обыденого языка», сохраняется и в дескриптивной метафизике Стросона. Метафизику не нужно уделять какое-то особое внимание физической науке, о которой Стросон почти не упоминает, ибо все, что могло бы заинтересовать его в мышлении ученых, легко обнаруживается в наиболее обыденных мыслях «человека с улицы». И в задачи метафизика не входит модификация или исправление структуры обыденного мышления, точно так же как задачей философа «обыденого языка» не является исправление общераспространенных идиом. Дескриптивный метафизик, по выражению Витгенштейна, «оставляет все так, как оно есть».

Таким образом, эту метафизику следует отличать от «ревизующей метафизики», нашедшей выражение, по мнению Стросона, в работах Декарта, Лейбница, Беркли — всех тех, кто был подвергнут серьезной критике в «Индивидах». В то время как «дескриптивная метафизика», примеры которой дали Аристотель и Кант, «довольствуется описанием реальной структуры нашего мышления о мире, ревизующая метафизика стремится создать лучшую структуру». Стросон не отвергает полностью ревизующую метафизику, однако признает ее полезность лишь в той мере, в какой «она служит дескриптивной метафизике», т. е. помогает нам понять *реальную* структуру нашего мышления. Вопрос о том, какое значение имеют попытки исправить наши повседневные понятия, является одним из главных вопросов современной философии.

«Индивиды» Стросона разделены на две части, связанные между собой в той мере, в какой идея «указания на объект» является сквозной идеей всего произведения. Однако они значительно отличаются по своему философскому характеру и по степени уверенности, проявляющейся в них. Вообще говоря, вторая часть представляет собой переработку и дальнейшее развитие учения Стросона о предпосылках (presuppositions). В ходе критики Фреге и Куайна Стросон обосновывает вывод: субъектные выражения «полны» в том смысле, что представляют целостный факт, в то время как предикатные выражения не являются полными. Когда, в наиболее простом случае, я утверждаю: «Этот человек улыбается», то я предполагаю факт «Этот человек существует», в то время как предикат «улыбается» сам по себе не предполагает какого-либо факта.

Таким образом, получаст оправдание традиционная связь между «субъектами» и «конкретными объектами» (particulars): парадигмальное назначение субъекта — вводить какой-то конкретный объект, т. с. нечто такое, что полно для мысли как некоторый факт и неполно как составная часть какого-то другого факта.

Для нас в данном случае более интересна претенциозная метафизика первой части, где Стросон говорит о «базисных конкретных объектах». Претензия на открытие «базисных элементов» исторически связана с традициями британского эмпиризма. Однако в британском эмпиризме, по крайней мере после Беркли, основанием для выделения тех или иных конкретных объектов в качестве базисных является то, что «в конечном итоге» все остальные конкретные объекты сводятся к ним. Например, чувственные данные будут «базисными элементами» только в том случае, если любая вещь, которую мы обычно называем конкретным объектом, скажем, конкретный стол или конкретный человек, «в конечном счете» может быть «построена» из чувственных данных. Однако для Стросона «базисным элементом» является конкретный объект, с чьей помощью осуществляется идентификация других конкретных объектов, а не их построение.

Он начинает с простейшего случая — с идентификации тех конкретных объектов, на которые в принципе мы можем указать, как можно указать на «данного человека, стоящего в центре ряда». В таких примерах мы идентифицируем некоторый конкретный объект, помещая его в определенное «место» конкретной пространственной области, где мы находимся в настоящее время. Но как идентифицировать то, что не находится в данном месте? Для этого мы обычно используем идентифицирующие фразы типа «человек в черной шляпе». Ясно, однако, что всегда существует логическая возможность того, что это описание — сколько бы подробностей мы к нему ни добавляли — будет отнесено нашими слушателями к какому-то другому человеку, а не к тому, которого мы имели в виду. Можно ли отсюда сделать вывод, что без риска ошибиться мы никогда не можем идентифицировать некоторый конкретный объект, не присутствующий в настоящий момент в данном месте?

Мы всегда способны, утверждает Стросон, отнести идентифицирующее описание к некоторому месту в пространственно-временной системе и, таким образом, косвенно связать его с той областью, в которой находимся сами. Мы можем идентифицировать интересующий нас объект, заменив выражение «человек в черной шляпе» описанием «человек в черной шляпе, стоящий в двух футах к северу от здания университета 10 ноября 1965 года в 10 час. 5 мин. утра». Отсюда не вытекает, что каждый идентифицируемый конкретный объект находится в пространстве и времени. По мнению Стросона, из этого следует лишь, что каждый идентифицируемый конкретный объект должен быть *единственным образом соотнесен* с пространственно-временным конкретным объектом.

Конкретные объекты, образующие структуру пространства-времени, являются, по мнению Стросона, материальными предметами. Они представляют собой базисные объекты, посредством идентификации которых идентифицируются все остальные конкретные объекты. Ни индивидуальные восприятия традиционного эмпиризма, ни события и процессы некоторых разновидностей ревизующей метафизики, ни элементарные частицы физиков не способны играть роль базисных элементов, ибо ничто из этого не может быть идентифицировано иначе, как с помощью специфического отнесения к некоторому материальному объекту.

Философы часто выражали особое беспокойство по поводу возможности идентификации «состояний сознания» с помощью ссылки на материальные объекты. Но как еще можно идентифицировать их? Стросон рассматривает две возможные альтернативы.

- Первая, называемая им теорией «необладания», утверждает, что состояния сознания, по сути дела, не принадлежат тому человеку, что их имеет. На самом деле они вообще ничему не «принадлежат», и это означает лишь то, что они причинно обусловлены состоянием конкретного тела. Стросон утверждает, что это учение противоречиво, поскольку представитель теории «необладания» вынужден признавать существование очевидно случайных каузальных связей вида «Все мои переживания зависят от состояния тела *B».* Но что в данном случае означает слово «мои»? Оно не может означать «переживания, зависящие от тела *B»,* поскольку, будь это так, якобы случайный факт превратился бы в аналитическое утверждение «Переживания, зависящие от тела *B,* являются переживаниями, зависящими от тела *B».* Таким образом, оказывается, что употребление слова «мои» не может быть понято без помощи того самого понятия обладания, которое стремился устранить представитель теории «необладания». Согласно Стросону, в основе этого возражения лежит тот факт, что переживание можно идентифицировать только как *чье-то* переживание — его определенность обусловлена логической возможностью быть чьим-то переживанием. Теория «необладания» не оставляет нам возможности идентифицировать конкретные переживания и ссылаться на них.
- Второй альтернативой является теория картезианского типа, для которой состояния чувственного переживания принадлежат не человеку в целом, а его личному «я». Такая точка зрения встречает аналогичную трудность. Если состояния сознания носят целиком индивидуальный характер, то нет возможности приписать их кому-то, кроме себя, и нет способа выделить их как «переживания того-то и того-то». В самом деле, было бы невозможно приписать их даже самому себе, так как «нет смысла в идее приписывания состояний сознания самому себе до тех пор, пока приписывающий не знает, как приписать хотя бы некоторые состояния сознания другим». Сказать, например, «Я испытываю боль» — значит сказать, что это я, а не вы, испытываю боль. Возможность противопоставить вашу боль моей боли имеет существенное значение для приписывания себе самому конкретной боли.

Единственный способ преодолеть эти трудности, заключает Стросон, состоит в том, чтобы понятие личности принять в качестве исходного не-анализирусмого понятия. Это значит, что личность следует представлять не как соединение тела и сознания, а как единичный конкретный объект, которому можно приписать не только такие «М-предикаты» (предикаты материальных объектов), как «весом в десять стоунов», но и такие «Р-предикаты» (предикаты личности), как «идет на праздник», «испытывает боль», «верит в Бога». Последние предикаты приписываются другим людям «на основании» нашего наблюдения за их поведением. Именно способы их поведения дают нам логически адекватный критерий для приписывания им Р-предикатов. Одно и то же понятие, например, понятие депрессии, охватывает депрессию, которую *X* испытывает, но не наблюдает, и депрессию, которую отличный от *X* человек наблюдает, но не испытывает. Отрицать это, утверждает Стросон, значит «отказываться принять структуру языка, в котором мы говорим о депрессии». В своей попытке отрицать

наше право приписывать Р-предикаты другим людям скептик одновременно и признает, и не признает этот язык. Он указывает на логический зазор между моей депрессией и той депрессией, что вы наблюдаете. Однако если принять этот скептицизм всерьез, то не могло бы существовать даже само понятие «моя депрессия», на которое опирается аргумент скептика.

Теперь становится ясно, в каком смысле метафизика Стросона является дескриптивной и консервативной. Чтение «Индивидов» приводит нас к новым воззрениям на природу мира только в том случае, если ранее мы были увлечены одной из форм ревизующей метафизики, а теперь возвращаемся к общепринятому. Но это не означает, что мы ничему не научились. Если Стросон прав, то теперь у нас есть *хорошие основания верить* в то, что «базисными элементами» являются — как это и считает повседневное мышление — вещи и люди в пространственно-временной структуре. Люди отличаются от других материальных объектов благодаря тому, что именно к ним, а не к столам и стульям, применимы Р-предикаты.

Бурные дискуссии, вызванные появлением книги, выявили целый ряд погрешностей в рассуждениях Стросона. В следующей книге "Пределы смысла. Заметки о Кантовой "Критике чистого разума" (1966) он был вынужден либерализовать свою исходную программу и перейти на позиции философии здравого смысла; "онтологическое доказательство" приняло у Стросона форму рассуждения по аналогии: основные структурные зависимости бытия должны быть аналогичны основным структурным зависимостям языка.

После этого формирование учения было в основном закончено, и Стросон посвятил ряд статей изложению и уточнению нового — смягченного — варианта своей концепции. Ему стало важно определить свое место внутри аналитической философии. Стросон всегда подчеркивал, что работает в рамках аналитической традиции и что дескриптивная метафизика является лишь одним из вариантов аналитической философии.

Статью "Различные концепции аналитической философии" Стросон специально посвящает обоснованию своего понимания анализа. Он выделяет три основных образа аналитической деятельности: картографический, терапевтический и грамматический. Первый (по мнению Стросона, явно метафорический) был предложен Г.Райлом, который говорил о концептуальной географии и пользе концептуального картографирования, помогающего избегать концептуальных кораблекрушений. Но картографический образ, считает Стросон, создает лишь общее представление о наличии некоторых отношений между некоторыми понятиями. Каковы эти понятия и отношения, остается неуточненным.

Самым популярным среди аналитиков является образец терапевтической деятельности, предложенный Л.Витгенштейном, который как-то отметил, что обращение философа с проблемой подобно обращению с болезнью. Стросон толкует этот подход следующим образом. Мы направляемся к философу как неврастеник к психоаналитику. Философ-аналитик — это своего рода терапевт, занятый лечением интеллектуальных расстройств. Мы склонны впадать в навязчивую путаницу, приходить к антиномиям, задавать вопросы, на которые возможны только абсурдные ответы; часто мы оказываемся не в состоянии понять, как может существовать то, что реально существует. Во всех подобных ситуациях философ помогает нам изгнать из себя софиста. Он объясняет, что такого рода типично философские тупики возникают из-за неправильного

употребления слов. Ложные метафоры и поверхностные аналогии, вторгаясь в наше мышление, приводят к абсурду, парадоксам или безнадежной путанице. "Эти искажающие влияния, всегда таящиеся в нашем языке, нейтрализуются в теоретических или практических областях, являющихся подлинной сферой их использования. Но когда слова, понятия не работают, а болтаются в уме или в языке, они дают эти нелепые поросли, распускают эти языковые побеги и т.д. И если диагноз болезни таков, — пишет Стросон, — то характер лечения совершенно очевиден. Сильно разогнанная, но работающая вхолостую машина должна быть нагружена". Деятельность философа состоит, по мнению Л.Витгенштейна, в возвращении слов от их метафизического (философского) употребления к повседневному. С помощью языковой интуиции можно достичь единственно возможного, как он считает, способа решения философской проблемы: ее исчезновения.

Таков — в описании Стросона — предлагаемый Витгенштейном образ аналитической деятельности как терапии. Стросон уверен, что многим аналитикам (например, Б.Расселу и К.Попперу) этот раз должен представляться совершенно неприемлемым или, в лучшем случае, поверхностным. Сам он считает его почти шокирующе односторонним. И взамен предлагает свой — грамматический — образ.

Когда первая кастильская грамматика была представлена Изабелле Кастильской, она спросила, для чего эта грамматика нужна. Действительно, с определенной точки зрения грамматика была бесполезна для тех, кто свободно говорил по-кастильски. Изабелла и ее придворные правильно говорили по-кастильски просто потому, что "грамматически правильный кастильский язык был тем языком, на котором они говорили. Грамматика не устанавливала стандартов правильности для высказывавшихся ими предложений. Скорее, сами эти предложения определяли стандарты правильности для грамматики". Значит, в некотором смысле говорящим известна грамматика их языка; но есть другой смысл, в котором они не знают ее. Если бы Изабеллу попросили сформулировать систему правил кастильского языка, на котором она с такой легкостью изъяснялась, едва ли она могла бы справиться с этой задачей. Умение делать что-то, в данном случае — говорить грамматически правильно, совсем не предполагает умения объяснить, как это делается. Практическое мастерство достигается обычно не с помощью теоретической инструкции, а подражанием и примером. Практическое мастерство не включает в качестве необходимого компонента осознание правил деятельности. И это относится не только к овладению грамматикой. Мы как разумные человеческие существа в своих отношениях друг с другом и миром пользуемся чрезвычайно богатой, тонкой и сложной понятийной системой. В некотором смысле мы знаем, что такое знание, задолго до того, как впервые слышим о теории познания; знаем, что такое истина, не будучи знакомы с теорией истины; можем отличить одну вещь от другой, свое "я" от чужого, реальное от ирреального, существующее от несуществующего, ничего не зная о проблемах тождества, реальности и существования. Некоторые из нас достигают мастерства в практическом освоении нашей понятийной системы столь же бессознательно, как при овладении грамматикой родного языка. И, находясь в здравом уме, мы не говорим, что человек глуп, только на том основании, что он не знает силлогистики. Владея практическими навыками мышления, и самые умные люди бывают не в состоянии объяснить теорию своей мыслительной практики. Уподобив философию грамматике, Стросон заключает: "Как грамматик трудится,

чтобы дать последовательное описание системы правил, без усилия соблюдаемых нами в процессе грамматически правильной речи, так и философ трудится, чтобы представить систематическое описание той понятийной структуры, которой, как показывает нам наша повседневная практика, мы владеем с бессознательным мастерством".

Грамматическая аналогия противостоит терапевтической как позитивная концепция анализа негативной. Первая ориентирована на теоретическое описание скрытой структуры нашего мышления; вторая отрицает возможность теории, за исключением, быть может, диагностической теории или теории источника метафизической путаницы. Стросон уверен, что позитивная теория анализа более привлекательна. Но прежде, чем отдать ей предпочтение, нужно быть уверенным в том, что существует единая структура мышления, и в том, что есть принципиальная возможность ее неискаженного описания. Ведь отказ Витгенштейна от построения общей позитивной теории был вызван именно его уверенностью в невозможности этого предприятия.

Стросон согласен с тем, что есть два серьезных возражения против идеи позитивной философии анализа.

Во-первых, только обыденными понятиями мы овладеваем без предварительного теоретического обучения, через пример и подражание. Невозможно научиться обращаться с научными понятиями без подробных теоретических инструкций. Бессмысленно ставить задачу выявления "скрытой" структуры понятий какой-либо научной дисциплины, если эта структура не является скрытой, если ее знание составляет необходимое предшествующее условие знания отдельных научных понятий. Может быть, наше обыденное мышление действительно имеет скрытую структуру, которую можно обнаружить с помощью методов философского анализа. Но если именно в этом состоит задача аналитической философии, то, значит, она не имеет никакого отношения к наиболее развитым формам мышления, а занимается изучением только самого простого и банального — обыденного — мышления.

Согласно Стросону, предметом философского анализа должна быть структура, необходимо присутствующая во всяком человеческом мышлении, научном и обыденном, теоретическом и дотеоретическом. Но позитивная философия анализа, продолжает он, вовсе и не предлагает ограничиться изучением структуры только обыденного мышления. Такое обвинение было бы напрасным наветом и означало бы лишь то, что обвинитель плохо представляет себе отношение между обыденным и научным мышлением. Между ними нет резкой грани. Любой ученый, даже действуя в рамках своей частной дисциплины, вынужден использовать и такие понятия, область применения которых шире области его специализации и которые на самом деле вовсе не являются специальными (например, понятия объяснения, подтверждения, доказательства, заключения, события, факта, свойства, предмета, гипотезы, основания, теории и многие другие). В отношении такого рода понятий специалист находится в том же положении, что и все мы в отношении дотеоретических или нетехнических понятий: он может прекрасно знать, как употреблять эти понятия в своей дисциплине, может уметь применять их совершенно правильно и вместе с тем быть не в состоянии объяснить, как ему это удается. Так историк может давать блестящие исторические объяснения, не имея общей теории исторического объяснения. Естествоиспытатель может выдвигать научные гипотезы, не

задумываясь над тем, что такое научная гипотеза. Математик может проводить доказательства, будучи не в состоянии указать отличительные черты математического доказательства. Так же, как мы в своих обычных отношениях с вещами справляемся с дотеоретической практикой, не обязательно будучи способными установить принципы этой практики, точно так же и ученый может справляться с тем, что можно назвать теоретической практикой, но обладая способностью сформулировать принципы применения в своей практике тех терминов, которые не являются специфическими для нее, а имеют более широкое приложение.

Усвоение теоретических понятий специальных дисциплин предполагает владение дотеоретическими понятиями обыденной жизни. Философия всегда стремилась проследить связь специальных наук с нетеоретической картиной мира и здравым смыслом. Но итогом ее синтезирующих усилий были лишь многочисленные метафизические картины мира, ни одна из которых не могла оправдать свои универсалистские претензии.

Стросон полагает, что все попытки дать целостную картину мира приводят лишь к появлению его фрагментарных, специфических образов — физического, антропологического, социологического, экономического и т.д. И это естественно, поскольку каждый специалист, пытаясь определить место своей дисциплины в ряду других и установить связь теоретического мышления с дотеоретическим, не может выйти за пределы своих частных интересов и привычек мышления и уже потому тяготеет к преувеличениям и искажениям. С негативной теорией анализа Стросон согласен в том, что желание связать специальные дисциплины и обыденные представления может породить лишь искажающие и в конечном счете бессвязные фантазии. Он признает и то, что всеобъемлющие синтезы обладают лишь мнимым единством, что итогом универсалистских объяснений является не научная теория, а "дисциплина, призванная успокаивать и исцелять".

И потому, чтобы обосновать возможность позитивной теории анализа, необходимо преодолеть вторую трудность — разрешить проблему адекватности. Возможно ли адекватным образом представить связь между различными специальными и неспециальными типами мышления? Где гарантия того, что результатом новой попытки "всеохватывающего теоретизирования" не явится еще одна метафизическая картина мира, пополняющая и без того богатую коллекцию? Какую форму должна принять систематическая позитивная теория анализа, чтобы избежать этой опасности?

История аналитического движения являет нам целый ряд усилий, направленных на достижение позитивных результатов. Усилия эти оказались безуспешны. Негативный идеал анализа пришел на смену позитивному как признание его принципиальной неосуществимости. Тем не менее Стросон предлагает вернуться к позитивно ориентированному анализу. Он уверен, что позитивный анализ возможен, а ранее предпринимаемые попытки его реализации потерпели неудачу из-за ложного понимания сути анализа.

В самом общем случае анализ означает разложение чего-то сложного на элементы и выявление способа, каким элементы связаны в сложное целое. Завершением анализа считается обнаружение абсолютно простых или конечных элементов, далее неразложимых с точки зрения данного типа анализа. Так химический анализ останавливается на химических элементах; они представляют собой сложное целое с точки зрения физического анализа, но химически просты, т.е. не

содержат в себе других химических элементов. Синтаксический анализ останавливается на морфемах; морфемы просты в том смысле, что сами не имеют грамматической структуры. Пределом фонетического анализа являются фонемы, так как фонемы не содержат фонем, и т.д.

При таком редукционистском понимании анализа, стремящемся к объяснению сложных структур через их простые элементы, концептуальный анализ должен заключаться в выявлении простых идей, из которых с помощью определенных понятийных или логических приемов может быть собран весь наш понятийный аппарат, воссоздана картина мира. История философии воспроизвела эту логику движения мысли: модель анализа, основанная на понятии простого как границе, пределе, принималась многими философскими направлениями.

В английской философии редукционистско-атомистическая модель анализа была общепринятой по меньшей мере в течение двух столетий. Первые формы аналитической философии — логический атомизм и логический позитивизм — были, может быть, последними жертвами этой модели разложения сложных структур на части, в пределе уже не допускающие дальнейшей разборки. Разочарование в модели логического атомизма (как чересчур упрощенной, искусственной, нереалистичной) привело Витгенштейна к отказу от поиска конечных — базисных — элементов понятийного анализа, обусловило его переход к негативной терапевтической теории лингвистического анализа.

По мнению Стросона, реакция Витгенштейна страдает ненужным радикализмом. Отказываясь от идеи базисных элементов, он искореняет саму возможность создать целостное представление о нашей понятийной структуре. Стросон считает, что надо отказаться не от поиска базисных элементов, а от редукционистского понимания анализа, утверждая, что между ними нет необходимой связи: отказ от редукционистской модели не предполагает отказа от идеи базисной структуры анализа.

Он предлагает другую модель философского анализа — модель развитой сети или системы взаимосвязанных объектов, таких, что каждый объект может быть правильно понят только в результате уяснения его связей с другими объектами, его места в системе. Если наша модель такова, — то нет необходимости беспокоиться, когда в процессе прослеживания связей от одной точки к другой мы возвращаемся к нашей исходной точке или проходим ее. Могло бы, например, оказаться, что мы не способны полностью разъяснить понятие знания, не ссылаясь при этом на понятие чувственного восприятия, и что мы не в состоянии объяснить все особенности чувственного восприятия, не ссылаясь на понятие знания. Но это не возбуждало бы беспокойства и удивления, так как *общий* упрек в наличии круга потерял бы свой смысл, ибо мы вправе двигаться по широкому, открытому и явному кругу. Это не значит, что логический круг вообще перестает быть опасным и нежелательным в рассуждении. Некоторые круги являются слишком узкими, мы движемся по ним неосознанно, не замечая круга и думая, что фиксируем реальную связь. Но при новой модели анализа в каждом отдельном случае надо особо решать, служит ли упреком замечание, что анализ движется по кругу.

Нужно отметить, что в этой первой общей характеристике модель анализа, предлагаемая Стросоном, ничем не отличается от модели, используемой Витгенштейном с начала 30-х годов. Это модель прослеживания связей в системе без надежды на возможность разложения или сведения рассматриваемых понятий к другим, более простым понятиям. Различия начинаются тогда, когда Стросон

утверждает, что и при такой модели имеются достаточные основания для введения отношения понятийного предшествования для отбора некоторых понятий в качестве базисных или конечных.

В нашем понятийном аппарате, считает он, можно выделить различные множества понятий, которые поддаются упорядочиванию с точки зрения их понятийного предшествования друг другу, т.е. такие, что умение обращаться с одним множеством понятий предполагает умение обращаться с другим множеством, но не наоборот. Можно сказать, что понятия второго множества являются понятийно первичными по отношению к понятиям первого множества. Очевидно, например, что дотеоретические понятия обыденной жизни первичны по отношению к любым теоретическим понятиям специальных дисциплин. Но можно и нужно пойти дальше. Среди дотеоретических понятий можно выделить случайные и необходимые, определяющие и зависимые.

По мнению Стросона, невозможно сомневаться в том, что существуют базисные философские понятия. Неудачи, которые преследовали классический эмпиризм в попытках их выявления, связаны с недооценкой взаимосвязи различных базисных понятий. Базисные понятия описывались как самодостаточные и независимые друг от друга. Стросон считает, что правильнее говорить не о базисных понятиях, а о базисной структуре — структуре общих, необходимых, взаимосвязанных, имеющих широкую сферу применения и нередуцируемых понятий. Это структура понятий обыденной речи, которая лежит в основании всех специальных научных дисциплин и описывает необходимую структуру всякого возможного опыта. Базисной является только вся структура в целом; ни один ее элемент, рассматриваемый изолированно, не может быть признан базисным; базисное понятие — это понятие, принадлежащее базисной структуре.

Нельзя отказаться от признания некоторых понятий базисными внутри нашей понятийной системы. Витгенштейн напрасно пытался сделать это в "Философских исследованиях". Стросон уверен, что ему это не удалось. Витгенштейн якобы противоречит сам себе, утверждая, что бессмысленно искать базисные элементы языка и познания. На самом деле он нашел базисные элементы в "формах жизни".

Витгенштейн советует ставить перед собой только локальные конкретные задачи преодоления трудностей, возникающих из-за некорректного словоупотребления. Для этого нужно уточнять и проверять значения понятий, вызывающих затруднения, обращаясь к другим способам употребления тех же самых понятий в различных сферах или, как говорит Витгенштейн, формах человеческой жизни. Именно формы жизни, по мнению Витгенштейна, определяют способы употребления слов и тем самым придают значения понятиям. Иначе говоря, формы жизни выделяются им в качестве базисного философского элемента. Теоретическому отрицанию базисных элементов в "Философских исследованиях" сопутствует их фактическое принятие.

Таким образом, Стросон заявляет, что витгенштейновская негативная теория анализа разрушается внутренним противоречием. Мало того, что она лишает анализ истинного содержания, обедняет его, ограничивая терапевтическими целями. Главный ее недостаток состоит в том, что исходные предпосылки теории Витгенштейна опровергаются его собственным аналитическим методом.

Собственное понимание аналитической деятельности Стросон считает преодолением позиции Витгенштейна. Он противопоставляет анализ, стремящийся

к выявлению общего схематизма языка и мышления, анализу, понятому как терапия. Определяя общие программные положения своей позитивной теории анализа, Стросон пишет: "То, что я... выдвигаю в качестве цели аналитической философии, есть прояснение сети понятийных связей, общих и частных, в обращении с которыми мы, как существа, взаимодействующие с миром и друг с другом, можем обладать практическим мастерством без ясного теоретического понимания. И важная часть этого предприятия может быть описана как прояснение базисной структуры нашего мышления и опыта".

Скрытая базисная структура языка в интерпретации Стросона — это конечная система правил, неосознанное усвоение которой создает у "идеально бегло и правильно говорящего на языке" "способность понимать, продуцировать и критиковать бесконечно много новых предложений своего языка".

Стремясь выявить систему правил, определяющих нашу обыденную языковую практику, дескриптивная метафизика хочет определить форму неформального языка. Определенная таким образом цель дескриптивной метафизики оказывается похожей на цель порождающих грамматик Хомского — выявление глубинной, формообразующей структуры языка.

Создание "универсальной грамматики" естественного языка — такова общая цель Хомского и Стросона. Но они идут к этой цели разными путями. Стросон противопоставляет их как пути эмпирической и неэмпирической лингвистики. "Эмпирические лингвисты, грамматики... актуально данных языков" склонны "не доверять теоретическим понятиям, за исключением тех случаев, когда они могут быть использованы в *конструировании систем или механизмов правил*", порождающих предложения обыденного языка. Всякое другое применение теоретических понятий, по мнению грамматиков, "слишком смутно и интуитивно, чтобы удовлетворить идеалу эмпирической ясности". Философ же, считает Стросон, "должен максимально использовать свою сомнительную свободу от эмпирического принуждения. Так он совсем не должен быть озабочен, по крайней мере сначала, актуальным формальным упорядочиванием, посредством которого актуально представлены функциональные отношения в базисе или на каком-то ином уровне отдельного языка".

В статье "Грамматика и философия" Стросон представляет дескриптивную метафизику как программу создания "общей теории человеческого языка"; конечно, он стремится не к описанию грамматики актуального языка, а к созданию "идеального упрощенного типа языка".

Но и такая идеальная обобщенная модель формальной структуры обыденного языка не является конечной целью исканий Стросона. Он остался верен стремлению, которое определил еще в "Индивидах", — пробиться "через" язык к реальной внеязыковой действительности. И потому Стросон опять и опять говорит об онтологии, которая входит в основания грамматики, и о необходимости создания особого "онтологического словаря". Глубинная универсальная грамматика нужна ему как средство анализа той информации о реальном мире, которая закреплена в базисных языковых структурах.

6.3 "Усовершенствованный реализм" А.Айера

Оскфордский философ Альфред Джулс Айер (1910 — 1989) после окончания Крайст-Черч-колледжа в 1932 отправился в Вену, чтобы познакомиться с идеями Венского кружка. Его первая книга «Язык, истина и логика» (1936) получила широкое признание и оказала значительное влияние на англоязычную философию. Это одно из наиболее ясно сформулированных изложений как логического позитивизма вообще, так и феноменалистического крыла этого течения в частности. Поэтому, в частности, эта книга отражает трудности, уже выявившиеся в ходе попыток дать точную формулировку принципа верификации — или верифицируемости (verifiability), как называет его Айер. Этот принцип трудно задать «так, чтобы избежать крайностей чрезмерно строгого требования», отвергающего как бессмысленные даже суждения обыденного опыта, и «чрезмерно снисходительного лицензирования тарабарщины», куда попадают и метафизические высказывания. Айер проводит различие между «строгим» вариантом принципа верифицируемости, согласно которому всякое неаналитическое высказывание лишено смысла, если опыт не позволяет окончательно установить его истинность, и «слабым» вариантом, согласно которому предложение осмысленно, только если оно либо является аналитическим (т.е. его смысла достаточно для установления его истинности или ложности — таковы утверждения математики и логики), либо некоторый мыслимый опыт «может иметь отношение к определению его истинности или ложности» (т.е. предложение является эмпирической гипотезой — таковы утверждения естественных наук и повседневного опыта).

Айер принимает принцип верифицируемости только в его слабом варианте, оправдывая свой выбор нежеланием отбрасывать как бессмысленные универсальные законы и утверждения о прошлом на том лишь основании, что ни те, ни другие нельзя свести к имеющемуся сейчас опыту. Он согласен с Карнапом в том, что этой формулировки принципа верифицируемости достаточно, чтобы устранить метафизические высказывания; никакое наблюдение не может иметь отношение к такому метафизическому утверждению, как «мир чувственного опыта реально не существует» в силу самой его природы; никакое наблюдение не может помочь нам установить, является ли мир единой «первичной субстанцией» или множеством таких субстанций.

Задачей философии, утверждает Айер, не является конкуренция с естественными науками, так как философ не располагает и не может располагать спекулятивными истинами, которые могли бы конкурировать с гипотезами науки. Достижение сверхчувственной истины исключено не в силу ограниченности человеческого разума, как считал Кант, а из-за буквальной бессмысленности любой подобной истины. Следовательно, единственное разумное занятие для философа — это выяснение значений. Задачей философии признается логическое прояснение основных научных понятий, а не попытка заключать о том, чем вещи являются в действительности. Так как все высказывания философии, соответственно сказанному, аналитичны, то нет никаких реальных причин для споров между различными философскими течениями и для существования различных философских направлений. Большинство проблем значения, связанных с обычным рассуждением, были (с определенной точки зрения) в то или иное время решены, так что задача философии в основном теперь заключается в четком анализе основных понятий науки людьми, компетентными как в

философии, так и в науке. Та отрасль философии, которая стремится раскрыть природу и обоснованность знания, так называемая эпистемология, в большей своей части является псевдонаукой. В действительности философ может показать, может ли опыт обосновать чьи-либо мнения, но сама философия не обосновывает никаких мнений. Научные мнения могут стоять на своей собственной основе, так как единственный вид обоснования, который необходим и возможен для непротиворечивых эмпирических высказываний — это, с такой точки зрения, эмпирическая проверка.

По мнению Айера, как только мы отвергнем претензию философии поставлять нам метафизические истины, сразу станет понятно, что ее настоящее назначение состоит в анализе, — именно в этом видели ее главную задачу Локк, Беркли, Юм и Рассел. Однако отсюда вовсе не следует, что философия занимается «разбиением» объектов на атомарные сущности; воззрение, согласно которому Вселенная в действительности состоит из элементарных сущностей, — метафизическая псевдопроблема. Для Айера философский анализ имеет лингвистический характер; он позволяет определять некоторый символ посредством перевода предложений, в которые он входит, в предложения, не содержащие ни этого символа, ни его синонимов. Примерами такого анализа служат теория описаний Рассела и феноменалистский перевод предложений о материальных объектах в предложения о чувственных данных.

Более того, утверждает Айер, нет такой области опыта, которую в принципе нельзя было бы подчинить какому-то научному закону. Поэтому первая задача философии по отношению к познанию — не обосновать познание, а провести анализ как эпистемологических терминов, так и тех высказываний, цель которых — формулировать знание. Этот анализ — не просто эмпирическое изучение чьих-либо языковых обычаев. Это скорее более фундаментальная логическая дедукция отношений эквивалентности из правил следования, содержащихся в рассматриваемом языке. Его метод заключается в основном не в установлении *явных* определений типа «окулист — это глазной врач», а скорее в построении *контекстуальных* определений, в которых всему предложению придается такая форма, что ни определяемый термин, ни какой-либо из его синонимов не входит в перефразированный вариант. Так, например, согласно Расселу, предложение «круглых квадратов не существует» переводится как «ни один предмет не может быть круглым и квадратным одновременно», а предложение «автором "Веверлея" был Вальтер Скотт» как «одно и только одно лицо написало "Веверлея"».

Соединив таким образом логический позитивизм с британским философским анализом, Айер указал на реально существующую историческую связь; в то же время он многих убедил в том, что «анализ» и «логический позитивизм» в действительности тождественны. Однако логические позитивисты лишь постепенно стали интересоваться эпистемологическими проблемами (и роль Айера здесь трудно переоценить), на решении которых сконцентрированы усилия британских аналитиков; со своей стороны, аналитики мало внимания уделяли изучению структуры научных и математических теорий. Но и британские аналитики, и континентальные позитивисты отвергали метафизику и обнаруживали склонность к эмпиризму, хотя в вопросе о позитивной роли философии они придерживались противопожных позиций.

Для Айера философия, по выражению Дж. Пассмора, представляет собой британский эмпиризм, переформулированный в лингвистических терминах, о чем

со всей очевидностью говорит его работа «Основания эмпирического знания» (1940), сочетающая классический британский подход к эпистемологии как к «нашему познанию внешнего мира» (Рассел) с чертами континентального позитивизма. Ее объемлющий тезис состоит в том, что никакие наблюдения не могут разрешить спор между реалистами и сторонниками теории чувственных данных. Последние указывают на невозможность согласовать изменения в наших восприятиях объектов и расхождения в восприятиях различными наблюдателями одного и того же с той идеей, что мы непосредственно воспринимаем материальные объекты. Реалисты же, как считает Айер, всегда могут в ответ возразить, что теоретик чувственных данных слишком узко понимает «материальные объекты». Поэтому вопрос лишь в том, что нам более удобно — вместе с реалистами утверждать, что материальные объекты могут одновременно обладать разными цветами, или вместе с теоретиками чувственных данных отрицать это; данный вопрос не имеет никакого отношения к наблюдению. Поскольку, с точки зрения Айера, мы можем здраво и непротиворечиво рассуждать о мире и в терминах чувственных данных, и в теминах материальных объектов, нам нужно лишь понять, какой язык более релевантен в том или ином данном контексте.

Сам Айер отдает предпочтение «языку чувственных данных»: книга «Основания эмпирического знания» была многими воспринята как защита феноменализма. Британские эмпиристы, считает Айер, зашли в тупик, решив, что выражения «чувственное данное», «идея» и им подобные представляют собой *имена объектов,* чьи свойства можно рассматривать как свойства любых других объектов, и поэтому для них оказался вполне осмысленным вопрос — обладают ли чувственные данные свойствами, которые мы не воспринимаем. Рассуждать таким образом, считает Айер, значит терять все преимущества, предоставляемые языком чувственных данных, поскольку в этом случае и в отношении чувственных данных незамедлительно встают классические проблемы, связанные с иллюзиями. Если нас, к примеру, спрашивают, сколько звезд видит человек, когда он видит звезды, то мы должны отказаться отвечать на этот вопрос, ибо он бессмыслен. Однако на том основании, что человек, видящий звезды, не может сказать, сколько звезд он видит, нельзя сделать вывода, что его «чувственные данные» обладают не замеченными им свойствами; этот факт означает лишь, что «чувственно данные звезды», в отличие от реальных звезд, нельзя сосчитать.

С точки зрения Айера, наилучшей формулировкой феноменализма будет следующая: повседневные предложения о материальных объектах можно перевести в предложения, отсылающие исключительно к чувственным данным, в число последних входят и гипотетические предложения вида "Если бы я сделал то-то и то-то, я бы имел такие-то чувственные данные". Согласно известному возражению против этой точки зрения, никакая совокупность утверждений о чувственных данных не эквивалентна утверждению о материальном объекте; об этом свидетельствует тот факт, что утверждения о материальных объектах всегда могут быть изменены на основе последующего опыта и отброшены как ложные, в то время как утверждения о чувственных данных по определению не подлежат пересмотру. Айер признает, что здесь нет эквивалентности, но отсюда не следует,по его мнению, что предложения о материальных объектах говорят не о чувственных данных, а о чем-то *ином.* Так, предложение «кто-то стоит у двери» неэквивалентно множеству предложений о конкретных людях: «или *x*, или *y*, или *z* стоит у двери». Но «кто-то» не является и именем какого-то еще существа,

помимо конкретных людей. Мы вправе лишь утверждать, заключает Айер, что утверждения о чувственных данных никогда не могут «точно определить» материальный объект; в результате мы не можем разложить, скажем, предложение о материальном объекте на множество предложений о чувственных данных. Но мы можем, подобно Юму, указать те отношения между чувственными данными, которые наводят нас на построение утверждений о материальных объектах на основе нашего опыта.

Итак, если задачей философского исследования является анализ, проясняющий значение фактических высказываний и исключающий метафизику, то каков критерий осмысленности высказываний, используемый в этом анализе? Если оставить на время в стороне высказывания логики и математики и другие априорные высказывания, единственным приемлемым критерием осмысленности фактических высказываний является критерий проверяемости. Он не требует, чтобы каждое осмысленное высказывание было действительно проверено, или даже чтобы высказывание было «строго» проверяемым, то есть «установленным с уверенностью». На самом деле многие осмысленные высказывания не настолько важны, чтобы кто-нибудь позаботился об их действительной проверке, и ни для какого фактического высказывания нельзя *полностью* проверить, истинно оно или ложно. Однако если высказывание считается фактически осмысленным, то оно должно быть проверяемым хотя бы в том слабом смысле, что *некоторые* наблюдения могли бы играть роль в определении его истинности или ложности. Более точно, фактическое высказывание осмысленно, если и только если некоторые высказывания об опыте могут быть выведены из него в сочетании с некоторыми другими посылками, но не выводимы из одних только этих посылок. Таким образом, объяснить значение какого-либо эмпирического высказывания — значит перефразировать его с помощью подходящего контекстуального определения таким образом, чтобы обнаружилась возможность его проверки в терминах чувственного опыта. Если этого сделать нельзя, высказывание в буквальном смысле слова бессмысленно. Требуемое перефразирование не должно раскрывать значения входящих в высказывания терминов в интенсиональном или коннотативном смысле, а только в том смысле, который важен для научного или повседневного знания, а именно в денотативном или экстенсиональном. В действительности интенсиональный смысл значения представляет собой в основном психологическую ссылку на мышление говорящего, а не логическую ссылку на следствия из его высказывания. Поэтому он не имеет серьезной познавательной ценности.

Может показаться, что высказывания априори, или такие необходимые истины, как истины логики или математики, составляют исключение из основного правила, согласно которому никакое фактическое высказывание не является осмысленным, если оно не проверяемо в терминах чувственного опыта. Эти трудности можно попытаться устранить, считая, что такие высказывания не являются необходимо априорными, а подлежат такой же проверке, как и все чисто эмпирические высказывания. Такой вариант применил Дж.С.Милль, который попытался показать, что высказывания логики и математики всего лишь более надежные фактические высказывания, подлежащие обычной эмпирической проверке. Однако усилия Милля потерпели неудачу, ибо на самом деле, независимо от того, какие эмпирические данные представлены, нам всегда удается спасти истинность логики и математики. Так, например, если в каком-либо случае оказалось, что пять пар объектов не равны десяти объектам, то, скорее всего, мы усомнились бы

не в том, что 2 ∗ 5 = 10, а в том, что в процессе счета мы начали с пяти пар или в том, что в нем участвовали действительно все исходные объекты и не больше.

Это стремление сохранить логику и математику любой ценой дает нам ключ к правильному решению проблемы истин, необходимых априори. Такие истины в действительности не являются фактическими вообще, а представляют собой решения пользоваться языком определенным образом. Иначе говоря, необходимая истина аналитична в смысле Канта, т.е. в том смысле, что ее предикат уже содержится в ее субъекте. Еще лучше это можно выразить, сказав о любом необходимом высказывании, что «его достоверность зависит только от определения входящих в него символов». Необходимое высказывание раскрывает значения, но ничего не говорит о мире. В этом смысле оно чисто тавтологично, хотя вследствие медлительности человеческого ума оно может оказаться связанным с другими тавтологиями довольно неожиданяым образом. Такой словесный и тавтологический характер имеют не только высказывания дедуктивной логики и арифметики, но и высказывания геометрии, математической индукции и те высказывания, в терминах которых проводится философский анализ. Таким образом, все осмысленные суждения относятся либо к классу суждений, в принципе допускающих эмпирическую проверку, либо к классу аналитических и тавтологических суждений. Метафизическое предложение в буквальном смысле слова бессмысленно; его можно определить как «предложение, которое стремится выразить подлинное суждение, но в действительности не выражает ни тавтологию, ни эмпирическую гипотезу». Спрашивается, почему же при наличии такого простого и очевидного критерия значимости люди упорно ставят и пытаются решить бессмысленные метафизические и этические проблемы? Это объясняется тем, что их вводят в заблуждение формы языка и предрассудок, будто каждому слову должно соответствовать нечто реально существующее. Так, например, проблема субстанции возникает потому, что «мы не можем в нашем языке, говоря об ощущаемых свойствах предмета, не ввести слово или фразу, которая кажется относящейся к самому предмету»; проблема бытия возникает потому, что термин «существование» принимается за атрибут. Аналогичным образом проблемы нормативной этики коренятся в том факте, что сугубо эмоциональные понятия «хороший», «правильный» и «должен» ошибочно считаются представляющими дескриптивные свойства.

Какова же тогда, по Айеру, природа объектов познания? Вообще говоря, такие объекты нужно рассматривать как конструкции чувственного опыта. Все они «определимы» в терминах «ощущаемых проявлений». Отсюда не следует, что материальный объект в буквальном смысле слова есть «совокупность или система содержаний ощущения» или что осмысленное предложение о материальном объекте не может содержать ссылок на что-либо, не входящее в чувственный опыт. Первая интерпретация сама была бы метафизической, а вторая незаконно исключала бы все ссылки на атомы, электроны и другие полезные конструкции, а также на стулья, столы и другие привычные объекты. Эта теория конструкций не означает также что материальные объекты научных понятий *фикции,* так как столь и атомы, конечно, не являются фикциями в том смысле, в каком ими являются Гамлет или мираж. Теория конструкций в логическом позитивизме указывает лишь, что каждое предложение об объекте *можно перевести* в предложение, говорящее только об ощущениях и отношениях между ними. Ощущения, связанные друг с другом с помощью некоторых вполне определенных

форм сходства и непрерывности, приводят к конструкциям, воспринимаемым как материальные объекты, а такие же ощущения, связанные различными другими способами, приводят к конструкциям, воспринимаемым, соответственно, как мы сами, чужие сознания, прошлые события, будущие события и законы природы. Однако все высказывания, содержащие конструкции, имеют то сходство, что все они либо эмпирические гипотезы, подлежащие проверке последующим чувственным опытом, либо правила предсказания будущего опыта.

Но тогда зависят ли объекты познания от познающего мышления или нет? Если дело сводится к вопросу, является ли чувственный опыт независимым от процесса ощущения, то ответ будет утвердительным, так как содержание ощущения есть скорее часть, а не объект чувственного опыта. Однако, если спрашивается, являются ли конструкции, воспринимаемые как материальные объекты — мы сами, законы природы и прошлые события — независимыми от познающего разума, ответ будет отрицательным, так как все такие конструкции представляют собой не просто ощущения, а относительно постоянные возможности ощущений, и предложения о них должны анализироваться в терминах не только действительно происходящих ощущений, но и в терминах ощущений, которые имели бы место при определенных обстоятельствах.

Проблема природы истины на самом деле является псевдопроблемой, так как сказать, что суждение истинно, значит просто утверждать это суждение, и никакой эмпирической проверки для теории истины изобрести нельзя. *Критерием* истинности суждения является просто фактическое осуществление тех явлений опыта, которые были предсказаны этим суждением. В действительности, однако, мы никогда не достигаем полной истины, поскольку каждое эмпирическое высказывание, будь то высказывание о материальном предмете, о законе природы, о чьемлибо сознании или даже о прошлом событии, влечет за собой бесконечную цепь явлений опыта, так что требования к его истинности полностью никогда выполнены не будут. Так называемые наглядные суждения, прямо описывающие непосредственный опыт, могли бы содержать свою собственную полную верификацию, но фактически таких суждений не существует. В то время как сам чувственный опыт непосредственно дан и безошибочен, любая попытка выразить этот опыт в словах уже содержит дескриптивные элементы наряду с демонстративными; следовательно, она может подлежать исправлению и никогда полностью не проверяема. Так как мы никогда не можем быть уверены в истинности эмпирического суждения, практически важные вопросы в области познания связаны с вероятностями будущих явлений опыта. Вероятность гипотезы измеряет «степень доверия, с которой разумно относиться к этой гипотезе». Степень разумности мнения зависит от того, в какой мере оно «достигается методами, которые мы считаем надежными». Такие методы в настоящее время включают все, что мы подразумеваем под научным методом. Они содержат не только способы проверки отдельных гипотез, но и способы проверки целых систем гипотез, в которой подтверждение какой-либо части способствует подтверждению целого. Однако никакое множество процедур или гипотез не является окончательным, и с точки зрения логики можно спасти любую гипотезу, если мы захотим пожертвовать достаточным количеством других. В ответ на вопрос, почему наши поиски знания должны происходить так, как они происходят, некоторые философы утверждали, что такая процедура требуется в интересах экономии. Но экономии можно было бы достигнуть просто игнорированием нежелательных наблюдений. В действительности конечной основой нашей

процедуры является практическая потребность в успешности предсказаний об опыте, и именно степень успеха в конечном счете является проверкой того эмпирического знания, которое мы приобретаем, будь то знание о предметах, нас самих, прошлом или будущем.

В то время как в «Языке, истине и логике» Айер был склонен согласиться с теми, кто утверждал, что философских суждений не существует и что философия должна заниматься тем, чтобы делать ясными другие суждения, позже он считает, что неверно говорить, будто философские суждения — это суждения об употреблении слов. На самом деле философские суждения, если уж в них говорится об употреблении, то говорится об употреблении не слов, а классов слов: философские суждения, если они истинны, не эмпирические, подобно суждениям лексикографа, а аналитические, подобно суждениям логика. Философский анализ не заключается прежде всего в «контекстуальных определениях» и вообще не обязательно сводится к определениям. Например, философские высказывания, интерпретирующие материальные объекты в терминах чувственных данных, не сводятся к *определению* или *переводу* высказываний о физических объектах в терминах чувственных данных, «так как никакое конечное множество высказываний о наблюдениях не эквивалентно высказыванию о материальном предмете». Более того, некоторые примеры подлинно философского анализа имеют форму, далекую от формы определения. Например, вообще не похоже на определение рассуждение Мура о том, что высказывание «все ручные тигры рычат» имеет смысл, тогда как «все ручные тигры существуют» не имеет смысла.

Хотя более зрелые работы Айера никоим образом не отвергают верификационный критерий значимости, этот принцип рассматривается в них в контексте, несколько отличном от предлагавшегося в «Языке, истине и логике», и содержат некоторые важные ограничения. Теперь Айер открыто говорит, что принцип проверяемости сам по себе есть не проверяемый факт или «эмпирическая гипотеза», а «определение», указывающее область «осмысленности», в которой применимы понятия «истинности» и «ложности» и осуществимо понимание на уровне здравого смысла или науки. Более того, теперь он с готовностью признает возможность других определений значения в некотором ином смысле, и от сторонников таких определений требуется лишь указание точных критериев. Даже для осмысленных высказываний не все доказательства их истинности содержатся в их значении. Кроме того, критерий осмысленности, который требует, чтобы из осмысленного высказывания вместе с другими посылками следовали высказывания о наблюдении, теперь признается в некотором отношении слишком широким. На основании этого критерия высказывание «абсолют ленив» было бы осмысленным. Чтобы исключить такие высказывания, которые, конечно, нежелательно считать осмысленными, Айер теперь настаивает на том, чтобы упомянутые «другие» посылки либо были аналитическими, либо эмпирически проверяемыми. Таким образом, критерий проверяемости, а следовательно, также и осмысленности, выглядит теперь следующим образом.

Высказывание непосредственно проверяемо, если оно либо само является высказыванием о наблюдении, либо в конъюнкции с одним или несколькими высказываниями о наблюдении влечет за собой по меньшей мере одно высказывание о наблюдении, которое не выводимо из этих других посылок без

данного высказывания. Высказывание косвенно проверяемо, если оно удовлетворяет следующим условиям:

- во-первых, в конъюнкции с некоторыми другими посылками оно влечет одно или несколько непосредственно проверяемых высказываний, которые не выводимы только из этих других посылок; и,
- во-вторых, всякое высказывание, входящее в эти другие посылки, либо аналитическое, либо прямо проверяемое, либо таково, что его косвенную проверяемость можно установить самостоятельно.

Осмысленное высказывание, не являющееся аналитическим, должно быть непосредственно либо косвенно проверяемым. Айера особенно беспокоит, *что же* подлежит верификации. Он вводит третьего кандидата на эту роль — «утверждение», который должен оспорить эту честь у «предложения» и «высказывания». Он определяет «предложение» как грамматически значимый набор слов, «утверждение» — как то, что выражают такие наборы слов, а «высказывание» — как подкласс, содержащий только «утверждения», выраженные «строго осмысленными» предложениями. Поэтому, согласно Айеру, выражение «бессмысленное высказывание» является противоречием в терминах; только предложения являются «строго осмысленными» и только утверждения поэтому подлежат верификации.

Взгляд Айера на то, что означают различные виды высказываний, изменился несколько более радикально, чем его взгляд на верификационный критерий значимости. Например, раньше он говорил, что высказывания, относящиеся к чувственному опыту, «определяют» или «переводят» высказывания о физических объектах, а теперь он заявляет, что таких переводов «не предвидится», что есть серьезные основания предполагать, что они невозможны, и что значение высказываний о физических объектах должно оставаться несколько туманным. Хотя каждое высказывание о материальном предмете влечет за собой то или иное множество высказываний о наличии тех или иных чувственных данных, нет такого множества высказываний о наличии конкретных чувственных данных, о котором можно было бы с уверенностью сказать, что именно оно следует из данного высказывания о материальном предмете. Мы не только можем продолжать проверку высказывания как угодно долго, не будучи в состоянии достигнуть формального доказательства его истинности; но, кроме того, для любого способа проверки, который мы фактически осуществляем, всегда имеется бесконечное множество других способов проверки, несколько отличных от исходного, которые можно было бы провести с таким же успехом. Следовательно, каждое значимое высказывание о материальном предмете может быть представлено как влекущее за собой дизъюнкцию высказываний о наблюдениях, хотя число членов этой дизъюнкции нельзя перечислить, так как оно бесконечно. Аналогичные рассуждения применимы к высказываниям о чужих сознаниях и о прошлых событиях; но относительно и тех и других высказываний требуются также и особые ограничения первоначальной доктрины «Языка, истины и логики». Высказывания о прошлом в первом издании «Языка, истины и логики» считались переводимыми в суждения о «настоящем или будущем опыте». Но в действительности, хотя такие высказывания и проверяемы в терминах вытекающих из них высказываний о наблюдении, эти высказывания о наблюдении могут относиться как к опыту, который был бы возможен, если бы наблюдение имело место в прошлом, так и к фактическому опыту в настоящем или в будущем.

Невозможность наблюдения прошедшего опыта это просто случайный факт, а не логическая невозможность, которая исключала бы осмысленность высказываний о прошлом, которые.уже нельзя проверить.

Высказывания об опыте других людей уже нельзя так просто интерпретировать в терминах наших наблюдений их поведения, как это Айер считал вначале. В «Основаниях эмпирического знания» он широко использует тот аргумент, что, так как наша неспособность непосредственно проникнуть в опыт другого есть лишь случайный факт, высказывания о внутреннем опыте других людей в принципе проверяемы и подкрепляются заключениями по аналогии. Рассмотрев различные языковые соглашения, которые сделали бы возможным или невозможным участие в опыте других, Айер заключает, что, поскольку рассматривается лишь дескриптивное содержание опыта, вопрос о том, чей это опыт, по существу произволен, так что, например, при установлении корреляции свойств не стоит заботиться о том, чтобы границы опыта различных людей не пересекались. Вывод происходит не от моего опыта как такового к чьему-либо опыту как таковому, а от установления факта, что некоторые свойства сопутствуют друг другу в различных контекстах, к заключению, что в последующем контексте эта связь также будет иметь место. Это обычный тип индуктивного вывода.

"Итак, — пишет Дж.Пассмор, — в существенных вопросах Айер в 1946 г. все еще оставался позитивистом лингвистического толка. Но по мере того как логический позитивизм постепенно под влиянием Карнапа трансформировался в физикализм, Айер все больше отходил к эпистемологии, которая по своему типу близка британскому эмпиризму, хотя этот его отход сдерживала критика таких его современников, как Витгенштейн, Райл и Остин. В работе «Проблема познания» (1956) для него врагом номер один становится уже не метафизика, а скептицизм"[9].

Мы знаем, что *p*, если и только если мы убеждены в том, что *p*, имеем основания так считать, и, наконец, если мы правы в этом, т.е. если это действительно так. Скептицизм возникает там, где можно усмотреть логический зазор между открывающимися нам очевидными свидетельствами по поводу существования и характера вещей некоторого вида и нашими обычными требованиями к знанию о них. Например, наш доступ к физическому миру возможен только через наши собственные чувственные данные, к сознаниям других людей — только через их поведение, а к прошлому — только через наши воспоминания. Другая очевидность нам не доступна, а эта может вступать в противоречие, в частности, с требованием истинности знания. Возможны четыре типа решения.

1. С точки зрения наивного реализма, проблематичные вещи даны нам непосредственно, и мы воспринимаем физические объекты, сознания других людей или прошлое без посредства каких бы то ни было чувственных данных, поведения или воспоминаний, которые являются просто их представлениями.

2. Редукционизм сводит существование проблематичных вещей к принятию подходящих образцов среди очевидных данных — например, чувственных данных, поведения или образов памяти и исторических хроник.

3. Научный подход основан на том, что вывод от очевидности к тому или иному заключению имеет надежный с научной точки зрения индуктивный характер. Трудность здесь состоит в том, что не может быть никаких индуктивных оснований для перехода от А к В, если у нас никакого возможного доступа к В, кроме А.

[9] Пассмор Дж. Сто лет философии. М., «Прогресс-Традиция», 1999. С.302.

4. Метод дескриптивного анализа, в значительной степени одобренный Айером (хотя несколько измененный позже) просто описывает то, как мы фактически основываем наши убеждения на очевидности, и показывает, что опасения по поводу их недостаточной обоснованности неразумны, поскольку выдвигают невозможные требования.

Базовый аргумент против скептицизма состоит в следующем. Существуют высказывания такой природы, что для нас логически невозможно ошибиться в их истинности, поскольку они или являются *априорными,* или регистрируют непосредственный опыт. Айер согласен с тем, что если высказывание выражает *априорную* истину, то для него логически невозможно быть ложным. Но отсюда вовсе не следует, что для нас логически невозможно ошибиться в его *априорности.* Поэтому само *существование* априорных истин еще не гарантирует от ошибок.

Как же в таком случае быть с «базисными предложениями» логического позитивизма, т. е. с такими предложениями, как «это выглядит красным», «у меня болит голова» и т. д.? Эти предложения подвержены пересмотру; я вполне могу сегодня считать, пусть неправильно, что вчера, произнося фразу «у меня болит голова», я ошибался. Однако здесь можно возразить, что я по крайней мере не ошибался, говоря, что «у меня болит голова», в тот момент, когда я испытывал эту головную боль. Утверждение «в настоящий момент я испытываю головную боль» не может быть ложным в момент его произнесения. В ответ на это Айер указывает, что если это утверждение означает: «в настоящий момент я испытываю то, что другие люди называют головной болью», то оно, конечно, может оказаться ложным; возможно, другие люди назвали бы испытываемое мной «тяжелой головой». Даже используя «индивидуальный язык», я мог бы совершить аналогичную ошибку: я мог бы ошибочно считать, что «этот вид переживания я обычно называю головной болью.

Таким образом, Айер вынужден отказаться от точки зрения, которую он разделял вплоть до второго издания «Языка, истины и логики» (1946) — о том, что существуют «базисные высказывания», т. е. неподверженные перемотру окончательные верификаторы (инфаллибилизм). В итоге он вынужден согласиться со скептиком в том, что всегда присутствует логическая возможность ошибки[10]. Однако в том, что касается скептических аргументов против индукции, по мнению Айера, скептик прав, отрицая возможность формально-дедуктивного оправдания индукции. Но это отрицание означает лишь, что ничего лучше самой индукции не может быть использовано для ее оправдания. Этот ответ скептику особенно важен для Айера. По его мнению, и наше знание о прошлом, и наше знание о сознании других людей опирается на индуктивные умозаключения. Теперь Айер полностью отвергает точку зрения, которой он придерживался в «Языке, истине и логике» и согласно которой утверждения о сознании других людей «в реальности» представляют собой утверждения об их телах, и тем более он не приемлет физикалистское учение о логической эквивалентности утверждений о нашем собственном сознании утверждениям о наших телах.

Согласно Айеру, наиболее серьезные скептические возражение связаны с нашим восприятием внешних вещей. В этом вопросе Айер продолжает в целом отстаивать позицию, сформулированную им в «Основаниях эмпирического знания», но уделяет значительно меньше внимания идее «чувственных данных». Как признает

[10] Ayer A.J. Basis Propositions — Philosophical Analysis, 1950, ed. M.Black.

Айер, скептик прав, отрицая, что утверждения о моих чувственных данных эквивалентны таким утверждениям, как «книга лежит на столе», или же служат их логически убедительными доказательством. Однако отсюда вовсе не следует, что они не *обосновывают* таких утверждений; на самом деле только ссылкой на чувственные данные и можно обосновать такие утверждения.

В итоге Айер занимает позицию, которую он называет «усовершенствованным реализмом», исходя из того, что прояснение понятий, являющеся задачей философии, в конечном итоге сообщает нам нечто о мире, к к-рому применимы эти понятия.

Итак, по (широко разделяемому) мнению Дж.Пассмора, логический позитивизм развивался в двух разных направлениях:

- под влиянием Карнапа — к реалистическому объяснению восприятия и физикалистской трактовке сознания;
- под влиянием Айера — обратно к британскому эмпиризму, из которого он когда-то вырос.

В обоих случаях развитие связано с отказом от концепции эмпирического знания как абсолютно надежного и неподверженного ошибкам — и, в определенной форме, с возвратом к поиску абсолютно достоверного базиса науки в духе Декарта или Гуссерля.

6.4 Физикалистская метафизика Д.М.Армстронга

"Текст австралийского философа Дэвида Армстронга, — писал А.Ф.Грязнов, — ... в нем изложена точка зрения «научного материализма» на проблему сознания и психических процессов. Это течение, возникшее в рамках аналитической философии в 60-е гг., до сих пор имеет значительное число сторонников и последователей. В последнее время для обоснования своей позиции они привлекают данные моделирования психических процессов с помощью компьютеров. В изложении Армстронга тезис о тождестве ментального и физического представлен с наибольшей прямотой и определенностью. И хотя автор аргументирует, используя конкретные результаты современной науки, его рассуждения вписываются в контекст одной из самых древних и фундаментальных проблем философии — так называемой психофизической (психофизиологической) проблемы."[11]

Армстронг задает вопрос: «Каковы могут быть возражения по поводу отождествления ментальных состояний с физико-химическими состояниями центральной нервной системы?» По его мнению, ментальные состояния являются такими состояниями человека, которые определяются единственно в терминах каузальных отношений объектов или ситуаций, вызывающих данные состояния, с физическим поведением, которое конституирует их «выражение», подобно тому как гены определяются исключительно в терминах своих каузальных отношений к наследственным характеристикам, которые можно считать «выражением» генов. Существуют надежные теоретические (как противостоящие наблюдаемым)

[11] Аналитическая философия: Избранные тексты. Сост., вступ. статья и примечания А.Ф.Грязнова. М., Изд-во МГУ, 1993. С.9.

свидетельства в пользу отождествления генов с молекулами ДНК в ядре живой клетки. Не следует ли поэтому считать настолько же очевидным и отождествление ментальных явлений с физико-химическими состояниями центральной нервной системы?

Отвержение этого тезиса может проводиться прежде всего по следующему основанию. Отождествление может отвергаться, если считается, что одних только знаний о физико-химических процессах в центральной нервной системе недостаточно для объяснения всего разнообразия человеческого поведения — такого, как интеллектуальная деятельность и художественное творчество. Противник материализма, по мнению Армстронга, может занимать либо более слабую, либо более сильную позицию. Во-первых, он будет настаивать на том, что для *любого* физического механизма эмпирически невозможно произвести подобные феномены. Во-вторых, он может допустить возможность физического механизма, производящего подобные феномены, но будет утверждать, что человеческое тело его не содержит. Лучшим контраргументом Армстронг считает здесь изобретение и создание машин, способных копировать все больше человеческих действий, включая решение проблем, принятие решений и, в перспективе, способность к творчеству. И если «барьер изобретательности» будет преодолен, то необоснованно настаивать на существовании проявлений сознания, выходящих за пределы возможности машин.

Допуская, видимо, уязвимость подобного радикального техницизма, Армстронг выдвигает (считая ее, возможно, наиболее интересной) возможность компромисса между физико-химическим материализмом и атрибутивной теорией сознания. Можно считать, что все разнообразие человеческого поведения имеет своей причиной физические процессы в центральной нервной системе, однако вместе с тем полагать, что по крайней мере некоторые из этих процессов не могут быть объяснены в терминах физики или химии. Это, с такой точки зрения, не противоречит друг другу. Иными словами, определенные процессы в центральной нервной системе осуществляются в соответствии *с эмерджентными законами*, которые даже в принципе не могут быть дедуцированы из законов физики и химии. В результате получается, что поведение вообще не порождается в соответствии с чисто физико-химическими принципами. Такая точка зрения будет все же материалистической, .поскольку она не требует существования каких-либо эмерджентных качеств или эмерджентной субстанции, но такой материализм не может быть физико-химическим материализмом.

Наиболее естественная гипотеза в этом случае будет заключаться в том, что эмерджентные законы есть нечто присущее всем физическим системам, достигшим определенной степени сложности. Однако следует избегать необоснованного соотнесения эмерджентных законов с высокой степенью сложности, присущей только биологическим системам, поскольку можно надеяться на создание машины, таким же образом действующей в соответствии с этими законами, каким это происходит в центральной нервной системе.

Если кто-либо принял подобную гипотезу, то он будет с большим вниманием относиться к идее эмерджентных законов. Ему следует ожидать, что все биологические системы, включающие в себя намного более сложные взаимоотношения компонентов, чем обычные физические системы, функционируют в соответствии с законами, которые превосходят принципы физики и химии. Тогда будет казаться необоснованным свойством системы

законов то, что физико-химические законы применяются ко всем уровням организации материи, а переход к эмерджентным законам происходит только при эмерджентности самого сознания.

Влияние физикализма и материализма на философию сознания не ограничивается, разумеется, учением Армстронга; мы будем неоднократно возвращаться к этой теме в главе 12. Однако это еще одно прямое свидетельство того, как аналитическая техника может быть применена к классической метафизической проблематике.

"Мы должны отметить, — пишет Армстронг, — что если даже изложенная в этой книге[12] концепция сознания и верна, то физикалистская философия как таковая еще не завершилась, а только началась. Прояснение проблемы сознания только ставит нас лицом к лицу с более глубокими проблемами. Такие понятия, как субстанция, причина, закон, пространство и время, остаются даже более темными после того, как мы дали объяснение пространственным и временным феноменам сознания в терминах этих понятий. Физикалистская теория сознания — только пролегомены к физикалистской метафизике. Такая метафизика, как и теория сознания, будет, без сомнения, совместным результатом научных исследований и философской рефлексии."[13]

6.5 "Реализм с человеческим лицом" Х.Патнэма

В предисловии к русскому изданию сборника классических статей Патнэма Л.Б.Макеева пишет: "Непосредственно проблеме реализма[14] посвящена одна статья в настоящем сборнике — «Философия логики», однако важное значение для понимания позиции Патнэма в этом вопросе имеют его работы «Как нельзя говорить о значении» (1965) и «Значение "значения"» (1975). Это связано с тем, что в целом подход Патнэма к обоснованию реализма можно назвать логико-семантическим, поскольку в нем превалирующее значение имеет анализ референциального значения различных видов языковых выражений, то есть объективное существование разного рода объектов и сущностей обосновывается через призму отношения знака к обозначаемому. Все эти статьи написаны в период, когда Патнэм был убежденным сторонником научного реализма. Однако в последующем Патнэм не только отказался от этой позиции, но и стал одним из наиболее активных и серьезных ее критиков. Впрочем, это не означало его

[12] Armstrong D.M. Materialist Theory of the Mind. L., 1968.

[13] Аналитическая философия: Избранные тексты. Сост., вступ. статья и примечания А.Ф.Грязнова. С.131.

[14] Как многие аналогичные термины, реализм в философии охватывает целый спектр проблем и связанных с ними позиций. В наиболее общей формулировке он означает признание существующей вне сознания и независимой от него реальности. Однако в зависимости от того, о реальности каких сущностей идет речь и в каком ракурсе рассматривается отношение между сознанием и внешним миром, реализм дробится на множество различных, хотя и связанных друг с другом, проблем. Реализм является проблемой метафизики, если он касается онтологического статуса таких сущностей как универсалии, объекты, постулируемые научными теориями, предметы окружающего нас мира. Проблема реализма обретает гносеологический характер, когда она рассматривается в контексте обоснования возможности достоверного знания. Будучи связанным с вопросом об истинности предложений нашего языка, реализм образует важную тему в философии языка. Если же независимое существование внешних объектов анализируется под углом зрения их «включенности» в наш опыт, то реализм выступает как ключевая проблема философии восприятия и сознания.

перехода в лагерь противников реализма. Отказ от научного реализма,. вызванный тем, что в рамках этой позиции не удалось найти приемлемого решения ряду важных проблем (например, возможности эмпирически эквивалентных, но логически несовместимых теорий и т. д.), ознаменовал начало поиска более адекватной позиции, которая, с одной стороны, сохраняла бы наши реалистические интуиции, а с другой, учитывала бы современный уровень философского осмысления ключевых проблем человеческого бытия и познания. О том, насколько труден этот поиск и насколько последователен Патнэм в своей решимости «провести корабль реализма» между «Сциллой» догматизма и «Харибдой» релятивизма, говорит то многообразие концепций, которые он выдвигал и отстаивал в разные периоды своего творчества: «научный реализм», «внутренний реализм», «реализм с маленькой буквы», «естественаучный реализм» и т. д. Это многообразие выдвигаемых Патнэмом концепций реализма не следует воспринимать как неумение твердо держаться философских убеждений. Сегодня, как и в начале своего творчества, Патнэм убежден в правильности реализма, но сегодня он, безусловно, иначе понимает и саму проблему реализма, и пути ее решения. Сегодня, как и тогда, Патнэм не сомневается, что правильное решение проблемы реализма лежит не на одном из полюсов «объективное-субъективное», «догматизм-релятивизм», а между ними. Но как проложить этот «средний путь», как вырваться из оков указанных дихотомий — подходы к решению этих вопросов, бесспорно, получают разную трактовку в разные периоды творчества Патнэма." [15]

Со всем этим трудно — да, наверное, и не нужно — спорить. Гораздо важнее подчеркнуть те регулятивы и интенции, которыми обусловлен подобный концептуальный дрейф, и что же остается при этом неизменным общим знаменателем? В чем глубинная суть реализма Патнэма — аналитика и неопрагматиста?

Патнэм характеризует метафизический реализм как позицию, согласно которой существует одно и только одно истинное и полное описание мира, где мир — это полная и фиксированная совокупность независимых от сознания объектов, а истина — это корреспонденция (соответствие) между утверждениями и вещами (с "точки зрения Бога"). Что же создает связь между утверждениями и вещами? Согласно многим современным реалистам, причинные связи — это такие связи, когда мои мысли о столах вызваны реальными столами и т.п., то есть основанные на адекватной корреспонденции. Возражение Патнэма заключается в том, что это далеко не всегда так — например, мои мысли об электронах вызваны учебниками, но они не являются мыслями об учебниках. Реалист ответит, что мы должны иметь *правильный* вид каузальной цепи. И вот здесь Патнэм с помощью своей теории референции ловит реалистов на циркулярности: мы не будем знать, что данный вид каузальной цепи правилен до тех пор, пока мы не знаем, на что указывают наши слова — а именно это мы и намереваемся установить.

Альтернативная точка зрения, ассоциирующаяся в разных аспектах с антиреализмом, верификационизмом, когерентизмом, прагматизмом, исходит из того, что вопрос "Какие объекты имеются в наличии?" имеет смысл только в пределах соответствующей концептуальной схемы. Здесь, вообще говоря, еще нет ничего неожиданного по сравнению с непосредственными предшественниками Патнэма. Однако из требования, согласно которому наша точка зрения всегда

[15] Патнэм Х. Философия сознания. М., ДИК, 1999. С.9-10.

интегрирована в некоторую концептуальную схему, Патнэм делает вывод о том, что истина — это "идеализированная рациональная приемлемость". Основную авторскую нагрузку здесь получает слово *идеализированная*: истинным является не просто то, что было бы рационально принять, исходя из нашей нынешней концептуальной схемы, но то, что мы примем "при эпистемически идеальных условиях" (например, 3000 лет назад теория о том, что Земля плоская, была рационально приемлема, но не истинна). Такая позиция в целом остается в рамках характерного для прагматизма фаллибилизма — восходящего к Пирсу и подхваченному поздним Айером взгляда, согласно которому не существует окончательных верификаторов; нет никаких утверждений, которые не могли бы быть пересмотрены в свете нового опыта. Однако Патнэм предлагает некоторые точки опоры внутри этой бесконечной цепи обоснования нашего знания, обозначает некоторый надежный горизонт — и это горизонт рациональной приемлемости.

Такая трактовка призвана прояснить само понятие рациональности. Важнейшее требование Патнэма состоит в том, что обе наиболее влиятельных концепции рациональности в философии двадцатого столетия неудовлетворительны; фактически, обе опровергают сами себя.

Первая из них — это концепция логического позитивизма, согласно которой утверждения имеют значение лишь в том случае, если они поддаются проверке, и существует установленная процедура для подтверждения (проверки) всех значимых предложений. Эта процедура (множество процедур) — чистый логический анализ для утверждений, истинных в силу содержащихся в них символов, плюс эмпирическая проверка в терминах (референциального) содержания для утверждений, заключающих о мире вокруг нас. Рациональность — это не что иное, как соответствие этой установленной процедуре; если мы утверждаем вещи, которые не являются ни аналитическими утверждениями, истинными в силу правил для символов, ни эмпирическими утверждениями, истинными в силу своего референциального содержания, то мы иррациональны. Самоопровержение этой позиции, по мысли Патнэма, состоит в том, что защита самой процедуры не может считаться рациональной: процедура не является истинной в силу содержащихся в ней символов, и при этом она и не истинна в силу некоторого референциального содержания.

Реакцией против позитивизма Патнэм считает релятивизм (куда он относит как Куна и Фейерабенда, так и Фуко и других континентальных философов). Согласно этой позиции, нет никакой установленной формулы или установленной процедуры; что считать 'рациональным', может быть установлено каждой культурой (или субкультурой) различным способом. Релятивисты исходят из того, что культурные факторы имеют огромное значение даже в науке и что научные теории зачастую принимаются или отклоняются по причинам политики и финансирования, а не только по причинам чистой проверки в духе позитивизма. Поэтому заключение релятивизма состоит в том, что различные культуры имеют различные стандарты или 'парадигмы' рациональности; мы можем оценивать то или иное требование только относительно данной культуры (так, в некоторых культурах рациональны некоторые требования об электронах, а в других культурах рациональны некоторые требования о привидениях, и так далее), и мы не всегда можем перевести наши требования из одной культурной схемы в другую — культурные схемы 'несоизмеримы'. Самоопровержение релятивизма (который

он называет "ментальным самоубийством") Патнэм видит в следующем: формула о том, что является истинным во всех культурах и субкультурах, сама по себе является видом универсального и кросскультурного утверждения, которые релятивисты считают нелегитимными.

Итак, Патнэм старается уйти от эпистемологических крайностей как фундаментализма, так и релятивизма. Однако в глазах фундаменталиста он, несомненно, оказывается релятивистом, так как отрицает наличие и самое возможность *предельного* основания знания — скорее он выдвигает требование *достаточного* основания. Для релятивиста же на этом уровне будет не очень внятен предъявляемый упрек: релятвизм может вообще не апеллировать к допущению о наличии объемлющей, единой эпистемологии. Патнэм же не может — в отличие, например, от того же Фуко — не мыслить в присутствии возможности такого допущения. Мы могли бы сказать, что здесь сама попытка снять глобальное эпистемологическое противоречие, выйти из очерченной им плоскости оказывается важнее результата этой попытки с ее не вполне убедительной концепцией "идеализации". Патнэма, очевидно, не устраивает такое положение, и он предпринимает еще более решительный шаг.

До "Разума, истины и истории"[16] в анализе рациональности, как и в анализе реализма, Патнэм применяет даже не постаналитическую, а скорее ортодоксальную аналитическую технику, апеллируя практически исключительно к системам аргументации. В самом деле, до сих пор его протест против абсолютистской концепции трансцендентной истинности или окончательного, предельного основания для наших убеждений до некоторой степени напоминает тезис Куайна об онтологической относительности или критику Дональдом Дэвидсоном различения концептуальной схемы и ее содержания. Но, в отличие от Куайна или Дэвидсона, Патнэм расширяет этот подход на моральную и политическую сферу, доказывая, что крах абсолютистской перспективы в эпистемологии и метафизике делает возможным подтвердить истинностную релевантность морального, политического и других видов управляемого нормами дискурса.

Ход Патнэма состоит здесь в том, чтобы привести доводы против принятой дихотомии между фактическими утверждениями и ценностными суждениями и усмотреть такую позицию, откуда это различение снимается — сохранив, таким образом, единство корпуса человеческого знания. Фактически это возврат на новом уровне к той хорошо известной в истории философии традиции — от Платона до Гегеля, — которая проводила отождествление онтологической и аксиологической проблематики и изначально наделяла бытие ценностным измерением. Разрыв с этой традицией происходит относительно недавно, когда неокантианцы фрайбургской школы разрабатывают учение о ценностно-нормативном компоненте чистого сознания, выявляемом трансцендентальной рефлексией, и уже у Хайдеггера онтологический анализ оборачивается отвержением аксиологической проблематики. Аргумент здесь примерно таков: если допустить, что бытие (и производные от него образования) само по себе ценностно нейтрально, то тогда требует решения вопрос, каким образом возникает видение вещей с точки зрения их аксиологической значимости, которое пронизывает культуру и которое невозможно отрицать. Отсюда берет свое начало линия поиска истоков ценностного сознания в самом человеке и его

[16] Патнэм Х. Разум, истина, история. Перевод М.В.Лебедева и Т.А.Дмитриева. «Праксис», 2002.

культуросозидающей деятельности, чрезвычайно характерная для европейской философии XX века.

Позиция Патнэма направлена не на отрицание, но на переосмысление этой тенденции. Его возврат к традиции на новом уровне проводится по иному основанию, нежели в светлые времена схоластики, поскольку исходит из критики реализма, и исходным для него оказывается тезис о том, что "каждый факт нагружен ценностью, и каждая из наших ценностей нагружает некоторый факт". Ф*акт* (или истина) и *рациональность* оказываются взаимозависимыми понятиями.

Патнэм стремится доказать, что даже обычные фактические утверждения (например, "вода состоит из водорода и кислорода") вовлекают некоторые ценностные обязательства, и что оценочные суждения имеют некоторых из особенностей, обычно связываемых с фактическими утверждениями (в частности, оценочные суждения могут быть объективны). Если мы отвергаем метафизический реализм, то неверна картина, согласно которой мы "считываем" факты с мира и измеряем, насколько хорошо наши утверждения соответствуют этим независимым от сознания фактам. Природа процесса познания совершенно иная: мы создаем систему понятий и стандартов, которые будут наилучшим образом соответствовать миру по нашим когнитивным способностям, и оцениваем, что является истинным в соответствии с этими понятиями и стандартами. А если понятия истины или объективности не определены в терминах некоторого отношения к независимым от сознания объектам, но скорее связаны с нашими методами оценки и выбора, то нет препятствий к тому, чтобы рассматривать моральные и политические требования как самостоятельно объективные и истинные.

Для аналитических философов предшествующего периода характерным считалось отношение к этике, политической и социальной философии и т.п. как к расплывчатым и неясным областям, где изобилуют догадки и спекуляции, но нет четких аргументов, с логической необходимостью ведущих к ясно артикулированным результатам, обладающим истинностным значением. Преодолевая (хотя, разумеется, не первым) эту ограниченность, Патнэм не отрицает различия между науками и такими предметами как этика или политика, но указывает, что абсолютное различие между ними по критериям требований истины и объективности не является надежным; *исторически* больше не может рассматриваться как надежное. Сами точные науки также нормативны: заключения о том, какие какие теории принимать, или даже о том, какие вопросы ставить, делаются учеными под влиянием ценностей и систем убеждений, и это не приципиальным образом отличается от того, как это происходит в моральном и политическом дискурсе. Впоследствии эта позиция привела Патнэма к теории "идеальной коммуникации" Юргена Хабермаса, акцентирующей общественный характер ценностей, как к способу показать, каким образом моральная объективность могла бы быть достигнута в современном обществе, которое является, по общему признанию, субъективистским по характеру; как к способу *согласовать между собой философию языка, эпистемологию и социальную теорию* — задача, вряд ли решенная Хабермасом или Патнэмом, но, безусловно, представляющая собой передний край современной философии, и их заслуги в ее постановке трудно переоценить.

Итак, "сверхзадача" Патнэма здесь состояла в том, чтобы разрушить ту власть, которую естествознание обрело над философской мыслью в XX столетии ("появление в культуре философской тенденции, которая была загипнотизирована

успехом науки до такой степени, что не могла представить возможности знания и разума вне того, что нам нравится называть наукой — это такой феномен, которого следовало ожидать, учитывая чрезвычайно высокий престиж науки в культуре в целом и учитывая снижающийся престиж религии, абсолютистской этики и трансцендентальной метафизики"). Хотя Патнэм не враждебен науке, он отклоняет отождествление рационального мышления с научным мышлением и отклоняет идею о том, что наука дает *единственное* истинное описание действительности.

В статье "Три вида научного реализма", вошедшей в книгу "Слова и жизнь"[17], Патнэм различает три вида (или, скорее, три группы видов) реализма.

1. Научный реализм как материализм

Патнэм признается, что не может следовать за такими физикалистами, как Хартри Филд, кто согласился бы, что "интенциональные" или семантические свойства (например, референция) могут быть сведены к физическим. Более того, он вообще не может согласиться, что *все* свойства являются физическими. Патнэм обсуждает сложные проблемы семантического физикализма, поднятые Джоном Ходжландом, МакКи, Голдманом, но не отступается от своей позиции,которую в таком случчае следует охарактеризовать скорее как дуалистическую или плюралистскую.

Истина, референция, обоснование — все это несводимые друг к другу свойства *на стадии становления* терминов и утверждений в некоторых контекстах (этим Патнэм, конечно, не подразумевает, что они таковыми и остаются. Дуализм Патнэма — это не дуализм ума и тела, а физических свойств и интенциональных свойств. Это даже не дает интересной метафизики: кому нужен *такой* вид дуализма? Но, как видел Кант, мы связаны только с тем видом дуализма, которого мы никогда не хотели - "дуализма в нашем опыте", в противоположность опыту двойственных, отличных друг от субстанций.

2. Научный реализм как метафизика

Здесь Патнэм ставит следующий мысленный эксперимент: рассмотрим двух философов, один из которых, Джонс, утверждает, что *действительно есть такие вещи как пространственные точки*, в то время как другой, Смит, утверждает, что *есть произвольно маленькие конечные области*, но *не точки* (за исключением логческих построений).Кто из них прав?

"Научный реалист", отвечающий, что должны существовать "реальные" (непостроенные) пространственные точки, является "метафизическим" реалистом. Он претендует на понятие истины, которая (в ньютонианском мире, в котором все частицы обладают протяженностью) полностью превышает то, что люди могут знать. Эти две теории — физика Джонса (нередуцируемые точки) и физика Смита (сконструированные точки) — являются математически и опытно эквивалентыми. Если истина представляет собой корректную утверждаемость на том языке, который мы в действительности используем, тогда и описание Джонса, и описание Смита "истинны — откуда не следует, что они могут быть *соединены*. Никакой аргумент от "конвергенции" или "успеха науки" не может обосновать (или просто придать смысл) понятию истины, которая выходит за пределы корректной утверждаемости, которыой обладают версии и Джонса, и Смита.

[17] Putnam H. 'Three Kinds of Scientific Realism' — Words & Life. Cambridge University Press, 1995.

Вопросы здесь таковы:

(a) *Действительно* ли существует различие между этими теориями?

(b) *Действительно* ли существует абсолютное пространство (ощущение "того же места в разное время"), как того требует теория Джонса?

(c) *Действительно* ли существует гравитационная сила, как того требует теория Джонса?

Если "научный реалист" отвечает "да" на (a) (так, чтобы вопросы (b) и (c) имели независимые ответы), то он снова оказывается перед трудностями "метафизического" реализма. Поэтому Патнэм не считает себя "метафизическим" реалистом — истина столь же множественна, неопределенна, открыта, как и *мы сами*.

3. Научный реализм как конвергенция

Иногда такие теоретики, как Лакатош или Дэвид Льюис, говорят, что теории-преемники указывают на те же самые объекты, что и теории-их предшественники (особенно если основные предположения сохранены и в более поздней теории. Но если различие между тем, что в философии науки называется "ядром" и "защитным поясом" *не проведено с точки зрения более поздней теории*, то вряд ли эти основные предположения сохранятся.

Другие мыслители считают, что *никакой* смысл не может быть придан идее, чьи термины в несовместимых теориях указывают на одни и те же самые объекты. Такие неопозитивистские подходы платят высокую цену за свое "теоретико-множественное" объяснение теорий. Почти все философы были согласны в том, что наука придерживается *идеала сходящегося знания. Идеальный предел запроса* Ч.С.Пирса, *рост знания* Поппера и *регулятивный идеал согласия* К.-О.Апеля — выражения той же самой темы. Отказ от идеи, что мы можем когда-либо достичь устойчивого описания, от идеи, что мы можем принять идеал такого описания даже как всего лишь один среди других регулятивов, должен отказаться от очень центральной части научной части перспективы-а, которая сообщает научной методологии в хозяине путей.

Нео позитивистские мыслители, на которых ссылается, ответили бы, что они не отказываются от идеала прироста знания; они просто ограничивают его тем, что может быть заявлено на их языке: язык наблюдения *плюс* теория множества. Но точно та же проблема возникает и на уровне языка наблюдения.

Почему мы должны говорить, что термин "трава" указывает на ту же сущность, что и сотню лет назад? Если вы отвечаете, что термин "трава" синонимичен с выражением "растение определенного вида", и этот семантический факт не изменился за сто лет, то вы делаете две ошибки:

(1) "трава" — не аналитически определимое слово; естественно-видовые термины не имеют аналитических определений; и

(2) само слово "растение" связано сегодня совсем с другим телом, представления о котором существовали сто лет назад (сегодня они предполагают фотосинтез, возможность одноклеточных растений, и так далее).

Патнэм считает необходимым в таких случаях принятие принципа доверия (то есть принципа, согласно которому мы *должны* часто идентифицировать референты терминов в различных теориях, таким образом, чтобы не приписывать слишком много ложных или неблагоразумных убеждений тем, кого мы интерпретируем). Принятие этого принципа, однако, несовместимо с принятием "теоретически-множественного" подхода к теориям. Ведь если бы термин "электрон" сохранял свою референцию сквозь изменения теорий, то предложение "Через этот провод текут электроны" могло бы быть *правильным* ответом на соответствующий запрос *без* того, чтобы представлять собой истинное соответствие "эмпирическому требованию" современной теории. Нет никакой алгоритмической эквивалентности между истинностью конкретного утверждения на языке теории и истинностью предсказаний теории. Поиск таких алгоритмических связей, с точки зрения Патнэма — пережиток логического позитивизма, с которым самое время проститься.

7. Неопрагматистская критика эмпиризма и холистический тезис

7.1 Прагматический анализ

Здесь мы рассмотрим взгляды тех философов, которые, в соответствии с традицией, в основном придерживаются эмпиристской ориентации и интересуются прежде всего философской интерпретацией научного исследования. Однако, в отличие от рассматривавшихся ранее их единомышленников-аналитиков, они отвергают резкую дихотомию аналитических и синтетических высказываний и утверждают, что между предельными случаями аналитического и синтетического лежит континуум высказываний, имеющих прагматическую направленность. Никто из них не разделяет взглядов ни физикализма, ни феноменализма, и каждый стремится выбирать свою языковую базу в соответствии с характером исследуемой проблемы и рассматривать научное знание не как буквальное описание, а как практическое руководство. Рассматриваемые ниже взгляды У.В.О.Куайна, Н.Гудмена и других в большинстве основных вопросов такого рода по существу совпадают.

Под влиянием работ прагматических аналитиков, несмотря на относительно ограниченную сферу их приложения, началась значительная перестройка современной эпистемологической мысли; это явилось следствием критики прагматическими аналитиками прочно утвердившихся эмпиристских доктрин, равно как и результатом их собственных конструктивных идей. К таким результатам привело наличие трех основных моментов в их работах:

- попытка исключить абстрактные объекты,
- отрицание дихотомии аналитического и синтетического
- и прагматический подход к подтверждению предполагаемых знаний.

Хотя другие философы и пытались избавиться от абстрактных объектов, никто не делал этого с такой доскональностью и логической проницательностью, как некоторые из прагматиков-аналитиков, особенно Куайн. Основания, побудившие прагматиков-аналитиков предпринять эту попытку, которую мы рассмотрим в ее общей форме как попытку избавиться от универсалий, заключаются — помимо того, что Гудмен так странно для многих называл «философской совестью» — в следующем. Принятие значений как универсалий опирается на ложное допущение, что каждое слово служит названием некоторого значения и что понять термин — значит постичь его значение. Термин «существовать», с такой точки зрения, имеет только один смысл, который исключает существование универсалий, а утверждение о существовании универсалий, приводит ко всевозможным затруднениям, связанным с вопросами об их размерах, формах, положении и т.п.. Все, что выражается предложениями, использующими универсальные термины в качестве своих субъектов, можно лучше выразить предложениями, в которых такие термины являются предикатами. На самом же деле желательно, чтобы из рассуждений, подвергающихся очищению, были устранены не только универсальные термины, но и все единичные термины. Такова, в двух словах, суть "конструктивистского номинализма" Куайна — Гудмена.

Многое из вышесказанного еще недостаточно осознается другими философами. Относительно многих терминов, с которыми обычно связываются понятия универсалий, например относительно прилагательных или глаголов, даже не предполагается, что они что-то называют, и утверждение, что они имеют денотаты, может ввести в заблуждение. Если соответствующие им существительные, напр. «храбрость» или «высота», называют нечто, то характер такого называния, конечно, сильно отличается от называния индивидов собственными именами. Говорить, что понимание предложения требует интуитивного постижения универсалии как его значения, значит уходить далеко в сторону от того, что обычно требуется для понимания предложения — причем, возможно, в неверном направлении. Конечно, говорить, что универсалии существуют наряду с другими предметами или что они влияют на определение направлений событий — значит допускать совершенно очевидную категориальную ошибку. Кроме того, для предложений, имеющих универсалии своими субъектами, часто можно найти приближенные эквиваленты, в которых то, что было выражено в субъекте, содержится в предикате. Например, «этот дом красный» приближенно выражает значение «красное является цветом этого дома».

Тем не менее продолжают заслуживать внимания некоторые соображения в пользу того, что полное исключение универсалий нецелесообразно и, может быть, даже невозможно. Некоторые из них таковы. Прежде всего, мы продолжаем использовать множество абстрактных терминов в форме имен существительных и непосредственно на местах субъектов в предложениях; и, конечно, наши язык и мышление были бы серьезно обеднены, если бы этот обычай был запрещен. Даже если бы мы могли перефразировать все предложения, где это имеет место, таким образом, чтобы универсальные термины встречались только в предикатах, то все рано оставался бы вопрос: почему мы все же имеем обыкновение пользоваться этой будто бы неправильной формой выражения. Кроме того, на самом деле в перефразированных предложениях редко удается (если вообще удается) выразить в точности то, что выражено в первоначальных предложениях, использующих в качестве своих субъектов универсалии. Даже когда сделаны более или менее успешные переводы, остаются вопросы относительно предикатов, предполагающих универсалии. Но вдобавок к тому, что мы упорно продолжаем говорить на языке универсалий, этот язык, по-видимому, нужен нам для других, и довольно различных важных целей.

- Во-первых, нам нужно говорить о свойствах, которыми предметы обладают или которые мы им приписываем, когда что-то о них говорим, и большинству людей показалось бы абсурдным отрицать существование таких свойств.
- Во-вторых, нам нужно говорить об *отношении свойств друг к другу* — например, когда мы говорим, что красное есть цвет или что храбрость есть достоинство.

Поэтому можно предположить, что здесь требуется некоторого рода компромисс. Действительно, можно допускать большинство возражений прагматиков-аналитиков против традиционной трактовки универсалий и даже настаивать на них, при этом не отрицая универсалий радикально. Это говорит о разумности процедуры, применяемой в этой связи некоторыми сторонниками анализа обыденного языка, которые, не отрицая языка универсалий, стремятся выяснить, как этот язык в действительности используется, и, отказываясь от ненужных сущностей, тем не менее приписывают универсалиям именно тот вид

существования и именно те функции, которые им приписывает наш обычный образ мыслей. Это, вероятно, должно означать, что следует отрицать наличие предметов, каузальных сил или поддающихся наименованию объектов, называемых универсалиями. Но это также должно означать, что

- предметы обладают свойствами,
- что эти свойства находятся в определенных отношениях друг к другу и могут быть нами познаны,
- что имеется множество возможностей, связанных друг с другом самыми различными способами и иногда реализующихся, а иногда нет,
- и что многие из этих возможностей — даже те, которые никогда не будут реализованы, — могут быть нами познаны.

Такая трактовка универсалий не дает ответа на два возражения, выдвинутых прагматиками-аналитиками, а именно:

- что единственный смысл слова «существовать» исключает существование универсалий
- и что все единичные термины, включающие абстрактные, лучше всего устранить.

Но настаивать на единственном смысле слова «существовать», с представляемой точки зрения, неверно с самого начала. Смысл слова «существовать», в котором существует нация, не тот же самый, в котором существуют ее граждане; а смысл, в котором существует радуга, не тот, в котором существуют образующие ее капли воды. Вещи и решения математических проблем существуют не в одном и том же смысле; это же относится к вещам и универсалиям. Но неспособность существовать так, как существуют материальные индивиды, не дает оснований для полного отрицания существования наций радуг, математических решений или универсалий. По-видимому, единственное отношение, в котором прагматисты-аналитики настаивают на единственном смысле слова «существовать», если не считать связи этого вопроса с проблемой универсалий, заключается в том, что множественность смыслов этого термина несовместима с успешным функционированием стандартной системы символической логики, в которой квантор существования играет кардинальную роль. Но при всей силе этого аргумента для логиков он не очень убедителен для простых людей или для большинства философов. И естественно предполагать, что формальные системы должны приспосабливаться к тому, что мы думаем и говорим, *а не наоборот*. Это, казалось бы, тривиальное замечание послужило причиной многих прискорбных недоразумений и даже трагических столкновений в истории философии.

С этой позицией связан важнейший этап в развитии АФ и эпистемологии в целом — выступление прагматиков-аналитиков против дихотомии аналитического и синтетического. Их аргументы в основном заключаются в следующем. Понятие аналитичности включает подстановку синонимов в логические истины и не может быть экстенсионально определено без ссылки на понятие синонимии (прямой или косвенной, через такие понятия, как внутренняя противоречивость и определение), а понятие синонимии экстенсионально не определимо. Такие интенсиональные понятия, как значение и возможность, слишком неясны, чтобы чем-нибудь помочь. Ссылка на фактическое употребление оставляет под сомнением необходимость, а понятие необходимости само зависит от

аналитичности.

Не приходится сомневаться в том, что упорство прагматиков-аналитиков в подобных сомнениях оказало значительную услугу современной философии, требуя перепроверки всей концепции дихотомии аналитического и синтетического. Эта дихотомия в свое время была принята в новейшей философии (особенно в Венском кружке) с такой готовностью и легкостью, что как теоретические трудности, связанные с ее принятием, так и практические проблемы, вытекающие из очевидной невозможности ее последовательного проведения, было очень легко проглядеть. Однако аналитики-прагматисты утверждают, что нельзя провести резкой границы между аналитическими и синтетическими предложениями, и приводят убедительную аргументацию в поддержку этой точки зраения — ведущую в итоге к холизму. Вполне возможно, что огромное большинство составляют те предложения, которые нельзя определить в терминах такой дихотомии, а может быть, вообще нет предложений, полностью определимых в этих терминах. Даже если речь идет о высказываниях, а не о предложениях, то все равно возможно, что многие из них не укладываются в рамки такой дистинкции.

Итак, даже если подходить с экстенсиональной точки зрения и говорить в терминах логических истин и замены одних синонимов другими, возможность обнаружить признаки синонимии, являющиеся если и не определяющими, то хотя бы иллюстрирующими идентичность едва ли полностью исследована (преимущественно на этом обычно основывается критика холизма — например, данная Фодором и ЛеПором[1]).

Однако не следует ограничиваться экстенсиональным определением аналитичности как замены в логических истинах одних синонимов другими. Можно, например, описывать аналитичность, обращаясь к языковому поведению, то есть принятию и отказу от определенных типов предложений, не использующему понятие синонимии вообще. Такой подход не обязательно связан со ссылками на наблюдения неязыковых фактов. С учетом физических, социальных, поведенческих и лингвистических контекстов его шансы на успех существенно возрастают, так как хорошо известно, то сами по себе предложения склонны менять свои значения при употреблении в различных ситуациях. По-видимому, многого могли бы достичь те философы, которые стремятся выяснить, в каких контекстах различные виды выражений следует рассматривать как истинные или ложные безотносительно к подтверждающим или опровергающим наблюдениям. Такое исследование не обязательно должно отличаться той неопределенностью ("неопределенностью перевода" Куайна или "неопределенностью интерпретации" Дэвидсона), которую прагматики-аналитики склонны приписывать исследованиям этого рода.

Но обсуждение аналитичности не обязано ограничиваться уровнями экстенсиональной замены синонимов и языкового поведения. Различие между аналитическим и синтетическим уже было проведено с некоторым успехом в интенсиональных терминах, и понятие значения, которое так сильно критиковали Куайн, Гудмен и Мортон Уайт, обещает гораздо больше, чем они считали. В рамках интенсионалистского направления (К.И.Льюис и другие) разработаны такие интерпретации аналитичности в терминах включений и исключений критериев значения, которые, несмотря на то, что они не укладываются в

[1] Fodor J., LePore E. Holism: A Shopper"s Guide. Ox., 1992.

принятые экстенсиональные схемы, все же далеки от тавтологий и неоднозначностей. Фактически главной функцией экстенсиональной трактовки аналитичности является, по-видимому, объяснение, а не устранение интенсиональной трактовки, а если это так, то разъяснение экспликанда может способствовать, а не мешать разъяснению экспликата. Более того, даже если при том подходе приходится прибегать к мысленным экспериментам, это не должно быть причиной для осуждения первоначального интенсионального подхода к предмету. Частный опыт в конечном счете оказывается, во всяком случае, включенным в наблюдения, а распознавание — в эмпирические верификации. И то, и другое вполне может оказаться включенным также и в основания логических истин, с которых прагматики-аналитики начинают свое обсуждение аналитичности. Возможно даже, что сами логические истины являются лишь частными случаями более широкой области аналитических истин, которые существенно зависят от отношений значений.

Наконец, аналитико-неопрагматистская точка зрения на верификацию заключается в том, что как логические, так и эмпирические предложения должны проверяться не по одному и не на основе фиксированных теоретических соображений, а как части системы в целом (холизм) и в зависимости от целей, для которых системы строятся и используются (неопрагматистский конструктивизм). Такой прагматизм обладает большинством достоинств старого прагматизма, но имеет, кроме того, и свои собственные. Вместе со старым прагматизмом он признает практическую ориентацию познания. Однако, он более последователен, чем старый прагматизм, поскольку берет на себя ответственность за применение прагматических критериев ко всем аспектам познания и сознательно отказывается от оговорок, встречающихся в некоторых других прагматических системах. Он постоянно настаивает на том, что все предложения должны оставаться открытыми для пересмотра. Его ориентация — в отличие, например, от инструментализма Дьюи, — является более философской и менее ситуационной; это проявляется в том, что он больше занимается выяснением концептуальных схем, чем прагматическим решением частных практических проблем. Его методы более строги и аналитичны, чем методы любой из прежних прагматических концепций. Глубже, чем при любом серьезном неидеалистическом подходе к проблемам верификации, в нем осознается характер внутренних связей значения любого конкретного предложения с системой значений в целом: его холизм боле принципиален и последователен. Он ближе к реальным процедурам научного подтверждения, чем старый прагматизм, и точнее отражает явно выраженную тенденцию ученых проверять свои концептуальные схемы в целом. Действительно, утверждение прагматиков-аналитиков, что каждое предложение принадлежит системе, к которой в целом должны быть применены прагматические критерии, в общем едва ли подлежит сомнению, а в целом ряде его конкретных применений это утверждение максимально (либо единственно) продуктивно.

7.1.1 Неопрагматизм У.Куайна

Хотя Уиллард ван Орман Куайн (1908-2000), профессор Гарвардского университета, на протяжении своей философской деятельности много занимался проблемами аппарата формальной логики, он всегда был внимателен также и к эпистемологическим и онтологическим аспектам логических исследований.

Именно это и привело его к проблеме языкового значения и к переносу акцента с формальных языков на естественные. Что касается его работ по логике как таковой, основными целями Куайна является строгость в логических доказательствах и проверках, унификация и упрощение логических обозначений и устранение ненужных понятий и допущений. Куайн неустанно искал алгоритмические разрешающие процедуры для тех областей логики, которые допускают такие процедуры. Он озабочен отсутствием алгоритмических проверяющих процедур для всех разделов теории квантификации и еще более невозможностью даже полуалгоритмических процедур доказательства для элементарной теории чисел, доказанной Геделем. Однако это до некоторой степени компенсируется тем фактом, что отдельные области математики допускают разрешающие процедуры и что существуют методы, устанавливающие возможность или невозможность доказательств. Поиски Куайном единообразия в логической символике проявились в утверждении, что квантор существования всегда следует интерпретировать одинаково, в его попытках найти разумные способы переформулировки в квантифицируемых терминах модальных высказываний и высказываний, выражающих позицию говорящего, например стремление или уверенность; и еще более существенно в попытке преодолеть сложность символики теории типов Рассела, которую он впервые предпринял в своих «Новых основаниях математической логики», а затем уточнил в «Математической логике». Куайн предложил способы замены свойств, используемых даже в «Principia mathematica» и в работах Карнапа, концептуальными классами. В действительности он предпочел бы пойти еще дальше и построить логику на номиналистской основе, если бы это можно было сделать в достаточно удобной форме. Однако он признает, что чисто номиналистская логика, если она возможна, была бы крайне неудобна и что в важных областях математики нельзя совсем обойтись без понятия класса.

Куайн вполне уверен в способности современных логических методов пролить свет на философские проблемы, причем не только на семантические и логические, но и на традиционные онтологические. Обычный язык, конечно, остается фундаментальным средством окончательного разъяснения, но для целей «творческого аспекта» философского анализа обычному языку недостает той точности и свободы от вводящих в заблуждение предположений, которой можно достигнуть на пути современных методов квантификации. Среди этих философских проблем, которые Куайн рассматривает со своей логической точки зрения, проблемы аналитичности, онтологии и истины.

Проблема аналитичности. Хотя различие между аналитическими и синтетическими высказываниями до недавних пор (а отчасти и по сей день) многими философами-эмпиристами было принято как эпистемологически основное, а на момент его критики Куайном фактически считалось аксиомой, при ближайшем рассмотрении оно оказывается, по мнению Куайна, очень мало обоснованным. Верно, конечно, что такие примеры подстановок в логические законы, как «ни один неженатый человек не женат», можно принять, не обращаясь к конкретным фактам, однако то, что содержится в этом высказывании — скорее логическая истина, чем аналитичность. Главный вопрос связан с теми считающимися аналитическими высказываниями, которые хотя и не являются логическими истинами, но могут быть превращены в них путем замены одних синонимов другими — например, замены "холостяк" на "неженатый человек" в утверждении «Ни один холостяк не женат». Основная трудность заключается в

понятии синонимии, которое нуждается в разъяснении не меньше, чем само понятие аналитичности. Для выяснения понятий синонимии и аналитичности бесполезно обращаться к процедуре определения, так как определение само зависит от синонимии. От взаимозаменяемости *salva veritate* также мало пользы, так как в высказывании «"Холостяк" содержит меньше десяти букв», конечно, нельзя заменить «холостяк» словами «неженатый человек», не изменяя истинностного значения. Возможно, требуемые подстановки можно сделать в случае высказывания «все холостяки и только они необходимо являются неженатыми людьми», но здесь предполагаются понятия познавательной синонимии и аналитичности. Во всяком случае, в экстенсиональном языке, в котором любые два предиката, истинные для одних и тех же объектов, взаимозаменяемы *salva veritate*, такая взаимозаменяемость не является гарантией познавательной синонимии. Нет также никакой гарантии того, что экстенсиональное совпадение терминов «холостяк» и «неженатый человек» основано на значении этих выражений, а не на случайном факте, как это имеет место для экстенсионального совпадения понятий «существо, имеющее сердце» и «существо, имеющее почки». Иногда делаются попытки спасти синонимию и аналитичность, обращаясь к семантическим правилам искусственных языков, но такое обращение рассматривает эти понятия как нередуцируемые и имеет мало ценности с точки зрения действительного языкового поведения.

Часто делались попытки определить аналитическое высказывание в терминах верификационной теории значения как высказывание, которое «подтверждается чем угодно». И эта точка зрения выглядит правдоподобно, поскольку истинность высказываний зависит, по-видимому, от различимых языковых и неязыковых компонентов. Но известно, что полное подтверждение любого индивидуального высказывания невозможно, и «бессмысленно и является корнем многих бессмыслиц говорить о языковом и фактическом компонентах истинности какого-либо индивидуального высказывания».

Проблема онтологии. По мнению Куайна, предварительным условием плодотворного обсуждения вопроса о том, что существует, или даже о том, как установить, что существует, является выяснение того, каким образом люди приходят к утверждению существования чего-либо. Философы часто предполагают, что употребление единичных терминов уже равносильно утверждению о существовании того, что названо этими терминами. Так, например, когда кто-то говорит о Джоне или льве, или же о Пегасе, считается, что он предполагает существование того, о чем говорит. Таким образом, можно утверждать, что в высказываниях типа «Пегас не существует» скрыта по меньшей мере идея Пегаса как имеющего если не реальное существование (existence), то хотя бы идеальное существование (essence). Но дело в том, что речь идет не о существовании, а о принятии идеальных сущностей (essence), которое ведет к различного рода затруднительным вопросам об их размерах, положении, сходстве и т. д. Можно, конечно, все же утверждать, что Пегас существует по меньшей мере в значении, но, хотя и приходится иногда говорить о значимости (осмысленности) или о сходстве значений, из этого ничего не следует относительно «промежуточных сущностей, именуемых значениями». Путаницы, возникающей при употреблении единичных терминов, для которых нельзя обнаружить соответствующей реальности, можно по большей части избежать с помощью Расселовой теории дескрипций, которая сначала переводит предложения, содержащие собственные имена, в предложения, содержащие

определенные дескрипции, а уже эти предложения, в свою очередь, в квантифицированные предложения, не содержащие ни имен, ни определенных дескрипций. А путем расширения этой процедуры (которую, к сожалению, сам Рассел не склонен допускать) можно избавиться от всех единичных терминов и, таким образом, доказать, что употребление таких терминов вовсе не связано с какими-либо онтологическими допущениями. Если путаница, содержащаяся в единичных терминах, устранена, то употребление квантифицированных переменных недвусмысленно и вполне беспристрастно свидетельствует о принятой онтологии. А именно, как постоянно утверждает Куайн, любая теория по существу признает те и только те объекты, к которым должны иметь возможность относиться связанные переменные, чтобы утверждения теории были истинными. (Фактически это ход, изоморфный назначению пропозициям истинностного значения).

Некоторые философы, в том числе Карнап, считают, что квантификация не связана ни с какими онтологическими допущениями. Но даже если действительно можно разом, волюнтаристски отделаться от онтологических допущений, содержащихся в употреблении имен, путем простой перефразировки согласно требованиям теории дескрипций, то все равно нет никакого метода сравнения, позволяющего избежать выбора онтологии, который поневоле происходит, когда что-либо берется в качестве значения связанной переменной в истинном высказывании, и едва ли можно избежать ответственности за допущение существования «некоторых видов», если говорить, например, что «некоторые зоологические виды скрещиваются».

Гораздо более важным, чем вопрос о том, как происходит выбор онтологии, является, конечно, совершенно другой вопрос о том, как его обосновать. По этому поводу Карнап и другие логические эмпиристы утверждают, что здесь имеются две различные группы вопросов. Одна состоит из внешних вопросов, или вопросов, касающихся концептуальной схемы вторая состоит из внутренних вопросов, или вопросов о том, каковы факты в этой концептуальной схеме. Ответ на первую группу вопросов прагматический, в терминах языковых решений; ответ на вторую группу научный, в терминах исследования наблюдений. В действительности, однако, ввиду трудности установления сколько-нибудь удовлетворительного различия между аналитическим и синтетическим никакой дихотомии внешних и внутренних вопросов провести нельзя. Карнаповский проект проведения этой дихотомии путем использования различных видов символов — это не более чем техническая процедура, не имеющая адекватного логического или фактического обоснования; а так называемые внешние вопросы относятся к тому же «континууму», в который входят внутренние вопросы. Если бы марсиане должны были беседовать с нами на языке науки, предназначенном выразить все факты науки, но не использующем метафизические термины, содержащиеся в нашей науке, мы были бы вправе требовать, чтобы такой язык включал в себя высказывания о всех истинах, сформулированных в нашем научном языке, но не имели бы права требовать, чтобы их язык определял границы между концептуальной схемой и фактом или между аналитическим и синтетическим, как это делает наш язык.

Как же тогда должны обосновываться онтологические и все остальные высказывания? Ответ Куайна включает в себя три основных утверждения:

- во-первых, что все виды высказываний следует обосновывать в основном

одним и тем же образом;

- во-вторых, что в действительности следует обосновывать не отдельные высказывания, а целые системы высказываний;
- в-третьих, что обоснование в своей основе всегда является прагматическим.

Что касается первого из этих утверждений, то идеи, на которых оно основано, уже были достаточно охарактеризованы. Нельзя провести четкого различия между аналитическими и синтетическими, внешними и внутренними или языковыми и неязыковыми высказываниями; и нельзя провести никакого принципиального различия между критериями, которым следует подвергать различные высказывания.

Что же касается второго утверждения, то говорить вообще об «эмпирическом содержании отдельного высказывания» — это в лучшем случае заблуждение, поскольку наши высказывания о внешнем мире предстают перед судом чувственного опыта не в отдельности, а как единое целое. В самом деле, совокупность наших утверждений является хотя и не самой прямой, но удобной системой для связывания данных опыта между собой. Эта система содержит много пробелов и сталкивается с опытом лишь на периферии. В случае возникновения противоречий у нас остается широкая возможность выбрать, какие высказывания системы сохранить, а какие пересмотреть. Естественно, мы предпочитаем пересматривать то, что меньше всего нарушает систему, и поэтому стремимся отдать предпочтение, с одной стороны, тем высказываниям, которые наиболее близки к опыту, а с другой стороны тем общим логическим и математическим принципам, которые в этой системе наиболее фундаментальны.

Критерий, в терминах которого должна обосновываться сама система, является прагматическим. Некоторые философы, в том числе Льюис в «Разуме и мировом порядке» и Карнап в «Эмпиризме, семантике и онтологии», применяют прагматические критерии к концептуальной схеме, а не к ее содержанию; но в действительности все наши понятия основаны на прагматических соображениях. Физические объекты концептуально вносятся в ситуацию как удобные промежуточные понятия, сравнимые эпистемологически с вымышленными объектами — например, литературными героями; с точки зрения эпистемологической обоснованности физические объекты и боги или литературные персонажи отличаются только по степени, а не по существу. Аналогична ситуация для атомных и субатомных объектов или материи и энергии; и математические классы, и классы классов также эпистемологически могут быть расценены как мифы на равном основании с физическими объектами, богами, литературными персонажами и т.п. Куайн не указывает, каков должен быть в деталях предлагаемый прагматический критерий, но, по-видимому, он имеет в виду осуществление целей науки, то есть успешное продвижение исследования в каждом случае от одной совокупности опытных данных к другой.

Проблема истины. Если обоснование по существу прагматично, то какие виды сущностей в действительности обосновываются? Если начать с негативной стороны, Куайн питает антипатию к так называемым значениям. Верно, что выражения *значимы* (осмысленны) и что они *означают* нечто, но идти дальше и говорить, что, следовательно, выражения имеют значения, представляет собой попросту введение лишних сущностей без необходимости. Ощущаемая нами потребность в обозначаемых сущностях в значительной степени вызвана

неумением провести различие между значением и референцией, выражающееся, например, в том, что хотя «вечерняя звезда» и «утренняя звезда» вовсе не *сходны по значению,* они указывают на одну и ту же звезду. Действительно, большая часть того, что существенно отличает значение от отнесения, связана с контекстом «сходны по значению», а большая часть остального содержится в таких терминах, как «значимый» и «осмысленный». Таким образом, нет необходимости в подставных «промежуточных сущностях», называемых «значениями», и предполагаемая объяснительная сила таких сущностей совершенно иллюзорна. Значения как идеи, с точки зрения Куайна, бесполезны для науки о языке, и говорить, что значения имеют идеальное, а не реальное существование, значит вносить чрезвычайную сложность и путаницу в логические обозначения и онтологические рассуждения.

Если говорить о позитивной стороне, то прагматически обоснованными оказываются такие сущности, как обычные физические объекты, которые, хотя отчасти и похожи на литературных персонажей, обладают гораздо большей объяснительной силой. Сюда же следует отнести объекты науки на атомном и субатомном уровнях, которые вводятся для того, чтобы сделать законы макроскопических объектов и в конечном счете законы опыта более простыми и удобными в обращении. В том же духе можно вводить математические объекты, стремясь при этом сводить к минимуму допускаемые абстрактные сущности. Физические объекты не обязательно непрерывны во времени или в пространстве, но состоят из совокупностей движений частиц. Сам опыт — это то, с чем должна согласовываться концептуальная схема в целом, а язык — необходимое орудие опыта.

В том, что было сказано по поводу взглядов Куайна на аналитичность и онтологию, подразумевается интерпретация истины, которая, признавая наличие в истине весьма значительного условного элемента, отвергает попытки Карнапа и других сделать очень большой класс истин чисто условным, конвенциональным.

В широком смысле истина должна определяться в соответствии со здравым смыслом как некоторого рода соответствие действительности или отражение мира, такое, что высказывание «Джеймс курит» следует считать истинным в точности при тех обстоятельствах, при которых Джеймса следует считать курящим. К сожалению, однако, высказывания о физических объектах нельзя подтвердить или опровергнуть путем прямого сравнения с опытом, а высказывания, которым мы приписываем истинность или ложность, очень часто сложным образом переплетены с детально разработанными концептуальными схемами, вместе с которыми они обосновываются или отвергаются. Для того чтобы некоторые решающие части концептуальной схемы хотя бы временно считать бесспорными и облегчить переход от одной части системы к другой, часто бывает удобно формализовать эти решающие части в виде постулатов и определений, и такая формализация действительно часто облегчала прогресс науки. При этом большинство математических истин можно рассматривать как введенные по определению сокращения логических истин, а те, которые не поддаются такой трактовке, легко ввести в систему с помощью нескольких дополнительных постулатов. Значительную часть физики можно аналогично рассматривать как формальную систему, и современная философия все больше стремится делать упор на условный элемент за счет интерпретационного в самых

различных науках[2].

Однако существуют пределы полезности формализации. Любая концептуальная схема, чтобы быть пригодной для использования, должна ориентироваться на наблюдения. Во всяком случае, физические соглашения должны выбиваться в соответствии с опытом наблюдений и подлежат изменению, если оказывается, что этого требует опыт. Даже элементарную логику едва ли можно свести к чистому соглашению, так как если логика даже косвенным образом происходит из конвенций, то для ее вывода из этих конвенций уже нужна логика. По мнению Куайна, в принципе невозможно получить даже наиболее элементарную часть логики исключительно с помощью явных применений заранее установленных конвенций; так как логические истины, число которых бесконечно, должны быть заданы общими конвенциями, а не по отдельности, и логика нужна хотя бы для того, чтобы применить общие конвенции к отдельным случаям. Из того, что результаты законодательного постулирования являются — пусть даже всегда являются — результатами произвольного постулирования, еще не следует, что они *тем самым* истинны произвольно, и если постулаты однажды были заданы, пусть даже произвольно, дальнейшее использование их происходит в терминах дискурсивного постулирования, которое фиксирует не истину, но лишь некоторое упорядочение истин. Ни одна из истин, известных нам, не является чистым соглашением или чистым фактом. Вместе они образуют, по знаменитой, достойной Шекспира, метафоре Куайна, бледно-серую ткань, в которой черное идет от факта, а белое от конвенции, но не видно ни одной полностью белой или черной нити.

7.1.2 Неопрагматизм Н.Гудмена

Несколько менее явно прагматичной и более систематической, чем теория познания Куайна, является теория познания, развитая в работах Нелсона Гудмена (1906-1998). Подобно большинству философов-аналитиков, Гудмен не пытается создать ни систематической теории познания, ни описания независимо существующего мирового порядка,. Прежде чем попытаться описать процесс приобретения знания или «генезис идей», Гудмен стремится, как и Карнап в «Логическом построении мира», провести «рациональную реконструкцию» процесса приобретения знания. В основном его интересует не то, что первично в познавательном процессе, а то, что может служить базисом для экономичной, ясной и единой системы. Хотя искомая рациональная реконструкция допускает значительную свободу, ее цель, выбор ее основных элементов и метод построения в целом не должны слишком удаляться от цели и методов обычного рассуждения, так как ее конечная функция — объяснение.

Рассмотрим эпистемологический фон построений Гудмена. Характерная для классической эпистемологии парадигма подразумевает действительность не задаваемой, а данной. Здесь объект познания — нечто предзаданное, нечто налично существующее; все знание, с такой точки зрения, может быть выстроено на основе некоторых перцептуальных образований, предшествующих любой концептуализации. В аналитической традиции — начиная, например, с того же "Логического построения мира" — существует иной подход, отклоняющий

[2] См. ниже позицию Дэвидсона по этому вопросу.

эпистемологически "данное" в опыте наряду с любым требованием эпистемологического приоритета внелогических оснований знания. Гудмен весьма последовательно реализует такой подход: согласно его точке зрения, разум активен в восприятии на всех уровнях; не существует вообще такой вещи как неструктурированные, абсолютно непосредственные сенсорные данные, свободные от классификации. Все восприятие определено выбором и классификацией, в свою очередь сформированными совокупностью унаследованных и приобретенных различными путями ограничений и преференций. Даже феноменальные утверждения, подразумевающие описание наименее опосредованных ощущений, не свободны от таких формообразующих влияний. Согласно Гудмену, действительность не скрыта от нас; однако систематически постигать ее можно не только одним способом, но множеством способов. Конечно, существуют системы, не согласующиеся с нашим опытом; но вместе с тем имеется и множество различных систем, которые "соответствуют" (fit) миру, причем некоторые из них представляют собой полностью равнозначные альтернативы.

Эти идеи развиваются Гудменом в конструктивных логических системах. Он принимает аналитичный — логикоморфный — подход, реализованный в рамках эпистемологического конструктивизма[3]. Его интересует не то, что первично в познавательном процессе, а то, что может служить базисом для экономичной, ясной и единой системы. В подобной системе определяющее — это комплекс интерпретированных терминов, а определяемое — известный осмысленный термин, и аккуратность определения зависит от отношения между ними. Отображаемость (projectibility) предикатов будет в таком случае состоять в том, что структурные взаимосвязи экстенсионалов предикатов definienda будут показаны в пределах экстенсионалов definientia. Абсолютная идентичность элементов, связанных таким образом, не имеет важности. Соответствующий критерий определительной точности должен, таким образом, быть отвлечен от абсолютной идентичности и сосредоточен на сохранении структуры. Это — принцип "экстенсионального изоморфизма", который Гудмен предлагает как критерий адекватности конструктивного определения.

Теоремы конструктивной системы полагаются "реальными" определениями, использующими определенные семантические критерии правильности в дополнение к обычным синтаксическим критериям, налагаемым на чисто формальные (или "номинальные") определения. Конструктивная система формализует некоторую область (предполагаемого) знания, которое может быть представлено как множество предложений, сформулированных в неформализованном дискурсе (например, естественном языке), где некоторые термины должны быть соответственно определены в системе, использующей правила вывода, а некоторые образуют специальное множество терминов, принятых за элементарные, т.е. базовые примитивы системы ("внелогические основы" — "extralogical basis"). Таким образом, вопрос о критериях правильности отсылает к вопросу о произвольности/непроизвольности выбора "атомов" категоризации, элементарных терминов системы. Примитивы должны при этом пониматься как уже являющиеся предметом преднамеренного использования или интерпретации; если их использование или интерпретация не очевидны, то они могут быть обеспечены неформальным объяснением, в строгом смысле не

[3] N. Goodman. The Structure of Appearance. 1st edition: Cambridge Mass., 1951. 3rd edition: Dordrecht, 1987.

являющемся частью системы.

> Термин выбирается в качестве элементарного не потому, что он является неопределяемым; скорее, он является неопределяемым в силу того, что он был выбран как элементарный... Вообще термины, принятые в качестве элементарных в одной системе, вполне могут поддаваться определению в какой-либо другой системе. Не существует ни абсолютных элементарных терминов, ни такого их выбора, который был бы единственно правильным[4].

Так, например, неформализованная область может состоять из предложений, описывающих человеческие отношения родства, а конструктивная система в этом случае будет состоять в точных определениях всех предикатов родства в терминах примитивов (например, *X — родитель Y* и *X — женского пола*) и в рекурсивно устанавливаемой спецификации теорем через аксиомы и правила вывода. При этом каждая из теорем является интерпретацией (путем определения) одного из первоначальных неформализованных предложений.

Здесь возникают минимум три проблемы.

1. Трудность найти выражения как основных истин логики, так и фактов и законов здравого смысла и науки в терминах номинализма, в котором все предикаты являются предикатами индивидов и никакая абстракция не рассматривается как значение (meaning) квантифицированной переменной. Эту трудность, по мнению Гудмена, можно преодолеть путем введения некоторых образцов номиналистских переводов и правил, с помощью которых можно сделать другие требуемые переводы. Такие образцы и правила Гудмен и Куайн приводили в уже упоминавшейся статье; какую именно систему Гудмен пытается строить в свете этих более ранних идей, мы скоро увидим.

2. Трудность, относящаяся в особенности к дедуктивным этапам философской конструкции — трудность выяснения понятия «сходства по смыслу» без рискованного выхода за пределы понятного мира экстенсионалов в хаотический мир интенсионалов. Обращение к Платоновым идеям исключается природой проблемы; во всяком случае, нет способа обнаружить, когда два термина представляют одну и ту же идею. Полагаться на понятие мысленной идеи или образа столь же бесполезно, так как мы не знаем, что мы можем и чего не можем вообразить, а многие предикаты не имеют соответствующего ментального образа. Попытки объяснить сходство по смыслу в терминах понятий и возможностей также тщетны, так как мыслимы разного рода противоречивые понятия, а понятие возможности заведомо отличается своей неточностью. В то же время усилия объяснить сходство по смыслу непосредственно в терминах экстенсионалов соответствующих понятий не достигают цели, так как многие коэкстенсиональные термины не сходны по смыслу. Так, например, термины «кентавр» и «единорог» имеют один и тот же нулевой экстенсионал, но не один и тот же смысл. Тем не менее есть способ их различить, так как, хотя понятия единорога и кентавра коэкстенсиональны, понятия ноги единорога и ноги кентавра имеют различные экстенсионалы — точно так же, как и понятия изображения или описания единорога и кентавра. Обобщая, можно сформулировать критерий различия по смыслу в экстенсиональных терминах следующим образом: для любых двух слов, отличающихся по смыслу, различны либо их экстенсионалы, либо экстенсионалы некоторых однотипных сложных выражений, содержащих эти слова. Но у этого

[4] N. Goodman. The Structure of Appearance. Cambridge Mass., 1951. P. 57.

определения имеется одно нежелательное следствие: "*никакие два различных слова не имеют одинакового смысла*". Единственный способ обойти эту трудность, найденный Гудменом, заключается в том, чтобы из формулировки критерия исключить те типы сложных выражений, относительно которых любые два термина имеют различные экстенсионалы, сосредоточив внимание на тех видах сложных выражений, в силу которых некоторые слова оказываются различными по смыслу, а некоторые сходными. Однако в лучшем случае сходство по смыслу следует, вероятно, признать вопросом степени и считать, что оно зависит от целей конкретного рассуждения.

3. Еще одна более серьезная трудность, затрагивающая прежде всего эмпирические стадии философской конструкции, связана с контрфактическими условными высказываниями. Такие высказывания, как «если бы этот кусок масла был нагрет до 150° по Фаренгейту, то он бы растаял», «если бы этой спичкой чиркнули, то она бы загорелась», неизменно истинны, но истинны также и все другие высказывания, в которых ложны и антецедент, и консеквент. Разумная формулировка научных выводов зависит от того, найдем ли мы надежный способ отличать условные предложения, дающие достаточное основание для фактических выводов, от предложений, истинных просто в силу ложности их антецедентов. Здесь возникают две основные проблемы: проблема определения относящихся к делу условий, или указания, какие предложения следует считать, в конъюнкции с антецедентом, дополнительными основаниями для вывода консеквента, и проблема определения законов, на которых основан вывод. В перспективе не видно никакого удовлетворительного решения первой проблемы, поскольку любые предложения, используемые для характеристики требуемых условий, по-видимому, сами содержат контрфактические предложения, что приводит, следовательно, к бесконечному регрессу. Проблема определения законов даже более серьезна, потому что, в то время как неотъемлемое свойство закона, по-видимому, состоит в том, что он должен быть подтвержден до проверки всех его конкретных случаев, мы еще не знаем, как можно распознать такую подтверждаемость.

Теперь мы можем охарактеризовать конструктивную систему, которую Гудмен пытается создать в рамках им самим наложенных ограничений и в свете трудностей, которые он осознает.

Конструктивная система, предназначенная для того, чтобы сделать структуру знания понятной, может быть построена либо на физикалистских, либо на феноменалистических основаниях. Тип системы, выбранный Гудменом — феноменалистический.

Против феноменализма в таком контексте также возможен ряд возражений.

1. Феноменалистическая программа, в отличие от физикалистской, незавершима. Контраргумент здесь состоит в том, что понятность для системы гораздо важнее, чем законченность.

2. Элементы, в которых в действительности дан опыт, являются наблюдениями физических объектов. Контраргумент: в силу вмешательства процесса описания на самом деле никто не знает, какие элементы даны в действительности.

3. Наиболее важное возражение против номинализма заключается в том, что целям обычного исследования науки лучше служит физикалистская система. Контраргумент: фактически попытка построить науку только в терминах языка

предметов сталкивается по крайней мере с такими же трудностями, что и попытка построить ее на языке ощущений.

Не требуя какого-либо существенного приоритета для феменалистической системы, можно сказать, что такая система достаточно обосновывается тем, что она дает упорядоченное и связное описание своего предмета в терминах воспринимаемых индивидов (таким образом, это очередная демонстрация имманентной связи конструктивизма и когерентизма). Она в состоянии также дать конечную онтологию, соответствующую нашей способности восприятия и построения, которая поддается столь же интерсубъективным обсуждению и проверке, как и онтология любой другой системы.

Феноменалистические системы можно отличать друг от друга двумя различными способами. С одной стороны, они содержат платонизм, который допускает неиндивидуальные сущности, и номинализм, не допускающий этого, а с другой стороны, реализм, который допускает абстрактные объекты (non-particulars) в качестве индивидов, и партикуляризм, который не допускает этого. Таким образом, феноменалистические системы могут быть платонистскими и реалистическими, или номиналистическими и реалистическими, или платонистскими и партикуляристскими, или минималистскими и партикуляристскими. «Логическое построение мира» Карнапа, которое служит классическим примером общего вида конструкции, обещающей хорошие результаты, является платонистской партикуляристской системой, но она не дает удовлетворительного объяснения сходств, которые связывают воедино различные явления — например, цвет. Вид системы, который предпочитает Гудмен — это реалистско-номиналистическая разновидность, допускающая качественные неконкретные индивиды, хотя и исключает все неиндивиды. Ведущие принципы этой системы допускают, однако, приспобление к другим основаниям и могут быть переведены, например, на язык платонизма, который признает неиндивиды.

Конструктивная система требует в качестве своих существенных инструментов определений, логического порядка и исходных терминов. Определения не должны быть основаны на синонимии, которую фактически нельзя установить на экстенсиональном тождестве. Достаточные основания для выработки определений могут быть получены, если объем определяющего изоморфен объему определяемого, то есть если определяющее можно получить путем последовательной замены элементарных компонентов определяемого. Здесь требуется истина, ограниченная языком индивидов — такая, что истинностное значение каждого предложения, состоящего только из логических знаков и логически определяемых терминов системы, остается неизменным, если логические определяемые термины заменить их определениями.

В реалистической номиналистической системе феноменалистического типа виды индивидуальных элементов, соответствующие критерию простоты, достигаются путем разложения потока опыта на его наименьшие конкретности, а этих конкретностей на элементарные чувственные качества. Таким образом, атомарными индивидами системы являются элементарные качества, или наличные признаки. Такие признаки состоят из цветов, линий, мест в зрительном пространстве и различных незрительных элементарных качеств. Размеры и очертания вторичны и сводимы к первичным характеристикам. Не следует считать, что любое элементарное качество полностью отделимо от остального опыта или что элементарные качества являются элементами, в которых опыт дан

первоначально. Элементарные качества должны лишь находиться в рамках целого и отличаться от других элементарных качеств. Разделение на элементарные качества не является пространственным разделением, а пробелы между отдельными сегментами элементарного качества не мешают ему быть индивидом. Как и в случае индивида любого другого рода, границы качества могут быть сколь угодно сложны.

Элементарные качества не следует смешивать со свойствами. Первые появляются и исчезают, в то время как последние остаются относительно постоянными. Например, *наличные* цвета объекта изменяются, в то время как то, что считается цветом объекта, остается одним и тем же. Свойства предмета определяются его изменениями, то есть тем, каким он является при всех тех видах условий, которые рассматриваются как критические или стандартные; элементарные же качества предмета целиком относятся к области явления. Таким образом, элементарные качества не подвержены ошибкам и не подлежат проверке в том смысле, в каком это относится к свойствам, хотя они и подлежат сравнению друг с другом. Элементарные качества по самой своей непосредственной природе непроверяемы. Однако они не могут быть одновременно *и* ненадежными, *и* непроверяемыми, так как ненадежное суждение, в конечном счете — это суждение, которое часто оказывается ложным *после проверки.* Так как элементарные качества непроверяемы, и их проявления нельзя возвратить к жизни, сравнение их должно базироваться на «решении», основанном на опыте; именно поэтому такое сравнение не рискует оказаться ложным. Однако (вопреки мнению Льюиса) сравнение элементарных качеств может быть пересмотрено, и мы можем видеть здесь истоки наших сегодняшних представлений о нелинейности верификации. Это вытекает из того, что оно основано на решении, а решение можно аннулировать другим решением. Непроверяемое не является неотменяемым, непересматриваемым.

Так, допустим, например, что я почему-либо решил, что элементарное качество, проявляемое красным яблоком сейчас, является тем же самым, что и элементарное качество, проявленное голубым небом вчера в полдень. Тогда я не могу утверждать одновременно и то,

- что элементарное качество, проявляемое небом сейчас, то же самое, что и проявленное им вчера в полдень, и то,
- что качество, проявляемое яблоком сейчас, сильно отличается от качества, проявляемого сейчас небом.

Аналогичным образом, суждение, сделанное мной некоторое время назад о том, что в тот момент центр моего поля зрения занимало красное пятно, будет отвергнуто, если оно не согласуется с другими суждениями, которые в совокупности имеют больше оснований быть принятыми — например, что пятно, занимавшее то же место на момент позднее, было голубым и что видимый цвет был постоянным в течение периода, включающего эти два момента. В этих случаях суждение об элементарных качествах отменяется, но эта отмена не включает в себя проверки элементарных качеств.

Если элементарные качества приняты за основные индивидуальные элементы, то центральная проблема конструкции заключается в том, чтобы показать, каковы *предметы* и *качества в обычном смысле.* Первый шаг состоит в том, чтобы неформально объяснить новый исходный термин и показать его отношение к

другим терминам, связанным с ним. Рассматриваемый исходный термин симметричен, нерефлексивен и нетранзитивен; его можно истолковать как «находится с» или «находится в». Любая пара, которую он связывает, принадлежит к различным категориям одной области чувств, поэтому он не может связывать, например, два цвета или два места, или цвет и звук. Это скорее отношение, которое связывает цвет и место, в котором находится цвет, место и время, на протяжении которого сохраняется это место, цветовое пятно и время, на протяжении которого сохраняется это цветовое пятно. В реалистической системе *конкрет* (concreta) рассматривается как вполне конкретная сущность, которая имеет по крайней мере по одному качеству из каждой категории какой-то области чувств. Отношение имеет место между любыми двумя дискретными частями конкрета. *Комплекс*, далее, определяется следующим образом. Индивид является комплексом, если и только если каждые две его дискретные части связаны друг с другом определенным отношением, а так как элементарное качество не имеет конкретных частей, то любой индивид, который либо дискретен, либо представляет собой сумму индивидов, находящихся вмест», является комплексом. Таким образом, конкрет есть«комплекс, который не связан отношением ни с каким другим индивидом; это индивид, каждые две дискретные части которого находятся вместе, но который не находится вместе ни с каким индивидом. Конкреты являются молекулами системы и не являются собственными частями (то есть частями, меньшими целого) никакого комплекса, а все их части являются комплексами.

При таком истолковании понятий «находиться с...» и конкретов в центре внимания оказывается различие между качествами, предметами и проявлениями. Качества, конечно, не являются ни предметами, ни конкретами, но это и не просто элементарные качества. Это как раз те комплексы, которые не являются элементарными качествами. Обращением отношения «быть качеством чего-то» является отношение «быть проявлением чего-то». Соответственно, явления (appearances) — это как раз те комплексы, которые не являются качествами. Можно тогда сказать, что конкреты — это проявления, но отнюдь не качества, и что комплексы, которые не есть ни элементарные качества, ни конкреты — это и проявления (их собственных частей), и качества (других, объемлющих их комплексов).

Теперь начинают вырисовываться подходящие интерпретации для таких терминов, как «абстракция», «конкретность», «частность» и «всеобщность». Так, с одной стороны, индивид конкретен, если и только если он полностью разложим на конкреты, так что конкрет и сумма конкретов конкретны. С другой стороны, индивид абстрактен, если и только если он не содержит конкретов, так что элементарные качества и все другие собственные части конкретов, а также некоторые совокупности — например сумма нескольких цветов или линий, или места, времени и цвета, — которые не находятся вместе, являются абстрактными.

Аналогично можно сформулировать разницу между частным и всеобщим. Индивид является частным (particular), если и только если он полностью разложим на неповторимые комплексы, индивид является всеобщим, если и только если он не содержит неповторимых комплексов. Таким образом, все элементарные качества и все суммы нескольких элементарных качеств одного и того же рода всеобщи; все конкреты и все суммы конкретов частны; а такие индивиды, как сумма конкрета и чуждого ему качества, не являются ни всеобщими, ни частными.

Зафиксировав таким образом фундаментальные термины своей системы, Гудмен в четвертой части «Структуры явления» занимается поисками предиката, в терминах которого можно описать мировой порядок. С этой целью он рассматривает «предикат сходства», но обнаруживает, что определение сходства как «частичного тождества» неудовлетворительно, а любая другая его интерпретация является неясной и неопределенной. Гудмен выбирает предикат «соответствовать» (match) (позднее он использует его более или менее полный аналог "fit") в том смысле, что одно качество может соответствовать каждому из двух других, хотя эти два других и не соответствуют друг другу; в этом смысле качества тождественны, если и только если они соответствуют одним и тем же элементарным качествам.

Благодаря использованию своего основного конструктивного аппарата и предиката «соответствовать» Гудмен теперь получает возможность интерпретировать чувственные категории в терминах непрерывных последовательностей соответствующих друг другу элементарных качеств, пространственные отношения в терминах областей соответствующих друг другу элементарных качеств, а время как составляющую каждого конкрета. Хотя Гудмен вполне сознает элементарный характер реалистически-номиналистически-феноменалистических конструкций, очерченных в «Структуре явления», он уверен, что на предложенных им элементарных основаниях можно построить все здание науки, несмотря на трудности, отмеченные в его более ранних работах.

Далее, в книге «Факт, фикция и предсказание» Гудмен возвращается к той группе проблем, которая рассматривалась в его статье о контрфактических высказываниях. Гудмен считает разумным подойти к ней с новой точки зрения. В соответствии с этим новые главы его «Факта, фикции и предсказания» начинаются с проблемы диспозициональных высказываний, которая проще и менее лингвистична по своей направленности, чем проблема контрфактических высказываний.

Диспозиции не следует объяснять в терминах возможностей, так как возможности, подобно классам и признакам, принадлежат к числу сомнительных экстравагантностей неноминалистической онтологии. Их следует скорее объяснять в терминах той проекции, которая связывает в единый индивид комплекс, принадлежащий одному месту и времени, и комплекс, принадлежащий другому месту и времени. В терминах такой проекции некоторое место в поле зрения, в котором в настоящий момент отсутствует цвет, присутствующий в другое время и в другом месте, можно считать окрашиваемым (colorable) в этот цвет, а палку, которую не сгибают в настоящий момент, можно считать гибкой. Решающая проблема заключается в том, чтобы обосновать такие проекции в терминах законоподобных высказываний, а эта проблема по существу является проблемой индукции.

Классическая проблема индукции — как вообще мы можем знать о будущем на основании свидетельств о прошлом — может считаться (или по более или менее общему согласию считается) снятой в духе Юма: поиски дедуктивного доказательства утверждений о будущем на основании прошлого и настоящего тщетны в принципе; индукция находит необходимое оправдание в фактических обычаях нашего повседневного мышления и научных исследований. Кант, отвечая на вызов Юма, определил то направление исследований, согласно которому в центре находится вопрос не о том, познаваем ли мир, а о том, каким образом

возможно, как возникает и организуется наше знание — направление, актуальность которого не только не уменьшается, но продолжает возрастать, о чем свидетельствуют и работы Гудмена. Однако, по мнению Гудмена, мы продолжаем сталкиваться с новой проблемой индукции, а именно: каковы те подтверждающие процессы, на которые опираются эти повседневное мышление и научное исследование?

Прояснение этой проблемы связано с особенностями отображения предикатов, при котором, согласно Гудмену, может проявляться как инерция, так и противоположное ей свойство — "инициатива". При формулировке законоподобных высказываний более укоренившиеся ("инерционные") предикаты следует предпочесть менее укоренившимся, и в случае возникновения противоречий последние должны уступать место первым. Можно предложить специальные правила для определения таких предпочтений; такие правила смогут постепенно приближать нас к формализации обычного процесса подтверждения. Поэтому, возвращаясь к определению правильности обозначения (описания), можно заметить, что во всех случаях речь идет об идентификации, но по различно проявляющимся основаниям. Если мы намерены считать правильным описание, соответствующее обыденным суждениям о правдоподобии (некоторому фиксированному набору суждений), то это означает, что мы идентифицируем описание через установление его тождественности данным нашего предшествующего опыта. Если же мы считаем правильным описание, являющееся правдоподобным в силу того, что оно обладает некоторой достоверностью, то мы также проводим идентификацию через установление отношения с имеющимися у нас данными, но это отношение не тождества, а некоторой согласуемости, совместимости. Но отношение тождества может быть рассмотрено как видовое по отношению к родовому — совместимости в том отношении, что тождественные вещи, вообще говоря, абсолютно совместимы, поэтому все объекты, между которыми установлено тождество, могут считаться совместимыми (но не наоборот). Первый способ идентификации очевидно не является единственным, но он так же очевидно является предпочтительным для многих систем — например, для вынесения обыденных суждений. В определенном смысле он более обоснован — для тождества требуются не просто совместимые вещи, но абсолютно совместимые вещи — но эта разница в уровне обоснованности не носит качественного характера. Мы имеем здесь дело не с новым свойством, но с полнотой проявления того же свойства совместимости. Правильность некоторого языкового конструкта обнаруживается, с такой точки зрения, минимум в двух аспектах — правильность его построения как наличие некоторых соответствий в множестве языковых конструктов этого языка и правильность его оформления в соответствии с языковыми правилами как результат их действия. Проблема, с такой точки зрения, заключается в выяснении того, как лучше может быть понято то или иное явление: в терминах характеристики его результатов или же в терминах характеристики связанных с ним процессов.

Сложность здесь состоит в том, что основной предикат обычно не формулируется в философских системах с точностью, сопоставимой с точностью научных дисциплин, использующих исчисления. Конструктивные системы, напротив, с необходимостью требуют решения вопроса о допустимых основаниях, и, соответственно, очевидным образом предоставляют или положительную демонстрацию результата, или подтверждение его невозможности (фальсификацию).

Эта особенность конструктивных систем ведет к прояснению различия между критерием их точности (правильной построенности описания) и критерием адекватности (правильной оформленности описания). Вопрос адекватности является вопросом полноты системы — обеспечивает ли множество определений интерпретацию всех неформализованных предложений, представляющих интерес, в зависимости от целей системы, и является ли множество теорем системы достаточно всесторонним. Вопрос точности касается скорее статуса реальных определений системы — отношений между *definientiae* и *definienda* — и истинностного статуса теорем.

Это разграничение точности (accuracy) и адекватности (adequacy), введенное Гудменом в "Структуре явления", во многом обусловило важную для современной аналитической философии тенденцию ослабления семантического критерия, налагаемого на исследования. Главное перемещение в этом направлении происходит от синонимии или аналитичности к вполне экстенсиональному критерию. При этом сам Гудмен считает коэкстенсивность *definienda* и их *definientiae* все еще слишком сильным критерием. Неформализованное использование неопределенно и непоследовательно (противоречиво) многими способами, и отражение этих особенностей в объяснении вовсе не непременно увеличивает объяснительную силу *definientia*. Неясные случаи не могут быть прояснены в соответствии с таким требованием, как коэкстенсивность; в то же время случайный отход от неформализованных ясных случаев оправдан стремлением построить хорошую теорию. Кроме того, неудовлетворительность требования коэкстенсивности указывает на качественно отличную и более глубокую проблему: в науке и обыденном языке возможны (и весьма многочисленны) случаи альтернативных истолкований предикатов — истолкований, которые являются полностью неразличимыми в отношении любых критериев, уместных в тех теориях, к которым они принадлежат; однако альтернативы не просто не коэкстенсивны — они очевидным образом не пересекаются.

В "Способах создания миров" Гудмен делает шаг от эпистемологии к онтологии и настаивает на том, что противоречие между онтологическим монизмом и плюрализмом не выдерживает пристального анализа. Если существует лишь один, единственный, мир, то он включает множество различных, различающихся между собой аспектов; если же существует множество миров, то в любом случае существует лишь одно (единое в этом отношении) множество этих миров. Вслед за У.Джеймсом (еще одним философом из тех, которых он здесь называет своими предшественниками) Гудмен фактически воспроизводит ход еще первых атомистических построений: каждый отдельный космос конечен, но количество этих космосов бесконечно, поэтому мир в конце концов бесконечен. Но "мир" Гудмена — категория столь же эпистемологическая, сколько и онтологическая. Один мир может быть рассмотрен как множество миров, равно как и множество миров может быть рассмотрено как один: это зависит от способа рассмотрения. Речь здесь идет не о множестве альтернатив единственному действительному миру, но о множестве действительных миров. Методологический и онтологический плюрализм — естественное заключение эпистемологических взглядов Гудмена. С подобной точки зрения, некоторые истинные утверждения и правильные представления могут вступать друг с другом в противоречие, не теряя при этом своей истинности и правильности, — а следовательно, действительных миров

должно быть больше одного. Наш универсум состоит скорее из способов описания мира, чем из самого этого мира или миров.

Можно следующим образом сформулировать те посылки Гудменова конструктивизма, которые представляются наиболее важными для понимания свойственных ему отношений между эпистемологией и онтологией:

- Любой предмет может быть категоризован с одинаковым успехом многими способами, которые отличаются по существу в онтологическом наполнении и являются в этих систематизациях взаимно несовместимыми (плюрализм).
- Из-за множественности версий мира в различных знаковых системах бесполезно искать полное описание действительности (сущностная незавершаемость).
- Онтологические предложения имеют истинностное значение только относительно "истолкования" или "трактовки" объектов, мира, действительности, и т.д.; в целом, отсылка к "миру" имеет смысл только в том случае, если она релятивизуется к системе описания (онтологический релятивизм).

Эпистемологическая релевантность подобной внутренней и внешней непротиворечивости достаточно очевидна; таким образом, традиционные эпистемологические вопросы, связанные с "данностью" и поиском предельных оснований знания, не исчезают в конструктивном построении бесследно, но заменяются другими, более специальными вопросами отношений между царствами абстрактного и конкретного. Такие отношения предстают определяющими для нашей концептуальной схемы, поскольку они характеризуют ее феноменальность как область ее определения.

Итак, если утверждение истинно, а описание или представление правильно, не "само по себе-для-мира", а для конструктивной системы, критериям адекватности которой оно соответствует, то в таком случае следует допустить, что отсылка (референция) к "миру" имеет смысл и может служить для построения адекватной теории значения только в том случае, если она релятивизуется к системе описания. Поскольку в этом отношении онтологическая связь между знаком ("символом") и его референтом является источником семантических правил, постольку оно может быть признана внеязыковым, онтологическим детерминативом значения. Поскольку, далее, пределы взаимного согласования индивидуальных концептуальных схем (которые очевидно могут быть рассмотрены как конструктивные системы ментальных репрезентаций) устанавливаются их отношением к внеязыковому миру, через каковое отношение (в частности, референцию) осуществляется обозначение языковыми выражениями элементов внеязыкового мира, постольку установление отношения обозначения выступает собственно конструктивным детерминативом значения. Способность знака служить источником факта наличия предмета обозначения является, по-видимому, единственным удовлетворительным внеязыковым детерминативом, соответствующим внутриязыковым детерминативам значений речи, понимаемым как синтаксические отношения в языке в той степени, в которой они представляют правила функционирования языка (значение как результат некоторого процесса).

Редукционистские эпистемологические программы, пытающиеся вывести значение фактуальных предложений в терминах "наблюдаемых", обнаруживаемых

логических последовательностей оказываются, с такой точки зрения, беспредметными. Возможность одновременного наличия нескольких конфликтующих версий мира не отменяет и не уменьшает их истинностного значения (для разных концептуальных схем). Аналогичным образом признание относительности истинности языкового выражения не отрицает необходимости выявления четких критериев его правильности, в качестве которых могут выступать критерии адекватности правилам конструктивной системы. Это означает, что признание конвенциональности значения не подразумевает с необходимостью признание его произвольности.

7.2 Концепция онтологической относительности и холистический тезис Куайна

Известный "онтологический критерий" У. Куайна — "Существовать — значит быть значением квантифицируемой переменной" — выступает инверсией семантического критерия, поскольку он связывает онтологию со способом ее описания и освобождает подобную связь от свойственного рационалистической традиции каузального детерминизма. С такой точки зрения, сама онтология может рассматриваться в рамках аналитического подхода как функция эпистемологии и/или семантики — например, в аргументах, объясняющих, каким образом мы можем делать значимые высказывания при помощи терминов, обозначающих несуществующие вещи. Принцип онтологической относительности интересен как раз тем, что обещает однородный метод установления онтологических заключений, нейтральный к (реальному) онтологическому статусу референтов.

Представления об онтологической относительности, как и само понятие лингвистической онтологии было разработано Карнапом в связи с теорией языковых каркасов. Наиболее полное изложение этой темы можно найти в его статье «Эмпиризм, семантика и онтология», опубликованной в 1950 году. Непосредственным поводом для разработки теории языковых каркасов послужил вопрос о том, на каких основаниях исследователи принимают в рамках своих рассуждений различные абстрактные сущности – числа, свойства, классы, пропозиции и т.д. Задача этой теории состояла в том, чтобы показать правомерность высказываний о подобного рода абстрактных сущностях, без которых, с одной стороны, не может обойтись современная наука, но которые в то же самое время в противоречии с принципом эмпирической редукции, выдвинутым логическими позитивистами, не могут быть сведены к простейшим, или протокольным предложениям, выражающим данные непосредственного наблюдения.

Для решения поставленной проблемы Карнап обращается к понятию языкового каркаса, т. е. некоторой языковой системы, подчиненной определенным правилам, в рамках которой можно говорить о сущностях определенного рода. Задать языковый каркас, по Карнапу, значит задать способы выражения, подчиняющиеся определенным правилам[5]. Таких языковых каркасов может быть построено бесконечное множество. Он утверждает, что вопрос о существовании абстрактных

[5] Карнап Р. Значение и необходимость. Исследования по семантике и модальной логике. М.: Изд-во иностр. лит., 1959.

объектов не может быть осмысленно поставлен вне рамок определенных языковых каркасов.

В основе лингвистического понятия онтологии Карнапа лежит фундаментальное различие между двумя видами вопросов, касающихся существования или реальности сущностей. От внутренних вопросов, дающих ответы на эмпирические вопросы существования в рамках определенных языковых каркасов, Карнап предлагает отличать вопросы внешние, касающиеся существования самих языковых каркасов с заданными в их рамках системами объектов. Первые представляют эмпирические вопросы существования, вторые – онтологические.

Языковые каркасы Карнапа указывают на более строгую, чем в традиционной метафизике (основанной на перечислении свойств существующего) трактовку идеи существования, делающую ее производной от предположительно более ясной идеи истины. Существовать, с такой точки зрения, значит быть значением квантифицированной (связанной квантором общности или квантором существования) переменной. Формулы, начинающиеся с кванторов, т.е. формулы типа "для всякого *x*..." или "существует такой *x,* что...", в отличие от формул типа "*a* обладает свойством *A*", могут быть либо эмпирически проверены, либо теоретически доказаны, либо и то и другое.

В основе лингвистического понятия онтологии Карнапа лежит фундаментальное различие между двумя видами вопросов, касающихся существования или реальности сущностей. От внутренних вопросов, дающих ответы на эмпирические вопросы существования в рамках определенных языковых каркасов, Карнап предлагает отличать вопросы внешние, касающиеся существования самих языковых каркасов с заданными в их рамках системами объектов. Первые представляют эмпирические вопросы существования, вторые – онтологические.
Внутренний вопрос — это вопрос, задаваемый в терминах языкового каркаса и предполагающий ответ, построенный в соответствии с его правилами. Внешние вопросы существования ставятся вне языкового каркаса. Это вопросы о самом языковом каркасе, об его уместности в данной ситуации или в связи с данной проблемой. Ответ на внешний вопрос существования определяет тот язык, на котором будет ставиться внутренний вопрос и в рамках которого будет обсуждаться и формулироваться ответ на этот вопрос. В отличие от внутренних вопросов, которым предпосланы правила оценки на истинность и ложность, заложенные в языковом каркасе, внешние вопросы решаются исходя из прагматических соображений и определяются гласным или негласным соглашением группы исследователей. Вопросы о родах существующего, предполагаемых в языковых каркасах, относятся к внутренним вопросам существования, и ответы на них достигаются выяснением внутренних концептуальных ресурсов того или иного языкового каркаса. Принять новый языковый каркас значит принять новый способ выражения, а это значит допустить некую новую область предметов, составляющую содержание этого нового способа выражения.

Задание некоторого языкового каркаса означает задание некоторой совокупности аналитических предложений. Предложение, аналитическое в одном языковом каркасе, может и не быть таковым в ином каркасе. Внутренние вопросы существования могут получать как аналитические, так и синтетические ответы; при этом синтетические ответы предполагают в качестве условий аналитические ответы. Внешние же вопросы существования не получат ни аналитических, ни синтетических ответов. Ответы на них даются в результате конвенций,

принимаемых группами исследователей по каким-либо практическим соображениям.
Куайн согласен с Карнапом в том, что "существовать значит быть значением квантифицированной переменной" (формулировка Куайна), но не выстраивает каких-либо иерархий языков и онтологических утверждений — напротив, он акцентирует внимание на альтернативных теоретических конструкциях, каждая из которых допускает то, что запрещено в другой. Куайн выступает против статуса онтологических вопросов как статуса первых вопросов существования, непосредственно обусловленных внешними вопросами; по его мнению, каждый вопрос теории соединяет в себе то, что Карнап разводит как внутренние и внешние вопросы, а именно, затрагивает как предмет обозначения, так и оценку целесообразности того языка, на котором эти изыскания разворачиваются — делая значимые утверждения на некотором языке, говорящий вторгается в сферу онтологического, т.е. предполагает некие рода сущего.
Куайн критикует Карнапа, указывая на две обусловливающие одна другую предпосылки карнаповской точки зрения — дихотомию аналитического и синтетического и редукционизм, утверждающий непосредственную или опосредованную сводимость теоретических предложений и терминов к некой общей эмпирии. Аргументация здесь такова:

1. Дихотомия аналитического и синтетического предполагает редукционизм, потому что для того, чтобы показать аналитичность предложений вида "все холостяки неженаты", надо прояснить синонимию субъекта и предиката этого утверждения, сведя их к некоей совокупности данных, показывающей, что области значений терминов "холостяк" и "неженатый мужчина" либо совпадают, либо входят одна в другую. Истинность наших утверждений зависит как от языка, так и от внеязыковых фактов, а последние для эмпириста сведутся к подтверждающим данным опыта. В том крайнем случае, когда для определения истинности будет важен только лишь языковой компонент, истинное утверждение будет аналитичным. При этом значения эмпирических терминов не должны меняться в пределах данного языкового каркаса, т.к. иначе будет невозможно доказать аналитичность.
2. Сводимость теоретического знания к эмпирии предполагает дихотомию аналитического и синтетического, так как сведение теоретического предложения к протокольному требует определенных дополнительных посылок, скажем, проверка предложения "Снег бел" требует посылки "Снег существует". Непосредственная сводимость означает "одношаговый" вывод из данного предложения (рассмотренного как теоретическое) "протокола наблюдения", опосредованная — многоступенчатый вывод, при котором доказываются некие промежуточные предложения. При этом данный вывод будет сведением (проверкой) именно рассматриваемого предложения только в том случае, если эти дополнительные посылки будут аналитическими и, следовательно, непроблематичными, не подлежащими проверке.

Но мы не можем фиксировать аналитических предложений, не допуская (пусть относительно данного языкового каркаса) существующих помимо нашего сознания универсальных значений. Так, принимая в качестве аналитического предложение "все холостяки не женаты", мы должны принять, что объективно существует свойство "не являться женатым", под которое подпадает свойство "быть

холостым"; такой постулат представляется избыточным. Язык, согласно Куайну, структурирован лишь постольку, поскольку включает конвенции, оправдываемые практикой, а также проверяемые фактами предложения.
Поэтому Куайн выдвигает тезис онтологической относительности, направленный против некритического принятия онтологии теории в качестве чего-то, существующего абсолютно независимо от языка теории. Онтологическими называют утверждения о существовании объектов; онтологией называется совокупность объектов, существование которых предполагается теорией. Согласно Куайну, онтология дважды относительна. Во-первых, она относительна той теории, интерпретацией которой она является (интерпретировать теорию значит приписать значения ее связанным переменным). Во-вторых, она относительна некоторой предпосылочной теории, в роли которой обычно выступает некоторая исходная система представлений (в предельном случае, в духе Дэвидсона — естественный язык). Онтологические утверждения некоторой новой теории делаются с помощью предпосылочной теории. Первая теория интерпретируется на второй, т.е. термины второй теории используются в качестве значений связанных переменных первой. С такой точки зрения (по выражению Куайна, "с точки зрения эпистемологии"), физические объекты и гомеровские боги не имеют родовых отличий и различаются только в степени интерпретированности, подкрепленности актуальной концептуальной схемой.
По-видимому, интенция Куайна состоит именно в том, что принятие онтологической относительности решает проблему “бороды Платона” среди прочих. Но так как его самый общий критерий для онтологической относительности утверждает, что онтологические обязательства языка определяются минимальным составом его связанных переменных, а в естественных языках мы практически не имеем дела с предложениями с переменными, то этот критерий может работать лишь постольку, поскольку (помимо прочих) решена проблема установления однозначной корреляции между референциально значимыми фрагментами естественных языков и языком логики (в частности, теории квантификации), которая бы оправдывала парафразы предложений естественного языка в требуемые логические формы — например, переводящие предполагаемые имена в позиции предикатов.

Разумеется, было бы наивно требовать полной формализации естественного языка и считать отсутствие такой возможности провалом критерия онтологической относительности. Однако в любом случае речь идет о минимальном наборе переменных; вопрос в том, может ли он быть обнаружен без трансформации семантических категорий. Если принимать, по-расселиански, что при предикатах-константах имена выполняют роль переменных, то референции собственных имен и других единичных терминов следует понимать как переменные при предикатах. Но, если, как Куайн, отказывать в существовании в естественных языках особому классу собственных имен (разве что по идиоматическим функциям остающихся таковыми), то тогда роль таких переменных вообще переходит к самим объектам из объема квантификации.

Формально критерий онтологической относительности ("существовать значит быть значением квантифицированной переменной") выглядит так. В стандартной семантике условия истинности кванторного выражения формулируются следующим образом: $(\exists x)\ F(x)$ истинно тогда и только тогда, когда существует объект, выполняющий $F(x)$. Поскольку эта формулировка представляет собой эквивалентность, мы можем рассматривать ее не только в качестве определения

условий истинности квантификации, исходя из существования объекта, но и наоборот — как вывод о существовании объекта, исходя из истинности кванторного выражения. Подобное обращение является основой использования формализованных языков для выявления объектов, допускаемых теорией. Далее, критерий онтологической относительности может быть переформулирован как критерий онтологических допущений, выявляющий объекты, существование которых следует из предположения об истинности формализованной теории. Последний также является не чем иным, как обращением положения стандартной семантики, гласящего, что существующие объекты могут быть обозначены, а заключающие о них пропозиции могут иметь истинностное значение.

Отсюда принято выводить неправомерность универсального онтологического прочтения экзистенциального квантора и критерия Куайна как выражающих именно реальное существование, поскольку в стандартной семантике в качестве объектов могут рассматриваться и мысленные объекты.

Форма аргумента Куайна такова:

T истинно.

T имеет обязательство к (is committed to) *F*.

Следовательно, существует *F*.

T здесь — теория, т.е. множество предложений, которые должны быть дедуктивно замкнутыми.

Первая посылка устанавливается любым способом, релевантным для специфической рассматриваемой теории. Вторая интерпретируется в свете Куайнова критерия, переформулированного как критерий онтологического обязательства, а именно: *T* имеет онтологическое обязательство к *F* только и если только *F* квантифицируется среди объектов в диапазоне кванторов предложений *T* таким образом, чтобы все предложения *T* были истинными.

Критики Куайнова критерия онтологического обязательства показали, что, поскольку в качестве объектов могут рассматриваться и мысленные объекты, онтологическое обязательство не является отношением между теорией и объектом или множеством объектов. Для приписываний онтологического обязательства "*T* имеет обязательство к *F*", где *F* заменено сингулярным предикатом, критерием является то, что *T* имплицирует предложения формы "$(\exists x)\ Fx$". Аргумент принимает следующую форму:

T истинно.

T имплицирует предложения формы $(\exists x)\ Fx$.

Следовательно, существует *F*.

Однако здесь возникают новые возражения. В частности, во второй посылке обнаруживается допущение, что кванторы в предложениях *T* должны интерпретироваться объектно. Поэтому для валидности аргумента мы нуждаемся в

дополнительной посылке, согласно которой логическая форма предложений должна быть дана в терминах объектной квантификации[6]. Но по крайней мере не очевидно, что такая посылка истинна.

Возражение этой посылке основано на истинности предложений вида

(1) Пегас – крылатый конь.

Это истинное предложение имплицирует

(2) ($\exists x$) (x – крылатый конь)

Можно защитить наши полагания о несуществовании крылатых коней, используя для (2) подстановочную интерпретацию. Аналогичным образом, можно полагать, что

(3) ($\exists x$) N(x = 9)

(где N – знак необходимости), потому что

(4) N(9 = 9)

несмотря на то, что

(5) 9 = число планет & ~N(число планет = 9)

Но объектная интерпретация (3) (и прочтение термина "число планет" как единичного) делает конъюнкцию (4) и (5) противоречивой. Подстановочная интерпретация позволяет каждому предложению (3) - (5) быть истинным[7].

Различие между объектным и подстановочным типами семантической интерпретации состоит в следующем. Референциальные системы описания имеют четко очерченную онтологию: превращение формальных схем в утверждения о внешнем мире происходит при подстановке в схемы вместо переменных имен существующих объектов. В соответствии с этим подходом интерпретация семантического аппарата должна быть релятивизована к некоторой (в общем случае произвольной) области объектов. Переменные пробегают по этой области,

[6] Термины "объектная квантификация" и "подстановочная квантификация", являясь общепринятыми, тем не менее не вполне точны, так как речь идет об интерпретации квантора. Точнее было бы говорить resp. "квантификация на множестве объектов" и "квантификация на множестве терминов".

[7] См.: Marcus R.B. "Modalities and Intensional Languages," in: Marx Wartofsky, ed., Boston Studies in the Philosophy of Science (Dordrecht: Reidel, 1963), pp. 77-96.

а индивидные константы (имена) обозначают ее фиксированные объекты. Формулы вида $(\exists x)\ F(x)$ истинны тогда и только тогда, когда в универсуме рассмотрения существует по крайней мере один объект, выполняющий F. Поэтому вопрос о статусе имен в теории становится особенно важным, когда речь идет о том, какие объекты существуют с точки зрения данной теории.

Подстановочная интерпретация предполагает другой взгляд на функцию формальной системы в построении значимых высказываний: эта теория вообще ничего не говорит о существовании объектов. Значениями переменных являются не объекты, а термины. Предложение вида $(\exists x)\ F(x)$ истинно ттт, когда найдется хотя бы один термин, подстановка которого на место переменной в открытое предложение $F(x)$ дает истинное предложение. Подстановочный квантор $(\exists x)$ не имеет экзистенциального прочтения, а определение условий истинности кванторных выражений осуществляется без непосредственного привлечения теории референции и не вызывает характерных затруднений с модальными, косвенными и другими референциально непрозрачными контекстами. В этом типе метатеории ничего не говорится об онтологии формализуемой теории. Каждый объект представляется термином; иначе говоря, предполагается, что с точки зрения метатеории (формализованной теории) нет никакой разницы между объектом и термином. Это означает, что подстановочный тип теории применим там, где каждый объект имеет имя, и является такой ревизией референциального типа теории, при которой элиминируются все вопросы указания на объект. Так, в подстановочной теории универсальная квантификация истинна, когда она истинна при подстановке всех терминов, а не для всех значений переменной, как в референциальной теории. Соответственно, все объекты теории референциального типа могут быть представлены знаками теории подстановочного типа.

Контраргумент здесь состоит в следующем: позиция, с которой наше предложение (1) истинно, плохо согласуется с нашим полаганием, что предложение

(6) Нынешний король Франции лыс.

не истинно. Полагаем ли мы (6) ложными или испытывающим недостаток истинностного значения в целом, мы в любом случае не можем признать его истинным по той причине, что единичный термин, который является его грамматическим подлежащим, не имеет референта, как и в предложении (1). Очевидно, что утверждения вида

(7) У Мэри был крылатый конь.

отвергаются на том основании, что никаких крылатых коней не бывает, поэтому Мэри вряд ли могла бы иметь такое животное, при всем ее на том — пусть понятном — желании. Это предполагает объектное прочтение квантора "не бывает". Наконец, если (1) должно быть истинным, то его условия истинности должны сильно отличаться от условий истинности таких поверхностно подобных предложений, как (7). Это различие должно объяснить, как получается, что, хотя предложение (2) может кем-то полагаться истинным, есть и другой смысл, в

котором оно наверняка является ложным, так как в (некоторой) действительности никаких крылатых коней не бывает. Если проведено это различие в условиях истинности, то (1) и (2) должны рассматриваться как неоднозначные и должны быть заменены парами предложений, логические формы которых более ясно указывают их содержание. С точки зрения сторонников объектной квантификации, (1) и (2) должны получить объектную интерпретацию и, следовательно, считаться ложными. Смысл, в котором они могут полагаться истинными, получит парафраз в терминах полаганий некоторых (определенных) людей, или импликаций в некотором корпусе литературных текстов, или истины в некоторых возможных мирах.

Таким образом, обращение к нашим полаганиям относительно (1) и (2) само по себе не требует обращения к подстановочной квантификации. И поскольку возможны референциальные интерпретации (3) - (5), делающие каждое из этих предложений истинным[8], то не обязательно интерпретировать (3) подстановочно. Однако отсюда еще не следует, что логическая форма предложений непременно *должна* быть дана в терминах объектной квантификации.

Если мы назначаем логическую форму первого порядка всем предложениям в множестве *S* и принимаем первопорядковое исчисление как адекватное для выражения логической импликации, то мы можем точно сказать, какие именно члены *S* связаны отношениями импликации. Такое обязательство может быть поддержано или оспорено обращением к нашим полаганиям о логических импликациях *S*. Таким образом, аргумент

Рост Бориса – 1 метр 70 см, и рост Владимира – 1 метр 70 см.

Поэтому Борис и Владимир одного роста.

и другие подобные, состоящие из предложений такого вида, имеют форму

$H(B, 1\text{-}70)\ \&\ H(V, 1\text{-}70)$

$(\exists x)\ [H(B, x)\ \&\ H(V, x)]$

Если мы используем объектную квантификацию в назначении логической формы, то истинность составляющих импликацию предложений зависит от существования чисел – иными словами, если мы решаем назначить предложению "Борис и Владимир одного роста" форму $(\exists x)\ [H(B, x)\ \&\ H(V, x)]$, и при этом полагаем, что это предложение истинно, то мы принимаем онтологическое обязательство к числам, практически по-пифагорейски полагая их существующими наравне с обоими этими людьми. Но если мы рассматриваем основания, на которых мы можем обосновывать принятие решений и наличие полаганий, то мы видим, что подобное обязательство не может послужить нам таким основанием. Основанием для назначения логической формы выступают скорее наши полагания о логической импликации — основанные, в свою очередь, на данных наблюдения, определенных умозаключениях или прецедентах, или на чем бы то ни было, что является релевантным в нашей концептуальной схеме. Но было бы весьма дискуссионным признать за логикой настолько прямое и незатейливое каузальное воздействие на онтологию. Следует скорее признать, что те основания, на которых мы проводим назначение логической формы и на которых мы верим предложениям, получающим эту логическую форму, недостаточны для решения

[8] См.: Linsky L. "Reference, Essentialism, and Modality," in his Reference and Modality (New York: Oxford, 1971), pp. 88-100.

онтологических вопросов. Таким образом, мы должны отклонить требование, согласно которому логическая форма предложений должна быть дана в терминах объектной квантификации.

Этот аргумент был предложен в поддержку подстановочной семантики[9], но равно относится ко всем случаям назначения логической формы. Даже в тех случаях, когда подстановочная интерпретация оказывается неподходящей, отсюда еще не следует, что мы должны употребить объектную интерпретацию. Скорее, мы должны решить, действительно ли мы приветствовали бы онтологические обязательства, которые повлечет за собой объектная интерпретация, и на этом основании (по крайней мере, частично) мы можем решить, следует ли употребить референциальную семантику для такой теории.

Здесь возникает онтологический аргумент против подстановочной квантификации, основанный на описании значения предикатов в терминах семантической концепции истины Тарского. Определение истины для языка при использовании подстановочной квантификации сможет имплицировать инстансы схемы Тарского (' ... истинны только и если только --- ') только тогда, когда оно будет встроено в теорию, в которой обозначение является определимым — что, таким образом, делает возможной для этого языка референциальную семантику[10]. Кроме того, метаязык будет должен иметь такие аксиомы, что все в диапазоне кванторов имело бы имя, и что каждое имя называло бы нечто в диапазоне кванторов. Если бы это было истинно, то у обращения к подстановочной квантификации не было бы никакое онтологического значение. Поскольку в конечном счете нам понадобится определение истины для нашего объектного языка, то это восстановит в метаязыке все онтологические обязательства, которых мы хотели избежать.

В этом аргументе может быть оспорено представление о роли Т-эквивалентностей (biconditionals) в утверждении определения истинности. Если цель состоит в том, чтобы гарантировать онтологическую адекватность определения истинности, то не необходимо, чтобы инстансы (Т) были логическими следствиями определения: достаточно, чтобы они оставались истинными при замене 'истинно' на definiens, потому что любой предиката, заменяющий 'истинно' во всех случаях (Т) без изменения их истинностного значения, будет иметь объемом все истинные предложения объектного языка, и только их. Поскольку в этом состояла цель, установленная Тарским для Т-эквивалентностей, постольку они должны быть логическими следствиями определения: для того, чтобы мы могли знать, что определение истинности является онтологически адекватным, мы будем должны знать, что замена 'истинно' на definiens оставляет истинные Т-эквивалентности. При этом последние должны будут следовать из определения наряду со всеми другими предложениями, выражающими наше знание относительно терминов, в которых дается *definiens*. Возможно и другое понимание роли Т-эквивалентностей, согласно которому определение истинности должно объяснять каждый инстанс (Т). Однако нельзя ожидать объяснения (чем бы его ни считать) Т-эквивалентностей от одного лишь определения — скорее для этого потребуется

[9] См.: Gottlieb D. "Reference and Ontology". The Journal of Philosophy, vol. LXXI, 17, (Oct. 10, 1974), pp. 587-599.

[10] См.: Wallace J. "On the Frame of Reference," Synthese XXII, 1/2 (December 1970): 117-150; "Conventional T and Substitutional Quantification," Nous, V, 2 (May 1971): 199-212. Верный последователь Дэвидсона Уоллес воспроизвел здесь его ход, согласно которому теория значения валидна лишь будучи встроенной в теорию интерпретации.

теория истины для определения и других значимых элементов словаря *definiens*. Следовательно, мы требовали бы выводимости из полной теории, а не из одного только определения. Таким образом, онтологический аргумент против подстановочной квантификации сводится к следующему: чтобы знать, что она материально корректна, мы нуждаемся в метаязыке, который сам делает онтологические обязательства, которых мы пробовали избежать путем обращения к подстановочной семантике.

Поэтому контраргумент в пользу подстановочной квантификации здесь может состоять в следующем. Проверка правильности определения истинности потребует доказательства Т-эквивалентностей определения. Но наши стандарты доказательства могут различаться в зависимости от порядковости предикатов. Для объектной интерпретации это выводимость первого порядка, но когда кванторы получают подстановочную интерпретацию, то исчисление первого порядка оказывается семантически неполным. Нас интересует, зависит ли правильность подстановочного определения истинности от удовлетворительности Т-эквивалентностей. Если мы принимаем, что при подстановочной интерпретации кванторов определение истинности имплицирует Т-эквивалентности, то можно рекурсивно получать Т-эквивалентности для квантифицированных предложений без обращения к исчислениям первого порядка. В этом случае Т-эквивалентности установлены при помощи предиката 'быть истинным', и таким образом мы можем без обращения к референциальной семантике знать, что подстановочная характеристика истинности правильна.

Возможно расширение онтологического аргумента против подстановочной квантификации, связанное с тем, что даже при подстановочной интерпретации экзистенциальный квантор имеет подлинное требование выразить понятие существования. Согласно Куайну, так как подстановочная квантификация валидна вне зависимости от того, каков класс замены, то наделение ее референциальным смыслом вынудило бы нас признать, что предложения типа '(∃)) ((2+2=4))' затрагивают нашу онтологию. И это вынудило бы нас расценивать ')' как нечто имеющее референцию, что абсурдно. Кроме того, Куайн утверждает, что ограничение класса подстановок единичными терминами влечет за собой обращение к объектной квантификации, так как единичный термин – это именно термин, который может занимать место связанной переменной, интерпретируемой объектно. Здесь возможно следующее возражение: объектная квантификация может начинаться с "основного класса" единичных терминов, который затем пополняется новыми единичными терминами, заменяющими уже только подстановочные переменные. С такой точки зрения сам тот факт, что подстановочная интерпретация дает условия истинности для квантифицированных предложений, означает, что можно говорить об их объектах как о существующих[11]. Однако здесь естественно контрвозражение: далеко не всякое заключение об истинности будет онтологическим утверждением. Иными словами, можно ли утверждать, что подстановочная квантификация способна выразить понятие существования? Например, действительно ли Куайн считает, что это не так?

Квантор не является объектным или подстановочным сам по себе: таким или другим делает его интерпретация, и это очевидно не исключает возможность дальнейшей дополнительной интерпретации. Куайн утверждает, скорее, что при

[11] См.: Parsons C. "A Plea for Substitutional Quantification". The Journal of Philosophy, vol. LXVIII, 8 (April 22, 1971), pp. 231-237.

подстановочной интерпретации квантора не принимаются никакие онтологические обязательства *per se*. Таким образом, просто определить класс подстановок и дать подстановочное определение истинности не означает непременно принимать те или иные онтологические обязательства; но при этом и не устраняется возможность принятия таких обязательств. Тогда, строго говоря, никакой аргумент не угрожает возможности использования подстановочной квантификации онтологически нейтральным способом.

По мнению Куайна, употребление подстановочной квантификации не позволяет избежать онтологических обязательств, а скорее не в состоянии раскрыть их. Если мы применяем референциальную интерпретацию '($\exists x$) Fx', то у нас возникают проблемы с онтологическим обязательством к F. Однако, если мы можем дать нереференциальный семантический анализ нашего языка, почему бы не предположить, что мы не используем референцию? В конце концов, сам Куайн убеждает нас не приписывать выражению референцию, пока лингвистическое поведение ребенка или аборигена не вынуждает нас переводить его референциально. Кроме того, предположение Куайна, что подстановочная интерпретация направлена только на абстрактные объекты, может быть подвергнуто сомнению, если мы расширяем нашу онтологическую перспективу. Например, может утверждаться, что подстановочная квантификация вполне способна заменить референцию для любого вида сущностей, условия идентичности которых неясны, типа событий. Но означает ли применение подстановочной интерпретации само по себе отказ от признания возможности или релевантности референции?

Анти-подстановочный пафос Куайна таков. В мире Куайна существуют физические объекты и классы. Поскольку причиной применения подстановочной интерпретации, согласно Куайну, является стремление избежать введения абстрактных объектов, кванторы теории множеств получают подстановочную интерпретацию. Если мы позволяем свободные объектные переменные в определении класса и если имеются объекты, не выделяемые единственным образом, то мы получаем аномальные результаты[12].

Пусть 'Y' — определение класса, которое является истинным для некоторых объектов, но ни для одного, который может быть выделен уникально. Класс Y состоит из членов u, каждый из которых удовлетворяет условию

$\{y\colon u = y\}$ есть единичный подкласс Y & $u = u$.

Следовательно, каждый u удовлетворяет

($\exists Z$) (u есть единичный подкласс Y & $u = u$).

Но

($\exists Z$) (Z есть единичный подкласс Y)

ложно, так как требует, чтобы замкнутое определение класса выделяло некоторого члена единственным образом, что нарушает описание Y.

Однако допущение свободных объектных переменных в определении класса объяснимо только, если использование подстановочной квантификации направлено на объяснение лингвистически зависимых родов существования. Если объемы предикатов существуют, то было бы несколько произвольно не допускать

[12] См.: Quine W.V.O. The Roots of Reference. La Salle, Ill.: Open Court, 1973, ch. III.

существование {*x*: *Fxy*} для каждого *y*, вне зависимости от того, действительно ли мы можем уникально определить *y*. Но если наша цель состоит в том, чтобы избежать референции к классам в целом, чтобы избежать вопроса об их существовании, то нет никакой причины для разрешения открытых определений класса как подстановок для '*Z*' в '(*Z*) *FZ*', а аномалия Куайна показывает, почему такое разрешение неправомерно.

Можно также предположить присвоение каждому объекту имени через систему пространственно-временных координат. Куайн возражает на это, что использование такой системы координат требует квантификации на числах (или заменяющих их множествах). Если мы считаем, что ряд натуральных чисел бесконечен и интерпретируем квантификацию объектно, то в нашу теорию не укладывается бесконечность абстрактных объектов. А если мы интерпретируем квантификацию подстановочно, то когда мы даем условия истинности в метаязыке, мы должны будем принять существование бесконечного ряда абстрактных числовых выражений.

Последнее возражение связано с интенцией Куайна к созданию арифметики с неуказанными конечными границами[13] и его предположением, что метаязык, на котором даются условия истинности, должен интерпретироваться объектно. Однако последнее – не факт: не исключено, что мы можем интерпретировать метаязык подстановочно[14]. Квантор метаязыка может получать подстановочную интерпретацию, чтобы показать что данный смысл квантификации на естественном языке является подстановочным.

Итак, для аналитического подхода может признаваться эпистемологически важным, чтобы онтологии строились в зависимости от семантических особенностей, а не наоборот. Критерий Куайна имеет именно такую интенцию — поставить онтологию в зависимость от семантики, но, как мы видели, допущения, связанные с подстановочной квантификацией, ставят под сомнение однозначность такой зависимости. Поэтому семантические характеристики должны быть нециркулярными и онтологически независимыми. Вообще говоря, требование метафизической независимости признается традиционно важным для построения релевантной семантики. Ход Дэвидсона, легший в основу последней, повторяет форму хода Куайна с критерием существования и онтологической относительностью — инверсию семантического критерия "нечто имеет значение". Обращая отношение, получаем: "имеющее значение есть нечто", т.е. "быть значением (квантифицированной переменной) значит существовать". Аналогичным образом критерий Тарского "значение дает истину" обращается в "истина дает значение".

Сам принцип онтологической относительности инвертирует тезис семантической относительности, представленный принципом лингвистической относительности Сепира — Уорфа[15], или, более широко, эпистемологическими идеями о концептуальной относительности — например, Гудмена и Патнэма. Так, Гудмен

---

[13] См.: Goodman N., Quine W. "Steps toward a Constructive Nominalism". – In: Goodman N. Problems and Projects. (Indianapolis: Bobbs and Merrill, 1972). Ср. также программу перевода на первопорядковый язык, выдвинутую Хинтиккой: Hintikka J. The Principles of Mathematics Revisited. (Cambridge: Cambridge University Press, 1998).

[14] См., напр.: Dunn M., Belnap N. "The Substitution Interpretation of the Quantifiers," Nous, II, 2 (May 1968): 177-185.

[15] См. далее § 10.2; более подробно см.: Лебедев М.В. Стабильность языкового значения. М., 1998. С. 82-95.

считает, что "версия принимается за истинную тогда, когда она не ущемляет никаких устойчивых полаганий и ни одного из своих собственных предписаний"[16]; но не предлагает это как определение предиката 'быть истинным'. Гудмен сообщает нам, что сама истина является только одним аспектом более общего свойства, которое он называет правильностью, так же, как утверждение суждений и референциальное использование языка представляет только один вид символического функционирования (наряду с выражением и экземплификацией). Истина и правильность могут иногда находиться в противоречии, даже в науке — например, в тех случаях, когда нам нужен ясный, но лишь приблизительно истинный общий закон скорее, чем строго истинное утверждение, которое перегружено не-необходимой информацией. Истина применима только к версиям, которые состоят из утверждений; согласно Гудмену, она зависит от правдоподобия (credibility) и когерентности, т.е. фактически это верификационистская семантика. Гудмен говорит, что мы понимаем наши языки в терминах схватывания состояний обоснованной утверждаемости и "правильности", а не схватывания "условий истинности" в традиционном реалистическом (корреспондентском, который Тарский называет "аристотелевым") смысле. Истина, с разделяемой Гудменом точки зрения — идеализация обоснованной утверждаемости.

Последнее понятие (warranted assertibility) Патнэм предлагает как раскрытие Гудменова понятия правдоподобия. Патнэм применяет к обсуждению истины Гудменом свою концепцию индексикалов[17]. Он рассматривает позицию человека, считающего, что надо держаться версий, предписаний, устойчивых полаганий, и так и поступающего, полагая, что нет никаких доводов в пользу его выбора за исключением того, что это — его экзистенциальный выбор. Позиция такого человека могла бы быть логически проанализирована следующим образом: она такова, будто он решил, что 'истинный' и 'правильный' — индексальные слова. 'Истинный' (или скорее, 'обоснованно утверждаемый') означает "истинный для меня" — то есть находящийся в соответствии с моими предписаниями и устойчивыми полаганиями, а 'правильный' означает "правильный для меня" — то есть находящийся в соответствии с моими стандартами и представлениями о правильности. Тогда все, что Гудмен сообщает о том, как мы строим версии миров из других версий, о том, что мы не начинаем *ex nihilo*, о предписаниях и устойчивых полаганиях, можно сказать и о предикате 'истинный для меня'.

Таким образом, на более общем эпистемологическом уровне теория истины может иметь форму ограничений, накладываемых на принцип концептуальной относительности, причем коррелирующих с теми ограничениями, которых, как представляется, требует применение принципа онтологической относительности (в первую очередь подстановочная квантификация). Поскольку Дэвидсонова семантика наследует от Тарского требование онтологической нейтральности, причем это требование для нее также конститутивно, можно предположить, что характерная (как минимум, одна из характерных) для аналитическй философии теория значения как условий истинности должна иметь форму ограничений, накладываемых на семантическую относительность (или, более специфично,

[16] Goodman N. Ways of Worldmaking. Indianapolis, 1978. Ch. 1, sec. 5.
[17] См.: H. Putnam. "Reflections on Goodman's Ways of Worldmaking", Journal of Philosophy, 76 (1979), pp. 603-618. См. также: Лебедев М.В. Создание звезд: кому это нужно? http://www.philosophy.ru/library/goodman/about_star.htm

истинностный релятивизм), сопоставимых с ограничениями, накладываемыми на онтологическую относительность.

7.3 Холистичность теории интерпретации Д.Дэвидсона

Семантика Дэвидсона развивалась в полемике с представлениями Куайна о переводе, где понятие 'перевод' понимается как включающее интерпретацию того, что говорится на нашем родном или другом известном мне языке, а не только на незнакомых нам иностранных языках. Как и Дэвидсон (и по аналогичным верификационистским основаниям), Куайн отклоняет идею о наличии самостоятельных фактов относительно того, что люди подразумевают. Подобно Дэвидсону, он считает, что для того, чтобы интерпретировать то, что говорят другие люди, назначая значения словам и предложениям, надо построить теорию, состоящую из множества гипотез, который соответствовали бы физическим фактам, но не какой-то дополнительной и независимой истине не-физического рода. Заключение, к которому приходит Куайн, таково: теория, выдвигаемая, чтобы интерпретировать речевое поведение другого говорящего, будет всегда радикально недоопределена очевидностью (если только она не ограничится произнесениями очень простого рода). Она останется недоопределена, даже если мы будем знать все факты о физическом мире, включая факты о пространственных и временных расположениях объектов и их склонностях вести себя специфическими способами в специфических обстоятельствах, поскольку нам всегда будут доступны альтернативные теории, который одинаково хорошо удовлетворяют этим физическим фактам.

Выбор между этими альтернативными теориями не может быть определен никакими физическими фактами, т.к. никакие факты не могут сделать одну теорию правильной, а другие неправильными. Это относится не только к переводу текстов, порождаемых на иностранных языках, но и к интерпретации текстов, порождаемых другими говорящими на родном языке интерпретатора (или просто на одном и том же языке). Последнее сводится к следующему: естественно интерпретировать использование слов и предложений другими людьми, отображая их выражения на мои собственные выражения, которые звучат или выглядят так же в сходных обстоятельствах; другими словами, естественно предположить, что другие люди используют эти выражения с тем же значением, что и я сам. Но эта гипотеза, хотя и удобна, является не единственной совместимой с физическими фактами, и, следовательно, не имеет никакого специального требования правильности. Таким образом, согласно Куайну, гипотезы перевода не просто *недоопределены* доступной нам очевидностью — они фактически *неопределены*, т.к. нет никакой истины, относительно которой они были бы правильны.

Куайн делает такое заключение, потому что считает, что единственное, что может определять правильность интерпретации — это физическая очевидность, которая может включать информацию о возбуждениях сенсорных рецепторов и о поведенческих и диспозициональных характеристиках, но никогда не может включать информацию о том, что кто-то подразумевает под своими словами, так как то, что они означают, может быть проявлено только физически[18]. Гипотезы,

[18] См.: Quine W.V.O. Word and Object. Cambridge Mass., 1960. Ch.2; Quine W.V.O. 'On the Reasons for

которые мы расцениваем как приемлемые — это те гипотезы, в которых соблюдается то, что Куайн называет "принципом милосердия" (или "принципом доверия" — principle of charity): везде, где возможно, мы должны интерпретировать то, что кто-то говорит, таким способом, чтобы получилось истинное — или, по крайней мере, разумное в сложившейся ситуации — высказывание. Однако для Куайна это только вопрос удобства, и интерпретации, которые нарушают этот принцип, не являются ложными по одной только этой причине.

Совершенно иной смысл придает принципу доверия Дэвидсон: он делает его конститутивным — так, чтобы именно этот принцип использовался для того, чтобы определять правильность интерпретации. Таким образом, для Дэвидсона физические факты — не единственные детерминанты правильной интерпретации, и он может отклонять как ложные те гипотезы, которые Куайн лишь маркирует как неудобные и неестественные. Причина этого различия в том, что Дэвидсон видит цель построения психологической и семантической теории языкового поведения в объяснении того,что делает это поведение рациональным, а теории, которые приписывают людям абсурдные полагания, терпят неудачу в этой задаче. Построение перевода того, что кто-то говорит — только часть полной теории, которая стремится интерпретировать языковое поведение субъекта в целом (насколько оно поддается рациональной интерпретации), приписывая ему полагания, желания, вообще интенциональные ментальные состояния. Конечно, в некоторых обстоятельствах будет уместно приписать именно нерациональные полагания, но такое приписывание может быть законно только на таком когнитивном фоне, который делает эти полагания и желания в некоторой мере понятными в свете тех обстоятельств, в которых они возникают и поддерживаются, или в контексте полной теории, которая делает поведение человека рациональным бо́льшую часть времени, но оставляет место для случайного провала. Именно поэтому, например, мы воспринимаем оговорки как оговорки, в сравнении с реконструируемым (с учетом условий) правильным высказыванием, а не как нечто самостоятельное[19] — нам понятно, что человек "хотел сказать" — и здесь действует тот же механизм, что и в той ситуации, когда некто Курт говорит "Es regnet", и мы, при соответствующих условиях, понимаем, что он сказал, что идет дождь[20]. Следовательно, нужно интерпретировать убеждения другого человека как (по крайней мере, главным образом) рациональные, и соответственно понимать те предложения, которые их выражают. Это не отменяет неопределенности перевода, поскольку в некоторых обстоятельствах альтернативные интерпретации одинаково хорошо выполняют сложную задачу удовлетворения и физическим фактам, и требованию милосердия.

Чтобы интерпретировать убеждения и желания другого человека как в целом рациональные, надо ассимилировать эти убеждения, насколько возможно, к нашим собственным, поскольку мы очевидно считаем рациональным полагать то, что истинно, и относимся к нашим собственным убеждениям как к истинным. Это требование не универсально в том отношении, что любой человек может иногда

Indeterminacy of Translation' — Journal of Philosophy LXVII, 1970; Quine W.V.O. 'Indeterminacy of Translation Again' — Journal of Philosophy LXVII, 1987.

[19] См.: Davidson D. 'A Nice Derangement of Epitaphs' — In: LePore E. (ed.) Truth and Interpretation. Perspectives on the Philosophy of Donald Davidson. Ox., 1986. Pp. 433-447.

[20] См.: Davidson D. 'Radical Interpretation' — In: Inquiries into Truth and Interpretation. Ox, 1984. P. 125.

иметь ложные полагания, поскольку возможны такие обстоятельства, в которых непосредственное (и, возможно, наиболее рациональное в смежных контекстах) убеждение будет ошибочным — например, из-за ограниченной очевидности. Но в таких ситуациях каждый знает, как исправить ошибку, и если мы интерпретируем речевое поведение некоторого говорящего как рациональное, то мы тем самым признаем за ним достаточную способность к такому исправлению, проверке, обращению к смежным контекстам и т.п. Если мы вообще приписываем какие-то значения языковым выражениям, порождаемым другими людьми, то мы должны считать большинство их убеждений истинными или, по крайней мере, что у этих людей в основном те же самые сенсорные полагания, что были бы у нас самих в этих обстоятельствах, и что они руководствуются в основном теми же принципами для достижения более сложных истин, что и мы.

Но это означает, что Дэвидсон намного меньше учитывает неопределенность, чем Куайн. Стратегия Дэвидсона состоит в том, чтобы включить формальную структуру теории значения (структуру, которую он находит в теории истины Тарского) в более общую теорию интерпретации, основы которой он наследует от Куайна. Понятие "радикальный перевод" было введено Куайном как идеализация проекта перевода, который покажет этот проект в его самой чистой форме. Обычно задаче переводчика помогает предшествующее лингвистическое знание — или действительного языка, с которого должен быть переведен текст, или некоторого связанного с ним языка. Куайн рассматривает случай, в котором перевод языка должен произойти без какого бы то ни было предшествующего лингвистического знания и исключительно на основе наблюдаемого поведения говорящих на языке в конъюнкции с наблюдением основных перцептуальных возбуждений, которые вызывают это поведение. Концепция доступной поведенческой очевидности Дэвидсона шире, чем Куайна: Дэвидсон допускает, что мы можем, например, идентифицировать говорящих как имеющих позицию "считать истинным" относительно предложений, и, кроме того, отклоняет настояние Куайна на специальной роли, отводимой простым перцептуальным возбуждениям. С точки зрения Дэвидсона, можно редуцировать неопределенность и другим способом: единственный удовлетворительный способ перевода предложений другого говорящего на мой собственный язык — построение экстенсиональной аксиоматизированной теории истины в духе Тарского для этого языка другого говорящего, которая накладывает дальнейшие ограничения на то, как этот язык может быть интерпретирован. Центр интересов Дэвидсона ближе к семантике, чем Куайна (Куайн рассматривает радикальный перевод как часть прежде всего эпистемологического исследования), и в то же время Дэвидсон рассматривает теорию перевода как саму по себе недостаточную, чтобы гарантировать понимание языка, который мы переводим (перевод может быть на язык, который мы не понимаем), поэтому понятие "перевода" заменено в его теории понятием "интерпретации". *Радикальная интерпретация* — вопрос интерпретации лингвистического поведения говорящего "на пустом месте", не полагающейся ни на какие предшествующие знания или полагания говорящего, или значения произнесения говорящего.

Таким образом, противоречие, возникающее здесь между Куайном и Дэвидсоном — противоречие по поводу наличия привилегированного класса полаганий, а именно перцептуальных полаганий; применительно к теории обоснования это — контроверза фундаментализма/когерентизма. Рассмотрим подробнее, какую роль в семантике Дэвидсона играет когерентное обоснование.

Поскольку Дэвидсон отклоняет и скептические, и релятивистские позиции, в то же время настаивая на необходимости нередуцируемого основного понятия объективной истины[21], то его трудно позиционировать относительно метафизической контроверзы реализма/антиреализма. Позиция Дэвидсона бывала отнесена, в разное время и различными критиками, и к реализму, и к антиреализму; однако и реализм, и антиреализм одинаково неудовлетворительны с точки зрения Дэвидсона, так как ни то, ни другое не совместимо с холистическим и экстерналистским характером знания и полагания одновременно. Реализм делает истину недоступной, поскольку он допускает скептическую возможность, что даже наши лучше всего подтвержденные теории о мире могут быть ложными, тогда как антиреализм делает истину слишком эпистемической, поскольку отклоняет идею объективной истины. В этом отношении, как утверждает Дэвидсон, он не просто отклоняет определенные предпосылки, которые лежат в основе реалистических и антиреалистических позиций, но рассматривает самый спор между ними как по существу неверно понятый[22]. Радикальная интерпретация должна раскрыть то знание, которое требуется для того, чтобы лингвистическое понимание было возможным, но она не влечет никаких требований о возможной инстанциации этого знания в сознании переводчиков. Дэвидсон, таким образом, не дает никаких обязательств относительно подразумеваемой психологической действительности того знания, которое теория интерпретации делает явным. Несколько сложнее ему соблюдать онтологическую нейтральность в отношении того, каким образом теория значения должна объяснять возможность обозначать вещи в мире и служить теорией истины. Дэвидсон решает эту проблему введением третьего члена отношения — полаганий других людей, и этот ход определяет появление в его концепции когерентистской составляющей.

Основная проблема, которую радикальная интерпретация должна решить, состоит в том, что нельзя назначать значения произнесениям говорящего без того, чтобы знать, что он полагает, в то время как невозможно идентифицировать полагания без того, чтобы знать то, что произнесения говорящего означают; с такой точки зрения, мы должны дать и теорию полагания, и теорию значения в одно и то же время. Требование Дэвидсона состоит в том, что мы можем достичь этого применением принципа милосердия или доверия (Дэвидсон также упоминает его как принцип "рационального приспособления"). У Дэвидсона этот принцип, который допускает различные формулировки, часто предстает в терминах предписания оптимизировать соглашение между нами и теми, кого мы интерпретируем, то есть он рекомендует нам интерпретировать говорящих как имеющих истинные полагания (истинные с нашей точки зрения, по крайней мере) везде, где это возможно[23]. Фактически принцип может быть рассмотрен как объединение двух понятий: холистического предположения о рациональности полаганий ("когерентность") и предположения о каузальной связи полаганий — особенно перцептуальных — и предметов этих полаганий ("корреспонденция")[24]. Процесс интерпретации оказывается зависящим от обоих аспектов принципа:

---

[21] См.: Davidson D. Subjective, Intersubjective, Objective. Ox., Clarendon Press, 2001.
[22]. См.: Davidson D. 'The Structure and Content of Truth'. (The Dewey Lectures 1989), Journal of Philosophy 87 (1990), pp. 279-328.
[23] См.: Davidson D. 'Radical Interpretation' — In: Inquiries into Truth and Interpretation. Pp. 125-139.
[24] См.: Davidson D. 'Three Varieties of Knowledge' — In: Davidson D. Subjective, Intersubjective, Objective.

- приписывания полагания и назначения значения должны быть совместимы друг с другом и с общим поведением говорящего — когерентность;
- также они должны быть совместимы с очевидностью, предоставляемой нашим знанием об окружении говорящего, так как именно находящиеся в мире причины полаганий и должны, в самых основных случаях, быть приняты за предметы полаганий — корреспонденция.

Дэвидсон пишет:

> На пути глобального скептицизма по поводу наших чувств стоит, на мой взгляд, тот факт, что мы должны в самых простых и методологически наиболее базовых случаях считать объекты полаганий причинами этих полаганий. И то, какими мы, как интерпретаторы, должны их считать, и есть то, что они фактически суть. Коммуникация начинается тогда, когда совпадают причины: ваше высказывание значит то же, что и мое, если полагание о его истинности систематически причинно обусловлено одними и теми же событиями и объектами.
>
> (Понятно, что каузальная теория значения имеет мало общего с каузальными теориями референции Крипке и Патнэма. Эти последние обращаются к причинным отношениям между именами и объектами, о которых говорящий может ничего и не знать. Возможность систематической ошибки, таким образом, увеличивается. Моя каузальная теория занята обратным, связывая причину полагания с его объектом.)[25]

Поскольку доверие производит специфические приписывания полагания, постольку эти приписывания всегда отменяемы (defeasible) однако сам принцип не отменяем, так как он остается в теории Дэвидсона предпосылкой любой интерпретации вообще. Принцип доверия в этом отношении является принципом и ограничения, и предоставления возможности полной интерпретации: это больше, чем только эвристическое устройство, которое нужно использовать на начальных стадиях перевода.

Если мы считаем, что полагания говорящего, по крайней мере в самых простых и наиболее основных случаях, в значительной степени находятся в согласии с нашими собственными, а в таком случае в значительной степени истинны, то мы можем использовать наши собственные полагания о мире как руководящие принципы к ориентации в полаганиях говорящего. И, при условии, что мы можем идентифицировать простые ассерторические произнесения со стороны говорящего (то есть если мы можем идентифицировать позицию принятия за истину), взаимосвязь между полаганием и значением позволяет нам использовать наши *полагания* как руководящие принципы к ориентации в *значениях* произнесений говорящего — мы получаем основание и для элементарной теории полагания, и для элементарной теории значения. Так, например, когда участник коммуникации неоднократно использует некоторую последовательность звуков в присутствии того, что мы считаем кроликом, то мы в качестве предварительной гипотезы можем интерпретировать эти звуки как высказывание о кроликах или о некотором специфическом кролике. Как только мы провели предварительное назначение значений для существенного корпуса высказываний, мы можем проверять наши

[25] Davidson D. 'A Coherence Theory of Truth and Knowledge' — In: Davidson D. Subjective, Intersubjective, Objective.

назначения на дальнейшем лингвистическом поведении этого говорящего, изменяя эти назначения в соответствии с результатами. Используя нашу развивающуюся теорию значения, мы можем тогда проверить начальные приписывания полаганий, которые были произведены с применением принципа доверия, и, где необходимо, изменить также и эти приписывания. Это позволяет нам, в свою очередь, далее регулировать наши назначения значений, которое позволяет дальнейшее регулирование в приписывании полаганий, и таким образом процесс продолжается до тех пор, пока не будет достигнут некоторый вид равновесия. Развитие более точно настроенной теории полагания таким образом позволяет нам лучше регулировать нашу теорию значения, в то время как регулирование нашей теории значения в свою очередь позволяет нам лучше разработать нашу теорию полагания. Путем согласования приписываний полагания с назначениями значения, мы способны двигаться к общей теории речевого поведения для говорящего или говорящих, которая объединяет и теорию значения, и теорию полагания в единую теорию интерпретации.

Так как целью здесь является единая, объединенная теория, то ее адекватность должна быть измерена в терминах степени, до которой теория действительно обеспечивает объединенное представление всего доступного нам количества поведенческой очевидности (принятой в конъюнкции с нашими собственными полаганиями о мире) скорее, чем в отношении любого отдельного аспекта поведения. Это может рассматриваться как более общая версия требования к формальной теории значения — что теория значения для языка охватывает *все* высказывания на этом языке, хотя в контексте радикальной интерпретации это требование должно быть понято также как связанное с потребностью проявить внимание к нормативным соображениям общей рациональности. Прямое следствие этого холистического подхода состоит в том, что будет всегда иметься больше чем одна теория интерпретации, которая будет адекватна любой конкретной совокупности очевидности, так как теории могут отличаться по специфическим приписываниям полаганий или назначениям значения при том, что они будут давать одинаково удовлетворительную общую теорию поведения говорящего. Именно этот холистический отказ в уникальности, который Дэвидсон называет "неопределенностью" интерпретации и который соответствует "неопределенности перевода", также присутствует, хотя и с более ограниченным применением, у Куайна[26]. По теории Дэвидсона, хотя такая неопределенность часто остается незамеченной — на самом деле чаще для Дэвидсона, чем для Куайна (частично вследствие использования Дэвидсоном теории Тарского и, соответственно, потребности вписать структуру логики первого порядка в интерпретируемый язык), она тем не менее остается неустранимым признаком всякой интерпретации. Более того, неопределенность не должна рассматриваться просто как отражение некоторого эпистемологического ограничения на интерпретацию, а скорее отражает холистический характер значения и полагания. Это подразумевает отсылку скорее к общим образцам поведения говорящих, чем к дискретным объектам, к которым интерпретация должна так или иначе получить доступ. Действительно, холизм этого вида обращается не только к значениям и полаганиям, но также и к пропозициональным установкам вообще. Последние наиболее просто характеризуются как установки, определяемые в отношении пропозиции (считать, что на обед котлеты — вопрос принятия за истинную пропозиции, что на обед котлеты; желание, чтобы на обед были котлеты —

[26] См.: Fodor J., LePore E. Holism: A Shopper's Guide. Ox., 1992. Ch. 2.

вопрос желания, чтобы было истинным, что на обед котлеты), поэтому *содержание* установок этого вида всегда пропозиционально. Холизм Дэвидсона, таким образом — холизм, который применим к значениям, к установкам, а также к содержанию установок. Мы можем говорить о теории интерпретации Дэвидсона как о весьма общей теории того, как определено содержание сознания, или ментальное содержание (понимаемое как содержание пропозициональных ментальных состояний типа полагания): через каузальное отношение между говорящим и предметами в мире и через рациональное обобщение поведения говорящих.

Таким образом, поскольку подход Дэвидсона к теории значения подразумевает более общую теорию интерпретации, постольку его холистическое представление значения подразумевает холистическое представление ментального вообще и ментального содержания в частности. Поэтому тезис холизма вызывает критику Даммита, суть которой в том, что обязательство Дэвидсона к холизму не только вызывает проблемы относительно того, например, как язык может быть изучен (так как это потребует, чтобы изучающий понял весь язык сразу — тогда как изучение всегда идет постепенно), но также ограничивает способность Дэвидсона дать то, что Даммит рассматривает как адекватную теорию природы лингвистического понимания (так как это означает, что Дэвидсон не может дать теорию, которая объясняет семантическое в терминах не-семантического). Кроме того, обязательство Дэвидсона к неопределенности, которое следует из его холистического подхода, дает основания рассматривать его позицию как влекущую за собой некоторый антиреализм относительно сознания и относительно полаганий, желаний и т.д. Дэвидсон считает, однако, что неопределенность интерпретации должна быть понята аналогично неопределенности измерения. Такие теории назначают числовые значения предметам на основе эмпирически наблюдаемых явлений и в соответствии с некоторыми формальными теоретическими ограничениями. Там, где существуют различные теории, которые обращаются к одним и тем же явлениям, каждая теория может назначать различные числовые значения определяемым предметам (например, как шкалы Цельсия и Фаренгейта в измерении температуры), и все же не должно быть никакого различия в эмпирической адекватности этих теорий, потому что наиболее существенным является скорее полное представление о всех назначениях, чем значение, назначенное в любом специфическом случае. Так же и в интерпретации существенно важной является полная картина, которую теория находит в поведении, и которая остается инвариантной в различных, но одинаково адекватных теориях. Теория значения для языка, с такой точки зрения — теория именно этой общей картины.

Холистический подход оказывается связанным с представлением о конвенциональности значений. В теории интерпретации теория истины обеспечивает только формальную структуру, на которой основана лингвистическая интерпретация: такая теория должна быть встроена в более широкий подход, рассматривающий взаимосвязи между высказываниями, другими видами поведения и установками; кроме того, применение такой теории к действительному лингвистическому поведению должно также принять во внимание динамический и изменяющийся характер такого поведения. Последнее соображение ведет Дэвидсона к некоторым важным заключениям. Обычная речь полна неграмматическими конструкциями (которые даже сами говорящие могут признавать неграмматическими), неполными предложениями, метафорами,

неологизмами, шутками, играми слов и другими явлениями, которые не могут быть объяснены просто применением к произнесению ранее существующей теории языка, на котором говорят; в этом отношении лингвистическое понимание не может быть вопросом просто механического применения тарскианской теории. Хотя в ранних статьях Дэвидсон предлагает именно это, позже он меняет свою позицию, утверждая, что в то время как лингвистическое понимание действительно зависит от схватывания формальной структуры языка, структура всегда нуждается в модификации в свете действительного лингвистического поведения[27]. Понимание языка — вопрос непрерывного приспособления интерпретативных пресуппозиций (предположений, которые часто неявны) к высказываниям, которые нужно интерпретировать. Кроме того, оно требует таких навыков и знаний (воображение, внимательность к установкам и поведению других, знание мира), которые не определены лингвистически и которые являются частью более общей способности ориентироваться в мире и относительно других людей — способности, которая также сопротивляется формальному объяснению. С такой точки зрения, лингвистические конвенции (особенно лингвистические конвенции, которые принимают форму соглашения об использовании общих синтаксических и семантических правил), хотя и могут хорошо способствовать пониманию, не могут быть основанием для такого понимания.

В итоге вопрос "Что такое значение?" оказывается заменен у Дэвидсона вопросом "Что говорящий должен знать, чтобы понять произнесение другого?" Результатом этого становится теория, которая трактует теорию значения как обязательную часть намного более широкой теории интерпретации и, более того, намного более широкого подхода к ментальному. Эта теория холистична, поскольку она требует, чтобы любая адекватная теория рассматривала лингвистическое и не-лингвистическое поведение в их полноте. Как мы уже видели, это означает, что теория интерпретации должна

- принять композициональный подход к анализу значения;
- признать взаимосвязь установок и поведения, а также
- приписывать установки и интерпретировать поведение способом, ограниченным нормативными принципами рациональности.

Дэвидсон рассматривает приписывание людям понятий (и ментальных состояний вообще) как по существу проблематичное, поскольку очевидность для приписывания таких состояний другим — а следовательно, и себе — явно недостаточна для адекватного определения правильности приписывания. Физически заметно и доступно наблюдению, действительному или возможному, только то, что в некоторых контекстах люди произносят определенные специфические последовательности звуков или производят определенные последовательности письменных отметок, и что они отвечают на них специфическими способами, когда эти последовательности произведены другими людьми. В конечном счете это — все, о чем мы можем заключать, интерпретируя друг друга (проблема "перехода от физики к семантике"[28]). Приписывая этим звукам или отметкам значения, а индивидуумам, которые их делают — психологические состояния, мы строим теорию, которая выходит за пределы очевидности, и не только фактически доступной нам очевидности, но и

[27] См.: Davidson D. 'A Nice Derangement of Epitaphs' — In: LePore E. (ed.) Truth and Interpretation.
[28] См., напр.: Блинов А.Л. Общение. Звуки. Смысл. М., 1996. С. 7-9.

совокупности всей возможной очевидности, которая у нас могла бы быть. Что позволяет нам, несмотря на эту неочевидность, все же строить наши семантические теории — в том числе те, из которых мы неявно исходим в нашем повседневном общении? Это наличие дальнейших истин — истин о том, что люди думают и подразумевают, на которые имеющиеся у нас свидетельства очевидности могут указывать, но которые логически независимы от них. Согласно этому представлению, такие не-физические состояния дел были бы причиной или одной из причин наблюдаемого поведения, и предположение об их существовании в других людях привело бы к каузальной гипотезе, на основе аналогии с собственным интроспективным опытом. Контраргумент здесь будет состоять в том, что каузальная гипотеза может полностью соответствовать всей доступной очевидности, но все же быть ошибочной. Именно этот контраргумент Дэвидсон отклоняет: в его представлении, когда наша гипотеза о том, что кто-то другой означает и полагает, удовлетворяет физическим, поведенческим фактам, любые дальнейшие вопросы об истинности этой гипотезы неуместны. Он не отрицает, что такие гипотезы могут быть истинны (по крайней мере, в некоторых случаях) и не предполагает, что их содержание бихевиористично: они выражают психологические или семантические истины и не сводимы к описаниям потенциального физического поведения. Но Дэвидсон отрицает, что эти психологические и семантические факты могут быть самостоятельными и связанными с очевидностью исключительно каузальным способом. Скорее, их делает истинными то, что они дают объяснение рационального (или настолько рационального, насколько возможно) поведения человека — и ничто иное.

Таким образом, принцип рациональности носит в теории радикальной интерпретации когерентистский характер. Теория радикальной интерпретации фактически подразумевает сочетание холистического и экстерналистского тезисов: о зависимости пропозиционального содержания от рациональных связей между полаганиями или пропозициональными установками (холизм) и о зависимости такого содержания от каузальных связей между установками и предметами в мире (экстернализм). Это сочетание очевидно, как мы видели выше, в самом принципе доверия и его комбинации тезисов когерентности и корреспонденции. Оно определяет структуру теории знания, эксплицируемой из работ позднего Дэвидсона, и ее отчетливый антискептицистский пафос.

Дэвидсон считает, что установки могут быть приписаны (и таким образом пропозициональное содержание определено) только на основе треугольной структуры, требующей взаимодействия между по крайней мере двумя существами, также как и взаимодействия между каждым существом и множеством общих предметов в мире. Идентификация содержания установок — вопрос идентификации предметов этих установок, и, в основных случаях, предметы установок идентичны причинам этих же самых установок (подобно тому, как птица за окном — причина моего полагания, что за окном находится птица). Идентификация полаганий подразумевает процесс, аналогичный триангуляции, посредством которого позиция предмета определяется проведением линии от каждого из двух уже известных местоположений к предмету, и пересечение этих линий устанавливает его позицию. Точно так же предметы пропозициональных установок определяются нахождением предметов, которые являются общими причинами, т.е. общими предметами, установок двух или больше говорящих, способных к наблюдению и реакции на поведение друг друга. В итоге идентификация оказывается основанной на концептуальной взаимозависимости

между тремя способами знания: знанием себя, знанием других и знанием мира[29]. Так же, как знание языка не может быть отделено от нашего более общего знания мира, так, по мнению Дэвидсона, знание себя, знание других людей и знание общего, "объективного" мира формирует взаимозависимое множество понятий, никакое из которых не является возможным в отсутствие других.

Неразделимость этих видов знания имеет множество важных следствий. Поскольку наше знание нашего собственного сознания не независимо от нашего знания мира и нашего знания других, постольку мы не можем трактовать самопознание как наличие у нас доступа к некоторому множеству частных "ментальных" объектов. Наше знание о нас самих возникает только относительно нашей причастности к другим людям и относительно публично доступного мира. Но даже в этом случае мы сохраняем некоторую власть над нашими собственными установками и высказываниями просто в силу того факта, что эти установки и высказывания являются действительно нашими собственными[30]. Так как знание мира неотделимо от других форм знания, глобальный эпистемологический скептицизм — представление, что все или большинство наших полаганий о мире могут быть ложны — оказывается подразумевающим намного больше, чем обычно предполагается. Если бы действительно выяснилось, что наши полагания (все или большинство) о мире ложны, то это подразумевало бы не только ложность большинства наших полаганий относительно других людей, но также имело бы специфическое последствие сделать ложными большинство наших полаганий о нас самих — включая гипотезу, что мы действительно имеем эти специфические ложные полагания. Этого может быть недостаточно, чтобы показать ложность такого скептицизма, но этого достаточно, чтобы показать его глубокую проблематичность. Таким образом, способ, которым Дэвидсон отклоняет скептицизм, непосредственно вытекает из его принятия холистического и экстерналистского подхода к знанию и к содержанию установок вообще. Приписывание установок должно всегда проходить в сочетании с интерпретацией высказываний; неспособность интерпретировать высказывания (то есть неспособность назначать значения случаям предполагаемого лингвистического поведения) будет таким образом подразумевать неспособность приписать установки, и наоборот. Существо, которое мы не можем идентифицировать как способное к значащей речи, будет таким образом также существо, которое мы не можем идентифицировать как способное к обладанию содержательными установками. Одно из следствий этого представления состоит в том, что идее непереводимого языка — часто ассоциируемой с тезисом концептуального релятивизма — нельзя дать никакой последовательной формулировки; невозможность перевода считается очевидностью не существования непереводимого языка, а отсутствия языка любого вида.

Определяя холистический характер ментального в терминах как взаимозависимости между различными формами знания, так и взаимосвязи установок и поведения, поздний Дэвидсон отказывается от той формы корреспондентной теории истины, которую он защищал в 60-е годы[31], в пользу когерентной теории истины и знания. Однако Дэвидсон сторонится любой попытки дать теорию *природы* истины, утверждая, что истина является абсолютно центральным понятием, которое не может быть редуцировано или заменено

[29] См.: Davidson D. 'Three Varieties of Knowledge'.
[30] См.: Davidson D. 'First Person Authority' — Dialectica, 38, 1985, pp. 101-111.
[31] См.: Davidson D. 'True to the Facts' — In: Inquiries into Truth and Interpretation. Pp. 37-54.

любым другим понятием[32] (т.е. признает истину отношением *sui generis*). Его использование понятия когерентности скорее может быть рассмотрено как выражение его обязательства к существенно рациональному и холистическому характеру сознания. Оно также может быть рассмотрено как связанное с отклонением Дэвидсоном тех форм эпистемологического фундаментализма, которые пытаются строить концепцию знания на сенсорных причинах полаганий: в рамках его холистического подхода полагания могут находить очевидную поддержку только в других полаганиях. Точно так же использование Дэвидсоном понятия корреспонденции может быть лучше понято не как прямое разъяснение природы истины, а скорее как следствие экстерналистского требования, чтобы содержание полагания зависело от находящихся в мире причин полаганий.

Возникающий здесь вопрос таков: может ли понятие обоснования быть использовано в теории значения более прямо? Если такому более прямому рассмотрению связи значения и обоснования препятствуют требования холизма — которые, в свою очередь, обусловливают перенос центра внимания при анализе значения с истины на обоснование, — то, следовательно, мы можем попытаться подвергнуть холистические требования дальнейшему анализу.

Итак, мы видели, что согласно концепции значения как условий истинности мы знаем некоторое значение только в том случае, если мы знаем условия истинности обладающего этим значением предложения, а для этого мы должны иметь истинное полагание о нем. Однако, поскольку не все, а только некоторые истинные полагания являются знанием, то один из центральных вопросов эпистемологии — что обращает просто истинное полагание в полноценное знание? Ответ состоит в том, что наши истинные полагания должны базироваться на достаточно серьезных основаниях, чтобы быть удостоверяемы как знание. Фундаменталисты считают, что структура причин такова, что наши причины в конечном счете покоятся на основных причинах, которые не имеют никаких дальнейших причин, поддерживающих их. Когерентисты считают, что нет никаких основополагающих причин — скорее наши полагания поддерживают друг друга.

Мы можем придерживаться когерентного подхода к обоснованию, однако постольку, поскольку мы используем его для анализа языковых значений, мы не можем игнорировать то соображение, что некоторые утверждения, такие как перцептуальные, могут быть непосредственно обоснованы чувственно воспринимающим их субъектом, знающим их "по знакомству". Это утверждения о реальной действительности, которые представляются нам заслуживающими доверия независимо от каких-либо аргументов в их пользу — те, которые Айер и Рассел называют "базисными суждениями". Поэтому валидная когерентная теория обоснования может и должна дать теорию обоснования перцептуальных утверждений, отвергающую обвинение в произвольности и нередуцируемую к фундаментализму. Представляется, что такая теория может иметь форму ограничений, накладываемых на холистический подход к когерентному обоснованию, и это соображение может играть важную роль при рассмотрении связи значения и обоснования.

[32] См.: Davidson D. 'The Structure and Content of Truth' — Journal of Philosophy, 87, 1990, pp. 279-328.

7.4 Молекуляризм М.Даммита

Возможные аргументы против холистической семантики будут направлены прежде всего на само понимание природы связи между истиной и значением. Возможна позиция, состоящая в том, что метафизическое понятие истины, будь оно реалистским или антиреалистским, не может играть никакой роли в теории того, как мы понимаем языковые выражения. В пользу этого представления свидетельствует то, что никакой действительный психологический механизм не способен выполнять требуемую задачу сравнения высказываний с неконцептуализованной действительностью. В основанной на усорвиях истинности семантике предлагается сохранить вербальную формулу, согласно которой для того, чтобы знать значение, скажем, выражения "Снег бел", надо знать, при каких условиях это предложение является истинным. Можно сказать, что независимо от того, что́ именно требуется для того, чтобы понять предложение, это должно быть названо неявным знанием условий, при которых предложение является истинным. Но если мы принимаем этот способ, то будет тавтологией считать, что "Если X понимает предложение "Снег бел", то X знает (неявно) условия истинности предложения "Снег бел"". Если это тавтология, то нельзя утверждать, что это — серьезная и общезначимая теория понимания, обладающая реальной объяснительной силой. Но если представление о том, что истина есть соответствие с действительностью, не может нам ничем помочь, то как мы должны объяснить понятие истины? Формальная семантика понятия "истинный" (особенно дефляционный принцип эквивалентности: сказать о предложении, что оно является истинным, эквивалентно утверждению этого предложения) позволяет нам определить столько предложений формы "*S* истинно", сколько имеется предложений *S*, которые мы хотим утверждать или отрицать. Но как мы можем объяснить то, что мы делаем, когда мы утверждаем и отрицаем? Мы можем сказать, что когда мы делаем утверждения, мы надеемся, что они будут истинны, и стремимся к тому, чтобы это было так. Однако это практически пустое заявление, поскольку нет и не может быть *независимых* проверок ни истины, ни обоснованной утверждаемости.

Рассмотрим подробнее, как может выглядеть такая позиция, на примере аргументов Майкла Даммита, поскольку они чрезвычайно важны для понимания сути холистической критики эмпиризма.

Даммит характеризует смысл (sense) как тот аспект значения (meaning), "который определяет условие, при котором предложение является истинным"[33]. Семантическое значение (semantic value) атомарного предложения Даммит характеризует как

> тот признак, обладание которым является [для атомарного предложения] необходимым и достаточным, если каждое сложное предложение должно быть определено как истинное или иначе в соответствии с его составом из атомарных предложений... Семантическое значение атомарного предложения (и, следовательно, любого предложения) является именно его истинностным значением — истинно оно или нет... Сначала мы устанавливаем, что семантическое значение сингулярного термина — это тот конкретный объект, к которому он имеет референцию: тогда из этого следует, что семантическое значение одноместного предиката дается,

[33] Dummett M. Truth and Other Enigmas. Cambridge MA, 1978. P. 118.

устанавливая, для каких объектов он является истинным, двухместного предиката — для какой пары объектов он является истинным, и т.д.[34].

Это предполагает, что для каждого объекта язык содержит сингулярный термин, указывающий на него. Смысл выражения — это компонент его значения, который является релевантным для определения истинности того предложения, в которое оно входит; именно этот компонент его значения определяет семантическое значение выражения. Даммит разъясняет понятие семантического значения, когда заявляет, что семантические значения слов, составляющих предложение, в совокупности определяют его как истинное или ложное: когда мы говорим, что смысл слова определяет его семантическое значение, то это подразумевает, что во внимание принимается вклад внеязыковой действительности. Возможность такого объяснения понятия семантического значения зависит от предположения, воплощенного в фундаментальном принципе классической семантики, согласно которому условие истины каждого предложения либо выполнено, либо невыполнено. Это может быть расценено как метафизическое допущение (о том, что имеется внеязыковая действительность, независимая от нашего знания о ней), а также как теория значения (мы успешно приписываем нашим предложениям смысл, который делает их детерминированно истинными или ложным). С такой точки зрения, фрегеанское понятие референции выражения и есть понятие семантического значения — по крайней мере, в контексте классической семантики.

Даммит описывает различие между смыслом и референцией, заявляя, что смысл есть компонент значения, и поэтому дать теорию смысла выражения значит дать (частично) некоторую теорию того, что знает говорящий, когда он понимает это выражение. Рассматривая смысл как определение референции, мы тем самым предполагаем, что таким образом принят во внимание вклад внеязыковой действительности. Так, Фреге расценивал различие между смыслом и референцией как одно из своих фундаментальных открытий — смысл выражения не может состоять только в его наличии у него референции, какой бы она ни была. С такой точки зрения, смысл определяет референциальное/семантическое значение. Последнее представляет собой признак, который является необходимым и достаточным для определения истинности предложения: для того, чтобы предложение имело семантическое значение, оно должно *быть способно* быть истинным или ложным, и оно должно в самом деле *быть* или истинным, или ложным. Смысл выражения определяет его семантическое значение и, поскольку семантическое значение является или истинным, или ложным, определяет его как истинное или ложное. Референция есть семантическое значение, поэтому смысл выражения определяет его референцию и, поскольку референция указывает только на истинность или ложность, определяет его как истинное или ложное. Эта теория смысла определяет референцию слов (это — основополагающий тип теории, построенный на сингулярных терминах и остенсивном определении) при условии, что внеязыковая действительность принята во внимание и отношение языковых выражений к ней служит предметом этой теории.

Такое различение между смыслом и референцией очевидно может быть рассмотрено как направленное против стандартной семантики Дэвидсона. Здесь два отправных пункта.

[34] Ibid, p. 120.

- Тарский стремился произвести преобразование неформальной классической семантики в формальное определение истины для формализованного языка. В результате мы имеем предметом *два* формализованных языка — объектный язык и метаязык, в котором мы определяем истину для объектного языка.
- Референция выражения (в духе Фреге) — это внеязыковая сущность. Например, в неформальной семантике интерпретация связывает с каждой языковой индивидуальной константой, предикатом и т.д. нелингвистическую сущность соответствующего типа. Когда мы пытаемся построить определение истины для объектного языка, то наше внимание переходит с вещей в мире, связанных с выражениями объектного языка, на средства, доступные нам в метаязыке для определения связей между объектным языком и вещами в мире. Так, когда мы строим определение истины, мы должны показать, что метаязык способен к определению ассоциаций между элементами объектного языка (например, сингулярными терминами, предикатами и т.д.) и теми вещами в мире, на которые эти элементы предназначены указать. Суть определения истины тогда состоит в том, чтобы удостовериться, что нелингвистическая сущность, референция, дает правильную ассоциацию между элементом объектного языка и вещью в мире, на которую этот элемент предназначен указать. Это означает, что Фреге и Тарского интересует истина *simpliciter*, а не понятие истины в произвольной интерпретации.

Даммит полагает, что аргументы Фреге в пользу различия между смыслом и референцией уже содержат демонстрацию неадекватности теории Дэвидсона[35]. Теория, которую предлагает Дэвидсон, согласно Даммиту, состоит в том, что если мы рассматриваем систему Тарского как аксиоматическую теорию и принимаем понятие истины за уже данное, то мы будем иметь теорию значения для объектного языка. Другими словами, знание этого повторно рассмотренного определения понятия "истинный", в дополнение к адекватному схватыванию понятия истины, дало бы понимание языка. Это понимание и знание не могут зависеть от носителя языка, дающего философски адекватную теорию того, что́ он понимает. Скорее проблема состоит в том, какие факторы участвуют в приписывании говорящему неявного знания такой теории

Задача Даммита — защитить и развить позицию Фреге (так, как он ее понимает), показав, что схватывание смысла простого выражения нельзя приравнивать к знанию его референции. Для этого он вводит различие между "знанием чего-то" ("knowing-what") и "знанием, что" ("knowing-that") следующим образом: пример "*X* знает, чем является *P*" приписывает субъекту "знание чего-то", в противоположность "знанию, что", который приписывается примером "*X* знает, что *P*", полученным заменой "*P*" на полное предложение, которое могло бы использоваться независимо. Таким образом, "знание, что" имеет форму "*X* знает, что кошка находится на коврике", в то время как "знание чего-то" — форму "*X* знает, что такое кошка". Оба эти рода знания отличны от знания референции (например, *X* знает референцию *p* или *X* знает референцию термина "кошка").

Аргумент Фреге в пользу различия между смыслом и референцией имеет две предпосылки.

[35] Ibid, p. 124.

- Все теоретическое знание является пропозициональным знанием (это полностью предикативное знание, которое опирается на некоторое пропозициональное знание).
- Для любой данной части предикативного знания никогда нельзя обнаружить единственную (уникальную) пропозицию, знание которой подразумевало бы владение этой частью предикативного знания.

Предикативное знание — более ограниченная форма знания, чем пропозициональное знание. Следовательно, одно (само по себе) знание референции слова невозможно, потому что приписывание данной части предикативного знания никогда не будет полностью характеризовать то знание, которое имеет субъект. Последнее всегда может далее характеризоваться цитированием пропозиционального знания, на которое опирается предикативное знание. Цитирование пропозиционального знания субъекта показывает смысл, который говорящий связывает со словом в том случае, если он знает референцию этого слова.

Мы можем отклонять вторую предпосылку, и аргумент здесь может быть таков. Если в схеме (*X* знает, что *w* имеет референцию к *b*) мы заменяем переменную *w* выражением, указывающим на имя собственное (например, "Валенсия"), то трудно увидеть, что́ могло бы потребоваться как единственная замена *b* в (*X* знает, что "Валенсия" имеет референцию к Валенсии), которая обосновала бы (*X* знает то, к чему "Валенсия" имеет референцию), кроме непосредственно самой Валенсии. Обосновать это может только сама Валенсия, т.е. только сам носитель этого имени собственного. Тогда знать то, к чему "Валенсия" имеет референцию, значит просто знать, что "Валенсия" имеет референцию к Валенсии. Однако это бессодержательное и неправомерное отождествление, потому что здесь знание конкретной референции слова смешивается со знанием того, что это слово вообще имеет некоторую референцию. Человек с достаточным схватыванием грамматики может признавать, что "Валенсия" — имя собственное, что имена собственные имеют референции, что, как имя собственное, "Валенсия" будет иметь референцию к Валенсии, чем бы это ни было, — и при этом все еще не иметь представления о том, что это такое. Смешение, произошедшее в этом неправомерном отождествлении — это смешение дискурса, который не выходит за границы языка, с дискурсом, который выходит за его границы. Аналогичный случай представляет собой описание вымышленных персонажей: у него нет референции к чему-либо в мире, но формы языка, в котором это описание имеет место — те же, что и при описании вещей в мире.

Возможный контраргумент здесь будет заключаться в различении между знанием истинности предложения (*X* знает, что *S* истинно) и знанием пропозиции, выраженной этим предложением (*X* знает, что *P*). Если некто знает, что предложение истинно, то это знание требует знания пропозиции, которую выражало бы это истинное предложение, и полного понимания этой пропозиции. Однако это не всегда имеет место. Например, если мы не знаем, кто такой Криспин Райт или что такое эпистемология, а только знаем о слове "Валенсия", что это — название некоторого места в Испании, где Криспин Райт читает лекцию по эпистемологии 15-ого июля, то мы имеем "знание, что", но не "знание чего-то", предикативное, но не пропозициональное знание.

Итак, возражение семантике Дэвидсона, с такой точки зрения, может состоять в том, что она смешивает знание референции слова со знанием того, что оно

вообще имеет референцию. Контраргумент может состоять в том, что если о предложении известно, что оно истинно, то это знание требует знания пропозиции, которую это предложение выражает, и возможности различить, какая именно пропозиция выражена этим предложением. У этого последнего условия, как представляется, есть три неявных критерия.

1. Предложение (например, "кошка на коврике") является истинным.
2. Для знания истинности предложения "кошка на коврике" требуется знание пропозиции, выраженной этим предложением.
3. Говорящий должен быть способен выбирать пропозицию, выраженную предложением "кошка на коврике", среди других.

Третий критерий предназначается для проверки второго. Важно, что говорящий должен знать пропозицию, выраженную предложением "кошка на коврике", в достаточной степени для того, чтобы он мог сказать, которая это из пропозиций — ведь в наличии у нас всегда имеется некоторое их множество и то, что от нас, собственно, требуется — это различать их. Это подразумевает способность различать между конкурирующими пропозициями и выбирать правильную.

В свою очередь, на этот контраргумент возможно возражение, состоящее в следующем. Если различие между (*X* знает, что истинно, что *w* имеет референцию к *b*) и (*X* знает, что *w* имеет референцию к *b*) должно защитить тезис о том, что знать референцию "Валенсия" значит знать, что "Валенсия" имеет референцию к Валенсии, то нам нужно сказать, что́ именно требуется, чтобы знать пропозицию, выраженную этим предложением. Мы видели, что понимание предложения — это не требование знать пропозицию, выраженную предложением. Некто мог бы столкнуться с предъявлением предложения на языке, ему неизвестном, и, соответственно, ничего в нем не уразуметь, но при этом понять перевод этого предложения на язык, в котором он сведущ, и таким образом узнать, что предложение истинно.

> Наше гипотетическое возражение аргументу Фреге не может отрицать, что есть нечто связанное с именем, что субъект должен схватить, — если он полагается знающим пропозицию, выраженную предложением, в котором используется это имя, — удерживая при этом различение, для такого предложения, между знанием этой пропозиции и знанием истинности этого предложения. Если он теряет эту дистинкцию, он беззащитен против обвинения в том, что он перепутал знание референции имени со знанием того, что оно вообще имеет референцию. То, что субъект должен ухватить — это, точно говоря, смысл имени[36].

В наиболее общей форме мы можем сказать, что структура теории языка Даммита и Фреге такова:

пропозиции —> язык —> мир/истина.

Смысл здесь — компонент перекрытия, который определяет всю эту схему: он ответствен за то, правильна эта схема или неправильна. Различение смысла и референции требуется потому, что мы должны определить ассоциацию между элементами объектного языка и вещами в мире, которые эти элементы предназначены выбирать. Любая теория, которая не позволяет своему метаязыку быть способным к определению ассоциации между элементами объектного языка

[36] Ibid, p. 128.

(например, сингулярными терминами, предикатами и т.д.) и теми вещами в мире, на которые эти элементы предназначены указать, будет неадекватна — именно потому, что метаязык не будет позволять нам проверить, что не-лингвистическая сущность, референция, дает правильную ассоциацию между элементом объектного языка, и вещью в мире, на которую этот элемент предназначен указать. И Даммит обвиняет в такой неадекватности теорию Дэвидсона.

Дэвидсон утверждает, что знание пересмотренного им определения предиката "истинный", в дополнение к адекватному схватыванию понятия истины, приводит к адекватному пониманию языка. Однако это не так для сингулярного термина "Валенсия", и это не так для сложного утверждения о предполагаемой лекции Криспина Райта. В случае с "Валенсией" некто с достаточным схватыванием грамматики может признавать, что

- "Валенсия" — имя собственное,
- что имена собственные имеют референции,
- что как имя собственное, "Валенсия" будет иметь референцию к той вещи, которой является Валенсия,

и все же он *не* будет знать, что это за вещь. Этот недостаток понимания на уровне сингулярных терминов только умножается, когда предложение становится более сложным, как в примере с лекцией Криспина Райта. Семантика условий истинности *не дотягивается до мира*, останавливаясь на его границе.

Это — следствие того, что такая семантика может быть рассмотрена как не различающая знание референции слова со знанием того, что у этого слова вообще есть референция. Основа претензий здесь состоит в различении между знанием истинности предложения и знанием пропозиции, выраженной предложением. Знание истинности предложения требует знания пропозиции, которая нашла бы выражение в этом истинном предложении, однако это не одно и то же. Знание истинности предложения и знание пропозиции, которая находит выражение в этом истинном предложении, в совокупности дают достаточно понимания, чтобы различить, какую именно пропозицию мы знаем. Этот факт понимания не объясняется в концепции значения как условий истинности, так как она еще не дает нам объяснение того, что требуется, чтобы знать пропозицию, выраженную предложением. В любом случае сторонник концепции значения как условий истинности должен признать, что имеется нечто связанное с именем, что субъект должен схватить, если он хочет поддержать различие между знанием истинности предложения и знанием пропозиции, выраженной этим предложением. Если же это различие не поддерживается, то концепция значения как условий истинности уязвима к обвинению в смешении знания референции имени со знанием того, что имя вообще имеет референцию.

Можно утверждать, что эти аргументы методологически основаны на отклонении Даммитом тезиса Витгенштейна о том, что философия языка — это не общая теория значения, а исследование того, как язык используется в специфических языковых играх. Иными словами, Даммит фактически пересматривает концепцию "значение как употребление". Свой критический анализ этого положения Витгенштейна он базирует на фрегеанского типа различии между "силой" (force) и "смыслом" (sense). Даммит признает, что в различных языковых играх одно и то же лингвистическое выражение может иметь различную силу, например в приказе в отличие от утверждения. Однако выражение "Закрыть окно!", используемое как

императив, все же имеет тот же самый *смысл*, что и в составе выражения "Я забыл закрыть окно", будь то извинение, оправдание, напоминание или что бы то ни было еще. Иначе, по мнению Даммита, мы никогда не смогли бы выучить язык. Хотя Витгенштейн был безусловно прав, утверждая (в противовес Фреге), что язык является социальным и коммуникативным феноменом, а не только выражением мысли — т.е. был прав, связывая значение выражения с его использованием, но отсюда вовсе *не следует, что каждое нумерическое или типологическое различие в использовании влечет за собой полное различие в значении*.

Систематическая теория значения, по мнению Даммита (и в этом состоит еще одно его разногласие с Витгенштейном, отрицавшим возможность подобной теории) должна эксплицировать то неявное знание используемого нами языка, которым мы располагаем. Поскольку это знание проявляется в нашей практике, постольку теория значения должна показать, каким образом это происходит. Как и Хомский, Даммит предполагает, что наше проявление лингвистической компетентности опирается на неявное знание некоторых семантических принципов (подобно тому, например, как мы располагаем неявным знанием определенных физических принципов, которые проявляются в нашем умении ездить на велосипеде), и именно эти принципы наша теория значения и должна прояснить. Эти принципы не обязательно должны быть менталистскими: например, если бы робот мог разговаривать, то это демонстрировало бы неявное знание лингвистических принципов, но отсюда еще никак не следовало бы, что он обладает психологическими состояниями.

В итоге, согласно Даммиту, концепция значения как условий истинности неприемлема, поскольку она не приводит к удовлетворительному объяснению феномена понимания языка; любая теория значения, которая не является теорией понимания или не дает ее в итоге, не удовлетворяет той философской цели, для которой нам требуется теория значения — а следовательно, теория значения должна включать, помимо стержневой теории референции, еще некоторую теорию иллокуции — т.е. теорию смысла и теорию силы. Адекватная теория значения — это теория того, что знает человек, когда он знает язык. Таким образом, концепция "значение как употребление" удовлетворяет такой теории только в том случае, если мы рассматриваем неявное или явное *знание* значения выражения как *знание* о его употреблении. С такой точки зрения, концепцияя значения как условий истинности не может дать полноценную теорию значения, поскольку исходит из предположения, что мы уже понимаем некоторые основные концепты, на которых основано значение других понятий. Это ведет к известному возражению концепции значения как условий истинности, согласно которому значение предложения состоит в его переводимости в некоторое другое предложение — а именно, что мы можем знать, что одно предложение правильно переводится как другое без того, чтобы знать, что это предложение означает (аргумент "китайской комнаты" Серля). Точно так же знание того, что значение предложения является функцией значений некоторых базовых лингвистических выражений, дает нам собственно значение этого предложения только в том случае, если мы уже понимаем эти основные выражения. Полноценная же теория значения должна дать теорию понимания любого выражения, базового или деривационного.

Здесь целесообразно привлечь различение между носителями истинности (truth-bearers) и истинностными факторами (truth-makers), согласно которому, если утверждение является истинным, то должно иметься нечто, в силу чего оно истинно. Так, утверждения наблюдения могут быть истинны просто в силу того, что мы непосредственно воспринимаем, что это — именно так, а не иначе. Но с контрфактуалами и другими классами предложений, перечисленных выше, это не срабатывает. Известны попытки преобразовать их в предложения квази-наблюдения (программа логического позитивизма), однако это явно паллиативная мера, и для большинства контрфактуалов это принципиально невозможно. Выход здесь может состоять в том, чтобы отказаться от представления о том, что предложение должно быть либо истинно, либо ложно независимо от того, что мы можем или не можем знать, даже если у нас нет никакого возможного способа проверки — подобно тому, как математический интуиционизм отверг предположение, что математическая пропозиция должна быть или истинна, или ложна даже тогда, когда у нас нет никакого способа доказать ее истинность или ложность ее отрицания. Для интуициониста правильное утверждение математической пропозиции состоит в истинном требовании, что ее доказательство либо существует, либо может быть создано, и понимание такой пропозиции состоит в способности распознать ее доказательство, когда оно будет предъявлено. При экстраполяции этого подхода на естественноязыковые контексты понятие доказательства может быть заменено на то или иное более широкое понятие — например, проверки. Мы можем говорить, что утверждение *P* должно быть или истинно, или ложно, что должно быть нечто, в силу чего оно или истинно, или ложно, только тогда, когда *P* — утверждение такого рода, что мы можем на протяжении некоторого конечного промежутка времени занять такую позицию, в которой утверждение или отрицание *P* было бы для нас обосновано. Так, в верификационистской семантике Даммита понятие правильности высказывания (correctness of assertion) получает более важную роль, чем истина и считается им — опять-таки, вслед за Витгенштейном или, по крайней мере, за одной из возможных его интерпретаций — более базовым и первичным понятием. Мы правильно высказываем утверждение, когда получаем нечто, в силу чего оно истинно или ложно, и неправильно высказываем утверждение, когда этого не происходит. И мы знаем значение предложения только тогда, когда мы знаем, каково это "нечто", которое могло бы считаться окончательным установлением правильности нашего утверждения.

Такая позиция может быть рассмотрена как имеющие общие основания с логическим позитивизмом, но вслед за Куайном Даммит, в отличие от позитивистов, отклоняет представление о том, что проверка будет обычно иметь форму указания последовательности эмпирических данных: она может располагаться в диапазоне от эмпирических данных до математического доказательства, посредством различных логически выведенных отношений. Согласно концепции верификационизма, познавательно ценные высказывания можно отличить от познавательно не ценных с помощью формализуемых критериев: первые, в отличие от вторых, верифицируемы, т.е. могут быть соотнесены с опытом — от эмпирического до интеллектуального, а их истинность может быть проверена в результате такого соотнесения. Вторые же никак не связаны с опытом: они либо аналитичны, т.е. всегда истинны, либо просто не имеют истинностного значения. Такой подход имеет выраженные семантические обязательства: если значение предложения есть его истинностное значение, то,

по крайней мере, для познавательно значимых высказываний, знать их значение значит знать условия, при которых они могут быть проверены — условия их верификации.

Мы можем принимать или не принимать верификационистскую семантику, предложенную Даммитом. Самое верификация также не является базовым, прозрачным понятием; например, одним из конститутивных для нее требований может являться требование не-аналитичности, и в зависимости от того, какую форму будет иметь это требование, различным будет эпистемологический смысл верификации. Однако суть верификационистской критики условие-истинностной семантики как холистической направлена не просто на определенный тип семантики, но на само понимание природы связи между истиной и значением: второе, с такой точки зрения, не может быть сведено к первому в принципе, поскольку в естественном языке наличествуют семантически релевантные эпистемические элементы, не зависящие от обычных сфер действия пропозициональных истинностных факторов; а традиционные методы устранения неоднозначностей, связанных со сферами действия истинностных факторов, не всегда помогают нам найти правильную интерпретацию естественноязыкового предложения, выражающего эту пропозицию.

Итак, условие-истинностная холистическая семантика синтезировала интуиции как раннего, так и позднего Витгенштейна — раннего потому, что она реализует идею о том, что базовыми примитивами языка являются не термины, а предложения (представление, в укоренении которого очень важную роль сыграл "Трактат"), и позднего потому, что она реализует концепцию "значение как употребление", отождествляя значение с введеным прагматистами понятием "условий утверждаемости" (justified assertibility).

В таком случае к концепции значения как условий истинности может быть приложим скептический аргумент, неоднократно эксплицировавшийся при обсуждении проблем следования правилу и индивидуального языка. Применительно к концепции значения как условй истинности он оказывается направлен на утверждение связи между знанием значения предложения и знанием условий его истинности: как утверждает Даммит, первое не требует второго.

Семантика Дэвидсона должна была стать онтологически строгой теорией:

> Подобно тому, как Лир черпает мощь в отсутствии Корделии, так и теории языка, на мой взгляд, процветают, когда избегают некритического привлечения понятий конвенции, лингвистического правила, лингвистической практики или языковых игр[37].

Однако искомая строгость в отношении онтологических обязательств теории не была достигнута: поскольку концепция значения как условй истинности (по крайней мере, в варианте Дэвидсона) претендует на то, чтобы быть именно *теорией значения для естественных языков*, постольку всякий раз, когда она пытается ответить, каким образом она может объяснить понимание выражений этих языков, она сталкивается в числе прочих и с онтологическими проблемами, которые показал, в частности, Даммит. Их первым и, по всей вероятности, главным источником является сама базовая для концепции значения как условй

[37] Davidson D. Reply to Foster. — In: Davidson D. Inquiries into Truth and Interpretation. Ox., 1984. P. 171.

истинности теория Тарского, так как заявленное в ней требование метафизической нейтральности не выполняется; для того, чтобы уяснить другие источники, следует далее прояснить сам принцип онтологической нейтральности семантической теории, поскольку он далеко не однозначен и может включать в себя различные позиции по отношению к различным структурным элементам понятий истины и значения.

8. Связь истины и значения

8.1 Стандартная семантика Д.Дэвидсона

Работа Дональда Дэвидсона в философии языка сфокусирована на развитии такого подхода к теории значения, который был бы адекватен естественному языку. Представление Дэвидсона о семантической теории развито на основе унаследованной от Куайна холистической концепции лингвистического понимания: теория значения для языка является теорией, которая позволит нам дать для *каждого* действительного и потенциального предложения рассматриваемого языка теорему, которая определяет то, что каждое предложение означает. На этом основании теория значения для немецкого языка, данная по-русски, должна произвести теоремы, которые объяснят немецкое предложение "Schnee ist weiss"[1] как означающее, что снег является белым. Наша теория языка должна быть такой систематической теорией конечной структуры языка, которая позволяет понять любое и каждое его предложение. Поскольку число потенциальных предложений на любом естественном языке бесконечно, теория значения для языка, который употребляется существами с конечными возможностями — такими, как мы сами, — должна быть теорией, которая может производить бесконечное количество теорем (одну для каждого предложения) на основе конечного множества аксиом. Действительно, любой язык, который может быть усвоен нами, должен обладать структурой, которая пригодна к такому подходу. Следовательно, обязательство к холизму также влечет за собой обязательство к композициональному подходу, согласно которому значения предложений зависят от значений их частей, то есть от значений слов, которые формируют конечную основу языка и из которых состоят предложения. Композициональность не ставит под угрозу холизм, так как она не только следует из него, но и, согласно подходу Дэвидсона, индивидуальные слова могут рассматриваться как значащие только постольку, поскольку они играют роль в целых предложениях. Таким образом, в центре теории значения Дэвидсона находятся предложения, а не слова.

А если каждому предложению языка, в котором рассматривается истина, соответствует некоторое Т-предложение (предложение, определяющее условия истинности), то полная совокупность Т-предложений точно устанавливает экстенсионал (среди предложений) любого предиката, играющего роль слов "является истинным" — такова формулировка исходной интуиции Дэвидсона. Эта мысль уже вошла в классику англоязычной философии, хотя до сих пор вызывает дебаты. Привлечение понятия истины для объяснения значения отсылает нас прежде всего к классическому вопросу философии языка: в чем состоит значение языкового выражения — в однозначном соответствии обозначаемому объекту (или событию, или положению дел), обусловленном природой самого этого объекта и/или выражения, или же в договоренности между людьми о том, что таким-то выражением мы будем называть такой-то объект или положение дел?

С точки зрения большинства философов-аналитиков, включая Дэвидсона, значения конвенциональны. Перефразируя Кронекера, можно сказать, что только такие слова, как *OM* или *hashem*, придумал Господь Бог, остальное — дело рук

[1] "Снег бел" (нем.).

человеческих. Традиционный спор между "натуралистами" и "конвенционалистами" восходит еще к диалогу Платона "Кратил". Натуралист Кратил утверждает, что в словах отражается "естественное сходство" между формой слова и изображаемой им вещью; возражающий ему конвенционалист Гермоген, напротив, говорит, что "какое имя кто чему-либо установил, такое и будет правильным"[2]. Так каково же соотношение между языковым значением как условиями истинности — в частности, непосредственного соответствия действительности ("аристотелевой истинности", как ее называл Тарский) — и как договоренностью между людьми — членами языкового сообщества, т.е. языковой конвенцией?

Теория значения Дэвидсона объясняет значения выражений холистически через взаимосвязь выражений в пределах структуры языка в целом. Следовательно, теория значения того вида, который предлагает Дэвидсон, будет бесполезна для понятия значения как некоторой дискретной единицы (будь то детерминированное ментальное состояние или абстрактная "идея"), к которой имеют референцию значащие выражения. Одно из важных следствий этого состоит в том, что теоремы, которые произведены в соответствии с такой теорией значения, не могут быть поняты как теоремы, которые связывают выражения и "значения". Вместо этого такие теоремы будут связывать предложения с другими предложениями: они будут связывать предложения на языке, к которому теория применяется ("объектный язык") с предложениями на языке, в котором изложена сама теория значения ("метаязык") таким способом, что последний эффективно "дает значения" или переводит первый. Можно было бы предположить, что способ получать теоремы этого вида состоит в том, чтобы принять общую форму теорем "*s* значит, что *p*", где *s* называет предложение объектного языка, а *p* является предложением метаязыка. Но такой путь циркулярен, поскольку здесь уже содержалось бы исходное допущение о том, что мы можем дать формальную теорию соединительной связки "значит, что" — а это не только маловероятно, но, кроме того, это *уже* использует понятие значения, хотя именно это понятие (по крайней мере, поскольку оно применяется в пределах специфического языка) теория и стремится объяснить. Именно в этом пункте Дэвидсон обращается к понятию истины, так как истина, по его мнению — более прозрачное (или, скорее, менее непрозрачное) понятие, чем понятие значения. Более того, определение условий, при которых предложение является истинным — это также и способ определения значения предложения. Таким образом, вместо "*s* значит, что *p*", Дэвидсон предлагает в качестве модели для теорем адекватной теории значения схему

s истинно, если и только если *p*".

Использование бикондиционала "если и только если" здесь чрезвычайно важно, поскольку гарантирует истинно-функциональную эквивалентность предложений *s* и *p*, то есть это гарантирует, что они будут иметь идентичные истинностные значения). Теоремы теории значения Дэвидсона для немецкого языка по-русски будут, таким образом, иметь форму предложений типа ""Schnee ist weiss" истинно, если и только если снег белый".

Одно из больших преимуществ этого предложения — то, что оно позволяет Дэвидсону соединить его теорию значения с уже существующим подходом к теории истины, а именно развитым Тарским. Теория истины Тарского была

[2] Платон. Кратил. — Сочинения. Т. 1. М., 1968. С. 416.

первоначально построена не как общая теория природы истины, а скорее как способ определения предиката истины, поскольку он применяется в пределах формального языка. Требование, что адекватная теория истины должна быть способна дать Т-предложение для каждого предложения объектного языка, составляет сущность "Конвенции Т" Тарского — требования, которое ясно соответствует холистическому требованию, выдвигаемому Дэвидсоном для адекватной теории значения. И так же, как теория значения Дэвидсона трактует значения целых предложений как зависящие от компонентов этих предложений, так и теория истины Тарского определяет истину *рекурсивно* в том, что она трактует истину сложных выражений как зависящую от истины более примитивных выражений. Формальная структура, которую здесь строит Тарский, идентична той, которую Дэвидсон приводит как основание для теории значения: теория истины Тарского может давать для каждого предложения объектного языка Т-предложение, которое определяет значение каждого предложения путем определения условий, при которых оно является истинным. Дэвидсон показывает, каким образом выполнение Конвенции Т может быть рассмотрено как основное требование адекватной теории значения.

Итак, теория значения представляется Дэвидсону не чем иным, как метаязыком для объектного языка L. Определение истины, сформулированное в этом языке, дает необходимые и достаточные условия, при которых истинно любое предложение объектного языка, а дать условия истинности и есть установить значение предложения. С такой точки зрения, знать семантическое понятие истины для языка значит знать, что такое для предложения — любого предложения — быть истинным, а это равносильно пониманию языка.

По мнению Дэвидсона, семантическая теория должна дать нам значение каждого "независимо значащего выражения". Последние идентифицированы с предложениями, а не с терминами — словами или морфемами, как это происходит в лингвистической семантике, более прямо в этом отношении следующей обыденному здравому смыслу. Что касается других языковых единиц, не предложений, а отдельных выражений, которые могут быть частями предложения, то они, согласно Дэвидсону, имеют значение только в составе предложения и относительно них теория значения должна дать ответ на вопрос: как зависят от их значений значения предложений. Слова признаются значащими выражениями постольку, поскольку предложения состоят из слов, а значение слов заключается в том систематическом вкладе, который они вносят в значения тех предложений, частями которых они являются. Семантика Дэвидсона не сообщает нам, например, что означает слово "хороший", но анализирует такие предложения как "Она — хорошая актриса", чтобы отличить их от "Она — англоговорящая актриса" таким способом, чтобы однозначно дать понять, излагая их логическую форму, почему из второго предложения следует "Она говорит по-английски", но первое предложение не влечет за собой "Она хороша". Задача Дэвидсона — дать теорию логической или грамматической роли частей определенных типов предложений, которая будет совместима (consistent) с отношениями логического следования между такими предложениями и с тем, что известно о роли этих же частей предложений или слов в других типах предложений. Это то же самое, что показать, как значения таких предложений зависят от их структуры, поэтому задача раскрытия логической формы — центральная задача семантики. Поскольку каждый язык имеет конечное число элементов, слов и типов фраз, Дэвидсон надеется, используя связи этих повторяющихся элементов — как в аксиомах, так и

в теоремах — дать значение бесконечно большого числа предложений, которые содержатся в языке.

Концепция Тарского, по мнению Дэвидсона, позволяет ответить на этот вопрос, поскольку для этого теория значения должна только включать в себя рекурсивное определение истины-для-L, которое определяет предложение как истинное тогда и только тогда, когда оно выполняется всеми объектами. Это выполнение, или выполнимость (satisfaction) предложения объектами есть характеристика предиката предложения ("…бел"), который еще Фреге определил как функцию, и это определение было принято, в частности, Тарским. Объекты, которые выполняют предложение (делают его истинным), составляют объем термина (предиката предложения). Пропозициональная логика показывает, как истинностное значение выражения "*p* или *q*" может быть получено из истинностных значений "*p*" и "*q*"; Тарский показал, как истинностное значение открытых предложений, содержащих свободные переменные, зависит от их выполнения упорядоченными последовательностями — например, открытое предложение формы "*x* — отец *y*", выполняется такой упорядоченной последовательностью как < Герцог Эдинбургский, Принц Чарльз >. По мнению Дэвидсона, таким образом можно связать значения употребляемых нами слов (то есть их буквальные семантические свойства, включая истинность) с той целью, для достижения которой мы их употребляем (например, для того, чтобы высказать истину). Так концепция Тарского — теория истины для квантифицированных предложений — позволяет ответить на вопрос, как значение предложения зависит от значений его частей.

Дэвидсон стремится дать такую же строгую экстенсиональную теорию, как и Тарский. Аксиомы определения истины Тарского содержат только такие выражения как "класс", "последовательность", "предложение", "структурное описание". Для того, чтобы развивать подобную строгую теорию значения, мы должны сначала, по Дэвидсону, обнаружить некоторое свойство "T", характеризующее те предложения, которые "означают что *p*" (на специфическом языке *L*) и затем обнаружить некоторые не-интенсиональные отношения между предложениями с таким свойством и непосредственно самим *p*. Мы можем сделать это, заменяя "если и только если" на "означает" и "истинный" на "T". Таким образом мы приходим к предложениям истины Тарского — "Снег бел" является истинным предложением (в данном случае русского языка), если и только если снег бел.

Основные технические положения условие-истинностной семантики Дэвидсона заключаются в следующем. Согласно Тарскому, удовлетворительная теория истины для языка *L* должна полагать, что для каждого предложения *s* из *L* существует теорема формы "*s* истинно, если и только если *p*", где "*s*" заменяется описанием *s*, а "*p*" — самим *s* (или, предположим, переводом *s* на тот язык, совокупность всех тривиально истинных предложений которого единственным образом определяют объем понятия истины для его носителя, если *L* не является таковым)[3]. Отвлекаясь от собственно определения истинности, такая теория (T-конвенция) воплощает нашу интуицию о том, как должно использоваться понятие истины применительно к языковым выражениям. Тогда требование к семантической теории языка *L* состоит в следующем: без обращения к каким-либо

[3] См.: Davidson D. In Defence of Convention T. — In: Davidson D. Inquiries into Truth and Interpretation. Pp. 65-75.

дальнейшим семантическим понятиям теория накладывает на предикат "является *T*" ограничения, достаточные для получения из схемы *T* всех предложений, в которых *s* замещено структурным описанием предложения, а *p* — самим предложением. Список Т-предложений составляет полное описание значений объектного языка[4]. Отсюда мы можем воспользоваться формальными ресурсами теории Тарского, включая методы доказательства Т-предложений.

Весьма сильное требование Дэвидсона здесь состоит в том, что мы должны в деталях представлять себе, как истинностные значения предложений языка связаны с их структурами, почему из одних предложений следуют другие, и как слова выполняют свои функции посредством отношений к предметам в мире[5].

Тарский считал, что строгое определение истины возможно только для формальных языков, а применение его теории к естественным языкам невозможно потому, что

1. это привело бы к семантическим парадоксам;
2. естественные языки содержат нередуцируемые индексальные выражения, не указывающие те объекты, которые выполняли бы их. Иными словами, в его теории есть место для выражений "Книга украдена" или "Все книги украдены", но не для "Эта книга была украдена", поскольку у нас не будет никакого способа оценки истинности последнего предложения, если мы не присутствовали при его произнесении и, следовательно, не знаем, о какой именно книге идет речь и на какое именно время указывает слово "была".

Однако Дэвидсон полагает, что семантика, основанная на определении истины Тарского, возможна и для естественных языков. Самые общие возражения против использования семантической концепции истины для построения теории значения касаются прежде всего того, что такая теория должна использовать в качестве базисного термина, т.е. такого, посредством которого определяются и вводятся все остальные, понятие истины, тогда как в самой теории Тарского это понятие определяется через понятие выполнимости. Однако последнее сводится к еще более онтологически несвободному понятию денотации, поскольку то, что объект выполняет предложению (предикатной функции) означает в обычном понимании только то, что в данном случае в предложении определенная его часть, представленная субъектным термином, указывает на данный объект и ни на какой другой, когда предложение истинно. Между тем понятие денотации само нуждается в адекватном определении, и Дэвидсон считает, что теорию значения нельзя на нем основывать. Здесь и привлекается дополнительный критерий — структура языка, межконцептуальные связи, которые также должен знать говорящий, вместе с Т-схемой для этого языка, чтобы понимать значения его предложений: референциальная часть вклада в условия истинности предложений *L*, таким образом, в семантике Дэвидсона объясняется через наличие концептуальной системы.

Дэвидсон выходит из затруднения, излагая Т-предложение таким образом:

> "Эта книга была украдена" истинно (в том естественном языке, которому принадлежит это предложение) как (потенциально) произнесенное

[4] См.: Davidson D. Truth and Meaning. — In: Davidson D. Inquiries into Truth and Interpretation. Ox., 1984. Pp. 17-37.
[5] См.: Davidson D. Reply to Foster. — In: Davidson D. Inquiries into Truth and Interpretation. P. 172.

индивидом *p* в момент времени *t*, если и только если книга, демонстрируемая *p* в *t*, украдена до *t*.

Это положение характерно для Дэвидсона. С левой стороны, как у Тарского, находится предложение языка, подвергаемого семантическому исследованию, а с правой стороны — предложение на языке теории[6]. Язык теории не содержит кавычек и не отсылает к "значениям", "смыслам" или подобным интенсиональным выражениям; в то же время он проясняет логическую форму исходного анализируемого предложения и таким образом вносит вклад в наше понимание его значения. Это метод Тарского, но с изменениями: анализируемое предложение рассмотрено как акт речи, а язык теории все еще содержит индексальные выражения — "книга, демонстрируемая *p*". Мы можем понимать такие предложения только в том случае, если мы понимаем значение их составных частей. Но если части предложений имеют значение только в силу их "систематического вклада в значение предложения, в которое они входят", то мы получаем порочный круг: чтобы понимать предложение, мы должны знать значение его частей, а чтобы понимать части, мы должны понять предложение. Это соображение приводит Дэвидсона к защите холизма: согласно его точке зрения, мы можем дать значение любого предложения (или слова) языка, только давая значение *каждого* предложения (и слова) этого языка. Тогда никакое отдельное Т-предложение не дает нам значение предложения, к которому оно относится — скорее оно, наряду с его доказательством (посредством логической классификации элементов предложения), сообщает нам нечто, что мы должны знать, чтобы понять ту роль, которую этот вид предложения играет в нашем языке.

Здесь возникают три вопроса.

1. Почему обычный носитель языка вполне успешно понимает его выражения, хотя у него вовсе нет полной теории его языка? Дэвидсон, конечно, не утверждает, что носитель языка знает такую теорию, но требование знания Т-конвенции предъявляется для ограниченного фрагмента языка, а у носителя языка нет теории и для такого фрагмента тоже.
2. Каким образом мы можем знать, является ли некоторое используемое в теории Т-предложение самостоятельно истинным?
3. И наконец, даже если мы знаем, что наше Т-предложение истинно, каким образом мы можем знать, что оно дает нам значение выражения, о котором оно заключает?

Дэвидсон утверждает, что он не выдвигает теорию того, как мы обычно изучаем или интерпретируем наш собственный или другой естественный язык. Его теория не содержит никакой отсылки к психологии или даже к эпистемологии: для него вопрос состоит в том, какая теория *могла бы* сообщить нам, что когда некий Курт (носитель, соответственно, немецкого языка) "при правильных условиях" произносит слова "Es regnet", то он сказал, что идет дождь, и каким образом мы могли бы знать эту теорию[7].

---

[6] В нашем примере и тот, и другой языки — русский язык, или, точнее — некоторые, возможно разные, фрагменты русского языка, но это не должен быть ни обязательно один и тот же язык, ни обязательно разные языки.

[7] См.: Davidson D. Radical Interpretation. — In: Davidson D. Inquiries into Truth and Interpretation. Pp. 125-140.

Однако когда эти требования выполнены, т.е. когда мы все это знаем, тогда мы должны быть способны интерпретировать утверждение Курта в некотором таком смысле, в котором сам он не может его интерпретировать: мы будем знать, например, что по-русски его слова означают "Идет дождь". Наша интерпретация обнаружила бы такие признаки значения этого предложения, которых Курт не знает. Это возражение особенно ясно в случае с предложениями полагания, влекущими за собой известные семантические проблемы: если Курт говорит "Ich glaube das es regnet", то наша интерпретация с помощью Т-предложения может нарушить истинность анализируемого предложения.

Второй вопрос — каким образом мы можем знать, что наше Т-предложение истинно — возникает из того обстоятельства, что когда теория истины используется как теория значения, то мы больше не можем, как Тарский, просто постулировать, что предложение языка теории должно быть "адекватным переводом" анализируемого предложения: ведь если мы принимаем, что "является адекватным переводом *s*" эквивалентно "имеет то же самое значение, что и *s*", то одинаковость значения — это именно то, для объяснения чего мы пытаемся использовать теорию истины. Предположим, что наше анализируемое предложение — "La neige est blanche", а предложение языка теории — "Снег бел"; тогда получаем: "La neige est blanche" истинно по-французски, если и только если снег бел. Какие основания у нас могут быть для такого заключения? Исходная позиция Дэвидсона — это позиция исследователя, создающего теорию значения для своего собственного языка — одного, и притом уже известного, языка, а не для иностранного языка, не для многих языков. Однако, отвечая на критику, он должен был дать объяснение того, как, рассматривая предложения иностранного языка, мы можем знать, что Т-предложения, которые подтверждают теорию, сами являются истинными, и каким образом нам может быть известно, что это именно Т-предложения. Дэвидсон отвечает (в духе Куайна, но не используя его эпистемологию), что суть вопроса в том, при каких условиях Курт произносит "Es regnet". Если он говорит это, когда идет дождь, то для нас очевидно следующее:

- что Курт принадлежит к немецкому языковому сообществу,
- что Курт считает истинным, что "Es regnet" в субботу в полдень
- и что около Курта в полдень идет дождь.

В совокупности это составляет свидетельство очевидности (evidence) для Т-предложения

> "Es regnet" истинно в немецком языке, когда оно произносится индивидом *x* во время *t*, если и только если около *x* в момент *t* идет дождь.

Таким образом, Дэвидсон принимает (но только в этом отношении) традиционный дескриптивный подход к языку, восходящий к тем лингвистам, на которых ориентировался Куайн — Л. Блумфилду и Э. Сепиру. Но здесь все еще можно возразить, что Курт может ошибаться, лгать и т.п., и не только Курт, но и любой другой член языкового сообщества, в чьих словах мы ищем поддержки свидетельству очевидности вида "Фриц принадлежит к немецкому языковому сообществу и говорит, что..." Контраргумент Дэвидсона таков: если мы не можем интерпретировать речевое поведение индивида как раскрытие множества полаганий — в значительной степени последовательного и истинного по нашим собственным стандартам, — то у нас нет никаких причин считать этого индивида

рациональным, обладающим полаганиями, или что-то говорящим — то есть владеющим языком, в отличие от способности издавать звуки.

Наконец, третий вопрос: действительно ли Т-предложение автоматически дает значение анализируемого предложения? Дэвидсон признает, что если бы семантически важно было только истинностное значение, то Т-предложение для "Снег бел" могло бы также сообщать, что "Снег бел" истинно только если трава зелена или если 2+2=4. Поскольку, согласно экстенсиональной логике, любое истинное предложение может быть заменено на любое другое истинное предложение без изменения истинностного значения сложного предложения, в которое оно входит. Это не представляло проблемы для Тарского, потому что он постулировал, что предложение подлежит переводу. Покольку Дэвидсон не может просто постулировать это, то ему остается лишь надеяться, что удовлетворительная теория истины не будет порождать такие аномальные предложения. Но эта надежда еще не позволяет нам идентифицировать Т-предложения с предложениями, которые дают значение. Список истинных Т-предложений для объектного языка должен давать теорию значения как теорию того, что означает каждое предложение объектного языка. Однако этого не происходит, если мы предположим, что условия истинности могли быть определены произвольно. В принципе можно было бы назначить любое условие истинности для любого истинного предложения объектного языка по неадекватному критерию; можно назначить одно единственное истинное условие истинности (например, снег бел) к каждому истинному предложению объектного языка, и одно единственное ложное условие истинности (например, снег фиолетов) к каждому ложному предложению объектного языка. Следовательно, теория должна располагать некоторыми дополнительными ресурсами для того, чтобы не повлечь за собой подобное абсурдное последствие.

Контраргумент здесь приводит нас к реальному способу, которым существует естественный язык. Для того, чтобы понять, почему концепция значения как условий истинности не повлекла бы за собой указанное абсурдное последствие, необходимо иметь в виду, что реальные естественные языки содержат бесконечное множество предложений. Очевидно, что дать полный список Т-предложений для таких языков невозможно, потому что мы не могли бы знать такой бесконечный список. Тогда мы должны признать, что то, что мы (в действительности) знаем — это не что иное, как конечный список слов и способов их сочетаний. Этот список таков, что мы можем определять значения бесконечного множества предложений, состоящих из сочетаний слов. Другими словами, то, что мы в действительности знаем —это аксиоматическая теория с конечным числом аксиом, где все возможные Т-предложения языка потенциально выступают как теоремы. Таким образом, наше понимание предложений нашего языка состоит в нашем формировании теории, дающей Т-предложения.

Поскольку такая теория способна дать Т-предложения для всех предложений языка, то она может рассматриваться как ошибочная в отношении некоторой реальности, но тем не менее быть релевантной для любого конечного множества предложений, удовлетворяющих некоторой очевидности. Во всяком случае, теория, которая пытается объяснять значения предложений их условиями истинности в пределах репрезентационистского подхода, опираясь на референцию и правильность предикатов, будет работать только в той мере, в какой язык является экстенсиональным.

Итак, по мнению Дэвидсона, его теория находится в рамках семантической теории истины Тарского — или, по крайней мере, очень хорошо согласуется с ней. В самом деле, предъявленное Дэвидсоном требование выводимости Т-предложений формально совпадает с требованием, сформулированным Тарским для понятия истины в формализованных языках. Вместе с тем, как мы видели, у Дэвидсона Т-предложения призваны играть роль, в некотором смысле противоположную той роли, которую они играют в теории истины Тарского[8]. Цель, которую ставил перед собой Тарский, заключалась в том, чтобы дать "содержательно адекватное и формально корректное" определение истины для формализованных языков. И напротив, в условие-истинностной теории значения предикат "истинно" рассматривается как исходное, а не определяемое в рамках теории понятие. Если Тарский анализирует концепцию истины, обращаясь (в Т-конвенции) к теории значения, то Дэвидсон рассматривает концепцию истины как исходное примитивное понятие и пробует, "детализируя структуру истины, добраться до значения". Предполагая, что понятие истинности уже задано предварительно, Дэвидсон использует построение Тарского для формулировки требований, предъявляемых к теории значения: если дано предложение *S* языка *L*, то утверждение о его значении вида "*S* значит *P*" может быть заменено соответствующим Т-утверждением.

Тем не менее, язык, о котором идет речь у Тарского — формальный, а не естественный язык, и, соответственно, его употребление регулируется ad hoc'овой, а не тотальной, т.е. заключенной между всеми членами языкового сообщества, конвенцией. Последняя очевидным образом отличается по форме от первой: она не была заключена явно, не ограничена во времени и т.д. Поэтому уместно задать следующий вопрос: что происходит с Т-конвенцией при использовании определения истины в духе Тарского для определения значения в естественном языке?

Если семантическая теория должна иметь форму теории, определяющей условия истинности для анализируемых предложений языка, то знание семантического понятия истины для языка *L* означает знание того, что означает для предложения *s* языка *L* быть истинным. С точки зрения Дэвидсона, если мы характеризуем предложения только по их форме, как это делает Тарский, то возможно, используя методы Тарского, определить истину, не используя семантических концепций. Вместо точного определения истина характеризуется конечным множеством аксиом. Теория значения при этом рассматривается в качестве системы утверждений, предназначенных ответить на вопросы об отношениях друг к другу языковых выражений, тогда как теория истины выступает в качестве теории референции, т.е. системы утверждений, предназначенных ответить на вопросы об отношениях языковых выражений к миру.

Однако объяснение с помощью концепции значения как условий истинности того способа, которым выражения естественного языка указывают на свои референты, сталкивается с трудностями в референциально непрозрачных контекстах. Распространение Т-теорий на модальные и косвенно-речевые контексты, естественный язык в целом обнаружило их ограниченность, состоящую в том, что концепция значения как условий истинности оказалась не в состоянии обеспечить референцию в такого рода контекстах в силу нарушения принципа подставимости

[8] Это замечание в итоге было признано самим Дэвидсоном. См.: Блинов А.Л. Семантика и теория игр. Новосибирск, 1983. С. 26; Davidson D. Introduction. — In: Davidson D. Inquiries into Truth and Interpretation. P. xiv.

тождественного. Контексты с ложной подставимостью тождественного не подлежат квантификации и определяются как референциально непрозрачные: переменные в этих контекстах находятся не в указательных позициях.

Поскольку концепция значения как условий истинности стремится к тому, чтобы положения теории давали знакам верные референции — а это намерение равносильно требованию, чтобы они демонстрировали значение выражений, — постольку она содержит явную или неявную отсылку к "способу, которым дается референт" (Фреге), т.е. постольку в концепции значения как условий истинности явно или неявно предполагается, что Т-теории могут предоставлять больше, чем сами по себе истинностные условия выражений, а именно, что они могут предоставлять истинностные условия в таком аспекте, который "показывает" или "отображает" значения выражений. Для этого может утверждаться, что в то время, как два выражения имеют один и тот же референт, подобно "Цицерон" и "Туллий", они имеют отличные друг от друга значения, так как выражения имеют различные режимы, или алгоритмы представления, т.е. они представляют референт "Цицерон/Туллий" различными способами. Поскольку "Цицерон" и "Туллий" имеют различные значения, то, например, в убеждениях кого-то, кто полагает, что Цицерон был лыс и что Туллий был кучеряв, может не содержаться противоречия.

Возникающие в этой связи вопросы таковы: могут ли Т-теории работать с подобными интенсиональными контекстами, т.е. представляют ли теоремы такой теории только референты выражений, или также и значения? Правая сторона Т-предложения отсылает к выражению слева: каков характер этой отсылки? Простое ли это указание или же эта ссылка может до той или иной степени показывать или отображать некоторое значение?

Прояснение этих вопросов связано с определением условий адекватности, которые теория истины должна выполнять для того, чтобы функционировать как теория значения, пригодная для интерпретации выражений языка L[9]. В таком случае, если Т-теория предназначена служить теорией значения, то она должна быть Т-теорией такого вида, которая может отображать значения. В противном случае следует отклонить условия адекватности. Согласно Т-конвенции Тарского, критерием адекватности теории будет то, следуют ли из нее все Т-предложения[10], но мы очевидно не можем задать такое следование для интенсиональных контекстов. Адекватная Т-теория для субъекта А будет содержать теоремы (1) — (2), но не теоремы (3) — (4).

(1) "Цицерон лыс" — истинно ттт Цицерон лыс

(2) "Туллий лыс" — истинно ттт Туллий лыс

(3) "Цицерон лыс" — истинно ттт Туллий лыс

(4) "Туллий лыс" — истинно ттт Цицерон лыс

Если субъект А полагает, что Цицерон лыс, но не что Туллий лыс, то Т-теория, порождающая теорему (3), будет неправильно характеризовать семантическую компетенцию А. Опасность введения (3) в семантическую теорию для А состоит в том, что это ведет к неправильной атрибуции суждения в следующем виде:

[9] См.: LePore E., Loewer B. Dual Aspect Semantics. — In: LePore E. (ed.) New Directions in Semantics. L., 1987. Pp. 83-112.

[10] См.: Davidson D. Radical Interpretation. — In: Davidson D. Inquiries into Truth and Interpretation. P. 132.

(a) А полагает: "Цицерон лыс";

(b) А полагает, что "Цицерон лыс" — истинно (из (a) и допущения о рациональности А);

(c) А полагает, что "Цицерон лыс" истинно ттт Туллий лыс (посредством гипотезы);

(d) А полагает: "Туллий лыс" (из (b), (c), и предположения о замкнутости выражения)[11].

Шаг (c) основан на предположении о том, что А фактически принимает за истину теоремы Т-теории. Это предположение исходит из того, что А, не обладая специальными семантическими познаниями, имеет тем не менее некоторые убеждения (по крайней мере, делает заключения) относительно теорем Т-теории определенного вида. Поскольку нельзя сказать, что А (не семантик) обладает отчетливыми знаниями по этим вопросам, то отсюда следует, что А должен обладать некоторым неявным знанием о (3).

Допущение о том, что введение (3) будет позволять нам выводить (d), требует обоснования важного предположения, задействованного в приведенном рассуждении: приписывает ли теорема (3) субъекту больше семантических знаний, чем (1)? Ведь утвердительный ответ на этот вопрос (по крайней мере, в категориях "классической аристотелевой" теории истины) означал бы, по сути, отказ от представления об аксиомах и теоремах Т-теории как о предложениях, изоморфных аксиомам и теоремам любой другой науки. В самом деле, при рассмотрении предложений других наук (научных языков) способ представления классификаций (законов) не имеет для нас важности в том смысле, что мы не выводим, например, свойства атомов из названий элементов. Убеждение в том, что свойства атомов элемента не изменятся при переименовании элемента, как не меняются они при склонении и других изменениях названия элемента в процессе речи, характеризует позитивное научное знание в его наиболее существенных основаниях. И если мы пытаемся строить семантическую теорию на таких основаниях, то она не должна быть чувствительна к имени, которое мы даем семантическому значению, подобно тому, как экономические законы не чувствительны к разновидностям валют, а геологические — к названиям минералов и именам горных хребтов. А поскольку теория представляет собой разработанную структуру с большим числом следствий, постольку эти следствия должны включать как можно больше явлений. В теориях истины к явлениям относится событие, фиксируемое Т-предложением; тогда, если теория истины строится по подобию научной теории, Т-предложения должны быть доказуемы.

Но в том случае, если теоремы Т-теории являются частью языковых знаний говорящего, то становится релевантным тот способ, которым это знание выражается. В самом деле, если теоремы входят в языковую компетенцию субъекта, то они могут быть помыслены как встроенные в интенсиональный контекст вида "субъект знает, что..." При том, что эти контекстные среды непрозрачны, использование теоремы (1) для характеристики семантических знаний субъекта может быть адекватным, но использование теоремы (3) — нет. Поскольку эта среда непрозрачна, то теоремы (1) и (3) (и их непосредственно составляющие) не будут просто указывать на референты, но скорее будут содержать отсылку к интенсионалам. Так как интенсиональные значения (1) и (3)

[11] LePore E., Loewer B. Dual Aspect Semantics. P. 104.

различны, то теоремы (1) и (3) будут в таком контексте выражать различные вещи.

Трудность здесь состоит в том, что поскольку среды, вызываемые обычным использованием контекстов вида "знает, что", референциально непрозрачны — и, следовательно, случаи (1) и (3) могут различаться, — то отношение "А знает, что b", используемое в семантической теории, не является отношением, обозначаемым этим выражением повседневного языка, но скорее техническим отношением в абстрактной логико-ориентированной теории значения. Оно отличается от обычного отношения "А знает, что b" прежде всего тем, что учитывает "неявное знание" — знание, которое субъект может не сознавать или не признавать. Не будучи семантиком, субъект без сомнения не будет эксплицитно признавать (осознавать) большинство аксиом и теорем семантической теории, однако, согласно такой теории, субъект все же будет соблюдать — и, таким образом, "знать" эти аксиомы и теоремы. Интенсиональные обороты, выражающие такое отношение, были подвергнуты Дэвидсоном запрету для языка теории значения (например, следующего вида: "Интерпретатор языка L знает, что в данной теории утверждается, что...")[12]. Тем не менее нельзя отрицать, что при наличии таких радикально различающихся типов отношений, имеющих одинаковую форму "А знает, что b", интуиции относительно того, что выражается в обычной среде, неприменимы к теории значения. Невозможно представить, что в среде, вызываемой техническим отношением, теорема (3) выражает что-либо отличное от (1). В частности, можно сказать, что субъект, неявно знающий (1), должен таким образом неявно знать (3). Знания (1) и (3) выступают для субъекта способами знания друг о друге.

Предположим, однако, что мы откажемся от понятия неявного семантического знания и используем обычное отношение "А знает, что b" для характеристики семантической компетенции субъекта. Это позволяет утверждать, что теорема (3) выражает нечто отличное от (1). Но поскольку неискушенный в семантике субъект может произвольно интерпретировать фактически любое выражение, содержащее семантическую терминологию, то запрет на неявное знание исключит из теории даже выражения вида "x указывает на y" или "x выполняет P".

Поэтому семантические теории знаний субъекта о значении могут быть разделены следующим образом:

а) Теории, использующие обычное отношение "А знает, что b", будут допускать, что теорема (3) выражает нечто иное, чем теорема (1), но они будут неадекватны для обеспечения дифференцированных (пригодных для описания естественного языка) семантических теорий.

б) Теории, представляющие техническое отношение "А знает, что b" для допущения неявного знания, могут обеспечивать дифференцированные семантические теории, но в таких теориях неясно, что теорема (3) будет выражать нечто иное, чем теорема (1).

Следовательно, такая теория, которая отображала бы значение выражения, должна состоять:

а) из теорем Т-теории;

б) из теории выражений, используемых в Т-теоремах.

[12] См.: Davidson D. Radical Interpretation. — In: Davidson D. Inquiries into Truth and Interpretation. Pp. 125-141.

Очевидно, что такая теория более высокого порядка не является собственно Т-теорией: это — Т-теория, объединенная с теорией, обеспечивающей способ, которым субъект представляет истинностные условия предложения, т.е. теорией, демонстрирующей (хотя и не отображающей непосредственно) значения выражений объектного языка.

Таким образом, к семантике Дэвидсона оказываются применимы аргументы IF-семантики Хинтикки против семантической теории истины: условие-истинностная семантика — это двухплоскостная семантика, использующая метаязык для описания значений объектного языка. Концепция значения как условий истинности основана на репрезентационистском подходе к анализу языковых значений: согласно подобным представлениям, мы имеем дело с языковыми выражениями таким образом, что они указывают нам на определенные положения дел, события, факты, ситуации, принадлежащие к реальности, отличной от реальности самих предложений и систем предложений. Проблема того, как применять концепцию истины Тарского к естественному языку, оказывается зависимой от обеспечения анализа основной логической формы выражений естественного языка, который представляет их таким способом, что они подпадают под возможности полностью экстенсионального подхода, употребляющего только ресурсы квантификационной логики первого порядка. Это связано, соответственно, с двумя особенностями концепции истины Тарского: она определяет истину

- на основе логических ресурсов, доступных в пределах квантификационной логики первого порядка;
- экстенсионально, то есть в терминах предметов, которые выполняют выражениям —другими словами, в терминах предметов, которые подпадают под эти выражения, а не в терминах смыслов, описаний или других интенсиональных объектов.

Оба эти свойства представляют важные преимущества для подхода Дэвидсона, поскольку его отрицание существенной роли детерминированных значений в теории значения уже влечет обязательство к экстенсиональному подходу к языку. Однако эти же признаки и создают дополнительные проблемы. Дэвидсон стремится применить модель Тарского как основание теории значения для естественных языков, но такие языки гораздо богаче, чем четкие формальные системы, для которых Тарский первоначально развивал свой подход. В частности, естественные языки содержат элементы, которые требуют ресурсов вне пределов логики первого порядка или какого бы то ни было экстенсионального анализа: это косвенная речь, наречные выражения, не-указательные предложения типа императивов и т.д.

Более же общая проблема, как мы видели, здесь состоит в следующем. В то время как Тарский использует понятие сходства значения (через понятие перевода) как средство обеспечить определение истины — одно из требований Конвенции Т состоит в том, что предложение с правой стороны Т-предложения должно быть переводом предложения слева, — Дэвидсон стремится использовать истину, чтобы дать теорию значения. Но в таком случае он нуждается в некотором другом способе ограничить формирование Т-предложений, чтобы гарантировать, что они действительно правильно определяют то, что означают предложения. Это — проблема того, как мы можем исключить Т-предложения формы ""Schnee ist weiss" истинно, если и только если трава зелена". Так как бикондиционал "если и только

если" гарантирует только то, что предложение слева будет иметь то же истинностное значение, что и предложение справа, он позволит нам делать любую замену предложений справа лишь постольку, поскольку их истинностное значение идентично таковому слева. Решение этой проблемы предполагается холистическим: Т-предложения должны рассматриваться как теоремы, произведенные в соответствии с теорией значения, которая была бы адекватна языку, рассматриваемому в целом. Но поскольку значение определенных выражений не будет независимо от значения других выражений (в силу обязательства к композициональности значения всех предложений должны быть даны на одном и том же конечном основании), то теория, которая дает проблематичные результаты относительно одного выражения, вероятно, даст проблематичные результаты и относительно других, и, в частности, также даст результаты, которые не выполняют требования Конвенции Т.

Эта проблема также может быть рассмотрена как связанная и с другим важным различием между теорией истины Тарского и теорией значения Дэвидсона: теория значения для естественного языка должна быть эмпирической теорией — это теория, которая должна объяснять действительное языковое поведение, реальное использование языка людьми, а также она должна поддаваться проверке опытным путем. Удовлетворение требования, чтобы теория значения была адекватной как эмпирическая теория, и чтобы она была адекватна действительному поведению говорящих на этом языке, повлечет за собой также более сильные ограничения (если таковые необходимы) на формирование Т-предложений.

8.2 Инструменталистская семантика (М.Даммит, Г.Кастаньеда)

Исследователи, стоящие на позициях эпистемической (верификационистской, инструменталистской) семантики, сами не употребляют этого названия. Однако речь идет о семантике, которая выделяет эпистемические элементы в составе теории значения. В естественном языке наличествуют семантически релевантные эпистемические элементы, не зависящие от обычных сфер действия пропозициональных операторов: традиционная неоднозначность, связанная со сферами действия операторов, не помогает нам найти правильную интерпретацию. Поэтому основное требование верификационистской семантики состоит в том, что мы должны включить в нашу теорию значения объяснение тех оснований, по которым мы судим об истинностных значениях наших предложений, поскольку это действительно объясняет значения выражений с учетом реальных человеческих способностей распознания истины.

Однако, то общее, что заключается в позициях таких аналитических философов языка, как Майкл Даммит[13] или Гектор-Нери Кастаньеда[14], состоит именно в том, что они особо выделяют эпистемические элементы в составе теории значения.

Мы уже обращались к семантике Даммита при рассмотрении его возражений против холизма; уточним, далее, ее ключевые моменты по вопросу связи истины и значения.

[13] Dummett M A. Frege. London, Duckworth, 1974; Dummett M.A. What is a theory of meaning? (II) — In: "Truth and Meaning" (G Evans and J. MacDowell (eds)), Oxford University Press, 1976.
[14] Castaneda H.-N. On Philosophical Method. Bloomington, Indiana University, 1981.

Даммит ставит исходные вопросы следующим образом[15]:

> Зависит ли значение предложения от условий его истинности? Заключается ли значение слова в том вкладе, который оно вносит в детерминацию условий истинности содержащих его предложений?
>
> Нет необходимости доказывать, что утвердительный ответ на эти вопросы выражает наиболее популярный до сих пор подход к истолкованию этого понятия, что его придерживаются те философы, которые не склонны к полному отказу от понятия значения, и что в явном виде он был выражен Фреге, Витгенштейном в его "Трактате" и Дэвидсоном. Я далеко не уверен, что этот утвердительный ответ ошибочен. Однако мне представляется совершенно несомненным, что такой ответ сталкивается с громадными трудностями, и мы не вправе давать его до тех пор, пока не покажем, как можно справиться с этими трудностями. На мой взгляд, далеко не ясно, почему мы обязаны или можем использовать в этой связи в теории значения понятие истины (или два понятия: истина и ложь) в качестве базисного: необходимо исследование, чтобы показать, что понятия истины и значения связаны так, как считал Фреге.

Так, в частности, стандартная семантика Дэвидсона, основываемая им на Тарском и возводимая Даммитом к Фреге, сталкивается с проблемами подгонки к естественному языку тех технических средств, которые были созданы Фреге и Тарским для формализованных языков. И напротив, альтернативные (неаналитические *par excellence*) теории значения, центральным понятием которых не является понятие истины, не вызывают принципиальных возражений.

Даммит считает, что идею о том, что значение предложения заключается в его условиях истинности, необычайно трудно выразить последовательным образом. По его мнению, философские вопросы о значении лучше интерпретировать как вопросы о понимании: утверждение о том, в чем состоит значение некоторого выражения, следует формулировать в виде тезиса о том, что значит знать его значение. Такой тезис будет примерно следующим: знать значение некоторого предложения — значит знать условия, при которых предложение истинно, однако остается неясным само понятие условий истинности. Что значит знать условия истинности предложения? Здесь вновь возникает фрегеанский принцип композициональности: ведь знание условий истинности некоторого предложения, образующее его понимание, выводимо из понимания слов, из которых составлено предложение, и способа их соединения. Отсюда следующая переформулировка проблемы Даммитом: что знает говорящий, когда он знает некоторый язык, и что тем самым он знает о любом данном предложении этого языка?

> Конечно, то, что знает говорящий, когда он знает язык, есть практическое знание, знание того, как пользоваться языком, однако это не является возражением против возможности представления этого значения в качестве пропозиционального знания. Умение владеть некоторой процедурой, какой-либо общепринятой практикой всегда можно представить в таком виде, а когда практика носит сложный характер, подобное представление часто оказывается единственным удобным способом, ее анализа. Таким образом, мы стремимся к теоретическому представлению некоторого практического умения[16].

---

[15] Здесь и далее цит. по рус. изданию: Философия. Логика. Язык. .Сб. переводов под редакцией Д.П.Горского и В.В. Петрова. М., "Прогресс", 1987. С. 127.
[16] Там же, с.129.

Подчеркнем, что Даммит не противоречит, по сути Дэвидсону (и сам Дэвидсон неоднократно признает его влияние) — он просто идет намного глубже и вникает в буквально головокружительные нюансы, сочетая уникальным образом прагматический и менталистсткий подходы. В итоге вопрос "Заключается ли значение предложения в условиях его истинности?" равнозначен для Даммита следующему вопросу: "Позволяет ли выбор понятия истины в качестве центрального понятия теории значения сохранить различие между смыслом и действием?" Дэвидсон предлагает ответ на этот вопрос, пытаясь создать объединенную теорию языка, сознания и действия (и солидаризуясь в этом отношении, например, с такими философами, как Патнэм и Хабермас), однако аргументы Даммита от этого не утрачивают свою силу. Даммит утверждает, что ключевые идеи Дэвидсона неприемлемы, поскольку они не приводят к удовлетворительному объяснению феномена владения языком: знание значения предложения не может сводиться к знанию его условий истинности, так как есть предложения с неопределенными условиями истинности. Мы не можем, утверждает Даммит, положить в основу теории значения понятие истинности, интерпретируемое в смысле объективных условий истинности; в противном случае значение становится эпистемически недоступным (трансцендентным) .

Во многом (т.е. в признании примата эпистемического начала в семантике) близок Гектор-Нери Кастаньеда, ученик Уилфрида Селларса.

Рассмотрим, например, предлагаемый Кастаньедой анализ предложения

(*) Герой войны знает, что он сам болен.

Идея Кастаньеды такова: при наиболее естественной интерпретации предложение (*) означает,

- во-первых, что герой войны знает утверждение, которое он сам мог бы выразить, произнеся: "Я болен", и,
- во-вторых, что это утверждение нельзя выразить в терминах указания на этого героя войны или относящейся к нему дескрипции, осуществленных от третьего лица.

Чтобы понять суть дела, представим себе, что Джон — знаменитый герой одной из недавних войн, о котором написано много книг. Попав в автомобильную катастрофу, Джон полностью утрачивает память о своем прошлом. После лечения здоровье Джона восстанавливается до такой степени, что он способен читать книги об этом герое войны [то есть о себе самом]. Тем не менее, он не осознает, что человек, чей боевой путь книга раскрывает перед ним в таких подробностях, — это он сам.

Поскольку Джон не осознает, что герой воины, о котором идет речь, — это он сам, он приобретает знание *de re* об этом герое, не приобретая при этом того знания *de re*, которое имеется в виду в рассматриваемой нами интерпретации предложения (*). Иными словами, Джон не считает, что тот человек, который известен ему (по книгам) как герой войны, болен. В то же время Джон знает, что сам он болен.

Нетрудно обратить ход рассуждения и представить себе, что Джон считает истинным некоторое утверждение о данном герое войны (как герое войны — например, что тот был ранен точно сто раз), не полагая при этом, что он сам был ранен сто раз.

Теперь суть проблемы становится ясной — она заключается попросту в том, что в "феноменологическом мире" Джона он сам и данный герой войны — это два различных индивида. Обобщая это наблюдение, можно утверждать, что, какую бы дескрипцию Джона, осуществленную в терминах третьего лица, мы ни взяли, можно представить себе ситуацию, в которой Джон не установит связь между этой дескрипцией и самим собой; самосознание в терминах первого липа никогда не сводится к знанию о себе в терминах третьего лица.

Заметим, что все ключевые идеи этого анализа имеют эпистемологическую природу — любая апелляция к "феноменологическому миру" героя войны или к его осознанию себя как субъекта, имеющего такие то характеристики, связана с определенным концепгуальным фоном. Таким образом, анализ Кастаньеды концептуально перекликается с работами Хинтикки о "Двух методах кросс-идентификации"[17].

Основное допущение эпистемически ориентированной семантики Кастаньеды (а также и Хинтикки) можно сформулировать следующим образом: в естественном языке наличествуют семантически релевантные эпистемические элементы, не зависящие от обычных сфер действия операторов. Например, традиционная неоднозначность, связанная со сферами действия пропозициональных операторов, налицо и в предложении (*), но она не помогает нам найти его правильную интерпретацию С другой стороны, сам принцип проведенного выше анализа далеко не очевиден. Напротив, он связан с определенной метатеоретической позицией, имеющей непосредственное отношение к выбору базы семантических данных, и поэтому сам нуждается в обосновании.

8.3 Трансляционная и теоретико-модельная семантика

Идея трансляционной семантики, понимаемой в духе Катца[18], заключается в том, чтобы построить отображение исследуемого языка посредством некоторого подходящего языка с четкой структурой. Таким образом, фундаментом для построения семантики призван служить *язык маркеров* (Markerese), средствами которого выражаются семантические репрезентации. Понимание того или иного предложения состояло бы в умении построить его перевод на язык маркеров.

Трансляционная семантика подверглась резкой критике по целому ряду причин[19]. Указывалось, например, что если человек правильно переводит предложение данного языка некоторым предложением другого языка (и при этом знает, что перевод не меняет значения оригинала), то из этого еще не следует, что он понимает — в любом разумном смысле этого слова — предложения исходного языка. Точно так же отмечалось, что если в нашем распоряжении имеется некое пособие по переводу, то из этого еще не следует, что мы умеем устанавливать связь между рассматриваемым языком и внешним миром, — возможно, что мы

[17] Hintikka J. Models for Modalities. Dordrecht: D. Reidel, 1969; Hintikka J. Intentions of Intentionality and Other New Models for Modalities. Dordrecht: D. Reidel, 1975.
[18] Katz J. J. Semantic Theory. New York Harper & Row, 1972; Katz J J. Common sense in semantics —"Notre Dame Journal of Formal Logic", 1982, vol. 23, p. 174—218; Katz J.J., P. Postal. An Integrated Theory of Linguistic Description. Cambridge MIT Press, 1964.
[19] Lewis D. General semantics — In: "Semantics of Natural Language" (D. Davidson and G. Harman (eds.)). Dordrecht: D Reidel, 1972; LePore E., B. Loewer. Translational semantics — "Synthese", 1981, vol. 48, p. 121—134.

умеем связывать наш язык лишь с некоторым другим языком, но не с фрагментами внешней действительности. (Нет никаких гарантий, что существует связующее звено между языком маркеров и миром.) Неясно, стало быть, как могли бы мы узнать условия истинности предложений исходного языка даже и в том случае, когда в нашем распоряжении была бы соответствующая процедура перевода на язык маркеров.

Несмотря на эту критику, фактом остается то, что трансляционная семантика предоставила естественный концептуальный аппарат для анализа значений *слов* (противопоставленного анализу значений текстов и предложений). В самом деле, трансляционная семантика остается одним из немногих достижений в данной области; хорошо известно, что, например, теоретико-модельная семантика (которую мы сейчас рассмотрим в этом отношении) фактически не касается значений слов.

Все это наводит на следующее соображение метатеоретического характера: каким образом можно осуществить сколько-нибудь плодотворное сравнение двух семантических теорий, относящихся к различным областям семантики? Как теоретико-модельная семантика могла бы превалировать над трансляционной семантикой, если все лучшее, что сделано в анализе значений слов, сделано в терминах семантических маркеров, введенных трансляционной семантикой? Могло бы показаться, что единственное, что мог бы предпринять теоретико-модельный семантик для оправдания своей позиции, — это объявить семантику слова, вотличие от семантики предложения, "относительно несущественной". Но ясно, что такое заявление свидетельствовало бы скорее о субъективном научном вкусе данного исследователя, чем о какой-либо основательно аргументированной позиции.

В основе же теоретико-модельной семантики лежат некоторые ключевые идеи современной логики. Как и в математической теории моделей для логического языка, здесь речь идет о строго определенном отношении соответствия между объектным языком и некоторой подходящей теоретико-множественной сущностью. Таким образом, естественный язык трактуется как формальный—эта идея нашла отражение в самом названии известной статьи Ричарда Монтегю "Английский язык как формальный" и в содержании многих комементирующих ее работ, в первую очередь Барбары Холл Парти[20].

Основная суть здесь в следующем. При анализе базового отношения $M|=tS$ ("S истинно в M относительно параметра t") перед исследователем сразу же встают три вопроса:

а) Каким образом определить семантические правила, задающие основное семантическое отношение как функцию синтаксической структуры предложения S (в предположении, что уже имеется семантическая интерпретация для составных частей предложения)?

б) Какие параметры включить в "t"? Следует отметить, что вся затея может стать тривиальной, если зависимость истинности от множества параметров задать слишком лобовым образом или если включить в t слишком много параметров.

в) Насколько богатую структуру предусмотреть для M? Именно здесь наиболее непосредственным образом в игру вступают философские концепции: в

[20] Montaguy R. Formal Philosophy (ed. by R. H. Thomason). New Haven, Yale University Press, 1974; Partee B. H. (ed). Montague Grammar. New York Academic Press, 1976.

зависимости от своих общих онтологических взглядов исследователь будет вынужден занять здесь одну из нескольких совершенно различных позиций. Например, является ли "событие" достаточно ясной сущностью, чтобы включить его в онтологию в качестве одной из основных единиц? Модели, с которыми чувствует себя вправе оперировать исследователь, будут различаться в зависимости от его общих философских убеждений (имплицитных или эксплицитных). Если учесть, что в данном подходе модели играют роль действительности, то выбор структуры моделей приобретает решающее значение. (В этой связи примечательно, что знаменитая "ситуационная семантика" Барвайса и Перри, в сущности, предсталяет собой не что иное, как один из возможных вариантов теоретико-модельной семантики, в основе которой лежит такое понятие модели, которое больше соответствует идее "ситуации", чем идее "возможного мира"[21].)

Теоретико-модельная семантика оказала огромное влияние на изучение естественного языка. Как бы ни назвать этот подход — "грамматикой Монтегю" или "семантикой возможных миров", — он должен занять видное место среди наиболее выдающихся в интеллектуальном отношении достижений в гуманитарных науках нашего времени. И тем не менее остается нерешенным ряд важных проблем, которые можно — в качестве резюме — изложить здесь в метатеоретических терминах.

Понятие языка в теоретико-модельной семантике носит столь абстрактный характер, что о естественном описании процесса понимания естественного языка или других психологических феноменов, связанных с языковым значением, говорить, по-видимому, не приходится. Что касается абстрактных данных, относящихся к условиям истинности и другим отношениям референции, то здесь теоретико-модельная семантика имеет на своем счету впечатляющие результаты. Но для исследователя семантики с более психологической ориентацией (такого, например, как Филип Джонсон-Лэйрд[22]) абстрактные условия истинности несущественны—для него ключевые вопросы касаются психологических механизмов, действующих в области языкового понимания и "вычисления" значения. И опять же, постановка проблемы в таких терминах не слишком обнадеживает: как могли бы мы продвинуться в сравнении теорий, если в основе этих теорий лежат разные базы данных? И кроме того, чем нам руководствоваться при решении вопроса о том, имеют ли феномены психологической природы решающее значение для семантики? Именно такого рода метатеоретические проблемы приобретают сегодня в семантике наибольшую актуальность.

8.4 Теоретико-игровая семантика Я.Хинтикки

В основе теоретико-игровой семантики лежат, с одной стороны, математическая теория игр, а с другой—теоретико-модельная семантика. Как и эту последнюю, теоретико-игровую семантику интересует отношение *M|=tS*. Однако, в отличие от теоретико-модальной семантики, *M|=tS* анализируется в терминах игры, которая,

[21] Barwise J. Scenes and other situations. — "Journal of Philosophy", 1981, vol. 78, p. 369—397; Barwise J., Perry J. Situations and Attitudes. Cambridge - MIT Press, 1983;

[22] Johnson Laird Ph. Formal semantics and psychology —In "Processes, Beliefs, and Questions" (S. Peters and E Saarinen (eds)) Dordrecht: D Reidel, 1982; Johnson-Laird Ph. Mental Models. Cambridge, Cambridge University Press, 1983.

говоря неформально, интерпретирует предложение *S* посредством процесса вычисления истинностного значения, направленного от предложения как целого к его частям. Эта игра, представляющая, таким образом, нашу основную интерпретационную (семантическую) единицу, вводит в рассмотрение параметры нового вида (такие, как "память" и "информационное множество"), которые исследователь затем стремится использовать в семантическом анализе. Все это приводит к тому, что семантика становится более процессуально-ориентированной. И неудивительно, что при таком подходе поддаются трактовке анафорические явления, дискурсивные феномены и вообще проблемы, входящие в компетенцию семантики текста. Совершенно чсно, что такие характеристики и инструменты анализа отсутствуют в теоретико-модельной семантике, где любые феномены процессуального характера не могут не оставаться исключением[23].

Новизна теоретико-игровой семантики — если сравнивать ее с теоретико-модельной — носит относительный характер. С одной стороны, представляется, что многие интерпретационные правила теоретико-игровой семантики нетрудно перефразировать в терминах рекурсивных определений истинности[24]. Однако в некоторых случаях теоретико-игровой аппарат приводит, по-видимому, к более естественной терминологии анализа семантических феноменов, чем аппарат теоретико-модельной семантики, основным инструментом которой является рекурсивное определение истинности.

Но даже и в этих случаях статус теоретико-игровой семантики как концептуального аппарата анализа естественного языка напоминает статус игровой семантики в математической логике. А там, скажем, игровые кванторы естественнее считать расширением теоретико-модельной семантики, чем конкурирующей с ней альтернативой. Иными словами, хотя феномены, связанные с дискурсом, в теоретико-игровой семантике доступнее для анализа, чем в традиционном теоретико-модельном подходе с его рекурсивным определением истинности, это вряд ли свидетельствует о каком-то общетеоретическом превосходстве теоретико-игровой семантики над теоретико-модельной.

Стоит подчеркнуть сложности метатеоретического сравнения даже таких относительно тесно связанных подходов, как теоретико-игровая и (обычная) теоретико-модельная семантика. Свойства языка, которые естественнее анализируются средствами теоретико-игровой семантики,—это, как правило, феномены, от которых исследователь, приверженный теоретико-модельному подходу, сознательно абстрагируется. Присущая тексту связность, иные факты, относящиеся к лингвистике текста, и даже многие анафорические феномены не представляют интереса для сторонников традиционной теоретико-модельной семантики, сосредоточивающих внимание на условиях истинности. Например, с точки зрения интуиции нс подлежит сомнению, что анафорическое выражение (по крайней мере в большинстве случаев) анализируется по ходу семантической интерпретации позже, чем его антецедент, однако из этого факта вовсе не обязаны вытекать следствия, затрагивающие условия истинности.

---

[23] См., например: Hintikka J. Game theoretical semantics: Insights and prospects —"Notre Dame Journal of Formal Logic", 1982, vol. 23, p. 219—241.

[24] Peacocke C. A. B. Game-theoretical semantics, quantifiers and truth. —In: "Game-theoretical Semantic" (E. Saarinen, (ed.)) Dordrecht: D. Reidel, 1979; Peacocke C. A. B. The theory of meaning in analytic philosophy.— In: "Contemporary Philosophy" (G. Flaistadt (ed.)). The Hague: Martinus Nijhoff, 1983.

В чем связь, по мнению Хинтикки, *теоретико-игрового определения истины* с теоретико-игровой семантикой? Основные черты предлагаемого теоретико-игрового определения истины (ТИОИ) таковы:

i. В нем используется понятие выигрышной стратегии (а не победы в игре, как это понимает, например, Даммит[25]) — правила, определяющего, какой ход должен сделать игрок в каждой возможной игровой ситуации для того, чтобы достичь победы вне зависимости от того, какую стратегию изберет соперник.

ii. Оно не сводится к формальным (но интерпретированным) первопорядковым языкам. Хотя в естественных языках кванторы ведут себя иначе, чем в них, ТИОИ может быть распространено на них, как и на другие логические языки.

iii. Теоретико-игровая интерпретация кванторов (предложенная Ч.С.Пирсом) используется во всех случаях, когда неприменимо тарскианское определение истины.

iv. ТИОИ дает условия истинности первопорядковых предложений, формулируя их в терминах игровых стратегий, которые сами приводимы к логическому анализу и формулировке в логических терминах (функции Сколема).

v. Собственно понятие истины является при теоретико-игровом подходе вспомогательным, поскольку при нем определяется значение квантифицированных предложений путем определения их условий истинности (таким образом Витгенштейн использует понятие языковой игры в концепции "значение как употребление"). Следует различать игры на поиск истины (truth-seeking games) (т.е. эпистемические игры) и игры на установление (или верификацию) истины (truth-establishing games) (т.е. семантические игры), где условия истинности в определенном смысле даны заранее.

ТИОИ демонстрирует сильные и слабые стороны прагматистской концепции истины: верно то, что истина не может заключаться в независимо существующих отношениях корреспонденции между языком и миром. Таких отношений, по мнению Хинтикки, не существует: они могут лишь устанавливаться путем использования языка, т.е. семантическими играми. Однако неприемлемо прагматистское требование, согласно которому релевантными являются те действия, с помощью которых мы обнаруживаем, что является истинным. Такое требование связано с неразличением игр на установление истины и на поиск истины, и непониманием того, что последние не являются конститутивными для понятия истины.

[25] Dummett M. Truth and Other Enigmas. 1978, p.19.

9. Аналитическая эпистемология

В аналитической философии *теория познания* всегда занимала особое и даже привилегированное положение, будучи одной из тех немногих философских дисциплин, правомерность принадлежности которой к философии практически никогда не ставилась под сомнение. Изучение человеческого познания, его предпосылок, природы и границ традиционно считается здесь важнейшей задачей философского исследования. Обычно познание понимается как процесс приобретения *знаний*, то есть как процесс, в ходе которого происходит переход от незнания к знанию. Интересно отметить, что принятый в англоязычной философской литературе термин *эпистемология* чаще всего истолковывается именно как *теория знания* (*theory of knowledge*), что вполне соответствует той центральной роли, которую категория знания играет в подавляющем большинстве концепций аналитической эпистемологии. Такие темы как: что такое знание; как мы приобретаем знание; чем знание отличается от "простого мнения"; до каких пределов мы можем полагаться на знание других людей; что мы можем противопоставить характерному для скептицизма отрицанию возможности знания – занимают подобающее место в исследованиях по аналитической теории познания.

В современной аналитической философии сформулировано большое число различных эпистемологических теорий. Эти теории часто расходятся между собой по тем или иным важным вопросам содержательного характера. Тем не менее, всех их объединяет специфический "аналитико-философский" стиль или форма философствования, для которых характерным является, во-первых, рассмотрение любых философских проблем прежде всего через призму анализа языка ("лингвистический поворот"), во-вторых, активное задействование определенной технической терминологии и, в-третьих, высокий уровень требовательности (принимаемых стандартов) по отношению к доказательности и аргументированности выдвигаемых положений. Кроме того, в значительной степени единой остается предметная область аналитических эпистемологических исследований, с ее концентрацией на знании и проблеме его обоснования. Типичной в этом отношении является эпистемологическая концепция, представленная в работе Бертрана Рассела "Проблемы философии" (1902).[1]

9.1 Бертран Рассел: знание вещей и знание истин

В теории познания Рассела важную роль играет различие между двумя видами знания: *знанием вещей* и *знанием истин*. Эти виды соответствуют двум разным смыслам, в которых вообще может использоваться слово "знать". Прежде всего оно применяется в том смысле, в котором мы знаем "данные, поставляемые нашими органами чувств". Другой возможный смысл относится к нашим мнениям или убеждениям, к тому, что согласно Расселу, называется *суждениями*.

Прежде всего, Рассел подробно останавливается на знании вещей, выделяя в нем два типа: знание *по знакомству* и знание *по описанию*. Выше уже шла речь об этих видах знания (см. § 2.2.6). Рассел подчеркивает, что знание вещей по знакомству значительно проще любого знания истины и логически независимо от

[1] Russell B. The Problems of Philosophy. New York – Oxford, Oxford University Press, 1997.

него. Знание же вещей по описанию, наоборот, всегда включает в качестве источника и основы определенное знание истины. С какого же рода "вещами" возможно непосредственное знакомство, не нуждающееся ни в каком логическом выводе или предварительном суждении? Согласно Расселу, прежде всего, это – данные наших органов чувств. Например, сидя за письменным столом, мы непосредственно воспринимаем его цвет, форму, твердость, гладкость и т.п., и именно эти чувственные данные, составляющие в совокупности воспринимаемый нами *образ стола*, и суть те "вещи", с которыми мы непосредственно знакомы. Это, однако, вовсе не означает, что тем самым мы получаем непосредственное знакомство со столом *как с физическим объектом*! Наоборот, знание стола как физического объекта Рассел характеризует как типичный случай знания по описанию. Описание имеет тут примерно следующий вид: "Стол есть физический объект, который вызывает такие-то и такие-то ощущения", то есть мы имеем описание стола *посредством* чувственных данных. Здесь мысль Рассела движется вполне в русле классической феноменалистской традиции британского эмпиризма. Впрочем, Рассел не останавливается на этом, считая, что адекватный анализ нашего знания невозможен, если наряду с чувственными данными не учитывать некоторые другие виды вещей, с которыми также возможно непосредственное знакомство.

Первое, что необходимо добавить к знакомству с нашими непосредственными чувственными данными – это знакомство *по памяти*, то есть, знакомство с теми данными наших органов чувств, которые мы в настоящее время непосредственно не воспринимаем, но которые сохранились в нашей памяти. Этот вид знакомства делает возможным наше знание о прошлом. В качестве следующего добавления Рассел рассматривает так называемое знакомство *по интроспекции*, или самосознание, являющееся источником знания об *отдельных состояниях* нашего сознания. Мы не только видим солнце, мы осознаем наше "видение солнца", мы не только хотим есть, мы осознаем наше "желание есть". По Расселу, это "видение солнца" и "желание есть" выступают в качестве особых объектов, с которыми мы также оказываемся непосредственно знакомы. Здесь важно иметь ввиду, что самосознание вовсе не тождественно сознанию *себя в целом*, то есть сознанию собственного Я. Иными словами, знакомство с содержанием нашего сознания еще не означает непосредственного знакомства с собственной личностью.

> "Когда мы пытаемся всмотреться в самих себя, мы по-видимому, всегда наталкиваемся на некоторые отдельные мысли и чувства, а не на "Я", которое имеет мысли и чувства".[2]

В этой связи Рассел ставит следующий вопрос: можно ли утверждать, что кроме отдельных состояний нашего сознания, мы непосредственно знакомы также и с нашим Я? Ответ самого Рассела на этот вопрос звучит достаточно осторожно: хотя *возможность* непосредственного знакомства с нашим Я кажется весьма правдоподобной, все же нельзя однозначно утверждать, что такое знакомство несомненно имеет место. Колебания Рассела станут понятны, если ознакомиться с возможными доводами, которые он выдвигает в пользу такого рода знакомства. По существу, эти доводы выглядят не слишком убедительно. Рассел пишет:

[2] Ibid. – P.50.

"Мы знаем истину 'Я знаком с такими-то чувственными данными'. Трудно видеть, как бы мы могли знать эту истину, или даже понимать, что здесь имеется ввиду, если бы мы не были знакомы с чем-то, что мы зовем 'Я'".[3]

Возражение, которое здесь можно выдвинуть, заключается в следующем. Не вполне ясно, почему суждение о собственном знакомстве с чем-то обязательно должно включать в качестве непосредственных конституент *только* "вещи" с которыми мы также должны быть непосредственно знакомы. К примеру, мы знаем истину "Юлий Цезарь был знаком с Марком Антонием". Однако, как Юлия Цезаря, так и Марка Антония мы знаем только по описанию. Так что, вполне можно себе представить, что и в суждениях о том, что Я знаком с тем-то и тем-то, некоторые из таких конституент (например, "Я") известны нам именно по описанию (примерно того же типа, который мы имели выше, в случае со столом): "Я – это духовный объект, которые обладает сознанием таких-то и таких-то чувственных данных".

Примечательно, что Рассел не ограничивает область предметов, о которых возможно знание по знакомству, только "конкретными существующими вещами". Он утверждает, что кроме таких вещей мы также можем иметь непосредственное знакомство с *универсалиями*, то есть, общими идеями, такими как "белизна", "различие", "братство" и т.д. Здесь проявляется своеобразный платонизм Рассела, достаточно последовательно проводимый им в книге "Проблемы философии". Правда расселовское обоснование самой возможности знания-знакомства универсалий вызывает определенные вопросы. Рассел, прежде всего, рассматривает универсалии, которые представляют так называемые "ощущаемые качества", такие как цвет, вкус и т.п. и говорит, что эти качества "проявляются" (*are exemplified*) в чувственных данных, с которыми мы – согласно его теории – как раз и находимся в отношении непосредственного знакомства. Здесь, конечно, легко возразить, что чувственные данные знакомят нас каждый раз с каким нибудь *конкретным* проявлением того или иного "качества" (цвета, вкуса и т.п.) а не с универсалией самой по себе. Рассел и сам отмечает, что, например, когда мы видим какое-нибудь белое пятно, мы всегда знакомимся с конкретным пятном. Но – продолжает он – после многократного наблюдения различных белых пятен, мы легко научаемся выделять посредством абстракции ("абстрагировать") общую им всем белизну и, тем самым, знакомимся с белизной самой по себе.[4] К сожалению, Рассел не останавливается на вопросе о природе этого абстрагирования, и это существенно ослабляет его аргументацию. Ведь если предположить, что такое абстрагирование представляет собой особого рода логическую процедуру, то очевидным становится опосредованный характер полученного таким образом знания белизны. А значит, перед нами – типичный случай знания по описанию ("белизна – это понятие, являющееся результатом такой-то и такой-то операции абстрагирования"). То же самое возражение можно выдвинуть и против расселовского обоснования знания-знакомства пространственно-временных отношений и отношения сходства.

Согласно Расселу, физические объекты как таковые, равно как и сознание других людей не принадлеждат к тем предметам, которые могут быть известны нам через непосредственное знакомство.[5] Знание о такого рода предметах возможно только по описанию. Под описанием (дескрипцией) Рассел подразумевает фразу вида

[3] Ibid. – P.51.
[4] Ibid. – P.101.
[5] Ibid. – P.52.

"такой-то и такой-то", различая при этом определенную и неопределенную дескрипции (выражаемые в английском языке при помощи неопределенного и определенного артиклей соответственно). Подробно свою теорию дескрипций Рассел развил в классической статье "Об обозначении" (1905), где, в частности, рассмотрел, каким образом могут быть осмысленно эксплицированы выражения, у которых отсутствует предметное значение (такие как "нынешний король Франции"). Расселовская теория дескрипций была изложена выше в § 2.2.6. Здесь мы лишь отметим, что важность знания по описанию обусловлена тем, что оно открывает возможность выхода за пределы личного опыта. Впрочем, любое описание должно быть в принципе устранимо, что находит выражение в следующем фундаментальном принципе, принимаемом Расселом:

> "Каждое высказывание, которое мы можем понять, должно состоять полностью из конституент, с которыми мы знакомы".[6]

Этот редукционистский принцип, утверждающий сводимость любого знания в конечном счете к знанию по знакомству, объясняет, между прочим, почему Рассел должен был допустить возможность непосредственного знакомства с универсалиями – ведь любое высказывание обязательно содержит хотя бы один термин, представляющий общее понятие. Следовательно, без возможности знакомства с универсалиями полная сводимость к знанию по знакомству оказалась бы просто невозможной.

Переходя теперь к знанию истин, прежде всего следует отметить, что в отличие от знания вещей, здесь мы сталкиваемся с совершенно новой проблемой – проблемой возможной *ошибочности* того, что мы можем принимать за знание. Как уже отмечалось в § 2.2.7, теория истины Рассела, являясь по существу корреспондентной,

> "(1) допускает, что истина имеет свою противоположность, а именно, ложь, (2) делает истину свойством убеждений, но (3) делает это свойство полностью зависимым от отношения убеждений к внешним вещам".[7]

Развивая свою теорию истины, Рассел задействует понятие *факта* (превратившееся затем в центральное понятие его философии логического атомизма). Убеждение истинно, если ему соответствует некоторый факт, и ложно, если соответствующего факта нет. Вообще, с точки зрения позднейшей терминологии, более адекватным было бы называть этот вид знания именно "знанием фактов". Ведь знание, как правило, истолковывается как нечто, относящееся ко внеязыковой действительности (или действительности, выходящей за пределы сознания). В свою очередь, действительность ("мир") – согласно философии логического атомизма – есть не что иное, как совокупность фактов, каждый из которых представляет собой особую конфигурацию предметов ("вещей"). Таким образом, если наше убеждение истинно, то это как раз означает, что мы знаем соответствующий факт. Однако в "Проблемах философии" Рассел предпочитает вести речь именно о знании истин, так что вопрос о взаимоотношении терминов "истина", "факт", "пропозиция", "суждение" в их отношении к знанию, оставляет здесь впечатление некоторой непроясненности.

Подводя итоги своему исследованию видов знания, Рассел пишет:

---

[6] Ibid. – P.58.
[7] Ibid. – P.123.

"Мы можем теперь осуществить обзор источников нашего знания, в том порядке, как они появлялись в ходе нашего анализа. Прежде всего мы должны различать знание вещей и знание истин. Каждое из них имеет два вида, один непосредственный, а другой производный. Наше непосредственное знание вещей, которое мы назвали *знакомством*, бывает двух типов, в зависимости от того, является ли известная вещь конкретным предметом или универсалией. Среди конкретных предметов мы имеем знакомство с чувственными данными и (вероятно) с самими собой. Для универсалий, по-видимому, не существует принципа, по которому мы можем решить, какие из них могут быть известны по знакомству, однако ясно, что к числу тех, которые могут быть известны таким образом, относятся ощущаемые качества, пространственно-временные отношения, отношение сходства и определенные абстрактные логические универсалии. Наше производное знание вещей, которое мы называем знанием по *описанию*, всегда включает как знакомство с чем-то, так и знание *истины*. Наше непосредственное знание истины может быть названо *интуитивным* знанием, и известные таким образом истины могут быть названы *самоочевидными* истинами. Такие истины включают те, которые только утверждают, что дано в ощущениях, а также определенные абстрактные логические и арифметические принципы и (хотя и с меньшей долей уверенности) некоторые этические высказывания. Наше производное знание истины состоит из всего того, что мы можем вывести из самоочевидных истин, используя самоочевидные принципы дедукции".[8]

Осуществленное Расселом различие между знанием вещей и знанием истин (знанием фактов) является в настоящее время общепринятым и соответствует характерному для многих аналитических эпистемологических концепций делению знания на предметное (предикативное) и пропозициональное знание. Кроме того, иногда еще выделяют и так называемое практическое знание, как практическое умение что-либо делать. Следует, однако, отметить, что предикативное и практическое знание обычно трактуются в аналитической философии как подчиненные или вспомогательные его виды. В качестве основного вида знания, *знания в собственном смысле*, рассматривается именно *пропозициональное знание*, то есть знание о том, что имеет место тот или иной факт. К анализу пропозиционального знания мы сейчас и переходим.

9.2 Знание и мнение. Проблема обоснованности знаний

Содержание пропозиционального знания обычно выражается посредством некоторого высказывания. Другой характерной особенностью такого рода знания является то, что оно представляет собой функцию человеческих *убеждений*. Например, если некто *знает*, что Земля вращается вокруг Солнца, то он должен быть в этом убежден, то есть он должен по крайней мере считать, или полагать, что Земля вращается вокруг Солнца. Здесь важно иметь ввиду, что используемый в англоязычной философской литературе аналитического направления термин "*belief*" не имеет однозначного русского эквивалента. Его можно перевести и как "мнение", и как "вера", и как "убеждение". Наиболее близким по значению является термин "убеждение", истолковываемый при этом максимально нейтрально, без какой-либо эмоционально-психологической нагруженности. В

[8] Ibid. – P.109.

этом смысле "X убежден, что *A*" следует понимать просто как "X считает, что *A*", или "X полагает, что *A*", или "по мнению X, имеет место *A*". Именно в этом значении и будет в дальнейшем использоваться термин "убеждение" и его возможные эквиваленты. Вообще в современной аналитической эпистемологии категории убеждения (мнения) уделяется достаточно большое внимание. Многие исследователи отмечают, что теория познания не может ограничиться лишь анализом феномена собственно знания. Необходимо учитывать гораздо более широкий класс "пропозициональных установок", среди которых убеждения занимают далеко не последнее место.

К важнейшими характеристиками наших убеждений относят их *интенциональность* и *репрезентативность*. Убеждения всегда суть убеждения *в чем-то* (или о чем-то), они призваны выполнять функцию представления некоторой реальности и обеспечивать ориентацию человека в мире. Благодаря своей репрезентирующей роли, убеждения могут иметь истинностное значение. Если наши убеждения некорректно представляют ту реальность, которую призваны репрезентировать, они являются ложными, если же убеждения адекватно представляют мир, то они являются истинными.

Традиция анализа знания через его сопоставление с категорией убеждения имеет давнюю историю и восходит по крайней мере к диалогам Платона "Менон" и "Теэтет". Так, в диалоге "Теэтет" критически анализируются три различные определения знания: (1) знание как чувственное восприятие; (2) знание как правильное мнение и (3) знание как правильное мнение с объяснением. И хотя Платон последовательно отвергает каждое из этих определений, сам подход к рассмотрению знания через его противопоставление убеждению, мнению или вере укоренился в философии и стал классическим. Эта классическая традиция получила дальнейшее развитие в аналитической эпистемологии, где в качестве одной из центральных задач всегда считалось нахождение адекватного определения категории знания. Ее решение должно дать нам ответ на вопрос, что такое знание, или что значит "знать". Каковы те необходимые и достаточные условия, выполнение которых позволяет утверждать, что субъект X действительно *знает*, что имеет место некоторый факт, скажем *A*?

В аналитической философии широкое распространение получило так называемое "традиционное определение знания", в соответствии с которым знание есть *обоснованное истинное убеждение*.[9] Согласно этому определению, X знает что *A*, если и только если в совокупности выполняются следующие три условия:

(1) X *считает*, что *A*;

(2) *A* является *истинным*;

(3) Убеждение X в том, что имеет место *A*, определенным образом *обосновано*.[10]

---

[9] См. напр. Chisholm R.M. Perceiving: A Philosophical Study. Ithaca – New York: Cornell University Press, 1957. – P.16; Ayer A.J. The Problem of Khowledge. London: Macmillan, 1956. – P.34; Moser P.K., Mulder D.H., Trout J.D. The Theory of Knowledge. A Thematic Introduction. New York – Oxford: Oxford University Press, 1998. – P.14-17.

[10] Данное определение по существу перекликается с платоновской дефиницией знания как "правильного мнения с объяснением". Сформулировав это определение, Платон подверг его критике, так как считал, что подлинное знание возможно только относительно "мира идей", что конечно же не является убедительным аргументом для тех, кто не признает существование такого рода мира. В любом случае, с точки зрения аналитической философии, платоновская трактовка знания является слишком узкой, ограничиваясь лишь своего рода "высшим знанием", не оставляя пространства для "обыденного знания" и по существу отрицая его возможность.

Образцом такого подхода вполне может служить концепция пропозиционального знания, представленная в книге Рассела "Проблемы философии".[11] Важно отметить (это подчеркивает также и Рассел), что знание недостаточно определять просто как истинное убеждение, так как наши убеждения могут оказаться истинными случайным образом, в силу всего лишь "эпистемического везения". Например, я могу считать – не имея на то никаких особых оснований –, что мой лучший друг в тот или иной момент времени находится дома (просто потому, что мне так кажется). Если я при этом случайно окажусь прав, и мой друг в указаный момент времени действительно будет находиться дома, то это вовсе не будет означать, что я в самом деле *знал* этот факт.

Рассмотрим другой пример, несколько модифицируя пример, который также можно найти в упомянутой книге Рассела. Пусть г-н Х ошибочно полагает, что роман "Два капитана" написал Катаев, а затем вполне закономерно делает отсюда вывод, что фамилия автора "Двух капитанов" начинается на букву "К". Это последнее убеждение г-на Х является истинным, поскольку фамилия настоящего автора – "Каверин" – тоже начинается на букву "К". Тем не менее, это истинное убеждение вовсе не образует *знания*, и вряд ли правомерным будет утверждать, что г-н Х в самом деле *знает*, что фамилия автора романа "Два капитана" начинается на букву "К". В самом деле, если мы спросим г-на Х, *почему* он считает, что фамилия автора "Двух капитанов" начинается на букву "К", то в ответ мы, скорее всего, получим следующее объяснение: так как автором романа "Два капитана" является Катаев, то, следовательно, фамилия автора этого романа начинается на букву "К". Для всякого, кому по крайней мере известно, что Катаев вовсе не писал "Двух капитанов", такого рода объяснение, конечно же, не может служить доводом в пользу последнего утверждения г-на Х. Истинность этого утверждения обусловлена всего лишь случайным совпадением и есть результат все того же эпистемического везения. Подлинное знание и простое эпистемическое везение несовместимы.

Таким образом, для того чтобы наше убеждение, даже будучи истинным, могло претендовать на статус *знания*, мы должны располагать *обоснованием* истинности этого убеждения. А значит, важнейшей проблемой теории познания оказывается проблема выяснения и уточнения возможных критериев обоснованности убеждений, то есть ответ на вопрос о том, что означает для убеждения, быть обоснованным. В аналитической эпистемологии можно выделить два основных подхода к решению этой проблемы, которые обычно обозначают как "интернализм" и "экстернализм".[12] *Интернализм* требует, чтобы обоснование того или иного убеждения оставалось исключительно "внутренним делом" познающего субъекта и не задействовало никаких "внешних факторов", ограничиваясь только ссылками на убеждения субъекта и его эпистемические состояния. Родрик Чизом формулирует это требование следующим образом:

> "Если субъект S имеет внутреннее основание для убеждения в определенной вещи, то это может быть чем-то, что он может знать всего лишь посредством рассмотрения своего собственного состояния сознания".[13]

---

[11] Russell B. The Problems of Philosophy. New York – Oxford, Oxford University Press, 1997. – P.131-140.
[12] См. напр. Pollock J.L. Contemporary Theories of Knowledge. Totowa: Rowman and Littlefield, 1986.
[13] Chisholm, R. Theory of Knowledge. 3rd ed., Englewood Cliffs: Prentice Hall, 1989. – P.7.

Согласно же *экстернализму*, при обосновании убеждений могут и должны использоваться не только внутренние состояния носителя убеждений но и дополнительные внешние факторы.

В рамках интерналистской стратегии обоснования убеждений наибольшее распространение получило два рода концепций: теории *фундаменталистского* типа и теории *когерентистского* типа. Фундаменталистские теории[14] исходят из положения, что наше знание (в целом) должно иметь то, что может быть названо "основаниями". В качестве такого рода оснований среди возможных убеждений обычно выделяют некоторый ограниченный класс "эпистемически базисных" положений ("фундамент"), имеющих определенного рода "эпистемически привелигированный" статус. Предполагается, что базисные убеждения не нуждаются в дополнительном обосновании, они являются *самоочевидными*. Все остальные убеждения получают свое обоснование посредством той или иной процедуры сведения к базисным убеждениям. Фундаментализм был характерен для теоретико-познавательных концепций Нового времени (как эмпиризма, так и рационализма), и именно на эту классическую традицию в теории познания опираются его современные версии в аналитической философии. Конкретные теории отличаются здесь по своей трактовке следующих двух основных вопросов. Во-первых, что представляют собой эпистемически базисные убеждения; что именно гарантирует их привелигерованную роль и закрепляет за ними статус "основоположений" нашего знания? Во-вторых, какого рода процедуры обеспечивают переход от базисных убеждений к небазисным; в силу чего базисные положения обосновывают все остальные убеждения?

Возвращаясь еще раз к теории знания Рассела, можно сделать вывод, что в части, относящейся к пропозициональному знанию, она представляет собой типичную теорию фундаменталистского типа. А именно, по степени обоснованности Рассел делит знание истин на *интуитивное* и *выводное*. Интуитивное знание является *самоочевидным*, что обеспечивает его непогрешимость. Согласно Расселу, истина является самоочевидной в первом и наиболее абсолютном смысле, если мы *знакомы с фактом*, который соответствует этой истине. Любое знание истины в конечном счете основывается на интуитивном знании. Рассел отмечает, что поскольку попытка предоставить всеобъемлющее доказательство для *любой* истины обречена на бесконечный регресс, то необходимо признать существование *самоочевидного знания*, постигаемого интуитивно. К такого рода знанию Рассел относит знание логических постулатов, некоторых этических принципов, а также непосредственных истин восприятия (таких как – "данное пятно является красным" или "это красное пятно имеет круглую форму"). Выводное же знание должно *логически следовать* из самоочевидных истин, что и служит его обоснованием.

В противоположность фундаментализму, теории когерентистского типа[15] отрицают существование каких-либо эпистемически привелигированных базисных убеждений. Все убеждения имеют "равноправный" эпистемический статус и то или иное убеждение получает свое обоснование не через сведение к некоторому выделенному классу "основоположений", а посредством его сопоставления со

[14] См. напр. Carnap, R. Der logische Aufbau der Welt. Hamburg: Meiner, 1998; Lewis, C.I. An Analysis of Knowledge and Valuation. LaSalle: Open Court, 1946; Goodman, N. The Structure of Appearence. Cambridge: Harvard University Press, 1951.

[15] См. напр. Lehrer, K. Knowledge. Oxford: Oxford University Press, 1974; Quine, W.V. and J. Ullian, The Web of Belief. 2nd ed. New York: Random House, 1978.

всем множеством остальных убеждений. В этом случае обоснованность убеждения зависит от того, насколько оно "согласуется" с остальными убеждениями. Центральную роль здесь играет так называемое *отношение когерентности* или связности, которое и призвано обеспечить взаимную согласованность всей системы убеждений субъекта. Конкретные теории различаются в зависимости от той или иной трактовки этого отношения.

Экстерналистский подход к проблеме обоснованности наших убеждений опирается на точку зрения, в соответствии с которой невозможно достичь такого рода обоснования, не выходя за пределы самих убеждений или состояний сознания познающего субъекта. В частности, должны приниматься во внимание специфические характеристики самого когнитивного процесса, в ходе которого мы приходим к нашим убеждениям. Некоторые разновидности экстернализма подчеркивают, что этот процесс должен быть *надежным*. То есть, убеждения могут считаться обоснованными, если они получены в ходе надежного когнитивного процесса. Слабость такого подхода заключается в том, что надежность процесса приобретения убеждений часто зависит от случайных обстоятельств. Например, обычно данные наших органов чувств считаются вполне надежным источником познания. Однако известно, что в тех или иных конкретных обстоятельствах эти данные вполне могут вводить нас в заблуждение. Таким образом, ссылка на надежность когнитивного процесса превращает обоснованность наших убеждений в случайное обстоятельство. Более предпочтительным выглядит реализация экстерналистской стратегии через использование понятия *вероятности*. Здесь учитывается, что истинность наши убеждений часто имеет ту или иную степень вероятности. В свою очередь, оценка вероятности убеждений (например, их физической вероятности), как правило, требует привлечения "объективных факторов", выходящих за пределы сознания познающего субъекта. Такого рода теория, которую иногда обозначают как "Бейесианская эпистемология" (по имени английского математика Томаса Бейеса (1702-1761), который занимался теорией вероятностей), получила широкое распространение в философии науки.

В общем виде условие обоснованности принимается подавляющим большинством теоретико-познавательных концепций аналитической философии. Если субъект обоснованно убежден в истинности высказывания *A*, то он должен располагать адекватными свидетельствами в пользу того, что *A* имеет место. Рассмотренные выше направления различаются прежде всего трактовкой того, что может быть принято в качестве такого рода адекватных свидетельств. Важно, однако, иметь ввиду, что убеждение, даже будучи хорошо обоснованным, может, тем не менее, оказаться ложным (принцип фаллибилизма, или погрешимости). Так, например, геоцентрическая модель Птолемея располагала многочисленными свидетельствами в свою пользу (включая данные органов чувств), но все же была ложной. Поэтому было бы некорректно утверждать, что Птолемей и его последователи *знали*, что Солнце вращается вокруг Земли. Существенным условием знания остается истинность соответствующего убеждения.

9.2.1 Проблема Гетье

Итак, традиционное определение знания выделяет в качестве его необходимых *и достаточных* условий: (1) наличие соответствующего убеждения, (2) истинность этого убеждения и (3) его обоснованность. Эта точка зрения считалась

общепринятой и практически не подвергалась сомнению влоть до появления в 1963 году статьи Эдмунда Гетье под весьма примечательным названием "Является ли обоснованное истинное убеждение знанием?"[16] Эта небольшая статья (всего 3 страницы!) оказала существенное влияние на ход развития аналитической теории познания в XX столетии. Можно даже утверждать, что она решающим образом изменила характер и содержание дискуссий по проблеме знания. Вот как описывает эту ситуацию Джон Поллок:

> "В период, непосредственно предшествовавший публикации поворотной статьи Гетье "Является ли обоснованное истинное убеждение знанием?", этот анализ <знания как обоснованного истинного убеждения> принимался фактически каждым исследователем в области эпистемологии. Затем Гетье опубликовал свою статью и в одночастье изменил направление развития эпистемологии".[17]

В статье, о которой идет речь, строятся два эффективных контрпримера для традиционного определения знания, убедительно показывающие, что условия (1) – (3) являются необходимыми, но отнюдь *не достаточными* условиями знания. Иными словами, Гетье демонстрирует, что возможны случаи, когда мы располагаем обоснованным истинным убеждением, которое, тем не менее, не образует знания.

Анализ Гетье опирается на следующие положения. Во-первых, обоснованное убеждение – каким бы надежным не казалось его обоснование – в некоторых случаях вполне может оказаться ложным (см. выше пример с геоцентрической моделью Птолемея). Во-вторых, если убеждение *A* является обоснованным и из *A* *логически следует* убеждение *B*, то *B* также является обоснованным. Общая схема контрпримеров, которые приводит Гетье, такова. Предположим, некто, например X обоснованно убежден в том, что имеет место *A*, но при этом *A* все же является ложным (хотя X уверен в обратном). Представим себе, что X логически корректным образом выводит из своего убеждения *A* новое убеждение *B*. Ясно, что X будет убежден в том, что имеет место *B* и при этом обоснованность этого нового убеждения будет ничуть не ниже, чем обоснованность убеждения *A* (что обеспечивается процедурой логического вывода). Теперь предположим, что высказывание B, в силу некоторого случайного стечения обстоятельств, оказывается истинным. Тогда имеем: X обоснованно убежден, что *B* и *B* является истинным. То есть, выполняются все три условия традиционного определения знания. Тем не менее оказывается, что в этом случае мы далеко не всегда можем утверждать, что X знает, что *B*!

Сконструируем конкретный контпример, следуя принципиальной схеме, предложенной Гетье. Для этого вернемся к уже рассмотренному выше случаю с авторством романа "Два капитана". Предположим, г-н X никогда не читал этот роман и более того – никогда о нем не слыхал. Однажды X идет в книжный магазин, видит там последнее издание романа "Два капитана" и покупает его. Книга вышла в очень солидном государственном издательстве, имеющем многолетнюю историю и в высшей степени солидную репутацию, что касается качества полиграфии, редактирования, корректуры и т.п. Раньше X довольно часто покупал книги этого издательства и он полностью уверен в профессионализме его работников. Однако предположим, что из-за ужасной

[16] Gettier E.L. Is Justified True Belief Knowledge? // Analysis, 23, 1963. – P.121-123.
[17] Pollock J.L. Contemporary Theories of Knowledge. Totowa: Rowman and Littlefield, 1986. – P.180.

ошибки и грубого недосмотра, на обложке и во всех выходных данных экземпляра романа, купленного г-ном X, в качестве его автора обозначен В.Катаев. (Ошибка была в скорости замечена и все бракованные экземпляры были изъяты из продажи, но X об этом не знает!) Таким образом, г-н X, конечно же, будет убежден в следующем:

(а) Автором романа "Два капитана" является Катаев.

Это его убеждение будет вполне обоснованным (хотя и ложным!). В самом деле, трудно себе представить более надежные свидетельства в пользу данного убеждения, чем те, которыми располагает г-н X. Пусть теперь г-н X логически корректно выводит из убеждения (а) новое убеждение:

(б) Фамилия автора романа "Два капитана" начинается на букву "К".

Ясно, что убеждение (б) ничуть не менее обосновано, чем убеждение (а). Более того, высказывание (б) оказывается, к тому же, истинным! Итак: г-н X имеет *обоснованное истинное убеждение* в том, что фамилия автора романа "Два капитана" начинается на букву "К", однако все равно мы не можем утверждать, что X *знает*, что фамилия автора романа "Два капитана" начинается на букву "К". Истинность убеждения (б) есть результат случайного совпадения начальных букв двух фамилий, поэтому (б) не образует знания.

Выше, когда рассматривался вопрос, почему недостаточно определять знание просто как истинное убеждение, обращалось внимание на недопустимость принятия в качестве знания положения, которое оказывается истинным благодаря простому эпистемическому везению. Предполагалось, что именно условие обоснованности позволит исключить такого рода нежелательные ситуации. Однако, как показывают контрпримеры Гетье, это условие само по себе далеко не всегда блокирует разрушительное для знания действие фактора эпистемического везения.

Таким образом, мы сталкиваемся с проблемой, которая и получила название *проблемы Гетье*: как следует модифицировать традиционное определение знания, чтобы избежать трудностей, связанных с подобными контрпримерами? И если традиционное определение знания как обоснованного истинного убеждения является недостаточным, то какого рода определение может и должно быть предложено вместо него? Проблема Гетье вызвала оживленную дискуссию, которая не завершена до сих пор. Было выдвинуто множество разнообразных предложений, направленных на преодоление этой проблемы, но пока нельзя сказать, что проблема получила окончательное решение. Тем не менее, большинство исследователей сходятся на том, что поскольку стандартные условия (1) – (3) оказываются недостаточными, то традиционное определение знания должно быть расширено за счет дополнительного, четвертого условия, которое предотвратило бы проблемы, связанные с контрпримерами Гетье. Но что это должно быть за условие?

Рассмотрим кратко некоторые из таких возможных дополнительных условий.

(4) Убеждение в том, что имеет место *A*, не должно быть выведено ни из какого ложного утверждения (то есть, знание не может быть основано на ложном убеждении).[18]

[18] См. Clark, M. Knowledge and grounds: A comment on Mr. Gettier's paper // Analysis, 24, 1963. – P.46-48

Это условие является, так сказать, "непосредственной реакцией" на контрпримеры Гетье и его принятие действительно блокирует их. Однако, оказывается, что могут быть сконструированы другие контрпримеры, в которых не задействуются никакие процедуры вывода, но которые достигают аналогичного эффекта. Пусть, например, X видит мяч, кажущийся ему красным, и на этом основании X считает, что мяч является красным. Пусть этот мяч действительно красный, то есть убеждение X является истинным и, по-видимому, вполне обоснованным. Но предположим, что незаметно для X мяч особым образом освещен, так что, даже если бы он не был красного цвета, он все равно казался бы красным. В этом случае, нельзя утверждать, что X *знает*, что мяч красный, несмотря на то, что он имеет об этом обоснованное истинное убеждение, которое к тому же не выведено ни из какого ложного утверждения.[19] Более того, данное убеждение получено не путем какого-то логического вывода, а в результате непосредственно эмпирического наблюдения. Тем не менее, оно оказывается истинным только по счастливой случайности – здесь мы опять сталкиваемся с эпистемическим везением и условие (4) не предотвращает его.

(4') Убеждение *A* должно быть *каузально детерминировано* тем фактом, который делает *A* истинным.[20]

Принятие этого условия характерно для *каузальной теории познания*. В соответствиии с этой теорией, например, я знаю, что на столе лежит книга, если книга действительно лежит на столе и этот факт причинным образом (путем воздействия на мои органы зрения) обуславливает соответствующее мое убеждение. В целом эта теория представляется слишком узкой. Сомнительно, чтобы все наше знание в самом деле каузально вызывалось конкретными фактами. Не вполне ясно также, как средствами одного лишь каузального объяснения может быть обосновано знание общих высказываний и, тем более, априорное знание.

(4'') Субъект X имеет *убедительные доводы* в пользу *A*, такие что если бы *A* не имело места, то X не располагал этими убедительными доводами.[21]

Это условие, опять же, хотя и предотвращает контрпримеры самого Гетье, все же не срабатывают в других случаях, например в случае с освещенным красным мячом, рассмотренным выше. Тот факт, что X *видит* красный цвет мяча является конечно же убедительным доводом в пользу убеждения, что мяч красный. Однако в данном примере, даже если бы мяч был не красный, X все равно бы видел красный цвет (в силу особой освещенности мяча).

(4''') Не существует никакого истинного высказывания *B*, такого что если бы оно было добавлено к множеству убеждений субъекта X, то его убеждение в том, что имеет место *A* перестало бы быть обоснованным.[22]

Однако и для этого условия были построены опровергающие его контрпримеры.[23]

Подводя итоги, можно сделать вывод, что никакая современная концепция знания не может игнорировать проблему Гетье, которая служит своеобразной

[19] Пример из Pollock J.L. Contemporary Theories of Knowledge. Totowa: Rowman and Littlefield, 1986. – P.181.
[20] См. Goldman, A. A causal theory of knowing // Journal of Philosophy, 64, 1967. – P.357-372.
[21] См. Dretske, F. Knowledge and the Flow of Information. Cambridge: MIT Press, 1981.
[22] Klein, P. A proposed definition of propositional knowing // Journal of Philosophy, 68, 1971. – P.471-482.
[23] См. Lehrer, K and T. Paxson. Knowledge: undefeated justified true belief // Journal of Philosophy, 11, 1969. – P.228

"лакмусовой бумажкой" адекватности любой такого рода концепций и их объясняющей силы.

> "Многие современные эпистемологи считают, что пробема Гетье является эпистемологически важной. Целая ветвь эпистемологии занята поисками точного понимания природы – к примеру, существенных компонентов – пропозиционального знания. Точное понимание пропозиционального знания предполагает анализ такого рода знания с точки зрения проблемы Гетье. Таким образом, эпистемологам необходимо надежное решение проблемы Гетье, каким бы сложным это решение не оказалось".[24]

9.3 Эпистемическая логика

В качестве эффективного инструмента реконструкции и анализа теоретико-познавательных контекстов и проблем обычно используется особый вид интенсиональной логики – *эпистемическая логика*. Это направление современной неклассической логики было инициировано пионерской работой Я.Хинтикки "Знание и убеждение" (1962). Основная идея этой работы заключается в интерпретация понятий знания и убеждения как особого рода (эпистемических) модальных операторов, которые добавляются к языку обычной классической логики. Хинтикка, в частности, использует операторы K_a (для знания) и B_a (для убеждения), где выражения $K_a p$ и $B_a p$ обозначают утверждения "*a* знает, что *p*" и "*a* считает (полагает, убежден, думает), что *p*" соответственно. "Здесь *a* есть имя некоторого лица, личное местоимение или, возможно, конечное описание некоторого человека, а *p* есть независимое повествовательное предложение".[25] В дальнейшем изложении, чтобы избежать излишней технической детализации, мы будем использовать эпистемические операторы без явной ссылки на конкретного субъекта познания (т.е. индекс *a* будет опускаться); при этом всегда *неявно* подразумевается наличие некоторого фиксированного субъекта. К*p* означает тогда "(некто) знает, что *p*" (или просто "*p* известно"), В*p* – "(некто) полагает, что *p*". Иногда наряду с операторами знания и убеждения вводятся и другие аналогичные эпистемические операторы, например для "сомневается", "опровергает" и т.п.

Аппарат эпистемической логики позволяет ставить и успешно решать задачи выявления формальных (логических) свойств операторов знания и убеждения (а значит и соответствующих понятий), формулировки аксиом, выражающих эти свойства, и установления взаимосвязи между данными операторами и понятиями. При этом активно задействуются результаты философского анализа понятий знания и убеждения. Начнем с оператора убеждения. Для этого оператора, дополнительно к аксиомам классической логики, можно принять следующие постулаты:

B1. $B(p \to q) \to (Bp \to Bq)$. (Каждый должен быть убежден в истинности всех следствий принимаемых им допущений.)

B2. $Bp \to \sim B{\sim}p$. (Невозможно одновременно быть убежденным в истинности какого-нибудь высказывания и его отрицания – рациональный субъект не должен принимать противоречия.)

---

[24] Moser P.K., Mulder D.H., Trout J.D. The Theory of Knowledge. A Thematic Introduction. New York – Oxford: Oxford University Press, 1998. – P.98.

[25] Hintikka J.J. Knowledge and Belief. Ithaca/New York, 1962.

B3. B$p \to$ BBp. (Если некто считает, что p, то он также убежден в том, что он так считает.)

B4. ~B$p \to$ B~Bp. (Если некто *не* считает, что p, то он должен быть убежден в том, что он так не считает.)

Первые два постулата говорят о том, что мы имеем здесь дело не с дескриптивным, а с рационализированным понятием убеждения. Это понятие выражает не фактические убеждения того или иного конкретного субъекта в том или ином конкретном случае, а принципы, которым должны подчиняться рациональные убеждения вообще.[26] Последние два постулата выражают то обстоятельство, что мы не можем ошибаться касательно того, в чем мы убеждены, а в чем – нет. Субъект всегда имеет определенность относительно высказываний о собственных убеждениях.

Перейдем теперь к оператору знания. Для этого оператора обычно принимаются следующие основополагающие постулаты:

K1. K$p \to p$. (Если высказывание известно, то оно истинно; знание высказывания влечет за собой его истинность.)

K2. K($p \to q$) $\to$ (K$p \to$ Kq). (Если известно, что высказывание p влечет за собой высказывание q, а также известно p, то известно и q)

K3. K$p \to$ KKp. (Если некто знает какое-то высказывание, то он также знает, что он это знает.)

Во многих системах эпистемической логики принимается следующее правило вывода, которому должен подчиняться оператор знания: Если высказывание p является доказанным, то доказанным является и высказывание Kp (правило "навешивания" оператора знания). Согласно этому правилу, познающий субъект знает все теоремы логики (*логическое всеведение*). Это, конечно, довольно сильная идеализация, к тому же небесспорная. Имеется обширная логико-философская литература, посвященая обсуждению этого принципа и рассмотрению различных доводов за и против его принятия.

Следующей важной задачей является установление взаимосвязи между операторами знания и убеждений. Эта взаимосвязь, в основном, фиксируется посредством следующего постулата:

KB1. K$p \to$ Bp. (Если некто знает, что p, то он также считает, что p.)

Постулаты K1 и KB1 отражают то понимание, что необходимыми условиями знания высказывания являются как его истинность, так и убежденность в нем со стороны некоторого субъекта. В некоторых системах эпистемической логики эти условия считаются также и достаточными, в результате чего получаем следующее определение знания:

Определение 1. K$p \Leftrightarrow$ B$p \wedge p$. (Некто знает, что p, если и только если он убежден, что p и p является истинным.)

Несмотря на то, что, как было показано в предыдущем параграфе, с философской точки зрения это определение является явно неполным, его вполне можно использовать для целей логического анализа в качестве рабочего определения. Если же ввести дополнительный "оператор обоснованности" – Jp (читается как "p

[26] Более подробно проблема критериев рациональности убеждений будет рассмотрена в § 9.6, в связи с понятием эпистемического состояния субъекта.

является обоснованным"), то можем сформулировать следующее определение знания как обоснованного истинного убеждения:

Определение 2. $Kp \Leftrightarrow Bp \wedge Jp \wedge p$.

Перечисленные постулаты делают возможным формальный анализ понятий знания и убеждения в рамках определенной системы аксиом. Такой анализ осуществляется в ходе доказательства новых теорем. В качестве примера, покажем, как доказывается теорема, выражающая невозможность противоречивости знания: $Kp \rightarrow \sim K\sim p$. В скобках после каждого шага доказательства дается обоснование данного шага.

1. $Kp \rightarrow Bp$ (постулат КВ1)
2. $Bp \rightarrow \sim B\sim p$ (постулат В2)
3. $Kp \rightarrow \sim B\sim p$ (из 1 и 2 по транзитивности)
4. $K\sim p \rightarrow B\sim p$ (частный случай постулата КВ1)
5. $\sim B\sim p \rightarrow \sim K\sim p$ (из 4 по контрапозиции)
6. $Kp \rightarrow \sim K\sim p$ (из 3 и 5 по транзитивности).

То есть, если некто знает, что p, то неверно, что он знает $\sim p$ – нельзя одновременно знать как p, так и $\sim p$, что и требовалось доказать.

Другая интересная теорема, устанавливающая связь между понятиями знания и убеждения, непосредственно следует из постулатов К3 и КВ1: $Kp \rightarrow BKp$. Эта теорема по существу говорит о том, что если мы что-то знаем, то мы обязательно должны быть убеждены в самом факте нашего знания.

Философское значение эпистемической логики заключается также в том, что сама постановка вопроса, следует ли принимать в качестве аксиом те или иные эпистемические формулы, способна стимулировать обсуждение соответствующих эпистемологических проблем, в частности проблемы философского обоснования соответствующих эпистемологических принципов. Так например, из вышеприведенных аксиом нельзя вывести следующие формулы: $Bp \rightarrow KBp$ и $\sim Bp \rightarrow K\sim Bp$, которые утверждают, что если мы в чем-то убеждены или не убеждены, то сам факт наличия или отсутствия этого убеждения должен быть нам известен. Можно было бы рассмотреть возможность принятия этих формул в качестве дополнительных аксиом. Это, однако, требует предварительного содержательного оправдания данных принципов.

9.4 Реализм и антиреализм: теоретико-познавательный аспект

Спор о реальности или нереальности "внешнего мира" вообще и объектов познания в частности, известный как спор между представителями *реализма* и его противниками и имеющий очень солидную философскую традицию, занимает также видное место в современной аналитической философии и эпистемологии. Следует отметить, что на ранней стадии развития аналитической философии, прежде всего во взглядах раннего Витгенштейна и представителей Венского кружка (Карнап), довольно распространенной была позиция, объявлявшая такого рода спор и его исходный вопрос просто бессмысленным, беспредметным и

разделяющим в этом отношении судьбу остальных "метафизических псевдовопросов".[27] Однако примерно в тоже самое время Мур и другие представители британского крыла аналитической философии восприняли этот вопрос вполне серьезно, посвятив много усилий "опровержению идеализма" и отстаиванию "здравого смысла".

Говоря максимально обобщенно, любая версия реализма утверждает "объективное" существование определенного рода сущностей, и в зависимости от характера этих сущностей можно вести речь об онтологическом (метафизическом), теоретико-познавательном, научном, математическом, этическом и т.п. реализме. При этом, в основе любой разновидности реализма лежит онтологический реализм, предполающий принятие двух следующих *онтологических тезисов*:

(1) Имеется непустая область объектов, называемая "внешним миром", элементы которой "реально" *существуют*.

(2) Эти объекты существуют, обладают различными свойствами и находятся в различных отношениях друг к другу *независимо* от чьих-либо ощущений, суждений, убеждений, мыслей, языковой практики, концептуальных схем и т.п.

Итак, всякий реализм имеет как минимум два аспекта:

> "Во-первых, это утверждение о *существовании*. Столы, камни, луна и так далее, существуют, точно также как и следующие факты: бытие стола в качестве квадратного, бытие камня как состоящего из гранита, бытие луны в качестве шарообразной и желтой. Второй аспект реализма ... касается *независимости*. Тот факт, что луна существует и является шарообразной не зависит ни от чьих слов или мыслей, когда-либо высказанных или подуманных по этому поводу".[28]

Как уже было сказано, существует множество разновидностей реализма. Так, если утверждается независимое от сознания существование таких абстрактных объектов как множества, числа, общие понятия, то тогда мы имеем дело с *понятийным реализмом* или *платонизмом*; если речь идет о том, что основные научные понятия представляют действительно существующие объекты и процессы, то имеет место *научный реализм*; если же принимается объективное существование моральных норм и ценностей, то налицо – *этический реализм*. *"Наивный" реализм* рассматривает, в качестве реально существующих, совокупность обычных "макроскопических" предметов окружающего нас мира. *Теоретико-познавательный реализм* добавляет к вышеупомянутым онтологическим тезисам еще один, так называемый *эпистемологический тезис*:

(3) Реально существующие и образующие "внешний мир"объекты могут быть предметом человеческого опыта и познания.

Можно отметить, что хотя эпистемологический тезис и предполагает принятие обоих онтологических тезисов, вполне возможно принять тезисы (1) и (2) без того, чтобы разделять тезис (3). Примером здесь может служить трансцендентальный идеализм Канта, с его признанием объективного

---

[27] См., напр. Carnap R. Scheinprobleme in der Philosophie. Das Fremdpsychische und der Realismusstreit. Berlin, 1928.

[28] Miller, A. "Realism", The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Winter 2002 Edition), Edward N. Zalta (ed.), URL = <http://plato.stanford.edu/archives/win2002/entries/realism/>.

существования "вещи в себе", которая, тем не менее, не может быть дана нам в качестве предмета познания.

Вообще, позиция, противоположная реализму, может быть сформулирована по-разному, в зависимости от того, отрицается у тех или иных сущностей "модус существования" или же "модус независимости от сознания". Так, например, номинализм, инструментализм и ряд других аналогичных течений, отвергают первый онтологический тезис. Позиция же, отвергающая второй онтологический тезис, обычно называется *идеализмом*, классическим представителем которого был Беркли, утверждавший, что все без исключения предметы имеют ментальную природу и являются идеями нашего сознания. В современной философии идеализм берклианского толка давно уже вышел из моды, и в аналитической философии отрицание тезиса (2) обычно принимает форму *семантического антиреализма*, который был выдвинут и особенно интенсивно разрабатывался в работах Майкла Даммита.[29]

Но прежде чем перейти к более подробному рассмотрению концепции Даммита, остановимся на некоторых общих моментах, характерных для спора между реалистами и их оппонентами. Прежде всего важно отметить, что в чистом виде, как реализм, так и его противоположность встречаются довольно редко. Как правило, эти позиции проявляются в виде определенной тенденции. Кроме того, многие философы являются реалистами относительно одних сущностей и антиреалистами – относительно других. Например, Рассел занимает довольно отчетливую позицию метафизического реализма и платонизма, когда в "Проблемах философии" утверждает существование особого "мира универсалий". В то же время, в его теории познания явно проявляются идеалистические элементы, когда он требует сводимости всякого знания к знанию по знакомству, а последнее основывает на знакомстве с нашими чувственными данными. Далее, несмотря на то, что на первый взгляд кажется, что реализм выражает точку зрения здравого смысла, критическое рассмотрение позволяет выявить в нем ряд слабых мест, на которые и обращают внимание его противники. Прежде всего, это проблемы эпистемологического характера. В самом деле, если мир совершенно не зависит от нашего сознания, то как вообще возможно адекватное *знание* об этом мире? Аналогичная проблема может быть поставлена касательно взаимоотношения языка и мира: если предполагается, что выражения языка призваны обозначать (представлять, описывать) явления, предметы, факты и т.п. внешнего мира, то каким образом обеспечивается и как вообще возможна такого рода репрезентативная связь между ними? Здесь мы сталкиваемся с *проблемой репрезентации*. Поэтому реализм часто обвиняют в том, что он, по крайней мере в тенденции, ведет к *скептицизму*, так как реалистическая позиция неизбежно означает разрыв между сознанием и миром.

Сравнительно недавно спор между реализмом и антиреализмом вновь вышел на передний план, благодаря работам Даммита, в которых он попытался перевести дискуссию из области метафизики в область семантики и философии языка. Такого рода "переключение" является типичным для аналитической философии. Не в последнюю очередь это достигается за счет переформулировки самой исходной проблемы в семантических терминах. Даммит начинает с того, что определяет (и, по существу, вводит) понятие *семантического реализма* и дает

[29] См. напр. Dummett M. Truth and Other Enigmas. London, Duckworth, 1978; Его же: The Logical Basis of Metaphysics. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1991; Его же: The Seas of Language. Oxford University Press, 1993.

характеристику его основных принципов. Затем он подвергает эти принципы критике и противопоставляет этой позиции свою концепцию семантического антиреализма. В целом, в семантической интерпретации Даммита, основное расхождение между реализмом и антиреализмом лучше всего может быть охарактеризовано не как спор о существовании или несуществовании тех или иных сущностей, а как спор об определенных семантических свойствах определенного класса высказываний. Даммит пишет:

> "Я характеризую реализм как положение, в соответствии с которым утверждения, входящие в обсуждаемый класс, обладают объективным истинностным значением, независимо от наших средств его познания: они являются истинными или ложными в силу реальности, существующей независимо от нас. Антиреализм противопоставляет этому точку зрения, что утверждения обсуждаемого класса могут быть поняты только через отсылку к такого рода вещам, которые мы рассматриваем в качестве основания для утверждений этого класса".[30]

Итак, в результате "семантического переосмысления", проблема реализма смещается в плоскость прояснения *условий истинности* того или иного предложения (или класса предложений). При этом как реалисты, так и антиреалисты практически не расходятся в трактове эффективно проверяемых высказываний. Проблема возникает только тогда, когда речь заходит о предложениях, условия истнности которых невозможно установить в принципе. Например, в случае неразрешимых предложений математики, или утверждений, проверка истинности которых потребовала бы задействовать процедуры, заведомо превосходящие все мыслимые человеческие способности. Типичным примером такого рода утверждений являются некоторые высказывания о далеком прошлом, вроде следующего: "Миллион лет назад данный участок земли был покрыт льдом". Про такие высказывания говорят, что они имеют "реалистские условия истинности", то есть условия истинности, которые принципиально "выходят за пределы всякого возможного распознавания" (или обоснования). Но даже относительно таких предложений реалист, в отличие от антиреалиста, утверждает, что они обладают определенным истинностным значением, пусть мы никогда и не узнаем, каким именно.

Таким образом, семантический реализм принимает принцип бивалентности, утверждая, что любое высказывание является истинным либо ложным, независимо от того, располагаем ли мы возможностью однозначно установить истинностное значение этого высказывания. Впрочем, принятие принципа бивалентности не столько характеризует реалистическую позицию по существу, сколько является наиболее показательным индикатором этой позиции. Если же попытаться дать более полную содержательную характеристику семантического реализма, то следует отметить, что он опирается на такие принципы: (1) только что упомянутый *принцип бивалентности*; (2) *принцип трансцендентности*, в соответствии с которым любое высказывание обязательно обладает истинностным значением, даже если возможность его установления принципиально выходит за пределы человеческих способностей (т.е. допускаются такие условия истинности, которые даже потенциально не могут быть обоснованы); (3) *принцип понимания*, в соответствии с которым понять высказывание – значит указать условия его истинности (даже если эти условия никогда не могут быть установлены); (4)

[30] Dummett M. Realism // Truth and Other Enigmas, London, Duckworth, 1978. – P.146

принцип независимости, в соответствии с которым факты имеют место независимо от описывающих их высказываний; (5) *принцип корреспонденции*, утверждающий, что высказывание является истинным, если оно соответствуют некоторому факту.

Семантический антиреализм отбрасывает все эти принципы. Даммит выдвигает два основных довода против семантического реализма, так называемые "довод приобретения" и "довод проявления". Первый из этих доводов ставит под сомнение саму возможность *овладения* языком (или приобретения языковых знаний), при допущений реалистских условий истинности. В самом деле, мы обучаемся языку (учимся понимать предложения того или иного, в том числе и нашего собственного, языка) посредством научения принимать эти предложения в качестве истинных в определенных ситуациях, и отвергать их как ложные в других ситуациях. А это предполагает способность распознавать, в каких случаях то или иное положение дел имеет место, а в каких случаях – нет. Но если предложение обладает реалистскими условиями истинности, то по самой своей природе наличие соответствующего положения дел никогда не может быть обосновано (или распознано). Следовательно, если бы принципы семантического реализма были приняты, мы никогда не смогли бы понять такого рода предложений, а значит, никогда не смогли бы овладеть даже собственным языком. Другой довод против семантического реализма обращает внимание на то, что наше понимание предложений языка должно *проявляться* в определенных практических действиях, связанных, в частности, с использованием языка. Если речь идет об эффективно проверяемых предложениях, то их понимание проявляется в практической способности отличать те ситуации, в которых они являются истинными от ситуаций, в которых они являются ложными и в соответствующих действиях. Но при помощи какого рода практических способностей можем мы проявить (продемонстрировать) наше понимание предложений, обладающих реалистскими условиями истинности, то есть условиями истинности, которые принципиально не могут быть установлены на практике? Даммит утверждает, что таких практических способностей просто не существует.

Таким образом, мы имеем здесь два типа возражений, которые ставят под сомнение возможность решения реализмом репрезентационной проблемы. "Довод приобретения" утверждает, что если пытаться реконструировать взаимоотношение между сознанием и *независимым от сознания* миром на основе реалистских принципов (1) и (2), то невозможно объяснить, каким образом мы приобретаем знание того или иного языка. В соответствии же с "доводом проявления", когнитивное и языковое поведение субъекта не предоставляет никаких свидетельст в пользу того, что такого рода взаимосвязь вообще существует.

Один из возможных "реалистских ответов" на первое возражение заключается в том, что для понимания предложений, в том числе обладающих реалистскими условиями истинности, вовсе не обязательно всегда уметь точно распознавать ситуации, при которых они являются истинными. Для этого – в соответствии с *принципом композициональности* – вполне достаточно понимать значения его конституент и способ связи этих конституент друг с другом. Именно таким образом мы и научаемся понимать подавляющее большинство предложений нашего языка, а вовсе не через эффективное распознавание условий их истинности. В ответ на второе возражение, защитники реализма часто ссылаются на обычную рассужденческую практику, в ходе которой мы убедительно демонстрируем наше

понимание даже неразрешимых высказываний тем, что успешно применяем к ним принципы классической логики и осуществляем на их основе разнообразные логические выводы. Другой возможный ответ на это возражение заключается в том, что наряду с непосредственным указанием условий истинности предложений, допускаются и иные способы проявления нашего понимания.

> "В случае разрешимых предложений носитель языка может проявить понимание условий истинности непосредственным образом, через осуществление подходящей процедуры, ведущей к распознанию этого утверждения как истинного или ложного. Когда утверждение не является эффективно разрешимым, ... носитель языка очевидно не может проявить понимание его условий истинности путем определения его истинностного значения. Однако напрашивается мысль, что он, тем не менее, может продемонстрировать свое понимание и иным способом".[31]

По существу, концепция семантического антиреализма тесно связана с *верификационизмом*. Высказывание объявляется осмысленным, если имеется эффективный метод распознавания тех условий, при которых оно является истинным или ложным, то есть, если высказывание оказывается верифицируемым. Причем верифицируемость здесь следует понимать в достаточно широком смысле: в случае физических утверждений речь может идти об экспериментальной проверяемости, в случае математических утверждений – о доказуемости и т.д. Другой важной особенностью концепции Даммита является настороженное отношение к классической логике (поскольку в ней принимается принцип бивалентности) и стремление заменить ее интуиционистской логикой с ее конструктивным понятием истины и отрицанием закона исключенного третьего.

9.5 Парадокс познаваемости и кризис антиреализма

Довольно чувствительный удар по антиреализму в целом и по его верификационистской разновидности в частности был нанесен с открытием так называемого "парадокса познаваемости", обычно приписываемого Ф.Фитчу. В литературе часто встречается обозначение этого парадокса именно как "парадокса Фитча". Действительно, Фитч был первым, кто (в 1963 году) опубликовал парадокс познаваемости,[32] хотя при этом и отметил, что обязан данным открытием анонимному рецензенту его статьи, представленной в 1945 году для публикации в *Journal of Symbolic Logic*. Впрочем, еще больше десяти лет после своего опубликования, парадокс, о котором идет речь, оставался практически не замеченным. Лишь после того как в 1979 году этот парадокс был фактически переоткрыт Хартом,[33] охарактеризовавшим его как "несправедливо игнорируемую логическую жемчужину", он стал предметом углубленного анализа в работах многих исследователей, работающих в области логики и эпистемологии.

Парадокс познаваемости примечателен прежде всего тем, что он дает один из самых ярких примеров необычайной плодотворности применения логического анализа для исследования философских проблем, в частности, проблем

[31] Hale B. Realism and its oppositions // B.Hale & C.Wright (eds) A Companion in the Philosophy of Language (Oxford: Blackwell), 1997. – P. 278

[32] Fitch, F.B. A logical analysis of some value concepts // Journal of Symbolic Logic, 1963, v. 28. – P.135-142.

[33] См. Hart, W.D. The epistemology of abstract objects: Access and inference // Proc. Aristotelian Soc. 53, 1979. – P.155.

эпистемологии. В этом плане он является парадигматическим для аналитической философии. По существу, здесь чисто логическими средствами демонстрируется, что классический тезис о познаваемости мира (тезис теоретико-познавательного оптимизма) влечет за собой абсурдные следствия и является самопротиворечивым. А значит, данный тезис должен быть отброшен, или же, по крайней мере, пересмотрен с целью его существенной корректировки.

Интересно отметить, что теоретико-познавательный оптимизм является одним из ключевых принципов концепции семантического антиреализма Даммита. Согласно принимаемой им верификационистской теории истины, предложение может иметь истинностное значение в том и только том случае, когда оно является верифицируемым, или эффективно проверяемым. Значит, если высказывание является истинным, то возможен эффективный метод проверки его истинности. Очевидно, что при таком понимании *любая истина является познаваемой*, иными словами, любое истинное высказывание *в принципе* может быть познано. Здесь тезис познаваемости формулируется без дополнительной отсылки к какой-либо "внешней реальности", то есть, в терминах одних лишь лингвистических и семантических понятий, и прежде всего, понятия истины.

Однако учитывая, что каждое истинное утверждение с необходимостью репрезентирует некоторый *факт*, а именно, тот факт, который *делает его истинным*, антиреалистский тезис познаваемости естественным образом может быть переформулирован и в терминах возможности познания *фактов*. Важно иметь ввиду, что, с точки зрения антиреализма, факты не есть нечто объективное и независящее от нашей языковой и познавательной практики. Вести речь о существовании того или иного факта можно только в том случае, если имеется эффективный метод проверки, позволяющий установить это существование. Как следствие, антиреализм верификационистского толка отрицает существование непознаваемых фактов; любой факт, если он действительно имеет место, *может быть* познан.

В данном утверждении речь идет о *возможности познания* фактов. С логической точки зрения, это означает, что здесь задействуется комбинация оператора возможности – "$\Diamond$", и оператора знания – "K". Пусть высказывание A представляет некоторый факт. Тогда "$\Diamond A$" означает "возможно, что A", а "KA" означает "известно, что A"; выражение же "факт A может быть познан" запишется как "$\Diamond$ KA". В целом же тезис "Если факт A имеет место, то он в принципе может быть познан" в символической записи примет следующий вид:

$A \rightarrow \Diamond KA$. (Принцип познаваемости)

Парадокс, однако, заключается в том, что этот принцип, в совокупности с некоторыми другими, довольно очевидными условиями, принимаемыми для оператора знания, влечет за собой определенные абсурдные следствия. Покажем, как это происходит. Прежде всего, будем иметь в виду, что для оператора знания должны выполняться следующие принципы.

$KA \rightarrow A$. (I)

$K(A \wedge B) \rightarrow (KA \wedge KA)$. (II)

Первое условие есть не что иное как постулат K1 из § 9.3, который утверждает, что знание факта влечет за собой его наличие. *Если какой-либо факт известен, то этот факт действительно имеет место*. В самом деле, если мы действительно

знаем, что какой-либо факт существует, то невозможно себе представить, что его нет, в противном случае наше "знание" оказалось бы вовсе не знанием, а *заблуждением*. Условие (II) представляет собой распределенность знания относительно конъюнкции. *Если мы знаем сложный (конъюнктивный) факт "А и В", то мы знаем как А, так и В*. Это утверждение вполне очевидно и вряд ли нуждается в каком-то дополнительном обосновании. Оно может быть легко доказано в рамках эпистемической логики, в которой принимается аксиома К2, а также правило "навешивания" оператора знания (см. § 9.3).

Теперь *предположим*, что имеет место какой-то конкретный факт (обозначим его *p*), который в настоящий момент еще неизвестен. То есть:

$$p \wedge \sim Kp.$$

Применив к этому предположению принцип познаваемости, получим:

$$\Diamond K(p \wedge \sim Kp).$$

Принцип распределенности оператора знания относительно конъюнкции (условие II) позволяет вывести отсюда:

$$\Diamond(Kp \wedge K\sim Kp).$$

Наконец, применяя к выражению $K\sim Kp$ постулат К1 (условие I) о том, что знание факта влечет его наличие ($K\sim Kp \rightarrow \sim Kp$), выводим следующее утверждение:

$$\Diamond(Kp \wedge \sim Kp).$$

Содержательно данное утверждение читается как "возможно, что факт *p* известен и *не* известен одновременно" – очевидное противоречие! Это означает, что наше исходное предположение было неверным, а верно его отрицание:

$$\sim(p \wedge \sim Kp)$$

В рамках классической логики это эквивалентно следующему утверждению:

$$p \rightarrow Kp.$$

Иными словами: *Если факт имеет место, то он уже сейчас (актуально) является известным*, то есть, любой имеющий место факт в настоящее время оказывается известным! Абсурдность данного утверждения бросается в глаза. Однако, как показал несложный логический анализ, это абсурдное утверждение является неизбежным следствием тезиса о познаваемости мира. В этом и состоит парадокс познаваемости – из того, что мир *познаваем*, следует, что мир *познан*.

Каким же образом следует реагировать на эту ситуацию? В ходе анализа парадокса познаваемости различными исследователями было предложено несколько возможных вариантов такой реакции. Прежде всего представляют интерес попытки спасти принцип познаваемости (пусть даже в несколько усеченном виде) путем выработки той или иной стратегии решения возникшего парадокса. В целом, эти попыки можно разделить на две большие группы: (1) пересмотр тех или иных логических принципов, которые задействуются в процессе вывода парадокса; (2) принятие тех или иных ограничений для самого принципа познаваемости.

В соответствии со стратегией первого типа, причину получения парадоксального следствия следует искать в самом процессе его логического вывода. В этом случае парадокс может быть блокирован, если модифицировать те или иные логические

принципы, применяемые в процессе вывода. Одно из предложений состоит в том, что нужно отказаться от применения в эпистемических контекстах классической логики. В частности, поскольку в интуиционистской логике невозможен преход от $\sim(p \wedge \sim Kp)$ к $p \rightarrow Kp$, то вместо классической следует использовать интуиционистскую логику. Тем более, что в интуиционистской логике истинность высказывания, будучи конструктивным понятием, часто интерпретируется в смысле его верифицируемости (возможности построения определенной конструкции, обосновывающей высказывание). Таким образом, вывод нежелательного утверждения предотвращается на предпоследнем шаге. Однако, по мнению многих исследователей, замена классической логики на интуиционистскую все же не спасает принцип познаваемости. Во-первых, даже в рамках интуиционистской логики, из этого принципа остается выводимым утверждение $\sim(p \wedge \sim Kp)$, смысл которого заключается в том, что не существует неизвестных фактов. Это уже само по себе достаточно парадоксально. Кроме того, хотя в интуиционистской логике из этого утверждения и не следует высказывание вида $p \rightarrow Kp$, но вполне следует его контрапозиция: $\sim Kp \rightarrow \sim p$. То есть, если факт неизвестен, то его не существует. Это последнее утверждение также выглядит довольно-таки нелепо. Почему, из того, в общем-то случайного, обстоятельства, что в настоящее время тот или иной факт никому неизвестен, должно следовать, что этого факта вообще не существует? Ведь то что неизвестно сегодня, вполне может стать известным завтра. Поэтому, можно сделать вывод, что для преодоления парадокса познаваемости замена классической логики на интуиционистскую оказывается неэффективной. Имеются также предложения использовать вместо классической не интуиционистскую, а какую-нибудь другую логику, например паранепротиворечивую, или логику конструктивной ложности Нельсона. Эти предложения, однако, страдают тем недостатком, что они во-многом делаются *ad hoc*, то есть, единственным доводом в пользу использования той или иной логической системы, является просто тот факт, что в ней вывод парадоксального утверждения обрывается на том или ином шаге. Однако вряд ли само по себе это может служить достаточным доводом для отказа от классической логики. Так что в целом, стратегия преодоления парадокса познаваемости путем простого ограничения используемых логических средств нуждается в дополнительном обосновании и сомнительно, что это обоснование вообще может быть дано.

Другая стратегия элиминации парадокса познаваемости состоит в том, чтобы каким-то образом ограничить (модифицировать) сам принцип познаваемости, так чтобы вывод парадоксального следствия из такого модифицированного принципа стал невозможен. В качестве примера, можно привести предложение Н.Теннанта ограничить принцип познаваемости так, чтобы он распространялся только на те высказывания, которые Теннант называет "картезианскими"[34]. Высказывание A называется картезианским, если и только если утверждение, что A известно (KA) непротиворечиво. Тогда модифицированный принцип познаваемости формулируется следующим образом:

$A \rightarrow \Diamond KA$, где A является картезианским.

Парадокс познаваемости в этом случае вывести невозможно, поскольку подстановка высказывания $p \wedge \sim Kp$ вместо A оказывается теперь невозможной. В самом деле, как было показано выше, высказывание $K(p \wedge \sim Kp)$ является

[34] Tennant, N. The Taming of the True. Oxford, 1997, Гл. 8.

противоречивым, а значит утверждение $p \wedge \sim Kp$ не является картезианским. Основные возражения против модификации Теннанта, как и ограничительной стратегии вообще, разделяются на два класса: во-первых, опять же обращают внимание на то, что чаще всего *единственным* доводом в пользу этих ограничений оказывается то обстоятельство, что их принятие препятствует выводу парадоксального утверждения; во-вторых, в большинстве случаев можно показать, что хотя то абсурдное следствие, о котором речь шла выше, действительно оказывается невыводимым, но все же, даже при наличии тех или иных ограничений (например, "картезианского ограничения"), из принципа познаваемости вытекают другие, не менее абсурдные следствия. Мы не имеем здесь возможности подробно разбирать эти возражения. Отметим только, что "картезианское ограничение", предлагаемое Теннантом, в некотором смысле оказывается слишком сильным, поскольку оно превращает принцип познаваемости в своего рода тавтологию. Действительно, требование, чтобы высказывание *A* являлось картезианским, означает, что знание *A* не должно быть логически невозможным, то есть, если *A* является картезианским высказыванием, то *логически возможно* знать *A*. В этом случае, все о чем говорит нам модифицированный принцип познаваемости, сводится к следующему: "Если *A* таково, что его знание является логически возможным, то знание *A* возможно." Ясно, что такого рода принцип не слишком информативен, в отличие от классического тезиса о познаваемости мира.

Подводя итоги обсуждению парадокса познаваемости, можно сделать вывод, что его открытие явилось одним из самых интересных и значительных достижений аналитической эпистемологии последних десятилетий. По существу, этот парадокс ставит под сомнение интерпретацию верификационизма в смысле *потенциальной способности* предложений быть проверяемыми. Если верификационизм и может быть сохранен, то лишь в его самом жестком варианте – как требование наличия актуальной верификации (а не потенциальной верифицируемости) для *каждого* осмысленного предложения. В любом случае, несмотря на все попытки спасти принцип познаваемости мира, пока нельзя сказать, что они были достаточно успешны. Допущение потенциальной познаваемости неизбежно приводит к абсурдному выводу об актуальном *всезнании* познающего субъекта. А значит, сам тезис о познаваемости является абсурдным и должен быть отброшен. Мир никогда не может быть познан до конца – существуют факты, которые неизвестны, не могут быть известны и всегда останутся таковыми.

9.6 Динамика знаний и убеждений

Примечательной особенностью эпистемической логики в стиле Хинтикки (§ 9.3) является ее *статичность*. При построении такого рода логических систем существенным образом задействуется идеализация, в соответствии с которой эпистемические утверждения относятся к определенному (фиксированному) моменту времени, а также запрет на привлечение новой информации и на изменение субъектом своего мнения в ходе рассуждения. Неоднократно обращалось внимание на то, что эти идеализации не позволяют адекватно объяснить, каким же образом происходит рост нашего знания и как вообще такой рост оказывается возможным. Поэтому, в последние годы в аналитической эпистемологии все большее значение приобретает проблема *динамики знаний*. Можно даже утверждать, что здесь происходит своеобразный "динамический

поворот", выражающийся в том, что в теоретико-познавательных концепциях центр тяжести постепенно смещается в сторону построения особых когнитивных моделей, призваных эксплицировать сам процес изменения наших знаний и убеждений и сформулировать основные принципы такого рода изменений. Это во многом происходит под влиянием потребностей *computer science*, которая находит в теории познания своего рода философский фундамент для своих концептуальных построений. Показательна в этом отношении вышедшая в 1988 году книга Питера Герденфорса (род. в 1949, ныне профессор по когнитивным наукам в университете г. Лунд, Швеция) "Знание в движении", имеющая подзаголовок "Моделирование динамики эпистемических состояний",[35] которая в значительной степени обобщает многочисленные исследования, образующие новое перспективное направление современной научной эпистемологии, за которым закрепилось общее название "*belief revision*" (ревизия убеждений).

Как уже отмечалось выше, в аналитической философии имеется широкий консенсус относительно того, что сущности, с которыми должна иметь дело теория познания, нельзя ограничивать только сферой собственно знания, так как это означало бы неоправданное сужение самого предмета эпистемологии. При построении теоретической модели познавательной деятельности, необходимо учитывать не только те ее результаты, которые обладают стопроцентной достоверностью и являются несомненно истинными (то есть, знание в строгом смысле), но также и все те положения, которые субъект "всего лишь" *считает истинными*. Совокупность таких положений образует "мнения" субъекта (по тому или иному вопросу), или множество его "*убеждений*" (в широком смысле).[36] Это вовсе не означает, что понятие знания является излишним и должно быть полностью элиминировано. Скорее, речь идет о переходе к более общему понятию, объединяющему старые категории знания и мнения, – понятию *эпистемического состояния* субъекта.

Сам процесс познания может быть представлен теперь не как движение от незнания к знанию, а как смена одних убеждений другими, осуществляемая в ходе их перманентного *критического пересмотра*. Собственно говоря, не подлежит сомнению тот факт, что время от времени, в силу различных причин (например, в результате изменения нас самих или изменения окружающей нас действительности), мы подвергаем наши убеждения пересмотру, с целью решить, какие из них устарели и должны быть отброшены, а какие нужно сохранить и, быть может, развить дальше. Это как раз и делает актуальным проблему построения адекватных когнитивных моделей, которые позволили бы объяснить, каким образом происходит изменение убеждений и как вообще возможно само это изменение.

Герденфорс подчеркивает, что разрабатываемая им эпистемологическая теория является "концептуалистской", в том смысле, что она

---

[35] Gärdenfors P. Knowledge in Flux. Modeling the Dynamics of Epistemic States. The MIT Press, Cambridge – London, 1988.

[36] Еще раз подчеркнем, что здесь важно отвлечься от той эмоциональной окрашенности, с которой чаще всего связано употребление слова "убеждение" в обыденном (русском) языке (в таких словосочетаниях как "идейные убеждения", "стойкие убеждения" и т.п.). В контексте последующего изложения данный термин лишен какой бы то ни было этической или идеологической нагрузки и понимается исключительно в смысле "те положения, которые субъект в данный момент *считает истинными*".

"не предполагает никакой отсылки к 'внешнему миру' вне эпистемических состояний субъекта. Это правда, что эпистемические импульсы, в общем, имеют своим источником такую 'реальность', но я утверждаю, что эпистемические состояния и изменения таких состояний, также как и критерии рациональности, управляющие эпистемической динамикой, могут и должны быть сформулированы независимо от фактических связей между эпистемическими импульсами и внешним миром".[37]

Иными словами, данная теория является онтологически нейтральной и одинаково совместимой как с реализмом, так и с антиреализмом. Равным образом, здесь не затрагивается вопрос о конкретной природе "эпистемических импульсов", то есть о том, *почему* люди пересматривают свои убеждения. Причины, которые время от времени побуждают людей пересматривать то, во что они раньше верили, в большинстве случаев выходят за рамки чистой теории познания и их рассмотрение не является собственно эпистемологическим вопросом. Далее, для построения эпистемологической теории абсолютно не существенны психолингвистические (или психофизические) процессы, происходящие в голове субъекта в тот момент, когда он меняет свое мнение, и обеспечивающие психологический механизм такого изменения. По существу, знания и убеждения субъекта рассматриваются здесь как некоторое *объективированное знание*, как мир объективного содержания мышления ("третий мир" Карла Поппера). Этот "мир" представляет собой некоторую (и довольно сильную) эпистемологическую идеализацию, необходимую для создания теоретической модели познавательной деятельности. При таком понимании, вопрос о конкретном материальном носителе убеждений перестает быть существенным, и наличие человеческого мозга вообще не является обязательным. В принципе, такого рода убеждения могут быть смоделированы как результат деятельности "идеального субъекта", например, как состояние компьютера или компьютерной программы.

Основными понятиями, образующими каркас рассматриваемой когнитивной модели, являются понятие "эпистемического состояния" и понятие "познавательной операции".[38] Первое из этих понятий служит для представления возможного состояния познающего субъекта в некоторый момент времени. Предполагается, что такого рода состояние является заданным, если известны все те положения, которые индивид принимает в данный момент времени, то есть, в истинности, которых он убежден. Таким образом, эпистемическое состояние субъекта есть ни что иное, как множество его убеждений в широком смысле. С логической точки зрения оно может быть описано как некоторое множество высказываний (а именно, множество всех тех высказываний, относительно которых субъект *верит*, что они являются истинными).

Важно отметить, что аналитическая эпистемология, как правило, имеет дело с *рациональным* субъектом, то есть, субъектом, познавательная деятельность которого организована рациональным образом. В этой связи возникает вопрос о том, когда субъект может считаться рациональным, а это есть вопрос о *критериях*

---

[37] Ibid. – P.9.

[38] Дальнейшее изложение опирается не только на книгу Герденфорса, но и на другие работы, посвященный проблеме критического пересмотра убеждений, см. напр. Alchourron, C.E., P.Gärdenfors and D.Makinson. On the Logic of Theory Change: Partial Meet Contraction and Revision Functions // Journal of Symbolic Logic, 50, 1985. – P.510-530. Hansson, S.O. A Textbook of Belief Dynamics. Kluwer Academic Publishers: Dordrecht / Boston/ London, 1999.

рациональности, которым должны подчиняться эпистемические состояния субъекта. Герденфорс принимает следующие два требования рациональности:

(1) Множество убеждений субъекта должно быть непротиворечивым.

(2) Субъект обязан принимать все логические следствия принимаемых им убеждений.

Убеждения, удовлетворяющие данным требованиям, считаются рациональными.[39] Эти требования являются, впрочем, довольно сильными идеализациями. Так, например, в действительности убеждения субъекта иногда (а возможно и часто) могут противоречить друг другу. Можно, однако, считать, что противоречивые убеждения не представляют особого теоретического интереса, поскольку не совсем ясно, каким образом такого рода убеждения могут быть подвергнуты рациональному анализу. Поэтому, если вдруг обнаруживается, что множество убеждений индивида является противоречивым, то такое положение дел считается ненормальным и рациональный индивид, в соответствии с требованием непротиворечивости, обязан предпринять все необходимые действия для устранения противоречия, или, по крайней мере, для его изоляции. Что касается второго требования, то его не следует понимать в том смысле, что субъект действительно *осознает* все логические следствия своих убеждений. Скорее, это требование отражает *эпистемические обязательства* рационального субъекта. Так, например, если индивид верит, что все люди смертны, а также верит, что Сократ человек, то тогда он *обязан* принять утверждение, что Сократ смертен, даже если он явным образом никогда не задумывался над этим последним вопросом. Если же этот индивид, вопреки своим первым двум убеждениям, будет отказываться принять истинность последнего утверждения, то такой индивид будет признан нерациональным (или иррациональным), что, по-видимому, является вполне обоснованным.

Второе требование иногда формулируется еще и следующим образом:

(2') Множество убеждений субъекта должно быть *замкнуто* по отношению логического следования.

Формально это может быть представлено с помощью особой *операции замыкания* – *Cn*. Пусть X есть некоторое множество высказываний. Тогда *Cn*(X) есть множество всех логических следствий из X, которое называется *замыканием* X. Операция *Cn* должна удовлетворять следующим стандартным условиям:

(a) $X \subseteq Cn(X)$;

(b) Если $X \subseteq Y$, то $Cn(X) \subseteq Cn(Y)$

(c) $Cn(X) = Cn(Cn(X))$.

Используя операцию замыкания, и принимая во внимание критерии рациональности, вводится следующее понятие "системы убеждений":

Определение 1. X есть (неабсурдная) *система убеждений,* если и только если: (1) Существует высказывание *A*, такое что $A \notin X$; (2) $X = Cn(X)$.

Если первое условие данного определения не выполняется, то это означает, что система убеждений включает *все* возможные утверждения языка, а значит, является противоречивой. Такая система убеждений называется *абсурдной*.[40]

[39] Ср. послулаты B1 и B2 для оператора убеждения в § 9.3.

[40] Таким образом, из двух критериев рациональности первый является желательным, а второй

Следующее важное понятие – это понятие "познавательной операции" или "познавательного действия". Именно это понятие дает возможность отразить основные типы изменения наших систем убеждений. Пусть **К** есть некоторая система убеждений. Тогда относительно **К** возможны следующие познавательные операции, которые могут привести к изменению **К**:

1. *Расширение*. Эта операция применяется, когда мы хотим расширить наши убеждения за счет добавления новых убеждений к уже имеющимся. При этом мы надеемся, что полученная в результате новая система убеждений будет непротиворечивой, хотя одна лишь операция расширения *сама по себе*, конечно, не может этого гарантировать. Обозначим операцию расширения посредством "+". Таким образом, если **К** – имеющаяся система убеждений, а *А* – некоторое высказывание, то **К** + *А* есть результат расширения **К** посредством высказывания *А*.

2. *Сокращение*. Эта операция применяется, когда мы считаем нужным отказаться от некоторого убеждения, иными словами, когда мы удаляем это убеждение из нашей системы убеждений. Эта операция обозначается посредством "÷": **К** ÷ *А* есть результат сокращения системы убеждений **К** за счет высказывания *А*.

3. *Ревизия*. Эта операция применяется, если мы пришли к необходимости признать истинность некоторого высказывания, которое является несовместимым с нашей прежней системой убеждений. В этом случае мы добавляем данное высказывание к нашей системе убеждений, и одновременно осуществляем *пересмотр* (ревизию) наших старых убеждений с целью сделать их совместимыми с вновь принятым высказыванием. Если операцию ревизии обозначить посредством "*", то тогда **К** * *А* будет результатом ревизии системы убеждений **К** относительно высказывания *А*.

Ни одна из этих познавательных операций не сводится к простому механическому одноразовому действию. Так, например, если мы расширяем имеющуюся систему убеждений за счет некоторого высказывания, недостаточно просто добавить это высказывание к множеству старых убеждений. Ведь то, что получится в результате, также должно быть системой убеждений, то есть, по определению 1, новое множество убеждений должно быть замкнуто по отношению логического следования. Иными словами, при добавлении нового убеждения к уже имеющимся, мы должны добавить к ним также и все логические следствия, которые отсюда вытекают. С другой стороны, если мы осуществляем сокращение наших знаний, недостаточно просто удалить некоторое высказывание из нашей системы убеждений. Дело в том, что мы должны также исключить и все те высказывания, из которых удаляемое высказывание логически следует, поскольку если этого не сделать, то удаляемое высказывание фактически вовсе не будет удалено, а неявным образом сохранится в системе убеждений. Далее, если два различных высказывания *совместно* влекут удаляемое убеждение, то одно из этих высказываний также должно быть удалено, и здесь мы оказываемся в ситуации выбора, который далеко не всегда является тривиальным.

Очевидно, что расширение и сокращение убеждений представляют собой в значительной степени *идеальные* познавательные действия, которые в чистом виде встречаются довольно редко. Наиболее типичной эпистемической операцией является ревизия, и процесс развития убеждений чаще всего происходит именно путем их пересмотра. В этой связи возникает интересный теоретический вопрос –

обязательным. Если требование непротиворечивости еще может быть нарушено (хотя это и нежелательно), то нарушение условия замкнутости по отношению следования просто невозможно.

является ли ревизия *независимой* познавательной операцией и нельзя ли попробовать свести ее к двум другим, то есть *определить* ревизию через расширение и сокращение. Оказывается, что такое сведение вполне возможно. По существу, операция ревизии представляет собой некоторое комплексное действие, заключающееся в том, что субъект должен (1) включить некоторое новое высказывание A в свою систему убеждений и (2) принять все необходимые меры к тому, чтобы новая система убеждений была непротиворечивой. Первое из этих действий достигается путем *расширения* имеющейся системы убеждений за счет A, в то время как вторая цель может быть достигнута посредством *предварительного* удаления $\sim A$ (отрицание A) из системы убеждений (*сокращение*). Иными словами, операция ревизии может быть эксплицирована как результат последовательного осуществления двух подопераций: (1) сокращение посредством $\sim A$ и (2) расширение за счет A. Таким образом, приходим к следующему определению, известному в литературе как "равенство Леви":

Определение 2. $\mathbf{K} * A = (\mathbf{K} \div \sim A) + A$.

Это определение имеет очень большое эвристическое значение, поскольку с его принятием проблема теоретической экспликации процесса изменения рациональных убеждений сводится к рассмотрению двух сравнительно простых познавательных операций – расширению и сокращению. Рассмотрим первую из этих операций. Очевидно, что расширение можно довольно легко определить, используя аппарат теории множеств. А именно, если мы хотим расширить нашу систему убеждений **К** за счет высказывания A, мы должны "механически" добавить это высказывание к **К** (осуществить теоретико-множественное объединение), а затем замкнуть получившееся множество высказываний **К** посредством операции замыкания Cn:

Определение 3. $\mathbf{K} + A = Cn(\mathbf{K} \cup \{A\})$

При помощи данного определения операция расширения убеждений вводится однозначным образом, не оставляя пространства для различных ее истолкований. А это значит, что вся проблема пересмотра наших убеждений фактически эквивалентна проблеме определения операции сокращения. Как ни парадоксально это звучит, но если мы хотим получить ответ на вопрос о том, каким образом осуществляется изменение (а значит и развитие) нашего знания, мы должны ответить на вопрос, как происходит сокращение наших убеждений. Принимая же оптимистическую точку зрения, в соответствии с которой в процессе развития знания происходит его *рост*, мы приходим к следующему кардинальному выводу: *проблема роста знания сводима к проблеме сокращения убеждений*. Иными словами, если мы хотим понять, как осуществляется прирост наших знаний, мы должны понять, каким образом мы отказываемся от наших убеждений. И если бы для операции сокращения удалось найти такое же четкое определение, как определение 3 для расширения, то тогда проблема теоретической экспликации механизма развития знаний была бы решена однозначным образом.

Однако установлено, что однозначно определить операцию сокращения невозможно. Основной причиной этого является отмеченная выше возможность "альтернативных ходов", неизбежное появление при осуществлении сокращения ситуации неопределенности, когда субъект оказывается перед выбором, какое из нескольких высказываний удалить из системы своих убеждений, а какое оставить, и при этом не существует никаких чисто логических предпочтений в пользу того

или иного высказывания. Поэтому, возможны несколько альтернативных подходов к определению операции сокращения, в зависимости от того, насколько "радикальны" (или, наоборот, осторожны) мы хотим быть в процессе отказа от тех или иных убеждений.

Самым "перестраховочным" является так называемое "сокращение полного пересечения" (*full meet contraction*), которое требует удалять из систем убеждений *слишком* многое, даже то, что иногда желательно было бы сохранить. Например, если субъект стоит перед выбором – отказаться от одного из каких-либо двух высказываний, то сокращение полного пересечения удаляет *оба* эти высказывания, что далеко не всегда представляется оправданным. С другой стороны, наименее надежной операцией является так называемое "сокращение максимального выбора" (*maxichoice contraction*), недостаток которого состоит в том, что оно не оставляет возможности действовать достаточно осторожно. Так, если мы находимся перед выбором – удалить либо высказывание *A*, либо – высказывание *B* и при этом не имеем абсолютно никаких резонов предпочесть одно из этих высказываний другому, может оказаться полезным отбросить оба эти высказывания, чтобы быть полностью уверенным в наших убеждениях. Например, пусть мы полагали, что госпожа Иванова имеет ровно два ребенка – мальчика и девочку, а затем узнали, что на самом деле ребенок у Ивановой только один, при этом о поле ребенка ничего не было сказано. Естественно, мы не можем сохранить оба имевшиеся ранее у нас убеждения "Иванова имеет мальчика" и "Иванова имеет девочку". И хотя "объективно" одно из этих высказываний является истинным, но, поскольку мы не получили достаточно точной информации, будет разумным отбросить (по крайней мере пока, до получения необходимых уточняющих данных) *оба* эти убеждения и признать, что мы не уверены ни в том, что госпожа Иванова имеет мальчика, ни в том, что она имеет девочку. В рамках сокращения максимального выбора такого рода стратегия оказывается невозможной.

Поэтому наибольшее признание получила операция, называемая "сокращением частичного пересечения" (*partial meet contraction*), определяемая посредством некоторой *функции предпочтения*, отбирающей те из возможных кандидатов на сокращение, которые являются более "предпочтительными", более "достойными сохранения". При этом, сокращения полного пересечения и максимального выбора оказываются частными случаями сокращения частичного пересечения. Кроме того, свойства данной операции могут быть охарактеризованы посредством некоторого набора постулатов, которые должны для нее выполняться. Иными словами, операция частичного сокращения допускает построение определенной аксиоматической теории. Опишем кратко наиболее важные из этих постулатов, как они представлены в книге Герденфорса.[41]

1. "*Постулат замыкания*" (closure): если **K** является системой убеждений, то $\mathbf{K} \div A$ также есть система убеждений.

($\mathbf{K} \div A$ должно быть замкнуто по отношению логического следования, если таковым является само **K**.)

2. "*Постулат успеха*" (success): если $A \notin Cn(\varnothing)$, то $A \notin \mathbf{K} \div A$.

(Успех сокращения, очевидно, заключается в том, что удаляемое высказывание не должно принадлежать результирующей системе убеждений. Однако, сокращение

[41] См. Gärdenfors P. Knowledge in Flux... – P. 60-66.

не может быть успешным, если мы попытаемся удалить из наших убеждений логически истинное высказывание (то есть закон логики). Тот факт, что высказывание A является логической теоремой можно обозначить посредством $A \in Cn(\varnothing)$, поэтому постулат успеха имеет в качестве условия требование, что A не является теоремой логики.)

3. "*Постулат включения*" (inclusion): $\mathbf{K} \div A \subseteq \mathbf{K}$

(Получившаяся в результате сокращения система убеждений должна составлять подмножество исходной системы убеждений.)

4. "*Постулат пустоты*" (vacuity): если $A \notin \mathbf{K}$, то $\mathbf{K} \div A = \mathbf{K}$.

(Если мы попытаемся "удалить" из нашей системы убеждений высказывание, которое в действительности вовсе не принадлежит этой системе, то наша система убеждений просто останется без изменений – никакого сокращения фактически не произойдет.)

5. "*Постулат восстановления*" (recovery): $\mathbf{K} \subseteq (\mathbf{K} \div A) + A$.

(В соответствии с этим постулатом, *все* наши убеждения должны быть восстановлены, если мы вначале сократим систему убеждений посредством высказывания A, а затем возвратим A в нашу систему убеждений.)

6. "*Постулат экстенсиональности*" (extensionality): если $A \leftrightarrow B \subseteq Cn(\varnothing)$, то $\mathbf{K} \div A = \mathbf{K} \div B$.

(Если два высказывания логически эквивалентны, то результат удаления из системы убеждений любого из этих высказываний по отдельности будет тем же самым.)

Эти постулаты в совокупности адекватно характеризуют операцию сокращения частичного пересечения и позволяют выявить многие ее важные свойства.

Представленное в данном параграфе направление исследований может служить примером *прикладной эпистемологии*, когда теория познания находит разнообразные применения не только в логике и методологии, но также и за пределами собственно философии. В рамках этого направления, исследуются такие проблемы как укорененность убеждений, вероятностные модели эпистемической динамики, условные высказывания (так называемый "тест Рамсея"), научное объяснение, каузальные убеждения и многие другие.

* * *

Выше были изложены лишь некоторые из наиболее типичных теоретико-познавательных проблем и подходов к их решению, характерных для современной аналитической эпистемологии. В завершение главы, остановимся кратко на некоторых других важных темах, которые интенсивно обсуждаются исследователями, работающими в аналитической теории познания. Среди таких тем можно выделить проблему *скептицизма* и проблему источников нашего знания (в частности, возможности и характера *априорного* знания). Следует особо отметить, что сам факт заинтересованного рассмотрения этих проблем философами аналитического направления недвусмысленно указывает на свойственное аналитической философии стремление к *преемственности* с классическими философскими концепциями и направлениями.

Так, скептицизм представляет собой давнюю философскую традицию, истоки которой можно проследить, начиная уже с Платоновой академии. Точно такой же богатой историей располагает и критика скептической позиции. Классический ("академический") скептицизм утверждает, что мы не можем знать, существует ли реальность (а если да, то какова природа этой реальности), отличная от нашего непосредственного опыта.[42] Это утверждение получает самое разнообразное оформление в конкретных скептических концепциях. Прежде всего, следует различать между "глобальным" и "локальным" скептицизмом. Согласно глобальному скептицизмому мы ни о чем не можем иметь никакого знания, то есть любое знание принципиально невозможно. Локальный же скептицизм отрицает возможность адекватного знания тех или иных конкретных феноменов или областей, например, внешнего мира, сознания других людей, прошлого, моральных истин или Бога. Далее, скептическая позиция может быть направлена либо против возможности знания как такового, либо же против возможности обоснования знания (или же против того и другого вместе). Кроме того, можно выделить так называемые "скептицизм первого порядка" и "скептицизм второго порядка". Первопорядковый (непосредственный) скептицизм относится собственно к нашему знанию тех или иных фактов, скептицизм же второго порядка ставит под сомнение возможность знания о самом знании, то есть он утверждает, что мы не можем знать, что мы что-то знаем.[43]

Наиболее пристальное внимание в современной аналитической эпистемологии уделяется локальному скептицизму первого порядка, который ставит под сомнение возможность нашего *знания внешнего ми*ра. Такого рода скептицизм опирается на то обстоятельство, что единственным источником нашей информации о внешнем мире является наш собственный субъективный опыт, иными словами любое свидетельство о фактах внешнего мира неизбежно зависит от данных, поставляемых нашими органами чувств, и в этом смысле имеет субъективный характер. Однако, – подчеркивают скептики, – такого рода опыт вовсе не исключает альтернативных возможностей, в частности, возможности ошибки или "тотального заблуждения": вполне можно представить себе ситуацию, когда наш субъективный опыт был бы в точности тем же самым, даже если бы внешняя реальность была абсолютно другой, или ее вообще не существовало.[44]

Большинство аналитических философов занимает анти-скептическую позицию, в то же время считая, что скептицизм выполняет важную методологическую функцию, поскольку в процессе опровержения скептицизма и критического

---

[42] Академический скептицизм (который в нашей философии не совсем удачно, а также исторически и терминологически не вполне адекватно, часто называют "агностицизмом") необходимо отличать от скептицизма пирроновского толка, который, не отрицая в целом возможности знания, обращает внимание на принципиальную погрешимость любого нашего утверждения и отстаивает невозможность выработки четких и несомненных критериев, разграничивающих истину и ложь (ср.: Bernecker, S. and F. Dretske (eds.). Knowledge. Readings in Contemporary Epistemology, Oxford University Press, 2000. – P.301).

[43] См. Bernecker, S. and F. Dretske (eds.). Knowledge. Readings in Contemporary Epistemology, Oxford University Press, 2000. – P.301.

[44] Этот последний аргумент получил в современной аналитической философии обозначение "мозги в бочке", поскольку он иногда формулируется в форме своего рода мысленного эксперимента, утверждающего, что опыт, поставляемый нашими органами чувств, вполне совместим с "опытом" лишенного тела и помещенного в особую питательную среду мозга, нервные окончания которого подключены к своего рода суперкомпьютеру, который имитирует (моделирует) внешнюю реальность. Каким образом, – спрашивает скептик, – можем мы *доказать*, что мы не являемся такими "мозгами в бочке"? Изложение и детальную критику этого аргумента см.: Putnam, H. Brains in a Vat // Reason, Truth and History, Cambridge, Cambridge University Press, 1981. – P.1-21.

анализа доводов в его пользу, мы углубляем также и наше понимание самого феномена знания. Среди основные стратегий преодоления скептицизма, которые можно найти в современной аналитической философии, следует назвать: (1) эпистемологический экстернализм, (2) теорию "релевантных альтернатив" и (3) семантический экстернализм.[45] Эпистемологический экстернализм утверждает, что для того, чтобы обладать надежными и обоснованными истинными убеждениями (то есть, знать что-либо), вовсе не обязательно знать, что наши убеждения являются таковыми. Главное, чтобы наши убеждения объективно *были* надежными, обоснованными и истинными – в этом случае они и дают нам знание, безотносительно, знаем ли мы этот последний факт или нет. Концепция "релевантных альтернатив" отстаивает точку зрения, что знание того или иного факта предполагает исключение всех *релеватных* (то есть, имеющих отношение к делу) альтернатив этому факту, и что скептическая альтернатива обычно, то есть при "нормальных условиях", не является релевантной. Таким образом, поскольку скептическая альтернатива существованию внешнего мира не является релевантной, то тот факт, что наш опыт не в состоянии исключить возможность этой альтернативы, вовсе не свидетельствует в пользу истинности скептицизма как такового. Семантический экстернализм отрицает саму возможность того, что значение языковых выражений и наше понимание этих выражений, может остаться совершенно без изменений, если предположить, что окружающий нас мир полностью изменится. Согласно семантическому экстернализму, то как мы воспринимаем те или иные предметы, то что бы думаем о мире, непосредственно зависит от тех понятий, которыми мы располагаем, а понятия, в свою очередь, зависят от внешнего мира, в котором мы живем. Иными словами, люди живущие в различных "мирах" неизбежно должны иметь разные понятия, следовательно, должны иметь различные мнения, убеждения, а в конечном итоге – и знания. Это, однако, означает, что скептическая ссылка на возможность "глобального обмана" со стороны органов чувств не является корректной и сама должна быть подвергнута сомнению.

Еще одной важной проблемой, которая находится в центре внимания философов аналитического направления, является проблема априорного знания. Эта проблема имеет непосредственное отношение к вопросу о месте и роли чувственного опыта в процессе приобретения знаний. Рамки ее обсуждения были во-многом очерчены еще Кантом, который полагал, что важнейшей характеристикой априорных суждений является их *необходимость*: если *A* известно *a priori*, то *A* является необходимо истинным и наоборот. Не так давно обсуждению этой проблемы был придан новый импульс в работах С.Крипке, который – в противовес точке зрения Канта – выдвинул ряд доводов в пользу того, что некоторые случайно истинные высказывания могут быть известны *a priori*, в то время как некоторые необходимо истинные высказывания могут быть известны только *a posteriori*.[46] При этом Крипке опирается на понимание необходимости как истины во всех "возможных мирах" (соответственно, случайность есть истинность лишь в некоторых "возможных мирах"). Крипке предлагает и подробно анализирует примеры случайных априорных и необходимых апостериорных высказываний. В качестве примера первого рода он рассматривает высказывание "Хранящийся в Париже метровый эталон имеет один метр в длину", а в качестве примера второго рода – высказывание "Утренняя

[45] Ibid. – P.302.
[46] См. Kripke, S. Naming and Necessity, Cambridge, MA., Harvard University Press, 1980.

звезда есть Вечерняя звезда" (напомним, что как "Утренняя звезда", так и "Вечерняя звезда" обозначают одну и ту же планету – Венеру). Априорный характер первого высказывания очевиден, в то же время оно является случайно истинным, так как вполне можно представить себе возможный мир, в котором парижский метровый эталон имеет длину, отличную от одного метра. Второе же высказывание имеет апостериорный характер (его истинность может быть установлена только в результате соответствующих астрономических наблюдений), однако оно является необходимым – не существует такого возможного мира в котором имена "Утренняя звезда" и "Вечерняя звезда" обозначают разные планеты. Примеры Крипке и его концепция имен как "жестких десигнаторов" получила широкое обсуждение в современной философской литературе, посвященной проблеме источников нашего знания и его обоснования.

10. Понятие истины и его применение в аналитической философии

10.1 Аналитическое понятие истины

Понятие истины в концепции значения как условий истинности очевидно должно отвечать своему функциональному предназначению, т.е. должно соответствовать определению

(D1) Истина — такое свойство предложений (или других носителей истинности), благодаря которому мы знаем их значение.

Задача в том, чтобы сопоставить этому функциональному определению некоторое структурное.

Алан Уайт начинает свою известную книжку "Истина" с замечания:

> "Что такое истина?" ("What is truth?") и "Что является истинным?" ("What is the truth?" — два совершенно разных вопроса. Второй — вопрос о том, какие именно вещи являются истинными; первый — о том, что значит сказать, что они истинны[1].

Этот подход развивали Николас Решер, предложивший различать истину как дефиницию и истину как критерий[2] (сама идея, в свою очередь, в аналитической традиции восходит к Айеру[3]), Родрик Чизом[4] и другие. Когда мы рассматривали представления Витгенштейна, Тарского, Дэвидсона и Даммита, мы обсуждали второй вопрос. Теперь наш вопрос здесь — первый: "Что такое истина?" Его можно принять за вопрос о нашем обычном понятии истины; или, если таких понятий у нас несколько — как это, по всей вероятности, обстоит с нами на самом деле — то это вопрос, в существующем контексте, по меньшей мере об одном из этих понятий: семантическом. Это тривиально справедливо для концепции значения как условий истинности, но не только для нее, а также и для более широких эпистемологических контекстов. По выражению Майкла Девитта, семантическое понятие истины "занимает нас ровно постольку, поскольку оно играет роль в нашей лучшей теории мира"[5]; точнее говоря, это регулятив нашей когнитивной деятельности.

Мы можем охарактеризовать последнюю, поддержав более или менее общепринятый как в современной аналитической философии, так и в эпистемологии тезис о том, что **знание — это истинное обоснованное убеждение** (true justified belief). В таком случае мы сможем дать следующее определение истины:

(D2) Истина — такое свойство обоснованных убеждений (или других носителей истинности), благодаря которому мы их знаем (*de re* или *de dicto*).

Удерживая представление о связи истины со значением, т.е. в рамках концепции значения как условий истинности, мы скажем:

---

[1] White A. Truth. Anchor Books, Doubleday. Garden City, N.Y. 1970. P. ix.
[2] См.: Rescher N. The Coherence Theory of Truth. Ox., 1973.
[3] См.: Ayer A.J. 'The Criterion of Truth' — Analysis, v.3, No.3, Jan.1936.
[4] См.: Chisholm R. Theory of Knowledge. Englewood Cliffs, 1977.
[5] Devitt M. Realism and Truth. Princeton, N.J. 2nd ed., 1997. P. 26.

(D3) Истина — такое свойство обоснованных убеждений (или других носителей истинности), благодаря которому мы знаем их значение.

Сравнив это определение с (D1), мы увидим, что принятие такого подхода обяжет нас показать, каким образом может быть установлена эквивалентность между токенами предложений и обоснованными полаганиями[6] как носителями истинности. Но сначала рассмотрим возможности применения для целей этого исследования различных теорий истины.

При этом за рамками рассмотрения останутся те теории, которые очевидно неприменимы в концепции значения как условий истинности. Это прежде всего:

1) теория элиминативизма — когда истина достигнута, пропозиции исчезают и остается только действительность;
2) теория идентичности — когда носитель истины (например, пропозиция) является истинным, то он идентичен своему истинностному фактору (например, факту), и истина и состоит в этой идентичности.

Они не понадобятся нам здесь по тривиальным причинам, т.к. это — не теории языковых выражений.

С другой стороны, принятый подход позволит нам сгруппировать различные виды дефляционных теорий, нынешнее развитие которых показывает их отчетливую тягу к обособлению. Такие теории, как дисквотационная, просентенциальная и минималистская, будут рассмотрены совместно, т.к. относительно Т-предложений их действие проявляется одинаково и состоит в поддержке дефляционного тезиса.

10.2 Корреспондентная теория истины

Основная идея корреспондентной истины обманчиво проста: предложение истинно, если и только если оно соответствует фактам (или действительности).

Эта теория должна прежде всего определять, в чем заключается истинность эмпирических предложений, или предложений наблюдения, т.е. связанных с опытом и не выводимых из других предложений – а, напротив, таких, которые сами являются базовыми для дальнейшего знания. Согласно этой теории, предложение (пропозиция, убеждение, высказывание или что бы то ни было, что принимаем в нашей теории за носитель истины) истинно, если есть нечто, благодаря чему оно истинно — нечто, что соответствует в реальности тому, что высказано. Другими словами: если *p* истинно, то этому соответствует факт, что *p*. Или: истинно то, что соответствует фактам. Если *p* истинно, если и только если *p*, то, когда что-то — например, *p* — утверждается истинно, то должно быть нечто дополнительное, нечто другое, чем то, что сказано — нечто, к чему относится то, что утверждается. Очевидный и, возможно, единственный полноценный кандидат на роль этого "нечто" — *факт*; например, факт, что *p*.

Классические попытки объяснить понятие корреспондентной истины быстро столкнулись с непреодолимыми трудностями. Если предложение истинно в силу его соответствия факту, то мы нуждаемся в объяснении этого "соответствия" и этих "фактов". Попытки раскрыть понятие соответствия — кореспонденции — быстро увязли в метафорах: "картина", "зеркало" или "отражение

[6] Если обоснованными, то, очевидно, токенами полаганий. В дальнейшем при обсуждении этой предполагаемой эквивалентности я буду опускать "токены" также для предложений, высказываний и т.п.

действительности" (последнее, конечно, еще не "непотаенность", но тоже вполне поэтично). Предложения, с такой точки зрения, каким-то не определяемым дальше образом "отображают" или "изображают" факты — в свою очередь, неясные сущности с сомнительными условиями идентичности. Под фактом в любом случае понимается нечто независимое от того, что о нем высказывается и, кроме того, нечто, что может быть описано другими словами. Поэтому не только о двух разных предложениях можно сказать, что они описывают один и тот же факт, но и, например, о двух разных пропозициях, если считать их смыслами предложений — поскольку некоторые корреспондентисты создали дополнительную проблему, предположив, что носителями истины являются не предложения, а пропозиции, которые выражают эти предложения. Наиболее общие проблемы, связанные с представлением истинности как корреспонденции, таковы.

- Вопрос об истинностном операторе или факторе. Чем здесь предстает факт — реальной ситуацией или идеальным состоянием дел, где существенно лишь отношение между индивидуальными объектами?
- Вопрос о носителе истинности. Что именно соответствует факту – предложение, пропозиция, убеждение или что-то еще?
- Вопрос об отношении корреспонденции. В чем конкретно оно заключается — в том ли, что собственным именам и/или субъектным терминам в предложении (или соответствующим элементам в пропозиции) соответствуют реальные сущности, связанные между собой теми самыми отношениями, которые как-то выражены в том, что сказано (например, названы), или же предложения отражают общую структуру факта?
- Вопрос о верификации. Если факт может быть репрезентирован только в предложении или пропозиции, то не представляет ли собой тогда проверка истинности путем сопоставления того, что сказано, с фактами по сути сопоставление этого предложения или пропозиции с другими предложениями или пропозициями, а не с фактами, до которых мы в итоге так и не добираемся?

В зависимости от ответов на эти вопросы будут различаться между собой различные версии корреспондентной теории. Однако основное исходное допущение при обсуждении корреспондентной теории — общее для ее сторонников и противников — состоит в том, что оба *relata*, между которыми устанавливается отношение корреспонденции, являются отдельно существующими предметами того или другого вида (и причем разных видов)[7]; соответственно, истинность — реляционное свойство.

Носителями истины в корреспондентной теории легко могут признаваться такие ментальные сущности как полагание или суждение, или такая недопроясненная по отнтологическому статусу сущность как пропозиция, а равно предложения или высказывания. В качестве истинностного оператора могут приниматься событие, ситуация или состояние дел. Это представление обязано своим правдоподобием главным образом таким примерам, где носитель истины имеет форму категорического подтверждающего утверждения относительно некоторого такого события или ситуации. Например, вероятно предположить, что в соответствии, где

[7] См., напр.: Austin J.L. 'Truth' — Proceedings of the Aristotelian Society, Suppl. XXIV (1950), pp. 111-128; Strawson P. 'Truth' — Ibid., pp. 129-156.

первый член отношения корреспонденции, например, истинное утверждение "Сражение при Ватерлоо состоялось в 1815 году", второй член является или действительным сражением, или фактом, что сражение произошло в этом месте и в это время. Однако намного труднее обнаружить предмет действительности — событие, ситуацию или состояние дел, — соответствующий истинному отрицательному утверждению "Сражение при Ватерлоо состоялось не в 1817 году" или возможно истинному условному утверждению "Если бы сражение при Ватерлоо состоялось в 1817 году, Наполеон выиграл бы его", или необходимо истинному утверждению "Веллингтон или выиграл, или не выиграл сражение при Ватерлоо". Все же в каждом из этих случаев имеется факт, связанный с истинным утверждением. То, что сражение при Ватерлоо состоялось не в 1817 году, и т.д. — такие же факты, как то, что оно состоялось в 1815. Именно поэтому факт охотнее привлекается в качестве истинностного оператора, чем событие, ситуация или состояние дел (возможно, активное введение понятия факта в научный оборот обязано именно этому обстоятельству).

Таким образом, мы можем вывести из этих классических обсуждений следующие признаки понятия корреспондентной истины.

(1) Она свойственна предложениям или пропозициям (по крайней мере, частично) в силу структуры предложения.

(2) Она свойственна предложениям (по крайней мере, частично) в силу отношения предложений к действительности.

(3) Она свойственна предложениям (по крайней мере, частично) в силу объективной, независимой от сознания природы действительности. Этот признак предназначен ухватить типичное корреспондентное представление, согласно которому предложение "сделано истинным независимой действительностью".

(1) следует из того, что корреспондентная истина может быть присуща некоторым предложениям, но не другим. Это, в свою очередь, связано с тем обстоятельством, что можно неявно использовать в нашей повседневной когнитивной практике *несколько* концепций истины, причем асимметрично: например, придерживаться физической корреспондентной истинности при отклонении этической (моральной или иной аксиологически определенной) корреспондентной истины.

(3) содержит серьезное онтологическое требование, однако оно, по крайней мере, ясно и недвусмысленно.

Наиболее уязвимо здесь (2) — "отношение предложений к действительности". Каково это отношение? Через что оно может быть описано?

Наиболее прямой (и наиболее распространенный) ход здесь — признать отношение истинности, т.е. корреспонденцию, "соответствие", отношением *sui generis*, далее нередуцируемым ни к каким другим понятиям. Это простое и сильное решение выражает достаточно прямые эмпирические интуиции, когнитивную ценность которых нет смысла оспаривать. С другой стороны, введение дополнительного понятия снижает объяснительную силу теории и ее конкурентоспособность по сравнению с другими теориями истины. Наконец, такой ход создает и дополнительные проблемы.

Вообще говоря, предположение, что А соответствует В, т.е. что между А и В имеется отношение корреспонденции, может подразумевать два типа отношений:

- А удовлетворяет некоторым требованиям В или находится с ними в согласии (модель "ключ — замок"), или
- А коррелирует с В (модель "генерал — адмирал").

Те защитники корреспондентной теории, которые имеют в виду первый тип отношения, используют метафоры "отображения" или "картины". Согласно такой трактовке, корреспонденция — отношение копирования или изображения, или идентичности структуры, не поддающееся дальнейшему анализу и удовлетворяющее определению вида "Это выражение (или другой носитель истины, а также их множества — например, история, объяснение, теория и т.д.) соответствует фактам". Однако такое исследование отношения корреспонденции весьма ограничено. То, что изображается (копируется, тождественно структурируется), должно быть ситуацией или событием — например, утверждение "Кошка на коврике" предполагается изображающим кошку на коврике. Мы видели, однако, что вторым членом отношения корреспонденции должен быть *факт*, что кошка находится на коврике. Кроме того, трудно видеть, какое изображение, копирование или структурное отношение возможно для отрицательных, условных или дизъюнктивных истинных утверждений и что делает их истинными. Что, например, изображают истинные утверждения "Если кошка находится на коврике, то ей тепло" или "На коврике нет кошки"? Наконец, то, что говорится, обычно настолько отлично по своей природе от того, что делает сказанное истинным, что между ними невозможно никакое очевидное отношение соответствия, приспособленнности друг к другу или структурного сходства. Корреспондентная теория такой формы (например, в духе раннего Витгенштейна) служила бы для объяснения истинности только транслингвистических сущностей, но не выдерживала бы требований лингвистической относительности. Тем самым применение корреспондентной теории в концепции значения как условий истинности оказывается весьма ограниченно.

Еще один вариант трактовки отношения корреспонденции между утверждением, что *p* и фактом, что *p* — такое отношение соответствия, которое выражается определениями вида "Теория Ньютона соответствует фактам". Однако второй член этого последнего отношения — всегда "факты X, Y, Z", а не "факт, что *p*", а первый член — обычно то или иное объяснение, история или теория. Теория или история *p* расценивается нами как таковая не потому, что она соответствует факту, что *p*, но потому, что она соответствует фактам X, Y, Z, то есть удовлетворяет им, совместима с ними или, возможно, объясняет их. Например, теория прямолинейного распространения света соответствует не тому факту, что свет движется по прямой линии, но различным фактам относительно его отражения, преломления и других оптических явлений; утверждение подозреваемого, что он был дома во время преступления, будет считаться истинным на том основании, что оно соответствует не тому факту, что он был дома во время преступления, а различным другим фактам, известным полиции — например, что он был замечен соседом, подходил к телефону, точно описал фильм по телевидению в это время, имел сухие ботинки и т.д. Короче говоря, обычное выражение "соответствует фактам" используется для того, чтобы выразить не отношение между утверждением, что *p*, и коррелирующим с ним фактом, что *p*, а отношение между утверждением, что *p*, и различными другими фактами — т.е. привлекает и отношение когеренции, а не только и не столько корреспонденции.

Возможна интерпретация соответствия между утверждением, что *p* и фактом, что *p*, как простой непосредственной корреляции между ними — без требования о том, что один из членов отношения походит на другой, удовлетворяет ему или подобным образом структурирован. Такая интерпретация позволяет сохранить базовую корреспондентную интуицию, что *p* является истинным, если и только если *p*. Конкретное утверждение заключает о наличии некоторого факта, и оно истинно, если и только если этот факт наличествует. Все, что может быть истинно сказано, указывает на соответствующие факты, и такое указание может быть повторно произведено либо теми же самыми словами, либо словами, которые говорят то же самое — постольку, поскольку они выражают то, что истинно сказано. Такое представление восходит к Расселу и Дж. Муру[8]: "факт, к которому имеется референция", делает истинными те утверждения, которые такую референцию проводят. И наоборот, о каждом факте может быть (хотя не требуется, чтобы фактически было) истинно сказано нечто соответствующее ему. Факт, соответствующий истинному утверждению, что *p* — это факт, что *p*, и наоборот; при этом один и тот же факт может быть заявлен в различных терминах. Но тогда нам потребуется критерий правильности референции, поскольку наше утверждение может и не содержать явно сформулированного указания на то, что является соответствующим фактом.

Попытка определить корреспондентную истину через не настолько нередуцируемое понятие референции оказалась довольно привлекательна для философов. В наиболее общей форме она состоит в следующем. Рассмотрим истинное предложение с очень простой структурой: утверждение "*F* есть *G*". Это предложение истинно в силу того факта, что существует предмет, который "*F*" обозначает и который принадлежит к тому множеству предметов, к которому применимо "*G*". Таким образом, это предложение истинно,

- потому что оно имеет предикационную структуру, содержащую слова, стоящие в некоторых референциальных отношениях к частям действительности, и
- в силу того способа, которым существует действительность.

При условии, что действительность объективна и независима от сознания, предложение корреспондентно истинно: его истина имеет все признаки (1) — (3), которые мы сформулировали выше. Понятие корреспонденции здесь фактически заменено отношением референции частей предложения к предметам в мире. Такой подход особенно присущ сторонникам каузальной референции. С точки зрения теории референции, соответствующей корреспондентной концепции значения как условий истинности, если мы могли бы распространить этот подход на многие структуры естественного языка (не ограничиваясь, например, лишь указательными предложениями определенного вида) и объяснить соответствующее отношение референции, то мы смогли бы объяснить понятие корреспондентной истины; и именно в этом и была суть подхода Тарского[9].

Однако теперь нам понадобится объяснение референции. Традиционным популярным объяснением является теория дескрипций, объясняющая референцию слова в терминах референций других слов, с которыми его связывают говорящие. Но эта теория столкнулась с хорошо известными трудностями, связанными с

[8] См.: Moore G.E. Some Main Problems of Philosophy. L., 1953. Ch. 14.
[9] См.: Devitt M. Realism and Truth. P. 26.

невозможностью идентификации в референциально непрозрачных контекстах. В конечном счете, референция также требует объяснения в терминах прямых связей не с другими элементами языка, а с действительностью.

Такое объяснение призваны дать каузальные теории референции. Основные идеи здесь таковы:

- объяснение в терминах исторических и социокультурных причин, которое предложили Сол Крипке[10], Кит Доннеллан[11] и Хилари Патнэм[12];
- объяснение в терминах *надежной* причины (релайабилизм), которое предложили Элвин Голдман[13], Фред Дретске[14] и Роберт Нозик[15]; и
- объяснение в терминах телеофункции, эволюционной целесообразности в духе дарвинизма, которое предложили Дэвид Папино[16] и Рут Милликен[17].

Применение каждой из этих идей для выражения реалистских требований, в свою очередь, столкнулось с дополнительными трудностями, в которые мы не можем войти здесь[18]. Главная из них связана с тем, что референцию могут иметь не только (и даже не столько) предложения, но и термины, которые сами по себе еще не могут быть носителями истины, а следовательно, нам понадобится применение принципа композициональности со всеми вытекающими последствиями.

Это не означает ни того, что эти подходы исчерпали себя, ни того, что натуралистическая теория референции вообще не может быть найдена, однако на сегодняшний день такого понятия референции, через которое можно было бы выразить корреспонденцию, еще не построено, и этот проект замены не реализован, так как замена одного нередуцируемого понятия на другое такое же не имеет смысла.

Таким образом, вследствие того, что в корреспондентную теорию органически входят требования метафизического реализма, она не может соответствовать требованию онтологической нейтральности. Реалистские требования состоят в следующем. Корреспондентная теория — единственная (наряду с некоторыми версиями дефляционизма) теория истины, признающая отношение истинности, т.е. корреспонденцию, "соответствие", отношением *sui generis*, далее нередуцируемым ни к каким другим понятиям. Таким образом, она единственная выполняет куайново требование отказа от первой из двух "догм эмпиризма" — редукционизма. Однако ее парадокс в том, что именно она является наиболее эмпиричной теорией истины, так как наиболее прямо соответствует базовым интуициям эмпиризма, экстернализма, фундаментализма. (Возможно, именно это соображение в итоге привело Дэвидсона к изобличению "третьей догмы",

---

[10] См.: Kripke S. Naming and Necessity. 2nd ed. Cambridge MA, 1980.
[11] См.: Donnelan K. 'Proper Names and Identifying Descriptions' — In: Davidson D., Harman G. (eds) Semantics of Natural Language. Dordrecht, 1972.
[12] См.: Putnam H. Mind, Language and Reality. Philosophical Papers, Vol. 2. Cambridge University Press, 1975.
[13] См.: Goldman A. Epistemology and Cognition. Cambridge MA, 1986.
[14] См.: Dretske F. Knowledge and the Flow of Information. Cambridge MA, 1981.
[15] См.: Nozick R. Philosophical Explanations. Cambridge MA, 1981.
[16] См.: Papineau D. Reality and Representation. Ox., 1987.
[17] См.: Millikan R. Language, Thought and Other Biological Categories: New Foundations for Realism. Cambridge MA, 1984.
[18] О некоторых из них см.: Лебедев М.В., Черняк А.З. Онтологические проблемы референции. М., 2000; Devitt M. Realism and Truth.

состоящей в идее, что можно различать в пределах знания между концептуальным и эмпирическим компонентами.) Сами представления о корреспондентной истине возникли (у Аристотеля[19]) именно как теория референции, указания посредством языковых выражений на предметы в мире, а не на что-то еще и не где-то еще. Это по сути экстенсиональная теория, поскольку ее применение в концепции значения как условий истинности будет направлено на выражение семантического в не-семантическом. Но такая трактовка будет содержать метафизическое реалистическое обязательство, на что обращал внимание, например, Патнэм:

> "Антиреалист может использовать истину внутритеоретически в смысле "теории избыточности", но он не имеет понятий истины и обозначаемого, взятых вне рамок данной теории. *Однако экстенсионал связан с понятием истины*. Экстенсионал термина есть как раз то, относительно чего термин *истинен*... антиреалист должен отвергнуть понятие экстенсионала так же, как и понятие истины"[20].

Приписывая возможные состояния дел или факты указательным предложениям, корреспондентная теория назначает им экстенсиональные истинностные условия и тем самым влечет за собой весь круг проблем, связанных с референциально непрозрачными контекстами. Например, она назначит одни и те же истинностные условия предложениям "Цицерон лыс" и "Туллий лыс". Если субъект не знает, что Туллий — это родовое имя Цицерона, то эти два предложения для него не будут синонимичны; для верификации же он должен будет обратиться к другим предложениям.

Итак, применение в концепции значения как условий истинности корреспондентной теории ограниченно и не отвечает требованию онтологической нейтральности.

10.3 Дефляционная теория истины

В рамках концепции значения как условий истинности может предполагаться, что Т-теории трактуются дефляционным способом — так, чтобы они не отсылали к объекту (предмету) или состоянию дел. Дефляционные теории (или теории избыточности — redundancy) истины основаны на следующем допущении: утверждать, что предложение истинно, значит просто утверждать само это предложение ('p' истинно = p), а утверждать, что оно не истинно, значит просто отрицать его ('p' ложно = ~ p). Тезис эквивалентности — *p истинно тогда и только тогда когда p* — валиден для дефляционного понятия истины настолько же, насколько для корреспондентного, но здесь он превращен в определение истинности – "истинно, что p" не содержит ничего, кроме утверждения *p*. Истина, с такой точки зрения, состоит не более, чем в соблюдении тезиса эквивалентности, т.е. сказать "истинно, что p" — не сказать ничего больше, чем просто утверждать *p*; понятие истинности само по себе избыточно. "Истинно, что p" значит *p*, "ложно, что p" – *не-p*. Концепция "избыточности" была явно сформулирована Ф.Рамсеем[21] и часто, но не всегда обоснованно атрибутируется позднему Витгенштейну: согласно интерпретаторам последнего, "p истинно" эквивалентно "p утверждаемо", а "p ложно" — "p отрицаемо". Это снимает, например, проблемы, связанные в корреспондентной теории с применением

[19] Аристотель. Метафизика. Кн. 7, гл.7 (1011b), 25-28. Собр. соч., т.1, М., 1976. С.141.
[20] Putnam H. The Meaning of Meaning — In: Mind, Language, and Reality. P. 236.
[21] См.: Ramsey F.P. 'Facts and Propositions' — In: The Foundations of Mathematics. L., 1931.

предиката "истинно" прямо (т.е. так, чтобы им можно было прямо пренебречь) к модальным высказываниям, контрфактуалам и т.д., а не только к высказываниям определенной формы — повествовательным предложениям изъявительного наклонения.

По версии этой теории, отстаиваемой Айером, "истинно" и "ложно" функционируют в предложении "как знаки утверждения и отрицания", а традиционные теории истины на самом деле исследуют вовсе не понятие истины, а условия, при которых то, что сказано, может быть истинным, т.е. условия утверждаемости *p*.

> ... очевидно, что в предложениях формы "p является истинным" или "истинно, что p" указание на истину ничего не добавляет к смыслу. Если я говорю, что истинно, что Шекспир написал "Гамлета", или что пропозиция "Шекспир написал "Гамлета"" является истинной, я говорю не больше, чем то, что Шекспир написал "Гамлета"... И это показывает, что слова "истинный" и "ложный" не используются, чтобы обозначать что-либо, но просто выполняют в предложении функцию знаков отрицания и утверждения. То есть истина и ложь — не самостоятельные понятия. Следовательно, не может быть никакой логической проблемы относительно природы истины[22].

Согласно другому варианту этой теории, "истинно, что" есть знак согласия с *p* — такой же, как произнесение "да", кивок головы и др.; "истинно, что" не столько редуцируется, сколько отождествляется с "утверждаемо, что" таким образом, чтобы устранить из условий утверждаемости случайные и иррелевантные факторы, предположив равенство объемов между

- "истинно, что p"

и

- "да" в ответ на актуальное или гипотетическое утверждение, что *p*.

Таким образом, истина не зависит прямо от того или иного отношения к предметам в мире и вообще от какого бы то ни было отношения: это нереляционное свойство.

Дефляционизм оказался чрезвычайно популярен в последние десятилетия в силу своей подчеркнутой антиметафизичности и сравнительно простого объяснения истины как семантического понятия. Его основные версии таковы.

(1) Дисквотационная теория ("раскавычивания") развивает следующие замечания Куайна:

> Предикат истины напоминает нам, что, несмотря на технический переход к разговору о предложениях, наше внимание направлено на мир. Эта отменяющая сила предиката истины явна в парадигме Тарского:
>
> "Снег белый" истинно, если и только если снег белый.
>
> Кавычки составляют все различие между разговором о словах и разговором о снеге. Закавыченное выражение — имя предложения, которое содержит

[22] Ayer A.J. 'The Criterion of Truth' — Analysis, v.3, No.3, Jan.1936. Pp.28-29. См. также: Ayer A.J. Language, Truth, and Logic. 2nd ed. L., 1946. Ch. 5.

имя снега, а именно "снег". Называя это предложение истинным, мы называем снег белым. Предикат истины — устройство для раскавычивания[23].

С такой точки зрения, истина определяется тем, что предложение, образованное помещением любого данного предложения между кавычками перед выражением 'является истинным', является эквивалентным данному предложению[24].

(2) Пол Хорвиц предложил "минималистскую" теорию, подобную дисквотационной, за исключением того, что первичными носителями истины в ней признаются пропозиции [25].

(3) Просентенциальная теория[26] предлагает считать предложения с предикатом "является истинным" *просентенциями*, или про-предложениями (prosentences) — аналогами личных местоимений, "местопредложениями". Про-предложения служат для анафорической перекрестной ссылки к предложениям, произнесенным ранее в беседе — так же, как местоимения служат для произведения анафорической перекрестной ссылки к ранее произнесенным именам. Так же, как в "Мэри хотела купить автомобиль, но она могла позволить себе только мотоцикл" мы интерпретируем "она" как местоимение, анафорически зависящее от "Мэри", так же в "Снег бел. Это истинно, но он редко выглядит белым в Питтсбурге" мы интерпретируем "Это истинно" как про-предложение, анафорически зависящее от "Снег бел". Подобно местоимениям, про-предложения имеют двойную анафорическую функцию: они могут быть заменять содержательные предложения выражениями вида "Это истинно", имеющими анафорическую референцию к антецеденту — например, "Председатель Мао умер"; или они могут быть переменными, такими как "Все, что говорил председатель Мао, было истинно", которые интерпретируются как "Что бы Мао ни сказал, это истинно". Последняя функция очень важна, поскольку позволяет обобщения относительно предложений.

(4) Роберт Брэндом предложил существенную модификацию просентенциальной теории, которая трактует предикат "быть истинным" не просто как синкатегорематичную часть про-предложения, а скорее как оператор, формирующий про-предложение[27].

Относительно применения дефляционных теорий в концепции значения как условий истинности возможны следующие возражения. Не во всех случаях "истинно" может быть устранено из предложения без последствий для постулируемой эквивалентности: так, в предложении "То, что говорит председатель Мао, истинно", убрав "истинно", мы получим "то, что говорит председатель Мао..." — т.е. фрагмент предложения. Таким образом, для этого случая эквивалентность формы "p истинно тогда и только тогда, когда p" не сохраняется. По замечанию Даммита, избыточность понятия еще не означает, что

[23] Quine W.V. Philosophy of Logic. Englewood Cliffs, Prentice Hall. 1970. P. 10.
[24] См.: Leeds S. 'Theories of Reference and Truth' — Erkenntnis 13, 1978. Pp. 111-129.
[25] См.: Horwich P. Truth. Oxford, 1990.
[26] См.: Grover D., Camp J., Belnap N. 'A Prosentential Theory of Truth' — In: Philosophical Studies, 27, 1975; Grover D. A Prosentential Theory of Truth. Princeton, N.J. 1992.
[27] См.: Brandom R. 'Pragmatism, Phenomenalism, and Truth Talk' — In: French P., Uehling T., Wettstein H. (eds) Midwest Studies in Philosophy, vol. XII: Realism and Antirealism. Minneapolis, 1988. Pp. 75-93.

оно лишено содержания; теория избыточности истины концентрируется на внешних условиях нашего употребления слова "истинно" (что мы говорим так, когда утверждаем что-то), но есть еще и внутренние условия, а именно, что наши суждения нацелены на истину. Даммит сравнивает истинность и ложность с выигрышем и проигрышем игры. Описывать игру только по ее результату значит упускать из виду существенный момент: в игру играют, чтобы победить; также и суждения выносятся, чтобы достигнуть истины. А чтобы такая задача могла реально стоять для суждений, выносящие суждения должны иметь понятие истины, поэтому вывод о его бессодержательности не следует из утверждения его избыточности[28].

Дефляционные теории не преодолевают основной трудности на пути отображения значения в концепции значения как условий истинности. Фундаментальная проблема здесь состоит в следующем: при использовании языкового выражения (например, русского языка) с правой стороны Т-предложения то, что утверждается с правой стороны, не может быть ни больше ни меньше (в том числе по объему), чем то, что утверждается этим языковым выражением. Поэтому эта проблема свойственна не исключительно определенным видам Т-теорий, в которых полагается, что правая сторона Т-предложений отсылает к определенному состоянию дел; скорее она вытекает из того факта, что для установления истинностных условий используется некоторый язык, и поэтому Т-теория может отображать не более, чем то, что сообщается выражением этого языка, используемым для установления истинностных условий.

В этой связи важно, принимаем ли мы за носители истинности пропозициии или предложения. Дефляционная трактовка истинности допускает и то, и другое. Различие относится к схеме эквивалентности левой и правой частей утверждения: мы можем предположить, что эти части являются предложениями. В таком случае именем предложения является само это предложение — так, «"Снег бел"» является именем предложения "Снег бел". В такой — сентенциальной, т.е. фактически любой, кроме пропозициональной — версии дефляционизма утверждение условий истинности будет выглядеть так:

"Снег бел" истинно ттт снег бел;

а схема эквивалентности, соответственно, так:

Предложение "s" истинно ттт s.

В пропозициональной ("минималистской") версии дефляционизма части утверждения являются пропозициями, а именами пропозиций являются выражения вида "утверждение, что p" или "пропозиция, что p" — так, "пропозиция, что снег бел" будет именем пропозиции, утверждающей, что снег бел. Утверждение условий истинности будет выглядеть так:

Пропозиция, что снег бел, истинна ттт снег бел;

а схема эквивалентности — так:

Пропозиция, что p, истинна ттт p.

Аргументы в пользу онтологической нейтральности дефляционизма относятся к пропозициональной, но не к сентенциальной его версии. Дальнейший анализ этой дистинкции оказывается значимым для прояснения обоснования условий

[28] См.: Dummet M. 'Truth' — In: Truth and Other Enigmas. Cambridge MA, 1978, pp. 1-25.

истинности, нечувствительного к проблемам, связанным с онтологическими требованиями. Возможное рассмотрение в рамках дефляционной теории сталкивается здесь со следующими трудностями.

Так, если в утверждении

"снег бел" истинно ттт снег бел

"снег бел" — пропозиция, то утверждение тривиально, а если же это — предложение, то утверждение в целом ложно, поскольку для того, чтобы "снег бел" было истинно, мало того, чтобы снег был (в некоторой действительности) бел; надо еще, чтобы "снег бел" означало, что снег действительно равно бел. Но дефляционная теория истины не способна предоставить нам никаких фактов относительно языка, поскольку принципиально отклоняет референциальную отсылку к фактическим положениям дел.

В этом отношении дефляционная теория противоположна корреспондентной; но даже если мы не принимаем критерий соответствия фактам за эпистемологически основной в нашем представлении об истинности, то мы тем не менее, как правило, склонны рассматривать тезис эквивалентности как некоторый критерий адекватности — хотя бы в плане алетического реализма. Мы можем попытаться применить этот критерий к дефляционной теории следующим образом. Предположим, что интуиция о том, что некоторое предложение или пропозиция соответствует фактам, является интуицией о том, что это предложение или пропозиция истинно(-а) *потому, что* мир существует определенным способом; т.е. истинность пропозиции *объясняется* некоторым контингентным фактом, внешним по отношению к этой пропозиции:

Пропозиция, что снег бел, истинна потому, что снег бел

Но если мы применяем этот критерий к дефляционной теории — постольку, поскольку она имплицирует следование с необходимостью, —

"снег бел" истинно ттт снег бел, —

то из этих двух утверждений следует

снег бел потому, что снег бел.

Последнее утверждение ложно, так как отношение каузальности, вообще говоря, может существовать лишь между отличными друг от друга членами отношения. Это означает, что два предыдущих утверждения несовместимы друг с другом[29], а следовательно, интуиция алетического реализма неприменима к дефляционной теории.

Возможно следующее возражение: связь между пропозицией, согласно которой снег бел, и тем фактом, что снег бел, не является контингентной, а следовательно, утверждение

Пропозиция, что снег бел, истинна потому, что снег бел

неудовлетворительно выражает схему эквивалентности. В таком случае она может быть более удачно выражена как

"снег бел" истинно потому, что снег бел.

Такое утверждение, будучи применено к

[29] См.: Stoljar D. Deflationary Theory of Truth. URL: http://plato.stanford.edu/entries/truth-deflationary

Пропозиция, что снег бел, истинна потому, что снег бел,

не даст ложного каузального утверждения. Однако такая формулировка исходит из сентенциальной, а не пропозициональной версии дефляционизма — а следовательно, должна быть применена к дефляционному утверждению

"снег бел" истинно ттт снег бел,

что в результате снова даст

снег бел потому, что снег бел.

Еще одно возможное возражение связано с тем, что выражение "потому, что" имплицирует референциально непрозрачный контекст, где кореферентные выражения не могут быть взаимозаменимы *salva veritate*. В таком случае вывод "снег бел потому, что снег бел" из приведенных пар неправомерен. Однако открытым для дискуссии остается вопрос, какой именно вид непрозрачных контекстов задается выражением "потому, что": интенсиональный контекст, запрещающий подстановку контингентно кореферентных выражений, но разрешающий подстановку необходимо кореферентных выражений, или так называемый гиперинтенсиональный контекст, запрещающий подстановку и тех, и других. Если нам надо показать, что описанный вывод неправомерен, то мы должны принять, что выражение "потому, что" задает гиперинтенсиональный, а не просто интенсиональный контекст. Однако это недоказуемо.

Таким образом, интуиция алетического реализма оказывается неприменима к дефляционной теории. Собственно, само по себе это еще не означает, что утверждения вида "Пропозиция, что снег бел, соответствует фактам" являются ложными с дефляционной точки зрения; выражение "соответствовать фактам" в составе такого утверждения может, с такой точки зрения, трактоваться как имеющее значение "быть истинным", где истина может пониматься дефляционно. Тем не менее такой ход все же *фактически* отвергает критерий адекватности. В итоге мы будем вынуждены признать, что дефляционная теория не располагает достаточными средствами для того, чтобы предоставить удовлетворительную теорию истинности высказываний, которая была бы онтологически нейтральной.

Дефляционная истина, разделяя с корреспондентной тезис эквивалентности, отличается от нее как по своей природе, так и по своим целям. В силу своей природы (отношения к действительности) корреспондентная истина может служить объяснительным понятием в теории языка. И напротив, в дефляционном представлении истина "не имеет никакой скрытой структуры, ожидающей нашего открытия"[30]: нас должна интересовать не столько истина, сколько термины истины, важные для языка. В многих случаях это позволяет сокращение: вместо повторения утверждения "Председатель Мао умер" я могу сказать "Это истинно" или вместо повторения содержания целой статьи я могу сказать: "Все требования статьи являются истинными". Иногда термин истины не только удобен, но и существенен: вряд ли много людей осилили полное собрание сочинений Мао, однако гораздо большее количество людей утверждают: "Все, что сказал председатель Мао, было истинно". Без термина истины последние два утверждения требовали бы длительных конъюнкций. Термин истины — исключительно полезное лингвистическое средство для разговора о внеязыковой действительности путем отсылки к другим предложениям или другим элементам

[30] Horwich P. Truth. P. 2.

языка, признаваемым нами носителями истины. Такая интерпретация фактически вновь приводит нас к модели когеренции.

Просентенциальная теория отличается от тех версий дефляционизма, которые используют схему эквивалентности. Важное различие здесь касается логической структуры предложений типа "S истинно". Для классического дефляциониста структура таких предложений очень пряма: "S истинно" предицирует свойство "быть истинным" вещи, обозначенной "S". Иными словами, "S истинно" говорит об S, что это истинно — так же, как "яблоко красное" говорит о яблоке, что оно является красным. Согласно просентенциальной теории, хотя "S истинно" имеет субъектно-предикативную структуру, все же нельзя интерпретировать это как характеристику S. Пусть "S истинно" является про-предложением, которое заменяет предложение, обозначенное S, так же, как местоимение "она" заменяет имя "Мэри". Но мы не говорим, что "она" *характеризует* "Мэри"; точно так же, согласно просентенциальной теории, мы не должны говорить, что "S истинно" характеризует S. Предположить иначе означало бы неверно истолковать природу анафоры. Термин истины — *не предикат*, и не описывает предложение или говорит о нем что-нибудь большее, чем анафорическая референция, использующая личное местоимение, описывает или говорит что-нибудь об антецеденте — сингулярном термине.

Поскольку дефляционная истинность — не свойство предложения, она не может использоваться, чтобы объяснить что-либо, относящееся к предложению. Ее цель — просто облегчить выражение. Она может выполнять эту роль в теории языка, как в любой другой теории; но она не может играть объяснительную роль в такой теории. "Поэтому за представление, что истина дефляционна, надо платить большую цену: отказ от условие-истинностной семантики"[31].

10.4 Прагматическая теория истины

В классическом прагматизме Ч.С.Пирса и его последователей носителем истины признается *идея* — термин, свободно используемый этими философами для обозначения мнений, полаганий, утверждений и тому подобных сущностей (когда Пирс ставит вопрос о носителях истины явно, он признает ими пропозиции[32]; в остальных случаях это полагания и т.п) — прежде всего ментальных, хотя не только. Таким образом, в прагматической теории истины изначально присутствует допущение об интенсиональной эквивалентности.

Идея здесь — инструмент со специфической функцией; истинная идея — та, которая выполняет свою функцию, которая работает; ложная идея — та, которая этого не делает. Универсальность истины состоит именно в ее универсальной достижимости:

> Дайте любому человеку достаточно информации и возможность достаточно размышлять над любым вопросом, и результатом будет то, что он достигнет некоторого определенного заключения — того же самого, которого достигнет любое другое сознание[33].

[31] Devitt M. Realism and Truth. P. 32.
[32] См.: Peirce C.S., 5.53, 5.565. Цитаты по изданию: Collected Papers of Charles Sanders Peirce. Vols. 1-8. Cambridge MA, 1931-1958.
[33] Peirce C.S., 7.319.

Трудность и в понимании, и в критике прагматической теории истины состоит в том, чтобы выявить это разностороннее понятие функционирования или работы идеи. По мнению прагматистов, они не разделяют обычное представление, что функция идеи — "обнаруживать действительность" и что истинная идея, поэтому — та, которая преуспевает в выполнении этой задачи. Истина, с прагматической точки зрения, в самом деле может быть соглашением идеи с действительностью; в такой трактовке идея — ментальный образ, буквально копирующий некоторые признаки мира. Однако недостатком этого определения для прагматистов была его очевидная неспособность полностью охватить все разнообразные виды вещей, которые мы говорим и думаем и которые прагматисты называли идеями. Прагматистское определение идей функционально, а не сущностно. Так, функция гипотезы в науке состоит не в сообщении нам, чем является действительность, а в создании предсказаний и предложений для исследования, которые являются приемлемыми, пока они работают. В повседневной жизни идея обычно принимает форму плана действия, например, для решения проблемы, а ее истинность состоит в ее успехе в выполнении потребности. Функция идей в системах чистой математики — избежать противоречий, а не копировать мир. Религиозные и метафизические утверждения и системы должны быть оценены не в соответствии с какими бы то ни было критериями копирования действительности или отсутствия формального противоречия, но в соответствии с их способностью дать удовлетворение их сторонникам. Поэтому "истинный" является оценочным словом, которое нужно использовать в том случае и постольку, поскольку утверждение удовлетворяет цели исследования, которому оно обязано своим существованием (или выдвигает эту цель).

> Если идеи, значения, концепции, понятия, теории, системы инструментальны по отношению к активной реорганизации данной окружающей среды, к удалению некоторой специфической неясности и неоднозначности, то испытание их валидности и значения состоит в выполнении ими своей работы. Если они преуспевают в своей службе, то они надежны, нормальны, валидны, хороши, истинны[34].

Проблемы здесь таковы:

(1) необходимость различать между принятием чего-либо и принятием чего-либо за истинное;

(2) необходимость различать между принятием чего-либо за истинное и истинным бытием чего-либо.

С ними связаны следующие соображения.

(1) Очень многие вещи (советы, решения, оценки, предложения, планы, приговоры, оправдания и т.д.) могут быть приняты или отклонены по различным причинам именно потому, что они обслуживают различные функции. Так же, как сами эти "идеи" обычно выражаются выражениями различных категорий, так и их принятие или отклонение выражено различными словами, типа "хороший" или "плохой", "правильный" или "неправильный", "разумный" или "неразумный", "подходящий" или "несоответствующий", и сведение всех этих совершенно гетерогенных оценок к одному предикату "истинный" может скорее привести к замешательству, чем "сделать наши идеи ясными". Представление об истинностном операторе здесь

[34] Dewey D. Reconstruction in Philosophy. N.Y., 1920. Ch. 6.

оказывается размытым: им может оказаться, с такой точки зрения, практически что угодно — но тогда можем ли мы называть такую теорию теорией истины? Контраргумент здесь может состоять в том, что никакое полагание, кроме полагания, которое соответствует факту — "обнаруживает действительность" — в конечном счете не оказывается целесообразным или удовлетворительным. Но даже и в таком случае это еще не позволяет нам трактовать "удовлетворительный" или "работающий" как синонимы "истинного" — они служат лишь выражением условного и косвенного критерия истины.

(2) В центре внимания прагматизма находится не теоретическая проблема природы истины, а практическая проблема получения и проверки истинных идей — что Пирс назвал "заключительным обязательным полаганием", т.е., как в дефляционизме, не значение предиката "истинный", а его функции и возможные причины называть нечто истинным. Предикат "быть истинным" редуцирован к "быть принятым как истинный". Это, в самом деле, дает некоторый вариант онтологической нейтральности; такой подход разрабатывается в современном прагматизме: например, нечто подобное, как представляется, имеет в виду Рорти, когда разрабатывает идею контраста между отказом от мира как его понимает здравый смысл и отказом от Мира как вещи-в-себе, который мы никогда не могли бы понимать правильно[35]. Однако здесь снова критерии последовательности, целесообразности, выполнения и т.п. являются скорее причинами для принятия чего-либо как истинного, чем частью значения понятия "истинный".

Достигаемая в соответствии с прагматической теорией истина не просто интерсубъективна — она все же влечет за собой требования о внешнем мире по следующим причинам.

Если бы истина была только тем, с чем имеют тенденцию соглашаться различные люди, то само по себе это подразумевало бы только то, что либо все достигают одного и того же правильного заключения, либо они все достигают одного и того же неправильного заключения. Прагматистское же требование состоит в том, что общее заключение, достигнутое всеми — это всегда истинное заключение:

> В конечном счете человеческое мнение универсально стремится к ... истине... На каждый вопрос есть истинный ответ, окончательное заключение, к которому постоянно стремится мнение каждого человека[36].

Фактически мы имеем здесь дело с хорошо знакомым по марксистской теории познания представлением о постепенном приближении относительной истины к абсолютной (которым в данном случае и прагматизм, и марксизм обязаны, как представляется, неокантианству[37] — хотя в рамках марксизма это представление разрабатывалось в рамках концепции объективной, т.е. корреспондентной истины; как мы увидим дальше, к этому приходит и прагматизм). Мы постепенно, путем уточнения наших представлений, применяя логику и научные методы, приближаемся к абсолютной истине — "окончательному заключению", которое истинно по определению:

---

[35] См.: Rorty R.' The World Well Lost' — Journal of Philosophy, 69, 1972. Pp. 649-666.

[36] Peirce C.S., 8.12.

[37] Возможно, и Пирс, и плехановцы были равно привлечены сциентистской окраской гносеологии Когена, где идея бесконечного приближения к истине подчеркнуто параллельна математической теории бесконечно малых чисел и, таким образом, восходит далее к Ньютону и Лейбницу.

> Истина пропозиции, что Цезарь пересек Рубикон, состоит в том факте, что чем дальше мы продвигаем наши археологические и другие исследования, тем более настоятельно это заключение проникает в наши сознания навсегда — или проникало бы, если бы исследования продолжались вечно...
>
> Истина — это соответствие абстрактного утверждения с идеальным пределом, к которому бесконечное исследование стремилось бы привести научное полагание; таким соответствием абстрактное утверждение может располагать на основании признания его погрешности и односторонности, и это признание — необходимый компонент истины[38].

Пирс не утверждает, что такого согласия во мнениях можно достичь (и неопределенно долго поддерживать) *любым* методом: кроме научного, другие методы могут в лучшем случае обеспечивать только временное согласие. Однако такое истинное согласованное заключение истинно не потому, что оно достигнуто научным методом на основе опыта, а скорее потому, что оно по его поводу возможно всеобщее согласие. Опыт и научный метод — хорошие способы получения истины не потому, что они эффективно показывают, раскрывают или отображают действительность, а скорее потому, что они являются эффективными для достижения согласия.

Преимущество научного метода состоит именно в том, что он способен воздействовать не просто на индивидуальные полагания, но на полагания сообщества в целом; для этого метод должен использовать нечто публичное и внешнее по отношению к индивидуальным сознаниям членов сообщества[39]. Научный метод отвечает этому требованию, потому что он основан на опыте, исходящем от объективной действительности. Схема Пирса такова: действительность воздействует на нас через наши восприятие; действительность объективна, потому что мы не можем управлять нашим восприятием. В любой данной ситуации, в которой я нахожусь, действительность определяет то, что я вижу и чего не вижу. В идеале каждый, кто посмотрит туда же, что и я, придет к тому же самому заключению о том, что там находится[40]. Возможные различия в данных восприятия будут устраняться путем дальнейшего сравнения индивидуальных полаганий, экспериментов, дополнительных данных и т.д, и для истины дальнейшие данные восприятия будут делать расхождение в полаганиях все менее и менее вероятным. Поэтому то обстоятельство, что объективная действительность определяет наше восприятие, которым мы не можем (в этом отношении) управлять, постепенно приводит нас ближе к заключениям, которые точно отражают эту действительность.

Истинная пропозиция — та, с которой в конечном счете согласился бы каждый, кто имеет достаточный опыт, релевантный этой пропозиции. Но единственные пропозиции, с которыми согласился бы каждый — это именно те, которые точно отражают действительность. Следовательно, "быть истинным" эквивалентно "точно отражать объективную действительность". Тогда прагматическая теория истины фактически сводима к корреспондентной, с теми же вытекающими для концепции значения как условий истинности последствиями. Однако прагматизм вместо этого сосредотачивается на другой, скорее когерентистской по духу эквивалентности между "быть истинным" и "быть (в конечном счете) принятым

[38] Peirce C.S., 5.565.
[39] См.: Peirce C.S., 5.384; Peirce C.S. Selected Writings. N.Y., 1966. P. 398.
[40] См.: Peirce C.S., 2.138, 2.141-142, 2.775.

каждым, кто располагает достаточным релевантным опытом". Причина этого определена самой структурой прагматистского понятия действительности — в том, что касается независимости действительности от сознания. Для прагматистов действительность независима от любого сознания и от любого правильного подмножества сознаний, но она не независима от *всех* сознаний. Действительность есть то, что утверждается существующим или имеющим место в пропозициях, с которыми согласился бы каждый, кто обладает достаточным релевантным опытом:

> Действительность независима — не обязательно от мысли вообще, но только от того, что вы или я, или любое конечное число людей могут думать о ней... С другой стороны, хотя объект окончательного мнения зависит от того, чем является это мнение, все же то, чем это мнение является, не зависит от того, что думаете вы или я, или любой человек[41].
>
> Эта теория привлекает феноменализм. Но это — феноменализм Канта, а не Юма... Сущность философии [Канта] в том, чтобы рассматривать реальный предмет как определенный сознанием, ...рассматривать действительность как нормальный результат ментальных действий[42].

Таким образом, в итоге действительность признается не независимой от сознания: она независима от любого индивидуального сознания (и поэтому может считаться "объективной"), но она не независима от сознания человеческого сообщества. Реальность определяется или конституируется сознаниями всех членов сообщества. Контраргумент здесь может состоять в том, что такая онтологическая доктрина не слишком хорошо согласуется с предложенной концепцией действительности, управляющей нашим восприятием. Последняя идея храктерна скорее для реалистической онтологии: независимые от сознания предметы взаимодействуют (через другие виды независимых от сознания объектов подобно световым и звуковым волнам) с нашими органами чувств; эти взаимодействия конституируют наши акты восприятия, и так как мы не можем управлять тем, чем являются предметы — от нас не зависит, каковы они, то мы не можем управлять тем, что мы воспринимаем. Но в прагматической онтологии предметы, которые управляют нашим восприятием — это идеальные предметы специфического вида. Согласно этой модели, идея в сознаниях людей, имеющих достаточный релевантный опыт, так или иначе вынуждает других людей, не имеющих такого опыта, получать некоторые данные восприятия.

Более того, люди, имеющие достаточный релевантный опыт и достигшие "окончательного заключения", должны были бы получить те данные восприятия, которые заставили их прийти к окончательному заключению, в обратном хронологическом направлении — в соответствии с окончательным заключением, к которому они во время получения данных восприятия еще не пришли. Следовало бы признать, что некоторые из данных восприятия, которые у нас есть сейчас, в данный момент, обусловлены для нас идеей, к которой мы придем только в некотором будущем (если это вообще случится)[43]. Аргумент против этой модели может быть усилен и далее: та сущность, которая должна обусловливать наше восприятие в настоящее время — это даже не идея, которая будет фактически существовать в некоторое будущее время. Скорее ей приписывается своего рода

---

[41] Peirce C.S., 5.408; см. также 5.257, 7.336.
[42] Peirce C.S., 8.15.
[43] См.: Kirkham R. Theories of Truth. P. 85.

гипотетическое существование: "окончательное заключение" — такое заключение, которое *было бы* достигнуто любым человеком, *если бы* он имел достаточный релевантный опыт.

Таким образом, каузальное действие окончательного заключения на наше нынешнее действительное восприятие предполагается не только действием в обратном хронологическом направлении, но также и действием, оказываемым из области гипотетического на область действительного. Поэтому прагматическая теория истины неприменима в концепции значения как условий истинности в объеме сверх редуцируемого к корреспондентной.

В стандартной форме прагматическая теория выглядит так:

> (*x*) (*x* истинно, если и только если каждый, кто имеет достаточный релевантный опыт, будет вынужден согласиться с *x*)

Единственное условие является здесь и необходимым, и достаточным для истины любой пропозиции: она должна быть такой, что с ней будет согласен каждый, у кого есть достаточные и релевантные данные восприятия. При этом не имеет значение, действительно ли *x* выражает некоторый факт в независимом от сознания мире. Однако прагматическая теория не является онтологически нейтральной, поскольку в ней то, по поводу чего достигнуто всеобщее согласие, определяет то, каковы факты. Т.е., ее требование в концепции значения как условий истинности было бы таково:

> Снег бел, если и только если каждый, кто имеет достаточный релевантный опыт, будет вынужден согласиться с (пропозицией) "Снег бел".

Следовательно, поскольку в прагматической теории истина приравнивается к тому, по поводу чего достигнуто всеобщее согласие, это требование редуцируется к

> "Снег бел" истинно, если и только если снег бел.

Однако "Снег бел" с правой стороны 'если и только если' здесь не рассматривается как выражение независимого от сознания факта. Скорее, снег бел только потому, что с этим согласились бы все. Таким образом, эквивалентность, утверждаемая здесь 'если и только если' может быть только интенсиональной.

Соответственно, теория значения классического прагматизма не связывает напрямую значение с истиной (хотя она во многом изоморфна прагматической теории истины). Современные философы, заявлявшие о своей приверженности прагматизму — например, Куайн, Решер — могут использовать достаточно отличающиеся формы теории истины. В своих теориях значения они также не склонны связывать значение с истиной: это либо инструментальная семантика (Куайн, Гудмен), следующая скорее Джеймсу, чем Пирсу, либо интенсиональная (К.И.Льюис).

10.5 Ревизионная теория истины

Ревизионная теория истины[44] призвана анализировать парадоксы типа парадокса лжеца (или парадокса Эпименида), которые показывают, что полагания здравого смысла относительно истины могут быть непоследовательны и противоречивы.

Рассмотрим следующее "предложение лжеца":

(L) Предложение (L) не истинно.

Предложение (L) утверждает о себе, что оно не истинно; его противоречивость следует из очевидно тривиальных принципов. Применение базовой ("аристотелевой") интуиции относительно истины — предложение является истинным, если и только если то, что оно утверждает, имеет место — к предложению (L) дает:

(1) Предложение (L) истинно, если и только если предложение (L) не истинно.

При этом предложение (L) утверждает именно то, что оно не истинно; поэтому в силу корреспондентной интуиции оно истинно, если и только если оно не истинно.

Другое явное противоречие следует из принципа бивалентности:

(2) Предложение (L) либо истинно, либо нет.

Противоречие, заложенное в (1), может быть развито рассмотрением двух случаев, которые допускает (2): что (L) истинно или что (L) не истинно.

Случай 1. Предложение (L) истинно. Тогда в силу (1) предложение (L) не истинно. Таким образом, оно и истинно, и не истинно одновременно, что невозможно.

Случай 2. Предложение (L) не истинно. Тогда в силу (1) предложение (L) истинно. Снова оно и истинно, и не истинно одновременно, что невозможно.

Поэтому любой из этих двух случаев делает невозможным (1). Это подразумевает, что по крайней мере одна из этих основных интуиций, выраженных в (1) и (2), неправильна.

Ревизионная теория истины отталкивается от семантической теории истины Тарского, в которой значение истины для множества предложений ("языка") дается условными предложениями вида:

S истинен если и только если P,

где P — предложение языка, а S — имя предложения

Гупта называет такие предложения "бикондиционалами Тарского"[45]. Хотя эквивалентности Тарского кажутся весьма тривиальными, они, как мы видим, ведут к явным противоречиям, когда применяются к предложениям типа предложения лжеца, потому что предложение (1) — тоже пример именно такой эквивалентности.

---

[44] См.: Gupta A. "Truth and Paradox" — Journal of Philosophical Logic, 1982, 11, pp. 1 – 60; Gupta A. and Belnap N. The Revision Theory of Truth. Cambridge MA: The MIT Press, 1993; Herzberger H. "Notes on Naive Semantics" — Journal of Philosophical Logic, 1982, 11, pp. 61 – 102; Herzberger H. "Naive Semantics and the Liar Paradox" — Journal of Philosophy, 1982, 79, pp. 479 – 97; Martin R. (ed.) Recent Essays on Truth and the Liar Paradox. Oxford: Oxford University Press, 1984.

[45] В русской логической терминоглогии принято вместо "бикондиционал" употреблять термин "эквивалентность".

Согласно ревизионной теории, эквивалентности Тарского дают значение истины, но нам необходимы далее специальные семантические инструменты, чтобы показать, как они *производят* понятие истины. В частности, эта теория принимает, что истина — циркулярное понятие, и обеспечивает специальные средства для понимания циркулярных (приводящих к кругу в объяснении) понятий типа истины. Таким образом, полученное выше противоречие должно быть рассмотрено как неправильное употребление информации, выраженной в предложении (1), эквивалентности для предложения лжеца.

В ревизионной теории эквивалентность типа (1) понимается как имеющий гипотетический характер. эквивалентности Тарского полностью определяют понятие истины, но только в силу специальной роли, отведенной им в соответствии с ревизионной теорией — а именно, они дают метод для получения все лучших и лучших приближений экстенсионала предиката истины. Таким образом, они не просто дают экстенсионал предиката истины, но обеспечивают усовершенствование любого временного экстенсионала, который мог бы быть предложен.

Пусть M — обычная модель первого порядка, которая назначает предикату истины произвольный экстенсионал. Эквивалентности Тарского обеспечивают метод получения улучшенной модели M* для любого предложения P, имеющего имя S следующим образом. S назначается экстенсионалу предиката истины в M*, если P истинно в M и при этом не назначено другому истинному экстенсионалу. Тогда для любой данной модели M с любым начальным экстенсионалом предиката истины, эквивалентности дают ряд моделей M*, M**, M*** и т.д., которые построены использованием эквивалентностей, оценивающих предложения в предыдущем члене ряда. При этом ряд может быть продлен до бесконечности путем обобщения значений предыдущих элементов последовательности. Один из методов такого обобщения состоит в том, чтобы принять экстенсионал истины в верхнем схождении последовательности за состоящий из (имен) всех предложений, стабилизировавшихся на том этапе, когда последовательность приблизилась к пределу — иными словами, если на некоторой стадии последовательности предложение объявлено истинным в каждой подпоследовательности ниже стадии предела, то оно входит в экстенсионал истины в пределе.

"Последовательность пересмотра" является любой последовательностью моделей, начинающейся с произвольной модели M, которая произведена эквивалентностями Тарского согласно ревизионной теории истины.

Некоторые предложения стабилизируются в конечном счете в каждой последовательности пересмотра. Например, пусть S — имя предложения

T (T (F (b))),

где "T" — предикат истины, "F" — произвольный одноместный предикат, и "b" — произвольное имя. Модель M(T) представляет экстенсионал, назначенный предикату T моделью M. Тогда

S находится в M**(T), если и только если T (F (b)) принадлежит модели M*(T).

Но

T (F (b)) находится в M*(T), если и только если F (b) принадлежит M(T).

Таким образом,

> S находится в M**(T), если и только если F (b) принадлежит M(T), т.е. если и только если b принадлежит M(F).

Аналогичным образом, от второго пересмотра — "ревизии" (revision) — и далее, S назначается экстенсионалу истины, если и только если b принадлежит экстенсионалу предиката F. Начиная с любой модели M, предложение S стабилизируется как или истинное, или ложное в каждой последовательности пересмотра в зависимости от того, оценивается ли F (b) как истинное или ложное в начальной модели M.

Интуитивно "нормальные", не содержащие противоречий предложения стабилизируются в каждой последовательности; постольку, поскольку теория имеет дело с последовательностями классических моделей, каждая логическая истина стабилизируется как истина в каждой последовательности, а каждая логическая ложь — как ложь в каждой последовательности. В то же время предложения типа предложения лжеца показывают непостоянное поведение в процедуре пересмотра: они изменяют свое значение с истинного на ложное в пересмотрах в каждой последовательности. Возможны и другие классификации предложений относительно их поведения в различных последовательностях пересмотра: некоторые стабилизируются как ложные во всех последовательностях; некоторые стабилизируются как истинные в некоторых, но не во всех последовательностях; некоторые стабилизируются как истинные в некоторых последовательностях и как ложные в остальных. Таким образом, аппарат ревизионной теории дает средства для классификации различных типов предложений по различным семантическим категориям.

Так же, как прагматическая теория истины, ревизионная теория использует идею постепенного приближения к истине, хотя гораздо более полно и явно использует свои математические источники и аналоги — понятие предела, исчисление бесконечных величин и т.д. Однако, в отличие от прагматической, ревизионная теория не включает в себя представления об абсолютной, окончательной, не подлежащей дальнейшему пересмотру истине — что позволяет ей избежать интенсионализма и соблюсти онтологическую нейтральность. Очевидно, что Анил Гупта учел критику теории Тарского Хартри Филдом: ревизионной теории трудно вменить какие-либо онтологические обязательства; при этом она экстенсиональна. Но, как и теория Тарского, ревизионная теория представляет собой не столько самостоятельную теорию истины, сколько надстройку над той или иной теорией. В случае Тарского это корреспондентная интуиция, которую он называет классической аристотелевой концепцией истины. Гупта и Белнап не формулируют таких преференций и, хотя они позиционируют предложенный ими аппарат решения семантических парадоксов как самостоятельную теорию истины, очевидно, что ревизионная теория может быть рассмотрена именно как аппарат для применения той или иной концепции истины, заключающей о ее природе. Ничто не мешает ревизионной теории опереться, например, на дефляционный тезис. Однако сама по себе идея сравнения одних языковых выражений с другими представляет собой, строго говоря, не что иное, как когерентную концепцию истины.

10.6 Релятивистский подход к теории истины

Использование в концепции значения как условий истинности представлений об относительной истинности привлекательно прежде всего тем, что может позволить выразить базовую для семантики естественного языка предпосылку о конвенциональности значений. Однако релятивистские представления об истине встречают фундаментальное возражение, состоящее в том, что такой подход снижает когнитивную ценность наших утверждений, уменьшает познаваемость мира. В самом ли деле релятивизм размывает наши базовые интуиции об истине? Наиболее разработанный ответ дает модель истинностного релятивизма Джека Мейланда, остающаяся в пределах корреспондентной истинности[46]. Согласно Мейланду, понятие абсолютной истины (в противовес относительной) представляется понятием двухместного отношения между языковыми выражениями, с одной стороны, и фактами или состояниями дел, с другой. Понятие относительной истины может быть представлено как трехместное отношение между суждениями, миром и третьим термином, которым может быть любой человек, картина мира, историческая или культурная ситуация и т.д.

Отношение, обозначенное выражением "абсолютная истина", может без привлечения дополнительных понятий быть рассмотрено как корреспондентное. Если релятивист будет использовать этот тип представления отношения, то он скажет, что "*P* истинно относительно *W*" ("*P* соответствует фактам с точки зрения *W*"), где место *W* могут занимать люди, языки, наборы принципов, картины мира или ситуации, концептуальные схемы, формы жизни, режимы речи или мысли, парадигмы, пресуппозиции, точки зрения и т.д.[47]

Размышляя о том, почему Гуссерль мог рассматривать *любое* понятие истины как *необходимо* включающее понятие абсолютной истины, Дж. Мейланд приходит к выводу, что Гуссерль

> считал абсолютную истину соответствием действительности и полагал, что любая форма или разновидность истины должна включать соответствие с действительностью... Гуссерль и другие абсолютисты совершают большую ошибку, принимая, что относительная истина должна либо вообще не существовать, либо быть разновидностью абсолютной истины[48].

Однако вовсе не очевидно, что понятие относительной истины необходимо должно включать в себя понятие абсолютной истины. Если мы рассматриваем форму относительно истинного выражения как

P истинно относительно *W*,

то это поднимает вопрос о том, что значит "истина" в этом выражении? С точки зрения критики релятивизма (т.е. с позиций базовых фундаменталистских интуиций), простейшим ответом на него будет "абсолютная истина"; таким образом, понятие абсолютной истины входит в наше понятие относительной истины в качестве его составной части, со всеми вытекающими последствиями. Один из вариантов объяснения противопоставления абсолютной и относительной истины исходит из идеи последовательного, поэтапного приближения второй к первой, как мы это видели в прагматической и отчасти в ревизионной теории

---

[46] См.: Meiland J. Concepts of Relative Truth. — The Monist, 60 (1977).

[47] См.: Swoyer C. "True for". — In: Meiland J., Krausz M. (eds.) Relativism: Cognitive and Moral. Notre Dame, 1982. P. 84.

[48] Meiland J. Concepts of Relative Truth. P. 572-573.

(отчасти — потому, что ревизионная теория вообще не включает представления об окончательной, не подлежащей дальнейшему пересмотру истине). Мейланд предлагает другое, более радикальное решение — способ записи выражения "*P* истинно относительно *W*" с единым предикатом:

P истинно-относительно-*W*,

где компонент "истина" не имеет независимой семантической роли и должен рассматриваться как механическая составляющая термина "истинно-относительно-*W*", подобно тому, как "cat" в качестве фрагмента слова "cattle" не означает "животное семейства кошачьих"[49].

Контраргумент здесь будет состоять в следующем. "Истина" в "истинно-относительно-*W*" значима уже потому, что речь идет о концепции относительной *истины*, а не чего-то еще. В каком смысле вообще можно говорить, что обе концепции — абсолютной и относительной истины — являются *концепциями истины*? Для ответа на этот вопрос, возможно, требуется более общее понятие истины, имеющее по крайней мере эти два раздела. Тогда либо понятие "истина" в "истинно-относительно-*W*" должно предполагать эту более широкую концепцию, либо понятие "истинно-относительно-*W*" должно означать часть более общего понятия истины, где абсолютная истина будет другим, коррелятивным видом. В последнем случае понятие "истинно-относительно-*W*" будет значимо только как целое и будет обозначать понятие относительной истины в рамках более широкого понятия истины[50].

Можно выразить понятие относительной истины в контексте корреспондентной концепции истины, различая соответствия с двумя и с тремя терминами. Другими словами, мы можем включить и абсолютную истину, и относительную истину в более общее понятие соответствия с действительностью, хотя эти два типа соответствия могут значительно отличаться друг от друга.

Понятие соответствия с действительностью, используемое традиционной корреспондентной теорией истины, исходит из достаточно ясных интуитивно, хотя и уязвимых для критики допущений. Имеется "внешний" мир, только один мир (или один из "возможных миров" или положений дел), и имеется объективный способ, которым мир существует. Люди обладают теми или иными концепциями мира и способа его существования и выражают суждения о том, каким является мир. Эти выражения могут соответствовать тому, каким мир фактически является, или же они могут не соответствовать этому. Располагает ли релятивизм таким понятием соответствия с тремя терминами, которое было бы так же легко интуитивно схватываемо с очевидной ясностью здравого смысла? Каким образом релятивизатор *W* мог бы удовлетворить эти требования?

Очевидно, что любое *P* будет использовать категории и понятия *W*, но вряд ли это поможет уточнить взгляды релятивиста. Даже с точки зрения абсолютиста любое *P* использует некоторое *W* — некоторую систему представлений, вообще всю когнитивную практику познающего субъекта, но затем, после того, как смысл *P* установлен, истинность/ложность *P* является лишь вопросом двухместного отношения *P* и действительности. Действительность либо является такой, что *P* соответствует ей, либо нет. Если нет, то проблема может состоять в том, что *W*, использованное *P*, таково, что мир не содержит вещи, постулируемые *W* (и принимаемые *P*), и, таким образом, *P*, предполагающее *W*, не будет

[49] Ibid, p. 574.

[50] См.: Siegel H. Relativism Refuted: A Critique of Contemporary Epistemological Relativism. Dordrecht, 1987. Pp. 13 - 14

соответствовать действительности этого мира. Но допускать подобное означает просто обратить внимание на один из возможных источников несоответствия *P* и действительности мира; здесь еще нет оснований для рассмотрения истинности/ложности как некоторого вида специфического отношения с тремя терминами. Но если истинность утверждения зависит от его способности служить ответом на вопрос о том, какова действительность, то мир выступает в качестве истинностного оператора утверждений. Именно это отношение может быть выражено как "*P* соответствует фактам с точки зрения *И*"[51].

Это маловероятно с абсолютистстской точки зрения, согласно которой мир существует одним определенным способом, обладает определенной структурой, т.е. его части находятся в определенных отношениях и т.д., и эта структура открыта для фиксации в истинных выражениях. Формулировка понятия корреспондентной истины может быть здесь уточнена за счет различения содержания описываемого мира.

Категоризация может фиксировать естественные виды как некоторые идентичности способов существования различных частей мира, и эти категории — естественные виды — таким образом реифицированы, а не просто наложены на содержание мира как некоторая искусственная классификация. Термины естественных видов существенно отличаются от других знаков языка тем, что они требуют "понимания" или "знания" того, что они означают. Так, они отличаются от общих терминов вида "треугольник" или "холостяк" тем, что последним легко дать дескриптивное определение, содержащее необходимые и достаточные условия для того, чтобы выделить эти объекты единственным образом. Но такого типа определения нельзя применять для естественных видов. Можно, скажем, предложить определение "тигр — это четвероногое полосатое животное", но это и подобные ему определения имеют серьезные недостатки. Если тигр потеряет одну ногу и станет трехногим, он от этого не перестанет быть тигром; в то же время удовлетворяющая этому определению кошка — не тигр, и т. д.[52]. Но в таком случае термины естественных видов и термины конвенциональной категоризации указывают на различные — обладающие различным онтологическим статусом — категории содержания мира.

Выражение, указывающее на некоторые естественные виды и на связи между ними, способно быть истинным в отношении прямого соответствия миру. Либо мир таков, что он содержит эти виды, и они состоят в этой связи, либо нет. Это прямое двухместное отношение, которое может быть использовано для прояснения характера референции абсолютно-истинного выражения. "*P* абсолютно истинно" будет означать в таком случае: "мир таков, что в его содержание входят элементы тех видов, на которые указывает *P*, и эти элементы состоят в той связи, на которую указывает *P*". И напротив, выражения, указывающие на некоторые конвенциональные классы и на связи между ними, не могут быть истинны в отношении такого же прямого соответствия миру, как абсолютно-истинные выражения, потому что они оперируют категориями, находящимися в ином отношении к содержанию мира. Эти категории принадлежат некоторой концептуальной схеме, так или иначе не тождественной содержанию мира. В результате возникает трехместное отношение между выражением, миром и конвенциональной концептуальной схемой, ассоциированной с выражением. "*P*

[51] См.: Davson-Galle P. The Possibility of Relative Truth. Avebury Series in Philosophy, Aldershot, 1998.
[52] См.: Linsky L. Natural Kinds and Natural Kinds Terms. Stanford, 1975. Pp. 7-35.

истинно относительно конвенциональной концептуальной схемы *W*' будет означать в таком случае:

> мир таков, что его содержание может быть традиционно (скажем, в силу действующего соглашения) классифицировано посредством *W* тем способом, на который указывает *P*.

Такой подход не означает взаимоисключаемость абсолютной и относительной истин: выражение может являться в одно и то же время и абсолютно, и относительно истинным. Релятивизатор *W* может использовать категории, которые образуют не только конвенциональные классы, но также и естественные виды. Кроме того, некоторое выражение *P* может быть абсолютно-ложно, потому что термины *W* будут не в состоянии указывать на естественные виды, но относительно-истиннно, потому что мир охватывается конвенциональными категориями тем способом, на который указывает *P*. Отсюда следует, что хотя абсолютная истина так же, как и относительная, может располагать ассоциированной концептуальной схемой, определяющим различием является онтологический статус этой схемы. В этом, в частности, состоит причина того, почему относительная истина может быть выражена трехместным отношением, а абсолютная — нет: третий термин такого отношения, концептуальная схема, должен быть отчетливо отделен от двух остальных[53]. Схема *W*, истолкованная как схема внешних (конвенциональных) классификаций, удовлетворяет этому требованию, но если *W* полагается не более чем констатацией признаков референта, то такое *W* не будет обладать достаточной онтологической автономностью от него: отношение *W* — референт не будет коррелировать с отношением *P* — референт, и, следовательно, трехместное отношение между этими тремя терминами не будет ни онтологически однородным, ни сообщающим о мире нечто значимое. Поэтому привлечение концептуальной схемы для выражения абсолютной истины оказывается — с такой точки зрения! — избыточным[54].

Таким образом, если мы пытаемся истолковать относительную истину как корреспондентную, это приводит нас к выводу о том, что третий член отношения — релятивизатор — может быть рассмотрен как концептуальная схема. Это требуется для того, чтобы объяснить конвенциональность значений, т.е. ситуацию действительного употребления языка. Однако Дэвидсон отверг саму дистинкцию между концептуальной схемой и ассоциированным содержанием как "третью догму эмпиризма", изжившую себя в теориях языка[55]. Но, как представляется, неприятие Дэвидсона связано с тем обстоятельством, что он отождествляет концептуальную схему с языком в целом (причем не слишком обосновывая именно такое отождествление), тогда как релятивизатором может выступать и нечто другое — как более общие, так и более конкретные вещи; в когнитивной практике, связанной с употреблением языка, это будет прежде всего индивидуальная система носителей истины — например, индивидуальная система типов полаганий. Отсюда проясняется индивидуальный характер нужного для релятивизации истинных значений понятия "концептуальная схема": это — индивидуальная картина мира, образуемая системой ментальных репрезентаций. Существует столько *W*, сколько есть языковых субъектов (носителей языка *L*), и

---

[53] См.: Siegel H. Relativism Refuted: A Critique of Contemporary Epistemological Relativism. P. 12.

[54] См.: Edwards S. Relativism, Conceptual Schemes and Categorial Frameworks. Avebury Series in Philosophy, Aldershot, 1990.

[55] См.: Davidson D. On the Very Idea of a Conceptual Scheme. — Inquiries into Truth and Interpretation. Ox., 1984. Pp. 183-198.

существует множество референций, истинных для всех *W*. Такое множество некоторым образом характеризует область конвенционального для всех носителей языка *L* — например, можно сказать, что оно представляет ее содержание. Если же мы универсализируем понятие концептуальной схемы — допустим, вслед за Дэвидсоном отождествляем владение концептуальной схемой с владением языком, — то мы затрудняемся объяснить с его помощью понятие конвенции, поскольку впадаем в порочный круг, о котором предостерегал Куайн: для того, чтобы применять конвенцию, которая была бы достаточно общей для обеспечения истинности высказываний, мы уже будем должны использовать истинные высказывания в рассуждении, применяющем конвенцию к индивидуальным приложениям.

Рассмотрим, каким образом одно выражение *P* может быть в одно и то же время истинно относительно одной концептуальной схемы, W_1, и неистинно относительно другой, W_2. К. Суойер назвал такой подход, согласно которому *P* будет иметь только одно ассоциированное *W*, "сильным релятивизмом" в противоположность "слабому релятивизму", где выражение может быть истинно относительно W_1 и при этом вообще не формулируемо в терминах W_2[56].

Ценность "слабого" варианта концепции относительной истины для обоснования языковой конвенции будет зависеть от возможности существования радикально различающихся концептуальных схем. Если в сообществе носителей языка *L*, включающем *n* членов, действует соглашение по поводу употребления *P*, то это означает, что *P* истинно относительно $W_1, W_2, \ldots W_n$. Тогда $W_1, W_2, \ldots W_n$ должны иметь некоторую область пересечения Ξ, содержанием которой будет множество всех высказываний, тривиальным образом истинных для всех носителей языка *L*. Область Ξ может быть описана с помощью функции, областью определения которой будет множество всех возможных правильных высказываний языка *L*, а областью значения — множество всех возможных истинных референций, выражаемых на этом языке. По отношению к конвенции это означает, что связь между высказываниями и их референтами задает пределы функционирования соответствующих соглашений. Конвенция выступает в качестве регулятива, создавая условия интерсубъективной проверяемости индивидуальных концептуальных схем.

Если А и Б говорят на одном языке, то W_a и $W_б$ имеют общее Ξ, но отсюда еще не следует, что конвенция всегда является достаточным источником интерсубъективной проверяемости: для успеха проверяемости W_a и $W_б$ должны не только иметь общее Ξ, но и иметь возможность дальнейшего взаимного согласования концептуальных схем, которое может быть проведено относительно внеязыковых ориентиров. Тогда конвенция задает рамки и/или указывает направление такого согласования, но не заполняет его предметную (содержательную) область[57]. Поэтому если мы строим объяснение конвенции на "слабом" варианте релятивизма, то такое объяснение предполагает не то, что необходимые истины созданы в соответствии с соглашением, а только то, что необходимые истины (например, естественнонаучные) традиционно выражаются в одних терминах скорее, чем в других. Языковая конвенция обеспечивает возможность взаимного согласования индивидуальных концептуальных схем; однако оказывается, что пределы такого согласования связаны с характером отсылки к внеязыковому миру, представляемой языковыми выражениями.

---

[56] См.: Swoyer C. "True for". P. 92.

[57] См.: Лебедев М. В., Черняк А. З. Конвенция: опыт генетического анализа. — Философские исследования, 1996, № 3.

Если выражение *P* истинно как относительно W_1, так и относительно W_2, то это означает, что и W_1, и W_2 располагают достаточными концептуальными ресурсами для того, чтобы быть сопоставимыми друг с другом. Но если бы это был единственный вид взаимоотношений концептуальных схем, связанных с предложениями, указывающими на один и то же феномен, то релятивистская концепция работала бы в конечном итоге совершенно аналогично абсолютистской. Различие между концептуальными схемами сводилось бы к тому тривиальному факту, что некоторый идиолект может содержать простые предикаты, объему которых в некотором другом идиолекте не соответствует ни один простой предикат или не один предикат вообще — и, соответственно, отождествление владения языком и владения концептуальной схемой, в духе Дэвидсона, было бы оправдано. Тем не менее наличие общей для двух идиолектов онтологии, содержащей понятия, которые индивидуализируют одни и те же объекты, само по себе еще не гарантирует пересечение концептуальных схем носителей этих идиолектов. Поскольку содержание мира может быть отражено в различных концептуальных схемах различным образом, поскольку оно открыто для различных способов концептуализации, в том числе и для несоизмеримых[58] — постольку регулятив, управляющий взаимным согласованием концептуальных схем, должен содержать онтологические требования.

В самом деле, если мы скажем, что все истинные выражения истинны относительно концептуальной схемы конвенциональных классификаций, связанных с обсуждаемым выражением, то такой тезис может быть оспорен на непосредственном основании собственного истинностного статуса. Если сам тезис истинен лишь относительно, то он, если истинен, опровергает сам себя, составляя собственный контрпример[59]. Если же, с другой стороны, тезис относительной истины приемлем для сообщения о себе, значим относительно самого себя, тогда, в силу того, что он может являться в лучшем случае лишь относительно истинным, он сам сужает свою значимость, снижает свою релевантность для того, для кого относительная истина релятивизована к другой концептуальной схеме.

Можно попытаться ограничить область применения понятия относительной истины выражениями о содержании мира, т.е. выражениями объектного языка. Такое ограничение соответствовало бы онтологическому тезису о конвенциональной категоризации содержания мира: в центре оказываются выражения о содержании мира, а не метавыражения, заключающие о содержательных выражениях. П. Давсон-Галле формулирует такой ограниченный тезис относительной истинности объектно-языковых выражений следующим образом:

> истинное выражение объектного языка истинно относительно концептуальной схемы конвенциональных категоризаций, связанных с обсуждаемым выражением[60].

Такое определение, будучи метаязыковым выражением, избегает самореференции и тем самым самоопровержения через представление контрпримера. Однако вместе с тем выражения объектного языка, о которых оно заключает, также являются, в свою очередь, частью содержания мира, и поэтому заключающее о них выражение также может быть рассмотрено как выраженное на объектном языке — т.е. здесь мы вновь сталкиваемся с общей для двухпорядковой

[58] См.: Putnam H. Reason, Truth and History. Cambridge Mass., 1981. P. 115.
[59] См.: Meiland J. On the Paradox of Cognitive Relativism. — Metaphilosophy, 11, (1980). Pp. 115-126.
[60] Davson-Galle P. Neo-Meilandian Truth-Relativism of a Weak Sort. Electronic Journal of Analytic Philosophy, 2:1, 1994. [38]

(объектный язык — метаязык) семантики проблемой. С такой точки зрения, проблема онтологического статуса конвенциональных категоризаций не может учитывать различие между выражениями, использующими непосредственно указывающие на содержание мира понятия, и метавыражениями относительно таких выражений. Если это так, то надежда избежать самоопровержения релятивизма, ограничивая область его приложения, не оправдывается.

Тем не менее прояснение этого различия важно для завершения описания того механизма, с помощью которого происходит взаимное согласование концептуальных схем. В ходе такого согласования языковое выражение подвергается интерпретации, которая может иметь один из двух видов: описание в других знаках того же кода (парафраз) либо описание в знаках другого кода (перевод). Систематическое знание языка как языковая компетенция говорящего или слушающего предшествует интерпретации языкового выражения и конвенционально по природе[61]. Для того, чтобы показать пределы взаимного согласования концептуальных схем, следует выяснить, чтó именно может выступать в роли интерпретационного кода в концептуальных схемах — и, соответственно, каковы его онтологические обязательства.

Мы видели, что позиция, отождествляющая владение языком с владением концептуальной схемой, не является продуктивной для объяснения того, как относительная истинность может быть использована в теории значения как условий истинности. Мы приняли, далее, что концептуальная схема — это нечто большее, чем аналитический набор аксиом, с которым сравнивается выражение *P* для установления его истинности, поскольку использование набора неинтерпретированных выражений в качестве релятивизатора сталкивается с непреодолимыми трудностями[62]. Определив это "нечто большее" как систему ментальных репрезентаций, мы должны теперь показать, каким образом эта система может выступать в роли интерпретационного кода.

Отклонение Дэвидсоном характерной для концептуального релятивизма идеи радикально различных и несоизмеримых систем полаганий — часть его более общего аргумента против так называемй "третьей догмы" эмпиризма. Первые две догмы были идентифицированы Куайном. Первая — редукционизм: идея, что любое значащее утверждение может быть переделано на языке чистого сенсорного опыта, или, по крайней мере, в терминах множества подтверждающих случаев; вторая — аналитическо-синтетическое различи: идея, что относительно всех значащих утверждений можно различать между утверждениями, которые являются истинными в силу своего значения и теми, которые являются истинными в силу и своих значений, и некоторого факта или фактов относительно мира. Третья догма, которую, по мнению Дэвидсона, можно еще различить в работах Куайна (и которая, таким образом, может пережить отклонение даже аналитическо-синтетического различия, состоит в идее, что можно различать в пределах знания или опыта между концептуальным компонентом ("концептуальная схема") и эмпирическим ("эмпирическое содержание") — первое часто принимается происходящим от языка, а второе от опыта, природы или некоторой формы "сенсорного ввода". В то время как имеются трудности даже в достижении ясной формулировки этого различия (особенно в том, что касается природы отношений между этими двумя компонентами), такое различие зависит

[61] См.: Davidson D. A Nice Derangement of Epitaphs. — In: Lepore E. (ed.) Truth and Interpretation: Perspectives on the Philosophy of Donald Davidson. Ox., 1986. P. 434.

[62] См.: Edwards S. Relativism, Conceptual Schemes and Categorial Frameworks; Davson-Galle P. The Possibility of Relative Truth.

от способности различить, на некотором основном уровне, между "субъективным" вкладом в знание, который исходит от нас непосредственно и "объективным" вкладом, который исходит от мира. Однако теория знания и интерпретации Дэвидсона демонстрирует, что такое различие не может быть проведено.

Объявляя противопоставление концептуальной схемы эмпирическому содержанию "третьей догмой эмпиризма", Дэвидсон исходит из того, что как аналитико-синтетическая дистинкция, так и концептуальный релятивизм объяснимы в терминах идеи эмпирического содержания. Дуализм синтетического и аналитического является дуализмом предложений, которые истинны вследствие как своего значения, так и эмпирического содержания, и предложений, истинных лишь благодаря своему значению и не имеющих никакого эмпирического содержания. Однако поскольку мы считаем, что все предложения имеют эмпирическое содержание, которое объясняется через референцию к внеязыковому миру, постольку мы не можем отказаться от идеи эмпирического содержания. Таким образом, вместо аналитико-синтетического дуализма мы получаем дуализм концептуальной схемы и эмпирического содержания. На самом же деле, согласно позднему Дэвидсону, наши пропозициональные установки уже связаны — каузально, семантически и эпистемически — с предметами и событиями в мире; знание себя и других уже предполагает знание мира. Сама идея концептуальной схемы таким образом отклонена Дэвидсоном наряду с идеей любой сильной формы концептуального релятивизма; с такой точки зрения, обладать пропозициональными установками и быть способным к речи — уже быть способным к интерпретации других и быть открытым для интерпретации ими.

Трудно не согласиться с Дэвидсоном в том, что описанный им дуализм не может быть представлен в рациональной форме, но отсюда еще не ясно — и не видно, как может быть прояснено — каким образом концептуальная схема может быть описана в терминах соответствия некоторой внешней ей сущности. Возможно, у эмпиризма была всего лишь одна догма, а именно — сама идея "эмпирического содержания". Говорить о конвенциональности "данного" возможно лишь постольку и лишь в том отношении, что собственно "данными" полагаются ощущения и другие явления сознания, которые мы не можем не воспринимать как таковые. Репрезентация предмета включает нас в определенную заданность, позволяющую нам воспринимать предмет именно в качестве такового. Наши визуальные, тактильные и иные сенсорные и рефлективные представления предмета — например, снега — являются знаками снега в языке непосредственного описания действительности — языке нашей концептуальной схемы, с помощью которой мы ориентируемся в мире и вообще способны делать все, что мы делаем. Концептуальная схема как *система* концептов и была бы тем "индивидуальным языком", невозможность которого постулирует концепция "значение как употребление"; но она — не язык: она является текстом на этом индивидуальном языке, языке непосредственного описания действительности. Этому языку не хватает "языковости" в том отношении, что он не обеспечивает коммуникацию — мы не можем непосредственно обмениваться с другими людьми нашими мыслями и т.п. Но мы можем использовать — и используем — для описания нашей концептуальной схемы естественный язык, предстающий, таким образом, метаязыком по отношению к языку непосредственного описания действительности, состоящему из утверждений восприятия.

Поэтому вопрос о конвенциональности "данного" может быть поставлен следующим образом: являются ли метавыражения конвенциональных концептуальных схем абсолютно или же относительно истинными для своих

концептуальных схем? Очевидно, это зависит от того, чем являются референты метавыражений: терминами естественных виодов содержания мира или категориями конвенциональных классификаций. Указывают ли конвенциональные категории, связанные с понятием относительной истины, на естественные виды? Ответ на этот вопрос будет зависеть от того, что мы признаем объектным языком концептуальной схемы.

I. Если мы не различаем язык концептуальной схемы и естественный язык, то очевидный список ассоциируемых понятий будет включать "выражение", "истинное выражение", "концептуальная схема", "конвенциональная классификация" и т.д. — плюс, в концептуально контрастной роли, такие понятия, как "естественный вид". Трудно представить себе, каким образом референты любого из этих понятий могут формировать естественный вид — даже и самого понятия "естественный вид", которое по своему онтологическому статусу ничем не отличается от любого другого понятия. Даже при неприятии онтологического конвенционализма полагание естественных видов объектами указания само по себе еще не будет означать, что эти естественные виды образованы референтами, а не внешним понятием "естественный вид". Утверждение абсолютной истинности истинных выражений будет, с релятивистской точки зрения, ложно относительно связанной с этим утверждением концептуальной схемы, но, с абсолютистской точки зрения, оно не может не быть истинно относительно этой же самой схемы. Таким образом, абсолютно-истинное выражение, отрицающее истинность относительно-истинных выражений, вынужденно использует ту же самую концептуальную схему, что и сами относительно-истинные выражения. Подобная трактовка не преуменьшает истинностный статус абсолютно-истинных выражений, но только отражает конвенциональный характер понятий, принадлежащих к ассоциируемой с языковым выражением концептуальной схеме. Но в то же время, поскольку могут существовать достаточно радикально различающиеся между собой концептуальные схемы, постольку сами формы фактуальности могут позволять действительности быть структурируемой различными способами.

II. Если же мы признаем объектным языком концептуальной схемы язык утверждений восприятия, по отношению к которому естественный язык является метаязыком, то мы не можем признать его термины терминами естественных родов содержания мира, поскольку не может быть предложена теория, рассматривающая термины вида "ментальная репрезентация снега" как термины естественных родов. С другой стороны, мы не можем признать его термины и категориями конвенциональных классификаций, поскольку индивидуальное восприятие с очевидной необходимостью предшествует дальнейшему согласованию полученных в ее ходе данных с другими наборами данных, являющимися результатами других индивидуальных перцепций.

Итак, для того, чтобы применение в концепции значения как условий истинности релятивистского подхода отвечало требованию онтологической нейтральности, необходима возможность взаимного согласования индивидуальных концептуальных схем, которое обеспечивает инвариантность дальнейшей интерпретации языковых выражений. Представления о таком согласовании, в

свою очередь, могут быть рассмотрены как выражение базовой интуиции когерентности.

10.7 Когерентная теория истины

Истина приписывается утверждениям, пропозициям или чему бы то ни было, что мы принимаем за первичные носители истинностного значения, либо

- путем определения отношений этих утверждений к вещам, которые обычно сами не являются утверждениями, либо
- рассматривая их отношения к другим утверждениям.

Любое представление последнего рода может быть расценено как когерентная теория истины, хотя варианты теории могут существенно различаться в зависимости от используемой концепции когерентности — т.е. собственно межпропозициональных отношений.

Когерентная теория истины характеризна для великих рационалистических систем метафизики – Лейбница, Спинозы, Фихте, Гегеля, Брэдли; согласно Ральфу Уокеру[63], когерентные представления свойственны Декарту, Канту, Витгенштейну и даже Куайну[64]; большой вклад в развитие когерентной теории знания внесли Иоахим, Бланшар, Патнэм, Гилберт Харман, Дэвидсон, Николас Решер, Кит Лерер, Лоуренс Бонжур. Согласно этой теории, мера истинности высказывания определяется его ролью и местом в некоторой концептуальной системе; сказать, что то, что сказано (носитель истины, например утверждение или пропозиция) истинно или ложно значит сказать, что оно когерентно или не когерентно системе других утверждений или пропозиций, т.е. является или не является частью этой системы. Чем более связны, или согласованы между собой наши утверждения, тем в большей степени они истинны: истинность любого истинного утверждения состоит в его когерентности с некоторым определенным множеством утверждений. Элементы такой системы должны быть связаны друг с другом отношениями логической импликации или следования: в этой связи и состоит смысл отношения когерентности. Быть когерентным системе для утверждения значит быть связанным с остальными членами системы теми же логическими отношениями, какими те связаны между собой. Проверить истинность, таким образом, значит проверить, какими отношениями данное суждение связано с остальными в системе, совместимо ли оно с системой – например, с общепринятой научной картиной мира.

В сущности, когерентная теория исходит из рациональной интуиции, которую прекрасно выразил, например, Р. Коллингвуд: "Критерием истины, оправдывающим его (историка) утверждения, никогда не служит тот факт, что их содержание было дано ему источником". Помимо принятия запечатленных древним хронистом фактов, историк должен еще учитывать некоторый (конструируемый им) критерий достоверности, с помощью которого он решает, являются ли эти факты истинными. Коллингвуд приводит пример:

Светоний говорит мне, что Нерон одно время намеревался убрать римские

[63] См.: Walker R.S. The Coherence Theory of Truth. L. — N.Y.: Routledge, 1989.

[64] Эпистемологическая позиция Куайна вообще довольно часто описывается как когерентистская, хотя другие ее признаки, особенно требование, что эпистемология должна быть натурализована (редуцирована до психологии) позволяют отнести ее скорее к некоторой версии фундаментализма.

> легионы из Британии. Я отвергаю это свидетельство Светония не потому, что какой-нибудь более совершенный источник противоречит ему, ибо, конечно, у меня нет таких источников. Я отвергаю его, ибо, реконструируя политику Нерона по сочинениям Тацита, *я не могу считать*, что Светоний прав... я могу включить то, о чем поведал Тацит, в собственную связную и цельную картину событий и не могу этого сделать с рассказами Светония.
> ...любой источник может быть испорчен: этот автор предубежден, тот получил ложную информацию, эта надпись неверно прочтена плохим специалистом по эпиграфике, этот черепок смещен из своего временного слоя неопытным археологом, а тот — невинным кроликом. Критически мыслящий Историк должен выявить и исправить все подобные искажения. И делает он это, только решая для себя, является ли картина прошлого, создаваемая на основе данного свидетельства, связной и непрерывной картиной, имеющей исторический смысл[65].

По мнению Р.Уокера, основных предпосылок, приводящих к когерентизму, три.

- Когерентная теория дает способ избежать картезианского скептицизма. Если истина зависит не от отношений между нашей мыслью и потенциально непостижимой действительностью, но конституируется в пределах нашего мышления, то не остается никаких оснований для скептицизма в духе Декартова *malin génie* — никаких опасений, что мир не будет совпадать с нашим представлением о нем.
- Некоторые формы верификационизма с необходимостью влекут за собой обязательство к когерентизму.
- К когерентной теории ведет антропоцентризм относительно понятий и правил, восходящий к Канту и твердо связанный в современном философском сознании с поздним Витгенштейном.

Как представляется, можно добавить еще минимум одну — возможно, наиболее важную:

- с помощью когерентной теории мы можем оценивать истинность тех утверждений, для которых мы не можем — в данный момент или вообще, принципиально — установить их соответствие фактам. Это относится не только к ситуациям, подобным описанной Коллингвудом: такова значительная часть нашего обыденного знания. Более того, и во многих из тех случаев, когда нам доступна эмпирическая верификация, мы не прибегаем к ней, удовлетворяясь согласованностью с другими поддерживаемыми нами полаганиями.

В выполнении этих запросов состоит явная методологическая привлекательность когерентной теории. Ее умеренные версии генетически связаны с антропологическим и лингвистическим поворотами в эпистемологии, и в этой парадигме обладают особенно заметной объяснительной силой.

Наиболее общие проблемы, связанные с пониманием истинности как когерентности, вытекают из фундаментального аргумента против когерентизма (в версии, соответственно, британских идеалистов), сформулированного Расселом:

> ...возражение когерентной теории состоит в том, что она предполагает более общее значение истины и лжи в построении своего когерентного целого, и это более общее значение, хотя и обязательно для теории, не

[65] Коллингвуд Р. Автобиография. Идея истории. М., 1989. С.151.

> может быть объяснено средствами самой теории. Пропозиция "Епископ Стаббс повешен за убийство", как нам говорят, не согласуется со всей полнотой истины или с опытом. Но это означает, когда мы исследуем это, что нам *известно* нечто, что не согласуется с этой пропозицией. То, что не согласуется с этой пропозицией, должно быть чем-то *истинным*; вполне возможно построить связное целое, полностью состоящее из ложных пропозиций, где "Епископ Стаббс повешен за убийство" найдет себе место. Одним словом, частичные истины, из которых составлена полная истина, должны быть такими пропозициями, которые обычно называют истинными, а не такими, которые обычно называют ложными; когерентная теория не дает никакого объяснения различию, обычно выражаемому словами "истинный" и "ложный", и нет никаких свидетельств в пользу того, что система ложных пропозиций не могла бы, как в хорошем романе, быть столь же последовательной, как и полностью истинная система[66].

Это возражение Рассела состоит в том, что когерентность как определение истины терпит неудачу, потому что нет никакого доказательства того, что может существовать только одна когерентная система. В самом деле, это сильный аргумент против любой чистой версии когерентной теории истины и многих умеренных версий. (Чистые версии утверждают, что истинность всех истинных утверждений состоит в когерентности, а умеренные версии — что по крайней мере некоторых.)

Согласно аргументу епископа Стаббса, если мы понимаем когерентность так, что фактически любая внутренне непротиворечивая пропозиция или утверждение может входить в некоторые достаточно большие когерентные системы пропозиций, то когерентная теория не может отличать истинные утверждения от ложных. Точнее, она не может объяснять, почему принцип бивалентности, вида

> Если P истинно, то не-P не истинно

должен быть справедлив. Если мы полагаем этот принцип конститутивным для нашей теории истины, то мы должны отвергнуть такой подход.

Наиболее известен здесь релятивистский контраргумент: достаточно дифференцированные и внутренне когерентные системы утверждений вполне могут быть взаимно несовместимы, поэтому истина должна соответственно восприниматься относительно системы; нет абсолютной истины или ложности, поскольку граница между истинным и ложным не может быть проведена безотносительно к остальным утверждениям, и т.д. Однако когерентная теория не обязательно должна принимать релятивистскую форму: скорее некоторое специфическое множество полаганий будет признаваться в ней привилегированным, а истина — определяться как когерентность в пределах именно этого множества. Но будет ли это являться возражением на аргумент епископа Стаббса — это будет очевидно зависеть от того, как далее характеризуется отношение когерентности.

Возникающие здесь проблемы таковы. Если когерентная система должна быть системой всех истинных утверждений, то нам не представляется возможным установить истинность отдельного суждения прежде, чем мы каким-то образом не выясним, какая именно система является системой всех истинных утверждений, а такой возможности у нас нет. Если мы сравниваем суждение с системой наших

[66] Russell B. 'On the Nature of Truth' — Proceedings of the Aristotelian Society VII, 1906-7, pp. 33-34.

обыденных представлений или с какой-либо научной теорией, то его несовместимость с этими представлениями или с этой теорией будет означать ложность данного суждения только на том основании, что нам кажется, что эти представления или эта теория истинны. Но нельзя исключать такой возможности, что могут иметься две в равной степени всеобъемлющие, но разные или даже несовместимые между собой когерентные системы — как тогда решить, какая из них — система истинных пропозиций и какую следует избрать как основу для проверки других суждений?

Согласно реалистическим представлениям, даже значительно редуцированным, такая проблема должна интерпретироваться как проблема онтологического статуса истинностных операторов. Из двух (конкурирующих) систем истинных пропозиций нам следует выбрать, тривиально, ту, которая истиннее. Но в рамках когерентной концепции мы не должны обращаться к подкреплениям "со стороны" — свойствам внешнего мира, вообще любым внеязыковым импликациям. Любое онтологическое требование здесь означало бы апелляцию к метафизическому реализму — т.е., в данном случае, к корреспондентным интуициям. Между тем когерентная теория заключает о своих предметах совершенно иными способами.

Когерентная концепция истинности отличается от корреспондентной в двух сущностных параметрах: они дают не только различные теории отношения истинности, но и различные теории условий истинности. Согласно когерентной концепции, отношение истинности состоит в когерентности, а не соответствии, а условия истинности утверждений — это определенное множество других утверждений, а не особенности реального мира. Рассмотрим эти критерии по очереди.

Очевидно, что недостаточно понимать отношение когерентности как просто непротиворечивость. Согласно такой точке зрения, сказать, что утверждение является когерентным с определенным множеством утверждений, значило бы попросту сказать, что утверждение не противоречит ни одному утверждению из этого множества. Такая концепция когерентности неудовлетворительна по следующей причине. Рассмотрим два утверждения, которые не принадлежат определенному привилегированному множеству утверждений. Оба эти утверждения могут быть непротиворечивы с этим множеством, и в то же время все же противоречить друг другу. Если когерентность была бы просто непротиворечивостью, то сторонник когерентной концепции должен был бы утверждать, что оба утверждения истинны (или же, что если к привилегированному множеству утверждений добавить либо Р, либо не-Р, то в обоих случаях оно останется когерентным) — но при том, что они противоречат друг другу, это невозможно.

Поэтому отношение когерентности может пониматься как наличие некоторых вероятностных связей между *P* и другими утверждениями, полагаемыми *S* истинными. Как заметил Бонжур, логическая непротиворечивость — печально известный слабый вид когерентности, и теоретик когерентности истины наверняка захочет расширить трактовку когерентности, чтобы включить в нее по крайней мере вероятностные связи[67]. *P* будет истинно для *S* только в том случае, если *P* логически непротиворечиво с остальными утверждениями, полагаемыми *S* истинными, и имеются содержательные вероятностные связи между другими утверждениями, полагаемыми *S* истинными, и *P*.

[67] См.: BonJour L. The Structure of Empirical Knowledge. Cambridge, 1985. Pp. 93-100.

Отношение когерентности может быть также интерпретировано как некоторая форма логического следования (entailment[68]), понимаемого здесь как строгое логическое следование или как следование в несколько более широком смысле. Согласно этой версии, предложение когерентно с некоторым множеством утверждений если, и только если оно связано отношениями следования с элементами этого множества. Однако этот подход будет требовать дальнейшего разъяснения понятия "следование", и так далее.

Наконец, возможно и более прямое решение — определение когерентности как отношения *sui generis*, подобно тому, как сторонники корреспондентной теории рассматривают корреспонденцию. В самом деле, не существует действительно принципиальных возражений против того, что общезначимая концепция когерентности может быть нередуцируема и не подлежать более дробным анализам. Поскольку любой концептуальный анализ должен иметь основу, то следует принять наличие концептуальных "атомов", из которых сформированы все другие концепции и которые сами не могут быть проанализированы. Но так как любая система имеет структуру, мы можем сказать то же самое и относительно отношений между ними. Вообще говоря, не вызывает возражений, что фундаментальная интенциональность подразумевает множество отношений *sui generis*, идеи которых абсолютно фундаментальны и не сводимы к любым другим отношениям. Поэтому вполне естественно считать, что человеческое сознание экземплифицирует определенные свойства (находится в определенных состояниях), в том числе свойства корреспондентности и когерентности.

Теперь мы можем вернуться к вопросу о том, из чего состоит наше "определенное привилегированное множество утверждений"; каков, вообще говоря, его эпистемологический статус? Это не может быть множество *всех* утверждений, так как это множество будет содержать противоречащие пары утверждений и, таким образом, ничто не было бы истинно. И это не может быть подмножество только истинных утверждений, потому что мы еще не располагаем анализом истины, и здесь возник бы порочный круг.

В принципе, сторонники когерентной концепции истины единодушны в том, что это определенное множество состоит из утверждений, *полагаемых* истинными. Разногласия могут заключаться в том, кто и когда полагает эти утверждения истинными. Можно обозначить три парадигматические позиции по этому вопросу.

1. Согласно одной из радикальных позиций, можно предположить, что определенное множество утверждений — это самое большое непротиворечивое множество утверждений, которым в настоящее время фактически верят реальные люди (такую позицию защищает, например, Дж.О.Янг)[69].
2. Согласно умеренной позиции (ее некоторую разновидность представляет, например, Патнэм[70]), искомое определенное множество состоит из тех суждений, которые будут рассматриваться как достоверные тогда, когда обычные (ordinary) (т.е. подобные нам) люди с конечными (т.е. так или иначе ограниченными) познавательными способностями достигли

[68] Термин был введен Муром для выражения отношения вида "Если А истинно, то В истинно", отличного от материальной импликации.
[69] См.: Young J.O. Global Anti-realism. Avebury, Aldershot, 1995.
[70] См.: Putnam H. Reason, Truth and History. Cambridge, 1981.

некоторого (рационального) предела реализации своих когнитивных намерений.

3. И, наконец, с другой радикальной позиции сторонники когерентной концепции истинности считают, что искомое определенное множество состоит из утверждений, которые выражали бы полагания некоторого всезнающего существа (версии Брэдли и других представителей британского идеализма[71]).

Можно считать отношение когерентности отношением между утверждениями, предложениями или пропозициями, но релевантные утверждения, с которыми *P* связано отношением когерентности, должны быть определены в терминах пребывания фактическими или гипотетическими объектами полагания. Перечисленные выше различные версии когерентной теории истины можно получить в зависимости от того, каким образом понятие полагания используется для того, чтобы ограничить уместный класс утверждений, с которым определяемое предложение должно быть связано отношением когерентности, чтобы быть истинным. Это означает, что релевантный подкласс утверждений может изменяться от одного индивидуума или сообщества к другому, и именно когерентность с системой полаганий индивидуума или сообщества определяет в этом отношении истину.

Итак, в рамках когерентной концепции истины понятие "определенное множество утверждений, полагаемых истинными" все еще требует дальнейшего уточнения. Применительно к концепции значения как условий истинности мы можем рассматривать его как *множество всех тривиально истинных утверждений, единственным образом определяющее объем понятия истины для всех членов определенного языкового сообщества*. Лингвистическое сообщество понято здесь как множество всех носителей языка *L*. Если мы соглашаемся с такой трактовкой понятия "определенное множество утверждений", то мы принимаем такую версию когерентной теории истины, которая является более онтологически нейтральной, чем ранее рассмотренные теории.

Как показал У.Элстон, метафизический реализм, в отличие от алетического, подразумевает принятие двух принципов:

- принципа бивалентности, согласно которому каждое предложение является или истинным, или ложным,

  и

- принципа трансцендентности, гласящего, что предложение может быть истинно даже в том случае, если нам неизвестно или даже не может быть известно, что оно истинно.

Оба принципа не являются необходимыми для алетического реализма, умеренная версия которого может принимать как многозначную логику (или, скорее, определение на континууме), так и верификационизм, оставаясь при этом версией *реализма*, поскольку, согласно ней, именно факты (особенности мира) будут определять, какие носители истинностного значения являются истинными; при этом факты, истинностные операторы, остаются концептуально независимыми от любой их репрезентации.

[71] См.: Blanshard B. The Nature of Thought. L., 1939.

С точки зрения когерентной теории истины мы должны отклонить как

- принцип бивалентности, поскольку не для каждого утверждения справедливо, что когерентным с определенным множеством утверждений является либо оно, либо, по исключительной дизъюнкции, противоречащее ему предложение,

так и

- принцип трансцендентности, поскольку если предложение когерентно с некоторым множеством полаганий, то его истинность не может не быть нам известна. Если бы его истинность (или ложность) не была нам известна, то мы никак не могли бы определить его когерентность.

Это не будет означать, таким образом, отклонения алетического реализма — он остается возможным, хотя не необходимым, но будет означать нейтральность по отношению к метафизической контроверзе реализма/анти-реализма, поскольку когерентная теория может работать с такими истинностными операторами, которые были бы иррелевантны для этой контроверзы[72].

Однако в таком случае нас могут интересовать не столько отношения наших утверждений к миру, сколько причины, по которым мы поддерживаем именно эти полагания — мы признаем, что наши полагания взаимно поддерживают друг друга, и принимаем их именно по этой причине. Следовательно, такая онтологическая редукция оставляет нас не столько с когерентной теорией истины, сколько с когерентной теорией обоснования (justification) знания. Последняя, вообще говоря, не обязательно подразумевает первую: применение когерентной теории обоснования может сочетаться с применением корреспондентной или, вероятно, любой иной концепции истинности.

В отличие от фундаментализма, когерентная теория обоснования — относительное новшество в истории философии. Она появляется у британских идеалистов, хотя свойственное им смешение эпистемологических и метафизических проблем затрудняет разделение их теории когерентности обоснования и теории когерентности природы истины (это различие ясно проводится только у Бланшара[73]). Далее эта теория получает развитие в логическом позитивизме, в ответ на фундаменталистские представления Шлика. При обращении для обоснования к наблюдению Нейрат отождествляет утверждения наблюдения с их содержанием, а когерентность с простой логической непротиворечивостью, со всеми вытекающими из такого отождествления последствиями: у него еще нет возражения на аргумент епископа Стаббса. Такое возражение начинает появляться у Гемпеля: он определяет полагания наблюдения как те полагания подходящего содержания, которые приняты "учеными нашего круга культуры", но еще не предлагает объяснения для такой идентификации.

Более современные версии когерентизма — например, Бонжура, Хармана, Лерера — полностью переносят центр внимания с истины на обоснование. Их главные аргументы исходят из возражения фундаментализму, состоящему в том, что фундаменталист может объяснить статус предположительно базовых полаганий как подлинно обоснованных (в том смысле, что есть некоторая причина или основание для того, чтобы считать их истинными) только обращаясь к некоторым

[72] См.: Lebedev M. Coherence Theory of Truth and the Realist/Anti-Realist Controversy. — Proceedings of the III European Congress of Analytic Philosophy. Maribor, 1999.
[73] См.: Blanshard B. The Nature of Thought.

обосновательным предпосылкам и тем самым фактически отрицая статус таких полаганий как базовых.

Согласно когерентистской точке зрения, нет никакого способа обратиться для обоснования к чему-либо вне системы полаганий, потому что любой такой предполагаемый источник обоснования должен был бы заранее быть поддержан как полагание субъектом познания прежде, чем он смог бы выполнить обосновательную функцию. Следовательно, непосредственным источником обоснования будет полагание, а не внешний мир. Таким образом, когерентистская позиция — это фактически всегда скорее интерналистская, чем экстерналистская позиция; согласно ней, основание для эпистемического обоснования должно быть когнитивно доступно для субъекта познания. Возможна и экстерналистская версия когерентизма, хотя если мы принимаем экстернализм, то фундаменталистская теория обоснования дает более прямое объяснение; смысл же принятия когерентной теории как раз в том, чтобы соблюсти онтологическую нейтральность. Однако возможно дальнейшее экстерналистское требование к когерентизму. Одно из главных оснований, по которому может быть оспорена как сама когерентная концепция истины, так и ее связь с когерентной теорией обоснования, таково: даже если допустить, что определение когерентности с множеством полаганий является верификационной процедурой для определения истинности, то сама истина при этом могла бы тем не менее состоять не в чем ином, как в соответствии объективным фактам. Но этот контраргумент встречает следующее возражение: если истина заключается в соответствии внешним фактам, то когерентность с множеством полаганий никак не может быть критерием истинности, поскольку не может существовать никакой гарантии того, что сколь угодно непротиворечивое множество полаганий соответствует внешней действительности[74].

Поэтому, удерживая связь когерентной концепции истины с когерентной теорией обоснования знания, мы можем по-новому взглянуть на классический эпистемологический аргумент в пользу когерентной теории истины, основанный на представлении о том, что мы не можем "выйти вовне" нашего множества полаганий и сравнивать суждения с фактами действительности[75]. Этот аргумент может быть рассмотрен как вытекающий из когерентной теории обоснования знания. Исходя из такой теории, аргумент заключает о том, что мы можем знать только единичные факты когерентности или отсутствия когерентности определенного утверждения с определенным множеством утверждений, выражающих определенные полагания. Мы никаким образом не находимся и не можем оказаться в такой эпистемологической позиции, откуда мы могли бы заключать о том, соответствует ли то или иное предложение действительности.

Контраргумент здесь будет заключаться в том, что такой аргумент может быть рассмотрен как содержащий некорректную импликацию. Из того факта, что мы не можем знать, соответствует ли некоторое предложение действительности, мы еще не можем вывести, что оно не соответствует действительности. Даже если некто признает, что мы можем знать лишь то, когерентны ли определенные утверждения с нашими полаганиями, это само по себе еще не дает ему основания считать, что истина не состоит в соответствии объективным фактам. Если сторонники корреспондентной концепции истины принимают эту позицию, то они

[74] См.: Young J.O. Coherence Theory of Truth. — In: Stanford Encyclopedia of Philosophy. URL: http://plato.stanford.edu/entries/truth-coherence/

[75] См.: White A.R. Truth. Anchor Books, Doubleday. Garden City NY, 1970. Pp. 109-122.

тем самым могут признавать, что существуют истины, которые не могут быть нам известны — например, что существует некоторая абсолютная истина, к которой мы можем лишь приближаться путем уточнения известных нам относительных истин. Или же сторонники корреспондентной концепции истины могут утверждать, как это делает Дэвидсон, что когерентность утверждения с множеством полаганий является хорошим признаком того, что предложение действительно соответствует объективным фактам и что эти факты соответствия доступны нашему знанию[76].

Сторонники корреспондентной концепции истины могут даже утверждать, что когерентная теория — вообще не теория истины[77]; следовательно, они исходят из предположения, что они знают, чем является истина, то есть они имеют определение истины. И конечно, они знают, что такое истина: для них это — соответствие фактам. Действительно, когерентная теория истины — не теория соответствия фактам. Но сторонники когерентной концепции никогда не претендовали на это.

Это различие в значениях самого термина "истина" может интерпретироваться как связанное с различием целей, для которых дается теория истины. Могут иметься по крайней мере две таких цели:

- чтобы дать определение понятия "является истинным" как характеристики утверждения;
- чтобы определить тестовые условия для выяснения, действительно ли имеется основание для применения характеристики "является истинным" к данному утверждению.

Согласно Николасу Решеру, резюмировавшему это различие[78], эти два вопроса совершенно неидентичны: мы можем иметь критерий или критерии истинности (условия истинности) утверждения и все еще испытывать недостаток определения, что значит для этого утверждения быть истинным, и наоборот.

Но для того, чтобы делать истинные утверждения, мы будем нуждаться в релевантных критериях для успешности использования языковых выражений. Именно в этом суть концепции значения как условий истинности: она отождествляет значение с условиями истинности утверждения, и эта идентификация основана на концепции "значение как употребление", отождествляющей значение лингвистической единицы с условиями ее использования. Если мы принимаем это представление, мы должны признать, что все спецификации значения, которые не эффективны для определения правил применения знака, попросту избыточны.

Поэтому наша задача здесь заключается не в том, чтобы показать, что мы не можем знать наверное, соответствуют ли языковые выражения элементам и характеристикам некоторого внешнего (по отношению к описанию) мира. Такое скептическое заключение носило бы метафизический характер и было бы бесполезно для построения теории значения. Скорее следует признать, что факт такого соответствия иррелевантен для когерентной концепции обоснования и, соответственно, для основанной на когерентной концепции истины условие-истинностной теории значения. Для этого нам следует найти дополнительные

[76] См.: Davidson D. A Coherence Theory of Truth and Knowledge. — In: LePore E. (ed.) Truth And Interpretation. Perspectives on the Philosophy of Donald Davidson. Ox., 1986. Pp. 307-319.
[77] См.: Fumerton R. Metaepistemology and Skepticism. Lanham, Maryland, 1995. P. 142.
[78] См.: Resher N. The Coherence Theory of Truth. Ox., 1973. Pp. 1-4.

аргументы, уточняющие когерентистские представления. Поскольку мы удерживаем наше представление о языковом сообществе как предельном истинностном операторе, постольку мы можем рассуждать здесь следующим образом.

Как мы видели, корреспондентная и когерентная концепции имеют различные представления о природе условий истинности. Согласно когерентной концепции, условия истинности утверждений состоят в других утверждениях. Согласно корреспондентной концепции, условия истинности утверждений состоят не в утверждениях, но в независимых от сознания свойствах и особенностях действительного мира. Один из способов сделать выбор в пользу той или иной концепции истины (т.е. определить, в каких случаях та или иная концепция истины является более адекватной) состоит в том, чтобы обратить внимание на процесс, которым утверждениям назначаются условия истинности. С когерентистской точки зрения, условия истинности утверждения — это те условия, при которых говорящие (на языке) утверждают это предложение в своей речевой деятельности. Это означает, что говорящие могут употреблять утверждения только при тех условиях, которые сами говорящие и другие члены языкового сообщества могут распознать как обосновывающие эти утверждения. Отсюда становится важна предполагаемая неспособность говорящих "выйти вовне" своих полаганий. Это важно потому, что те условия, при которых утверждение когерентно с полаганиями говорящих, являются единственными условиями истинности в том отношении, что они являются единственными условиями, которые говорящие могут распознавать как обоснование нашего понимания этой референции. Когда говорящие в своей речевой деятельности утверждают то или иное предложение при этих (определенных) условиях, то эти условия становятся условиями истинности утверждения.

Итак, отношение когерентности реализуется посредством семантических связей между лингвистическими единицами, причем эти связи образуют открытое множество. Отсюда представляется возможным достаточно общий семантический подход, менее чувствительный к онтологическим требованиям — в частности, в нем снимается противопоставление семантического монизма (свойственного, например, корреспондентной теории), когда предметная область рассматривается как множество однородных объектов (элементов данного мира), и семантики возможных миров, использующей обращение к онтологически различным видам объектов: "объектам реального мира" и "объектам возможного мира". Когерентная истинность нейтральна к требованиям метафизической контроверзы реализма/анти-реализма и совместима с интуицией алетического реализма.

Итак, мы рассмотрели теории истины в порядке возрастания их пригодности к использованию в концепции значения как условий истинности. При этом мы видели, что одновременно нарастает критерий динамичности — от статичной корреляции (или еще более ригидной корреспонденции) корреспондентной теории до постоянной верификации когерентной. Однако попытка последовательного проведения требования онтологической нейтральности в когерентной теории оставляет нас не столько с когерентной теорией истины, сколько с когерентной теорией обоснования знания, поскольку в таком случае нас могут интересовать не столько отношения наших утверждений к миру, сколько причины, по которым мы поддерживаем именно эти полагания. Поэтому для дальнейшего обсуждения связи между истиной и значением — и, в частности, возможности применения в

концепции значения как условий истинности теории когерентизма — нам понадобится подробный анализ соотношения между истинностью и обоснованностью знания.

Примерно такой путь — от корреспондентности к когерентности — проделал и Дэвидсон в 1960-80-е годы — что соответствует и пути Витгенштейна от "Трактата" к "Исследованиям", и, более широко, тому возрастающему признанию роли социокультурных факторов, которое характерно для эволюции многих философов. В статье "Когерентная теория истины и знания" Дэвидсон защищает аргумент, призванный "показать, что когерентность в итоге дает корреспонденцию (coherence yields correspondence)"[79]. С такой точки зрения, мы признаем, что наши полагания взаимно поддерживают друг друга, и принимаем их именно по этой причине. Но Дэвидсон не может показать, как через доказательство когерентности наших полаганий мы делаем наше знание истинным или ложным и поэтому соответствующим или не соответствующим внешней действительности. Однако мы должны это сделать, если хотим дать теорию значения для естественного языка: мы не можем не признать его не заключающим о мире. Язык существует постольку, поскольку функционирует, а функционирует постольку, поскольку представляет собой систему интенциональных репрезентаций, направленных на мир, и для того, чтобы дать теорию этой системы, мы должны объяснить ее связь с другими основаниями нашей когнитивной практики. Мы можем отказаться трактовать перцептуальные утверждения как экзистенциальные, но это не избавит нас от необходимости дать теорию их обоснования именно как утверждений о мире, а не только о других утверждениях.

10.8 Различение между истинностью и обоснованностью знания

Мы можем знать некоторый факт только в том случае, если мы имеем истинное полагание о нем. Однако, поскольку не все, а только некоторые истинные полагания являются знанием, то один из центральных вопросов эпистемологии — что обращает просто истинное полагание в полноценное знание?

Как известно, виды знания неоднородны. Я могу знать, *как* переустановить операционную систему на своем компьютере; я могу знать какого-то человека; я могу знать, *что* битва при Ватерлоо произошла в 1815 году. В первом случае я обладаю навыком; во втором — я знаком с кем-то; в третьем — я знаю факт. Эти виды знания могут быть разграничены более чем одним способом. С одной стороны, можно считать, что знание человека, места или вещи не должно быть рассмотрено как нечто большее (или меньшее), чем знание некоторых фактов об этом человеке, месте или вещи и обладание навыком отличать этого человека, место или вещь от других. С другой стороны, знание фактов зависит от знакомства со специфическими предметами. Редукция одной формы познания к другой очевидно неоднозначна; наиболее известной (по крайней мере, наиболее важной для нас здесь) в этой связи дистинкцией является восходящее к Расселу различение между знанием по знакомству и знанием по описанию. Именно знание

[79] Davidson D. A Coherence Theory of Truth and Knowledge. — In: Truth and Interpretation, ed. by E. Lepore. Ox., 1986. P. 307.

фактов — так называемое пропозициональное знание, в противоположность знанию по знакомству или владению навыками, представляет основной интерес при обсуждении связи условий истинности со значением. Исходный вопрос здесь может быть сформулирован так: при каких условиях мое полагание должно считаться знанием, или — какие из моих полаганий должны считаться знанием?

Этот вопрос предполагает, что знание — разновидность полагания, однако можно предположить и нечто иное — а именно, что знание и полагание взаимно исключительны: например, на вопрос "Ты так считаешь?" мы можем ответить "Нет, не считаю — я просто это знаю". Но аналогичным образом мы можем на вопрос "Ты рад?" ответить "Нет, я не рад — я счастлив", где утверждение о том, что я счастлив, никак не отрицает того, что я рад, а следовательно, этот ответ мог бы быть перефразирован так: я не просто рад, я счастлив. В данном случае произошло сужение экстенсионального значения: не всякая радость — счастье, но всякое счастье — радость. Аналогичным образом утверждение "Я не просто полагаю это; я знаю это" не поддерживает предположение, что полагание и знание взаимно исключительны; скорее напротив, это свидетельствует о том, что знание (по крайней мере, пропозициональное) — разновидность полагания. Каковы же здесь будут критерии сужения? Ясно, что не всякое полагание — знание, но каким именно должно быть полагание, чтобы оно могло считаться знанием?

Очевидно, прежде всего — истинным, но этого так же очевидно недостаточно — по следующим трем причинам.

- Истинное полагание может быть основано на дефектном рассуждении. Предположим, что я полагаю, что курение — главная причина рака легких, потому что я вывожу это из того факта, что я знаю двух курильщиков, которые умерли от рака легких. Обобщение истинно, но моего свидетельства очевидности здесь недостаточно, чтобы считать это мое полагание знанием (выборка из двух человек могла быть статистически нерелевантна, теоретически велика вероятность совпадений, и т.п.).
- Истинное полагание может быть основано на ложном полагании. Воспользовавшись формой известного примера Рассела, предположим, что я истинно полагаю, что фамилия президента России в 2000 году начинается на букву 'П', но при этом это мое истинное полагание основано на ложном полагании, что президент — Алексей Подберезкин. Мое истинное полагание, что имя президента начинается с буквы 'П', не является знанием, потому что оно основано на ложном полагании.
- И наконец, даже некоторые истинные полагания, следующие из правильного рассуждения, основанного на истинном полагании, все же еще не являются знанием. Предположим, что я полагаю (истинно), что мои соседи сейчас находятся дома. Мое полагание основано на правильном рассуждении от моего истинного полагания, что я вижу свет в их окнах и что, в прошлом, свет был только тогда, когда они были дома. Но предположим, далее, что на этот раз свет был включен в отсутствие хозяев гостем, приходящей домработницей или грабителем, а сами соседи только что вошли в дом и еще просто не успели подойти к выключателю. В этом случае, несмотря на *совпадение* моего истинного в конечном счете полагания с истинным в конечном счете положением дел, я не буду на самом деле *знать*, что мои соседи дома.

Итак, для того, чтобы быть знанием, истинное полагание должно обладать еще некоторым свойством. Мы можем так и определить его: свойство, которое, будучи добавлено к истинному полаганию, обращает его в знание, назовем *обоснованием*[80]; тогда знание — это истинное обоснованное полагание. Уточнение понятия обоснования является предметом обширнейших эпистемологических дискуссий, но в наиболее общей форме мы скажем, что полагание обосновано в том случае, когда мы обладаем им в силу доступных нам релевантных причин. В истории философии насчитывается множество подходов к теории обоснования, но их общая отправная точка такова: обоснованное полагание — то, которым мы располагаем *не* в силу простой когнитивной случайности. Понятие случайности здесь предстает в наиболее общем виде — скорее как не-инференциальность, чем как противопоставление контингентных истин необходимым. Платон обращается к этой интуиции в "Теэтете"; во второй "Аналитике" Аристотеля теория перехода от незнания первооснов науки к их познанию предназначена продемонстрировать, что существуют надежные познавательные механизмы, результаты которых никоим образом не являются случайными; Декарт предлагает методы приобретения полаганий, которые должны с необходимостью вести к истине; Локк подчеркивает, что если люди приходят к своим полаганиям случайно, то они не свободны от критики, даже если эти полагания истинны. Поэтому базисом для понятия обоснованности полагания является представление о его неслучайности. Иными словами, если о пропозиции известно, что она не случайна, а выведена из определенных причин, удовлетворяющих определенным требованиям, то, с когнитивной точки зрения, это означает и то, что она истинна, и то, что она выступает как чье-либо полагание. Следовательно, теория обоснования должна объяснить, что делает полагание *не-случайно* истинным с когнитивной точки зрения.

Это может подразумевать, что обоснование должно быть определено или проанализировано в отношении или в терминах истины. Можно, например, утверждать, что понятие обоснования предполагает понятие истины. Это весьма традиционный способ рассмотрения отношения между истиной и обоснованием, но он не является философски нейтральным. Возможно и обратное требование: истина должна быть определена или проанализирована в терминах обоснования или одного из его (приблизительных) синонимов, например обоснованной или гарантированной утверждаемости (warranted assertibility). Это требование может принимать различные формы: истина должна быть проанализирована как обоснование словоупотреблений, как максимальное обоснование, как обоснование в идеальных обстоятельствах и т.д. Однако, как заметил Ричард Рорти, тезис "истина как обоснование" часто утверждается как окольный путь выражения некоторой другой доктрины.

> Патнэм теперь согласен с Гудменом и Витгенштейном: представлять язык как картину мира — как множество репрезентаций, которые нужны

[80] Я употребляю этот термин, объединяя иногда разводимые в англоязычной литературе понятия justification и warrant. Употребление последнего (например, в известной одноименной книге Алвина Плантинги) призвано отличить некоторое строгое эпистемологическое обоснование — "гарантию" — от бытового, житейского; т.е. это примерно такое же различение, как между языком теории и обыденным языком. Так, в приведенном примере со светом в соседской квартире (вообще в примерах Гетье) у нас было такое бытовое обоснование, но не было эпистемологической гарантии. В дальнейшем, говоря об обосновании, будем иметь в виду, что мы берем его именно в строгом смысле, предъявляя к нему те же требования, что и к хорошей научной теории — прежде всего требование эксплицитности логической формы.

> философии, чтобы изобразить их находящимися в некотором неинтенциональном отношении к тому, что они репрезентируют, — бесполезно для объяснения того, как понимается или осваивается язык. Но... до своего отречения он полагал, что мы все еще могли бы использовать эту картину языка для целей натурализованной эпистемологии; язык-как-картина *не* служил полезным образом успешного понимания того, как язык используется людьми, но был полезен в объяснении успеха исследования, точно так же, как "карта выполняет свое предназначение, если она подходящим образом соответствует конкретной части Земли". Патнэм здесь делает такой же ход, как Селларс и Розенберг. Эти люди *все-таки* идентифицируют "истину" с "гарантированно для нас утверждаемым" (тем самым разрешая истины о несуществующих предметах), но затем они переходят к описанию "изображения" как неинтенционального отношения, которое дает нам архимедову точку опоры, позволяющую сказать, что наша настоящая теория мира, хоть и наверняка является истинной, может не изображать мир так же адекватно, как некоторая последующая теория... Все трое хотят, чтобы с проблемами того, что я называю "чистой" философией языка (т.е. собственно теории языкового значения — *М.Л.*), справлялась витгенштейнова теория значения как употребления, а с эпистемологическими проблемами справлялось отношение изображения в духе "Трактата"[81].

Итак, тезис "истина как обоснование" может служить для выражения тезиса о том, что теория истины не может играть никакой роли в легитимной философской программе; а следовательно, мы действительно не нуждаемся в теории истины, отличной от теории обоснования. Или же это — метафора для популярного в философии языка тезиса о том, что всякая истина является истиной *относительно* концептуальной схемы (см. § 3.6). Иногда же тезис "истина как обоснование" выражает дефляционистское требование, что истина — избыточное понятие, в то время как обоснование — нет. Или же он используется как способ отрицания того, что наши обосновательные процедуры дают нам такую эпистемическую ценность как истина. Наконец, тезис "истина как обоснование" иногда утверждается как способ выражения определенной метафизической позиции. Например, возможно дать один и тот же ответ и на метафизический вопрос, и на вопрос обоснования — скажем, прагматический.

Основной аргумент против требования, что истина может быть проанализирована в терминах обоснования или редуцирована к нему, состоит в следующем. Синтаксическое значение таких терминов, как 'обоснованный', 'проверяемый' и 'подтвержденный', подразумевает, что ничто не обосновано или проверено, или подтверждено *simpliciter*. Эти причастия требуют управляемого дополнения — *чем* утверждение или полагание обосновано или подтверждено — некоторыми (истинными) фактами, или — *как* обосновано или подтверждено? Очевидно, как истинное. Тогда приравнивание предиката 'истинный' к предикату 'обоснованный' или анализ истины даже частично в терминах обоснования приведет к циркулярности или регрессу, обращающему 's истинно' в бесконечную бессмыслицу 's обосновано как обоснованное как обоснованное как...'.

Известная попытка уклониться от этого последствия состоит в требовании, что утверждения обоснованы "как утверждаемые". В одном из смыслов термина

[81] Rorty R. Philosophy and the Mirror of Nature. Princeton, N.J., 1979. P. 280. (рус.пер. — с. 218-219).

'утверждаемый', любое предложение утверждаемо, если оно физически способно быть утвержденным. Но никто не требовал бы, чтобы все такие утверждения были истинны. В другом смысле 'утверждаемый' является протяженным предикатом и имеет такую же семантическую форму, как, например, 'почтенный'; утверждаемое предложение — то, которое может быть *обоснованно* утверждено, так же, как почтенный человек — это тот, кто может быть обоснованно, заслуженно почтен, а нее просто тот, кому можно оказать почести, потому что их можно оказать, вообще говоря, кому угодно. Но в этом смысле 'утверждаемого' знаменитое кембриджское выражение 'обоснованная утверждаемость' является избыточным, поскольку пытается обойти тот факт, что утверждение может быть обоснованно утверждено только тогда, когда оно обосновано как обладающее некоторым значением, а в рамках концепции значения как условий истинности последнее связано с истиной. Таким образом, этим маневром циркулярность откладывается только на шаг. То же самое относится к отождествлению 'истинный' с 'обоснованный в пределах системы' или 'обоснованный в пределах концептуальной схемы', поскольку это вновь повлечет за собой вопрос "Обоснованный *как что* в пределах системы?" А согласно этому представлению, 's истинно' (или 's истинно в пределах системы') будет циркулярно объяснено как означающее 's обосновано *как истинное* в пределах системы', или же приравнено к 's обосновано как обоснованное в пределах системы в пределах системы'.

Кроме того, приравнивание истины к обоснованию также имеет то противоинтуитивное следствие, что в таком случае истинностное значение утверждения будет изменяться, когда у нас появятся более релевантные свидетельства очевидности[82]. Этого последствия можно попытаться избежать, отождествив истину с максимальным обоснованием или обоснованием в идеальных обстоятельствах; но это не избавит нас от прежнего вопроса "Это утверждение максимально (или идеально) обосновано *как что*?" Понятие идеальных обстоятельств не будет иметь никакого смысла, если мы сначала не определились с выбором тех эпистемических ценностей, на достижение которых обоснование должно быть направлено.

Но предположим теперь, что мы отклоняем представление о том, что "обоснованное" непременно означает "обоснованное как истинное". Предположим вместо этого, что когда утверждение или полагание обоснованы, то они обоснованы как имеющие объяснительную силу, прогнозирующую силу, когерентность с другими нашими полаганиями, простоту и/или некоторую прагматическую ценность. Это предположение обращает тезис о том, что истина должна быть проанализирована в терминах обоснования, в метафорический способ отклонения истины как эпистемической ценности. В действительности это предположение о том, что мы не должны рассматривать истину как такую ценность, получить которую мы стремимся в ходе обоснования полагания и подтверждения теории. Те, кто пробуют проводить такую идентификацию, ведут себя так, как если бы имелось некоторое *правило*, предписывающее нам использовать последовательность символов и^с^т^и^н^а для того, чтобы маркировать некоторую окончательную эпистемическую ценность или множество ценностей, вне зависимости от того, чем эта ценность оказывается[83]. Однако в действительности следует признать, что скорее мы уясняем, чем являются эти другие эпистемические ценности, сопоставляя их с истиной и, в определенных

[82] См.: Davidson D. 'The Structure and Content of Truth' — Journal of Philosophy, 87, 1990, pp. 307-308
[83] См.: Rorty R. Consequences of Pragmatism. Minneapolis, 1982. Pp. xxv - xxviii.

отношениях, противопоставляя их ей. Тем самым мы обращаем внимание, например, на то, что ложные пропозиции могут иногда иметь большую объяснительную силу, а истинные иногда не будут иметь никакой. С этим связана наша потребность различать различные роды причин для полагания. Классическим примером здесь является аргумент Паскаля в пользу религиозной веры: если Бог есть, а мы в Него не верим, то последствия ужасны — вечность в аду; но если мы верим в Бога, а Его нет, то последствия гораздо менее значительны. Паскаль показывает прагматическую причину верить в Бога, но она не дает обоснования, чтобы считать пропозицию "Бог есть" истинной[84]. Кроме того, логика истины отличается от логики других эпистемических ценностей — например, утверждение, правильно выведенное из истинного утверждения, должно само быть истинно, но не все выведенное из утверждения, обладающего объяснительной силой, будет само иметь объяснительную силу. Приравнивание истины к объяснительной силе противоречило бы нашим интуициям о том, что правила логического вывода сохраняют истину: если истинно, что *p* и *q*, то истинно, что *p*, но это правило не действует, если "является истинным" означало бы "имеет объяснительную силу".

Итак, единственный способ спасти тезис "истина как обоснование" состоял бы в том, чтобы отклонить требование, что "обоснованный" непременно должно означать "обоснованный как *v*" для некоторой ценности *v*. Такое отклонение может быть проведено тремя способами.

(1) Мы можем считать, что "обоснованный" (или "утверждаемый") является примитивным термином, значение которого понимается интуитивно и не поддается дальнейшему анализу. Отношение обоснования в таком случае — отношение *sui generis*.

(2) Либо мы можем считать, что обоснование может быть проанализировано в терминах получения через некоторые правила или принципы обоснования. Но правильность этих правил не может самостоятельно быть получена в терминах сохранения ими истинности или в терминах получения полаганий с большой объяснительной или прогнозирующей силой, или некоторой другой эпистемической ценностью. Скорее, правильность правил можно распознать только интуитивно, независимо от любой референции к ценностям. (Такова, например, интуиционистская точка зрения в философии математики, приравнивающая истину математических утверждений к их доказуемости, где последняя реализуется в определенных дедуктивных правилах — а их правильность уже видна непосредственно.)

(3) Либо же мы можем считать, что правильность правил обоснования может быть далее проанализирована, но не в терминах их способности произвести заключения, которые обладают той или иной эпистемической ценностью. Скорее, они "правильны" только в том смысле, что они традиционны и традиционно приняты в пределах нашей культуры.

Все эти три способа нельзя признать удовлетворительными. (3) не объясняет, почему наши правила обоснования настолько успешны — почему, например, наши прикладные науки и технологии продолжают развиваться. Ответ может состоять в том, что наши правила пришли к своему нынешнему состоянию и продолжают функционировать именно потому, что они настолько успешны и адекватны.Но это

[84] См.: Kirkham R. Theories of Truth. P.52.

значило бы, что правильность правил обоснования в конечном счете состоит в том факте, что они увеличивают нашу способность получать некоторые эпистемические или прагматические ценности — т.е. мы снова приходим здесь к циркулярности.

(2) вызывает вопрос, почему в таком случае у нас нет непосредственной интуиции, что, скажем, *modus ponens* — правильное правило, а мы должны приходить к этому выводу из другой интуиции — о том, что это правило сохраняет истину? Особой предпочтительности одной интуиции перед другой здесь не просматривается.

Наконец, (1) недоказуемо в том отношении, что если некто А упорно утверждает, что обладает нередуцируемым примитивным понятием обоснования, то у его противника В, убежденного в том, что такого понятия существовать не может, все же не будет способа убедить А в том, что А таким понятием не располагает. И наоборот, А никак не сможет убедить В в том, что такое понятие у него есть — оно не аргументируемо и не демонстрируемо, и поэтому сторонники (1) вынуждены просто постулировать это нередуцируемое свойство или отношение, отождествляющее истину и обоснование — например, как некоторую "онтологическую корректность"[85] — что в отсутствие дальнейшей аргументации выглядит не слишком убедительно.

Итак, эпистемологически целесообразно разводить понятия истины и обоснования, и в построении возможных теорий последнего найдут отражение обсужденные выше аргументы. Эти возможные теории должны дать нормативные представления о правилах, в силу которых пропозиции должны быть приняты или отклонены, или расценены как неопределенные. Разница между возможными подходами может быть охарактерована с помощью классического (пирронова) скептического аргумента, разделяющего возможные структуры причин, которые обеспечивают основание для принятия убеждения. Предположим, что у нас есть некоторое убеждение, и мы предлагаем другое убеждение как причину первого — например, мы полагаем, что кактус перед монитором компьютера снижает его вредное излучение, а причина этого убеждения состоит в том, что мы полагаем, что нам об этом рассказал компетентный специалист в области компьютеров. Очевидный вопрос здесь таков: каково наше основание полагать, что этот специалист компетентен? Ответом может служить следующая причина (например, он работает программистом), а она может быть непосредственно поддержана дальнейшей причиной (он закончил ВМК МГУ), и так далее.

Этот процесс обеспечения причин убеждения может иметь только три возможных структуры:

- Фундаментализм: процесс предоставления причин может быть таким, что не каждая из причин должна быть поддержана какой-либо другой, потому что есть основные, базовые причины, которые не имеют необходимости в дальнейших причинах, поддерживающих их.
- Когерентизм: процесс предоставления причин может не содержать никакой причины, которая не поддержана другой причиной, но число причин не бесконечно. Таким образом, полагания взаимно поддерживают друг друга.

[85] См.: Grattan-Guinness I. 'On Popper's Use of Tarski's Theory of Truth' — Philosophia 14, 1984, pp.129-135.

- Инфинитизм: процесс предоставления причин может не содержать никакой причины, которая не поддержана другой причиной, но число причин бесконечно.

Фундаментализм и когерентизм широко обсуждаются, и многие аргументы за и против каждого из этих представлений получили достаточное распространение. И напротив, возражения *prima facie* инфинитизму представляются настолько неоспоримыми, что этот подход не получил развития. Инфинитизм требует, чтобы у человека было бесконечное число полаганий, что само по себе кажется невероятным, и неизбежно ведет к заключению, что никакое полагание не может быть когда-либо обосновано, так как процесс обоснования никогда не завершится.

Стандартные возражения фундаментализму таковы.

- Должно быть какое-то различие между тем, что делает полагание собственно базовым, "основным" и тем, что делает его просто таким полаганием, для которого никакая другая причина фактически не учитывается. Иначе предлагаемая "основная" причина произвольна. Но если есть некоторая дальнейшая причина считать, что предлагаемая причина не произвольна, тогда есть и причина для принятия этого, и таким образом, предлагаемая причина — не основная. Следовательно, не может быть никаких основополагающих пропозиций.
- Некоторые кандидаты на роль базовых полаганий перестают быть таковыми при более близком рассмотрении. Прежде всего это относится к перцептуальным утверждениям, являющимся, согласно эмпиризму, основным источником нашего познания внешнего мира. Причина для полагания, что передо мной находится дерево, состоит в том, что я вижу это дерево перед собой. Но последняя пропозиция не может быть базовой, потому что здесь может потребоваться дальнейшее обоснование того, почему я считаю, что вижу именно дерево (а не, скажем, оптическую иллюзию, галлюцинацию и т.п.).

Поэтому некоторые фундаменталисты — например, Дж. Мур и А. Айер — сузили класс базовых пропозиций до полаганий ощущений (так называемые пропозиции чувственных данных — sense-data propositions): вместо "Я вижу дерево" — "Как мне кажется, я вижу зеленый и коричневый высокий предмет". Но представление чувственных данных также не беспроблемно. Основных возражений здесь также два.

- В качестве основных убеждений пропозиции чувственных данных слишком бедны, чтобы обеспечить достаточное основание для множества вещей, которые мы можем знать и фактически знаем. Например, каким образом мое знание о том, что предметы существуют и тогда, когда я не вижу их и не воспринимаю эмпирически другими способами, может быть прослежено до специфических чувственных данных?
- Наше знание того способа, которым мы можем характеризовать наши ощущения (частные ощущения, доступные только индивидууму, имеющему их) зависит от нашего социального, интерсубъективного знания, во всяком случае нередуцируемого к пропозициям чувственных данных (см. § 1.1).

Фундаменталистский ответ на эти возражения состоит в смягчении требований как

- к тому, какие пропозиции могут быть признаны базовыми, так и

- к тому, что может *являться приемлемым образцом вывода* от основополагающих пропозиций к не-основополагающим.

Последнее представляет собой так называемый вывод к лучшему объяснению[86] (см. подробнее ниже в § 12.2), согласно которому тот факт, что теория объясняет некоторые явления — это часть очевидности, побуждающей нас принять эту теорию. И это означает, что отношение объяснения видно прежде, чем мы полагаем, что теория истинна.

Смягчение требований к тому, какие пропозиции могут быть признаны базовыми, породило т.н. контекстуалистские теории обоснования[87], которые предполагают, что пропозиция является базовой в том случае, если она принята в качестве таковой релевантным сообществом предполагаемых субъектов познания. Например, в разговоре с другом я могу считать, что моя причина для полагания о существовании второй луны Юпитера состоит в том, что я читал об этом в журнале "Вокруг света" — и напротив, на астрономической конференции такая причина не была бы принята. Следовательно, подобное требование о том, что может считаться базовой причиной, является контекстно-зависимым, и мы снова видим здесь сильную уступку когерентизму, а также молекуляризму.

Фундаменталистский контраргумент здесь будет состоять в следующем. Контекстуализм, возможно, предоставляет точное описание некоторых аспектов наших эпистемических методов, но не снимает фундаментального пирронианского вопроса: что отличает базовую пропозицию от той, которая просто предлагается и принята сообществом предполагаемых субъектов познания? Эпистемологический вопрос, с такой точки зрения, состоит не в том, какие полагания обычно предлагаются и принимаются без дальнейшей причины, а в том, какие полагания *должны* быть предложены и приняты без дальнейшего обоснования, если таковые вообще имеются. Если бы контекстуалисты были правы, то мы получали бы знание, присоединяясь к любому сообществу, чей эпистемологический статус может быть каким угодно. Иными словами, здесь необходимы дальнейшие ограничения.

Альтернативный фундаментализму когерентистский подход состоит в следующем. Согласно когерентной теории обоснования, полагание делает обоснованным его когерентность с другими полаганиями — где, как и в когерентной теории истины, стандарты того, что составляет когерентность, принадлежат непосредственно самой теории. Когерентисты отрицают, что существуют базовые причины и утверждают, что все полагания получают свое обоснование, по крайней мере частично, от других полаганий. В основе такого подхода — предположение о том, что наши полагания взаимно поддерживают друг друга, образуя структуру, подобную сети ("web of belief" Куайна).

Очевидная проблема для когерентной теории состоит в том, чтобы разъяснить собственно само центральное понятие — отношение когерентности. Интуитивно ясно, что когерентность — это вопрос того, как полагания сочетаются друг с другом или соответствуют друг другу в системе полаганий, составляя организованное и структурированное целое; и ясно, что это сочетание или

[86] См.: Harman G. 'The Inference to the Best Explanation' — Philosophical Review 74, 1965, pp. 88 – 95; Harman G. Thought. Princeton, NJ: Princeton University Press, 1973, pp.155-173.
[87] См.: Annis D. ‘A contextualist theory of epistemic justification’ — American Philosophical Quarterly, 1978, 15 (3), pp. 213–19; DeRose K. (1995) ‘Solving the Skeptical Problem’ — Philosophical Review 104 (January), pp. 1–52;

соответствие зависит от множества логических, инференциальных и объяснительных отношений между компонентами системы. Но разъяснение деталей этой идеи, особенно таким способом, который позволил бы непроблематичные оценки степеней сравнения когерентности, оказывается затруднено из-за ее очевидной зависимости от также непроясненных понятий — таких, как индукция, подтверждение, вероятность и объяснение.

Наиболее сильная и требовательная концепция когерентности, защищаемая британскими идеалистами, определяет когерентную систему полаганий как такую, в которой каждый член имплицирует отношение следования (entailment) и сам следует из всех других. Однако эта сильная концепция явно нереализуема в любой действительной системе полаганий, и вряд ли обладает когнитивной ценностью, так как она сделала бы все полагания, кроме одного, избыточными и необязательными. (Правда, идеалисты трактовали отношение следования весьма широко, включая в него, например, отношения номологической необходимости).

Противоположной крайностью является отождествление (например, некоторыми логическими позитивистами) когерентности просто с логической непротиворечивостью, так как полагания логически непротиворечивой системы могут быть полностью несвязанны друг с другом, не давая таким образом никакой очевидной причины предположить, что какое-то из них является истинным. Более того, ошибкой было бы считать полную логическую непротиворечивость даже необходимым условием для любой степени когерентности, как это делали многие когерентисты: в действительности, еще до привлечения аргументов фаллибилизма, это подразумевало бы, что очень немногие, если вообще какие-либо, из существующих систем полагания являются непротиворечивыми вообще до какой-либо степени.

Наиболее надежная концепция когерентности, по-видимому, находится где-то между этими двумя крайностями. Логическая непротиворечивость может быть в таком случае признана высоко релевантным, но не абсолютным критерием. Кроме того, когерентность потребует и наличия инференциальных связей, а также более свободных отношений следования, а также вероятностных связей различного рода. Важный аспект этого — вероятностная непротиворечивость, то есть отсутствие таких отношений между полаганиями в системе, в силу которых те или иные полагания с высокой вероятностью не будут истинны относительно других. Еще один важный компонент когерентности — присутствие объяснительных отношений среди компонентов системы, снижающих степень, до которой полагания системы отображают необъясненные аномалии. (Если в качестве одной из разновидностей вывода принят "вывод к лучшему объяснению", то такие объяснительные отношения могут рассматриваться как разновидность инференциальных.) Например, Харман прямо отождествляет когерентность с присутствием таких объяснительных отношений[88].

Такая умеренная концепция когерентности оказалась исторически наиболее употребительной и фактически стандартной. Однако некоторые сторонники когерентизма изобрели более специальные концепции когерентности. Например, Решер для некоторых целей употребляет стандартную концепцию когерентности, а для некоторых — весьма отличное понятие, которое вовлекает формирование максимально непротиворечивых подмножеств первоначально противоречивых данных, а затем выбор среди этих подмножеств способами, не требующими

[88] См.: Harman G. Thought. Princeton, NJ: Princeton University Press, 1973.

обращения к стандартной когерентности[89]. Кит Лерер предложил две различных версии представления, определяющего когерентность относительно собственной субъективной концепции вероятности, которой располагает субъект познания, или относительно вероятности истины. Это подразумевает, что для полагания быть согласованным с личной системой полаганий — это примерно то же, что быть расцененным как более вероятное или более разумное, чем любое релевантное конкурирующее полагание.

Итак, вопрос о природе когерентности остается в значительной степени подлежащим дальнейшему уточнению, однако уже установленных критериев достаточно для того, чтобы сделать невозможным какой-либо решающий аргумент против когерентной теории в пользу фундаментализма. Это вызвано тем, что понятие когерентности (или чего-либо подобного, играющего по существу ту же самую роль) также является обязательным компонентом фактически и во всех фундаменталистских теориях: когерентность требуется для того, чтобы объяснить отношение между базовыми или фундаментальными полаганиями и другими, не-фундаментальными, или полаганиями "суперструктуры", в силу которого последние обоснованы относительно первых. (По этой причине построение адекватной теории когерентности не должно быть расценено как исключительно или даже прежде всего задача когерентистов, несмотря на центральную роль, которую это понятие играет в их позиции. Исследование этого понятия, например, в современной философии науки может проводиться как в рамках эпистемологически фундаменталистских, так и, вероятно, вообще любых программ.)

Далее, адекватная когерентная теория должна отвечать на вопрос о том, является ли когерентное обоснование доступным для субъекта познания таким способом, который привел бы когерентиста к интерналистской позиции. Этот аргумент получил название "проблемы доступа".

Предположим, что когерентная теория обоснования содержит требование когерентности с полной системой полаганий субъекта познания — как это имеет место во всех обсужденных здесь версиях теории. Тогда у этой проблемы три аспекта:

(1) имеет ли субъект познания адекватный доступ к своей системе полаганий;

(2) адекватно ли субъект познания уяснил понятие когерентности; и

(3) способен ли субъект познания применить понятие когерентности к своей системе полаганий таким способом, который принесет определенную оценку.

Доступ субъекта познания к своей собственной системе полаганий весьма проблематичен в двух отношениях.

- Если такой доступ был достигнут, то возникает проблема эпистемологического статуса его результата — который можно охарактеризовать как рефлексивное мета-полагание, описывающее полное содержание системы.. Такое мета-полагание было бы очевидно контингентным и эмпирическим, и, следовательно, в любой когерентной теории должно было бы обосновываться обращением к когерентности. Но поскольку любое когерентное обоснование, которое должно быть доступным для субъекта познания, должно обратиться к

[89] См.: Rescher N. The Coherence Theory of Truth. Oxford: Oxford University Press, 1973.

такому мета-полаганию, чтобы характеризовать систему полаганий, с которой обосновываемое полагание должно согласоваться, постольку когерентное обоснование самого этого мета-полагания оказывается полностью и безвозвратно циркулярным. Здесь не поможет никакое обращение к нелинейному обоснованию, так как то, что объясняется, и есть как раз то, как возможно нелинейное когерентное обоснование.

Бонжур предлагает решение этой проблемы с помощью того, что он называет "доксастическая презумпция". Идея состоит в том, что когерентное обоснование должно исходить из предварительного предположения о том, что схватывание субъектом познания своей полной системы полаганий по крайней мере приблизительно правильно (тогда как последующие непринципиальные исправления могут вноситься путем обращения к когерентности). Следствием этой презумпции является то, что последующее обоснование контингентно по отношению к предполагаемой правильности схватывания, а следовательно, скептический вопрос о том, действительно ли это предположение правильно, не может быть адресован когерентной теории.

- Второй аспект проблемы доступа таков: обладают ли обычные субъекты познания когда-либо фактически (или могут ли обладать) чем-либо подобным рефлексивному схватыванию полного содержания своих систем полаганий, которого требует когерентная теория? Здесь, вероятно, когерентная теория должна будет согласиться, что обычные случаи обоснования являются только приближением — и возможно, довольно отдаленным — к идеальному обоснованию, которое она изображает.

Но обсуждение этих проблем еще не затрагивает основного фундаменталистского возражения когерентной теории обоснования — обвинения в циркулярности. Если мы полагаем, что b_1, то мы можем также рационально предположить b_2, а если мы полагаем, что b_2, то мы можем также рационально предположить b_1; их взаимная поддержка не дает нам никакой причины для того, чтобы полагать и то, и другое. Поэтому фундаменталистский вопрос здесь таков: что делает одно полное множество связных (когерирующих друг с другом) полаганий T_1 более приемлемым, чем альтернативное полное множество связных полаганий T_2? Со скептической точки зрения, когерентизм либо дает ответ на этот вопрос, либо нет. Если такой ответ дается, то это подразумевает отказ от центрального когерентистского тезиса, так как теперь имеется причина для принятия множества полаганий T_1, которая сама не принадлежит T_1, а это — позиция фундаментализма. Если же такой ответ не дается, то принятие T_1 произвольно.

Этот сильный аргумент основан на принадлежащей здравому смыслу идее о том, что некоторые утверждения, особенно перцептуальные, могут быть непосредственно обоснованы субъектом, знающим их "по знакомству", чувственно их воспринимающим. Однако, если мы считаем, что приобретаем знание о вещах не посредством некоторого сущностного усмотрения, врожденных идей или гносеологической координации, а рациональным путем, приобретая знание об их признаках, то альтернатива, которую мы отнесли было к здравому смыслу, становится менее привлекательной, так как знание о признаках вещей неизбежно вовлекает полагание или утверждение, а именно утверждение, что то, что мы знаем, есть F, или во всяком случае походит на вещи, которые являются F. Кроме того, даже если бы наше приобретение знания о вещах имело иную форму, трудно видеть, как это могло бы *обосновывать* что-либо. Если предмет моего познания —

F, который является G, то это само по себе еще не способно поддержать мое утверждение "F есть G", если я не знаю F как F и также как G. Лишь постольку, поскольку я способен оценить содержание опыта, я могу использовать этот опыт в обосновании более сложных требований о мире.

Этот аргумент может быть продолжен требованием, что любое утверждение может быть изменено; не существует вообще никаких непересматриваемых (incorrigible) утверждений — или, во всяком случае (поскольку только это здесь для нас важно), не существует таких непересматриваемых утверждений, которые способны к обеспечению оснований для знания. Основной аргумент в пользу этого таков: обычная функция утверждения — описать некоторое положение дел, которое находится вне непосредственно самого утверждения (и процесса его порождения), а значит, должна всегда иметься такая логическая возможность, которой утверждение и описываемое положение дел не могут соответствовать одновременно. Это справедливо и для тех случаев, когда положение дел находится вне сознания субъекта, и для тех, когда оно внутренне по отношению к нему. В самом деле, мы не просто принимаем наши фундаментальные классификации как основанные на объективных подобиях среди вещей — мы имеем для этого серьезное основание; мы выявляем эти подобия через восприятие. Однако это полностью совместимо с тем, чтобы принимать, как это происходит в когерентной теории обоснования, что никакие утверждения не являются непересматриваемыми, т.е. нет такого класса утверждений, которые воспринимаются как окончательные и не допускающие никакого сомнения.

Непересматриваемое суждение иногда определяется как такое, истина которого следует из самого того факта, что это суждение высказано. Безусловно, есть класс суждений, которые являются непересматриваемыми в *этом* смысле — например, "Я существую" и "Я высказываю это суждение" (а отсюда и "Я высказываю суждение, что *F* есть *G*"); вопрос заключается в том, *можем ли мы строить остальную часть нашего знания на суждениях такого вида*?

Ведь непересматриваемость в этом смысле — свойство очень многих суждений, которые далеки от того, чтобы быть бесспорно истинными. Так, пропозиция "Я существую" может быть непересматриваемой для *меня*, но из этого, строго говоря, вовсе не следует, что Максим Лебедев существует в некоторой описываемой этим предложением действительности. Усомниться в этом можно многими способами, начиная с тривиальных сомнений в корректности подстановки переменной (например, меня подменили в роддоме) и переходя к более сложным аргументам о способах существования субъекта, допускающим неподлинность моего восприятия мира (вроде Патнэмова аргумента о мозгах в бочке). Если вообще из того факта, что я высказываю суждение "Максим Лебедев существует", может следовать, что это суждение истинно, то лишь в том случае, если причина того, почему это суждение является собой, т.е. этим конкретным суждением, отчасти состоит в том, что оно высказано *мной*. Таким образом, статус непересматриваемости придается здесь суждению не его формой, не наличием в нем тех или иных элементов, не его принадлежностью к тому или иному типу, а тем единичным фактом, что оно высказано определенным человеком в определенных обстоятельствах. Причем сам этот человек не обязательно должен *знать*, что это суждение истинно: условием идентичности данного высказанного суждения "Я существую" в значении "Максим Лебедев существует" может быть то, что оно должно быть высказано Максимом Лебедевым, но я могу об этом и не знать, потому что я забыл, кто я (или никогда

и не знал этого). Можно дать и менее субъективный, хотя и более софистичный аргумент: истинность утверждения "2·2=4" также следует из того факта, что оно высказано определенным человеком (например, мной) в определенных обстоятельствах, поскольку это утверждение необходимо истинно, а истинность необходимо истинных утверждений следует из чего угодно — но это вовсе не означает, что мне известна таблица умножения. Таким образом, подобные непересматриваемые суждения не могут служить основанием знания, так как их непересматриваемость не дает нам никакой гарантии их истинности.

Проблема возникает потому, что обоснование знания всегда зависит от обстоятельств и от других убеждений, наличествующих у субъекта. Данная до сих пор характеристика непересматриваемости еще не подошла к тому анализу, что суждения, составляющие основания знания, не просто должны быть истинны, но также должны содержать собственное *обоснование*. Но *никакое* суждение не может само себя обосновывать (или демонстрировать отсутствие необходимости в обосновании), потому что всегда можно представить такой *контекст*, в котором ему потребуется обоснование.

Однако считать, что знание имеет основания, не равнозначно тому, чтобы считать, что оно основано на суждениях, которые являются непересматриваемыми или абсолютно самообосновывающими. Скорее это означает считать, что знание основано на суждениях, имеющих некоторую *презумпцию* обоснованности. Здесь возможен следующий контраргумент. Несомненно, что люди обычно правы в своих суждениях о содержании своего восприятия, и весьма разумно считать, что такие суждения несут презумпцию истины, но мы можем считать, что это так, в силу того, что мы знаем некоторые эмпирические факты, а не только в силу свойств этих высказываний. В этом отношении суждение всегда обосновано всегда в отношении других суждений, и нет никаких суждений, которые могут обосновать остальную часть наших полаганий, сами при этом не нуждаясь в обосновании.

Поэтому валидная когерентная теория обоснования может и должна дать теорию обоснования перцептуальных утверждений, отвергающую обвинение в произвольности и нередуцируемую к фундаментализму.

10.9 Аргументы когерентной теории обоснования и перцептуальные утверждения

Исходный контраст между когерентными и фундаменталистскими теориями вновь проявляется при столкновении с эпистемической проблемой регресса. Очевидно, что обоснование некоторого полагания происходит из его логической выводимости из другого, предположительно обоснованного полагания, и что обоснование этих других полаганий может зависеть от их инференциальных отношений к другим полаганиям, и так далее, что угрожает потенциальным регрессом эпистемического обоснования *ad infinitum* и скептицизмом. Фундаменталистское решение этой проблемы состоит в том, что рано или поздно субъект достигнет базовых полаганий, которые эпистемически обоснованы, но их обоснование не зависит от логически выведенных отношений к дальнейшим полаганиям, и, таким образом, регресс останавливается. Когерентная теория обоснования отклоняет это фундаменталистское решение и настаивает, что любое полагание (такого рода, к которому применима теория) зависит в своем обосновании от логически выведенных отношений с другими полаганиями и в

конечном счете с полной общей системой полаганий, поддерживаемой рассматриваемым субъектом. Согласно когерентной теории, обоснование этой системы полаганий логически предшествует обоснованию составляющих ее полаганий и достигается в конечном счете когерентностью системы, где когерентность зависит от того, как сильно объединена или связана система на основании инференциальных связей (включая объяснительные связи) между ее членами.

Вообще говоря, сам критерий, по которому различаются возможные подходы к теории обоснования, может быть сформулирован как вопрос о том, существуют ли полагания и утверждения, которые не нуждаются для своего обоснования в других полаганиях и утверждениях? В основе положительного ответа на этот вопрос лежала бы здравая интуиция целесообразности: для того, чтобы мы вообще могли делать значимые утверждения о мире, нам не следует оспаривать то, что люди гораздо чаще правы, чем неправы, когда делают перцептуальные утверждения о содержании своего восприятия. Если человек говорит: "Я вижу стол перед собой" или "Это моя рука", то с нашей стороны действительно разумно, вслед за Муром, считать, что такие утверждения несут некоторую презумпцию истины. Однако мы можем так считать потому, что мы знаем некоторые эмпирические факты — или, точнее, знаем определенные формы фактуальности и определенные способы обращения с определенными классами эмпирических фактов — а не потому, что класс перцептуальных утверждений (или любой другой) обладает присущими ему свойствами, делающими возможной презумпцию истины. Источником последней будут истинностные операторы, а не носители истины. С одной стороны, истина в любом случае не может быть внутренне присущим свойством очень многих видов языковых выражений — контингентно истинных утверждений, не-аналитических утверждений и т.п. С другой стороны, даже если мы поддержим требование независимости истинностных операторов от сознания, отсюда еще никак не будет следовать, что тот или иной вид утверждений, делаемых истинными этими операторами — например, перцептуальные утверждения — может быть обоснован уже тем самым и не нуждается для своего обоснования в других утверждениях. Это означало бы, что мы отождествляем истинность и обоснованность высказываний — что, как мы видели в § 9.8, неприемлемо.

Возникающая здесь проблема — непосредственный результат эпистемической проблемы регресса. Если мы отклоняем фундаментализм (и если бесконечный регресс обоснования также отклонен как в психологическом отношении невозможный и в любом случае эквивалентный скептицизму), то регресс эпистемического обоснования неизбежно приводит нас к кругу в обосновании. Это наиболее существенная причина, в силу которой фундаменталисты отклоняют когерентистскую альтернативу: проблема регресса дает важный аргумент в пользу фундаментализма.

Контраргумент здесь состоит в отклонении идеи — неявно присущей большинству представлений проблемы регресса — о том, что отношения обоснования предполагают линейный, асимметричный порядок зависимости среди рассматриваемых полаганий. Вместо этого следует предположить, что обоснование является в конечном счете холистическим и нелинейным по характеру, поскольку все полагания в системе состоят в отношениях взаимной поддержки, но ни одно из них эпистемически не предшествует другим. Таким

образом, циркулярности удается избежать, поскольку первичной единицей обоснования предстает сама система полаганий, а составляющие ее полагания обосновываются только деривационно, на основании их вхождения в систему соответствующего вида. Свойство системы, в силу которой происходит деривационное обоснование, определяется как когерентность. Когерентные теории не отрицают, что сенсорное наблюдение или восприятие играют важную роль в обосновании; скорее они отрицают то, что эта роль должна быть рассмотрена фундаменталистским способом. Вместо этого обоснование утверждений наблюдения в конечном счете вытекает также из соображений когерентности. Умеренные когерентные теории могут также добавлять другие требования для обоснования, таким образом отходя от чистого когерентизма, но все же отбрасывая требование фундаментализма.

Если когерентная теория обоснования не отрицает тот факт, что сенсорное восприятие играет важную роль в обосновании, то она должна объяснить, как такое наблюдение может быть рассмотрено не-фундаменталистским способом. Центральная идея здесь состоит в том, что обоснование того полагания, которое скорее получено опытным путем, чем выведено инференциально, может тем не менее зависеть от его когерентности с фоновой системой полаганий. Но не менее важно и то, что рассматриваемое обоснование все же должно зависеть некоторым способом от того факта, что это полагание является результатом восприятия. Если бы это было не так и обоснование зависело бы только от когерентности пропозиционального содержания полагания с остальной частью когнитивной системы и ни от чего больше, то эмпирический статус этого полагания становился бы иррелевантным, а это существенно обеднило бы наше знание и затемнило наши представления о механизмах приобретения знания.

Отрицание наличия самообосновываемых утверждений может принимать форму следующего требования, которое можно рассматривать как верификационистское или анти-скептическое: поскольку мы можем поддерживать утверждения лишь другими утверждениями или критиковать и отклонять утверждения лишь в свете других утверждений, постольку требование о наличии фактов, полностью независимых от этих утверждений — фактов, которым они могут соответствовать или не соответствовать — должно быть отброшено. Это согласуется с представлением о том, что полная структура наших обоснований и наших обоснованных полаганий может не отражать действительность. С подобной точки зрения, если бы существовали такие факты, о которых мы никогда не могли бы что-либо знать, то они не могли бы и иметь никакого значения для нас: по словам Брэдли, они были бы "полностью иррелевантным призраком" и "ложной и пустой абстракцией"[90]. По мнению Иоахима, корреспондентную идею делает "настолько абсурдной" то, что она разделяет наши утверждения, с одной стороны, и действительность, которой они соответствуют, с другой, как логически различные роды вещей без какой бы то ни было возможности рациональной теории их взаимосвязи. (В самом деле, единственный выход для корреспондентной теории — объявить эту взаимосвязь отношением *sui generis*, так как ее невозможно ни объяснить в терминах чего-либо еще, ни редуцировать к чему-либо.) Однако только в том случае, если такая взаимосвязь доступна интеллектальному постижению, она существует "для сознания" и может быть понята мной и другими

[90] Bradley F.H. Appearance and Reality. L., 1893. P. 131.

людьми. В противном случае истина может быть, вообще говоря, чем угодно, а сам термин "истина" пуст[91].

Отклонение кореспондентной теории может принимать еще более резкую форму (например, у таких логических позитивистов, как Нейрат и Гемпель): утверждения, подразумеваемые описывающими действительность, независимую от системы наших полаганий и обоснований, не могут иметь никакого значения, так как они недоступны проверке или фальсификации. Однако возможно не отклонять такие утверждения, но в то же время признавать скептическую возможность того, что все наши полагания могут быть ложными, и тогда наше обоснование не будет соответствовать действительности. Поэтому можно поддерживать когерентную теорию обоснования при отклонении какой бы то ни было формы когерентной теории истины — и наоборот, когерентная теория истины может сочетаться с фундаменталистской теорией обоснования.

Вот как может выглядеть эта последняя позиция. Когерентная теория обоснования отрицает наличие класса утверждений или полаганий, которые некоторым образом обосновывали бы сами себя и которые давали бы нам возможность обосновывать суждения, не принадлежащие к этому классу. Однако было бы вполне совместимо с самой ортодоксальной когерентной теорией истины считать, что такой класс есть. Можно считать, что такой привилегированный классе состоит из наших *перцептуальных* утверждений, и считать, что они обосновывают сами себя, в том смысле, что всякий раз, когда они вообще высказаны, они могут считаться обоснованными; Умеренная версия такого подхода может состоять в том, что они обладают некоторой презумпцией обоснованности, которая может быть опровергнута очевидными противоречащими свидетельствами в конкретных случаях, но которая в отсутствие такого свидетельства позволяет утверждению считаться не нуждающимся ни в каком дальнейшем обосновании. Высказывание таких утверждений тогда составляло бы требование о характере той когерентной системы, которая здесь составляет истину; это требование будет состоять в том, что для некоторого класса значений *p* из "*S* утверждает, что *p*" следует "*S* обоснованно утверждает, что *p*".

Это — легитимное требование когерентности между элементами семантической системы, находящееся в пределах когерентной теории истины. Поскольку когерентная теория истины не влечет за собой когерентную теорию обоснования, постольку предположение о наличии такого класса базовых утверждений, в соответствии с которыми обоснована остальная часть нашего знания, не может быть опровергнуто.

Представления о таком классе базовых утверждений оказались в центре знаменитой дискуссии о протокольных предложениях, где наличие такого класса отстаивал прежде всего Мориц Шлик[92]. Согласно Шлику, это — перцептуальные утверждения, выражающие факты непосредственного наблюдения. Они не нуждаются ни в каком обосновании, автоматически обоснованны и истинны в силу самого сделанного утверждения. Всякий раз, когда мы стремимся проверить более сложную гипотезу, мы обращаемся для этого к опыту, а обращение к опыту должно пониматься как обращение к утверждениям этого рода, дающим нам "неоспоримую точку контакта между знанием и действительностью". С такой точки

[91] Joachim H.H. The Nature of Truth. Ox., 1906. P. 51.
[92] См.: Schlick M. 'The Foundations of Knowledge' — in: Ayer A.J. (ed.) Logical Positivism. N.Y.: Free Press, 1959.

зрения, следует отбросить когерентную теорию истины, потому что утверждения наблюдения дают нам надежную истину, которая не состоит в когерентности, и именно их средствами оцениваются истинностные значения других утверждений.

Чтобы опровергнуть когерентную теорию истины, нужен класс утверждений, которые могут быть истинными и ложными, но для которых истина не может состоять в когерентности. Чтобы опровергнуть когерентную теорию обоснования, нужен класс утверждений, которые обосновывают сами себя или не требуют никакого обоснования. Шлик считает, что можно совместить эти требования, потому что в поисках класса утверждений, которые обосновывают сами себя, он обнаруживает класс таких утверждений, что, если они вообще сделаны, то они предназначены быть также и истинными.

Однако здесь появляется дилемма: являются ли утверждения наблюдения подлинными сообщениями о некоторых состояниях дел или нет? Если да, то они всегда могут быть ошибочными, причем двумя способами.

(1) Если они выражены словами, то всегда возможно, что говорящий — по забывчивости или оговорившись — использует неправильное слово.

(2) Такие утверждения могут быть рассмотрены как утверждения личного перцептуального опыта, которые *могут* быть выражены словами — таким способом, что некто может сделать утверждение, что *p*, даже при том, что он выберет для этого неправильные слова или у него не будет хватать слов, чтобы выразить это. Однако здесь все еще будет сохраняться логическая возможность того, что утверждение не будет соответствовать тому, что оно предназначено описывать, а следовательно, оно будет ложным.

Поскольку утверждения наблюдения могут не быть истинными, постольку здесь еще нет аргумента против когерентной теории истины: их истина вполне может состоять в когерентности в пределах системы наших полаганий. Если же предъявить к утверждениям наблюдения требование самообоснования, то оно было бы направлено только против когерентной теории обоснования, а не против когерентной теории истины.

Однако возможно, что утверждения наблюдения могут не быть подлинными сообщениями о состояниях дел. Шлик сравнивает их с аналитическими утверждениями и выдвигает требование, что логически невозможно искренне согласиться с ложным утверждением наблюдения, если употребленные слова не истолкованы неправильно[93]. Согласно этому представлению, утверждение наблюдения, выраженное в словах, может быть ошибочным, потому что мы могли ошибиться в значениях слов, но то, что эти слова выражают, не может быть ошибочным, потому что истина этого утверждения состоит не более чем в том, что оно является предметом полагания. Можно предположить, что приписывание нашим ощущениям некоторых внутренних характеристик снимет здесь возможность ошибки, потому что мы знаем ощущения как обладающие этими признаками. Но это все же едва ли позволит нам установить, что истина состоит скорее в корреспонденции, чем в когерентности; я вовсе не обязательно буду непогрешимо прав относительно некоторого объекта, доступного для моего наблюдения. Я просто знаю свое ощущение в данный момент как ощущение красного цвета, и это — все, что я об этом знаю; нет никакого дальнейшего факта относительно того, чему мое ощущение действительно подобно — того, чему мое

[93] Ibid, p. 225.

понимание может соответствовать или не соответствовать. Согласно подобным представлениям, утверждения наблюдения имеют вид "Мне кажется в данный момент, что я вижу то-то и то-то", и это не колебание в требовании относительно того, каким способом вещи существуют в действительности, а адекватное выражение моего теперешнего полагания. Для того, чтобы это утверждение было истинным, оно должно (и ему достаточно) быть полагаемым, и здесь не может быть никаких дальнейших фактов, в зависимости от которых это полагание соответствовало или не соответствовало бы чему-либо.

Полагания этого вида полностью совместимы с когерентной теорией истины. Тезис о том, что истина состоит в когерентности с некоторой системой полаганий, совместим с тем, что есть полагания, истина которых состоит в их полагаемости — в том, что кто-то так считает. Если р — такое полагание, то истинность "*р* полагаемо" будет зависеть от его отношений к остальной части когерентной системы, но "*р* полагаемо" влечет за собой *р*. Когерентная теория противостоит идее о том, что истина полагания может состоять в его соответствии действительности, независимой от того, что о ней полагают — но это не та идея, которая связана с подобными утверждениями наблюдения.

В первом случае утверждения наблюдения не обязательно будут истинными, хотя могут быть способны к самообоснованию. Во втором случае они должны быть истинными всякий раз, когда они полагаемы, но из этого не следует, что они способны к самообоснованию. С такой точки зрения, мы можем считать обоснованным наше принятие перцептуального утверждения (или, скорее, того, что оно выражает), если мы знаем две вещи:

(*а*) что это утверждение принадлежит к такому типу выражений, что оно должно быть истинным всякий раз, когда оно служит объектом чьего-то полагания, и

(*б*) что оно действительно, фактически служит объектом чьего-то полагания.

Требование (*а*) неизбежно подразумевается при высказывании утверждения. Таким же естественным может показаться и (*б*), так как мы обычно предполагаем, что знаем, каковы наши собственные полагания. Однако это не всегда так, поскольку такая уверенность зависит от фоновых предпосылок, которые могут быть не универсальны. Прежде всего, рассмотрение этих предпосылок будет методологически зависимо (см. § 2.2), но и, более тривиально, можно помыслить такие случаи, в которых мои полагания о моих собственных полаганиях будут фактически ошибочны даже тогда, когда я их уверенно поддерживаю — например: я могу полагать, что верю в счастливую жизнь после смерти, но все же моя реакция на смертельную опасность может быть такова, как если бы я вовсе в это не верил. И даже в тех случаях, когда я действительно вряд ли буду ошибаться в том, что я верю, что *р*, еще не гарантирован факт, что я полагаю, что я полагаю это. Это не опровергает требование Шлика, что утверждения наблюдения обосновывают сами себя, но это свидетельствует, что для такого требования нужен отдельный аргумент, чтобы показать, *как* это происходит.

Именно в полемике по утверждениям наблюдения (между Шликом и отчасти Рейхенбахом, с одной стороны, и Нейратом, отчасти Карнапом и Гемпелем — с другой) корреспондентистские взгляды, изначально принятые в логическом позитивизме, сменяются умеренной когерентной теорией. Последняя в этой дискуссии оказывается связана с конвенционалистскими представлениями; таким

образом, в Венском кружке оказываются сформированными те элементы, которые определили позицию позднего Витгенштейна и питали его эффектные интуиции о значении как употреблении (см. § 3.5).

Как мы видели, один из путей обсуждения этой проблемы состоит в том, чтобы сосредоточиться на том факте, что наблюдательные или перцептуальные полагания являются когнитивно непроизвольными; они просто производят впечатление на наблюдателя ненамеренным, принудительным, не-инференциальным способом скорее, чем посредством какого бы то ни было вида вывода или другого явного или неявного дискурсивного процесса. Однако, согласно когерентной теории, тот факт, что полагание имеет этот статус, сам по себе еще не говорит ничего о том, обосновано ли оно, и если да, то как. В самом деле, нет никакой причины считать, что все когнитивно непроизвольные полагания тем самым обоснованы. У нас нет причин считать так даже о *большинстве* когнитивно непроизвольных полаганий, так как в эту категорию наряду с полаганиями, следующими из восприятия, войдут догадки и иррациональные непроизвольные убеждения. Но предположим, для наиболее обычных систем полаганий, что система включает полагание в том смысле, что когнитивно непроизвольные полагания определенных родов (объединенные общим предметом, очевидным способом сенсорного получения, отраженным в содержании полагания, и различными сопутствующими факторами) при указанных (или, возможно, "нормальных") условиях с высокой вероятностью истинны. Тогда становится возможным дать такую причину обоснования для подобного полагания, что она обращается к его когнитивному статусу как непроизвольного и наблюдательного, но все же делает это таким способом, что обоснование зависит от когерентности системы фоновых полаганий с требованием, что полагание этого рода, полученное таким образом, истинно. Такое полагание было бы достигнуто не инференциально, но тем не менее обосновано обращением к отношениям выводимости и когерентности[94].

Остающиеся здесь проблемы таковы.

- Полагания, необходимые для обоснования специфического наблюдательного полагания, сами должны быть обоснованы некоторым способом, без того, чтобы вновь впадать в фундаментализм. Эти полагания будут включать по крайней мере

  (1) полагания относительно условий;

  (2) общее полагание относительно надежности когнитивно непроизвольного полагания рассматриваемого рода; и

  (3) полагания относительно возникновения обосновываемого полагания, включая полагание, что оно было действительно когнитивно непроизвольно.

  При этом к ним применимы следующие аргументы.

  (1) Обоснование (1) должно будет включить другие наблюдательные полагания, непосредственно обоснованные тем же самым общим способом, так, чтобы любой случай обоснованного наблюдения привлекал некоторое

[94] См.: Sellars W. Science, Perception and Reality. London: Routledge & Kegan Paul, 1963.

множество (возможно также требование об их максимальном для данных условий количестве) взаимоподдерживающих наблюдений.

(2) Обоснование (2) будет содержать индуктивное обращение как к другим случаям правильного наблюдения, расцененным как таковые изнутри системы, так и к более теоретическим причинам считать, что полагания рассматриваемого рода вообще производятся надежным способом.

(3) Обоснование (3) обратится к интроспективным полаганиям, также представляющим собой разновидность наблюдения, и в конечном счете к полному всестороннему уяснению субъектом познания своей общей системы полаганий. Последнее влечет за собой следующую проблему.

- Для обоснования наблюдательного полагания недостаточно, чтобы причина предыдущего вида просто присутствовала в личной системе полаганий, так как такой индивидуум мог бы не замечать, что это так, и придерживаться этого полагания на некотором другом основании или вообще ни по какой причине. Поэтому даже при том, что наблюдательное полагание получено не в результате вывода, возможность и доступность его инференциального обоснования, даже если они не заявлены эксплицитно, должны быть той причиной, почему субъект познания продолжает принимать полагание и обращаться к нему для дальнейших целей.

- Самой по себе возможности когерентного обоснования утверждений наблюдения еще недостаточно, чтобы отразить ту роль, которую наблюдение играет в нашей когнитивной практике. Учитывая принятые представления о том, что наблюдение не только возможно, но и универсально и что обращение к наблюдательной очевидности, прямой или косвенной, является необходимым для обоснования по крайней мере контингентных полаганий о мире, интуитивно адекватная когерентная теория должна *требовать*, а не просто разрешать, чтобы существенные элементы наблюдения присутствовали в любой обоснованной системе, которая включает такие контингентные полагания. Представление, настаивающее на таком требовании, таким образом отойдет от чистой когерентной теории , но бы все еще будет избегать фундаментализма, если в остальных отношениях эта когерентная теория утверждений наблюдения успешна.

Обсуждение утверждений наблюдения приводит нас к рассмотрению общих возражений когерентной теории обоснования.

- Первое из них — то, что обычно называют "проблемой изоляции" или "проблемой ввода": теория обоснования, которая обращается исключительно к когерентности в пределах системы полаганий, может иметь то следствие, что обосновательный статус полаганий в системе никак не будет зависеть от отношений системы к миру, который она, как подразумевается, описывает, или от любого вида информации, полученной из этого мира. Это означало бы, в свою очередь, что истинность составляющих систему полагании, если они оказались бы истинными, могла бы быть только случайной, а поэтому нет причин считать их истинными и нет причин для эпистемического обоснования. Изложенная выше когерентная теория утверждений наблюдения обеспечивает начало ответа на это возражение, показывая, как наблюдательным полаганиям, которые очевидно исходят из внешнего мира, можно было бы тем не менее дать когерентное обоснование. Таким образом, последовательная система, которая вовлекает предположительно наблюдательный компонент, не

будет (по крайней мере, изнутри) изолирована от мира. Однако это будет зависеть от более общей проблемы — должно ли (и если да, то почему) когерентное обоснование быть расценено как способствующее обнаружению истины.

- Решение этой проблемы заключалось бы в объяснении того, почему принятие полагания на основе когерентного обоснования, вероятно, приведет к истинному полаганию. Различные версии когерентной теории дают очень разные ответы на этот вопрос, поскольку в каждой из них он проблематизируется своим собственным способом.

(1) Абсолютные идеалисты решают эту проблему, принимая наряду с когерентной теорией обоснования также и когерентную теорию истины, редуцируя зазор между когерентным обоснованием и когерентной истинностью (хотя совершенно явна эта стратегия только у Бланшара[95]). Согласно такому представлению, истина по существу идентифицирована с протяженным во времени обоснованием; отсюда поиск обоснованных полаганий должен вести в конечном счете к обнаружению истинных.

(2) Решер дает прагматический аргумент: практический успех, который является результатом использования последовательной системы, делает вероятным, что полагания системы по крайней мере приблизительно истинны (в смысле соответствия независимой действительности). Такие образом, Решер пытается сочетать когерентные, прагматические и корреспондентные интуиции. Однако требование практического успеха также должно быть предположительно когерентного характера, и это угрожает проекту циркулярностью[96].

(3) Бонжур дает априорный "метаобосновательный" аргумент, опирающийся на рационалистическую и фундаменталистскую концепцию априорного знания и заключающий, что система полаганий, которая остается когерентной на протяжении относительно долгого времени, при получении очевидного ввода наблюдательной информации, вероятно, будет приблизительно истинна (снова в смысле корреспондентной истины). Главная причина этого состоит в том, что только приблизительная истина может объяснить длительную когерентность при поступлении новых наблюдений. В дополнение к защите общей теории априорного предполагаемого обоснования, такой подход должен также показать, что скептические объяснения полаганий (например, их создание Декартовым демоном) априорно менее вероятны, чем корреспондентное объяснение соответствия действительности[97].

(4) Подход Лерера состоит в том, чтобы строить альтернативные концепции обоснования, которые привлекают гипотетическую замену ошибочного полагания в индивидуальной системе полаганий на исправленные

[95] См.: Blanshard B. The Nature of Thought. L., 1939.
[96] См.: Rescher N. The Coherence Theory of Truth. Oxford: Oxford University Press, 1973; Rescher N. ‘Foundationalism, Coherentism, and the Idea of Cognitive Systematization’ — Journal of Philosophy, 1974, 71 (19): 695–708; Rescher N. Methodological Pragmatism. New York: New York University Press, 1977.
[97] См.: BonJour L. The Structure of Empirical Knowledge. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1985.

альтернативы, а затем требуют, чтобы первоначально обоснованные индивидуальные полагания остались обоснованными после таких замен; в итоге такие полагания составляют знание. Главная трудность здесь состоит в том, что при таком подходе "индивидуальное обоснование", которое существует до гипотетических замен, само по себе не ведет к установлению истины, даже при том, что такое индивидуальное обоснование — единственный вид обоснования, который вообще когда-либо фактически известен субъекту познания[98].

- Аргумент от альтернативных когерентных систем состоит в том, что даже для относительно сильной когерентной теории все еще будет иметься неопределенно много различных возможных систем полаганий, каждая из которых так же внутренне связна, как и другие, и все из которых будут поэтому, в представлении когерентиста, одинаково обоснованы — что, конечно, было бы абсурдным результатом. Ответ на это возражение также кардинально зависит от представлений о утверждениях наблюдения. Если, как предложено ранее, адекватная когерентная теория обоснования будет содержать требование, что имеется существенный наблюдательный компонент (то есть существенная пропорция когнитивно непосредственных полаганий, которые сама система удостоверяет как с высокой долей вероятности истинные и, следовательно, заслуживающие принятия), то такие альтернативные системы больше не могут быть предложены произвольно, и больше не очевидно, почему нужно думать, что они существуют. Только система, которая фактически принята и используется в познавательной практике, может содержать когнитивно непосредственные полагания и таким образом удовлетворять требованию наблюдения. Нет никакого способа гарантировать, что принятие таких полаганий не приведет к бессвязности в произвольно изобретенной системе, даже если она первоначально была когерентной. Итак, здесь мы снова видим релевантность требования когерентности *на протяжении некоторого (фрагмента) континуума*, а не только в какой-то момент в какой-то позиции — требования, в конечном счете присущего всем серьезным теориям когерентности обоснования.

По замечанию Дэвидсона,

> Нейрат, Карнап и Гемпель были правы, отказываясь от поиска основного вида очевидности, на котором может покоиться наше знание о мире. Такая очевидность не является ни доступной, ни необходимой. Однако они, возможно, не сумели оценить, *почему* она не необходима. Она не необходима, потому что каузальные отношения между нашими полаганиями, речью и миром также дают интерпретацию нашего языка и наших полаганий[99].

[98] См.: Lehrer K. Knowledge. Oxford: Oxford University Press, 1974; Lehrer K. Theory of Knowledge. Boulder CO: Westview Press, 1990.
[99] Davidson D. Empirical Content. — In: Truth and Interpretation (ed. by E. LePore) Ox., 1986. P. 332.

11. Конструктивистская парадигма и расширенные теории референции

11.1 Эпистемологический и онтологический плюрализм Н.Гудмена

Нельзя провести никакое ясное и устойчивое общее различие между содержанием и способом дискурса — таково послание, встречающее читателя на первых же страницах "Способов создания миров" Гудмена. Эта мысль оформляется нарочито эпатажными каламбурами, которые кажутся скорее чрезмерно изобретательным переводом на английский какого-нибудь французского литературного манифеста, чем текстом серьезного аналитического философа и логика. Однако один из парадоксов этой книги состоит в том, что она показывает: здесь нет парадокса.

Написание книги было инспирировано юбилеем Кассирера, и это не привязка к формальному поводу — Гудмен действительно возводит свою позицию непосредственно к неокантианскому пафосу Кассирера, у которого уже встречается сочетание идей множественности миров, неподлинности "данного", креативной силы понимания и формообразующей функции символов. Кассирер развивает концепцию символической формы, возводя ее как от науки, так и от искусства. Любой перцептивный акт "чреват символически": в одно и то же время он содержит неинтуитивные значения и конкретно представляет непосредственно само восприятие. Мы имеем дело не столько с существованием вещей, сколько с объективной валидностью перцептуальных отношений, и наше знание вещей зависит от этой валидности. Эти отношения рассматриваются "философией символических форм", где символическая форма — метафорическое представление перехода от мира выражения к чистому познанию. Кассирер заключил, что человек по существу характеризуется своей уникальной способностью использовать "символические формы" мифа, языка и науки как средства структурирования своего опыта и таким образом понимания как себя самого, так и мира природы. Язык здесь является символической системой, использующей конструирование символических форм для того, чтобы понять мир природы. Теория языка как символической системы подразумевает указание на объектно-ориентированные характеристики используемого способа репрезентации. Язык не может быть рассматриваться как копия вещей, но представляет собой условие наших понятий о вещах; он — предпосылка нашего представления об эмпирических объектах, нашего понятия о том, что мы называем "внешний мир". В самом деле, устранение Кассирером из Кантовой системы понятия "вещи в себе" как одного из двух (наряду с субъектом познания) факторов, создающих мир "опыта", подразумевает, что материал для построения "опыта" ("многообразие" у Кассирера) создается самой мыслью. Соответственно, пространство и время перестают быть созерцаниями, как у Канта, и превращаются в понятия[1]. Вместо Кантовых двух миров появляется единый "мир культуры", а идеи разума из регулятивных становятся, как и категории, конститутивными, созидающими мир принципами, "символическими функциями". Разнообразные

[1] Это послужило Гудмену ответом на упрек Шеффлера: как можем мы, если мы действительно создаем миры, сделать что-то старше нас? Просто, отвечает Гудмен, создавая пространство и время, в котором это находится ("О создании звезд").

сферы культуры, которые Кассирер называет "символическими формами" (язык, миф, религия, искусство, наука), рассматриваются им как самостоятельные, не сводимые друг к другу образования.

Здесь может быть задан следующий вопрос, явившийся бы приложением общего для аналитической (и не только) философии "парадокса анализа", или "парадокса объяснения": если мы уже располагаем неформализованным "знанием", к которому мы должны обратиться в оценке как точности определений конструктивной системы, так и ее адекватности (то есть, образуют ли ее теоремы достаточно дифференцированное множество: является ли, скажем, некоторое описание законченным), то зачем вообще нужно строить такие системы? Каким образом может что-то объяснить такая теория?

Ответ может учитывать три аспекта.

1. Успешно построенная конструктивная система сообщает нам нечто, чего мы вообще не знаем заранее, а именно тот факт, что некоторые примитивы представляют адекватные основания для определения всех рассматриваемых терминов — факт, имеющий несомненное методологическое значение. Кроме того, конструктивная система демонстрирует набор отношений логической и определительной зависимости, многие из которых не даны заранее, но способны обеспечивать возможность дальнейшего анализа.

2. В большинстве случаев, представляющих интерес, неформализованная область не так ясна и не так однозначно формализуема, как в примере с семейным родством. Разветвленность и гетерогеннность формализуемых областей будет мотивировать преимущественное развитие конструктивных систем прежде всего в отношении систем, которые можно назвать "эпистемологическими" в том смысле, что их назначением является представление некоторой части нашего знания относительно соответствующих этой части данных восприятия. Например, система, которая пытается представлять наше знание физических объектов в терминах явлений, должна вначале поставить вопрос, какой вид феноменальных объектов рассматривать (сенсорные данные, отрезки "потока опыта" и т.д.) — вопрос, который сам по себе не может быть решен обращением к обычному или традиционному употреблению термина.

Поэтому хотя конструктивные системы могут в первом приближении быть рассмотрены как формализации, они являются не только формализациями: они являются именно теориями, и их развитие требует креативного построения функционирующей теории, а не является простым формальным моделированием обычного употребления языка.

Возможно, наиболее важны здесь соображения теоретической интерпретируемости. При сохранении важнейших особенностей неформализованной речи конструктивные определения разрешают достаточно тонкий способ замены неясных и неточных терминов более ясными и точными. Если целью моделирования является простое "отображение" обычного употребления языкового выражения (например, выявление композиционного плана высказывания), то это явилось бы искажением. Однако с точки зрения построения теории, такая процедура обязательна: более точные понятия лучше входят в проверяемые гипотезы и доказуемые результаты.

Это ведет к третьему пункту в ответе на предполагаемый парадокс анализа.

3. Ряд философских вопросов традиционной важности может быть плодотворно выражен в категориях оснований формализации представляемого знания. Например, спор между номинализмом и его противниками может быть сформулирован как вопрос о том, способна ли система, которая берет за основу рассмотрения лишь конкретные индивидные объекты, к адекватному представлению всего нашего релевантного знания. В таком случае решение подобных вопросов заключается в том, чтобы либо построить адекватную систему, либо так или иначе показать, что это не может быть выполнено.

Это разграничение точности (accuracy) и адекватности (adequacy), введенное Гудменом в "Структуре явления", во многом обусловило важную для современной аналитической философии тенденцию ослабления семантического критерия, налагаемого на исследования. Главное перемещение в этом направлении происходит от синонимии или аналитичности к вполне экстенсиональному критерию. При этом сам Гудмен считает коэкстенсивность definienda и их definientiae все еще слишком сильным критерием. Неформализованное использование неопределенно и непоследовательно (противоречиво) многими способами, и отражение этих особенностей в объяснении вовсе не непременно увеличивает объяснительную силу definientia. Неясные случаи не могут быть прояснены в соответствии с таким требованием, как коэкстенсивность; в то же время случайный отход от неформализованных ясных случаев оправдан стремлением построить хорошую теорию. Кроме того, неудовлетворительность требования коэкстенсивности указывает на качественно отличную и более глубокую проблему: в науке и обыденном языке возможны (и весьма многочисленны) случаи альтернативных истолкований предикатов — истолкований, которые являются полностью неразличимыми в отношении любых критериев, уместных в тех теориях, к которым они принадлежат; однако альтернативы не просто не коэкстенсивны — они очевидным образом не пересекаются.

Одним из следствий такого подхода является плюрализм. Так, с точки зрения теории множеств, система евклидова пространства может быть построена различными способами: можно по-разному выбирать основные термины, не имеющие изначально определения, равно как и выбирать сами определения, и тем не менее эти системы будут очевидно равнозначными: все это будут полные системы евклидовой геометрии. С другой стороны, не имеет смысла стремиться включить эти системы в единую суперсистему, так как один определенный термин в одной системе не может одновременно иметь определение и не иметь его, а система, где все термины не имели бы определений, не могла бы иметь прикладных приложений

В "Способах создания миров" Гудмен делает шаг от эпистемологии к онтологии и настаивает на том, что противоречие между онтологическим монизмом и плюрализмом не выдерживает пристального анализа. Если существует лишь один, единственный, мир, то он включает множество различных, различающихся между собой аспектов; если же существует множество миров, то в любом случае существует лишь одно (единое в этом отношении) множество этих миров. Вслед за У.Джеймсом (еще одним философом из тех, которых он здесь называет своими предшественниками) Гудмен фактически воспроизводит ход еще первых атомистических построений: каждый отдельный космос конечен, но количество этих космосов бесконечно, поэтому мир в конце концов бесконечен. Но "мир"

Гудмена — категория столь же эпистемологическая, сколько и онтологическая. Один мир может быть рассмотрен как множество миров, равно как и множество миров может быть рассмотрено как один: это зависит от способа рассмотрения. Речь здесь идет не о множестве альтернатив единственному действительному миру, но о множестве действительных миров. Методологический и онтологический плюрализм — естественное заключение эпистемологических взглядов Гудмена. С подобной точки зрения, некоторые истинные утверждения и правильные представления могут вступать друг с другом в противоречие, не теряя при этом своей истинности и правильности, — а следовательно, действительных миров должно быть больше одного. Наш универсум состоит скорее из способов описания мира, чем из самого этого мира или миров.

То, что традиционно рассматривалось как "окончательные" метафизические вопросы (т.е. вопросы о характеристиках, составных частях или категориях "действительности") должно быть признано, таким образом, бессмыслицей, кроме тех случаев, когда описание релятивизуется к системе или "способу рассмотрения" ("way of construing") референции. Согласно Гудмену, адекватность описания ни в каком случае не может быть вопросом истинности. Утверждение истинно, а описание или представление правильно, для мира, которому оно соответствует (fit). Вопрос задается скорее не о том, правильно ли представление или нет, а о том, в какой системе координат или категорий, в каком контексте оно правильно. Например, изображения с обратной перспективой или цветопередачей могут в определенных контекстах восприниматься нами как реалистичные. Однако допущение об относительности понятия правильности и о возможности существования конфликтующих правильных воспроизведений (renderings) не означает отказа от четких критериев оценки правильности, различения правильного и неправильного.

В этой связи Гудмен проводит довольно тонкую дистинкцию между двумя смыслами, в которых употребляется слово "реалистичный"[2]. С одной стороны, "реалистичный" означает "соответствующий обыденным суждениям о правдоподобии": в этом смысле мы говорим, например, что картины Дюрера реалистичнее картин Сезанна. Но мы можем говорить также о достижении нового уровня реализма в работах того или иного художника или фотографа, показавшего нам новые стороны жизни, о которых мы не знали раньше, но которые мы восприняли как узнаваемые, когда увидели их. В этом случае "реалистичный" означает "вновь обнаруженный с некоторой достоверностью". Речь здесь идет не об узнавании привычного объекта, но об открытии, раскрытии вновь встреченного. Эти два смысла соответствуют понятиям инерции и инициативы, с помощью которых Гудмен охарактеризовал свойства индуктивных умозаключений. В номиналистической онтологии Гудмена такие понятия объясняются в терминах той проекции предикатов, которая связывает в единый индивид комплекс, принадлежащий одному месту и времени, и комплекс, принадлежащий другому месту и времени. В терминах такой проекции некоторое место в поле зрения, в котором в настоящий момент отсутствует цвет, присутствующий в другое время и в другом месте, можно считать потенциально окрашиваемым, способным быть окрашенным (colorable) в этот цвет, а палку, которую не сгибают в настоящий момент, можно считать гибкой. Решающая проблема заключается в том, чтобы обосновать отображаемость предикатов в

[2] "Способы создания миров", глава 7, раздел 5.

терминах законоподобных высказываний, а эта проблема по существу является проблемой индукции.

В свою очередь, онтологические установки Гудмена проявляются в его философии языка. В "Языках искусства" Гудмен предлагает общую теорию референции, охватывающую все референциальные функции. Она основана на единой символической операции, посредством которой один предмет представляет ("stands for") другой. На первый план здесь выходит критерий внешности по отношению к символической (знаковой, или языковой в самом широком смысле) системе — критерий, в определенном отношении *предельно* формальный: мы не можем говорить о предметах обозначения как о сущностях, внутренне присущих самой знаковой системе, о неких свойствах обозначения, поскольку отсылка к чему-то иному, направленность на иной предмет является сущностным свойством знака. Именно благодаря этому конституирующему свойству знак (например, гудменовский или кассиреровский символ) является собой, а не чем-то иным (скажем, не относится к некоторому классу чисто физических, метафизических или психических понятий). Таким образом, хотя базовые семантические примитивы (предельные единицы) конструктивных систем могут являться феноменальными сущностями, эти системы тем не менее не будут являться феноменалистскими системами, т. к. не будут поддерживать феноменализм как фундаментальную эпистемологическую доктрину (равно и как онтологическую доктрину, претендующую на полноту).

Отсюда становится ясной эпистемологическая значимость конструктивных систем для обоснования употребления языка. Она состоит прежде всего в выявлении совокупности взаимоотношений между различными частями концептуального аппарата. Фундаменталистская метафора заменена в них "сетью полаганий" ("web of belief"). Подобно гипотетико-дедуктивным теориям естественнонаучных дисциплин, определения и теоремы конструктивных систем устанавливают дедуктивные отношения между предложениями, несущими рациональную нагрузку; причем на чем более элементарных основаниях строится конструктивная система, тем более плотными устанавливаются систематические связи и тем полнее общая связность и внутренняя непротиворечивость системы. Следующим этапом является выявление согласуемости различных систем, т. е., применительно к лингвистическим ситуациям, интерсубъективной аутентичности значений, возможности одинаковой идентификации референтов всеми членами языкового сообщества.

11.2 Гипотеза лингвистической относительности Сепира — Уорфа

Итак, каково же соотношение детерминированности, конвенциональности каузальности значений — или каков характер их детерминированности или каузальности? Где пределы их альтернативности? Чем они определяются?

Гипотеза лингвистической относительности Сепира — Уорфа представляет — здесь следует согласиться с Дэвидсоном — один из наиболее ярких примеров теорий конвенциональности значения, исходящих из противопоставления концептуальной схемы, на использовании которой основано описание, и наполняющего схему содержания "внешнего" мира, трансцендентного описанию.

10.2.1 Эпистемологические основания концепции лингвистической относительности

Гипотеза Сепира — Уорфа непосредственно связана с этнолингвистическими исследованиями американской антропологической школы. Формы культуры, обычаи, этнические и религиозные представления, с одной стороны, и структура языка — с другой, имели у американских индейцев чрезвычайно своеобразный характер и резко отличались от всего того, с чем до знакомства с ними приходилось сталкиваться исследователям в подобных областях. Это обстоятельство, по общепринятому мнению, и вызвало к жизни в американском структурализме представления о прямой связи между формами языка, культуры и мышления.

В основу гипотезы лингвистической относительности легли две мысли Эдварда Сепира:

1) Язык, будучи общественным продуктом, представляет собой такую лингвистическую систему, в которой мы воспитываемся и мыслим с детства. В силу этого мы не можем полностью осознать действительность, не прибегая к помощи языка, причем язык является не только побочным средством разрешения некоторых частных проблем общения и мышления, но наш "мир" строится нами бессознательно на основе языковых норм. Мы видим, слышим и воспринимаем так или иначе, те или другие явления в зависимости от языковых навыков и норм своего общества.

2) В зависимости от условий жизни, от общественной и культурной среды различные группы могут иметь разные языковые системы. Не существует двух настолько похожих языков, о которых можно было бы утверждать, что они выражают такую же общественную действительность. Миры, в которых живут различные общества, — это различные миры, а не просто один и тот же мир, которому приклеены разные этикетки. Другими словами, в каждом языке содержится своеобразный взгляд на мир, и различие между картинами мира тем больше, чем больше различаются между собой языки.[3]

Речь здесь идет об активной роли языка в процессе познания, о его эвристической функции, о его влиянии на восприятие действительности и, следовательно, на наш опыт: общественно сформировавшийся язык в свою очередь влияет на способ понимания действительности обществом. Поэтому для Сепира язык представляет собой символическую систему, которая не просто относится к опыту, полученному в значительной степени независимо от этой системы, а некоторым образом определяет наш опыт. Сепир, по наблюдению Дэвидсона, следует в направлении, хорошо известном по изложению Т. Куна, согласно которому различные наблюдатели одного и того же мира подходят к нему с несоизмеримыми системами понятий. Сепир находит много общего между языком и математической системой, которая, по его мнению, также

> регистрирует наш опыт, но только в самом начале своего развития, а со временем оформляется в независимую понятийную систему, предусматривающую всякий возможный опыт в соответствии с некоторыми принятыми формальными ограничениями... (Значения) не

[3] Сепир Э. Грамматист и его язык. — Сепир Э. Избранные труды по языкознанию и культурологии. М., 1993. С. 248-258.

> столько обнаруживаются в опыте, сколько навязываются ему, в силу тиранического влияния, оказываемого языковой формой на нашу ориентацию в мире[4].

Развивая и конкретизируя идеи Сепира, Уорф проверяет их на конкретном материале языка и культуры хопи и в результате формулирует принцип лингвистической относительности.

> Мы расчленяем природу в направлении, подсказанном нашим родным языком. Мы выделяем в мире явлений те или иные категориями и типы совсем не потому, что они (эти категории и типы) самоочевидны; напротив, мир предстает перед нами как калейдоскопический поток впечатлений, который должен быть организован нашим сознанием, а это значит в основном – языковой системой, хранящейся в нашем сознании. Мы расчленяем мир, организуем его в понятия и распределяем значения так, а не иначе в основном потому, что мы участники соглашения, предписывающего подобную систематизацию...
>
> Это обстоятельство имеет исключительно важное значение для современной науки, поскольку из него следует, что никто не волен описывать природу абсолютно независимо, но все мы связаны с определенными способами интерпретации даже тогда, когда считаем себя наиболее свободными... Мы сталкиваемся, таким образом, с новым принципом относительности, который гласит, что сходные физические явления позволяют создать сходную картину вселенной только при сходстве или, по крайней мере, при соотносительности языковых систем[5].

Уорф придал более радикальную формулировку мыслям Сепира, полагая, что мир представляет собой калейдоскопический поток впечатлений, который должен быть организован нашей языковой системой. Так, условия жизни, культура и прочие общественные факторы воздействовали на языковые структуры хопи, формировали их и в свою очередь подвергались их влиянию, в результате чего оформлялось мировоззрение племени.

> Между культурными нормами и языковыми моделями существуют связи, но не корреляции или прямые соответствия... Эти связи обнаруживаются не столько тогда, когда мы концентрируем внимание на чисто лингвистических, этнографических или социологических данных, сколько тогда, когда мы изучаем культуру и язык... как нечто целое, в котором можно предполагать взаимозависимость между отдельными областями[6].

Но главное внимание Уорф уделяет влиянию языка на нормы мышления и поведения людей. Он отмечает принципиальное единство мышления и языка и критикует точку зрения "естественной логики", согласно которой речь – это лишь

---

[4] Sapir E. Conceptual Categories in Primitive Languages. — Science, 1931. Vol. 74. P. 578.
[5] Уорф Б. Л. Наука и языкознание. – В кн.: Новое в лингвистике. Вып.I. М., 1960. С. 174 – 175.
[6] Уорф Б. Л. Отношение норм поведения и мышления к языку. — В кн.: Новое в лингвистике. Вып.I. С. 168.

внешний процесс, связанный только с сообщением мыслей, но не с их формированием, а различные языки — это в основном параллельные способы выражения одного и того же понятийного содержания и поэтому они различаются лишь незначительными деталями, которые только кажутся важными[7].

Согласно Уорфу, языки различаются не только тем, как они строят предложения, но также и тем, как они членят окружающий мир на элементы, которые являются единицами словаря и становятся материалом для построения предложений. Для современных европейских языков, которые представляют собой одну языковую семью и сложились на основе общей культуры (Уорф объединяет их в понятии "общеевропейский стандарт" — SAE), характерно деление слов на две большие группы — существительное и глагол, подлежащее и сказуемое. Это обусловливает членение мира на предметы и их действия, но сама природа так не делится. Мы говорим: "молния блеснула"; в языке хопи то же событие изображается одним глаголом ***rehpi*** — "сверкнуло", без деления на субъект и предикат.

В языках SAE одни слова, обозначающие временные и кратковременные явления, являются глаголами, а другие — существительными. В отличие от них в языке хопи существует классификация явлений, исходящая из их длительности. Поэтому слова "молния", "волна", "пламя" являются глаголами, так как все это события краткой длительности, а слова "облако", "буря" – существительные, так как они обладают продолжительностью, достаточной, хотя и наименьшей, для существительных.

В то же время в языке племени нутка нет деления на существительные и глаголы, а есть только один класс слов для всех видов явлений. Таким образом, определить явление, вещь, предмет, отношение и т. п. исходя из природы невозможно; их определение всегда подразумевает обращение к грамматическим категориям того или иного конкретного языка[8].

Языки SAE обеспечивают искусственную изоляцию отдельных сторон непрерывно меняющихся явлений природы в ее развитии. Вследствие этого мы рассматриваем отдельные стороны и моменты развивающейся природы как собрание отдельных предметов. "Небо", "холм", "болото" приобретают для нас такое же значение, как "стол", "стул" и др.[9] Вопрос, таким образом, заключается в следующем:

от чего зависит тип деления?

Или:

почему мы классифицируем мир именно таким, а не иным способом?

Уорф утверждает не то, что членение явлений мира свойственно лишь языкам SAE, а то, что у языков, сильно отличающихся друг от друга, различна также система анализа окружающего мира, различен тип деления на изолированные участки. Он усиливает свой тезис тем, что подчеркивает влияние языковых норм не только на процесс мышления, но и на восприятие людьми внешнего мира. Это положение явно сформулировано Сепиром и взято в качестве эпиграфа в одной из работ Уорфа:

[7] Уорф Б. Л. Наука и языкознание. С. 170.
[8] Уорф Б. Л. Наука и языкознание. С. 177.
[9] Уорф Б. Л. Лингвистика и логика. – В кн.: Новое в лингвистике. Вып.I. С. 187.

> Мы видим, слышим и воспринимаем так или иначе те или другие явления главным образом благодаря тому, что языковые нормы нашего общества предполагают данную форму выражения[10].

Уорф исследует, каким образом категории пространства и времени фиксируются в языках SAE и хопи, и приходит к выводу, что хопи не знает такой категории времени, которая свойственна нашим языкам, тогда как категория пространства сходна в обоих случаях. Наш язык не склонен проводить различия между выражениями "десять человек" и "десять дней", хотя такое различие есть: мы можем непосредственно воспринимать десять человек, но сразу воспринимать десять дней мы не можем. Это воображаемая группа, в отличие от "реальной" группы, которую образуют десять человек. Такие термины, как "лето", "зима", "сентябрь", "утро", "рассвет", также образуют множественное число и исчисляются подобно тем существительным, которые обозначают предметы материального мира. Уорф считает, что в этом отражаются особенности нашей языковой системы, и называет такое явление "объективацией", поскольку здесь временные понятия утрачивают связь с субъективным восприятием времени как "становящегося все более и более поздним" и объективируются как исчисляемые количества, т.е. отрезки, состоящие из отдельных величин, в частности длины, так как длина может быть реально разделена на дюймы. "Длина", "отрезок" времени мыслятся в виде одинаковых единиц, подобно, скажем, такой актуальности, как ряд бутылок[11].

Сравнивая выражение времени в языках SAE с хопи, Уорф отмечает, что множественное число и количественные .числительные в языке племени хопи употребляются только для обозначения тех предметов, которые образуют или могут образовать реальную группу. Такое выражение, как "десять дней", не употребляют. Эквивалентом его может служить выражение, указывающее на процесс счета, а счет ведется с помощью порядковых числительных. Выражение "они пробыли десять дней" превращается в языке хопи в "они прожили до одиннадцатого дня" или "они уехали после десятого дня". Этот способ счета не может применяться к группе различных предметов, даже если они следуют друг за другом, ибо и в таком случае они могут объединяться в группу. Однако он применяется по отношению к последовательному появлению одного и того же человека или предмета, не способных объединиться в группу. "Несколько дней" воспринимается не как несколько людей, к чему склонны, по мнению Уорфа, наши языки, а как последовательное появление одного и того же человека[12]. Уорф считает необоснованным тот взгляд, согласно которому хопи, знающий только свой язык и идеи, порожденные культурой своего общества, должен иметь те же самые понятия времени и пространства, которые имеем мы и которые вообще считаются универсальными.

Понятие "времени", свойственное языкам SAE, и понятие "длительности" у хопи, по мнению Уорфа, различны. Вместе с тем он настойчиво подчеркивает, что особенности языка хопи нисколько не препятствуют им правильно ориентироваться в окружающем мире. Более того, по его мнению, этот язык ближе к современной науке — теории относительности и квантовой механике, — чем индоевропейские языки, которые дают возможность воспринимать вселенную

[10] Уорф Б. Л. Отношение норм поведения и мышления к языку. – В кн.: Новое в лингвистике. Вып.I.
[11] Уорф Б. Л. Отношение норм поведения и мышления к языку. С. 142.
[12] Там же. С. 154.

как собрание отдельных предметов, что наиболее характерно для классической физики и астрономии.

В работах Уорфа рассматриваются главным образом фундаментальные представления — категории субстанции, времени, пространства, т.е. как раз те, которые, как можно предположить без привлечения дополнительных допущений, с наибольшей вероятностью должны были бы являться общими для всех людей. Поэтому, когда языки фиксируют в своих элементах понятия субстанции, времени и пространства, то в этих элементах исследователь с наибольшей вероятностью может обнаружить общее содержание.

Уместный здесь вопрос может быть сформулирован так: о чем идет речь в таком обсуждении — о категориальной структуре человеческого мышления или о конкретном содержании соответствующих понятий? Если мы считаем, что категории являются формами мышления, то должны будем признать, что у нас нет оснований считать возможным "непредметное" мышление, не связанное с представлениями о предмете и его свойствах (которые навязываются нам категориями субстанции и акциденции). Точно так же вряд ли возможен естественный язык, лишенный всяких выразительных средств, позволяющих мыслить в нем качественно-количественные или пространственно-временные характеристики предметов. Единственный пункт в работах Уорфа, ставящий под сомнение "предметность" мышления, — утверждение, что в языке племени нутка нет деления на существительные и глаголы, а есть только один класс слов для всех видов явлений, — оставляет много неясностей. Сепир, напротив, настаивал на универсальности этого деления:

> Какой бы неуловимый характер ни носило в отдельных случаях различение имени (существительного) и глагола, нет такого языка, который вовсе бы пренебрегал этим различением. Иначе обстоит дело с другими частями речи. Ни одна из них для жизни языка не является абсолютно необходимой[13].

Итак, исследования Уорфа ставят под вопрос всеобщность категорий мышления как *форм связи* некоторого мыслительного содержания.

11.2.2 Конвенциональность грамматики

Грамматические значения языковых единиц оказываются, с такой точки зрения, связаны с "членением" мира с помощью грамматических категорий. Например, в английском языке слово "волна" — существительное, а в языке хопи — глагол. Оно принадлежит к разным грамматическим категориям, и тем самым язык в первом случае "принуждает" нас рассматривать волну как предмет, а во втором — как действие. Ответить на вопрос "что такое волна — предмет или действие?" без обращения к грамматическим категориям того или иного конкретного языка, по мнению Уорфа, невозможно. В этом выводе, который он обобщает до значения принципа, и заключается, очевидно, суть всей концепции.

[13] Сепир Э. Язык. Введение в изучение речи. — Сепир Э. Избранные труды по языкознанию и культурологии. С. 116.

Рассмотрим вопрос о роли грамматических категорий и связанных с ними грамматических значений.

В лингвистике принято различать грамматические и неграмматические значения, например, следующим образом. Значение называется грамматическим, если в данном языке оно выражается обязательно, т. е. всякий раз, когда в высказывании появляется элемент, значение которого может сочетаться с данным грамматическим значением; причем такие элементы образуют в языке большие классы и поэтому появляются в текстах достаточно часто. Если же некоторое значение выражается не обязательно и не появляется в текстах достаточно часто, то оно считается неграмматическим. С этой точки зрения значение числа в русском языке является грамматическим, так как всякое существительное обязательно имеет показатель числа — единственного или множественного. Грамматические правила русского языка вынуждают нас выражать это значение, независимо от того, считаем ли мы его существенным для сообщения или нет. Напротив, в китайском языке значение числа является неграмматическим: оно остается невыраженным, если нет нужды специально указывать число предметов, о которых идет речь. Значения, являющиеся грамматическими в одном языке, могут быть неграмматическими в другом. Более того, в соответствии с правилами того или ингого языка может происходить принудительная категоризация грамматических значений.

Можно предположить, что не всякое значение может быть грамматическим, так как трудно представить себе язык, в котором, скажем, различие между иволгой и сойкой выражалось бы грамматически. Обычно в качестве грамматических, т.е. подлежащих обязательному выражению, выступают более или менее абстрактные значения (времени, числа, деятеля, объекта, причины, цели, контакта, обладания, знания, ощущения, модальности, реальности, потенциальности, возможности, умения и т. п.). С лингвистической точки зрения представляют интерес те значения, которые хотя бы в некоторых языках являются грамматическими: именно они "входят" в структуру языка (правила кодирования сообщений), независимо от того, являются ли они в данном языке грамматическими или нет[14].

Считается, что язык тем совершеннее, чем меньше доля выражаемой в высказывании обязательной информации, вынуждаемой исключительно правилами кодирования, а не существом сообщаемого. Разбирая латинскую фразу ***illa alba femina quae venit*** ("та белая женщина, которая приходит"), Э. Сепир указывает, что логически только падеж требует в ней выражения; остальные грамматические категории или совершенно не нужны (род, число в указательных и относительных словах, в прилагательном и глаголе), или же не относятся к существу синтаксической формы предложения (число в существительном, лицо и время)[15]. Еще менее совершенен в этом отношении язык нутка. Грамматический строй этого языка вынуждает говорящего каждый раз, когда он упоминает кого-либо или обращается к кому-либо, указывать, является ли это лицо левшой, лысым, низкорослым, обладает ли оно астигматизмом и большим аппетитом. Язык нутка заставляет говорящего мыслить все эти свойства совершенно независимо от того, считает ли он соответствующую информацию существенной для своего сообщения или нет.[16]

---

[14] Апресян Ю. Д. Идеи и методы современной структурной лингвистики. М., 1966. С. 105-106.
[15] Сепир Э. Язык. Введение в изучение речи. С. 97.
[16] Сепир Э. Аномальные речевые приемы в нутка. — Сепир Э. Избранные труды по языкознанию и культурологии. С. 437-454.

Глагольная система языка навахо резко отличается от обычной в европейских языках системы обилием категорий, описывающих все аспекты движения и действия. Грамматические категории навахского глагола заставляют классифицировать в качестве разных объектов движение одного тела, двух тел, более чем двух тел, а также движение тел, различных по форме и распределению в пространстве. Даже предметные понятия выражаются не прямо, но через глагольную основу, и поэтому предметы мыслятся не как таковые, а как связанные с определенным видом движения или действия[17].

В этой связи можно допустить, что различие между иволгой и сойкой могло бы выражаться и с помощью грамматических значений. Если бы какое-нибудь племя знало только эти два вида птиц (или, по крайней мере, не очень большое их число), то в системе языка этого племени могли бы существовать такие глагольные окончания, одно из которых относило бы глагол ("летит", "сидит", "клюет") к иволге, другое – к сойке, а третье – ко всем остальным птичкам или вообще предметам. В этом случае говорящий не мог бы сказать "летит", не указывая в то же время, что летит: иволга, сойка или что-либо третье — так же, как в русском языке мы не можем сказать "читал", не указывая одновременно, относится ли данное сообщение к существу мужского, женского или среднего рода: ***читал – читала – читало***.

Рассмотренный пример свидетельствует в пользу того, что в принципе любые лексические различия могут быть выражены с помощью грамматических категорий и тем самым представлены в качестве грамматических значений в каком-либо — пусть лишь возможном — языке. Безотносительно к языку нельзя указать никакой границы между лексическими и грамматическими значениями.

Итак, язык, которым мы пользуемся и из круга которого можем выйти, лишь попадая в другой круг, предписывает нам соответствующую систематизацию и категоризацию мира. С такой точки зрения, языковая система априорна: она призвана организовать "калейдоскопический поток впечатлений"; синтез этого "чувственного многообразия" с языковой формой дает нам картину мира, которая может быть сходна с другими картинами только при сходстве или, по крайней мере, при соотносительности языковых систем:

> Определить явление, вещь, предмет, отношение и т. п., исходя из [их] природы, невозможно; их определение всегда подразумевает обращение к грамматическим категориям того или иного конкретного языка[18].

Грамматические категории и соответствующие им значения более консервативны и изменяются гораздо медленнее, чем лексика. Это приводит к тому, что новое содержание, зафиксированное в лексических значениях языковых единиц, начинает противоречить грамматическим значениям с которыми оно оказывается связанным. Мы, например, знаем, что молния — это не предмет, подобно столу, стулу и т. д., и тем более сама по себе она не имеет никаких родовых признаков, хотя слово "молния" в русском языке — существительное женского рода. Так, одни грамматические категории кажутся нам совершенно "искусственными", не соответствующими ничему в реальности, как, например, категория рода имен

[17] Hoijer H. Cultural Implication of Some Navaho Linguistic Categories. — Language, v.27, #2, 1951.
[18] Уорф Б. Л. Наука и языкознание. С. 177.

существительных для неодушевленных предметов в русском языке, другие же — "естественными", указывающими на способы существования внешней реальности: категория числа, категория времени для глагольных форм и т. д.

Современному обыденному сознанию свойственно отличать реальную действительность от мыслимой и параллельно этому — лексические значения (понятийный состав мышления) от грамматических форм их выражения. Но таким обыденное сознание было не всегда. Например, древний грек еще почти не отличал своего мышления от реального существования, самого себя от природы вообще: миф был для него целостной, окончательной, реально существующей действительностью. Что же касается понятия и слова, то даже в гораздо более поздние времена их неразличимость, единство, доходящее до полного тождества, находило свое выражение в термине ***λογος***, не имеющем точного аналога в современных европейских языках. Грамматические характеристики слова не отличались от его понятийного содержания и вместе с этим последним переносились на реальную вещь. В определенном отношении можно сказать, что некоторые грамматические категории современных языков являются памятниками минувших эпох в развитии человеческого сознания. Так, например, категория рода имен существительных может рассматриваться, по-видимому, как рудимент анимистического сознания наших предков, которым физические предметы представлялись одушевленными существами. Лексические и грамматические значения дополняют друг друга и только в своем единстве образуют картину мира, фиксируемую в данном языке. С этой "дополнительностью" мы сталкиваемся при переводах с одного языка на другой: одна и та же информация в одних языках фиксируется в лексических, а в других — в грамматических значениях (например, перевод с русского языка на китайский влечет трансформацию грамматических значения числа в лексические).

11.2.3 Конвенциональность лексики

Наибольшее внимание конвенциональности лексики уделяют представители современного неогумбольдтианства, сторонники так называемой теории семантических полей — Л.Вайсгербер, Й.Трир и др.; с их точки зрения, лексический состав языка представляет собой классификационную систему, сквозь призму которой мы только и можем воспринимать окружающий мир, несмотря на то, что в природе самой по себе соответствующие подразделения отсутствуют. Содержащаяся в языке классификационная система вынуждает нас выделять в окружающем мире такие предметы, как "плод", "злак", и противопоставлять их "сорняку" с точки зрения их пригодности для человека. Мы выделяем "плод" и "злак" и противопоставляем их "сорняку" не потому, что сама природа так делится, а потому, что в этих понятиях зафиксированы различные способы, правила нашего поведения. Ведь по отношению к сорняку мы поступаем отнюдь не так, как к злаку. Это различие в способах нашего действия, зафиксированное словом, определяет и наше видение мира, и наше будущее поведение. Например, Уорф приводит ситуацию, в которой слово "пустой", примененное к порожним бензиновым цистернам, определяло неосторожное обращение с огнем работавших поблизости людей, хотя эти цистерны более огнеопасны из-за скопления в них паров бензина, чем наполненные.

Тезис о существовании в языке более или менее специфической классификационной системы обычно не вызывает возражений; вопрос в том, насколько велико влияние языка и содержащейся в нем классификационной системы на восприятие мира. Где доказательства тому, что от той или иной терминологии зависит, например, восприятие цвета? Как показали исследования самых разнообразных языков, спектр "распределяется" различными языками по-разному.

Проблема влияния лексики на восприятие содержит в себе минимум два вопроса:

1) может ли человек воспринимать те явления, свойства — например, цвета — для которых в его родном языке нет специальных слов?
2) оказывает ли лексика языка влияние на восприятие этих явлений на практике, в повседневной жизни?

Количество названий цветов, а также их распределение по различным частям спектра в различных языках зависит в первую очередь от практической заинтересованности в различении цветов и в их обозначении, от частоты, с которой те или иные цвета встречаются во внешнем мире. Если, например, разбить цвета на три группы (ахроматические, красно-желтые и зелено-синие), то окажется, что в русском (как и в немецком, английском, французском языках) названий для хроматических цветов больше, чем для ахроматических, а для красно-желтой группы больше, чем для зелено-синей, в ненецком же языке названия распределены по всем этим группам равномерно. Одно из объяснений сравнительно высокого уровня развития в ненецком языке названий для ахроматических, а также для зеленых и синих цветов можно искать в практической значимости различения соответственных окрасок в условиях жизни на Крайнем Севере. И наоборот, объясняя причину отсутствия в языке африканского племени аранта особого слова для обозначения синего цвета, указывают, что в окружающей людей этого племени природе, за исключением неба, нет синего цвета. Слово, обозначающее желтый и зеленый цвет, может быть использовано людьми этого племени также для обозначения синего; однако из этого использования слов не следует, будто аранта смешивают эти цвета на деле, зрительно[19].

Количество цветов, которые человеческий глаз способен различить в предметах, определяется в пределах примерно от пятисот тысяч до двух с половиной миллионов. Между тем число простых названий цвета (***красный, лимонный***), зарегистрированных в толковых словарях европейских языков, как правило, колеблется около сотни, а число составных названий (***кроваво-красный, лимонно-желтый***) равняется нескольким сотням. Налицо диспропорция между количеством цветов, различаемых глазом, и количеством их названий. Таким образом, человеческий глаз может воспринимать и те цвета и цветовые оттенки, для которых в языке нет названий, но человек быстрее и легче воспринимает и дифференцирует то, на что наталкивает его родной язык.

Рассмотрение языка как динамической системы указывает на необходимость генетического подхода к анализу лексических значений: в самом деле, человеческое познание всегда обусловлено мышлением предшествующих поколений, зафиксированным в языке, в его лексическом составе. Многовековая практика языкового сообщества, сложившаяся система мышления аккумулировали

[19] Nida E. Language Structure and Translation. Stanford, 1975. Pp. 185-188.

и преобразовали коллективный эмпирический опыт, вследствие чего результаты восприятия всегда содержат в себе в большей или меньшей степени момент рациональной обработки. Мысль, опирающаяся на базу готовой языковой формы, возникает при прочих равных условиях быстрее и легче, чем мысль, не имеющая такой опоры в родном языке говорящего. Язык влияет на формирование новых мыслей через значения терминов, в которых так или иначе отразились и закрепились познавательная деятельность предыдущих поколений и их опыт; он сообщает возникающей мысли устойчивость и необходимую определенность. Уже в силу этого можно говорить о том, что значения терминов, определемые внешней действительностью, формируются не независимо от данного языка, а под влиянием эмпирического и рационального опыта предыдущих поколений, зафиксированного в системе языка.

Язык не в одинаковой степени влияет на оформление мысли в разных случаях: так, можно предположить, что его роль здесь тем важнее, чем менее прямой и непосредственной является связь с соответствующим предметом внешней языку действительности. Например, хотя русский и английский языки по-разному формируют мысль о таких предметах, как рука и нога (русский язык направляет внимание на эти конечности как целое, без необходимости не отмечая, какая из их частей имеется в виду, а английский или французский выделяет ту или другую часть руки или ноги, даже когда в этом нет необходимости), все же сами эти предметы таковы, что легко усмотреть различие их частей и можно скоро приучиться к оформлению мысли о них как о двух различных частях, или, напротив, привыкнуть думать о них как о целом.

Точно так же по-разному оформляют мысль русский и английский языки, с одной стороны, и французский и немецкий – с другой, когда речь идет о знании. Знать можно самые разные вещи: математику, правила уличного движения, немецкий язык, определенное лицо, номер его телефона и т. д., не задумываясь о том, что все эти виды знания существенно различны. Русский язык, так же как английский, ничего не "подсказывает" в этом отношении, не наталкивает на классификацию видов и разновидностей знания. Напротив, французский язык требует от пользующихся им, чтобы они обязательно различали знание как "понятие о чем-либо, или научное (теоретическое) знание" и знание как "практическое знание, умение", и обозначали эти два вида знания соответственно словами ***connaître*** и ***savoir***.

В первом случае такие объекты мысли, как нога и рука, вполне понятны, определенны и без обозначения их словами: они доступны для непосредственного сенсорного восприятия и т. п. Поэтому особенности языкового оформления отходят на второй план, не имея существенного значения для самой мысли. Во втором же случае влияние языка (т.е. образование мысли под воздействием предшествующего общественного опыта, отложившегося в семантике языка) имеет большей частью решающее значение для возникновения именно такой, а не иной мысли. Различать два вида знания, помимо отдельных частных случаев, и распределять по ним эти частные случаи, пользуясь такими широко обобщающими словами, как русское ***знать*** и английское ***to know***, можно, лишь привлекая дополнительные лингвистические средства. И наоборот, усвоив вместе с языком привычку постоянно дифференцировать два вида знания посредством таких слов, как французские ***connaître*** и ***savoir***, трудно отвлечься от соответствующих различий и мыслить "знание вообще". Здесь оформление мысли оказывается

неотделимым от создания самой мысли, от ее содержания. Язык уже настойчиво навязывает то или иное обобщение и различение в осознании отдельных фактов действительности.

В результате того, что каждый язык представляет собой индивидуальную, неповторимую систему языковых значений, отдельные значения, входящие в систему данного языка, часто оказываются несоизмеримыми со значениями другого языка, и в силу этого перевод теоретически кажется невозможным. Однако можно предположить, что при теоретической непереводимости перевод существует практически вследствие того, что значения того и другого языка обозначают одну и ту же действительность, и поэтому имеется возможность с помощью сочетаний значений дать на любом языке приблизительный эквивалент данному значению любого другого языка. Чем более простое значение мы берем, тем с большим основанием можем говорить о непереводимости и отсутствии адекватности. Чем более сложным является значение, тем более близкий возможен перевод, так как в определенном пределе совокупность значений одного и другого языка отражает одну и ту же внешнюю действительность. Но каким образом все же мы могли бы быть уверены в том, что система значений языка хопи в целом совпадает с системой английского? Ссылка на одну и ту же внешнюю действительность ничего не доказывает, потому что в лексических значениях первого языка могли отразиться (в силу специфических условий жизни и деятельности) одни стороны этой действительности, а в лексике второго языка — другие ее стороны и аспекты.

Наше восприятие внешнего мира всегда понятийно направлено. Направленность зрения проявляется уже в том, например, что мы способны рассматривать фотографию как образ, вид дома. При этом мы не видим самой фотографии — бумаги с черно-белыми пятнами. Наоборот, шестимесячный ребенок, который уже очень хорошо узнает мать, не может "увидеть" ее на фотографии. Таким образом, то, что мы способны увидеть в окружающем нас мире, какие "предметы" мы выделяем в нем, — зависит от разработанности наших понятий или (что в данном случае одно и то же) от содержания лексического состава языка.

Вопрос, возникающий в этой связи, возвращает нас к понятию "замкнутого языка" Айдукевича: итак, накладывает ли структура языка какие-либо ограничения на его лексический состав или же лексика (понятийный аппарат) может безгранично расширяться?

Так, в работах противников гипотезы лингвистической относительности (например, Макса Блэка) предполагается, что структура языка не накладывает каких-либо существенных ограничений на лексику и соответствующий ей понятийный аппарат. С такой точки зрения различия между языками в лексике интерпретируются как эмпирический факт, а не как логическая необходимость[20]. Из этого обстоятельства следует отсутствие принципиальных ограничений круга понятий у носителей данного языка, поскольку он может быть пополнен, а следовательно, и картина мира, сложившаяся на базе их языка и соответствующей понятийной системы, может быть тождественной другим картинам мира, связанным с иными языковыми системами.

[20] Блэк М. Лингвистическая относительность (теоретические воззрения Бенджамена Л. Уорфа). — В кн.: Новое в лингвистике. Вып. 1. С. 212.

В самом деле, естественный язык представляет собой открытую систему в том отношении, что если в языке нет слова для выражения какого-либо нового понятия, то последнее может быть передано словосочетанием, заимствованным из другого языка, или специально придуманным словом. Отсюда различия в структуре языка определяются экстралингвистическими факторами: характером и историей культуры сообщества носителей данного языка и т.д.; язык же является открытой системой, с такой точки зрения, прежде всего по двум обстоятельствам:

1. Язык стремится зафиксировать все явления внешнего мира и все отношения между ними, при том, что существует неограниченное количество фиксируемых явлений, которые к тому же постоянно изменяются.

2. Язык стремится зафиксировать явления в соответствии с максимально эффективной системой правил действия (метаязыком). Но и эти правила тоже постоянно меняются в связи с изменениями лексики языка и непрекращающимися попытками улучшить сами правила.

Однако в такой форме язык может быть описан только в идеале. Чем ближе описание языка к реальным практическим целям, тем оно конкретнее и замкнутее. Прикладные исследователи изначально определяют, какие ограничения они устанавливают при описании, какие цели ставят перед собой, каков будет состав отобранной лексики и грамматики и как придется работать над отобранным материалом. Результатом их усилий всегда будет замкнутая языковая система, более или менее отличная от своего открытого идеала. Овладение рядом замкнутых систем позволяет изучающим ту или иную языковую систему выработать навыки работы с материалом и приближает его к максимальному овладению системой. Постижение естественного языка продолжается для человека всю жизнь; сама система этого языка находится при этом в состоянии постоянного изменения, и попытки полностью постичь ее поэтому никогда не могут быть завершены.

Поэтому когда мы говорим об описании естественного языка как открытой системы, в действительности мы говорим скорее о его описании как системы замкнутых систем. Отвлекаясь от некоторого технического различия в определении замкнутого языка у Айдукевича и Тарского, можно сказать, что выделение последним отдельного языка, в котором формулируются утверждения о семантических свойствах исходного объектного языка, в определенном смысле призвано именно преодолеть дихотомию открытого и замкнутого языков путем представления открытого языка в виде системы замкнутых языков. Такой подход соответствует результатам, описанным в § 2.2.2 в связи с идентификацией значений в референциально непрозрачных контекстах. Поэтому при обращении к эпистемологическим основаниям дистинкции концептуальной схемы vs. содержания мира оказывается, что основания верификации значений обнаруживаются в ее первой части. Иными словами, истинность выражения может быть описана как истинность относительно некоторой концептуальной структуры.

В самом деле, относительность истины представляется непременной предпосылкой, если мы пытаемся говорить о конвенциональности значения, удерживая при этом представления о связи значения языкового выражения с условиями его истинности.

11.3 Конвенциональность истины и значения

11.3.1 Согласование концептуальных схем

Релятивистские представления обычно развиваются в терминах когерентной теории истины[21], восходящей в современной традиции к Ф. Брэдли. Согласно когерентной теории, мера истинности высказывания определяется его ролью и местом в некоторой концептуальной системе. Чем более связны, или согласованы между собой (coherent) наши идеи, тем в большей степени они истинны[22].

Вопрос о том, может ли когерентная истинность быть использована для определения значения в рамках условие-истинностного подхода, остается недостаточно проясненным. Однако следует отметить, что для такой семантической теории оказалось бы справедливым ограничение Куайна, определяющее аналитически истинные утверждения языка *L* как не более чем имеющие соответствия в заданном классе аналитических утверждений этого языка.

Выше представления подобного рода были рассмотрены на примере популярной модели истинностного релятивизма Джека Мейланда, остающейся в пределах корреспондентной истинности. Согласно этой теории, понятие абсолютной истины представляется понятием двухместного отношения между языковыми выражениями, с одной стороны, и фактами или состояниями дел, с другой; понятие же относительной истины может быть представлено как трехместное отношение между суждениями, миром и третьим термином.

Каким образом такое более общее понятие истины могло бы включать эти два подмножества? Если мы хотим выразить понятие относительной истины в контексте некоторой корреспондентной концепции истины, то нам следует

> различать соответствия с двумя и с тремя терминами. Другими словами, мы можем включить и абсолютную истину, и относительную истину в более общее понятие соответствия с действительностью, хотя эти два типа соответствия могут значительно отличаться друг от друга[23].

Каким образом концептуальная схема *W* могла бы дать такое понятие соответствия с тремя терминами, которое было бы так же легко интуитивно схватываемо с очевидной ясностью здравого смысла?

С абсолютистской точки зрения мир существует одним определенным способом, обладает определенной структурой, т.е. его части находятся в определенных отношениях и т.д., и эта структура открыта для фиксации в истинных выражениях. Например, представляется ясной интуиция, согласно которой содержание мира состоит из частей различных классов или видов (natural kinds), и эти категории — естественные виды — таким образом реифицированы, а не просто наложены на содержание мира как некоторая искусственная классификация[24]. Термины естественных видов существенно отличаются от других знаков языка тем, что они требуют "понимания" или "знания" того, что они означают. Но такого типа

---

[21] Davson-Galle P. Realistic Truth Relativism, Frameworks Of Belief And Conceptual Schemes. — Electronic Journal of Analytic Philosophy, 4:1, 1996. [1]

[22] Bradley F. H. Appearance and Reality. 2nd ed. Ox., 1930. P. 477.

[23] Meiland J. Concepts of Relative Truth. P. 574.

[24] Linsky B. Natural Kinds and Natural Kinds Terms. Stanford, 1975. P.7-35.

определения нельзя применять для естественных видов. Поэтому необходимо обращение к более сущностным свойствам, выражающим внутреннюю структуру таких объектов.

Категоризация может фиксировать естественные виды как некоторые идентичности способов существования различных частей мира. Но в таком случае термины естественных видов и термины конвенциональной категоризации указывают на различные — обладающие различным онтологическим статусом — категории содержания мира.

Выражение, указывающее на некоторые естественные виды и на связи между ними, способно быть истинным в отношении прямого соответствия миру. Либо мир таков, что он содержит эти виды, и они состоят в этой связи, либо нет. Это прямое двухместное отношение, которое может быть использовано для прояснения характера референции абсолютно-истинного выражения. "*P* абсолютно истинно" будет означать в таком случае: "мир таков, что в его содержание входят элементы тех видов, на которые указывает *P*, и эти элементы состоят в той связи, на которую указывает *P*".

Напротив, выражения, указывающие на некоторые конвенциональные классы и на связи между ними, не могут быть истинны в отношении такого же прямого соответствия миру, как абсолютно-истинные выражения, потому что они оперируют категориями, находящимися в ином отношении к содержанию мира. Эти категории принадлежат некоторой концептуальной схеме, так или иначе не тождественной содержанию мира. В результате возникает трехместное отношение между выражением, миром и конвенциональной концептуальной схемой, ассоциированной с выражением. "*P* истинно относительно конвенциональной концептуальной схемы *W*" будет означать в таком случае: "мир таков, что его содержание может быть традиционно (скажем, в силу действующего соглашения) классифицировано посредством *W* тем способом, на который указывает *P*"[25].

Такой подход не означает взаимоисключаемость абсолютной и относительной истин: выражение может являться в одно и то же время и абсолютно, и относительно истинным. Концептуальная схема *W* может использовать категории, которые образуют не только искусственные классы, но также и естественные виды. Кроме того, некоторое выражение *P* может быть абсолютно-ложно, потому что термины *W* будут не в состоянии указывать на естественные виды, но относительно-истиннно, потому что мир охватывается конвенциональными категориями тем способом, на который указывает *P*. Отсюда следует, что хотя абсолютная истина так же, как и относительная, располагает ассоциированной концептуальной схемой, определяющим различием является онтологический статус этой схемы. В этом, в частности, состоит причина того, почему относительная истина может быть выражена трехместным отношением, а абсолютная — нет: третий термин такого отношения, концептуальная схема, должен быть отчетливо отделен от двух остальных[26]. Схема *W*, истолкованная как схема внешних (конвенциональных) классификаций, удовлетворяет этому требованию, но если *W* полагается не более чем констатацией признаков референта, то такое *W* не будет обладать достаточной онтологической автономностью от референта: отношение *W* — референт не будет коррелировать с отношением *P* — референт, и, следовательно, трехместное отношение между этими тремя терминами не будет ни онтологически однородным, ни сообщающим

[25] Davson-Galle P. Neo-Meilandian Truth-Relativism of a Weak Sort. — Electronic Journal of Analytic Philosophy, 2:1, 1994. [26]; [38]

[26] Siegel H. Relativism Refuted: A Critique of Contemporary Epistemological Relativism. P. 12.

о мире нечто значимое. Поэтому привлечение концептуальной схемы для выражения абсолютной истины оказывается избыточным.

Отсюда проясняется индивидуальный характер понятия **"концептуальная схема"**: это — **индивидуальная картина мира, образуемая системой ментальных репрезентаций (концептов)**.

Существует столько *W*, сколько есть языковых субъектов (носителей языка *L*), и существует множество референций, истинных для всех *W*. Такое множество некоторым образом характеризует область конвенционального для всех носителей языка *L* — например, можно сказать, что оно представляет ее содержание. Если же мы универсализируем понятие концептуальной схемы — допустим, отождествляем владение концептуальной схемой с владением языком, — то мы затрудняемся объяснить с его помощью понятие конвенции, поскольку впадаем в порочный круг, о котором предостерегал Куайн: для того, чтобы применять конвенцию, которая была бы достаточно общей для обеспечения истинности высказываний, мы уже будем должны использовать истинные высказывания в рассуждении, применяющем конвенцию к индивидуальным приложениям.

Именно отрицание индивидуального характера концептуальной схемы, ее отождествление с языком приводит Дэвидсона к выводу:

> То, что прежде звучало подобно сенсационному: открытию – истина относительна к концептуальной схеме – оказалось не более чем скучным и хорошо известным фактом, что истина предложения относительна к включающему в себя данное предложение языку[27].

Эти взгляды Дэвидсона встретили как поддержку[28], так и критику за "чрезмерный верификационизм"[29]. Последняя точка зрения представляется более обоснованной.

Рассмотрим, каким образом одно выражение *P* может быть в одно и то же время истинно относительно одной концептуальной схемы, W_1, и неистинно относительно другой, W_2. К. Суойер назвал такой подход, согласно которому *P* будет иметь только одно ассоциированное *W*, "сильным релятивизмом" в противоположность "слабому релятивизму", где выражение может быть истинно относительно W_1 и при этом вообще не формулируемо в терминах W_2[30].

Ценность "слабого" варианта концепции относительной истины для обоснования языковой конвенции будет зависеть от возможности существования радикально различающихся концептуальных схем. Если в сообществе носителей языка *L*, включающем *n* членов, действует соглашение по поводу употребления *P*, то это означает, что *P* истинно относительно $W_1, W_2, \ldots W_n$. Тогда $W_1, W_2, \ldots W_n$ должны иметь некоторую область пересечения Ξ, содержанием которой будет множество всех высказываний, тривиальным образом истинных для всех носителей языка *L*. Область Ξ может быть описана с помощью интенсиональной функции[31], областью определения которой будет множество всех возможных правильных высказываний языка *L*, а областью значения — множество всех возможных истинных референций, выражаемых на этом языке. Логика нашего языка предполагает эти референции: таким способом конституируется все, что мы можем сказать о мире. По отношению к конвенции это означает, что связь между высказываниями и их

[27] Дэвидсон Д. Об идее концептуальной схемы. С. 150.
[28] Edwards S. Relativism, Conceptual Schemes and Categorial Frameworks. Aldershot, 1990.
[29] Davson-Galle P. Neo-Meilandian Truth-Relativism of a Weak Sort. [5]; Swoyer C. "True for". P. 99.
[30] Swoyer C. "True for". P. 92.
[31] Льюиз Д. Общая семантика. — В кн.: Семиотика М., 1983. С. 259. (Lewis D. General Semantics. — In: Davidson D., Harman G. (eds.) Semantics of Natural Language. Dordrecht, 1972.)

референтами задает пределы функционирования соответствующих соглашений. Поскольку мы способны усматривать такие пределы, постольку мы не можем говорить о том, что так заданная связь и, соответственно, логика языка суть результаты конвенции. Конвенция выступает в качестве регулятива, создавая **условия интерсубъективной проверяемости индивидуальных концептуальных схем**. Прояснение смысла конвенции и ее роли в формировании значений может быть осуществлено в направлении определения функциональных границ конвенции по отношению к значениям путем генетического анализа значений, которые полагаются конвенциональными.
Рассмотрим два примера.

I. Предположим, что мальчик-африканец спрашивает у своего учителя из советского культурного представительства "Скажите, дяденька: снег — он какой?" — при том, что учитель понимает, что это вопрос и что он обращен к нему. Учитель (А) честно объясняет ему, что снег белый и т.д. Другой же учитель (Б) вместо ответа, как дзэнский монах, бьет ученика палкой по голове, не забыв после этого заботливо переспросить: "Ну, теперь понял?" И в первом, и во втором случаях оба учителя представляли себе ситуацию: они понимали, что это вопрос, и что он обращен к ним, и, более того — что эта ситуация должна быть реализована в направлении достижения понимания со стороны ученика. В этом смысле, можно считать, что оба учителя, А и Б, разделяли сходные цели; однако, их подходы к успешной реализации данной ситуации различаются, так что, если ученик и наблюдатели ожидают, что на вопрос последует ответ и разъяснения, то они будут удивлены поведением Б: в этом контексте (это контекст определенного понимания ситуации, которое мы можем считать конвенционально заданным) такое оформление, в том числе и языковое, этой ситуации будет развивать ее в направлении, обратном направлению к цели, то есть к объяснению. Для Б же, наоборот, его действия означают движение к цели — они направлены на то, чтобы вызвать у ученика состояние понимания.

II. Предположим, что А и Б верят в загробную жизнь. Они говорят на одном языке и понимают друг друга. Но Б приводит такое доказательство этого тезиса, которое А никак не может считать доказательством. Это означает, что совпадение полаганий А и Б по вопросу о загробной жизни не может быть проверено, поскольку не имеет общего поля интерсубъективной истинности. Можно ли тогда считать, что А и Б говорят об одном и том же? Где здесь границы конвенции?

Если А в ответ на требование Б предъявить доказательства существования загробной жизни бьет его палкою (не насмерть) с целью убедить собеседника, то мы полагаем (сторонний наблюдатель В может считать), что они действовали в рамках разных конвенций. Для А его действия обладали доказательной силой, а для Б — нет.

Поскольку А и Б говорят на одном языке, то W_a и $W_б$ имеют общее Ξ, но из примеров мы видим, что конвенция не всегда является источником интерсубъективной проверяемости. В данном случае для успеха проверяемости W_a и $W_б$ должны не только иметь общее Ξ, но и иметь возможность дальнейшего взаимного согласования концептуальных схем, которое может быть проведено относительно внеязыковых ориентиров. Конвенция задает рамки и/или указывает

направление такого согласования, но не заполняет его предметную (содержательную) область[32].

Таким образом, ситуации, которые мы можем рассматривать как примеры реализации конвенций, предстают как целесообразное единство действий и языковых выражений. Такая ситуация предполагается развивающейся в направлении соответствующей цели — например, достижения понимания — при правильном применении языка. Можно сказать, например, что языковое выражение употреблено правильно, если цель, которую ставил перед собой говорящий при его произнесении, достигнута. Поэтому если мы строим объяснение конвенции на "слабом" варианте релятивизма, то такое объяснение предполагает не то, что необходимые истины созданы в соответствии с соглашением, а только то, что необходимые истины (например, естественнонаучные) традиционно выражаются в одних терминах скорее, чем в других.

Итак, мы установили, что языковая конвенция обеспечивает возможность взаимного согласования индивидуальных концептуальных схем и что пределы такого согласования связаны с характером отсылки к внеязыковому миру, представляемой языковыми выражениями. Поэтому дальнейшее обсуждение конвенции должно более определенно учитывать соотношение между языковыми знаками, концептуальными схемами и внеязыковым миром.

11.3.2 Онтологический статус концептуальных схем

Если выражение *P* истинно как относительно W_1, так и относительно W_2, то это означает, что и W_1, и W_2 располагают достаточными концептуальными ресурсами для того, чтобы быть сопоставимыми друг с другом. Но если бы это был единственный вид взаимоотношений концептуальных схем, связанных с предложениями, указывающими на один и то же феномен, то релятивистская концепция работала бы в конечном итоге совершенно аналогично абсолютистской. Различие между концептуальными схемами сводилось бы к тому тривиальному факту, что некоторый идиолект может содержать простые предикаты, объему которых в некотором другом идиолекте не соответствует ни один простой предикат или не один предикат вообще — и, соответственно, отождествление владения языком и владения концептуальной схемой, в духе Дэвидсона, было бы оправдано. Тем не менее наличие общей для двух идиолектов онтологии, содержащей понятия, которые индивидуализируют одни и те же объекты, само по себе еще не гарантирует пересечение концептуальных схем носителей этих идиолектов. Поскольку содержание мира может быть отражено в различных концептуальных схемах различным образом, поскольку оно открыто для различных способов концептуализации, в том числе и для несоизмеримых[33] — постольку регулятив, управляющий взаимным согласованием концептуальных схем, должен быть открыт для онтологического анализа.

В самом деле, если мы скажем, что все истинные выражения истинны относительно концептуальной схемы конвенциональных классификаций, связанных с обсуждаемым выражением, то такой тезис может быть оспорен на непосредственном основании собственного истинностного статуса. Если сам тезис

[32] Лебедев М. В., Черняк А. З. Конвенция: опыт генетического анализа. — Философские исследования, 1996, № 3.

[33] Putnam H. Reason, Truth and History. Cambridge Mass., 1981. P. 115.

истинен лишь относительно, то он, если истинен, опровергает сам себя, составляя собственный контрпример[34]. Если же, с другой стороны, тезис относительной истины приемлем для сообщения о себе, значим относительно самого себя, тогда, в силу того, что он может являться в лучшем случае лишь относительно истинным, он сам сужает свою значимость, снижает свою релевантность для того, для кого относительная истина релятивизована к другой концептуальной схеме.

Поэтому, возможно, следует ограничить область применения понятия относительной истины выражениями о содержании мира, т.е. выражениями объектного языка. Такое ограничение соответствовало бы онтологическому тезису о конвенциональной категоризации содержания мира: в центре оказываются выражения о содержании мира, а не метавыражения, заключающие о содержательных выражениях. П. Давсон-Галле формулирует такой ограниченный тезис относительной истинности объектно-языковых выражений следующим образом:

истинное выражение объектного языка истинно относительно концептуальной схемы конвенциональных категоризаций, связанных с обсуждаемым выражением[35].

Такое определение, будучи метаязыковым выражением, избегает самореференции и тем самым самоопровержения через представление контрпримера.

Однако вместе с тем выражения объектного языка, о которых оно заключает, также являются, в свою очередь, частью содержания мира, и поэтому заключающее о них выражение также может быть рассмотрено как выраженное на объектном языке. С такой точки зрения, проблема онтологического статуса конвенциональных категоризаций не может учитывать различие между выражениями, использующими непосредственно указывающие на содержание мира понятия, и метавыражениями относительно таких выражений. Если это так, то надежда избежать самоопровержения релятивизма, ограничивая область его приложения, не оправдывается.

Тем не менее прояснение этого различия важно для завершения описания того механизма, с помощью которого происходит взаимное согласование концептуальных схем. В ходе такого согласования языковое выражение подвергается интерпретации — которая, как известно, может иметь один из двух видов: описание в других знаках того же кода (парафраз) либо описание в знаках другого кода (перевод). Систематическое знание языка как языковая компетенция говорящего или слушающего предшествует интерпретации языкового выражения и конвенционально по природе[36]. Для того, чтобы показать пределы взаимного согласования концептуальных схем, следует выяснить, что́ именно может выступать в роли интерпретационного кода в концептуальных схемах — и, соответственно, в каком отношении находится интерпретационный код к содержанию мира.

Мы уже видели, что позиция, отождествляющая владение языком с владением концептуальной схемой, не является продуктивной для объяснения конвенции как стабилизатора значения. Мы приняли, далее, что концептуальная схема — это нечто большее, чем аналитический набор аксиом, с которым сравнивается выражение *P* для установления его истинности, поскольку использование набора неинтерпретированных выражений в качестве релятивизатора сталкивается с

[34] Meiland J. On the Paradox of Cognitive Relativism. — Metaphilosophy, 11, (1980). Pp. 115-126.
[35] Davson-Galle P. Neo-Meilandian Truth-Relativism of a Weak Sort. [38]
[36] Davidson D. A Nice Derangement of Epitaphs. — In: Lepore E. (ed.) Truth and Interpretation: Perspectives on the Philosophy of Donald Davidson. Ox., 1986. P. 434.

непреодолимыми трудностями[37]. Определив это "нечто большее" как систему ментальных репрезентаций, мы должны теперь показать, каким образом эта система может выступать в роли интерпретационного кода, т.к. в противном случае обсуждение конвенциональности значения в предложенном здесь направлении остается неполным.

Объявляя противопоставление концептуальной схемы эмпирическому содержанию "третьей догмой эмпиризма" (вслед за двумя Куайновыми — аналитико-синтетической дистинкцией и редукционизмом), Дэвидсон исходил из того, что как аналитико-синтетическая дистинкция, так и концептуальный релятивизм, по его мнению, объяснимы в терминах идеи эмпирического содержания. Дуализм синтетического и аналитического является дуализмом предложений, которые истинны вследствие как своего значения, так и эмпирического содержания, и предложений, истинных лишь благодаря своему значению и не имеющих никакого эмпирического содержания. Однако поскольку мы считаем, что все предложения имеют эмпирическое содержание, которое объясняется через референцию к внеязыковому миру, постольку мы не можем отказаться от идеи эмпирического содержания. Таким образом, вместо аналитико-синтетического дуализма мы получаем дуализм концептуальной схемы и эмпирического содержания.

Трудно не согласиться с Дэвидсоном в том, что описанный им дуализм не может быть представлен в рациональной форме[38], но отсюда еще не ясно — и не видно, как может быть прояснено, — каким образом концептуальная схема может быть описана в терминах соответствия некоторой внешней ей сущности. Возможно, у эмпиризма была всего лишь одна догма, а именно — сама идея "эмпирического содержания". Говорить о конвенциональности "данного" возможно лишь постольку и лишь в том отношении, что собственно "данными" полагаются ощущения и другие явления сознания, которые мы не можем не воспринимать как таковые. Мы не можем принять, что мир находится у нас в голове; следовательно, явления сознания, на основании которых мы заключаем о мире, сами им не являются. То предположение, согласно которому именно эти явления и являются миром, неудовлетворительно уже в силу того, что их *наиболее сущностное* свойство — как раз свидетельствовать о мире, "быть направленными на объект". У нас нет никаких других свидетельств о мире, кроме феноменов; о мире и о самом его существовании мы заключаем из факта невозможности (по крайней мере, без специальных технических ухищрений) воспринимать явления нашего сознания иначе, чем относящимися к чему-то внешнему по отношению к ним.

Репрезентация предмета включает нас в определенную заданность, позволяющую нам воспринимать предмет именно в качестве такового. Такие представления могут быть свойственны радикальной позиции, согласно которой не существует трансцендентной по отношению к сознанию реальности. Но и если мы будем рассматривать вещь (например, снег) даже с диаметрально противоположных позиций — как, скажем, материальный предмет, принадлежащий объективному миру, — то мы тем более не станем отрицать, что содержанием нашего сознания является не сам снег, а некоторая психическая сущность, ментальная репрезентация снега, "означаемое" в соссюровском понимании. Эта репрезентация существует в качестве таковой лишь одним способом: имея свое бытие вне себя. Сама идея репрезентации подразумевает, что это — некая сущность, отличная от другой сущности, к которой она относится или которую она

[37] Edwards S. Relativism, Conceptual Schemes and Categorial Frameworks; Davson-Galle P. Realistic Truth Relativism, Frameworks Of Belief And Conceptual Schemes.

[38] Дэвидсон Д. Об идее концептуальной схемы. С. 150-151.

представляет[39]. Отношение между этими двумя сущностями есть простейшее отношение означения. Наши визуальные, тактильные и иные сенсорные и рефлективные представления предмета — например, снега — являются знаками снега в языке непосредственного описания действительности — языке нашей концептуальной схемы, с помощью которой мы ориентируемся в мире и вообще способны делать все, что мы делаем. Концептуальная схема как *система* концептов и была бы тем "индивидуальным языком", невозможность которого постулирует соответствующий аргумент; но она — не язык: она является текстом на этом индивидуальном языке, языке непосредственного описания действительности. Этому языку не хватает "языковости" в том отношении, что он не обеспечивает коммуникацию — мы не можем непосредственно обмениваться с другими людьми нашими мыслями и т.п. (по крайней мере, согласно современным научным представлениям, спорить с которыми не представляется возможным — так же, как и считать вопрос закрытым). Но мы можем использовать — и используем — для описания нашей концептуальной схемы естественный язык, предстающий, таким образом, метаязыком по отношению к языку непосредственного описания действительности.

Поэтому вопрос о конвенциональности "данного" может быть поставлен следующим образом: являются ли метавыражения конвенциональных концептуальных схем абсолютно или же относительно истинными для своих концептуальных схем? Очевидно, это зависит от того, чем являются референты метавыражений: терминами естественных родов содержания мира или категориями конвенциональных классификаций. Указывают ли конвенциональные категории, связанные с понятием относительной истины, на естественные виды?

Ответ на этот вопрос будет зависеть от того, что́ мы признаем объектным языком концептуальной схемы, т.е. вопрос о том, являются ли метавыражения конвенциональных концептуальных схем абсолютно или же относительно истинными для своих концептуальных схем?

Как попытки снятия описанного дуализма могут быть рассмотрены "философские языки", пик интереса к которым приходится на XVII в. Созданию философских языков предшествовал постулат рационалистической школы о том, что языки порождаются априорно заложенными в языковом сознании идеями; Бэкон, Декарт, Паскаль, Лейбниц, Локк отмечали неадекватность слов соответствующим понятиям и пытались найти другой тип знака, могущий выразить идею ближе к ее содержанию таким образом, чтобы она была понятна любому человеку на земле. Такой "подлинный знак" был призван передавать понятия (а не звуки) с помощью символов и лишь потом переводился бы на соответствующий язык. Аналогиями знаков такого рода признавались ноты, цифры, пиктограммы, иероглифы. Все они напрямую выражали идеи и могли быть поняты говорящими на любом языке.

Попытки выработать "подлинный знак" и на его базе философский язык были связаны с классификацией всего корпуса знаний о мире; соответственно, очень скоро такое деление оказывалось нарушенным, так как происходило переосмысление и пополнение научных знаний — т.е. знаний, с той или иной необходимостью являющихся общепризнанными.

Например, епископ Джон Уилкинс разделил все существующие знания на сорок разделов, таким образом пытаясь классифицировать все научные факты по их взаимосвязям. Уилкинс считал, что его разделы устанавливали реальные взаимоотношения вещей в природе, открывая подлинные связи между ними путем

[39] Вартофский М. Модели. Репрезентация и научное понимание. М., 1988. С. 31. (Wartofsky M. Models. Representation and the Scientific Understanding. Dordrecht, 1979.)

компоновки их в группы: "сравнение всех вещей по определенным параметрам, как это предложено в наших таблицах, позволяет проложить кратчайший и простейший путь к подлинному знанию о мире из всех когда-либо предлагавшихся"[40]. Для письма предлагался тот самый "подлинный философский знак", призванный непосредственно отражать понятие. Каждый знак включал значимые компоненты, в совокупности сочетавшиеся в понятие. Так, слово ***лосось*** ничего нам не говорит само по себе, своей внутренней формой; соответствующее слово ***zana*** у Уилкинса содержит в себе определение для человека, усвоившего сорок категорий и подвидов этих категорий: рыба, чешуйчатая, речная, с розовым мясом. Однако кит, которого Уилкинс поместил в класс рыб, вскоре, по выражению Борхеса, стал млекопитающим, а это повлекло за собой полную переделку классов в системе "подлинных знаков"[41].

Хотя поиски универсальных, не выбранных произвольно "элементов человеческой мысли", некоего lingua mentalis (Оккам) как основы любых возможных семантических построений связаны прежде всего с рационалистической традицией, вряд ли они являются специфически рационалистической интенцией. Скорее это одна из наиболее общих программ исследования проблемы связи между вещью и ее названием, причем такая программа, методология которой, возможно, в наибольшей степени отражает природу предмета, поскольку ясно, что исследование связи между вещью и ее названием отсылает к весьма глубоким основаниям знания: если и возможно усмотрение более предельных оснований, то оно тем не менее *ex definitio* не может быть вербализовано. В современных семантических теориях выбор элементарных терминов (primitive terms) предстает некоторым метафизическим ориентиром: либо он признается произвольным — что связано с конвенционалистским подходом к значению, — либо наоборот. Однако в последнем случае исследователю не обязательно занимать "реалистскую" позицию. Поскольку весьма трудно было бы указать удовлетворительные причины, по которым разрыв между теорией и эмпирическим фактом в семантике должен быть больше, чем в физике или химии, постольку выбор семантических "атомов" может считаться произвольным, с такой точки зрения, не в большей степени, чем установление списка химических элементов (в таком отношении эмпирически ориентирована теория "семантических примитивов" А. Вежбицкой[42]).

Таким образом, представляется затруднительным задать такую онтологию, в которой конвенциональные категории указывали бы на естественные виды. Само по себе это, разумеется, не означает и не может означать, что естественные виды "не существуют"; но отсюда следует, что для инвариантности интерпретации языковых выражений участниками коммуникационного акта — и, следовательно, для успешного функционирования языка — необходима возможность взаимного согласования индивидуальных концептуальных схем.

Подобный подход представляется преимущественным минимум в двух отношениях. Он позволяет

1. преодолеть ограниченность эмпиристской позиции, согласно которой знание семантических фактов относительно слов неотделимо от знания эмпирических фактов относительно обозначаемых этими словами предметов.

---

[40] Large A. The Artificial Language Movement. L., 1985. P 33.

[41] Борхес Х. Аналитический язык Джона Уилкинса. — Проза разных лет. М., 1984. С. 218.

[42] Wierzbicka A. Semantic Primitives. Frankfurt a. M., 1972; Wierzbicka A. Lingua Mentalis: the Semantics of Natural Language. Sydney, 1980.

Эмпиристский подход был, в свою очередь, вызван неприятием теорий "августинианского" вида, согласно которым значение является некоторой автономной сущностью. Однако впадение в противоположную крайность оказывается не более продуктивным для решения семантических проблем описания естественного языка. Рассмотрение значения как результата согласования концептуальных схем дает возможность избежать и этой противоположной крайности ("догмы реализма"?) и

2. отказаться от представления о значении как о сущности, которая может быть полностью описана без указания на процесс семиозиса. Таким образом, эта позиция представляет аналитический вариант подхода, восходящего в современной традиции к Ч. Пирсу и в той или иной степени разделяемого сегодня большинством лингвистов.

Итак, если мы теперь вернемся к вопросу о том, каким образом ситуация употребления знаков естественного языка может иметь форму ситуации существования соглашения об их использовании, действующего между членами языкового сообщества — при том, что такое соглашение не заключалось в действительности, или, говоря более строго, при том, что нам ничего не известно о действительном факте заключения такого соглашения и о возможности условий его заключения, — то мы можем сделать следующий вывод.
Говоря о "языковой конвенции", мы подразумеваем возможность взаимного согласования индивидуальных концептуальных схем, которое обеспечивает инвариантность дальнейшей интерпретации языковых выражений. Пределы взаимного согласования индивидуальных концептуальных схем устанавливаются их отношением к внеязыковому миру, через которое осуществляется обозначение языковыми выражениями элементов внеязыкового мира —или же, иными словами, для того, чтобы применение в концепции значения как условий истинности отвечало требованию онтологической нейтральности, необходима возможность взаимного согласования индивидуальных концептуальных схем, которое обеспечивало бы инвариантность дальнейшей интерпретации языковых выражений.

11.4. Каузальные теории референции

11.4.1 Идентифицирующие дескрипции

Как мы видели при обсуждении конвенциональности значения, использование понятия конвенции не решает проблему индивидуирующих функций, т.е. процедуру прослеживания индивидов сквозь возможные миры. Эта проблема обладает относительной независимостью от формальных проблем семантики возможных миров.

Для решения задачи идентификации предмета обозначения привлекается понятие дескрипции, понимаемой при этом как **языковая (текстовая) характеристика предмета по некоторым из его признаков, которая может употребляться в языке (речи) вместо имени этого предмета**. Успешность такого употребления выступает показателем релевантности тех параметров, по которым произведена дескрипция.

Например, вместо имени "Наполеон" можно употребить дескрипцию "побежденный при Ватерлоо" — или, скажем, дескрипцию "vaincu à Waterloo", являющуюся переводом первой на другой естественный язык. Вместе с тем дескрипция "побежденный при Бородино" будет указывать на Наполеона, а ее перевод на французский язык — "vaincu à Borodino" — наоборот, на его противника Кутузова: поскольку в указанном сражении было уничтожено примерно равное число людей с обеих сторон, а войска при этом остались на прежних позициях, то вопрос о том, кто же при этом оказался победителем, оказывается вопросом интерпретации. Естественный язык при этом выступает не в качестве некоторой эмпирической догмы ("язык, на котором в действительности говорят все французы"), а в качестве некоторого *основания формализации* (например — язык, совокупность всех тривиально истинных предложений которого единственным образом определяет объем понятия истины для его носителя). Дескрипция оказывается, таким образом, релятивизованной к некоторой *системе описания*, или *концептуальной схеме*. Наиболее простым — и наиболее привлекательным для многих, в том числе наиболее авторитетных, исследователей — путем снятия этой проблемы оказывается отождествление концептуальной схемы с языком. Однако такой ход не устраняет затруднений, связанных с идентификацией референта в интенсиональных контекстах. Для их элиминации привлекаются понятия коммуникативного намерения, иллокутивной силы высказывания и множество других, достаточно гетерогенных понятий, коррелирующих в том отношении, что они образуют некую "референцию говорящего" (К. Доннелан), управляющую семантической референцией.

Для устранения проблем, вытекающих из подстановки кореферентных выражений, в теориях значения привлекаются множество самых разнообразных техник и понятий, большинство из которых сходны в том отношении, что они апеллируют к представлениям о некой "референции говорящего", управляющей семантической референцией. Пафос подобных усилий заключается в следующем: поскольку невозможно непосредственное указание на объекты в референциально непрозрачных контекстах и требуются дополнительные идентифицирующие процедуры, постольку проблема референции оказывается связанной с проблемой *индивидуации* некоего предмета. Возможна ли все же индивидуация посредством именно дескрипций и каким требованиям должны отвечать такие дескрипции?

Суть принципа идентифицирующих дескрипций резюмирована в известном утверждении "дескриптивной метафизики" П. Стросона: "Имя ничего не значит без поддержки дескрипций". В соответствии с этим принципом знание ряда дескрипций обеспечивает возможность выделения "базисного индивида" — референта собственного имени — единственным образом. Так, возможность распознавания человека по имени Цицерон достигается при условии знания дескрипций "великий оратор" и "житель Древнего Рима" определенным образом. Однако, с этим требованием определенности понимания дескрипций, лежащих в основании индивидуации, связана проблема межконтекстуальной многозначности: дескриптивный способ указания не гарантирует выделения во многих ситуациях единственного референта, удовлетворяющего имеющимся в наличии дескрипциям.

Когда говорящий утверждает нечто, обладающее формой "*N* есть *P*", где *N* — имя, а *P* — предикат, то условия истинности выглядят следующим образом: сказанное истинно *TTT*:

а) имеется некая (объектная) сущность, связанная определенным образом с использованием имени "*N*";

б) предмет, существующий этой сущностью (т.е. существование этого предмета задает "наличие" этой сущности), обладает свойством, означенным "*P*".

Возникающий в связи с этим вопрос может быть сформулирован так:

каким образом идентификационные особенности предмета должна быть связана с использованием имени "N", чтобы имя указывало на предмет?

Согласно принципу идентифицирующих дескрипций, ответ заключается в следующем: такой объект должен обладать свойствами, которые фиксируются соответствующими дескрипциями. По традиционным представлениям, идущим от Рассела и Фреге, указание на предмет возможно в случае представления собственного имени как совокупности дескрипций: знание таких, например, дескрипций, как "ученик Платона" и "учитель Александра Македонского", считается достаточным для указания на человека по имени "Аристотель". Возможность указания при таком подходе определяется некоторым уровнем знания об объекте, а сама проблема указания ставится как эпистемологическая проблема. Теория Рассела о дескриптивном содержании имен (по крайней мере, обычных имен собственных) является фрегеанской в том отношении, что, согласно ней, имена обеспечивают референцию к вещам через дескриптивное содержание, которое связано с именем. Иными словами, имя связано с эквивалентным (синонимичным) множеством дескрипций, и имя относится к чему бы то ни было, что удовлетворяет всем (или наибольшему количеству из имеющихся или возможных) дескрипций. С такой точки зрения, дескрипции дают значение имени, определяя предмет референции, который является чем бы то ни было, что удовлетворяет (или лучше всего удовлетворяет) дескрипции. Так, имя собственное является сингулярным выражением обращения, которое используется, чтобы обеспечить референцию к единственному индивиду или предмету. Возникающий в этой связи вопрос таков: в силу чего имена отсылают к их носителям? Согласно Расселу и Фреге, имя выбирает своего носителя в силу некоторой связанной с именем дескриптивной информации, которая относится исключительно к носителю имени.

Таким образом, традиционные представления о дескрипциях могут быть рассмотрены как основанные на репрезентационистском подходе к языку. Если референциальная теория в ее традиционном (эмпиристском) варианте отождествляла значение выражения с тем, на что оно указывает, или с референциальной связью (т.е. не привлекала допущения об отождествлении знания с возможностью описания), то включение в поле рассмотрения Т-теорий референциально непрозрачных контекстов, неизбежное при анализе высказываний естественного языка, потребовало увеличения выразительных возможностей формальных систем. Для этого теория референции должна быть основана на такой концепции указания, которая позволила бы выразить более сложные взаимоотношения между предметом и концептуальной схемой. В связи с этим возникает тенденция говорить не столько о значении, сколько о формах представления значения, или об определениях терминов, позволяющих единственным образом выделить указываемый предмет. Обладать некоторым знанием предмета, достаточным для его идентификации, означает тогда располагать не просто информацией о предмете, но информацией о значении

термина, указывающего на этот предмет. Таковы, в частности, более современные референциальные ходы — жесткие десигнаторы, индексикалы, "референция говорящего" и т.д. Представляется, что, с такой точки зрения, описание предмета (трансцендентного описанию референта) с помощью дескрипции исходит из допущения о том, что этот предмет является так или иначе *данным*, заданным (pre-given); более же сложные виды описания исходят из несколько иного допущения, а именно: первичное описание предмета может быть помещено в контекст некоторой системы описания — или: имеется (дана, задана, может быть задана) такая система описания, что помещение в нее указания на описываемый референт не нарушит правил функционирования этой системы. Иначе — как, например, заметил Дэвидсон — такие каузальные теории референции не будут теориями значения, потому что они обратились бы к причинным отношениям между именами и объектами, о которых говорящие могут быть неосведомлены[43].

Если есть система взаимосвязанных (формально и содержательно) обозначений и в этой системе взаимосвязаны как дескриптивные, так и конструктивные по характеру отношения к реальности — а эта реальность полагается в пределе общей для дескриптивного выражения в данной системе предложений — то перед нами встает вопрос: как эта внутренняя взаимосвязность (единство) достигается и сохраняется в контексте различного характера соотнесения с реальностью внутри данной системы предложений? Уместный здесь вопрос может быть сформулирован следующим образом:

как осуществляется и как возможно дескриптивное расширение наличной реальности, означающее по существу увеличение знания о мире?

Поскольку мы считаем и дескрипцию, и более развернутые характеристики предмета — например, объяснение — различными видами *описания* некоторой сущности (в данном случае, трактуя термин "описание" подобным расширительным образом, мы не отступаем от современной аналитической традиции), постольку переход от одного вида описания к другому сам, в свою очередь, может быть описан. Такое описание перехода от дескрипции к объяснению предполагает установление некоторых критериев, руководствуясь которыми мы можем в случае необходимости говорить о таком переходе как о совершившемся (см. § 12.2.)

Указанная проблема достаточно широко обсуждалась в дискуссиях о "догмах эмпиризма", и отсутствие (или недостаточная мотивация) собственно эпистемологических оснований для формализации эмпирических данных в дедуктивных теориях не является на сегодняшний день специфически "анархическим" допущением: оно не оспаривается и вполне сдержанными исследователями. Однако здесь оказывается более релевантным прагматический критерий: поскольку теория отвечает целям не только объяснения уже известных фактов, но и *предсказания* новых, постольку она признается удовлетворительной, а отсутствие или невозможность *метаметодологического* обоснования теории как описания некоторой трансцендентной ей сущности не снижает ее ценности как теории. Применительно к языковым системам это означает, что если мы можем успешно употреблять термин в будущем таким же образом, каким мы его употребляли в прошлом, то сам этот факт выступает для нас в качестве более

[43] Davidson D. A Coherence Theory of Truth and Knowledge — LePore E. (ed.) Truth and Interpretation. Perspectives on the Philosophy of Donald Davidson. — Oxford, 1986. P.318.

релевантного критерия правильности или истинности обозначения, чем степень и собственно характер соотнесенности этого термина с его референтом. Таким образом, элементарные термины устанавливаются самим функционированием языковой системы. Н. Гудмен выразил эту мысль следующим образом:

> Термин выбирается в качестве элементарного не потому, что он является неопределяемым; скорее, он является неопределяемым в силу того, что он был выбран элементарным.

Поэтому важный для нас вывод, следующий отсюда, таков:

Дескриптивное содержание, которое мы связываем с именем, не представляет значение имени; оно используется скорее, чтобы *установить* референцию имени.

Указание дескрипциями само по себе возможно тогда и только тогда, когда мы предварительно уже обладаем некоторым знанием об указанном объекте. Тогда само указание сводится к *проверке* соответствия некоторых предикатов определенным свойствам, уже известным нам. Допустим, мы обладаем знанием следующей совокупности дескрипций: человек, который был великим оратором, жил в Древнем Риме и был лыс. Мы полагаем, что этим человеком был Цицерон. Однако наша уверенность в правильном указании основывается на том, что мы уже ранее обладали достаточными знаниями о человеке по имени Цицерон — достаточными в том смысле, что мы были способны ответить на вопрос: "на кого вы указываете?" Наше указание сводится к установлению соответствия между известными дескрипциями и ранее известными нам свойствами Цицерона.

Однако неясно — и неясно, с какой точки зрения может быть определено — какое количество дескрипций будет необходимым и достаточным для выделения объекта. Поэтому во многих ситуациях дескриптивный способ указания не обеспечивает выделения объектов или референтов единственным образом.

Недостатки указания дескрипциями обнаруживаются, например, при попытке указания с помощью одних и тех же дескрипций на один и тот же объект в различные периоды — скажем, на человека по имени Цицерон в юности, когда он еще не облысел, и в период позирования для бюста. Отсюда понятно, почему принцип идентифицирующих дескрипций не выдерживает некоторых контрпримеров: они возникают оттого, что возможны ситуации, в которых референт имени не выделяется данной совокупностью дескрипций, или ситуаций, в которых объект, удовлетворяющий такому описанию, не является искомым референтом. В последнем случае ситуация выглядит, с точки зрения корреспондентной теории истины, следующим образом: дескрипции действительно указывают на объект, но указание оказывается ложным.
Такого рода ситуации свидетельствуют о необходимости выделения двух моментов в указании: определения истинности или ложности значения имени указываемого объекта и определения истинности или ложности способа указания. Такая теория, которая отображала бы значение выражения, должна состоять:

а) из теорем Т-теории;

б) из теории выражений, используемых в Т-теоремах.

Отождествление этих моментов в принципе идентифицирующих дескрипций приводит к описанным трудностям.

Рассмотренные особенности дескриптивного способа указания приводят к вопросу о различии между знанием того, что означает данное выражение, и тем, что оно называет. Знание того, что такое вода, например, требует определенных знаний о воде. Можно было бы сказать: только тот, кто знает, что вода есть H_2O, на самом деле знает, что такое вода. Однако понимание термина "вода" не требует этого. Другими словами, следует проводить различие между пониманием термина и конкретным знанием конкретного объекта, на который он указывает. Такое различие предполагает, далее, разграничение знания семантических фактов относительно слов и знания эмпирических фактов относительно их референтов. Обладать некоторым знанием объекта, достаточным для его идентификации, означает тогда располагать не просто информацией об объекте, но и информацией о значении термина, указывающего на этот объект.

Так, Сол Крипке утверждает, что фрегеанская теория не в состоянии дать адекватную теорию того, как имена указывают на предметы, и предлагает более адекватное, по его мнению, объяснение того, как имена выбирают свои референты. В теории Крипке появляются два важных компонента: социальный и каузальный. Теория дескрипций считает, что имя *N* обозначает объект *x* при использовании *S* в том случае, если *x* единственно удовлетворяет всем или большинству таких предикатов *F*, что *S* согласился бы с "*N* есть *F*"; имя определяет свое обозначение с помощью критерия пригодности. Но во многих случаях информация, обычно связываемая со специфическими индивидами, является ошибочной. Поэтому теория дескрипций могла бы быть расширена за счет включения социального элемента, который Крипке считает необходимым. Согласно такой альтернативе, имена должны рассматриваться как играющие референциальную роль в пределах языкового сообщества, а дескрипции, которые связаны с именем, должны определяться общепринятыми убеждениями (beliefs) по поводу называемого индивида. Это не обязательно должно достигаться усреднением убеждений языкового сообщества, касающихся этого индивида: может быть увеличен "удельный вес" отдельных дескрипций — например, принадлежащих тем членам языкового сообщества, кто обладает лучшим знанием рассматриваемого индивида.

Согласно Крипке, выбор не может зависеть исключительно от свойств, которыми обладает индивид; каузальный элемент должен быть включен в любую успешную теорию референции. Необходимость в каузальном элементе может быть обнаружена по следующей аналогии: расплывчатая фотография все же является фотографией именно некоторого специфического человека на основании причинного отношения, даже если мы можем получить лучшее представление о внешности этого человека по фотографии его близнеца.

Каузальная референция выглядит, по Крипке, следующим образом. Индивид *x* "окрещен" именем *N*, и далее это имя передается от одного к другому конкретному случаю употребления *N*. Говорящий может обозначить *x* при помощи имени *N*, если имеется цепь сохраняющих референцию связей, который ведет назад к начальному крещению. Связь сохраняет референцию, если говорящий намеревается использовать имя с той же самой референцией, что и тот человек, от которого он его слышал ("так говорят"). С помощью подобного рода каузальной зависимости объясняется возможность употребления имени в таких ситуациях, где для обсуждаемого индивида не отыскиваются дескрипции, идентифицирующие его единственным образом.

Возникающий в этой связи вопрос таков:

каковы онтологические основания для того, чтобы "так говорить"?

На что, с такой точки зрения, указывают имена естественного языка, употребляемые в реальной речевой деятельности — на элементы мира, заданные самой природой вещей, или на конвенциональные классы? Функционируют ли выражения естественного языка (например, имена собственные) как термины естественных видов или как термины конвенциональной категоризации содержания мира? Теория сингулярной референции Крипке пересекается, таким образом, с теорией значения терминов естественных видов.

10.4.2 Жесткие десигнаторы

По традиционной (фрегеанской) теории, естественно-видовые термины (kind terms) функционируют аналогично именам собственным. Так же, как имена собственные имеют смысл, который определяет их референцию, так видовые термины имеют смысл или значение, которое определяет их экстенсионал, т.е. те случаи, к которым они применяются. В дополнение к этим естественно-видовым терминам существуют термины не-естественных, или конвенциональных (номинальных) видов. Поскольку естественные виды отражают дистинкции, локализованные во внешнем мире (является ли нечто золотом или тигром — вопрос экстралингвистический), постольку номинальные виды предстают предметом наших систем классификации и зависят от лингвистического удобства и соглашения. Естественные виды или рода определены внешним по отношению к его описанию миром; номинальные виды определены нашей конвенциональной категоризацией.

Концепция референции для видовых терминов должна, как и любая теория референции, экстенсионально корректным образом обеспечивать идентификацию объекта указания; специфика же указания именно посредством видовых терминов заключается в том, что такая теория предполагает некоторое объяснение особенностей указания не просто на объект, но на его сущностные свойства. Указание как связь между знаком (родовым или видовым термином) и обозначаемой им вещью (элементом множества внеязыковых объектов, образующих естественный род или вид) предстает, таким образом, в определенной степени обусловленным теми сущностными свойствами, благодаря которым эта вещь существует как идентифицируемая в своем видовом качестве.

Крипке предлагает решение этой проблемы с помощью двух допущений:

> (1) родовой или видовой термин обозначает (designates) специфический род (вид) объектов на основании причинной связи, соединяющей термин с родовой сущностью в ее проявлениях;
>
> (2) родовые термины являются жесткими (rigid) десигнаторами: они определяют один и тот же род (вид) объектов во всех возможных мирах, в которых существует этот род.

Тезисы (1) и (2) покрывают две пересекающиеся области определения. Положение (1) заявляет каузальную теорию референции для родового термина. Такое объяснение призвано отвечать на вопросы вида: "На каком основании

термин “вода” относится к H_2O?" Это — объяснение способа, которым специфический тип термина соотносится с некоторой специфической частью мира. С другой стороны, (2) сообщает нам нечто относительно того, как родовой термин проявляет себя (т.е. может быть употреблен) в различных условиях. Положение (2) помогает нам отвечать на вопросы, подобные следующему: "Является ли утверждение “Вода заполняет реки и моря” истинным в возможном мире *И*?"
Существует несколько различных каузальных теорий референции, сходящихся на том, что референциальная связь между родовым термином и его референтом может быть установлена даже в том случае, если говорящий не информирован или плохо информирован о природе референта. В наиболее общем виде эта позиция выражена Крипке следующим образом:

> Мы используем термин "золото" как термин для некоторого рода вещей. Другие люди обнаружили этот *род* вещей, и мы слышали об этом. Таким образом, мы как часть языкового сообщества располагаем некоторой связью между нами непосредственно и некоторым родом вещей. Род вещей *полагается* имеющим некоторые параметры идентификации (identifying marks). Некоторые из этих параметров могут не быть действительно истинными для золота. Мы могли бы обнаружить, что заблуждаемся относительно них. Далее, может существовать такая субстанция, имеющая все параметры идентификации, которые мы обычно приписывали золоту и использовали для того, чтобы идентифицировать его, но эта субстанция не является тем же самым родом вещей. Мы сказали бы о такой вещи, что, хотя она имеет все признаки, которые мы первоначально используем, чтобы идентифицировать золото, это — не золото.

Здесь Крипке показывает, что его широкий подход к референции, например, термина "золото" в идиолекте говорящего позволяет успешно указывать на золото, даже если тот ничего не знает о природе золота или о том, где найти золото в окружающей его среде.

> Вообще говоря, термины для естественных родов (например, животных, растений и химических веществ) получают референцию следующим образом: субстанция определяется как родовая сущность, представленная (почти всегда) данным образцом.

Крипке исходит из рассмотренных ранее недостатков референции при помощи дескрипций. Во-первых, нельзя утверждать, что для правильной референции именем как совокупностью дескрипций нам необходимо знание существенных и несущественных свойств указываемого объекта. Во-вторых, если даже нам известны существенные характеристики, то они мог быть истинны по отношению к другому референту, а не тому, который имеет в виду говорящий.

Такие представления ведут к изменению взглядов на условия появления референции. Согласно Крипке, мы не задаем свойства, которые каким-то способом качественно и исключительно выделяют некий предмет и таким образом определяют нашу референцию. Напротив, мы указываем на определенный референт не потому, что знаем его существенные свойства, а благодаря нашей связи с другими людьми, и эта связь доходит до самого референта. В общем случае наша референция зависит не только от того, что мы сами думаем, но и от других людей, от истории того, каким образом имя дошло до говорящего и т.п. Появление референции, с точки зрения Крипке, происходит в церемонии "первого

крещения", например в случае первоначального именования домашнего животного, на которое при этом непосредственно указывают. В других ситуациях первое указание может закрепляться дескрипцией, которая отражает какое-либо конкретное свойство объекта. Таким образом, введение понятия жестких десигнаторов позволяет, во-первых, объяснить функционирование и усвоение терминов с момента их появления и, во-вторых, описать условия единичности референции как условия "церемонии крещения".

Серьезная особенность каузальной теории референции Крипке состоит в том, что закрепление указания чаще всего происходит по случайному свойству объекта: хотя для Аристотеля самое существенное свойство связано с его философскими работами, а для Цицерона – с ораторской деятельностью, отсутствие этих свойств не лишило бы их собственных имен. С такой точки зрения, действительное употребление имени не требует знания существенных свойств объекта, поскольку референция определяется возможностью проведения "каузальной цепи" от настоящего употребления к первому употреблению. Изменение взгляда на соотношение имени и его носителя выступает как следствие этой центральной идеи каузальной теории референции.

Единственный *способ* референции в концепции Крипке — это именование, поэтому сфера действия процедуры именования значительно расширяется. Каждый естественный род обладает определенными отождествляющими характеристиками, которые могут быть разделены на случайные и необходимые. Закрепление указания термина часто осуществляется по случайным свойствам. Например, термин "тепло" был первоначально закреплен по ощущению тепла, вызываемому у человека. Если кто-то в другом возможном мире попытается закрепить этот термин посредством иного признака — допустим, в силу неспособности воспринимать тепло — то это не значит, что термину "тепло" соответствует другой референт. Случайные свойства — цвет, вкус, способность оказывать определенное чувственное воздействие на человека и т.д. – по-картезиански отделены от первичных, сущностных качеств и не существенны для естественных родов, а проявляются в ощущениях человека и служат для закрепления первых указаний.

Отсюда следует, что тождество объектов, которое по эмпиристской традиции считается случайным, не является таковым, если объекты поименованы жесткими десигнаторами, выбирающими один и тот же индивид в каждом возможном мире, в котором этот индивид существует. Таким образом, согласно Крипке, тождества необходимо истинны, если они истинны вообще.
Так, рассмотрим утверждение тождества, в котором обе стороны являются жесткими десигнаторами. Если такое утверждение истинно, то оно необходимо истинно. Например, истинно утверждение тождества "Утренняя звезда = Вечерняя звезда". Как жесткие десигнаторы, оба эти термина определяют одну и ту же вещь (планету Венера) во всех возможных мирах. Так, в каждом возможном мире, в котором существует Венера, утверждение "Утренняя звезда = Вечерняя звезда" является истинным. Таким образом, это утверждение необходимо истинно.

> Используя имена тем способом, каким мы обычно это делаем, мы можем сказать заранее, что если Утренняя звезда и Вечерняя звезда являются одним и тем же, то ни в каком возможном мире они не могут быть различны. Мы используем [термин] "Утренняя звезда" как имя определенного тела и "Вечерняя звезда" как имя определенного тела.

> Мы используем их как имена этих тел во всех возможных мирах. Если фактически они являются одним и тем же телом, то в любом другом возможном мире мы должны использовать их как имя этого объекта. Итак, в любом другом возможном мире будет истинно, что Утренняя звезда является Вечерняя звездой.

Крипке признает, что утверждение тождества носит эмпирический характер (не аналитично) и может быть оправдано только *a posteriori*. В результате истинные подлинные утверждения тождества (утверждения тождества между жесткими десигнаторами) необходимы *a posteriori*. Мы не знаем *a priori*, что Утренняя звезда — это Вечерняя звезда, и не имеем, согласно Крипке, возможности выяснить ответ каким-либо путем, кроме эмпирического. Об этом свидетельствует то соображение, что мы могли бы иметь очевидность, "качественно неотличимую" от очевидности, которую мы имеем, и определять референцию обоих имен позициями двух планет в небе без того, чтобы эти планеты были одной и той же планетой.

Например, предположим, что (вопреки фактам) планета Вулкан выглядела бы в точности подобно тому, как выглядит по вечерам Венера. В этом возможном мире, термин "Вечерняя звезда" относился бы к Вулкану, а термин "Утренняя звезда" — к Венере; поэтому утверждение "Утренняя звезда тождественна Вечерней звезде" было бы ложным. Но язык такого возможного мира оказывается (уже в силу различия хотя бы одного термина) отличным от языка нашего мира. Для языка этого мира термин "Утренняя звезда" имеет не тот же референт, который имеет орфографически тождественный термин (омоним) в нашем языке. Таким образом, учитывая референцию терминов "Утренняя звезда" и "Вечерняя звезда" в нашем языке, утверждение тождества истинно, причем с необходимостью.

Аргумент Крипке против тезиса тождества основан по существу на его представлениях о том, как функционирует родовой термин. Когда говорящий использует термин "тепло", он успешно обозначает молекулярную кинетическую энергию, даже если он не знает того, что такое кинетическая энергия. Кроме того, и научный, и родовой термины должны являться твердыми десигнаторами. Такие термины, как "стимуляции нервных волокон" и "средняя молекулярная кинетическая энергия" должны относиться к одним и тем же родам вещи во всех возможных мирах, в которых они существуют, иначе аргумент не имеет смысла.

Аргумент такой формы заключает, что утверждение тождества ложно, с помощью

- метафизического утверждения относительно того, что является возможным, и
- предположения, что оба термина являются твердыми десигнаторами.

Однако знания такого рода случайных характеристик недостаточно для идентификации понятия в контрфактических ситуациях. Вполне возможно, что естественный род вещей может вообще не проявлять в некотором возможном мире тех свойств, по которым его впервые идентифицировали.

Например, причина тепловых явлений, вызывающих ощущение тепла, объясняется через молекулярное ощущение. Это свойство Крипке предлагает считать необходимо истинным в самом строгом смысле, потому что мы не в состоянии представить возможный мир, в котором тепловые изменения не проявляются через молекулярное ощущение. По этой причине "молекулярное движение" определяется как твердый десигнатор, который вместе с другим твердым

десигнатором — "тепло" – составляет необходимо истинное утверждение тождественности.

Существует сходство между концепцией Крипке и концепцией собственных имен Рассела. Процедура именования проводится аналогично подлинным собственным именам Рассела в условиях неполноты знания свойств указываемого объекта. Каузальную точку зрения Крипке на указание можно считать аналогом расселовского "знания по знакомству" (acquaintance). Их сходство проявляется в том, что знание в "церемонии первого крещения" и "знание по знакомству" являются исходными и "неисправимыми" элементами в концепциях именования Рассела и Крипке.

Но термины естественных родов не во всем подобны собственным именам. Их различие связано с тем, что тождественность терминов родов в качестве твердых десигнаторов основывается на конкретных научных данных: например, утверждение тождественности "тепло – молекулярное движение", хотя и является необходимо истинным, получено в результате конкретных научных исследований. Поэтому свойство "молекулярное движение" в контексте развития науки может быть определено скорее как "важное", но не как существенное или необходимое. Идентификация указанного свойства в качестве необходимо истинного, т.е. истинного во всех возможных мирах, предполагает, что мы находимся на некотором идеальном конце науки, поскольку в дальнейшем мы не можем утверждать что-либо новое природе тепловых явлений. Если же термин "молекулярное движение" определяется в качестве "важного", понятие "необходимого" будет зависеть от контекста развития науки. Это ставит под вопрос тезис о независимости метафизической тождественности имен от эпистемологических посылок, от исследовательской позиции. Использование твердых десигнаторов позволяет избежать разговора только об индивидуирующих сущностях или об идентифицируемых объектах, но не об "аристотелевских сущностях", под которыми подразумевается совокупность свойств, необходимых для существования вещи естественного рода. Именно знание такого рода свойств, выражающих, по мнению Крипке, природу объекта, гарантирует нам указание во всех возможных мирах (например, для золота этим свойством является атомный вес 79). Но если мы считаем, например, что определение понятия необходимо зависит от контекста развития науки, то мы должны говорить не об одной сущности, а об их иерархии по ходу развития науки — или даже о нескольких альтернативных иерархиях. Аналогичным образом альтернативные позиции возможны в обыденном языке. По замечанию Гудмена, термины, принятые в качестве элементарных для некоторой системы, вполне могут поддаваться определению в какой-либо другой системе; не существует ни абсолютных элементарных терминов, ни такого их выбора, который был бы единственно правильным. Отсюда следует, в частности, что подобная концепция именования имеет вполне определенные эпистемологические границы.

Возражение, выдвигаемое по этому основанию против чрезмерно широких теорий референции, состоит в том, что использование родового термина будет обычно указывать на нечто, являющееся членом многих различных родов. Например, термин "золото" можно употребить по отношению к любой вещи, сделанной или состоящей (по мнению говорящего) из золота: золотому запасу государства, украшениям, сокровищам Трои, "Петрушке" Шемякина или в качестве метафоры. Почему термин "золото" отсылает к предмету указания скорее, чем, скажем,

"ценность" или "блестящая тяжесть"? В общем виде проблема может быть сформулирована следующим образом: когда родовой термин *T* употребляется для указания на объект *O*, который является проявлением родовых свойств K_1 - K_n, то почему *T* указывает только на один из этих родов?

Предположим, что некий посетитель выставки Шемякина указывает — пальцем, т.е. остенсивно — на золотую статуэтку Петрушки и произносит "Золото!" с намерением обозначить некоторую сущность, которая, по его мнению, обладает таким набором признаков или качеств, который является необходимым и достаточным для того, чтобы эта сущность могла быть идентифицирована с помощью этого термина. Предположим, далее, что наш посетитель выставки узнал в статуэтке персонаж русского фольклора и произносит "Клоун!" или "Искусство!" Чем будет в данном случае различаться применение этих обозначений? За исключением индивидуальных представлений говорящего о качественных свойствах родов, подобные широкие теории референции, кажется, не располагают никакими концептуальными средствами, которые могли бы эксплицировать различие между референциальными свойствами употребленных родовых терминов "золото", "искусство" и "клоун". Вопрос будет скорее заключаться в том, являются ли термины "искусство" и "клоун" родовыми — иными словами, является ли Петрушка клоуном тем же способом, что Шер Хан тигром, или тем же способом, что Дон Жуан холостяком? Дон Жуан может жениться, оставаясь при этом Дон Жуаном; Шер Хан не может перестать быть тигром, не перестав при этом существовать в качестве Шер Хана. В самом деле, Петрушка является Петрушкой, а его имя является нарицательным постольку, поскольку он является клоуном. Однако можно задать такое расширение контекста — например, реалистический или постмодернистский роман о Петрушке, — в котором он покидает балаган, поступает в лакеи к Чичикову, затем женится на подруге детства, становится уважаемым членом общества Петром Петровичем, ведет политическую деятельность и т.д.; но для жены он по-прежнему остается ярмарочным весельчаком Петрушкой, и по вечерам, запершись в спальне, пляшет для нее под бубенчики. Поэтому возникающий в такой связи вопрос уместнее будет сформулировать так: является ли термин "клоун" родовым *здесь*, в данном контексте, для данной концептуальной схемы?

Тогда, если родовой термин *T* употребляется для указания на объект *O*, который является проявлением родовых свойств K_1 — K_n, то *T* указывает (прежде всего) на тот из этих родов, который является наиболее релевантным для ассоциируемой концептуальной схемы *W*.

Поэтому вряд ли корректно было бы сказать, что в контексте, например, истории о женитьбе Петрушки термин "клоун" уже не будет родовым: скорее следует сказать, что в этой истории не задан контекст (в данном случае — обычно являющийся фоновым для этого термина), позволяющий термину "клоун" проявиться, актуализоваться, осуществиться в качестве родового. Такая актуализация реализуется через каузальную фиксацию термина в качестве жесткого десигнатора, который выбирает один и тот же индивид в каждом возможном мире.

11.4.3 Индексикалы

Если собственные имена являются жесткими десигнаторами, то выбор индивида при установлении референции к нему зависит от "каузальной истории" использования данного имени, а она восходит к некоторому акту первоначального именования — "так окрестили". В своей типичной форме этот первоначальный акт устанавливает референцию посредством указательного местоимения или прямого указания на объект реального мира. Если принять эту точку зрения, то, очевидно, следует считать, что интенсионал собственного имени не фиксирован на каком-либо одном представлении в головах говорящих, общем для всех, кто использует это имя как единицу данного языка.

Х.Патнэм показал, что подобный процесс имеет место в очень многих случаях; в частности, с естественно-родовыми терминами. Если в язык успешно внедряется такой термин — например, "тигр" — то этот процесс в типичной форме включает в себя два первичных фактора: указывающую (остенсивную) референцию к одному или более тиграм и правильную презумпцию первоначальных пользователей этого термина о том, что индивиды, о которых идет речь, — представители некоторого естественного класса, скажем, одного биологического вида. Носители языка, употребляющие такой термин, обладают прагматически надежным критерием для отождествления тигров – "стереотипом тигра"; последний, вообще говоря, может быть недостаточен для отличения тигров от других возможных видов с внешне сходными признаками, но термин все же будет, в силу своей "каузальной истории" в языке, сохранять референцию к актуально данному виду, к тиграм, поскольку она была установлена в первоначальном акте внедрения термина. Такое действие было названо Барбарой Холл Парти **установлением функции актуальной интерпретации**.

Вообще можно сказать, что для каждого термина, введение которого в язык хотя бы частично было основано на остенсивном акте фиксации референции, интенсионал этого термина частично устанавливается на основе свойств объекта (или объектов) реального мира, первоначально вовлеченных в акт введения термина. В таких случаях незнание говорящим экстенсионала термина или "причинной истории" термина ведет к незнанию интенсионала, но не мешает термину иметь интенсионал в языке говорящего.

Согласно Патнэму, границы между экстенсионалами устанавливаются более или менее произвольно: в этом смысле содержание существующего технического определения может быть конвенционально. Основная идея здесь состоит в том, что термины естественных родов подобны в своем поведении не определенным дескрипциям, а индексикалам — словам вида "я", "ты", "он", "это вещество", референция которых зависит от обстоятельств их употребления. Фактически Патнэм утверждает, что почти все слова нашего языка функционируют как индексикалы (indexical words), и, следовательно, термины естественных родов совсем не отличаются от других типов общих терминов. Патнэм придерживается весьма широких взглядов на референцию: согласно нему, говорящий может успешно указывать на вязы и буковые деревья, даже если он не может отличить их друг от друга; он может обозначать H_2O раньше, чем была развита химия, и он может обозначать тигров, даже если многие из его идентификационных представлений относительно тигров ложны. Природа причинной референциальной связи между родовым термином и референтом определяется тем, что родовые

термины содержат индексикальный компонент. Патнэм использует свою теорию родовых терминов для объяснения референции через экстенсионал общих терминов (под последним понимается множество объектов, относительно которых общий термин является истинным).

Возражения Патнэма против традиционных теорий значения основываются на двух фундаментально несовместимых, с его точки зрения, тезисах. Один из них заключается в том, что экстенсионал определяет значения общего термина, т.е. то, относительно чего термин истинен. В соответствии с этим тезисом, два термина с одинаковым значением имеют одинаковый экстенсионал. Согласно другому фундаментальному тезису, существуют определенные психологические состояния людей, соответствующие определенному уровню знания значения. О философах, придерживающихся данной позиции (например, Фреге и Карнап), Патнэм говорит следующее: "Никто из этих философов не сомневался, что понимание слова идентично пребыванию в определенном психологическом состоянии". По мнению Патнэма, Карнап "зашел очень далеко" в своем утверждении, что знание значения общего термина позволяет распознать его экстенсионал.

Таким образом, подход Крипке — Патнэма противостоит фрегеанской теории значения естественно-родовых терминов в следующем отношении: согласно этому подходу, экстенсионал не определен ментальным состоянием говорящего. Фрегеанская теория значения предполагает, что

(1) знание значения состоит из нахождения в соответствующем ментальном состоянии, и что
(2) значение определяет экстенсионал.

Иными словами, знание значения определяет экстенсионал термина; ментальное состояние определяет интенсионал, а интенсионал определяет экстенсионал. Патнэм полагает, что такая картина существенно ущербна. По его мнению, само существование реальных сущностей устанавливает, что значения находятся "не в голове".

Поэтому для того, чтобы определить экстенсионал терминов естественных родов, необходимо, как и в случае с индексикалами, уточнить обстоятельства, в которых употребляются термины, т.е. определить еще один компонент (вид компонентов) языкового процесса — то, что Р. Якобсон называет интерпретантой. Правильная семантическая интерпретация терминов родов требует понимания ситуации, в которой они используются. Мы не можем, например, оценить истинностное значение предложения "Идет дождь" без привлечения дополнительной информации, поскольку его истинностное значение зависит от того, когда и где оно произносится. Само определение термина как жесткого десигнатора или индексикала выступает интерпретантой, поскольку управляет именно его интерпретацией.

О релевантности факторов стабилизации интерпретации свидетельствует аргумент "Дубль-Земли" Патнэма. Предположим, что мы знаем традиционное значение такого термина естественного рода, как "вода", т.е. нам известны некоторые свойства, с помощью которых мы можем распознать воду. Далее, представим, что где-то в космосе существует "Дубль-Земля", которая очень похожа на нашу планету. Дубль-Земля подобна Земле во всем, за исключением

того, что там субстанция, называемая людьми "водой", подобна H_2O в обычных свойствах, но имеет отличную (гипотетическую) молекулярную структуру *xyz*.

> Имеется "свойство", которое люди долго связывали с чистой водой и которая отличает ее от воды Дубль-Земли [*xyz*], и это свойство — свойство подобия любому другому образцу чистой воды из нашей окружающей среды... Субстанция, которая проявляет себя не так, как эти образцы, не будет считаться той же самой субстанцией... Но "свойство" "проявлять себя так же, как данное вещество" не является таким свойством, какие философы называют вполне "качественными" свойствами. Его описание требует специфического примера....

У индивидов на Земле и на "Дубль-Земле" возникают одинаковые ментальные состояния относительно H_2O и *xyz*, достаточные для определения экстенсионалов в указанных обстоятельствах.

Допустим, что Джон и его физически тождественная копия с Дубль-Земли, Дубль-Джон, ничего не знают о химических свойствах веществ, которые они называют термином "вода"; что в таком случае является значением термина "вода" в их соответствующих идиолектах? Согласно взглядам Патнэма на референцию, Джон указывает на что бы то ни было, проявляющее себя подобно тому, как проявляет себя H_2O, а Дубль-Джон указывает на что бы то ни было, проявляющее себя подобно тому, как проявляет себя *xyz*. Поскольку "вода" по-английски — твердый десигнатор, то этот термин обозначает H_2O во всех возможных мирах, в которых H_2O существует. И поскольку термин "вода" на Дубль-Земле — также твердый десигнатор, то "вода" в дубль-английском языке относится к *xyz* во всех возможных мирах, в которых *xyz* существует. Таким образом, даже если Джон и Дубль-Джон физически тождественны, значение термина "вода" в их идиолектах различно.

Этот аргумент также представляет описанный подход Крипке—Патнэма к родовым терминам и опирается на расширенную теорию референции: Джон указывает на H_2O, а Дубль-Джон — на *xyz* даже в том случае, если они вообще не осведомлены о сущностной природе того, о чем они говорят. Термин "вода" в идиолектах Джона и Дубль-Джона должен быть твердым десигнатором. В силу этого предположения, термин "вода" в идиолекте Джона не указывает на *xyz* на Дубль-Земле, даже если Джон был бы расположен утверждать, что этот предмет имеет свойства воды, и термин "вода" в идиолекте Дубль-Джона не относится к H_2O на Земле, даже если он был бы расположен утверждать, что это — дубль-вода.

Хотя ментальные состояния индивидов, выражающие знание значения терминов, идентичны, это не означает, что *xyz* тождественно H_2O; *xyz* – это другое вещество, которое просто похоже на воду. Следовательно, чтобы правильно определить экстенсионал термина "вода", мы должны знать, о какой конкретной планете идет речь. Никакое ментальное состояние индивида, соответствующее определенному уровню знания значения, не может выделить экстенсионал единственным образом, и это свидетельствует о том, что термины родов индексикальны по отношению к конкретному месту. Чтобы интерпретировать такой термин, как "вода", мы должны знать, для указания на какое вещество этот термин используется, а это требует знания того, в какой ситуации и в каком месте используется термин. Можно, вероятно, найти множество примеров того, что́ еще мы должны знать для правильной семантической интерпретации терминов естественных родов. Так, представители какого-либо рода могут изменить свои

наблюдаемые свойства, не меняя при этом существенных характеристик (например, эволюция видов в животном мире.) Следовательно, семантическая интерпретация терминов должна учитывать и фактор времени. Это означает, что термины родов индексикальны не только относительно места, но и конкретного времени. Например, "вода" относится к тому, что содержат сейчас океаны, реки и озера и что может со временем измениться.

Таким образом, для любого объекта *0*, если C_1, C_2, C_3 являются концептуальными компонентами значения знака *S* и если *S* указывает на *0* в какой-то ситуации, то оно указывает за счет того, что референт обладает свойствами c_1, c_2, c_3. Далее, если в процессе эмпирических открытий *0* обогащается за счет c_4, $c_5 \ldots c_n$, то соответственно и значение *S* изменяется от C_4 до C_n. Только в рамках такой упрощенной концепции связи значения и указания оказалось возможным представление терминов естественных родов как индексикалов. В данной ситуации представление *S* в качестве индексикала означает фиксирование однозначной связи между каким-либо компонентом *S*, например C_3, и свойством c_3. Тогда индексикал можно определить как концептуальное средство, подобное твердому десигнатору и устанавливающее однозначную связь между семантическими компонентами слова и эмпирическими свойствами его референта.

Экстенсионал при таком подходе выводится не из знания какого-либо необходимого и достаточного количества свойств представителей родов, а из фактов действительного употребления терминов. Патнэм, по-видимому, принимает аргумент Крипке, согласно которому первоначально идентифицирующие род признаки могут в дальнейшем оказаться случайными и даже ошибочными. При правильном семантическом анализе термины родов ближе к индексикальным выражениям типа "это вещество", чем к выражениям "это желтое вещество", в которых смешаны дескриптивные и индексикальные элементы.

Тогда компонентами значения термина естественного вида являются, например,

- правила употребления конкретных слов, с помощью которых мы распознаем стереотип вида, но не выделяем экстенсионал, и
- индексикалы, точно определяющие экстенсионал термина естественного вида.

Патнэм считает, что мы фиксируем референцию термина, индексикально указывая только на образец вещества или стереотип вида, не пытаясь при этом выразить все его индивидуальные характеристики. Если определение терминов естественных видов через дескрипции направлено на выделение объекта или экстенсионала именно через указание их индивидуальных характеристик, то в подходе Патнэма — Крипке выделение объекта происходит не через указание совокупности индивидуальных свойств объекта, а через **описание тех обстоятельств, в которых однозначная связь термина и объекта не подвергается сомнению**. В теории Крипке единичность указания достигается при условии адекватной передачи обстоятельств церемонии "первого крещения" в ходе различных социальных коммуникаций. Другими словами, в семантике Крипке имена индивидов непроизвольны в том отношении, что они получены в ситуации "первого крещения", независимо от обнаруживаемых новых свойств в ходе развития научной мысли. С точки зрения Патнэма, наоборот, правильная семантическая интерпретация термина возможна только тогда, когда мы учтем все обстоятельства, сопутствующие конкретному употреблению термина.

Для нас здесь важно различение априорных свойств, которые устанавливают референцию, и необходимых свойств, которыми обладает вещь. Первые здесь очевидным образом не являются данными, "контекстно независимыми". Поскольку употребление языка — это динамический процесс, продолжающийся и постоянно меняющийся, постольку высказывания, составляющие их слова и понятия, а также способ их передачи — все это обусловлено как непосредственной ситуацией, так и всеми прежними событиями. Восприятие сообщения реципиентом подобным же образом предопределяется и данным речевым актом и всеми предшествующими информациями, которые он получал; ответ на данное сообщение, в свою очередь, повлияет на поведение первого говорящего. Это указывает на известную методологическую трудность в описании природы языка, состоящую в том, что данные, взятые из живых языков и диалектов, не ограничены и не составляют закрытого класса. Адекватное и прагматически релевантное описание языка должно не только удовлетворительным образом представлять уже сказанное и написанное, но также и то, что может быть сказано и написано на этом языке. Иначе говоря, оно имеет дело не только с актуальными предложениями, но также и потенциальными — и, соответственно, с условиями актуализации последних.

Поскольку нельзя полностью реконструировать коммуникационный процесс, осуществляющийся в каждый данный момент, то описание системы языка оказывается перед необходимостью создавать идеализированную статическую картину процесса, которая позволяет реконструировать в существенной степени составные элементы и природу коммуникации. Представление языка в категориях системы знаков, фонологии, лексики и грамматики является не чем иным, как именно такого рода моделированием. Описание условий актуализации потенциальных высказываний на исследуемом языке оказывается при этом связанным, в частности, с усмотрением единых оснований описания исторического развития языка и описания его различных версий, локализованных в пространстве — т.е. с единством подхода к анализу обстоятельств употребления языковых выражений.

11.4.4 Внутренняя реконструкция и внешнее сравнение языковых явлений

Заключение о том, что значения не являются мысленными сущностями и не фиксируются свойствами психики носителей языка, органично для философа, работающего в русле логической традиции, поскольку в этой традиции семантика скорее рассматривается как дисциплина об отношениях между выражениями языка и внеязыковыми объектами, о которых говорят эти выражения, чем как дисциплина об отношениях между выражениями языка и действующими в сознании правилами и представлениями, составляющими языковую компетенцию носителей языка. Но для лингвиста это заключение может на первый взгляд показаться парадоксальным: ведь значения должны быть фиксированы для данного языка носителями этого языка, поскольку естественные языки — это создание человека, они отличаются друг от друга и изменяются с течением времени. Даже если предположить, что интенсионалы сами по себе, как функции от возможных миров к объектам различного вида, являются абстрактными объектами, могущими существовать независимо от людей, подобно числам, то все равно следует признать, что то, чем определяется, что некоторый интенсионал

является именно интенсионалом некоторой лексической единицы в некотором естественном языке, должно зависеть от явлений и фактов, связанных с данным естественным языком, и, следовательно, должно зависеть от свойств людей — носителей этого языка.

Этот парадокс снимается с помощью понятия "каузальной истории" и социолингвистической гипотезы о "лингвистическом разделении труда", выдвинутой Патнэмом. Согласно последней родовые термины могут передаваться от одного носителя языка к другому таким же образом, как имена собственные. Вопрос о том, насколько универсально дальнейшее применение первоначально использованных идентифицирующих особенностей, является эмпирическим вопросом; исследование обычно улучшает наше понимание идентифицирующих особенностей (эмпирический опыт может раскрыть "реальную сущность"). Действительно, то, чем являются актуальные интерпретации лексических единиц в данном языке, определяется свойствами носителей этого языка, но не исключительно свойствами их психики. Равно важны взаимодействия носителей языка с внешним миром, которые сопровождают введение слов в язык, и важны также необходимые интенции говорящих использовать слова языка стабильно, тождественным и постоянным способом. Если в момент введения слова ***вода*** в язык в определенном отношении к носителю языка находилось вещество H_2O, а не *xyz*, то это обстоятельство является определенным фактором в фиксации интенсионала слова ***вода.*** Этот фактор решающим образом вовлекает в процесс говорящего, а не только вещество воды и слово ***вода***; ведь без первоначального намерения говорящего использовать слово, например ***water***, для обозначения вещества данного образца, это слово в английском языке не имело бы референции к данному веществу. Таким образом, свойства говорящих, вводящих слова в язык, являются решающим фактором, но это не их психические свойства.

С такой точки зрения, принцип "лингвистического разделения труда" Патнэма работает на обоснование, например, того лингвистического факта, что различие знаков ***вода — вада*** в русском языке характеризует различия диалектов одного времени на разных территориях и одновременно различия одного диалекта на одной территории в разные эпохи его существования.

Согласно современным лингвистическим представлениям, синхронное описание современного состояния языка есть не что иное, как проникновение через эмпирически фиксируемые факты в систему этого языка, скрытую от непосредственного наблюдения. Тем самым синхронное описание, выявляющее систему языка, оказывается первым этапом исторической реконструкции. С такой точки зрения, восхождение от наблюдаемых явлений к глубинной структуре в данном синхронном состоянии языка есть одновременно и углубление внутренней реконструкции (движение к архетипу), и выход за пределы данного диалекта к родственным диалектам (от данного языка и родственным языкам). Таким образом, утверждается единство синхронного описания и внутренней реконструкции и далее — внутренней реконструкции как обобщения данных во времени и внешнего сравнения как обобщения данных в пространстве. Сущностное единство оснований употребления термина в языке проявляет себя, в частности, в том факте, что не существует дискретной границы между внутренней реконструкцией и внешним сравнением языковых явлений.

Всякая внутренняя реконструкция, по мере того как она отдаляется от современного исследователю момента времени, постепенно переходит во внешнее

сравнение, сначала — близкородственных диалектов одного языка, затем — генетически родственных языков. В связи с этим возникает вопрос: обладает ли каждый из диалектов одного языка собственной языковой системой и структурой или же система и структура каждого из них являются разновидностями, вариантами одного инварианта — общей системы и структуры данного языка в целом?

Традиционные для классической сравнительно-исторической лингвистики представления, согласно которым диалектные изоглоссы обычно совпадают с границами племен в родовом обществе и с границами феодальных земель в более позднее время, сменились более детально проработанной позицией, согласно которой внутренние системы диалектов являются вариантами одной общей системы-инварианта. Здесь целесообразно говорить о тройном соотношении: **система языка в ее ярусах** (от поверхностного до внутренних разной степени глубины) **— территориальное распространение** (от говора, через диалекты, до языка) **— различия во времени** (от современного состояния к все более удаленным состояниям в прошлом). Это соотношение конкретизует более общий "принцип лингвистического единства": **языковая система — пространство — время** и подчеркивает градуальный характер соотношения трех частей. В таком виде этот принцип позволяет корректировать внутреннюю реконструкцию данными внешнего сравнения: на определенном этапе реконструкции — и чем далее от ее начала, тем больше — реконструируемая система должна проверяться показаниями родственных диалектов[44].

Тот же принцип позволяет корректировать внешнее сравнение и сравнительно-исторический метод вообще данными внутренней реконструкции. С такой точки зрения, сходное параллельное развитие родственных языков не может быть случайным уже хотя бы в том отношении, что оно может быть рассмотрено как возникающее на основе тенденций, заложенных в системе праязыка. Таким образом, из логически равноправных реконструкций системы праязыка, возникающих на основе сравнения архетипов, более приемлемой оказывается та, которая может обосновать динамические процессы переходов от общей системы к архетипам.

Вместе с тем принцип единства "языковая система – пространство – время" характеризует и языковые союзы, независимо от генетически общего или необщего происхождения составляющих их языков. Этот принцип подчеркивает общность языковой семьи, основанной на генетическом принципе, и языкового союза, основанного на принципе длительного соседства, сосуществования в пространстве и времени, различных по происхождению языков. Четким критерием отличия семьи от союза остаются закономерные фонетические соответствия и общность по происхождению грамматических морфем, что может характеризовать только генетическую семью. Однако по мере углубления реконструкции этот критерий утрачивает четкость, и поэтому в наиболее глубоких реконструкциях фактически говорят о едином явлении "семье-союзе", не вводя дальнейшей характеристики, — генетическая ли это семья или языковой союз. При этом речь идет не о наблюдаемом явлении ("таком союзе, который по данным наблюдения превратился бы в генетическую семью"), а о закономерной при глубинной

[44] Степанов Ю.С. Методы и принципы современной лингвистики. М., 1975. С. 126 – 127.

реконструкции абстрактной категории, в которой различия между семьей и союзом уже не играют роли[45].

Передача языковой единицы сквозь меняющиеся состояния языка, от одного говорящего к другому, от одной эпохи к другой, решающим образом вовлекает в процесс социальные намерения людей говорить на одном языке. В принципе, возможна такая ситуация, в которой какой-либо говорящий ввел какое-то слово с жесткой референцией к какому-то данному объекту, затем этот объект перестал существовать и вообще не оставил никаких следов; но слово остается в языке и сохраняет ту же жесткую референцию к тому же объекту, несмотря на то, что последующие говорящие никогда не попадали в ситуацию воспроизведения его первого употребления: его употребляют так — а не иначе — потому, что "так говорят".

Таким образом, здесь мы имеем дело с анализом корреляций между различиями в истории употребления термина и индивидными различиями в группах людей, употребляющих его, — выражающимися, например, в пространственных различиях.

Наличие таких корреляций может быть рассмотрено как связанное с ролью актуального экстенсионала в отграничении значения. Так, Б. Холл Парти ссылается на пример с терминами, обозначающими социальное положение человека: в изменении экстенсионала и значения этих слов велика роль исторических изменений в обществе[46]. Термин *ceorl*, предок современного английского слова *churl* — "грубый, грубиян, мужлан", — претерпел семантическое изменение, обозначая вначале свободного крестьянина низшего социального ранга (VII в.), затем полукрепостного (XI в.) и наконец крепостного, *serf* (XII в.). В каком смысле в подобных случаях можно говорить о том, что экстенсионал остался фиксированным, а его *свойства* изменились? Ответ на этот вопрос может быть дан в духе Патнэма: экстенсионал в данном случае отграничен членством в некотором социальном классе, который сохраняется как самотождественная сущность, несмотря на постоянные замещения в его членстве, подобно тому, как наше тело сохраняется тождественным при всех изменениях его атомов и молекул.

Но как бы ни была важна роль актуального экстенсионала в фиксации значения термина, примеры указывают на важность и еще одного фактора – на роль мыслительных склонностей, "когнитивных установок" носителей языка. В самом деле, еще более ранним значением слова *ceorl* было просто "человек, мужчина", а сопутствующим значением, которое прошло сквозь все изменявшиеся значения социальных рангов, было то, которое в сущности сохраняется и теперь – "неотесанный парень"; "мужик". Семантическое изменение, состоящее в том, что сначала термин обозначал социальное положение, а затем стал обозначать нечто другое – черту характера, облика или социального поведения, предполагает изменение в критерии воспринимаемого сходства, на основании которого производится индукция от данного набора образцов-индивидов к более широкой области применения. Невозможно (как правило) остенсивно указать полный экстенсионал какого-либо предиката; само отношение подобия, на котором основано обобщение от одного примера или образца к полному экстенсионалу,

[45] Трубецкой Н. С. Мысли об индоевропейской проблеме (1936). — Вопросы языкознания, 1958, №1. С. 65 – 77.
[46] Парти Б. Х. Грамматика Монтегю, мысленные представления и реальность. С. 294.

может быть рассмотрено как относительное и конвенциональное. Поэтому общие всем говорящим на языке *L* склонности определять свойства объектов, их сходства и различия так, а не иначе, остаются решающим фактором индивидуации.

Итак, фиксация определенной интерпретации знаков может быть рассмотрена как предполагающая два основания:

- "актуальную природу данных индивидуальных (particular) объектов, которые выступают как парадигма" — то, что является независимым от носителей языка и чего они полностью не знают, и
- общие перцептивные и когнитивные свойства человеческого сознания, определяющие природу генерализации, при которой указанная парадигма начинает служить образцом для обобщения.

При этом оба основания проявляются взаимосвязанно в том отношении, что когнитивные свойства сознания обеспечивают актуализацию парадигмы.

Такое понимание процесса установления связи между знаком и его референтом позволяет далее конкретизировать релевантность интерпретант — факторов стабилизации интерпретации. Например, когда в язык впервые был введен термин ***тигр***, то лишь какая-то небольшая часть существовавшего тогда множества тигров была в истории термина связана с этим языковым актом. Те же самые факторы, которые обеспечивали правильность применения этого термина ко всем остальным существовавшим тогда же тиграм, обеспечивают применение этого термина ко всем тиграм, родившимся после того, и ко всем возможным тиграм, которые появились бы на свете при каком-либо ином ходе событий. Актуальная природа объектов, вовлеченных в первоначальный акт введения термина, ведет к тому, что интенсионал термина становится частично жестким, в том смысле, в каком Крипке говорит, что собственные имена делают их интенсионалы полностью жесткими.

С подобной точки зрения, определение такого понимания референции, которое учитывает процесс установления связи между знаком и его референтом, как *каузального* подхода неоправданно сужает его объем. Предыдущее употребление термина выступает не столько собственно причиной его последующего употребления, сколько основанием его очередной реинтерпретации, актуализуемой его очередным употреблением. Такое основание включает говорящего в некую заданность, допускающую интерсубъективную проверку правильности употребления термина в пределах языкового сообщества. Стабильность употребления знака в одном и том же значении объясняется в таком случае не причинной обусловленностью знака, но открытостью описания для верификационных метатеоретических процедур, подразумевающих интерпретацию в более широком метаописательном контексте. На первый план при этом выходит проблема *правильности* интерпретации, а уместный в этой связи вопрос можно сформулировать так:

какими критериями мы должны руководствоваться для того, чтобы иметь возможность судить о том, правильно или неправильно употреблен термин?

Очевидно, здесь не может быть достаточно не только критериев соответствия с действительностью, но и вообще каких бы то ни было критериев, игнорирующих свойства знаковых систем. Задачей знаковых систем является не только отражать

то, что происходит в реальности, но и дополнять реальность доступными этой системе средствами, помогая разобраться во внешнем мире при помощи методов, имеющихся в распоряжении данной системы. Эта важнейшая функция знаковых систем усиливается по мере того, как человечество сталкивается со все более сложными и абстрактными проблемами реальности, не данными нам в непосредственные ощущения, и о которых можно получить представление только при помощи сложной дифференцированной символики. В этих случаях основными критериями правильности нашего манипулирования с системой на некотором отрезке познания становятся правила самой системы и наше буквальное их исполнение. Многочисленные факты свидетельствуют, что временное и вынужденное отключение от ориентации на эмпирическую реальность и переключение на автономную деятельность самой системы может в итоге привести к решению задач, не поддающихся разрешению иными способами.

Представление о том, что в этих случаях решающий вклад принадлежит внутренним ресурсам знаковых систем, возникает из того факта, что в реальном процессе употребления даже обыденного языка проблема автономной (не связанной с механизмом соответствия внеязыковой действительности) работы механизма действий языковой системы является весьма существенной. Всякий раз, когда мы хотим высказать, например, модальное суждение или же когда нам требуется восполнить ряд фактов, не связанных в цепочку последовательных событий, нам приходится прибегать к автономной работе правил языковой системы. Эта проблема обычно анализируется как проблема контрфактуалов.

Например, Н. Гудмен так рассматривает предложение: "Если этой спичкой чиркнуть, то она зажжется":

> Предположение, что событие произойдет, зиждется на некоторых посылках, не упомянутых в придаточном предложении. Кроме основного условия (чиркнуть спичкой), подразумеваются и другие – спичка правильно изготовлена, достаточно суха, помещена в кислородную среду и т.д. Так что следствие практически вытекает из целого ряда релевантных предпосылок... Но “если спичка будет сухая” относится не к сфере логики, а к тому, что мы называем естественным, физическим или причинным миром.

Гудмен далее перечисляет еще и еще условия, и приходит к заключению:

> Мы в конце обнаруживаем, что находимся в бесконечном вращении по кругу... Другими словами, чтобы прийти к правильному выводу, надо все дальше и дальше обеспечивать тылы. Строго говоря, мы можем сделать окончательный вывод только на основе недоказанных посылок; проблема условных предложений оказывается неразрешимой.

Таким образом, обращение к реальной действительности для решения проблемы контрфактуалов оказывается недостаточным. Своеобразие нереальных (еще неосуществленных) условий проявляется в том, что их выражение в речи включает не только две посылки, одна из которых является логическим следствием другой, но и уверенность, что правильность этой последней посылки может быть дедуктивно-гипотетически установлена самостоятельным, не зависимым от логики способом.

К самостоятельным факторам, устанавливающим правильность нереальных условий, можно отнести объем существующих у людей знаний и вывод, получаемый из более обширного по объему закона, для которого

рассматриваемый случай является частным. Однако объем существующих у людей знаний предстает некоторой абстракцией, связанной с познавательной и креативной практикой, и как объем может в наиболее общем виде определен как область возможности общего знания, общего для всех членов языкового сообщества в том отношении, что оно потенциально доступно, открыто для постижения каждым из членов языкового сообщества в результате определенного познавательного процесса. Так, Д. Льюис показал, что контрфактические высказывания ведут себя иначе, чем обычные условные высказывания с материальной импликацией[47]. Если имеет место ($p \rightarrow q$) и ($q \rightarrow r$), то отсюда следует, что ($p \rightarrow r$). Однако из истинности высказываний "если бы имело место *p*, то *q*" и "если бы имело место *q*, то *r*" не следует истинность высказывания "если бы имело место *p*, то *r*". Различие между условными и контрфактическими высказываниями указывает на эпистемологическую и онтологическую значимость собственно языковых правил, сложившихся в результате историко-культурного процесса функционирования языка (т.е. "социальных и культурных факторов", о которых Льюис писал в связи с конвенцией). В самом деле, еще одним источником придания уверенности выводам из обычных силлогизмов (или из более сложных типов рассуждений, включая реальные и нереальные условия) предстает жесткое следование правилам языка, используемого для аргументации. Аккумулированный в языке опыт человечества может убедить отдельного человека или группу людей в правильности языковых построений, если они будут сформулированы в соответствии с правилами логики и языковых действий. Языковые конструкции, опирающиеся как на жизненный опыт, так и на правила логики, живут и самостоятельно, по своим собственным законам. С их помощью можно построить мощные теории, в которых обнаруживаются совершенно неизвестные из прежнего опыта вещи.

Поэтому вопрос о том, какими критериями мы должны руководствоваться для суждений о правильности употребления термина, имеет минимум два измерения: референциальное и синтаксическое, связанное с правилами действия языковой системы; но и последнее разделяется надвое в зависимости от того, понимаются ли правила как множество образцов или как руководство к действию.

Итак, можно следующим образом сформулировать те эпистемологические и онтологические посылки конструктивного подхода, которые представляются наиболее важными для анализа естественного языка:

- Любой предмет может быть категоризован с одинаковым успехом многими способами, которые отличаются по существу в онтологическом наполнении и являются в этих систематизациях взаимно несовместимыми (плюрализм).
- Из-за множественности версий мира в различных знаковых системах бесполезно искать полное описание действительности (сущностная незавершаемость).
- Онтологические предложения имеют истинностное значение только относительно “истолкования” или “трактовки” объектов, мира, действительности, и т.д.; в целом, отсылка к “миру” имеет смысл только в том случае, если она релятивизуется к системе описания (онтологический релятивизм).

[47] Lewis D. Counterfactuals. Cambridge Mass., 1973.

Исходящая из таких посылок общая теория референции, охватывающая все референциальные функции, основана на единой символической операции, посредством которой один предмет представляет ("stands for") другой.

На первый план здесь выходит критерий внешности по отношению к символической (знаковой, или языковой в самом широком смысле) системе — критерий, в определенном отношении предельно формальный: мы не можем говорить о предметах обозначения как о сущностях, внутренне присущих самой знаковой системе, о неких свойствах обозначения, поскольку отсылка к чему-то иному, направленность на иной предмет является сущностным свойством знака. Именно благодаря этому конституирующему свойству знак (например, гудменовский или кассиреровский символ) является собой, а не чем-то иным (скажем, не относится к некоторому классу чисто физических, метафизических или психических явлений). (Для обоснования альтернативного объяснения, отрицающего конститутивность референции для знака, потребовалась бы совершенно иная теория языка, с помощью которой было бы труднее объяснять функционирование естественных и других используемых нами языков.)

Таким образом, хотя базовые семантические примитивы (предельные единицы) конструктивных систем могут являться феноменальными сущностями, эти системы тем не менее не будут являться феноменалистскими системами, т. к. не будут поддерживать феноменализм как фундаментальную эпистемологическую доктрину (равно и как онтологическую доктрину, претендующую на полноту).

Отсюда становится ясной эпистемологическая значимость конструктивных систем для обоснования употребления языка. Она состоит прежде всего в выявлении совокупности взаимоотношений между различными частями концептуального аппарата. Фундаменталистская метафора заменена в них Куайновой "сетью полаганий" ("web of belief"). Подобно гипотетико-дедуктивным теориям естественнонаучных дисциплин, определения и теоремы конструктивных систем устанавливают дедуктивные отношения между предложениями, несущими рациональную нагрузку; причем на чем более элементарных основаниях строится конструктивная система, тем более плотными устанавливаются систематические связи и тем полнее общая связность и внутренняя непротиворечивость системы. Следующим этапом является выявление согласуемости различных систем, т. е., применительно к лингвистическим ситуациям, интерсубъективной аутентичности значений, возможности одинаковой идентификации референтов всеми членами языкового сообщества.

Если мы применим критерии подобного рода к ситуации употребления естественного языка, то референции, возникающие в ходе этого употребления, оказываются таким образом в поле согласования индивидуальных картин мира, или индивидуальных концептуальных схем носителей языка. Эпистемологически сама возможность реального употребления языка предстает при этом обнаружением собственно полисубъектности, необходимой для возможности интерсубъективной верификации. Такой подход позволяет избежать традиционно адресуемого релятивизму упрека в бессодержательности, недостаточном представлении референциальных оснований. Онтологический статус общей для всех носителей языка области согласования их индивидуальных картин мира оказывается при этом открытым для точного анализа и прояснения.

Редукционистские эпистемологические программы, пытающиеся вывести значение фактуальных предложений в терминах "наблюдаемых", обнаруживаемых

логических последовательностей оказываются, с такой точки зрения, беспредметными. Для прояснения представлений о конвенциональности значения в естественных языках это означает следующее.

Возможность одновременного наличия нескольких конфликтующих версий мира не отменяет и не уменьшает их истинностного значения (для разных концептуальных схем). Аналогичным образом признание относительности истинности языкового выражения не отрицает необходимости выявления четких критериев его правильности, в качестве которых могут выступать критерии адекватности правилам конструктивной системы. Это означает, что признание конвенциональности значения не подразумевает с необходимостью признание его произвольности.

Итак, если утверждение истинно, а описание или представление правильно, не "само по себе-для-мира", а для конструктивной системы, критериям адекватности которой оно соответствует, то в таком случае можно предположить, что отсылка (референция) к "миру" имеет смысл и может служить для построения адекватной теории значения только в том случае, если она релятивизуется к системе описания. Поскольку в этом отношении установление связи между знаком и его референтом является источником семантических правил, постольку оно может быть признана внеязыковым детерминативом (стабилизатором) значения. Поскольку, далее, пределы взаимного согласования индивидуальных концептуальных схем (которые очевидно могут быть рассмотрены как конструктивные системы ментальных репрезентаций) устанавливаются их отношением к внеязыковому миру, через каковое отношение (в частности, референцию) осуществляется обозначение языковыми выражениями элементов внеязыкового мира, постольку установление отношения обозначения выступает внешним динамическим стабилизатором значения. Динамическим же он предстает в первую очередь потому, что способность знака служить источником факта наличия предмета обозначения является, по-видимому, единственным удовлетворительным внеязыковым стабилизатором, соответствующим внутриязыковым стабилизаторам значений *речи*, понимаемым как синтагматические отношения в языке в той степени, в которой они представляют правила функционирования языка (значение как результат некоторого процесса).

12. Проблема понимания

12.1 Концепция понимания языка М.Даммита

Характеризуя роль Даммита в том, что можно было бы назвать "сменой когнитивных парадигм в аналитической философии языка", В.В.Петров писал: "В конце 60-х — начале 70-х годов в зарубежной аналитической философии было достаточно четко осознано, что полноценная модель языка уже никак не может ограничиться только семантическим подходом, необходимо включение в общую модель языка и прагматических аспектов его функционирования. Отсюда обозначилась задача — совместить в рамках одной теории семантические и прагматические "стороны" языка, другими словами, подходы Г. Фреге и Л. Витгенштейна. И не случайно, что решить эту проблему попытался М. Даммит — последователь Витгенштейна и одновременно автор очень известных работ по философии языка и математики Фреге."[1]

Как известно, развитие философии языка в XX веке привело к общему принятию той точки зрения (в установлении которой решающую роль сыграли работы Фреге, Рассела и, конечно, "Трактат" Витгенштейна), согласно которой теория значения для данного языка назначает значения прежде всего предложениям в их ассерторическом использовании (т.е., по грамматическим характеристикам — повествовательным предложениям изъявительного наклонения), и лишь затем — субсентенциальным элементам языка (на лексическом и морфологическом уровнях) и неассерторическим предложениям. Отсюда значение понимается прежде всего как условия истинности предложения. Сторонники этого подхода считают, что в силу универсальности и общезначимости истины такая теория значения может (и должна) дать *общую* концепцию значения, т.е., следовательно, значение выражения *любого* языка. Однако **для того, чтобы теория значения вообще могла быть разработана, она должна иметь дело с каким-то определенным языком** (в этом состоит одно из важнейших допущений представляемого подхода). Например, согласно Даммиту, такая теория не может быть дана без использования выражений для понятий, выразимых в словах того языка, к которому относится эта теория. При объяснении того, каким образом владеющий языком схватывает значения его выражений, теория должна объяснить, каким образом он так использует эти выражения, что оказывается способен выразить эти понятия, а следовательно, не должна приписывать ему предварительное схватывание этих понятий.

Речь здесь идет прежде всего вот о чем: в рамках естественного языка, по Даммиту, любое выражение необходимо рассматривать в контексте определенного речевого акта, поскольку связь между условиями истинности предложения и характером речевого акта, совершаемого при его высказывании, является существенной в определении значения. Это позволяет Даммиту утверждать наличие двух частей у любого выражения — той, которая передает смысл и референцию, и той, которая выражает иллокутивную силу его высказывания, другие характеристики употребления. Соответственно теория значения также должна состоять из двух "блоков" — теории референции и теории

[1] Петров В.В. От философии языка к философии сознания (новые тенденции и их истоки). — Философия. Логика. Язык. Сборник статей под ред. Д.П.Горского, В.В.Петрова. М., «Прогресс», 1987. С.6-7.

употребления языка. Следовательно, основная проблема теории значения состоит в выявлении связей между этими "блоками", то есть между условиями истинности предложений и действительной практикой их употребления в языке.

Ясно, что это требование исключает как философски бесполезные все те теории значения, которые предлагают характеризовать значения предложений данного естественного языка, переводя эти предложения на другой, более знакомый язык (или модели, подразумевающие, в духе идей Хомского, применение так называемых "языков-посредников" или языков смысла, в результате происходит дополнительная трансляция "исходный язык оригинала — язык смысла — язык перевода"). Теории такого вида исходят из допущения о неявном схватывании понятия значения, а не пытаются раскрыть это схватывание. В действительности же для того, чтобы определить, каким образом выражения естественного языка имеют значения, нужно знать, как обеспечить правильную интерпретацию такого языка без обращения к понятию значения, и без того, чтобы приписывать говорящим на этом языке предшествующее (и далее не объясняемое) схватывание понятий, выражаемых его словами.

Для выявления связи между двумя "блоками" теории значения Даммит предлагает рассматривать знание условий истинности как некоторую эмпирическую способность опознавания. Поскольку такой способ принятия решений об истинностном значении одновременно является и практической способностью, он и образует необходимое связующее звено между знанием и использованием языка. Но тем самым Даммит предлагает согласиться с тем, что в знание о языке могут входить лишь такие концепты, которые индуцированы непосредственно чувственно-наличными данными. Соответственно наше обучение языку сводится к умению делать утверждения в опознаваемых обстоятельствах, и при этом содержание предложений не может превосходить то содержание, которое было дано нам в обстоятельствах нашего обучения.

Такая интерпретация должна состоять главным образом в выделении и характеризации тех свойств языковых выражений, которые составляют их значение. И мы не можем произвольно постулировать такую интерпретацию, поскольку речь идет о теории значения для данного естественного языка — мы должны дать теорию того, как он *в действительности* интерпретируется теми, кто на нем говорит. Другими словами, надо объяснить, как выражения этого языка могут быть поняты и в чем состоит это понимание. Но как оценить, является ли такая теория значения правильной? Ведь бессмысленно было бы спрашивать об этом самих говорящих на этом языке — они могут превосходно владеть им, но при этом не быть способными оценить ту или иную теорию значения как правильную.

Даже если мы и можем, вопреки Даммиту, приобретать знание, выходящее за пределы наших возможностей опознавания, возникает другая сложная проблема — каким же образом такое "неопознаваемое" знание проявляется в фактическом использовании языка? Ведь, по Даммиту, опознаваемые условия истинности служат единственным средством связи между знанием и использованием языка.

При развитии мыслей Даммита возникает вывод о том, что использование языка следует отождествлять не со способностью устанавливать истинностные значения предложений, а скорее с более широкой способностью интерпретировать речевое поведение других лиц. Принимая такой взгляд, мы отказываемся от ложного предположения, в соответствии с которым способность понимать и использовать некоторое выражение обязательно предполагает способность опознавать

некоторый данный объект как носитель этого выражения. В действительности же можно обладать способностью интерпретировать предложения и в то же время быть неспособным точно опознать объект, обозначаемый ими.

Таким образом, попытка строить адекватную теорию значения, соответствующую реальной языковой практике, должна, в соответствии с предполагаемым подходом Даммита, учитывать истинность и обоснованность высказываний, а следовательно, может происходить по следующим направлениям.

- Сначала мы должны определить, какие предложения естественного языка могут считаться утвердительными, принимая во внимание их форму, а также способ и обстоятельства их произнесения (т.е. их функцию в тексте).
- Во-вторых, мы должны установить, при каких обстоятельствах компетентный говорящий намерен утверждать или действительно утверждает данное предложение. Это можно рассматривать как установление того, при каких обстоятельствах компетентный говорящий признает это предложение истинным и обоснованным. (Причина этого хода — отождествление готовности говорящего утверждать предложение с его признанием этого предложения истинным и обоснованным.)
- В-третьих, эти обстоятельства признания предложения истинным и обоснованным в большинстве случаев и есть те обстоятельства, при которых оно действительно истинно и обоснованно, то есть его условия истинности и обоснованности. И в конечном счете мы приходим к заключению о том, что эти условия истинности и обоснованности и состоят в том, в чем заключается значение этого предложения.
- Следующий и отдельный шаг состоит в определении значений составных частей этого предложения, что происходит через идентификацию их вклада в условия истинности и обоснованности предложения.

Однако, для того, чтобы получить адекватную теорию значения, следует тщательно разъяснить понятие *признания предложения истинным*. Последнее подразумевает два важных аспекта.

- Один из них касается процедуры *установления истинности предложения*. Мы должным образом признаем предложение истинным только тогда, когда это происходит в результате наблюдений или экспериментов, или дедуктивных и индуктивных выводов. За исключением простых предложений наблюдения, признание предложения истинным предполагает логически выведенное рассуждение некоторого вида. Следовательно, можно сказать, что когда компетентный говорящий признает некоторое предложение истинным, то это связано с выяснением того, как обосновано рассматриваемое предложение.
- Однако признание предложение истинным — не просто вопрос обоснования, поскольку истинность не сводима к обоснованности. Признание предложения истинным подразумевает также идею *действия или готовности действовать в соответствии с предложением, признанным истинным*. Таким образом, любая адекватная теория значения должна объяснить, каким образом и до какой степени значения предложений определены следствиями принятия их за истинные.

Для сторонников теории значения в терминах условий истинности установление истинности предложения и готовность действовать в соответствии с этим предложением не определяют его значение как таковое, как некоторую независимую сущность, а скорее позволяют идентифицировать условия истинности, которые составляют значение этого предложения. Таким образом, здесь мы имеем дело с двумя дополнительными и поддерживающими друг друга способами утверждения теории значения, сформулированной в терминах истинности предложения.

Но возможно, что принятие теории значения как условий истинности не является необходимым. В конце концов, почему мы должны считать, что значение так или иначе скрыто позади эксплицитной лингвистической практики и что адекватная теория значения не может быть построена непосредственно из элементов этой практики? Если принять последнее предположение, то нет никаких препятствий к тому, чтобы предположить, что значения предложений естественного языка определены тем, что составляет их признание истинными, и тем, что участвует в принятии их за истинные. Успех такой теории значения позволил бы утверждать, что теория лингвистической практики требует

- понятия признания-за-истину, принятия-как-истинного и
- понятия действия-в силу-истинности предложения.

Собственно понятие *быть истинным*, таким образом, оказывается избыточным.

Очевидно, что человек не может говорить и понимать выражения какого-либо языка без соответствующих семантических знаний. Но, зная только значения, он еще не в состоянии понимать данный язык и говорить на нем. Для того чтобы понимать язык (говорить на языке) , приходится осуществлять много разных операций, служащих выявлению единственно верного значения: конструирование из звуков цепочек слов, организация этих цепочек для того или иного конкретного значения из тех многих, которыми они могут обладать; установление правильной референции и многое другое. Но в любом случае осуществляется ряд выборов, правильность которых зависит уже не только от отдельных операций, но и от правильности заранее построенных стратегий, которые уже не являются на самом деле только частью того, что означают выражения языка. Поэтому если некто будет знать только значения выражений и больше ничего, то он не сможет ни говорить на языке, ни понимать его.

Другими словами, понимание значения предполагает объединение лингвистических и экстралингвистических знаний, явной и фоновой информации. Но этот путь далеко уводит нас за пределы как философии языка, так и традиционного лингвистического анализа. Тем не менее он в настоящее время кажется единственно приемлемым. И этим объясняется столь широкий интерес к подходу Даммита, предпринявшего попытку такого рода.

Можно предположить, что оба эти аспекта лингвистической практики — установление истинности предложения и последствия принятия его за истинное — в совокупности определяют значение предложения в объеме, достаточном для семантического анализа. Разумно также предположить, что между этими двумя аспектами должна существовать взаимная зависимость, и один может быть определен в терминах другого (по крайней мере, в предельных случаях). Это дает нам двухаспектную теорию значения — обосновательную и прагматическую. Ее преимущества очевидны: она более полно учитывает обстоятельства, связанные с

ситуацией действительного употребления естественного языка; ее результаты могут корректироваться в ходе лингвистической практики, и наконец, ей прямо может быть поставлена в соответствие некоторая теория референции.

Однако подобная теория сталкивается, разумеется, с собственными трудностями. Можно назвать по крайней мере три основных проблемы (или группы проблем). Первые две восходят к известной критике трансформационной грамматики Хомского[2], данной Стросоном[3]; много внимания им уделяет Даммит[4]; третья же является метаметодологической для обсуждаемой темы.

1. Первая проблема связана с тем, что в представлении теории значения в терминах обоснования нельзя повторять старые ошибки, обычно приписываемые логическим позитивистам. Они состоят в том, что предложения берутся изолированно, откуда следуют бесполезные попытки определить их значения одно за другим. Значения многих предложений определяются контекстом, т.е. значения входят в некоторые группы, и их условия обоснования взаимно зависимы. Это делает весьма серьезной опасностью круг в обосновании (в предельном случае аналогичный герменевтическому кругу). Иными словами, весьма вероятно, что нам придется определять значение некоторого предложения *A* в терминах значения некоторого другого предложения *B*, и затем — рано или поздно — значение предложения *B* в терминах значения предложения *A*, или по крайней мере в терминах значения предложения, предполагающего значение предложения *A*.

---

[2] Сравним это с соответствующим пассажем у Хомского.
Хомский считает, что следующие два предложения, имея одинаковую поверхностную структуру, различаются по глубинной:
Я убедил Джона уйти.
Я ожидал, что Джон уйдет
Смыслом этого примера является главным образом следующее наблюдение: если мы переводим встроенное предложение во втором предложении в пассивную форму, результатом будет предложение, "когнитивно синонимичное" с его активной формой; однако аналогичная процедура с первым предложением не приведет к аналогичному результату. Наблюдение абсолютно правильное, но каким образом оно показывает, что (1) и (2) имеют принципиально разные глубинные структуры? Самое большее, на что указывает этот пример, это то, что теория, приписывающая (1) и (2) различные структуры, проще, чем та, что этого не делает. Однако неясно, каким образом наша лингвистическая интуиция участвует в доказательстве этого различия.
Но Хомский, конечно, прав: между (1) и (2) существует разница, и она становится заметной, как только мы начинаем размышлять в терминах построения теории истины. В самом деле, нам не нужно идти далее вопроса о семантической роли слова "Джон" в обоих предложениях. В (1) "Джон" может быть заменен любым кореферентным термином без изменения при этом истинностного значения предложения, что неверно для второго случая. Таким образом, роль слова "Джон" для условий истинности (1) должна быть разительно отличной от его роли для условий истинности (2). Подобная демонстрация различия в семантической структуре (1) и (2) не обращается к "неявному знанию грамматики говорящим" или "внутренней компетенции идеализированного носителя языка". Она основывается на совершенно четком понимании каждого говорящего [в данном случае] по-русски того, как может изменяться истинностный статус (1) и (2), в зависимости от замены слова"Джон".
Однако эти последние замечания еще не начинают воздавать должное истинностному методу. Они показывают, что, помня о требованиях теории истины, мы можем четче представить наше смутное понимание различия структур (1) и (2). Досих пор, таким образом, данные, используемые нами для доказательства, того же сорта, что и у Хомского: они касаются, в основном, утраты или сохранения истинностного значения предложений при их трансформации. Подобные соображения будут, без сомнения, направлять и далее конструктивные и аналитические труды лингвистов, как это давно происхоит с философами. Красота обсуждаемой нами теории заключается в том, что эти намеки на структуру, как бы они ни были полезны или сущностно важны для обнаружения подходящей теории, не должны играть прямой роли в проверке конечного результата.
[3] Strawson P.F. Grammar and Philosophy — Logico-Linguistic Papers. L.: Methuen, 1971. Pp. 130-148.
[4] Dummett M. The Seas of Language. Oxford: Clarendon Press, 1993.

Пути решения. Как представляется, выход здесь может состоять в следующем. Предложения, значения которых определяются в терминах обоснования, могут быть расположены таким образом, что значение данного предложения *A* может быть дано в терминах только тех условий обоснования, которые предполагаются значениями менее сложных предложений, чем рассматриваемое. Согласно этому допущению, схватывание предложения подразумевает схватывание некоторого фрагмента языка, которому это предложение принадлежит, а экспозиция языка в целом может быть построена без круга в обосновании, начиная с предложений минимальной сложности (предложения наблюдения) и интерпретируя предложения любой степени сложности перед переходом к трактовке предложений следующей степени сложности.

Подобная стратегия ухода от циркулярности может быть предложена в качестве теории значения в терминах следствий принятия предложения за истинное: объяснение значения любого предложения может предполагать значения только менее сложных предложений, и может даваться параллельно только со значениями предложений такой же сложности. Это относится ко всем приемлемым назначениям степеней сложности.

Наиболее критично для этой стратегии правильное и точное назначение степеней сложности для предложений рассматриваемого языка. Формальная или поверхностная (синтаксическая) сложность далеко не обязательно будет соответствовать семантической, и это — важный довод в пользу того, что такая теория все же не позволяет избавиться от необходимости в предшествующем интуитивном схватывании значений.

Однако возможны такие модификации теории, которые ответят на этот аргумент и позволят оценить сложность предложений до схватывания их значений. Они могут исходить из отклонения идеи о том, что отношения обоснования предполагают линейный, асимметричный порядок зависимости среди рассматриваемых предложений. Вместо этого можно предположить, что обоснование является в конечном счете холистическим и нелинейным по характеру. Это подразумевает два обстоятельства.

1) С такой точки зрения, все предложения в тексте состоят в отношениях взаимной поддержки. Таким образом, круга удается избежать, поскольку первичной единицей обоснования предстает сам текст, а составляющие его предложения обосновываются лишь деривационно, на основании их вхождения в этот текст.

2) Определение сложности, как и само обоснование, может проводиться *неоднократно*, с разных позиций, относительно различных сверхфразовых единств, т.е. исходя из различного лингвистического опыта. Результат, с такой точки зрения, должен признаваться принципиально подлежащим постоянному уточнению и будет представлять собой пересечение различных результирующих множеств семантических признаков. Подобная динамическая модель будет наиболее полно соответствовать действительной ситуации функционирования естественного языка в языковом сообществе.

2. Вторая проблема подобна первой, но у нее другие причины. Она возникает потому, что если значение предложения дано в терминах условий его обоснования, то потребуется различать между *прямыми* или *каноническими*

средствами обоснования, которые являются конститутивными для значения, и *косвенными* или *неканоническими* способами обоснования, которые предполагают, что значение рассматриваемого предложения уже известно. Рассмотрим в качестве примера утверждение "На полке в моей кухне 12 тарелок". Прямой способ установления истинности этого утверждения состоит в том, чтобы пойти на кухню и посчитать тарелки, и этот способ конститутивен для его значения. Конечно, есть множество косвенных средств установления истинности этого утверждения — скажем, я помню, что два дня назад, когда я принимал гостей, тарелок было девять, а вчера я купил еще три. Легко дать множество подобных интуитивных примеров этого различия, однако трудно дать общую теорию прямого обоснования.

Пути решения. Даммит считает, что прямое обоснование может быть описано как такое обоснование, которое последовательно, шаг за шагом соответствует тому способу, которым предложение построено из своих составных частей, — т.е. предлагает использовать здесь принцип композициональности, подобно тому, как истинностное значение предложения представлено в теории значения как условий истинности в соответствии с его составом. Аналогичное различие и описание подходит и для теории значения в терминах следствий принятия предложения за истинное, поскольку только *наиболее прямые* следствия конституируют значение данного предложения. Но если встать на эту позицию, то возникает следующий вопрос: как установить, какое именно обоснование и какие именно следствия предложения являются прямыми, без предшествующего понимания этого предложения, хотя бы и приблизительного?

Можно предположить, что здесь не требуется никакое семантическое понимание рассматриваемого предложения, а достаточно просто схватывания его синтаксиса. В самом деле, с точки зрения принципа композициональности любая теория значения должна быть основана на синтаксисе, то есть на анализе структуры предложений как соединения их составных частей. Тем не менее такой ответ далек от удовлетворительного: как в предыдущем случае, здесь важен не поверхностный синтаксис, но несколько более глубокий, который не может быть легко отделен от значения и его схватывания или понимания.

Более перспективной представляется здесь каузальная трактовка обоснования, согласно которой мы можем считать предложение обоснованным, когда мы располагаем явным или неявным знанием причин, по которым мы принимаем и поддерживаем (или оспариваем, отрицаем и т.д.) выражаемое этим предложением убеждение или полагание. Соответственно, мы знаем значение предложения тогда, когда мы обладаем выражаемым им полаганием в силу доступных нам релевантных причин. Тогда прямота/косвенность следствия будет зависеть от принимаемой нами трактовки каузальности, и теория языкового значения сближается, таким образом, с философией науки. С другой стороны, мы не можем, приняв такую позицию, далее утверждать, в духе Даммита, что конститутивными для значения являются лишь прямые, а никак не косвенные следствия, поскольку каузальное обоснование вовсе не обязательно сводится к установлению истинности, но может признаваться независимым от истинности свойством.

3. Третья проблема заключается в следующем. Итак, сторонники обосновательной и прагматической теории значения склонны утверждать, что независимое понятие истины не является необходимым в теории значения. В действительности требуются два понятия: понятие установления истинности предложения и понятие

действия в силу истинности предложения. Все же очевидно, что некоторые особенности нашей лингвистической практики, особенно некоторые формы вывода дают предложения, значения которых невозможно дать ни в терминах их условий обоснования, хотя бы и прямых, ни в терминах их прямых следствий (например, фактические утверждения в некоторых видах научного дискурса). Поэтому следует признать, что по крайней мере в некоторых случаях значения наших предложений должны быть объяснены в терминах релевантных условий истинности этих предложений.

Пути решения. Мы должны признать, что наше понимание предложений (по крайней мере, утверждений о прошлом) включает не просто знание наших оснований для их утверждения, но схватывание того, как они представляют действительность — того, как их принятие вносит вклад в нашу картину мира, в котором мы обитаем и с которым мы взаимодействуем. Поэтому понятие истинности может признаваться избыточным для теории значения лишь в том случае, если мы понимаем обоснование как процедуру установления истинности — позиция, опирающаяся на логическую традицию, восходящую, по крайней мере, к Лейбницу. Однако если мы, в духе современной эпистемологии, полностью разводим истинность и обоснованность высказываний, то можно показать, что условия обоснования не конкурируют в теории значения с условиями истинности даже при том, что определяемые ими понятия могут признаваться коэкстенсиональными.

Возвращаясь к теории значения Даммита, следует заметить, что некоторые неразрешимые проблемы этой теории обусловлены стремлением соединить в рамках одного подхода два принципиально различных типа теоретических концепций — семантические и прагматические. Семантические теории отличаются от прагматических, на наш взгляд, по объекту исследований, форме теоретических обобщений и конечной цели. Если семантика рассматривает некие "смысловые инварианты", неизменные относительно конкретных ситуаций употребления, то цель прагматического исследования — анализ и объяснение именно конкретных ситуаций употребления. Можно сказать, что семантика имеет дело с идеализированным объектом, "теоретическим конструктом", тогда как объект прагматики — более индивидуальный, эмпирический.

Эти различия в объектах исследования во многом предопределены целью теоретических концепций. Прагматические теории ориентированы скорее не на прояснение отношений между языком и реальностью (как семантические), а на экспликацию знания, уже данного в имплицитной способности субъекта. Такая установка строго вытекает из известных требований аналитической философии, сформулированных еще Витгенштейном. В соответствии с целями и объектом исследований складывается и форма теоретических конструкций и обобщений. Прагматические концепции — это в основном стратегии, принципы, "наборы" далеко не однозначных правил типа принципов коммуникативного сотрудничества Грайса, и т.д., в то время как семантические теории объясняют языковые факты путем строгой спецификации системы конкретных правил и условий их действия.

Полученная таким образом теория значения исходит из следующего: значение предложения определено его условиями истинности, дано не независимо от обоснования предложения и прагматических следствий его принятия как истинного. Кроме того, понимание значения подразумевает конкретное множество

процедур его обоснования и конкретное множество его непосредственных следствий.

По Даммиту, теория значения считается приемлемой лишь тогда, когда она устанавливает отношение между знанием семантики языка и способностями, предполагающими использование языка. Поэтому семантическое знание не может не проявляться в наблюдаемых характеристиках употребления языка. При этом сами наблюдаемые характеристики могут служить исходной точкой, от которой можно восходить к семантическому знанию. И в этом смысле цели анализа Даммита вполне ясны и понятны. Однако очевидно также, что до проведения конкретных исследований невозможно угадать, какое место займет знание семантики того или иного языка в общей картине, отражающей все процессы говорения и понимания языка.

Конечно, дело не только в степени абстрактности объектов семантики и прагматики — различия между этими фундаментальными аспектами языка гораздо глубже, существеннее. Именно это и заставило Витгенштейна совершить известный поворот, приведший к изменению многих установок в изучении природы языка. Попытка Даммита соединить воедино столь различные аспекты языка в значительной степени прояснила трудности, возникающие на этом пути.

12.2 Аналитические модели объяснения

Проблеме научного объяснения посвящена обширнейшая литература. Аналитические аспекты этой темы могут быть резюмированы так: каким образом проблема перехода от описания к объяснению связана с проблемой значения языковых выражений? Исходный вопрос может быть сформулирован следующим образом:

как возможно и как осуществляется расширение дескриптивности, означающее, по существу, увеличение знания о мире?

Введем определения:

- *дескрипция* понимается как **языковая (текстовая) характеристика предмета по некоторым из его признаков, которая может употребляться в языке (речи) вместо имени этого предмета** (при этом успешность такого употребления выступает показателем релевантности тех параметров, по которым произведена дескрипция);
- *объяснение* считается каким бы то ни было видом **языковой (текстовой) характеристики предмета, который может быть противопоставлен дескрипции** (по тем или иным основаниям).

Поэтому нам следует говорить об ***определении границ дескрипции***, или ***установлении различия между дескрипцией и объяснением***. Задача разграничения дескрипции и объяснения будет в таком случае задачей эксплицирования оснований их противопоставления.

Например, мы говорим: "Вода — это H_2O". Указываем ли мы таким способом на свойство воды "быть веществом, молекула которого состоит из двух атомов водорода и одного атома кислорода" или же мы даем с помощью этого высказывания объяснение (т.е., в данном случае, *теоретическое описание*)

молекулярной структуры вещества "вода"? Очевидно, и то, и другое: это будет зависеть от контекста, в который помещено высказывание "Вода — это H_2O" — будет ли оно, например, являться ответом на общий вопрос: "Что такое вода?" или на специальный: "Какова молекулярная структура воды?" Дескрипция, в отличие от объяснения, может не предполагать вообще никакого вопроса или же наиболее общий вопрос: "Каков этот предмет?" Объяснение же управляется более специальными вопросами — например (чаще всего): "Почему этот предмет таков (каков он есть)?" — и, соответственно, имеет целью установление таких взаимосвязей между различными видами представлений об исследуемом предмете, в силу которых имеет место то или иное знание о нем. В этом смысле, например, Бас ван Фраассен доказывает, что теория объяснения должна быть теорией вопросов "почему" (why-questions)[5].

В таком случае следует признать, что дескрипция является таковой в силу определенных свойств контекста, т.е. само свойство дескриптивности контекстно-зависимо.

Попытаемся прояснить характер этой зависимости. Так, хорошо известны затруднения, связанные с применением метода дескрипций в референциально непрозрачных контекстах, где кореферентные выражения не могут быть взаимозаменимы *salva veritate*. Причем можно по-разному классифицировать непрозрачные контексты: например, принято различать собственно интенсиональный контекст, запрещающий подстановку контингентно кореферентных выражений, но разрешающий подстановку необходимо кореферентных выражений, и так называемый гиперинтенсиональный контекст, запрещающий подстановку и тех, и других. Подобные дистинкции могут быть, вообще говоря, сколь угодно семантически тонкими: так, Э. Сааринен различает пять видов неоднозначности при квантификации в пропозициях с интенсиональными предикатами[6].

Для наших целей будем считать, что такие контексты могут быть двух видов. Для этого вернемся к примеру, рассмотренному нами в § 10.4.1.

Если, скажем, вместо имени "Наполеон" мы употребляем дескрипцию "побежденный при Ватерлоо", то ее может быть недостаточно для идентификации референта участником коммуникации, если он не знаком с историей.

Допустим, далее, что участники коммуникации знают историю, и мы успешно употребляем вместо имени "Наполеон" дескрипцию "побежденный при Ватерлоо" — или, скажем, дескрипцию "vaincu à Waterloo", являющуюся переводом первой на другой естественный язык, что по-прежнему позволяет нам указать на референт единственным образом. Вместе с тем дескрипция "побежденный при Бородино" может указывать на Наполеона, а ее перевод на французский язык — "vaincu à Borodino" — наоборот, на его противника Кутузова: поскольку в этом сражении было уничтожено примерно равное число людей с обеих сторон, а войска при этом остались на прежних позициях, то вопрос о том, кто же при этом оказался победителем, оказывается вопросом интерпретации. Можно прочитать во французских учебниках истории — и каждый француз, ходивший в школу, знает это — что сражение при Бородино явилось еще одной славной победой

[5] van Fraassen B. The Scientific Image. — Oxford., 1980. P.134.
[6] Saarinen E. Quantifier Phrases Are (At Least) Five Ways Ambiguous in Intensional Contexts — Heny F. (ed.) Ambiguities in Intensional Contexts. Synthese Language Library, V.12. — Dordrecht — Boston — N.Y., 1981.

французского оружия перед тем, как морозная зима вынудила Наполеона оставить Россию. Бородино всегда упоминается в списке побед Наполеона на памятниках ему во Франции. И напротив, каждый русский знает значение победы русских войск при Бородино, которая привела к падению империи Наполеона. Дело здесь не только в официальной идеологии, отраженной в образовательных программах: важно, что это событие стало фактом национальной культуры, будучи описанным в замечательных произведениях литературы.

Таким образом, когда мы говорим, что дескрипция является таковой в силу определенных свойств контекста, то это означает, что дескрипция оказывается релятивизованной к некоторой *системе описания*, или концептуальной схеме. Мы видим это в обоих примерах, но очевидно различными способами.

В первом случае в качестве такой схемы выступает совокупность широко распространенных мировоззренческих установок и элементов знания, т.е. некоторая (научная) картина мира. Поражение Наполеона при Ватерлоо является историческим фактом, по поводу которого существует общее согласие, и невозможность идентифицировать референт по такой дескрипции свидетельствует о некачественности, неполной истинности того знания, которым обладает реципиент. Контекст может быть прояснен путем согласования индивидуальной концептуальной схемы реципиента с общепринятой, разделяемой всеми участниками коммуникативного сообщества. Общепринятая концептуальная схема выступает здесь неким (в этом отношении предельным) горизонтом знания, и согласование в таком случае будет заключаться в приближении к нему — реципиент должен прочесть учебник или прийти на урок и попросту узнать, кого же победили при Ватерлоо. Индивидуальная концептуальная схема реципиента (недействительная) была бы, таким образом, исправлена согласно имеющему силу образцу — стандартной схеме.

Во втором же случае контекст референциально непрозрачен в силу конфликта двух социальных концептуальных схем, фиксируемых естественными языками и существующих в языковых сообществах. Согласование таких схем имело бы иную форму, чем обучение истории малограмотного реципиента. Оно потребовало бы не приближения к чему-то данному с целью не отличаться от него, но установления соответствий между двумя классами понятий. Причем речь здесь идет не только — и, конечно, не столько — об интерпретации фактов, сколько о свойствах и элементах языковых картин мира. Например, в некоторых африканских языках есть лишь два термина для характеристики цветовой гаммы: "теплый" цвет и "холодный", в общем соответствующие двум половинам спектра[7]; соответственно радуга, в пределах такой концептуальной схемы, может иметь дескрипцию "наблюдаемый в небе двухцветный феномен", т.е. такую дескрипцию, по которой носитель любого индоевропейского языка, на которой будет переведена дескрипция, никак не сможет идентифицировать референт.

Аналогичным образом мы можем интерпретировать проблематику модальных и косвенно-речевых контекстов, где референция невозможна в силу нарушения принципа подставимости тождественного. Например, выражения "число планет в Солнечной системе" и "9" являются двумя подстановками числа 9, но первое не может быть подставлено вместо второго в высказывании "9 с необходимостью больше 7" или вместо одной из девяток в "9 с необходимостью равно 9". При нашей оценке истинности выражения "Число планет в Солнечной системе с

[7] Мартине А. Основы общей лингвистики //Новое в лингвистике, вып. III. — М., 1963.

необходимостью равно 9" мы исходим из того, что, согласно нашим позитивным представлениям, не существует ни закона природы, с необходимостью регулирующего число планет, ни всемогущего существа, которое могло бы задать такую модальность. Однако в рамках, например, мифологической картины мира утверждение вида "Число планет с необходимостью равно 9" могло бы восприниматься как истинное. "Квантифицируемые переменные" в этом примере Куайна ($N(x)>7$ или $N(x)=9$) находятся для нас не в указательных позициях не столько в силу того, что пропозиция модальна (т.е. "иначе не могло бы быть"), сколько в силу того, что они отсылают к определенным (возможно, конфликтующим) положениям дел, в которых — и именно в них — известно, каким образом обстоят дела, и известно, что они обстоят отличным друг от друга образом. Поэтому, возможно, вернее было бы говорить не о том, что переменные здесь находятся не в указательных позициях, а о том, что подобного рода контексты не предоставляют возможности для сравнения различных положений дел или определения отношений между ними: мы не можем отсюда заключать о том, каково может быть соотношение между различными положениями дел и их элементами.

По традиционным представлениям, идущим от Рассела и Фреге, предмет референции обладает свойствами, которые фиксируются соответствующими дескрипциями. Согласно этой идее, имена обеспечивают референцию к предметам через дескриптивное содержание, которое связано с именем; имя оказывается связанным с эквивалентным множеством дескрипций и относится к чему бы то ни было, что удовлетворяет всем (или наибольшему количеству из имеющихся или возможных) дескрипций. С такой точки зрения дескрипции дают значение имени, определяя предмет референции, который является тем, что удовлетворяет (или лучше всего удовлетворяет) дескрипции. Имя отсылает к своему носителю в силу некоторой связанной с именем дескриптивной информации, которая относится исключительно к носителю имени. Так, имя собственное является сингулярным выражением обращения, которое используется для того, чтобы обеспечить референцию к единственному — притом известному — индивиду или предмету. Возможность референции при таком подходе определяется некоторым уровнем знания об объекте, а сама проблема референции ставится как эпистемологическая проблема.

Вопрос, возникающий в этой связи, таков: ***как мы можем знать, что некоторая дескрипция является истинной?***

Согласно общепринятой дедуктивно-номологической модели объяснение предполагает описание некоторого исходного знания об исследуемом предмете и описание некоторого дополнительного знания более общего характера. С такой точки зрения, к последовательности подобных построений сводимы выводы, возникающие в реальном процессе познания. Объяснением того, почему истинно высказывание "Вода — это H_2O", будет, например, указание на то, что это высказывание дедуктивно выводимо из высказываний "Вещества, молекула которых состоит из двух атомов водорода и одного атома кислорода, представляют собой H_2O" и "Молекула воды состоит из двух атомов водорода и одного атома кислорода". Разумеется, возможны и другие пути вывода, но в любом случае эксплананс как совокупность утверждений, выражающих то или иное знание об исследуемой предметной области, и экспланандум как совокупность утверждений, выражающих некоторое исходное знание об

исследуемом предмете, должны быть связаны отношением дедуктивной выводимости эксплананду из эксплананса.

Привлечение логических понятий и символических средств призвано устранить так называемый парадокс объяснения, который заключается в следующем: для того, чтобы объяснить, как произведено то или иное объяснение, нужно знать, в чем заключается общий механизм объяснения, т. е. заранее знать то, что неизвестно и еще только рассматривается в качестве предмета объяснения. В дедуктивно-номологической модели парадокс оказывается снятым, однако оценка истинности высказывания фактически сводится к проверке соответствия этого высказывания некоторому (полагаемому данным) множеству истинных высказываний; оцениваемая таким способом истинность не может не быть аналитической, что в данном случае означает — конвенциональной. Здесь нет еще оснований считать полученное таким образом знание о мире истинным в смысле, скажем, прямого соответствия миру. Центральным вопросом, таким образом, здесь оказывается выбор базовых примитивов, или элементарных терминов (primitive terms) — "семантических атомов", из которых строится объяснение. Предполагаемая непроизвольность такого выбора может быть постулирована как положение о том, что по крайней мере элементарные термины языковой системы должны функционировать как термины естественных видов (см § 11.4.1.)

Предлагаемые решения могут оперировать определением истинности выражения как истинности относительно некоторой концептуальной структуры. В частности, относительность истины представляется важной предпосылкой, если мы пытаемся говорить о конвенциональности значения, удерживая при этом представления о связи значения языкового предложения с условиями его истинности. С другой стороны, такие модификации могут помочь вывести концепцию значения как условий истинности из-под удара содержательной критики, которой она была подвергнута, например, М. Даммитом. Как мы, возможно, еще помним, согласно Даммиту, концепция значения как условий истинности неприемлема, поскольку она не приводит к удовлетворительному объяснению феномена понимания языка; любая теория значения, которая не является теорией понимания или не дает ее в итоге, не удовлетворяет той философской цели, для которой нам требуется теория значения — а следовательно, теория значения должна включать, помимо теории референции, еще некоторую теорию иллокуции.

Оставаясь в пределах корреспондентных представлений об истинности, мы должны будем рассуждать примерно так: отношение между знаками – например, повествовательными предложениями изъявительного наклонения объектного языка — и трансцендентной описанию реальностью есть отношение дескриптивности. При этом по отношению к описываемой реальности как таковой, как к имеющемуся в наличии в качестве реальности трансцендентному референту, отношение между предложениями и тем, что они описывают, может задаваться в конкретной ситуации по крайней мере двумя способами:

- как дескрипция исходной данности и
- как *конструкция*, т.е. расширенная по отношению к первично репрезентированному материалу дескрипция более высокого уровня репрезентации.

В контексте понимания репрезентации как отношения описания к некоторой реальности (М. Вартофский) такая расширенная дескрипция предстает описанием

некоторой иной, новой по отношению к первично репрезентированной, реальности. Конструктивное отношение характеризуется привнесением новых элементов, чей референциальный статус может быть не прояснен, т.е. эти референции могут не отсылать к изначально наличной реальности так, как к ней отсылают референции, устанавливаемые в первичной дескрипции. Тогда мы должны будем признать, что попытка расширения дескрипции, т.е. построения объяснения, означала бы, в определенном смысле, *удвоение референта*.

В самом деле, если мы имеем дело с системой обозначений, в которой взаимосвязаны как дескриптивные, так и конструктивные отношения к реальности — а эта реальность полагается в пределе общей для дескриптивного выражения в данной системе предложений — то перед нами встает вопрос: как эта внутренняя взаимосвязность достигается и сохраняется в контексте различного характера соотнесения с реальностью внутри данной системы предложений? По существу мы описываем внутри этой системы *две реальности*, принимаемые теоретически за *одну*. Следует признать, что попытка онтологического обоснования такого вывода явилась бы весьма дискуссионной.

Итак, мы рассмотрели традиционные представления о критериях перехода от описания к объяснению как основанные на репрезентационистском подходе к анализу языковых значений и показали связанные с этим проблемы, возникающие при использовании корреспондентной концепции истины. Альтернатива, к которой мы подошли в ходе этого рассмотрения, такова: представления об условиях истинности языковых выражений могут быть развиты в терминах когерентной концепции истины.

Согласно последней, мера истинности высказывания определяется его ролью и местом в некоторой концептуальной системе. Чем более связаны, или согласованы между собой наши идеи, тем в большей степени они истинны. Истинность любого истинного предложения состоит в его когерентности с некоторым определенным множеством предложений.

В то же время теоретики корреспонденции позволяют себе не озадачиваться этим видом вопросов, рассматривая корреспонденцию как отношение *sui generis*. "Помимо риторики высмеивания, существуют ли действительно принципиальные возражения против того, что общезначимая концепция корреспонденции нередуцируема, не подлежит анализу?"[8]. В таком случае уместно задать вопрос, почему тогда когерентность не может быть отношением sui generis так же, как корреспонденция?

Поскольку любой концептуальный анализ должен иметь основу, то следует принять наличие концептуальных "атомов", из которых сформированы все другие концепции и которые сами не могут быть проанализированы. Но так как любая система имеет структуру, мы можем сказать то же самое и относительно отношений между ними. (Поэтому, вероятно, может быть обоснован и более сильный тезис: если мы признаем корреспонденцию отношением *sui generis*, то мы тем самым с необходимостью признаем таким же отношением когерентность.)

Основание, если не наиболее существенное, по которому может быть оспорена как сама концепция когерентности истинности, так и ее связь с когерентной теорией обоснования, таково: даже если допустить, что определение когерентности с множеством полаганий является верификационной процедурой

[8] Fumerton R. Truth and Correspondence (manuscript).

для определения истинности, то сама истина при этом могла бы тем не менее состоять не в чем ином, как в соответствии объективным фактам. Но этот контраргумент встречает следующее возражение: если истина заключается в соответствии объективным фактам, то когерентность с множеством полаганий никак не может быть критерием истинности, поскольку не может существовать никакой гарантии того, что сколь угодно непротиворечивое множество полаганий соответствует объективной действительности.

Поэтому, удерживая связь когерентной концепции истины с когерентной теорией обоснования знания, мы можем по-новому взглянуть на классический эпистемологический аргумент в пользу когерентной концепции истины, основанный на (свойственном, в частности, конструктивизму) представлении о том, что мы не можем "выйти вовне" нашего множества полаганий и сравнивать суждения с объективными фактами. Этот аргумент может быть рассмотрен как вытекающий из когерентной теории обоснования знания. Исходя из такой теории, аргумент заключает о том, что мы можем знать только единичные факты когерентности или отсутствия когерентности определенного предложения с определенным множеством предложений, выражающих определенные полагания. Мы никаким образом не находимся и не можем оказаться в такой эпистемологической позиции, откуда мы могли бы заключать о том, соответствует ли то или иное предложение действительности.

Контраргумент здесь будет заключаться в том, что такой аргумент может быть рассмотрен как содержащий некорректную импликацию. Из того факта, что мы не можем знать, соответствует ли некоторое предложение действительности, мы еще не можем вывести, что оно не соответствует действительности. Даже если некто признает, что мы можем знать лишь то, когерентны ли определенные предложения с нашими полаганиями, это само по себе еще не дает ему основания считать, что истина не состоит в соответствии объективным фактам. Если сторонники корреспондентной концепции истины принимают эту позицию, то они тем самым могут признавать, что существуют истины, которые не могут быть нам известны — например, что существует некоторая абсолютная истина, к которой мы можем лишь приближаться путем уточнения известных нам относительных истин. Или же сторонники корреспондентной концепции истины могут утверждать, как это делает Дэвидсон, что когерентность предложения с множеством полаганий является хорошим признаком того, что предложение действительно соответствует объективным фактам и что эти факты соответствия доступны нашему знанию [9].

Сторонники корреспондентной концепции истины могут даже утверждать, что когерентная теория — вообще не теория истины[10]; следовательно, они исходят из предположения, что они знают, чем является истина, то есть они имеют определение истины. И конечно, они знают, что такое истина: это — соответствие фактам. Действительно, когерентная теория истины — не теория соответствия фактам. Но сторонники когерентной концепции никогда не претендовали на это.

Это различие в значениях самого термина "истина" может интерпретироваться как связанное с различием целей, для которых дается теория истины. Могут быть по крайней мере две такие цели:

---

[9] Davidson D. A Coherence Theory of Truth and Knowledge — LePore E. (ed.) Truth And Interpretation. Perspectives on the Philosophy of Donald Davidson. — Oxford, 1986. p.307-319

[10] Fumerton R. Metaepistemology and Skepticism. — Lanham, Maryland, 1995. — p.142.

- чтобы дать определение понятия "является истинным" как характеристики пропозиции;
- чтобы определить тестовые условия для выяснения, действительно ли имеется основание для применения характеристики "является истинным" к данной пропозиции.

Согласно Н. Решеру, резюмировавшему это различие[11], эти два вопроса совершенно неидентичны: мы можем иметь критерий или критерии истинности (условия истинности) пропозиции и все еще испытывать недостаток определения, что значит для этой пропозиции быть истинной, и наоборот.

Но если мы хотим быть способными использовать лингвистическую единицу, то нам потребуются релевантные критерии для успешности использования. Именно это и делает условие-истинностная теория значения: она отождествляет значение с условиями истинности предложения, и эта идентификация основана на концепции "значение как употребление", отождествляющей значение лингвистической единицы с условиями ее использования. Если мы принимаем это представление, мы должны признать, что все спецификации значения, которые не эффективны для определения правил применения знака, попросту избыточны.

Поэтому моя задача здесь заключается не в том, чтобы показать, что мы не можем знать наверное, соответствуют ли языковые выражения элементам и характеристикам некоторого внешнего (по отношению к описанию) мира. Такое скептическое заключение носило бы метафизический характер и было бы бесполезно для построения теории значения — как показали, например, дискуссии по проблеме следования правилу у Витгенштейна (см. § 5.2). Скорее, я пробую последовательно выстроить аргументацию, свидетельствующую о том, что факт такого соответствия иррелевантен для когерентной концепции обоснования и соответственно для основанной на когерентной концепции истины теории значения как условий истинности. Для этого нам следует найти дополнительные аргументы, уточняющие когерентистские представления. Поскольку мы удерживаем наше представление о языковом сообществе как предельном истинностном операторе, постольку мы можем рассуждать здесь следующим образом.

Как мы видели, корреспондентная и когерентная концепции имеют различные представления о природе условий истинности. Согласно когерентной концепции, условия истинности предложений состоят в других предложениях. Согласно корреспондентной концепции, условия истинности предложений состоят не в предложениях, но в объективных свойствах и особенностях действительного мира. Один из способов сделать выбор в пользу той или иной концепции истины (т.е. определить, в каких случаях та или иная концепция истины является более адекватной) состоит в том, чтобы обратить внимание на процесс, которым предложениям назначаются условия истинности. С когерентистской точки зрения, условия истинности предложения — это те условия, при которых говорящие (на языке) утверждают это предложение в своей речевой деятельности, т.е. употребляют это предложение. Это означает, что говорящие могут употреблять предложения только при тех условиях, которые сами говорящие и другие члены языкового сообщества могут распознать как обосновывающие эти предложения. Отсюда становится важна предполагаемая неспособность говорящих "выйти

[11] Resher N. The Coherence Theory of Truth. Ox., 1973. Pp. 1-4.

вовне" своих полаганий. Это важно потому, что те условия, при которых предложение когерентно с полаганиями говорящих, являются единственными условиями истинности в том отношении, что они являются единственными условиями, которые говорящие могут распознавать как обоснование нашего знания значения этого предложения. Когда говорящие в своей речевой деятельности утверждают то или иное предложение при этих (определенных) условиях, то эти условия становятся условиями истинности предложения.

Признание последнего тезиса в предложенных аспектах рассмотрения приводит нас к принятию конструктивистского подхода.

Представляется, что описанная проблематика может быть рассмотрена как связанная с различением двух эпистемологических подходов: репрезентационистской и конструктивистской установок. Первая, свойственная как рационалистической, так и эмпирицистской традиции, представляет собой эпистемологический реализм, т.е. исходит из убеждения в том, что познание по существу направлено на приобретение знания о некотором внешнем мире, трансцендентном по отношению к познающему субъекту, независимом от него и являющемся "данным" заранее. Для конструктивистской установки, напротив, характерны отклонение понятия "данного", отказ от проведения различия между перцепцией и концептуализацией (и следовательно, от всех такого рода подходов к дихотомии наблюдения/теории для науки), отказ от априорности в пользу инструментального подхода к проблеме обоснования знания, акцент на прагматических соображениях в выборе теории и т.д.

Конструктивная система при подобном подходе является интерпретируемой формальной системой определений и теорем, созданных на языке исчисления предикатов первого порядка. Определения конструктивной системы полагаются "реальными" определениями, отвечающими некоторым определенным семантическим критериям точности в дополнение к обычным синтаксическим критериям, налагаемым на чисто формальные или "номинальные" определения. Таким образом, конструктивная система — это формализация некоторой области предполагаемого знания, которая может быть помыслена как множество предложений, сформулированных в несистематизированном дискурсе (обычно естественного языка). При этом некоторые термины должны быть соответственно определены в системе, использующей, кроме логики, специальное множество терминов, принятых в этой системе за базисные (ее "внелогическое основание", или "семантические примитивы"). Эти примитивные дескрипции могут быть помыслены как уже имеющие намеренное использование или интерпретацию; если это не очевидно, то может быть обеспечено неформальным объяснением, не входящим собственно в систему.

Теперь мы можем сделать следующее замечание по поводу оснований, по которым мы противопоставляем описание и объяснение. В рамках конструктивистского подхода то, что мы противопоставляем дескрипции, не является прескрипцией, поскольку такая дистинкция здесь не будет иметь смысла: если мы полагаем, что дескрипция дает нам возможность построить объект, то мы тем самым признаем за этой дескрипцией и прескриптивное значение. Задача разграничения дескрипции и объяснения будет в таком случае задачей эксплицирования оснований их противопоставления. Поэтому можно предположить, что проблематика перехода от описания к объяснению связана с анализом соотношения данных наблюдения и теоретической конструкции и может

быть рассмотрена в этом контексте, т.е. в контексте ситуации приращения знания[12]. Это может быть сделано через различение репрезентационистской и конструктивистской парадигм, которое не тождественно собственно различению языка наблюдения и языка теории: как в языке наблюдения, так и в языке теории можно выделить как репрезентационистские, так и конструктивистские элементы. По замечанию Шлика, например, мы не сомневаемся в фактах географии или истории не потому, что мы полагаем их эмпирически проверяемыми, а потому, что нам известен и не вызывает у нас сомнений способ, котором обычно делаются такие фактуальные утверждения.

Для нас здесь важно подчеркнуть, что в качестве и языка наблюдения, и языка теории могут, вообще говоря, выступать не только различные фрагменты естественного языка, но и один и тот же фрагмент, или весь естественный язык в целом. Предложения языка наблюдения будут включать в себя, как правило, некоторые шифтеры, локализующие значение во времени, пространстве и т.д., но нет никаких препятствий для использования тех же самых языковых средств в предложениях языка теории. Определение языка наблюдения как части естественного языка, лишенной теоретических терминов, уязвимо в том отношении, что язык наблюдения и язык теории будет иметь одну и ту же грамматику, то есть управляться теми же самыми лингвистическими правилами, как синхроническими, так и диахроническими. Последнее соображение покрывает возражение ван Фраассена против этой дихотомии, заключающееся в том, что если бы мы могли очистить наш язык от теоретически нагруженных терминов, начиная с недавно представленных, затем через "массу" и "импульс" к "элементу" и так далее в предысторию формирования языка, то у нас вообще не осталось бы значимых терминов[13]. Итак, если такие выражения, как, например, "часть" и "*A* является частью *B*" рассматриваются различными способами, как принадлежащие к языку наблюдения или к языку теории, что же происходит в этом случае с их значениями?

Если мы рассматриваем множество предложений, полагаемых тривиально истинными языковым сообществом в данный момент времени, как множество примитивных дескрипций ("семантических примитивов") конструктивной системы, то становится ясно, каким образом мы вводим в эту систему новые элементы, расширяющие дескриптивность (например до "теоретического описания", т.е. объяснения). Значение дескрипций не сводится, с такой точки зрения, до их референции, но признание этого положения еще не дает нам оснований отклонить представления о значении как об условиях истинности предложения. Статус нового элемента будет зависеть в таком случае от количества и характера его когерентностных связей с другими элементами. Поэтому мы можем ответить на наш исходный вопрос

Как возможно и как осуществляется расширение дескриптивности, означающее по существу увеличение знания о мире?

следующим образом:

---

[12] Мы исходим здесь из допущения —дискуссионного и, безусловно, контекстуального — о том, что с каждым новым объяснением увеличивается количество нашего знания — уже хотя бы в том смысле, что появляется новый текст.

[13] van Fraassen B. The Scientific Image. P.14.

увеличение знания состоит в построении когерентности: установлении наибольшего числа семантических связей исходной дескрипции с наибольшим числом семантических примитивов системы описания.

Sui generis отношение когерентности реализуется (воспринимается) и посредством семантических связей между лингвистическими единицами, причем эти связи образуют открытое множество. Отсюда представляется возможным достаточно общий семантический подход, снимающий противопоставление семантики Тарского — Дэвидсона, где предметная область рассматривается как множество однородных объектов (элементов данного мира) и семантики возможных миров, использующей обращение к онтологически различным видам объектов: "объектам реального мира" и "объектам возможного мира". Соответственно, такой подход позволит эксплицировать более широкий круг контекстов естественного языка. Для этого, как мы видели, возможно применить в условие-истинностной теории значения не корреспондентную, как у Дэвидсона, но когерентную концепцию истины.

Вопрос о том, может ли когерентная истинность быть использована для определения значения в рамках условие-истинностного подхода, оказывается при этом вопросом о возможности употребления языка некоторым языковым сообществом. Референции, возникающие в ходе этого употребления, обнаруживаются, таким образом, в поле согласования некоторых (индивидуальных) картин мира, или концептуальных схем носителей языка[14]. Эпистемологически сама возможность реального употребления языка предстает обнаружением некоторой полисубъектности в интерсубъективности, избегая таким образом традиционно адресуемого релятивизму упрека в бессодержательности, недостаточном предоставлении референциальных оснований. Семантический статус общей для всех носителей языка области согласования их индивидуальных картин мира оказывается при этом открытым для точного анализа и прояснения.

Расширение знания как объяснение будет, с такой точки зрения, выглядеть следующим образом.

Согласно традиционной дедуктивно-номологической модели объяснение предполагает описание некоторого исходного знания об исследуемом предмете и описание некоторого дополнительного знания более общего характера; к последовательности подобных построений сводимы выводы, возникающие в реальном процессе познания. Объяснением того, почему истинно высказывание "Вода — это H_2O", будет, например, указание на то, что это высказывание дедуктивно выводимо из высказываний "Вещество, молекула которого состоит из двух атомов водорода и одного атома кислорода, представляет собой H_2O" и "Молекула воды состоит из двух атомов водорода и одного атома кислорода". Разумеется, возможны и другие пути вывода, но в любом случае эксплананс как совокупность утверждений, выражающих то или иное знание об исследуемой предметной области, и эксплананд как совокупность утверждений, выражающих некоторое исходное знание об исследуемом предмете, должны быть связаны отношением дедуктивной выводимости эксплананда и эксплананса.

Собственно, исходно модель Гемпеля основана на дедукции. Событие объясняется, когда утверждение, описывающее это событие, дедуцируется из общих законов и утверждений, описывающих предшествующие условия; общий

[14] Лебедев М.В., Черняк А.З. Конвенция: опыт генетического анализа. — Философские исследования, 1996, № 3. С. 106-115.

закон является объясняющим, если он дедуцируется из более исчерпывающего закона. Гемпель впервые четко связал объяснение с:

(1) дедуктивным выводом;

(2) дедуктивным выводом из законов;

(3) сформулировал условия адекватности объяснения.

Эта точка зрения на объяснение и особенно ее применение к историческому объяснению и объяснению человеческих действий вызвала резкую полемику. Поэтому Гемпель, обобщая модель охватывающих законов, предлагает вероятностно-индуктивную, или статистическую, модель объяснения и формулирует общее условие адекватности для двух разновидностей модели "охватывающих законов". Он также предлагает понятие "эпистемической пользы" для объяснения понятия "принятия гипотезы" в модели принятия решения в условиях неопределенности".

Привлечение подобных техник призвано устранить так называемый парадокс объяснения, который заключается в следующем: для того чтобы объяснить, как произведено то или иное объяснение, нужно знать, в чем заключается общий механизм объяснения, т.е. заранее знать то, что неизвестно и еще только рассматривается в качестве предмета объяснения. В дедуктивно-номологической модели парадокс оказывается снятым, однако оценка истинности высказывания фактически сводится к проверке соответствия этого высказывания некоторому (полагаемому данным) множеству истинных высказываний; оцениваемая таким способом истинность не может быть корреспондентной. Здесь нет еще оснований считать полученное таким образом знание о мире истинным в смысле прямого соответствия миру. Центральным вопросом, таким образом, здесь оказывается выбор семантических примитивов, через которые строится объяснение.

Однако в последнем случае исследователю необязательно занимать репрезентационистскую позицию. Казалось бы, подобным утверждением мы не открываем Америки (скорее, честно говоря, мы ее закрываем), не изобретаем даже самоката, а не то что велосипеда, но действительность не устает поражать философов нечеловеческим догматизмом[15].

Отсутствие собственно эпистемологических оснований для формализации эмпирических данных в дедуктивных теориях не является на сегодняшний день специфически "анархическим" допущением: оно не оспаривается и вполне сдержанными исследователями. Более релевантным здесь оказывается прагматический критерий: поскольку теория отвечает предъявляемым к ней требованиям (объяснения известных фактов и предсказания новых), постольку она признается удовлетворительной, а отсутствие или невозможность

[15] Вот пример из современного отечественного философского текста: "А если у кого-либо возникает желание спросить, откуда у Ф. Энгельса и всех, кто согласен в этом с ним, право квалифицировать вопрос об отношении мышления к бытию в качестве основного вопроса всей философии, т.е. философии как таковой безотносительно к тому, в какой форме, в какой стране и в какое время она существует, словом, безотносительно к конкретной исторической форме ее самореализации, то на это можно ответить следующим образом: спрашивать об этом поздно, ибо указанный статус основного для философии вопроса об отношении мышления к бытию было дано иметь давно без какого-либо содействия этому Ф. Энгельса и тех, кто в этом согласен с ним, и тем более без его и их заслуги в том, что это объективно имело и продолжает иметь место". — Горан В.П. Философия. Что это такое? — Философия науки. № 1 (2). Новосибирск, 1996.

обоснования теории как описания некоторой трансцендентной ей сущности не снижает ее ценности как теории.

Традиционная трактовка объяснения является, в своей наиболее сущностной характеристике, редукционистской: объяснить нечто, с такой точки зрения, — это свести неизвестное к известному. Основные возражения здесь (Гемпель[16], М.Фридман[17], ван Фраассен[18]) таковы: объяснение известного феномена может быть произведено с помощью совершенно новых и необычных теорий. Сам термин "объяснение" представляет, с такой позиции, прагматическое понятие и, следовательно, является релятивистским: согласно Гемпелю, мы можем построить некоторое значимое объяснение только в той или иной познавательной ситуации, только для того или иного конкретного индивидуума — реципиента информации; невозможно дать некоторое универсальное объяснение, "объяснение вообще", валидное всегда и для всех. (Так совершился переход Гемпеля от дедуктивной модели объяснения к индуктивной, или статистической.) Объяснение признается контекстно-зависимым. Традиционный редукционизм, таким образом, отождествляется с универсализмом: трактовка объяснения как сведения неизвестного к известному оказывается продиктованной стремлением обнаружить некоторые общие и общезначимые критерии интеллигибельной теории (например каузальность, возможность моделирования, визуализация и т.д.).

В этой связи принятие множества предложений, полагаемых тривиально истинными языковым сообществом в данный момент времени, в качестве множества семантических примитивов, или исходных дескрипций, относительно которого определяется истинность языковых значений, позволяет избежать такого противопоставления универсализма и релятивизма. В самом деле, установление наибольшего числа семантических связей исходной дескрипции с наибольшим числом семантических примитивов системы никак не означает редукцию. Напротив, речь здесь идет о построении нового знания, о приращении знания за счет увеличения числа его структурных элементов. Объяснительная сила теории будет в таком случае зависеть от строгости логического следования и от количества семантических примитивов, с которыми объяснение устанавливает связи.

Рассмотрим, например, "вывод к лучшему объяснению" — идею, восходящую к Ч.С. Пирсу ("абдукция") и эксплицированную Г. Харманом[19]. Согласно этому представлению, тот факт, что теория объясняет некоторые явления — часть очевидности, побуждающей нас принять эту теорию. И это означает, что отношение объяснения видно прежде, чем мы полагаем, что теория истинна.

Предположим, что мы имеем очевидность E и рассматриваем несколько гипотез, скажем H и H'. Тогда, согласно этой теории, мы должны вывести H скорее, чем H', если H — лучшее объяснение E, чем H'. Критерии, применимые здесь, могут относиться к статистической теории:

H — лучшее объяснение E, чем H' (*ceteris paribus*), если:

1. $P(H) > P(H')$ — H имеет более высокую вероятность, чем H'

[16] Hempel C.G. Aspects of Scientific Explanation. — In: Aspects of Scientific Explanation and Other Essays in the Philosophy of Science. N.Y., 1965.
[17] Friedman M. Explanation and Scientific Understanding. — Journal of Philosophy №71 (1974), pp. 5-19.
[18] van Fraassen B. The Scientific Image.
[19] G. Harman, The Inference to the Best Explanation, Philosophical Review, 74 (1965), pp. 88 — 95; G. Harman, Thought, (Princeton, N.J., 1973), pp. 155-173.

2. *P(E/H) > P(E/H') — H* дает более высокую вероятность *E,* чем *H'*.

Эта версия теории объяснения непосредственно привлекала бы когерентность в ее вероятностной интерпретации (Бонжур) — *P* будет истинно для *S* **ттт** *P* логически непротиворечиво с остальными предложениями, полагаемыми *S* истинными, и имеются целесообразные вероятностные связи между другими предложениями, полагаемыми *S* истинными, и *P*.

Мы можем суммировать вышесказанное, сформулировав два аргумента относительно объяснения:

1. ничто не является объяснением, если оно не истинно;
2. ни у кого нет оснований утверждать "я имею объяснение", если у него нет оснований утверждать "я имею теорию, которая является приемлемой и дает объяснение".

Ясно, что эти аргументы различаются только с точки зрения корреспондентной истинности. Для когерентиста они идентичны.

Такая интерпретация позволяет сохранить базовые интуиции, согласно которым объяснение должно связывать неизвестное с известным, и в то же время снимает возражение этому подходу, заключающееся в том, что объяснение известного феномена может быть произведено с помощью совершенно новых и необычных теорий: в любом случае это новое и необычное знание должно будет быть когерентно с множеством предложений, полагаемых языковым сообществом тривиально истинными, т.к. в противном случае это новое знание, не располагая определенными значениями, попросту не сможет функционировать, т.е. не будет существовать как знание.

Итак, анализ семантического аспекта перехода от описания к объяснению оказывается связанным с проведением нескольких дихотомий:

данные наблюдения/теория;

репрезентационизм/конструктивизм;

корреспондентная/когерентная истинность;

дескрипция/объяснение.

12.3 Проблема языка в современных исследованиях по искусственному интеллекту

12.3.1 Источник компьютерных аналогий

В основании компьютерных аналогий ментального, широко используемых в когнитивистских моделях, лежит понятие *машины Тьюринга*. В работе 1950 года «Умеет ли машина мыслить?» Алан Матисон Тьюринг поставил задачу формулировки условий, при которых машина может быть описана как мыслящая. А поскольку понятие «мышления» весьма темное, то он полагает, что, прояснив, что значит мыслить для машины, мы сможем понять, что значит мыслить вообще. Тьюринг исходит из предпосылки, что если поведение машины неотличимо от поведения человека, то это – достаточный критерий считать такую машину

мыслящей. Он предложил абстрактную модель машины, успешно имитирующей всю совокупность человеческого поведения, которая впоследствии получила название машины Тьюринга. В основе этой идеи лежат результаты, полученные в 30-х годах 20-го века и легшие в основу так называемой теории автоматов и обобщенные в теории алгоритмов. Тьюринг исходит из представления о разумном поведении как деятельности, направленной на решение задач. Задача полагается решаемой, если может быть обнаружен *алгоритм* — набор специфицируемых вычислительных процедур — ее решения. Понятие алгоритма было интуитивно ясным, но не существовало общей формулы алгоритма вообще. Тьюринг сформулировал следующий тезис: для всякого алгоритма можно смоделировать машину, отвечающую определенным характеристикам, которая будет реализацией этого алгоритма[20]. Тогда для всякой задачи (в широком, а не в узком, математическом, смысле), решаемой людьми, может найтись такая вычислительная машина, которая будет решать эту задачу так же хорошо. Машина Тьюринга – абстрактная универсальная вычислительная машина. Если такая машина может имитировать поведение любой другой машины, то она, в таком случае, сможет быть универсальным имитатором человеческого поведения. И, по мнению Тьюринга, нет никаких логических препятствий к допущению такой модели.

Машина Тьюринга отличается определенными свойствами. В основе ее лежит понятие *автомата*: самостоятельно действующего управляющего устройства. Для их описания используются три алфавита: алфавит входа, алфавит выхода и алфавит внутренних состояний автомата. Среди таких автоматов различают автоматы с конечной или бесконечной памятью, различаются они, разумеется, и количеством входов и выходов, а также могут быть вероятностными, если какая-нибудь из функций четко не задана, а предполагается случайно осуществляемой автоматом в каждый момент времени. Существенная характеристика машины Тьюринга – *дискретность*: в каждый момент дискретного времени она находится в совершенно определенном (одном и только одном состоянии), так что можно точно указать, что у машины «на входе» (иначе говоря, что «воспринимается» машиной), что «на выходе» (машинное «действие») и в каком состоянии она находится в данный момент времени. Таким образом, каждое *дискретное состояние* можно полностью описать в терминах входа-выхода и функции (иначе: алгоритма), которая(-ый) их связывает, т.е. используя только буквы соответствующих трех алфавитов плюс специальные термины, подобные логическим константам. Возможны и существуют машины с не дискретными состояниями: в этом случае никакому моменту дискретного времени нельзя сопоставить одно и только одно машинное состояние – данные продолжают поступать на вход постоянно и постоянно же происходит изменение состояния. В какой-либо момент времени могут быть «считаны» результаты неких измерений или действий, производимых с помощью такой машины, но внутри интервала между началом решения задачи этой машиной и получением результата различение дискретных состояний невозможно (или практически возможно только в виде какой-либо аппроксимации). Результаты, получаемые с помощью таких машин обладают большей погрешностью вследствие того, что считывание результатов – тоже процесс, требующий времени, а за это время показания изменяются. Машинам с дискретными состояниями соответствуют среди реальных

[20] А. Тьюринг, Может ли машина мыслить, «Колледж», Саратов, 1999, 6 – 76.

машин, например, цифровые компьютеры, с не дискретными состояниями – аналоговые. В этом отношении на роль универсального «мыслящего» имитатора, построенного по модели Тьюринга, лучше подходят цифровые вычислительные машины. Трудно сказать, насколько уместно проводить аналогию между человеческим организмом и машиной Тьюринга в структурном отношении: для этого требуется доказать, что ментальные состояния подобны внутренним состояниям таких машин, а именно – дискретны. Трудности в проведении такой аналогии, однако, с точки зрения Тьюринга – не помеха компьютерному моделированию сознания: ведь его критерий основан на понятии *имитации* – если машина Тьюринга (с дискретными состояниями) способна имитировать поведение любой машины с не дискретными состояниями (а по Тьюрингу, это – так), т.е. решать всю совокупность задач, решаемых такими машинами, то нет разницы в том, насколько обоснованно полагать внутренние состояния человека дискретными. Вывод о способности машины Тьюринга мыслить как человек (т.е. решать весь комплекс релевантных задачи) не будет зависеть от успехов или неудач такого обоснования. Тогда, независимо от того, как решается метафизический вопрос (что такое ментальное), мышление может описываться в терминах машинной модели Тьюринга.

Не все, но многие версии машинного функционализма опираются на понятие машин Тьюринга, которые определяются по двум функциям: от входных данных и состояний к выходным данным и от входных данных и состояний к состояниям. В этой модели любое устройство, соответствующее понятию машины Тьюринга, можно описать с помощью так называемой *машинной таблицы*. Пример такой таблицы для примитивного автомата – выключатель:

	Состояние S_1	**Состояние S_2**
Вход: нажатие	**Вкл. и переход в S_2**	**Выкл. и переход в S_1**
Вход: нет нажатия	**Выкл. и остается в S_1**	**Вкл. и остается в S_2**

Любая система, имеющая набор входов и выходов, а также состояний, соотносящихся согласно машинной таблице, *описывается* машинной таблицей и является *реализацией* абстрактного конечного автомата. Простая версия машинного функционализма настаивает на том, что каждая система, имеющая ментальные состояния, описывается, по крайней мере, одной машиной Тьюринга определенного вида; она также утверждает, что каждый тип ментальных состояний системы тождественен одному из табличных машинных состояний, определенных машинной таблицей.

12.3.2 Критика «машинного функционализма»

Патнэм одно время разделял «машинную версию» функционализма; позднее, однако, он стал одним из энергичнейших критиков этой идеи. Функционализм (по крайней мере, в этом варианте) предлагает интерпретацию познавательного процесса как процесса обработки информации — формальной манипуляции

репрезентациями или символами согласно некоторым правилам. Согласно этой теории, сознание аналогично вычислительной машине, и поэтому для изучения познания релевантны организация и структура, а не материальный субстрат сознания. Аргумент Патнэма здесь был основан на интуиции о том, что одно и то же ментальное состояние может быть реализовано на различных материальных носителях. Его позднейшие ревизии функционализма связаны с расширением требования о множественности реализаций ментального — в духе свойственного прагматистам плюрализма. Это расширение основано на инверсии исходной интуиции: если различные состояния вычислительной машины или машины Тьюринга могут реализовывать одно и то же ментальное состояние, то сознание не может быть идентифицировано ни с какой конкретной вычислительной машиной. Поддержка Патнэмом сильной формы множественной реализуемости ментального приводит его к пересмотру самого *статуса* психофизической проблемы как ключевой для философии сознания.

Главным образом критика компьютерных аналогий сосредоточилась на критике моделирования в терминах машин Тьюринга. Основной аргумент в этом случае состоит в том, что психологические состояния просто не тождественны машинным состояниям. Патнэм дает следующую этого экспозицию аргумента[1]. *Состояние* машины Тьюринга описывается таким образом, что эта машина может быть только в одном состоянии в один момент времени. Между тем, психологическое состояние человека допускает (и даже требует), чтобы субъект мог *одновременно*, например, испытывать боль, произносить число три и слышать, как скулит собака. Здесь мы имеем три вида входных данных, три табличных состояния и три диспозиции. Идея психологического состояния как машинного состояния требует, между тем, чтобы все эти три диспозиции детерминировались одной машинной таблицей. Более того, каждое теперешнее состояние субъекта должно быть таким, согласно машинной теории, чтобы оно детерминировало его следующее состояние. Но даже относительно аналогии с вероятностным автоматом субъект имеет слишком широкую вариацию диспозиций, каждая из которых может быть реализована в следующем психологическом состоянии (исключая детерминацию со стороны окружающей среды), чтобы можно было рассчитывать, что это следующее состояние полностью детерминировано предыдущим.

Другие аргументы против машинной версии функционализма таковы[2].

(1) Машинная версия не позволяет провести различий между диспозиционными состояниями организма – полаганиями, желаниями, склонностями и тому подобными – и его событийными состояниями. Можно сформулировать обеспечивающие такое различие условия тождества для событийных и диспозиционных состояний: два организма находятся в тождественных психологических событийных состояниях, если и только если они находятся в одном и том же машинном табличном состоянии; и организм находится в определенном диспозиционном состоянии, если и только если его машинная таблица содержит определенное машинное табличное состояние (для каждой диспозиции свое). Но каждое машинное табличное состояние организма

[1] H. Putnam, 'Philosophy and Our Mental Life', Mind, Language, and Reality: Philosophical Papers, vol. 2, London, Cambridge University Press, 1975, 291 – 303.
[2] N. Block and J. Fodor, 'What Psychological States Are Not?', Philosophical Review 81, no. 2, 1972, 159 – 181.

таково, что организм может находится в нем в определенное время. Следовательно, для организма находиться в некотором диспозиционном состоянии значит быть способным для этого организма находиться в некотором событийном состоянии, которое должно соответствовать данному диспозиционному состоянию. Но какое событийное состояние соответствует диспозиции, например, «говорит по-французски»? А диспозиции «Говорит по-французски в данный момент»? А какое событийное состояние соответствует диспозиции «полагает, что *p*» или «думает сейчас, что *p*»? Эту проблему можно представить в более общем виде: любой событийный предикат, даже такой, как «думает сейчас…» или «испытывает (сейчас) боль», может быть интерпретирован как диспозиционный, если он может быть проанализирован в терминах других событий. Так, думать о летающих сосисках мы можем, не веря в их существование: в этом смысле затруднительно ставить в соответствие событийное состояние, выражаемое как «думаю (сейчас) о летающих сосисках» диспозиционному состоянию, выражаемому как «полагаю, что сосиски летают».

(2) Поведение может быть продуктом серии психологических состояний, которые сами по себе не имеют «выхода» в форме внешнего поведения и машинная версия показывает, как это может быть. Но, с другой стороны, поведение может быть результатом взаимодействия одновременных психологических состояний: оно может быть функцией от того, что индивид ощущает и что он думает в данный момент. Машинная версия не в состоянии показать, как это возможно.

(3) Машинная версия предполагает слишком сильные условия тождества психологических состояний. Так, если два человека различаются в отношении (функциональных характеристик) боли только тем, что наиболее вероятная реакция одного на боль от того, что ему наступили на ногу – крикнуть «ой!», а другого – «ай!», то из этого следует, что имеют место два различных типа боли, что мало правдоподобно. Этот аргумент допускает итерацию следующего вида: пусть имеет место такой автомат, что его машинные табличные состояния *x* и *y* различаются своими типами, если непосредственно следующие за ними табличные машинные состояния различаются своими типами. Но следующие состояния будут различаться лишь в случае, если непосредственно следующие за ними состояния различаются по типам, и т.д. В таком случае, если допускается, что каждое состояние связано с каждым другим компьютационным образом, любые два автомата, имеющие менее, чем все их состояния в качестве общих, не будут иметь ни одно из их состояний в качестве общего. Поэтому условия тождества для машинных табличных состояний не могут быть условиями тождества для психологических состояний.

(4) Набор состояний, конституирующих машинную таблицу пробабилистского (как и детерминистского) автомата, представляет собой по определению список, тогда как набор ментальных состояний, по крайней мере, некоторых организмов, согласно эмпирическим фактам, заранее не дан. Абстрагируясь от физических ограничений (таких как ограниченность памяти и смерть), можно утверждать, что существует бесконечно много различающихся своими типами номологически возможных психологических состояний любой данной личности.

(5) Даже если бы можно было достичь соответствия (типа один к одному) между машинными табличными состояниями и психологическими состояниями, эти

соответствия с необходимостью не репрезентировали бы существенные свойства психологических состояний. Кажется достаточно очевидным, что существуют структурные сходства между, по крайней мере, некоторыми психологическими состояниями: например, между состоянием полагания, что *p*, и состоянием полагания, что *p & q*. Представление психологических состояний в виде списка просто не в состоянии репрезентировать такого рода структурные отношения.

Блок и Фодор, правда, предлагают различать между машинными табличными и компьютационными состояниями автоматов. Первые – это состояния, определяемые колонками машинной таблицы; последние – любые состояния машины, характеризуемые в терминах ее входных, выходных данных и/или машинных табличных состояний: предикаты «осуществил вычисление, включающее триста семьдесят два машинных табличных состояния» или «доказал последнюю теорему Ферма», или «напечатал энный символ своего словаря выходных данных» – все обозначают возможные компьютационные состояния машин. Относительно такого различия очевидно, что даже если аргумент показывает, что психологические состояния организма не могут быть поставлены в соответствие машинным табличным состояниям автомата, он еще совершенно не обязательно показывает, что они не могут быть поставлены в соответствие компьютационным состояниям автомата. Однако, условием возможности соответствий последнего рода является (по мнению Блока и Фодора) исчисляемость психологических состояний организма.

12.3.3 «Машинное» решение проблемы языка мысли

Как возможен частный язык мысли? Если допустить, что аргумент от бесконечного регресса, опирающийся на положение, что все языки, которыми мы владеем, приобретены нами путем изучения, устраняется принятием языка мысли как врожденного, то возможно другое возражение, снова апеллирующее к такому следствию, как бесконечный регресс. Если понимание предиката есть репрезентация его объема в некоем языке, который индивид уже понимает, то не должно ли понимание предикатов этого языка подразумевать репрезентацию условий его истинности в некоем мета-метаязыке, предварительно понятом, и т.д. (до бесконечности)? Стандартный ответ состоит в признании того факта, что изучение значения предиката включает репрезентацию его объема, и отказе признавать, что этого же требует понимание предиката. Достаточным условием последнего может быть просто то, что употребление этого предиката субъектом всегда в действительности соответствует правилу истинности для него. Не обязательно, с этой точки зрения, чтобы субъект следования правилу был также и субъектом знания этого правила. В качестве иллюстрации этого ответа предлагается реальный компьютер: он использует, по меньшей мере, два языка – язык входных и выходных данных, посредством которого он осуществляет коммуникацию с внешним миром, и машинный язык, на котором он осуществляет свои вычислительные операции. Реальный компьютер нуждается в «компиляторах», которые определяли бы (истинностные) значения формул входа-выхода в терминах машинного языка. Но такой компьютер, утверждают защитники этого взгляда, *не нуждается* в подобных компиляторах для машинного языка. «Тем фактом, что машина *построена* для использования машинного языка,

избегается бесконечный регресс для компьютеров»[3]. Формулы машинного языка в этом случае понимаются как непосредственно соответствующие компьютационно релевантным физическим состояниям и операциям машины: *физика* машины, таким образом, гарантирует, что последовательности состояний и операций, которые она проходит, выполняя свои вычисления, выполняют семантические условия для формул его внутреннего языка. Инженерные принципы занимают в такой концепции место определений истинности для формул машинного языка и как такие они обеспечивают и соблюдение этих «определений».

Считается, что Виттгенштейн доказал, что не может быть такой вещи, как частный язык[4]. На это когнитивист может использовать аргумент, который воспроизводит Дж. Фодор, говоря, что «что бы ни доказал Виттгенштейн, не может быть, чтобы было невозможно, чтобы язык был частным в том смысле, в каком частным является машинный язык компьютера, поскольку *существуют* такие вещи, как компьютеры, а то, что существует в действительности, возможно»[5]. Это, несомненно, верно постольку, поскольку вообще верна машинная аналогия. С другой стороны, неадекватность машинной аналогии сознания в целом может еще не предполагать, что столь же неадекватна и аналогия машинного языка. Виттгенштейн характеризует индивидуальный язык двумя способами: или как язык, термины которого указывают на вещи, опыт которых может иметь только говорящий на этом языке, или как язык, для применения терминов которого не существует никаких публичных критериев, правил или конвенций. Внутренняя репрезентативная система является частным языком, по меньшей мере, во втором смысле: употребление его терминов не регулируется никакими публичными конвенциями, хотя вовсе не обязательно, чтобы референтами этих терминов были исключительно приватные события (ощущения). Ответ когнитивиста опять может состоять в отказе считать аргумент от невозможности частного языка (по крайней мере, в том виде, который приписывается Витгенштейну) возражением против теории, допускающей ментализ. Утверждается, что нет причин, почему защитник такой теории обязан полагать, что ментальные операции демонстрируют эпистемическую приватность в каком-либо строгом смысле этого понятия. Напротив, для него лучше не принимать этого, если он хочет, чтобы его психологические теории были совместимы с материалистической онтологией – ведь нейрофизиологические события публичны. Далее, утверждается, что самое большее, что этот аргумент показывает, это – что если нет публичных процедур для *сообщения* о том, когерентно ли употреблен термин, то нет способа *знать*, когерентно ли он употреблен. Но из этого не следует, что в таком случае в действительности не *было* бы различия между когерентным и произвольным применением термина; *a fortiori* из этого не следует, что нет никакого смысла утверждать, что в этом случае есть различие между когерентным и произвольным применением термина. Употребление языка для компьютерных операций не требует, чтобы употребляющий его был обязан иметь способность *определять*, что термины этого языка применены совместимым образом. Наконец, менталисту требуется показать, в каком смысле термины во внутренней репрезентативной системе употребляются когерентно, и что они в этом смысле разумно аналогичны терминам публичного языка (насколько те могут когерентно употребляться). Если

[3] Там же, 66.
[4] См.: L. Wittgenstein, Philosophical Investigations, N. Y. Prentice-Hall Publishing Co., 1958, 258 и далее.
[5] J. Fodor, The Language of Thought, N. Y. Crowell, 1975, 68.

мы не можем сделать первого, то, вероятно, само понятие языка мысли не когерентно; если не можем сделать второго, то бессмысленно называть язык мысли *языком*. В публичных языках когерентность употреблений терминов контролируется конвенциями, которые ставят термины в соответствие определенным парадигмальным публичным ситуациям (например, определенным перцептивным данным – таким, как появление коровы в поле зрения). Использовать термин когерентно в этом смысле значит применить его к ситуации, подпадающей под спецификацию парадигмальной, согласно конвенции, для данного термина (или, иначе, относящейся к классу ситуаций, относительно которых данный термин истинен). Но даже в случае публичных языков, — утверждает один из самых последовательных защитников машинной аналогии языка мысли Дж. Фодор, — когерентность (употребления терминов) не требует устойчивого отношения между способом употребления терминов и тем, *каков* мир (выражаемого в понятии «конвенции»). Что действительно требуется, так это – устойчивое отношение между тем, как термины употребляются и *тем, каким мир полагается субъектом их употребления*[6]. Как такое отношение может быть обусловлено чем-то, *кроме* публичных конвенций? Врожденная структура нервной системы выполняет, согласно этому подходу, данную функцию для внутреннего репрезентативного кода. Когда, говорит Фодор, мы размышляем об организме как о компьютере, мы пытаемся поставить в соответствие физическим состояниям организма (например, состояниям его нервной системы) формулы словаря психологической теории. В идеале такое соотнесение должно выполняться так, чтобы, по крайней мере, некоторые из последовательностей состояний, каузально имплицированных в производство поведения, могли интерпретироваться как компьютерные операции, имеющие соответствующие описания поведения в качестве своих «последних строк» (в записи – описании последовательности). В случае организмов, так же, как и в случае реальных компьютеров, если у нас есть правильный способ устанавливать соответствия между формулами и состояниями, то мы сможем интерпретировать последовательности событий, *вызывающих* поведение на выходе, как компьютационную *деривацию* событий «на выходе». Все, что требуется для, того, чтобы внутренней репрезентативной системе можно было приписывать пропозициональные установки, и, соответственно, чтобы относительно нее можно было утверждать, что она использует язык, – это чтобы было соответствие правильного вида между пропозициональными установками системы и ее отношениями к формулам данного языка[7].

Остается, конечно, открытым вопросом: достаточно ли так истолкованная внутренняя репрезентация похожа на репрезентацию в естественном языке, чтобы обе можно было называть репрезентациями в одном и том же смысле? Но

[6] Там же, 71.

[7] Там же, 74 – 77. Аналогия между индивидуальной и публичной репрезентациями, которую предлагает Фодор, такова: если ‘a есть F’ – формула в публичном языке, то (S употребляет ‘a есть F’ для репрезентации обладания a свойством F) только тогда, когда (S полагает, что a есть F только тогда, когда S соглашается с ‘a есть F’). Так как обычно то, что ставит в соответствие полагание S, что a есть F его согласию с ‘a есть F’ в случае публичных языков – подчиненность S конвенциям такого языка, можно заместить сформулированное условие таким условием: (S употребляет ‘a есть F’ для репрезентации обладания a свойством F) только тогда, когда ((S полагает, что a есть F только тогда, когда S соглашается с ‘a есть F’) конвенционально). Если ‘a есть F’ – формула внутреннего кода, то «соглашается с» в последнем условии заменяется последовательностью, состоящей из одного и большего числа базисных отношений, из которых сконструированы компьютационные отношения к формулам внутреннего кода, и «конвенционально» заменяется в нем на «номологически необходимо».

во всяком случае есть аналогия между двумя видами репрезентации. Поскольку публичные языки конвенциональны, а язык мысли нет, трудно ожидать, чтобы между ними было что-то большее, чем аналогия. Фодор пишет в этой связи: «Если вы впечатлены этой аналогией, то вы захотите сказать, что внутренний код является языком. Если вы не впечатлены аналогией, вы захотите сказать, что внутренний код является в некотором смысле репрезентативной системой, но не языком. Но ни один ответ не повлияет на то, что я полагаю серьезным вопросом: являются ли когерентными методологические допущения компьютационной психологии? Ничто … не говорит в пользу того, что они таковыми не являются»[8].

12.4 Аналитическая философия и герменевтика (К.-О.Апель)

Один из наиболее значимых немецких философов XX столетия Карл-Отто Апель (р. 1922) в своем философском становлении претерпел влияние целого ряда течений как немецкой, так и англо-американской философской мысли. Философия Апеля после второй мировой войны сыграла определенную роль в развитии немецкой философии в целом, и в частности, в трансформации взглядов Ю. Хабермаса. Средоточием концептуальных взаимодействий аналитической и герменевтической традиций стала для Апеля характерная для современной философии науки антиномия (аналитического) объяснения и (континентального, герменевтического) понимания.

Философия Апеля прошла в своем развитии ряд этапов, последовательность которых связана с ориентацией, в частности, на философские учения Канта и Фихте. Это показывает, что философская доктрина Апеля является закономерным результатом развития мировой философской мысли. Среди философов, оказавших непосредственное влияние на Апеля, следует назвать М.Хайдеггера и Л.Витгенштейна, работы которых, посвященные философским проблемам языка с точки зрения интерсубъективности, были восприняты Апелем в первую очередь — это антисолипсистский пафос философии Хайдеггера и основополагающий тезис Витгенштейна о невозможности частного, приватного языка. На формирование философских взглядов Апеля существенное влияние оказал также американский прагматизм, в особенности идеи Чарльза Сандерса Пирса (основной фигуры в проекте преобразования трансцендентальной философии) — прежде всего его консенсусная теория истины и связанное с ней понятие бесконечного сообщества ученых как идеального "сообщества", вовлеченного в процесс теоретического и экспериментального исследования и для которого соглашение по поводу конечной истины представляется необходимой регулятивной идеей. Апель развил учение Пирса в аспекте трансцендентальной семиотики. На основе критического анализа достижений предшественников и с помощью применения методологии трансцендентализма Апель создал собственную философию языка, которая служит основой осмысления социума, истории и этики дискурса. Среди трудов Апеля следует прежде всего отметить "Трансформацию философии" (1973) и "Дискурс и ответственность" (1988), в которых он выступает как поборник принципов универсализма.

[8] Там же, 78 – 79.

Апель сформулировал требование "лингвистического поворота" философии (в работе "Идея языка в традиции гуманизма от Данте до Вико", 1963). Современная философия оказывается, с его точки зрения, связана с проблематикой языка, его ролью в определении осмысленного и интерсубъективно значимого формулирования познания вообще. Не только «первая философия» (в смысле «теоретической философии»), но и «практическая философия» (например, этика как «мета-этика») должна теперь методически опосредоваться философским анализом словоупотребления и, следовательно, философией языка. Апель называет такой подход к понятию языка трансцендентально-герменевтическим[9]. Признавая язык первичной сферой философского анализа, Апель стремится избежать крайностей сциентизма и антисциентизма и пытается обосновать языковую практику априорно значимым образом при помощи трансцендентально-прагматического метода. Он ставит задачу соединить, с одной стороны, наследие диалектики, трансцендентальной философии, феноменологии и герменевтики, а с другой — традицию англосаксонской аналитической философии языка и науки, смягчив их сциентистский уклон. Рассматривая Дильтея как "трансформатора" трансцендентальной философии, Апель тем самым определяет ту традицию, к которой хотел бы отнести свою теорию. Он осуществляет свой вариант "трансформации" трансцендентальной философии, формулируя теорию коммуникации. Апель отвергает попытки доказательства автономии науки о духе, которые, по его мнению, приводят к противопоставлению науки и философии, и следовательно, к капитуляции философии в деле обоснования разума. Идее автономии духовной жизни он противопоставляет рациональность, укорененную в языково-коммуникативном взаимопонимании (рациональность коммуникативного опыта). Апель характеризует свой трансцендентально-прагматический подход как эвристический и нормативный, а не аксиоматически нейтральный.

Апель ставит своей задачей прояснить важнейшие предпосылки трансцендентально-герменевтического понятия языка и, соответственно, ориентированной на язык трансформации трансцендентальной философии. Попытка эксплицировать трансцендентально-герменевтическое понятие языка должна, по мысли Апеля, удовлетворять условиям, которые вытекают из последовательной, протекающей в направлении философии языка трансформации идеи трансцендентальной философии, учитывающей функцию этой философии как теории науки и как практической философии. Эти условия связаны с критической деструкцией и реконструкцией истории философии языка с целью показать, насколько философски недостаточными были те определения языка, которые исходили из его функции обозначения и сообщения. Критическая реконструкции идеи трансцендентальной философии в свою очередь должна показать, что она может быть радикальным образом скорректирована путем конкретизации понятия разума в смысле понятия языка. Критерий этой корректировки Апель видит, во-первых, в том, что могут быть сняты систематические различия между классической онтологией, теорией познания или философией сознания Нового времени и современной аналитической философией языка, и, во-вторых, в том, что снимается различие между теоретической и практической философией.

С помощью трансформации трансцендентальной философии частного субъекта в трансцендентальную философию интерсубъективности Апель создал оригинальную философскую теорию, в снятом виде воспринявшую проблематику

[9] Апель К.-О. Трансформация философии. М.: «Логос», 2001, С. 240.

традиционной онтологии, теории познания и современной аналитической философии. Цель этой теории — обосновать условия возможности и значимости конвенций, т.е. осуществление обоснования теоретической и практической философии и науки.

Важным постулатом теоретических построений Апеля является положение о двух образах коммуникативного сообщества — *реальном* и *идеальном* сообществе. Реальное сообщество — то, членом которого индивид становится в процессе социализации. Идеальное коммуникативное сообщество — воображаемый конструкт такого сообщества, в котором мог бы быть адекватно понят смысл любого аргумента и могла бы быть определена его правильность. Антиципацию идеального коммуникативного сообщества в ходе аргументации и нетождественность реального и идеального коммуникативных сообществ Апель называет *априори коммуникации.*

Из соотношения реального и идеального коммуникативных сообществ Апель выводит два регулятивных принципа этики. Первый из них гласит, что в каждом поступке и допущении должен приниматься в расчет императив выживания человеческого рода как реального коммуникативного сообщества. Второй гласит, что в реальном коммуникативном сообществе нужно стремиться к тому, чтобы воплощать в нем черты идеального коммуникативного сообщества. Первая цель является необходимым условием второй, а вторая делает первую осознанной, придает ей смысл. Таковы главные априорные принципы дискурсивной этики Апеля. Будучи априорными, они носят характер процедурных норм; материальные нормы, по мнению Апеля, должны быть выработаны в реальной дискуссии с учетом вышеуказанных процедурных норм и социокультурной специфики того или иного конкретного общества как реального коммуникативного сообщества.

Идеальное коммуникативное сообщество рассматривается Апелем как цель, но цель особая — она уже присутствует в реальном коммуникативном сообществе как реальная возможность. В ходе процесса аргументации, ее участники реализуют структуры этого сообщества в реальном коммуникативном сообществе. Однако нетождественность реального и идеального коммуникативных сообществ определяет существующее между ними отношение напряженности. Исторический процесс понимается Апелем как прогресс в сближении реального и идеального коммуникативных сообществ, т.е. прогресс в межчеловеческом понимании и самопонимании.

Апелева версия трансцендентальной критики явилась результатом трансформации Кантова метода с позиций аналитической философии языка, при этом трансцендентальный субъект Канта («сознание вообще») преобразуется в неограниченную коммуникативную общность. С переходом к этой коммуникативной общности, по мнению Апеля, преодолевается "метафизический солипсизм", которым страдала вся прежняя теория познания.

12.4.1 Исходные концепты при постановке проблемы

Трансцендентально-герменевтическое понятие языка дает возможность поставить под вопрос западноевропейское понятие языка в том виде, в котором оно было установлено в философии греков. Апель выделяет базовые моменты,

последовательно раскрывающие трансцендентально-герменевтическую функцию языка: это познание, применение логики, язык как способ обозначения и межличностная коммуникация. Сначала мы *познаем* элементы чувственно данного мира («чувственные данные»); затем посредством *абстракции* (логика) мы схватываем онтологическую структуру мира; затем мы *обозначаем* (благодаря согласованию) элементы полученного таким образом мирового порядка и *репрезентируем* (функция представления) положения дел посредством взаимосвязей знаков; наконец, мы *сообщаем* другим людям о познанных нами положениях дел. Эта схематично представленная последовательность, по мнению Апеля, несмотря на свою условность вплоть до самого последнего времени служила парадигмой исторического развития философии языка и языкознания.

В фундаментальном греческом слове «логос» (в частности, у Гераклита) вместе с разумом одновременно раскрываются и язык, и речь. Такое положение утверждало единство и тождественность разума, различие же языков следует трактовать как различие имен или знаков. Уже в этой ранней версии понимания языка он редуцируется к функции обозначения. Это обесценивание феномена языка в пользу *идей* становится очевидным у Платона (особенно в "Кратиле"). Идеи (как вне и над-языковые сущности) следует созерцать. Это созерцание идей заменяет и устраняет возможный *диалогический консенсус* относительно *значения* или *правила словоупотребления*. Вследствие ориентации на созерцание идей диалогическая концепция мышления у Платона способствовала радикальному отмежеванию мышления от языка как исключительно вторичного способа выражения идей. Такой подход уводил от распространенной сегодня интерпретации мышления как функции интерсубъективной коммуникации.

Платонов подход был основополагающим для логики и теории познания, однако не раскрывал языковые значения, опосредующие сопряженную с вещами интенциональность суждения. Следующая после платоновских «идей» парадигма понимания «значений» — аристотелевский подход — сохраняет свое влияние до настоящего времени: значения трактуются как находящиеся в душе «представления» или «отпечатки» вещей. В этом случае место языковых «значений» занимают независимые от языка психические «представления». Тем самым феномен языка редуцируется к конвенционально обусловленным «различиям звуков и знаков». На протяжении последующих двух тысячелетий (включая Стою и неоплатонизм) любая попытка раскрыть в языке более глубокое когнитивное значение возвращается к устаревшим воззрениям "Кратила" об этимологической правильности имен.

До сих пор, полагает Апель, трудно поставить под вопрос обоснованное Аристотелем и отвечающее здравому смыслу понимание языка как конвенциональной функции обозначения. Это понимание скрывает "трансцендентально-герменевтиче-скую" функцию языка как дифференцирующегося «общего логоса» человеческого сообщества. Это относится не только к опосредующей субъект и объект познания функции языковых «значений», но и к связанной с этим соответствующей функции интерсубъективной *коммуникации.*

То, что это измерение логоса также скрыто Аристотелевым понятием языка, показывает, по убеждению Апеля, действенное до настоящего времени различие отношений речи, приписываемое Теофрасту: «Так как речь имеет двоякое отношение … одно к слушателям, для которых она нечто значит, другое — к

вещам, относительно которых говорящий намеревается в чем-то убедить слушателей, то ввиду первого отношения к слушателям возникает поэтика и риторика, … ввиду же второго отношения речи к вещам философ главным образом озабочен тем, чтобы опровергать ложное и доказывать истинное»[10]. Это классическое подразделение оказало определяющее воздействия на историю *ars sermonicales* (логики, риторики, поэтики и грамматики) в западноевропейской системе образования и соответствует различиям между «семантическим» и «прагматическим» измерениям, проводимым в современном «анализе языка».

Соответственно такому разделению философия ведает «семантической» проблематикой, имеющей отношение к обозначению вещей и предметной истине речи. Измерение интерсубъективного смыслового взаимопонимания и достижение консенсуса философия передает здесь риторике и поэтике. И если все же у Теофраста, полагает Апель, можно предполагать «прагматическое» предпонимание вещей, то в современной конструктивной семантике эта трансцендентально-герменевтическая предпосылка должна упраздняться или передаваться в ведение дополнительной прагматической интерпретации, осуществляемой в коммуникативном сообществе ученых. Это означает, что «прагматическое измерение» знаковой функции (Ч. Моррис, Р. Карнап) или «отношение речи к слушателям» (Теофраст) никоим образом не может быть передано поэтам и риторам.

В философии Нового времени Декарт не раздумывал над тем обстоятельством, что мышление как аргументированное самопонимание радикально сомневающегося и разыскивающего очевидность субъекта уже всегда опосредовано реальным коммуникативным сообществом. Локк, отец эмпирической теории познания, понимал, что «общее употребление» (common use) конституирует «правило» подобающего словоупотребления, т.е., предполагает *интерсубъективный консенсус*. Однако проблема объективной значимости опытных высказываний оставалась нерешенной, поскольку Локк придерживался в целом позиции методического солипсизма, т. е. считал возможным уточнение значений слов путем окончательной редукции к «простым представлениям».

Действительно, каким образом отдельный человек может удостовериться в том, что другие люди (при допущении, что они связывают со своими словами смысловые интенции) связывают с этими словами те же самые непосредственные значения, а именно находящиеся в уме представления? Ответ на этот вопрос к началу XX века привел к комбинации номиналистически-эмпирической идеи языка и восходящей к Лейбницу идеи универсального языка как *исчисления* (*mathesis universalis*).

Ранний Витгенштейн исходил из того, что под поверхностью обыденного языка скрыта «логическая форма» универсального языка, которая делает возможным интерсубъективно значимое изображение любых «элементарных фактов» посредством «элементарных предложений». С этих позиций критическая для Локкова солипсистского основоположения проблема объективной значимости опытных высказываний не возникает. Однако теперь проблема заключается в том, что личный опыт и сообщение об опыте вообще не имеет ничего общего с *конституцией словесных значений.* Последние предполагаются в системе языка как неизменная «субстанция» значения, которая соответствует предметной «субстанции» мира. Проблема солипсизма разрешается в силу того, что «форма»

[10] Цит. по: Апель К.-О. Трансформация философии. С. 242.

языка и мира (форма положений дел) является априорно тождественной для всех, кто пользуется языком.

Апель считает это «решение», предлагаемое Витгенштейном в «Трактате» как парадоксальную элиминацию всей проблематики субъективности и интерсубъективной коммуникации. Коммуникацию можно интерпретировать лишь как процесс приватного кодирования, технической передачи и приватного декодирования сообщений относительно положений дел в том виде, как они могут быть представлены в предложениях благодаря априорно тождественной для всех структуре языка. Но это означает, что интерсубъективно передаваемый смысл относится только к «форме» или «структуре» «положения дел», которая априорно определена «внутренней формой» или «структурой» системы языка. «Содержательная интерпретация» сообщений является «приватным» делом, которое не имеет ничего общего с конституцией и функцией языка.

Апель делает вывод, что как солипсистская модель (исходящая из произвольного обозначения находящихся в уме представлений), так и системная модель (рассматриваемая как априори интерсубъективно значимая), не могут объяснить поддерживаемую человеческим сообществом систему языка и интерсубъективную значимость правил его употребления. Это столкновение эмпирически-солипсистской и логистической модели языка показывает, что и простая комбинация этих моделей, как она представлялась в «логическом позитивизме», не может должным образом учесть проблематику естественного языка. Лейбницева идея универсальной, а потому a priori интерсубъективной (синтатико-семантической) языковой «формы» никоим образом не преодолевает методический солипсизм номиналистического эмпиризма, но в принципе подтверждает его. Бесспорным достижением в этом случае является то, что язык теперь не редуцируется к изолированному акту обозначения отдельного человека, но понимается как система со сквозной фонетической формой и формой значения. Коммуникация предстает здесь как кодирование, передача и декодирование приватных мыслей.

В случае неопозитивистского анализа языка проблема актуализации языка станет разрешаться не путем допущения *приватной интерпретации*, но путем бихевиористского описания *употребления* языка. Именно комбинация логистической идеи языка и бихевиористской концепции языкового употребления приводит, согласно Апелю, к завершению методического солипсизма философии языка Нового времени, и в то же время она сводит ad absurdum стоящую за этой философией языка и восходящую к грекам модель языка, отвечающую здравому смыслу, — языка как средства *обозначения*, понимаемого как инструмент мышления.

Эту проблемную ситуацию в определенном отношении пытался разрешить поздний Витгенштейн, когда он модели «логического атомизма» (которую он разделял в молодые годы) противопоставил модель «языковых игр», а методическому солипсизму традиции — тезис о невозможности «приватного языка». Тем самым Витгенштейн приходит к пониманию принципиальной публичности, т.е. зависимости от языковой игры, любого осмысленного *следования правилу.* Из этого вытекает требование, чтобы описатель языковой игры *принимал в ней участие*. Философ как критик языка, осуществляя описание языковой игры, сам претендует на специфическую языковую игру, т.е. сам участвует во всех языковых играх или может вступать в коммуникацию с соответствующими языковыми сообществами.

Но это *участие* означает также определенное противоречие тезису Витгенштейна о том, что у множества подразумеваемых им «языковых игр» нет между собой ничего *общего* за исключением определенного «семейного сходства». Апель считает, что это *общее* существует и заключается в том, что вместе с обучением *одному* языку, с успешной социализацией в *одной* связанной с употреблением языка «форме жизни», происходит обучение *единственной* языковой игре, а значит, и социализация в *единственной* человеческой форме жизни. При этом обретается *компетенция* для осуществления рефлексии над собственным языком или формой жизни и для осуществления коммуникации со всеми другими языковыми играми. А в качестве постулируемой контролирующей инстанции человеческого следования правилу Апель предлагает в нормативном смысле *идеальную языковую игру идеального коммуникативного сообщества.* Эту игру Апель называет также «трансцендентальной языковой игрой», всегда предвосхищаемой в фактической языковой игре.

Таким образом, анализируя специфику понимания природы языка в истории философии Апель выделяет два подхода к языку. Первая «парадигма» (восходящая к античности) предполагает, что сам процесс мышления обходится без участия языка, а результаты познавательного процесса облекаются в языковую форму, чтобы передать их другим. Здесь языку отводится вспомогательная по отношению к мышлению функция обозначения и сообщения. Другая «парадигма» (витгенштейновская) исходит из постулата об идентичности структур языка и структур мира и рассматривает коммуникацию как «приватное кодирование» (говорящим) и «приватное декодирование» (слушателем) сообщений о состоянии вещей в том виде, в котором они могут быть представлены благодаря априорно идентичной для всех структур языка. Для обоих указанных подходов характерно рассмотрение мышления в обособленности от языка, им несвойственно понимание коммуникации как необходимого условия возможности рефлексивного мышления в форме «внутреннего разговора». Апель критикует оба подхода, обозначая в качестве альтернативы путь трансформации трансцендентальной философии в русле философии языка. Результатом данной трансформации призвано стать переосмысление с позиций философии языка природы понятийного мышления, предметного познания и осмысленного действия.

12.4.2 Трансцендентальная прагматика

В трансцендентальной прагматике язык рассматривается в трех его ипостасях — как условие возможности естественных наук, эмпирической и теоретической науки о языке, и, наконец, самой трансцендентальной философии. Причем Апель подчеркивает, что и теоретическая, и практическая философия должны быть опосредованы философским анализом употребления языка.

С помощью нового понятия языка Апель считает возможным создать современную философию, которая была бы способна дать адекватный ответ на вызовы времени. Первый шаг Апеля в этом направлении состоял в переосмыслении триадической конструкции семиозиса: «знак — предмет — интерпретатор». В бихевиористской прагматике основной фокус исследования был направлен, скорее, на диадическое отношение: «знак – предмет», чем на интерпретатора. Апель полагает, что интерпретатор воспринимался бы всерьез, если бы он как субъект интерпретации принимался во внимание другими субъектами

интерпретации, такими же участниками интерпретационного процесса. Иными словами, трехчленное отношение: «знак — предмет — интерпретатор» — может быть понято, исходя из предпосылок хотя бы воображаемого участия другого субъекта интерпретации.

Таким образом, новшество Апеля состояло в дополнении трехчленного семиотического отношения: «объект — знак — субъект» другим субъектом, который находится с первым субъектом в отношениях знаковой коммуникации. Это означает конституирование отношений, которые Апель называет *коммуникативным сообществом*. При этом он исходит из понятия языка в единстве его синтаксических, семантических и прагматических составляющих.

Важным положением для формирования представлений Апеля о природе языка стала теория речевых актов Остина и Серля. Особенность речевых актов состоит в том, что в то время когда мы выражаем что-то в высказывании, мы тем самым что-то делаем (обещаем, соглашаемся и т.д.). Исходя из того факта, что язык неразрывно связан с сознанием говорящего, Апель утверждает, что языковое априори и априори сознания предполагают друг друга: феноменологическая очевидность всегда нуждается в языковой интерпретации, а четыре нормативных требования к речевому акту (воспринятые Апелем из универсальной прагматики Ю. Хабермаса) — понятность выражения, истинность его пропозициональных составных частей, нормативная правильность в перформативном аспекте и правдивость говорящего субъекта — всегда связаны с интерсубъективным измерением.

Среди постулатов Серля, воспринятых Апелем, было также утверждение о функциональной взаимозависимости семантических и синтаксических правил (образования предложений и приписывания значений словам предложений), с одной стороны, и прагматических правил производства речевых актов — с другой. Не совсем соглашаясь с Серлем, Апель уточняет, что идеальное отношение выразительности между предложением и речевым актом не может быть воплощено на практике, а значит нужна компенсация дефицита выразительности в виде «спонтанно-креативного» обращения к контексту, что предполагает возникновение конвенции языка как условия успешной коммуникации.

Таким образом, прагматическая разница между предложениями и речевыми актами, по мнению Апеля, не может быть понята с помощью субъектно-объектного («двухместного») познавательного отношения. Здесь нужна новая, скорее, герменевтическая («трехместная») теоретико-познавательная фигура: «субъект-субъект-объект-отношение». Нормативность коммуникативных отношений создает предпосылку для утверждения, что все интересы и требования людей по отношению друг к другу могут быть рационально восприняты только в ходе аргументативного дискурса. С этой точки зрения аргументацию следует понимать как происходящее по правилам коммуникативное действие, участники которого контрафактически находятся в коммуникативной связи с неограниченным сообществом участников аргументации.

Трехчленное отношение знака к обозначаемому предмету, представляемому положению вещей и к интерпретатору в сочетании с критическим анализом теории речевых актов Серля становится для Апеля ключом к созданию концепции неограниченного коммуникативного сообщества, в котором трансцендентальный субъект растворяется в исторически укоренном коммуникативном сообществе, целью которого является достижение согласия в процессе понимания.

Функциональная роль кантовского трансцендентального синтеза апперцепции отводится у Апеля инстанции консенсуса, достигаемого в ходе неограниченного процесса интерпретации, гарантирующего объективность познания. То есть речь идет о том, чтобы рассматривать реальное коммуникативное сообщество, являющееся субъектом материальных потребностей и интересов, вместе с тем и как идеальный субъект познания и аргументации.

По сути своей философия Апеля является лингвистической версией трансцендентальной философии, и в ней особенно важна роль языка. Язык в философии Апеля — это и реально-историческая языковая взаимосвязь, из которой ее участники не могут выйти, и идеальная взаимосвязь понимания в идеальном коммуникативном сообществе (Gemeinschaft, community). Язык выступает как средство интеграции телесного априори и априори сознания. Наличие этих двух полюсов, интегрируемых с помощью языка, — телесной функции и чистой функции сознания, — является основанием всех различий эмпирического и трансцендентального сознания. Язык, таким образом, выступает в философии Апеля как медиум, в котором происходит опосредование эмпирической и трансцендентальной интерсубъективности. Апелево понятие языка задает и предметную область и метод трансцендентальной прагматики, предлагая свои критерии суждения о социуме и очерчивая тем самым специфический горизонт рассмотрения современного общества. В основе проекта трансцендентальной прагматики лежит фундаментальное представление о неразрывной связи рациональности и социальности. Апель полагает, что нет разума вне социума и нет социума без разума, т.е. что каждое разумное существо с необходимостью социально. Социальность и рациональность невозможны без языка и наоборот — языковое выражение не может являться таковым вне и помимо коммуникативного сообщества.

Таким образом, функционально дифференцированное понятие языка, выработанное в классической семиотике в сочетании с принципами интерсубъективности и трансцендентальной рефлексии открывает возможность прокладывания «моста» из семиотики в этику, поскольку поле напряжения между реальным и идеальным коммуникативным сообществом может быть рассмотрено как поле напряжения между сущим и должным. В отношении идеального коммуникативного сообщества выполняются все нормы коммуникативной этики, играющих роль идеального априори коммуникации. Исторически сформировавшиеся жизненные формы реального сообщества предстают как фактическое априори коммуникации. Если исходить из того, что существует только ситуативное понимание, то в таком случае правомерно говорить о различных возможностях, то есть отсутствуют критерии, позволяющие отличить понимание от непонимания. Соотнесенность реального сообщества участников коммуникации с идеальным коммуникативным сообществом снимает это противоречие в процессе аргументации.

Аргументация всегда происходит по-разному, но при этом всегда действуют правила. Такой инстанцией соблюдения правил в трансцендентальной прагматике является языковая игра идеального коммуникативного сообщества — она является условием возможности и значимости реальных языковых игр. Трансцендентально-прагматический подход, основанный на осмыслении языка и коммуникации, дает такой ответ на вопрос об условиях возможности интерсубъективной значимости правил, какого мы не найдем в классическом трансцендентализме Канта. Условия

возможного знания и условия возможного действия сводятся в трансцендентальной прагматике Апеля к условиями возможности интерсубъективного понимания. Роль языка здесь является ключевой. Язык выступает и в качестве среды, в котором происходит трансцендентально-прагматическая рефлексия, и в качестве средства такой рефлексии и средства формулирования результатов познания и их сообщения партнерам по коммуникации. При этом следует не забывать, что хотя синтаксис и семантика различных языков отличаются друг от друга, прагматика для всех языков универсальна.

Трансценденталистский рефлексивный подход в сочетании с прагматической ориентацией на конкретные контексты коммуникации позволяет Апелю подойти к тем необходимым предпосылкам аргументации, без признания которых нельзя быть сознательным участником аргументативного процесса. Признавая рациональную аргументацию, индивид признает существование сообщества участников аргументации, по отношению к которым он обязан соблюдать правила аргументации в этом сообществе. Осмысленная аргументация предполагает необходимым образом в качестве своего регулятива идеальное согласие в неограниченном сообществе аргументирующих. Центральный пункт трансцендентальной прагматики — необходимость контрафактического допущения идеального сообщества аргументирующих — означает также требование непротиворечивой аргументации. В этом отношении все противоречивые утверждения типа: «Я полагаю, что все философские высказывания обусловлены исторически и поэтому относительны» рассматриваются как неконсистентные, так как они самопротиворечивы. Требование прагматической консистентности исходит из диалогического соотношения в сообществе аргументирующих как отношения взаимного признания и взаимных обязательств. При этом необходимо отличать прагматическую консистентность от логической как технического правила. Прагматическая консистентность является социальной нормой, формой социальной практики, вырабатываемой в процессе аргументации.

Для понимания социальной релевантности прагматики показательным является анализ акта полагания, из которого следует, что всякая форма саморефлексии находится в зависимости от коммуникации. Это хорошо видно в перформативной части констативных речевых актов. В утверждении «Я полагаю» субъект констативного акта принимает на себя роль «трансцендентального Я» познания, так как претендует на значимость своего высказывания для универсальной интерсубъективности, осуществляя тем самым ее антиципацию. Таким образом, коммуникативно-языковые условия познания могут пониматься как функции, которые с необходимостью должны выполняться, для того чтобы достичь не только «объективного единства предметного сознания и самосознания», как это происходит в установке методологического солипсизма, но и «интерсубъективного единства интерпретации этих данных» в процессе коммуникации, трансцендентальным субъектом которой является коммуникативное сообщество. Специфика подхода Апеля состоит в том, что ответ на вопрос об условиях возможности знания увязывается со взаимосвязью проблематики конституирования предметности в ходе познания, с одной стороны, и проблематики осмысленности и интерсубъективной значимости результатов познания — с другой. То есть в данном случае можно говорить о попытке синтеза «долингвистической» трансцендентальной философии и философии языка.

С целью реализации этого синтеза Апель пересматривает фундаментальные установки классического трансцендентализма. Кант, как известно, стремился найти ответ на вопрос об условиях возможности знания, абстрагируясь и от языка и от коммуникации, и не ставит вопрос об интерсубъективной значимости языковых суждений, а тем более о возможности конституирования предметности в языке. В трансцендентальной прагматике в отличие от этого подхода указывается на наличие прагматических очевидностей трансцендентальной языковой игры аргументации, к числу которых, помимо существования мыслящего Я, относится существование материальной практики, языковой коммуникации, реального коммуникативного сообщества и реального мира вне сознания. Семиотическая структура языковой игры аргументации с необходимостью предполагает существование реального мира.

Соглашаясь с Витгенштейном о невозможности частного, приватного языка, Апель, вместе с тем отвергает его идею о непреодолимом плюрализме языковых игр. Сначала он приводит аргумент о том, что человек без особого труда может переходить с одного языка на другой, а затем указывает на то, что методологический аппарат Витгенштейна недостаточен для того, чтобы корректным образом включить в теорию процесс преемственности языковых игр, возрождение и усвоение прошлого в современных жизненных формах. Апелю решает эту проблему с помощью введения понятия трансцендентальной языковой игры, лежащей в основании той или иной конкретной языковой игры и создающей условия для ее опосредования. «Трансцендентальная языковая игра» может, по мнению Апеля, рассматриваться, с одной стороны, как предельная предпосылка аналитической философии языка и критики метафизики и, с другой стороны, может служить основой для трансформации классической трансцендентальной философии в терминах языка. С позиций нормативной концепции «трансцендентальной языковой игры» и связанного с ней безграничного коммуникативного сообщества могло бы, в частности, найти свое разрешение длящийся тысячелетия проблемный синдром, который характеризуется философскими терминами «сущность», «определение», «идея», «понятие», «значение». В этом случае ответ на философски релевантые вопросы о *сущности* следует ожидать не со стороны описания словоупотребления, а со стороны так или иначе заключенного во всяком словоупотреблении нормативного постулата интерсубъективного консенсуса всех виртуальных участников языковой игры относительно *идеальных* правил словоупотребления. Такого рода нормативная интерпретация тезиса, что «сущность» вещей заключена в употреблении языка сталкивается с трансцендентально-герменевтической проблемой. Этот труднейший для трансцендентальной философии в ее философско-языковой трансформации вопрос вытекает из плюрализма конкурирующих «языковых игр».

Каким образом этот плюрализм можно привести в согласие с ссылающимся на трансцендентальную языковую игру постулатом консенсуса относительно правил словоупотребления? Не являются ли различные пути возможного окончательного построения консенсуса уже всегда предписанными в силу различия между синтактико-семантическими системами?

В попытке ответить на эти вопросы Апель обращается к истории человеческого взаимопонимания. Несмотря на существующие сегодня, как тысячелетия назад, различия языковых игр как форм жизни, можно говорить о возрастающем коммуникативном единстве человечества, которое во многом обусловлено

языковой игрой науки. Безусловно, что наука и техника значительно усложнили человеческую культуру и структуру общества, равно как и человеческий образ мира. *Семантическая* компонента человеческих языков, несмотря на сохраняющееся различие языковых систем, не осталась незатронутой процессом относительной унификации *единственной* человеческой языковой игры. Сегодня, полагает Апель, восточно-азиатские и европейские языки, с их значительными системными различиями все же могут выражать в практически эквивалентной по своему значению языковой форме существенные идеи научно-технической цивилизации. Это дает основание считать вполне вероятным, что различные культуры или формы жизни благодаря углубленному знанию смогут взаимным образом *интерпретироваться*, по крайней мере, в смысле практического, например, этического и политического *взаимопонимания.*

Этот вывод Апель делает, исходя из различия синтактико-семантических языковых систем и семантико-прагматических языковых игр. Если первые, *языковые системы* мыслятся как несоизмеримые условия возможного образования понятий, то в случае *языковых игр* возможно коммуникация и взаимопонимание. Иными словами, если в плоскости *лингвистической компетенции* (говоря словами Н. Хомского) бессмысленно рассчитывать на достижение синтеза различных подходов к пониманию языка, то в плоскости *коммуникативной компетенции* возможно рассчитывать на языковое взаимопонимание между теми, кто принадлежит различным языковым сообществам. При этом сравнение "внутренней формы" (синтактико-семантической структуры) различных языков может быть поставлено на службу семантико-прагматическому взаимопониманию, выходящему за рамки отдельных языков.

Способность человека к комбинации семантических признаков и созданию значимости, выходящей за пределы отдельных языков, была актуализирована в мировой истории формированием в греческой философии понятийного мышления, которое стало основанием для интерсубъективного значимого познания *сущности* как таковой. С тех пор во всех культурных языках был выработан в значительной мере общий пласт *понятийного языка*, позволяющего достигать интерсубъективно значимых "сущностных" определений со стороны *безграничного коммуникативного сообщества*. Смысл понятийно-языковой коммуникации (например, философской и научной дискуссии) может мыслиться только исходя из этого "регулятивного принципа" в смысле Канта.

Различие между синтактико-семантической языковой системой, с одной стороны, и универсально-прагматической или коммуникативной компетенция речи или понимания, с другой, определяет по мысли Апеля, и функцию понятия языка в процессе трансформации классической трансцендентальной философии. Мышление как интериоризированное аргументирование, а вместе с ним и рациональная значимость познания, должны пониматься не как функции солипсистски рассматриваемого сознания, но как функции, зависимые от языка и коммуникации. Основной вопрос в последовательной реконструкции трансцендентальной философии в свете трансцендентально-герменевтического понятия языка состоит, таким образом, в замене "высшего пункта" кантовской теории познания, "трансцендентального синтеза апперцепции" как единства предметного сознания, трансцендентальным синтезом опосредованной языком интерпретации, которая конституирует значимость познания как единства *взаимопонимания* (относительно чего-либо) в коммуникативном сообществе.

Место метафизически установленного Кантом "сознания вообще", гарантирующего интерсубъективную значимость познания, занимает *регулятивный принцип* критического установления *консенсуса* в одном идеальном коммуникативном сообществе. Однако первоначально это идеальное сообщество должно быть выработано в некотором реальном коммуникативном сообществе.

В трансцендентально-семиотическом прагматизме Ч.С. Пирса такого рода трансформация трансцендентальной философии уже была предвосхищена, по крайней мере, в двух важнейших следствиях. Первое касается смысло-критической саморефлексии философской аргументации. Трансцендентально-герменевтическая трансформация может снять принципиальное различие между классической онтологией и философией сознания Нового времени. Притязание на осуществление критики познания трансформируется в этом случае *смысловой критикой*, которая исходит из принципа, что познавательно-критическое сомнение никогда не может угрожать семантико-прагматической согласованности всегда уже задействованной языковой игры. Язык позволяет рефлектировать над своим собственным употреблением и актуализировать в собственном сознании точку зрения идеального коммуникативного сообщества.

Второе следствие философско-герменевтической трансформации трансцендентальной философии заключается, по мнению Апеля, в снятии принципиального различия между *теоретической* и *практической* философией. Это снятие заключается в том, что место обеспечивающих объективность и интерсубъективность познания "актов рассудка" (в смысле кантовского сознания вообще) занимают эксплицируемые как "языковые акты" конкретные *акты взаимопонимания* в коммуникативном сообществе ученых. Это означает, что процесс научного познания как процесс безграничной коммуникации предполагает этику. То же самое можно сказать и о *теоретической* философии, так как она связана с *дискурсом аргументативного сообщества*. Практическая философия в своей рефлексии над этическими условиями возможностями теоретического дискурса безграничного аргументативного сообщества возвращается на путь нормативной этики. Эта рефлексия над условиями возможности языкового взаимопонимания закладывает основание единства *prima filosophia* как единства *теоретического* и *практического разума.*

13. Аналитическая философия сознания

Философский интерес к сознанию исторически был обусловлен не только важностью этого понятия для понимания рациональности и разумности, но еще и тем, что существование сознания бросало самый серьезный вызов идее существенно эмпирического характера всякого подлинного (сиречь, научного) познания. Главный вопрос (или группа вопросов), задававшийся в этой связи, получил название *проблемы связи тела и сознания* (в англоязычной литературе – *mind-body problem*), или, в несколько иной терминологии, - *психофизической проблемы*: проблемы взаимодействия сознания и сферы ментального (т.е. относящегося к уму и мыслительной деятельности) в целом с материальным миром, преимущественно описываемым физикой. Однако, трудности, с которыми сталкивается изучение сознания могут быть истолкованы и в более пространном смысле: ведь значительная часть загадочности сознания состоит в том, что, с одной стороны, оно вроде бы достаточно ясно и отчетливо нам дано, что имеет место, иначе говоря, феномен сознания, а с другой стороны, оно систематически ускользает от понимания и определения, и не только в рамках эмпирического исследования. В такой расширенной трактовке вопроса о связи сознания и тела под «телом», скорее, правильнее будет понимать все, на что распространяется наше эффективное понимание, включая способность определять и объяснять. А сам вопрос тогда окажется вопросом о том, как (эффективно) расширить *объем нашего понимания таким образом, чтобы оно могло распространяться и на сознание*. Как указывает Томас Нагель, если бы психофизическая проблема не распространялась на сознание, она потеряла бы для философии всякий интерес. Но именно то, что психофизическая проблема охватывает сознание, делает ее, по мнению того же Нагеля, практически безнадежной[1]. В самом деле, если кроме сознания ничто не принципиально не отличает нас от других видов существ, то мы можем рассчитывать на то, что наши стандартные методы изучения психики этих существ, в первую очередь животных, тривиально экстраполируемы и на изучение нашей собственной человеческой психики, и что полученные нами в этом случае результаты по всем интересующим нас, как ученых, параметрам аналогичны результатам психологии животных и других существ. Но если сознание есть то, что нас как вид отличает, то мы уже не может рассчитывать просто экстраполировать какие-то методы, применимые к другим видам, на изучение нас самих и на желаемую аналогию; мы должны решать эпистемологическую проблему – проблему метода. Однако, в какой степени указанная трудность составляет основание скептицизма, насколько безнадежна эта проблема – отдельный вопрос.

13.1 Проблема психологического объяснения

13.1.1 Понятие сознания

Сознание, конечно, не исчерпывает предмет психологии; часть вопросов, которые психология нацелена решить относительно сознания, задаются ею относительно более широкого круга ментальных феноменов вообще. К сфере ментального обычно относят разные виды явлений: 1) *ощущения* или, иначе, *впечатления*, под

[1] См.: T. Nagel, 'What Is It Like to Be a Bat?', Philosophical Review, 83:4, 1974, 435 – 36.

которыми понимают, как правило, некие элементарные результаты восприятий, шире – опыт, *переживания*, т.е. какое-то содержание, которое мы можем хранить в памяти и извлекать из нее или же забывать; 2) собственно *память* и ее феномены, а именно: что какое-то содержание (опыт) «живее», чем другой, что, будучи дано (вспомнено) в разные моменты жизни, то, что мы считаем одним и тем же опытом, может «тускнеть», утрачивать четкость, изменять свои феноменальные качества, иначе говоря, или вовсе забываться (не возникать при усилии вспомнить), а потом вдруг возникать вновь в переживании, да еще с необычайной яркостью, и т.д.; 3) *мысли* и *образы* – соответственно, вербальные и невербальные содержания сознания; 4) *эмоции*, *воления*, *интенции*, а также – *установки* и *склонности* – свойства, лишь спорадически, время от времени «дающие о себе знать», фиксируемые, но, тем не менее, полагаемые сохраняющими свою идентичность на некой последовательности жизни индивида и описываемые, как правило, в терминах *диспозиций*. (Хотя существует точка зрения, согласно которой язык диспозиций пригоден и адекватен как язык описания всех вообще ментальных феноменов.) Другие ментальные феномены, такие, например, как рассуждения, решения, рефлексии, мы склонны охватывать понятием сознания (consciousness).

Практически во всех фундаментальных работах, посвященных сознанию, есть раздел (обычно вначале), посвященный разбору распространенных значений слова «сознание». Обычно их насчитывают довольно много. Этимологически исходным считается смысл, описываемый как *коллективное знание*, знание, которым владеют больше одного индивида (con-scientia). С одной стороны, этим подчеркивается социальный контекст развития индивидуального сознания – по меньшей мере, определенных конституент индивидуальных мыслительных способностей, индивидуальной разумности. С другой стороны, это может быть поводом говорить о носителе сознания не только как об индивиде, но и как об объединении индивидов того или иного вида; ср.: классовое сознание, народное сознание, массовое сознание и т.п.

Под сознанием в психологическом смысле могут пониматься также разные вещи. Прежде всего, это некое общее свойство, которое обычно ассоциировано с понятием разумного существа: в этом отношении сознание синонимично разуму, быть в сознании значит быть разумным, т.е. обладать определенными *способностями* – которые обычно называют *мыслительными* и в которых можно, очевидно, выделить разные уровни (рассудочные способности, теоретические, практические, логические и т.д.) и степени (большая или меньшая степень разумности, гениальность, тупость и т.д.). С другой стороны, есть расхожее выражение «быть без сознания»: человек без сознания, в обмороке, в коме или во сне, тем не менее, вполне может еще считаться обладающим сознанием в первом смысле, но, при этом, лишенным чего-то, что мы ассоциируем со вторым смыслом слова «сознание»: а именно, возможности действовать, а возможно, и мыслить *в данный период времени* (хотя сама способность мыслить у него вроде как остается). Этот смысл до некоторой степени синонимичен понятию *бодрствования* – *нахождение в сознании*, т.е. в состоянии действовать интенционально и разумно. Но другой случай – гипноз; человек бодрствует и вроде как в состоянии действовать разумно, но все же в каком-то еще дополнительном смысле он не находится в сознании – этот смысл можно сопоставить понятию *самоконтроля* – нахождения в состоянии действовать разумно и *по своей собственной воле*.

Далее, можно выделить еще один смысл слова «сознание»: иногда под этим понимают определенные характеристики определенных (человеческих) действий – фрагментов поведения – отличая их от других; этот смысл хорошо передается словосочетанием *осознанность*: некое действие осознанно, в отличие от другого – неосознанного – например, инстинктивного или рефлекторного или сделанного, что называется, автоматически, «не задумываясь», между делом и т.д. Этот смысл транслируется в рамках определенных концепций сознания также и на состояния организма: одни состояния признаются *состояниями сознания*, а другие – например, боль или страх, вообще – эмоции – нет. Существенно, что здесь имеется в виду не характеристика некоего существа как такового и не ситуации, в которой оно находится, а определенного состояния, в котором находится это существо (вернее, его организм). (Этот смысл мы подробнее рассмотрим в свое время, поскольку в некотором отношении он полагается базисным для прояснения остальных.)

Иногда, «сознание» ассоциируется с другим смыслом, который можно назвать *предметным*: мы говорим, «Ты сознаешь, *что* ты делаешь?», «Ты *о чем* думаешь?» и т.д. Соответственно, смысл, который отсюда извлекается (в основном, конечно, в рамках определенных философских подходов) – *сознание о чем-то* или предметное сознание (ср. работы Брентано и Гуссерля): в этом смысле сознание выступает как характеристика всякого момента, когда индивид находится *в сознании* – т.е. опять как синоним разумности, но характеризует в этом смысле не индивида в целом, а его феноменологически выделяемые моменты – это, можно сказать, его феноменальная (и, конечно, феноменологическая) характеристика. Наконец, последний смысл слова «сознание», на который здесь стоит обратить внимание, также, в принципе, связан с предыдущим: если предметом сознания о чем-то является сам субъект этого сознания о…, то мы получаем как бы предметное сознание второго порядка Декартово *cogito*, иначе говоря, *самосознание*.

Вопрос о сознании также не свободен от неоднозначности. Иногда его ставят как вопрос о *природе* феноменального сознания, т.е. как вопрос о том, что есть; иногда же этот вопрос ставиться как вопрос о смысле или понятии «сознание». Оба эти подхода поддерживаются определенными общими идеями, касающимися того, какого вида связи вообще могут быть источником знания. Одна идея состоит в том, что методы эмпирического исследования в конечном счете могут дать адекватный результат – знание; и что вопрос о сознании, в конечном счете, есть эмпирический вопрос. Другая идея, нашедшая, в частности, свое наивысшее воплощение в так называемой аналитической философии, состоит в том, что любой эмпирический результат может обладать желаемой надежностью только в том случае, если это допускается связями, существующими в языке, на котором он получен. С этой точки зрения именно вопрос о сознании как о понятии, исследование его значения, его концептуальных связей, является приоритетным. И, как минимум, в той мере, в какой философия сознания сформировалась под влиянием аналитической философии, ее деятели именно так понимают свою первостепенную задачу.

13.1.2 Психофизический дуализм и скептические следствия

Первичные наши интуиции, относящиеся к определению сознания или, шире, ментального отдают должное тому факту, что ментальное[2] и физическое различаются *феноменально*, т.е. по своим способам данности субъекту познания; причем, не исключено, что характер этого различия имеет какое-то существенно отношение к пониманию сознания. Базисная эпистемологическая презумпция относительно физических вещей состоит в том, что они полагаются интерсубъективно наблюдаемыми, т.е. такими, как будто разные наблюдатели в разное время и с разных точек наблюдения могут наблюдать одни и те же характеристики. Субъекты наблюдения в этом случае полагаются взаимно заменимыми подобно другим инструментам наблюдения. Эта идея в совокупности с некоторыми дополнительными требованиями, такими, как требование не заинтересованности наблюдателя в результатах наблюдения, лежит в основании требования наблюдаемости «от третьего лица», сформировавшегося вместе с действующей концепцией научного познания окружающего мира как существенная часть его методологии. Феноменальное сознание, существование которого мы склонны обычно допускать, никак не доступно наблюдению от третьего лица; следовательно, как таковое, оно оказывается вне сферы эмпирического познания, легитимным источником данных для которого признается исключительно интерсубъективное наблюдение. Базисная эпистемологическая презумпция относительно ментальных «вещей», в свою очередь, состоит в том, что, если они вообще познаваемы и познаваемы в каком-то аналогичном или параллельном эмпирическому смысле, т.е. как нечто непосредственно данное в опыте, а не просто абстрактное, то основываться такое познание может на наблюдении какого-то другого типа, а именно на *самонаблюдении* или, по-другому, *интроспекции*. Интроспекция представляет собой наблюдение, так сказать, «от первого лица»: только сам субъект (и никто другой) может наблюдать свою ментальную жизнь, включая, согласно дополнительной презумпции, феноменальное сознание. Субъекты интроспекции не взаимно заменимы. Более того, сомнительным выглядит и выполнимость требования не заинтересованности наблюдателя применительно к интроспективному наблюдению, поскольку, по меньшей мере, находясь в определенном психическом состоянии и в то же время наблюдая его, субъект вряд ли может, как наблюдатель, быть каким-то образом независимым от своего собственного интроспектируемого психического состояния; особенно, если это состояние еще и сильно эмоционально окрашено. Кроме того, в отличие от результатов наблюдения «от третьего лица», интроспективные результаты не являются предметом эмпирической верификации. Если, усомнившись в том, что именно наблюдается – настоящее яблоко, лежащее на столе, или искусно

[2] В принципе можно понятия психического и ментального могут различаться своими объемами: например, существует тенденция ограничивать объем ментального только когнитивными процессами. Можно исходить из того, что ментальные процессы или состояния суть только те, которые имеют дело с мышлением, интеллектуальными способностями, познанием и тому подобным, но не включают все остальные виды процессов, состояний и свойств, относящихся к сфер психического, таких, например, как ощущения или чувства. Мы, однако, не будем здесь следовать какому-то подобному строгому разграничению, полагая, что, даже в том случае, если «ментальное» понимается как синоним «психического» и психофизическая проблема включает проблему связи сознания с материальным миром, эта проблема приобретает именно те черты, которые вызывают наибольший философский интерес, какой бы широкий объем психического по сравнению с ментальным мы ни допускали.

выполненный муляж из папье-маше, субъект может изменить точку наблюдения, средства наблюдения (потрогать рукой) и, наконец, дополнить свои результаты результатами наблюдения данного объекта другим субъектом, то в случае интроспекции ничто из этого не применимо. К интроспектируемому нельзя ни приблизится, ни потрогать его рукой, ни позвать на помощь другого. В этом отношении трудности корректировки результатов опыта, ставшие источником скептицизма даже в отношении научного познания, основанного на наблюдении, в случае познания методом самонаблюдения выглядят просто непреодолимыми. Классическая концепция интроспекции, правда, предполагает, что интроспективные результаты совершенно достоверны в силу *непогрешимости* метода, так как интроспективно наблюдаемое непосредственно само дано, а субъект не может ошибаться относительно того, что он непосредственно в момент наблюдения переживает. Но существуют альтернативные концепции самонаблюдения. Согласно одной из них самонаблюдение состоит в *ретроспекции*, т.е. исследовании субъектом своих ментальных состояний с точки зрения момента времени более позднего, чем время исследуемого ментального события, через посредство непосредственной памяти только что происшедшего[3]. Наблюдая свои внутренние состояния, субъект как бы «смотрит назад» на то, что он только что или какое-то время назад переживал, и этот опыт наша память «удерживает» для нас, чтобы он мог быть доступен наблюдению. Но память не непогрешима, она может нас подводить; так что, если интроспекция имеет ретроспективный характер, то ее результаты не могут быть достоверны в силу непогрешимости метода. (Согласно другой, гораздо более поздней трактовке, самонаблюдение отождествляется с рассуждением о причинах собственных состояний; в этом случае не только память, но и мыслительные способности включены в процесс получения интроспективных данных[4].)

Но если признается, что внутреннее наблюдение возможно и что именно оно должно быть *базисным* методом изучения ментальных феноменов, то важным следствием этого будет *методологическая пропасть*, разделяющая изучение материального (физического) мира и изучение мира ментального, естественные науки и психологию. Это *расхождение между физическим и ментальным на уровне методологии* коррелирует с определенной метафизической доктриной, именуемой картезианским дуализмом. Подход Декарта характеризует разграничение между двумя независимыми субстанциями – *res extensa* и *res cogitans* («вещью протяженной» и «вещью познающей»). Поскольку их существование подчиняется разным законам, между которыми, тем не менее, признается некий параллелизм, то и познание этих двух субстанций, составляющих наш мир, должно осуществляться разными науками, характеризуемыми параллелизмом методов. Относительно этой картины психофизического взаимодействия опора психологии на интроспекцию как базисный метод получения исходных данных, и в этом отношении параллельный наблюдению в естественных науках, выглядит вполне уместной и оправданной. Но включает ли в себя картезианское *res cogitans* сознание? По крайней мере, оно включает в себя *осознание* – способность обращать внимание на свои внутренние состояния. Об это свидетельствует, например, такой пассаж: «Что касается того факта, что в уме, постольку,

[3] Ср. в этой связи, в частности: Э. Гуссерль, «Феноменология внутреннего сознания времени», Гнозис, М., 1994.
[4] Правда в этом случае концепция интроспекции сближает психологию с абстрактными дисциплинами и философией.

поскольку он является думающей вещью, не может быть ничего, о чем бы он не знал, он кажется мне самоочевидным. Ведь нет ничего такого, что мы могли бы понять как находящееся в уме, что… не является мыслью или не зависит от мысли»[5]. По крайней мере, в этом отношении сознание, по Декарту, есть существенный компонент всего ментального. Сознание же он понимал, скорее всего, и главным образом, как знание индивидом своих собственных ментальных состояний. Ключевым в приведенном отрывке, очевидно, является слово «мысль»: «Под термином «мысль» я понимаю все, о чем мы знаем как о том, что случается внутри нас, постольку, поскольку мы имеем знание об этом»[6]. Локк как будто соглашается с Декартом: «мышление состоит в бытии сознающим, что ты мыслишь» и «идея мышления в отсутствие сознания столь же невразумительна, что и идея тела, имеющего протяженность, но не имеющего частей»[7]. И в другом отношении Декарт и Локк выглядят согласными. Для Декарта подлинные впечатления – элементарные единицы опыта – у взрослых существует лишь постольку, поскольку они сопровождаются рефлексивным знанием второго порядка: «Когда взрослый чувствует что-либо и одновременно воспринимает, что он не чувствовал этого прежде, я называю это второе восприятие *отражением* (*reflection*) и приписываю его исключительно интеллекту, несмотря на то, что оно так соединено с впечатлением, что оба случаются вместе и в своем явлении неотличимы одно от другого»[8]. Подобным же образом звучит знаменитое утверждение Локка, что «сознание человека есть восприятие того, что происходит в его собственном уме»[9]. Однако, трудно нам с наших позиций оценить, насколько оправдано отождествлять или считать весьма сходными упомянутые взгляды рационалиста Декарта и эмпирика Локка: совершенно не очевидно, что под знанием, которое может иметь человек о том, что происходит у него в уме, они имели в виду одно и то же. Что, пожалуй, очевидно – так это, что оба все же предполагали наличие некоего второпорядкового элемента необходимого для того, чтобы можно было говорить о ментальных явлениях первого порядка. Совсем не очевидно при этом, что восприятие второго порядка, о котором говорит Локк, несет на себе такую же когнитивную нагрузку, какая, по видимому, заложена в Декартово «отражающее восприятие»[10].

Картезианский дуализм много и плодотворно критиковался. Многие возражения опираются на концептуальный или, иначе, логический анализ – основной метод аналитической философии. Вот одно из них, которое уместно обозначить как *аналитический аргумент*: *вывод о метафизической взаимной независимости души и тела опирается на предположение, что то, что концептуально различно, различимо также и онтологически*. Между тем, как показало развитие аналитической философии, такое утверждение, по меньшей мере, спорно: принимать его значит полагать, что за всем, что кажется именем, стоит сущность, которую оно обозначает. Другой аргумент (который вполне можно назвать *агностическим*), представляющий собой один из центральных пунктов критики картезианского дуализма и дуализма вообще, акцентирует внимание на том, что

[5] «Четвертый ответ Арно».
[6] «Принципы философии».
[7] «Опыт о человеческом разумении», книга вторая, глава 1.
[8] Письмо к Арно.
[9] «Опыт о человеческом разумении», § 19.
[10] См.: G. Güzeldere, “Approaching Consciousness” (“The Many Faces of Consciousness: A Field Guide”), The Nature of Consciousness, N. Block, O. Flanagan, G. Güzeldere (eds.), A Bradford Book, The MIT Press, Cambridge, Masachusetts, 1997, 12 – 13.

из постулирования простой нематериальной, непротяженной души, похоже, должно следовать постулирование невозможности познания (этой нематериальной, непротяженной простой душой) материального, протяженного, сложно мира и, соответственно – связи между этим миром (и телом как его частью) и душой (сознанием). В более пространном виде, с одной стороны, а с другой – как часть предыдущего аргумента – этот аргумент формулируется просто как *аргумент загадочности*, нерационализуемости психофизических связей, при признании метафизического дуализма. Еще более радикальным следствием такой критики является общий скептицизм в отношении познаваемости сознания.

Задача психологического объяснения в случае картезианского дуализма, фактически, должна решаться на следующем фундаменте: законы, описывающие физический и ментальный миры, соответственно (номологии), не тождественны, но параллельны; это значит, что психология должна быть изоморфна естественным наукам каким-то образом и при этом не тождественна ни одной из них. С этим параллелизмом связана главная проблема философии психологии: как возможно адекватное психологическое объяснение? *Скептицизм* в этом отношении получил широкое развитие: состоит он в утверждении, что, поскольку парадигмальным источником адекватных объяснений являются естественные науки, а психология не располагает потенциалом продуцировать естественнонаучные объяснения, адекватное психологическое объяснение, в первую очередь объяснение сознания, в принципе невозможно.

Психология претендует на то, что она является наукой о сознании по преимуществу. Но вследствие методологической неопределенности ментального как предмета изучения психология сталкивается с весьма специфическими и серьезными трудностями, которые можно обобщить под названием «*проблема психологического объяснения*». Философия психология акцентирует внимание, прежде всего, на этой проблеме. Основные вопросы философии психологии в этой связи таковы: Чем в действительности занимается и чем должна заниматься психология? Может ли быть психология наукой и, если да, то какой? Каковы объяснительная сила и условия истинности психологических выводов и теорий? Спор о статусе психологического объяснении можно описать в терминах так называемой *доктрины двух точек зрения*. Она предполагает, что к каждому виду сущего применимы, по крайней мере, две системы описания – *феноменологическая* (описывающая феноменальные свойства сущего, т.е. то, как нечто дано) и *структурная* (что «стоит» за данностью, не будучи непосредственно наблюдаемо в том, что дано). Вопрос ставится так: может ли обеспечиваться психологическое объяснение исключительно феноменологическими результатами или оно с необходимостью должно быть структурным? И далее, если оно должно быть структурным, то может ли оно при этом не быть физическим или, шире, естественнонаучным объяснением? Ответ «нет» обычно идентифицируют с *редукционизмом*: концепцией, утверждающей, что адекватное объяснение в психологии может быть дано только на языке какой-то другой науки, предположительно – одной из естественных наук. Если так, то единственный способ утвердить психологию как источник подлинного знания, как науку – показать, что она может быть полностью *переведена* на (какой-то) естественнонаучный язык. Инструментом такого «перевода» считаются так называемые *редукционные правила* – правила, устанавливающие и регулирующие соответствия между естественнонаучными законами и тем, что мы бы хотели утверждать как законы психологические. Полная редукция предполагает, что

подобного рода связями соответствующим образом охвачены все номотетические утверждения психологии. Есть еще третья точка зрения, также нашедшая широкое применение в философии сознания. Применительно к сознанию ее можно выразить в виде лозунга: «Сознание есть то, что оно *делает*». При этом предполагается, что адекватным описанием сознания должно быть его *функциональное* или, более специфично, *каузальное* описание, т.е. описание в терминах систематических результатов работы сознания или, по другому, и опять же более специфично, в терминах его *каузальной роли*. На дотеоретическом уровне обсуждения этот дескриптивный подход выглядит, по меньшей мере, равно привлекательным в сравнении с феноменологическим и структурным. Так же, как структурному подходу к сознанию можно сопоставить влиятельную концепцию в философии сознания – редукционизм, признание объяснительного приоритета функциональных описаний легло в основание применения к изучению сознания такой влиятельной исследовательской программы, как *функционализм*.

Краткое скептическое описание проблемы психологического объяснения состоит в том, что между психологией и остальными науками существует объяснительная пропасть (explanatory gap). Если существование такой пропасти признается, то дальнейший вопрос формулируется как вопрос о преодолимости этой пропасти. Один предполагаемый путь такого преодоления намечает редукционизм; другой состоит в утверждении самостоятельной объяснительной значимости психологических теорий, независимо от их редуцируемости. В качестве своего рода третьего пути может рассматриваться признание авторитета выводов концептуального или, по-другому, логического анализа, примененного к нашим обыденным распространенным способам говорить о сознании и ментальном вообще, к тому типу дискурса, который в философии сознания получил название *folk psychology* («народная психология»). Идея непреодолимости пропасти в объяснении, в свою очередь, помимо картезианской метафизики, поддерживается сочетанием наших распространенных интуиций существования феноменального сознания, с одной стороны, и его недоступности эмпирическому познанию с другой. Если идеалом науки для нас является некая единая наука наук, располагающая средствами объединения всех частных наук и перевода всех их (признанных) результатов на единый язык, то психофизический параллелизм предполагает проект единой психофизики. Однако, осуществление этого проекта предусматривает, что физические и психологические законы могут быть каким-то образом объединены в единую систему. Между тем, весьма сомнительно, что это можно осуществить каким-то приемлемым способом. Да и сама идея психологии как единой науки о сознании может быть поставлена под сомнение не только на основании общих скептических соображений, но и, например, в силу того, что термин «сознание» и ему подобные, похоже, обозначают *гетерогенные* феномены, феномены с разной природой. Если так, то для их объяснения нужна не одна наука, а скорее, семейство наук, неизвестно, в какой степени поддающихся объединению. В противном случае, если приведенные сомнения имеют под собой веские основания, наука о сознании может иметь исключительно феноменологический характер; это может гарантировать, по крайней мере, что различные феномены, объединяемые под титулом «сознание», просто не будут рассматриваться с точки зрения их природы, причин и тому подобного.

По крайней мере, одно направление в психологии можно рассматривать как реализацию картезианской программы построения психологии. Оно получило название «интроспекционизм» по названию своего основного метода и вполне

сочетало идею психологии как подлинной науки с презумпцией психофизического параллелизма. На рубеже 19 – 20 веков это направление в психологии заняло ведущие позиции. Представления об интроспекции, между тем, с самого начала не было достаточно прояснено даже в рамках этого движения и претерпевало довольно существенные изменения. *Интроспекционизм*, тем не менее, в основном опирается на понимание интроспекции как именно *ментального акта второго порядка*, результатом которого является знание о других ментальных актах. Иногда интроспекционизм понимают как первую попытку отделить психологию от философии и построить ее как независимую «научную» дисциплину, имеющую свои собственные основания.

Фундаментальная посылка интроспекционизма: психология – это феноменология человеческого ума; она нацелена на полное описание ментального *как оно явлено субъекту*. Точки отсчета здесь – различия между субъективными цветовыми, звуковыми и другими впечатлениями. Источником аналогии в построении такой науки выглядит построение таблиц элементов в химии. Фундаментальная предпосылка интроспекционистского подхода состояла в том, что полное понимание сознания возможно только по окончании исчерпывающей «инвентаризации» его *атомарных подразделений* – элементарнейших чувственных впечатлений, которые можно различить. Но сама специфика метода способствовала тому, что возникающие научные разногласия невозможно было решить путем консенсуса просто в силу отсутствия общих стандартов интроспективного знания. Так, разные исследовательские группы по разному подходили к определению стандартных условий интроспекции, в частности к тому, следует ли специально готовить субъекта или нет, не говоря уже о стандартах «перевода» интроспектируемых данных на язык исследовательских отчетов. В качестве примера непримиримого разногласия приводят обычно спор между представителями так называемых Вюрцбургской, руководимой Кюльпе в Лейпциге, и Корнеллской (возглавляемой Титченером в Нью Йорке) школ. Титченер сообщал, что его лаборатория обнаружила более, чем 44435 различимых впечатлений, в основном зрительных и звуковых. В противоположность этому Кюльпе настаивал на числе меньшем, чем 12000. Требовалось, чтобы субъект-наблюдатель, отчеты об интроспекциях которого должны составить основание экспериментальных данных, соответствовал задаче обнаружения элементарных впечатлений; для этого, предполагалось, что он должен научиться различать стимулы, которые на него должны воздействовать в лаборатории, иначе он будет воспринимать, например, два разных стимула как один и т.д. Но вся несостоятельность метода, похоже, состояла именно в том, что между разными лабораториями не существовало идеи общего стандарта такой подготовки. И тогда получалось буквально следующее: например, Кюльпе и его последователи были убеждены, что интроспективно могут быть даны абстрактные идеи, никак не связанные с конкретными образами, тогда как Титченер не допускал возможности интроспекции каких-либо элементарных единиц опыта, не ассоциированных с конкретным образным или, по крайней мере, чувственным содержанием; следовательно, каждый старался подготовить субъекта к различению именно таких единиц опыта, какие хотелось, чтобы он мог различать (а вернее, предполагать, что различает), экспериментаторам. Но такая не стандартизованная подготовка оказывала влияние на то, *когда* субъект сообщал о феноменальных данных, которые он действительно имеет, а когда – о тех, что ему только «кажется», что он имеет. По установлении наличия разногласия между

лабораторными результатами, далее, естественно возникал научный спор: но в ходе его аргументы сводились всего лишь к формулам вида «Субъект не мог этого ощущать (иметь абстрактную идею в интроспекции, например)», «Нет, мог!»[11].

Гештальтпсихология – другая влиятельная школа в психология, сформировавшаяся примерно в то же время, что и интроспекционизм, хотя по многим существенным вопросам расходилась с ним, тем не менее, разделяла основные его эпистемологические предпосылки. Однако уже появление на психологической «сцене» *психоанализа* бросило вызов интроспекционизму, по меньшей мере, в одном существенном отношении. Фрейд, говоря словами Скиннера, открыто признал, что важные ментальные процессы, играющие каузальную роль в отношении поведения индивидов (в этом и он, и интроспекционисты согласны), не даны непосредственному (интроспективному) наблюдению, а являются бессознательными (именно в смысле их интроспективной не данности) и, соответственно, требуют применения других методов для их обнаружения.

13.2. Бихевиористская редукция сознания

Скептические выводы из концептуального анализа понятия сознания обычно отождествляю его с такими понятиями, как «эфир», «флогистон» и тому подобные, которые, согласно выражению Патриции Черчленд, «под давлением различных эмпирико-теоретических сил … теряют свое единство и распадаются на части»[12]. Скептицизм этого вида, в принципе, может ограничиться эпистемологическими следствиями – в частности, выводами таких видов, как: «проблема сознания есть псевдопроблема», «сознание не может быть подлинным предметом научного исследования» и тому подобными. Но этот скептицизм может предполагать и некоторые онтологические следствия: например, отрицание собственно феноменального сознания или, правильнее будет сказать, идентифицируемости чего-либо (на адекватных основаниях) как относящегося к феноменальном сознанию. Так, У. Джеймс, оценивая эпистемологические перспективы сознания в статье с характерным названием «Существует ли Сознание?», говорит о понятии сознания как об имени чего-то не существующего (non-entity), которому «нет места среди первых принципов»[13]. Обычное не скептическое следствие концептуального анализа понятия сознания представляет собой его редукционное переопределение, т.е. сопоставление ему в качестве (по крайней мере, экстенсионального) синонима выражения, в котором слово «сознание» и другие, ассоциированные с ним термины с признанно (автором анализа) неясными значениями, не встречаются. Задача, которую таким образом предполагается решить, состоит в, так сказать, развенчании мистического ореола сознания и демонстрации того, чем может или должно быть подлинное познание того, что мы привычно объединяем с помощью переопределенного понятия. Наиболее известным примером анализа такого рода является работа Гилберта Райла «Понятие сознания».

---

[11] См. описание этого спора там же, 14.

[12] Churchland, P. S., ‘Consciousness: The Transmutation of a Concept’, Pacific Philosophical Quarterly, 64, 1983, 80.

[13] W. James, ‘Does ‘Consciousness’ Exist?’, перепечатано с оригинального издания 1904 года в: Essays in Radical Empiricism, R. B. Perry (ed.), N.-Y.: Dutton and Co., 4.

13.2.1. Аналитическая критика картезианской парадигмы

13.2.1.1. Картезианская модель сознания как результат категориальной ошибки

Свою задачу Райл формулирует[14] как *исправление логической географии знания* о сознании и метальном*, которое мы уже имеем*. Декарт, по мнению Райла, оставил нам в наследство *миф*, продолжающий искажать то, что он назвал логической географией континентальной философии субъекта, рациональности, мышления и сознания. Миф отличается от правильной истории тем, что он представляет факты, принадлежащие к одной логической категории, в идиомах, охватываемых другой категорией: в этом состоит категориальная ошибка. Философия же, считает Райл и его последователи, состоит в замещении категориальных привычек категориальными дисциплинами, т.е. такими способами логически структурировать выражения языка, которые были бы обоснованы логическим анализом этого языка и, соответственно, в наибольшей степени гарантированы от категориальных ошибок.

Главный антикартезианский тезис Райла опирается на когерентистский критерий: картезианский миф не согласуется со всей совокупностью того, что мы знаем о сознании, когда мы не спекулируем о нем. Этот «миф» получил название «догмы призрака в машине». Райл полагает, что его источником является *категориальная ошибка*, совершенна Декартом. Ошибка Декарта, согласно Райлу, состоит в том, что, представляя сознание как призрак в машине механистически трактуемого физического тела, он полагал следующее: раз человеческое мышление, чувства и целенаправленные действия нельзя описать исключительно в терминах физики, химии и физиологии, то они могут быть описаны в терминах неких двойников этих наук (counterpart idioms); так же, как человеческое тело есть сложно организованная сущность, человеческий ум должен быть другой сложно организованной сущностью, хотя и состоящей из частей другого типа и со структурой другого типа. И так же, как тело является предметом действий причин и вызываний следствий, сознание должно быть предметом действий причин и вызываний следствий, хотя причин и следствий – других типов, нежели физические. Таким образом, Декарт, по мнению Райла, соединил тело и сознание через конъюнкцию, предлагая рассматривать тело *и* сознание как принадлежащие к одному классу вещей. Райл не отрицает существование ментальных процессов, но утверждает, что фраза «имеют место ментальные процессы» не значит то же самое, что и фраза «имеют место физические процессы» и что, т.о., бессмысленно объединять их конъюнкцией или разъединять дизъюнкцией. Вера в то, что существует полярная оппозиция между сознанием и материей, определяется Райлом как вера в то, что соответствующие термины (ментальные и физические предикаты, соответственно) принадлежат к одному и тому же логическому типу.

Но картезианское cogito включено, согласно распространенным представлениям, в каждое рациональное действие – оно должно включать элемент знания того, что субъект делает, ощущает, переживает и т.д.; если cogito отождествляется с сознанием, то такая концепция как будто предполагает, что всякое рациональное действие имеет дуальную природу. Возражение Райла снова опирается на то, что он предлагает в качестве результатов концептуального анализа рационального

[14] Г. Райл, Понятие сознания, ДИК, Идея-Пресс, 1999.

действия. Он пишет: «… когда мы описываем людей как проявляющих качества ума, мы не имеем в виду оккультные эпизоды, следствием которых является человеческое поведение, включая высказывания. Разумеется, есть различия … между описанием действия как производимого неосознанно и описанием физиологически подобного действия как совершаемого с какой-то целью …. Но эти различия в описаниях не состоят в наличии или отсутствии имплицитного подразумевания некоторого теневого действия, скрытно предшествующего явному действию. Они, в противоположность этому, состоят в отсутствии или наличии определенных типов проверяемых объясняющих и предсказывающих утверждений». Правильную, на взгляд Райла, логику рациональности он проясняет с помощью дистинкции между *знанием как* и *знанием что*, т.е. между *умениями*, *способностями*, *навыками* и *правилами*. По его мнению, первый вид знания не предполагает с необходимостью второй. Когда о человеке говорят, применяя к нему ментальные предикаты, такие как «умный», «глупый», «справедливый» и тому подобные, то этим, считает Райл, индивиду приписывают не некое состояние его сознания или психики или отсутствие такового, а способность или неспособность делать определенные вещи. Критикуемая позиция в переложении Райла утверждает, что действие демонстрирует разумность тогда и только тогда, когда субъект думает о том, что он делает по ходу делания того, что он делает, и думает об этом таким образом, что он не выполнил бы это действие так же хорошо, если бы он не думал о том, что делает. Самые радикальные приверженцы этой «легенды» склонны сводить «знание как» к «знанию что», утверждая, что разумное поведение включает в себя наблюдение правил или применение критериев, согласно которым это поведение (разумно) осуществляется. Фактически, критика тезиса когнитивной рациональности с позиции Райла сводится, в свою очередь, к критике именно радикального варианта этого тезиса. Возражение имеет форму классического аргумента от бесконечного регресса: если для того, чтобы некое разумное действие было совершено, необходимо, чтобы прежде было совершено другое разумное действие – а именно, действие применения правила или критерия к обстоятельствам – то тогда мы приходим к выводу о невозможности какого-либо вообще разумного действия; поскольку для того, чтобы совершить разумное действие применения правила необходимо, согласно предположению, сперва совершить другое действие – применить правило применения первого правила – и т.д. до бесконечности. С другой стороны, даже с позиции этого радикального когнитивного тезиса можно утверждать, что если просто утверждается, что в разумном действии должен быть элемент знания того, что ты делаешь, отсюда еще может не следовать, во-первых, что этот элемент сам должен быть действием, предшествующим первому (физическому) действию, и, во-вторых, что это знание должно непременно иметь форму воспроизведения в сознании какого-то правила или критерия. «Знание как» не сводится к «знанию что», согласно Райлу, еще и потому, что знание правила само включает в себя элемент знания как: нельзя знать правило без какого-то умения его применять[15]. Еще более радикальная позиция, которую, очевидно, разделяет и Райл, состоит в выводе о неопределимости рационального через понятия правила и следования правилу, поддерживаемого оправданной интуицией, что понятие применения правила не «схватывает» того, что заложено в понятии умения или способности.

[15] Ср. в этой связи критику концепции правила Л. Виттгенштейном («Философские исследования»).

Надо заметить, между тем, что критика картезианской парадигмы с точки зрения «правильной» логики естественного языка, в свою очередь, опирается на предпосылку существования неких естественных категорий, которая, в свою очередь, может быть и была предметом критического анализа.

13.2.1.2. Устранение категориальной ошибки

Тот факт, что, говоря, что некое наблюдаемое поведение, например, неуклюжее или разумное, мы характеризуем не сами физические движения, а определенные ментальные свойства, не предполагает, по мнению Райла, что мы, таким образом, говорим о каких-то *скрытых* за поведением не физических актах или процессах, или состояниях, симптомом наличия которых это поведение, якобы, является. Поведение демонстрирует умение или способность, но сами умения и способности не являются событиями (или процессами, или состояниями): они представляет собой *диспозиции*, а диспозицию Райл определяет как «фактор такого логического типа, что относительно нее неправильно говорить, что она наблюдаема или не наблюдаема». Так же точно, как громкость звука сама не является громкой или не громкой, навыки, умения и т.д., демонстрируемые во внешнем поведении, не являются сами внешними или внутренними, наблюдаемыми или не наблюдаемыми. Но известно, что люди могут мыслить, не проявляя этого никак во внешнем поведении. На этом основании можно утверждать, что более объемлющим критерием мышления являются все же какие-то внутренние состояния или процессы. Возражение на это с точки зрения диспозициональной концепции ментального может состоять в утверждении, что мышлению соответствует способность человека про себя или вслух проговаривать свои мысли. Однако, Райл полагает, что это неверный критерий (во всяком случае, не объемлющий): человек может проговаривать свои мысли и при этом не мыслить. Здесь опять применяется когерентистский критерий: нам указывают, что существуют некие нормативные или модельные способы вести себя в данных обстоятельствах так, чтобы поведение с большой вероятностью можно было признать разумным, и если поведение субъекта не когерентно в этом отношении, то, насколько бы когерентными ни были его рассуждения о том, что он делает, мы скорее склонны будем счесть это проведение не разумным (не неуклюжим и т.д.). Райл отдает приоритет именно обыденным, дотеоретическим способам оценок; полагая, что именно в инх заключен источник объемлющих критериев (недаром этот подход в западной философии называю еще «философией обыденного языка»); поэтому то, что мы склонны обычно отдавать приоритет нормативной и когерентной стороне поведения, является для него хорошим основанием полагать именно эти критерии в основание концепции. Однако, учитывая его приверженность различению между привычками и дисциплинами и программу замещения первых последними, о которой мы говорили выше, не очень ясно, почему некоторые привычки следует все же считать эпистемически привилегированными?

Если никакого внешнего поведения нет, то мы, конечно, с этой точки зрения, будем безоружны в атрибуции ментальных свойств: мы должны будем стимулировать какое-то внешнее поведение, чтобы судить о том, о чем мог бы мыслить индивид в некой данной ситуации – но обычно не бывает так, чтобы индивид длительное время никак не вел себя. Считается, что мышление происходит «в уме»: Райл полагает, что, когда говорят «в уме» имеют в виду «в

моей голове» – последняя же фраза есть метафора, используемая для обозначения воображаемых звуков и образов, которые, так же, как и внешнее поведение могут быть, а могут не быть связаны с мышлением – они сами по себе не являются мышлением, а только сопровождают его (или не сопровождают); но в отличие от них, по поведению мы можем судить о наличии мышления – то, что происходит «в голове», ничего об этом нам сказать не может.

Какова же логика диспозиций в самом общем виде? Примеры общепризнанно диспозиционных понятий: «растворимый» и «хрупкий». Хрупкость стакана не состоит в том факте, что в некий момент времени он разбился, а растворимость сахара – в том факте, что он растворился в воде: кусок сахара может быть растворимым, даже если в действительности он никогда не будет опущен в воду и, соответственно, растворен. *Сказать, что сахар растворимый значит сказать, что он растворится или растворился бы, если его опустить в воду*[16]. Высказывание, приписывающее вещи диспозиционное свойство, имеет много общего с высказыванием, подводящим нечто под закон, но они не тождественны. Райл справедливо указывает на то, что одни и те же диспозиции могут проявляться по-разному – в различных последовательностях физических событий; тогда как закон предполагает единообразие своих проявлений (или, по крайней мере, конечное разнообразие). Поэтому, считает Райл, в частности, эпистемологи часто ошибочно ожидают от диспозиций единообразных проявлений: так, если они признают, что слова «знает» и «полагает» выражают диспозиции, то они, далее, полагают, что должен иметься для каждого по одному образцовому интеллектуальному процессу, посредством которого эти когнитивные диспозиции реализованы.

Стандартное позитивистское возражение против понимания таких ментальных предикатов, как «полагает», «знает», «умный», «остроумный» и др., как диспозиционных предикатов состоит в следующем. Можно различить, как это делает Райл, между так называемыми эпизодами (событиями или процессами) и диспозициями: например, «курит» может пониматься и как обозначение эпизода, и как обозначение привычки – соответственно, высказывание «Он курит» может иметь два употребления: «Он в некий момент времени осуществляет процесс курения» и «Он имеет привычку курить (или, иначе, является курильщиком)». В первом – эпизодическом – применении такое высказывание может быть истинным или ложным, в зависимости от того, действительно ли упомянутый человек в данный момент времени курит; во втором применении высказывание тоже должно быть истинным или ложным, т.е. верифицируемым. Но истинность, с точки зрения позитивизма, обеспечивает соответствие фактам: стало быть утверждение о том, что некто является курильщиком может быть истинным или ложным тогда и только тогда, когда его можно поставить в соответствие факту, т.е. верифицировать. Но факт, что некто является курильщиком, отличается от факта, что некто осуществляет процесс курения, тем, что включает в себя не только прошлые события, когда данный индивид курил, но и будущие. Но высказывания о будущем не верифицируемы. Но, разумеется, возражения такого рода сами дисквалифицируются хорошо подкрепленной несостоятельностью идеи верификации. Но, далее: диспозиционные высказывания могут все же и с этой

[16] Можно разделять в этом вопросе и радикальную позицию, определяя все предикаты как диспозиционные, включая и такие, как «растворился», поскольку и они могут быть перефразированы в терминах, обозначающих некие более «атомарные» события – например, событие восприятия сахара растворенным на некоем промежутке времени; ср.: Б. Рассел, Человеческое познание: его сфера и границы, «Ника-Центр», «Вист-С», Киев, 1997, 93 – 95.

точки зрения полагаться верифицируемыми, если понимать метальные предикаты как обозначения неких ментальных или физических сущностей, фиксируемых независимо от наблюдения за поведением. Райл отвергает этот тип возражения вместе с самой идеей истинности как соответствия фактам и верификационистской теорией значения: он предлагает исходить из другой трактовки истинности, согласно которой быть истинным или ложным для предложения значит просто быть утверждаемым или отрицаемым в тех или иных (специфицированных) обстоятельствах. (Применение этой концепции еще больше роднит взгляды Райла с взглядами «позднего» Витгенштейна.) Логика диспозиций предписывает, с точки зрения Райла, расшифровывать их как условные предложения, т.е. такие, которые используют конструкции «в таких-то обстоятельствах вел *бы* себя так-то и так-то или делал *бы* то-то и то-то»: такие предложения не сообщают фактов, но из этого не следует, что они не имеют значения. Райл исходит из концепции значения как функции от способов употребления выражения: значение предложения, согласно этой концепции, определяется теми *ролями* или *видами работ*, которые предложение может выполнять в коммуникации, и сообщение фактов – не единственная такая работа. Работа предложений, предицирующих диспозиции состоит не в сообщении фактов, а можно сказать, в обучении описанию, объяснению и предсказанию разумного поведения. Эти высказывания могут полагаться верифицируемыми, если они следуют из законов: соответственно, сначала должны быть изучены эти законы и только после этого мы сможем предицировать диспозиции со значениями истинности или ложности. Но, замечает Райл, обычно обучение идет обратным путем: сначала мы обучаемся делать ряд диспозиционных высказываний об индивидах и только после этого мы можем выучить законы, утверждающие некие общие корреляции между этими высказываниями: мы сначала узнаем, что некоторые индивиды одновременно являются яйцекладущими и имеют перья, и лишь потом выучиваем, что всякий индивид, имеющий перья, является яйцекладущим. Эта интуиция, сама не бесспорная, даже если принять ее, все же может быть основанием того, что Райл из нее выводит, только при условии привилегированности некоторых привычек, как об этом уже говорилось выше.

13.3. Критика психологии «первого лица»

Наконец, базовый метод самопознания – интроспекция – не ускользает от критического внимания Райла. Он называет эту концепцию концепцией *привилегированного доступа к своему собственному сознанию* или, по-другому, еще психологией «первого лица». Ею предполагается, в формулировке Райла, что 1) сознание не может не быть постоянно осознающим все, что предположительно в нем происходит (говоря словами Райла: всех актеров частной сцены картезианского театра), и 2) сознание может также по своему произволу исследовать путем нечувственного восприятия, по крайней мере, некоторые из его собственных состояний и операций. «Более того, и это постоянное осознание (обычно называемое «сознанием»), и это нечувственное внутреннее восприятие (обычно называемое «интроспекцией»), предполагаются безошибочными». Райл, конечно, не отрицает, что мы можем иметь знание о себе, он лишь отрицает, что способ, каким мы получаем знание о себе, чем-то существенно отличается от тех способов, какими мы получаем знание о ментальных свойствах других людей. Аргумент Райла таков: допустим, существуют призрачные ментальные события,

должны тогда иметься среди них такие, чтобы их объектами могли быть ментальные события. С точки зрения концепции интроспекции, это значит, что наблюдатель должен быть способен концентрировать внимание на двух вещах одновременно, например, на решении проснуться рано и на наблюдении этого решения. Этот аргумент, однако, не является логически фатальным, что и признает Райл, так как могут возразить, что в результате тренировок некоторые люди научаются комбинировать внимание на двух действиях сразу (например, вести машину и вести беседу) – почему бы не допустить такую возможность в случае интроспекции? Можно, к тому же, описывать разделение внимание как быстрые переключения с одного на другое, а не как синхронный акт. Но фатальным, по мнению Райла, является здесь классический аргумент от бесконечного регресса: мы вынуждены полагать некий предел возможным одновременным актам внимания; между тем, для того, чтобы знать о некоем ментальном событии, надо знать об этом акте наблюдения за этим событием, для чего, в свою очередь, нужно знать об акте наблюдения акта наблюдения этого ментального события и т.д. Тогда какие-то ментальные акты или процессы мы должны полагать не интроспектируемыми: но как тогда такие акты могут обнаруживаться? Но если допустимо, что знание о собственных ментальных процессах может не всегда основываться на интроспекции, то не уместно ли тогда сомнение в том, что оно вообще когда-нибудь основывается на интроспекции? С другой стороны, однако, даже если такое общее сомнение и уместно, это – еще не достаточное основание для отказа от идеи интроспекции.

Другой аргумент против интроспекции, который Райл воспроизводит, восходит к философии Юма: идея интроспекции как наблюдения предполагает эмоциональную неокрашенность акта интроспекции; между тем, многие ментальные состояния включают эмоции, и их, стало быть, нельзя неэмоционально наблюдать, если под интроспекцией понимать синхронное наблюдаемому наблюдение. Допустить, что мы можем наблюдать интроспективно эмоциональное состояние, тогда значит согласиться с тем, что мы не находимся в этом состоянии в момент наблюдения, т.е., что интроспекция фактически имеет ретроспективный характер. Но, развивает эту мысль Райл, если ретроспекция может дать нам знание о некоторых наших ментальных состояниях, почему она же не может быть источником наших знаний о всех наших ментальных состояниях? Но, в отличие от предполагаемых объектов интроспекции, объекты ретроспекции не являются призрачного объектами из мира-двойника физического. Так же точно, говорит Райл, как можно обнаружить себя чешущимся или напевающим что-либо вслух, можно (ретроспективно) обнаружить себя мечтающим или рассуждающим «про себя» («в мыслях»): он, таким образом, трактует ретроспекцию как метод, в отличие от интроспекции, не отличающийся принципиально от внешнего наблюдения за поведением. Тот факт, что ретроспекция автобиографична не подразумевает, что она дает нам привилегированный доступ к фактам некоего особого рода. Точно так же личный дневник может давать ценные сведения об его авторе, но, тем не менее, не является хроникой каких-то призрачных эпизодов – ментальных процессов в его сознании. Ретроспекцию роднит с внешним наблюдением еще и то немаловажное обстоятельство, что ретроспекция, в отличие от интроспекции, мыслиться допускающей ошибки.

Решающую роль в самопознании, с точки зрения рассматриваемого подхода, играют, следовательно, те же методы и приемы, что и в познании других. Я узнаю, что понял, например, чей-либо аргумент, фиксируя (ретроспективно) свою

способность его проанализировать, воспроизвести другими словами или что-либо подобное; это – индуктивный процесс, допускающий ошибки. Но точно также индуктивно я узнаю, что другой понял мой аргумент. Я не узнаю этого путем наблюдения какого-то специфического ментального процесса. Я узнаю, что некий человек умный, обобщая то, что мне известно о его поведении в определенных обстоятельствах; но так же точно я выношу суждение о своих собственных умственных способностях, обобщая то, что мне известно о моем собственном поведении в определенных обстоятельствах – тех, которые я считают контрольными в отношении проверки умственных способностей. Некоторые фразы – «я хочу то-то и то-то», «я чувствую то-то и то-то», «у меня депрессия», «я надеюсь» и т.д. – сконструированы таким образом, что создают у нас иллюзию, будто выполняют описательную функцию – сообщают о факте: о наличии некоего ментального состояния или о процессе, которые можно отождествить с желанием или намерением, или депрессией, или чувством голода, или надеждой, или и т.д. Однако, замечает Райл, у этих выражений другие функции: просьба, пожелание, требование, жалоба и т.д. Поэтому, когда некто может описать свое состояние с помощью фразы, например: «Я хочу есть» – это не значит, что это состояние включает в себя какой-то таинственный ментальный процесс или состояние (голода), это только означает, что имей индивид такую возможность, он немедленно набросился бы на еду, пусть даже не самого лучшего качества, или что он склонен свернуть все другие дела и пойти перекусить, или что-нибудь в таком духе, а фраза выражает, скорее, пожелание или требование (в зависимости от интонации и других ее физических характеристик). Такие фразы соответствуют ситуациям, с точки зрения Райла, не репрезентативно – т.е. не благодаря наличию неких фактов, которые эти фразы будто бы описывают – а прагматически: т.е. на том основании, что обычно, когда люди склонны вести себя таким образом (откладывать другие дела ради еды, набрасываться на пищу и т.д.), они, если задать им соответствующий вопрос (или даже без этого), сопровождают свое поведение подобной фразой и она имеет определенную коммуникативную ценность: например, «хватить этим заниматься, пойдем поедим».

Есть слово «Я» и ему подобные, относительно которых тоже может утверждаться, что они обозначают какую-то экстрафизическую сущность – некое трансцендентальное единство апперцепции, например. С точки зрения Райла и концепции значения как функции от способов употребления, однако, «Я» – это индикативное слово, чья логика принципиально не отличается от логики таких индикативных слов, как «теперь», «вчера», «сегодня», «здесь» и др. Оно обычно обозначает только того, кто его произносит и только в тот момент, когда его произносят – такова его функция и в этом ком-то оно обозначает не нечто экстрафизическое, а его самого – физически организованного индивида, издающего звук «Я».

13.3.1 Бихевиоризм

13.3.1.1 Идея бихевиористской психологии

Концептуальная критика картезианской парадигмы сознания исторически оказалась тесно связана со становлением и развитием бихевиоризма. Важнейшая эпистемологическая предпосылка бихевиоризма, ставшего в первой половине 20 века на западе фактически психологическим мейнстримом, состоит в том, что

единственный источник эмпирических данных для психологии – наблюдаемое поведение. Поскольку внутренняя психическая жизнь и сознание не доступны наблюдению «от третьего лица», то перенос фокуса эмпирического изучения на внешнее, наблюдаемое поведение позволяло поставить психологию в один ряд с другими естественными науками, по крайней мере, методологически. О при этом она сохраняла некую сравнительную независимость своего предмета. Вместе с тем, единственное, что, по мнению бихевиористов, прежде отделяло психологию от естественных наук – это приверженность идее феноменального сознания; поэтому на его использование в психологических описаниях был наложен запрет. Психология должна, с этой точки зрения, не описывать внутренние психические субъективные состояния или процессы, а формулировать законы, связывающие между собой внешние наблюдаемые стимулы, воздействующие на организм, и внешние же, наблюдаемые реакции этого организма на эти стимулы. Эти принципы в общем виде сформулировал Джон Ватсон[17]. Он полагал, что бихевиоризм открывает новую эру в психологии, эру окончательного расставания с понятиями сознания и интроспекции. Так, в своей книге «Бихевиоризм», ставшей манифестом этого направления, он писал на первых же страницах: «Бихевиоризм утверждает, что сознание не является ни определенным, ни имеющим какое-либо применение понятием. Бихевиорист, всегда выступающий как экспериментатор, придерживается к тому же того взгляда, что вера в существование сознания восходит к древним временам предрассудков и магии»[18]. Обычно говорят о двух направлениях бихевиоризма, одно из которых в основном ассоциировано с именами Ватсона и Скиннера, другое – И. Павлова и К. Халла. Оба направления в целом согласны относительно базовых предпосылок бихевиоризма: в частности, они разделяют единую концепцию обучения, согласно которой обучение не есть функция внутренних правил или ментальных «механизмов», а – управляемого изменения реакций посредством стандартизованного изменения стимуляции; при этом субъект рассматривается как *tabula rasa*, лишенный каких-либо априорных ментальных структур, способных влиять на его будущее развитие. Однако, между ними существуют и некоторые расхождения: например, по вопросу о связи между стимулами и реакциями. Контроль над реакциями посредством изменяемых стимулов не обязательно должен предполагать, что бихевиорист утверждает в качестве механизма этого контроля причинно-следственные зависимости между стимулами и реакциями. Во всяком случае, Скиннер отказывается допускать в психологическое объяснение какие бы-то ни было внутренние сущности, не только ментальные, которые могли бы быть «деталями» этого каузального механизма. Между тем, Павлов и Халл привлекают в эти объяснения нейрофизиологические описания, говорящие о внутренней, хотя и не ментальной, структуре *вызывания* стимулом реакции. Скиннер возражает против привлечения в психологии концепции скрытых (или внутренних) физических причин, указывая, что о нервных процессах можно только заключать на основании поведения, которое затем полагается как результат этих процессов: «Мы узнаем точные нейрологические условия, непосредственно предшествующие, скажем, ответу «Нет, спасибо». Мы обнаружим, что этим событиям, в свою очередь, предшествуют другие нейрологические события, а им другие и т.д. Этот ряд приведет нас снова к событиям, внешним по отношению к нервной системе, и в конечном счете,

[17] J. B. Watson, 'Psychology as the Behaviorist Views It', Psychological Review 20, 1913, 158 – 77.
[18] J. B. Watson, Behaviorism, N.-Y., Norton and Co., 1970, оригинальное издание – 1924.

внешним по отношению к организму»[19]. Те причины, которые могут быть обнаружены в нервной системе, имеют, таким образом, лишь ограниченную полезность в предсказании и управлении поведением.

Бихевиоризм может не предполагать специфических онтологических следствий в виде отказа в существовании феноменальному сознанию и ментальному вообще. Бихевиористская позиция по этому вопросу может ограничиваться сравнительно скромным положением о необходимости переопределить в эмпирицистском духе предмет психологии, исходя из того, что что бы ни изучала психология как наука, она может изучать это методом наблюдения за (контролируемым) поведением. В этом случае может быть даже сохранено понятие сознание как имеющую определенную значимость в психологическом дискурсе, если сознание может быть выведено исключительно из изучения поведения. Так, Карл Лэшли в статье 1923 года «Бихевиористская интерпретация сознания» пишет: «концепция сознания … есть концепция сложного соединения и последовательности телесных действий (activities), тесно связанных с или включающих вербальные механизмы и механизмы жестикуляции и, вследствие этого, чаще всего удостаивающихся социального выражения»[20]. С другой стороны, постулирование поведения в качестве *критерия* сознания – не то же самое, что *отождествление* поведения с сознанием. Термин, подходящий для описания отношения большинства методологических бихевиористов к сознанию – *«экстернализация»* сознания средствами публично наблюдаемого поведения. Метафизический вопрос о тождестве при этом обычно остается открытым. Например, Эдвин Хольт выдвигает тезис о *сосуществовании двух феноменов* – поведения и сознания[21]. Сходного мнения придерживается Эдвард Толман: «Всякий раз, когда организм в определенный момент стимуляции перемещается из позиции готовности отвечать (на эту стимуляцию) каким-либо относительно дифференцированным способом в позицию готовности отвечать (на эту стимуляцию) каким-либо относительно более дифференцированным способом, имеет место сознание»[22]. Б. Скиннер предпринял критику раннего бихевиоризма Ватсоновского образца именно за то, что они потратили столько времени на борьбу с интроспективным изучением ментальной жизни и, таким образом, внесли путаницу в важную центральную идею бихевиоризма – методологическую. Согласно Скиннеру, представление о бихевиоризме как о концепции, игнорирующей сознание, чувства и состояния сознания, ложно. Не правильно говорить, что сознание не существует; оно, скорее, иррелевантно научному объяснению, а стало быть, психологическому: «Мы не можем объяснить поведение какой-либо системы, находясь полностью внутри нее; в конце концов мы должны повернуться лицом к силам, действующим на организм извне. До тех пор, пока в нашей каузальной цепи есть такое слабое звено, что вторая связь не детерминирована посредством закона первой, или третья – второй, первая и третья связи должны быть соотнесены посредством закона»[23].

---

[19] B. F. Skinner, Science and Human Behavior, N.-Y., Macmillan, 1953, p. 28.
[20] K. S. Lashley, 'The Behavioristic Interpretation of Consciousness: I', The Psychological Review, 30:4, 1923, 341.
[21] E. Holt, The Freudian Wish and Its Place in Ethics, N.-Y.: Henry Holt, 1915.
[22] E. Tolman, 'A Behaviorist's Definition of Consciousness', The Psychological Review 34, 1927, 435.
[23] B. F. Skinner, Science and Human Behavior, N.-Y., Macmillan, 1953, 35.

Взгляды Райла и других критиков картезианской парадигмы с точки зрения анализа языка и взгляды ведущих бихевиористов, включая Ватсона и Скиннера объединяет общая аналитическая предпосылка, согласно которой язык психологии не имеет других референтов, кроме наблюдаемых в эмпирицистском смысле. Поэтому эти подходы иногда объединяют под общей рубрикой «*аналитический бихевиоризм*». Главное различие между ними можно охарактеризовать следующим образом: в то время, как Райл убежден, что к бихевиоризму обязывает нас категориальная структура наших естественных языков, Ватсон и Скиннер рассматривают это обязательство как эпистемологическое, т.е. такое, которое требует, чтобы язык психологии был приведен в соответствие определенным нормам, независимо от того, что предписывает анализ значений соответствующих понятий в естественных языках[24]. Но обе концепции, несомненно, воодушевлены позитивистскими идеями и опираются на верификационистскую доктрину значимости понятий. И в том, и в другом случае в качестве одного из важнейших оснований исключения понятия сознания из языка подлинно научной психологии рассматривается неверифицируемость предложений, включающих токены этого и родственных ему понятий.

13.3.1.2. Логический бихевиоризм

Хорошую экспозицию позитивистских оснований бихевиоризма дает анализ, предложенный Карлом Густавом Гемпелем в статье 1935 года «Логический анализ психологии». Он фактически показывает как бихевиоризм следует из применения позитивистской идеи верификации и аналитического метода анализа языка к психологии. С точки зрения физики процесс считается полностью объясненным, если мы проследили все его физические составляющие, включая причины. Но считается, что существует непреодолимая пропасть между предметом естественных наук и предметом наук о сознании и культуре («наук о духе») в том отношении, что последний не исчерпывается своим материальным или физическим составом. Это означает, что понять, тем более, объяснить, например, процесс говорения (когда человек говорит, а когда нет), невозможно, даже проследив все физические элементы говорения, вплоть до химических процессов в мозгу. Бихевиоризм, утверждает Гемпель, содержит принципиальный контртезис этому взгляду, утверждающий, что научная психология должна ограничиться изучением телесного поведения, посредством которого человек и животные реагируют на изменения в их физическом окружении, и должна осуждать как не научные любые дескриптивные или объясняющие шаги, использующие термины интроспективной психологии (которую Гемпель называется также «понимающей»). Примеры таких нежелательных терминов: «ощущение», «переживание», «идея», «воля», «намерение», «цель», «диспозиция», «подавление». Бихевиоризм, таким образом, оценивается Гемпелем как попытка построить научную психологию, которая бы своими успехами показала, что даже в психологии мы имеем дело с чисто физическими процессами, и что, следовательно, может не быть никакой непреодолимой пропасти между психологией и физикой.

Вопрос, который Гемпель в этой связи считает основным для бихевиоризма: являются ли предметы физики и психологии по своей природе существенно

[24] И даже так: если наш обычный психологический дискурс не имеет своим референтом поведение, он должен быть реформирован в соответствие с научными требованиями.

одними и теми же или разными? Это – вопрос о психофизическом тождестве. Ответ на этот вопрос требует прояснения самого понятия предмета науки. Теоретическое содержание науки обнаруживается в высказываниях, которые наука делает или допускает. Соответственно, основной вопрос переформулируется Гемпелем как вопрос о фундаментальном различии между высказываниями психологии и высказываниями физики. С точки зрения неопозитивизма содержание или, по-другому, значение высказывания определяется условиями его истинности. Мы знаем значение высказывания (А), содержащего выражения, не являющиеся терминами наблюдения, тогда и только тогда, когда мы знаем при каких условиях мы назвали бы это высказывание истинным, а при каких – ложным. Эмпирицистскизм требует, чтобы эти условия формулировались исключительно в терминах, имеющих своими референтами результаты наблюдения или нечто наблюдаемое, в совокупности с логическими терминами. Гемпель называет такие предложения *проверочными*. Все они являются физическими, т.е. использующими исключительно термины физики. Высказывания вида (А), по его мнению, не утверждают ничего другого, кроме того, что все физические проверочные относительно (А) предложения верифицируются. Конечно, на практике верифицируется только часть таких предложений, а о верифицируемости других заключается индуктивно; но это – нормально для индуктивной науки.

Гемпель исходит из того, что: 1) всякое высказывание вида (А) может быть ретранслировано без изменения значения в другое высказывание – несомненно, куда более длинное – в котором слова с претензией на сверхфизическую значимость, не встречаются, и 2) два высказывания, различающиеся формулировками, могут, тем не менее, иметь одинаковое значение. Если это так, то можно показать, что роль устранимых таким образом из описания условий истинности терминов в эпистемическом дискурсе ограничивается, фактически, ролью аббревиатуры, делающей возможной краткую формулировку весьма сложного физического описания; и высказывание (А) и ему подобные выполняют роль сокращения для конъюнкции верифицирующих физических предложений.

Общее положение, которое поддерживает предыдущие: два по разному сформулированных высказывания имеют одинаковое значение тогда и только тогда, когда они оба истинны или оба ложны при одних и тех же условиях. С этой точки зрения проблема психологического объяснения сводится к проблеме соответствия между условиями верификации психологических высказываний и условиями верификации высказываний физики. Следующая конъюнкция выражает, по мнению Гемпеля, условия верификации высказывания: «Субъект испытывает зубную боль» (В). Субъект а) всхлипывает и жестикулирует определенным образом, б) на вопрос «В чем дело?» он произносит слова «Я испытываю зубную боль», в) при более внимательном осмотре обнаруживается гниющий зуб с явным флюсом, г) в его кровяном давлении, процессах пищеварения, скорости реакций обнаруживаются такие-то и такие-то изменения, д) такие-то и такие-то процессы происходят в его центральной нервной системе. (Список, понятно, может быть продолжен или скорректирован.) Все обстоятельства, верифицирующие (В), выражены физическими проверочными предложениями: это относится даже к условию (б), которое, по мнению Гемпеля, просто выражает тот факт, что в определенных физических обстоятельствах – распространение вибраций в воздухе при произнесении слов «В чем дело?» - в

теле субъекта происходит определенный физический процесс – речевое поведение такого-то вида. Следовательно, (B) может быть переведено без потери содержания в высказывание, которое больше не содержит термина «боль», а одни только физические термины[25].

Гемпель называет высказывания, которые могут быть переведены без изменения значения на язык физики, *физикалистскими высказываниями*. Следовательно, позиция физикализма состоит в том, что все осмысленные (т.е. в принципе верифицируемые) психологические высказывания переводимы в высказывания, не содержащие психологических понятий, а только понятия физики, т.е. являются физикалистскими. Если так, то психология является неотъемлемой частью физики. Позднее Гемпель несколько ослабил свой физикалистский тезис: «…тезис, утверждающий, что все высказывания эмпирической науки *переводимы* без потери теоретического содержания на язык физики, следует заменить более слабым утверждением, что все высказывания эмпирической науки *сводимы* к предложениям, формулируемым на языке физики, в том смысле, что для каждой эмпирической гипотезы, включающей, конечно, психологические гипотезы, можно сформулировать определенные проверочные условия в терминах физических понятий, указывающих на более или менее непосредственно наблюдаемые физические атрибуты. Но утверждение не должно включать в себя положение о том, что эти проверочные условия исчерпывают теоретическое содержание данной гипотезы во всех случаях»[26].

Обычно выдвигают следующее фундаментальное возражение против физикализма: физические проверочные предложения абсолютно неспособны выразить существенную природу ментальных процессов; они просто описывают физические *симптомы*, на основании которых умозаключается о наличии соответствующих ментальных процессов. Гемпель возражает, что нет психологического понимания, которое не было бы тем или иным образом связано физически с тем, на кого направлено понимание. Даже когда считается, что высказывание о ментальном состоянии должно быть получено посредством «эмфатического понимания» (вчуствования, инсайта и т.д.), единственная *информация*, которую оно дает нам – что в таких-то обстоятельствах такие-то события происходят в теле такого-то. Следующее возражение представляет собой аргумент от симуляции: преступник на суде может демонстрировать симптомы психического расстройства – так что актуальным будет вопрос: «реально» ли его расстройство или он его симулирует? Гемпель на это замечает, что иногда критериями заключения от симптомов к состоянию полагают только наиболее доступные наблюдению события внешнего телесного поведения; но при более тщательном исследовании, когда в расчет принимаются также события, происходящие в центральной нервной системе, симуляция может быть выявлена. Здесь аргумент может принять вид допущения, что человек способен демонстрировать *все «симптомы»* ментального расстройства, не будучи при этом «в действительности» больным. Здесь «в действительности» просто обязано быть поставленным в кавычки, поскольку ответ физикалиста может быть только таким, что абсурдно было бы характеризовать такого человека как «в действительности

[25] C. G. Hempel, “The Logical Analysis of Psychology”, первое англоязычное издание – в: H. Feigl, W. Sellars (eds.), Readings in Philosophical Analysis, N.-Y.: Appleton-Century-Crofts, 1949, 373 – 384.
[26] Там же, сноска 1 в переработанном варианте статьи, в: N. Block (ed.), Readings in Philosophy of Psychology, V. 1, Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts, 1980, 22.

нормального» - ведь в этом случае, согласно гипотезе, мы не должны иметь никакого критерия, в терминах которого можно было бы различить между ментальными состояниями двух людей, демонстрирующих одинаковое поведение (вплоть до последней детали), один из которых «в дополнение» еще и «в действительности болен», а другой – «в действительности здоров». Такая гипотеза, с точки зрения Гемпеля, будет содержать *логическое противоречие*, утверждая: «Возможно, что высказывание ложно, даже когда необходимые и достаточные условия его истинности выполнены».

Логический бихевиоризм, как Гемпель определил свою позицию, в некоторых отношениях противопоставляется им тому, что он называет психологическим бихевиоризмом, а также классическому материализму. Во-первых, логический бихевиоризм не утверждает (в отличие от некоторых вариантов психологического бихевиоризма), что сознаний, чувств, комплексов неполноценности, волевых действий и тому подобного не существует, а также – что их существование сомнительно. Он настаивает на том, что сам вопрос о существовании таких психологических конструкций является псевдопроблемой, поскольку эти выражения (ментальные предикаты) сами в их «законном употреблении» являются всего лишь аббревиатурами физикалистских предложений, а не именами сущностей. Во-вторых, в отличие от психологического бихевиоризма, логический бихевиористский тезис не требует, чтобы психологическое исследование методологически ограничивалось изучением реакций организма на определенные стимулы. Это – теория о содержании психологических высказываний, а не психологическая теория: с этой точки зрения неважно, какими средствами – на основании какой методологии – получено высказывание, важно, что его содержание все равно будет физикалистским. Она, следовательно, показывает только, что, психология как наука создает исключительно физикалистские высказывания; а раз так, то это – не методологическое ограничение, поскольку *логически невозможно*, чтобы было по-другому. В-третьих, для того, чтобы логический бихевиоризм был истинен, не необходимо, чтобы мы могли описывать физические состояния человеческого тела вплоть до самых мельчайших подробностей того, что происходит в центральной нервной системе. Он также не зависит от того, знаем ли мы все физические законы, управляющие процессами в человеческих и животных телах; даже само существование детерминистских законов такого вида не является необходимым условием истинности логического бихевиоризма[27].

13.3.2 Критика бихевиоризма

Проблемы любого подхода можно в принципе подразделить на три основные группы. Самыми общими, пожалуй, являются проблемы аргументации: в рамках подхода должен быть выработан убедительный метод аргументации. Наибольшая собственно теоретическая трудность, между тем, связана с проблемой метода, в данном случае представленной, по меньшей мере, тремя составляющими: проблемами верификации, логического анализа естественного языка и собственно бихевиористской концепции психологического объяснения, соответственно. Показать адекватность метода задаче и значит в значительной мере решить проблему аргументации. Наконец, заслуживают упоминания метафизические

[27] Там же, 20 – 21.

проблемы теории, а именно: насколько приемлемы предпосылки, которые теория обязывает нас принимать. Демонстрация их приемлемости или принципиальной устранимости в рамках подхода без его радикальной ревизии неприемлемых предпосылок тоже составляет существенную часть решения проблемы аргументации. Насколько эта проблема решается посредством решения двух других видов проблем, зависит от того, насколько последние фиксируются стандартными возражениями против теории данного вида. Если стандартные возражения ограничиваются ссылкой на те трудности методологического и метафизического вида, на которые теория способна отвечать, то можно говорить о том, что у нее есть потенциал или метод эффективной аргументации в свою пользу.

Самое, пожалуй, известное стандартное возражение против бихевиористского, в первую очередь, редуцирующего или элиминирующего, понимания ментального состоит в указании на то, что оно не способно обеспечить нас эффективными психологическими критериями. Если психология исследует только поведение и не занимается сознанием, но интерес к сознанию и ментальному, тем не менее, сохраняется, то, какую бы самостоятельную значимость такая психология не имела бы, она не сможет заменить нам психологии в классическом смысле. Если же бихевиористская психология претендует на экстернализацию сознания и ментального, т.е. на предоставление их верифицируемых критериев, то вполне уместно возражение, что бихевиористская психология просто не справляется с этой задачей. Классический пример такой неспособности, по распространенному признанию, демонстрируют бихевиористские критерии отличия рационального действия или поведения от нерационального или поведения некоего определенного типа от его симуляции. Так, Хилари Патнэм[28] предлагает провести такой мысленный эксперимент: пусть дан другой мир, в котором боль, например, иначе, чем в нашем мире связана с поведением, а также, с внешними причинами боли. Пусть в этом мире существует сообщество суперспартанцев или суперстоиков, в котором взрослые его члены способны успешно подавлять *любое* непроизвольное болевое поведение. Они могут, по случаю, признать, что испытывают боль, но всегда – спокойным тоном, не эмоционально и т.д. (т.е. так, как они обычно говорят о других вещах, констатируя их). Они *никак* иначе не проявляют свою боль. Тем не менее, настаивает Патнэм, они *испытывают* боль (феноменально она имеет место в этом сообществе) и она им не нравится так же, как и нам в нашем мире. Они даже признают, что им стоит больших усилий вести себя так, как они, испытывая боль. При этом можно допустить, что дети и незрелые граждане в этом обществе не умеют еще или не справляются с успешным подавлением болевого поведения (в той или иной степени): поэтому вообще имеется достаточно оснований приписывать наличие феномена боли данному сообществу в целом даже на основании бихевиористских критериев. Но какие у нас есть критерии для того, чтобы судить о том, что такое-то и такое-то поведение является непроизвольной реакцией на боль у этих неведомых представителей воображаемого мира? Можно считать таким поведением обычное поведение избегания источников болевых ощущений, но избегающее поведение может с тем же успехом пониматься и как непроизвольная реакция на какие-нибудь другие, не болевые, ощущения. Чтобы не связываться с этими трудностями, Патнэм предлагает рассмотреть суперспартанцев через миллионы

[28] H. Putnam, 'Brains and Behavior', R. J. Butler (ed.), Analytical Philosophy, vol. 2, Oxford, Blackwell, 1965.

лет их эволюции, в результате которой у них начали рождаться полностью окультуренные дети: говорящие на языке взрослых, знающих таблицу умножения, имеющих мнения по политическим вопросам и, между прочим, разделяющих господствующие спартанские представления о важности не проявления боли иначе как в виде констатации. В этом случае мысленный эксперимент вообще не будет предполагать в таком сообществе никаких непроизвольных реакций на боль. Тем не менее, Патнэм считает абсурдом полагать, что таким людям невозможно приписывать болевые ощущения. Чтобы выявить эту абсурдность, предлагается вообразить, что нам удалось обратить взрослого суперспартанца в нашу идеологию: в этом случае, можно предположить, он начнет нормальным (с нашей точки зрения) образом реагировать на боль. Бихевиорист тогда будет вынужден признать, что через посредство этого единственного члена сообщества суперспартанцев мы продемонстрировали существование непроизвольных болевых реакций у всего сообщества и что, таким образом, приписывание боли всему сообществу логически правомерно. Но это означает, что если бы этот единственный человек никогда не жил и мы имели бы возможность демонстрировать только теоретически, что эти люди испытывают боль, то в этом случае приписывания им боли *были бы неправомерными*.

Некоторые бихевиористы могут утверждать, что в случае описанных миров соответствующее вербальное поведение как раз и будет нужной формой болевого поведения. Отвечая на это, Патнэм предлагает представить себе мир, в котором нет даже *сообщений* о боли: Х-мир, как он его называет. В этом мире живут суперсуперспартанцы, которые подавляют даже разговор о боли: такие граждане, даже если каждый из них может думать о боли и даже иметь в своем идиолекте слово «боль», никогда не признают, что испытывают боль; они даже будут делать вид, что и слова такого не знают или ничего не знают о феномене, к которому оно отсылает. Короче говоря, жители Х-мира вообще никак не демонстрируют наличие у них боли (дети полностью с рождения окультурены). Здесь вообще нет никакого способа приписать таким людям боль на основе бихевиористского критерия. Но жители Х-мира, тем не менее, настаивает Патнэм, испытывают боль. Но, заметим, что если возможность обращения члена такого сообщества в нашу идеологию исключается, например, за счет слишком больших различий между нами и ними, то в таком случае единственное, что будет поддерживать уместность приписывания им болевых ощущений – это *наша* метафизика ментального. Мысленный эксперимент Патнэма предлагает мир абсолютной симуляции отсутствия боли, где по поведенческим признакам вообще невозможно эту симуляцию разоблачить. Бихевиорист однако может возразить, что применительно к такому миру невозможно и говорить о наличии феномена боли: это мы, воображающие такой Х-мир «знаем» относительно него, что его жители испытывают боль, но изнутри этого мира или столкнувшись с реальным таким сообществом, такого знания мы получить не сможем и тогда наше утверждение о том, что, несмотря на то, что внешне это никак не проявляется, они испытывают (или могут испытывать) боль, будет совершенно необоснованным. У Патнэма есть на это ответ: он не согласен с тем, что его пример конструирует ситуацию, в которой нет способов вообще отличить случай, когда боль есть, но никак не проявляется в поведении, от случая, когда ее просто нет; он настаивает на том, что его пример показывает лишь, что по внешнему поведению невозможно отличить один случай от другого, но в принципе есть другие критерии отличия. Например, говорит он, можно исследовать мозг жителя Х-мира. Апелляция к таким

критериям, разумеется, вовлекает сложности другого вида, связанные с программой физикализма. Такое исследование может дать результаты желаемых видов, только если психофизическое тождество, поддерживающее такие результаты, вернее, такую интерпретацию получаемых результатов, в целом верно[29].

Другой вид критики отталкивается от анализа языковых средств и языка бихевиоризма. Так, Н. Хомский) аргументирует в пользу того, что Скиннер создает иллюзию строгой научной теории, применимой в очень широком диапазоне, хотя на самом деле вполне может быть так, что термины, используемые для описания поведения в лабораторных условиях, и термины, используемые для описания реального поведения, являются всего лишь омонимами, между значениями которых существует, в лучшем случае, довольно туманное сходство. Базисные термины бихевиоризма – «стимул» и «реакция». Скиннер обязуется использовать узкие определения этих терминов: фрагмент окружения и фрагмент поведения называются стимулом (вызывающим, различенным или подкрепляющим) и реакцией, соответственно, тогда и только тогда, когда они соотнесены посредством закона (lawfully related); это значит – если динамические законы, соотносящие их демонстрируют плавные и репродуцируемые зависимости. Так, если мы смотрим на красный стул и говорим «красный», то реакция находится под контролем стимула *краснота*; если мы говорим «стул», то реакция находится под контролем собрания свойств (которые Скиннер называет объектом) – *стулность*; и то же самое относится к любой реакции[30]. Этот метод, по мнению Хомского, так же прост, как и бессодержателен, так как мы можем выделить столько свойств, сколько у нас есть не синонимичных выражений для их описания в нашем языке; мы можем объяснить широкий класс реакций в терминах скиннерова функционального анализа, выделяя для каждой реакции управляющие ею стимулы. Но слово «стимул» теряет всякую объективность при таком использовании, поскольку в этом случае стимулы перестают быть частью внешнего физического мира (как это предполагается Скиннером), а оказываются частью организма. Мы определяем стимул тогда, когда наблюдаем (например, речевую) реакцию. Мы не можем предсказывать языковое поведение в терминах стимулов, влияющих на говорящего извне, так как мы не знаем, каковы текущие воздействующие на него стимулы *до тех пор, пока* не получим реакцию. Более того, поскольку мы не можем управлять свойством физического объекта, на которое индивид реагирует, кроме как в чрезвычайно искусственных (лабораторных) случаях, утверждение Скиннера, что его система, в противоположность традиционной, позволяет осуществлять практический контроль языкового поведения, просто ложно[31]. Подобного рода возражения высказываются и против предлагаемого толкования других ключевых бихевиористских терминов.

В определенном отношении фундаментальный аргумент против (по крайней мере, экстернализующего ментальное) бихевиоризма указывает на следующее обстоятельство: то, что организм делает или имеет диспозицию делать в данный момент времени, представляет собой очень сложную функцию его полаганий и

[29] Это – так сказать, постпозитивистские коррективы, на которые необходимо делать скидку в обсуждении проблем метода.
[30] B. F. Skinner, Behavior of Organisms, N.-Y.: Appleton-Century-Crofts, 1938, 9.
[31] См.: N. Chomsky, 'A Review of B. F. Sckinner`s Verbal Behavior', Language 35, no. 1, 1959, 26 – 58.

желаний вместе с его текущими чувственными данными и воспоминаниями. Поэтому исключительно маловероятно, что окажется возможным сопоставить попарно поведенческие предикаты психологическим предикатам тем способом, которого требует бихевиоризм, а именно: так, чтобы для каждого типа психологического состояния организм находится в этом состоянии, если и только если определенный поведенческий предикат истинен относительно этого организма. Этим предполагается, что бихевиоризм чрезвычайно вероятно ложен просто в силу своих эмпирических следствий и независимо от его неправдоподобия в качестве семантического тезиса. Бихевиоризм не может быть истинным пока не установлена истинность корреляции между сознанием и поведением, а последняя не является истинной[32].

Еще одно возражение апеллирует к проблеме *чужого сознания*: в основе наших социологических и социально философских концепций лежит идея чужого сознания; мы не могли бы строить социальные науки, не наделяя других индивидов определенными характеристиками, делающими их подобными (по описанию) самому наделяющему (т.е. нам самим или, вернее, каждому из нас в этой роли). Субъект приписывает другому сознание на основании презумпции признания его себе подобным, он исходит из того, что знает о себе, что имеет сознание. Но если мы познаем свое собственное сознание так же, как чужое, следуя рекомендациям бихевиористов, то какого рода презумпция здесь может соответствовать презумпции сознательности на основании признания подобия; ведь кто-то другой тогда должен исходно выступать как сознательное существо и источник аналогии? Бихевиоризм, далее, (вероятно) хорошо совместим с перспективной психологического описания «от третьего лица», но его совместимость с перспективой «первого лица» весьма сомнительна. Такого рода критику развивает, в частности, один из самых последовательных приверженцев материалистической концепции сознания Д. Армстронг[33]. Армстронг – один из тех, кто считает, что хотя поведение человека конституирует наше основание для атрибуции ему (третьему лицу) определенных ментальных процессов, оно не может быть отождествлено с его ментальными процессами; с этим, впрочем, мог бы согласиться и Скиннер. Но интересно основание, на котором Армстронг отказывается от отождествления ментального с поведением. Он считает фактом, вопреки тому, что утверждают Райл и философы «обыденного языка», что относительно самих себя мы делаем выводы о наших ментальных состояниях *не* на основании наблюдений за своим собственным поведением. Армстронг считает, что без понятия причинности идея диспозиции не работает: так же, как определенная молекулярная конституция стакана действительно ответственна за тот факт, что, если по стакану стукнуть, он разобьется, и соответственно, конститутивна в отношении диспозициональной характеристики «бьющийся», определенная физическая конституция человека ответственна за его нахождение в состоянии быть способным производить действия определенных видов в определенных обстоятельствах. Но, утверждает Армстронг, объяснение сознания в терминах физических причин и следствий может быть хорошей теорией сознания не только с точки зрения первого лица, но и с точки зрения третьего лица. Порядок его рассуждений здесь такой: мы нуждаемся только в трех посылках,

[32] Подробнее критику этого рода см. в: N. Block, J. Fodor, ‘What Psychological States Are Not’, Philosophical Review 81, no. 2, 1972, 159 – 181.
[33] См.: D. M. Armstrong, ‘The Nature of Mind’, C. V. Brost (ed.), The Mind/Brain Identity Theory, London, Macmillan, 1970, 67 – 79.

чтобы вывести существование сознания из наблюдения соответствующего обстоятельствам поведения другого индивида, которое предполагается выражением этого сознания. 1) Поведение имеет некую причину. 2) Эта причина находится внутри индивида, поведение которого наблюдается. 3) Сложность этой причины соответствует сложности поведения[34]. Таким образом, аргументация этого типа противопоставляет одному подходу к пониманию ментального другой, а именно физикализм и нацелена, скорее, на демонстрацию его преимуществ, чем просто на дискредитацию бихевиоризма. Однако, по мнению многих, именно с принятия подобных посылок проблемы с атрибуцией чужого сознания только начинаются[35].

13.4 Физикализм

Материалистическое понимание сознания в основном представлено тезисом тождество ментального и физического. Это тождество, в свою очередь, может пониматься или не пониматься редукционистски, т.е. как предполагающее сводимость психологии к какой-либо естественной науке, вероятнее всего, нейрофизиологии. Что касается феноменального сознания, то, так же, как и в бихевиоризме, материализм может отказывать, а может не отказывать ему в существовании; но во втором случае утверждается либо, что оно не имеет отношение к познанию ментального, либо, что его содержание полностью раскрывается соответствующими естественнонаучными описаниями.

В современной философии идея материального сознания, в основном представлена *физикализмом*. Бихевиоризм и функционализм тоже тяготеют к материалистической трактовке сознания, но, по большей части, методологически, т.е. с точки зрения приведения психологических высказываний к согласию с идеей эмпирического знания. Физикализм же предполагает в первую очередь онтологическое психофизическое тождество. Концепция физикалистских высказываний (в духе Гемпеля, например), несмотря на сходство названий, в этом смысле может еще не предполагать физикализм. Более того, уместно утверждать, что физикализм предполагает психофизическую редукцию ровно настолько, насколько он разделяет идею физикалистской верификации психологических высказываний.

13.4.1 Материалистическая редукция сознания

13.4.1.1. Редукционизм и автономия психологического объяснения

Идея материалистической редукции сознания исходит из того, что наука должна устанавливать законы – строгие детерминистские или пробабилистские принципы, обеспечивающие предсказание явлений соответствующих видов; ментальное связано с физическим миром причинно-следственными отношениями; а кроме

[34] Там же, 77 – 79.
[35] См., например: T. Nagel, ‘Armstrong on the Mind’, Philosophical Review 79, 1970, 394 – 403.

естественных наук никакие другие не способны быть инструментом открытия законов, пригодных для объяснения и предсказания событий такого вида. Поэтому, чтобы быть полноценной наукой, психология должна *выводиться* из естественных наук. Правда для этого еще немаловажно, чтобы и естественные науки представляли собой или были сводимы в единую систему с достаточно функциональными частями. Но *выводимость* психологии из естественных наук может быть недостаточным критерием ее *сводимости* к естественным наукам, если принять, что сводимость предполагает *синонимию* всех психологических предикатов какому-то определенному набору естественнонаучных предикатов. Синонимия, в свою очередь, согласно известному критерию, характеризуется как взаимная заменимость скоррелированных таким образом предикатов во всех контекстах, специфицированных определенным образом[36]. Так, если есть специфический смысл объяснения, не исчерпываемый дедуктивной (или как-то более широко понятой) выводимостью, то выводимость психологии из естественных наук может еще не означать автоматической взаимной заменимости соответствующих психологического и физического (или иного естественнонаучного) описаний в контексте объяснения. Подстановка физического описания на место выводимого из него психологического в таком случае может не давать (гарантированно) лучшего, желаемого или хотя бы того же объясняющего эффекта. На этом эффекте основаны аргументы от *автономии* психологического объяснения.

Аргумент такого рода можно найти, например, у Х. Патнэма[37]. Он предлагает рассмотреть пример, в котором имеется доска с двумя отверстиями – круглым, один дюйм в диаметре, и квадратным, со стороной один дюйм – и квадратный в сечении колышек, сторона сечения которого равна пятнадцати шестнадцатым дюйма. Требуется объяснить простой факт: колышек входит в квадратное отверстие и не входит в круглое. Пусть объяснение дается в терминах квантовой физики: все предметы здесь рассматриваются как атомные облака или решетки, более или менее стабильные: колышек можно обозначить как «система А», а отверстия – как «область 1» и «область 2». Пусть есть возможность просчитать все возможные траектории системы А и вывести из одних только законов квантовой механики, что система А никогда не пройдет через область 1, но что есть по крайней мере одна траектория, позволяющая ей пройти через область 2. Будет ли такое описание объяснением того факта, что соответствующий колышек проходит через квадратное отверстие и не проходит через круглое? Патнэм склоняется к выводу, что нет: несмотря на связи выводимости; в самом деле, примерно что-то в этом роде говорит нам, по меньшей мере, наш здравый смысл. В объяснении могут быть задействованы описания структурных элементов разных порядков, в данном случае макроструктур, таких, как твердость и геометрические характеристики, и микроструктур, таких, как квантовые свойства. Если не считать, что предельные конституенты системы существенны для объяснения, и исходить из того, что только структуры высшего порядка существенны, то отождествление дедукции приведенного вида с объяснением теряет, считает Патнэм, свое

[36] В классическом варианте критерия это – все возможные контексты; но его можно и ослабить, оставив в релевантном синонимии объеме только определенный класс контекстов. Для случая психофизической редукции в качестве такого интересного класса контекстов принимается класс контекстов объяснения.

[37] H. Putnam, ‘Philosophy and Our Mental Life’, Mind, Language, and Reality: Philosophical Papers, vol. 2, London, Cambridge University Press, 1975, 291 – 303.

основание. В этом случае объяснение рассматриваемого факта оказывается достаточно простым: доска твердая, колышек твердый и, согласно геометрическому факту, круглое отверстие меньше, чем сечение колышка, тогда как квадратное отверстие больше. Важно здесь то, что это объяснение будет правильным, не зависимо от того, из чего сделаны доска и колышек – из молекул или какой-то не дискретной субстанции или чего-то еще. Соответственно, обобщение, к которому подталкивает эта иллюстрация, формулируется Патнэмом таким образом: определенные структурные характеристики ситуации релевантны ее объяснению, но не все; в данном случае, это – геометрические свойства и отношения между размерами и формами, а также описание взаимодействующих предметов как твердых; все же остальное не релевантно. Объяснение в терминах этих характеристик будет верным, по мнению Патнэма, в любом возможном мире, в котором эти структуры наличествуют, каковы бы ни были микроструктуры. В этом смысле объяснение автономно. И именно в подобном отношении, согласно проводимой аналогии психологические объяснения стоят к естественнонаучным. В самом деле, если нас в ситуации повседневной коммуникации интересует объяснение такого, например, факта как, почему субъект А решил, что событие В произойдет в месте С, нас, скорее всего, не удовлетворит описание того, что происходило в его мозгу в момент принятия им такого решения, но вполне может удовлетворить какое-то описание убеждений, допущений, намерений, желаний, их которых он исходил в тот момент, его эмоционального состояния и тому подобного. Правда, в случаях, когда подобные описания не удовлетворяют нас, как например, в случаях девиантного поведения, мы склонны все же удовлетворяться описаниями другого структурного уровня. Это говорит, как минимум о том, что объяснение в значительной мере представляет собой социальную функцию и, поскольку это так, постольку склонность признавать или не признавать уместность элементов того или иного структурного уровня адекватными объяснению сама вправе рассматриваться как привычка, не более говорящая в пользу большей познавательной значимости одной структуры относительно другой, чем привычка считать нечто порочным говорит в пользу существенной порочности, того, что таковым считается.

13.4.1.2. Существенные свойства и априорная необходимость психофизического тождества

Стандартное возражение против материалистической редукции сознания состоит в том, что сознание и тело просто не могут быть тождественны, поскольку у них различные *существенные* свойства. Это возражение апеллирует к традиционному понятию существенного свойства, связанному с традицией, восходящей к философии Д. Локка. Стандартный материалистический ответ на это возражение также опирается на это же понятие. Во второй половине двадцатого века, между тем, получила распространение другая концепция существенных свойств, разработанная С. Крипке, К. Доннеланом, Х. Патнэмом и др., в свете которой как традиционное возражение против материализма в философии сознания, так и ответ на него, выглядят по новому.

К существенным свойствам ментального обычно причисляют *приватность* или *интроспективность*, которые, соответственно, существенным образом не характеризуют физические феномены, а также *непространственность*; к существенным свойствам физического, в свою очередь, относят *пространственную*

местоположенность и *публичность*. Иногда еще добавляют, что существенные свойства ментального и физического *противоречат* друг другу. Существенное здесь понимается как логически необходимое или логически невозможное: логически необходимо для физического иметь пространственную локализацию, что логически невозможно для ментального. Отсюда – логическая невозможность для ментального быть физическим. Таким образом, истинность психофизического тождества обнаруживает свою зависимость от природы логической необходимости. Стандартный материалистический ответ на возражение от существенных свойств состоит в том, что материалист признает, что предлагаемые им утверждения тождества являются не необходимыми, а случайными истинами. К этому обязывает и их предполагаемый статус как результатов эмпирических открытий. Из таких тождеств не следует, что отождествляемые выражения имеют одинаковые значения, но из них следует, что обозначаемые этими выражениями феномены имеют одинаковые свойства (иначе говоря, что эти выражения имеют одинаковые объемы). При других обстоятельствах (в другом возможном мире) эти свойства могли бы и не совпадать, что невозможно при тождестве значений (синонимии) между выражениями справа и слева от знака «=». Если так, то физикалистская редукция просто не препятствует тому, чтобы ментальное и физическое имели различные существенные свойства, поскольку устанавливаемые в рамах этого подхода тождества не претендуют на статус необходимых истин, и, стало быть, не требуется, чтобы наряду с тождеством свойств здесь утверждалось и тождество существенных свойств. Против аргумента от логического противоречия между существенными свойствами ментального и физического дополнительное возражение таково. Утверждается, что кажущиеся необходимыми истины *отвергаемы* и поэтому на самом деле являются случайными. Так, если утверждается, что физические феномены существенным образом пространственно локализованы, тогда как ментальные существенным образом пространственно не локализованы, то на это отвечают, что мы не знаем *априори*, что ментальные феномены не имеют определенного пространственного местоположения, и поэтому отсутствие такой характеристики у некоторых, большинства или даже всех ментальных феноменов может в лучшем случае претендовать на статус случайной истины. А раз это только случайные истины, то они не позволяют говорить о том, что между понятиями ментального и физического есть логическое противоречие.

Для материалиста, таким образом, важно, чтобы установление корреляции между ментальными и физическими предикатами с помощью знака тождества не предполагало большего в семантическом плане, чем совпадение объемов этих предикатов, т.е. их экстенсиональную, но не интенсиональную синонимию[38]. Как возражение, так и ответ на него, опирались на понятие существенного свойства, согласно которому существенное есть то, что характеризует нечто с логической необходимостью. Логическая необходимость, по Локку, имеет языковую или, иначе говоря, конвенциональную природу: необходимые истинные высказывания суть те, истинность которых следует из значений составляющих их терминов[39]. Отсюда следует, во-первых, что одно свойство может быть существенным для сущности при одном ее описании, и случайным – при другом, и, во-вторых, что (логическая) необходимость совпадает с априорностью так, что, если показать,

[38] Последняя включает в себя обычно совпадение условий истинности и логических импликаций.
[39] См.: Д. Локк, Опыт о человеческом разумении, книга 3, особенно, глава 4.

что утверждение в принципе можно опровергнуть, т.е. что оно не априорно, то это будет одновременно и демонстрацией его не необходимости (или случайности). Соответственно, по этой схеме нельзя открыть, что вода имеет какой-то другой химический состав, чем H_2O, можно только изменить значения выражений «вода» или «H_2O», чтобы новое тождество было с необходимостью истинно. Таким образом, практически исключается из рассмотрения вопрос о *действительной сущности* феномена, поскольку его сущность оказывается целиком и полностью *номинальной*; он имеет ту сущность, которую предписывает ему иметь обозначающий его термин или описывающая его дескрипция, вернее, лингвистические структуры, стоящие за их значениями[40].

Новая трактовка необходимости, между тем, предполагает, что существенные свойства вещи не зависят от конкретного ее описания. Истина с этой точки зрения может быть необходимой, не будучи априорной: она может быть апостериорной, устанавливаемой в ходе научного поиска и открытия. Если это так, то отрицаемость утверждения уже нельзя рассматривать как верный признак его не необходимости. Так, С. Крипке предложил каузальную теорию референции для собственных имен и имен естественных видов (жестких десигнаторов в его терминологии), согласно которой имя имеет своим референтом один и тот же индивид во всех возможных мирах, в которых оно вообще является именем, т.е. имеет референцию. Референция термина, то, что он обозначает, оказывается тогда независимой от того, с какими дескрипциями он фактически оказывается связанным языковыми конвенциями. Условием референциальности термина в таком случае является не наличие конвенции относительно его значения (и соответственно, не знание этого значения), а *правильная каузальная связь* данного употребления термина с историческим событием первого использования данного термина в качестве имени данного референта (ситуацией «первокрещения» в терминологии Крипке)[41]. Так, если вода имеет такой химический состав, какой предписывается ей тождеством «Вода = H_2O», то это – существенное свойство воды; но наше знание этого может быть как истинным (и тогда необходимым), так и ложным. Мы можем использовать различные определенные дескрипции для распознавания воды в нашем действительном мире и ошибочно, с точки зрения Крипке, считать их определяющими значение термина «вода».

13.4.1.3. Апостериорная необходимость психофизического тождества

Ближайшее следствие концепции апостериорной необходимости для материалистической концепции ментального таково. Защитник тезиса тождества, например, что «Боль = такой-то процесс в мозгу», утверждает, что, хотя термины слева и справа от «=» различаются своими значениями, утверждаемое тождество тем не менее является эмпирическим открытием и примером чисто случайного тождества: короче говоря, что это не необходимая, а эмпирическая случайная, но

[40] Локк иллюстрирует это примером решения вопроса о том, являются ли летучие мыши птицами, в разделе 7 главы 11, третьей книги Опытов. Экспозицию этой проблемы применительно к современной философской ситуации см.: R. Boyd, ‘Materialism without Reductionism: What Physicalism Does Not Entail’, N. Block (ed.), Readings in Philosophy of Psychology, V. 1, Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts, 1980, 67 – 106.

[41] См.: S. Kripke, ‘Naming and Necessity’, D. Davidson, G. Harman (eds.), Semantics of Natural Language, Dordrecht: Reidel, 1972, 253 – 355.

истина. Но с точки зрения Крипке материалистическая позиция оказывается совершенно невыполнимой: если «Боль = такой-то процесс в мозгу» истинно, то это значит, что «боль» и «такой-то процесс в мозгу» - жесткие десигнаторы, у которых один и тот же референт (объем). Поэтому, если это тождество вообще истинно, оно истинно с необходимостью, в крипкеанском смысле необходимости; оно не может быть случайно истинным тождеством. Поэтому материалист снова оказывается перед необходимостью защищать тезис, что быть таким-то процессом в мозгу – существенное свойство боли; иначе он не сможет утверждать даже, что соответствующее тождество истинно. А раз так, то аргумент от различных или противоположных существенных свойств ментального и физического снова работает. Аргумент против материализма, опирающийся на концепцию Крипке, может расшифровываться следующим образом. Материалисту предлагается объяснить кажущуюся (с точки зрения Крипке) случайность психофизических тождеств: конкретнее, он должен объяснить интуиции, что, например, есть миры (или возможны ситуации), в которых есть боль, но нет соответствующих процессов в мозгу, и что, напротив, есть миры, в которых есть соответствующие процессы в мозгу, не являющиеся, тем не менее, причиной боли. С точки зрения концепции Крипке, этого как раз и нельзя сделать[42]. Если такие миры существуют, то феномены в первом из них, которые в нем имеют сенсорные характеристики, которые боль имеет в нашем мире, но не являющиеся таким-то процессом в мозгу, не должны быть, согласно этому подходу, болью, а феномены во втором из этих миров все равно должны быть болью, несмотря на то, что они не обладают теми сенсорными характеристиками, которые имеет боль в действительном мире. Но такой результат Крипке считает абсурдным, так как, в отличие от сенсорных характеристик, например, воды, которые не характеризуют ее существенным образом, такие ментальные феномены, как боль – и Крипке разделяет этот распространенный и также традиционный взгляд, – таковы, что их сенсорные характеристики являются их существенными характеристиками. «Боль = ощущение боли» или что-то подобное является с этой точки зрения необходимо истинным тождеством. Но важным основанием утверждать такое является, по-видимому, следующее: в нашем мире мы называем болью то, что ощущается как боль, и *поэтому* в любом мире, где «боль» – жесткий десигнатор, его референтом является то, существенным свойством чего является ощущаемость как боль. Если же есть мир, в котором бытие таким-то процессом в мозгу не характеризует то, что ощущается как боль и называется термином «боль», это будет только свидетельствовать о том, что отождествление боли с таким-то процессом в мозгу было ложным. Крипке полагает, что первого мира просто не может быть, так как *все, что ощущается как боль, должно быть болью*, т.е. должно быть таким-то процессом в мозгу; и второго мира также не может быть, поскольку *все, что является болью, должно и ощущаться как боль*. На основании таких рассуждений Крипке заключает, что, хотя стандартный материалистический ответ на эссенциалистское антиматериалистическое возражение работает, например, в случае тождества «Вода = H_2O», оно не работает в случае тождеств, редуцирующих ментальные феномены к физическим. Аргументация здесь такова: «необходимо истинно» значит «истинно во всех возможных мирах»; если есть какой-то мир, относительно которого психофизическое тождество ложно, значит это утверждение не необходимо истинно относительно нашего мира; но если оно

[42] R. Boyd, 'Materialism without Reductionism: What Physicalism Does Not Entail', N. Block (ed.), Readings in Philosophy of Psychology, V. 1, Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts, 1980, 82 – 83.

вообще истинно относительно нашего мира, как хотят, чтобы было материалисты, оно, по Крипке, должно быть необходимо истинно[43].

Но распространенная интуиция, что вода все же лишь случайным, а не необходимым образом состоит из водорода и кислорода, т.е. что возможны миры, где есть вода, но где она в силу других физических характеристик этих миров, например, вовсе не имеет молекулярной структуры, тем не менее, сохраняет свое правдоподобие; и подобные интуиции кажутся не менее правдоподобными в отношении ментальных свойств и их физических составляющих. Но защитник крипкеанского подхода может утверждать, что каждая такая интуиция представляет собой результат подстановки на место жесткого десигнатора определенной дескрипции, что дает действительно случайно истинное тождество; затем из конъюнкции этого предложения с ложным предположением, что соответствующая определенная дескрипция дает определение значению термина, на месте которого она стоит, выводится правдоподобное представление о том, что возможны миры, где существует субстанция, обладающая предписываемыми таким псевдоопределением свойствами, но не обладающая свойством, наличие которого утверждается тождеством. Ответ физикалиста может состоять в утверждении, что физикалистские расшифровки ментальных свойств тоже даны нам через определенные качественные характеристики, и в каком-то из миров боль, которую испытывают субъекты в этом мире, феноменально неотличимая от нашей боли, может пройти наш тест на бытие таким-то процессом в мозгу, не будучи им: данность нам этой нейронной (как нам кажется) характеристики будет иметь такой же феноменальный характер, какой в нашем мире имеют для нас соответствующие процессы в мозгу, когда мы их фиксируем нашими средствами наблюдения[44].

Но более фундаментальным ответом на стандартное возражение и его модификацию в терминах апостериорной необходимости состоит все же в отказе признавать физикализм зависимым от редукционизма так, что отказ от последнего влечет за собой непременный отказ от первого. Если физикализм не предполагает редукционизм, то физикалист может просто отказаться от редукционистских претензий, сохранив свой главный тезис – психофизическое тождество.

13.4.2. Физикализм без редукционизма

13.4.2.1. Тождество типов или тождество токенов

Специфически этот подход призван показать, что понятый правильно материализм не предполагает тождеств такого вида, против которых направлена эссенциалистская критика. Физикалистское тождество можно понимать как отношение тождества между *типами* или свойствами – ментальным и физическим, соответственно; но можно его понимать и как тождество конкретных событий, описываемых в терминах соответствующих типов – *токенов*. В первым случае

[43] S. Kripke, Naming and Necessity, Cambridge: Harvard University Press, 1980.
[44] См.: R. Boyd, 'Materialism without Reductionism: What Physicalism Does Not Entail', N. Block (ed.), Readings in Philosophy of Psychology, V. 1, Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts, 1980, 84.

тождество больше обязывает к признанию синонимии или совпадения условий истинности, или какой-то подобной семантической связи между описаниями отождествляемого, чем во втором. Поэтому физикализм без редукционизма обычно реализуется через отказ от тождества типов с сохранением тождества токенов. С этой точки зрения каждое конкретное ментальное событие, будучи токеном определенного ментального типа, тождественно какому-то физическому событию, являющемуся, как таковое, токеном какого-то физического типа. Физикалист может разделять оба эти тезиса или какой-то один из них, не выводя другой в качестве его следствия[45].

Дональд Дэвидсон – один из тех, кто защищает физикализм, проводя разграничение между тождеством токенов и тождеством типов и отказываясь от второго как необходимого элемента адекватной психологии. Он считает равно истинными три следующих принципа, которые обычно признаются ведущими к противоречию. 1) По крайней мере, некоторые ментальные события взаимодействуют каузально с физическими событиями (*принцип каузальной интеракции*). 2) Каузальность предполагает наличие закона: события, относящиеся одно к другому как причина и следствие, подпадают под строгие детерминистские законы (пусть *A* причина, а *B* ее следствие, тогда должно быть истинно «(x)(x*B* $\Rightarrow$ x*A*)») (*принцип номологичности каузального*). 3) Нет таких строгих детерминистских законов, на основании которых могли бы предсказываться и объясняться ментальные события (*принцип аномализма ментального*). Третий принцип верен, поскольку единственный вид казуальных отношений, который действительно отвечает (хоть как-то) принципу номологичности и, соответственно, может считаться в полном смысле видом каузальных отношений – это каузальные отношения между физическими событиями, чей статус обеспечивается номологичностью физики. Претензии психологии на номологичность могут быть обоснованы в этом отношении лишь постольку, поскольку относительно нее уже доказано, что она сводима к физике; но это только предстоит сделать и, скорее всего, это не так. Таким образом, видимое противоречие (скорее всего, не имеющее, однако, строгого формального коррелята) вытекает из того, что первые два принципа, похоже, конфликтуют с третьим. Свою задачу Дэвидсон формулирует как устранение этого противоречия путем примирения всех трех принципов[46]. Он выделяет четыре вида теорий отношения между физическими и ментальными событиями. Одни теории утверждают существование психофизических законов, другие отрицают их. С другой стороны, есть теории утверждающие тождество ментальных и физических событий и отрицающие его, соответственно. Первый вид теорий он называет *номологическим монизмом*: есть законы, устанавливающие корреляции между ментальными и физическими событиями, и так скоррелированные события представляют собой одно (например, физическое) событие. *Номологический дуализм*: ментальные события не тождественны физическим, но между ними существует законообразная корреляция, утверждающая их параллелизм, интеракционизм или эпифеноменализм того или иного вида. *Аномальный дуализм*: соединяет онтологический дуализм с отказом признавать существование законов,

[45] Заметим, что не только тождество токенов может не предполагать тождество типов, но и тождество типов, предположительно, может не иметь своим необходимым следствием тождество всех релевантных токенов.

[46] D. Davidson, 'Mental Events', L. Foster, J. W. Swanson (eds.), Experience and Theory, Amherst: University of Massachusetts Press, 1970, 79 – 101.

коррелирующих ментальное и физическое. Свою собственную позицию Дэвидсон называет *аномальным монизмом*: она сводится к признанию того, что все события суть физические, но не все события суть ментальные, сочетаемому с отказом признавать, что ментальные феномены могут быть объяснены в чисто физических терминах. Более того, Дэвидсон настаивает на том, что редукционизм не является существенным элементом материализма.

Несмотря на отрицание номологической корреляции ментального и физического, Дэвидсон полагает, что ментальные характеристики в определенном смысле зависимы (supervenient) от физических, и этот взгляд он считает совместимым с аномальным монизмом. Такая нередуктивная, как ее уместно обозначить, зависимость (supervenience) может пониматься следующим образом: не может быть двух событий, подобных по всем своим физическим характеристикам, но различающихся по какой-либо ментальной характеристике. Или, иначе: объект не может измениться в ментальном отношении, не изменившись физически. Такая зависимость, считает Дэвидсон, не подразумевает сводимости посредством закона или определения: ведь в противном случае мы могли бы свести моральные свойства к дескриптивным, но есть хорошие основания полагать, что этого сделать нельзя. И мы могли бы быть способны свести свойство истинности в формальной системе к синтаксическим свойствам, а мы знаем, что этого в общем сделать нельзя. Тезис нередуктивной зависимости, в свою очередь, может быть сильным или слабым; в первом случае ментальные события утверждаются как тождественные физическим во всех возможных мирах: а если так, то каждое тождество токенов должно быть тогда необходимо истинным. Во втором случае утверждается только тождество в действительном мире; однако неясно, в каком именно смысле Дэвидсон использует это понятие[47].

Дэвидсон убежден, что мы можем указать на каждое ментальное событие, используя исключительно физический словарь, но никакой чисто физический предикат, неважно, насколько сложный, не имеет номологически (т.е. благодаря закону) того же объема, как и ментальный предикат. Каузальность и тождественность суть отношения между индивидуальными событиями, неважно, как описанными, а не между описаниями этих событий. Законы же имеют лингвистический характер; поэтому события могут инстанциировать законы и соответственно предсказываться и объясняться *в свете* законов, только будучи описаны тем или иным определенным способом. Принцип каузальной зависимости поэтому, считает Дэвидсон, безразличен к дихотомии ментальное-физическое, так как он относится к событиям, чья принадлежность к объемам тех или иных предикатов определяется исключительно связями в языке. Таким образом, *ментальными* события являются только *по описанию*; онтологически же они не отличаются от других событий, имеющих только физическое описание. Принцип номологичности каузальности должен читаться осторожно – он утверждает лишь, что если события соотносятся как причина и следствие, то их дескрипции инстанциируют закон; этот принцип не утверждает, что любое истинное единичное утверждение каузальности инстанциирует закон[48].

---

[47] См. обсуждение различных концепций не редуктивной зависимости в: Brian P. McLaughlin, ‘Varieties of supervenience’, Savellos and Yalçin (eds.), Supervenience, Cambridge University Press, 1995.

[48] D. Davidson, ‘Mental Events’, L. Foster, J. W. Swanson (eds.), Experience and Theory, Amherst: University of Massachusetts Press, 1970, 87.

Дэвидсон полагает, что нет убедительных оснований отрицать, что могут быть коэкстенсивные предикаты, ментальный и физический, соответственно. Но его тезис, скорее, такой: ментальное номологически нередуцируемо – могут быть истинные общие утверждения, соотносящие ментальное и физическое, имеющие логическую форму закона, но эти утверждения не будут зконоподобными в некоем строгом смысле. Законоподобность есть вопрос степени, хотя существуют и несомненные случаи. «Все изумруды зеленые» - законоподобное утверждение, поскольку его инстанциации подтверждают его; между тем «Все изумруды зелубые (grue)» – не законоподобное утверждение, хотя и имеет форму закона, поскольку «зелубой», по определению, означает «наблюдавшийся до момента времени t и зеленый, а иначе голубой»[49]. Но если все наблюдения, которые были проведены в поддержку такого утверждения, делались до указанного момента времени, то они скорее поддерживают утверждение, что все изумруды зеленые. Зеленость в этом смысле – преимущественное свойство изумрудов по отношению к зелубости относительно имеющегося опыта. Аномальный характер утверждения «все изумруды зелубые» показывает, по мнению Дэвидсона, что предикаты «изумруд» и «зелубой» не подходят друг к другу (или, по меньшей мере, меньше стыкуются друг с другом, чем «изумруд» и «зеленый»): зелубость не является индуктивным (т.е. подкрепляемым наблюдениями) свойством изумрудов. Ментальные и физические предикаты соотносятся друг с другом примерно так же, как «изумруд» и «зелубой», т.е. способом, предполагающим крайне невысокую степень законоподобия коррелирующих их утверждений. Это утверждение, однако, требует более тщательного подкрепления. Тот факт, что изумруды, наблюдавшиеся до указанного момента времени, являются зелубыми не только не является основанием полагать, что все изумруды зелубые, - говорит Дэвидсон, – он даже не является основанием полагать, что *какие-либо* не наблюдавшиеся изумруды зелубые. Но если событие некоего ментального вида обычно (до определенного момента времени) сопровождалось событием некоего физического вида, этот факт обычно принимается в качестве хорошего основания ожидать, что и другие случаи будут в общем соответствовать этому описанию вследствие наличия хорошего основания полагать, что этому подлежит определенная регулярность, которую можно четко и полностью сформулировать. Различие между формально законоподобными общими утверждениями, которые могут быть хорошими основаниями в указанном смысле, и теми, которые не могут, Дэвидсон формулирует следующим образом. С одной стороны, есть обобщения, позитивные реализации которых дают нам основания полагать, что само это обобщение может быть (или могло бы быть) улучшено посредством добавления новых условий, сформулированных в терминах того же самого общего словаря, что и исходное обобщение. Такое обобщение, по его мнению, указывает на форму и словарь окончательно сформированного (finished) закона: его (обобщение) можно назвать *омономным*. С другой стороны, есть обобщения, инстанциации которых могут дать нам основания полагать, что имеет место точный работающий закон, поддерживающий истинность этого обобщения, но такой, что он может быть сформулирован только с использованием другого словаря, отличного от того, в терминах которого сформулировано исходное обобщение. Это, соответственно – *гетерономные* обобщения. Дэвидсон считает, что большая часть нашего практического знания и науки гетерономна. Омономные обобщения, т.е. такие, что если они подтверждаются опытными данными, то у нас есть основания

[49] См.: Н. Гудмен, «Факт, фантазия и предсказание», Н. Гудмен, Способы создания миров, М. Праксис, 2001, 90 (и далее).

полагать, что они могут быть улучшены сколь угодно с помощью физических понятий, мы находим в физике[50].

Если общие утверждения, связывающие ментальное и физическое, имеют гетерономный характер, то не может быть и строгих психофизических законов. Дэвидсон говорит, что ментальная и физическая концептуальные схемы несут в себе неравные обязательства. Свойством физической реальности является то, что физическое изменение может быть объяснено законами, которые связывают его с другими изменениями и условиями, описанными физически же. Свойством психической реальности является то, что атрибуция ментального феномена должна быть ответственной относительно всего комплекса оснований, полаганий и интенций индивида. И если каждая из реальностей должна сохранить приверженность своему подлинному источнику очевидности, между ними не может быть тесной связи; отсюда – их номологическая несводимость. Принцип аномализма ментального, утверждающий, что нет строгих законов, на основании которых мы могли бы предсказывать и объяснять ментальные феномены, следует, согласно Дэвидсону, из гетерономности ментального в соединении с невозможностью строго психофизического закона; и три исходных принципа примиряются.

Тезис тождества приобретает в такой интерпретации следующий вид. Пусть *м* – ментальное событие, вызываемое физическим событием *ф*: тогда при определенном описании *м* и *ф* инстанциируют строгий закон. Этот закон может быть только физическим; но если *м* подпадает под физический закон, значит оно имеет физическое описание; а это значит то же самое, что сказать, что оно является физическим событием. Следовательно, всякое ментальное событие, каузально соотнесенное с физическим событием, является физическим событием. Однако возможно и даже типично знать об определенном единичном каузальном отношении, не зная закона, которому это отношение подчиняется, или релевантных дескрипций. Здесь нам доступны только гетерономные обобщения, которые достаточны для того, чтобы служить основаниями ожиданий, что другие частные случаи будут того же вида, но не являются законоподобными. Применяя эти соображения к психофизическим тождествам, получаем вслед за Дэвидсоном, что возможно знать, что некое ментальное событие тождественно некоему физическому событию, не зная, какому именно. Ментальные события как класс не могут быть объяснены физикой; между тем, частные ментальные события могут быть объяснены физикой, если мы знаем частные тождества.

13.4.2.2. Материализм и множественная физическая реализация

Между тем, тождество токенов без тождества типов – идея, вполне совместимая с концепцией многообразной физической реализуемости одних и тех же ментальных типов. Ее использование для защиты физикализма от критики может служить иллюстрацией того, как физикализм оказывается если не частным случаем другой идеи ментального – функционалистской по своему характеру, – то очень близкой к ней. В таком ключе рассуждает, в частности, Р. Бойд: он вводит понятие *пластичности* типа событий, процессов или состояний, т.е. его способности быть реализованным более чем одним способом. На пластичность типа указывает

[50] D. Davidson, ‘Mental Events’, L. Foster, J. W. Swanson (eds.), Experience and Theory, Amherst: University of Massachusetts Press, 1970, 90 – 91.

степень изменчивости конкретных событий – токенов, – которые могут его *реализовать*. Можно выделить, по меньшей мере, два типа пластичности: композициональную и конфигуративную. На первую указывают различия видов материала или каузальных факторов, конституирующих возможные реализации типа. На вторую указывают структурные различия в конфигурации или устройстве составляющих частей возможных реализаций типа. Важный класс состояний, имеющих, по мнению Бойда, неограниченную композиционную пластичность при сравнительно ограниченной конфигуративной пластичности представляют собой так называемые компьютационные состояния: такие, как, например, реализация вычисления функции e^x для x = 9. В любом возможном мире только каузальные законы, управляющие этим миром, ограничивают возможный состав реализаций таких компьютационных состояний: иными словами, эти состояния могут быть реализованы процессами или состояниями различного материального состава. Тезис Бойда: ментальные события, состояния и процессы подобны компьютационным состояниям тем, что являются исключительно конфигуративными, т.е. демонстрируют максимальную композициональную пластичность. Из этого следует, что, хотя в действительном мире ментальные события могут всегда реализовываться физическими, это не означает логической невозможности им быть не физически реализованными в каком-либо возможном мире[51]. При таком подходе стратегия защиты физикализма состоит в использовании элементов функционального анализа и существенным образом ставит истинность психофизического тождества от истинности положений принципиально другого вида: их уместно обозначить как психофункциональные тождества типов. Два соображения указывают, по мнению Бойда, на возможность машинной реализации ментальных состояний. Первое: наиболее правдоподобное объяснение композиционной пластичности ментальных событий, состояний или процессов в действительном мире состоит в том, что они могут быть реализованы в различных анатомических структурах, поскольку *существенна для них* их роль в процессировании информации и их отношения к другим компьютационным или процессирующим информацию структурам в том же самом организме. Второе: такая версия материализма лучше всего, считает Бойд, поддерживается доступными свидетельствами опыта. Многие философы-материалисты придерживаются той точки зрения, что они защищают только логическую возможность того, что ученые, в конце концов, подтвердят материализм (в отношении ментального), но настаивают на том, что на данный момент нет доступных свидетельств в пользу его истинности. Бойд, однако, возражает, указывая, что такие свидетельства есть и в достаточном количестве, хотя они и «косвенные». Их он подразделяет на три вида: различные случаи, когда физические и химические изменения приводили к весьма специфичным изменениям на уровне ментального; успех современной биохимии в освещении химии наследственности и других клеточных процессов; и ограниченный успех программ «искусственного интеллекта» в симуляции определенных интеллектуальных процессов[52].

Некоторые философы склонны понимать тождество физических событий, процессов или состояний на множестве возможных миров так, что оно требует

[51] R. Boyd, 'Materialism without Reductionism: What Physicalism Does Not Entail', N. Block (ed.), Readings in Philosophy of Psychology, V. 1, Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts, 1980, 87 – 88.
[52] Там же, 94.

тождественности на микроскопическом уровне молекулярных реализаций. Они полагают, что если события в двух возможных мирах тождественны, то они должны иметь *в точности* одинаковые причины: в конце концов, молекулярное движение, являющееся частью физической реализации события, является одной из его причин, хотя возможно и мельчайшей из них. На это другие философы возражают, указывая, что ряд примеров показывают ошибочность позиции, утверждающей, что тождественность элементов на молекулярном и прочих микроскопических уровнях является частью критерия физической тождественности. Так автомобиль, если его карбюратор заменить на другой, явно отличный по молекулярному составу, останется, тем не менее, тем же самым автомобилем. Да и вообще весьма правдоподобно предположение, что всякая вещь в мире в каждый исчислимый момент своего существования испытывает изменения своего молекулярного состава: но это еще не делает ее каждый раз другой вещью[53]. Идея трансмировой тождественности, тем не менее, не обязательно должна копировать идею внутримировой тождественности: если первая предполагает необходимое тождество, то это может подразумевать любой уровень микротождественности, в отличие от того, что предполагает вторая. Определенная боль может быть единственной и неповторимой в действительном мире и соответствовать единственному и неповторимому (учитывая микроуровень) физическому составу, но тождество двух физических токенов на трансмировом уровне, скорее, должно было бы означать, что они совершенно тождественны композиционально, и соответственно, что соответствующие ментальные токены тождественны в трансмировом смысле *благодаря* этой совершенной идентичности их составов. Бойд однако убежден, что существенным для трансмирового отождествления токенов ментальных событий, процессов и состояний являются те роли, которые они играют в совокупной истории феноменального опыта, поведения и когнитивных процессов субъекта. Токены, играющие одну и ту же роль в истории одного и того же субъекта, будут тождественными. Но такое определение делает тождественность токенов ментального зависимым от тождественности субъектов в разных возможных мирах: между тем, не исключено, что трансмировое отождествление субъектов само требует в качестве своего условия композиционального, а не только конфигуративного, тождества. Можно считать, что для установления этого тождества достаточно тождества индивидуальных феноменальных, поведенческих и когнитивных историй, но в этом случае в число существенных характеристик ментального опять попадают чувственные феноменальные качества. Но главная трудность при таком подходе, пожалуй, состоит в том, что кажется весьма правдоподобным предположение, что возможны два разных события с идентичными феноменальными, поведенческими *и* когнитивными историями (до момента их экспликации).

В основании антиматериалистической критики лежит, в частности, интуиция, что материализм просто невозможен, поскольку определенные характерные черты метальных и психологических состояний – такие, как рациональность, направленность на себя, целесообразность, изобретательность, самоорганизация, адаптивная способность – не могут быть реализованы чисто «механической» системой. Против этого физикалист, допускающий множественную физическую реализацию ментального, может возразить, что такое убеждение основано на непозволительно узком понятии диапазона возможных механических систем.

[53] См. там же: 99 – 100.

Каждый раз, когда установлено, что физические системы могут реализовать какую-то из подобных черт, которая прежде полагалась необходимо нефизической, свидетельство в пользу того, что приведенная антиматериалистическая интуиция не верна, укрепляется. Так, Бойд считает, что организованные, самовоспроизводящие и адаптивные клеточные процессы, которые теперь объяснены химией, прямо относятся к тому виду процессов, относительно которых антиматериалистическая интуиция заставляла ученых и философов сомневаться в их физической реализуемости. Если так, то можно настаивать вместе с теми, кто рассуждает так же, как Бойд, на том, что ментальные состояния суть чисто конфигуративные состояния в том смысле, что их не реляционные существенные характеристики не ставят никаких логических ограничений вариации видов каузальных факторов, которые могут их реализовать[54]. Физическая реализуемость посредством разного вида физических составляющих в нашем действительном мире играет, с этой точки зрения, роль указания на возможную реализуемость ментальных состояний также и нефизическими каузальными факторами на множестве возможных миров.

13.5 Функциональный анализ ментального

Функционализм – весьма влиятельная система идей, «завоевывавшая» во второй половине двадцатого века все более прочные позиции в разных сферах современной мысли и философии, в том числе и в философии сознания, психологии и философии психологии.

13.5.1 Функционализм и когнитивизм

13.5.1.1 Элементы функционализма в изучении сознания

Под функционализмом в различных областях знания называют разные программы, хотя, вероятно, имеющие нечто общее между собой. В философии сознания и психологии выделяют три наиболее влиятельных значения этого термина: *функциональный анализ*, *компьютационно-репрезентативная модель* и *метафизический функционализм*.

Под функциональным анализом понимается определенный вид объяснения и, соответственно, исследовательская программа, нацеленная на поиск такого объяснения. В этом смысле функционализм в философии психологии и философии познания, скорее всего, наиболее близок к функционализму в антропологии, социологии, литературной критике и др. областях. Функциональное объяснение предполагает, что объясняемое представляет собой систему или часть системы и, соответственно, может быть объяснено путем разложения этой системы на части, из которых она состоит. Предполагается, что частью системы является все, что *функционально* для этой системы, т.е. чьи свойства (или, иначе, потенциал) существенны для существования системы. Соответственно, работа системы объясняется с точки зрения (функциональных) свойств ее частей (компонентов) и тех способов, какими эти части интегрированы в системе (соединяются и

[54] Там же, 101.

взаимодействуют между собой): если нечто объясняется как часть системы, то объяснение дается в терминах функциональных относительно соответствующей системы характеристик объясняемого. В этом смысле функционализм считается частным случаем функционального объяснения, наиболее влиятельным в современной философии психологии и когнитивистской психологии. Наиболее общая идея этого объяснения состоит в том, чтобы описывать сознание по аналогии с компьютерной программой, а весь организм в целом – по аналогии с компьютером. Психические состояния и процессы рассматриваются при таком подходе как компьютационные (вычислительные) состояния, аналогичные состояниям работающей вычислительной машины (точнее, так называемой машины Тьюринга). Все множество компьютационных состояний, в свою очередь, предполагается конституируемым определенным конечным набором примитивных вычислительных операций (подобных примитивным арифметическим действиям, например), которые сами по себе не требуют привлечения языка психологии для своего описания, т.е. в собственном смысле не являются сами по себе интеллектуальными операциями; в них нет ничего разумного пока они не соединяются тем или иным образом в компьютационное состояние системы, и уже это состояние в целом может характеризоваться с помощью психологических терминов. Два ключевых понятия функционализма этого вида: *репрезентация* и *компьютация (вычисление)*. Первое означает, что психологические состояния рассматриваются как систематически репрезентирующие окружающий мир, посредством так называемого *языка мышления* (понимаемого по аналогии с машинным кодом), на который «переводятся» данные, получаемые извне через органы чувств (в языке компьютерного функционализма такие данные обозначаются как данные входа (input)), и который оперирует примитивными (т.е. не интерпретируемыми) символами вычисления (аналогичными, скажем, числам в математике). Второе – «компьютация» – означает, как уже отмечалось, что сами психические процессы и вся ментальная жизнь понимаются как последовательности компьютаций, т.е. оперирований символами (языка мышления) по совершенно определенным (врожденным) правилам (собственно и составляющим примитивную «программу» человеческого «компьютера»)[55].

Метафизический функционализм – это собственно концепция сознания, толкующая *природу сознания*. Отличие от предыдущих смыслов «функционализма» состоит в том, что здесь центральным является не вопрос о том, каким должно быть психологическое объяснение, а онтологический вопрос: что представляют собой ментальные состояния, сознание и тому подобное. Функционалистский ответ на этот вопрос: «Ментальные состояния суть функциональные состояния». Это – тезис тождества, причем приписывающий существенное свойство. Существенным аспектом этой доктрины является, соответственно, *объяснение типов, а не токенов*. Большинство метафизических функционалистов согласны с физикалистами в том, что каждое *конкретное* ментальное состояние данного типа представляет собой физическое состояние или событие (или процесс) и что, в самом деле, для каждого типа организма, демонстрирующего наличие таких токенов, есть (вероятно) один единственный тип физического состояния или события, или процесса, *реализующего* данное ментальное состояние в организме этого типа. Однако, функционалисты расходятся с физикалистами в следующем важном пункте: физикалисты, если

[55] См.: N. Block, 'What is Functionalism?', N. Block (ed.), Readings in Philosophy of Psychology, V. 1, Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts, 1980.

только не отказываются совершенно от психофизического тождества типов, полагают, что то общее, что характеризует все состояния определенного ментального типа, есть их физическая составляющая (например, определенного типа процессы в мозгу), тогда как функционалисты настаивают на том, что физическая составляющая существенна только относительно конкретного типа системной организации, а то общее, благодаря чему все такие ментальные состояния могут быть отнесены к одному типу, есть их функциональные характеристики. Последний вывод может иметь своим следствием то, что можно назвать *тезисом взаимозаменимости* физических компонентов функционально совместимых систем: если есть две разные в физическом отношении системы – например, человек и компьютер – относительно которых установлено, что они функционально тождественны или совместимы, то в принципе нет ничего абсурдного в том, чтобы допустить (принципиальную) возможность замены части одной системой функционально эквивалентной ей частью другой системы, несмотря на их структурные различия. Метафизический функционализм описывает ментальные состояния в терминах их *каузальных ролей*. С этой точки зрения ментальное состояние *есть* функциональное состояние, определенное по тому, каковы его причины и следствия. Первые не исчерпываются только тем, что можно сопоставить стимуляциям в бихевиористском смысле, а вторые – тем, что можно сопоставить поведению; как причины, так и следствия, специфицирующие функциональное состояние, включают другие функциональные состояния. Так, например, ментальное состояние боли может быть функционалистски описано в терминах тенденций быть вызываемой повреждением тканей, вызывать желание избавиться от боли и продуцировать действие, направленное на отделение поврежденной части тела от того, что полагается причиной повреждения.

13.5.1.2 Когнитивистская психология

В психологии использование функционального анализа и ассоциированных с функционализмом доктрин (в той или иной пропорции) связано в первую очередь с направлением, получившим общее наименование «когнитивизм». Когнитивизм иногда называют новой эрой или революцией в психологии: революцией против бихевиоризма. Отсчет этой революции ведут с появления в 1967 году книги Ульрика Найссера «Когнитивная психология». Это направление испытало влияние с разных сторон: в нем соединились современные достижения и методы нейрофизиологии, философские представления и методологические принципы функционализма, результаты, полученные в рамках компьютерных наук и в структурной лингвистике (трансформационная грамматика Хомского), с собственно когнитивистским тезисом: *основной предмет психологии – познание и мышление, понятые как информационные процессы, ее задача – объяснение того, как, организм, понятый как система, получает информацию в виде сигналов извне, хранит ее и обрабатывает, управляется ею*. Сознание при таком подходе рассматривается как компонент или аспект обработки информации (information-processing). А объяснение сознания – как часть моделирования организма как системы обработки информации. Надо заметить, что первоначально, когнитивисты все же не видели особой нужды допускать понятие сознания в свои построения. Когнитивистские модели обучения, памяти, решения проблем и тому подобного сами по себе могут обходится и обходятся без презумпции сознания. Однако, постепенно многие из них пришли к убеждению, что объемлющую модель, скажем, памяти или мышления не построить без допущения сознания. Так,

Джордж Мэндлер в своем когнитивистском манифесте «Сознание: респектабильное, полезное и вероятно необходимое» указывает на то, что сознание может быть отсутствующим центральным элементом в когнитивистском (концептуальном) каркасе, способным связать воедино различные направления когнитивных исследований – и в этом смысле оно, вероятно, необходимо. «Я надеюсь показать, - пишет он, - что сознание … вероятно необходимо, поскольку оно служит связующим звеном между многими разрозненными, но, очевидно, взаимосвязанными, ментальными понятиями, включая понятия внимания, формирование восприятия и ограниченной способности»[56]. Существует даже такая точка зрения, что именно успехи когнитивистского моделирования способствовали использованию этого, в остальных вопросах признанного вполне эффективным, инструмента на все еще остающийся необъясненным феномен сознания[57]. Общая предпосылка, направляющая когнитивистские исследования сознания может быть выражена следующим образом: «основополагающее феноменологическое понятие – сознание – может быть отображено (mapped) на понятие обработки информации»[58]. Базисные понятия, используемые в когнитивистском моделировании: «система», «информация», «компьютационное состояние», «входные данные/выходные данные» ('inputs/outputs'). Память, восприятие, мышление и др. рассматриваются в этой парадигме как системы обработки, хранения и передачи информации, структурно представляющие собой своего рода «черные ящики»: их функции существенны для объяснения, но не их физический состав. Сознание в этом смысле – такой же «черный ящик» среди других, модуль, соединенный с другими модулями, так же точно определяемый в терминах его входных, выходных данных и переходов между функциональными или компьютационными состояниями[59]. Информационные модели – не единственные, разрабатываемые в рамках этого направления, но – наиболее влиятельные.

13.5.1.3 Функционализм и психофизическое тождество

Многие функционалисты числят себя также бихевиористами (среди них: Д. Льюис, Д. Армстронг, Дж. Смарт): они пытаются определить ментальные состояния в терминах того поведения, которое производится в присутствие определенных стимулов. Например, желание рожка с мороженым может быть отождествлено с этой точки зрения с набором диспозиций, среди которых – диспозиция взять и рожок, если он будет предложен при прочих равных. Бихевиоризм – достаточно смутная доктрина и иногда она действительно формулируется таким образом, что функционализм можно рассматривать как версию бихевиоризма. Сами функционалисты предлагают функционалистские определения бихевиоризма: например, последний в этом контексте может определяться как доктрина, утверждающая, что ментальные состояния, такие, как боль, могут характеризоваться в не ментальных терминах. Однако, функционализм во всех его видах отличается от бихевиоризма в двух важных отношениях: во-первых, в то

[56] G. Mandler, 'Consciousness: Respectable, Useful, and Probably Necessary', R. Solso (ed.), Information Processing and Cognition: The Loyola Symposium, Hillsdale: Erlbaum Press, 1975, 229.
[57] Ср.: G. Güzeldere, "Approaching Consciousness" ("The Many Faces of Consciousness: A Field Guide"), The Nature of Consciousness, N. Block, O. Flanagan, G. Güzeldere (eds.), A Bradford Book, The MIT Press, Cambridge, Masachusetts, 1997, 17.
[58] T. Shallice, 'Dual Functions of Consciousness', The Psychological Review, 79:5, 1972, 383 – 393.
[59] См.: G. Güzeldere, "Approaching Consciousness" ("The Many Faces of Consciousness: A Field Guide"), The Nature of Consciousness, N. Block, O. Flanagan, G. Güzeldere (eds.), A Bradford Book, The MIT Press, Cambridge, Masachusetts, 1997, 18.

время как бихевиористы определяют ментальные состояния в терминах стимулов и реакций, они не считают, что ментальные состояния *сами* являются *причинами* соответствующих реакций и *следствиями* соответствующих стимулов. С точки зрения бихевиористов ментальные состояния – «чистые диспозиции». Функционалисты же, напротив, претендуют на то, что ментальные (сиречь, функциональные) состояния *вызывают* реакции (то, что «дано на выходе») и *вызываются* стимулами (тем, что «дано на входе»). Как пишет Льюис, преимуществом этого подхода является то, что он «позволяет переживаниям быть чем-то реальным и, таким образом, быть следствиями (effects) своих причин (occasions) и причинами своих манифестаций»[60]. Второе отличие функционализма от бихевиоризма состоит в том, что первый утверждает не только связь между ментальным состоянием и стимулами и реакциями, но и – между этим состоянием и другими ментальными состояниями: так, для того, чтобы полностью охарактеризовать любое из состояний, приведенных в таблице выше, необходима ссылка на другое состояние. В связи с этим последним отличием следует обратить внимание на неоднозначное отношение функционализма к редукционистскому тезису. С одной стороны, поскольку функционалисты (по крайней мере, иногда) формулируют свои утверждения, говоря, что ментальные состояния могут быть полностью охарактеризованы только (в том числе) в терминах других ментальных состояний, то это как будто заставляет считать функционализм противоположностью редукционизму. Однако, с другой стороны, функционалисты редко удовлетворяются такой формулировкой своих претензий, полагая ее всего лишь промежуточной; большинство из них считают, что *ментальные термины устранимы раз и навсегда*. Так, Армстронг пишет: «Логическая зависимость цели от восприятия и полагания и восприятия и полагания от цели не создает круга в определении. Она только показывает, что соответствующие понятия должны *или вводится вместе или вообще не вводиться*»[61]. Но функционализм представляет собой, так сказать, *редукцию ментального без его устранения*. Функционализм не полагает ментальные состояния фикциями, поскольку любая характеризация метального состояния в терминах входа и выхода обязывает к признанию существования ментальных состояний через использование квантификации этих состояний перед их расшифровкой в структурных терминах. (Т.е. формулировка характеризаций имеет общий вид: «Существует такое нечто, что это нечто вызывается тем-то и тем-то и вызывает то-то и то-то».)[62]

Некоторые философы полагают, что функционализм показывает, что физикализм, вероятно, *истинен* (среди них: Армстронг, Льюис, Смарт); другие (например, Патнэм, Фодор, Блок) считают, что функционализм, напротив, показывает, что физикализм, вероятно, *ложен*. Так, Н. Блок, уточняя это различие, выделяет два функционалистских тезиса, характеризующих, соответственно, эти две группы: тезис *функциональной спецификации* и тезис *функционального тождества*. Согласно первой версии, ментальные состояния специфицированы функционально, т.е. различимы по их функциональным свойствам, и, возможно, являются функционально специфицируемыми состояниями мозга. Так, боль в этом случае определяется как *то, что* вызвано тем-то и тем-то и вызывает то-то и то-то и что-то еще, что, в свою очередь, вызывает то-то и то-то. То, что имеет такую каузальную роль, может быть состоянием одного физического типа в одном

[60] D. Lewis, 'An Argument for the Identity Theory', Journal of Philosophy, 63, 1, 1966, 166.
[61] D. M. Armstrong, 'The Causal Theory of the Mind', Neue Heft für Philosophie, no. 11, 1977, 88.
[62] См.: N. Block, 'What is Functionalism?', N. Block (ed.), Readings in Philosophy of Psychology, V. 1, Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts, 1980, 175 – 177.

случае и другого – в другом, но обязательно – *физическим состоянием*. Согласно второй версии, ментальные состояния *тождественны* функциональным состояниям, и *никакое функциональное состояние не подобно физическому состоянию*. Здесь также может признаваться, что функциональным состояниям одного и того же типа могут соответствовать физические состояния различных типов; но приверженцы тезиса функционального тождества настаивают на том, что *ментальное состояние не тождественно физическому состоянию*: оно тождественно той или иной казуальной роли. По другому это различие можно выразить так: в первом случае боль, например, понимается как свойство быть тем-то и тем-то (выполнять такую-то каузальную роль) – в зависимости от случая те или иные физические вещи (состояния, процессы, события) могут обладать этим свойством (выполнять эту роль); во втором случае объем термина «боль» - это соответствующие каузальные роли (функциональные состояния), а не физические состояния, отвечающие дескрипции, описывающей данный функциональный тип[63].

13.5.2 Вариации функционализма

13.5.2.1 Функционализм в защиту материального сознания

Один из аргументов против физикализма состоит в утверждении, что психофизические тождества суть результат бережливости или, по-другому, экономии дескриптивных средств. Если это так, то они не несут в себе той объяснительной значимости, каковая от них ожидается. Ожидаемые физикалистами тождества между ментальными и нейронными состояниями часто описываются ими как результаты произвольного теоретизирования: успехи теории делают возможным упростить науку, постулируя законы-мостики (bridge laws), отождествляющие некоторые сущности, обсуждаемые одной теорией, с другими сущностями, обсуждаемыми другой теорией. Таким образом, тождества *делаются*, а не обнаруживаются, как этого требует идея эмпирической науки, предполагающая научное открытие. Возражение функционалиста может состоять в том, что хорошая физиологическая теория могла бы *имплицировать* психофизические тождества, а не только делать разумным их постулирование из соображений бережливости. Импликация будет иметь такой вид:

«Ментальное состояние M = исполнитель (occupant) каузальной роли R (по определению M).

Нейронное состояние N = исполнитель каузальной роли R (согласно физиологической теории).

Следовательно, ментальное состояние M = нейронное состояние N (по правилу транзитивности для «=»)»[64].

Адекватная психологическая теория с точки зрения защитников такого подхода должна позволять нам оперировать достаточно широким диапазоном достаточно разнородных критериев ментального. Д. Льюис, например, предлагает такой

[63] Там же, 177 и далее.
[64] D. Lewis, ‘Psychophysical and Theoretical Identifications’, Australasian Journal of Philosophy 50, 1972, 249 – 258.

аргумент. Он предлагает представить себе странного человека, который иногда так же, как и мы, испытывает боль, но эта боль отличается от нашей по своим причинам и следствиям. Наша боль обычно вызывается порезами, ожогами, давлением и тому подобным; его боль обычно вызывается умеренными упражнениями на пустой желудок. Наша боль обычно отвлекает нас от наших мыслей, его заставляет заниматься математикой, способствует концентрации на этом, но отвлекает его от всего остального; никаких тенденций стонать, кричать и т.д. при этом его боль у него не вызывает, зато вызывает тенденцию скрещивать пальцы. Этот случай Льюис определяет как боль сумасшедшего. Другой воображаемый персонаж – марсианин, который иногда так же, как и мы, испытывает боль, но его боль сильно отличается от нашей по своей физической реализации, хотя аналогична нашей по своим причинам и следствиям. Иначе говоря, он чувствует боль, но не имеет тех телесных состояний, которые сопровождают нашу боль. Хорошая теория сознания, по мнению Льюиса, не должна отрицать возможность ни боли сумасшедшего, ни боли марсианина. Такая теория должна быть способна сказать нам, что сумасшедший и марсианин оба испытывают боль, но по разным причинам: первый, поскольку он находится в правильном физическом состоянии, второй – потому что он находится в состоянии, правильно расположенном в каузальной сети[65]. И естественно удовлетворить этим требованиям может только теория физикалистски-функционалистского вида.

Но как такая теория может быть создана? В качестве иллюстрации тот же Льюис описывает некий детективный сюжет: следователь осматривает место преступления и реконструирует его. Предлагается рассматривать эту реконструкцию как *теорию*, т.е. набор предложений, сконструированный как наилучшее объяснение происшедшего. Примем для простоты изложения, что если реконструкция так сконструирована, то она может претендовать на статус теории. Реконструкция предполагает, что три персонажа были исполнителями преступления: обозначим их как X, У и Z. Это – новые термины. Мы не знаем, что они значат, пока не узнаем, кто преступники, но следователь может использовать их без объяснения именно в функциональном смысле: это имена тех, кто совершил данное преступление, кто бы они ни были. Существование этих троих предполагается теорией; следовательно, X, У и Z можно рассматривать как термины, вводимые и, соответственно, определяемые теорией. Причем определяются они через три роли, предполагаемые теорией. Поскольку это – новые термины, т.е. не имеющие никакого значения вне теории, то мы вправе сказать, что их значение целиком и полностью теоретическое, т.е. определяется контекстом данной теории. И эти определения функциональные: «X сделал то-то и то-то», «У сыграл такую-то роль в преступлении» и т.д. И эти определения ничего не говорят нам о референтах этих терминов (разве что то, что это должны быть люди, возможно, обладающие определенными способностями, но не кто именно это такие), т.е. эти термины не вводятся теорией как жесткие десигнаторы. (Может даже, в конце концов, оказаться, что преступников было двое, а не трое, или даже, что происшедшее – невероятное стечение обстоятельств и у соответствующих каузальных ролей нет конкретных исполнителей, по крайней мере, среди людей, как предусмотрено теорией.) Когда выяснится в ходе дальнейшего расследования, кто именно совершил преступление, будет

[65] D. Lewis, 'Mad Pain and Martian Pain', Readings in Philosophy of Psychology, V. 1, Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts, 1980, 216 – 222.

обнаружено и кого именуют X, У и Z: это и будет теоретическое тождество желаемого вида. Если мы обнаружим, что никакие три сущности не реализуют реконструкцию, мы будем вынуждены заключить, что история была ложной, а также что X, У и Z ничего не именуют. Т.о., X, У и Z скорее представляют собой с этой точки зрения определенные дескрипции, нежели собственные имена, т.е. термины, которые сами по себе не имеют референциального значения и могут быть сопоставлены одному или более референтам посредством теоретических тождеств или в контексте какой-либо истории. Вот именно таким манером, надеется Льюис, когда-нибудь будут выведены, именно введены, а не просто постулированы тождества ментальных состояний и состояний нервной системы. *Если* имена ментальных состояний подобны теоретическим терминам, то они ничего не именуют до тех пор, пока теория не обнаружит свою сравнительную истинность[66].

Стандартной возражение против функционализма, коль скоро он допускает физикализм, может состоять в указании на то, что он (в таком случае) противоречит идее феноменального сознания или плохо совместим с психологией «первого лица». Д. Армстронг соглашается с этим, утверждая, что определимость ментальных понятий в каузальных терминах противоречит непогрешимости интроспекции. Но вывод, который он из этого делает, состоит в отказе признавать безошибочность интроспекции. Боль – это одно состояние, полагание, что полагающий испытывает боль – другое. Почему субъект не может полагать, что испытывает боль, не испытывая боли, т.е. не находясь ни в каком состоянии, которое бы соответствовало определенной для боли каузальной роли? Обычно, конечно, такого не бывает; но это не невозможно[67]. Льюис допускает, что интроспекция может быть безошибочной; но даже в этом случае, считает он, каузальные определения не теряют силы. Если состояние, которое *обычно* исполняет роль полагания, что полагающий испытывает боль, имеет место без того, чтобы имело место состояние, которое *обычно* исполняет роль боли, первое больше не будет являться состоянием полагания, что полагающий испытывает боль, а второе – состоянием боли. Определения ментальных терминов сохраняются или отбрасываются только все вместе при таком подходе, так что если непогрешимость интроспекции – часть психологии, и следствия теоретических тождеств вступают с этим тезисом в противоречие, то это может быть только поводом пересмотреть всю систему функциональных определений или же систему тождеств.

Теория Льюиса и Армстронга в общем виде утверждает следующее. Если понятие боли есть понятие состояния, которое выполняет определенную каузальную роль, то какое бы физическое состояние не выполняло эту роль, это состояние – боль. Слово «боль» с этой точки зрения не является жестким десигнатором. Делом случая является, к чему это слово и понятие применимы. Если понятие или имя, не являющееся жестким десигнатором, применимо к различным состояниям в различных возможных случаях, нет ничего удивительного, что оно может быть применимо и к различным состояниям в различных действительных случаях; если слово «боль» может обозначать одно состояние в действительном мире и другое в

[66] D. Lewis, 'Psychophysical and Theoretical Identifications', Readings in Philosophy of Psychology, V. 1, Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts, 1980, 208 – 209.
[67] D. Armstrong, 'The Nature of Mind', C. V. Brost (ed.), The Mind/Brain Identity Theory, London, Macmillan, 1970, 67 – 79.

возможном мире, то почему оно не может обозначать одно состояние в одной части действительного мира, например, на Земле, и другое – в другой, например на Марсе? Иначе говоря, человеческая боль – это состояние, которое выполняет роль боли для людей, марсианская боль – состояние, которое выполняет ту же роль для марсиан. Состояние сумасшедшего, напротив, не выполняет той роли, которую выполняет боль для популяции, включающей его самого и его сумасшедших собратьев. Но оно выполняет эту роль для человечества в целом. Все таки он человек, хотя и исключительный, и является членом человечества. Исключения дозволяются. Состояние (имеется в виду физическое состояние) может выполнять некую роль относительно человечества, даже если оно не выполняет эту роль для некоего меньшинства этого человечества – для сумасшедших. Таким образом, сумасшедший находится в состоянии боли потому, что он находится в состоянии, которое выполняет каузальную роль боли для популяции, включающей все человечество. Можно сказать, что X *безусловно* находится в состоянии боли, если и только если X находится в состоянии, которое выполняет каузальную роль боли для *соответствующей (appropriate)* популяции. Но что такое соответствующая популяция? 1) Возможно, это должны быть мы сами; это наш мир и наше понятие, в конце концов. 2) Или это должна быть популяция, к которой принадлежит сам X, и предпочтительно такая, что X не является ее исключительным членом. Если X – один из нам подобных, то соответствующая популяция состоит из человечества как оно в действительности существует; если это марсианин, то соответствующей популяцией скорее должно быть население Марса; если же это сумасшедший, то соответствующей популяцией опять будет человечество, относительно которого он – его исключительный член. Но пусть есть некое физическое состояние, которое играет каузальную роль боли для нас, а для некоей маленькой субпопуляции человечества – роль жажды и наоборот. Кажется неразрешимой дилеммой на предложенных основаниях, является ли такое состояние состоянием боли или состоянием жажды. Решением Льюис считает любой ответ (или даже, возможно, дизъюнкцию): или боль, или жажда. Однако относительно дизъюнктивных решений всегда остаются сомнения в их удовлетворительности, поскольку тогда можно составлять любые, самые абсурдные дизъюнкции, предполагая существование самых невообразимых действительных или возможных субпопуляций без всякого ограничения.

13.5.2.2 Функционализм против физикализма

Х. Патнэм – один из тех, кто рассматривал функционализм, скорее, как идею альтернативную физикализму, чем поддерживающую его. Патнэм полагает[68], что ответом на вопросы вида «Является ли такое-то ментальное состояние состоянием мозга?» должно быть допущение утверждений тождества, где термины справа и слева от знака тождества ни в каком смысле не являются синонимами, и исследование возможности нахождения какого-нибудь такого утверждения, приемлемого на эмпирическом и методологическом основаниях. Боль в свете этого аргумента *не* является состоянием мозга не на *априорных* основаниях, а на том основании, что *другая гипотеза более правдоподобна*. Эта гипотеза состоит в том, что боль является не состоянием мозга в смысле физико-химического состояния нервной системы, но состоянием вообще другого *вида*, а именно функциональным

[68] B: H. Putnam, ‘The Nature of Mental States’, W. H. Capitan and D. D. Merrill (eds.), Art, Mind, and Religion, Pittsburgh, University of Pittsburgh Press, 1967, 37 – 48.

состоянием организма как целого. Для ее экспозиции Патнэм использует понятие машины Тьюринга и его расширение – понятие вероятностного автомата. Последний отличается от машины Тьюринга тем, что переход из одного «состояния» в другое допускается как вероятность (для разных состояний разная), а не как нечто детерминированное. Другие используемые теорией понятия таковы: «чувственный вход», «моторный выход», машинная таблица и «инструкция». Зависимость, связывающая их такова: для каждой комбинации «состояния» и полного набора «чувственных входов» машинная таблица содержит «инструкцию», которая определяет вероятность следующего состояния, а также вероятности «моторных выходов». Поскольку эмпирически данная система может быть *физической реализацией* различных вероятностных автоматов, Патнэм вводит понятие *Описания* системы: описанием системы S является любое истинное утверждение, приписывающее системе различные состояния S1, S2, …, Sn, соотнесенные одно с другими и с моторными выходами и чувственными входами вероятностями перехода, данными такой-то машинной таблицей. Машинная таблица, упомянутая в описании системы, может быть тогда названа функциональной организацией системы относительно ее описания, а состояние Si, такое, что S находится в этом состоянии в данный момент времени, будет называться совокупным состоянием системы в данный момент времени относительно описания этой системы. Гипотеза, описывающая расшифровку понятия «боль», формулируется тогда следующим образом:

1) Все организмы, способные чувствовать боль, являются вероятностными автоматами.
2) Каждый организм, способный чувствовать боль, обладает, по меньшей мере, одним Описанием определенного вида (т.е. способность чувствовать боль *есть* обладание правильным видом функциональной организации).
3) Никакой организм, способный чувствовать боль, не обладает таким разделением на части, при котором они имели бы Описания того вида, который упомянут в пункте (2).
4) Для каждого Описания вида, упомянутого в пункте (2), существует такое подмножество чувственных входных данных, что организм с этим Описанием испытывает боль тогда и только тогда, когда некоторые из его входов принадлежат этому подмножеству.

Условие (1), далее, дисквалифицируется как избыточное, поскольку все что угодно будет вероятностным автоматом при *некотором* Описании. Но почему эта гипотеза лучше гипотезы психофизического тождества? Защитник тождества ментальных состояний с состояниями мозга (brain-state identity theorist) должен, по мнению Патнэма, специфицировать физико-химическое состояние таким образом, чтобы *любой* организм (не только млекопитающие) испытывал боль, если и только если: а) у него есть мозг подходящей физико-химической структуры и в) его мозг находится в этом физико-химическом состоянии. Это означает, что означенное физико-химическое состояние должно быть возможным состоянием мозга млекопитающего, мозга рептилии, мозга моллюска (ибо осьминоги являются моллюсками и несомненно испытывают боль и т.д. В то же время оно *не* должно быть возможным состоянием мозга любого физически возможного существа, не могущего испытывать боль. В конце концов, сохраняется возможность обнаружить такое состояние. Хотя осьминоги и млекопитающие представляют собой скорее примеры параллельных эволюций, нежели ступеней в одной эволюционной цепи,

все равно, по меньшей мере, возможно, чтобы параллельная эволюция могла *всегда* приводить к *одному и тому же* физическому «корреляту» боли. Но это, считает Патнэм – амбициозная гипотеза. И она оказывается еще более амбициозной, когда осознаешь, что защитник тождества боль-(определенное)состояние мозга не просто говорит, что *боль* является состоянием мозга, но что он заинтересован в том, чтобы утверждать, что *всякое* психологическое состояние является состоянием мозга. Так, если можно найти хотя бы один психологический предикат, который явно может быть применен как к осьминогам, так и к млекопитающим (например, «голоден»), но чьи физико-химические «корреляты» различаются в обоих случаях, теория психофизического тождества будет фальсифицирована. С другой стороны, нельзя не заметить, что сама возможность обнаружить такой фальсифицирующий случай зависит от того, какой концепцией существенных признаков боли мы согласны, а какой не согласны пользоваться. Фактически, у нас есть только одна группа сравнительно независимых критериев обнаружения таких случаев (точнее описания неких случаев как случаев такого фальсифицирующего рода) – это прагматические критерии. Но проблема с их применением состоит в том, что, как мы увидим далее, они делают необязательным также и функционалистское понимание сознания. Физикалист может попытаться спасти положение, приняв дизъюнктивный характер тождества (дизъюнкцию двух состояний как одно физико-химическое состояние, коррелирующее с болью); однако такой ход будет явно слишком произвольным, поскольку таким путем допускается совершенно произвольное конструирование таких дизъюнкций.

Стиль возражений защитников физикализма против такого рода критики иллюстрирует, в частности, аргумент Джегвона Кима[69]. Из того факта, пишет он, что два мозга различаются физико-химически, не следует, что два мозга не могут находиться в «одном и том же физико-химическом состоянии». Если человеческий мозг и мозг рептилии могут находиться в одном и том же «температурном состоянии», почему они могут находиться не в одном и том же «состоянии мозга», в случае, когда это состояние характеризуется в физико-химических терминах. Чем меньше физическое основание нервной системы некоторых организмов напоминает наше, тем меньше искушение приписывать этим организмам ощущения или другие феноменальные события. Простой факт, что физические основания двух нервных систем различаются своим материальным составом или физической организацией относительно некоторой схемы классификации, не подразумевает, что эти системы не могут находиться в одном и том же физическом состоянии относительно другой схемы. Одинаковость и различность состояний зависят от абстрактной характеризации этих состояний; различие в материальном составе относительно вовлеченных видов атомов, например, не подразумевает различие в средней кинетической энергии молекул (и соответственно, в температуре). Предположим, рассуждает Ким, что мозговой коррелят боли определяется в зависимости от вида (species-dependent), так что у нас есть обобщения, наподобие: «Люди испытывают боль лишь в том случае, когда они находятся в состоянии мозга А», «Собаки испытывают боль лишь в том случае, когда они находятся в состоянии мозга В» и так далее. Эти корреляции, конечно, не гарантируют независимое от вида тождество боли с «единым» состоянием мозга (если не признавать возможность конструирования

[69] Jaegwon Kim, 'Physicalism and the Multiple Realisability of Mental States', "Phenomenal Properties, Psychophysical Laws, and the Identity Theory", Monist 56, no. 2, 1972, 177 – 192.

дизъюнктивных состояний, отрицание которой, Ким, между прочим, считает спорным). Но они очевидно гарантируют отождествление *человеческой боли* с *человеческим состоянием мозга А*, *собачьей боли* с *собачьим состоянием мозга В* и т.д. – по крайней мере они не несовместимы с такими отождествлениями. Это все равно, что сказать: *специфические относительно видов корреляции гарантируют специфические относительно видов тождества*. Конечно, Ким не считает, что следует ожидать обнаружения физического коррелята для каждого типа ментальных событий, различаемых нами обычно в нашем повседневном дискурсе. Кажется, например, маловероятным, чтобы был какой-то единообразный коррелят фантазии о Вене, напоминания себе, что надо заплатить налоги, или желания поехать на Багамы. Но эта ситуация вряд ли специфична для ментальных событий. Так же точно мы не рассчитываем обнаружить микрофизическую структуру, единственным образом коррелирующую, например со столами. «Каковы «аспекты» или «компоненты» данного появления желания поехать на Багамы, для которых мы ожидали бы или нуждались бы в нейронных коррелятах? Как нам отличить их от остальных (событий), относительно которых мы не имеет подобных ожиданий? И почему? И какие импликации имеют ответы на эти вопросы для возможности полного редуктивного объяснения ментального на основании нейронного?» Ким не считает, что на эти вопросы есть ясные ответы. Тем не менее, задача отыскания нейронных коррелятов кажется ему гораздо более многообещающей в отношении чувственных событий, а теория психофизического тождества чаще всего формулируется как тезис о чувственных и других феноменальных событиях. Важно то, что мы не можем быть уверенными относительно того, для каких именно ментальных свойств нам нужно найти нейронные корреляты, чтобы сделать тезис психофизического тождества истинным. И возможно, нет никакого способа раз и навсегда определить эти свойства. Такие классификации во многом зависят от той роли, которую те или иные выделяемые виды играют в теориях своего времени. По мере прогресса в соответствующей сфере науки карта ментального будет много раз перерисована прежде чем мы достигнем, если вообще когда-нибудь достигнем такой карты, которая была бы в общем изоморфна карте нейронного.

13.5.3 Трудности функционализма

13.5.3.1 Проблема отсутствующих качеств

Ставший уже классическим аргумент, согласно предположению, вскрывающий одну из фундаментальных трудностей функционализма, получил название аргумента *перевернутых качеств*, а его расширение – аргумент *отсутствующих качеств*. Утверждается, что функционализм не способен репрезентировать существенные для определения типа, по крайней мере, некоторых психологических состояний их «качественные» характеристики. Например, не кажется совершенно несостоятельным предложение, что нечто не было бы токеном типа «состояние боли», если бы оно не ощущалось как боль, и что это было бы истинным даже в том случае, если это состояние связано со всеми остальными психологическими состояниями организма так, как с ними связаны состояния боли. В ответ на это функционалист мог бы возразить, как это делает

Бойд, что, хотя перевернутые качества могли бы составить контрпримеры его теории, *если бы они имели место*, фактически невозможно, чтобы функционально тождественные психологические состояния были качественно различны. В частности, функционалист мог бы утверждать следующее: что бы ни служило к изменению качественных характеристик психологического состояния, это будет изменять и его функциональные характеристики. Такого рода аргумент, конечно, представляет собой ничем не оправданный априоризм. Но есть другой путь защиты функционализма от аргумента перевернутых качеств: функционалист мог бы сказать, что если даны два функционально тождественных психологических состояния, их можно или даже следует рассматривать как состояния одного типа, *независимо* от их качественных характеристик. Т.е. ответ мог бы состоять просто в утверждении, что качественные характеристики психологических состояний не релевантны задаче определения типов психологических состояний и, соответственно, психологии. Аргумент такой формы, однако, может давать неприятные следствия. Из того, что нам известно, номологически возможно для двух психологических состояний быть функционально тождественными, даже если только одно из состояний имеет вообще какое-то качественное содержание. Таким образом, теория может потребовать признать, что боль имеет место даже в том случае, когда отсутствует какое бы то ни было вообще ощущение; это кажется совершенно неприемлемым. В этом состоит аргумент отсутствующих качеств, и он, похоже, показывает, что психологические качества вообще не могут быть определены функционалистски.

Н. Блок иллюстрирует этот аргумент следующим образом, стараясь показать, почему случаи отсутствующих качеств действительно представляют проблему для функционалиста[70]. Он предлагает вообразить тело, внешне выглядящее точно так же, как человеческое тело, но внутри совершенно другое: нейроны от сенсорных окончаний (чувственных органов) соединяются со световым табло в полости внутри головы. В этой же полости находится набор кнопок, соединенных с нейронами, идущими к органам, отвечающим за моторику тела; наконец, в этой полости размещается группа маленьких человечков, задача каждого из которых сводится к тому, чтобы выполнять «правило» разумно адекватной машинной таблицы, описывающей того человека, чье тело копирует данное тело. Пусть на стене внутри полости висит доска, на которой меняются карточки с символами состояний, специфицируемых машинной таблицей. Так, если на доске висит карточка с символом А, это активизирует маленьких человечков, ответственных за исполнение правила А (А-человечки). Пусть далее загорается свет, репрезентирующий входной сигнал $И_{17}$: единственной задачей одного из А-человечков является то, что когда на доске висит карточка с символом А и загорается свет, обозначающий $И_{17}$, он нажимает кнопку, приводящую в движение определенные моторные реакции – иначе говоря, производящую выходной сигнал $О_{191}$ – и изменяет карточку состояния на доске на ту, на которой напечатан символ М. От таких человечков требуется наличие лишь очень незначительных интеллектуальных способностей: в принципе, они могут быть заменены в примере просто механизмами или электрическими схемами (два входа, один выход). Но вся система в целом будет успешно симулировать индивида, которого она копирует, вследствие тождества функциональных организацией обеих систем (они

[70] N. Block, 'Troubles with Functionalism', C. W. Savage (ed.), Perception and Cognition. Issues in the Foundations of Psychology, Minnesota Studies in the Philosophy of Science, vol. 9, Minneapolis: University of Minnesota Press, 1978, 261 – 325.

описываются одной машинной таблицей). Этот пример Блок называет случаем симуляции гомункулусами в голове (homunculi-headed simulation). Аргумент состоит в том, что интуитивно очевидно, что тело с гомункулусами в голове не будет обладать ментальностью или, по меньшей мере, (чувственными) качествами. Но что поддерживает такую интуицию? – Ведь она может просто оказаться ложной. Обращение к интуиции при суждении о ментальности *особенно* подозрительно. *Никакой* физический механизм не кажется интуитивно правдоподобным местоположением качеств: почему мозг должен признаваться таковым? Сомнения в ментальности системы с мозгом в голове могут быть не меньшие, чем в ментальности системы с гомункулусами в голове. Ответ Блока: между системами с мозгом в голове и с гомункулусами в голове есть большая разница. Поскольку мы знаем, что являемся системами первого вида и что у нас есть качественные характеристики, мы знаем, что такие системы могут иметь качественные характеристики. Таким образом, даже несмотря на то, что у нас нет теории качеств, которая объясняла бы, как это возможно, у нас есть перевешивающее основание отбросить любые prima facie сомнения в наличии качеств у систем с мозгом в голове.

Есть другое различие между системами этих двух видов: система с гомункулусами в голове разработана *специально* для того, чтобы мимикрировать нас, но мы *не* разработаны для того, чтобы мимикрировать кого бы то ни было. Блок считает, что это – эмпирический факт. Однако, если мы обнаружим вдруг эмпирически систему с гомункулусами в голове – а не сами изобретем – то отнюдь не будет фактом, что она разработана для мимикрирования кого-то из нас. Блока, тем не мене, уверен, что хотя есть хорошее основание отказать в доверии любой интуиции, что системы с мозгом в голове не имеют качеств, нет основания отказывать в доверии нашей интуиции, что симуляции с гомункулусами в голове не имеют качеств.

Сидней Шумейкер показательным образом отвечает на аргумент отсутствующих качеств[71]. Он утверждает, что если ментальные состояния могут совпадать или различаться по своему «качественному характеру», то можно говорить о классе «качественных состояний», «условия тождества типов» которых могут определяться в терминах понятия качественного (или «феноменологического») сходства. Для каждого определенного качественного характера, который состояние может иметь, существует (т.е. мы можем определить) определенное качественное состояние, которое индивид имеет только в том случае, когда он находится в состоянии, имеющем в точности этот качественный характер[72]. Если, далее, качественные состояния сами являются «ментальными» состояниями (а Шумейкер полагает их таковыми), то будет самопротиворечиво для функционалиста сказать, что характер (чувственных) качеств организма не релевантен определению того, какие этот организм имеет качественные состояния. Поэтому защита от не релевантности качественных характеристик ментальных состояний для психологии не эффективна. И, разумеется, если сами качественные состояния могут быть функционально определены, то возможность

[71] S. Shoemaker, 'Functionalism and Qualia', Philosophical Studies 27, 1975, 291 – 315.

[72] Критик может счесть не вполне убедительным этот переход от качественных характеров к качественным состояниям: почему иметь определенный качественный характер, находясь в том или ином ментальном состоянии, должно означать нахождение в определенном качественном состоянии?

перевернутых качеств не создаст никакой трудности для функционализма и последнему не будет нужды прибегать к защите посредством отрицания релевантности качественного характера ментального для психологии.

Можно утверждать невозможность случаев «отсутствующих качеств», если можно показать, что, если состояние функционально тождественно состоянию, имеющему качественное содержание, то оно само должно иметь качественное содержание. Так, можно было бы утверждать, что если данное психологическое состояние имеет определенный качественный характер, то это предполагает его нахождение в некоем определенном отношении к некоторому конкретному качественному состоянию (а именно тому качественному состоянию, в котором индивид находится только тогда, когда он находится в состоянии, имеющем этот качественный характер), и что любое состояние, функционально тождественное ему, должно находиться в таком же отношении к этому качественному состоянию и, соответственно, должно иметь такой же качественный характер. Но этот аргумент, замечает Шумейкер, не очень убедителен. Возражение против него таково: поскольку качественные состояния сами не могут быть функционально определены (принимая возможность перевернутых качеств), незаконно будет включать их в число психологических состояний, посредством референции к которым функционально определяются другие психологические состояния или в терминах которых определяется «функциональное тождество». Другое возражение состоит в том, что отношение, которое состояние имеет к некоторому качественному состоянию, не есть нечто подобное каузальному отношению и, следовательно, не есть вид отношений, в терминах которых психологическое состояние может быть функционально определено. Но, полагает Шумейкер, с точки зрения любого правдоподобного толкования понятия функционального тождества состояние не может быть функционально тождественно состоянию, имеющему качественный характер, без того, чтобы самому не иметь качественный характер. Аргументация в пользу этого следующая. Один из видов связей между психологическими состояниями – связь интроспективной осведомленности о своем психологическом состоянии и, стало быть (если презумпция наличия качественного характера у ментальных состояний сохраняется), о том, что имеет место ощущение такого-то рода, т.е. что состояние, которое теперь Я испытываю, имеет такой-то качественный характер. Так, нахождение в состоянии боли обычно при определенных обстоятельствах вызывает «качественное полагание» (термин Шумейкера), что некто испытывает такие-то ощущения. Всякое состояние, функционально тождественное состоянию боли, будет разделять с болью не только 1) ее тенденцию влиять определенным образом на внешнее поведение и 2) ее тенденцию продуцировать в индивиде полагание, что с его организмом что-то не в порядке, но и 3) его тенденцию продуцировать качественные полагания, т.е. заставить индивида считать, что он испытывает боль определенного качественного характера (такого, который он не любит). Согласно аргументу «отсутствующих качеств» у такого состояния может, тем не менее, отсутствовать качественный характер и оно, таким образом, может не быть болью. Правдоподобно ли это? Если бы такой случай был возможен, как бы мы могли установить, что он имеет место – что отсутствуют качественные характеристики при наличии состояния? Все свидетельства, которые у нас есть в пользу наличия ментального состояния определенного вида у себя самого или другого, т.е. такого, которое тождественно неким данным моим ментальным состояниям – интроспективные и поведенческие, – свидетельствуют также и в пользу

качественного тождества этого состояния с неким данным моим состоянием. Если дано, что человеческое состояние функционально тождественно состоянию, которое в нас является болью, трудно увидеть, как психологическое различие, существующее между нами и этим человеком, могло бы свидетельствовать в пользу того, что его состояния не имеют качественного характера. Ведь если что-нибудь может вообще свидетельствовать нам о его психологическом состоянии, свидетельство, что его состояние функционально тождественно нашим, *самим этим фактом* является свидетельством в пользу того, что любое психологическое различие между нами и им не релевантно вопросу о том, реализовано ли в нем состояние боли, хотя и не вопросу о том, *как* оно в нем реализовано.

Но если, как утверждают Блок и Фодор[73], качественные состояния не могут быть функционально определены, то это означает, что есть, по крайней мере, один класс ментальных состояний, которые не могут быть функционально определены. В этом случае возникают следующие вопросы: а) В каком смысле качественные состояния функционально неопределимы (если возможны перевернутые качества)? и б) Представляет ли их функциональная неопределимость серьезную угрозу для функционализма? Сама возможность «перевернутых качеств», кажется, предполагает, что качественные состояния и, соответственно, качественные полагания не могут быть определены функционально. Ответ функционалиста может апеллировать к такому примеру. Представим себе случай инверсии цвета, когда то, что функционально определяется, например, как состояние восприятия голубого цвета, у некоторого (воображаемого) индивида имеет качественные характеристики ощущения, скажем, зеленого цвета: это – так называемый аргумент перевернутого спектра. Это сравнительно легко себе представить; кроме того, кажется, что качественные характеристики таких состояний легче абстрагируются от них, чем качественные состояния таких состояний, как боль, от самих этих состояний. Шумейкер соглашается, что если возможность перевернутого спектра допускается, то функциональная неопределимость качественных состояний выглядит весьма вероятной. Инверсия спектра, однако, может быть двух видов: интерсубъективная и интрасубъектная и именно кажущаяся мыслимость и установимость случаев инверсии последнего вида, по мнению Шумейкера, заставляет нас допускать возможность инверсии спектра. Но рефлексия над такими случаями, по его убеждению, покажет, что хотя мы не можем функционально определить конкретные качественные состояния, поскольку мы можем функционально определить взаимоотношения качественного сходства и различия, мы можем до некоторой степени определить *класс* функциональных состояний – условия тождества для членов этого класса. Аргументация в пользу этого следующая. Мы получим интерсубъктивную инверсию спектра, если способ, каким каждый оттенок цвета видится одному индивиду, есть тот способ, каким его инверсия видится другому индивиду или, другими словами, если для каждого оттенка цвета качественное состояние, ассоциированное в одном индивиде с видением этого оттенка, ассоциировано в другом индивиде с видением инверсии этого оттенка. И мы получим интрасубъектную инверсию спектра, если имеется изменение в способе, каким различные оттенки цвета видятся кем-либо, каждый видится способом, каким прежде виделась его инверсия. Что больше всего на нас действует в случае инверсии спектра – это то, что если он может иметь место интерсубъективно, у

[73] N. Block and J. Fodor, 'What Psychological States Are Not?', Philosophical Review 81, no. 2, 1972, 159 – 181.

нас вроде бы не будет способа сказать, являются ли ощущения цвета двух индивидов одним ощущением цвета или же их цветовые спектры взаимно перевернуты один относительно другого. Систематическое различие ощущений, в которых проявлялась бы интерсубъективная инверсия спектров, конечно, было бы недоступно ничьей интроспекции. И не оказалось бы никакого способа, каким эти различия могли бы манифестировать себя в поведении. Как гипотеза, что спектр одного инвертирован, так и гипотеза, что оба имеют одинаковые ощущения цвета, похоже, дают одни и те же предсказания относительно поведения обоих индивидов.

Ситуация выглядит совсем по другому в случае интрасубъектной инверсии спектра. Во-первых, кажется, что такое изменение откроет себя интроспекции индивида, в котором оно случилось. Но если так, то другие индивиды могут узнать от него об его инверсии спектра через его сообщения. Кроме того, соответствующие изменения в его поведении будут такими свидетельствами. Шумейкер полагает, что если бы не свидетельства такого вида (интрасубъективной инверсии спектра), то у нас не было бы оснований считать какую-либо вообще инверсию спектра логически возможной. Если интрасубъектная инверсия может быть замечена, то имеет место следующая ситуация: между двумя ощущениями цвета (запомненным и актуальным) устанавливается интроспективно качественное различие. Качественные сходства и различия дают основания для формирования полаганий о существовании объективных сходств и различий между объектами, являющимися источниками соответствующих качеств. Иначе говоря, они имеют тенденцию вызывать убежденность в существовании объективных сходств (различий) в физическом мире, а именно между объектами, в восприятии которых участвовали соответствующие качественные сходства (различия). Предложение Шумейкера таково: то, что делает отношение между переживаниями отношением качественного (феноменального) сходства – это именно то, что они играют определенную «функциональную» роль в перцептивной осведомленности об объективных сходствах, а именно его тенденция продуцировать перцептивные полагания, что такие сходства имеют место. Таким же образом отношение между переживаниями делает отношением качественного различия то, что они играют соответствующую роль в перцептивном знании об объективных различиях. Следовательно, тот факт, что некоторые ментальные состояния имеют «качественный характер», не обязан представлять собой какие-то особые трудности для функционалиста. Что отличает качественные состояния от других видов ментальных состояний – это что их «условия тождества типов» должны даваться в терминах понятия качественного сходства. Исходное положение гласит, что специфицирующие условия тождества, сформулированные в таких терминах, кажется, резко контрастируют с их определением в функциональных терминах. Но этот контраст размывается, если само понятие качественного сходства может быть определено в функциональных терминах. И если это так, то не будет неправильным сказать, что, хотя конкретные качественные состояния не могут быть функционально определены, так может быть определен *класс* качественных состояний.

13.5.3.2 Общие трудности функционализма

Н. Блок предлагает различить между двумя видами функционализма и соответственно этому различению классифицировать трудности функционалистских теорий сознания[74]. Априорные функционалисты (в терминах Блока «Функционалисты», к числу которых он относит Смарта, Армстронга, Льюиса и Шумейкера) стремятся рассматривать функциональный анализ как анализ значений ментальных терминов, тогда как эмпирические функционалисты (в терминах Блока «Психофункционалисты», к которым принадлежат, по его мнению, Фодор, Патнэм и Харман) считают функциональный анализ существенной научной гипотезой. Соответственно, Функционалисты отождествляют ментальные состояния с функциональными коррелятами (записываемыми в форме так называемых предложений Рамсея – т.е. предложений с вынесенными вперед всеми переменными, участвующими в предложении, с кванторами существования) относительно некой психологии *здравого смысла*, а Психофункционалисты – с такими же коррелятами, но относительно *научной* психологической теории. Функционалисты в таком случае ограничены тем, что могут специфицировать только те входные и выходные данные, которые очевидно являются частями того знания, которое принадлежит здравому смыслу. Психофункционалистов же такое ограничение не связывает. Блок уверяет, что знает только одного вида аргумент собственно в пользу Функционализма: согласно этому аргументу, истинность функциональных тождеств может быть выведена из анализа значений ментальных терминов. Утверждается, что функциональные тождества обосновываемы тем самым способом, каким можно пытаться обосновать утверждение, что состояние бытия холостяком тождественно состоянию бытия неженатым человеком. Иначе говоря, функциональные тождества составляют часть нашего здравого смысла: что это – так сказать, народная психология или психология здравого смысла. Эти тождества (согласно Льюису, Армстронгу и др.) суть банальности (platitudes) здравого смысла. Если так, считает Блок, то Функционализм встречает серьезные трудности с такими случаями, как, например, паралич и мозг в сосуде. Паралитик может испытывать боль, не имея в качестве типической реакции, скажем, на боль то поведение, которое функциональное определение предписывает ему как ментальному существу иметь (например, поведение, нацеленное на избавление от боли). Возражение: «Если кластер входных данных и состояний С типически влечет за собой кластер реакций В, то одним из элементов С должно быть полагание, что В *возможно*, но паралитик не имел бы такого полагания». Ответ может состоять в ссылке на возможность паралитика, который не знает о своем параличе или такого, чей паралич имеет перемежающийся характер.

Пример мозга в сосуде: представим себе, что технология дошла до того, что мозг может отделяться от тела на время и проходить реабилитацию или чистку, или омолаживание; связь с телом – с органами восприятия и движения – при этом сохраняется, например, по радио, так что организм может не прекращать жить своей обычной жизнью. Пусть в результате несчастного случая тело уничтожено в то время, как мозг находиться на восстановительных работах: если в этом случае что-то продолжает выполнять роль органов восприятия для такого мозга, то он, несомненно, будет иметь С (по крайней мере, некоторое время), не имея

[74] N. Block, 'Troubles with Functionalism', C. W. Savage (ed.), Perception and Cognition. Issues in the Foundations of Psychology, Minnesota Studies in the Philosophy of Science, vol. 9, Minneapolis: University of Minnesota Press, 1978, 261 – 325.

возможности типически производить В. Возражение Психофункционалиста: согласно этому подходу, что считать входными и выходными органами – эмпирический вопрос. Если принять в этом качестве нервные импульсы, то означенная проблема устраняется. Ответ: может быть паралич, затрагивающий нервную систему. Правда, болезни нервной системы могут в действительности *изменять ментальность*, например, они могут сделать своих жертв не способными испытывать боль; поэтому могло бы быть истинным относительно какой-нибудь широко распространенной болезни нервной системы, вызывающей перемежающийся паралич, что она делает людей неспособными к определенным ментальным состояниям.

Другую трудность для функционализма представляет так называемая проблема дифференциации, исходящая из того, что есть ментальные состояния, различающиеся между собой, но не различающиеся в отношении описаний, которыми оперирует народная психология. Взять, например, различные вкусовые качества, которые имеют каждый свои типические причины и следствия, но такие, что они не известны или не известны большинству людей. Например, танин в вине продуцирует определенный вкус, легко распознаваемый любителями вина: но, насколько известно, нет специального описания или стандартного имени (кроме – «вкус танина») для этого вкуса. Каузальные антецеденты и консеквенты этого вкуса не известны широко, нет банальностей (platitudes), которые бы утверждали, каковы его типичные причины и следствия. Более того, есть ощущения, которые не только не имеют стандартных имен, но причины и следствия которых до сих пор еще вряд ли кому-нибудь понятны. Пусть А и В – такие ощущения: никакое утверждение здравого смысла, никакая истина значения не может различить между А и В. Поскольку функциональное описание ментального состояния определяется утверждениями здравого смысла, истинными относительно этого состояния, а поскольку А и В не различаются относительно утверждений здравого смысла, Функционалист был бы обязан отождествить их с одним и тем же функциональным состоянием, а следовательно, к тождеству «А = В», которое, согласно гипотезе, ложно. Наконец, утверждения здравого смысла просто часто оказываются ложными.

Психофункционализм, по мнению Блока, несколько богаче на аргументы в свою пользу. Один из них: говорить нам о природе вещей, которыми занимается та или иная наука – дело самой этой науки. Ментальные состояния находятся в ведении психологии; стало быть, дело психологии – говорить нам, чем являются ментальные состояния. Можно ожидать от психологической теории, что она охарактеризует ментальные состояния в терминах каузальных отношений между одними ментальными состояниями и другими ментальными сущностями и между ментальными сущностями и входными и выходными данными. Но именно эти каузальные отношения конституируют психофункциональные состояния, которые Психофункционалист отождествляет с ментальными состояниями. В этом отношении Психофункционализм есть просто результат применения правдоподобной концепции науки к ментальной сфере, просто доктрина, утверждающая, что ментальные состояния являются «психологическими состояниями», характеризовать которые – дело психологии. Аргумент этой формы потерпел бы неудачу, если его применить к другим отраслям науки. Так, Блок предлагает вообразить некий аналог Психофункционализма для физики. Он утверждает, что, например, свойство быть протоном (протонность) есть свойство

нахождения в определенных законоподобных отношениях с другими физическими свойствами. Относительно текущей физической теории протонность отождествлялась бы со свойством, выразимым в терминах современной физической теории (в форме предложений Рамсея). Очевидная проблема с таким утверждением состоит в том, что при таком подходе антипротонность (бытие антипротоном) отождествлялась бы с *тем же самым свойством*. Ведь согласно современной физической теории протоны и антипротоны «дуальны»: т.е. в (рамсеевых) предложениях современной физики переменную, замещающую протонность нельзя отличить не тривиальным способом (т.е. иначе как через присвоение другого имени) от переменной, замещающей антипротонность. И, тем не менее, это – разные виды частиц; при встрече протона и антипротона они аннигилируют, тогда как встреча протона с другим протоном не дает такого эффекта. С другой стороны, что это – как не функциональное различие?

Психофункционализм, однако, просто не обязан быть специальным случаем какой-либо общей доктрины, толкующей о природе сущностей, о которых говорят наши научные теории. Психофункционалист может резонно утверждать, что только ментальные сущности «конституированы» их каузальными связями. Конечно, в этом случае психофункционалист защитится от проблемы протонности, но ценою отказа от аргумента, что Психофункционализм есть всего лишь результат применения правдоподобной концепции науки к ментальной сфере.

Другой аргумент в пользу психофункционализма состоит в утверждении, что психофункциональные тождества просто дают лучшее объяснение ментальных состояний. Но что нам гарантирует, что вопрос «Что суть ментальные состояния?» вообще имеет ответ желаемого материалистами, бихевиористами и функционалистами вида? Более того, вывод к лучшему объяснению не может применяться, когда ни одно из доступных объяснений не хорошо. Для того, чтобы этот вывод мог быть применен, должны быть выполнены два условия: у нас должно быть основание полагать, что некое объяснение *возможно*, и, по крайней мере, одно из доступных объяснений должно быть *минимально адекватным*. Материализм, бихевиоризм и функционализм (а также дуализм) суть попытки решить проблему. Эта проблема вряд ли может гарантированно иметь решение. Далее, каждое из предложенных решений сталкивается с серьезными трудностями. Почему же функционализм так широко принимается, несмотря на отсутствие хороших аргументов в его пользу? Блок полагает, что причина этого – в том, что изначально он был предложен как гипотеза, но с течением времени правдоподобно звучащая гипотеза с полезными чертами может начать рассматриваться как установленный факт, даже в отсутствие хороших аргументов в его пользу.

13.5.3.3 «Либерализм» и «шовинизм» в отношении сознания

Психофункционализм, по мнению Блока, имеет определенные преимущества по сравнению с Функционализмом: он способен избежать трудностей, которые свойственны последнему и которые Блок обобщил под названием «либерализм». Под либерализмом здесь понимается отнесение к сущностям, обладающим ментальностью, таких, которые заведомо, т.е. согласно нашим общераспространенным интуициям, таковыми не являются – таких, как тело с гомункулусами в голове. Но Психофункционализм «виновен», согласно Блоку, в

другом «грехе», а именно в «шовинизме»: исключении из числа сущностей, обладающих ментальностью, таких, которые должны быть туда включены – таких, как больные перемежающимся параличом или мозги в сосудах. С точки зрения Психофункционализма, считает Блок, логически невозможно для системы иметь полагания, желания и тому подобное иначе как, если психологические теории, истинные относительно нас, истинны относительно этой системы. Психофункционалистская *эквивалентность нам*, т.о., в рамках этого подхода является необходимым условием ментальности. Но даже если такая эквивалентность и является условием *нашего распознавания ментальности*, какое основание у нас есть считать ее условием ментальности как таковой? Разве не может быть широкой вариации возможных психологических процессов, которые могут подлежать ментальности, из которых мы (как вид) инстанциируем только один тип? Блок снова предлагает включить фантазию и вообразить ситуации, когда наша цивилизация встретилась с цивилизацией марсиан: пусть мы обнаружили, что они очень приблизительно Функционально эквивалентны нам (но не Психофункционально эквивалентны). Мы начинаем коммуницировать, сотрудничать, узнавать друг друга, изучаем науку и искусство друг друга и т.д. Затем психологи обеих цивилизаций обнаруживают, что с точки зрения психологий обеих цивилизаций мы и марсиане принципиально различаемся по своим подлежащим (с точки зрения этих психологий) ментальному процессам. Пусть это различие может быть описано так, как будто мы и марсиане – два продукта одного и того же осмысленного дизайна. Любой проект этого дизайна предполагает вариацию возможностей его реализации. Некоторые способности могут быть встроенными (врожденными), другие изучаемыми, мозг может быть сконструирован так, чтобы выполнять задачи, используя так много ресурсов памяти, как это необходимо для минимизации затрат компьютационных ресурсов, или, напротив, так, чтобы использовать ограниченное пространство памяти и полагаться в основном на компьютационные способности. Выводы могут (предполагаться такими, чтобы) выполняться системами, использующими немного аксиом и много правил вывода или наоборот – использующими много аксиом и лишь несколько правил вывода; и так далее. Предположим, что обнаруженное психологами различие между нами и марсианами такое, что обе цивилизации можно охарактеризовать как конечные продукты выбора максимально противоположных вариантов дизайна (хотя и совместимых с приблизительной Функциональной эквивалентностью применительно к взрослым нормальным особям обеих цивилизаций). Должны ли мы на этом основании отказать марсианам в ментальности, а они – нам? Такое предположение кажется достаточно абсурдным.

Обычное предложение, как разрешить эту трудность – отождествить ментальные состояния с Психофункциональными состояниями, понимая под психологией науку, охватывающую *все существа, обладающие ментальностью*. Это означает определение Психофункционализма в терминах «универсальной» или «кросс-системной» психологии, скорее, нежели в терминах человеческой психологии. Но как решить, на каких основаниях, какие системы должны быть включены в сферу универсальной психологии? На описаниях каких систем базируются обобщения такой универсальной науки? Ответ на этот вопрос могла бы дать какая-нибудь разработанная теория метального, но это означает ни что иное, как обращение к физикализму, материализму или Функционализму. Но тогда почему просто не принять какую-то из этих теорий сознания в качестве базисной? Если бы даже

универсальная психология была возможна, несомненно, нашлось бы много возможных организмов, чей ментальный статус был бы не определен. Но, может быть, универсальная психология невозможна? Возможно, жизнь во вселенной такова, что у нас просто нет основания для разумных решений о том, какие системы принадлежать к сфере психологии, а какие нет. Таким образом, если только исключить возможность универсальной психологии или ее способность быть решающей в отношении сферы психологического, Психофункционализм означает *шовинизм*. Эти результаты подталкивают Блока к выводу, что мы не имеем хорошего основания принимать какую-либо форму функционализма.

Способом избежать шовинизма является характеризация входных и выходных данных *только* как входных и выходных данных, т.е. не расшифровывая их при помощи никаких дескрипций, присваивая им только различные номера: выход$_1$, выход$_2$, …. В этом случае система могла бы быть функционально эквивалентна определенному человеку, если бы она располагала набором состояний, входов и выходов, каузально соотнесенных так же как состояния, входы и выходы этого человека, независимо от того, что эти состояния, входы и выходы представляют собой. Проблема этой версии функционализма состоит, по мнению Блока, в том, что она слишком либеральна. Экономическая система имеет входы и выходы, например, дебит и кредит и вариацию внутренних состояний. Естественно, мы должны быть более определенными в наших описаниях входных и выходных данных. Есть ли такое их описание, которое было бы достаточно специфичным, чтобы избежать либерализма, но при этом достаточно общим, чтобы избежать шовинизма? Хотя окончательного ответа на это нет, есть все основания продолжать сомневается в существовании чего-то подобного. Конечно, можно было бы формулировать Функциональные дескрипции для каждого из видов, предположительно, обладающих ментальностью: тогда какая-то дизъюнкция таких описаний охватывала бы все виды – вот только вряд ли она может быть доступна человеку (психологу). Но даже такая концепция ментального не может сказать нам, что общего есть у *всех* испытывающих боль организмов, в силу чего они все испытывают боль. И такая дизъюнкция (как бы бесконечна она ни была) не позволит приписывать боль каким-нибудь гипотетическим (но несуществующим) существам, испытывающим боль.

Между тем, по меньшей мере, одно соображение позволяет аргументировать в пользу того, что обвинение в шовинизме или либерализме, хотя и напрашиваются, не дают достаточного основания отказываться от функционалистской программы. Что представляют собой условия уязвимости функционализма в шовинизме или либерализме? Это – некие распространенные интуиции. Одни говорят нам, какие сущности не стоит включать в число мыслящих существ и, таким образом, задают границы либерализма; другие говорят нам, какие сущности надо бы утвердить в качестве мыслящих существ и, таким образом, задают границы шовинизма. Блок, как мы видели, приводит и аргументы в пользу правдоподобия и, следовательно, релевантности этих интуиций. Но проблема такой критики может состоять в том, что интуиции этих двух видов – которые можно обозначить как интуиции включения и интуиции исключения, соответственно – могут сами конфликтовать друг с другом. Это можно показать на примере. Представим себе, что мы создали вероятностные автоматы вида симуляторов с гомункулусами в голове. Представим, далее, что в результате неведомой эпидемии все человеческое население, например, лунной колонии вымерло, связь с ней была потеряна и по каким-то

причинам долгое время люди не могли никого туда послать: например, на Земле сменилось поколение. Но вот, наконец, Луна снова в сфере досягаемости и обнаруживается, что на ней «выжили» симуляторы с гомункулусами в голове, которых на Земле не воспринимают иначе, как удобные устройства, облегчающие жизнь человеку, но никак не как разумные существа. Предположим, что эти симуляторы не просто сумели сохраниться, но и – создать некое подобие цивилизации: во всяком случае, они демонстрируют согласованные действия, организацию достаточно высокого уровня, у них вспомогательные средства, созданные ими и даже какие-то элементы развлечения и тому подобного. Если «цивилизация» таких симуляторов оказалась достаточно стойкой, чтобы предотвратить попытку людей немедленно вернуть их к «использованию по назначению» и дальнейшее освоение Луны и близлежащего пространства, в котором, например, люди крайне заинтересованы, требует считаться с этой новой общностью, вести с ней какие-то переговоры, то в этом случае мы можем получить ситуацию, подобную случаю с марсианами. С одной стороны, у нас сохранились исключающие интуиции, действующие применительно к симуляторам с гомункулусами в голове; с другой стороны, начинают действовать и включающие интуиции из примера с марсианами – особенно, если ситуация такова, что уровень развития симуляторов заставляет с ними считаться. Чем дольше люди вынуждены будут ввести с симуляторами переговоры, торговать, взаимодействовать разными другими привычными для взаимодействий между людьми способами, тем сильнее, вероятно, будут действовать включающие интуиции в качестве оснований приписывать данным сущностям сознание. Этот пример не обязательно должен быть способен показать, что мы обязаны будем счесть таких существ разумными, вследствие продолжительного взаимодействия с ними *как с разумными*. Но он во всяком случае способен показать, что на определенном этапе такого взаимодействия мы получим эпистемологическую ситуацию следующего вида. Мы будем иметь два противоречивых и равно прагматически обоснованных способа характеризовать сущностей определенного вида: как разумных на основании включающих интуиций и как неразумных на основании исключающих интуиций. А это, в свою очередь, показывает, что две эти группы интуиций, лежащих в основании стандартной критики функционалистских (и не только) концепций с точки зрения шовинистичности или либеральности их критериев, сами представляют собой плохо совместимый, если не противоречивый, конгломерат оснований.

13.6 Репрезентативное сознание

Согласно распространенному убеждению, сознание репрезентативно и интенционально. Репрезентативность предполагает, что сознание таково, что его (по крайней мере, некоторые) содержания *указывают на* что-то, отличное от себя, или, иначе, дают представление о чем-то, что само в этом представлении не дано как содержание. Презумпция познания, в свою очередь, требует, чтобы репрезентативность обеспечивала нас знанием, т.е. чтобы мы могли выводить из наших содержаний как существование внешних объектов, так и общие свойства, несмотря на вариации репрезентирующих их содержаний. Интенциональность предполагает направленность сознания на что-то, его предметность или, иначе,

репрезентативную содержательность. Так же, как принципиально неясно, где и как в физическом теле, движениях или нейрохимических процессам находиться сознание, неясно и как физические или нейронные объекты могут быть обеспечивать репрезентативность и интенциональность. Ведь в значительной мере это требует рассмотрения их по аналогии с символами, значащими элементами некоего языка. Но что может делать физические объекты значащими символами, указывающими на другие объекты или репрезентирующими их? И что делает нас, разумных существ, восприимчивыми к символической стороне материального мира? Отвечая на второй вопрос, обычно ссылаются на способность *понимать* смысл; иногда эту же способность выдвигают и в качестве основного оператора смыслообразования при ответе на первый вопрос. Но в чем именно состоит эта способность? Кроме того в случае сознания проблема репрезентации осложнена еще и тем, что в существах, предположительно обладающих сознанием, мы не находим материальных носителей тех видов, которые являются для нас парадигмальными носителями смысла, такие, как звуки речи или знаки письма. Отдельную трудность представляет определение границ репрезентативности. Все ли содержания сознания репрезентативны? Может ли ментальное состояние, в том числе состояние сознания, будучи репрезентативным не быть в собственном смысле – т.е. феноменально – содержательным состоянием? Должно ли репрезентативное ментальное состояние с необходимостью быть концептуальным? Уместно ли говорить о репрезентативности качественных содержаний? От ответов на эти и другие вопросы в значительной мере зависит наша концепция ментального.

13.6.1 Язык мысли

13.6.1.1 Парадокс владения языком

Если сознание репрезентативно, а сами объекты в мире никак не могут быть содержаниями сознания, что-то в нас должно играть роль посредника или инструмента репрезентации, аналогичную языку. В известных нам языках репрезентация обеспечивается, согласно нашим презумпциям, оперированием конечным числом символов по правилам, число которых также ограничено. Соответственно, по аналогии, наша ментальная структура репрезентации должна включать некие аналоги символов и правил их сочетания, причем такого сочетания, которые могло бы обеспечивать репрезентацию. Следовательно, сознание должно располагать «инструментарием» правил оперирования своими символами (таких, например, как «правила» интерпретации символов, т.е. собственно распознавания той репрезентирующей информации, носителями которой они являются). Но аналогия сознания с языком вызывает определенные трудности. Что это может быть за язык? Что может быть его символами и что – правилами; и какая абстракция языка годиться для применения в теории репрезентирующего сознания? Базисный парадокс, связанный с пониманием связи языка и сознания, заключается в том, что в равной степени интуитивно очевидно как то, что все известные нам языки суть языки, подлежащие *изучению* (может быть, кроме машинных языков для машин), так и то, что язык – важнейший элемент обучения, по крайней мере, сложным, требующим применения разумных способностей навыкам, в первую очередь, мышлению, поскольку последнее состоит в значительной степени в способности делать вывод. Многие мыслители

считают, приписывая источник этой идеи взглядам «позднего» Виттгенштейна, что язык вообще как таковой возможен *только как изучаемый* язык. Известные нам языки делятся на естественные и искусственные, но и те, и другие относятся к, так сказать, публичным языкам, т.е. языкам, владение которыми и возможность знать которые предполагает наличие какого-либо адекватного социолингвистического контекста: т.е. уже должен существовать либо этот язык, либо какой-то другой язык, которым владеют другие существа, сосуществующие данному. Субъект должен быть способен к таким формам взаимодействия с другими, чтобы при этом обеспечивалось освоение хотя бы минимальных языковых навыков. Вполне правдоподобно, что результатом такого взаимодействия может быть формирование у субъекта языка, значительно отличающегося от исходного языка «учителей»; однако, существенно, что источником или основанием этого языка все равно будет *уже существующий* язык. Таким образом, знание языка с этой точки зрения всегда предполагает *предсуществование* некоего языка. Критика Витгенштейна направлена, в частности, на утверждение невозможности так называемого индивидуального или частного языка – языка, который был бы выработан для себя субъектом в отрыве от какого-либо сообщества и, соответственно, от знания какого-либо публичного языка на основании одного только его персонального опыта об окружающем его мире.

С точки зрения бихевиористской концепции обучения первый, родной язык изучается путем закрепления социально востребованной вербальной реакции посредством манипулирования стимуляцией. Между тем, если сознание понимается когнитивистски, то оно должно быть системой, способной к информационному процессированию, т.е. к оперированию *интерпретируемыми* символами. Так, входные данные суть символы, репрезентирующие воспринимаемые объекты, в том числе и значения выражений публичного языка. *Интерпретируемость* входных данных предполагает, что система (например, перцептивная) имеет с ними дело не только (и, возможно, не столько) как с физическими или физико-химическими структурами, но и (и даже, в первую очередь) как с носителями информации; и именно информационные свойства данных на входе ответственны за выходные данные и характер изменения состояния системы. Если интерпретация данных есть функция языка (а это – наша базисная аналогия), то какая-то система должна обеспечивать *перевод* тех поступающих «на вход» данных, которые представляют собой символы какого-нибудь публичного языка, на язык мысли, а результаты работы последнего – снова на какой-либо из публичных языков. Когда говорят о языках такого рода, обычно используют термин *метаязык*: это язык, на котором записаны семантические определения для языка объекта – например, даны спецификации объемов его предикатов – или правила перевода с одного языка на другой. Но в отличие от знакомых нам метаязыков, которые мы конструируем из наличного материала, т.е. используя другие, уже существующие языки, ответственная за перевод часть языка мысли не может быть чем-то, что формируется из других языков, чем-то конструируемым; и *он уже должен быть* для того, чтобы собственно обучение какому-либо публичному языку могло хотя бы начаться. Если так, то этот язык не может быть версией какого-либо публичного языка, иначе он должен был бы быть каким-либо образом *прежде изучен*. Но если допустить, что он как-то прежде изучен, придется допустить, что, если механизм его изучения такой же, как в случае с другими языками, его изучение также предполагает

использование внутренней структуры интерпретации данных и перевода, т.е. такого же или другого подобного (по своим функциям) аналога языка. Такой порядок рассуждений предписывает, следовательно, бесконечный регресс как следствие сочетания когнитивистской модели обучения и устоявшихся представлений о языке.

Устранение этой трудности обычно отождествляют с переинтерпретацией языка мысли как не публичного, а *частного* языка, т.е. такого, который не принадлежит к классу подлежащих изучению или, иначе, приобретаемых посредством изучения. Таким языком может быть только *врожденный* организму язык или, иначе, репрезентативный код. Кроме того, такого рода репрезентативная система (*ментализ*, как ее еще называют) должна быть такой, чтобы выражения любого естественного языка могли быть выражены на нем[75].

13.6.2 Репрезентативность и концептуальная структура сознания

13.6.2.1 Репрезентативность перцепции

Предположительно, сознание имеет дело с разнородными содержаниями; не со всеми из них оно, похоже, имеет дело в одном и том же смысле – в частности, скорее всего, не все из них оно *сознает*. Вероятно также, не все виды содержаний, приписываемых сознанию, имеют репрезентативный характер, т.е. представляют нам некую реальность, пусть даже и крайне смутно. Например, качественное содержание – *Qualia* – тоже в некотором смысле является содержанием сознания: не исключено даже, что оно в принципе осознаваемо. Но их репрезентирующий статус может быть поставлен под сомнение. Действительно ли верны наши предположения, что *Qualia* – это как раз в общем виде те содержания, которые *репрезентируют* первичные или вторичные качества предметов, с которыми наше сознание (интенционально) соотнесено? Ответ на этот вопрос может зависеть от того, например, насколько жестко мы различаем между феноменальными и репрезентирующими характеристиками сознания и – насколько мы склонны относить *Qualia* к первым. Феноменальные характеристики обычно полагаются доступными только интроспективно самому субъекту, состояние которого они характеризуют. Утверждается, что именно качественный характер, например, боли, понятый как не репрезентативное свойство, *единственно* ответственен за ее феноменальное содержание. Если так, то ответить на вопрос, что такое такое-то ментальное состояние данного субъекта (в такой-то период времени или в такой-то ситуации), можно только будучи этим субъектом в данных обстоятельствах. Противоположная точка зрения наделяет даже феноменальные характеристики сознания репрезентативностью. Так, возражение может иметь такой, например вид: – «Репрезентативная теория боли и ее феноменальный характер»): «[болевые] качества, которые я переживаю …, переживаются *как* свойства, инстанциированные в определенной части моей спины, а не как неотъемлемые свойства моего переживания. Поскольку может быть так, что в действительности с моей спиной все в порядке, качества не обязаны быть действительными свойствами моей спины. Скорее они являются свойствами, которые мое переживание *репрезентирует* как такие, токены которых имеют место в моей

[75] См.: J. Fodor, The Language of Thought, N. Y. Crowell, 1975, особенно: Ch. 2.

спине... Более того, эти свойства не являются неотъемлемыми свойствами моего переживания, которые я ошибочно проецирую на часть моего тела… Таким образом, феноменальный характер моей боли интуитивно является чем-то, что дано мне через интроспекцию того, *что* я переживаю, имея эту боль. Но то, что я переживаю есть то, что репрезентирует мое переживание. Следовательно, феноменальный характер репрезентативен»[76].

Обычно между перцептивными содержаниями и содержаниями полаганий, желаний, интенций и других так называемых пропозициональных установок проводят довольно строгое различие, хотя и те и другие могут быть с равным основанием (хотя не обязательно в одном и том же смысле) описаны как интенциональные. Два взаимосвязанных вопроса относительно перцептивных содержаний непосредственно следуют из этого различения: 1) являются ли они так же, как содержания пропозициональных установок, концептуальными содержаниями – т.е. участвуют ли значения какого-либо публичного языка в их конституировании – и 2) если они имеют репрезентативные свойства, т.е. представляют мир как существующий определенным образом, то аналогичны ли эти свойства репрезентативным свойствам пропозициональных установок или принципиально отличаются от них? Одна точка зрения на перцептивные содержания – отождествлять их с содержаниями суждений, которые субъект мог бы вынести (относительно воспринимаемого), принимая, что данный опыт есть именно восприятие (а не, скажем, игра воображения). Содержание, например, моего ощущения шершавой поверхности стола тогда будет тождественно содержанию суждения, выражаемого утверждением «Это – шершавая поверхность стола» (или «Я сейчас ощущаю шершавую поверхность стола») тогда и только тогда, когда я демонстрирую соответствие формулирования этого утверждения случаям буквального (т.е. не принимаемого мною за что-то отличное от восприятия) восприятия шершавой поверхности стола. Далее, если способность или склонность выносить определенное суждение в определенных обстоятельствах принимается как достаточное условие наличия у субъекта полагания, содержанием которого является данное суждение, то перцептивные содержания в общем и целом сводятся к содержаниям полаганий. Это – случай *концептуалистской* трактовки перцептивных содержаний. С этой точки зрения, субъект, в принципе, не может иметь содержательного перцептивного опыта такого, для спецификации (перцептивного) содержания которого у субъекта не было бы подходящих понятий. Т.е. публичный язык, которым владеет субъект, его богатство и категориальная структура определяют при таком подходе, какой перцептивный опыт субъект может иметь, а какой нет.

С противоположной точки зрения, перцептивное содержание не является концептуальным, т.е. не тождественно содержанию суждения, являющегося артикуляцией этого содержания в стандартных случаях. Это значит, что субъект, с этой точки зрения, может иметь опыт с определенным перцептивным содержанием, даже не обладая вообще понятиями, которые можно было бы применить для спецификации содержания этого опыта. Стандартное различение между уровнями восприятия и суждения, соответственно, здесь предлагается такое: опыт может представлять субъекту мир как содержащий что-то квадратное впереди; субъект может принять этот опыт как представляющий мир как он есть и

[76] M. Tye, ‘A Representational Theory of Pains and their Phenomenal Character’, J. Tomberlin (ed.), Philosophical Perspectives, Vol. 9, Atascadero: Ridgeview Publishing Co., 1990, 236.

вынести суждение, что что-то квадратное (действительно) находится впереди. Вынесение этого суждения требует обладания понятие квадратности (бытия квадратным) и способности его применять, но простое переживание такого опыта этого не требует[77]. Но в каком смысле перцептивное содержание может быть не концептуальным и в то же время репрезентативным? Одно предложение состоит в утверждении, что такие содержания определяются тем, какие способы заполнения пространства вокруг воспринимающего соответствуют правильности этого репрезентативного содержания. Его автор – Кристофер Пикок – назвал это *сценарным содержанием*. «Идея состоит в том, что содержание включает пространственный *тип* – то, подо что подпадают только те способы заполнения пространства вокруг воспринимающего субъекта, которые совместимы с правильностью содержания»[78]. Этот пространственный тип, конечно, нуждается для своей спецификации в концептуальном аппарате, но совершенно не обязательно, чтобы это был концептуальный аппарат, которым владеет сам субъект восприятия: необходимый аппарат может быть очень утонченным, тогда как концептуальные ресурсы субъекта восприятия могут быть весьма скудными. Вопрос тогда можно переформулировать так: может ли субъект иметь восприятия, для спецификации содержания которых у нас вообще нет в распоряжении языка нужной сложности? Когда такого языка нет среди доступных субъекту (или доступных на данный момент) языков – один вопрос, когда не доступен нам в принципе – другой.

Другое предполагаемое отличие репрезентативного характера перцептивных содержаний состоит в том, что они не являются *включающими объект* (object-involving), т.е. не определяются тождествами конкретных воспринимаемых объектов (точнее таких, которые могут фигурировать как объекты восприятия, дающего такое содержание), но при этом полностью отвечают условию репрезентативности. В самом деле, содержание, которое может описываться как нечто квадратное впереди, может быть интенционально связано с каким-то квадратным объектом впереди, т.е. быть содержанием восприятия этого объекта, *или же* может быть так связано с каким-то другим объектом, в силу дополнительных факторов воспринимаемого как квадратный объект впереди. Содержание в обоих случаях может быть идентичным при разных интенциональных объектах; а следовательно, тождество интенционального объекта не может быть достаточным условием тождества содержания. Современные попытки прояснить эту идею не включающих объект репрезентативных содержаний в основном предпринимаются в рамках когнитивистских концепций сознания. Так, Гарет Эванс проводит аналогию между бессознательными информационными процессами и восприятиями: «Когда мы приписываем мозгу компьютационные состояния, посредством которых он локализует (в пространстве) воспринимаемые звуки, мы *тем самым* аттрибутируем ему репрезентации скорости звука и расстояния между ушами, не принимая на себя обязательств приписывать ему способность репрезентировать скорость света или расстояние между какими-то еще вещами …. Вообще мы можем рассматривать перцептивный опыт как информационное состояние субъекта: оно имеет некоторое *содержание* – мир некоторым образом репрезентирован – и

[77] См.: M. Davis, ‘Externalism and Experience’, A. Clark, J. Ezquerro, and J. M. Larrazabal, Philosophy And Cognitive Science: Categories, Consciousness, and Reasoning, Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 1996, 1 – 33.
[78] C. Peacocke, A Study of Concepts, Cambridge, MA.: MIT Press, 1992, 61 – 62.

соответственно допускает непроизводную классификацию себя как *истинного* или *ложного* … Информационные состояния, которые субъект получает через восприятия, *не концептуальные* или *не концептуализуемые*»[79]. Отличие не концептуального перцептивного содержания от не концептуального содержания бессознательных информационных процессов, по Эвансу, состоит в том, что иметь пространственно значимую перцептивную информацию значит, по крайней мере отчасти, быть расположенным производить определенные действия, т.е. иметь определенные поведенческие диспозиции (например, держать глаза открытыми). Но связь между информационными состояниями и поведением может иметь место, даже если нет никакого сознательного субъекта и, соответственно, никаких перцепций. Раз так, то еще какое-то условие должно выполняться, чтобы можно было приписывать не концептуальные перцептивные содержания: информационные состояния не только должны быть связаны с поведенческими диспозициями, но и должны служить входными чувственными данными (sensory inputs) *мыслящей и применяющей понятия системы*. Внутренними состояниями этой системы являются, в частности, суждения или полагания: иметь (сознательное) перцептивное содержание – характеристика такой системы. Если суждение основывается на информационных состояниях определенного вида или, иначе, надежным образом вызывается ими, то можно говорить о том, что определенная информация о мире (бессознательная репрезентация) «доступна» субъекту, а также – о наличии сознательного опыта.

Все такого рода утонченные построения имеют своей целью, в конечном счете, продемонстрировать возможность не концептуального опыта, т.е. в определенном смысле возрождение верификационистской концепции чувственных данных. Но если признать, что существуют не концептуальные перцептивные содержания, то на каких основаниях можно приписывать им репрезентативность? Ведь проблема классического верификационизма во многом как раз и заключалась в том, что идея прямого концептуально не опосредованного доступа к предполагаемым содержаниям такого рода как к основаниям именно репрезентативной адекватности других содержаний не оправдала себя. Есть серьезные основания сохранять убежденность в том, что репрезентативность начинается только на концептуальном уровне, несмотря на аргументы в пользу существования эпистемически значимых не концептуальных содержаний.

13.6.2.2 Концептуальные условия репрезентативности восприятия

Насколько перцептивное содержание обусловлено концептуальной схемой воспринимающего и, соответственно, значениями понятий его языка или, наоборот, свободно (по крайней мере, до какой-то существенной степени) от такого влияния? Так, традиционно различают между первичными и вторичными качества, где первые характеризуют сами вещи, а вторые – лишь представления вещей в сознании. Этому делению в общем соответствуют и наши языковые привычки: нам кажется абсурдным всерьез претендовать на то, что мы описываем нечто, говоря «квадратный образ». Нам кажется интуитивно более правильным говорить «образ чего-то квадратного». Но вполне нормально звучит для нас выражение «синий образ» и не вполне корректно – «образ синего». Если исходить из способа описания, то не всякий перцептивный опыт репрезентативен, даже

[79] G. Evans, The Varieties of Reference, Oxford, Oxford University Press, 1982, 104, n. 22.

если в целом репрезентативность восприятия признается. Цветовое содержание образа, например, не определяется, согласно этой концепции, репрезентацией какого-то определенного цвета. Если мы хотим утверждать, что все подлинно перцептивные содержания репрезентативны, мы, скорее всего, не должны поддерживать это разграничение между первичными и вторичными качествами. Можно, например, настаивать на том, что если даже цветовое содержание в принципе не определяется репрезентацией, если не факт репрезентации определенного цвета в данном фрагменте опыта является источником данного цветового содержания, то все равно репрезентация какого-то цвета ответственна за специфику этого содержания. Но признать это означает признать, что говорить «синий образ» в дескриптивном контексте некорректно, если только под словом «синий» не подразумевается что-то, отличное от того, что оно обозначает, когда предицируется объектам (вроде неба, моря и тому подобного). Одна теория того, что может значить «синий» применительно к образу или перцептивному содержанию, утверждает, что его следует расшифровывать как «репрезентирующий (нечто) действительно синее»[80]. Но в этом случае мы сталкиваемся с трудностью, которую некоторые готовы счесть серьезной: если имеется синий квадратный образ, который, конечно, не является в буквальном смысле синим и, тем более, квадратным, то, согласно данному предложению, его правильным описанием будет: «репрезентирующий нечто действительно синее и репрезентирующий нечто действительно квадратное». Но при таком описании нет никакой необходимости, чтобы этот образ репрезентировал одну вещь, а не две разных вещи, одна из которых синяя, а другая – квадратная[81]. Другое предложение исходит из того, что правильная логическая форма описания репрезентативности содержания *F* такова: «репрезентирующий, что нечто есть *F*» (т.е. представляющий нечто как обладающее соответствующим свойством). В этом случае синий квадратный образ будет интуитивно вполне корректно пониматься как образ, репрезентирующий, что нечто является как квадратным, так и синим. С этим коррелирует тезис, что подход к раскрытию репрезентативности ментальных содержаний через демонстрацию логики их описаний не накладывает на репрезентативистскую теорию ментального обязательства, предписывающего ограничить возможность иметь то или иное содержание условием владения концептуальным аппаратом достаточной сложности. Так, Макл Тай, защищающий это предложение, пишет: «Утверждение, что вторичные образы являются репрезентативными … не имеет своим следствием и не предполагает, что живые существа не могут иметь вторичных образов, если они также не имеют соответствующих понятий …. Обладание понятием *F*, с некоторых точек зрения, требует наличия способности правильно употреблять термин языка '*F*'. С других точек зрения, обладание понятием требует способности репрезентировать в мыслях и полаганиях, что нечто соответствует этому понятию. Но вторичные образы, подобно другим перцептивным ощущениям, сами не являются мыслями или полаганиями; и они, конечно, не требуют публичного языка»[82].

Из допущения восприятий как не концептуальных репрезентаций может следовать, а может не следовать, признание не интенциональности их содержания. Так, Тай – один из тех, кто считает, что всякая репрезентация по

[80] См.: N. Block, 'Mental Pictures and Cognitive Science', Philosophical Review, 93, 1983, 499 – 542.
[81] См.: M. Tye, 'A Representational Theory of Pains and their Phenomenal Character', J. Tomberlin (ed.), Philosophical Perspectives, Vol. 9, Atascadero: Ridgeview Publishing Co., 1990.
[82] Там же, 225.

своему существу интенциональна. С его точки зрения интенциональность не требует понятий; ключевой характеристикой ее является, по его мнению, репрезентация, а стало быть, возможность неправильной репрезентации. Аргумент в пользу этого может иметь такой вид: пусть ABC и CBA – два описания одного и того же треугольника; тогда ABC = CBA. Субъект может иметь образ этого треугольника, о котором правильно будет сказать, что это «образ, репрезентирующий нечто, являющееся ABC», но не правильно будет сказать, что это «образ, репрезентирующий нечто, являющееся CBA». Контекст описания образов и перцептивных содержаний, таким образом, может пониматься как интенсиональный. Но интенсиональность может рассматриваться как признак эквивалентности контекстам пропозициональной установки, т.е. контекстам полаганий, утверждений, мнений и тому подобного. Эти контексты интенциональны, т.е. подстановочность двух разных имен или описаний одного и того же в них зависит от интенциональных свойств субъекта – а именно от того, полагает ли он эти имена именами одного и того же. Развивая аналогию, можно перенести те же свойства и на контексты восприятия: подстановочность разных имен или описаний одного и того же на место друг друга в контексте описания восприятия здесь зависит от интенциональных свойств субъекта, а именно от того, воспринимает ли он CBA как тот самый объект, каким является ABC, или нет.

Вопрос о репрезентативности перцептивного опыта можно ставить и таким образом: если этот опыт не является по существу концептуальным, то как он может быть тогда репрезентативным? Ведь о репрезентативных свойствах опыта мы так или иначе судим *не иначе как* применяя к нему соответствующие дескриптивные термины – язык описания репрезентативности; а стало быть, владение этим специфическим языком для субъекта должно быть условием репрезентативности его содержаний (хотя степень необходимого и достаточного владения этим языком составляет отдельный вопрос).

Другой вопрос: если ощущения или чувственные данные играют существенную конституирующую роль в формировании перцептивного опыта и если верно, что ощущения не репрезентативны, то выводом из этого может быть феноменологическое утверждение, что перцептивный опыт, по меньшей мере, имеет два существенных аспекта – репрезентативный *и* чувственный, не сводимый к репрезентативному. Тогда показать, что перцептивный опыт в своем существе репрезентативен, хотя и не концептуален – это одно направление аргументации; а показать, что перцептивный опыт существенным образом определяется не только репрезентативными характеристиками, не только тем, *что* в нем представлено, но и его чисто чувственными характеристиками, тем, *как* в нем представлено нечто – другое. Так, Кристофер Пикок утверждает[83], что всякий опыт имеет не репрезентативные чувственные (sensational) характеристики: когда речь идет о существенных свойствах опыта (т.е. таких, которые «помогают специфицировать, что значит иметь этот опыт»), не для всякого перцептивного опыта верно, что эти его свойства не эксплицируемы без ссылки на репрезентативное содержание. Он вводит и критикует в этой связи *тезис адекватности*, предполагая, что все, кто считает, что содержание перцептивного опыта сводится к его репрезентативному содержанию, обязаны разделять этот тезис. Согласно этому тезису, полная существенная характеризация опыта может быть дана посредством подстановки в

[83] C. Peacocke, 'Sensation and Content of Experience: A Distinction', Sense and Content, Oxford: Clarendon Press, 1983, 4 – 26.

оператор, наподобие «визуально явлено субъекту, что … », некоторого сложного условия, относящегося к физическим объектам (например, «черный телефон впереди него»). Такое содержание может в равной степени быть содержанием как восприятия, так и галлюцинации. Это значит, что оно не должно быть ограничено качественными и релятивными свойствами внешних объектов. Другие замечательные черты такого опыта: содержание визуального опыта вращающейся слева направо комнаты можно отличить от содержания визуального опыта той же комнаты, но в случае вращения на месте самого субъекта справа налево. Спецификация содержания также может нуждаться в референциях к индивидам, особым местам и предметам – носителям собственных имен, – узнаваемых субъектом; и почти всегда в состав сложного условия, оговоренного тезисом адекватности будут входит индексальные слова, такие, как «теперь», «Я» (в форме и сочетании «передо мной», например), «здесь» и «там». Все эти элементы указывают на жесткую зависимость содержания перцептивного опыта от его репрезентативных характеристик. Если тезис адекватности ложен, как полагает Пикок, то перцептивный опыт не специфицируется исключительно репрезентативным содержанием. Например, Хинтикка может быть отнесен к приверженцам такого вида тезиса, когда он пишет: «Правильный способ говорить о наших спонтанных восприятиях – использовать тот же самый словарь и тот же самый синтаксис, который мы применяем к объектам восприятия …»[84].

В качестве примера не репрезентативного, но, тем не менее, существенного для спецификации перцептивного опыта, содержания может быть приведен, например, следующий. Предлагается представить себя стоящим на дороге, идущей вперед к горизонту прямой линией. На одной стороне дороги стоят два дерева, одно в ста метрах от субъекта, другое – в двухстах. Опыт репрезентирует оба дерева как имеющие одинаковую высоту и другие размеры; тем не менее, субъект имеет ощущение, что ближнее дерево занимает больше визуального пространства, чем дальнее. Утверждается, что это содержание не имеет репрезентативных коррелятов, т.е. что оно определяется не репрезентативными свойствами опыта, а его чувственными свойствами, тем, *каков* сам этот опыт безотносительно к тому, что он представляет[85]. В каком-то смысле это – классический пример, поскольку перспективность визуального опыта действительно обычно считается эффектом устройства нашего собственного зрения скорее, нежели репрезентацией каких-то внешних свойств. С другой стороны, возможно, воспринимая два дерева как имеющие одинаковые размеры, мы делаем скидку на расстояние между ними, т.е. интерпретируем реальные различия в опытных содержаниях, относящихся к этим деревьями как различия, репрезентирующие действительное тождество размеров; если бы не вовлеченная в формирование опыта идея расстояния между ними – если бы они, например, воспринимались как нарисованные на стене, – субъект мог бы вполне увидеть их как объекты (изображения) разных размеров. В этой связи можно было бы возразить, что различие в визуальном пространстве, занимаемом в опыте содержаниями, относящимися к двум деревьям, само может быть определено в терминах расстояния между репрезентантами этих содержаний и, т.о., это свойство отсылает к репрезентативному свойству опыта. Другого вида примеры

[84] J. Hintikka, ‘Information, Causality and the Logic of Perception’, The Intentions of Intentionality and Other New Models for Modality, Dordrecht: Reidel, 1975, 60.
[85] См.: C. Peacocke, ‘Sensation and Content of Experience: A Distinction’, Sense and Content, Oxford: Clarendon Press, 1983, 4 – 26.

дают эффекты глубины: так, известно, что бинокулярное видение может отличаться от монокулярного в отношении, скажем, одного и того же набора нарисованных на бумаге точек – при определенном расположении некоторых точек можно добиться того, что при бинокулярном взгляде на эту картинку одни точки будут казаться расположенными позади других, тогда как при монокулярном взгляде ничего подобного не происходит. Точки не воспринимаются при этом как действительно находящиеся одни позади других, т.е. ощущению глубины, которое характеризует бинокулярный визуальный опыт в таком случае, не соответствует никакое репрезентативное качество. Примеры третьего вида имеют своим источником так называемый опыт переключения аспектов видения. Равномерно освещенный проволочный каркас в форме куба может восприниматься в первый момент как имеющий одну свою сторону впереди другой, а в следующий – как имеющий противоположную сторону впереди первой. Эти последовательные опыты имеют разные репрезентативные содержания: две разные стороны куба репрезентированы как находящиеся впереди. Но при этом второй опыт может характеризоваться также ощущением, что в репрезентируемом объекте ничего не изменилось: и этому ощущению тождества, считает Пикок, не соответствует никакая репрезентативная характеристика.

Но если на предложенном основании отказаться от тезиса адекватности, то это может означать признание того, что есть существенные свойства перцептивного опыта, которые не могут быть когнитивно доступны никому, кроме самого субъекта этого опыта. Аргумент здесь такой: мы можем сказать, какого вида опыт некто имеет, если мы знаем его желания и интенции и обнаруживаем, что он предрасположен действовать определенными способами, если принимает свой опыт (определенного данного вида) таким, какой он есть. Если, например, он хочет отправиться в определенное место и выбирает короткий путь, кратчайший из доступных, но все же не прямой, мы можем иметь основания считать, что он имеет перцептивный опыт препятствия, стоящего на прямой между ним и его пунктом назначения. Эта гипотеза затем может быть эмпирически подтверждена. Если выводить утверждения о перцептивном опыте индивида из способов, какими его поведение согласуется с внешними обстоятельствами – единственный путь познания внутренних свойств опытов других, то, разумеется, нерепрезентативные свойства этих опытов будут непознаваемыми. Защитник тезиса чувственной специфики опыта может найти такой аргумент лишь поверхностно правдоподобным: но в любом случае ему надо показать, *как* можно знать чувственные характеристики чужого опыта. Пикок полагает, что «чувственные свойства опыта, подобно его репрезентативным свойствам, имеют надежные и публично идентифицируемые причины». Так, тот факт, что некий объект образует большой визуальный угол, может служить объяснением того, что этот объект занимает большее визуальное «пространство» (и основанием заключать об этой чувственной характеристике опыта), не будучи при этом репрезентативным основанием соответствующей чувственной характеристики. Если так, то не так очевидно, что чувственные свойства опыта в принципе в чем-то эпистемологически проблематичнее, чем его репрезентативные свойства. Если мы полагаем, что этот способ восприятия не имеет репрезентативных антецедентов, то мы можем считать, что он основан на определенных различающих привычках – привычках так, а не иначе группировать элементы в визуальном поле – сложившихся под воздействием социокультурных, биологических или каких-то иных факторов, или их сочетаний.

13.6.3 Интенциональное сознание

13.6.3.1 Концепция интенциональности

Обычный со времени Ф. Брентано способ говорить о репрезентирующем аспекте сознания, говорить о нем в терминах *интенциональности*, направленности сознания на свой предмет. Эту направленность на предмет или *бытие сознанием о чем-то* Брентано считал неотъемлемой и фундаментальной характеристикой сознания вообще, в том смысле, что без интенциональности нет и сознания. Но даже такая радикальная позиция не исключает вопроса о границах интенциональности: все ли без исключения, что может характеризоваться как феномен сознания, с необходимостью интенционально? Брентано так характеризует связь между сознанием и интенциональностью («Психология с эмпирической точки зрения»): «Каждый ментальный феномен характеризуется … интенциональным в-нем-существованием (inexistence) объекта и тем, что мы могли бы назвать, хотя и не полностью недвусмысленным образом, референцией к содержанию, направленностью на объект (который не следует здесь понимать как то же, что и вещь) …. Интенциональное в-нем-существование характеризует исключительно ментальные феномены. Никакой физический феномен не демонстрирует ничего подобного»; и – «никакой ментальный феномен невозможен без коррелирующего сознания»[86]. Между тем, идеи Фрейда понимаются некоторыми философами сознания в том смысле, что они демонстрируют возможность *интенциональных, но при этом бессознательных* ментальных феноменов. Так, Д. Фодор пишет: «Считалось универсально само собой разумеющимся, что проблема сознания и проблема интенциональности существенным образом связаны: что мысль ipso facto сознательна и что сознание ipso facto – сознание о том или ином интенциональном объекте. … Фрейд это представление изменил. Он показал правдоподобность того, что объяснение поведения может требовать постулирования интенциональных, но бессознательных состояний»[87]. Д. Серль возражает, формулируя так называемый *принцип связи*: «Только существо, способное иметь сознательные интенциональные состояния, способно вообще иметь интенциональные состояния, а всякое бессознательное интенциональное состояние является, по крайней мере, потенциально сознательным. … Есть концептуальная связь между сознанием и интенциональностью, следствием которой является то, что законченная теория интенциональности требует понятия сознания»[88]. В пользу этого действительно можно привести, по меньшей мере, два соображения: во-первых, о бессознательном вполне уместно говорить в терминах диспозиции стать объектом осознания; более того, не исключено также, что именно эта характеристика существенна для бессознательного. Во-вторых, само существование интенционального бессознательного – всего лишь гипотеза; более тщательное исследование соответствующих феноменов могло бы дать более четкие намеки на то, насколько здесь действительно мало сознания или, наоборот, насколько уместно здесь говорить об интенциональности[89].

---

[86] F. Brentano, Psychology from an Empirical Sandpoint, N. Y., Humanities Press, 1973 (оригинальное издание 1874 г.), 88 – 89, 121.

[87] J. Fodor, ‘Too hard for our kind of mind?’, London Review of Books, 13:12, 1991, 12.

[88] D. Searle, The Rediscovery of the Mind, Cambridge: MIT Press, 1992, 132.

[89] Более подробную экспозицию этих споров см.: G. Güzeldere, “Approaching Consciousness” (“The Many Faces of Consciousness: A Field Guide”), The Nature of Consciousness, N. Block, O. Flanagan, G.

Расшифровка интенциональности как направленности на объект также создает многосмысленность, поскольку «направленность на объект» может по разному пониматься относительно разных случаев. Например, испытывая страх и радость, некто, можно сказать, имеет чувство, направленное (интенциональное) в том смысле, что есть объект, внушающий радость или страх: такой объект может быть тождественен причине радости или страха, но, возможно, может и не быть тождественен такой причине. Любовь, очевидно, предполагает объект любви; также и ненависть. Во всех таких случаях идея направленности психического состояния на некий объект, похоже, имеет своим источником (или одним из важных источников) то, что можно назвать логической (или концептуальной) составляющей, а именно что указание на объект переживания требуется для более полной спецификации данного конкретного состояния сознания относительно данного конкретного индивида; это, можно сказать в духе аналитической традиции, наши обычные способы говорить о таких вещах. Известно, что не звучат абсурдными также и такие выражения как «беспричинный страх» или «беспричинная радость»; при этом, конечно, не имеют в виду, что у данного чувства нет физической или какой-либо актуальной причины, но лишь, что нет явного фигуранта, которого можно было бы подставить на место переменной в привычную форму описания для таких случаев «страх перед *x*» или «радость по поводу *y*». Но если взять состояние сознания другого вида: например, убежденность в том-то и том-то, – то относительно этих случаев смысл направленности такого состояния на что-либо будет несколько иным. Такие состояния больше располагают к тому, чтобы описывать их в терминах диспозиций: т.е. быть убежденным в том, что имеет место некое конкретное положение дело, не значит в каждый момент времени, пока данное состояние может быть приписано субъекту, думать о том, что данное положение дел истинно или испытывать некое чувство уверенности в том, что это так. Скорее, это предполагает способность утверждать, находясь в физическом и ментальном здравии, если спросят что-то соответствующее, выразить свою уверенность в том, что то-то и то-то. В этом случае, если состояние сознания и направлено на что-либо – скажем, на соответствующее положение дел – то не так, как радость направлена на объект радости. Во втором случае этот объект, можно сказать, непосредственно репрезентируется самим состоянием сознания; в первом же случае его репрезентация есть функция от эпизодов реализации соответствующей диспозиции. Но раз так, то в некоем собственном смысле (т.е. в том же, в каком направлены радость или страх) направленным на объект будет не само убеждение, а его артикуляция; убеждение же, если вообще направлено на объект убежденности, то – посредством возможности (реализующей эту направленность) артикуляции. Однако не исключено, что это различие в большей степени кажущееся, чем действительное.

Можно выделить три семейства теорий интенциональности: 1) натуралистические, предполагающие редуцируемость интенциональности к механизмам «превращения» объектов внешнего мира и их свойств в содержания сознания, а также одних содержаний в другие, описываемым целиком и полностью в терминах естественных наук (физики, химии, биологии); 2) феноменологические, оставляющие «за скобками» вопрос о том, какого рода сущностями являются интенциональные состояния (физическая у них природа или нет), концентрируясь

Güzeldere (eds.), A Bradford Book, The MIT Press, Cambridge, Masachusetts, 1997, 22 – 23.

только на том, *как* интенциональность действует феноменологически; наконец, 3) дефляционные. Последние, скорее, располагают к тому, чтобы трактовать их как концепции, нацеленные на устранение понятия интенциональности из номотетического психологического дискурса; в связи с этим, возможно, их не очень уместно включать в число теорий интенциональности. Идея заключается в том, чтобы ограничиться менее смутными или более интуитивно ясными с точки зрения теоретиков этого вида дескрипциями содержаний сознания в терминах привычных способов вести себя (в том числе употреблять выражения языка) в типических обстоятельствах. Так, Витгенштейн говорит о «таинственной связи между объектом и его именем»; он замечает, что ментальные активности желания и полагания выглядят таинственными и не эксплицируемыми, но это чувство таинственности возникает из ошибки, которая поддается исправлению: «Примитивная философия конденсирует все употребление имени в идею отношения, которое таким образом становится таинственным отношением»[90]. Путь, которым он предлагает развеять эту ауру таинственности – сконцентрироваться на изучении того, как мы в действительности употребляем имена или приписываем пропозициональные установки. Предположительно, этот способ формировать понятие содержания сознания, выводя утверждения о содержании сознания из соответствий данных наблюдаемого поведения принятым схемам интерпретации такого поведения в ментальных терминах, уязвим для критики того же рода, которой подвержен и бихевиоризм. Наконец, могут быть собственно дуалистические представления об интенциональности, понимаемой в этом случае как способность отличной от физической природы; однако, вряд ли какие-то из них имеют в современной философии вид *теории*.

Среди натуралистических теорий интенциональности можно различить *каузальные*, *функционалистские*, *компьютационные* и *телеологические*[91]. Функционалистские теории они определяют интенциональные состояния по их отношениям к входным и выходным данным и к другим функциональным состояниям. Компьютационные теории в общем и целом представляют собой применение машинной модели к интенциональным характеристикам. Каузальные теории определяют репрезентативные характеристики ментальных состояний в терминах причин этих состояний: появление коровы в поле зрения – причина появления соответствующих перцептивных содержаний; эти содержания и, соответственно, репрезентативные характеристики ментальных состояний, которым такие содержания соответствуют, определяются каузальными связями с объектами внешнего мира. Я могу видеть корову, думать о корове, референциально употреблять слово «корова» и т.д. – т.е. иметь переживание определенного репрезентативного вида – благодаря тому, что реальные коровы воздействовали на мои органы чувств, порождая во мне соответствующий набор переживаний и к этими переживаниям я учился применять также определенные слова и выражения, наделяя их, таким образом, референциальным содержанием («о корове»). Даже если мое перцептивное переживание фактически вызвано появлением чего-то другого, а не коровы, с точки зрения этого подхода, содержанием моего сознания (в этот момент) все равно будет *корова* в силу существующей каузальной связи между коровами и моими переживания данного

[90] L. Wittgenstein, The Blue and Brown Books, Basil Blackwell, Oxford, 1958, 172 – 173.
[91] Такую классификацию предлагает: C. McGinn, 'Consciousness and Content', The Nature of Consciousness, N. Block, O. Flanagan, G. Güzeldere (eds.), A Bradford Book, The MIT Press, Cambridge, Masachusetts, 1997, 295 – 307.

вида. Телеологические теории интенциональности отождествляют содержание ментального состояния с (примерной) направленной на мир (world-directed) биологической функцией этого состояния. Так, скажем, состояние желания имеет содержание, включающее *воду*, только тогда, когда это состояние имеет функцию заставить организм добыть воду (или сделать организм добывающим воду). Перцептивное переживание репрезентирует, скажем, квадратность, если только функция этого переживания – указывать на присутствие квадратной вещи в окружающем пространстве.

13.6.3.2 Внешние и внутренние условия репрезентации

Вопрос об условиях интенциональности можно расшифровать как вопрос об интенциональной спецификации состояний сознания, о том, что делает данное состояние состоянием с данным определенным содержанием, а не с другим. В ответе на этот вопрос различаются две противоположных позиции: *интернализм* (или, иначе, *индивидуализм*) и *экстернализм*. Интернализм (в самом общем виде) есть позиция, утверждающая, что содержания ментальных состояний и состояний сознания, в частности, определяются исключительно внутренними свойствами субъекта этих состояний. В частности, эта позиция может быть сформулирована как тезис *конститутивного индивидуализма*: «Согласно индивидуализму … все ментальные состояния (и события) человека или животного таковы, что нет необходимого или глубокого индивидуирующего отношения между нахождением индивида в состояниях соответствующих видов и физическим или социальным окружением этого индивида»[92]. С другой стороны, экстернализм утверждает существенную (преимущественно номологическую) связь между (интенциональными) содержаниями сознания и внешними факторами. Тезис *конститутивного экстернализма* гласит, что «… ментальная природа, по крайней мере, некоторых ментальных состояний (и событий) человека или животного такова, что *существует* необходимое или глубокое отношение между нахождением индивида в состояниях соответствующих видов и физическим или социальным окружением индивида»[93].

Если принимается, что существует различие между содержаниями сознания, соответственно, концептуального и не концептуального видов, то это ставит перед экстерналистом следующую проблему. Отличается ли экстернализм относительно не концептуальных перцептивных содержаний от экстернализма относительно концептуальных содержаний пропозициональных установок? Или, иначе, того же ли вида отношения с внешним миром (физическим или социальным окружением субъекта), что ответственны за индивидуацию содержаний его пропозициональных установок, или какого-то другого, ответственны за индивидуацию содержаний его восприятий (взятых в абстракции от суждений, «схватывающих» эти содержания)? Экстернализм относительно полаганий более или менее понятен: так, в этой роли может выступать простое утверждение, что данное состояние индивида является его полаганием, что *p*, если и только если это полагание связано с положением дел «*p*» каузальными отношениями правильного вида и индивид владеет концептуальным аппаратом, достаточно богатым для формирования суждения «*p*». Перцептивное содержание, если имеет принципиально не концептуальный характер, должно быть не зависимо от

[92] T. Burge, ‘Individualism and Psychology’, Philosophical Review, vol. 95, 1986, 3 – 45.
[93] Там же.

публичного языка. Но раз так, то нечего ожидать найти социальные внешние факторы, играющие индивидуирующую роль в отношении перцептивных содержаний. Кроме того, не будучи включающими объект содержаниями, перцептивные содержания не могут рассматриваться с экстерналистской точки зрения по аналогии с содержаниями полаганий еще и в том отношении, что последние являются включающими объекты в описанном выше смысле. Пример экстернализма для полаганий: «Если я смотрю на яблоко… и думаю «Это яблоко гнилое», а ты смотришь на нумерически отличное, но качественно неотличимое, яблоко и думаешь «Это яблоко гнилое», то даже если мы достаточно сходны по своим внутренним характеристикам, эти наши полагания будут иметь различные содержания благодаря нашим отношениям к различным яблокам. Мое полагание … есть полагание, правильность которого зависит от того, как обстоят дела с соответствующим яблоком: действительно ли оно гнилое. Твое полагание, напротив, таково, что его правильность индифферентна по отношению к тому, как обстоят дела с этим яблоком, но вместо этого зависит от того, как обстоят дела с другим яблоком. В этом смысле содержания наших полаганий включают объекты»[94]. Соответственно, экстерналист может утверждать, что? варьируя миры (структуры положений дел) относительно неизменных внутренних структур субъекта, можно получить соответствующую вариацию содержаний его полаганий. Но этот экстерналистский аргумент не работает в случае не включающих объекты перцептивных содержаний.

Достаточно очевидное интерналистское решение, между тем, таково: перцептивное содержание варьируется в зависимости не от того, каков мир, а от того, каким он *кажется* субъекту[95]. В этом случае, если субъект не различает между двумя объектами, то между опытами этих объектов нет феноменологического различия перцептивного содержания, что резко контрастирует со случаем, описанным выше. В качестве возражения против такого принципа индивидуации перцептивного содержания экстерналист может привести такой пример. В возможном мире w_1 – или даже в действительной ситуации – субъект *x* имеет опыт с определенным квантифицированным содержанием, например, опыт квадратного объекта определенного размера. Субъект двойник *x* – *y* – в другом возможном мире w_2 (или в возможной ситуации) имеет опыт такого же объекта, отличающийся своим содержанием, несмотря на тождество внутренних характеристик *x* и *y*. Еще больше экстерналист может утверждать, показав, что двойник *x* такой ситуации может иметь альтернативное содержанию сознания *x* содержание[96]. Пример такого рода приводит Т. Бердж[97]. В его истории индивид обычно воспринимает тени определенного маленького размера (О) как тени маленького размера («как они есть») – как О; но в какой-то момент случайно ошибочно принимает (С) – такого же размера выбоину – за О. В контрфактической ситуации (в другом возможном мире), согласно примеру, нет видимых (О): те впечатления, которые в действительной ситуации вызываются тенями данного размера и объясняются в терминах (О), в контрфактической ситуации вызываются такого же размера выбоинами и объясняются в терминах (С). В таком возможном

[94] M. Davis, 'Externalism and Experience', The Nature of Consciousness, N. Block, O. Flanagan, G. Güzeldere (eds.), A Bradford Book, The MIT Press, Cambridge, Masachusetts, 1997, 314.
[95] См.: G. Evans, The Varieties of Reference, Oxford, Oxford University Press, 1982, а также: C. McGinn, Mental Content, Oxford, Basil: Blackwell, 1989.
[96] M. Davis, 'Externalism and Experience', The Nature of Consciousness, N. Block, O. Flanagan, G. Güzeldere (eds.), A Bradford Book, The MIT Press, Cambridge, Masachusetts, 1997, 317.
[97] T. Burge, 'Individualism and Psychology', Philosophical Review, vol. 95, 1986, 39.

мире ситуация, предложенная в примере может иметь, по мнению Берджа, две интерпретации: либо индивид воспринимает выбоину как выбоину (просто нет ошибки восприятия, предполагаемой примером относительно действительной ситуации), либо он, по крайней мере, не воспринимает выбоину как тень (ошибка восприятия есть, но результирующее содержание во всяком случае не отсылает к понятию (О)). В любом случае, утверждает Бердж, контрфактический индивид-двойник отличается от фактического содержанием своего опыта относительно (С).

Интерналисткий ответ на это возражение может принять одну из двух форм. *Консервативный* ответ может состоять в отказе признавать, что контрфактическое содержание опыта индивида будет отличаться от действительного (относительно данного примера это означает утверждение, что опыт контрфактического индивида будет опытом тени определенного размера (опытом (О)). *Ревизионистский* ответ может состоять в отказе признавать экстерналистскую спецификацию опыта индивида в исходной (действительной) ситуации. Так ревизионист может согласиться, что *если бы* в данном примере индивид в действительности имел опыт тени, то опыт его двойника мог бы отличаться своим содержанием, но настаивать при этом на том, что спецификация действительного опыта как опыта тени не мотивирована. Как действительному субъекту, так и его контрфактическому двойнику правильнее будет в данной ситуации, с этой точки зрения, приписать одинаковое более общее содержание опыта: например, тень-или-выбоина[98]. Пример консервативного ответа[99]: представим себе, что различие между тенями и выбоинами очень важно для успешной адаптации организмов рассматриваемого типа: тени – важный источник прохлады и защиты от палящего солнца днем, а выбоины достаточно велики, чтобы причинять заметный вред здоровью организмов. В этом случае в действительной ситуации организм будет иметь диспозицию двигаться в направлении того, что воспринимается как тень и избегать того, что воспринимается как выбоина, т.е. опыт того типа, который обычно продуцируется тенями, будет в этом случае связан с определенными поведенческими диспозициями. В примере Берджа предполагается, что в действительной ситуации и в контрфактической индивиды имеют одни и те же поведенческие диспозиции. Поэтому, если в действительной ситуации, приняв выбоину за тень, он направиться к ней, чтобы укрыться от солнца и в конечном счете ошибка восприятия раскроется – ведь он имеет обе концепции, как тени, так и выбоины – то относительно контрфактической ситуации, где диспозиция искать укрытия от солнца сохраняется, и индивид-дубликат систематически спотыкается о выбоины и разбивает себе ноги, пытаясь укрыться от тени, мы должны будем заключить, считает Мэттьюз, что в этом окружении индивид воспринимает выбоины как тени или во всяком случае не как выбоины. Ревизионистский ответ[100] может состоять в следующем: если дано, что в контрфактической ситуации индивид не различает между тенями и выбоинами, можно с не меньшим основанием, чем то, на котором Бердж делает вывод о том, что субъект воспринимает выбоины как выбоины или не как тени, заключить, что такой контрфактический организм воспринимает и выбоины, и тени как инстанты одного

[98] M. Davis, 'Externalism and Experience', The Nature of Consciousness, N. Block, O. Flanagan, G. Güzeldere (eds.), A Bradford Book, The MIT Press, Cambridge, Masachusetts, 1997, 317 – 318.
[99] R. J. Matthews, 'Comments (on Burge's "Cartesian Error and the Objectivity of Perception")', R. H. Grimm and D. D. Merill (eds.), Contents of Rhought, Tucson, AZ.: University of Arizona Press, 1988, 77 – 86.
[100] Там же.

и того же типа сущностей: тогда содержанием опыта, вызванного (С), как в действительной, так и в контрфактичсекой, ситуации скорее следует считать одно и то же – содержание некоего типа, в объем описания которого входят как выбоины, так и впадины; можно также это содержание описать как «тень-или-выбоина».

Экстерналист может предложить, по меньшей мере, два решения или их комбинацию.

1. Пример Берджа построен таким образом, что экстерналистская позиция в нем представлена тезисом *каузальной совариации*, согласно которому содержание индивидуального опыта варьируется в зависимости от вариации каузальных антецедентов этого опыта. Стандартное возражение против этого тезиса, как мне кажется, составляют примеры «подмены»: предположим инопланетяне в тайне от людей истребили всех кошек и заменили их точными копиями-роботами – это случай изменения каузальных антецедентов, поскольку у последующих поколений людей те виды опыта, которые имели своими каузальными антецедентами живых кошек, будут иметь в качестве подобных антецедентов качественно неотличимых роботов-кошек (отличает их только их история, не известная людям и, пусть, структурные отличия такого уровня, что человеческой науке их не под силу выявить). Тезис сохранения тождества видов опытов можно здесь утверждать хотя бы на основании сохранения видов поведенческих диспозиций, связанных с впечатлениями такого рода (с опытом кошек). При этом, на каком основании можно утверждать, что и содержания соответствующего опыта в таком случае измениться вместе с подобным изменением в мире? Скорее уместно предположить, что содержание останется прежним. Экстерналист может отказаться от этого тезиса, сохранив при этом собственно экстерналистский подход, т.е. он может отказаться считать, что тезис каузальной совариации существенен для (или неотъемлем от) экстернализма: например, он может утверждать (как, судя по всему, делает Бердж), что какого угодно вида, не только каузальные, внешние факторы могут быть основанием спецификации перцептивных содержаний – например, эволюционные.
2. Пример Берджа был нацелен на то, чтобы продемонстрировать, что перцептивное содержание не следует нередуктивно (supervene) из внутренней конституции индивида в сочетании с его поведенческими диспозициями. Но сами поведенческие диспозиции могут интерпретироваться экстерналистски: производство поведения того или иного типа может рассматривать как зависящее не только от того, что происходит внутри субъекта, но и от внешних факторов. Если так, то можно утверждать, что поведение также варьируется в зависимости от определенных внешних изменений, тогда как внутренняя структура субъекта остается неизменной. Тогда можно, например, утверждать, что если уж так сложилось эволюционно, что субъекты в некоем возможном мире не различают между тенями и выбоинами, то они не могут *вследствие воздействия этих же эволюционных факторов* иметь те же поведенческие диспозиции относительно теней и выбоин, что и субъекты в действительном мире, пусть даже внутренне они – двойники; соответственно, в этом случае их адаптивность может не пострадать.

Спор о природе и условиях репрезентации в рамках философии сознания показателен не только как экспликация проблемы связи сознания, познания и окружающего мира, но еще и в отношении того места в структуре активно разрабатываемых в современной философии проблем проблемы сознания. Это – не только проблема психологии, но и, как минимум, эпистемологии и теории языка. Не удивительно, в частности, что язык, на котором ведется в современной литературе на эту тему, восходящей в той или иной степени к аналитической традиции, спор о ментальной репрезентации, во многом аналогичен языку и концептуальном ряду, на котором эксплицируются проблемы теории знания в их современной постановке. Так, «интернализм» и «экстернализм» – две базисные концепции как ментальной репрезентации, так и знания. И это не удивительно, учитывая, в какой мере знание, во всяком случае, в том смысле, который мы вкладываем в идею эмпирического знания, зависит от репрезентативной способности. Чем бы не завершился этот спор, он вряд ли может быть завершен в философии сознания, взятой отдельно от других дисциплин, нацеленных на прояснение или решение других современных фундаментальных философских проблем, прежде всего, конечно, эпистемологических. Пожалуй, от этих факторов перспектива развития данного вопроса даже больше зависит, чем от того, в какой степени прав или не прав, например, функционализм. Ведь, признавая репрезентативность ментального, уже нельзя, исповедуя физикализм, отождествлять репрезентативные ментальные состояния только с процессами в мозгу или нейронными состояниями; следует признать, что для идентификации таких состояний существенны те факторы, которые ответственны за его репрезентативность, интерналистские или экстерналистские. Защитник интернализма мог бы настаивать на тождестве факторов этого вида с нейронными процессами или состояниями, возвращая физикализму психонейронное тождество, но во всяком случае – не экстерналист.

***

Таким образом, мы рассмотрели в самых общих чертах эволюцию взглядов на проблему сознания и психологии в рамках аналитической философии; мы увидели, что они прошли вместе с ней трудный путь, от «простого» редукционизма и бихевиоризма, мотивированных позитивизмом, до более сложных решений, более соответствующих постпозитивистской парадигме. В заключение уместно коротко очертить критическую перспективу философии сознания. Критика недостаточности или избыточности теории относительно объема допускаемых ею ментальных сущностей опирается главным образом на два вида свидетельств: свидетельства, так сказать, парадигмальных случаев того, что действительно относится к ментальному или является существом с сознанием, и свидетельства практической рациональности. Но, как мы видели, по крайней мере, на примере общей критики функционализма, использование этих видов свидетельств оперирует разными «фрагментами» здравого смысла; и совершенно не обязательно, чтобы здравый смысл как некая совокупность идей представлял собой однородное и когерентное целое. Не говоря уже о том, что совершенно не обязательно, чтобы здравый смысл как источник обосновывающих или опровергающих теорию свидетельств (независимо от того, насколько он тождественен некоему повседневному социализуемому здравому смыслу или же некоему научному здравому смыслу, а насколько – латентно конструктивен) был адекватным источником знания о соответствующем предмете или надежности

желаемого вида. В связи с этим весьма вероятно, что относительно подходов, претендующих на понимание или объяснение ментального и сознания, соответствующие фрагменты здравого смысла (или же, может быть, здесь уместнее говорить о различных здравых смыслах?), скорее, находятся в конфликтном отношении, чем в отношении взаимной поддержки. Проблема сознания в аналитической философии выглядит (в том числе) как проблема согласования определенного набора идей. Не претендуя на полноту охвата, можно, тем не менее, утверждать, что этот набор включает следующие выводы и максимы:

1. Сознание должно быть понято (рационализовано или объяснено);

2. Понимание (рационализация, тем более – объяснение) предполагает, в том числе достижение консенсуса по ряду релевантных вопросов на специфицированном множестве субъектов. Научное объяснение сознания в этом смысле предполагает достижение научного консенсуса, или, по крайней мере, хорошую перспективу его достижения, по ряду вопросов, таких, как вопрос о критериях сознания[101].

3. Предварительный концептуальный консенсус требует понимать сознание как феноменальную сущность с определенными (или, скорее, определимыми) каузальными свойствами или ролями. Следовательно: а) объяснение сознания, скорее всего, не может быть исключительно феноменологическим и б) консенсус в науке по вопросу о сущности с каузальными свойствами с наибольшей вероятностью может быть обеспечен в рамках теоретизирования, исходящего из идеи материального сознания и опирающегося на концепцию его доступности эмпирическому исследованию.

На пути консенсуса, однако, встают философские аргументы, использующие два вида тестов на адекватность предлагаемого объяснения (будь то феноменологическое, структурное, функциональное или дефляционное объяснение): тест на практическую рациональность и тест на совместимость с набором или моделью парадигмальных случаев. Оба эти теста имеют в качестве источников своих проверочных данных и, соответственно, оценок здравый смысл. Но соответствующий здравый смысл может не быть когерентным целым и, применительно к существующей ситуации, скоре всего, таковым не является, что делает совместное применение тестов обоих видов рационально не применимым (если мы рассчитываем на достоверный и незаинтересованно полученный результат), а результаты их последовательного применения взаимно плохо совместимыми относительно требуемого вывода о поддержке или не поддержке объяснения или теории данного вида опытом соответствующего вида. Все это, похоже, предполагает необходимость более тщательного анализа и, возможно ревизии критериев проверки теоретических результатов, касающихся понимания и объяснения сознания на адекватность, а также, не исключено – более корректной формулировки требования объяснения для проблемы сознания. Задачи такого рода, однако, сами уже не относятся к сфере компетенции изучения сознания или философии сознания, а скорее, представляют собой метавопросы относительно

[101] Вероятно, вопросы онтологии сознания далеко не настолько существенны для науки о сознании, чтобы признавать онтологический консенсус достаточным условием консенсуса, требуемого для объяснения сознания, хотя они весьма существенны для философии.

этой группы задач и теорий. Сфера теоретической деятельности, к которой они относятся, скорее всего, есть теория или философия обоснования: дисциплина, нацеленная на выработку более или менее общих ответов на вопросы о критериях, достаточных условиях и тому подобных характеристиках консенсуса. Таким образом, если сказанное верно, то философия сознания имеет зависимый характер от философии обоснования.

14. Аналитическая философия и феноменология

14.1 Возможен ли диалог аналитической философии и феноменологии?

Рассмотрение традиции аналитической философии в данном контексте может оказаться небезынтересным в связи со следующим обстоятельством. Представляется весьма странным тот факт, что на фоне многочисленных компаративных исследований в области истории современной западной философии, ставших столь популярными в последней трети XX века, данная тема оказалась практически неразработанной. Между тем, никто не будет отрицать, что именно аналитическая философия и феноменология являются одними из самых авторитетных направлений в современной философии. Общее количество публикаций мыслителей, представляющих данные традиции, огромно, и, тем не менее, хотя бы намек на возможный диалог этих стилей философствования делают очень немногие. Так ли уж далеки по своим интересам эти школы, столь ли бессмысленными выглядят попытки некоторых аналитиков (а такие все же имеются) добиться к себе внимания со стороны феноменологов? «Такой проект — пишет Р. Рорти по поводу диалога традиций — имел бы смысл, если бы, как говорится, две стороны решали общие проблемы разными 'методами'».[1] Этот тезис кажется вполне вразумительным: именно при соблюдении указанных условий коммуникация между различными методами может оказаться продуктивной, так как позволит уточнить и обогатить решение общих проблемных ситуаций, основанных на тематическом единстве. Попробуем руководствоваться в дальнейшем обсуждении соотношения данных традиций указанным соображением американского философа и выделим в качестве главного вопроса следующий: как соотносятся между собой темы и методы исследований аналитической философии и феноменологии?

14.2 Тематическое единство традиций

Никто не станет спорить с тем, что термин "аналитическая философия" очень широк по своему значению. Существует большое количество тематических и методических оттенков[2] в исследованиях тех мыслителей, кого, так или иначе, причисляют к данному направлению в философии. И все же общее эпистемологическое ядро, «нерв» традиции не вызывает сомнений — это "лингвистический поворот" в философии, к которому напрямую причастны "классики" аналитической традиции: Г. Фреге, Б. Рассел, Д. Мур, Л. Витгенштейн. Стремясь все к той же "ясности и отчетливости" данного (как оказывается, изначальное эпистемологическое требование аналитической философии уже коррелятивно феноменологии) философ-аналитик, после совершения "лингвистического поворота", спрашивает уже не о мире самом по себе, а о том, что мы имеем в виду, когда говорим о мире, т.е. о смысле и корректности построения наших высказываний о мире.

---

[1] Рорти Р. Американская философия сегодня // Аналитическая философия (антология). М.: ДИК, 1998. с. 433 — 453.

[2] См. об этом: Tugendhat E. Description as the Method of Philosophy // Linguistic Analysis and Phenomenology. London and Basingstoke. The Macmillian press ltd, 1972. pp. 256 — 266.

Феноменолог, стремясь осуществить то же эпистемологическое требование, проводит редукцию. После проведения этой операции, феноменолог, также как и философ-аналитик, спрашивает не о мире самом по себе, а о том, каким мир предстает перед нами в наших интенциональных переживаниях, что мы имеем в виду, когда сознаем мир (в соответствии с декартовским cogito — воспринимаем, воображаем, вспоминаем, желаем, радуемся, любим и т.д.).

Лингвистическая и феноменологическая редукции (термин "лингвистическая редукция" используется некоторыми мыслителями, представляющими компаративный анализ традиций аналитической философии и феноменологии, для того, чтобы указать на "лингвистический поворот" с одной стороны и на его подобие феноменологической редукции с другой. Например, Д. Геймс в своей статье о Витгенштейне устанавливает такую аналогию, отдавая при этом приоритет лингвистической редукции: "...нетрудно заметить, каким образом витгенштейновская лингвистическая редукция, в определенных смыслах, могла показаться более привлекательной. Она намного проще, точнее, она менее запутана и легка для понимания. Слова, конечно, имеют свою мистическую сторону, но они все же кажутся менее неуловимыми, чем феномены"[3]) представляют собой эпистемологические процедуры критической или, как говорят феноменологи, трансцендентальной ориентации: в обоих случаях речь идет не о трансцендентном, самостоятельно существующем мире, а об имманентной данности мира в определенных, фиксирующих этот мир структурах — в языке и в сознании.

По мнению Д. Фоллесдаля, наилучшим способом выяснения возможностей диалога обсуждаемых традиций является сравнение интенционального анализа Э. Гуссерля — основателя феноменологии и семантического анализа Г. Фреге, стоявшего у истоков аналитической философии.[4] Здесь можно наиболее прозрачно увидеть истоки критической ориентации традиций, определить темы исследований и обнаружить корреляцию этих тем.

В обоих случаях мы сталкиваемся с определенной трехчленной эпистемологической конструкцией. В случае Гуссерля — это интенциональный акт — идеальное мыслительное содержание (сущность [Wesen], смысл [Sinn]) — интендированный предмет; а в случае Фреге – это определенный знаковый комплекс — смысл[Sinn] знаков – значение [Bedeutung] знаков.[5] Оба исследователя концентрируют внимание на тех медиальных элементах в своих эпистемологических конструкциях, которые фиксируют мир в качестве имманентной данности (для Гуссерля — в сознании, для Фреге — в языке). Тема исследования в обоих случаях — медиальный элемент, смысл. Эти элементы обнаруживают явную схожесть. Основываясь на общем неприятии психологизма в логике и математике, оба автора приписывают данному элементу статус идеального бытия и оба утверждают возможность непосредственного схватывания этого элемента в особом интеллектуальном опыте. Такие тезисы отчетливо противостоят психологизму, в котором утверждалось, что любое универсальное

[3] См.: Hems J. M. Husserl and/or Wittgenstein // Analytic Philosophy and Phenomenology. The Hague, 1976. pp. 56 — 84.

[4] См. об этом: Follesdal D. Introduction to Phenomenology for Analytic Philosophers // Contemporary Philosophy in Scandinavia. Baltimor and London: The Johns Hopkins press, 1972. pp. 417 — 429.

[5] См. об этом: Husserl E. Logische Untersuchungen. Max Niemeyer Verlag Tübingen, Bd. 2, Teil. 1, 1980. и Frege G. Über Sinn und Bedeutung // Zeitschrift fur Philosophie und philosophische Kritik 100, 1892. S. 25 – 50.

содержание является продуктом психической активности субъекта при обработке непосредственно данных чувственных содержаний (здесь, кстати, небезынтересно заметить, что на "праведный путь" антипсихологизма Гуссерля "наставил" как раз Фреге, опубликовавший критический обзор ранней работы Гуссерля "Философия арифметики", в которой автор придерживался как раз психологистической позиции).[6]

Далее, на основе идеального статуса смысла оба автора проводят четкое различение между схватыванием самого смысла и представлением, сопутствующих этому схватыванию, всевозможных ментальных образов, имеющих психологически субъективный, сиюминутный характер. Так Гуссерль в «Логических исследованиях» пишет: "Принадлежащая к данной ситуации цепь ощущений и образов переживаема..., но это не может означать, что эта переживаемая цепь ощущений и есть предмет акта сознания в смысле восприятия, представления или суждения, направленного на этот предмет".[7] Это вполне коррелятивно мыслям Фреге: "Представление субъективно: представление одного человека не то же, что представление другого, ...у художника, наездника и зоолога с именем "Буцефал" будут связаны, вероятно, очень разные представления. Тем самым представление существенно отличается от смысла знака...".[8]

Оба автора имеют похожее понимание отношения смысла к последнему элементу конструкции, обозначающему самостоятельную мировую предметность. Смысл представляет собой способ тематизации обсуждаемого предмета, то есть простое принятие предмета во внимание каким-либо особым способом. Здесь нужно заметить, что для Гуссерля этот пункт представляет принципиальную эпистемологическую позицию: смысл как универсальная структура антиципирует чувственное восприятие, т. е. не то чтобы смысл наклеивался на уже данные в ощущениях предметы как ярлык, но, напротив, он впервые формирует вещи, структурирует мир. Что касается Фреге, то он сам никогда вплотную не обращался к подобным вопросам, но зато на основе его теории смыслов языковых структур это сделали его последователи: «Милль считал, — читаем у М. Даммита — что мир предстает перед нами уже разделенным на предметы и все, что мы должны сделать — это научиться прикреплять определенный ярлык к определенному предмету. Но это не так: собственные имена, которые мы используем, и соответствующие общие термины определяют принципы, по которым это деление должно быть проведено, принципы, которые приобретаются в процессе употребления этих слов».[9]

И наконец, оба обсуждаемых автора сходятся в том, что смысл индифферентен по отношению к решению вопроса о реальном существовании или несуществовании сформированных посредством этого смысла предметов. Как для Гуссерля смысл усматривается с очевидностью вне зависимости от того, что он репрезентирует: реально существующий предмет или галлюцинацию, так и для Фреге сам смысл знакового комплекса не может быть описан как истинный или ложный, он также принимается во внимание как нейтральная данность. И эта мысль еще раз

[6] См. об этом: Frege G. Review of Dr. E. Husserl's "Philosophy of Arithmetic" // Mind, vol. LXXXI, № 323, 1972. pp. 321 – 337.
[7] Husserl E. Logische Untersuchungen. Max Niemeyer Verlag Tübingen, Bd. 2, Teil. 1, 1980. S. 161.
[8] Фреге Г. Смысл и значение // Фреге Г. Избранные работы. М.: ДИК, 1997. с. 28.
[9] Dummett M. Frege. Philosophy of Language. Harper & Row Publishers. New York; Evanston, San Francisco, London, 1973. p. 179.

подчеркивает подобие феноменологической редукции и «лингвистического поворота», осуществленного Фреге. Один из сочувствующих феноменологии американских философов Р. Соломон так пишет по этому поводу: «...это последнее обстоятельство, т. е. 'подавление' суждений [об истинности и ложности] в пользу нейтральных мыслей [речь идет о Фреге] является обозначением знаменитого Гуссерлева эпохе или 'заключения в скобки вопросов о существовании'».[10]

Стремясь к беспредпосылочности познания, выполняя Декартово эпистемологическое требование "ясности и отчетливости", феноменология в качестве темы исследования выбирает данные с очевидностью в сознании имманентные предметности — смыслы. Фреге, никогда не ставивший в открытой форме эпистемологических задач, по сути, сделал то же самое: в субъектно-объектной структуре познания он также выбрал медиальный элемент и приписал ему очень похожие характеристики. «Мы можем схватить, постигнуть или осознать предмет — пишет Р. Трагессер — не иначе как основываясь на ноэматическом конституировании смысла предмета сознания. Точно так же Фреге, отвергая корреспондентскую теорию истины, утверждает, что мы не можем схватить мир кроме как посредством смысла предложений».[11] Главное своеобразие Фреге состояло только в том, что он провел все исследование исключительно в лингвистической сфере, и, тем самым, пожалуй, впервые в западной традиции так отчетливо ввел в эпистемологическое исследование лингвистическую проблематику, положив начало "поворота к языку", осуществленного традицией аналитической философии: «Для Фреге первоначальной задачей в любом философском исследовании является анализ смыслов, ...до тех пор, пока мы не достигли удовлетворительного анализа смыслов соответствующих выражений, мы не можем ставить вопросы об оправдании и об истине, так как мы остаемся в неясности относительно того, что мы пытаемся оправдать или истинность чего мы пытаемся исследовать. Конечно, было бы абсурдным считать, что предшествующие философы практически не касались анализов смыслов: но Фреге был первым — по крайней мере, начиная с Платона — кто сделал четкое различение между этой задачей и последующим установлением того, что является истинным и каковы наши основания для принятия этого решения…».[12]

Если вслед за Д. Фоллесдалем признать то, что тематическая корреляция обсуждаемых традиций со стороны аналитической философии устанавливается именно в исследованиях Г. Фреге, то будет логичным предположить, что дальнейшее рассмотрение аналитической традиции на предмет нахождения коррелятивных с феноменологией тематических моментов должно проводиться путем отыскания у более поздних представителей этой традиции "фрегеанского стиля" исследования, т.е., прежде всего, путем отыскания подобия фрегеанской семантической дифференциации смысла и значения языкового выражения.

В одной из своих статей Г. Кюнг отводит роковую роль, определившую дальнейшее отсутствие диалога между аналитической философией и феноменологией, исследованиям Б. Рассела, после которых аналитическая

[10] Solomon R. Sense and Essence: Frege and Husserl // Analytic Philosophy and Phenomenology. The Hague, 1976. p. 47.
[11] Tragesser R. S. Husserl and realism in Logic and Mathematics. Cambridge University press, 1984. p. 12.
[12] Dummett M. Frege. Philosophy of Language. Harper & Row Publishers. New York; Evanston, San Francisco, London, 1973. p. 683.

традиция развивалась в противоположном направлении: «Самым крупным камнем преткновения в диалоге между феноменологией и логистической философией выступает то обстоятельство, что семантическая терминология обоих движений развивалась в противоположных направлениях. В логистической философии трехуровневая семантика знака, смысла и референта Фреге уступила место двухуровневой семантике знака и референта Рассела. В феноменологии же Гуссерля понятие 'смысла' было не отброшено, а расширено — в особенности посредством понятия 'ноэмы'».[13] Действительно, Рассел устранил из фрегеанской семантики тот самый медиальный элемент — основу тематической корреляции с феноменологией. Вместо фрегеанской дифференциации "Sinn" и "Bedeutung" он вводит единое, понятое явно натуралистическим образом, "meaning" — значение. В том случае, когда один из синтаксических элементов предложения является собственным именем, тогда, по Расселу, конституэнтой пропозиции будет не Sinn как у Фреге, а meaning — сам предмет реального мира. Ясно, что для Фреге, как и для Гуссерля, было бы совершенно неприемлемым, чтобы в идеальную сферу, какой является выраженная в предложении мысль (Gedanke), вдруг попадали бы реальные вещи: «Но, в любом случае, для Фреге совершенно ясно, что мысль не может иметь в качестве своей конституэнты референт какого-либо выражения в предложении. Мысль, выраженная в предложении 'Эверест — это самая высокая гора в мире' имеет своей конституэнтой смысл собственного имени 'Эверест': мысль не имеет в качестве конституэнты гору саму по себе — мысль не является вещью такого рода, частью которой может быть гора».[14]

Расселова семантика напрямую связала язык и мир реальных вещей, что позволило аналитику непосредственно иметь дело с самим этим миром. Это принципиально не устраивает феноменолога. Ведь операция феноменологической редукции остается для Гуссерля определяющей: «...феноменологическое эпохе... сдерживает признание бытийной значимости объективного мира и тем самым целиком и полностью исключает его из поля суждения, а вместе с ним также и бытийную значимость как всех объективно воспринимаемых фактов, так и фактов внутреннего опыта».[15] Неслучайно начало «Логико-философского трактата», в котором, на первый взгляд, Витгенштейн идет по пути Рассела, признается феноменологами явно наивным: «Для феноменолога – замечает П. Рикер – начало Трактата должно выступать в качестве ультимативного выражения 'натуралистической установки'».[16] Натуралистическая — если следовать Рикеровой интерпретации – онтология «Трактата» заключается в следующем: простые объекты (Gegenstanden) реального мира образуют между собой элементарную связь – событие (Sachverchalt); это событие адекватно изображается элементарной лингвистической картиной-предложением посредством его структуры, коррелятивной структуре события.[17] Однако существуют интерпретации, которые говорят о том, что онтология «Трактата» представляет собой лишь абстрактную модель логической системы. Попросту говоря, Витгенштейна совсем не

[13] Кюнг Г. Мир как ноэма и как референт // Аналитическая философия (антология). М.: ДИК, 1998. с. 302.
[14] Dummett M. Frege. Philosophy of Language. Harper & Row Publishers. New York; Evanston, San Francisco, London, 1973. p. 153.
[15] Гуссерль Э. Картезианские размышления. СПб.: Наука, Ювента, 1998. с. 84.
[16] Ricoeur P. Husserl and Wittgenstein on Language // Analytic Philosophy and Phenomenology. The Hague, 1976. p. 89.
[17] См.: Витгенштейн Л. Логико-философский трактат // Витгенштейн Л. Философские работы. М.: Гнозис, 1994. Ч 1. с. 6 – 12.

интересовал вопрос о том, какой онтологический статус имеют объекты и факты мира, что это: материальные субстанции, sense-data или же платоновские эйдосы. Скорее, его внимание сосредотачивалось на других проблемах – логическая структура мира и языка. Такой деонтологический тезис[18] хотя и не говорит ничего в пользу корреляции «Трактата» и феноменологии, но вместе с тем и не позволяет выстроить однозначную антифеноменологическую линию: Рассел – Витгенштейн.

Интригу же для сочувствующих феноменологии исследователей «Трактата» вносит то, что Витгенштейн вновь обращается к употреблению «Sinn» для фиксации соответствующей характеристики предложения языка. И Рикера, конечно, в первую очередь привлекает этот момент: «…менее реалистическая интерпретация формы отображения возникает вместе с репрезентацией возможности, несуществования и, прежде всего, с ложными репрезентациями. Здесь 'смысл' более не является чем-то общим, но представляет собой внутреннюю характеристику: могут быть репрезентации (Darstellung) без отображения (Abbildung). Это понятие Darstellung, как отличное от понятия Abbildung, наиболее близко к феноменологии (2.22; 2.221 – 2.224); оно достигает высшей точки в следующем утверждении: 'То, что образ репрезентирует [darstellt], есть его смысл' (2.221). Аналогично у Платона идея есть идея чего-то, но не с необходимостью чего-то такого, что есть. Здесь и начинается феноменология».[19] Однако в данном случае стоит предостеречь оптимистично настроенных сторонников корреляции вот в каком пункте: смысл у Витгенштейна не есть идеальное единство (как у Платона, Фреге или Гуссерля), смысл – это логическая форма предложения в ее проекции на мир. Здесь снова нет никаких онтологических характеристик, но уже по другой причине: логическая форма не представляет собой что-либо предметное, она – условие возможности предметности (см. в «Трактате» различение между тем, что предложение говорит (gesagt), и тем, что оно показывает (gezeigt)). Поэтому логическая форма и ее проективное отношение – смысл сродни, скорее, самому трансцендентальному субъекту феноменологии, а не тому, что ему противостоит предметным образом — универсуму смыслов (в Гуссерлевом понимании), имеющих онтологический статус идеального бытия.

Из наиболее известных мыслителей аналитической традиции, поддержавших фрегеанскую семантику, следует назвать М. Даммита, который говорит о философии даже не как о теории языка, а именно как о теории мысли о мире, что не может оставить равнодушным феноменолога: «Философия может быть принята нами только как то, что дает возможность овладеть ясным видением тех понятий, посредством которых мы думаем о мире, и таким образом достигнуть более точного схватывания того способа, каким мы репрезентируем мир в нашем мышлении».[20] К убежденным фрегеанцам можно отнести А. Черча, который занимался формализацией семантики Фреге средствами современной математической логики.[21]

---

[18] См. по этому поводу: Суровцев В. Автономия логики: Источники, генезис и система раннего Витгенштейна. Томск, 2001.

[19] Ricoeur P. Husserl and Wittgenstein on Language // Analytic Philosophy and Phenomenology. The Hague, 1976. p. 90.

[20] Dummett M. The Logical Basis of Metaphisics. Cambridge, Massachusetts; Harvard University Press, 1991. p. 1.

[21] См. по этому поводу: Church A. Introduction to Mathematical Logic, vol. 1, Princeton, 1956.

Г. Кюнг причисляет если не к фрегеанской, то, по крайней мере, к антирасселовской коалиции следующих философов: «Развитие логистической философии от Рассела к поколению Карнапа, Куайна и Гудмена характеризуется тем обстоятельством, что откровенный реализм Рассела уступил место более кантианской позиции: универсум рассуждений (соответственно: множество десигнатов) теперь уже не отождествляется простым образом с реальностью как она есть в себе. Вместо этого современные логистические философы обнаружили, что абсолютную реальность, «мир», можно описать в различных системах, универсумы рассуждений которых артикулируются различным образом».[22]

Р. Соломон делает очень сильное утверждение — современное употребление термина «proposition», широко распространенного в аналитической философии, аналогично как раз тому, как употребляли «Wesen» и «Sinn» Гуссерль и Фреге соответственно: «На сегодняшний день 'пропозиция' является самым употребимым именем для той особенной сущности, которая 'имеет значение', 'выражена' в предложении, истинна или ложна, но которая отлична от мировых объектов, выражающих предложений и от любых 'ментальных' случайностей (интенций, образов) той личности, которая 'удерживает' такую пропозицию. Другими словами 'пропозиция' ¯ это новое имя для Гуссерлевой ‘сущности’, фрегеанского ‘смысла’ или ‘мысли’...».[23]

Наконец, фрегеанскую семантику, так или иначе, поддерживают некоторые из тех мыслителей, которые обращаются к вопросам взаимоотношения аналитической философии и феноменологии. Здесь, кроме уже упомянутых выше Г. Кюнга, Р. Соломона, Д. Фоллесдаля, можно назвать такие имена, как К.-О. Апель[24], Д. Иде[25], Ф. Петти[26], Л. Хаапаранта[27]

14.3 Методологический плюрализм традиций

Теперь, после обсуждения тематических корреляций, рассмотрим методы исследований аналитической философии и феноменологии. Сначала следует ввести одно важное замечание относительно понимания термина "метод", которое должно играть существенную роль в уяснении методологического плюрализма исследуемых традиций. Следует различать:

1) метод как способ исследования темы, то есть применение определенной операции, позволяющей провести исследование; и

---

[22] Кюнг Г. Мир как ноэма и как референт // Аналитическая философия (антология). М.: ДИК, 1998. с. 307.

[23] Solomon R. Sense and Essence: Frege and Husserl // Analytic Philosophy and Phenomenology. The Hague, 1976. p. 50.

[24] **См.: Apel K.-O. Linguistic Meaning and Intentionality: The Relationship of the a priori of Language and the a priori of Consciousness in Light of a Transcendental Semiotic or Linguistic Pragmatic // Phenomenology and beyond: The Self and its Language. Dordrecht, Boston, London; Kluwer academic publichers, 1989. pp. 102 –118; Указать русский перевод.** Апель К.-О. Развитие «аналитической философии языка» и проблема «наук о духе» // Апель К.-О. Трансформация философии. М., 2001. с. 103 – 170.

[25] См.: Ihde D. Some Paralleles between Analysis and Phenomenology // Analytic Philosophy and Phenomenology. The Hague, 1976. pp. 56 — 84.

[26] См.: Pettit P. On Phenomenology as a Methodology of Philosophy // Linguistic Analysis and Phenomenology. London and Basingstoke. The Mcmillian press ltd, 1972. pp. 241 — 255.

[27] Haaparanta L. Analysis as the method of Logical Discovery: Some Remarks on Frege and Husserl // Synthese by Kluwer Academic Publishes 77 (1988). pp. 73 — 97.

2) метод как то, что можно было бы назвать *подходом к проникновению* в тематику исследования, то есть рассмотрением исследуемого предмета с какой-либо определенной стороны, с определенной точки зрения на этот предмет.

В случае аналитической философии и феноменологии имеется согласие в первом и плюрализм во втором.

И философ-аналитик и феноменолог для обозначения того, каким способом они исследуют свою тему (поле смыслов), используют термин "дескрипция". При этом для феноменолога дескрипция не означает непременно описание данного в прямом смысле этого слова, то есть репрезентацию имманентной данности в языке. Термин "дескрипция" призван обозначить дистанцирование феноменологического метода от каузального объяснения — метода естественных наук, то есть сведения какой-либо данности к тому, чем она сама по себе не является. С этим дистанцированием согласны и аналитики. Думается, что мнение Витгенштейна здесь звучит убедительно: «...она [философия] никогда не может быть нашей работой по сведению чего-либо к чему-то другому, или объяснения чего-либо. Философия, на самом деле, является 'чисто дескриптивной'».[28] Поэтому термин "дескрипция", употребляемый аналитиками и феноменологами в достаточно широком смысле — это простое прояснение и схватывание данного, ответ на вопросы "что это такое?" и "как это дано?", в противовес каузальному "почему?". Э. Тугендхат так пишет по этому поводу: «...прояснение [clarification] есть то, что философы, такие как Гуссерль или Витгенштейн, обозначают, когда говорят о дескрипции как о единственно адекватном философском методе».[29] И еще: «Прояснение того, что мы понимаем – это то единственное, что мы можем делать в философии. Вопрос *почему* является неприемлемым. В этой основной методологической концепции феноменология и британская философия, как мне кажется, согласны».[30]

Используя один и тот же способ исследования, обсуждаемые традиции демонстрируют различные методологические подходы к единой теме. Аналитическая философия исследует поле смыслов через язык. Здесь проводится дешифровка формальных структур языка и прояснение смысла каких бы то ни было высказываний о мире. Феноменология пытается дать описание смыслового поля через исследование сознания. Здесь проводится ноэтико-ноэматическая дескрипция, то есть описание интенциональных переживаний трансцендентального сознания вместе с их предметным, ноэматическим полюсом — смыслом.

Именно за счет разницы в методологических подходах обсуждаемые традиции, несмотря на принципиальную корреляцию тематики, в одном важном пункте исследования приписывают различные характеристики смысловым образованиям. Феноменология наделяет смысл прелингвистической характеристикой, то есть утверждает, что принятие во внимание смыслового образования возможно вне языкового опыта. Язык вступает в права носителя смысла на уровне межсубъектной коммуникации, в сугубо же субъективном опыте внимание к ноэтико-ноэматическим переживаниям происходит вне языка: «В монологе слова не могут исполнять функцию, указывающую на существование ментальных актов,

[28] Wittgenstein L. The Blue and Brown Books. Oxford, 1958. p. 18.
[29] Tugendhat E. Description as the Method of Philosophy // Linguistic Analysis and Phenomenology. London and Basingstoke. The Macmillian press ltd, 1972. p. 262.
[30] Ibid., p. 284.

такая индикация здесь совершенно бесполезна. Эти акты сами по себе переживаемы нами в каждый данный момент».[31] И хотя Гуссерль и начинает свои «Исследования» с языка, тем не менее видно, что выявление идеального значения языкового выражения Гуссерлю необходимо как «трамплин», с которого он стартует в сферу внелингвистического описания интенциональных актов и их содержаний. Аналитическая философия, напротив, настаивает на том, что любое смысловое образование имеет имплицитную лингвистическую характеристику. Принятие во внимание какого-либо обстояния дел возможно только посредством обращения к соответствующему пропозициональному содержанию, выраженному определенной языковой сентенцией: «Языковой предел — утверждает Витгенштейн — полагается невозможностью описать факт, который соответствует предложению, без повторения этого предложения».[32]

Если принять предложенную интерпретацию, которая фиксирует тематическое единство и методологический плюрализм аналитической философии и феноменологии, то можно наметить весьма интересные перспективы возможного диалога. Далее укажем на некоторые из них.

14.4 Перспективы компаративных исследований: возможности аналитической философии

Для феноменолога не лишним будет обратить более пристальное внимание на лингвистическую «окраску» конституируемых феноменов. Если языку будет уделено соответствующее аналитическим взглядам внимание, то главными темами обсуждения станут, например, не вопросы о том, как осуществить феноменологическую редукцию, а следующие вопросы: как эта главная методическая операция феноменологии может быть выражена в языке? Каковы те формальные структуры языка, которые позволяют (или, напротив, не позволяют) произвести лингвистическую манифестацию редукции? Компаративный анализ показывает очень интригующие результаты в этом направлении. Остановимся на них чуть подробнее.

Во втором томе «Логических исследований» Гуссерль, выстраивая иерархию качественных форм интенциональных актов, вводит следующие различения. Основополагающей формой любого интенционального акта признается та, которая имеет качественную характеристику чистого представления [blosse Vorstellung]. На этом уровне интендирования происходит схватывание чистого ноэматического содержания (или «материи» интенциональной сущности — как высказывался Гуссерль в «Логических исследованиях»). Какое-либо обстояние дел [Sachverhalt] просто принимается во внимание и обдумывается. Это уровень непосредственного усмотрения феномена, данного в эйдетической интуиции. Вплотную к этой структуре, хотя все же как надстраивающаяся над ней, прилегает другая качественная форма, которую Гуссерль называет позиционным актом [setzende Akte]: «...мы можем установить позиционные акты как те, что основаны на других актах, не как чистые представления, но как акты, основанные на представлениях; новый позиционный характер бытия тогда, по-видимому, является дополнительным к чистому представлению».[33] Предназначение

[31] Husserl E. Logische Untersuchungen. Max Niemeyer Verlag Tübingen, Bd. 2, Teil 2, 1980. S. 36-37.
[32] Wittgenstein L. Vermischte Bemerkungen. Frankfurt a. M.: Suhrhamp, 1977. S. 27.
[33] Husserl E. Logische Untersuchungen. Max Niemeyer Verlag Tübingen, Bd. 2, Teil 2, 1980. S. 465.

позиционного акта сводится к тому, чтобы решать вопрос о бытийной значимости того обстояния дел, которое мыслится в фундирующем акте чистого представления. Решить вопрос о бытийной значимости — это значит либо придать мыслимому обстоянию дел статус автономного существования, либо отказать ему в этом: «Среди именующих актов мы различаем позиционные и непозиционные. Первые ...интуитивным способом отсылают к предмету как к существующему. Вторые оставляют вопрос о существовании своих предметов нерешенным».[34]

Подобные же дистинкции обнаруживаются и у Фреге. Он также различает схватывание мысли [Fassen], то есть принятие во внимание некоторого мыслимого обстояния дел без решения вопроса об истинности последнего, и суждение [Urteil] как признание истинности мысли: «Итак, мы будем различать: 1) схватывание мысли — мышление; 2) признание истинности мысли — суждение; 3) демонстрация этого суждения — утверждение».[35] При этом Фреге упоминает, что он использует термин «суждение» не в привычном логическом смысле, то есть как предикацию, а именно как утверждение истинности, что как раз и соответствует гуссерлевскому позиционному акту. Предназначение обеих этих структур заключается в том, чтобы производить экзистенциальное полагание мыслимого обстояния дел.

Очевидно, что редукция как центральная методическая операция феноменологии должна принимать во внимание как раз отношение между индифферентным чистым представлением и позиционным актом (или между индифферентной мыслью и признанием истинности этой мысли). А именно: редукция «заключает в скобки» позиционный акт. К сожалению, гуссерлевский образ заключения в скобки так и остался не достаточно поясненным. Сам Гуссерль говорит об этой операции то имея в виду «торможение» (приостановку) позиционных актов, то рефлексию над ними. Иногда двусмысленность выглядит почти комично, так как проступает прямо в одном пассаже. Это можно увидеть в «Идеях...»: «Переходя же к феноменологической установке, мы с принципиальной всеобщностью пресекаем совершение любых подобных когнитивных полаганий [речь идет как раз о бытийных полаганиях, т. е. о позиционных актах], а это значит: ‘мы заключаем в скобки’ прежде произведенные, что же касается дальнейших исследований, то мы не соучаствуем в подобных полаганиях; вместо того, чтобы жить в них, совершать их, мы совершаем направленные на них акты рефлексии».[36] Если отказаться от полагания этих актов, как же можно совершать над ними акты рефлексии? Та же двусмысленность проступает и в «Картезианских размышлениях»: «...я, философски размышляя, не придаю более значимости естественной уверенности в бытии мира, свойственной опыту, не осуществляю полагания этого бытия, между тем, как оно все еще присутствует среди прочего и схватывается внимательным взглядом».[37]

Думается, что предпочтение все же следует отдать рефлексии. Под запретом совершения Гуссерль, скорее, понимал запрет на наивное, латентное совершение этих актов, которое, действительно, характерно для естественной установки. Редукция не препятствует бытийному полаганию, она лишь делает его явным,

---

[34] Ibid., S. 580.
[35] Фреге Г. Логические исследования. Томск: Водолей, 1997. с. 28.
[36] Гуссерль Э. Идеи к чистой феноменологии и феноменологической философии. М.: ДИК, 1999. с. 111.
[37] Гуссерль Э. Картезианские размышления. СПб.: Наука, Ювента, 1998. с. 346.

признавая тезис о бытии мира только в качестве результата активности сознания, продуцирующего позиционные акты.

На лингвистическом уровне обсуждаемая методическая операция будет выглядеть как «заключение в скобки» суждения об истинности или ложности той мысли, которая выражена в предложении языка, т. е. как рефлексия, воплощенная в лингвистической фиксации акта, утверждающего логическую валентность пропозиции.

Анализ Фреге показал, что такая лингвистическая фиксация в естественном языке, который как раз и использует Гуссерль для экспликации своих исследований, невозможна. Осуществление суждения-утверждения, то есть признание истинности мысли, имеет в языке всецело латентный характер. Невозможно обнаружить специального знака, который характеризовал бы наличие такого суждения, это суждение-утверждение осуществляется самой формой утвердительного предложения: «Мне представляется, что до сих пор мысль и суждение отчетливо не различались. Возможно, язык сам потворствует этому. Действительно, в утвердительном предложении нет специального компонента, соответствующего утверждению».[38] Утвердительное предложение естественного языка выражает всегда одновременно и неразличенно саму мысль и экзистенциальное полагание мыслимого: «Признание истинности мысли мы выражаем в форме утвердительного предложения. При этом нам не требуется слово 'истинный'. И даже если мы употребляем это слово, собственно утверждающая сила принадлежит не ему, а форме утвердительного предложения».[39]

Понятно, что Гуссерль не мог серьезно принимать в расчет подобные затруднения, ибо язык сам подлежал редукции, он не имел трансцендентальных полномочий. Если же языку, как мы условились в начале данного анализа, будет приписан первичный конститутивный статус, то данное открытие Фреге представляет собой серьезное препятствие на пути осуществления обсуждаемой методической процедуры. Гуссерль не заметил, что произвести рефлексию над актами бытийного полагания не позволяют выразительные возможности того языка, который он использовал в феноменологии. Произнося «На улице идет дождь», феноменолог оказывается неспособным четко различить и зафиксировать в рефлексии мысль, выражаемую этим предложением и суждение об истинности этой мысли. Это значит, что язык неминуемо затягивает трансцендентального философа в трясину естественной установки, не позволяя нащупать никакой надежной опоры, чтобы удержаться в сфере чистой мысли.

От неизбежной натурализации трансцендентально-индифферентной сферы сознания Гуссерля не спасает и косвенный контекст, предложенный Фреге в качестве выхода из обнаруженного затруднения. Если предложение «На улице идет дождь» поместить в качестве дополнения в более общее предложение с пропозициональной установкой, то, по мысли Фреге, в дополнении связь с референтом устраняется. «Я утверждаю, что на улице идет дождь» — на истинность этого предложения никак не повлияет логическая валентность дополнения «...на улице идет дождь». Дополнение в данном случае выражает нейтральный смысл и ничего более. Вместе с тем, пропозициональная установка «Я утверждаю, что...» как раз, казалось бы, и представляет в данном случае

[38] Фреге Г. Логические исследования. Томск: Водолей, 1997. с. 28.
[39] Там же, с. 28.

адекватную выразительную структуру языка, способную зафиксировать позиционный акт. Смыслом предложения, выражающего данную пропозициональную установку, становится само бытийное полагание, следовательно, оно не ускользает более от рефлексии, оно дано в своем осуществлении. Однако, данное предложение имеет и референт, а это значит, что мы вновь латентно ввели следующий позиционный акт. Здесь утверждается, что такое событие как позиционный акт, полагающий истинность пропозиции «На улице идет дождь», действительно существует. Нужно ли говорить, что это вновь противоречит последовательно проводимой редукции: ведь любой акт сам должен быть принят во внимание только как смысл, как феномен. Сознание неизбежно натурализируется, язык всегда опережает рефлексивный взор на один шаг, расставляя на его пути подобные «референциальные ловушки».

В довершении к описанным выше трудностям, существенным для структуры естественного языка, то есть того языка, на котором написана феноменологическая теория, обращает на себя внимание сама форма сугубо научного дискурса, выбранного Гуссерлем. Даже если бы язык и позволял избавиться от натурализма, то форма дискурса феноменологии как теории все равно бы загубила все дело. Ведь главный пафос любой научной теории и состоит в утверждении логической валентности, в поиске решения вопросов об истинности или ложности пропозиций. Гуссерль, декларативно заявляя о редукции подобных целей, сам полностью отдает себя в руки такого дискурса. Феноменология как теория тоже провозглашает истины, на сей раз истины о сознании. В этой теории все обстоит так, что будто бы существует сознание как регион абсолютного бытия. Но ведь это откровенная натурализация, с которой сама же феноменология и должна бороться. Гуссерлево «ego cogito cogitatum» противоречит себе. Оно призвано указать на интенционалистский дискурс, но, вместе с тем, имеет статус суждения с положительной логической валентностью. «Ego cogito cogitatum» — так обстоят дела *на самом деле*, говорит феноменология как научная теория. Феноменология не как теория, а как событие трансцендентальной редукции не имеет дело с вопросами об истине и лжи, такая феноменология «мнит» происходящее, имеет его ввиду лишь в качестве феномена, причем это касается и сферы сознания: само сознание есть феномен, иначе неизбежно падение в натурализм. В этом смысле референционалистский научный дискурс должен быть категорически противопоказан феноменологии.[40]

14.5 Перспективы компаративных исследований: возможности феноменологии

Теперь обратимся к тому, в чем можно было бы увидеть перспективу результатов феноменологических штудий для философа-аналитика. Последний, будучи чаще всего заинтересованным в предметном полюсе лингвистического опыта, т. е. в изучении смыслов языковых структур без внимания к субъективным процессам познания, получает благодаря феноменологии возможность обратить должное внимание на само осуществление опыта, на переживание смыслов в познающей субъективности. Фреге, например, который здесь представлен как основатель аналитической традиции, практически не уделил место в своих исследованиях изучению субъективного переживания смысла, ограничиваясь четко отличенной

[40] См. по этому поводу: Ладов В. А. Язык феноменологии // Актуальные проблемы социальных и гуманитарных наук. Томск: Изд-во Том. ун-та, 2002. с. 40 — 47.

от субъективности идеально-объективной составляющей познания. Поэтому можно согласится с утверждением о том, что «замечательно сложная логическая теория, созданная Фреге, остается в резком противоречии с его наивной философией сознания».[41] Гуссерль, напротив, пошел по другому пути. Характеристика внесубъективности, которую он сначала с таким же рвением как и Фреге, в порыве борьбы с психологизмом, приписал смыслу, не переставала беспокоить его своей односторонностью. И поскольку дальнейший исследовательский интерес Гуссерля концентрировался на сознании, постольку тема дескрипции процесса конституирования смысла в субъективности стала центральной в феноменологии. Обращение Гуссерля к этой сфере познавательного процесса, конечно же, было необходимым. Пусть язык (слово, предложение) сколь угодно прочно «цементируют» границы данности смысла, обеспечивают его ясность и доступность, но без сознания, которое «осуществляет себя» в этом смысле, дескрипция опыта выглядит явно не полной. Поэтому Гуссерль переходит от слов языка не к смыслам, как это сделали аналитики, а именно к смыслополагающим, интенциональным актам, без которых язык мертв: «То, что включает в себя дескриптивное единство между физическим знаком-феноменом и *значением-интенцией*, которая дается в выражении, становится более ясным, когда мы обратим внимание на знак как таковой, т. е. на написанное слово как таковое. Если мы делаем это, то мы имеем внешнее восприятие (или внешнюю интуитивную идею) только похожее одно на другое, чей предмет теряет свой вербальный характер. Если этот предмет снова функционирует как слово, то его представление целиком меняет свой статус. Слово (внешний знак) остается интуитивно представленным, поддерживает свое появление, но мы больше не интендируем его, это больше не является предметом нашей 'ментальной активности'. Наш интерес, наша интенция, наша мысль — это просто синонимы, взятые в широком смысле — обращены исключительно на вещи, обозначенные в смыслодающем акте».[42] Тем не менее Гуссерль никогда не отказывался от своих антипсихологических тезисов, на которые его направил, как мы помним, Фреге, и не уставал утверждать внесубъективность смысла. Просто эта характеристика претерпела весьма существенное усложнение. Смысл, исходя из более поздних результатов феноменологии, представляет собой по-прежнему «объективное», самотождественное, неразложимое единство, но, вместе с тем, его присутствие *всегда* характеризуется погруженностью в поле субъективности.

Конечно, нельзя утверждать, что аналитическая философия полностью редуцировала эти темы. П. Грайс одним из первых в англоязычном мире заговорил о различии между «meaning» как стационарным лингвистическим значением и «meaning» как подразумеванием (значением для говорящего), вводя в аналитическую философию темы сознания и интенциональности.[43] Основываясь на этих взглядах и разрабатывая теории интенциональности и речевых актов, один из наиболее авторитетных в современной аналитической традиции философ – Д. Серль открыто утверждает позицию, в соответствии с которой философия языка представляет только внешний уровень более фундаментальной дисциплины — философии сознания.[44]

---

[41] Mohanty J. N. Husserl, Frege and the Overcoming of Psychologism // Philosophy and Science in Phenomenological Perspective. Dordrecht, 1984. p. 148.
[42] Husserl E. Logische Untersuchungen. Max Niemeyer Verlag Tübingen, Bd. 2, Teil. 1, 1980. S. 40.
[43] См.: Grice P. Studies in the Ways of World. Cambridge, Mass., Harvard University Press, 1989.
[44] См.: Searle, J. R. Speech Acts. An Essay in the Philosophy of Language. Cambridge, 1969; Searle, J.

Именно по отношению к данному направлению аналитической традиции (а к теме интенциональности вплотную подходили также Г. Райл[45], Г. Бергманн[46] Р. Чизом[47], У. Селларс[48], Д. Остин[49]) вполне уместным представляется проведение параллелей с гуссерлевскими исследованиями. Бесспорно, что феноменология, выработав столь тщательный понятийный аппарат для дескрипции актов сознания может оказаться полезной и в аналитических штудиях. Компаративные работы в этом направлении уже имеют место.[50]

В качестве примера можно привести сравнительный анализ темы интенциональности у Д. Серля и Э. Гуссерля, проведенный современным канадским историком философии Д. Томпсоном.[51] Здесь утверждается, что Серль, как и Гуссерль, считает именно сознание и его структуры отправной точкой философствования. В обоих теориях центральной темой является интенциональность как определяющая характеристика сознания. Оба мыслителя настаивают на единственной абсолютной данности – это данность первичного интенционального содержания в субъективных переживаниях. И тем не менее Серлу, опять же как типичному представителю англоязычной философии, совершенно чужда «трансцендентальная мистерия Гуссерля» (фраза другого известного аналитика, под которой, как кажется, вполне мог бы подписаться и обсуждаемый сейчас американский философ[52]). Серль противостоит Гуссерлю активно, предпринимая попытки заделать ту «трансцендентальную брешь», которая, усилиями феноменологов, образовалась между Сознанием и Природой.

Прежде всего, Серль остается реалистом. Он ни на секунду не сомневается в том, что сознание представляет собой особую, сложно организованную взаимосвязь специфических природных элементов – и, конечно же, основанием для такого суждения выступают современные нейрофизиологические исследования. Но как быть с интенциональностью, которой сам американский философ приписал нередуцируемый субъективный статус? Серль выстраивает свой аргументацию на основании критики следующего пассажа Гуссерля: «Мы не имеем дело с внешним каузальным отношением, где следствие вполне вразумительно может быть тем, что оно само в себе есть без причины, или где причина порождает то, что могло бы существовать и независимо. Более пристальное рассмотрение показывает, что

R. Intentionality. An Essay in the Philosophy of Mind. Cambridge, 1982; и др. работы. **Указать работу «Что такое интенциональное состояние?» на русском, а также работу «Открывая сознание заново».**

[45] См.: Райл Г. Понятие сознания. М., 1999.

[46] См.: Bergmann G. Intentionality // Intentionality, Mind and Language. Ed.: A. Marras. Urbana; University of Illionis press, 1972. pp. 287 – 320.

[47] См.: Chisholm R. M. Sentences about Believing // Intentionality, Mind and Language. Ed.: A. Marras. Urbana; University of Illionis press, 1972. pp. 31 – 51.

[48] См.: Sellars W. Notes on Intentionality // Intentionality, Mind and Language. Ed.: A. Marras. Urbana; University of Illinois press, 1972. pp. 321 — 334.

[49] См.: Остин Д. Избранное. М.: ДИК, 1999.

[50] См., например: Smith B. Towards a History of Speech Act Theory // Speech Acts, Meanings and Intentions. Critical Approaches to the Philosophy of John R. Searle, Berlin/New York: de Gruyter (1990), 29-61; Thompson D. Intentionality and Causality in John Searle // Canadian Journal of Philosophy, 16 (1986). p. 83-97.

[51] См: David L. Thompson. On Naturalizing Intentionality // http://ucs.mun.ca/~davidt/index.html. (Текст доклада, прочитанного Д. Томпсоном на ежегодном заседании Канадской философской ассоциации в 1986).

[52] См.: Smith B. *Logic and Formal Ontology* // Husserl's Phenomenology: A Textbook. Lanham: University Press of America, 1989. p. 29.

было бы в принципе абсурдным, здесь или в похожих случаях, принимать интенциональное как каузальное отношение, приписывать ему смысл эмпирического, субстанциально-каузального случая необходимой связи».[53] Трансцендентальная брешь возникает из-за принципиального разведения этих двух типов отношений: интенционального и каузального. В последнее, говорит Гуссерль, вступают вещи природного мира внешним по отношению друг к другу образом. Они вполне могут существовать и до и после данной каузальной связи. Иное дело интенциональность: здесь связь акта и объекта неразрывна.

Серль пытается показать, что каузальность, в противовес Гуссерлю, самым тесным образом переплетается с интенциональностью, даже входит в само интенциональное отношение в качестве его внутреннего элемента. Подтверждение этого тезиса американский философ находит в анализе акта восприятия.

Допустим я говорю: «Сегодня, когда я переходил улицу по дороге в университет, меня чуть не сбила машина». Если мне зададут уточняющий вопрос: «Ты уверен, что зрительно воспринимал (действительно видел) автомобиль?», я отвечу: «Конечно, я воспринимал (действительно видел), как он надвигался на меня с достаточно большой скоростью». Если, используя язык, мы в самом деле различаем по значению два термина «фантазия» и «восприятие», то смысл последнего, кажется, должен быть таков: 1) передо мной находится объект; 2) этот объект существует независимо от меня самого; 3) этот объект является причиной возникновения моего акта внимания к нему. Таким образом Серль пытается показать, что каузальное отношение двух природных объектов (автомобиль и психофизическое состояние человека) само является внутренним интенциональным содержанием того акта, который интендирует значение термина «восприятие». Используя в языке слово «восприятие» мы сами, из своей субъективности, полагаем наличие независимого от нас природного мира и признаем его воздействие на наше тело.

Серль уверен, что такой анализ устраняет разрыв интенционального и каузального, Сознания и Природы. Кто с этим будет спорить? Комичность ситуации, как это становится понятным из анализа Д. Томпсона, заключается в том, что феноменолог, по отношению к которому Серль и пытался выстроить свою критику, с чистой совестью подпишется под результатами этого рассуждения.

Заметил ли американский аналитик, что примирение Сознания и Природы может проходить двумя взаимоисключающими путями? Он, конечно, хотел погрузить интенциональное в природную среду, но вышло как раз наоборот. Серлу удался самый что ни на есть феноменологический анализ восприятия, который показывает, как само представление о природном мире возникает в качестве смысловой данности сознания. Природа сама становится интенциональным содержанием субъективности – а это ведь и есть тезис феноменологии, в соответствии с которым любой объект является интенциональным. Натурализируемая интенциональность оборачивается, скорее, интенционализируемой натуральностью, и достаточно обоснованного преодоления столь раздражающего англо-американских философов трансцендентализма достичь снова не удается.

[53] Husserl E. *Logical Investigations*, 2 vols. New York: Humanities Press, 1970. pp. 571-572.

Однако в традиции аналитической философии имеются и такие разработки темы интенциональности, которые могут поспорить с Гуссерлем не в вопросе о трансцендентальном/каузальном статусе интенционального состояния, а в отношении обоснованности употребления концепта первичной интенциональности (соответствующего Гуссерлевой феноменологии) вообще. Наиболее репрезентативными здесь выглядят исследования английского философа-аналитика Д. Деннета[54], работающего в области философии сознания и искусственного интеллекта.

Деннет обсуждает понятия первичной (original) и производной (derivative) интенциональностей. Первое означает непосредственно данный в субъективности «внутренний» предмет в корреляции с самим актом познания, второе – «внешним образом» (т. е. за счет окружающей социальной среды) приписанный субъекту предмет познания.

С одной стороны, Деннет полностью соглашается с традиционной по отношению к данной проблеме позицией в том, что AI (Artificial Intelligence – искусственный интеллект) не обладает первичной интенциональностью, а довольствуется лишь ее производными формами, навязанными ему из вне человеческим сообществом. Однако его точка зрения все же оказывается гораздо более оригинальной. Он утверждает следующее: не только AI, но и человек не обладает первичной интенциональностью. Миф о первичной интенциональности – один из самых глубоких предрассудков классической философской традиции Запада. AI оказывается действительно подобным человеческому сознанию, но не в том, что он как и человек обладает первичной интенциональностью, а, наоборот, в том, что человек, как и AI, ею не обладает. Не AI похож на человека, а человек на AI. Деннет пытается презентировать свою позицию с помощью конкретных примеров.

Некто Джонс, отправившись в космическое путешествие, прибывает на планету Земля-Двойник (ЗД). Все здесь оказывается Джонсу знакомо: люди, дома, деревья, небо – все как на Земле. Пообедав в ресторане, пообщавшись с местными жителями и неспешно прогуливаясь по городу Джонс наткнулся на рекламный проспект, сообщавший об очередном туре скачек на лошадях на местном ипподроме. Джонс был очень возбужден этим обстоятельством и немедленно отправился на ипподром. А возбуждение его было связано с тем, что на Земле он был предупрежден об одной странности фауны той планеты, на которую он улетал. ЗД есть точная копия Земли с одним исключением. Там, на скачках, кроме лошадей можно встретить особых животных – смошадей. Смошади ни по виду, ни по повадкам совершенно не отличаются от лошадей. И тем не менее, смошади не есть лошади.

Так как Джонс имел интерес к познанию и был склонен к самонаблюдению, то его очень волновал вопрос о том, что с ним будет происходить, когда он увидит на ипподроме животных, как он будет пытаться отличить лошадь от смошади. При этом он знал, что данная эпистемологическая ситуация радикализируется тем фактом, что местные жители на ЗД для именования и смошадей, и лошадей используют одно и то же слово – «лошадь», так что выяснить у них с помощью

[54] D. Dennet (with J. Haugeland) *Intentionality* // *The Oxford Companion to the Mind*, in R. L. Gregory, ed., Oxford University Press 1987.

вопроса то, с чем он имеет дело в своем восприятии, не представляется возможным.

Так вот, попав на ипподром и тщательно сосредоточившись на своих внутренних состояниях, наш герой с очевидностью обнаружил, что не имеет в данный момент ничего, что можно было бы назвать первичным интенциональным содержанием. Глядя на проносившихся мимо него животных, он не знал как себя вести, о чем думать: о том, что он имеет действительное восприятие лошади; о том, что он имеет восприятие лошади, но ошибается, так как перед ним на самом деле смошадь; о том, что он имеет действительное восприятие смошади; или о том, что имеет восприятие смошади и ошибается, так как перед ним на самом деле лошадь?

Суть проблемы в том, что восприятие как определенное психическое переживание, действительно, имеет место также, как имеет место физическое состояние автомата Пепси-Колы в тот момент, когда в него опускают монету, но вот само интенциональное содержание в качестве смысловой интерпретации воспринимаемого объекта равным образом отсутствует в обоих случаях.

Как же тогда возникает определенная смысловая интерпретация? Она возникает из фона, окружения, из определенных, но, в конечном счете, произвольных правил приписывания интенциональных содержаний тем или иным состояниям. Если окружающие меня люди соглашаются признать в созерцаемых животных смошадей, то эти животные становятся смошадьми. Окружающие начинают и моему восприятию приписывать определенное интенциональное содержание и говорят: «Сейчас он видит смошадь». В конце концов, я совершаю самый изощренный психический пируэт. Я сам на свое полое переживание налагаю производное интенциональное содержание, принятое мной из сообщества, и убеждаю себя в том, что в самом деле, с очевидностью, вижу смошадь.

Нет сомнения, что сколь бы фантастическим ни выглядел пример Деннета, он, в качестве универсального эпистемологического аргумента, вполне может быть распространен на любое проявление познавательной активности субъекта, на все сферы опыта вообще. Чтобы увидеть здесь проблему, не нужно отправляться в далекое космическое путешествие – разве на Земле нет смошадей? Мы уверены в этом?

Если появление любого интенционального содержания в сознании человека зависит от согласованных правил операций с объектами (более строго – с символами объектов, хотя Деннет не заостряет внимание на лингвистической стороне вопроса), то AI думает и понимает ничуть не меньше человека, точнее, человек понимает ничуть не больше, чем AI. Система программ возможного AI может охватить собой весь мир так, что при взаимной согласованности правил обхождения с объектами своей деятельности каждый элемент AI будет демонстрировать понимание (в прямом и единственном смысле этого слова) происходящего, этот мир будет также полон смысла, как и человеческий мир.

Понятно, что такой взгляд на природу сознания будет противоречить результатам феноменологических исследований, как отрицающий «внутреннюю» очевидность ментальных феноменов. В такой ситуации логично предположить максимальную

интригу и полемичность диалога деннетовской позиции и немецкой феноменологии. Вместе с тем, именно эта полемичность, как представляется, может создать предпосылки для предельного прояснения единой для обеих философских направлений темы – интенциональности, ибо в ней должны быть учтены все наиболее каверзные аргументы противоположных сторон.

Перспективу диалога с феноменологией можно обнаружить также и в тех исследованиях аналитической традиции, которые касаются темы интенциональности со стороны разработки формально-логического аппарата для описания контекстов веры и мнения. Здесь имеются в виду работы в области модальной и интенсиональной логики. Семантика возможных миров С. Крипке является тому хорошим примером.

И, наконец, феноменология, что является уже не прогнозом, а констатацией существующего положения дел, все больше и больше обращает на себя внимание со стороны когнитивной науки. Пожалуй, самая знаменитая проблема позитивно-научных исследований сознания – это проблема «mind-body» (сознание-тело). Материалистические теории сознания, которые составляют основную массу исследований в области когнитивной науки, прилагают усилия к тому, чтобы исключить субъективность сознания из общенаучной картины мира. Для этого нужно постулировать сведение ментальных переживаний к их нейрофизиологической основе и заявить о возможности объективного исследования этих структур. Однако данная проблема оказывается более сложной, чем могли предполагать убежденные материалисты. И в последнее время некоторые представители когнитивной науки открыто начали заявлять приоритет first-person position (позиция первого лица) в изучении ментальных явлений в противовес third-person position (позиция третьего лица) – ортодоксальной точки зрения когнитивных исследований. Именно поэтому здесь возник устойчивый интерес к методам феноменологии, которая оказалась самым мощным исследовательским проектом изучения сознания со стороны first-person position в XX веке.[51]

[51] См., например: Gallagher S. Mutual Enlightment: Resent Phenomenology in Cognitive Science // Journal of Consciousness Studies 4, № 3, 1997. p. 195 — 214.

Глоссарий

Абсолютная истина – истина, полностью исчерпывающая предмет познания; знание, тождественное своему предмету.

Аналитические суждения — априорные, логические предложения, имеющие конвенциональную природу и не содержат информации о мире; установление их истинности или ложности возможно без обращения к внеязыковым фактам; различаются от *синтетических* — содержательных, эмпирических предложений естественных наук. Аналитические и синтетические суждения — различение, проводимое Лейбницем, Кантом, позднее Карнапом. В интерпретации Канта аналитические суждения приписывают субъекту тот предикат, который уже содержится в понятии субъекта, тогда как синтетические присоединиют к нему новый предикат, обогащая таким образом содержание понятия. Вопрос об их истинности или ложности должен решаться посредством обращения к внеязыковым фактам с помощью определенных процедур *верификации*. У. Куайн выступил против различения аналитических и синтетических истин.

"Аномальный монизм" — общефилософская теория Д. Дэвидсона, сущность которой состоит в признании несводимости ментального к физическому, а также в приписывании "событиям" наряду с объектами базисного онтологического статуса.

Атомарные предложения — понятие Рассела, в реальности им соответствуют "атомарные факты".

Атомизм (партикуляризм) — противоположность *холизма*; учение, согласно которому возможна верификация отдельно взятых предложений, а не в составе всей теории.

Ad-hoc гипотеза (от лат. ad hoc – к этому) – предположение, выдвинутое специально для решения возникающих перед испытываемой теорией проблем.

"Бескавычечная" концепция истины — определение, данное Х. Патнэмом концепции истины А. Тарского, согласно которой мы понимаем слово "истина" не по ассоциации его с некоторым свойством или соответствием, но заучивая такие факты, как очевидные, например, "Снег бел" истинно, если и только если снег бел.

Бесконтекстные элементы — простые, исходные признаки, атрибуты, факторы, дискретные данные, сигналы и т.д., отношения между которыми формулирует та или иная теория.

Бихевиоризм — направление в американской психологии XX в., сводящее психику к различным формам поведения.

"Бритвы Оккама" принцип (выдвинут У. Оккамом, англ. философом-схоластом 14 в., хотя сформулирован лишь Расселом — возможно, не без влияния "принципа экономии мышления" второго позитивизма) — сущности не следует умножать без необходимости (т.е. понятия, не поддающиеся проверке в опыте и не сводимые к интуитивному знанию, должны быть удалены из науки).

Верификация (от лат. verus — истинный и facio — делаю) — методологическое понятие, обозначающее процесс установления истинности научных утверждений в

результате их эмпирической проверки; согласно верификационистскому подходу, ставшему основополагающим для логического позитивизма, всякое научно осмысленное утверждение может быть сведено к совокупности *протокольных предложений*, фиксирующих данные чистого опыта и выступающих в качестве элементарных утверждений исчисления высказываний.

Верификационная теория значения — концепция логического эмпиризма, согласно которой смыслом обладают только те предложения, которые сводимы к *протокольным предложениям.*

"Возможные миры" — мыслимые альтернативные состояния. Идея В.м. впервые появляется в модальной теории Дунса Скота, выделяющего среди логических возможностей реальные альтернативы действительному миру. Г.В. Лейбниц использовал идею В.м. для толкования необходимо истинного как того, что имеет место во всех В.м., а случайного истинного — как того, что имеет место в некоторых из них. Широко используется в семантическом анализе модальных понятий (напр., С.Крипке).

"Внутренний реализм" — версия философского реализма, выражающая общефилософскую позицию Х. Патнэма, которую он противопоставляет метафизическому реализму и релятивизму.

Герменевтика – первоначальный смысл: искусство истолкования, учение об интерпретации текстов. В философии Дильтея: наука о понимании как основе гуманитарного знания. У Хайдеггера и Гадамера: основной принцип существования, состоящий в истоковании основных смыслов бытия.

Гештальт – целостный устойчивый образ психики или сознания.

Демаркация – разграничение различных областей знания или бытия. Проблема д. впервые была поставлена Поппером как проблема разграничения научного и ненаучного знания.

"Дескриптивная метафизика" — концепция П. Стросона, нацеленная на исследование структур и связи фундаментальных категорий человеческого мышления и отношения структуры языка и структуры реальности.

Дескрипций теория — отправной пункт Расселова логического анализа языка.

Естественная установка — понятие феноменологии, обозначающее "наивную" установку сознания, для которой миры — природный и социальный — несомненны, непосредственно даны и приняты на веру как само собой разумеющиеся.

Естественные виды (natural kinds — понятие, играющее важную роль в концепциях С. Крипке, Л.Линского и др.) — родовые термины, слова типа "вода", "золото", "лошадь" и проч.

Жизненный мир – понятие философии позднего Гуссерля, обозначающее интерсубъективную сферу первоначальных очевидностей, априорных по отношению к логическим схемам.

Изоморфизма концепция — одно из наименований концепции соотношения языка и мира Л. Витгенштейна ("Логико-философский трактат"), согласно которой предложение есть образ действительности, показывает логическую форму действительности.

Иллокутивный акт (понятие теории "речевых актов" Д Остина) — акт осуществления одной из языковых функций — вопроса, оценки, приказа и т.п. (см. также локутивный, перлокутивный акт).

Индивидуального (личного, приватного, частного) языка аргумент — изобретен Л. Витгенштейном: индивидуальный язык не может существовать, общественный дискурс первичен.

Интенциональность (от лат. intentio — стремление) — в феноменологии — первичная смыслообразующая устремленность сознания к миру; акт придания смысла (значения) предмету при постоянной возможности различия предмета и смысла.

Интернализм — интерналистская трактовка языкового значения представляет собой картезианский взгляд на ментальное, согласно которому такие ментальные состояния как мысли, убеждения, намерения и желания имеют сугубо качественный характер и по своей природе концептуальны.

Интерпретация — в историко-гуманитарных науках — истолкование текстов, направленное на понимание их смыслового содержания; в математической логике, логической семантике, философии науки — установление значений выражений формального языка.

Интерсубъективность — факт множественности субъектов, выступающий основой их общности и коммуникации; структура субъекта, через интенциональность раскрывающая существование и опыт другого "Я". В аналитической философии И. обсуждается в контексте проблематики объективных значений языковых и логических форм (Рассел, Карнап, Куайн) и "языковых общностей" (Хинтикка).

Интенциональное состояние – термин, предложенный Дж. Серлем для обозначения таких состояний сознания, которые обладают определенным содержанием. Таковыми, например, являются уверенность, желание, знание, поскольку они всегда суть уверенность в чем-то, желание чего-то, знание о чем-то. Неинтенциональным состоянием сознания является, например, беспричинная тревога или эйфория, которые не направлены ни на что определенное.

Истинностное значение — понятие Фреге, означающее семантическое различение смысла и значения языковых выражений.

"Китайской комнаты" аргумент — аргумент Д. Серля; был задуман его автором в противовес распространенным толкованиям теста Тьюринга на интеллектуальность. Согласно этому аргументу, мы можем знать, что одно предложение правильно переводится как другое без того, чтобы знать, что это предложение означает.

Когерентная теория истинности — теория, согласно которой истина заключается в согласованости с другими предложениями системы; истинность системы знания означает ее внутреннюю согласованность: некоторое положение является истинным, если оно хорошо согласуется с другими положениями и представлениями, которыми обладает человек, задавшийся вопросом о его истинности.

Композициональности принцип (в концепции Г. Фреге) — принцип, согласно которому значение предложения составляется путем сложения значений его терминов.

Конвенционализм (от лат. conventio — соглашение) — концепция в философии науки, согласно которой в основе научных теорий лежат соглашения (конвенции) между учеными и их выбор обусловлен соображениями удобства, простоты и т.д. — критериям, не связанными непосредственно с их истинностью. Аналогичная точка зрения в семантике, когда наименоание вещей имеет форму налчия соглашения об их наименовании.

"Констатирующие высказывания" (понятие концепции М.Шлика) — предложения наблюдения, способные быть истинными или ложными.

Контрадикция (от лат. contra — против и dictio — изречение, высказывание) — логически противоречивое высказывание, т.е. высказывание, нарушающее формально-логический закон противоречия.

Корреспондентная теория истинности — восходящая к Аристотелю "классическая" трактовка истины как соответствия высказывания действительности. Выявлен ряд трудностей, возникающих при ее применении к анализу некоторых контекстов, утверждениям о несуществующих объектах и о будущих случайных событиях, модальным высказываниям, предложениям мнения и т.п.

Лжеца парадокс — наиболее известный из парадоксов об Эпимениде-критянине, который сказал, что "все критяне лжецы" и заставил людей сомневаться, не лгал ли он, когда говорил это. Если он лжет, то ложно, что он лжет, и, и следовательно, он говорит правду; но если он говорит правду, то лжет, ибо именно это он утверждает. Противоречие поэтому неизбежно.

"Лингвистический поворот" — перевод философских проблем в сферу языка и решение их на основе анализа языковых средств и выражений.

"Лингвистическое разделение труда" — понятие Х. Патнэма, означающее, что определяющие референт (или объем) термина дескриптивные характеристики (его интенсионал) не распределены между всеми членами сообщества, но предполагает существование в любом конкретном обществе локального сообщества экспертов, определяющих значение терминов.

"Лингвистическое сообщество" — предполагаемая группа экспертов (по аналогии с научным сообществом), конвенционально устанавливающая правила употребления, которым следует в своей практике включенный в коммуникативную ситуацию конкретного "сообщества" индивид.

"Логико-философский трактат" (Tractatus Ligico-philosophicus) — гл. работа раннего этапа эволюции философских взглядов Л. Витгенштейна. Впервые опубликована в 1921 г. в Германии. В этой книге он стремится выявить границы выражения мыслей в логике языка.

Локутивный акт (понятие теории "речевых актов" Д. Остина) — акт говорения самого по себе (см. также иллокутивный, перлокутивный акт).

Логической модальности виды: алетические — "необходимо", "возможно", "случайно"); деонтические, или нормативные — "запрещено", "разрешено" и т.п.; эпистемические — модальности знания, полагания, убеждения, веры, сомнения; модальности оценок и предпочтений; темпоральные модальности — "всегда", "иногда"; доказуемостные модальности — "доказуемо", "опровержимо". Перечень видов модальности нельзя считать завершенным, он продолжает пополняться под влиянием современных логико-философских исследований.

Модальность (от лат. modus — меры, способ) — характеристика особенностей существования некоторого объекта или явления, протекания процесса (физические М.), а также способ построения и понимания суждений и логических рассуждений об объектах, явлениях, событиях и процессах (логическая М.). Понятие М. введено Аристотелем. Модальность суждения можно трактовать двояко — как модальности, выраженные в языке, т.е. это характеристика суждения по степени фиксируемой в нем достоверности описываемых положений дел, событий (M. de dicto) или как модальности самих вещей и явлений, по степени выраженной в суждении необходимости, с которой предикат принадлежит субъекту (M. de re). Понятие М. позволяет осуществлять более глубокий и тонкий анализ особенностей и законов познавательной деятельности человека.

Молекуляризм — позиция, промежуточная между *холизмом* и *атомизмом (партикуляризмом)*, т.е. подразумеваюшая верификацию не относительно всей теории и не относительно отдельного предложения, но относительно некоторого фрагмента теории.

Натурализм (от лат. natura — природа) — философская позиция, отождествляющая все сущее с природой. В аналитической философии тенденция к конвергенции с натурализмом связана с теоретическими трудностями, возникшими при разработке вопросов модальной логики, семантики и референции. Попытка их преодоления привела к необходимости онтологических допущений и рассмотрению языка и мышления в социально-культурном контексте. Стремление разработать натуралистическую эпистемологию, соответствующую современному уровню науки, характеризует концепцию языка и мышления Д. Серля, а также программу "натурализации эпистемологии" Куайна.

Онтологической относительности принцип — выдвинутый У. Куайном тезис, в соответствии с которым наше знание об объектах, описываемых на языке одной теории, можно рассматривать лишь на языке другой теории, который, в свою очередь, должен рассматриваться в отношении к языку следующей теории, и так далее до бесконечности.

Онтологические высказывания — утверждения о существовании объектов.

Перлокутивный акт (понятие теории "речевых актов" Д. Остина) — акт, вызывающий целенаправленный эффект воздействия на чувства и мысли воспринимающих речь людей (см. также локутивный, иллокутивный акт).

Остенсия — способ определения путем прямого указания (например, пальцем).

Скептический парадокс— ставит под сомнение постоянство значения употребляемых слов и знаков.

Парсинг — в науках об искусственном интеллекте — процедура, при которой последовательно проходится логическое "дерево" от наиболее общих единиц классификации к частным (parsing down) или от частных к общим (parsing up).

"Перформативные" высказывания (понятие концепции Д. Остина) — высказывания, оказывающиеся исполнением некоторого действия.

"Положение вещей" (нем. Sachverhalt) — в философии Витгенштейна элементарная констелляция простых предметов, которому в языке соответствует "элементарная пропозиция"; это также "факт" (нем. Tatsache), которому в языке соответствует пропозиция.

"Правильное" употребление имени (С. Крипке) — употребление, соответствующее исходному значению.

"Предложения Рамсея" — предложения, в которых элиминируются все теоретические термины и допускаются только эмпирические термины.

Пробабилизм — позиция, настаивающая на гипотетичности, предположительности любого знания.

Пропозиция — то, что говорится или утверждается данным предложением в повествовательном наклонении; пропозиции являются основным носителями истинностного значения.

Пропозициональные установки (англ. propositional attitudes) — выражения, обозначающие намерения, желания, восприятия, представления к-л. лица. Впервые термин "П. у" стал использоваться Расселом, придававшим ему психологический смысл, т.е. как предрасположенность субъекта к определенному видению объекта. Дискуссия по вопросу о семантическом статусе П. у. Продолжается до сих пор. Трудности логического анализа контекстов, содержащих П. у. обусловлены наложением разнородных смысловых пластов.

Пропозициональные функции — понятие Фреге, которое позволило отказаться от устаревшего способа анализа предложений в субъектно-предикатной форме.

Протокольные предложения — в методологической концепции логического позитивизма предложения, образующие эмпирический базис науки. С их помощью предполагалось дать эмпирическое обоснование теоретического знания и науки в целом на основе редукции теоретических предложений к эмпирическим.

Радикальный конвенционализм — сформулированная К. Айдукевичем доктрина, утверждающая, что предложения наблюдения зависят от принятого конвенционально "концептуального каркаса" и, следовательно, не образуют "теоретически нейтрального" эмпирического базиса.

"Радикальная теория интерпретации" — концепция Д. Дэвидсона, в которой раскрывается связь семантического значения предложений с индивидуальными и социальными структурами убеждений, верований, желаний, намерений и проч.

Реализм — термин используется в двух смыслах: в одном случае реализм противостоит номинализму — как позиция, допускающая существование общего в виде "реалий"; в другом — противостоит инструментализму и феноменологизму, т.е. реализм в данном случае — это позиция, соотносящая научные теории с объективной реальностью.

Реализм "с человеческим лицом" — или "внутренний" реализм: версия реализма Х. Патнэма, согласно которой реальность обнаруживается в самом знании, при этом допускается принципиальная возможность того, что человеческие мнения об одном и том же предмете сойдутся к некоей реалии — общему мнению.

Реализм метафизический и внутренний — различение, которое проводит Х. Патнэм, следуя Канту; метафизический реализм допускает реальность, трансцендентную (потустороннюю) знанию, с которой знание можно было бы каким-либо образом сопоставлять.

Редукционизм — позиция, утверждающая непосредственную или опосредованную сводимость теоретических предложений и терминов к некоей общей эмпирии, базирующейся на данных наблюдения и эксперимента.

Релевантность (англ. relevant- уместный, относящийся к делу) — смыслосоответствие между информационным запросом и полученным сообщением.

Релевантный (англ. relevant — существенный) — способный служить для различения языковых единиц.

Референции прямой теория — теория имен собственных, индексальных и указательных местоимений а также терминов, обозначающих "естественные виды". Предложения, содержащие все перечисленные термины, обладают "широким" значением, то есть выражают пропозиции, которые существенным образом предполагают наличие контингентных (т.е. не являющихся логически необходимыми) объектов и субстанций.

Референция — представление, согласно которому значением или компонентом значения языкового выражения является тот предмет (или положение дел), на который это выражение указывает. Это связано в первую очередь с работами Милля, различавшего "denotation" и "connotation", и Фреге, различавшего "Sinn" и "Bedeutung". Именно последний термин и был переведен на английский как "reference" Максом Блэком и Питером Гичем в 1952 в их знаменитом издании работ Фреге[1]

Сингулярная (атомарная) пропозиция — пропозиция простейшего типа, предполагающая утверждение о наличии у объекта определенного свойства или предполагающая утверждение о том, что два или более объектов находятся в определенном отношении друг к другу.

Синонимия — идея совпадения мыслительных и языковых структур.

Скептический парадокс— ставит под сомнение постоянство значения употребляемых слов и знаков.

Семантическая концепция истины (для формализованных языков) А. Тарского — экспликация нашего интуитивного представления об истине как соответствии реальности. Впоследствии Д.Дэвидсон доказал применимость семантического определения истины и для естественных языков.

Семантическая эпистемология — концепция значения, разработанная Айдукевичем К., согласно которой значение языкового выражения определяется совокупностью аксиоматических, дедуктивных и эмпирических правил, обязательных для данного языка.

Синтетические суждения — эмпирические, фактуальные суждения.

Семантические атомы — выражения, стоящие в кавычках, аналогичные собственным именам, лишенным внутренней структуры (идея Тарского).

Феноменализм — процедура редукции теоретических высказываний к "базисным предложениям", выражающих чувственных опыт.

"Фидо-принцип" (выражение Райла) — утверждение о том, что между именами и объектами существует одно-однозначное соответствие, т.е. каждому имени соответствует свой объект, а для каждого объекта имеется свое имя.

Физикализм — один из основных постулатов неопозитивизма, утверждающего возможность объединения всех наук на основе универсального языка (языка

[1] Frege, G. Selected Writings. Trans. by M.Black and P.Geach. Ox., 1952.

физики); в качестве "базисных высказываний" принимаются предложения, описывающие наблюдения физических объектов.

"Философские исследования" (Philosophische Untersuchungen) — главная работа позднего этапа эволюции философских взглядов Л. Витгенштейна. "Ф.и." были опубликованы в 1953 г. (после смерти философа). В книге аналитический подход ориентирован на естественный язык, а не на "совершенный" язык формальной логики, что было характерно для "Логико-философского трактата" Витгенштейна.

Холизм — представление, согласно которому верификациявозможна лишь в составе всей системы.

Экстернализм — экстерналистская, антикартезианская трактовка языкового значения — значение выносится из внутреннего ментального мира говорящего и рассматривается как внешний, социальный феномен (Крипке, Каплан, Патнэм).

"Языковые игры" — концепция позднего Л. Витгенштейна, представляющей "игры" как идеализированные модели употребления слов и выражающих взаимопереплетение различных форм человеческой активности. Выступают для человека как его "формы жизни", в которые он погружен и правилам которых он следует.